Игорь
Волгин

Игорь Волгин

РОДИТЬСЯ В РОССИИ.
ДОСТОЕВСКИЙ И СОВРЕМЕННИКИ: ЖИЗНЬ В ДОКУМЕНТАХ

«Академический проект»
Москва, 2018

УДК 929 Достоевский (075.8)
ББК 83.3 (2Рос=Рус) 1я7
В?

Волгин, Игорь Леонидович

В? Родиться в России. Достоевский и современники: жизнь в документах. — М.: Академический проект, 2018. — 729 с.

ISBN 978-5-

Аннотация

УДК 929 Достоевский (075.8)
ББК 83.3 (2Рос=Рус) 1я7

ISBN 978-5-

© Волгин И.Л., 2018
© Оригинал-макет, оформление.
«Академический проект», 2018

От автора

Рекомендуя английским читателям письма Кромвеля, опубликованные историком Карлейлем, Честертон писал: «Только, прежде чем их читать, заклейте поаккуратней всё, что писал Карлейль. Вычеркните из каждой книги всю критику, все комментарии. Перестаньте хоть на время читать то, что пишут живые о мёртвых; читайте то, что писали о живых давно умершие люди»[1].

Признаться, нам по душе такой радикальный подход. Помимо прочего, он прост и демократичен. Сладость познания не отравляет посредник, который суть не что иное, как кувшин: согласно восточной мудрости, вода, пройдя через несколько сосудов, загрязняется.

Мы даже подозреваем, что, с вожделением поглощая *иные* жизнеописания, *иные* читатели испытывают тайную потребность «напрямую» войти в соприкосновение с тем историческим миром, который является причиной и целью биографического рассказа.

Для жаждущего любое даяние — благо. Но ни с чем не сравнима радость — припасть к источнику.

Эту потребность в своё время осознал В.В. Вересаев, создав документальные повествования («Пушкин в жизни» и «Гоголь в жизни»), которые захватывают тем сильнее, чем глубже иллюзия авторского невмешательства. Будучи воскресителем времени, вырванного им из неполного бытия (ибо единичный, прозябающий на отшибе исторический факт бесконечно одинок), автор делает вид, что безучастно присутствует на очной ставке свидетелей. Но кто же тогда задаёт наводящие вопросы?

Вересаевский Пушкин выступает прежде всего в качестве частного человека. Подобный ракурс сказался в самом названии (писатель — «в жизни»): оно подразумевает полемику с академическим литературоведением. Автор посягнул на традицию, предпочитавшую рассматривать писателя в рамках «истории литературы». И сделал это, не унизив героя.

---

[1] *Честертон Г.К.* Пять эссе // Прометей. 1967. Вып. 2. С. 299.

Однако чем больше эмпирических знаний, тем заметнее отсутствие целостных постижений. Становится очевидным, что нельзя разъять художника (тем более такого, как Достоевский: впервые произносимое имя для защиты от сглаза уместнее придержать в скобках) на «писателя» и «человека» и что понятием «жизнь» обнимаются все без исключения её ипостаси.

Достоевский оставил нам лучшее, что имел: им сотворённый мир. Неужели мало этого бессмертного дара? Для чего сквозь разделившее нас пространство тщимся мы различить смертный человеческий лик?

Если творец «Преступления и наказания» обладает «самой замечательной биографией, вероятно, во всей мировой литературе»[1] (утверждение, которое трудно оспорить), то одно это обстоятельство оправдывает наш — как сугубо «учёный», так и заботливо от него отмежёванный «обывательский» — интерес (неясно, правда, кто размечал межу).

Но дело ещё и в том, что Достоевский — это мы.

Нам — как роду человеческому — необходимо знать: не посрамил ли нашего имени один из нас — тот, кому было много дано и кто, по общему мнению, составляет соль земли. Сохранил ли он лицо — в радости и в печали, в сиянии славы и под ударами рока, в минуту общественных ликований и в годину гражданских смут? Мы желаем понять — как одолевал он сопротивление жизни и истории, чтобы совпасть с ними в их вечном созидательном деле.

Сказано: познай самого себя. Не потому ли нам так важен Достоевский: не только история текстов, но — больше — история души.

Действующие лица этой книги (или, если угодно, пьесы: документ стоит репризы!) пребывают внутри исторического времени и неотделимы от него. В поисках героя приходилось порой заглядывать туда, куда ещё не ступала бодрая нога *достоевсковеда*.

«Читатели Александра Дюма, — говорит Марк Блок, — это, может быть, будущие историки, которым не хватает только тренировки, приучающей получать удовольствие более чистое и, на мой взгляд, более острое: удовольствие от подлинности»[2].

Как обозначить жанр? Этот нескромный вопрос вызывает у нас робкую краску стыда. Документальный роман? Роман в документах? Кто возьмёт на себя смелость окрестить нашего монстра? Недаром в последнее время проза претерпела мутации, которые не снились

[1] *Гроссман Л.П.* Достоевский на жизненном пути. М., 1928. Вып. 1. С. 5.

[2] *Блок М.* Апология истории, или Ремесло историка. М., 1986. С. 8.

многострадальной мухе дрозофиле. Бесчисленные романы-эпопеи, романы-исследования, романы-хроники и романы-эссе вызвали, наконец, защитную агонию жанра: на свет явились романы-завещания, романы-анекдоты и романы-музеи (кажется, даже романы-саркофаги). Так что в неотдалённом будущем автор, рискнувший вернуться к старой романной традиции, вынужден будет обозначить своё детище как «роман-роман».

Надеемся, определение, на котором мы остановились после долгих раздумий («жизнь в документах»), избавит нас от литературной ответственности в случае провала, равно как той же цели послужит следующее признание.

Один остроумный критик говаривал в эпоху застоя: «Слова — ваши, порядок слов — мой». Приступая к трудам, мы наивно полагали, что сам выбор документов и их композиция есть проявление целенаправленной авторской воли. Как жестоко мы заблуждались! Возвращаясь поутру к письменному столу (после краткого, но укрепляющего сна), мы с горестью обнаруживали, что расположенные нами в строгом порядке источники за ночь покинули свои позиции и предались беззаконным забавам. Некоторые из них, весьма именитые, стушёвывались и теряли всю свою важность; другие, прежде неведомые, подбочась, выступали вперёд. Все они вели себя по меньшей мере двусмысленно. Они аукались, перемигивались, перестукивались и подавали друг другу условные знаки; они налаживали любовные связи и вступали в смертельную вражду; они заключали наступательные и оборонительные союзы. Они шли на беспринципные компромиссы и строили ковы. Они даже плели заговоры против изумлённого подобной наглостью автора, который, вслушиваясь в растущее многоголосие, с трудом начинал понимать: главное в его деле — не количество информации, а объём музыкальных тем.

Учёные друзья настоятельно рекомендовали нам снять библиографические ссылки или хотя бы не указывать номера страниц. Они исходили из того, что отдельные склонные к лёгкой поживе диссертанты, прельстясь благородной доступностью собранных нами фактов, будут заимствовать готовые тексты, не утруждая себя самостоятельными разысканиями. Мы, однако, с негодованием отвергли столь низкое подозрение! Во-первых, точная библиографическая привязка есть одно из условий культурного существования текста и порой даже как бы входит в его духовный состав. А во-вторых, что же дурного, если твой труд будет растащен на цитаты — как, скажем, «Горе от ума»...

Пусть не смущает читателя неодинаковое написание в документах некоторых слов и выражений (таких, например, как «Бог», «Государь» и т. п.). Строчная или прописная буквы отнюдь не являются следствием наших идейных симпатий и антипатий, а лишь бережно воспроизводят орфографию публикаций, которая, как известно, зависела не только от грамматических факторов.

Хотя нам не удалось избежать некоторых, диктуемых объёмом, пропусков и пробелов, нашим идеалом остается максимальная полнота. Читатель не должен пасть жертвой авторских предпочтений! Он вовсе не обязан разделять точку зрения автора. Имея перед собой подлинные свидетельства, он, читатель, волен предложить собственную версию: жанр подвигает к сотворчеству.

Если мы и не призываем читателя немедленно внять совету Честертона (относительно «заклейки» авторского текста), то единственно потому, что не хотели бы лишать себя удовольствия основательно и по-доброму с этим читателем поспорить. То есть осуществить именно ту возможность, от которой автор «настоящих» романов великодушно отказывается: растворив жемчуг исторического факта в вине своего красноречия, он приглашает благодарного слушателя залпом осушить этот волшебный напиток.

Страшась литературного одиночества, мы заранее озаботились тем, чтобы обзавестись компаньоном: ссылка на авторитеты ещё никому не вредила. Так возник тот, кто был почтительно наречён *Чувствительным Биографом* (далее иногда именуемым *Ч.Б.*). Легко догадаться, что указанный персонаж — лицо в высшей степени собирательное. За подлинность приводимых цитат мы, однако, ручаемся головой.

Остается последнее. Возможна ли вообще *биография* — человека, страны, эпохи? Может быть, прошлое невосстановимо и, вызывая оттуда духов (чтобы, как водится, вопросить их о будущем), мы только обманываем самих себя?

Как замечает (в предисловии к «Братьям Карамазовым») наш герой: «Теряясь в разрешении сих вопросов, решаюсь их обойти безо всякого разрешения».

Он, разумеется, шутит.

Глава 1

РОДОСЛОВНОЕ ДРЕВО

Имя собственное

В 1829 г. Пушкин начал «Роман в письмах» — сочинение осталось незаконченным. Герой пишет приятелю: «...я без прискорбия никогда не мог видеть уничижения наших исторических родов; никто у нас ими не дорожит, начиная с тех, которые им принадлежат... Прошедшее для нас не существует. Жалкий народ!»

Для самого Пушкина родовые предания — дело нешуточное. «Любовь к отеческим гробам» — не просто семейное чувство, это ещё и черта исторического сознания и важнейший признак культуры. Пушкин хорошо знал свою родословную, гордился ею и тесно сопрягал свое собственное существование с долгой, уходящей к истокам национальной жизни цепью родственников и предтечей.

Толстой, Лермонтов, Тургенев, в меньшей степени — Гоголь прекрасно помнили своих ближайших и отдалённейших предков. И хотя в отличие от Пушкина указанным писателям редко доводилось прибегать к генеалогическим аргументам, они тем не менее не только ощущали за собой авторитет глубоко укоренённой культурной традиции, но и — над собой — надёжную сень старого родового древа.

У Достоевского — всё иначе.

Его имя было внесено в московские дворянские книги лишь после того, как его отец *выслужил* себе потомственное дворянство. Следовательно, с формальной точки зрения, Фёдор Достоевский должен был числить себя членом привилегированного сословия только во втором поколении. С другой стороны, у него имелись некоторые основания полагать, что он принадлежит к достаточно старому, хотя и не знатному дворянскому роду. Эти предположения нельзя было

подтвердить документально: они основывались на устном предании и на тех указаниях, которые заинтересованное лицо могло почерпнуть из доступных ему источников.

Сам Достоевский ничего не говорит о своих предках.

Его родословная столь же неопределённа, как и «предыстория» многих его героев: намеки, догадки и вероятия играют здесь не меньшую роль, чем твёрдо установленные факты. Достоевский не мог не чувствовать двусмысленности своего социального происхождения: дворянин без солидного генеалогического «стажа» и в то же время — отпрыск упоминаемого в источниках, относящихся к XVI столетию, рода. Не потому ли на каторге, лишённый дворянства, он в своих спорах с поляками будет яростно настаивать на своей принадлежности к сословию — как бы подвергая сомнению по высочайшей воле совершившийся акт? Разумеется, в глазах того, кто получил дворянское достоинство *не из* царских рук, а опирается на древнее родовое право, акт этот не мог иметь никакой моральной и юридической силы.

Редко сходящиеся в своих биографических показаниях Андрей Михайлович (брат) и Любовь Федоровна (дочь) согласно повествуют о литовском происхождении предков. Это справедливо скорее в территориальном, нежели в этническом смысле, ибо боярин Данило Иванович Иртищ (гипотетический предок Достоевского), по-видимому, ведёт своё происхождение от великорусского рода Ртищевых.

Так утверждает Н.П. Чулков — едва ли не единственный, кто всерьёз озаботился изучением дальней родословной героя. Чулков полагал, что первым звеном в этой генеалогической цепи был Аслан Челеби-мурза, выехавший в 1389 г. из Золотой Орды[1], крещённый великим князем московским Дмитрием Донским и женившийся на дочери княжеского стольника Мавре (по другим источникам — Марии) Зотовне Житовой. (Достоевский в рассуждении о предках, павших, как мечталось бы, на Куликовом поле, вряд ли предполагал, что *в его* случае предки могли пасть как с той, так и с другой стороны.) От этого брака и пошёл род Ртищевых, одна из ветвей которого через столетие с небольшим обретает имя Достоевских.

На гербе Ртищевых — к грядущему огорчению блюстителей геральдической чистоты — располагались Луна (полумесяц) и шестиугольная Звезда, что, очевидно, намекало на не вполне православное происхождение владельцев. Впрочем, намёк был уточнён внятным изображением пары вооруженных татар.

[1] Не был ли связан этот выезд с очередным разгромом, учинённым над Золотою Ордою Тимуром — как раз в 1389 г.?

В конце XV в. Ртищевы обнаруживаются под Пинском. Спрашивается: как они там очутились?

После переселения в пределы Московии Аслан Челеби-мурза (он же новокрещёный муж Прокопий) получает в кормление городок Кременец. Это наследственный удел князя серпуховского и боровского Владимира Андреевича, отличившегося недавно на Куликовом поле, двоюродного брата Дмитрия Донского. Потомки Прокопия — Ртищевы — надо полагать, принадлежат к ближайшему окружению удельного князя.

...В 1456 г. князь серпуховской и боровский Иван Васильевич (потомок Владимира Андреевича) отъезжает в Литву, не поладив с великим князем московским Василием Васильевичем Тёмным. Великий князь литовский и король польский Казимир IV Ягайлович жалует беглеца княжеством Пинским.

Перемещения такого рода — из Московии в Литву и из Литвы в Московию — не рассматривались как государственная измена. Казалось бы, князь Иван Васильевич осуществлял законное «право отъезда»: вассал менял своего сюзерена. Границы открыты; свобода передвижений — непредставимая в позднейшие времена. Сменить страну проживания гораздо проще, чем, скажем, Богом данную супругу. Правда, по мере усиления государственного могущества крепнет и государственное сознание. Спустя какую-нибудь сотню лет бегство Курбского (воеводы, оставившего войско!) воспринимается однозначно.

Но, оказывается, и в XV в. всё не так просто. Князь Иван Васильевич не *отъезжает*, а покидает родину: тайно, поспешно и — навсегда. Его отец Василий Ярославич, который в 1446 г. сам отъезжал в Литву, дабы собрать там силы для возвращения на московский престол свергнутого Дмитрием Шемякой великого князя Василия Тёмного, ныне попадает в немилость. По приказанию того же Василия Тёмного его заточают в темницу в Угличе — вместе с тремя малолетними сыновьями от второго брака. Старший же сын, Иван Васильевич, не дожидаясь подобной участи, спасается бегством[1].

Итак, Иван Васильевич при весьма драматических обстоятельствах оказывается в Литве. Возможно, ему сопутствуют «ближние люди» Ртищевы, которые пускают корни на новом месте.

6 октября 1506 г. (ровно через полвека) сын Ивана Васильевича, князь пинский Фёдор Иванович Ярославич, жалует своему боярину

[1] Подробнее см. комментарии Д.Л. Башкирова в кн.: Хроника рода Достоевских. Под ред. И.Л. Волгина (руководитель проекта). *Игорь Волгин.* Родные и близкие. М., 2013. С. 19–24 (далее: Хроника рода Достоевских).

Даниле Ивановичу Иртищу «вечно и непорушно» несколько дворов в селе Достоеве[1]. В этом названии легко прочитываются корни таких слов, как «достоинство» и «достоянье»: как кому угодно.

«ДОСТОЙ», — читаем у В.И. Даля, — ...приличие, приличность, соразмерность, сообразность; чего стоит человек или дело, по достоинству своему»[2]. В XIX в., очевидно, острее, чем в нынешнем, ощущали это смысловое родство. Литературные противники Достоевского нарекли его в одном из фельетонов говорящей «антифамилией» — Недостойный.

Откуда же взялось название села, давшее начало фамилии?

...Близ урочища Городного, резиденции одного из местных князей, находилось село, поставлявшее людей в княжескую обслугу. Их, может быть, не без скрытой насмешки, величали *достойниками*[3]. Разумелось, что почтённые этим званием люди достойны прислуживать своему господину. В отличие, скажем, от обитателей села Смердячего, которые именовались смердами и, само собой, должны были уступать дорогу горделивым достойникам[4].

Достоево — Смердячее: эта антонимическая пара не может не поразить слух.

Автор «Братьев Карамазовых» знал о существовании села Достоева. Имелись ли у него сведения о соседнем Смердячем, сказать трудно. Но если собственная память романиста подсказала ему название, знакомое с детства (Чермашня — именно туда хлопочет Смердяков спровадить брата Ивана), почему бы не допустить, что память родовая шепнула имя одного из героев? Не таятся ли в прозвании сына Лизаветы Смердящей отголоски давней *соседской* вражды?

Отсюда, из-под Пинска, пошел род Достоевских.

---

[1] Д.Л. Башкиров полагает, что Данила Иванович — потомок тех Иртищей, которые остались в Литве после 1446 г., когда князь Василий Ярославич вернулся в Москву (т. е., возможно, они местного белорусского происхождения).

[2] *Даль В.И.* Толковый словарь живого великорусского языка. Т.I. СПб.–М., 1880. С. 479.

[3] Очевидно, по аналогии с польским dostoinik — сановник, приближённый государя.

[4] Эту местную легенду приводит И.П. Шпандарук в своей книге «Достоеускі і Беларусь» (Мінск, 1975. Стар. 52). В советское время — в связи, по-видимому, с общей тенденцией к облагораживанию названий — село Смердячее было переименовано в *Красиевку*.

«Епископ Стефан» и мужеубийца Марына

Итак, белорусское Полесье: «огромный, полный тайн край в самом центре Европы». Глухие, почти непроходимые леса (в годы последней войны укрывавшие целые партизанские армии), необозримые болота, ширь, высота, простор... Полноводное течение Припяти, вобравшей в себя сотни рек и речушек... «Край этот, — говорит современный автор, — всегда казался загадочным, затерянным миром, постоянно манящим воображение иноземцев...»[1].

А вот и свидетельство одного из них — неутомимого в своей любознательности Сигизмунда Герберштейна: «Литва чрезвычайно лесиста; в ней имеются огромные болота и множество рек...»[2] Наблюдение, относящееся к 1549 г., не устарело до сих пор. Уточнения требует только понятие «Литва».

«Мы, Достоевские, литовцы...», — говорит дочь Ф.М. Достоевского Любовь Фёдоровна. Кто будет спорить: Пинск и его окрестности входят в состав Великого княжества Литовского. Но Ртищевы, как помним, связаны с Московией: какая культура стала для них родной? В католическо-православной (с 1596 г. отчасти униатской) Литве они говорят и пишут по-русски, по-польски, но более всего, очевидно, на том местном наречии, которое, получив впоследствии учёное имя «старобелорусский язык», не очень сильно отличается от основного истока.

«Но вот вышел на эстраду небольшой сухонький мужичок, мужичок захудалый, из захудалой *белорусской* (подчеркнуто нами. — *И. В.)* деревушки»[3], — так передаёт свои впечатления воспоминатель, наблюдавший автора «Карамазовых» в последний год его жизни. Разумеется, мемуарист слыхом не слыхивал ни о каком селе Достоеве: он лишь подмечает резко обозначенный этнический тип[4].

Родословная героя темна, обрывочна, неполна, хотя существуют указания, что «материалы к истории рода сохранились богатейшие».

В 1933 г. в Москве тиражом 1500 экземпляров вышла уникальная книга М.В. Волоцкого «Хроника рода Достоевского». Одна из загадок этой книги состоит в следующем: каким образом удалось ей явиться на свет?

---

[1] *Лабынцев Ю.А.* В глубинном Полесье. М., 1989. С. 7.

[2] *Герберштейн С.* Записки о Московии. М., 1988. С. 192.

[3] *Поссе В.А.* Пережитое и передуманное. Л., 1933. С. 73.

[4] Эта генотипическая устойчивость прекрасно видна и в чертах ныне здравствующего правнука писателя, любимого нами Дмитрия Андреевича Достоевского.

Обладая всеми необходимыми признаками «чистой научности» и оперируя, казалось бы, безразличными к утвердившейся политической реальности генеалогическими понятиями, книга всем своим строем и смыслом из этой реальности выпадала. Она тяготела скорее к тем историко-культурным изданиям 20-х гг., в которых еще сохранялся дух свободного научного исследования. Постепенно изгоняемый из области гуманитарного знания, он, этот дух, был еще терпим в сфере естественнонаучной и прикладной. Книга М.В. Волоцкого, насыщенная «нейтральной» медицинской терминологией (хотя и относящейся по преимуществу к психическому миру индивида), успела проскочить в следующую эпоху, которая в пору своего зрелого цветения наложит твёрдую государственную руку на весь универсум.

В своей работе М.В. Волоцкой впервые сформулировал (и в известном смысле решил) несколько фундаментальных задач.

Во-первых, он с величайшим прилежанием попытался реконструировать родословное древо Достоевских (в нашем очерке мы во многом опираемся на приводимые им источники, часть из которых была предоставлена ему Н.П. Чулковым) — начиная с весьма неясных фигур, относящихся к XIV в., и заканчивая лицами, с которыми автор свёл личное знакомство (то есть здравствующими на рубеже 1920-х — 1930-х гг.). Упорядочение по горизонтали и вертикали, систематизация во времени и пространстве выявленных родовых связей — одного этого хватило бы, чтобы книга М.В. Волоцкого сделалась незаменимым пособием для всех занимающихся «родословными разведками» — историков, литературоведов, генетиков и т. д.

Однако автор «Хроники» этим не ограничился. В соответствии с представлениями и возможностями тогдашней науки он дал подробную медико-биологическую характеристику многочисленных представителей рода. И хотя некоторые наблюдения и выводы исследователя (Волоцкой по своей узкой специальности был антрополог) представляются ныне спорными, неполными и нуждающимися в существенных уточнениях, сама направленность его усилий заключает в себе важный урок.

Данные, впервые обнародованные Волоцким, позволяют усомниться в известной гипотезе, согласно которой художественный талант всецело зависит от генетической предопределённости.

Разумеется, наследственность не может не оказывать могущественного воздействия на характер творца. Да и сам художник, очевидно, передаёт некоторые свои человеческие черты ближайшим и отдалённым потомкам. Но к самому акту творчества всё это, строго говоря, не имеет прямого касательства. Скажем, зная всё, что сообщает Волоцкой о представителях рода, вряд ли можно соотнести эту ценную информацию с особенностями творческого процесса автора «Преступления и наказания». Генеалогия мало что даёт в плане «вычисления» самого Достоевского. Приходится примириться с тем, что простая комбинация биологических и социальных факторов не в состоянии породить гения: он всё ещё относится к области непредсказуемых явлений.

Но собственно такой цели не преследует Волоцкой. Высокая ценность его работы заключается в том, что, взяв в качестве объекта исследования достаточно древний (со стороны отца Достоевского) и в то же время «типичный» дворянский род, автор на большом историческом материале прослеживает его судьбу. При этом он констатирует сохранение в череде поколений, принуждённых жить в сложных социальных, национальных и конфессиональных условиях, не только основных черт русской ментальности, но и сбережение «природного» языка. В случайной игре слепых исторических сил появление Достоевского выглядит совсем не случайно: всеми своими корнями и сутью он связан с общей национальной судьбой.

И если, как нам уже неоднократно приходилось говорить, сам Достоевский в известном смысле есть наш национальный и культурный архетип, своеобразная «модель» русской истории[1], то и та почва, на которой взросло это родовое древо, оказывается удивительным образом приуготована для того, чтобы дать такой замечательный плод. За спиной автора «Братьев Карамазовых» маячит длинная череда землепашцев, воинов, торговых людей, лиц духовного звания (среди которых затесался и *песнопевец*) — то есть как бы просматривается вся толща национальной жизни. Генетическая необходимость, совокупляющая эти глубинные бродящие силы в одном из представителей рода, соперничает здесь с необходимостью исторической.

Пропусти эту главу, нетерпеливый читатель! Она, несомненно, тебе наскучит, а пожалуй, и раздражит. Ведь ты — не пытайся уверить нас в обратном! — не внесён в родословные книги (хорошо, если значишься в домовых). Для удовлетворения собственных геральдических амбиций тебе вполне хватает государственного герба. О сво-

[1] См., например, наши книги «Колеблясь над бездной. Достоевский и русский императорский дом» (М., 1998), «Пропавший заговор. Достоевский: дорога на эшафот» (М., 2018) и «Возвращение билета. Парадоксы национального самосознания» (М., 2004).

их ближайших предках ты можешь сказать, что они состояли членами профсоюза: это единственный твёрдо установленный факт.

Что, однако, происходит в старом Полесье?

Король польский и великий князь Литовский нередко совоплощаются в одном лице — до тех пор, пока Люблинская уния 1569 г. не сделает такое положение обязательным. Возникшая вновь держава, Речь Посполитая, с выборным королём, сеймом и двумя столицами, городами Краковом и Вильно, объединит территории от Балтики до турецких границ.

Но ещё раньше, в 1520 г., князь пинский, умирая бездетным, завещал свой удел польскому королю. Сигизмунд I Старый (1506–1548), в свою очередь, подарил город Пинск любимой супруге, королеве Боне Сфорца. С тех пор земли эти входят в состав не очень стабильного, часто меняющего свои очертания польско-литовского государства.

Потомки Данилы Ивановича прикупают и проматывают имения, служат королю, вздорят с соседями. Они расселяются всё дальше от Пинска; колеблются в вере; делают карьеру; теряют всё... Буйно ветвится родовое древо: многое тонет в его тени...

Блуждая в генеалогических потёмках, нетрудно и заблудиться. Так, автор Легенды о великом инквизиторе (разумеется, истинный автор, а не Карамазов Иван!) полагал, что Стефан Иванович Достоевский, внук Данилы Иртища — его по прямой линии предок и родоначальник православной ветви фамильного древа. Сокрушителю «католической идеи» льстило это родство. Любовь Фёдоровна гордо именует вышеуказанного Стефана монахом и архиепископом: он не был ни тем и ни другим. Как выясняется, «земянин[1] минский» — даже «не греческого исповедания», и в 1624 г. он (или его тёзка[2]), вернувшись из турецкого плена, повесил серебряные цепи перед образом «Матки Боски» во Львове[3].

(Его дальний потомок, разумеется, не соблюдал этот католический обычай — вешать перед иконой-целительницей изображения исцелённых членов и символы перенесённых страданий. Иначе, вернувшись с каторги, он нашёлся бы отблагодарить Провидение материально — отливкой, скажем, пары серебряных кандалов.[1])

[1] Землевладелец шляхетского происхождения (польск.).

[2] Имя Стефана Достоевского упоминается в документах с 1577 по 1624 год, и в принципе оно могло принадлежать разным лицам.

[3] В то же время высказывается мнение, что Стефан Достоевский всё же не был католиком и квалификация его в этом качестве — результат передёргиваний и внутрицерковной борьбы (см. указанные выше комментарии Д.Л. Башкирова). Вопрос о его конфессиональной принадлежности остаётся открытым.

Очевидно, тому же Стефану Достоевскому помимо турецкого плена выпало пережить и другую драму, о которой поведал нам М.В. Волоцкой. Дочь Стефана — Марына Стефановна была обвинена в убийстве своего мужа (которое совершилось при помощи наёмного убийцы, по-видимому, любовника Марыны — Яна Тура), в подделке завещания покойного и в покушении на убийство пасынка. После долгого судебного разбирательства Марыне, равно как и её сообщнику, вынесли смертный приговор. Пока главный королевский трибунал утверждал решение первой инстанции, эта, по тонкому замечанию биографа, «леди Макбет Пинского повета» успела вторично выйти замуж (вопреки нашим романтическим ожиданиям — вовсе не за Яна Тура), и её новый супруг просил короля о милосердии. Король отсрочил казнь на двенадцать недель.

В семейной хронике Достоевских встречаются, как видим, шекспировские характеры и сюжеты.

Впрочем, эта леденящая кровь история заслуживает и прозаических размышлений.

Процесс Марыны (1606–1609), как думается, был современниками отмечен. Само преступление выглядело экстравагантно и даже, смеем это заметить, *модно*. По Литовским статутам 1566 и 1588 годов, муже- и женоубийство приравнивалось к убийству матери или отца. Польские моралисты не упустили случая пройтись по поводу этих внутрисемейных узаконений, с прискорбием отмечая общее падение нравов. Но и наказание предусматривалось не из слабейших: преступника вкупе с псом, петухом, «ужом» (змеей) и котом зашивали в кожаный мешок, после чего благополучно топили (как выражено в законе, пускали «в глубину водную»).

[1] В 1624 году были освобождены— после длительных переговоров с турецким султаном — поляки, захваченные в плен во время польско-турецкой войны 1620—-1621 годов (главным образом — в результате страшного разгрома совместных польско-молдавских сил в битве при Цецоре 7 октября 1620 года, когда турки пленили цвет польского воинства). Из числа мирного населения в полон для продажи на стамбульском базаре турки уводили женщин и детей. Сохранилось драматическое описание того, как в 1620 году осаждённые в крепости поляки под командованием великого коронного канцлера С. Жолкевского вынуждены были бессильно наблюдать ведомый мимо стен крепости полон — некоторые узнавали в идущих своих жён и детей. Стефан Иванович, уже немолодой и, очевидно, состоятельный человек, мог быть захвачен в плен и на поле брани, и на домашнем одре. Жизнь ему могли сохранить только в надежде на выкуп, каковой и был уплачен за пленных по мирному договору 1623 года.

Процесс Марыны тянется несколько лет: не так-то легко решиться присудить женщину к столь мучительной казни. Возможно, король смягчил приговор, и она — как шляхтянка — подверглась благородному отсечению головы.

Любопытна и драматическая — на двенадцать недель — отсрочка. Чем вызвана подобная милость?

Согласно закону, отсрочка полагалась беременной — до рождения ребёнка: затем приговор вступал в законную силу[1]. На установление же самого факта беременности отводились, по-видимому, названные в королевском указе двенадцать недель.

Родила ли Марына? Или на ней пресеклась эта линия рода?

XVII в. буквально заполнен Достоевскими: их имена на страницах Литовской метрики возникают неоднократно. Правда, степень их взаимного родства трудноопределима. Само происхождение документов связано лишь с теми или иными конфликтами и инцидентами, в которые оказываются вовлечёнными представители рода. Тем не менее попытаемся осторожно распутать отдельные связи и опознать в пёстрой толпе хотя бы несколько лиц.

Из числа своих предков Достоевский называл (и, видимо, знал — насколько можно судить по воспоминаниям родных) только два имени: Петра и Стефана. О Стефане уже шла речь. Остановимся на Петре.

Пётр Достоевский — фигура заметная. В 1619 г. Пётр Сасинович, правнук Данилы Ивановича, первовладельца села Достоева, занимает важную во всех отношениях должность: члена Главного трибунала Великого княжества Литовского от города Пинска.

...От города Пинска...

Семена раздора

Достоевские обитают не только в своих сельских вотчинах. Они не пренебрегают удобствами городской жизни. Так, Иван и Семён Даниловичи (сыновья Данилы Ивановича) владеют в Пинске собственными домами — на главной площади Старый Рынок и на Городисской

[1] Этот вид юридической гуманности не претерпел особых изменений на протяжении веков. После процесса первомартовцев (1881) одну из приговорённых к смерти народоволок, Гесю Гельфман, признали беременной, и казнь её была отложена. (Позднее под давлением мировой общественности царь смягчил приговор. Г.М. Гельфман и её ребёнок умерли в заключении.)

улице неподалёку от православной церкви святого Фёдора Тиронского (который, кстати, будет небесным покровителем Фёдора Достоевского). Эти сведения относятся ещё к XVI в., когда, если верить старинным описям, город Пинск переживал пору расцвета. Деревянные и каменные строения, замок, двадцать семь улиц и около восьмисот усадеб — это, конечно, не Париж, но, с другой стороны, и не какое-нибудь местечко. Четырнадцать церквей «греческого закона» и два православных монастыря не оставляли сомнений в том, какая именно вера господствует в крае — накануне церковной унии. Казалось бы, пока Запад раздираем религиозными войнами, Восток пользуется благами веротерпимости: францисканский и доминиканский монастыри в городе Пинске мирно вписываются в православный ландшафт.

Картина обманчива: к бочке с порохом уже поднесён фитиль.

Так начинают звучать в нашем рассказе первые зловещие громы. Ещё восстанет брат на брата; ещё возгорится свирепая рознь, дикая нетерпимость, вековая кровавая вражда.

«И клянущиеся именем Божиим обагрят руцы свои...»

Уния — детище того вероисповедного компромисса, который был достигнут в 1596 г. на Брестском соборе. Часть православного духовенства, поддавшись долгим внушениям Рима, согласилась покончить с церковной схизмой, древним разъединением церквей. Епископ острожецкий и луцкий Кирилл Терлецкий (неосторожно возведённый константинопольским патриархом в сан экзарха Западной Руси) и митрополит киевский Михаил Рагоза (принявший сан из рук того же владыки) вовсе не собирались хранить византийское наследство: уместно предположить, что им был милее святейший престол[1].

Но может быть, для многих православных прихожан уния была единственной формой религиозного выживания? Может быть, мыслимый в перспективе синтез восточной и западной культур избрал своим опытным полем Белоруссию и Украину? Или, наконец в этой ранней экуменической попытке сказалась тайная мечта о будущем примирении церквей?

Во исполнение Брестской унии местная православная церковь признавала главенство римского папы (пункт самый капитальный)

[1] Именно к Михаилу Рагозе перешёл от Стефана Достоевского Минский Вознесенский монастырь. И если Стефан лишился монастырских доходов якобы из-за непринадлежности к «греческой вере», то его православный преемник Михаил Рагоза предпочёл, так сказать, сокрушить эту веру изнутри.

и католический символ веры. При этом она сохранила православную обрядность и церковнославянский язык для своих богослужений.

Это означало раскол. Разумеется, ни Москва, ни Константинополь не признали случившегося. Да и значительная часть православных мирян отвергла унию.

Относительный религиозный покой был потрясён. Уния накалила страсти и ожесточила умы.

Раскололось и православное панство. Одни предпочли «чистое» католичество двусмысленной принадлежности к греко-католической церкви. Другие остались верны вере отцов. Третьи — и таких было немало — приняли предложенный симбиоз. Старея, уния сама становилась «отеческой верой». Игнорирование этой духовной реальности порождало немало драм — вплоть до самых последних времён.

Очевидно, не лишено справедливости мнение, что, оказавшись в зоне напряженного противоборства трёх соперничающих исповеданий, Достоевские испытывают значительное воздействие польской культуры: возможно, некоторые из них переходят в «латинскую» веру. Характерно при этом, что большинство представителей рода — независимо от веры — подписывается по-русски.

Пётр Сасинович Достоевский подписывается по-польски.

Вот уже сорок лет, как король Стефан Баторий даровал Пинску магдебургское право: выборы, суд, магистрат. О сладость феодальных свобод, нерушимость городских прав, скромные цветы самоуправления! Город обретает собственный герб: золотой лук с вложенной в него стрелой.

Куда она залетит? — спросил бы философ.

В 1627 г. Петр Сасинович — пинский городской судья, а в следующем — маршал (маршалк) Пинского повета. Иначе — предводитель шляхты и начальник воинских сил. В этом качестве и покорствуя королевской воле, он передает православную церковь св. Фёдора в Пинске униатскому епископу Григорию, что исторгает негодующий вопль из груди утеснённых прихожан. Но может быть, этот шаг помог Петру Сасиновичу восстановить симпатии местных отцов францисканцев, утраченные им в бытность комиссаром (уполномоченным сейма) по размежеванию земель — когда, как можно догадаться, он несколько урезал владения нищенствующей братии святого Франциска? С другой стороны, не свидетельствует ли равномерное утеснение католиков и православных в пользу того, что сам Пётр Сасинович был униатом?

Мы, однако, не вполне справедливы. В правовом государстве, каковым является Речь Посполита, идейные влияния хотя и важны, но не играют решающей роли. Как-никак, существует закон. Любой гражданин находится под его защитой. Поэтому нет для благородного шляхтича большего удовольствия, чем вчинить судебный иск зазевавшемуся соседу. Он, истец, знает свои права! Но и ответчик умеет пользоваться ими! Развитой феодализм — неплохой юридический факультет: в отличие, скажем, от ещё более развитых формаций...

Склонность к судейству — наследственная черта Достоевских: так посчитали бы мы, если бы не знали мотивов. Ибо суд — есть право и обязанность каждого дворянина: настоящий шляхтич должен владеть не только саблей, но и параграфами закона. И Достоевские лишь исполняют обычный шляхетский долг. Это столь же для них необходимое ремесло, как, скажем, защита отечества. В благоустроенном государстве каждому ведома его роль. Она отвечает теории «трёх сословий»! Духовенство молится, рыцарство сражается, простолюдины трудятся, хранимые молитвами первых и мечами вторых. Но над всеми простирает свою руку равнодушный закон. «Pereat mundus et fiat justitia»[1].

В 1630 г. сын Петра Сасиновича[2], Бенедыкт Петрович, вместе со своим родственником Филоном разбирают дело о волшебстве. Любопытно бы знать, чем закончился процесс.

Упомянутый Филон встречается ещё в записях 1627 г.: он фигурирует там в качестве приятельского (третейского) судьи со стороны пинского униатского епископа Григория (того самого, в чьё распоряжение передаст Пётр Сасинович православную церковь). Епископ ведёт тяжбу с подстаростой пинским Миколаем Ельским, коий, в свою очередь, обвиняет епископского мещанина в краже.

Неизвестно, выиграл ли тяжбу Филон: о нём более не говорится ни слова. Но имя Ельских всплывает ещё не единожды — причём порой при весьма драматических обстоятельствах.

---

[1] «Пусть погибнет мир, но свершится правосудие» *(лат.)*.

[2] Некий Пётр из Достоева упоминается ещё в документах 1632 г.: родовым гнездом всё ещё владеют прямые потомки Данилы Ивановича. М.В. Волоцкой полагает, что это — не Пётр Сасинович, а его внук Пётр Бенедыктович.

Незадолго до 1634 г. двое Достоевских — Щастный (по-видимому, внук Ивана Даниловича Иртищевича) и сын его, Андрей Щастнович, обвиняются — как соучастники — в убийстве помянутого Миколая Ельского, войского[1] и подстаросты пинского, в «посечении» двух его слуг, а также Томаша Ельского — очевидно, родственника убитого. Неясно, что послужило причиной конфликта. Ещё менее ясен приговор.

Андрей Щастнович вместе с отцом осуждаются к лишению всех прав состояния и изгнанию. Но 29 августа 1634 г. король милует отца и сына Достоевских, а вместе с ними других участников дела, запрещая в своём указе кому бы то ни было попрекать их прежними их деяниями.

Подобная развязка не может не вызвать недоумения.

Вспомним, что никакие усилия не смогли спасти мужеубийцу Марыну Стефановну от руки палача. Правда, тогда были попраны брачные, освящённые церковью узы. Но и вообще умышленное убийство каралось чрезвычайно строго. В данном случае мягкость приговора можно было бы, по-видимому, объяснить тем, что Миколай Ельский пал в драке, то есть стал жертвой неумышленных действий. Но почему король «снимает судимость» с отца и сына Достоевских? Не содержится ли здесь указания на то, что сам их поступок, хотя и повлёк за собой превышение власти, был вынужден какими-то *государственными* соображениями?

Допустим, однако, что убийство Ельского —дело сугубо частное. Тогда непонятно, почему убийцы присуждены к изгнанию и лишению прав: ведь можно было отделаться положенным по закону штрафом («головщиной»). Скорее всего, ответчики не явились на суд. В королевском указе 1634 г. содержится косвенный намёк на то, что они опасались «попрёков». Какова, однако, тонкость натуры! Или, может, это вполне оправданный страх? На условном языке эпохи «попрёк» мог означать и кровную месть. Родственники убитого (люди весьма влиятельные, как мы ещё убедимся ниже) не стали бы церемониться с убийцами. И в правовом государстве возможен, увы, внесудебный летальный исход.

Что же могло спасти виновных?

В романах Генрика Сенкевича, этой энциклопедии шляхетской жизни XVII в., можно найти один занятный сюжет[2].

[1] Воинский чин в польском феодальном ополчении.

[2] Заметим, что исторический эпос польского романиста основан не только на его богатом художественном воображении, но и на громадном количестве первоисточников.

Главный герой «Потопа» шляхтич Кмитиц (кстати, тоже «литвин» и тоже Анджей) обвиняется в «посечении» целого рода, в сожжении и разорении усадьбы и в других явных злодействах. Его ждёт суд, громадный штраф, а возможно, и казнь. Куда деваться?

И тут, к счастью, является спаситель: пан Володыёвский, «первая сабля Речи Посполитой» — с грамотой от великого гетмана Литовского Януша Радзивилла. Кмитицу приказано срочно явиться в войско, на княжескую службу. Никто не смеет попрекать его прежними провинностями, пока он сражается под гетманскими знаменами. А там... А там — видно будет: что выслужит Кмитиц своей шляхетской саблей (тоже не последней среди ей подобных). Герой выслуживает прощение — и благодарный король прижимает его к своему королевскому сердцу.

Итак, «Ендрусь» полностью оправдан: не только в глазах короля, друзей и любимой девушки, но — что не менее важно — в глазах читателей.

У нашего «Ендруся» (Андрея, Анджея) и у его отца тоже не было выбора. Лишь защита отечества могла избавить их от уголовного преследования со стороны государства и мести со стороны частных лиц. Тем более что возможности к спасению открывались немалые. На юге князь Иеремия Вишневецкий, легендарный «Ярёма», железной рукою правит своим беспокойным уделом: его владения составляют своего рода status in statu[1]. К нему со всей Польши стекаются лихие люди — нарушители королевского мира, беглые крестьяне, просто искатели приключений. Всех, кто владеет мечом, в Лубнах без лишних расспросов принимают на службу.

Здесь, в степном пограничье, слишком явственна близость Дикого Поля, слишком отчётлив скрип басурманских телег. Лучше поэтому не интересоваться прошлым пришлецов.

На востоке меж тем неспешно погромыхивает Смоленская война.

Она окончится как раз в тот год, когда король издаст указ о прощении отца и сына Достоевских. Как не хотелось бы думать, что они заслужили королевскую милость такою ценой. И кто осудит Чувствительного Биографа (известного более как Ч. Б.), когда он — из лучших, разумеется, побуждений — старается разглядеть в закордонных предках великого русского писателя их, так сказать, партизанскую суть: трехсотлетнее их томление о приходе *своих*. Нас, признаться,

[1] Государство в государстве *(лат.)*.

утешает другое. Мы довольны уж тем, что ни один Достоевский не упомянут в документах Смутного времени. (Хотя, говоря откровенно, нахождение под вражьими стягами представителей рода не умалило бы в наших глазах самого героя: сын, как известно, за отца не ответчик). Будем надеяться, что Достоевских не было ни среди тех, кто вместе с Лжедмитрием был истреблён в Москве 17 мая 1606 г.; ни среди тех, кто осаждал Троицу; ни среди тех, кто жрал человечину в Кремле, осаждённом войсками Минина и Пожарского. Лучше бы чаша сия миновала их...[1].

Лишь защита отечества могла избавить от уголовного преследования. Недаром король издаст указ о прощении отца и сына Достоевских в год окончания Смоленской войны.

Достоевские не всегда ладят с законом. Историк рода объясняет это буйным родовым нравом. Уместно всё же указать и другие причины.

Через пятнадцать лет после помилования Андрея Щастновича в документах снова всплывает знакомое имя. Андрей, будучи хорунжим поветовой хоругви (подразделение в рыцарском войске, соответствующее роте) Волынского воеводства, обвиняется вместе со своими солдатами в разорении местечка Острожца и насилиях, учинённых над обывателями — как христианами, так и евреями.

Тут мы вместе с Ч. Б. вздохнём облегченно: разумеется, не из-за указанных безобразий, а потому, что нахождение Андрея Щастновича в составе волынского войска лишний раз убеждает нас в том, что он и его родитель действительно направились к югу. Они, видимо, и обосновались там, не надеясь на силу королевского заступничества. Впрочем, здесь, на Волыни, волнуя душу, стоит и родная — Пинская! — хоругвь. И служит в ней Филипп Достоевский — вне всякого сомнения, родственник беглецов. Да, кстати, и родственный почерк: сыновья уржендовского старосты Речицкого

[1] Тем более что русские события захватывают многих польских дворян. В мае 1606 г. в Москву на помощь Самозванцу явился отряд «пятигорцев» — мелких белорусских шляхтичей. (См.: Записки Г. Паэрле //Сказания современников о Дмитрии Самозванце/Сост. Н. Устрялов. СПб., 1859. Т. 1. С. 166). В марте 1607 г. на инструкционном сеймике в Пинске поветовая шляхта постановила: «Во время настоящего мира паны послы с другими их благородиями должны всячески измыслить, как бы успокоив внутренние смуты и заручившись миром с посторонними, всеми силами отмстить им (т. е. Москве) за это оскорбление Его Королевского Величества и всей Речи Посполитой, за пролитие крови братьев наших, за избиение и пленение их, ограбление их имущества, и вообще за поношение, какого наш народ никогда ни от кого не переносил». (В кн.: *Гиршберг А.* Марина Мнишек. М., 1908. С. 142–143). Не было ли среди убитых в Москве «братьев» –земян Пинского повета?

вчиняют Филиппу иск о возмещении убытков в связи с разграблением их имущества и нанесением их крестьянам неспровоцированных, как ныне выразились бы, побоев. Не пора ли унять молодцов?[1]

Две однотипные акции, совершённые Андреем и Филиппом Достоевским, действительно могут навести на мысль о буйстве их природного нрава и, так сказать, фамильной наклонности к противоправным деяниям. Однако подобное впечатление возникнет только в том случае, если означенные факты расположить, как это делает М.В. Волоцкой, вне исторического контекста. Но стоит лишь пристальнее вглядеться — и пространство тотчас наполнится конским топотом, гулом сражений и дымом пепелищ.

Ибо на дворе 1649 год.

Смутное время Речи Посполитой

В этом году в Лондоне взойдёт на эшафот Карл I Английский: вместе с короной революция потребует и королевскую голову. А на другом конце Европы, в Москве, Земский собор, созванный царём Алексеем Михайловичем, примет новое Уложение: самодержавная власть станет ещё самодержавнее.

1649 год: Речь Посполитая охвачена смутой.

Правда, всё началось несколько ранее.

Поговорим о пользе сравнений.

Пока бородатые компаративисты ищут литературные параллели, последние норовят пересечься за их спиной. Можно ль постигнуть, кто на кого влиял? Писатели имеют обыкновение прогуливаться парами: неделикатно прислушиваться к их задушевным речам. О чудо нечаянных совпадений, о дивный шёпот признаний, о тайное колебание струн!

«Год 1647 был год особенный, ибо многоразличные знамения в небесах и на земле грозили неведомыми напастями и небывалыми событиями.

[1] Сделать это тем более необходимо, что здесь таится, прямо скажем, родовая неблагодарность. Ведь не кто иной, как уржендовский староста Жечицкий (Речицкий) ездил в 1621 г. к турецкому султану — хлопотать об освобождении польских пленных, в числе коих, как помним, был и многострадальный «архиепископ Стефан». (См.: Османская империя в первой четверти XVII века. М., 1984. С. 72.) Неужели спустя четверть века эта услуга уже забыта его родными?

Тогдашние хронисты сообщают, что весною, выплодившись в невиданном множестве из Дикого Поля, саранча поела посевы и траву, а это предвещало татарские набеги. Летом случилось великое затмение солнца, а вскоре и комета запылала в небесах. Над Варшавою являлись во облаке могила и крест огненный, по каковому случаю назначалось поститься и раздавали подаяние, ибо люди знающие пророчили, что мор поразит страну и погибнет род человеческий».

Этими словами начинается книга. Оборвём цитату и обратимся к другому роману — тоже к начальным его строкам.

«Велик был год и страшен по Рождестве Христовом 1918, от начала же революции второй. Был он обилен летом солнцем, а зимою снегом, и особенно высоко в небе стояли две звезды: звезда пастушеская — вечерняя Венера и красный, дрожащий Марс».

Листал ли молодой Михаил Булгаков романы Генриха Сенкевича? Трудно предположить иное, ибо книги эти в плотных тиснённых золотом переплётах стояли на полках в каждой интеллигентной семье. Знаменитая трилогия Сенкевича вряд ли могла миновать внимание автора «Белой гвардии». Тем более что содержание этой трилогии — гражданские смуты и иноземные нашествия, то, чего Украина — в таком объёме — не знала с середины XVII в. по 1918 г.

Впрочем, можно указать один общий источник. Это — Апокалипсис, «откровение в грозе и буре». Это его величественный и грозный ритм равно откликнется в польской и русской прозе.

Булгаков — житель тех самых мест, где совершается действие первой книги трилогии — «Огнём и мечом». Не названный по имени Город булгаковского романа подпёрт всё тем же диким простором.

Что происходит здесь в 1649 г.?

Почти вся Украина сделалась полем раздора. По меньшей мере, три государя готовы милостиво принять её под свой покров. Богдан Хмельницкий, как это и запечатлено в монументе, указывает булавой на Москву. Под его знамёна стекаются толпы казаков и «хлопов», жаждущих воссоединиться с единоверцами. Гетманские посланцы спешат к царю Алексею Михайловичу. Как всегда, *бурлит* Запорожская Сечь.

Правительство Речи Посполитой, естественно, не желает терять обширную и богатую часть государства. Шляхта призывается на коня. В числе прочих поветовые хоругви Литвы и Волыни двинуты на подавление мятежа.

Что означают в этой связи жалобы на действия Достоевских? Только ли их тяжелый нрав причина тому? Незаконные реквизиции, притеснения мирных жителей, грабёж и разбой — ситуация всегда повторимая там, где проходит войско. Местное православное насе-

ление (крестьяне и мещане) — ближайший объект этих походных самоуправств. Что же касается евреев, было бы странным, если бы в настоящем случае их обошли.

Однако грабят не только Достоевские. Сами они тоже терпят ущерб.

В том же 1649 г., как свидетельствуют архивы, имущество Романа Бенедыктовича (внука нашего пинского знакомца Петра Сасиновича) было развезено по домам окрестными поселянами. Хроникёр рода, бесстрастно сообщая об этом факте, никак не комментирует его и не связывает с какими-то внешними обстоятельствами. Между тем нелишне спросить: что подвигло мирных тружеников на подобную дерзость?

...Когда в биографию входит история, тогда прекращается хаос и многие вещи, кажущиеся случайными, занимают свои места. Можно сказать и так: генеалогическое древо жаждет живой воды. Не укоренённое в почве, оно превращается в сухой и мёртвый побег.

Уточним географию: разграбленное имение Романа Бенедыктовича расположено под тем же Пинском.

..Летом 1648 г. казацкий отряд («загон) под водительством Антона Небабы, пройдя восставшую Украину, вступает в пределы Белой Руси. Силы повстанцев быстро растут — главным образом за счёт притока в их ряды вышеупомянутых мирных поселян. Брожением охвачено всё Полесье; бой гремит на берегах Припяти и Березины.

Но может быть, прав Генрик Сенкевич, хваля незлобивость местных полесских жителей и отмечая их смирный нрав? Во всём, мол, виноваты казаки-смутьяны, горластая вольница, буйный пришлый народ...

Возможно, возможно... Войны и революции, однако, сильно меняют людей.

...Православные жители Пинска не останутся равнодушными к тому, что происходит за его стенами. Во главе движения встанут: шапочник, седельник, скорняк, портной. Гнев народный, как ему и положено, обрушится на головы панов и служителей папы. Те из них, кому удастся бежать, предводительствуемые полковником Лукашем Ельским (не сыном ли убитого в 1634 г. Миколая?), покинут Пинск. Восставшие победят: как все восставшие — ненадолго.

Мятеж не может кончиться удачей —
В противном случае его зовут иначе.

Осенью 1648 г. усиленное артиллерией польское войско двинется к мятежному граду. Осведомившись о том, горожане немедленно откроют ворота перед прежде сомнительным Антоном Небабой. Казаки войдут в город и пополнят его гарнизон.

Так начнется Пинская оборона.

5 октября вновь оказавшийся на коне (буквально: он шёл во главе конного отряда) полковник Ельский проник за городскую черту, но, нарвавшись на сокрушительную засаду, еле унёс ноги. Первый штурм был отбит. Однако 8-го подошли главные силы во главе со «стражником литовским» Мирским.

В ночь на 9 октября был огненный знак: над городом повисла странного вида комета. Меч «остриём вниз и рукояткою к небу» не уходил с горизонта в течение часа: «горожане и Козаки, — говорит очевидец, — долго смотрели».

Утром 9-го в дело вступили пушки. Полковник Ельский (он же — маршал Пинского повета) решил дать согражданам последний шанс. Остановив на время пушечную пальбу, он «для образумления» горожан посылает им «с трубачом и мужиком» прочувствованное письмо, требуя выдачи мятежных казаков. Что же касается прочих, им предлагалось, «головы свои наклоняя к покорности», вкусить полковничье милосердие.

Затея не удалась! Жители пинские, презрев «увещание его милости господина маршала и полковника Пинского, остались при Козаках и обещали при них стоять до крайности».

Последний штурм был яростен и жесток. Как бы примериваясь к будущему своему ремеслу, три века спустя опустошившему край, немецкая наёмная пехота зажжёт предместье. Сквозь пламя пробьётся отряд Небабы, но будет прижат к болоту и истреблён. В городе, спалённом пожаром, начнется резня.

15 мая 1649 г. крестьяне окрестных сёл были собраны в Острове «копным способом» (то есть на общий сход), где копно же повинились в том, что и впрямь брали «разную маетность» своего господина (как-то: 4 вепря (борова), каменные жернова, пчёл и т. д.). Выразив таким образом запоздалое раскаяние, крестьяне торжественно поклялись возместить помещичьи убытки («что, меланхолически замечает изучивший вопрос М.В. Волоцкой, ими впоследствии сделано не было»).

Какая, однако, проза...

Передохнём, читатель, и обведём мысленным взором то, что в учёном просторечье зовётся реальным историческим пространством! Кажется, там, за холмом, уже обозначилось несколько насупленных лиц. Не зря, не зря туманятся их черты! Мало кто из этих господ имеет шанс украсить собой фамильный альбом. Сумрачно вглядываются они в грядущую даль: что за тайный сюрприз уготован им впереди? Но будущее — тоже необратимо: тщетно пытаться поэтому его изменить. Не лучше ли честно возделывать свой огород?

Опрометчиво думать, что предки Ф.М. Достоевского погрязли в быте и их ничто не заботит, кроме участи коварно похищенных домашних скотин. Это не так. История оставляет на них свои жестокие меты.

От их воли зависят порой судьбы державы. Их подписи стоят на грамотах об избрании королей.

Скромные, но знающие себе цену, являются они на элекционные сеймы, чтобы выбрать достойнейшего. Пусть не принадлежат они к вельможному панству, пусть ничем не выделяются в пёстрой толпе. Но любой из них может на этих державных сходбищах молвить своё «не позволям» — и закон принят не будет, и король не взойдёт на трон. Сладчайшее право «либерум вето» означает, что один — равен всем...

Особенно много Достоевских оказывается на сейме 1648 г. (Владислав IV предпочёл умереть не в самый удобный час.) Кроме уже известного нам Андрея Щастновича, мы видим в Варшаве ещё пятерых посланцев: Яна, Александра, Богумила, Станислава, Николая. Желают ли они избрать сильного короля, который властной рукою пресёк бы смуту и укрепил государство? Или наоборот — венценосца слабого, который бы не мешал совершиться распаду? Иные намекают, что шляхта с русских и литовских окраин устремилась в Варшаву не столько для исполнения конституционного долга, сколько «собственной безопасности ради». Не знаем, не знаем; как сказано — не нам судить...

Просто: окинем взором пространство.

Русско-польское противоборство определяет баланс сил в этом неустойчивом регионе. Захват Москвы и 1612 год — крайняя точка отсчёта, после чего маятник идет вспять. Это возвратное движение завершится тремя разделами Польши. Но до этого ещё далеко. И хотя

в XVII веке главные военные действия ведутся на некотором удалении от Пинска, события не обходят его стороной.

Воссоединение Украины с Россией не было признано Речью Посполитой. Это вызвало вторую русско-польскую войну (1654–1667).

1 сентября 1655 г. в Киеве на речные суда грузится военный отряд: до 700 человек стрельцов и казаков. Их ведёт царский стольник Д.Ф. Волконский. Проплыв по Днепру, Припяти и Пине, московиты оказываются в глубоком польском тылу: никто в Пинске не ждёт незваных гостей. Часть гарнизона немедленно выступает навстречу Волконскому, который после двух безуспешных попыток высаживается-таки на брег. Вышедшие из Пинска войска, не выдержав удара, обращаются в бегство — и 25 сентября Волконский с ходу занимает город. Он пробыл там всего два дня: 27 сентября государевы ушкуйнички поплыли обратно в Киев[1].

Успехи московских войск, занявших к концу 1655 г. почти всю Белоруссию, значительную часть Украины и даже захвативших Вильно, позволили царю Алексею Михайловичу украсить свой и без того нешуточный титул существенным приращением: «Великий князь Литовский, Белыя России, Волынский и Подольский». Царь, как выяснилось вскоре, поспешил[2].

В конце 1659 — начале 1660 г. на территории Пинского повета объявляется некто Пётр Васильковский, бывший, по свидетельству одного документа, «человеком простым, своевольным и ребелизантом» (т. е. бунтовщиком). Собрав отряд «лесунов», он нападает на ряд богатых имений, не забывая при этом уничтожать бумаги: различные привилеи, купчие, реверсалы, налоговые квитанции и т. д. и т. п. Сильному разорению подвергся и сам город Пинск.

Отразились ли все эти общие неустройства на личной судьбе Достоевских?

В «Актах, издаваемых Виленскою археографическою комиссиею», содержатся сведения о некоем Яне Достоевском — как и большинство его родственников, земянине Пинского повета. 13 марта 1660 г. Ян подписался под решением копного суда «по делу о пропаже хлеба и вещей, зарытых в землю во время нашествия неприятеля» (зарытое, надо понимать, позаимствовали свои). 21 июля тот же Ян фигурирует уже в качестве потерпевшего. Он жалуется на сожжение его имения Завидчичи московскими войсками. Как можно догадаться, это произошло во время недолгого перемирия, ибо Ян называет обидчика «вероломный крывоприсяжца» (т. е. клятвопреступником). Но что особенно огорчает жалобщика — это то, что в грабеже приняли участие какие-то сомнительные казаки, которых простодушный Ян именует подданными польского короля. Зачем, спрашивается, избирал он монарха на сейме в Варшаве в 1648 г.!

Впрочем, подданные склонны винить королей во всех несчастьях — будь то голод, мятеж или нашествие иноплемённых. Яну Казимиру в этом смысле особенно повезло. Его выбрали на трон умершего бездетным брата в страшный для Польши год. Мятеж Хмельницкого потрясал страну. Оба гетмана — коронный и литовский[1] — разбитые наголову в сражении под Корсунем, попали в плен к восставшим. Последняя надежда шляхты — воевода русский (львовский) Иеремия Вишневецкий — был осаждён казаками в Збаражском замке. Первое, что сделал новоизбранный король, — заключил мир с Хмельницким. Увы, всё его царствование было непрерывной чредою войн. В 1654 г. против него выступили московиты, в 1655 г. — шведы. Ян Казимир бежал в Силезию. Казалось, гибель страны неминуема. Инициалы короля «I. C. K. » — «Ioannes Casimirus Rex» подданные расшифровывали теперь так «Initium Calamitatis Regni» — «начало гибели государства» и уже поговаривали о низложении несчастливца. Выкарабкавшись из всех этих передряг, потеряв половину державы и заключив мир, король, изнемогший под бременем власти, отрёкся в 1669 г. Его преемник Михаил Вишневецкий (сын Иеремии) процарствовал четыре года.

...Всё смешалось в истерзанном войной государстве — и не у кого больше искать защиты...

Держава, однако, устояла. Кампания 1660 г., говорит В.О. Ключевский, сопровождалась для Москвы «страшными неудачами... Литва и Белоруссия были потеряны».

По Андрусовскому перемирию (1667) Москва вернула под свою руку Смоленск, Дорогобуж, Северскую землю с Черниговом и т. д. Польша признала воссоединение Левобережной Украины с Россией

[1] По Рижскому мирному договору 1921 г. Пинск вновь отошёл к Польше и лишь в 1939 г. вместе с Западной Белоруссией был включен в состав СССР.

[2] Поспешность, впрочем, была обоюдной, ибо, скажем, в титуле Владислава IV (1632–1648) значилось: «милостью Божией король Польский, Великий князь Литовский, Русский (т. е. Львовский — *И. В.*), Прусский, Жмудский, Мазовецкий, Инфляндский, Шведский, Готский, Вандальский наследственный Король, выборный Великий Царь Московский». То есть Речь Посполитая не отказывалась окончательно от надежд, порождённых Смутным временем.

[1] Командующие войском Польши («Короны») и Литвы.

(Киев отходил к Русскому государству на два года, но остался за ним почти на три с половиной века). Польша удержала за собой всю Правобережную Украину и Белоруссию. Иными словами — все области расселения занимающего наше внимание рода.

Какова же его дальнейшая судьба?

На Волыни: православная ветвь

Надо признать, что в отечественных работах о Достоевском польская тема стыдливо приглушена. Упоминать о возможных католических или униатских влияниях почти неприлично. Как будто национальный гений виноват в том, что его предки имели неосторожность проживать на территории сопредельного государства. Но даже у Пушкина были родственники за границей!

Наш патриотизм иногда обладает обратной силой. Мнение, горячо отстаиваемое Ч.Б., о том что Достоевские всегда выступали «как защитники православия и русской национальности», господствует априори и как бы является официальным. Хотя, если судить объективно, у нас нет каких-то особых сведений на этот счёт. Правда, в 1646 г. брат Андрея Щастновича, Достоевский Абрам, невзирая на усмешливую перекличку имён, судится с пинским евреем Абрамовичем (арендатором-соседом), а затем судебным же порядком требует с другого еврея — Боруховича — взятую тем в залог золотую цепь. Однако отнести эту борьбу к защите «православия и русской национальности» при всём желании затруднительно.

Несомненно одно. Некоторая часть Достоевских (главным образом пинская ветвь) была интегрирована польско-литовским государством, приняла католичество или унию и, потеряв родовое имя (оно в этих местах позднее не прослеживается), растворилась в рядах обедневшей шляхты. Захудалый род, постепенно утрачивающий дворянство, — картина, в общем, обыкновенная.

Другая часть потомков Данилы Ивановича, переместившись южнее, пыталась сохранить православную веру и безусловно сохранила родной язык.

Здесь, как хотелось бы думать, мы выходим на финишную прямую. Она, впрочем, пронизывает два с половиной века.

В 1570-х гг. в окрестностях Владимира-Волынского проживает Фёдор Иванович Достоевский, земянин Пинского повета — «уполномоченный приятель» (так именуют его документы[1]) отъехавшего в Литву опального князя Андрея Курбского. Те, кто склонны к поискам литературных предтечей в десятом поколении, должны бы насторожиться. Но, увы, нет ни малейших намёков на то, что «уполномоченный приятель», игравший роль некоего семейного адвоката при Курбском и его новой «зарубежной» супруге (оставшаяся на родине беременная княгиня, естественно, была уморена в темнице), имел хоть какое-то касательство к захватывающему диалогу своего патрона с Иваном Васильевичем Грозным... Впрочем, желающему развить эту многообещающую идею не надо мешать...

Откуда взялся на Волыни Фёдор Иванович? Ведь именно к нему тянется корень того родового побега, от которого, судя по всему, произошёл наш герой.

...Мы понимаем читателя и даже в какой-то мере сочувствуем ему. Нелегко разобраться в запутанной иерархии родства, в переплетении родственных линий, в неверном движении туманных и, увы, не всегда идеальных фигур. Но сделать это необходимо. Да утешит нас мысль, что мы впервые разгадываем этот генеалогический ребус и соотносим реальных людей с реальной исторической жизнью. Тот, ради которого начато дело, не почел бы бесплодной такую работу!

Следует ещё раз обозреть фамильное древо.

У первого владельца села Достоева Данилы Иртища было два сына — Иван и Семён. Семён выгодно женился, взял за женой пару имений, но далее следы его теряются. Иван унаследовал Достоево.

Из четырех сыновей Ивана Достоево досталось старшему, Сасину, от которого оно перешло к Петру Сасиновичу, а затем к Бенедыкту Петровичу. Роман Бенедыктович, очевидно, последний из Достоевских, кто владеет родовым гнездом, ибо трудно предположить, что он или его наследники сумели выплатить огромный долг в 8000 злотых, которым было обременено имение.

Надо полагать, здесь действовал принцип майората: всё имущество переходило к старшему из сыновей. Второй сын Ивана Даниловича («архиепископ Стефан»!), кажется, не получил ничего и пытал-

[1] Это польский юридический термин. Почитаемый нами Ч.Б. (Чувствительный биограф), называя Фёдора Достоевского «приятелем *и уполномоченным*», очевидно, запамятовал, что второе определение *в качестве существительного* стало употребляться сравнительно недавно.

ся кормиться за счет православного монастыря. Когда же это не удалось, он сам начинает наживать земли, благо его должность в минском городском самоуправлении открывала широкие возможности к мздоимянию. Третий сын, Рафал, владеет одним (!) крестьянским двором и управляет чужими имениями.

И, наконец, четвертый сын, Фёдор. Фёдор уезжает на Волынь — скорее всего потому, что его жена, Зофея Яновна, богатая наследница, как явствует из документов, не смогла отстоять права наследства в судебной тяжбе с другим претендентом и оказалась, по сути, бесприданницей. Дома Фёдору ничего не светит: отцовское имущество досталось старшему брату, наследство жены — её родственнику, Мацею Войтеховичу, в пожизненное пользование. Но для небогатого шляхтича, как мы убедились, всегда есть верный путь. Судя по призывным спискам польской армии, в 1565 г. Фёдор пытался поправить свои дела обычным и достойным способом — сражаясь под королевским стягом.

В 1564 г. Курбский бежит в Литву[1].

«Князь Курбский от царского гнева бежал...»

И князь доскакал. Под литовским шатром
Опальный сидит воевода,
Стоят в изумленье литовцы кругом,
Без шапок толпятся у входа,
Всяк русскому витязю честь воздает;
Недаром дивится литовский народ,
И ходят их головы кругом:
«Князь Курбский нам сделался другом».

Среди тех, кому «сделался другом» бежавший князь, оказывается потомок более ранней эмигрантской волны — Фёдор Иванович Достоевский.

Князь Курбский, изменивший московскому государю, не изменил, однако ж, отеческой вере. Может быть, во искупление сказанного греха он истово распространял православие в Литве и на Волыни. «Уполномоченный приятель» тоже, без сомнения, православный: иных князь Андрей Михайлович подле себя не терпел.

[1] Тогдашний польский король Стефан Баторий, венгр по происхождению, не без труда и с ошибками выговаривал фамилию «Курбский»; в своей переписке он упорно именует его «Крупским». (См.: Дневник последнего похода Стефана Батория на Россию (осада Пскова) и дипломатическая переписка того времени. СПб., 1867. С. 319–320).

Неизвестно, был ли Фёдор Достоевский храбрым воином, но в судах он бился как лев! В 1572 г. он блестяще выиграл процесс против князя Курцевича-Булыги, организовавшего убийство одного из преданнейших слуг князя Курбского — урядника Ивана Келемета. Высокородный ответчик был приговорён к огромному штрафу и, кроме того, ввиду неявки на суд «отослан к его королевской милости», где, надо полагать, дополучил своё.

Князь Курбский лично присутствовал на процессе, но, если верить источнику, не раскрыл рта, полностью положившись на своего уполномоченного златоуста[1].

Судьбы Келеметов и Достоевских, видимо, пересекутся вновь.

После смерти Ивана Келемета село Секунь на Волыни, пожалованное ему князем Курбским за его многочисленные заслуги, перейдёт, согласно желанию князя, к брату убитого — Михаилу.

(В жалованной грамоте отмечены и доблести брата на княжьей службе. Царь Иван Васильевич Грозный, не без сарказма заметивший Василию Шибанову:

Гонец, ты не раб, но товарищ и друг,
И много, знать, верных у Курбского слуг,
Что выдал тебя за бесценок!
Ступай же с Малютой в застенок! –

очевидно, не предполагал, что верных слуг у Курбского действительно *много.)*

В 1589 г. Михаил Келемет завещает имение Секунь своей единственной дочери Ганне. Ближайшие по времени владельцы более не известны. Но проходит семьдесят пять лет — и Секунь уже имение Достоевских.

Как это могло случиться? По не лишённому убедительности мнению Н.П. Чулкова — самым обыкновенным образом: посредством брака. Уж не сын ли Фёдора Ивановича женился на Ганне? Или более поздние его потомки и потомки Келеметов в память об их общем благодетеле князе Курбском (а также ради собственной пользы) породнились между собой?[2]

[1] Ещё один косвенный аргумент в пользу предполагаемого касательства Фёдора Достоевского к посланиям Курбского Грозному! Любопытно, что наша полушутливая гипотеза (см. выше) вызвала сочувственный отклик в учёном сообществе

[2] Любопытно также следующее замечание Л.Ф. Достоевской: «...в прошлом году, когда эта страна (Украина. -И.В.) отделилась от России и провозгласила свою независимость, новоизбранный гетман Скоропадский развесил повсюду плакаты с красноречивым призывом: «Украинцы! Учите свой национальный язык!» Сам гетман, по всей вероятности, его не знал». И далее: «В своих первых произведениях он

Как бы то ни было, в XVII в. Достоевские появляются на Волыни. Сведения о них содержатся в «Актах, относящихся к истории Южной и Западной России»: ничем, кроме острого генеалогического любопытства, нельзя объяснить наличие отдельных томов этого сугубо специального издания в библиотеке Достоевского.

Любовь Фёдоровна полагает, что один из её католических предков, перекочевавших на Украину, переменил религию, дабы жениться на православной. Это выглядит возвышенно. Не совсем ясно, правда, почему веру не переменила избранница (если вообще надо было её менять).

Вообще, дочь Достоевского убеждена, что перемещение на Украину в вышей степени благодетельно сказалось на истории рода – «смягчила некоторую их (предков. – И.В.) жестокость, присущую северянам, и пробудила в их душе поэзию», и что свой художественный дар её отец унаследовал от своих украинских предков, а не «от матери-москвички, как полагали его товарищи-литераторы». Писавшая свою книгу на рубеже двадцатых годов прошлого века, в отрыве от охваченной смуты России[1], Любовь Фёдоровна предлагает городу и миру свою концепцию, объясняющую, как ей кажется, тайну писательской души: «...Говорить, что могучий реализм Достоевского — русский, было бы ошибкой. Русский не реалисты; они мистики и мечтатели. Они любят уходить в свои грёзы, вместо того чтоб изучать жизнь. А когда хотят быть реалистами, тут же впадают в цинизм и по-монгольски грубую эротику». Творческий метод выводится здесь из этнических факторов – и всё упрощается донельзя: «Реализм Достоевского – наследие его нормализированных предков»[2].

Но оставим «европеянке нежной», Любови Фёдоровне, *её* генеалогические грёзы. Заметим лишь, что в толпе пращуров, земледельцев и воинов далее страница 36

Во всяком случае, в толпе земледельцев и воинов возникают лица духовного звания — в том числе иеромонах Киево-Печерской лавры Акиндий Достоевский.

(Достоевский. — *И. В.*) подражал Гоголю, великому украинскому писателю, которым от всей души восхищалась». (Любовь Фёдоровна Достоевская. Мой отец Фёдор Достоевский. М., 2017. С. 39, 41)

[1] В свете новейших разысканий происхождение ближайших предков писателя от Фёдора Ивановича Достоевского (равно, как и версия Н.П. Чулкова о замужестве Ганны за кем-то из Достоевских) могут представляться сомнительными. (См. Николай Богданов, Александр Роговой. Родословие Достоевских. В поисках утерянных звеньев. М., 2008. С. 48–49 (второе дополненное издание 2010). В этой работе выявлены многие раннее неизвестные факты и обстоятельства.

[2] Там же. С. 41, 42.

Достоевские подпадают под общий закон: потомки вольных шляхтичей, не желающие отречься от «русской веры», всё чаще меняют доспехи воинов на облачение православных попов.

Взглянем на карту. Род движется с востока на запад (Москва — Пинск), затем с севера к югу (Белоруссия — Волынь — Подолия). Отец Достоевского, «вновь» оказавшись в Москве, замыкает собою трёхвековой круг.

О чём же свидетельствуют все эти, как выражались в старину, «родословные разведки»? Нет ни малейшего смысла подражать известному спору семи греческих городов. Гомер принадлежит всей Элладе. Точно так же и Достоевский, в жилах которого наверняка смешались три братские крови — русская, украинская, белорусская (а может быть, ещё — польская и литовская), — всецело принадлежит российской культуре XIX столетия. Сколь бы тщательно ни вычерчивать генеалогические таблицы, они не прояснят ни тайну личности, ни тайну творчества. Природа предпочитает свою игру. Она простодушно раскладывает пасьянс, верует в удачу, в случай, в слепую и нечаянную тасовку, в лотерею.

Бог весть, кому повезёт.

Отец или блудный сын?

Отец Достоевского, Михаил Андреевич, родился в год Великой французской революции (во всяком случае, близко к этой дате). В России близилось к концу царствование Екатерины II. Куда как легче указать на эти исторические обстоятельства, нежели останавливаться на событиях жизни семейственной. Там, где столпившиеся экскурсанты готовы почтительно лицезреть поясные изображения суровых, но добродетельных предков, сиротствуют одни лишь золочёные рамы...

Ибо по сравнению с двумя предыдущими век восемнадцатый тёмен, безжизнен и пуст. (Так было до самого последнего времени, когда участникам руководимого нами проекта «Хроника рода Достоевских» удалось закрыть некоторые генеалогические лакуны.) Как по мановению чьей-то руки, Достоевские, ещё недавно столь деятельные в ратных и прочих делах, исчезают с исторической сцены.

Впрочем, имеются сведения, что дед Достоевского, Андрей Михайлович (чьё отчество приводилось обычно со знаком вопроса), был протоиереем города Брацлава Подольской губернии: об этом ещё придется сказать несколько слов. Что же касается супруги Анд-

рея Михайловича, то, несмотря на уверения их внука (тоже Андрея Михайловича), что его бабка была «женщиной не только умною, но и влиятельною в своём крае», он не может назвать ни её имени, ни «девической фамилии»...

Достоевский никогда не видел своих — по отцу — деда и бабку и, очевидно, не знал (как до последнего времени не знали этого мы) даты и места их рождения и смерти. Он не мог ощущать себя необходимым звеном в родовой цепи: «с тыла» его прикрывал только отец. Немудрено, что за отсутствием достоверно установленных предков на помощь призывается мифический «архиепископ Стефан»...

Отец Достоевского, Михаил Андреевич, обучается наукам в Подольско-Шаргородской духовной семинарии. Но благополучно наступивший XIX век вновь спутывает карты.

Михаил Андреевич одним ударом обрубает нить, связующую его с отчим домом и через него — с более отдалёнными поколениями. В 1809 г., в возрасте 20 (22?) лет (а вовсе не в 15, как утверждает его склонная к преувеличениям внучка), он покидает Западную Малороссию, оставив отца, брата и шестерых сестёр (о матери мы скажем чуть позднее), и «удаляется» в Первопрестольную, дабы поступить в Московское отделение Императорской медико-хирургической академии. Шаг весьма решительный; о подоплёке такового мы можем только догадываться.

Схема, выступающая из семейных преданий, примерно такова. Жестокосердый отец, желающий, чтобы сын со временем унаследовал его священнический сан, а потому противящийся сыновним намерениям, и, натурально, сердобольная мать, тайно поддерживающая сына («с согласия и благословения матери»). Замечательно, что эта оппозиция (оба родителя — с соответствующими знаками) воспроизводится в следующем поколении. И так же, как и отец, Фёдор Достоевский резко «меняет судьбу»: вспомним его неожиданный и, с точки зрения родственников, ничем не оправданный поворот от налаженной, дающей обеспечение службы к гадательной литературной карьере.

Между тем говорить о «ломоносовском» шаге юного Михаила Андреевича, по-видимому, не приходится. Ибо, во-первых, переход семинаристов с духовного на медицинское поприще был делом вполне обыкновенным, а во-вторых, все эти перемещения совершались всё-таки внутри достаточно однородной социальной среды.

Поразительно другое: почему после переселения в Москву Михаил Андреевич не поддерживает никаких контактов с родственниками и спохватывается, когда уже поздно? Бог с ним, с отцом, — но мать, брат, сёстры: чем виноваты они? Сколь бы ни были для него тягостны (положим) воспоминания об отчем доме, трудно объяснить такую поистине нечеловеческую холодность. (Может быть, Л. Гроссман, говоря о «мефистофельски» очерченных бровях на единственном дошедшем до нас портрете Михаила Андреевича, имел в виду именно это обстоятельство?)[1]

И ещё: та самозабвенная погружённость в домашнюю семейную жизнь, которая отличала отца Достоевского в зрелые годы, — не была ли она оборотной стороной его гордого отъединения от собственного прошлого, отчаянной попыткой воздвигнуть семейный очаг на голом месте? Во всяком случае, сын унаследовал эту черту, и в его позднем восклицании: «А уж такими семьянинами, такими отцами... нам с тобою не быть, брат!..» — можно уловить не одну лишь ностальгическую печаль по «семейству русскому и благочестивому». Нет ли здесь еще и тайного оправдания отца — того, кто, не будучи примерным сыном, сумел исполнить хотя бы родительский долг?

«Отец, скажи: куда ты дел отца своего, сестёр и брата своих?» — не этот ли *трубный вопль*, исторгаемый хором невинных детей, мнился Михаилу Андреевичу в часы его возможных бессонниц?

Видимо, не случайно третий, появившийся в 1825 г., ребёнок нарекается *Андреем:* то ли в память, то ли *на всякий случай* — в зыбкой уже надежде на встречу.

Искал ли, однако, этой встречи сам виновник разлуки? Или он давно уже свыкся со своим удобным сиротством?

Но тут взыскательный читатель (а именно такой читатель неотступно маячит перед нашим мысленным взором) может задать ещё один — на первый взгляд, дикий и ни с чем не сообразный вопрос: «А существует ли уверенность в том, что Достоевский — действительно Достоевский?»

Не склонные к подобного рода шуткам, мы — лишь в силу нашего врожденного уважения к читателю-другу — попытаемся (по возможности кратко) воспроизвести ход его недремлющей мысли.

Итак, соображение первое.

---

[1] Гроссман Л.П. Путь Достоевского. Л., 1924.

Как явствует из его послужного списка, Михаил Андреевич Достоевский оказался в Москве не позднее осени 1809 г. Когда, однако, он вышел из дома? Этого мы не знаем. Так что сведения Любови Фёдоровны о 15-летнем, по собственной надобности путешествующем отроке, возможно, не столь фантастичны.

Но главное, конечно, не в этом.

Откуда вообще известно, что семинарист, покинувший Подольскую губернию, и человек, который явился в Москву для поступления в Медико-хирургическую академию, что эти люди — одно и то же лицо?

Это известно только из единственного источника: из уверений самого Михаила Андреевича Достоевского. Никакими, как сейчас сказали бы, независимыми наблюдателями факт этот не подтверждается.

Здесь мы вынуждены прервать уважаемого коллегу и заметить, что его утверждения не вполне справедливы. Ибо он упускает из виду, что в 1879 г. у автора «Братьев Карамазовых» неожиданно объявилась родня — дочь одной из сестёр его отца. В послании, адресованном знаменитому романисту (то бишь двоюродному брату) и содержащем, как водится, просьбу о денежном вспомоществовании, новоявленная кузина сообщала, что его отец действительно покинул некогда отчий дом. (Хотя, по её убеждению, он направился вовсе не в Москву, а в Петербург.) Таким образом, Н.Е. Глембоцкая (такова фамилия затерявшейся на просторах Подолии бедной родственницы), со слов своей матери, родной сестры отца Достоевского, подтвердила факт семидесятилетней давности.

«Что же из этого следует?» — вежливо усмехнётся нимало не убежденный нами читатель. Из этого следует только то, что сын священника Достоевского действительно покинул родные пенаты и направился на север (не буду уточнять, куда именно, хотя мог бы кое-что извлечь из этих забавных географических разночтений). Но вопрос заключается в ином: добрался ли беглец до того места, куда он шёл?

На что, собственно, намекает наш подозрительный друг? Тайный поклонник детективного жанра, он, очевидно, старается уверить нас в том, что, выйдя из отчего дома, юный Михаил Достоевский Москвы всё-таки не достиг. Куда же он тогда подевался? Уклоняясь от прямого ответа, нам толкуют что-то не вполне вразумительное. Возможно, мол, неопытный странник занемог и умер в дороге; допустимо также, что он был убит; не исключено, на худой конец, что он задумал скрыться за рубеж (благо, до него — рукой подать). И Некто, настоящего имени которого мы не знаем, овладев документами

скитальца (Алеко — живому или мёртвому — паспорт вроде бы ни к чему), явился под чужим именем в Москву и устроил там свою карьеру.

Вольно мечтательному (и, в сущности, ни за что не отвечающему) читателю резвиться в его читательском далеке: там можно пестовать любые гипотезы. Но надо понять и автора. У него (автора), однажды уже имевшего неосторожность покуситься на тайну смерти Достоевского, нет ни малейшей охоты ввязываться в новую увлекательную дискуссию — относительно неясностей его происхождения. И всё же — ради охранения истины — надлежит беспристрастно рассмотреть все возникающие резоны.

К сему — соображение второе (принадлежащее, как помним, всё тому же добровольному разыскателю):

Андрей Михайлович и Любовь Фёдоровна (примечательно, что и тот и другая — с некоторой неуверенностью) повествуют о том, как их отец и дед пытался найти потерянных родственников и даже — увы, безрезультатно — взывал к оным с газетных страниц. («Было бы весьма любопытно, — с нехорошей улыбкой добавляет наш оппонент, — эти воззвания обнаружить».)

Допустим (продолжает он далее), что подольские родственники Достоевского не читали газет. Но неужели их не читали в губернии и никто на родине, куда Михаил Андреевич прямо адресовался, не был в состоянии указать местному уроженцу, что сталось с его уважаемыми и влиятельными «в своём крае» родителями и какова судьба шести его сестёр и брата Льва, который, по утверждению всё той же Глембоцкой, исполнял пастырскую должность в одном из местных селений и носил фамилию Достоевский?

«Почему, — патетически восклицает оратор, — наши достоевсковеды, как видно, более всего озабоченные неблагозвучием собственного имени (что и понятно — при благозвучии имени собственного!), никогда не пытались объяснить столь вопиющие факты или хотя бы задуматься над ними?» И, высказав это неуместное обвинение, как бы успокаивается и переходит к дальнейшим пунктам:

поверим дочери Ф.М. Достоевского Любови Фёдоровне, что угрызения совести действительно мучили её деда. Однако все сведения о его попытках связаться с родными восходят к нему самому и не имеют пока никаких документальных подтверждений;

та же Любовь Фёдоровна, чисто по-женски противореча себе самой, замечает, что Михаил Андреевич «никогда не говорил о своей

семье и не отвечал, когда его спрашивали об его происхождении». Подобная генеалогическая скрытность — отличительный признак гораздо более поздних времён. Правда, Любовь Фёдоровна вспоминает о деде с чужих слов. Но вот ближайший свидетель, Андрей Михайлович, спешит довести до нашего сведения, что его отец на вопросы, почему он не хлопочет о доказательствах своего дворянского происхождения, «с улыбкой» ссылался на басню Крылова «Гуси».

Конечно, предки Михаила Андреевича не спасали Рим. Но его скромность в настоящем случае чрезмерна. Особенно если вспомнить, какие титанические усилия прилагал этот добропорядочный pater families (под личиной которого, как утверждают иные, скрывался отцеотступник и нераскаянный блудный сын!), чтобы приобщить себя и своих детей к благородному российскому дворянству. Поиски родовых корней (не столь обременительные) сильно упростили бы его задачу.

Родственники, жившие в Брацлаве и его окрестностях — причём не только Достоевские, но и неизвестная нам по фамилии «влиятельная» родня Михаила Андреевича со стороны матери, — все они не могли исчезнуть бесследно, раствориться, кануть в Лету. В иерархическом государстве человек — не иголка.

Создаётся впечатление, что преуспевший московский доктор сознательно избегал каких-либо контактов с потенциальными родственниками. Все его разговоры на эту тему (если таковые действительно имели место) могли преследовать вполне понятную цель: пристойно выглядеть в глазах собственной семьи.

Такова примерно логика нашего обладающего криминалистическими досугами оппонента (и друга). Но, не довольствуясь вышеизложенным, он выкладывает ещё один козырь — на сей раз сугубо медицинского свойства.

«Глумясь и хихикая», наш друг (и оппонент) указывает на родословные таблицы в уже упоминавшейся книге М.В. Волоцкого: у почтенного автора якобы не сходятся концы с концами! И в доказательство своих слов предлагает взглянуть на собственные расчёты.

Придётся привести эти сомнительные математические выкладки.

Из 140 прямых потомков Михаила Андреевича Достоевского лишь 27 (т. е. менее 1/5) не имеют каких-либо патологических отклонений. У 47 потомков (примерно 1/3) — по одной аномалии, у остальных же (т. е. примерно у 1/2) — их целые джентльменские наборы (шизофрения, эпилепсия, алкоголизм, склонность к самоубийству и т. д.

и т. п.). Значителен в этой группе процент лиц, научно и художественно одарённых.

Затем наш оппонент (и, с позволения сказать, друг) обращается к той ветви Достоевских, которые остались на Украине (группа эта состоит, правда, всего из 20 человек). Он отмечает, что статистика здесь совершенно иная. «Подольские» Достоевские — практически здоровые люди, без каких-либо отклонений в ту или иную сторону (болезненные проявления здесь так же редки, как и признаки одарённости).

Но из сравнения этих двух таблиц явствует, что те наследственные признаки, которые обильно присутствуют у потомков Михаила Андреевича (и у него самого), начисто отсутствуют у их родственников, оставшихся на Юге. Контраст столь разителен, что такой убеждённый сторонник генетики, как Волоцкой, должен был бы насторожиться[1].

Ибо данные Волоцкого (к сожалению, не осознанные им самим) определённо свидетельствуют о разном генетическом фонде Михаила Андреевича Достоевского (или того, кто назвался этим именем) и Достоевских, оставшихся на Украине.

«Любопытно, — не без ехидства заключает наш друг-читатель, — о чём мог бы поведать перед смертью отец Достоевского, умри он не в чистом поле от рук неразумных убийц, а, как и подобает доброму христианину, дома, в окружении любящих детей (тут уместен Некрасов: «...время вам, детушки милые, узнать мой великий секрет») и прими у него подоспевший батюшка не глухую (то есть бессловесную), а обычную исповедь?»

Простим читателю-дилетанту его неуклюжую иронию: не компенсирует ли она академическую застенчивость, понятную при отсутствии учёных степеней и званий? Откровенно говоря, наш неофит даже мил нам своей пусть наивной, но, хотелось бы верить, искренней ревностью к общему делу. В иную минуту и у нас, признаться, мелькало: здесь что-то нечисто!

И впрямь: какая могущественная сила могла побудить незрелого ещё отрока, возросшего, надо думать, в строгой патриархальности

---

[1] Исследователь, судя по всему, и был несколько обескуражен: иначе как объяснить тот факт, что в схеме, изображающей подольскую ветвь Достоевских, два лица (в том числе сам родоначальник — Андрей «Михайлович») помечены значком «эпилептоидные признаки», хотя в комментирующем эту таблицу тексте имеются прямые указания на отсутствие подобных аномалий. Выходит, что болезни внука автоматически (ретроспективно) переносятся на вполне здорового деда. (*Примеч. взыскательного читателя.*)

нравов, расстаться с родительским домом и — без денег, без связей, без отцовского благословения — ринуться из глухого провинциального угла в самое сердце империи? В расчёте на что? На кого?.. Какая капитальнейшая причина понудила беглеца молчать все эти годы? «Или на вас тяготит преступление...» (но – какое?). Или? И почему не искали чадо отец и мать? Ведь, судя по письму Глембоцкой, подольские родственники были в общем осведомлены об удачной служебной карьере Михаила Андреевича, но почему-то тоже не спешили подать о себе весть.

(Кстати: Глембоцкая ничего не говорит о семейном скандале. Из её письма можно заключить, что Михаил Андреевич покинул родные пенаты самым миролюбивым образом. Известна ли ей подлинная причина ухода? И если известна, то почему она деликатно обходит эту материю?)

Для того чтобы ответить на эти вопросы, надо сперва ясно представить себе, *откуда* явился Михаил Андреевич и *что* происходило на его экзотической родине. Ирония судьбы такова, что, зная имена предков Достоевского, живших в XVI и XVII в., мы не имели ни малейшего понятия о его ближайших (по времени) родственниках: век XVIII, как уже говорилось, представлял собой в этом отношении некий провал...

Возможно ли — хотя бы частично — заполнить этот биографический вакуум?

Мы начали с Брацлава и его окрестностей.

Протопоп Фёдор и парох Иван

С первых же шагов начались трудности *библиографического* порядка. Выяснилось, что в каталогах отечественных библиотек (даже самых фундаментальных) практически отсутствует литература на польском и иных языках, касающаяся данного региона. Если в конце XVIII столетия православный Синод вывез из Западной Малороссии и, по сути дела, изъял из употребления архивы, связанные с деятельностью униатской церкви, то уже в сравнительно недавнее время — по причинам, как можно догадаться, сугубо светским — оказались недоступными и многие печатные материалы, причём самого широкого диапазона. Сложная историческая судьба земель, где обитали ближайшие предки Достоевского, не могла не сказаться и на степени *неизученности* вопроса: белые пятна стали ещё белее.

Куда девалась фамилия, сумевшая в предыдущие два столетия оставить по себе хоть какую-то память?

В «Польском гербовнике» А. Бонецкого удалось обнаружить: 1715 г. — первое упоминание брацлавских Достоевских. Хотя попрежнему не вполне ясно, когда и при каких обстоятельствах представители рода переместились в Подолию, смущавший историков генеалогический перерыв примерно в четыре поколения (между волынской и подольской ветвями) вроде бы начал сокращаться.

Но далее документы безмолвствовали. Вернее, их не было вовсе. Равно как не было никаких указаний, где, собственно, их искать.

Одну зацепку, правда, стоило взять в расчёт.

Если дед Достоевского был священником, то, может быть, какие-то упоминания о нём затеряны в источниках, связанных с церковной жизнью? А также — с той вековой распрей, которая некогда сотрясала земли к западу от Днепра.

Русская церковь серьёзно относилась к своей истории. Подольская епархия в этом смысле не была исключением. Она издавала собственные «Труды...»; немалая информация о прошлом края (причём не только религиозном) накапливалась и в «Подольских епархиальных ведомостях».

Эти источники, в которых отразилась по преимуществу церковно-официальная точка зрения на исторические события, оказались гораздо доступнее. Для их поиска не пришлось совершать паломничества ни в Киев, ни в Житомир, ни даже в Винницу: тома из библиотеки Святейшего синода и некоторых монастырских собраний нашлись и в Москве.

Осталось вооружиться терпением и верой.

Усердная ловля да вознаградит ловца! И дрогнет удилище, и среди серебристой мелочи, как тяжёлая рабина, забьётся имя:

Ян Достоевский

В 1786 г.[1] Брацлавская униатская консистория слушает скучное дело: об имущественных претензиях семьи почившего пароха (приходского священника) к его преемнику. Среди лиц, предъявивших семье покойного встречный иск, упоминается парох Ян (или Иван) Достоевский, Животовской протопопии, деревни Скала.

[1] В источнике указано: «Среда 1768 г.», но это, без сомнения, опечатка. Судебные записи велись в строго хронологическом порядке, и интересующий нас текст располагается среди материалов февраля — марта 1786 г.. Кроме того, само судопроизводство начато 22 апреля 1779 г.

Иван Достоевский женат на дочери Романа Скочинского, брацлавского оффициала и пароха села Очеретны (эти сведения тоже «вычисляются» из документов). Оффициал — довольно высокая должность в церковной иерархии: первое начальственное лицо после епископа, замещавшее его в случае отсутствия или кончины. Таким образом, благодаря своему тестю, Иван Достоевский — священник не вполне рядовой. Более о Яне (Иване) не было известно ничего. Приходилось только гадать — прямой ли он предок Достоевского или какой-нибудь дальний родственник. Зато, исходя из подробностей ещё одной отражённой в источниках тяжбы, можно смело судить о характере этого достойного пастыря, который плечом к плечу с двумя гостевавшими у него иереями вступился за сокрушаемого казацким старшиною церковного дьячка. Бог пособил своим — архистратиги одолели обидчика, который успел-таки нанести телесное повреждение отцу Ивану (Иоаганну, Яну) и разодрать юбку на его жене (дочке оффициала!). Но тут на крик (как элегически замечено в документе, «ночной порой раздавшийся далеко») явились из соседней корчмы разгорячённые вином поселяне («канунные люди») с кольями — и кто знает, не пресекся ли бы на этом род Достоевских, если б не экстренное вмешательство светских властей.

(Судьба изыщет способ осуществить угрозу. Через полвека с небольшим отец Достоевского (если верить одной из версий) будет зверски убит крестьянами: начальство не успеет вмешаться.)

...Как одиноко Ивану Достоевскому на просторах огромного века: нет у него ни детей, ни братьев...

Случаются ли в описях — описки?

15 июля 1775 г. представляется по начальству «Опись протопопии Животовской приходов и церквей». Среди прочего значится:

была некогда в местечке Животове соборная Николаевская церковь (православная), а при ней протопоп Фёдор *Достоянский;* в 1740 г. церковь сия «отнята... на унию», и «ныне» (то есть в 1775 г.) находится при храме униатский священник Корнилий Шпановский.

Вскоре, однако, Корнилий Шпановский умирает; его место занимает парох Павел Зражевский. Возникшие в этой связи имущественные споры тщательно зафиксированы в актах Брацлавской униатской консистории.

Не будем утомлять читателя выписками из долгих и запутаннейших судебных дел. Скажем лишь, что наследники Шпановского предъявляют иск его преемнику — за постройки, которыми тот пользуется

безвозмездно. Далее происходит следующее. Истцы почему-то отказываются от своих претензий в пользу — и это звучит совершенно неожиданно — в пользу нашего старого знакомца, Яна (Иоаганна или, если угодно, Ивана) Достоевского.

Естественно предположить: «Достоянский» и Достоевский — люди друг другу не посторонние. Ибо второй выступает в качестве юридического наследника первого[1].

Федор «Достоянский» был рукоположён в сан преосвященным Варлаамом.

Церковь св. Михаила в селе Скале, где служит Иван Достоевский, относится всё к той же Животовской протопопии (или деканату), во главе которой ещё недавно стоял отец Фёдор: всё рядом, в пределах одного пронизанного семейными связями ареала.

...Нелюдимо мёртвое бумажное море! Горько пускаться в него без надежды на встречу.

Предчувствия, томившие нас, имели свои причины.

По закоренелой российской привычке мы уповали на бюрократию (правда, в данном случае не столько отечественную, сколько польскую). Ибо если дед Достоевского действительно принадлежал к духовному званию, то хотя бы *тень* этой принадлежности рано или поздно должна была промелькнуть во входящих и исходящих бумагах.

Именно так и случилось.

Дед Андрей: попытка идентификации

В 1781 г. коронный подкоморий граф Викентий Потоцкий обращается к киевскому униатскому митрополиту с просьбой. Могущественный магнат просит утвердить в селе Войтовке, где местный пастырь отпал от унии, нового священнослужителя — *Андрея Достоевского,* «о котором ему сообщает его собственный уряд (местная администрация. — *И.В.)* как о человеке, способном к исполнению священнических обязанностей».

Это было первое упоминание деда Достоевского, обнаруженное нами в документах его эпохи.

«Презента» (рекомендательное письмо) Викентия Потоцкого наводит на размышления. Во-первых, Андрей Достоевский не име-

[1] Существует предположение, что Иоанн Достоевский боролся за наследство своей жены, Марии Скочинской, и, возможно, не состоял в родстве с Фёдором «Достоянским» (см. Н. Н. Богданов, А.И. Роговой. Указ соч. С. 54).

нуется там духовным лицом: он лишь представляется к посвящению. Во-вторых, его рекомендует высокородный аристократ, представитель знаменитой фамилии, которая пользуется в крае почти неограниченным влиянием. (Впрочем, в данном случае Потоцкий лишь осуществляет jus praesentae — право рекомендации, которым обладал всякий помещик, в чьих владениях находился церковный приход.) В-третьих, кандидатура предполагаемого священника, по-видимому, известна местным прихожанам или хотя бы части их. В-четвертых, Андрей Достоевский должен иметь не менее тридцати лет от роду и состоять в браке (непременное условие для кандидатов)[1].

И, наконец, учитывая, что презента землевладельца (тем более такого, как Потоцкий) являлась для всецело зависимых от панства униатских архиепископов по сути дела приказом, вряд ли можно сомневаться в том, что просьба была уважена.

Чем занимался Андрей (Михайлович[2]? Фёдорович? Иванович?) до своего рукоположения? На каком языке изъяснялись в его семье? По каким причинам предпочёл он духовную карьеру?

Ныне на некоторые из этих вопросов можно дать более или менее внятный ответ.

Прежде всего, как явствует из недавно обнаруженных архивных источников[3], дед Ф.М. Достоевского родился в семье мелкопомест-

[1] В 1781 г. Андрею Достоевскому не более двадцати пяти лет: его назначение свидетельствует о сильной протекции со стороны В. Потоцкого.

[2] Традиционное именование Андрея Достоевского «Михайловичем» базировалось, очевидно, на том соображении, что его сын (отец писателя) носил имя Михаил — якобы в честь деда. Но таковым могло быть и имя деда по материнской линии. Среди Достоевских XVI — XVIII вв. мы не встречаем ни одного Михаила. Родовые (чаще всего повторяющиеся) имена Достоевских — Лев (может быть, потому что имя основателя рода Аслана Челеби-мурзы переводится как «лев»), Андрей, Иван, Фёдор.

[3] См.: *Богданов Н.Н., Роговой А.И.* Кто вы — Андрей Достоевский? (К прояснению биографии деда писателя) / Достоевский и мировая культура. Вып. 20. СПб., 2005. Далее мы используем некоторые сведения из этой содержательной работы, публикация которой сопровождалось нашими «Заметками на полях».

Приводим (с разрешения Н.Н. Богданова) отрывок из его письма автору настоящей книги: «..."Родиться в России" была замечательным явлением. Не случайно, такой взыскательный (и не слишком доброжелательный) исследователь как Борис Тихомиров в своей рецензии на первое издание нашей книги «В поисках утерянных звеньев» назвал Ваш труд этапом в изучении генеалогии Ф.М. Достоевского. От себя замечу — этап, сопоставимый с выходом книги М.В. Волоцкого «Хроника рода Достоевского». Больше того, — а для меня это и есть самое важное — если б не Ваша книга, я никогда бы не начал собственных разысканий в области родословия Федора Михайловича. Ведь, не имея никакой исторической подготовки, я просто не знал, за что взяться. А все, к кому я обращался, не только не могли мне чем-нибудь помочь, но даже не понимали, чего я, собственно, от них хочу. И тут я наткнулся на Ваш

ного шляхтича *Григория* Достоевского. Итак, вопросительный знак может быть снят: не Андрей Михайлович, а Андрей *Григорьевич*. Отчество же самого Григория Достоевского, *Иозефович* (*Иосип*, Осип), что, в свою очередь, не может не навести на ряд филолого-ономастических размышлений.

Йозеф Достоевский (прапрадед писателя) с 1744 г. владеет селом Клячковцы на Волыни. Это пока всё, что можно о нём сказать. Правда, сделанное сравнительно недавнего открытие, вызвало некоторую сенсацию. Отчество Йозефа оказалось «не вполне православным»: Карлович (Кароль). Есть основание полагать, что его отец, Карл Достоевский – выходец из католической семьи. Отчество самого Карла пока неизвестно. Йозеф Карлович наследует Клячковцы от своего отца. Однако в 1775 г. его сын, Григорий Иозефович, по неизвестным пока причинам, продаёт вотчинную часть Клечковцов с крестьянами и вместе с семьёй переселяется на восток, на границе Житомерского (Волынь) и Виннецкого (Брацлавщина) поветов – в местечко Янушполь[1]. В это время его сыну, Андрею Достоевскому, около 20 лет.

Андрей Григорьевич Достоевский родился около 1756 г. в упомянутых Клечковцах под Луцком. Луцк находится на Волыни, и есть основания полагать, что прадед писателя Григорий Достоевский — возможно, один из потомков того самого Фёдора Достоевского, который в XVI в. был *уполномоченным приятелем* князя Андрея Курбского и относился, как мы предположили, к православной ветви исходящего из Достоева рода. (Хотя новейшими разыскателями этот факт ставится под сомнения.)

Обнаруженный нами Иван (Ян) Достоевский, как мы и предполагали, оказывается старшим сыном Григория Достоевского и, следовательно, родным братом Андрея.

Таким образом оба сына шляхтича Григория Достоевского покидают дворянское сословие и становятся униатскими священниками. Неясно, правда, какие капитальные причины понудили Григория Достоевского в 1775 г. (вскоре после первого раздела Польши) покинуть насиженные места и двинуться с запада на юго-восток — «бли-

труд. Сейчас, с дистанции прошедших пятнадцати лет, кажется, видно и его главное достоинство — Вы, как никто другой, умеете расцветить яркими красками суровую, а подчас и неподдающуюся анализу содержательность исторических фактов. Повторю еще раз: не будь этого – я не решился бы на собственный поиск! (А, следовательно, не было бы и никаких разысканий Александра Ивановича Рогового).»

[1] Государственный архив Житомирской области (ГАЖО). Ф. 146. Оп. 1. Д. 2214. Смотри также: Хроники рода Достоевских. С. 70–74.

же к России». Но несомненно, что он направлялся не на пустое место. На Брацлавщине в 20-е — 30-е гг. XVIII в. обретался, напомним, протопоп Фёдор *Достоянский* (то есть, как мы предположили, Достоевский) — в качестве православного священника соборной церкви города Животова. Не на его ли потомков или родственников рассчитывает Григорий Достоевский? Это тем убедительнее, что именно в Животове обнаруживается Иван Достоевский, сын Григория, защищающий имущественные права на тот самый дом, где жил когда-то Фёдор *Достоянский*.

Чем занимался Андрей Григорьевич Достоевский до своего рукоположения? По каким причинам предпочел он духовную карьеру? На каком языке изъяснялись в его семье? С известной долей вероятия можно ответить, пожалуй, только на последний вопрос. В 1790 г. Почаевская лавра (остававшаяся твердыней униатства на протяжении 118 лет, до 1831 г.) издала сборник «благоговейных, покаянных и умилительных песен» — «Богогласник». Там среди прочего напечатаны 40 стихотворных строк — «Песнь покаянная». Об авторе песни сказано: «Творец Достоевский по краегранению». И действительно, в акростихе («краеграннии», «краегранессии») начальные буквы первой строки каждой строфы дают нам эту фамилию.

Хотя *имени* нет, в семье Достоевских автором считали деда Андрея. Текст написан на густо уснащённом церковнославянизмами русском языке: надо полагать, что он был для песнопевца родным.

Странно и непривычно звучат эти стихи для современного уха. Но, пожалуй, не менее странно они звучали уже в 1790 г.! После раскованных ломоносовских ямбов, после полнозвучных и громогласных державинских од силлабические упражнения Андрея Достоевского кажутся глубоким анахронизмом. Однако мог ли безвестный автор, хранящий в своем брацлавском захолустье верность родной (чужеземной!) речи, быть в курсе новейших успехов молодого российского стиха?

Интересно другое. Именно дедовским дотредиаковским стихотворным слогом заставляет Достоевский изъясняться капитана Лебядкина («О, как мила она, Елизавета Тушина...»)[1]. И поскольку

[1] В. К. Былинин и А.А. Илюшин, подметившие сходство стихов Лебядкина с традицией виршевой поэзии (об опытах Андрея Достоевского они, по-видимому, не знают), так комментируют слова Хроникёра («Я знал одного генерала, который писал точь-в-точь такие стихи»): «Это уже намёк на распространённость подобных версификационных форм для любительского стихописания второй половины XIX в.» (В кн.: Виршевая поэзия. М., 1989. С. 19.)

автор «Бесов» ничего не ведал о творчестве деда Андрея (указанный факт стал достоянием родственников после смерти писателя), остаётся приписать эту семейную перекличку игре шаловливых генов.

Скорее всего, ближайшие предки Достоевского проделали обычный путь. Переход мелких шляхтичей на духовное поприще случался в этих краях сплошь и рядом: порою священство было единственным средством социального выживания. Небогатое шляхетство и местное униатское духовенство — это, в общем, одно и то же сословие: сыновья и дочери живущих почти как крестьяне обедневших дворян и униатских попов женятся и выходят замуж друг за друга.

Ещё проще сделаться духовным лицом сыну или брату священника.

Вспомним: и Фёдор *Достоянский*, и Иван Достоевский отправляют духовную службу именно в этих местах. Для оставшегося без священника уряда они не чужие, а свои. Естественно желание приискать нового пастыря из числа уже знакомых: так — надёжнее.

Пребывая на границах Польши, России, Венгрии, Турции, Молдавии, поневоле возжаждешь некоторого покоя.

Край пёстр, многонационален и религиозно напряжён.

Местное малороссийское население в основном исповедует унию. Сохранившееся кое-где православие преследуемо и гонимо. Высшая польская знать и большая часть чиновников — «чистые» католики.

В официальных документах униаты именуются «побожными», православные — «благочестивыми».

Этот религиозный дуализм стал источником постоянных раздоров.

За шесть веков, протекших со дня крещения Киевской Руси до принятия унии, «греческий закон» был вполне усвоен теми, кто населял эти обширные пространства. Не все могли безболезненно воспринять прививку «стыдливого католицизма». Формально исповедуя унию, упрямые малоросские крестьяне временами сильно косились на левый берег Днепра.

Немудрено, что при появлении русских войск (1772 г.: первый раздел Польши и русско-турецкая война) в крае начинается религиозное брожение.

Ареной главнейших событий становится село Войтовка.

В Войтовке проживает священник Василий Мокрицкий. Он не только сам переходит в православие, но и старается обратить всю округу. Паства его растёт с каждым днём — но уход «москалей» отдаляет час его торжества. Усилия польского правительства восстановить унию наталкиваются на глухое сопротивление прихожан: только

присылка жолнёров (солдат) заставляет вероотступников изменить точку зрения.

Василий Мокрицкий яко первейший искуситель изгоняется из родного села. История его скитаний — это отдельная повесть, местами напоминающая *житие.* Отец Василий становится мучеником за веру и как бы национальным героем Войтовки, куда он периодически возвращается *тайно.* Несмотря на оскорбления и побои, наносимые ненавистниками и религиозными конкурентами, он продолжает своё подвижническое служение. Удостоенный сана брацлавского православного протоиерея, отец Василий, как некий грозный судия, ведёт подробнейший счёт обидам, которые чинятся его единоверцам: реестры аккуратно посылаются в Киев.

Войтовка становится знаменитой на всю епархию. И если бы Андрей Достоевский действительно был направлен в этот очаг религиозного сепаратизма, подобное событие было бы немедленно замечено всеми.

Между тем в источниках, связанных с Войтовкой, где проповедует Василий Мокрицкий, имя Андрея Достоевского не упоминается: там фигурируют совсем другие лица.

Подданные императрицы

Пора, однако, признаться: поддавшись источниковедческому гипнозу, мы бодро шествовали по ложному пути. Но не поворачивать же обратно! Пусть послужит некоторым утешением мысль, что, оступившись публично, сумеешь предостеречь иных: тех, кто последует дальше...

Можно ли не доверять подлинному, опубликованному в солидных епархиальных «Трудах...» документу? Тем более, что церковной историей края занимались весьма почтенные люди: как высшие иерархи, так и приходское священство. Они не скрывали своих идейных симпатий, что не мешало им в их разысканиях быть добросовестными и даже дотошными.

И тем не менее. Кто виноват, что в епархии наличествовало как минимум *шесть* Войтовок? Иные из них принадлежали Потоцким, в иных — сбегали священники: исторические ситуации, увы, повторимы. При таком количестве совпадений даже всезнающим отцам пресвитерам нетрудно было заблудиться...

...Ничего не оставалось, как обложиться старыми картами и, сверяясь с ними, вновь изучить обширную церковную переписку.

Какие имена и названия замелькают, выныривая из тьмы и как бы намекая на будущие метаморфозы: *Маниловка, Шидловка* и даже — сущая мистика! — *Петрашевка*... А тайные хронологические подсказки! В конце ноября 1821 г., спустя четыре недели после рождения в Москве Фёдора Достоевского, жена армейского капитана и дочь брацлавского капитан-исправника госпожа Некрасова (в девичестве Закревская), выехав из Немирова, почувствует себя дурно: роды начнутся прямо в карете. Ребёнка назовут Николаем — в честь Николая Мирликийского, покровителя путешествующих...

Закревские и Достоевские жительствуют бок о бок. Дед Некрасова по матери — А.С. Закревский служил секретарём в брацлавском городском магистрате: он и Андрей Достоевский вполне могли быть знакомы. Некрасов родился именно там, где по всем расчётам надлежало родиться его московскому одногодку. Вряд ли, однако, оба классика подозревали, что у них общая малая (или, если угодно, историческая) прародина. Иной, обладай он досугом, не только б компетентно доказал, что предки писателей дружили домами, но и задался б вопросом: не родственники ли?

(Мы полагаем, что это уж слишком. Так можно дойти и до вовсе беспардонных намёков. Пушкин заезжал в Брацлав зимой 1820/21 г.: любители детективного литературоведения, прикинув сроки, начнут, пожалуй, загибать пальцы...)

Удалось выяснить следующее.

«Презента» Викентия Потоцкого с упоминанием Андрея Достоевского опубликована в связке документов, относящихся к селу Войтовка Чечельницкого (позднее — Ольгопольского) уезда. Это именно то самое село, где вёл свою неутихающую борьбу Василий Мокрицкий. Но в Чечельницком уезде нет Немировского ключа (ключ — поместье из нескольких сёл и деревень), а он-то как раз и указан в «презенте» Потоцкого.

Кому же в конце концов надлежало верить — графу Потоцкому или публикаторам его «презенты»? Был срочно необходим *ключ* — как в прямом, так и в географическом смысле.

Немировский ключ оказался в *Брацлавском уезде:* искать следовало именно там. Но в Немировском ключе не оказалось села Войтовки!

«В поле бес нас водит, видно, да кружит по сторонам...»

В польской транскрипции «Войтовка» выглядит так: Woitowcy. С равным успехом это может переводиться как Войтовая и Войтовцы. Переводчики «презенты» предпочли *вариант:* отсюда началась пу-

таница. В Войтовке, где уже сидел отец Василий Мокрицкий, вдруг очутился ещё один, никогда не бывший там, персонаж.

Между тем у Потоцкого речь идёт о селе Брацлавского повета, Немировского ключа под названием Войтовцы: именно туда направляется Андрей Достоевский.

Все вышесказанное полностью подтвердилось, когда обнаружился ещё один документ более раннего происхождения. 4 декабря 1780 г. «побожные войтовецкие жители... от лица всей громады» доводят до сведения Брацлавской консистории, что они единодушно осуждают своего бывшего приходского священника Василия Шаржинского, «отдавшегося во власть заграничного переяславского пастыря», и вместо него просят дать им нового, более лояльного духовника. (Интересно, что имя Андрея Достоевского здесь ещё не фигурирует.) Именно с этой просьбой связана «презента» Потоцкого[1].

Войтовка — Войтовая — Войтовцы...

И вновь обиняком, ненароком, сквозь шум времени пробивается робкая тема... Задолго до появления самого героя его история начинает *двоиться,* как бы предвещая грядущие обольщения и подмены...

Итак, Войтовцы...

Именно в год своего посвящения (1781) 25-летний Андрей Достоевский вступает в брак с 18-летней *Анастасией*[2] (неженатый священник, как уже говорилось, не мог бы занять приход). Наконец-то мы узнаём *имя бабки Ф.М. Достоевского* (пока не ведая её отчества), о которой его отец «отзывался с особенным уважением, представляя её женщиной не только умною, но и влиятельною в своём крае по её родству».

Здесь родился отец Достоевского[3]. Здесь *мог бы* родиться и он сам.

[1] Недавно стали известны выразительные примеры религиозных распрей, которые имели место как в самих Войтовцах, так и в близлежащих селах. Назначение в Войтовцы Андрея Достоевского, получившего, как это установлено по архивным источникам, духовное образование в базилианском коллегиуме при униатском Николаевском монастыре в Шаргороде, должно было внести некоторое успокоение в умы.

[2] *Богданов Н.Н., Роговой А.И.* Кто вы — Андрей Достоевский? (К прояснению биографии деда писателя) / Достоевский и мировая культура. Вып. 20. СПб., 2005.

[3] Этот факт документально подтверждён недавно опубликованным аттестатом, который был выдан Михаилу Андреевичу Достоевскому Подольским семинарским правлением для поступления в Медико-хирургическую академию (ЦИАМ. Ф. 433. Оп. 30. Ед. хр. 110. Лл. 12, 12 об.). См. *Н.Н. Богданов.* Войтовцы — родовое гнездо Достоевских / Достоевский и мировая культура. Вып. 18. СПб., 2003. С. 3. См.: «Атестат подтверждает высказанное И. Волгиным предположение о том, что Михаил Андреевич родился в Войтовцах» (*Г. Коган.* Загадки родословной Ф.М. Достоевского / Вопросы литературы. Сентябрь — октябрь 2002).

...Теперь самое время снова обратиться к Н.Е. Глембоцкой. Вернее — к её родственному письму, в котором подольская кузина сообщала Достоевскому, что его дядя (родной брат его отца) по имени Лев *был священником в селе Войтовцы.*

Естественно предположить, что сын Андрея Достоевского, Лев Андреевич, согласно практике и обычаю, унаследовал приход своего родителя. К сожалению, Глембоцкая не указывает годы его служения.

Письмо Глембоцкой отправлено из местечка Жабокрич. Это тут же, неподалёку от Брацлава. Андрей, Иван, Лев Достоевские вышли из этих мест. Вернее, так и *не* вышли из них: один лишь отец автора «Бедных людей» вырвался из родового гнезда.

(Очень любопытно, отозвался ли Достоевский на вызов Глембоцкой и если отозвался, то как? Её послание должно было глубоко взволновать адресата: впервые приоткрывалась завеса тайны, восстанавливалась, казалось бы, навеки утраченная родовая связь...[1])

Но вернёмся к деду Андрею. Каких успехов добился он в Войтовцах, на новом для себя поприще? Увы, сведений нет. Как бы, однако, ни сложилась его судьба, вскоре он должен был стать перед ответственным выбором.

В 1793 г. по второму разделу Польши Брацлавское воеводство отходит к России. Это приметное для местных уроженцев событие, натурально, сопровождается *возвращением* униатского духовенства и трёх миллионов униатов-мирян в лоно отеческой веры.

1 января 1796 г. вновь назначенный епископ брацлавский и подольский Иоанникий торжественно рапортует Святейшему синоду, что во вверенной ему епархии все 1090 церквей «к православию окончательно перечислены»[2].

Что же сталось с брацлавским (униатским?) протоиереем *после* 1793 г.? Но прежде: откуда вообще известно, что Андрей Достоевский исправлял именно эту должность?

[1] Материалы к биографии Достоевского. Письмо Н.Е. Глембоцкой к Достоевскому (публикация Н.Ф. Будановой и Н.Н. Богданова, прим. Н.Н. Богданова). Достоевский. Материалы и исследования. Вып. 16. С. 405–408.

[2] Такое похвальное единодушие заставляет вспомнить более близкие к нам события 1946 г., когда Львовский собор — тоже единогласно — расторг трёх с половиной вековую Брестскую унию. Но и это, скорее более светское, нежели духовное мероприятие, как известно, не повело к исчезновению униатской веры.

О том поведала та же Н.Е. Глембоцкая. Это — единственное свидетельство: неведомо, как самим Достоевским, но *наукой* оно было принято безоговорочно.

Между тем ни в одном из известных источников указанный факт не нашёл пока документального подтверждения.

Глембоцкая ничего не сообщает Достоевскому о религиозной принадлежности их деда. Поэтому в поисках «брацлавского протоиерея» придется рассмотреть все возможные варианты.

С 1772 по 1796 г. брацлавским униатским протоиереем был Ян Розворович. Аналогичную должность в местной православной иерархии исправлял, как уже говорилось, сидевший в своей Войтовке Василий Мокрицкий. Разумеется, после 1793 г. отец Василий воспрял и начал распоряжаться по всей епархии (в частности, ведал расстановкой новых церковных кадров). Гонимый, как это часто бывает, превратился в гонителя и, очевидно, несколько переусердствовал в этом деле, ибо в 1795 г. был возвращён в Войтовку (отправлен в почётную ссылку?), а главой брацлавского духовного правления стал протоиерей Иоанн Чемена[1].

Ни в числе «побожных», ни в числе «благочестивых» протоиереев Андрей Достоевский не наблюдается.

Но может быть, дед Достоевского был обыкновенным приходским священником и почтительная внучка (Глембоцкая) просто повысила его в чине — подобно тому, как правнучка (Любовь Фёдоровна) поступила с *архиепископом* Стефаном?

И потом: не упорствовал ли дедушка в прежней вере? Это могло ему дорого обойтись, ибо отныне униатская церковь становится церковью гонимых[2].

По присоединении Подолии и Брацлавщины к России там оставалось 38 униатских приходов. (Были ещё священники без паствы, их Екатерина II утешила скромным пенсионом.) Лишь после польского восстания 1831 г. в крае закрыли последний униатский храм.

Ни в списках упорствующих, ни в списках тех, которые после 1796 г. постепенно переходили в православие, имени Достоевского нет.

Ещё удивительнее, что нет его и среди православной братии. Если, конечно, снова не задаться вопросом о возможных описках и опечатках.

[1] Эти и некоторые дальнейшие сведения извлечены из церковных источников. Ссылки, ввиду их многочисленности, мы опускаем.

[2] Кстати, старший брат Андрея Достоевского Иван (Ян), занимавший приход в расположенном неподалёку от Войтовцев селении Скала, отказался перейти в православие и был отстранён от церковной службы. Андрей Достоевский был священником в Войтовцах приблизительно до 1821 г., умерев в возрасте 65 лет.

В 12-м выпуске «Подольских епархиальных ведомостей» за 1873 г. священник П. Троицкий публикует «роспись» благочиннических округов («десятоначальств») Брацлавского уезда за 1796–1797 гг. То ли авторы «росписи» плохо знали грамоте, то ли переписчик оказался не в меру рассеян, то ли вообще виноват *стрелочник* (то бишь типографский наборщик), но местечко Вышковцы значится в документе как *Васышковцы*, Воловодовка — как *Володовка* и т. д. и т. п. Мудрено ли, что имя одного из отцов благочинных — Андрей *Достомский* — вызвало у нас такие же ассоциации, как в своё время — *Достоянский?*

Андрей «Достомский», если попробовать разобраться в местной церковной арифметике, ведает *вторым* благочинническим округом, впоследствии объединённым с *третьим* и переименованным в *пятый*, куда входят Войтовцы: священствует ли там ещё Андрей Достоевский? Не будет большой дерзостью предположить, что это одно и то же лицо[1].

Глембоцкая именует своего деда протоиереем. Её ошибка вполне объяснима

Дело в том, что до присоединения края к России протоиереи возглавляли церковные округа. После 1793 г. *должность* протоиерея была упразднена: осталось почётное звание, даваемое за церковные заслуги. Протоиереем мог также именоваться главный священник храма. «Управленческие» функции, которыми некогда обладали протоиереи, перешли к благочинным, ставшим во главе благочинических округов.

Глембоцкая — вдова сельского дьякона, а не церковный историк; за давностью она не обязана знать все эти тонкости. Кроме того, она не предполагала, что будущие биографы Достоевского поверят ей на слово[2].

Итак, благочинный: можно сказать, почти что — протоиерей. Но тут следы, как нарочно, обрываются — именно в тот момент, когда они едва не привели нас к ещё не разгаданной драме.

Но зато обнаруживается нечто до сих пор неизвестное. А именно — дата смерти бабки Ф.М. Достоевского Анастасии (ни её девичьей

[1] Благочинным был и преемник Достоевских на войтовецком приходе — отец Матфей. (См.: Труды Подол., епарх. комитета. Вып. 9. С. 169–170.)

[2] Н.Н. Богданов, первоначально принявший нашу версию с «Достомским», ныне склонен полагать, что это «криптонимический мираж» и что подлинное имя отца благочинного, искаженное при публикации, — Андрей Шостаковский. Нашу полемику по этому поводу см.: Достоевский и мировая культура. Вып. 20. СПб., 2005.

фамилии, ни отчества мы до сих пор так и не знаем), которая, как выяснилось, скончалась 11 декабря 1805 г. в возрасте 43 лет, о чём сообщает запись в метрической книге:

> «14 декабря села Потоки священник Николай Людкевич села Войтовец священника Андрея Григорьева сына Достоевского умершую жену Анастасию, удостоившуюся перед этим исповеди и Святого Причастия, похоронил по христианскому обычаю»[1].

Итак, хронология (1805 г.) наносит существенный удар по той семейной легенде, согласно которой отец писателя Михаил Андреевич Достоевский «удалился» из отчего дома в Москву вопреки воле отца, но «с согласия и благословения матери». Поскольку таковое событие (то есть отъезд в Москву) состоялось только осенью 1809 г., ни о каком материнском благословении не может быть и речи.

Но какое, собственно, отношение имеют все эти перипетии к самому Ф.М. Достоевскому? Ведь он, судя по всему, обладал куда меньшей информацией о своих предках, нежели та, какой ныне обладаем мы. Что ему — Гекуба?

Однако — как знать... (Вот именно: *как* знать.) Голос крови порой заглушает голос рассудка; дремлющее родовое сознание может явить себя вдруг и в высоком, и в низком обличье...

Представление о своём месте в истории, чувство общности с предками во многом определяют миропонимание человека. Достоевский не исключение. Его понятия о своей родословной отличались от нашего нынешнего знания. Он, видимо, полагал, что его предки — русско-литовские шляхтичи, отрекшиеся от нечестивой западной веры (своего рода Савлы, превратившиеся в Павлов!), то есть что их вера *тоже* прошла через горнило сомнений. Она как бы двигалась по восходящей (разумеется, в *его* системе религиозно-нравственных координат), а не петляла, как это скорее всего было на самом деле. Далее начинаются гонения, каковые иные из его православных предков, возможно, и впрямь претерпели. О гонениях этих страстно, почти как о чём-то затрагивающем его лично, он пишет в статьях 1860-х гг. («Ответ редакции „Времени" на нападение „Московских ведомостей"»). Действие его ранней, не дошедшей до нас и известной только по названию драмы («Жид Янкель») совершается в этих местах. Он явно неравнодушен к бывшей родине своего отца.

[1] Текст приводится в указ. работе Н.Н. Богданова и А.И. Рогового со ссылкой на архивный источник.

Достоевский был исторически «молодым» гражданином России. Только одно поколение отделяло его от предков, живших на территории соседнего государства, в перекрестье наречий и вер. Болезненно обострённое отношение к Польше, вдохновенная защита вселенской миссии православия, глубокое недоверие к намерениям римской курии (особенно к её «глобалистской» идее — светского владычества папы) — всё это, помимо прочего, могло быть ещё и следствием «отказа от наследства» — тем более мучительного, чем глубже переплелись старые и новые корни...

Что мог почерпнуть Достоевский из семейных преданий? Знал ли он хоть что-то о жизни деда?

Медицинский студент

...Нет оснований думать, что после 1793 г., когда происходил повсеместный отказ от унии, Андрей Достоевский противился воле большинства (тем более если вспомнить, что один из его возможных родственников (Фёдор) был православный протопоп). Недаром сын Мишенька обучается в православной школе — той самой, которая возникла в Шаргороде на месте униатского коллегиума, где некогда обучался он сам.

Так отпадает самая естественная догадка: религиозная драма. Ибо что может быть неодолимей отцовского проклятия, отлучения от веры, изгнания? Но вера-то, выходит, была одна. Вряд ли отец (он же — отец благочинный) оставался тайным адептом отринутой унии. И хотя сын, по-видимому, скрывал (или, во всяком случае, не афишировал) не вполне православное прошлое своего родителя (его собственные дети, судя по всему, ничего об этом не знали), у него не было оснований отрекаться от родства. Так что же?

Увы, мы не можем пока ответить на этот вопрос. Впрочем, одна версия заслуживает внимания.

Недавно Г.Ф. Коган обнародовала устное свидетельство К.А. Марцишевской (жены известного московского библиофила И.Н. Розанова, относящей себя скорее всего, ошибочно — к потомкам рода Достоевских) о том, что дед писателя Андрей Достоевский покинул семью и попытался создать новый сердечный союз, не освящённый узами брака[1]. На первый взгляд, подобный сюжет выглядит совершенно невероятным. Духовному лицу, постоянно находящемуся в поле зрения

[1] *Коган Г.* Загадки родословной Ф.М. Достоевского / Вопросы литературы. Сентябрь — октябрь 2002. С. 375–382.

как местной паствы, так и церковного начальства, немыслимо покушаться на что-то подобное...

Однако мы бы повременили с порога отвергать свидетельство, изложенное в работе Г. Коган. И не только потому, что «теоретически» Андрей Григорьевич мог иметь связь на стороне ещё при жизни матушки. Ещё вероятнее, что подобная связь могла возникнуть уже после смерти супруги. Вспомним, что вдовцу не было и 50 лет. Разумеется, выражение «вторая семья» употребляется К.А. Марцишевской отнюдь не в юридическом смысле: православному священству запрещено второбрачие. Священник А.Г. Достоевский не мог жениться ещё раз (иначе, как некогда другому предку Ф.М. Достоевского — со стороны матери — М.Ф. Котельницкому, ему пришлось бы просить о сложении сана)[1]. «Да и кто мог быть новой избранницей Андрея Достоевского?!» — строго вопрошают не допускающие такой возможности исследователи. Да, право же, кто угодно: любая особа женского пола в возрасте от 15 до 50 и более лет. Вспомним, что после смерти матери Ф.М. Достоевского его отец приблизил к себе крестьянскую девочку Катю. Об этом ещё пойдет речь. Тут можно потолковать и о наследственности. Кстати, новой избранницей Андрея Григорьевича, как и в случае с его сыном, могла быть женщина «из простых». В подобных делах происхождение совершенно неважно. И юного Михаила Андреевича, «против воли отца» отбывающего в Москву, помимо прочего, могло оскорблять и низкое происхождение «мачехи». Во всяком случае, то жестокое равнодушие, которое на протяжении долгих лет он питал в отношении родного отца, свидетельствует об очень серьёзной причине раздора.

Судьба Михаила Андреевича обоими своими концами упирается в *тайну ухода*. Он покидает жизнь, как некогда — дом: при обстоятель-

[1] Михаил Фёдорович Котельницкий в 1746–1767 гг. служил священником церкви Николая Чудотворца в Котельниках (откуда, очевидно, и взялась эта фамилия, хотя его взыскательная праправнучка, Л.Ф. Достоевская, естественно, полагает, что здесь наличествуют украинские корни. Императрица Екатерина в своём указе, освобождавшем Котельницкого от священнических обязанностей, не преминула отметить, что он «более с печали и от вдовства был почти завсегда болен, нонеже пришедши несколко в здоровье усмотрел себя совсем немогуща понести безсупружное житие, сколко нинаблюдал умеренность в ястии и питии, и дабы де непоползнутся в плотския грехи, и чрез то дабы ненавесть явнаго порока сану духовному, лучше оставить священство желает» . Изверженный из сана священник был награждён чином, «понеже неполучивши прежде честнаго чина сыскать честной жены нелзя». М.Ф. Котельницкий вторично женился и в последствии двадцать три года служил корректором в Синодальной типографии. Его сын стал профессором медицинского факультета Московского университета.

ствах очень туманных. Исток и устье погружены во тьму. Но тьма окутывает и часть основного русла. Почти ни одна из подробностей московской — добрачной — жизни не достигает потомков: словно предвидится, что им милее *анкета*...

И всё же: каково было в Москве ему — одному? Никто не приглядывался к молодости скитальца: что он? как он? не в тягость ли ноша? Биографам его гениального сына было не до отца: нет очевидцев и затерялись следы...

Да будут благословенны историки медицины! В роскошных томах, иные из которых одним только весом и объёмом подвигают читателя к заботе о своей физической форме, найдётся кое-что для души...

Михаил Достоевский поступил в Медико-хирургическую академию (она располагалась на Рождественке, в здании нынешнего Архитектурного института), как помним, в 1809 г.: следовательно, он принадлежал к первому московскому выпуску. Строго ли соблюдался устав академии? Один из его пунктов гласит: воспитанники духовных училищ принимаются не иначе как по направлению Святейшего синода. И — не позднее августа. Дата зачисления Михаила Андреевича — 14 октября.

Каким образом он оказался в Москве?

Михаил Андреевич обучался в православной Шаргородской семинарии, после своего преобразования в 1805 г. (открытия нового отделения в Каменец-Подольске) получившей название Подольско-Шаргородской. Приводимый ниже документ имеет следующее название[1]:

«Ведомость об обучающихся в Подольско-Шаргородской семинарии священно и церковнослужительских детях, с показанием, кто они именно, сколько кому от роду лет, с которого времени в оной семинарии обучаются, чему обучены, чему обучаются, какого кто понятия и способности, кто обучается греческому языку и с каким успехом, да и на чьём кто содержании, при том, кто, когда, куда и почему выбыл. Учинена 1808 г., с Генваря по Генварь же 1809 г.».

В указанной «Ведомости» под № 91 значится:

[1] Этот и несколько нижеприводимых источников были сообщены Б.В. Федоренко на конференции в Доме-музее Ф.М. Достоевского в Ленинграде (ноябрь 1990), а затем опубликованы в его работе «О неясном в жизнеописании Михаила Андреевича Достоевского» (Достоевский и мировая культура. Вып. 3. М., 1994. С. 15 и др.).

Лев Достоевский, повета Брацлавского, села Войтовец, сын священника Андрея.

Его старший брат, Михаил Достоевский, обозначен чуть ниже — под № 94.

Из этого следуют три непреложных вывода. Во-первых, окончательно подтверждается наша гипотеза относительно местоположения села Войтовцы (Войтовка, Войтовая)[1] и пребывания там Андрея Достоевского. Во-вторых, выясняется, что Михаил Андреевич обучался в семинарии вместе с братом Львом. И, наконец, становится очевидным, что после разделения семинарии оба брата остались в Шаргороде.

Согласно «Ведомости», Лев и Михаил Достоевские поступили в семинарию в один день — 11 декабря 1802 г. В 1808 г. Льву 19 лет, Михаилу — 21. Последняя цифра (если только она соответствует действительности) ставит под сомнение «официальную» дату рождения Михаила Андреевича — 1789 г.

Из «Ведомости» можно почерпнуть и другие сведения о братьях:

Чему обучен —	поэзии
Чему обучаются —	риторике
Кто к наукам понятен,	
А кто не понятен —	препонятен (о Льве сказано более скромно: «понятен» И.В.)
Кто обучается греческому языку	
И с каким успехом —	С нехудым
Кто и на чьём содержании —	На собственном
Кто, куда и почему выбыл	———

Итак, на протяжении всего 1808 г. братья Достоевские мирно совершенствуются в науках. Но в «Ведомости», которая «учинена» 31 декабря 1809 г. «об обучающихся в Подольской семинарии, состоящей в первоклассном Шаргородском Николаевском монастыре», *показан* только Лев Достоевский.

Судьба брата Михаила выясняется из другого источника — рапорта епископа Подольского и Брацлавского Иоанникия Святейшему правительствующему синоду — «об отправлении из Подольской семинарии» студентов и учеников в Подольскую врачебную управу для

[1] К сожалению, Б.В. Федоренко повторяет нашу ошибку, отнеся, как это первоначально сделали и мы, село Войтовцы к Ольгопольскому уезду. Повторяем: *наши* Войтовцы расположены под Брацлавом.

поступления в императорскую Медико-хирургическую академию. (Императорский указ от 5 августа 1809 г. требовал направить в оную академию 120 человек.) Среди прочих значится имя Михаила Достоевского — ученика класса риторики.

Как сказано в документе (он помечен 25 октября 1809 г.), все поименованные лица направляются «для образования врачебной науке, объявившие к тому собственное желание и по испытании Подольской врачебной управою вследствие предписания господина Министра внутренних дел признанные способными и по снабдении их предписанными указами Святейшего Синода свидетельствами, сего октября 15 дня в ведомство помянутой управы отосланы для отправления их в Московское отделение Императорской Медико-Хирургической Академии»[1].

Итак, Михаил Андреевич Достоевский был направлен в Москву вполне благородным образом — будучи снабжён необходимыми бумагами и разрешением от начальства. Однако и теперь нам не уйти от вопросов.

Почему подольский семинарист отправился в Москву один, без младшего брата? Вдвоём им было бы покойней и веселей (предполагаемая разница между ними — в два года — невелика). Преосвященный Иоанникий в своём рапорте оправдывает малое количество посланных учеников тем, что «желателей достойных более не оказалось». Значит ли это, что Лев Достоевский не пожелал разделить судьбу старшего брата или же он, выказав подобное желание, не был признан достойным (все-таки, в отличие от «препонятного» к наукам Михаила, он к оным просто «понятен»)? И затем — самое капитальное: дал ли согласие священник села Войтовцы на такую резкую перемену сыновней судьбы? Не был ли он против отъезда старшего сына и не удержал ли своей родительской властью сына младшего? И почему Любовь Фёдоровна говорит о «смертельной вражде» Михаила Андреевича не только с отцом, но и с *братьями?*

Во всяком случае, ясно одно. Ни тайного бегства в 15-летнем возрасте из-под отчего крова, ни отчаянного прихода в Москву — ничего этого не было. 20-летнего (22-летнего?) молодого человека отпра-

[1] Следует обратить внимание на разноголосицу в датах. Епископ Иоанникий доносит, что отобранные кандидаты посланы в Подольскую врачебную управу 15 октября. Но, как было сказано, дата зачисления М.А. Достоевского в Медико-хирургическую академию — 14 октября. Были ли отправлены его документы в Москву с опережением или, наоборот, он был зачислен в академию задним числом?

вили учиться на медика *по разнарядке*. Но тогда ещё более мрачен вопрос: что заставило его навсегда отречься от дома?

И ещё: каков тот московский контекст, куда предстояло вписаться семинаристу-провинциалу, выходцу из глухого угла империи? Что ожидало его в сердце России?

На это проливают свет некоторые неизвестные ранее источники.

Весной 1809-го вновь учреждённое московское отделение императорской Медико- хирургической академии ещё не имело собственного пристанища. Это вызывало немалую озабоченность как петербургских, так и московских властей. 25 марта министр внутренних дел А.Б. Куракин предлагает вице-президенту Академии Н.С. Всеволожскому «в разсуждении приискания домов» для указанной академии осмотреть здание, принадлежащее генерал-майору Пашкову, «и сообразя подробно выгоды и неудобства, сообщить мне мнение ваше»[1].

Владелец дома В.А. Пашков просил за него 200 000 руб. Всеволожский поначалу склонялся к покупке «по отменности места и по столь близкому положению его от Московскаго Университета...» (На последний, кстати, Академия также имела виды, поскольку замысливалось его перемещение в Екатерининские казармы.) Однако дом Пашкова после тщательного осмотра был забракован, ибо, как доносил Всеволожский Куракину, «дом сей как он есть теперь ни что иное как куча кирпичей» и «ни в каком случае не может быть способным для помещения Академии по малости своего места, на котором нет ни воды, ни же возможности иметь сад, да и строения производить не удобно...»[2] В конце концов был приискан дом на Рождественке близ Кузнецкого моста, принадлежавший графу И.И. Воронцову (ныне там помещается Архитектурный институт).

Выбранное помещение не слишком превосходило отвергнутый Пашков дом. Как утверждает историк Академии, «здания были плохо приспособлены, тесны и ветхи <...> В лекционных залах и некоторых жилых комнатах сгнившие потолки угрожали падением». Не лучше обстояло дело с гигиеническими условиями. Из официальной

[1] ЦИАМ. Ф. 433. Оп. 1. Ед. хр. 25. Л. 1. В Москве было несколько Пашковых домов. В данном случае это отнюдь не здание будущей Румянцевской библиотеки (ныне РГБ), а Пашковский театр на углу Большой Никитской и Моховой, где в настоящее время помещается церковь Св. Татианы, а в 1940–1980-е располагался Дом культуры гуманитарных факультетов МГУ и где, в частности, занималась Литературная студия Московского университета, основанная автором этих строк в 1968-м и существующая по сию пору (см. Alma mater. Литературная студия Игоря Волгина «Луч». М., 2010. С. 8–10 и др.).

[2] ЦИАМ. Ф. 433. Оп. 1. Ед. хр. 25. Лл. 3, 7, 7 об.

реляции можно извлечь, что в сенях и коридорах кадки с водой и квасом стояли бок о бок с медными котлами «для испражнения мочи»[1].

Отец Достоевского принадлежал к числу казеннокоштных студентов: как правило, они не получали помощи от родных. В случае Михаила Андреевича это неудобство имело абсолютную силу. Разрыв с семьёй обрекал его на полное одиночество: никаких внешних источников существования у него не было. Уроки в частных домах (если эти уроки были) приносили гроши.

Ученики, правда, не голодали. «Пища выдавалась в достаточном количестве, — пишет историк Академии, — но была очень однообразна. Завтрак состоял из фунта ситного хлеба и стакана сбитня; на обед полагались щи, каша и кусок жареного мяса, на Рождество угощали гусем, на масляной — ватрушками. На ужин давали щи и кашу».

Согласно уставу Академии, студентам 3–4-х классов полагались шпаги (в этом отношении они приравнивались к студентам Университета, хотя в отличие от последних по окончании курса не обретали дворянское достоинство). Но несмотря на эти знаки корпоративного благородства, воспитанников отличала порой «грубость, наклонность к насилиям, к пьянству». Особенно отличались этим бывшие семинаристы. «...Маленькие скандальчики, — говорит компетентный автор, — случались время от времени, вроде шума в развесёлом доме или ухаживания, в пьяном виде, за прекрасным полом на бульварах. Подобные скандальчики оканчивались без последствий».

Без особых последствий оставались, очевидно, и другого рода досуги. Скромные и преданные науке студенты «ежедневно находились под соблазном модисток, разгуливающих парами по тротуару возле окон». Это были белошвейки и портнихи Кузнецкого моста, отданные в учение крепостные мастерицы. «Тут, — не скрывает правды тот же автор, — и завязывались первые знакомства и впоследствии интимные отношения». Нам ничего не известно об этой стороне жизни бывшего подольского семинариста, но, надо полагать, она не слишком отличалась от принятых в его кругу обычаев и привычек.

...В «Клиническом архиве гениальности и одарённости» (1927) следующим образом трактуются причины «священной болезни» автора «Идиота»: «Отец Достоевского был запойный пьяница, а у осо-

[1] ЦИАМ. Ф. 433. Оп. 1. Ед. хр. 6. Лл. 1 об., 13, 16, 19. История императорской Военно-медицинской (бывшей Медико-хирургической) академии за сто лет. 1798–1898. СПб., 1898. 1 паг. С. 337; Прейсман А.Б. Московская медико-хирургическая академия. М., 1961. С. 18.

бенно тяжелых алкоголиков, к числу которых и принадлежал Достоевский-отец, в потомстве очень часто, помимо наследственного алкоголизма, бывает и эпилепсия»[1].

На чём, однако, основано подобное — довольно распространенное — мнение? У нас нет указаний на то, что *до* рождения Достоевского (то есть до 1821 г.) его отец был «запойным пьяницей», — если, конечно, не считать таковыми поголовно всех медицинских студентов. Не был замечен Михаил Андреевич в чрезмерном пристрастии к рюмке и в течение 17 лет своей семейственной жизни (правда, трясение рук, на которое он указывает в официальном прошении об отставке как на одну из её причин, может возбудить подозрение). Единственный период, к которому можно отнести его тягу к спиртному, — два года, следующих за смертью жены. Но это, как можно догадаться, уже не способно было повлиять на наследственность его детей.

...Скуден быт казённокоштных студентов, несладко подгоняемое Бонапартом ученье (несмотря на передышку Тильзита, война на пороге). Всё это, правда, скрашивается скромными московскими удовольствиями. Воспоминания о тайных пирушках, равно как и о не одобряемых начальством свиданиях с юными мастерицами Кузнецкого моста, должны были — по прошествии почти трёх десятилетий — поддерживать в Михаиле Андреевиче отеческую тревогу относительно нравственности отданных в петербургское учение сыновей. Сам он, будучи студентом, не получал помощи ниоткуда, и понятно, что, продержавшись молодость на жидких казённых харчах, должен был с особой подозрительностью отнестись к сыновьей блажи — рассуждениям «любезного друга Федиьки» о необходимости иметь *свой чай* (см. гл. 3).

Впрочем, к этому *глобальному* сюжету мы ещё обратимся.

В 1812 г. Михаилу Достоевскому 23 года. (Если не больше: студенты академии, куда принимались юноши от 16 до 24, весьма вольно обращались с исходными данными[2].)

[1] Клинический архив гениальности и одаренности (эвропатологии). Вып. третий. Т. 3. Л., 1927. С. 204.

[2] В документах о смерти М.А. Достоевского зафиксирован возраст несколько больший, чем тот, который указан в его формулярном списке. В своё время мы высказали предположение, что наиболее вероятной датой рождения М.А. Достоевского (по числу лет, названных им на исповеди) является не 1789, а 1787 г. Ныне эту дату независимо от нас склонны принять и другие исследователи. См.: *Тихомиров Б.Н.* Материалы к родословной Достоевских / Достоевский и мировая культура. Вып. 11. СПб., 1998. С. 188–198. Богданов Н.Н. Войтовцы — родовое гнездо Достоевских / Достоевский и мировая культура. Вып. 18. СПб., 2003. С. 3.

...Комета, каждую ночь встающая над горизонтом, предвещает, что ей положено предвещать.

Буйственные поступки на фоне Бородина

...Его школярские будни будут прерваны внезапно: «грозой двенадцатого года». Архивы приоткрывают подробности его военной судьбы.

21 августа 1812 г. генерал-кригс-комиссар А.И. Татищев пишет Н.С. Всеволожскому: «Милостивый Государь мой, Николай Сергеевич! Вчерашнего числа прибыл сюда от войск действующих армий первый транспорт раненых и больных, а в след за оным и другие ожидаются, при которых совсем почти не имеется медицинских чиновников; по уважению надобности сей относясь к Вашему Превосходительству покорнейше вас Милостивый Государь мой, прошу прикомандировать оных из здешней медико-хирургической академии сколь возможно более, ибо раненых и больных ожидается сюда до восьми тысяч человек, и приказать явит<ь>ся им в Гошпиталь, учреждённый в Головинском дворце, кто же имянно командированы будут, почтить меня уведомлением»[1].

Наполеон уже стоит у ворот — и Всеволожский отвечает немедленно: «Милостивый Государь мой, Александр Иванович! По поводу требования Вашего Превосходительства от 21го сего Августа за No 3255 честь имею препроводить при сём в учрежденный в Головинском дворце госпиталь студентов 4го класса Императорской Медико-Хирургической Академии под присмотром искусных докторов и наставников их, дабы сим самым дать им случай как быть полезнее больным и прилежнее стараться об них, так равно и повторять то, чему они под руководством сих самых наставников учились...»

В списке из 45 имён, прилагаемом к этому письму, под No 3 значится: Михайло Достоевский.

Однако дело идёт не столь гладко. 23 августа вице-президент Академии Всеволожский жалуется московскому генерал-губернатору Ф.В. Ростопчину: назначенные в Головинский госпиталь студенты 4 класса, явившись к кригс-комиссару, «получили от него объявление, что им во время их служения при госпитале никакого жалованья производиться не будет». А посему указанные студенты «за выездом отсюда казначея с суммами, никакого пропитания не имеют». О том

[1] Начальственная переписка здесь и далее по: ЦИАМ. Ф. 433. Оп. 4. Ед. хр. 68. Лл. 1, 1 об., 7 об., 9–12.

же Всеволожский почёл необходимым отписать и самому генерал-кригс-комиссару. Татищев тут же ответил, что студенты, «откомандированные в Гофшпиталь» возводят на него напраслину, ибо «не только жалованье им производиться будет во время нахождения их при Гофшпитале такое, как получали они при Академии; но даже и квартиры даны будут им».

До Бородинского сражения остается три дня.

27 августа (то есть назавтра после Бородина) граф Ростопчин сообщает Всеволожскому, что он дал предписание генерал-кригс-комиссару «о произвождении откомандированным в Головинскую Гошпиталь студентам 4го класса жалованья по двести рублей в год...» В тот же день один из чиновников генерал-губернатора извещает Всеволожского, чтобы тот «завтрашний день по утру изволили представить к нему студентов...» Вице-президент Академии, видимо, несколько уязвлённый тем, что на сей раз Ростопчин не обращается к нему лично, ответствует: означенные студенты «быв мною к нему <Татищеву> уже откомандированы, не состоят более под начальством моим, и посему, не зная, где они теперь находятся, я и не могу их представить к Его Сиятельству».

Продлившаяся, очевидно, всего несколько дней «эйфория свободы» не лучшим образом сказалась на нравственности некоторых соучеников М.А. Достоевского. Об этом свидетельствует отношение Ростопчина к Всеволожскому от 28 августа, где граф сообщает, что предписал шефу Московского гарнизонного полка (в нём будет позже служить Михаил Андреевич) «Медико-хирургической Академии студентов: Семёна Обтемпераментова и Петра Взорова за пьянство, неповиновение к начальству и буйственные поступки употребить на 2 месяца на равне с рядовыми на службу»[1]. Бедственное положение Отечества не смогло удержать молодых врачевателей от несвоевременного в данных обстоятельствах разгула. Михаил Андреевич, судя по всему, причастен к таковому не был.

«Всё наполнено мертвыми телами...»

Итак, в двадцатых числах августа 1812 г.[2] Михаил Андреевич начинает карьеру практикующего военного медика. Он попадает в самое пекло — в огромный, только что учрежденный армейский госпиталь. Бывший Елизаветинский дворец, обращённый императором

[1] ЦИАМ. Ф. 433. Оп. 4. Ед. хр. 71. Л. 1. «Обтемпераментов» — очевидно, это писарская ошибка: в названии дела значится фамилия Обтемперанцов.

[2] Сочинения Растопчина (графа Федора Васильевича). СПб., 1855. С. 177.

Павлом в казармы, ныне волей Ростопчина становится приютом для тысяч и тысяч воинов, доставляемых с бородинских и иных ратных полей.

1 сентября, когда вопрос об оставлении Москвы уже решён, судьба раненых все ещё под вопросом. Не жалующий Кутузова Ростопчин пишет в этот день супруге: «Бросают 22 000 раненых, а ещё питают надежду после этого сражаться и *царствовать*!» Только вплотную придвинувшаяся катастрофа может извинить этот немыслимый для столь высокопоставленного сановника столь высокого ранга тон. Но в девять вечера того же дня внезапно отдаётся приказ о выводе госпиталей. Врачебная практика третьего курса была, надо думать, ошеломляющей и обильной. Особенно когда в Москву хлынул поток раненых: число пациентов возросло до восьми тысяч.

Более 20 000 человек спешно грузятся на подводы, тысячи ходячих офицеров и нижних чинов двигаются пешком. (В Москве было оставлено около 2000 «нетранспортабельных» тяжелораненых и больных, из коих по освобождении города в живых оказалось не более 300 человек.) Михаил Достоевский следует за отступающей армией. Покинутая жителями и войском Москва остаётся позади; багровое небо смыкается над живыми и мёртвыми...

«Этот караван, — говорит Ф.В. Ростопчин, — беспримерный в истории чрезвычайных событий, прибыл в Коломну на четвёртые сутки. Больных переместили на суда и спустили по Оке...» Суда направились в Касимов, туда же раненые двигались сухим путём — через Рязань. Похвальный аттестат, полученный в Касимовском госпитале ещё не закончившим курс медицинским студентом, стоил, пожалуй, иных боевых наград.

Михаилу Достоевскому довелось наблюдать войну с оборотной, изнаночной её стороны — глазами тылового хирурга. Доблесть полководцев, горечь поражений и отрада побед — всё измерялось для него количеством жертв. Он видел страдание и, очевидно, знал ему цену. Был ли осознан сыном этот наследственный опыт?

Французы вышли из Москвы в десятых числах октября. Окрестности города были усеяны трупами — человеческими и скотскими. На Бородинском поле сжигали мертвые тела и тысячи убитых лошадей. «За пятнадцать вёрст от Москвы, — сообщает в письме современница, — уже становится тяжело дышать: колодцы, овраги и рвы вокруг Кремля — всё наполнено мёртвыми телами; их даже трудно отыскивать, и потому меры, принимаемые против зла, недостаточны».

Опасались чумы: её, к счастью, удалось избежать, но угроза эпидемии оставалась. «...Во многих деревнях, — сообщает та же корреспондентка, — есть дома, в которые никто не смеет входить; находящиеся в них умирают или оживают, будучи оставлены на произвол судьбы». Второй похвальный аттестат, полученный Михаилом Андреевичем за командировку в Верейский уезд и усилия по прекращению «свирепствовавшей там повальной болезни», — доказательство его рвения и на этом опасном поприще. И хотя в формулярном списке Михаила Андреевича в графе «В походах против неприятеля и в самых сражениях был или нет и когда именно?» скромно значится «не был», он, пожалуй, может быть признан участником Отечественной войны.

...Им выдадут врачебные аттестаты лишь через год; их получат не мальчики, но мужи. В том же 1813-м Петербургское отделение Академии пожалует серебряную медаль подающему надежды студенту Василию Петрашевскому. Спустя тридцать шесть лет сыновья обоих выпускников станут рядом на эшафоте.

(В 1824-м в Петербурге диплом Академии получит Александр Бланк — родной дед братьев Александра и Владимира Ульяновых: на эшафот поднимется старший внук.)

Тяга отцов к врачеванию сказывается в потомках.

Михаил Достоевский прочно обосновался в Москве (давно, давно пора подать весть неутешным родителям!)

Сначала молодой лекарь служит в Бородинском пехотном полку (бывшем Московском гарнизонном): полк «по оставлению французами Москвы вступил в неё и принялся за очистку разрушенной и полусожжённой столицы»[1]. Армия побывала в Париже; полковой лекарь так и не покидал Московской губернии. Жизнь его по-прежнему протекает под пустынными сводами военных госпиталей. Что светит ему впереди? Вообще это «темные годы» в биографии отца. Ибо кроме формулярного списка не имеется никаких иных свидетельств его медицинского и личного житья-бытья.

Тридцать лет — возраст для брака приличный. Но *своего* угла как не было, так и нет. Наконец добрый доктор Маслович вводит его в один семейственный дом: да не забудется благодетель!

Неизвестно, как протекал роман, важно, что он протёк. В указе об отставке Михаила Андреевича помечено: «во уважении расстроенных домашних его обстоятельств уволен от службы». Разумеется, «расстроенные домашние обстоятельства» — отнюдь не намёк на совершившийся в начале 1820 г. законный брак. (Как раз напротив: домашние обстоятельства Михаила Андреевича, надо думать, улучшились.) Это лишь обычная бюрократическая «формула перехода».

[1] См.: *Гдрский М. Т.* Памятка 68-го лейб-пехотного Бородинского Императора Александра III полка. Замостье, 1910. С. 1–2.

14 января молодые идут к венцу[1].

Запись о таковом событии наличествует в метрической ведомости Петропавловской церкви Московского военного госпиталя за 1812–1822 гг. Обложка книги закапана воском, а посреди первого листа (перпендикулярно заголовку) запечатлен диалог двух безымянных авторов. ***Первый почерк:*** «Дурно Ты делаешь, что напрасно мараешь за пазуху сей книги, за ето непохвалят <...>». ***Второй почерк:*** «Да и правда непохвалят». **Ниже, параллельно заголовку**: «Проба пера и чирнил» (чем, очевидно, и является вышеприведённый диалог).

На листе 41 обнаруживается:

> В Генваре.
>
> 14 женился первым браком сего Госпиталя штаб-лекарь Михаи<л> Андреев сын Достоевский поял за себя Московского купца по второй гильдии Феодора Тимофеева (сына Нечаева) дочь девицу Марию Феодорову о коих обыск надлежащий был учинён, оное таинство совершали обще»[2].

Таким образом, выясняется, что брак у Михаила Андреевича был первый (при некоторых неясностях его судьбы задокументирование этого факта отнюдь не представляется лишним!), а также, что обряд венчания совершал священник этой церкви Матфей Козмин. Ему же через год довелось крестить первенца — старшего брата Ф.М. Достоевского Михаила Михайловича. Запись об этом содержится в том же источнике.

[1] Эта дата впервые обнародована Г.А. Фёдоровым (См. *Фёдоров Г. А.* Из изысканий о московской родне Достоевского / Достоевский. Материалы и исследования. Вып. 2. Л., 1986. С. 66.) Она была установлена по документам, находящимся в фонде Московского духовного правления (ЦИАМ, ф. 203) — очевидно, по метрической ведомости церквей Покровского сорока. В эту сводную ведомость вносились посылаемые в духовное правление с мест лишь краткие сведения о совершённых обрядах. Ныне есть возможность процитировать найденный нами первоисточник — привести подлинную запись о бракосочетании родителей Достоевского.

[2] ЦИАМ. Ф. 1639. Оп. 1. Ед. хр. 283. Л. 41 об. См. Полный текст записи на с. 145. Приносим сердечную благодарность Татьяне Михайловне Новиковой, сопутствовавшей нам в наших архивных разысканиях.

«*Когда кто родился, кем крещён и кто восприемники.*
В Октябре.

13 сего Госпиталя у Штаб-Лекаря Михайлы Андреева сына Достоевского родился сын Михаил. Молитвословил иерей Матфей Козмин с диаконом, крещён 18-го дня <октября>, восприемники были Московский купец Феодор Тимофеев сын Нечаев и М<осковского> именитого гражданина Александра Алексеева сына Куманина жена Александра Феодорова»[1].

Пройдёт чуть более года — и на свет явится Фёдор Михайлович Достоевский.

[1] Там же. Л. 56.

Жизнь в документах

Имя собственное

Н.П. ЧУЛКОВ. Справка о происхождении Достоевских

Родоначальником Достоевских является Данило (Данилей) Иванович Иртищ (Ртищевич, Иртищевич, Артищевич — так пишется его фамильное прозвище в разных документах), боярин Пинского князя Фёдора Ивановича Ярославича. Отец этого князя Иван Васильевич бежал в Литву в княжение Василия Тёмного в 1456 г. Боярин князя Фёдора Ивановича Иртищ или Ртищевич — вряд ли был местного, т. е. белорусского, происхождения. Напротив, целый ряд исторических документов и фактов наводит на мысль о происхождении Иртищевича от великорусского рода Ртищевых. (*В. кн.: Воспоминания Андрея Михайловича Достоевского. Л., 1930. С. 409.*)

Н.Н. КАШКИН

Происхождение Ртищевых следующее. Около 1389 г. выехал из Золотой Орды к великому князю Дмитрию Иоанновичу Донскому или к сыну его Василию Дмитриевичу Аслан-Челеби-мурза с 30 татарами своего знамени и принял православие, причем наречён был именем Прокопия. (*Родословные разведки. СПб., 1912. Т. 1. С. 284–285.*)

С. ГЕРБЕРШТЕЙН. О татарах. 1556

Титулы у татар примерно такие. Хан, как сказано выше, — царь, султан — сын царя, бей — герцог, мурза — сын герцога <...>[1]. (*Записки о Московии. М., 1988. С. 184.*)

К.М. БОРОЗДИН

Ослан Мурза <...> выехал из Золотой орды в 1389, при Дмитрии Донском, и, приняв Св. крещение, наречен *Прокопием.* Великий князь сам был его восприемником, пожаловал ему город Кременецк и выдал за него Марию, дочь своего ближнего человека Зотика Житова. (*Опыт исторического родословия Арсеньевых. СПб., 1841. С. 5–6.*)

[1] Здесь и далее угловыми скобками отмечаются сокращения в тексте. В угловые скобки заключаются также пояснения, дополнения и перевод отдельных слов и выражений. Все не оговорённые специально примечания принадлежат автору книги.

Н.Н. КАШКИН

Великий князь пожаловал его (очевидно, в кормление) городом Кременеском, бывшим в уделе у князя Семёна Владимировича Боровского[1]. (*Родословные разведки. 1. С. 285.*)

Достоевский. Из подготовительных материалов к «Дневнику писателя». 1880

Если б умер кто <из предков>, на Куликовом поле, право, было бы приятно. (*Полн. собр. соч. Л., 1971–1990. Т. XXVI. С. 209.*)

РОДОСЛОВИЕ РТИЩЕВЫХ

Предок фамилии Ртищевых, именитый муж Прокопий, служил при Великом Князе Дмитрии Ивановиче Донском. У сего Прокопия был сын Лев по прозванию Широкой Рот, коего потомки Ртищевы Российскому Престолу служили Стольниками и в иных чинах, и жалованы были от Государей поместьями. (*Общий гербовник дворянских родов Всероссийской империи. СПб., б/г. Ч. 3. Л. 23.*)

Н.Н. КАШКИН

Здесь кстати сказать, что образовавшее фамилию прозвище «Ртище», то есть большой, широкий рот — давалось в старину нередко и — в различных сословиях. (*Родословные разведки. 1. С. 150.*)

ГЕРБ РОДА РТИЩЕВЫХ

В щите, имеющем красное поле, между Луною и шестиугольною Звездою серебряными изображены крестообразно серебряные же две Сабли и Стрела, летящая вниз к серебряной подкове, шипами вверх обращённой. Щит увенчан обыкновенным Дворянским Шлемом с Дворянскою же на нём Короною. Щит держат два вооружённые Татарина. (*Общий гербовник дворянских родов Всероссийской империи. Ч. 3. Л. 23*)

Н.П. ЧУЛКОВ. Исследования о предках Достоевского

<...> не исключена возможность, что он <Данило Иванович Иртищ> или его отец эмигрировали в Литву из Московского государства, может быть, в свите своего князя <Ивана Васильевича в 1456 г.>. Такие случаи, когда князья вместе со своими служебниками перебегали из Москвы в Литву и обратно, в то время вообще имели место. (*В кн.: Волоцкой М.В. Хроника рода Достоевского. М., 1933. С. 24.)*

[1] Племянника Дмитрия Донского.

Из «Книги записей литовских»

Во имя Боже, то сут книги, кому корол <Казимир IV Ягеллончик, 1447–1492> именья роздал. <...>

Иртищу село Калечина <...>.

Степану Иртищу <...> Леповица там же за Мезоцком и на вотчизну в наследственное владение[1]. (*Хроника рода Достоевского. С. 24.*)

С.В. ЛЮБИМОВ

<...> по указанию сохранившихся документов, род Достоевских принадлежит к числу коренных обитателей Пинского княжества <...>. (*Достоевский: Ст. и материалы / Под ред. А.С. Долинина. Сб. 2. М.-Л., 1924. С. 303.*)

Привилей 1506 года, предъявленный мстибоговскому старосте Григорию Воловичу сыновьями Данилы Иртища, Иваном и Семёном Данелевичами, в 1559 году.

Я князь <Пинский> Фёдор Иванович Ярославича и с кнегинею своею Оленою чиним знакомито <доводим до сведения> сим нашим листом, кому будет потреба того ведати, абы чтучи его слышати. Дали есмо боярину нашему пану Данилу Ивановичу Иртищевичу <...> в Достоеви Олисеевское дворисчо <крестьянский двор с его обитателями> а <и> Терпилович дворисчо. <...> А дали есмо тое имен<и>е тому нашему боярину вечно и непорушно, ему, и его жоне, и их детем и счадком <потомкам>. И над то дали есмо ему сеть <сей> наш лист, и печать свою есмо к сему нашому листу привесили. Писан у Пинску. Лето по семой тисячи 15 году, индикт 10<1506 год>, месеца Октября 6 день.

Примечание Г.Б. Воловича. В того привилья <на той грамоте> есть подпись руки его милости господаря короля и великого князя Жикгимонта <Сигизмунда I Старого 1506–1548>. (*Ревизия пущ и переходов звериных в бывшем великом княжестве Литовском, с присовокуплением грамот и привилегий на входы в пущи и на земли, составленная старостою Мстибоговским Григорием Богдановичем Воловичем в 1559 году. Вильна, 1861. С. 110.*)

Л.Ф. ДОСТОЕВСКАЯ

<...> невдалеке от Пинска до настоящего времени существует местность под названием Достоево — бывшее имение семьи Достоевских. Это была некогда самая дикая местность Литвы, почти сплошь покрытая дремучими лесами; необозримые пинские болота тянулись здесь бесконечно. (*Достоевский в изображении его дочери Л. Достоевской. М.; Пг., 1922. С. 9.*)

[1] Первое упоминание о земельных владениях Ртищевых в этом регионе.

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

Я слышал, что и по настоящее время в Каменец-Подольской губернии есть местечко Достоево, принадлежавшее когда-то Достоевским.

Примечание его сына А.А. Достоевского. Село Достоев находится не в Каменец-Подольской губ., а в Минской, Пинского уезда, Поречской волости[1]. (*Воспоминания... С. 16–17, 410.*)

М.В. Волоцкой

<...> 1506 г., когда Иртищевичи (Иртищи) получили часть села Достоева, можно считать исходной датой возникновения фамилии Достоевских. (*Хроника рода Достоевского. С. 25.*)

Со слов АНТОНИЯ СВЕБОДЫ, приходского священника Ильинской церкви села Достоева. 1870-е гг.

Село Достоев, пинского уезда, первого благочиннического округа, расположено при просёлочной дороге. Расстояние имеет: от губернского города <Минска> 282 <версты>, от уездного <Пинска> 30 <...>. Никакого сказания об этой местности не сохранилось. (*Описание церквей и приходов Минской епархии, составленное по официально затребованным от причтов сведениям. Минск, 1879. Т. 6. С. 50.*)

Собственное имя

С. ГЕРБЕРШТЕЙН. О Литве. 1556

Ближе всего к Московии Литва. Я имею в виду здесь не одну (собственно литовскую) область, но и прилегающие к ней страны, которые разумеются под общим именем Литвы. <...>

Литва чрезвычайно лесиста: в ней имеются огромные болота и множество рек <...>. Климат суров, животные всех пород малорослы; хлеба там в изобилии, но посев редко достигает зрелости. (*Записки о Московии. С. 185, 192.*)

Г. КРАШЕВСКИЙ. Пинск и его окрестности

Кругом <...> леса мрачные, сосновые, сосны уродливые, горбатые, изувеченные; дорога устлана древесными корнями; инде стоит на

[1] Ошибка Андрея Михайловича Достоевского, поместившего Достоево в Каменец-Подольскую губернию, весьма характерна. Он, очевидно, имеет весьма смутные представления о перемещениях своих предков в географическом и историческом пространстве и полагает, что родовое гнездо Достоевских всегда находилось там, откуда вышел его отец. Следующее поколение Достоевских благодаря главным образом генеалогическим разысканиям Анны Григорьевны осведомлено в этом вопросе значительно лучше.

распутии белый деревянный крест, ветхая подпёртая церковка <...>. (*Сын отечества. 1837. Ч. 187. С. 200.*)

Г. СЕНКЕВИЧ. Огнём и мечом

<...> целые тучи комаров стояли над лошадьми и людьми, ибо вошли войска в край болот непроходимых, лесов топких, лугов размоклых, рек, речек и ручьёв, в край пустой и глухой, одною лишь пущей шумящий, про жителей которого в те времена говаривали:

Выделил дочке
Шляхтич Голота
Дёгтю две бочки,
Рыжиков низку,
Ёршиков миску
Да клин болота.

На болоте этом росли, правда, не только грибы, но, вопреки всем стишкам, и немалые помещичьи состояния. <...> однако, целый край представлялся сплошною трясиною. <...> Заросли чернели над водой, леса, казалось, вырастали из воды, вода хлюпала под конскими копытами, воду выжимали колёса повозок и пушек.

С. ГЕРБЕРШТЕЙН. О Литве. 1556

Народ жалок и угнетён тяжелым рабством. <...> Помимо оброка они ещё работают на господ шесть дней в неделю. <...> Со времен Витольда <1392–1430 гг.> вплоть до наших дней они пребывают в столь жестоком рабстве, что приговорённого к смерти заставляют по приказу господина казнить самого себя и собственноручно себя вешать. Если же он вдруг откажется сделать это, то его жестоко высекут, бесчеловечно истерзают и всё равно повесят. Вследствие такой строгости бывает, что судья или назначенный для (разбора) дела начальник только пригрозит виновному, начни тот медлить, или просто скажет: «Поспеши, господин гневается», как несчастный, опасаясь жесточайших побоев, кончает жизнь петлей[1]. (*Записки о Московии. С. 192–193.*)

[1] Смысл этого принуждения к самоубийству противоестествен и жуток для католика Герберштейна: литовский феодал столь властен над своими смердами, что в состоянии даже заставить их совершить ничем не искупимый грех – собственноручно отправить свою душу в ад на вечные муки. Однако и в современных Герберштейну католических Англии и Франции приговорённому к смерти зачастую преднамеренно

К.И. АРСЕНЬЕВ. Путевые заметки о Западной и Юго-Западной России

Эти <полесские> земли, покрытые лесами и зыбкими болотами, слыли некогда у Поляков палладиумом их национальной независимости. (*Журнал Министерства внутренних дел. 1845. № 10. С. 90.*)

Л.Ф. ДОСТОЕВСКАЯ

Я слыхала часто, как мой отец и мои дяди говорили: «Мы, Достоевские, литовцы, но не поляки. Литва совершенно иная страна, нежели Польша». (*Достоевский в изображении дочери... С. 10.*)

С. ГЕРБЕРШТЕЙН. О Литве. 1556

Этот народ <литовская шляхта> носит длинное платье; вооружены они луками, как татары, и копьем со щитом, как венгры. Лошади у них хорошие, причём холощёные и без железных подков; уздечка лёгкая. (*Записки о Московии. С. 187.*)

Реестр бояр Пинских (из Литовской метрики). 1 мая 1528

Хто на кольку конех мает служити. <...>

Данилей Ртищевич конь[1]. (*Рус. историч. библиотека. Т. 33. Пг., 1915. Стб. т.*)

Н.П. ЧУЛКОВ. Справка о происхождении Достоевских

Данило Иванович <Иртищ> имел двух сыновей, Ивана и Семёна Даниловичей, земян пинских. Семён встречается ещё со старым фамильным прозвищем Артищевич, а Иван — уже с новым, по имению, Достоевский. (*В кн.: Воспоминания Андрея Михайловича Достоевского. С. 410.*)

М.В. ВОЛОЦКОЙ

Достоевский Иван Данилович. <...>

Имел собственный дом в г. Пинске в районе Старого рынка. (*Хроника рода Достоевского. С. 27.*)

отказывали в причастии и исповеди, обрекая его тем самым на вечную гибель. (См.: Хёйзинга Й. Осень средневековья. М., 1988. С. 25–26).

[1] Т. е. первый владелец Достоева должен прийти в войско сам и привести одного конного ратника, вооружённого в соответствии с вышеприведённым герберштейновским описанием.

ЛАВРИН ВОЙНА. Прутовое[1] измерение города Пинска. 1561–1566

	Пруты под домами	Пруты под огородами[3]
Старый Рынок <...>		
Земянин Иван Данилович	1½	свободн. <...>
Городисская улица <...>		
Пинский земянин Семён Данилович	2	3½

(*Писцовая книга бывшего Пинского староства, составленная по повелению короля Сигизмунда Августа в 1561–1566 годах Пинским и Кобринским старостою Лаврином Войною. Вильна, 1874. Ч. I. С. 6, 32.*)

Из книги событий Пинского доминиканского монастыря. 1649

Описание города Пинска

Этот город Пинск <...> пустился в разные купеческие торги; и так над рекою Пиною <...> густо построился в длину с лишком на полмили и имел от королей великие права и вольности; число домов в нём простиралось до пяти или шести тысяч. Жители приобрели такую силу и богатство, что было множество горожан, имевших в торгу (товаров) по сто тысяч (*Чтения в Обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1847. № 5. С. 32.*)

Л.Ф. ДОСТОЕВСКАЯ

Достоевские были шляхтичами и принадлежали к гербу Радван; это указывает на то, что они были дворянами, сражались на войне под знаменем своего патрона Радвана и имели право носить его герб. Моя мать велела нарисовать герб Радвана для находящегося в Москве музея Достоевского. Я видела этот герб, но не могла бы описать его, так как не изучала его геральдики[3]. (*Достоевский в изображении дочери... С. 9.*)

---

[1] Прут — средневековая мера площади (примерно 39 м²).

[2] То есть ограждёнными участками земли. В центре города, на Старом Рынке, дома стояли так тесно, что «огородов» практически не имели (соответствующая графа «свободна»), а на окраинной Городисской улице шляхтич мог позволить себе такую роскошь.

[3] Такое изучение могло бы, пожалуй, обескуражить Любовь Федоровну. Согласно легенде, в одной из войн польского короля Болеслава I Храброго (992–1025) с Русью отряд, которым командовал предок Радванов, столкнулся с превосходящими силами противника. Чтобы его люди не обратились в бегство, Радван взял хоругвь в соседней церкви и с хоругвью в руках увлёк их за собой. За проявленную доблесть

С.В. ЛЮБИМОВ

Все линии их <Достоевских> употребляли один и тот же герб «Радван» — в красном поле золотая трехконечная хоругвь. (*Долинин. 2. С. 305.*)

А. БОНЕЦКИЙ

Достоевские, г<ерб> <...> представляет собою <герб> Радвана, с той разницей, что вместо креста над хоругвью помещён перстень[1]. Над шлемом <венчающим щит> рука в латах, с мечом. (*Boniecki A. Herbarz Polski. Cz. 1. T. 4. Warszawa, 1901. P. 391.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

Фамилия Достоевских принадлежит к числу очень древних дворянских фамилий, по крайней мере в родословной книге кн. Долгорукова дворянская фамилия эта отнесена к существовавшим ранее 1600 года литовским фамилиям <...>. (*Воспоминания... С. 16.*)

Фамилии, существовавшие в Польше и Литве прежде 1600 года

Достоевские

(*Долгоруков П.В. Российская родословная книга. СПб., 1854. Ч. 1. С. 34.*)

Генеалогическое наваждение: «епископ Стефан»

Л.Ф. ДОСТОЕВСКАЯ

Мой отец рассказывал моей матери о епископе Стефане, который, по его мнению, был родоначальником православной ветви нашей семьи. К моему великому сожалению, моя мать не обратила на эти слова никакого особого внимания и не спросила его о дальнейших подробностях. Я полагаю, что один из моих литовских предков, перекочевавших в Украину, переменил религию для того, чтобы жениться на православной украинке, и стал священником. После того как он овдовел, он, вероятно, поступил в монастырь и позже стал архиепископом. Таким образом епископ Стефан, хотя и был монахом, стал родоначальником православной ветви

и благочестие Радван получил от короля право внести в герб спасительную хоругвь. (См.: Herbarz Polski. Lwow, 1855. T. 3. P. 4–5.)

[1] Перстень, или кольцо (annulet), в верхней части щита в геральдике — знак третьего сына. Поэтому можно предположить, что Достоевские были в родстве или вассальных отношениях с младшей ветвью рода Радван.

нашей семьи. Мой отец, вероятно, имел более точные сведения о жизни этого епископа, так как он хотел назвать в честь его своего второго сына Стефаном. (*Достоевский в изображении дочери... С. 10.*)

Из записных тетрадей А.Г. ДОСТОЕВСКОЙ

Перед рождением Лёши <в 1875 г.> мы не знали, как назвать его; я хотела Иваном, а Фёдор Михайлович Степаном, в честь родоначальника рода Достоевских[1]. (*В кн.: Гроссман Л.П. Жизнь и труды Ф.М. Достоевского. М.; Л., 1935. С. 16.)*

Л.Ф. ДОСТОЕВСКАЯ

Достоевский <...> хотел ему <младшему сыну> дать имя Степана, в память епископа Стефана, который, как мой отец говорил, был основателем православной ветви нашего рода. Моя мать была несколько удивлена этими словами, так как мой отец лишь очень редко говорил о своих предках. Мне кажется, что Достоевский, всё более и более интересовавшийся православием, хотел этим выразить свою благодарность тому, кто первый из нашего литовского рода склонился к православию. (*Хроника рода Достоевского. С. 148.*)

М.В. ВОЛОЦКОЙ

В 1577 г. земянин минский Стефан Достоевский получил в своё владение минский Вознесенский монастырь. (*Хроника рода Достоевского. С. 28.*)

Староста минский ГАВРИЛО ГОРНОСТАЙ — подданным монастыря Вознесения Христова под Минском. 10 августа 1576

Ознаимую <сообщаю> вам иж <что> я видечи великии непорядок которыи ся по вси часы <времена> прошлые так и теперь <...> деет в оном манастыри <...> оный манастыр <...> отдалом <...> служебникови моему пану стефану Достоевскому <...> абысте <чтобы> его во всем послушни были яко пана своего до воли и ласки Его м<и>л<о>сти г<оспо>д<а>рское[2]. (*Сбор-*

[1] Подобное желание — воплотить в детях историю рода — испытывал и Пушкин. «Мать рассказала, — вспоминает дочь Натальи Николаевны от второго брака А.П. Арапова, — что, когда родился второй сын, она хотела назвать его Николаем, но Пушкин пожелал почтить память одного из своих предков, казнённых в смутное время, и представил ей выбор между именами: Гаврила и Григорий. Она предпочла последнее» (*Новое время, 1908, № 11425*).

[2] Отсюда следует, что Стефан Достоевский получил монастырь по протекции своего непосредственного начальника, старосты минского, у которого он, Стефан, был «служебником».

ник древних грамот и актов городов Минской губернии, православных монастырей, церквей и по разным предметам. Минск, 1848. С. 30.)

С.М. СОЛОВЬЁВ

Король Стефан <Баторий, 1576–1586> дал минский Вознесенский монастырь дворянину Невельскому, а тот, не желая вступать в духовное звание, передал монастырь с ведома королевского земянину Достоевскому, который не был даже православный; митрополит Иона и каштелян минский Ян Глебович жаловались королю, что Достоевский пользуется только доходами и вовсе не радит об управлении монастырём; и просили отдать последний земянину же минскому Михайле Рагозе, человеку благочестивому и в священном писании знающему, который немедленно пострижётся в монахи. Король исполнил их просьбу. <...> Это было в 1579 году <...>[1]. (*История России с древнейших времён. Т. 7. М., 1857. С. 148.*)

Н.Н. СТРАХОВ

Фёдор Михайлович во все время пребывания за границей <в 1867–1871 гг.> <...> читал <...> русские книги. Некоторые были взяты им с собою, например <...> «История России Соловьёва» <...>. (*Биография, письма и заметки из записной книжки Ф.М. Достоевского. СПб., 1883. С. 298.*)

Л.Ф. ДОСТОЕВСКАЯ

Изучая происхождение нашей семьи, мы[2] натолкнулись на документ, в котором православный монастырь, предоставленный в ведение семьи Достоевских, жалуется на её неприязненное отношение к православным монахам. (*Достоевский в изображении дочери... С. 9.*)

Королевский привилей МИХАИЛУ РАГОЗЕ на владение Минским Вознесенским монастырём. 17 февраля 1579

<...> Богуш Невельский, не хотечи сану духовного на себе приняти, тот манастырь земянину нашому Стефану Достоевскому, також человеку светскому, и к тому ещё закону не Греческого, пустил <...> але, иж <однако, поскольку> тот Достоевский только дей для пожитку своего тот манастырь держит, а хвала Божия никогда в нём подле закону Греческого полнена не бывает <...> тот манастырь у того Достоевского вземши <...> Михайле Рагозе <...> тот манастырь дали <...>. (*Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археографической Комиссией. Т. 3. СПб., 1848. С. 241.*)

[1] Именно этот текст мог явиться для Достоевского источником генеалогических знаний. Но, видимо, сжатость соловьёвского рассказа и послужила причиной недоразумения. С.М. Соловьёв говорит, что Невельской передал православный монастырь католику Достоевскому, «не желая вступать в духовное звание», и тот нерадиво, но управлял монастырём. Ф.М. Достоевский мог принять его слова за указание на то, что преемник Невельского всё же вынужден был перейти в православие и принять духовный сан. Правда, само имя «Стефан» С.М. Соловьёвым не названо — и остаётся только гадать, откуда оно стало известно Достоевскому.

[2] Под «мы» Любовь Фёдоровна разумеет, конечно, не себя, а Анну Григорьевну, занявшуюся историей рода Достоевских уже после смерти мужа. Вряд ли самому Достоевскому был известен нижеприводимый документ.

Л.Ф. ДОСТОЕВСКАЯ

Достоевские были, по-видимому, очень ревностными и нетерпимыми католиками. (*Достоевский в изображении дочери... С. 9.*)

Н.П. ЧУЛКОВ. Справка о происхождении Достоевских

<...> хотя он <Стефан Достоевский> перешёл в католичество[1], но всегда подписывался «письмом русским». (*В кн.: Воспоминания Андрея Михайловича Достоевского. С. 409.*)

М.В. ВОЛОЦКОЙ

В 1590 г. Стефан Достоевский упоминается как «писар гродский Менский» (писарь гродской Минский). Подписывался по-русски. (*Хроника рода Достоевского. С. 30.*)

Пленник султана

М.О. КОЯЛОВИЧ

В 1620 году <...> Турки и Крымские Татары двинулись против Польши. (*В кн.: Документы, объясняющие историю Западно-Русского края в его отношении к России и Польше. СПб., 1865. С. CXX.*)

Из «Каменецкой хроники»

1620 <...> суббота, Рождество Богородицы. Состоялась битва при Цецоре нашей польской армии с турками и татарами. <...> из каждых десяти человек спасся только один. Да из тех, кто выбрался оттуда, мало кто спасся, потому что татары, переправившись через реку, хватали их. Но некоторые бежали. <...> Наконец наше войско было вынуждено уйти из Цецоры <...> среди наших и казаков вспыхнули распри <...> Хантемир-мурза с 12 тысячами татар был поблизости. И когда услышали, что в лагере начались распри, то сразу с теми 12 тысячами напал на лагерь и прорвал его, а затем подоспели и остальные татары. [Наши] в панике стали

[1] Итак, если верить изучившему архивы Н.П. Чулкову, внук Данилы Иртища совершил действие, прямо обратное тому, которое приписывал ему Достоевский!

разбегаться — и кого зарубили, кого схватили живым, кто утонул в Днестре, а некоторые спаслись. (*Османская империя в первой четверти XVII века. М., 1984. С. 55.*)

Из жалобы православной шляхты Белоруссии и Украины Варшавскому сейму 1623 года

Татары разорили Подолию, разграбили Покутье, опустошили значительную часть Волыни, глубоко проникли в Полесье, опустошили Львовскую, Перемышльскую земли, подходят к Люблину, совершают набеги и на Краковские волости. <...>

Татары, не разбирая, хватают всё, что попадает к ним в руки. (*Документы, объясняющие историю Западно-Русского края... С. 302.*)

Из инструкции короля СИГИЗМУНДА III ВАЗЫ коронному конюшему Кшиштофу Збаражскому, главе польского посольства в Турцию в 1622–1623 гг.

В-третьих, все польские шляхтичи, схваченные в последнее время <1620–1621 гг.>, должны быть немедленно отпущены на свободу. (*Османская империя... С. 45.*)

А. БОНЕЦКИЙ

Стефан <Достоевский>, вернувшись из турецкого плена в 1624 г., повесил серебряные цепи перед чудотворным образом Богоматери во Львове[1]. (*Boniecki. I. 4. P. 391.*)

«Случайное семейство» в XVI в.: преступление и наказание

Из черновых набросков к роману «Подросток». 26 августа 1874

Лиза говорит: «Если б я жила в XVI столетии, я бы отравительницей была». (*ПСС. XVI. С. 82.*)

М.В. ВОЛОЦКОЙ

Достоевская, по первому мужу Карлович, по второму Псарская, Марына Стефановна. <...>

Вышла замуж за Станислава Карловича около 1590 г. Обвинялась в убийстве своего первого мужа при помощи наёмного лица (некоего Яна Тура). <...>

[1] Вспомним, что битва при Цецоре, в результате которой Стефан Достоевский, как мы полагаем, мог попасть в турецкий плен, состоялась в праздник Рождества Богородицы.

14 октября 1606 г. Марына велела истопить баню. Мыться пошли сначала сёстры Достоевские <...>. Вернувшись, Марына стала настойчиво понуждать мужа, чтобы и он шёл в баню. Баня же отстояла в некотором отдалении от именья. С. Карлович по настоянию жены ушёл в баню. Марына же распорядилась спрятать всех собак, а ворота имения запереть. Когда Карлович, вымывшись, вышел из бани, подстерегавший его убийца выстрелил в него из ружья. Раненый Карлович с криками бросился бежать домой, но, добежав до ворот, нашёл их запертыми и упал около них. Тут его настиг убийца и, лежащего на земле, засёк саблей. Один из свидетелей, мывшийся вместе с Карловичем в бане, видел, как был ранен Карлович. Некоторые обитатели Дурыниц <имения, где происходило убийство>, выбежав на выстрел и крики, были очевидцами, как какой-то неизвестный человек рубил саблей лежащего на земле Карловича, но никто не решился оказать сопротивление убийце. Убийца же, обежавши двор, подбежал к панскому дому с другой стороны, где его встретила Марына и спрятала у себя.

Карловича положили на доску и внесли во двор. Он ещё был жив и что-то хотел сказать жене. Она же не велела его нести к себе в светлицу. Когда Карлович вскоре умер и Марыне сообщили, что «вже пана нашего не стало», она не велела нести умершего в панский дом, а сказала: «Несите его там до дьябла (дьявола), до избы», по другим же показаниям, приказала бросить около амбара. К убитому она так и не пошла, а стала разбираться в домашних вещах.

Приходившие на место убийства окрестные жители видели, как тело Карловича лежало около амбара прямо на земле, едва прикрытое старым плохим полотенцем. Около ворот была лужа крови, которую лизали собаки и свиньи. Мужчины хотели немедленно начать поиски убийцы, но Марына отговаривала их, говоря — что вам до этого, смотрите, как бы и вас кого тот же человек не убил. <...> Когда в Минске происходили похороны Карловича, Марыну вёл под руку Ян Тур, т. е. сам убийца. <...>

Суд приговорил Марыну и Яна Тура к смертной казни. Она апеллировала в главный трибунал и была временно взята на поруки несколькими лицами. (*Хроника рода Достоевского. С. 32–35.*)

Из Литовского статута 1588 г.

Есть ли муж жену или жена мужа каким ни будь обычаем по сердцу <осерчав> смерти предала.

<...> естьли бы с ненависти и с нелюбви обе стороны, муж и жена, будучи не в любовном житье, каким ни будь обычаем один другого смерти предал, убил или отравил <...> такова душегубца без милости карать горлом <смер-

тью> тем обычаем, как бы отца или матерь убил. (*Лаппо И.И. Литовский статут в московском переводе-редакции. Юрьев, 1916. С. 304–305.*)

ИЕРОНИМ (ЯРОШ) МОРШТЫН. Из сборника «Мирские забавы». 1606

(*Альцеста, жена добродетельная, за мужа смерть принявшая*)

Так у людей, у нас же вот как

У язычников жёнки мёрли вслед за мужем,
Ныне ж над свежим гробом пляшем и не тужим.
Не то чтобы за мужа здравия лишится
Иная, но его же здравье скрасть схитрится.
Один испустит душу — с другим пред налоем.
Нынче свадьба, а завтра — вздохнём и зароем.

(*Европейская поэзия XVII в. М., 1977. С. 569.*)

М.В. ВОЛОЦКОЙ

<...> Раина Достоевская обвинялась, как подделавшая завещание Карловича, что было установлено сличением почерков и печатей[1]. Отец Марыны и Раины, Стефан Достоевский в это время был занят в Минске оформлением наследственных притязаний Марыны на движимое и недвижимое имущество Карловича. <...>

Сосед Карловича Карабурда показывал на следствии, что недели за две до убийства Карлович приезжал к нему в его имение Свислочь и, горько плача, жаловался, что его наверное скоро убьют, просил помнить о нём и позаботиться о его имуществе. (*Хроника рода Достоевского. С. 34–35.*)

Из Литовского статута 1588 г.

А такою злолютою казнью казнить тех: по торгу <городу> возячи, клещами тело торгать, а потом в мешок кожаный посадить, да тут же пса, петуха, ужа <змею>, кота, и то все вместе, в мешок с тем убойцею посадя, зашить накрепко и в глубину водную пустить. Тем же обычаем и помочников его <...> карать тако ж. (*Литовский статут в московском переводе-редакции. С. 306.*)

М.В. ВОЛОЦКОЙ

В главном трибунале дело Марыны Достоевской разбиралось 19 и 21 ноября 1608 г. Смертный приговор был утверждён трибуналом вторично. К тому времени Марына вышла второй раз замуж за минского зе-

[1] «В Литовской метрике, уже после разбора дела в Главном трибунале, подготовителем фальшивого завещания указывается местный поп». (*Примеч. М.В. Волоцкого*).

менина Салемона Псарского. После решения дела в трибунале муж Марыны поехал к королю и просил его о милосердии. (*Хроника рода Достоевского. С. 35.*)

Из Литовского статута 1588 г.

Естьли бы <...> беременная с суда на смерть была приговорена за какую вину, тогды до рожденья, покамест родит, не казнить её, держать в вязенью, сиречь в тюрьме; а как родит, тогды горлом карать. (*Литовский статут в московском переводе-редакции. С. 325.*)

М.В. ВОЛОЦКОЙ

Король указом от 18 августа 1609 г. отсрочил приведение приговора в исполнение на 12 недель со дня опубликования указа. (*Хроника рода Достоевского. С. 35.*)

Семена раздора

А.Г. ДОСТОЕВСКАЯ — А. КУЛЬЧИТСКОМУ, священнику села Достоева Пореченской волости Минской губернии. 4 ноября 1897

Мой покойный муж Фёдор Михайлович Достоевский много раз говорил, что его род происходит из Литвы от пинского маршалка Достоевского, выбранного в сейм 1598. Пётр Достоевский и его потомство жили в селе Достоеве. (*Жизнь и труды... С. 16.*)

М.В. ВОЛОЦКОЙ

Достоевский Пётр Сасинович.

В 1598 г. маршал[1] Пинского повета и член Главного трибунала великого княжества литовского. <...>

Подписывался Петр Достоевский по-польски. (*Хроника рода Достоевского. С. 31–32.*)

С.В. ЛЮБИМОВ

Пётр Достоевский занимал в 1598 г. важную должность пинского поветового маршала. По своему положению поветовые маршалы стояли высоко, их дальнейшим повышением являлось сенаторское кресло: они были главными вождями дворянского ополчения своего повета и иногда разбирали дела, подлежащие дворному королевскому суду. (*Долинин. 2. С. 30.*)

[1] «Т.е. предводитель шляхты как на войне, так и на сеймиках». (Примеч. М.В. Волоцкого).

М.В. ВОЛОЦКОЙ

В 1622 г. <Пётр Достоевский> был комиссаром по размежеванию имений Пинского францисканского монастыря, после чего монахи обвиняли его в неправильных действиях. (*Хроника рода Достоевского. С. 32.*)

С. ГЕРБЕРШТЕЙН. О Литве. 1556[1]

Но храмов русских <православных> там гораздо больше, чем римского исповедания. В Литовском княжестве три епископства римского исповедания, а именно: Виленское, Жемайтийское и Киевское. Русские <православные> же епископства в королевстве Польском и Литве с входящими в их состав княжествами следующие: Виленское, где ныне пребывает архиепископ, Полоцкое, Владимирское, Луцкое, Пинское, Холмское и Перемышльское. (*Записки о Московии. С. 187.*)

Грамота СИГИЗМУНДА III ВАЗЫ. 5 марта 1627

Жикгимонт III.

Бурмистром, раицом, лентвоиту, лавником[2] и всему поспол<ит>ству <общине> мещаном места <города> нашог<о> Пинского права моидебургског<о>.

Маем <имеем> того ведомость от велебног<о>[3] в бозе отца Григоря, епископа туровского и пинского, архимандрита кобринского, иж <что> вы <...> смеете и важитеся во владзу <власть> его пастырскую ему надлежачую, уступовать церквами в месте нашем Пинском з моцы <власти> его выимуючы <отняв>, радити и ими справовати, попов непослушных его <ему> к собе в домах переховуете <прячете>, бунты непотребные противко зверхности <верховенства> нашое г<оспо>д<а>рское и его епископскии чыните <...>.

Про то мы, г<оспо>д<а>р, забегаючысе <добиваясь> тому всему, вам всем приказуем, абы <чтобы> <...> епископу тамошнему туровскому и пинскому в справы <дела> его духовные и по владзу его пастырскую ни в чом не вступовали <вмешивались>. (*Социально-политическая борьба народных масс Белоруссии. Т.I. Минск, 1988. С. 228.*)

М.В. ВОЛОЦКОЙ

20 мая 1628 г. Пётр Д<остоевский>, будучи маршалом и дворянином Пинского повета, передал по королевскому приказу православную

[1] За сорок лет до принятия Брестской унии (1596).
[2] Различные должности в городском самоуправлении по магдебургскому праву.
[3] Обращение к лицу духовного звания.

церковь св. Фёдора в Пинске униатскому епископу Туровскому и Пинскому Григорию Михайловичу. Передача эта совершилась против желания православных прихожан этой церкви, пинских мещан. (*Хроника рода Достоевского. С. 32.*)

Из жалобы представителей православной шляхты Белоруссии и Украины Варшавскому сейму 1623 г.

Это благодаря их <католиков и униатов> зловредным козням на протяжении нескольких лет во многих городах стоят запечатанными наши церкви. Они заключают в тюрьмы наших священников, лишают их имущества и средств существования, избивают и убивают. Они подвергают арестам и изгнанию невинных людей, уничтожают наши права и свободы. (*Документы, объясняющие историю Западно-Русского края... С. 290.*)

Нунций ИОАНН ТОРРЕС — папе ГРИГОРИЮ XV. 1622. Краков

Не поддается описанию, насколько русский народ ненавидит римских католиков. Эта ненависть доходит до такой степени, что при виде римско-католического ксендза они плюют на землю от ужаса и отвращения. (*Белоруссия в эпоху феодализма. Минск, 1959–1963. Т. I. С. 392.*)

Из жалобы православной шляхты Белоруссии и Украины Варшавскому сейму 1623 г.

Они же <католики и униаты> во многих городах где полностью отобрали у нас церкви, а где опечатали; нашему духовенству не разрешают ни крестить, ни хоронить открыто, так что те вынуждены делать это тайком, по ночам. Пойманных при этом мещан они штрафуют, священников заключают в тюрьмы и изгоняют из городов. С тех пор, как отняли у нас церкви, все обычные богослужения нашей греческой веры должны были прекратиться почти по всей земле русской <украинской и белорусской>, прекратились моления, прекратились ночные бдения. Лишили нас всех духовных утешений хвалы Божией. Отняв церкви, во многих городах не допускают совершать святую литургию — обычного и наиболее важного богослужения, а тем самым лишают искупительного таинства причастия. (*Документы, объясняющие историю Западно-Русского края... С. 284.*)

Универсал ВЛАДИСЛАВА IV ВАЗЫ, данный по просьбе православной шляхты на элекционном сейме. 16 марта 1633 г.

Владислав IV милостью Божией Король Польский, Великий Князь Литовский, Русский, Прусский, Жмудский, Мазовецкий, Инфляндский, Шведский, Готский, Вандальский наследственный Король, выборный Ве-

ликий Царь Московский <...> <разрешает православным> открыть <...> в Пинске — <церковь> Св. Фёдора Тирона и братство их <...>. И во всех тех церквах и монастырях неуни<а>там митрополиту, владыкам и пресвитерам иметь резиденции и отправлять богослужения без всякой помехи под угрозой ответственности по законам, дали мы наше уверение. <...> Дано в Кракове Дня XVI Месяца Марта, в первый год царствования нашего Польского и Шведского. (*Сборник древних грамот и актов городов Минской губернии... С. 169–170.*)

Подсудимые и судьи: одна семья

М.В. ВОЛОЦКОЙ

Достоевский Филон.

Выступал 12 июля 1627 г. в качестве приятельского (третейского) судьи со стороны пинского униатского епископа Григория по делу его с подстаростой пинским Миколаем Ельским, обвинявшим епископского мещанина в краже. Подписался под решением суда по-русски, в то время как три прочих судьи подписались по-польски.

7 июня 1630 г. вместе с Бенедыктом <Петровичем> Достоевским участвовал в числе других людей «зацных» <почтенных, благородных, знатных> в разбирательстве судебного дела о чародействе. (*Хроника рода Достоевского. С. 38.*)

А.Н. АФАНАСЬЕВ

При царе Михаиле Фёдоровиче в 1632 г. была отправлена во Псков грамота с запрещением, под смертною казнию, покупать у литовцев хмель, потому что посланные за рубеж лазутчики объявили, что есть в Литве бабаведунья и наговаривает она на хмель, вывозимый в русские города, с целью навести чрез то на Русь моровое поветрие...

Процессы о вынутых травах, кореньях, заговорных письмах и других волшебных снадобьях составляли в XVII веке весьма обыкновенное явление. (*Древо жизни. М., 1983. С. 418.*)

М.В. ВОЛОЦКОЙ

Достоевский Бенедыкт Петрович.

Помещик села Достоева. <...>

Бенедыкт с женой начали проживать имение, полученное от предков. Сохранилось несколько дел о взыскании долгов, лежавших на его имениях Ляховичи и Достоеве. <...> Позднее, уже после смерти Бенедыкта Петровича, на Достоеве был долг в 8000 злотых польских.

В 1669 г. принимал участие в избрании короля Михаила Вишневецкого[1]. (*Хроника рода Достоевского. С. 36–37.*)

Ю.А. ЛАБЫНЦЕВ (по материалам краеведческого музея села Достоева)

Сохранившиеся архивные документы середины XVIII в. позволяют в деталях восстановить облик всей усадьбы. Это был значительных размеров фольварк, включавший панский двор, окружённый рвом и забором, и хозяйственную часть, соединённую с двором с помощью моста. В доме было пять комнат, небольшая каплица <часовня>, сенцы и столовая. Рядом находилась кухня, двухэтажный амбар-лямус с галереями и другие постройки. В усадьбе было два плодовых сада и огород. В хозяйственной части находились соответствующие постройки — гумно, скотный двор, а также мельница, пивоварня, здания для прислуги и двухэтажный деревянный дом эконома. Главный въезд в усадьбу венчала двухэтажная вежа — башня с высокой шатровой крышей. От всего этого давно не осталось и следа, лишь бумага старинного инвентаря-описания усадьбы сберегла для нас достаточно подробный, скучноватый рассказ о ней, написанный бесстрастным канцелярским языком. (*В глубинном Полесье. М., 1989. С. 134.*)

М.В. ВОЛОЦКОЙ

Достоевский Щастный.

Вероятно, один из внуков Ивана Даниловича Достоевского. Имел двух сыновей — Андрея и Абрама.

В 1634 г. вместе с сыном Андреем обвинялся в убийстве войского и подстаросты пинского Миколая Ельского[2] и «посечении» (ранении?) Томаша Ельского и двух слуг Мик. Ельского. <...>

Достоевский Андрей Щастнович. Сын предыдущего.

Вместе со своим отцом Щастным был осуждён за участие в убийстве Миколая Ельского и посечении трёх человек к лишению всех прав и изгнанию. 29 августа 1634 г. король помиловал Достоевских и других участников преступления и запрещал в своём указе кому бы то ни было попрекать их прежними их деяниями. <...>

Ельская, п<о> м(ужу) <Бенедыкту Петровичу> *Достоевская*, Елена[3]. (*Хроника рода Достоевского. С. 37–38.*)

---

[1] Через сто шестьдесят три года после пожалования Достоева оно ещё числится за Достоевским.

[2] «Вероятно, того самого Миколая Ельского, который упоминается в данных о Филоне Достоевском». (*Примеч. М.В. Волоцкого.*)

[3] Любопытно, какая степень родства соединяет эту представительницу семейства Ельских, вышедшую замуж за одного из Достоевских, с погибшим от их рук подстаростой пинским Миколаем?

Смутное время Речи Посполитой

Г. СЕНКЕВИЧ. Огнём и мечом

Было объявлено о всенародном ополчении <...> разносилось от берегов Балтики аж до самого до Дикого Поля зловещее слово: война!

Война! Война! Предвещали ее и знамения в небесах, и возбуждённые лица человеческие, и пересверк мечей, и ночами собачий вой возле хат, и ржание коней, чуявших кровь. Война! Дворянство по всем землям, поветам, усадьбам и мелкопоместьям извлекало из чуланов старые мечи и доспехи, молодёжь распевала песни об Иеремии <Вишневецком, руководившем военными действиями против Хмельницкого>, а женщины молились у алтарей. И поднялись вооружённые человеки от Пруссии до Лифляндии, от Великой Польши и многолюдной Мазовии аж — гей! — до божьих верхов татранских и тёмных чащоб бескидских.

С. ГЕРБЕРШТЕЙН. О Литве. 1556

Если им откуда-нибудь грозит война и они должны защищать своё достояние против врага, то они являются на призыв с великой пышностью, более для бахвальства, чем на войну, а по окончании сборов тут же рассеиваются. Те же, кто останутся, отсылают домой лучших людей и платье, с которыми они записывались, и следуют за начальником, с немногими (другими), как бы по принуждению. (Записки о Московии. С. 186.)

Г. СЕНКЕВИЧ. Огнём и мечом

<...> литовское войско под командою Радзивилла[1] <...> шло вниз по Днепру, всё на своём пути предавая огню и мечу, лишь землю за собой оставляя и воду.

МИХАЛОН ЛИТВИН (М. ТЫШКЕВИЧ). О нравах татар, литовцев и москвитян. Середина XVI в.

В городах Литовских нет более частых заводов, как те, на которых варится из жита водка и пиво. Эти напитки берут они <литовцы> на войну и, сделав к ним навык дома, если случится им во время войны пить непривычную воду, гибнут от дорог и поноса. (*Архив историко-юридических сведений, относящихся до России. 1854. Кн. 2. Отд. V. С. 31.*)

[1] Польный гетман Великого княжества Литовского в 1648–1649 гг.

М.В. ВОЛОЦКОЙ

Достоевский Филипп.

Товарищ[1] пинской поветовой хоругви (военного отряда). Обвинялся сыновьями уржендовского старосты Речицкого в разграблении 20 августа 1649 г. их имущества и нанесении побоев их крестьянам в сёлах Гриве и Хоровном Владимирского воеводства. (*Хроника рода Достоевского. С. 40.*)

С. ГЕРБЕРШТЕЙН. О Литве. 1556

<...> любой, в сопровождении толпы слуг войдя в жилище крестьянина, может безнаказанно творить что ему угодно, грабить и забирать необходимые в житейском обиходе вещи и даже жестоко избивать крестьянина. (*Записки о Московии. С. 192.*)

Универсал сейма Речи Посполитой ко всем воинам польско-шляхетской армии. 24 октября 1648

<...> чтобы в походе не причиняли никакого вреда населению и не брали подвод и денег на содержание солдат. Приказываем сосредоточивать в походе для прокормления в одном месте не больше как по две хоругви. Ни в чём не нарушать военных законов. <...> Напоминаем и строго приказываем об этом под страхом той же ответственности[2]. (*Документы об освободительной войне украинского народа 1648–1654 гг. Киев, 1965. С. 183.*)

С. ГЕРБЕРШТЕЙН. О Литве. 1556

Многим может показаться удивительным и даже невероятным, как бедняки ещё умудряются существовать; это при том, что в любой день могут нагрянуть татары или московиты и пленить его вместе с женой и детьми. (*Записки о Московии. С. 192.*)

М.В. ВОЛОЦКОЙ

Достоевский Андрей Щастнович. <...>

В 1649 г. — хорунжий поветовой хоругви (военный отряд) Волынского воеводства. Обвинялся вместе с хоругвью в разорении местечка Острожца и насилиях, учинённых над острожецкими мещанами-христианами и евреями: «...Солонины, бараны, куры, масла, сыры, горелки, пива и въси жывъности до пожитъку належачие в <у>месчан, жидов

[1] Офицерский чин в польской феодальной армии. Знаки различия (для войсковых подразделений Великого княжества Литовского): в тяжёлой кавалерии (гусарии) — золотая нашивка на плече, в лёгкой кавалерии — серебряная.

[2] «Изгнание из войска и лишение чести <принадлежности к шляхетству> навсегда». (Там же, выше).

и подданных нижой менованных <нижеперечисленных> острожецъких с комор кгвалтом <силой> брали и вытягали, и маетъности <имущества> до остатку опустошыли и внивеч <в ничто> обернули, подданных били и вшелякие <всякие> крывъды <неправды> и десъпекта <оскорбления> выражали...» (*Хроника рода Достоевского. С. 38–39.*)

С. ГЕРБЕРШТЕЙН. О Литве. 1556

Среди прочих княжеств Литвы самый воинственный народ — на Волыни. (*Записки о Московии. С. 192.*)

1648: ГОД КОМЕТЫ

Из книги событий Пинского доминиканского монастыря. О бунте города Пинска и об усмирении оного в 1648 г. 1649

Жители <...> изменнически предали город бунтовщикам Козакам, введя их тайно в город прежде нашего войска, сделали сами с Козаками заговор защищать с ними город до последней крайности и бить Ляхов. Они посулили Козакам 7000 войска для боя в поле, сами же обещали остаться для обороны при ограде <городской крепостной стене>, в городе. В самом деле <...> приготовлялись на наших, с жёнами и детьми, как на гвалт <разбой>, стремглав бежали к ограде, наших били, как могли, кто из ружей, кто косами, кто палками, другие бросая камни, полена, и чем кто мог. (*Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1847. № 5. С. 3*2.)

Г. СЕНКЕВИЧ. Огнём и мечом

Здешний <полесский> народ, тихий и спокойный, о бунте не помышлял и даже потом, подстрекаемый казаками и поощряемый их примером, под знамёна к ним идти не захотел.

О бунте города Пинска и об усмирении оного в 1648 г. 1649

6-го октября <1648 г.> <...> его милость, господин полковник Пинский, с своими хоругвями[1] и его милости, господина Гонсевского хоругвь, пошли на подъезд <приступ>; те, которые ходили с его милостью, полковником Пинским, получили от взятого языка достоверное сведение <...> что Козаки уговорились с Пинскими мещанами защищаться в Пинске до последнего; а чтобы Козаки до Рождества Христова не отступали из города, то горожане обещали им десять тысяч злотых и верное жалованье, каждому по десяти копеек, тулупы, сапоги и шапки.

[1] В пинской поветовой хоругви служил, как помним, Филипп Достоевский.

7-го числа его милость, господин стражник[1] великого княжества Литовского <Мирский>, с войском и орудиями вышел из Хомска <...>.

8-го числа <...> стояли с войском, ожидая, пока стянутся пехота и орудия. (*Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1847. № 5. С. 32–33*).

Из письма ЛУКИ ЕЛЬСКОГО пинским мещанам. 9 октября 1648. Из лагеря под Пинском.

<...> вы, нарочно бунтовщиков-Козаков к себе привлекши, город и вольности свои в великую неволю им предали и разные преступления, Богу и людям мерзкие, сами сделали и этим бунтовщикам Козакам во всём злом были руководителями, костёлы Божии ограбили и нападали с ними на шляхетские дома <...>. (*Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1847. № 5. С. 33.*)

О бунте города Пинска и об усмирении оного в 1648 году.

1649 <...> страшная комета показалась на небе 9-го числа октября[2] <...> с полуночи <...> над самым городом Пинском, меч остриём вниз и рукояткою к небу; этот кровавый меч пробыл час с лишком, на что горожане и Козаки долго смотрели. (*Чтения в обществе истории и древностей российских. 1847, № 5. С. 35.*)

Литовский польный гетман ЯНУШ РАДЗИВИЛЛ — гнезненскому архиепископу МАЦЕКУ ЛУБЕНСКОМУ. 16 октября 1648. Из лагеря под Гошей

Посудите же <...> как могут охранять и закреплять не только границу, но и внутреннюю территорию (ибо то пламя загорается не только на окраинах, но и в центре) столь пространных владений В<еликого> кн<яжества> Литовского четыре тысячи завербованных <солдат> и пятая <тысяча> уездного войска. (*Документы об освободительной войне украинского народа... С. 173*).

О бунте города Пинска и об усмирении оного в 1648 г. 1649

9-го числа <октября> его милость, господин Мирский полковник Речи Посполитой, со всем войском и с орудиями <...> и хоругви его милости, полковника Пинского, подступили к ограде и устроили войско в поле, где, с обеих сторон, было гарцованье. <...> После того, — когда наши Козацких наездников с поля согнали, а также выстрелили в город из осьми орудий, подвезённых к нему, — по хо-

[1] В польской феодальной армии — второй по старшинству чин после польного гетмана.

[2] В тексте «Книги событий» описка: «ноября».

датайству полковника Пинского пальба на час была прекращена, который к горожанам Пинским, для образумления, послал с трубачом и мужиком письмо, написанное в таких словах:

«Лука Ельский, маршал, полковник Пинского повета и войт <глава городского самоуправления> города Пинска, объявляю. <...> Я, как человек християнин, будучи войтом вашим <...> горячо упрашиваю <...> чтобы <...> вы <...> это изменническое ваше решение оставили, а головы свои наклоняя к покорности <...> могли вкусить сколь ни есть милосердия. <...> Писано в лагере под Пинском, 9-го октября 1648 года. Желающий вам скоро образумиться и исправиться, Лука Ельский, маршал и полковник повета Пинского».

Горожане Пинские, презрев письмом и увещанием его милости, господина маршала и полковника Пинского, остались при Козаках и обещали при них стоять до крайности. (*Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1847. № 5. С. 33–34.*)

Записка царского гонца дьяка КУНАКОВА царю АЛЕКСЕЮ МИХАЙЛОВИЧУ. Март. 1649

А Пинск разорил стражник литовский Мирский и мещан побил больше 3000 ч<еловек> и жёны их и детей велел побить без милости за то, что были у них черкасы <казаки>, и они, поднаявшись <объединясь> с ними, отпустили их вцеле; а как пришли жолнере <польские солдаты>, и они жолнерей к себе не пустили, бояся от них разоренья больши черкаские[1] войны. (*Архив Юго-Западной России. Т. 3. СПб., 1862. С. 296–297.*)

О бунте города Пинска и об усмирении оного в 1648 г. 1649

<...> его милость, господин стражник Мирский опять приказал сильно стрелять из орудий <...> две же хоругви господина полковника Пинского[2], сами добровольно бросились на штурм <...> и наказали бунтовщиков огнём и мечом. Они должны были почти каждый дом штурмовать, потому что неприятель, отбитый от ограды и рогаток, сильно оборонялся в запертых домах, так что, начиная с полудня сего понедельника до полуденной же поры следующего дня, всю ночь рыцарская рука не уставала среди трудов; и одних, как казаков, так и горожан, на месте убивая, других, бегущих к воде и в ней потонувших, рука святой справедливости

[1] Черкасами в старину назывались великороссийские обитатели Малороссии, в частности казаки.

[2] См. прим. 1 к с. 65.

наказала <...>. (*Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1847. № 5. С. 34.*)

Отписка Вяземских воевод царю АЛЕКСЕЮ МИХАЙЛОВИЧУ. 16 марта 1649

Государю царю и вел<икому> кн<язю> Алексею Михайловичу всеа Русин холопи твои, Матюшка Прозоровской, Богдашко Обобуров, челом бьют.

<...> а которые де государь, городы поимали черкасы, гор<од> Бобровск, да гор<од> Пенск <Пинск>, да гор<од> Мозурь, да Чириков, и в тех де городех черкасы белорусцов не секли; и после де того ляхи в тех городех белорусцов всех посекли и стоят в тех городех ляхи обозами. (*Архив Юго-Западной России. 3. С. 48–49.*)

М.В. ВОЛОЦКОЙ

В 1649 г. имущество Романа Бенедыктовича Д<остоевского> в его имении Остров, находившемся в Пинском повете, было развезено по домам крестьянами. 15 мая 1649 г. крестьяне села Сухого, принадлежавшего тоже ему, а также из соседних владений, были собраны в Острове «копным способом» и сознались, что брали разную маетность <имущество> Д<остоевского>, между прочим 4 вепрей, каменные жернова, пчёл и пр., и обещали всё взятое возвратить и уплатить убытки, что, впрочем, ими впоследствии сделано не было.

21 сентября 1649 г. генералом Пинского повета Зябкой было внесено в городские книги заявление о добровольном на копе сознании крестьян в разграблении имущества Достоевского. (*Хроника рода Достоевского. С. 37.*)

ИОАНН ТОРРЕС — папе УРБАНУ VIII. 6 февраля 1649. Краков

<...> пламя этих волнений <...> всё ещё не может достаточно утихнуть на Литве. (*Донесения папского нунция Иоанна Торреса, Архиепископа Адрианопольского, о событиях в Польше во время восстания Богдана Хмельницкого. Киев, 1914. С. 129*).

М.В. ВОЛОЦКОЙ

Достоевский Роман Бенедыктович.

В Пушкинском Доме при Академии наук СССР сохранилось древнее Евангелие на славянском языке, на котором имеется надпись, что оно в 1649 г. принадлежало Роману Достоевскому. <...>.

В 1664 г. — посол на сейме от Пинского повета. (*Хроника рода Достоевского. С. 37.*)

Выборщики короля

М.В. ВОЛОЦКОЙ

Достоевский Ян.

Земянин Новогрудского повета. <...>

В 1648 г. принимал участие от Пинского повета Брестского воеводства в избрании короля Яна Казимира. (*Хроника рода Достоевского. С. 40.*)

Г. СЕНКЕВИЧ. Огнём и мечом

Тракт был настолько забит, что едва вперёд продвигались. Всяк на выборы устремился: и из ближних мест, и из Литвы далекой. Шляхтичи ехали целыми дворами, одна за другой тянулись вереницы золочёных карет, окружённых гайдуками и выездными лакеями огромного росту, одетыми по-турецки, за которыми следовал личный конвой: венгерские, немецкие или янычарские роты, казачьи отряды, а то и латники из отборной польской конницы. Вельможи старались перещеголять друг друга пышностью нарядов и обилием свиты. Бессчётные магнатские кавалькады чередовались с поветовой и земской знатью, имеющей вид более скромный.

М.В. ВОЛОЦКОЙ

Достоевский Андрей Щастнович. <...>

В 1648 г. Андрей Д<остоевский> принимал участие от Брестского воеводства в выборах короля Яна Казимира (*Хроника рода Достоевского. С. 38.*)

Г. СЕНКЕВИЧ. Огнём и мечом

То и дело из облака пыли выныривали обитые чёрной кожей рыдваны, запряжённые парой или четвёркою лошадей; в каждом восседал знатный шляхтич с распятием либо образком пресвятой девы, на шелковой ленте висящим на шее. Все вооружены до зубов: с одного боку мушкет, с другого сабля, а у тех, кто имел отношение к войску — ныне или в прошлом — позади ещё на два аршина торчали пики. К рыдванам привязаны были собаки: легавые или борзые, прихваченные не по нужде, — не на охоту как-никак съезжались, — а единственно для господского развлечения. Следом конюхи вели заводных лошадей, покрытых попонами для защиты богатых сёдел от дождя и пыли, дальше тянулись со скрипом повозки на колёсах, скреплённых лозиной, нагруженные шатрами и запасами съестного для господ и прислуги. Когда ветер порою сдувал пыль с дороги на поле, весь тракт, открываясь, сверкал и переливался не то как многоцветная змея, не то как лента редкостного многоцветного шёлка. Кое-где на тракте гремела музыка: в толпе шли

итальянские и янычарские оркестры, чаще всего перед хоругвями коронного и литовского войска, которых на дороге тоже было немало — они входили в свиту сановников. Великий стоял крик, шум, гомон, со всех сторон неслись оклики, а порой вспыхивали перебранки, когда один другому поперёк пути становился.

М.В. ВОЛОЦКОЙ

Достоевские Александр, Богумил, Станислав и Николай.

В 1648 г. принимали участие от Пинского повета Брестского воеводства в избрании короля Яна Казимира[1] (*Хроника рода Достоевского. С. 40.*)

Г. СЕНКЕВИЧ. Огнём и мечом

Вблизи Варшавы толпа сделалась такой плотной, что всадники и экипажи уже едва ползли по дороге. Съезд обещал быть многолюдней обычного, поскольку даже шляхта с отдалённых — русских и литовских — окраин, которая ради самих выборов не стала бы в этакую даль тащиться, устремилась в Варшаву собственной безопасности ради. Решающий день был ещё не близок — только-только начались первые собрания сейма, — однако каждому хотелось попасть в столицу за месяц, а то и за два до сроку, чтобы получше устроиться, кому-то о себе напомнить, у кого-то поискать покровительства, съесть и выпить своё у знати, наконец, после сельских трудов насладиться столичной жизнью.<...>

Но вот в сизо-голубой дали замаячили островерхие башни Варшавы<...>.

М.В. ВОЛОЦКОЙ

Достоевский Бенедыкт Петрович.

В 1669 г. принимал участие в избрании короля Михаила Вишневецкого <...>

Достоевский Лев.

В 1669 г. принимал участие от Брестского литовского воеводства в избрании короля Михаила Вишневецкого. <...>

Достоевский Ян.

Земянин Новогрудского повета.<...>

В 1697[2] г. Ян Достоевский в числе Сандомирского воеводства принимал участие в избрании короля Августа II[3]. (*Хроника рода Достоевского. С. 37, 40–41.*)

---

[1] Таким образом, на элекционном сейме 1648 г. присутствовали шесть Достоевских, шляхтичей Пинского повета.

[2] У Волоцкого ошибочно: «1647».

[3] Эти трое (Бенедыкт, Лев и Ян) — единственные Достоевские, участвовавшие в работе элекционных сеймов 1669 и 1697 годов. На сейме 1674 г., избравшем в поль-

Г. СЕНКЕВИЧ. Огнём и мечом

Прошло несколько недель. Шляхты на выборы <1648 г.> съезжалось всё больше. Население города увеличилось десятикратно, ибо вместе с сонмищем шляхтичей в столицу хлынули тысячи барышников и купцов со всего света, от далекой Персии начиная и кончая Англией заморской. На Воле[1] соорудили временную постройку для сената, а вокруг, по всему пространному лугу, белели тысячи шатров.<...>

Наконец под сводами варшавского кафедрального собора прозвучало «Te Deum laudamus»[2] и «Монарх восшел на царствие», зазвонили колокола, грянули пушки — и надежда вселилась в сердца. Пришёл конец междуцарствию, времени смутному и тревожному, особенно тяжкому для Речи Посполитой, потому что это было время всеобщего краха.

«Внимая ужасам войны...»

Из материалов Пинского гродского суда. 8 октября 1654

<...> в текущем 1654 г. в октябре месяце своевольные люди, казаки-бунтовщики, объединившись с вероломным врагом московским, вторглись из Украины в пределы Пинского пов<ета> <...>. Своевольные полки их совершали злодеяния, убийства, наносили побои, причинили большой ущерб. Они нападали на дома и владения шляхты, отбирали лошадей, всякого рода скот и разные пожитки. Наконец, они мучили и убивали подданных, жгли дома, гумна. (*Белоруссия в эпоху феодализма. 2. С. 94–95.*)

Из донесения командующего русскими войсками князя Я.К. ЧЕРКАССКОГО царю Алексею Михайловичу о ходе наступления в Литве. Середина июля 1655

<...> шляхта из всех поветов побежала к Вильно. (*В кн.: Мальцев А.Н. Россия и Белоруссия в середине XVII века. М., 1974. С. 91.*)

С.М. СОЛОВЬЁВ

В сентябре <1655 г.> вышел на судах из Киева князь Дмитрий Волконский <...> Припятью плыл до реки Пины и 25 сентября достиг Пинска. Литва не пустила русских пристать к берегу, и Волконский должен был

ские короли Яна Собеского, Достоевские не отмечены. Сейм 1697 г. — последний, о котором известно, что в нём принимали участие представители рода. Впрочем, вопрос заслуживает дальнейшего архивного изучения.

[1] Район современной Варшавы, в описываемое время — пустошь в предместье к западу от столицы.

[2] «Тебя, Бога, хвалим» (*лат.*) — начало католического гимна.

высадиться ниже города, у села Пенковичей; после большого бою русские по следам литвы вошли в Пинск и Литву выбили. Простоявши в Пинске двое суток, чтобы дать отдохнуть людям, Волконский 27 сентября сжёг город и слободы, пошёл назад к судам своим и поплыл вниз по Припяти <...> Днепром возвратился в Киев и привёл войско в целости: только у одного солдата под Пинском руку оторвало из пушки да двух человек из пищали ранили. (*История России... М., 1961. Кн. 5. С. 644.*)

В.О. КЛЮЧЕВСКИЙ

<...> вторая война с Польшей, сопровождавшаяся для Москвы двумя страшными неудачами, поражением князя Хованского в Белоруссии и капитуляцией Шереметева под Чудновом вследствие казацкой измены. Литва и Белоруссия были потеряны. (*Курс русской истории. Т. 3. М., 1988. С. 114.*)

Из жалобы шляхтичей и земян Пинского повета в Пинский гродский суд о разорении их имений казацко-крестьянскими отрядами. 14 мая 1661

<...>в року <году> тепер прошлом 1660 розных мисецей и дней, наежьдаючи и находечы людно кгвалтом <в разные месяцы и дни приезжали и приходили толпою разбойно> <...> земяне, мещане и волость Туровская и Давыдгородецкая <, а> также подданные панов Четвертенских с козаками своволными, которые пры згоде светой не стоят, набравшысе свое воли и бунтов своволных, затягнувшы <призвав> до себе на помоч Москву с Киева неприятелей заграничных, наежьдчаючы и находечы моцно кгвалтом до места Пинска <приезжали и приходили с большими силами разбойно в город Пинск>, также наежьджчаючы и находечы моцно кгвалтом частократ <неоднократно> в том же року розных мисецей и дней на село и домы наши шляхетские <...> и губечы нас в нивеч <ничто> <...> огнём попалили. (*Белоруссия в эпоху феодализма. 2. С. 168–169.*)

Из донесения бурмистров и радцев (членов городского самоуправления) о действиях повстанцев в Пинске в 1660 г.

<...> уничтожали божьи костёлы, церкви и кляшторы <монастыри> <...> уходя из города, они окончательно разорили замок, упомянутые костёлы и церкви. (*В кн.: Мараш Я.Н. Из истории борьбы народных масс Белоруссии против экспансии католической церкви. Минск, 1969. С. 107–108.*)

М.В. ВОЛОЦКОЙ

Имеются ещё сведения о Яне Достоевском, земянине повета Пинского, который 21 июля 1660 г. жаловался на сожжение его имения Завидчичи (к югу от Пинска) московскими и казачьими войсками («вероломный крывоприсяжца <клятвопреступник> москал з ребе-

лизантом <бунтовщиком> его кр<алевской> м<и>л<о>сти и речы посполитой козаком»), в результате чего им были понесены убытки в 3000 злотых польских. (*Хроника рода Достоевского. С. 40.*)

Из постановлений Варшавского сейма 1661 г.

Пов<ет> Пинский <...> тяжко пострадал от недавних военных действий, вследствие чего не стало многих домов, сожжённых неприятелем. (*Белоруссия в эпоху феодализма. 2. С. 184.*)

М.В. ВОЛОЦКОЙ

Достоевский Пётр Бенедыктович.

Сохранились подписи на польском языке Петра Достоевского под постановлением пинских сеймиков 1655 и 1657 гг. По-видимому, это был уже не Пётр Сасинович <...> а Петр Бенедыктович Достоевский. (*Хроника рода Достоевского. С. 37.*)

Баталии местного значения

М.В. ВОЛОЦКОЙ

Достоевский Абрам Щастнович. <...>

Земянин Пинского повета. <...>

В 1646 г. Абрам Достоевский обвинял пинского еврея Соломона Абрамовича (арендатора соседнего имения) в нанесении побоев его челяднику. В том же году в местном суде разбиралось несколько дел по взаимным обвинениям Достоевского и Абрамовича в потраве хлеба и захвате скота. В 1669 г. Абрам Д<остоевский> обвинял другого еврея Юзефа Боруховича в невозвращении взятой в залог золотой цепи. (*Хроника рода Достоевского. С. 39.*)

С.А. БЕРШАДСКИЙ

Результатом казацко-шляхетских и шведских войн было страшное разорение евреев. <...>

Возвратившись на свои старые пепелища, евреи очутились в крайне тягостном положении. Двадцатилетние войны лишили их материального благосостояния; на местах прежних общин высились груды развалин, вся страна — ужасающая картина упадка и разорения. (*Литовские евреи. СПб., 1883. С. 8, 17.*)

Из постановления Варшавского сейма 1658 г.

За последнее время появилось много бандитов, которые как под предлогом военной службы, так и под видом сбора продовольствия, покинув

хоругвь или, что ещё чаще случается, идя вслед за хоругвью, нападают на деревни и усадьбы наши, духовные и шляхетские, и оные грабят, взимают стацию <провиант, подводы и т. п.>, наносят различный ущерб и творят насилия. Таких мы разрешаем каждому ловить и доставлять в ближайший суд, которому как нападавших, так и тех, которые наводили их на усадьбы, исследовав, судить и карать немедленно и без апелляции соответственно совершённому преступлению. (*Белоруссия в эпоху феодализма. 2. С. 373.*)

М.В. ВОЛОЦКОЙ

13 марта 1660 г. Ян Достоевский подписался под решением копного суда по делу о пропаже хлеба и вещей, зарытых в землю во время нашествия неприятеля. (*Хроника рода Достоевского. С. 40.*)

Универсал о созыве шляхтичей Пинского повета. 20 июня 1664

До сих пор ожесточённые в своей злобе мужики не прекращают своеволия, а продолжают свой обычный путь злодеяний и насилий, объединившись с московитами. <...>

Поэтому я по долгу своей службы ввиду приближающейся опасности вражеского нашествия издаю настоящий универсал для ваших милостей и настоятельно прошу ваших милостей, всех, кто только пользуется шляхетскими привилегиями, чтобы вы в полной боевой готовности ко дню 24 июня нынешнего 1664 г. соизволили прибыть в город е<го> к<оролевской> м<илости> Пинск и во имя сохранения своей жизни и своих владений дали отпор этому противнику. Об этом многократно прошу в<аши> м<илости>, моих милостивых панов, покорно предлагая свои услуги.

Дано в Пинске 24 июня 1664 г.

Базилий Альбрехт Орда, хорунжий Пинского пов<ета>. (*Белоруссия в эпоху феодализма. 2. С. 170.*)

М.В. ВОЛОЦКОЙ

В 1664 г. Абрам Достоевский упоминается как пинский наместник. На постановлении сеймика шляхты Пинского повета от 10 сентября 1664 г. он единственный из всей шляхты подписался по-русски. (*Хроника рода Достоевского. С. 39.*)

«Князь Курбский от царского гнева бежал...»

С.В. ЛЮБИМОВ

Первым историческим лицом, носившим фамилию Достоевский, существование которого известно документально, был Фёдор Досто-

евский[1], domownik, т. е. служебный шляхтич, при знаменитом князе А.М. Курбском <...>. (*Долинин, 2. С. 303.*)

М.В. ВОЛОЦКОЙ

Фёдор Иванович в некоторых документах называется «Фёдор Данелевич». По всей вероятности, это происходило потому, что помимо отечества прибавлялось иногда также и имя его деда — Данилы Иртища. Таким образом фамилия «Достоевские» не вполне ещё упрочилась даже за внуками последнего[2]. (*Хроника рода Достоевского. С. 27.*)

Реестр попису войска литовского. (Из Литовской метрики)

Хоруговъ Пинская.

Месяца ыюлъя 9 дня <1565 г>. <...>

Фёдор Иванович Данелевич[3] кони збройно <рядовых, вооружённых> по гусарьску3, а драба с ручницою на кони <и конного холопа с мушкетом>. (*Рус. ист. библиотека. Т. 33. С. 309–310.*)

П.А. МУХАНОВ

Каждый гусар имел обыкновенно двух или не более трёх пахоликов, или рядовых. Они были вооружены так же, как и гусары, копьями, но не имели лат; на плечах вместо тигровой кожи носили мех из белого медведя и крыло из орлиных перьев. Долгое время сохранялись на древних картинах изображения пахоликов с двумя таковыми крыльями за плечами. (*В кн. Записки гетмана С. Жолкевского о Московской войне. СПб., 1871. С. 49–50.*)

Из постановления короля СТЕФАНА БАТОРИЯ о войске. 1587

<...> а те <...> которые будут служить в гусарах, должны иметь хороших лошадей; выходя на войну, должен он (гусар) садиться на коня с копьём, в латах, налокотниках, в шлеме, с коротким ружьём, с саблею, с кончарём <мечом> или палашом. (*В кн.: Записки гетмана Жолкевского... С. 50.*)

М.В. ВОЛОЦКОЙ

Достоевская (по мужу) Зофея Яновна. <...>

В 1566 г. от имени своей жены и брата её Яска Фёдор Иванович вёл судебное дело с мужем их тётки Матеем Войтеховичем об оставшемся после смерти этой тётки наследстве; жена Фёд<ора> Ив<ановича> и её брат были признаны наследниками, но имущество было оставлено в пожизненном владении М. Войтеховича[1]. (*Хроника рода Достоевского. С. 28.*)

[1] Внук Данилы Иртища, первого владельца села Достоева.

[2] Строго говоря, Фёдор Иванович и его ближние и дальние потомки (включая Ф.М. Достоевского) могли усвоить другую фамилию, поскольку Достоево унаследовал брат Фёдора — Сасин.

[3] Т. е. Фёдор, как Данила Иртищ и Филипп Достоевский, был товарищем (офицером) в своей поветовой хоругви (судя по вооружению рядовых — гусарской).

Н.П. ЧУЛКОВ. Справка о происхождении Достоевских

<...> Фёдор Иванович Достоевский связал свою судьбу с знаменитым московским эмигрантом князем А.М. Курбским, с которым и поселился на Волыни. (*В кн. Воспоминания Андрея Михайловича Достоевского. С. 409–410.*)

ДОСТОЕВСКИЙ

Помните ли вы, господа, «раба Шибанова»? Раб Шибанов был раб князя Курбского, русского эмигранта 16-го столетия, писавшего всё к тому же царю Ивану свои оппозиционные и почти ругательные письма из-за границы, где он безопасно приютился. (*Дневник писателя, 1877, декабрь.*)

К.Ф. РЫЛЕЕВ. Курбский

«За то, что изнемог от ран,
Что в битвах край родной прославил,
Меня неистовый тиран
Бежать отечества заставил:
Покинуть сына и жену,
Покинуть всё, что мне священно,
И в чуждую уйти страну
С душою, скорбью отягченной»[2].

(*Сын отечества. 1821. Ч. 71. № 29. С. 129.*)

[1] Иными словами, жена Фёдора Достоевского должна была вступить в права наследства только после смерти тёткиного мужа — перспектива достаточно отдалённая.

[2] Тема Курбского — его изгнанничества и противостояния государственному тоталитаризму — неожиданно стала актуальной в наши времена:

Но да будет тирану ответное мщенье
и да будет отступнику равный ответ.
Чем же, как не презреньем, воздать за мученья,
за мучительства, коим названия нет?

Ибо кратно воздастся за помыслы наши
в царстве том. Я испил чашу слёз и стыда.
А тебе, потонувшему в скверна́х, из чаши
пить да пить да не выпить её никогда.

С.М. СОЛОВЬЁВ

Курбский оставил в Московском государстве свою семью, мать, жену и сына-ребёнка, которые <...> были заключены царём в темницу и *тоскою поморены*. В 1571 г. Курбский вступил в брак с Марьею Юрьевною Козинскою, урождённой княжною Голшанскою, вдовою после двух мужей, матерью двух взрослых сыновей от первого брака. <...> Сначала Курбский жил согласно с женою, которая записала ему почти все свои имения <...>. Но скоро отношения переменились <...> князь Курбский подал жалобу, что недавно жена его взяла из кладовой сундук, в котором хранились привилегии и другие важные бумаги, и передала их сыновьям своим <...>. (*История России... 7. С. 205–207.*)

Из записной книжки А.Г. ДОСТОЕВСКОЙ. После 1881

Допрос княгини Курбской <...>. Княгиня Курбская говорит, что бумаги переданы ею прокуратору <поверенному> нашему пану Фёдору Достоевскому. (*Жизнь и труды... С. 15.*)

Допрос княгини КУРБСКОЙ о том, куда девала она документы, похищенные ею у князя. 28 декабря 1577

И её милость сказала мне <Василию Павловичу, подстаросте Владимира-Волынского> в присутствии бывшей при мне шляхты <...> «все документы, о которых спрашиваешь меня, я передала на сохранение, из рук в руки, прокуратору нашему пану Фёдору Достоевскому; причём мы условились и уговорились между собою, чтобы он никому не отдавал и не возвращал тех документов, как только лично мне, в мои руки, хотя бы его милость князь, мой муж, или я сама и посылали к нему приятеля или слугу своего за теми документами»[1] (*Жизнь князя Андрея Михайловича Курбского в Литве и на Волыни. Киев, 1849. Т. I. С. 94–95.*)

А тебе, говорю, потонувшему в сквернах, –
слышишь звон по церквам, он сильней и сильней –
за невинно замученных и убиенных
быть позором Руси до скончания дней.
. . . . . .

А когда отойти, то оттуда услышать,
а когда не услышать, то вспомнить на слух,
как надсадно кричит над литовскою крышей
деревянный резной ярославский петух.

(*О. Чухонцев*)

[1] В действительности, по показаниям свидетелей, княгиня «отослала <...> документы на <имение> Дубровицу сыну своему <...> чрез писаря князя». (Там же. С. 97, 137). Курбский вскоре развёлся с нею.

А.С. ПУШКИН. Борис Годунов. 1824–1825

Курбский[1]:

Мой отец
В Волынии провёл остаток жизни,
В поместаях, дарованных ему
Баторием. Уединён и тих,
В науках он искал себе отрады;
Но мирный труд его не утешал:
Он юности своей отчизну помнил
И до конца по ней он тосковал.

Выигранный процесс

Слушание дела об убиении И.И. КЕЛЕМЕТА, служебника князя Курбского. 3 мая 1572. Владимир-Волынский

В уряде <суде> его королевской милости гродском Владимирском, предо мною Михаилом Приведовским, подстаростою Владимирским, и предо мною Лазарем Лавриновичем Иваницким, судьёю гродским Владимирским, явившись лично его милость, князь Андрей Михайлович Курбский и Ярославский, объявил, чрез уполномоченного приятеля своего, пана Фёдора Достоевского, земянина его королевской милости повета Пинского, следующую жалобу:

«Позвами <вызовами в суд> гродскими Владимирскими позвал я князя Дмитрия Васильевича Курцевича Булыгу на суд о нападении на спокойную квартиру урядника моего Ковельского, Ивана Ивановича Келемета, в здешнем городе Владимире, о убиении и замучении его <...>.

По прочтении этого позва, его милость, князь Курбский Ярославский, положил, чрез того же уполномоченного приятеля своего, пана Фёдора Достоевского, выпись из здешних книг гродских Владимирских <...> чтоб доказать правильность срока и позва, то есть, что нынешнего дня, вследствие вышеозначенного позва гродского Владимирского, наступил срок для ведения иска его милости, князя Андрея Курбского Ярославского, с князем Булыгою. (*Жизнь Курбского... 2. С. 14–15, 19.*)

---

[1] Сын А.М. Курбского от третьего брака – с юной шляхтянкой Александрой Семашковной, «которою, как видно из его завещания, был очень доволен». (Соловьёв С.М. История России... Т. 7. С. 151).

Г. СЕНКЕВИЧ. Огнём и мечом

Курцевичи-Булыги были старинным княжеским родом, гербом которого был Кур, а родословие велось от Кориата[1]; на самом же деле род происходил якобы от Рюрика. Из двух главных ветвей одна сидела на Литве, другая на Волыни; на Заднепровье же перебрался в свое время князь Василь, один из многочисленных потомков Волынской линии. <...>

В год 1629-й, перешедши в латинство, он женился на Рагозянке, девице из почтенного шляхетского рода, происходившего из валашской земли. Через год от брака этого появилась на свет дочка Елена[2].

Слушание дела об убиении И.И. Келемета. 3 мая 1572. Владимир-Волынский

По прочтении <...> его милость, князь Курбский Ярославский, чрез того же уполномоченного приятеля своего, пана Фёдора Достоевского, представил четыре листа, в которых заключаются показания ближайших соседей на князя Булыгу <...>.

По прочтении всех вышеизложенных показаний, его милость, князь Курбский Ярославский, чрез того же уполномоченного приятеля своего, пана Фёдора Достоевского, представил выписку из здешних книг гродских Владимирских, заключающую показание хозяина дома, Василия Капли, о убиении и замучении Келемета. <...>

По прочтении выписки, его милость, князь Курбский, чрез того же уполномоченного приятеля своего, пана Фёдора Достоевского, представил реестр убытков, который, по просьбе князя Курбского, был читан. <...>

И просил нас его милость, князь Андрей Михайлович Курбский Ярославский, чрез вышеупомянутого уполномоченного приятеля своего, дабы мы, приняв во внимание неявку в суд и непослушание князя Дмитрия Булыги, поступили на основании законов <...>.

Поэтому, приняв во внимание неявку и непослушание князя Дмитрия Булыги, мы присудили головщину за Ивана Ивановича Келемета, как за голову шляхетскую, сто коп[3] грошей Литовских <...>. Вся сумма за головщину Ивана Келемета, Ковельского урядника его милости,

[1] Сын Гедимина, первого литовского короля.

[2] Итак, Елена, главная героиня романа Сенкевича — судя по всему, потомок князя, судившегося с Курбским: её отец Василь не только происходит из Волынской ветви рода, к которой принадлежал реальный Дмитрий Васильевич Курцевич-Булыга, проигравший процесс, но и носит их родовое имя. Ещё одно любопытное совпадение: мать вымышленной героини Сенкевича происходит из рода, подарившего миру другого реального супротивника Достоевских — Михаила Рагозу, которому был передан отобранный у Стефана Ивановича Минский Вознесенский монастырь. Поистине, тесен мир!

[3] Здесь: денежная единица, равная 60 литовским грошам.

князя Андрея Михайловича Курбского Ярославского, за убытки, причинённые Ивану Келемету и самому князю Курбскому, его милости <...> а также слугам покойного Келемета <...> составляет тысячу шестьсот пятьдесят пять коп пятьдесят грошей и четыре пенязя[1] по Литовскому счёту. <...> а самого князя Дмитрия Васильевича Курцевича Булыгу, за его непослушание уряду гродскому, мы отослали к его королевской милости. (*Жизнь Курбского... 2. С. 32, 34–35, 37, 41, 47–48.*)

М.В. ВОЛОЦКОЙ

Достоевский Фёдор.

В 1634 г. член главного трибунала великого княжества Литовского от г. Пинска. Подписывался по-русски, в то время как все другие члены трибунала подписывались по-польски[2]. (*Хроника рода Достоевского. С. 38.*)

На Волыни: установление родства

Н.П. ЧУЛКОВ. Исследования о предках Достоевского

Село Секун раньше находилось во владении кн. Курбского. Курбский пожаловал его в вечную и потомственную собственность своему слуге Ив. Ив. Келемету, последовавшему за ним из Москвы. В 1572 г., после смерти Келемета, село перешло брату его Михаилу Келемету (ум. в 1589 г.), который завещал это имение своей единственной дочери Ганне. <...> Вероятно, путём брака это село перешло потом к Достоевскому[3]. Достоевский, владевший Секуном в 1664 г., по всей вероятности, являлся потомком того Фёдора Д<остоевского>, который в 1572 г. был «уполномоченным приятелем» кн. А.М. Курбского. (*Хроника рода Достоевского. С. 41.*)

Жалованная грамота А.М. КУРБСКОГО. 10 июня 1572

Андрей Михайлович Курбский, Ярославский Ковельский объявляю сим листом своим, что я прежде сего даровал слуге своему верному, пану Калемету <Ивану> Ивановичу, имение свое Секунь и Шушки, испытав верные, благородные и трудные услуги его, благородного пана Калемета, слуги моего, кото-

[1] Мелкая монета, 1/10 литовского гроша.

[2] Теоретически можно допустить, что указанное лицо — бывший «уполномоченный приятель» князя Курбского. Правда, к этому времени он должен был достигнуть весьма преклонных лет. Но не в подобном ли возрасте и посылать в верховный суд?

[3] Не этого ли своего предка, перекочевавшего из Полесья на Украину (и по ошибке принятого ею за его дядю, «архиепископа Стефана»), имеет в виду Любовь Фёдоровна? Но тогда ему не было надобности менять религию, «чтобы жениться на православной украинке»: жених и невеста принадлежали к одной вере.

рый, находясь при мне с моей молодости, везде оказывал мне свои рыцарские услуги. Не только мне служил он, но заслуживал и благоволение и его королевской милости, пана нашего милостивого <Стефана Батория>; потому что, выехавши из земли неприятельской, в том же <1564> году он был со мною под Полоцком, где, вместе с другими рыцарями, совершал знатные подвиги его королевской милости. В том же году он был вместе со мною под <Великими> Луками и там явно оказывал свои услуги его королевской милости; а наконец, во время моего пребывания в здешнем государстве, он даже кровию своею запечатлел своё усердие ко мне. И я, по смерти пана Калемета, помня службу слуги моего верного, благородного Михаила, брата покойного Калемета, испытав его верные, благородные и трудные услуги, дал ему вышеупомянутое имение Секунь и Шушки, оставшееся по смерти брата его пана Калемета; потому что он, находясь при мне с моей молодости, везде, во всех рыцарских делах, оказывал славные свои услуги, и не только мне, но и его королевской милости, а именно, находясь при мне под Полоцком и под Великими Луками, он оказал верные и славные услуги. (*Жизнь Курбского... 1. С. 37–38.*)

Завещание МИХАИЛА ЯКОВЛЕВИЧА КЕЛЕМЕТА СЕКУНСКОГО. 18 февраля 1588

Имение Секунь и Шушки со всем на все, также домы мои, в городе Ковле и на предместьи, места дворовые, огороды, фольварки и сады, как купленные мною за собственные мои деньги, так доставшиеся мне и жене моей по наследству, от тестя моего, отца жены моей, Матыша Трошковского, войта Ковельского, и все имения, каким бы способом они приобретены ни были, также всё своё движимое имущество, от мала до велика, золото, сребро, оловянные и медные вещи, одежды, збрую, лошади верховые, стада, скот рогатый и мелкий, овцы, козы, свиньи и всё движимое богатство я завещаю, в собственное и полное распоряжение, жене своей Катерине и дочке своей Ганне. (*Жизнь Курбского... 1. С. 284.*)

М.В. ВОЛОЦКОЙ

Достоевский (имя неизвестно).

Владел имением Секун Владимирского повета Волынского воеводства. В 1664 г. его крестьяне обвинялись в ночном ограблении хлеба, коней и волов у крестьян соседнего села Бучина. 13 августа 1664 г. состоялся приговор копного суда, по которому крестьяне села Секуна, принадлежащего Достоевскому, не явившиеся на копу, должны были удовлетворить крестьян села Бучина, принадлежащего Марцину Люшковскому, у которых ими ограблен был хлеб и скот. Согласно приговору, вынесенному судом, возмещение убытков, нанесённых крестьянам села Бучина, должно было произойти через две недели.

Однако, когда 27 августа 1664 г. представители власти «до урожоного <родового владения> его милости пана Достоевского, до села Секуна, зъехавши, там самого пана Достоевского в дому не застали, который, умыслне уникаючи чыненя <умышленно уклоняясь от восстановления> справедливости, з дому зъехал...» Ввиду этого, 30 августа того же года последовало вторичное заявление от Люшковского о том, что «его милость пан Достоевский, сопротивляючысе праву посполитому, тудеж <а также> декретови копъному» уклонился от исполнения копного суда[1]. (*Хроника рода Достоевского. С. 41.*)

Л.Ф. ДОСТОЕВСКАЯ

<...> у моего отца были карие, чисто украинские глаза <...>. (*Достоевский в изображении дочери... С. 14.*)

Православная ветвь

М.В. ВОЛОЦКОЙ

Достоевский Акиндий.

В 1647 г. иеромонах. Сохранилась его подпись — «Иеромонах Акиндий Достоевъский, рукою» — под актом об избрании в сан архимандрита Киево-печерской лавры Иосифа Тризны (преемника Петра Могилы). Избрание это состоялось 25 января 1647 г. на дворянском съезде в Киеве. (*Хроника рода Достоевского. С. 39.*)

С. В. ЛЮБИМОВ

В 20-х и 30-х годах минувшего столетия волынским дворянским депутатским собранием было признано в дворянском сословии несколько представителей рода Достоевских, землевладельцев Волынской губернии или владевших там землёй на поссессорском праве[2]. Это признание было утверждено ревизионной комиссией, существовавшей в 1839 г. в Петербурге, при Герольдии, в сенате. К сожалению, подлинное делопроизводство о признании Достоевских в дворянстве надо искать не здесь, а в Житомире, в архиве Волынского дворянского депутатского собрания. (*Долинин, 2. С. 305.*)

---

[1] Любопытно, что крестьяне «пана Достоевского» в это смутное время (война с Россией ещё продолжается, в июне казацко-крестьянские отряды снова угрожают Пинску и т. п.) громят усадьбу не своего барина, а его соседа. При этом их владелец не только не обеспокоен мятежными настроениями у себя в селе, но явно выгораживает «своих». Не объясняется ли такая круговая порука тем, что в отличие, скажем, от «пана Достоевского» соседский помещик принадлежит к «латинской вере»?

[2] *Поссессионное право* (от лат. possessio — владение) давало право недворянам покупать имения с крепостными, но лишь с целью развития промышленного производства (устройства приисков, мануфактур и т. п.).

Из каталога библиотеки Достоевского (по записям А.Г. Достоевской)

Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, изданные Археографической Комиссией. Т. I–XV.

В библиотеке Достоевского: т. V (1659–1685). СПб., 1867 и т. VI (1657–1663; 1663–1669). СПб., 1872[1]. (*В кн.: Гроссман Л.П. Библиотека Достоевского. Одесса, 1919. С. 145.*)

Н.П. ЧУЛКОВ. Справка о происхождении Достоевских

Потомство Фёдора Ивановича утвердилось на Волыни, и надо полагать, что ближайшие предки писателя Фёдора Михайловича Достоевского, православные и жившие в Подолии, по соседству с Волынью, принадлежат именно к этой ветви. (*В кн.: Воспоминания Андрея Михайловича Достоевского. С. 410.*)

XVIII век: пропавшие звенья

Из «Собрания постановлений и протоколов Любельского трибунала Брацлавского воеводства» (в передаче А. Бонецкого)

Станислав <Достоевский>, женатый на Елене Горской, уступил некоторую сумму около 1715 г. Анне, жене Фёдора Гулевича. (*Boniecki. I. 4. P. 291.*)

С.В. ЛЮБИМОВ

Они <православные Достоевские> перешли в ряды сперва православного, а затем униатского духовенства, что в Малороссии, в XVII и XVIII стол<етиях>, бывало явлением заурядным и где духовенство состояло преимущественно из шляхты. Не признаваемое в своих правах польским, а ещё менее русским правительствами, это «духовное» дворянство забывало и утрачивало мало-помалу свои шляхетские традиции и удовлетворялось скромной ролью сельских священников. (*Долинин. 2. С. 305.*)

ДОСТОЕВСКИЙ. Ответ редакции «Времени» на нападение «Московских ведомостей». 1863

<...> а мало ли они <поляки> жгли да кожи сдирали с русских за католицизм? Мало ли они донимали нас, плевали на нас как на хлопов и за людей нас не считали? Из-за чего это было, как вы думаете? Именно из-за католической пропаганды <...>. Обращённые русские дворяне становились тотчас же панами, а прочие были только хлопами. (*Биография... С. 252.*)

[1] По иронии судьбы как раз в тех томах, которые имелись в библиотеке писателя, Достоевские не упоминаются. (Установлено нами de visu.)

Митрополит ИСАЙЯ КОПИНСКИЙ

<...> оскудел род и иных благородных вельмож — все от восточного православия на Запад уклонишася <...>. А при благочестии и православной вере остались лишь кое-кто из худых и неславных. (*В кн.: Ефименко А.Я. История украинского народа. Вып. I. СПб., 1906. С. 177.*)

Из «Описи протопопии Животовской1[1] приходов и церквей». 15 июля 1775

Города Животова протопопская соборная церковь святителя Христова Николая издревле была православная и при этой церкви протопоп был Фёдор Достоянский, рукоположен в священника православным преосвященным Варлаамом Ванатовичем, митрополитом киевским <1722–1730>, отнята ж вышеприписанная церковь на унию 1740 г. июня 24 и ныне при оной церкви находится униятский поп Корнилий Шпановский. (*Киевские епарх. ведомости, 1892, № 16. С. 591.*)

Из актов Брацлавской униатской духовной консистории. Между 18 февраля и 1 марта 1786[2]

<...> шляхетная Анастасия <...> добровольно сознала, что она, имея претензию за понесённые расходы на своего покойного зятя <...> Яна Шпановского, против парохов <священников> Очеретинского Василия Островского и Скальского Ивана Достоевского <...> требующих вознаграждения за оставшиеся постройки после смерти Животовского декана и пароха, Корнелия Шпановского, от заступившего его место Зражевского, решила сквитовать свои претензии за пять червоных злотых <...>. (*Труды Подольского епархиального историко-статистического комитета. Каменец-Подольск, 1876–1901. Вып. 3. С. 270.*)

«Городской священник С.»

Было время, когда <...> домы и домостроительства, устрояемые самими священнослужителями на церковной земле, составляли их неотъемлемую собственность и в случае смерти их доставляли бесспорный приют осиротелым семействам. (*Подольские епарх. ведомости, 1863. № 10. С. 416.*)

[1] До конца XVIII в. в составе Брацлавской епархии.

[2] В тексте «Трудов...» ошибочно: «1768».

Из актов Брацлавской униатской духовной консистории. 21 сентября 1780

Побожный[1] Михаил Ныпопчук и другие прихожане Скальской церкви жалуются на парохов — Скальского Яна Достоевского и Чернявского Иосифа Хоптуровского, что они в день чуда св. Михаила, когда был праздник в с. Скале (храмовый день), завели или, лучше, затянули Михаила Ныпопчука в плебанию (священнический дом), немилосердно избили, вырвали волосы и, сваливши на землю, топтали ногами и глаза поподбивали; а когда за побитого вступились Антон Главенко, Гнат Пономаренко и Максим Ярмолюк, то и их о<тцы> ответчики толкали и били по лицу <...>.

Ответчики рассказывали дело так: Михаил Ныпопчук, козацкий десятник, проходя возле школы (дьячковского дома), побил и окровавил дьячка Мойсея, мстя ему за то, что он занял место его брата Ивана. Дьяк Мойсей, вырвавшись из рук врага, забежал в плебанию, а Михаил с братьями — за ним, желая продолжить драку. Когда Скальский парох <Ян Достоевский> спросил Михаила, зачем он пришёл, то Михаил хотел ударить его по голове, но так как парох закрылся рукой, то не попал по голове, а по руке, оставив на ней синяк; потом парох <Достоевский>, желая отвести Михаила в избу, чтобы наказать его за избиение дьяка, схватил его за платье, но Михаил, будучи сильнее противника, вытащил его на улицу. На шум выбежали из плебанской избы парохи, бывшие в гостях: Чернявский Иосиф Хоптаровский и Очеретинский Василий Островский[2], и завели Михаила в избу для наказания; тогда он Хоптаровского ударил по лицу и сорвал с него воротничок, а жену Достоевского толкнул и разорвал на ней юбку. На крик Михаила, ночной порой раздавшийся далеко, прибежали канунные <съехавшиеся на праздник> люди, пьянствовавшие в корчме; они ворвались в плебанию с кольями, взломавши двое дверей и разбивши печь дручьями. Больше ещё сделали бы пакостей, если бы местный губернатор <управляющий имением> не разогнал их палкою[3] (*Труды Подольского епарх. комитета, 3. С. 310–311.*)

[1] Т. е. униат.

[2] За ним была замужем сестра жены Ивана Достоевского; Василий Островский унаследовал приход тестя, брацлавского оффициала Романа Скочинского — Очеретну.

[3] Почему «побожные» обращаются не в гражданский, а в консисторский (церковный) суд? Гражданский судья мог присудить отца Яна к штрафу (если б удалось доказать, что он зачинщик драки), а консистория могла бы сложить с него сан: как православным, так и униатским священникам запрещается проливать чужую кровь. Поэтому столь многочисленны описанные в источниках случаи, когда православные и униатские священнослужители выносят гонения с терпением и кротостью раннехристианских мучеников — чтобы не дать повод к сложению с них священнического сана. Понятно, что пировавшие в Скале в храмовый день «отцы-ответчики» стараются переложить вину за постигшие их паству увечья на палку «губернатора» — светского лица. Поскольку в 1786-м, через 6 лет после драки, Иван Достоевский по-прежнему фигурирует в консисторских документах как скальский парох, видимо, ему удалось отстоять свою невиновность.

И.Е. ШИПОВИЧ

Пьянство было самым крупным недостатком подольского духовенства XVIII в. Почти пятая часть судебных дел, хранящихся в комитетском архиве, касается проступков духовенства, совершённых в пьяном виде. <...> Вторым недостатком, тоже часто встречавшимся тогда в жизни подольского духовенства, была какая-то особенная буйность характера. <...> Бывали и такие случаи, когда исправнейший во всех отношениях священник, когда ему приходилось иметь с кем-нибудь столкновение, горячился и <...> пускал в ход палку, кулаки и т. д. (*Труды Подольского епарх. комитета, 4. С. 41–42.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

<...> однофамильцев же у нас не имелось и не имеется. (*Воспоминания... С. 16.*)

Кем был Андрей Достоевский? (в поисках деда)

Л.Ф. ДОСТОЕВСКАЯ

Достоевские испытывали потребность в том, чтобы объединить, связать свою блуждающую семью чем-то вроде нити Ариадны. Эта нить Ариадны, позволяющая найти их в лабиринте столетий, — их семейное имя «Андрей». Достоевские-католики <...> имели обыкновение давать его одному из сыновей, обычно второму или третьему, и Достоевские-православные сохранили этот обычай до наших дней. В каждом поколении нашей семьи обязательно есть один Андрей и, как правило, это имя носит второй или третий сын. (*Dostoïewsky A. Vie de Dostoïewsky par sa fille. P., 1926. P. 22–23.*)

Л.Ф. ДОСТОЕВСКАЯ

Я не имею никакого представления о том, чем был мой прадед Андрей <...>. (*Достоевский в изображении дочери... С. 10.*)

Из формулярного списка М.А. ДОСТОЕВСКОГО, отца писателя. 20 апреля 1828

происходит из духовного звания
(*Лит. мысль. Вып. 1. М.-Л., 1923. С. 208.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

Из некоторых бумаг моего отца, случайно перешедших ко мне, видно, что отец моего отца, то есть мой дед Андрей, по батюшке, кажется, Михайлович, был священник. (*Воспоминания... С. 17.*)

Из актов Брацлавской униатской духовной консистории. 26 ноября 1780

Евстафий Туржанский, священник здешней диоцезии <епархии>, назначается коммендарием <наблюдающим прихода> при церкви во имя Успения Пр<есвятой> Богородицы в с. Войтовцах, на вакантное место после отступничества тамошнего пароха. (*Труды Подольского епарх. комитета, 3. С. 148.*)

Из актов Брацлавской униатской духовной консистории. 4 декабря 1780

Побожные Войтовецкие жители Иван Белоус и ктитор <церковный староста> Яцко Орёл, от лица всей громады, заносят жалобу в актовые книги Брацлавской консистории следующего содержания: Найпревелебнейший вельможный наш пастырю![1] Мы — убогая громада села Войтовец, Немировского ключа, с глубокой нашей покорностию обращаемся к твоей отеческой защите и жалуемся на нашего пароха Василия Шаржинского, что он без нашего ведома, помимо присяги своему, а вместе и нашему пастырю, отдался во власть заграничного переяславского пастыря, неизвестного нам, нашим отцам и дедам; несмотря на наши советы и требования, он не только не обратился в лоно католической <униатской> веры, но даже, изменивши заграничному переяславскому владыке, подчинился какому-то странствующему по чужим краям, не утверждённому никакою духовною властию, молдавскому, или греческому епископу, а потому мы, опасаясь за наше спасение, просим, чтобы Шаржинский, как вероотступник, был устранён от прихода и церкви и чтобы вместо него нам был дан другой униатский священник. (*Труды Подольского епарх. комитета, 3. С. 146.*)

[1] Сельский сход пишет киевскому униатскому митрополиту, ведавшему в то время назначением священников в Брацлавскую епархию.

«Н. Г.»

От древней Руси в польский период в западной России уцелел старинный обычай избрания священников громадою, под непременным условием утверждения его помещиком. (*Труды Подольского епарх. комитета, 8. С. 425.*)

Презента коронного подкомория ВИКЕНТИЯ ПОТОЦКОГО униатскому митрополиту киевскому ИАССОНУ СМОГОРЖЕВСКОМУ. 1781. Немиров

<...> в его, Потоцкого, имении браславского воеводства, винницкого повета[1], немировского ключа, с. Войтовке <Войтовцах>, священник отступил от унии и ушёл из прихода. На место последнего Потоцкий представляет к посвящению Андрея Достоевского, о котором ему сообщил его собственный уряд <сельский сход>, как о человеке, способном к исполнению священнических обязанностей, и которому он обещает беспрепятственное пользование землями и льготами, дарованными прежней эрекцией[2]. (*Труды Подольского епарх. комитета, 4. С. 198.*)

В.О. КОРНИЕВСКИЙ

Войтовцы с. — находится на границе Киевской губ., в степной местности, и расположено на речке Собке по возвышенным склонам; от уездного города <Брацлава> на расстоянии 35 вёрст. Предание говорит, что местность, где расположены с<ёла> Войтовцы, Поток, Песочин и Воловодовка, издавна была покрыта сплошным, густым лесом. К этому лесу с юго-восточной стороны примыкал какой-то город, а в самом лесу, в недалёком расстоянии от города, возвышался огромный холм, окружённый со всех сторон водою, и на холме был выстроен огромный дворец, обнесённый стеною и валом, наподобие крепости; в этом дворце жили купцы. Холм этот ныне существует и носит название «замка»: следы бывшего когда-то вала сохранились до сих пор. (*Труды Подольского епарх. комитета, 9. С. 195–196.*)

И. КОРСОВЕЦКИЙ

Село Войтовка удержало первоначальное своё наименование. Это наименование оно получило, как предание гласит, от некоего Войта, в первый

[1] Впоследствии Брацлавский уезд (в «Трудах...» ошибочно: «Ольгопольский»).
[2] Эрекция — дарственная запись землевладельца, закрепляющая за священником пахотные земли, сенокосы и другие угодья.

раз здесь поселившегося, которому владелец земли предоставил право заселять местность жителями.

Примечание. Войтами назывались сельские старшины, они же занимали и экономические должности у владельцев, а именно: должность гуменных при фольварках. (*Подольские епарх. ведомости, 1873. № 5. С. 187.*)

АНОНИМ

<...> жизнь бедного деревенского униатского священника не многим отличалась от жизни крестьянина, с которым исключительно он имел только общение, ибо шляхта, даже низшая, смотрела на попа с презрением и нередко глумилась над ним. (*Материалы по истории Подольской губернии. Каменец-Подольск, 1885. С. 122.*)

Н. ЯВОРОВСКИЙ

Большинство молодых кандидатов священства были дети священников или же небогатой русской шляхты, получившие свое образование при своей приходской церкви у местного дьячка-бакалавра или же у местного священника. (*Труды Подольского епарх. комитета, 8. С. 203.*)

Д. СИНИЦКИЙ

<...> между 37 православными священниками брацлавского уезда, мы не находим <в 1798 г.> ни одного, который бы получил образование где-нибудь в русском училище. (*Киевские епарх. ведомости, 1865. № 10. С. 423.*)

Л.Ф. ДОСТОЕВСКАЯ

Наши друзья, жившие в Украине, рассказывали нам, что они видели там однажды старую книгу, в роде альманаха или сборника стихотворений, изданного в Украине в начале XIX в. Среди стихотворений в этой книге находилась небольшая буколическая поэма, написанная в довольно искусной форме и на русском языке. Она не была подписана, но из первых букв каждой строфы слагалось имя Андрея Достоевского. Была ли она составлена моим прадедом или каким-нибудь родственником — я не знаю <...>. (*Достоевский в изображении дочери... С. 11.*)

М.В. ВОЛОЦКОЙ

«Буколическая поэма», на которой основывается в своих выводах Л.Ф. Достоевская, мне неизвестна. Зато известно другое стихотворение, напечатанное в 1790 г., являющееся также акростихом, из первых букв которого слагается слово «Достоевский» <...>. Акростих этот <...> является «покаянной песнью», автор которой <...> отрешается от всего земного. Помещено это произведение в сборнике

«благоговейных, покаянных и умилительных песен», «Богогласнике», изданном «в святей Лавре Почаевской[1] тщанием иноков чину св. Василия Великого лето от Рождества Христова 1790». Песнь эта положена на ноты, которые напечатаны в том же издании <...>. Текст её следующий:

ПЕСНЬ ПОКАЯННАЯ

Творец Достоевский по краегранению

Да прийдет ныне радость новая
Сердцу благие мысли подая
Да бым оставил греховно дело
И прилепил ся к богу цело.

Окаянные мои зеницы
Воззрет на образ очей денницы,
Оставьте в мире красные вещи,
Да убежите горящей пещи.

Суету в мире презрите вскоре,
Возвышайтеся к Богу горе:
Небрежет слабы, богатства, чести,
Бегайте блуда и всея лести.

Телом принужден вкусити сласти,
Ах! отсуетихся праведные части.
Не смею зрети высоты света,
Не имею блага ответа.

О, колкие врагов навети!
Хитростние мне препяша сети:
Аз окаянный неподвигохся
В прелести сети бедне впадохся.

Ей соравнихся скоту безумну,
Осквернив душу и совесть умну,
Окалях одежду прекрасну зело,
И погрузихся в злобе всецело.

Вся злая люте содеях в мире,
Неприях благо, токмо во вере[2],

[1] «Почаевская лавра находилась в местечке Почаеве, Кременецкого уезда, Волынской губ. Основана в 1597 г.» (*Прим. М.В. Волоцкого*).

[2] Такая нарочито неправильная «игровая» рифма («мире» — «вере») характерна более для современной поэзии (Б. Слуцкий и др.). Разумеется, в данном случае рифма

Преуспевах паче на дела злая,
Како же прииму вечна благая?

Сам я дарует жених в чертозе,
И призывает всех нас на мнозе;
Коль нестерпимый жаль тому прийде,
Кто от чертога праздна отыде.

Колико лучши лишихся града.
Постигох беды пекелна ада,
Ныне ми слезы даруй владыко
Да непостражду горе толико.

Измы греховного Вавилона,
Вчини жителя светла Сиона;
Да бым в небесном пребывал лику,
И вселюбезно зрил тя владыку.

(*Хроника рода Достоевского. С. 45–46*)

Племянник писателя А.А. ДОСТОЕВСКИЙ — М.В. ВОЛОЦКОМУ. 3 августа 1924

Кем был этот Достоевский — был ли он из духовенства или мирянином (в «Богогласнике» участвовали и те и другие), мне не удалось еще выяснить. В исследовании о «Богогласнике» С.А. Щегловой[1] о личности автора этой песни нет никаких указаний. Мой отец, однако, предполагает, что это его дед, т. е. отец Михаила Андреевича Достоевского. (*Хроника рода Достоевского. С. 47.*)

Л.Ф. ДОСТОЕВСКАЯ

Когда мои предки покинули тёмные леса и топкие болота Литвы, они были, вероятно, ослеплены светом, цветами и эллинистической поэзией Украины; их душа была согрета южным солнцем и вылилась в стихи. Мой дед Михаил унёс немного этой украинской поэзии в жалкой котомке странствующего, покинувшего родительский дом ученика и хранил её в глубине души, как милое воспоминание о далёкой отчизне. Позже он передал этот дар своим обоим старшим сыновьям — Михаилу и Фёдору. (*Достоевский в изображении дочери... С. 12.*)

вовсе не предназначалась для демонстрации поэтического изыска: автор действительно так слышит.

[1] *Щеглова С.А.* Богогласник. Ист.-лит. исслед. Киев, 1918.

Среда обитания и её обитатели

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

Про мать же свою мой отец, сколько я могу упомнить, отзывался с особенным уважением, представляя её женщиной не только умною, но и влиятельною в своём крае по своему родству; девической фамилии её, впрочем, я не знаю. (*Воспоминания... С. 17.*)

<АНОНИМ>

Квартира униатского священника, как и католического ксендза, носит название *плебании* (*плебан* — общее название священника — значит — народный учитель). Дом и вся усадьба его имеют тот же характер, какой имеют дома низших казаков в юго-западных губерниях. В дом входят через *ганек* и сень; направо или налево из сени — кухня, напротив неё *покуй*, за ним *сыпяльня*, далее валькиерж, из которого вход в кухню и в *спижарню*. Покуй уставлен убогою *канапкою* сельской работы и несколькими стульями. На угольном столике поставлен crucifex (крест с резным или литым изображением Спасителя) <...>. Стены увешаны разными убогими литографиями, купленными на ярмарке в местечке у разносчика. (*Киевские епарх. ведомости, 1867. № 17. С. 530.*)

«Н. Г.»

Жило наше духовенство ещё в недавние времена очень бедно; никакие требования комфорта, никакие удобства и выгоды, доставляемые некоторою степенью знатности и достатка, ему не были известны. При проезде через селение можно было видеть невдалеке от церкви небольшой, соломою крытый, о четырёх окнах с крыльцом дом, около которого ютилось несколько небольших хозяйственных построек, чаще всего с небольшим садиком за домом. Дом священника обыкновенно имел один только выход через крыльцо и делился сенями на две половины: парадную не больше двух комнат, так называемые «покои», где обыкновенно жил священник со своей семьёй, и людную или кухню с кладовой, где готовили пищу и производили домашние работы в зимнее время. На крыльце, обыкновенно открытом, устанавливались по обеим сторонам две лавочки, на которых располагались служащие и работники для обеда и ужина в хорошую погоду, и здесь же сидела обыкновенно семья священника в досужее и в праздничное время. На этом же тесном крылечке батюшка и матушка принимали приходивших по делу прихожан <...>. Обставленная же дубовыми лавками кухня в зимнее время чаще всего была занята пряхами — женщинами разных лет, которые с песнями, а иногда и с весёлыми шутками не переставая пряли пряжу под наблюдением или даже при участии в сём труде заботливой матушки хозяйки. (*Труды Подольского епарх. комитета, 8. С. 481–482.*)

В.О. КОРНИЕВСКИЙ

Нынешний храм <села Войтовец> — деревянный, на каменном фундаменте, трёхкупольный, в честь Успения Пресв<ятой> Богородицы, с отдельною деревянною колокольнею. Этот храм построен в 1750 г. старанием прихожан <...>. (*Труды Подольского епарх. комитета, 9. С. 195–196.*)

«Н. Г.»

Всегда почти в близком расстоянии от дома священника возвышалась своими остроконечными куполами скромная сельская церковь. Большею частью церкви были деревянные трёхкупольные с галереей или навесом (опасаня) в первом ярусе, вокруг всей церкви, и с искусно устроенными куполами, крыша на которых чаще всего отделана карнизами и зубчиками. <...> Отдельно от церкви устроилась такой же архитектуры деревянная в несколько ярусов колокольня. (*Труды Подольского епарх. комитета, 8. С. 482.*)

АНОНИМ

В католических храмах скоплялись крупные богатства; их внутренний вид и церковные принадлежности блистали золотом, серебром, драгоценными камнями. Не таковы были униатские церкви. Это были маленькие, бедные, деревянные здания; устраивались они как-нибудь, на скорую руку, местными мастерами из лесного материала, порою из хворосту <...>. Холщовые и бумажной материи облачения и покровы, деревянные подсвечники, цинковые и медные сосуды, несколько старых с потускневшими от времени красками образов в деревянных рамах, — вот все украшения униатских храмов, и только, как редкость, попадается иногда здесь какая-нибудь серебряная вещица <...>. Беден и унижен был народ, бедствовало его духовенство <...>. (*Материалы по истории Подольской губернии. С. 122–123.*)

Протоиерей И. СКВОРЦОВ. Отзыв о результатах ревизии церквей Подольской епархии. 3 мая 1831

А. О состоянии церквей

Церкви большею частию деревянные, хотя <...> камня столь много, что в некоторых селах оный употребляется у крестьян на огорожу домов. <...>

Деревянные церкви ни внутри, ни снаружи не окрашиваются, оттого внутри видна чернота, а снаружи гонта скоро гниёт и покрывается мхом. (*Подольские епарх. ведомости, 1890. № 46. С. 1038.*)

Л.П. ГРОССМАН

1789. Рождение Михаила Андреевича Д<остоевско>го (отца писателя) в Подолии в семье униатского священника[1]. (*Жизнь и труды... С. 20.)*

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

Из разговоров отца с матерью, я усвоил себе то, что у отца моего в Каменец-Подольской губернии, кроме родителей его, остался брат, очень слабого здоровья, и несколько сестёр <...>. (*Воспоминания... С. 17.*)

Голос крови

Н.Е. ГЛЕМБОЦКАЯ — ДОСТОЕВСКОМУ. 25 ноября 1879. Жабокрич

Опишу состав этой семьи подробнее: у деда Вашего было 6 дочерей: Анна, Фотина, Констанция[2], Фёкла, Мария и Лукерья — моя мать, и два сына: Лев и Михаил — Ваш отец. При жизни нашего деда три дочери вышли замуж: Анна за священника Гутовского, Фотина за военного (фамилии которого не помню) и Констанция за управляющего Соколовского, остальные же дочери перешли под попечение дяди нашего, священника села Войтовец, Льва Достоевского и впоследствии вышли замуж: Мария за священника Гузиневича, Фёкла за священника Черняка и Лукерья — моя мать — за чиновника Лимановского. (*Хроника рода Достоевского. С. 44.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

В эту <1859 года> поездку в городе Мелитополе случился со мною инцидент, достойный записи. Мне нужно было в Мелитополе быть у тамошнего городничего, Цезаря Лаврентьевича Кавецкого. Он был отставной штабс-капитан и женатый человек. Но я с ним в прошлом году не нашёл способа познакомиться. Побывав у этого господина, отрекомендовавшись ему и переговорив о чём нужно, я отправился на свою городскую квартиру. Как вдруг через полчаса является ко мне отплатить визит Кавецкий и между прочим сообщает следующее: «Когда Вы были у меня и помянули свою фамилию, то жена моя, сидя в гостиной, слышала её и когда, проводив Вас,

---

[1] Видимо, это произошло в Войтовцах, поскольку именно туда, как мы помним, в 1781 г. был назначен Андрей Достоевский.

[2] «Следует отметить, что <...> Достоевский дал своей дочери имя, которого нет в православных святцах. Быть может, это говорит за то, что он принадлежал к униатскому духовенству?» — пишет М.В. Волоцкой, не знавший обнаруженных нами документов, которые решают последний вопрос вполне утвердительно.

я воротился к жене, то она спросила: как фамилия бывшему у нас господину, и когда я ответил Достоевский, то она сообщила мне, что её мать была тоже рождённая Достоевская и потому, продолжал Кавецкий, моя жена очень интересуется познакомиться с вами». Выговорив эти слова, Кавецкий пригласил меня к себе на завтрак, или на фрыштик, как выразился он. Я тоже заинтересовался этим обстоятельством и, поблагодарив, обещался быть у него к часу завтрака. Прихожу, знакомлюсь с m-me Кавецкой, которая после первых приветствий спрашивает меня:

— Скажите, пожалуйста, Вашего батюшку как звали?

— Михаил Андреевич, — отвечал я.

— А мою маменьку звали Марьей Андреевной и она тоже была урождённая Достоевская, значит мы с Вами родня.

— Да, да...

— Кузен!

— Кузина!

И последовали объятия и поцелуи.

Но я очень мало узнал нового о родне отца. Оказалось, что моя кузина осталась после смерти матери своей ребёнком и едва-едва её помнит, а воспитывалась в кругу родных своего отца, а потому ни о ком из родных своей матери ничего не могла мне сообщить, кроме того, что мать её была православная, а отец поляк-католик и, что все дети от этого брака, равно как и она, крещены в католицизм[1]. (*Хроника рода Достоевского. С. 42–43.*)

В.О. КОРНИЕВСКИЙ

Из священников <села Войтовец> самым полезным для прихода и церкви был Георгий Маниловский 1830–1857 гг. (*Труды Подольского епарх. комитета, 9. С. 195–196.*)

Подданные императрицы

ДОСТОЕВСКИЙ. Из записной тетради 1875–1876 гг.

Они указывают на Польшу? Но Россия, защищаясь, взяла Польшу. Если б не взяла она Польшу, то Польша бы взяла родовое наше. (*ПСС, XXIV. С. 120*).

[1] Но кто эта таинственная Мария Андреевна? Ведь если верить Н.Е. Глембоцкой, дочь Андрея Достоевского по имени Мария вышла замуж за «священника Гузиневича», который, разумеется, не мог быть ксендзом (ибо последние обязаны блюсти целибат — принцип безбрачия духовенства). М.В. Волоцкой предполагает, что попадья Мария, овдовев, вышла замуж за «поляка-католика», о котором и упоминает их дочь. Во всяком случае, всё это выглядит очень туманно. Не ошиблась ли Глембоцкая, приводя имена родни?

С.В. ЛЮБИМОВ

Быть может, южнорусское происхождение Ф.М. Достоевского и не совсем утраченные, а скорее заглушённые, его племенные свойства и сочувствия, наследственная борьба за православие, преемственно веденная многими поколениями его предков, смешанное воздействие двух культур, западнолатинской и восточноправославной, боровшихся между собой в течение ряда столетий в юго-западном углу России, помогут разгадать и объяснить некоторые стороны многогранной и глубокой деятельности великого писателя. (*Лит. мысль, 1. С. 210.*)

Указ ЕКАТЕРИНЫ II об учреждении епископства брацлавского и подольского. 12 апреля 1795

Попечения Наши о распространении благочестия в пределах Империи, с Божией помощию, толикий успех имели, что, как известно Синоду, более миллиона из народа российского, под обладанием польским бывшего, лестию и насилием с пути правого в соединение с римскою верою совращённого и ныне к древнему его отечеству под державу Нашу паки присоединенного, оставя заблуждения их — православной восточной греко-российской церкви соединилося, да и нет сомнения, что и прочие их единоплеменные такому спасительному примеру последовать будут. (*Материалы по истории Подольской губернии. С. 138.*)

Премьер-майор и кавалер М. ПАФНУТЬЕВ — генерал-поручику и кавалеру ДЕРФЕЛЬДЕНУ. 11 марта 1793

Секретно

<...> обвестить белому духовенству и всех орденов монахам, чтоб все собрались в клешторах <монастырских церквах>, костиолах и церквах кто куда принадлежит; где тогда же их привести к присяге и на верность и подданство ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ по приложенной при сём форме <...>.

А кто из духовенства в присоединённых к ИМПЕРИИ российской областях остаться не пожелает, тем предоставить свободу и приказать, чтоб они на другой день отправлены были из настоящих им мест ко мне для получения пашпортов на свободный выезд их за границу[1]. <...>

[1] Подобного рода либеральное попустительство совершенно непредставимо при аналогичных обстоятельствах — скажем, 150 лет спустя!

По окончании таким образом присяги совершить благодарственный молебен с пушечною пальбой. (*Материалы по истории Подольской губернии. С. 33.)*

Священник Брацлавского собора ГАВРИИЛ ГРИГОРЕНКО

В 1793 г., по присоединении сего края к Российской державе, собранное по Высочайшему повелению Императрицы Екатерины II с окрестностей духовенство и дворянство 8 апреля выполнили присягу в Брацлавском соборе на верность Русскому Престолу. (*Город Брацлав и его храмы. Каменец-Подольск, 1896. С. 8–9.*)

Грамота православного архиепископа минского, изяславского и брацлавского ВИКТОРА к униатам его епархий. 22 апреля 1794

Возникните, чада Церкви, насладитесь свободой православного исповедания. Им воодушевлены были предки ваши и сами из вас многие. Гонение исчезло, престали обуревания. (*Киевские епарх. ведомости. 1894. № 12. С. 334.*)

Ф.И. ТЮТЧЕВ. Начало июля 1870

Над русской Вильной стародавной
Родные теплятся кресты –
И звоном меди православной
Все огласились высоты.
Минули веки искушенья,
Забыты страшные дела –
И даже мерзость запустенья
Здесь райским крином расцвела.

Епископ брацлавский и подольский ИОАННИКИЙ — Святейшему Синоду. 1 января 1796

<...> за помощию Божиею по Брацлавской губернии церкви все, числом 1090, истекшего 1795 г. декабря в последних числах в православие присоединением окончены[1]. (*Материалы по истории Подольской губернии. С. 101.*)

С.С. Л-СКИЙ

В 1794 г. <брацлавский протопоп В. Мокрицкий> воссоединил с православием все церкви и каплицы <домовые церкви, часовни>,

[1] В 1946 г. тамошние униаты вновь присоединятся к православию и, если верить официальной статистике, – с не меньшим единодушием.

священников и народ в поветах городецком, немировском, черно-быльском, браиловском и брацлавском <...>. (*Подольские епарх. ведомости, 1885. № 29–30. С. 641–642.*)

С. ДЛОЖЕВСКИЙ

Так трудно в старости изменить понятия и привычки, приобретённые в молодости. А униатские священники, жившие в пределах Подольской губернии, почти все были глубокие старики, измученные продолжительной борьбою. (*Труды Подольского епарх. комитета, 8. С. 506.*)

М.О. КОЯЛОВИЧ

В течение полутора года, в 1794 и в начале 1795 года, присоединилось к православию больше трёх миллионов униатов, – без волнений, без пролития крови. Это – беспримерное явление в истории! <...> Народная русская сила воскресла здесь вдруг, сбросила с себя с поразительною лёгкостью не только государственное, но и духовное польское иго. (*Чтения по истории западной России. СПб., 1884. С. 306–307.)*

ДОСТОЕВСКИЙ. Братья Карамазовы

– За Польшу, панове, *ура*! – прокричал Митя, подняв стакан.

Все трое выпили. Митя схватил бутылку и тотчас же налил опять три стакана.

– Теперь за Россию, панове, и побратаемся! <...>

Пан Врублевский взял стакан, поднял его и зычным голосом проговорил:

– За Россию в пределах до семьсот семьдесят второго года!

– Ото бардзо пенкне! (Вот так хорошо!) – крикнул другой пан, и оба разом осушили свои стаканы.

Два Андрея: попытка идентификации

Н.Е. ГЛЕМБОЦКАЯ – ДОСТОЕВСКОМУ. 25 ноября 1879. Жабокрич

Я дочь Евфимия Лимановского, посватавшего одну из шести дочерей деда Вашего протоиерея города Брацлава Подольской губернии Андрея Достоевского. (*Хроника рода Достоевского. С. 44.*)

Расписание благочинических округов. 1796–1797

Десятоначальник Андрей Достомский <...>. (*Подольские епарх. ведомости. 1873. № 12. С. 422.)*

Архиепископ минский, изяславский и брацлавский ВИКТОР — Святейшему Синоду. 1794

В двух губерниях — изяславской и брацлавской, из 23 благочинных найдётся, может быть, до пяти человек, которые могут назваться русскими, а прочие из поляков и, по своему незнанию русского языка, не могут понимать даже моих предписаний. (*Подольские епарх. ведомости. 1865. № 10. С. 423.*)

Очерки бурсы

Послужной список М.А. ДОСТОЕВСКОГО. Ноябрь 1828

Из подольской семинарии <...>. (*В кн.: Нечаева В.С. В семье и усадьбе Достоевских. М., 1933. С. 124.*)

С.В. ЛЮБИМОВ

<...> в 1797 г. основана подольская православная семинария, помещавшаяся сперва в отобранном у иезуитов Шаргородском монастыре, и лишь в 1806 г. переведённая в Каменец-Подольский. (*Лит. мысль, 1. С. 209.*)

«Н. Г.»

Что семинарии того времени удовлетворяли требованиям, предъявляемым в средних учебных заведениях к молодым людям, учившимся в них, то это доказывается поступлением многих из воспитанников этих семинарий в Медико-хирургическую академию, Московский университет и другие высшие заведения. <...> Естественно, что отцы их священники вполне основательно могли проводить параллель между настоящим положением их сыновей и тем, которое ожидало их во времена Польши, и при этом не могли не радоваться и не благодарить Бога, что на долю последних не выпала участь пресмыкаться в удушливой и разлагающей атмосфере разных лакейских и экономических канцелярий, чтобы добиться панской милости для получения презенты <...>. (*Труды Подольского епарх. комитета. 8. С. 473.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

Любил также брат Фёдор и повести Нарежного, из которых «Бурсак» перечитывал неоднократно. (*Воспоминания. С. 69.*)

Д. СИНИЦКИЙ

В нашей <Каменец-Подольской> старой семинарии, по рассказам ещё живых свидетелей этого времени, которые сами были

воспитанниками <...> отношения учащих к учащимся были самые близкие и доверчивые <...>. Безобразные рассказы нашей литературы о какой-то безобразной бурсе не имеют для нас никакого смысла и кажутся нам вымыслом: о подобной отталкивающей жизни и об отношениях начальствующих к учащимся мы не слышали никаких рассказов, ни преданий этого старого времени, — тем более что <...> у нас почти не было бурсы, и немногие казённокоштные ученики жили по квартирам. (*Исторические сведения о Каменец-Подольской духовной семинарии. Каменец-Подольск, 1897. С. 19.*)

Л.Ф. ДОСТОЕВСКАЯ

<...> молодой человек <М.А. Достоевский> чувствовал влечение к изучению медицины. (*Достоевский в изображении дочери... С. 11.*)

Д. СИНИЦКИЙ

В Подольской Семинарии некоторое время преподавалась и врачебная наука. (*Исторические сведения о Каменец-Подольской духовной семинарии. С. 10.*)

Отец под знаком вопроса

Л.Ф. ДОСТОЕВСКАЯ

Мой дед Миха<и>л Андреевич был очень своеобразным человеком. Пятнадцати лет от роду он вступил в смертельную вражду со своим отцом и братьями и ушёл из родительского дома. (*Достоевский в изображении дочери... С. 10.*)

Н.Е. ГЛЕМБОЦКАЯ — ДОСТОЕВСКОМУ. 25 ноября 1879. Жабокрич

Отец же Ваш, Михаил Андреевич Достоевский, при жизни ещё отца уехал в Петербург и, как говорила моя мать (Ваша тётя), служил там доктором. (*Хроника рода Достоевского. С. 44.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

Так как дед мой непременно хотел, чтобы его сын, а мой отец, пошёл по его же стопам, т. е. сделался священником, и так как отец мой не чувствовал к этой профессии призвания, то он, с согласия и благословения матери своей, удалился из отческого дома в Москву, где и поступил в Московскую Медико-Хирургическую Академию студентом. (*Воспоминания... С. 17.*)

Л.Ф. ДОСТОЕВСКАЯ

Быть может, мой прадед Андрей желал, чтобы его сын избрал духовную карьеру, в то время как молодой человек чувствовал влечение к изучению медицины. Когда он убедился, что отец не даст ему средств для учения, мой дед Михаил покинул родительский дом. Удивительна энергия этого пятнадцатилетнего мальчика, который без денег и без протекции отправляется в незнакомый город, которому удаётся получить высшее образование, добиться довольно хорошего положения в Москве, поставить на ноги семь душ своей семьи, снабдить приданым своих трёх дочерей и дать очень тщательное воспитание своим четырём сыновьям. Мой дед имел право гордиться собой и ставить себя в пример детям. (*Достоевский в изображении дочери... С. 11.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

Из разговоров отца с матерью я усвоил <...> что после окончания курса наук и, вообще, сделавшись уже человеком и общественным деятелем, отец мой неоднократно писал на родину и вызывал оставшихся родных на отклик, и даже, как помнится, прибегал к печатным о себе объявлениям, но никаких известий не получал от своих родных. (*Воспоминания... С. 17.*)

Л.Ф. ДОСТОЕВСКАЯ

<...> пятидесяти лет от роду, у моего деда, кажется, появились угрызения совести по поводу того, что он покинул родительский дом. Он напечатал в газетах объявление, в котором просил отца и братьев[1] дать ему сведения о себе. Никто не ответил на это объявление. Вероятно, его родители уже умерли — Достоевские не достигают глубокой старости. (*Достоевский в изображении дочери... С. 10.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

<...> к сожалению, я очень мало знаю подробностей о своих родителях. Вероятно, это произошло потому, что не только я остался слишком юн после их смерти, но и старшие мои братья и сёстры тоже не могли быть допущены к серьёзным разговорам с родителями о их прошедшем. — Впрочем, это относится только до сведений об отце (*Воспоминания... С. 16.*)

[1] Т. е. брата Льва, который священствовал в Войтовцах. Но того в 1830-х гг., очевидно, уже не было в живых.

Л.Ф. ДОСТОЕВСКАЯ

Он <М.А. Достоевский> никогда не говорил о своей семье и не отвечал, когда его спрашивали об его происхождении. (*Достоевский в изображении дочери... С. 10.*)

А. МИЦКЕВИЧ. Пан Тадеуш. 1834

<Разговор шляхтичей в корчме>

«Но к воле золотой привыкли мы измлада!
И шляхтич у себя, скажу при всем народе...»
«Да! — подхватили все, — он равен воеводе!»
«Меж тем приходится изыскивать нам средства
И документами доказывать шляхетство!» <...>
«Пускай москаль пойдёт и спросит у дубравы,
Кто ей давал патент перерасти все травы?»[1]

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

<...> вследствие того, что отец мой, оставив родину, скрылся из дома своих родителей, не имев при себе всех документов о своём происхождении, или по другим каким причинам он, дослужившись до чина коллежского асессора и получив орден (что давало тогда право на потомственное дворянство), зачислил себя и всех сыновей к дворянству Московской губернии и записан в 3 часть родословной книги. (*Воспоминания... С. 17–18.*)

С.В. ЛЮБИМОВ

Лишь с начала XIX столетия, когда их потомкам представилась возможность чинами и орденами добывать себе дворянское достоинство, наряду с новыми людьми появились фамилии когда-то богатых и сановных земян и панов западной и юго-западной России. К числу таких родов необходимо отнести и Достоевских. (*Долинин, 2. С. 305.*)

Из Жалованной грамоты ЕКАТЕРИНЫ II на права, вольности и преимущества благородного Российского дворянства. 21 апреля 1787

1. Дворянское название есть следствие, истекающее от качества и добродетели начальствовавших в древности мужей, отличивших себя заслу-

[1] «Царские власти требовали от польской шляхты документального подтверждения дворянского происхождения, что поставило многих мелких шляхтичей в затруднительное положение». (*Примеч. Б. Стахеева в кн.: Мицкевич А. Стихотворения. Поэмы. М., 1968. С. 732*).

гами, чем, обращая самую службу в достоинство, приобрели потомству своему нарицание благородное. (*Рус. архив. 1885. № 5. С. 158.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

Помню то, что когда ему <М.А. Достоевскому> говорили, зачем он не хлопотал о доказательствах своего древнего дворянского происхождения, то он с улыбкой отвечал, что не принадлежит к породе *Гусей* (басня Крылова «Гуси» тогда была в большой моде). Но собственно-то он не хлопотал оттого, что это стоило бы больших денег. (*Воспоминания... С. 18*)

И.А. КРЫЛОВ. Гуси. 1811

«А вы хотите быть за что отличены?» —
Спросил прохожий их. «Да наши предки...» — «Знаю,
И всё читал; но ведать я желаю,
Вы сколько пользы принесли?»
«Да наши предки Рим спасли!»
«Всё так, но вы что сделали такое?»
«Мы? Ничего!» — «Так что ж и доброго в вас есть?
Оставьте предков вы в покое:
Им поделом была и честь;
А вы, друзья, лишь годны на жаркое».

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

Отец мой, Михаил Андреевич Достоевский, окончив свою общественную деятельность, был коллежский советник и кавалер трёх орденов. Он был уроженец Каменец-Подольской губернии. (*Воспоминания... С. 16.*)

«Сколько лет от роду?»
(первое дополнение к формулярному списку)

Н.П. ИВАНОВСКИЙ

В 1808 г. было потребовано 85 учеников семинарий, в 1809 г. 120.

Примечание. В том числе (за два года) <...> из семинарий: <...> Подольской 15 <...>. (*История Императорской Военно-Медицинской (бывшей Медико-хирургической) Академии за сто лет. 1798–1898. СПб., 1898, 1-я пагин. С. 221.*)

Из устава Медико-хирургической академии. 1809

§ 105. Воспитанники <...> содержащиеся на казённом иждивении, суть:

а) Из приготовляемых в Духовных училищах.

б) Вольноопределяющиеся из свободных состояний.

§ 106. Воспитанников Духовных училищ, по представлении Министра Внутренних Дел, сообразно надобностям медицинской службы, ежегодно назначает Святейший Синод. <...>

§ 108. Воспитанники сии отправляются в Академию на её иждивении в Июле и не позже Августа месяца. <...>

§ 110. Просьбы вольноопределяющихся сопровождаются свидетельствами о гражданском состоянии. <...>

§ 123. Курс учения начинается с 1 сентября. *(История Академии... 2-я пагин. С. 49–50.*)

Из послужного списка М.А. ДОСТОЕВСКОГО. Ноябрь 1828

<...> в число казённых воспитанников по медицинской части Императорской Медико-Хирургической Академии в московское отделение поступил. . . . . 1809 Октября 14

(В семье и усадьбе. С. 124–125.)

Из устава Медико-хирургической академии. 1809

§ 115. Вообще в Медико-Хирургическую Академию на казённое иждивение принимаются ученики не моложе 16 и не старее 24 лет. (*История Академии 2-я пагин. С. 50.)*

Из послужного списка М.А. ДОСТОЕВСКОГО. Ноябрь 1828

сколько от роду лет

40 лет[1]

(В семье и усадьбе... С. 124.)

Из исповедной ведомости Моногаровской церкви. 1838

<...> Михаил Андреев Достоевский <...> 51 г.[2]

(В семье и усадьбе... С. 156.)

---

[1] Т. е. в 1809 г. М.А. Достоевскому, по официальным источникам, 21 год – возраст, не препятствующий поступлению в Академию.

[2] Следовательно, в 1809 г. Михаилу Андреевичу должно было быть 22 года. Учитывая, что число лет названо *на исповеди*, к этой цифре следует отнестись внимательно, тем более, что она соответствует сведениям, обнаруженным Б.В. Федоренко.

Из донесения Каширского земского суда о смерти М.А. Достоевского. 16 июня 1839

<...> от роду 54 года[1] <...>. (*Лит. газета. 1975, 18 июня.*)

Л.Ф. ДОСТОЕВСКАЯ

Пятнадцати лет от роду[2] он <М.А. Достоевский> <...> отправился в Москву для изучения медицины в тамошнем университете. <...> Удивительна энергия этого пятнадцатилетнего мальчика[3] <...>. (*Достоевский в изображении дочери... С. 10–11.*)

ДОСТОЕВСКИЙ. Идиот

<Генерал Иволгин:>

— Лет моих я и сам хорошенько не знаю. В формуляре убавлено; я же имел слабость убавлять себе года и сам в продолжение жизни.

Медицинский студент (второе дополнение к формулярному списку)

М.Г. СОКОЛОВ

Казённокоштных студентов было около 200. Все они ходили в одну столовую и в одну спальню, но жили кружками: так поляки, малороссы и рязанцы составляли отдельные группы, которые чурались других, а иногда относились к ним более или менее враждебно.

<...> малороссы и поляки группировались по своей национальности; они, говоря на родном языке, имели общий характер; первые <малороссы> сдержаны, сосредоточены, несловоохотливы, недоверчивы к товарищам <...>. Малороссы, впоследствии, на 3-м и 4-м курсах, отчасти сливались с товарищами из великоруссов <...>. В этих кружках были свои развлечения, которые состояли в том, что собирались в одну камеру и пели хором, а некоторые играли на гитаре, скрипке и кларнете. (*Былое врачебной России. СПб., 1890. Кн 1. С. 37–38.*)

[1] Т. е. 24 года в 1809 г.! Интересно, на каких документах основывался суд?

[2] Ниже допустимой для поступления в Академию нормы (что маловероятно).

[3] Откуда вообще взялась эта цифра — 15? В «Дневнике писателя», в статье, посвящённой кончине Некрасова, Достоевский говорит о судьбе «ребёнка пятнадцати лет (на самом деле — шестнадцати с половиной. — *И.В.*), очутившегося на петербургской мостовой, почти бежавшего от отца» (в действительности — посланного отцом в Петербург продолжать учение). Неточности, допущенные Достоевским при изложении биографии Некрасова, удивительным образом соответствуют указаниям, содержащимся в рассказе Любови Фёдоровны относительно её отважного деда. Не соединил ли невольно Достоевский туманные семейные предания с реалиями чужой, но в чём-то схожей с отцовской судьбы?

Н.П. ИВАНОВСКИЙ

<...> здания были плохо приспособлены, тесны и ветхи. Выражаясь словами вице-президента, доносившего о необходимости перестроек, здание <Московского> Отделения, как «дом частного лица[1], строенный по образцу его жизни и вкуса», не могло быть удобным для высшего учебного заведения. В лекционных залах и некоторых жилых комнатах сгнившие потолки угрожали падением. (*История Академии... 1-я пагин. С. 337.*)

Из «Путеводителя по Москве». 1824

Сие обширное 3-ярусное здание возвеличивается прекрасным входом, к нему принадлежат многие ближние строения. (*В кн.: Прейсман А.Б. Московская медико-хирургическая академия. М., 1961. С. 16.*)

Из донесения о состоянии Академии. Начало XIX в.

В коридорах и сенях возле кадок с квасом и водой для питья воспитанникам тут же поставлены медные котлы для испражнения мочи. (*Московская медико-хирургическая академия. С. 18.*)

Н.П. ИВАНОВСКИЙ

Пища выдавалась в достаточном количестве, но была очень однообразна. Завтрак состоял из фунта ситного хлеба и стакана сбитня; на обед полагались щи, каша и кусок жареного мяса, на Рождество угощали гусём, на масляной — ватрушками. На ужин давали щи и кашу. (*История Академии... 1-я пагин. С. 226.*)

М.Г. СОКОЛОВ

<...> огромное большинство казённокоштных студентов были бедняки, не получавшие никогда от родных ни копейки. Тем не менее деньги водились у большинства, если не всегда, то хоть по временам. Главным источником дохода у некоторых студентов были уроки в частных домах — приготовление детей к поступлению в учебные заведения. Плата была самая ничтожная <...>. Меньшими источниками дохода служили писанные профессорские лекции, которые продавались своекоштным. Они ценились не дёшево; далее, продажа наградных книг, получаемых при переходе из одного курса в другой; наконец, в крайности <...> закладывали какую-нибудь книгу на толкучке, где были благодетели — мелкие торговцы, снабжавшие по знакомству двугривенным или полтинником. (*Былое врачебной России. 1. С. 36–37.*)

[1] Графа И.Л. Воронцова.

Н.П. ИВАНОВСКИЙ

Воспитанники Академии, выходившие из среды общества, не отличавшегося особенной мягкостью нравов и культурностью, естественно, проявляли многие непривлекательные черты характера этого общества — грубость, наклонность к насилиям, к пьянству. Особенно этим отличались семинаристы, в школьной жизни которых было немного условий, содействующих смягчению нравов. (*История Академии... 1-я пагин. С. 142–143.*)

М.Г. СОКОЛОВ

При всей строгости надзора со стороны субинспекторов, студенты иногда покучивали в своих камерах. Бывало, соберётся компания любителей выпивки в большой камере, сделает складчину, пошлёт за полуштофом водки и начнёт распивать по маленьким стаканчикам, распевая песни, поигрывая на гитаре или скрипке. <...> Если начальство, в виде субинспектора, накрывало пирующих, виновных по голове не гладило. Но это случалось необыкновенно редко, так как кутить обыкновенно собирались в дальнюю от входа камеру, и, как только появится субинспектор в первой камере, товарищи сейчас дадут знать в камеру пирующих, и до прихода начальства всё запрещённое будет убрано и в камере окажется порядок. <...>

Студенты, жившие в камерах с окнами на Рождественскую улицу, ежедневно находились под соблазном модисток, разгуливающих парами по тротуару возле окон. <...> большой флигель <Академии> занимал угол Рождественской и Кузнецкого моста, где во время, мною описываемое, помещались модные магазины с мастерскими, наполненными ученицами и мастерицами. Здесь обучались шитью и кройке крепостные, отданные на время помещиками. Днём все они были заняты работой, но в сумерки и вечером смелые из них выскакивали, бывало, из воротной калитки и отправлялись на прогулку по тротуарам Кузнецкого и Рождественской. Тут и завязывались первые знакомства и впоследствии интимные отношения.

<...> маленькие скандальчики случались время от времени, вроде шума в развесёлом доме или ухаживания, в пьяном виде, за прекрасным полом на бульварах. Подобные скандальчики оканчивались без последствий. (*Былое врачебной России. 1. С. 35–36, 39.)*

Из устава Медико-хирургической академии. 1809

§ 119. Учащиеся в 1 и 2 классе именуются учениками, а поступившим в 3 и 4 классы присваивается название и право студентов; им даются от Академии шпаги. (*История Академии... 2-я пагин. С. 50.*)

Из послужного списка М.А. ДОСТОЕВСКОГО. Ноябрь 1828

<...> студентом 3-го класса удостоен 1811 Ноября 4
студентом 4-го класса произведен 1812 Июля 15

(В семье и усадьбе... С. 124–125.)

Приношение на алтарь

Л.Н. ТОЛСТОЙ. Война и мир.

15-го числа <июля 1812>, утром <...> у Слободского дворца стояло бесчисленное количество экипажей.

Залы были полны. В первой были дворяне в мундирах, во второй купцы с медалями, в бородах и синих кафтанах. <...>

Пьер в числе других увидал государя, выходящего из залы купечества со слезами умиления на глазах. <...> он выходил, сопутствуемый двумя купцами. Один был знаком Пьеру, толстый откупщик, другой — голова, с худым, узкобородым, жёлтым лицом1[1]. Оба они плакали. У худого стояли слёзы, но толстый откупщик рыдал, как ребёнок, и всё твердил:

— И жизнь и имущество возьми, ваше величество!

Из записок Ф.В. РОСТОПЧИНА

<...> во 2-й галерее, где собрались купцы, я был поражён тем впечатлением, которое произвело чтение манифеста. <...> негодование прорвалось наружу и достигло своего апогея: присутствующие ударяли себя по голове, рвали на себе волосы, ломали руки; видно было, как слёзы ярости текли по этим лицам <...>[2]

Городской голова, имевший всего 100 000 капитала, первый подписался на 50 000 руб., причём перекрестился и сказал: «получил я их (деньги) от Бога, а отдаю родине». (*Рус. старина. 1889. № 12. С. 674, 676.*)

Из «Ведомости пожертвованиям духовенства в войну 1812 и 1813 гг.»

Подольское и брацлавское духовенство 1165 р. 49 к. <сер.>
4509 р. 59 к. <асс.>[3]

(Записки *Императорской Академии наук. Т. 43. СПб., 1882. С. 422.*)

---

[1] Московский городской голова А.А. Куманин, будущий родственник Достоевского (свёкор родной сестры его матери).

[2] «Я не дал купечеству остынуть», — говорил впоследствии император Александр.

[3] Можно ли сомневаться, что подольские родственники Достоевского внесли свою лепту в общероссийское дело?

«По надобности во врачах...» (третье дополнение к формулярному списку)

Из послужного списка М.А. ДОСТОЕВСКОГО. Ноябрь 1828

По надобности во врачах, во время последней против Французов войны командирован Г-м Вице-Президентом Академии в Московскую Головинскую госпиталь для пользования больных и раненых. . . .. 1812 Августа 15

(*В семье и усадьбе... С. 124–125.*)

Из дневника Ф.Я. МИРКОВИЧА. 31 августа 1812

<...> брат догнал нас у Арбатских ворот и проводил <...> до Головинского дворца, где был госпиталь для офицеров <...>. (*Фёдор Яковлевич Маркович. 1789–1866. Его жизнеописание. СПб., 1889. Т. 1. С. 79.*)

НАПОЛЕОН. 21-й бюллетень французской армии. 20 сентября 1812

Прекрасный дворец Екатерины, вновь меблированный.

Комментарий Ф.В. Ростопчина. Он никогда не был меблирован: построенный на конце города, он обращён был во время Императора Павла в казармы, а я поместил в нём гошпиталь для раненых. (*В кн.: Ростопчин Ф.В. Правда о пожаре Москвы. М., 1823. С. 51.*)

10-я ростопчинская афишка. 30 августа 1812

Сюда раненых привезено; они лежат в Головинском дворце, я их осмотрел, напоил, накормил и спать положил. Вить они за вас дрались, не оставьте их <...>. Вы и колодников кормите, а ето Государевы верные слуги и наши друзья — как им не помочь! (*Сочинения Ростопчина (графа Феодора Васильевича). СПб., 1855. С. 177.*)

Из записок А.Я. МИРКОВИЧА

Брат мой был <...> ранен <в Бородинском сражении> после атак ядром в левую ногу. <...>. 31-го числа <августа> на нашем переходе я встретил брата и его товарища Смиттена, которые ехали на своих повозках. <...> Я <...> узнал, что надобно ехать в Головинский дворец, до которого оставалось ещё 8 верст, и мои раненые с большим трудом совершили этот трудный для них переезд. За то были вознаграждены отличным помещением и, главное, в нижнем этаже, что очень удобно для переноски. Смотритель военного госпиталя с христианской любовью заботился об их спокойствии и рекомендовал лучшего доктора[1]. (*Миркович, 1. С. 79.*)

[1] Имеется в виду И.Е. Дядьковский, сокурсник М.А. Достоевского, в будущем знаменитый хирург.

Из «Списка временным в Москве госпиталям с показанием числа находившегося в оных больных» (по состоянию на 1 сентября 1812)

В Головинских казармах до 8000

(*Записки Имп. Академии наук, 43. С. 136.*)

Из воспоминаний Ф.В. РОСТОПЧИНА

Я проехал две улицы, и, на протяжении 1/2 льё, мне пришлось пробираться промеж двух рядов повозок, переполненных ранеными, а ещё огромная толпа таковых же шла пешком, направляясь к главному госпиталю. (*Рус. старина, 1889, № 12. С. 714*)

Ф.В. РОСТОПЧИН — жене. 1 сентября 1812. Москва

Бросают 22 000 раненых, а ещё питают надежду после этого сражаться и *царствовать*! (*Рус. архив, 1901. Кн. 2. С. 462.*)

Управляющий медицинской частью армии Я. ВИЛЛИЕ — графу А. А. АРАКЧЕЕВУ. 12 сентября 1812. Красная Пахра

<...> в 9 часов вечера 1-го сентября дано внезапно приказание о выводе больных и раненых из Москвы, коих большая часть взяла направление к Владимиру и Рязани, куда для пользования их отправлен мною г. лейб-медик Лодер с 50-ю врачами. (*Записки Имп. Академии наук, 43. С. 134.*)

Из воспоминаний Ф.В. РОСТОПЧИНА

Более 20 000 чел. успело поместиться на подводы <...>

Этот караван, беспримерный в истории чрезвычайных событий, прибыл в Коломну на четвёртые сутки. Больных переместили на суда и спустили по Оке <...>. (*Рус. старина. 1889. № 12. С. 718–719.*)

Круг забот тылового врача (четвёртое дополнение к формулярному списку)

Британский комиссар при главной квартире русской армии Р. ВИЛЬСОН — императору АЛЕКСАНДРУ I. 13/25 сентября 1812. Красная Пахра

Множество раненых, вывезенных из Москвы, превзошло всякое возможное о них распоряжение, и я нашёл 3 000 челов<ек> в Коломне без всякого комиссариатского и медицинского надзора, без способов к пропитанию и дальнейшему отвозу; но, по уведомлении о сём их положении генерала Бенигсена, он немедленно дал нужное предписание о попечении и препровождении их в Рязань. (*Записки Имп. Академии наук, 43. С. 144.*)

Из дневника П.С. ПУЩИНА. 2 сентября 1812

Во время похода я увидел брата Николая. Рана была не опасная; он отправлялся в Касимов. (*Дневник Павла Пущина. Л., 1987. С. 62.*)

Из дневника Ф.Я. МИРКОВИЧА. 2–6 сентября 1812

Всех раненых нижних чинов поместили в барках, чтобы спустить по реке в Касимов, а офицеров сухопутно направили туда же чрез Рязань. (*Маркович. 1. С. 79.)*

Из послужного списка М.А. ДОСТОЕВСКОГО. Ноябрь 1828

Потом в Касимовский военно-времянный госпиталь, откуда получил похвальный аттестат . . . . . 1812 Сент<ября> 1

(*В семье и усадьбе... С. 124–125.*)

Император АЛЕКСАНДР I — графу Ф.В. РОСТОПЧИНУ. 14 ноября 1812. Петербург

<...> там, где проходила ретирующаяся неприятельская армия, осталось от оной множество трупов как убитыми, так и от усталости, голода и стужи погибшими. Вследствие чего, во избежание, чтобы от сих мёртвых тел не последовало при наступлении весны заразительных болезней, повелеваю вам ныне же принять поспешнейшие и самые деятельные меры, чтобы трупы всякого рода, как человеческие, так и скотские, кои могут быть отысканы или на поверхности земли или в земле, но зарытые не глубоко, были неотлагательно преданы сожжению. Особенному попечению вашему поручаю принять всевозможные бдительнейшие осторожности, чтобы при сближении весны не возникло какой-нибудь заразы в воздухе. (*Записки Имп. Академии наук, 43. С. 337.*)

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ. Воздушный корабль

. . . . . .
Соратников громко он кличет
И маршалов грозно зовёт.

Но спят усачи-гренадеры —
В равнине, где Эльба шумит,
Под снегом холодной России,
Под знойным песком пирамид.

(*Отеч. записки. 1840. № 5. Отд. III. С. 2.*)

Московская дворянка М.А. ВОЛКОВА — своей подруге В.И. ЛАНСКОЙ. 25 ноября 1812. Тамбов

Не только город <Москва>, но и окрестности усеяны трупами, заражающими воздух. Представь, что будет весной, когда растает снег. За пятнадцать вёрст от Москвы уже становится тяжело дышать: колодцы, овраги и рвы вокруг Кремля — всё наполнено мёртвыми телами; их даже трудно отыскивать, и потому меры, принимаемые против зла, недостаточны. (*Вестник Европы. 1874. № 8. С. 613.*)

К.Н. БАТЮШКОВ — Н.И. ГНЕДИЧУ. Октябрь 1812. Нижний Новгород

Видел нищету, отчаяние, пожары, голод, все ужасы войны, и с трепетом взирал на землю, на небо и на себя. <...> Ужасные поступки вандалов, или французов, в Москве и в её окрестностях, поступки, беспримерные и в самой истории, вовсе расстроили мою маленькую философию и поссорили меня с человечеством. Ах, мой милый, любезный друг, зачем мы не живем в счастливейшие времена! Зачем мы не отжили прежде общей погибели! Но оставим эту неистощимую материю и поговорим о деле (*Рус. старина. 1883. Т. 38. С. 346–349.*)

Ф.В. РОСТОПЧИН — императору АЛЕКСАНДРУ I. 20 декабря 1812. Москва

На Бородинском поле кончается сожжение лошадиных трупов. Через несколько времени я сам туда поеду, чтобы собственными глазами посмотреть, точно ли выполнены мои приказания относительно больных <...>(*Рус. архив,1909. № 1. С. 51.)*

Из послужного списка М.А. ДОСТОЕВСКОГО. Ноябрь 1828

После командирован им же Вице-Президентом <Академии>, Московской губернии в Верейский уезд, <для> прекращения свирепствовавшей там повальной болезни и за что имеет тоже похвальный аттестат. . . . . [1]

(В семье и усадьбе... С. 124–125.)

М.А. ВОЛКОВА — В.И. ЛАНСКОЙ. 24 декабря 1812. Тамбов

Пленные, рассеянные по всей России, заносят всюду заразу, потому что сами они почти что чумные. Прислуга наша, приехавшая из Высокого, рассказывает, что по большой дороге во многих деревнях есть дома, в которые никто не смеет входить: находящиеся в них умирают или оживают, будучи оставлены на произвол судьбы. (*Вестник Европы. 1874. № 8. С. 620)*

[1] Дата командировки в послужном списке не указана.

Ф.В. РОСТОПЧИН — министру полиции А.Д. БАЛАШЕВУ. 20 декабря 1812. Москва

Слухи о чуме Московской доходят сюда издалека, и я, для пресечения сих дурацких разглашений, прикажу в первом № Московских Ведомостей напечатать от себя на сей щёт род объявления, дабы истребить помышление о заразе и препятствия съезду всякого рода жителей в Москву, а особливо обозов, идущих с хлебом и запасами. (*Рус. архив. 1909. № 1. С. 47.*)

Ф.В. РОСТОПЧИН — А.Д. БАЛАШЕВУ. 11 января 1813. Москва

<...> по уездам болезни от принятых мер и деятельности употреблённых чиновников и врачей очевидно уменьшаются и к весне, вероятно, прекратятся. (*Записки Имп. Академии наук. 43. С. 446.*)

П.А. ВЯЗЕМСКИЙ. Послание к Жуковскому из Москвы в конце 1812 года

Но что теперь твой встретит мрачный взгляд
В столице сей и мира и отрад? —
Ряды могил, развалин обгорелых
И цепь полей пустых, осиротелых —
Следы врагов, злодейства гнусных чад!

Из послужного списка М.А. ДОСТОЕВСКОГО. 20 апреля 1828

Лекарем 1 отд. произведён .....5 августа 1813 г.
Назначен в Бородинский пехотный полк.....1 сентября 1813 г.
Удостоен штабс-лекарем в означенном полку
со старшинством .....5 августа 1816 г.
Помещён в том же полку на оклад 1 кл.,
с жалованьем по 500 руб. в год .....20 октября 1816 г.
Переведён в Московскую военную госпиталь
ординатором .....29 апреля 1818 г.
Помещён на оклад старшего лекаря 2 кл.,
с жалованьем по 600 руб. в год ..... 7 мая 1819 г.
Уволен из военной службы ..... 16 декабря 1820 г. 1
(*Хроника рода Достоевского. С. 48.*)

Отношение Медицинского департамента Военного министерства. 26 ноября 1820.

Медицинский департамент Военного министерства честь имеет уведомить, что ординатор Московской медицинской госпитали штаб-лекарь Михаил Достоевский 16 текущего ноября, по прошению

его, во уважении расстроенных домашних его обстоятельств, уволен от службы[1]. (*Сообщено Б.В. Федоренко*).

«Венчается раба Божия...»

ДОСТОЕВСКИЙ

Я происходил из семейства русского и благочестивого. (*Дневник писателя. 1873.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

Моя мать — Марья Фёдоровна, урожденная Нечаева. Родители её были купеческого звания. (*Воспоминания... С. 18.*)

М.В. ВОЛОЦКОЙ

Нечаев Фёдор Тимофеевич.

Дед (отец матери) писателя (1769–1832).<...> Московский купец 3-й гильдии, Сыромятной слободы. В 1790 г. переселяется из Боровска в Москву. (*Хроника рода Достоевского. С. 69.*)

РОДОСЛОВИЕ НЕЧАЕВЫХ

Из писцовой книги 1685 г.

посадский ч<елове>к Софонко Яковлев <сын Нечаев>[2] <...>у него детей: 3 с<ына>: Панка 12 л., Андрюшка 9 л., Васька 5 л. 2 <...> а промысл у него — делает серебряное, и для того у него рукоделья в москотильном ряду лавка, да он же торгует луком, да чесноком, что упашет в огороде <...> а в казну <...> платит он с дв<ора> своего и с ж<ильцо>в и с пром<ысла> на год по рублю <...>.

Из переписной книги 1723 г.

В приходе ц<еркви> *Бориса* и *Глеба*: <...>

Василей Софонов с<ын> *Нечаев* 47 л[3]. у него дети: Иван 17 л. 3 <...>.

Из ревизской сказки 1763 г.

В приходе ц<еркви> *Бориса* и *Глеба*: <...>

---

[1] Разумеется, «расстроенные домашние обстоятельства» отнюдь не намёк на совершившийся брак. В настоящем случае это обычная «формула перехода» — из военного ведомства в сугубо гражданскую Мариинскую больницу.

[2] Прапрапрапрадед Достоевского.

[3] Прапрапрадед. Как можно заметить, в первом случае год рождения «Васки» — 1680-й, а во втором он же («Василей Софонов сын») родился в 1676-м. Следует помнить, что в писцовой книге 1685 г. его возраст записан со слов отца, а в переписной книге 1723 г. — с его собственных. Как видим, подвижки в возрасте свойственны предкам Достоевского и по отцовской, и по материнской линии.

Иван Васильев с<ын> Нечаев <...> ум. в <1>758 г.[1] <...> у него: дети Тимофей <...> 32 л[2]. (*Боровск. Материалы по истории города XVII и XVIII столетий. М., 1880. С. 74–75, 154–155, 191.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

Отец её <Марии Фёдоровны Достоевской> Фёдор Тимофеевич Нечаев, которого я ещё помню в своём детстве как дорогого и любимого баловника-дедушку, до 1812 года, т. е. до Отечественной войны, был очень богатый человек и считался, т. е. имел тогдашнее звание именитого гражданина. Во время войны он потерял всё своё состояние, но однако не сделался банкротом, а уплатил все свои долги до копейки. Помню как сквозь сон рассказы моей матери, как она, бывши девочкой 12 лет, в сопровождении своего отца и всего его семейства, выбрались из Москвы только за несколько дней до занятия её французами; как отец её, собравши, сколько мог, свои деньги, которые, как у коммерческого человека, находились в различных оборотах, вёз их при себе; что все эти капиталы были в бумажных деньгах (ассигнациях); что, проезжая вброд через какую-то речку, карета их чуть не утонула со всеми пассажирами и лошадьми, и что они все спаслись каким-то чудом, выпрыгнувши или быв вытащенными из экипажа посторонними людьми; что вследствие того, что карета долгое время оставалась в воде, все ассигнации до того промокли, что оказались вовсе потерянными; что, приехав на место, они долгое время старались сколь возможно отделять ассигнации друг от друга и просушивать их на подушках, но что из этого ничего не вышло. Таким образом, весь наличный капитал деда был тоже потерян. (*Воспоминания... С. 18.*)

А.С. ПУШКИН. Путешествие из Москвы в Петербург. 1835

Тут молодые люди знакомились между собою; улаживались свадьбы. Москва славилась невестами, как Вязьма пряниками <...>.

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

Григорий Павлович Маслович <...> по словам маменьки, был, так сказать, сватом моего отца. Служа с отцом вместе в Московском военном госпитале и узнав его за доброго и хорошего человека, Григорий Павлович познакомил его с домом моего деда Фёдора Тимофеевича Нечаева, с которым по жене своей Настасье Андреевне

[1] Прапрадед.
[2] Прадед (отец Ф.Т. Нечаева).

был в родстве. Следовательно, Григорий Павлович был, так сказать, поводом и причиною первого знакомства моего отца и матери. (*Воспоминания... С. 39.*)

Ведомость Ивановского Сорока Церкви Петра и Павла, что в Военном Госпитале, 1820.

«Когда кто и с кем сочетался браком и был ли чинён обыск.

В Генваре.

14 женился первым браком сего Госпиталя штаб-лекарь Михаи<л> Андреев сын Достоевский поял за себя Московского купца по второй гильдии Феодора Тимофеева (сына Нечаева) дочь девицу Марию Феодорову о коих обыск надлежащий был учинён, оное таинство совершали обще».

«Когда кто родился, кем крещён и кто восприемники.

В Октябре.

13 сего Госпиталя у Штаб-Лекаря Михайлы Андреева сына Достоевского родился сын Михаил. Молитвословил иерей Матфей Козмин с диаконом, крещён 18-го дня <октября>, восприемники были Московский купец Феодор Тимофеев сын Нечаев и М<осковского> именитого гражданина Александра Алексеева сына Куманина жена Александра Феодорова». (*Ведомость Ивановского Сорока Церкви Петра и Павла, что в Военном Госпитале, священника Матфея Козмина с причетники, сколько в сем 1820-м годе обоего пола людей родилось, когда и кем крещены и кто при том были восприемники, и котораго м<есяц>а и числа коликих лет кто умре и где погребён, также кто именно и с кем сочетался браком и был ли чинён обыск и кто из священно-церковно-служителей исправлял требу, значит под сим. ЦИАМ. Ф. 1639. Оп. 1. Лл. 41 об., 56.*)

Глава 2

БОЛЬНИЦА ДЛЯ БЕДНЫХ

Обстоятельства места

18 мая 1836 г., сетуя на свою журнальную участь, Пушкин писал жене: «...чёрт догадал меня родиться в России с душою и с талантом! Весело, нечего сказать!»

Замечено столь же в шутку, сколь и всерьёз. *Выбор* сделан — и от этого — страшно, и от этого — «весело», и об этом — в том же году, в неотправленном письме к Чаадаеву: «...клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество, или иметь другую историю...» К Достоевскому приложимы оба полюса пушкинской мысли. Он мог бы родиться где угодно. Но он не мог не родиться в России. Дух веет где хочет: однако как снайперски выбраны время и место!

Он появился на свет в больнице для бедных. Впрочем, не по скудости средств, а по нахождению новой службы отца: перемене карьеры споспешествовали, надо думать, родственники жены.

Мать Достоевского, Мария Фёдоровна, ещё в меньшей степени, чем Михаил Андреевич, имела необходимость заботиться о своей родословной. Сидельцы в лавках, купцы разной степени достоинства — вот родня её со стороны отца, Фёдора Тимофеевича Нечаева. Люди, не чуждые просвещения: от корректора Московской синодальной типографии до учёного медика, профессора Московского университета — со стороны матери (Котельницкой). Таков круг, принявший в себя безродного, но достигшего известного положения зятя.

В Достоевском как бы слились все эти линии: западнорусская (белорусская) — дворянская, украинская — духовная и, наконец, московская — купеческая и интеллигентская.

По-гречески «Феодор» означает «дар Божий»: соблазнительно предположить, что те, кто нарёк так сына штаб-лекаря, вкладывали в это имя некий пророческий смысл. Дело, однако, обстояло гораздо проще. Крёстным отцом младенца стал его дед — «московский купец 3-й гильдии» Фёдор Тимофеевич Нечаев: ему-то, полагаем, и было оказано уважение.

Но тут возникает некий тайный звук — те странные ауканья, переклички и совпадения, которые, как мы ещё не раз убедимся, будут сопровождать жизнь главного героя.

Его дед по матери происходил из посадских города Боровска Калужской губернии; он переселился в Москву в 1790 г. Но, как явствует из документов, выехавший из Золотой Орды родоначальник Ртищевых (род отца) ещё на рубеже XIV–XV вв. появляется в Боровском княжестве и получает там «в кормление» часть княжеского удела. Далёкий потомок рода, веками обитавшего в Белоруссии и на Украине, неожиданно оказывается в Москве, чтобы здесь соединиться, наконец, с дочерью своего — в историческом, разумеется, смысле — боровского «земляка».

Фёдора Достоевского крестят в больничной церкви Петра и Павла. Через двадцать семь лет, обретаясь в Петропавловской крепости, он, возможно, вспомнит это название.

Его крёстная — Александра Фёдоровна Куманина, старшая сестра его матери. Тётка замужем за богатым московским негоциантом — купцом первой гильдии и благотворителем. Куманины — единственное прибежище, тыл — та «палочка-выручалочка», к которой в разное время будут обращаться все без исключения Достоевские. После смерти родителей Достоевского бездетные Куманины выдадут замуж трёх его сестёр (положив каждой по 25 тысяч рублей приданого); будут материально поддерживать всех четырёх братьев; в 1864 г. тёткины капиталы ненадолго вдохнут жизнь в обречённую «Эпоху».

Тётка умрёт в 1871 г.; спор о её наследстве будет тянуться долго. Во время одного из таких *родственных* объяснений у Достоевского хлынет горлом кровь: через два дня его не станет.

Александра Фёдоровна Куманина склонялась над его крестильной купелью; тень её витала над его смертным ложем.

Но до такой развязки времени более чем достаточно. Пока же спорить не о чем, ибо далеко не все потенциальные наследники имеются в наличии. Два брата-погодка — Михаил (1820) и Фёдор (1821) так и пойдут по жизни — рядом. Остальные дети, числом пять (ещё одна девочка умрёт во младенчестве), появятся позже и не удостоятся столь тесного дружества.

Достоевские жительствуют на Божедомке. Название связано с расположенным поблизости погостом, где некогда находили успокоение

бродяги, нищие, самоубийцы, воры. Тут же погребали неопознанные трупы: имя им ведал только Господь.

Божедомка — дом Божий: в нём найдётся место для всех. Хранители этого смиренного кладбища звались божедомами и по совместительству выполняли функции педагогов — их попечению вверяли детей-подкидышей. Надо ли говорить, что в Москве не нашлось лучшего места и для призрения умалишённых: дом скорби как бы завершал картину.

В эпоху, на которую приходится детство нашего героя, ничего этого уже нет. И всё-таки — есть: тени прошлого действуют тем обольстительнее, чем меньше у них возможности воплотиться.

Призраки бок о бок с живыми заполняют среду обитания, которая значительно умягчена буколической прелестью Марьиной рощи (этого, как выразился бы Ч. Б., излюбленного места отдыха москвичей: и впрямь, гуляния в роще отличались повышенным градусом народного удальства).

Московской больнице для бедных надлежало вписаться как в природу, так и в историю.

Собственно, сама больница «отпочковалась» от любимого Москвою Воспитательного дома, чьих умноженных доброхотными даяниями капиталов с лихвой хватило на новое обзаведение. Первая ласточка *бесплатной* медицины, она бесстрашно впорхнёт в эпоху, когда указанное благо сделается всеобщим. Недаром в 20-е годы уже XX столетия учреждение наречётся «Больницей социальных болезней им. Ф.М. Достоевского».

Семейство штаб-лекаря жительствует в левом флигеле больницы. Впрочем, сын Фёдор родился в правом (затем семья переезжает). Эта непредусмотренная деталь (хотя, если вдуматься, вполне законная в таком *двоящемся* сюжете) внесёт позднее известную путаницу в топографические расчёты достоеведов. Ибо всё здесь зависит от точки зрения.

Итак, левый флигель, если встать лицом к фасаду.

Повернуться к фасаду именно лицом совершенно необходимо: он того заслуживает. Надо думать, больничный ампир производил сильное впечатление на тех, кто искал тут облегчения, а может, и пропитания. Зодчий Иван Жилярди (сын Д. Жилярди), воздвигший эту торжественную юдоль слёз, не зря получил за труды 1000 рублей наградных и золотую табакерку. Дорическая колоннада парила над деревянным предместьем, как бы приобщая души малосостоятельных пациентов к гармоническому миру высокой классики.

Исцеляемыми были *бедные люди*: они станут и героями его первой повести.

(Как выяснилось сравнительно недавно, у московской лечебницы имелся зримый прообраз. Её главное здание — точное повторение другой больницы для бедных, воздвигнутой почти одновременно на Литейном проспекте в Петербурге (то-то должен был изумиться Достоевский, узрев в пору своей петербургской юности этого архитектурного *двойника*!). Оба проекта принадлежали Джакомо Кваренги, одному из создателей Зимнего дворца: Жилярди строил по его чертежам. (Правда, больничные флигели, в которых жили врачи, он возводил уже по собственному разумению.)

Жилище царей и пристанище «беспомощных страдальцев» проектировал один и тот же зодчий: так компенсировалась социальная несправедливость.

Московская клиника открылась 1 июня 1806 г.; основана она была рачением Марии Фёдоровны, посвятившей после убиения её мужа, императора Павла Петровича, остаток дней делам богоугодным.

Мать Достоевского — полная тёзка вдовствующей императрицы.

Оборвём, однако, этот нечаянно вырвавшийся *павловский* мотив: здесь ему ещё не место.

Вслушаемся лучше снова в затихающие раскаты «грозы двенадцатого года»: их эхом озвучено детство нашего героя.

Нашествие — воспоминание почти семейственное.

Дело даже не в том, что дедушка Фёдор Тимофеевич, спасаясь от супостата, утопил в реке все свои сбережения. Имя его будет внесено на скрижали за заслуги иного рода. Прочие родственники тоже причастны к судьбам города и царства.

Как сказано, тётка Достоевского (сестра его матери) замужем за А.А. Куманиным. Отец её мужа — лицо значительное: он — московский городской голова 1812 г. «С худым, узкобородым, жёлтым лицом» — так аттестует его Л. Толстой в своей всеохватной эпопее. (Конечно, автор «Войны и мира» не подозревал, что он изобразил родственника Достоевского; вопрос — заметил ли это сам Достоевский.)

Толстой помещает купца Куманина рядом с государем; у предводителя торговой буржуазии столицы недаром «стояли слезы». Не пожалев на ополчение кровные 50 тысяч (половину состояния), он — уже от лица сословия — посулил Александру ещё полмиллиона. Нужды нет, что не соберут и второй части — во исполнение обета купец третьей гильдии Фёдор Нечаев оторвёт от своего обречённого воде

капитала тысячу ещё не подмоченных рублей. Имена обоих жертвователей навеки высекут на мраморных досках храма Христа Спасителя: их ли вина, что сам храм оказался не вечен...[1]

Старший сын Куманина (брат дяди Достоевского) тоже станет городским головою. В 1826 году он торжественно встретит в Кремле идущего короноваться Николая. Очевидно, тогда же — летом или осенью 1826 г. — молодой царь вместе с императрицей-матерью посетит патронируемое ею заведение. В *принципе* Федя Достоевский имел шанс (вымытые до блеска окна, толпа нарядных детей) впервые лицезреть своего государя.

Вернёмся, однако, в Москву, где мальчика ещё нет: сотрясаются только стены, в которых он будет обретаться.

Согласно высочайшей воле, персонал больницы для бедных должен был при занятии Москвы неприятелем оставаться на месте. Рескрипт об этом помечен 9 августа 1812 года: следует изумиться дате. Русские войска ещё сражаются под Смоленском; до Бородинского боя — более двух недель. Ни светлейший князь Кутузов, ни хозяин Москвы граф Ростопчин, казалось, не помышляют об ужасном исходе. Меж тем предусмотрительная, как все вдовы, Мария Фёдоровна шлёт из Петербурга инструкции, которые, не принадлежи они такому значительному лицу, легко могли бы быть сочтены пораженческими.

Впрочем, больница не была ни разграблена, ни сожжена.

В соответствии с уставом, в заведение принимались «всякой нации бедный и неимущий». Никто, однако, не предполагал, что этот пункт будет истолкован столь натурально: «бедных и неимущих» решительно потеснили воины «всякой нации» (тоже, правда, увечные и больные). Оставшимся на месте врачам было предложено заниматься обычным делом. Французский генерал Нарбонн пообещал даже выхлопотать у Наполеона жалованье русскому персоналу. Но, как с удовлетворением замечает историк больницы, никто не принял «такого оскорбительного для народной гордости предложения».

...В романе «Идиот» генерал Иволгин рассказывает, как по вшествии Наполеона в Москву он, будучи ребёнком, сподобился видеть

[1] Сообщая, что «по воле миллионов трудящихся нашей страны мрачный притон самодержавия исчезнет с лица Москвы», автор выпущенной в связи с этим *исчезновением* брошюры уличал строителей храма в пропаганде культа милитаризма: «Все надписи (на мраморных плитах. — *И.В.*) имели ярко выраженное классово-агитационное содержание... В самом выигрышном освещении были показаны “подвиги” представителей эксплуататорских классов...» (Кандидов Б.П. Кого спасал храм Христа-Спасителя. М.; Л., 1933. С. 29–30, 71).

великого человека и даже угодил к нему в камер-пажи. Разумеется, генерал врёт как сивый мерин. Но любопытен сюжет. Достоевского занимает не только «наполеоновская идея» (так трагически высвеченная судьбой Раскольникова), но и сам Бонапарт. Рассказ генерала замечателен: император французов, требующий от десятилетнего отрока рекомендаций относительно того, как ему удержаться в России («Улепётывайте-ка... восвояси!» — советует юный патриот), и поверяющий своему едва ли не единственному другу самые сокровенные думы — всё это чрезвычайно забавно. Но как знать, не припомнились ли автору его собственные детские грёзы?

Впрочем, к Наполеону мы вернёмся, когда ребенок подрастёт.

Первые радости

...В горестную пору 35-дневного пребывания неприятеля в Москве, среди воцарившихся хаоса и безначалия, больнице удалось сохранить подобие некоторого порядка. В её ограде укрывались озаряемые огнём пожаров московские жители. Порою в больничные окна залетали шальные пули. Но на фоне общих народных бедствий потеря двадцати восьми казённых байковых одеял (в коей главный врач аккуратнейшим образом отчитается вдовствующей императрице) — эта жертва могла представляться не столь суровой...

Высочайшая попечительница московской больницы для бедных переживёт не только мужа, но и своего царственного старшего сына. Александр Павлович скончается в Таганроге, и у четырёхлетнего Феди вряд ли станет досуга заметить его кончину, а также всё, что за ней воспоследует.

Он появится на свет за четыре года до 14 декабря и умрёт за месяц до 1 марта.

Эти две даты не менее важны, чем дни рождения и смерти.

Конечно, гром пушек на Сенатской (тогда еще — Петровской) площади не коснётся его младенческого слуха (как, впрочем, не коснётся его мёртвого слуха эхо от бомбы Гриневицкого). Он не будет, как старший его девятью годами Герцен, давать клятву верности и отмщения. С первыми сведениями о том, что совершилось тогда в Петербурге, он столкнётся значительно позже, да и воспримет их, очевидно, совсем по-другому. Но детство его пройдет в Москве — городе, опалённом великим пожаром двенадцатого года;

в Москве, притихшей после декабря, но время от времени обнаруживающей либеральный дух то делом братьев Критских, то громкими университетскими историями, то возмутительными стихами Полежаева.

В Москве бывают Пушкин и Гоголь; в московских гостиных витийствуют будущие славянофилы; в Москве Герцен и Огарёв уже принялись исполнять обеты, данные на Воробьёвых горах.

Казалось бы, *эта* Москва бесконечно далека от того патриархального, медленного, замкнутого в самом себе мира, в котором пребывает семья Достоевских. В том мире свои понятия о жизни, свои радости и свои заботы. Но не следует переоценивать степень этой уединённости. Двоюродный дедушка Василий Михайлович Котельницкий худо-бедно учит в университете медицинских студентов и в качестве декана нередко защищает их от гнева начальства. (Узнает ли когда-нибудь Достоевский, что дедушка спас от изгнания из alma mater в числе прочих обитателей 11-го нумера и студента Виссариона Белинского? А сам Белинский — догадывался ли он о родстве?) Глава семейства, надев чёрный фрак с белым галстуком, отправляется к своей клиентуре, которая, очевидно, не столь бедна, как его *обычная* публика.

Образованный слой в Москве, как и везде, достаточно тонок. И хотя новоиспечённый коллежский асессор и штаб-лекарь Михаил Андреевич Достоевский вряд ли имеет шанс встретить *в обществе* (где он, впрочем, и не бывает), скажем, Петра Яковлевича Чаадаева, он, может быть, слышал о нём от своего сослуживца доктора А.А. Альфонского, некогда пользовавшего этого мнительного пациента от его многочисленных недугов. К тому же не вполне ладящий с отеческой верой Чаадаев проживает в приходе священника Симеона Лебедева: батюшка не только свой человек в семействе Достоевских, но ещё и обучает старших братьев закону Божьему в пансионе Чермака[1].

Кстати, о Чаадаеве.

Его история (публикация «Философического письма» в «Телескопе», запрещение журнала и официальное объявление автора сумасшедшим) наделала в Москве много шуму осенью 1836 г. Достоевскому — 15 лет: самый подходящий возраст для приятия подобного рода

[1] См.: *Фёдоров Г.А.* Пансион Л.И. Чермака в 1834–1837 гг.//Мат. и исслед., I. С. 250.

впечатлений. Мальчик возрос на Карамзине: Чаадаев, пренебрежительно отозвавшись о русской истории, дерзко покусился на мнения знаменитого историографа.

Старшие братья регулярно читают журналы — во всяком случае, есть указание на популярную «Библиотеку для чтения». Это счастливое изобретение барона Брамбеуса обладает колоссальным запасом полезной информации. Информация, как известно, возбуждает вопросы.

Братья живо интересуются литературой и по мере сил следят за новинками. Чаадаевское письмо было первостепенной новостью. Допустим, Фёдор и Михаил по молодости лет не заглядывают в учёный, но, признаться, довольно-таки скучный «Телескоп». Но неужто не ведают они о постигшей его участи? Трудно предположить, чтобы до старших учеников пансиона Чермака, где обучаются дети из самых различных московских семейств, не дошли толки об этом скандальном происшествии.

Нелишне вспомнить не только историю, но и географию. Пансион Чермака помещался на Новой Басманной. Здесь же, неподалёку, в доме генеральши Левашовой, безотлучно жительствует и сам автор «Философического письма». Возможно, братья Достоевские, направляясь с Божедомки к Чермаку, проезжали мимо окон «басманного философа», и старый флигель, который, по словам Жуковского, держался не на столбах, а духом единым, притягивал их взоры.

Разумеется, всему вышесказанному приличествует сослагательное наклонение. У нас вовсе нет намерения настаивать на хотя и возможных, но не подтверждённых документально сюжетах. Речь о другом. О том, что всё это происходит в одном городе, в одной — правда, весьма разнородной — культурной среде. Здесь читаются, в общем, одни и те же (не столь многочисленные) журналы; здесь слухами восполняется отсутствие политических известий; здесь новости переносятся из дома в дом.

(Хотя, с другой стороны, если верить Андрею Михайловичу, о смерти Пушкина братья узнали только через месяц после самого события. Но зимой 1837 г. все отодвинуто предсмертной болезнью маменьки; ни о чём другом в доме не говорят, и все внешние контакты сведены до минимума.)

Но мы забежали вперёд. Вернёмся туда, где лица детей ещё исполнены невинности; где кормилицы при свете сальных огарков плетут свои страшные сказки; где папенька, склоняясь над скорбными листами, скрипит своим труженическим пером. Где, сотворив молитву, рано ложатся спать; где рано встают; где течение дня подчинено

строгому, никогда не меняющемуся распорядку и где сами дни удивительно похожи друг на друга.

А вот — просвет: в церкви (которая почему-то — очевидно, в силу похожести русских писательских *детств* — именуется деревенской) вспыхивает луч, а в нём парит голубок. И вновь плотно смыкаются дни — и всё так же потрескивают сальные свечи, и на закоптелых обоях покачиваются огромные тени, и уже не разберёшь, то ли это маменька тихо плачет о чём-то своём, то ли мемуарист смахивает украдкой старческую слезу...

Но что же Федя?

Следует заметить, что в этом мире Федя хотя и присутствует, но держит себя в высшей степени скромно. И, как справедливо замечает Чувствительный Биограф, «никаких признаков гениальности явно не обнаруживает». (Очевидно, подразумевается, что эти признаки присутствуют *тайно*.) Да и немудрено: ребёнок ещё мал, не шибко грамотен; что же касается устных высказываний, то они, видимо, не поражают окружающих и потому, слава богу, не переходят в потомство.

Сам Достоевский упоминает о своём детстве с глубоким чувством, но — сдержанно. Детские впечатления — его золотой запас: он пускается в ход только в решительных случаях.

Так, воспоминания о мужике Марее или о няне Алёне Фроловне выкладываются как козырная карта, когда надо обосновать важнейшие моменты идеологии. Но в принципе эти воспоминания выходят за рамки семейного сюжета и, как у Пушкина, который вообще почти не упоминает о родителях, но — по контрасту — возвышает иное («Ах! умолчу ль о мамушке моей...»), они обозначают точки соприкосновения с народной жизнью.

Автор «Подростка» не оставил такой обширной автобиографической прозы, как Толстой: у него нет своих «Детства» и «Отрочества». Почти вся информация об этой поре (то есть о времени до 16 лет) исходит от одного (единственного) наблюдателя: это младший брат Андрей Михайлович.

Андрей Михайлович писал свои мемуары на склоне дней. Он был архитектором и, возможно, это сказалось на его стиле. Добросовестной обстоятельности его ретроспекций не вредит отсутствие литературного блеска, который, восполняя пробелы памяти, способен порой увлечь этот деликатный жанр в область чистого вдохновения.

Как любил выражаться его старший брат, Андрей Михайлович предпочитает «оставаться при факте». И правильно делает, ибо в противном случае он уподобился бы романистам, щедро тратящим

свое дарование на *художественное* воспроизведение тех подробностей, которые у него, Андрея Михайловича, присутствуют, так сказать, в своём девственном виде.

Несуетный воспоминатель тщательно воссоздаёт расположение комнат в более чем скромной казённой квартире штаб-лекаря (квартире в подобных случаях и надлежит быть скромной; заметим, однако, что, несмотря на успешное продвижение Михаила Андреевича по службе и постоянно растущие размеры семейства, жилищные условия не улучшаются); он помнит цвет стен и обивку мебели; он скрупулёзен во всём, что касается внешней обстановки, реалий и хронологии. Круг чтения старших детей, их учёба, семейные радости и семейные горести — ничто не ускользает от его ясного и доброжелательного взора.

Но повторим вопрос: что же Федя?

Приходится с огорчением признать, что душевная жизнь отрока, да, пожалуй, и юноши — до 17–18 лет, когда появляются письма (детской эпистолярией, как лишённой всяких индивидуальных признаков, можно в данном случае пренебречь), — эта жизнь остаётся для нас совершенно непроницаемой.

Существующие пробелы лишь поощрят воображение позднейших писателей. Так, Ч. Б. со свойственным ему лиризмом повествует о том, как некоторые детские впечатления впервые пробудили в подростке «мечтания о подвиге “во имя женщины”... а чуть позднее и ночные, уже не детские, но ещё не взрослые, пугающие и радующие мальчика, первые укусы страстей начинающего сознавать себя, мужающего тела».

О «страстях тела» компетентно говорят и другие осведомлённые наблюдатели. В сравнении с ними Андрей Михайлович выглядит слабовато: он не сообщает таких интересных подробностей. Правда, и по его мысли старший брат должен предстать живым, горячим ребёнком, который вдобавок «довольно резок на слова». Но где они, примеры этой неординарности, где поступки, обличающие характер и заставляющие распознать если не «признаки гениальности» (оставим её в покое), то хотя бы черты сильной и незаурядной натуры?

«Эй, Федя, уймись, — доносится до нас предостерегающий голос отца, — ...быть тебе под красной шапкой!» — и пророческое видение гаснет, почти не задерживаясь в памяти, ибо кто же в детстве не был не только мил, но и резов и кому не делались очень похожие увещевания?

А вот сцена, словно нарочно предназначенная для школьных хрестоматий. Юный Федя спешит на выручку бедной крестьянке («Она

на барском поле жала») и доставляет ей жбан воды, дабы она смогла напоить плачущее дитя («и младенчик, — удовлетворённо домысливает Чувствительный Биограф, — напившись, перестал орать, уснул, так трогательно раскинув ручонки»). Со своей стороны, простодушный Андрей Михайлович не усматривает в происшествии каких-то особых знамений: он лишь кратко сообщает, что крестьяне очень любили их, барских детей, особенно Федю. Но вспомним, что невзыскательные деревенские жители весьма тепло относились и к маленькому Илье Ильичу Обломову, хотя он вряд ли был способен на подобные подвиги.

Чтобы торжественно аттестовать героя, фактов, действительно, маловато. И уж совсем неведомо (Андрей Михайлович, в отличие от будущих литературоведов, не оставляет на сей счёт никаких указаний), посещают ли Федю вольнолюбивые сны и что он думает относительно общего блага.

Впрочем, Андрея Михайловича можно извинить. Он на несколько лет моложе старших братьев, а в столь нежном возрасте подобная разница весьма ощутима. Михаил и Фёдор почти неразлучны, у них своя компания, свой комплот, они составляют свою, обособленную от прочих братьев и сестёр, ячейку внутри семьи. У них общие для них двоих интересы, общие секреты — и в эту отвоёванную у взрослых область не допускается третий.

Остаётся только гадать, что мог бы поведать о брате не переживший его Михаил Михайлович.

Однако не будем ломиться во внутренний мир ребёнка (особенно — такого ребёнка): всегда есть опасность привнести в него наш собственный застарелый опыт.

Ограничимся взглядом извне.

Вот круг первый: маленькая полутёмная детская; топка печей зимой; раскрытые окна летом; сыновняя почтительность, с помощью ветки обороняющая от мух соснувшего отца; общие трапезы в одно и то же время; зубрежка латинских вокабул; умеренность расходов и удовольствий. К последним, безусловно, относится посещение балаганов и — в меньшей степени — чинные, под попечительным родительским оком прогулки в Марьиной роще: они носят скорее ритуальный характер. Зато можно всласть набегаться в обширном больничном саду, нарушая при этом строжайший запрет не общаться с больными (то есть с теми, в коих, если верить августейшей основательнице больницы, «соединено убожество с изнеможением и невинностью») — запрет, преследующий более социальные, нежели гигиенические цели. (Заметим, что, согласно уставу больницы, в неё не принимались больные «прилипчивыми болезнями», беременные женщины и «неизлечимоувечные», «поелику для сих немощных установлены особые учреждения»[1].)

Круг второй, тесно связанный с первым и в то же время разительно на него не похожий. Это — «прекрасное и высокое», всё, что обретается в области духа и заставляет сердце замирать от сладких и неясных предчувствий.

Закон Божий — «нулевой цикл», ликбез, с которого начинается образование ребёнка; единственная наука, общая для детей всех сословий и состояний. Библейские предания — школьная азбука XIX столетия. Но из всех историй Ветхого завета более всего поразит воображение Иов — книга великого страдания и великой скорби.

Если добавить к этому запойное чтение уже упомянутого Карамзина, повествования о русских древностях Лажечникова и Загоскина, а также скупую пушкинскую прозу, можно заключить, что мальчик воспитывался на порядочной литературе.

Но кто этот бледный юноша, поспешающий по Божедомке и направляющийся, судя по всему, к воротам женского Александровского института? Уж не влюблён ли он?

«Что ваше сердце?.. — вопрошает писатель Лажечников начинающего литератора Виссариона Белинского. — Летает ли в Божий дом?»[2]

Намёк, разумеется, внятен адресату. В 1834 г. его сердце регулярно «летает» туда, в Александровский институт: там исправляет должность классной дамы Марья Васильевна Орлова. Много воды утечёт, прежде чем — уже в Петербурге — совершится наконец законный брак...

Ах, как заманчиво вообразить 23-летнего Белинского, меряющего шагами аллеи Марьиной рощи! Кого задевали складки его плаща? Скользил ли его отрешённый взгляд по лицу 13-летнего отрока, чьё сочинение так изумит его спустя десятилетие? Угадывал ли Достоевский свою судьбу? Да и встречались ли они вообще — неузнанные друг другом?

Не будем гадать. Главное, что в оркестре уже возникла эта скромная тема: ещё нескоро сделается она ведущей...

Заметим: всё это происходит в Москве.

---

[1] Историческая записка о Московской Мариинской больнице для бедных. С. 5.

[2] В.Г. Белинский и его корреспонденты. М., 1948. С. 174.

Московский писатель

Разумеется, Достоевский — по своим топографическим предпочтениям — петербургский писатель, беспощадный изобразитель «самого отвлечённого и умышленного» города на земле. Однако не следует забывать, что по рождению он москвич и что первые 15 лет его жизни протекли на стогнах древней столицы. Его детство неотторжимо от города, едва пришедшего в себя после недавнего нашествия иноплемённых, опалённого адским пламенем очищения и мести. Города, который всей своей сутью связан с глубинами национальной истории.

И если мы согласимся с тем, что детство есть не только «ковш душевной глуби», как проницательно заметил поэт, но, может быть, как раз в силу этого, ещё и основополагающая духовная «матрица», — тогда не следует отвергать гипотезу, что автор «Братьев Карамазовых» писатель сверх всего и московский.

Характер человека, склад его личности и нередко главные его ценности и приоритеты формируются очень часто до 16 лет. Покинув Москву на пороге этого возраста, Достоевский оставил в ней свои лучшие воспоминания: первые впечатления бытия, жизнь в кругу семьи, посещение кремлёвских соборов и т. д. Здесь, в Москве (или в её окрестностях), совершились те первые драмы, следы которых можно обнаружить в его открытой голосу детства прозе.

Весь круг представлений, «выжитых» Достоевским (и прежде всего то, что он именовал «русской идеей» или «русским решением вопроса»), в гораздо большей степени связан с Москвой, нежели с Петербургом. Не случайно свое обращённое к России прощальное слово он произносит во время торжеств в честь своего великого земляка: в городе, который стал родиной их обоих и который, пожалуй, не являл больше гениев, равных им по духовной мощи. (Не в укор Петербургу, но из его болотных туманов не возник в XIX в. ни один великий поэт или романист; в следующем веке, разумеется, несколько иная картина.)

Достоевский родился и вырос в Московской больнице для бедных — и, образно выражаясь, остался в этой больнице навсегда. Мы имеем в виду не только терапевтический характер его творений. В названии его первого романа — об этом мы говорили и повторим ещё раз — различим не один лишь любезный русскому интеллигентскому слуху социальный акцент. «Бедные *люди*» — это словно бы вздох мировой скорби: вздох по всему роду человеческому, а не только горевание об отсутствии вещественных благ. Бедный человек — то есть несчастный, несовершенный, далёкий от идеала. Это почти

божественная печаль о слабом и одиноком человеческом существе и вместе с тем его горестная самооценка.

И, наконец, круг третий.

«Волк бежит!»

В формулярном списке Михаила Андреевича, помеченном 1828 г., четыре графы, долженствующие содержать сведения о родовом или благоприобретённом имуществе, остались незаполненными. Это соответствовало истинному положению дел: бывший семинарист всё ещё пребывал за пределами землевладельческого сословия. Но обретённые пятнадцатилетней службой чин коллежского асессора и Анна третьей степени знаменовали желанный поворот в его судьбе. Его общественное положение упрочивалось. Вместе со своими потомками он вступал в ряды благородного российского дворянства. И, следовательно, получал право владеть землёй и иметь крепостных.

Этой возможностью Достоевские не преминули воспользоваться.

В Каширском уезде Тульской губернии, в 150 километрах от Москвы, недалеко от города Зарайска, летом 1831 г. приобретается именьице — 11 крестьянских дворов, составляющих часть деревни Даровое; 76 душ мужского и женского пола. (Даровое, вопреки своему названию, обошлось в 29 тысяч рублей ассигнациями; почти десять годовых окладов жалованья[1].) Через год прикупается Чермошна (Чермашня — аукнется в его последнем романе: туда уезжает брат Иван, чтобы попустить совершиться отцеубийству) — 8 дворов и 67 крепостных душ. Всей земли, из коей немалая часть пустоши, — не более 500 десятин.

Шаг, призванный обеспечить материальное благополучие семьи, едва ли не повёл к разорению и стоил жизни владельцу.

(А ведь были, были дурные предвестия! Папенька, впервые за долгие годы рискнувший оставить семейство и отправиться для осмотра имения (в молодости, помнится, он был куда как лёгок на подъём!), забывает подорожную; неожиданное его возвращение повергает в ужас домашних. Подорожная нашлась: но мы-то знаем, *чем* кончится эта дорога...)

---

[1] Согласно существовавшему тогда положению, больничный лекарь через каждые пять лет получал прибавку, равную 1/5 жалованья, так что через 20 лет службы оклад удваивался. Не забудем и о частной практике. Кроме того, в приобретении имения, возможно, помогли и Куманины: это тем вероятнее, что покупка была оформлена на имя Марии Фёдоровны.

Тютчевское «Эти бедные селенья...» имеет как бы прямое касательство к вновь обретённым владениям Достоевских. Причём — не только к крестьянским жилищам, но, пожалуй, и к самой барской усадьбе, если только таковой можно именовать «маленький, плетнёвый, связанный глиною на манер южных построек флигелёк из трёх небольших комнаток», о котором не без нежности повествует Андрей Михайлович. Доходы, получаемые с мужиков, не превышали расходов по ведению хозяйства, оказавшегося в не столь искусных помещичьих руках.

Весной 1832 г. «вотчина» сгорает: десятилетний Федя хорошо запомнит событие. Не этот ли ущерб, смягчённый впоследствии благодарной памятью сердца (поступок няни Алёны Фроловны, предложившей господам свои сбережения, вырастает почти до национального символа!), не это ли дуновение рока явилось ранним предупреждением о ждущих его впереди вещественных потерях и катастрофах?

Но как бы то ни было, приобретение Дарового, помимо благополучного *заземления* тянущейся от древнего Достоева цепи, имело одну неоспоримую выгоду. Дети получили возможность проводить летние месяцы в деревне.

Летнее пребывание в Даровом даровало (здесь тавтология не кажется неуместной) ещё и другие преимущества. Мальчики впервые оказались на воле. Отец приезжал редко, а мать, судя по всему, не очень ужесточала домашний режим. По сравнению с размеренной, до мелочей регламентированной жизнью на Божедомке деревня должна была представляться царством чистой свободы. И свобода эта осуществлялась в крайних, хотя и невинных формах.

Едва ли Федя Достоевский мог быть знаком с сочинениями Жан-Жака Руссо (а положительнее говоря — никак не мог). И всё же его деревенские забавы находятся в известной связи с мечтаниями этого славного философа — о естественном, резвящемся на лоне природы хорошем человеке.

В 1835 г., пока будущий автор Пушкинской речи предаётся своим ребячьим проказам, Пушкин пишет стихотворение «Не дай мне Бог сойти с ума...»:

Когда б оставили меня
На воле, как бы резво я
Пустился в тёмный лес!
Я пел бы в пламенном бреду,
Я забывался бы в чаду

Нестройных, чудных грез.

Это воображаемая — и даже в воображении обречённая на неуспех!— попытка вырваться на волю (если уж не в «обитель дальнюю», то хотя бы *так*), вернуться к первородному «докультурному» состоянию. Разумеется, Пушкин читал философов французского Просвещения. Да если б и не читал, его тоска по цельному, не обременённому грузом социальных условностей и привычек человеку (хотя бы и добывшему свободу ценой безумия) имеет мало общего с воинственным пылом играющих в «диких» помещичьих детей. Тайное сродство всё же можно уловить: «игровое» воспоминание о детстве человечества и детская игра, как бы воплощающая это воспоминание «на практике».

«Безумие» — в эстетическом плане — оказывается выше рассудочности.

Но если всё-таки руссоистский оттенок летних игрищ в Даровом подлежит серьёзному сомнению, вряд ли оно уместно в отношении других литературных источников, которые, несомненно, были в поле зрения любознательного подростка.

За несколько месяцев до смерти, отвечая на вопрос одного из своих корреспондентов, что бы он порекомендовал для чтения его подрастающей дочери, Достоевский сошлётся на собственный опыт. Он говорит, что, будучи двенадцатилетним мальчиком, в деревне, «прочёл всего Вальтер-Скотта». Он полагает, что именно этот писатель развил в нём «фантазию и впечатлительность», которые были направлены им, читателем, в хорошую, а отнюдь не в дурную сторону.

«Фантазию и впечатлительность» развивал, очевидно, не только Вальтер Скотт. Ибо раздевание донага, расписывание тела красками «на манер татуировки» и т. д. и т. п. — всё это предполагает основательное знакомство с Фенимором Купером и Даниэлем Дефо.

«Конечно, брат Фёдор, как выдумавший эту игру, был всегда главным предводителем племён», — заключает Андрей Михайлович, и это едва ли не единственный случай, когда мы наблюдаем брата Фёдора в качестве *заводилы*.

Другая проделка — имитация крестного хода (повлекшая справедливый гнев маменьки) свидетельствует не столько о наследственных склонностях внуков деда-священника, сколько о том же стремлении ориентироваться на известные (в культурологическом плане — прямо противоположные предыдущим) образцы. Причём — коль без этого не обойтись — и здесь, и там можно усмотреть момент карнавализации.

Две стихии формируют душу: впечатления жизни действительной и те, которые воображение черпает от другого воображения, превращая чужое в своё. Границы между «жизнью» и «литературой» становятся всё неощутимей: блаженный возраст, когда гордые герои Вальтера Скотта — такая же *собственность*, как и пашущий в чистом поле мужик Марей...

Редкий из биографов Достоевского откажет читателю в удовольствии лишний раз выслушать эту трогательную историю. Примеры лингвистической наивности хрестоматийного мужика, приводимые Андреем Михайловичем, ничуть не умаляют этот величественный образ. Тем паче что он обычно трактуется в плане философическом. Последуем этой доброй традиции.

Крепостной крестьянин, касающийся своими заскорузлыми пальцами «вспрыгивавших» губ ребёнка, конечно, мало напоминает шестикрылого серафима, который производит известную операцию с *грешным языком*. Однако сам этот жест — прикосновение запачканных в *земле* рук к органу речи — тоже может быть истолкован в высоком символическом смысле.

«— Ну, я пойду, — сказал я, вопросительно и робко смотря на него.

— Ну и ступай, а я те вслед посмотрю. Уж я тебя волку не дам! — прибавил он, всё так же материнski мне улыбаясь...»

Его избавитель смотрит ему вслед — и этот охраняющий его взгляд он хотел бы чувствовать на себе всю жизнь. Впрочем, кому в детстве не мерещились волки — и справедливо ли упрекать мужика Марея, что позднее он не мог уберечь рассказчика от наваждений совсем иного порядка?[1]

Но от наваждений не уберегlись и биографы. Собственно, уже в первом по времени жизнеописании Достоевского (1883), составленном О.Ф. Миллером и Н.Н. Страховым, наличествуют все элементы той биографической схемы, которая надолго утвердится в литературе. Незыблема периодизация, несменяемы персонажи, неизменны выражения лиц. Между тем любой биографический сюжет можно «размотать» вглубь. И это порой существенно меняет общую картину.

Тот же мужик Марей, который в «официальной» биографии занимает традиционно почётное место, выступая как своего рода Фрол Силин — добродетельный селянин, в черновых записях самого Достоевского далеко не столь благостен. Вот «прорывается в нём татарин», и он — задолго до сна Раскольникова — начинает «хлестать свою завязшую в грязи с возом кормилицу кнутом по глазам». Это — тоже впечатление того самого детства, на которое мы взираем умиротворённым взором Андрея Михайловича...

[1] Кстати: когда произошла эта судьбоносная *встреча*? Достоевский говорит, что ему в то время было 9 лет. Но первое лето, проведённое семьёй в деревне, приходится на 1832 г. Следовательно, возраст напуганного «волком» ребёнка — никак не менее 10 лет.

Задумчивый Некто, одной рукой гладящий голову испуганного ребёнка, а другой — хлещущий по глазам бессловесную «животинку» — не символ ли это России, её судьбы? Достоевский указывает черту, которая (с зеркальной по отношению к «мужику Марею» расстановкой спасённых и жертв) запечатлена еще Пушкиным — в «Дубровском». Сожжение заживо запертых в доме судейских и вызволение кошки, гибнущей в огне, — эти подвиги совершает один и тот же герой.

Добро и зло, святость и грех слились в одном существе. Чем не повод поговорить о загадках русской души? И кто же тогда в рабском виде исходил эту бедную землю: Царь ли Небесный или тот, другой, чьим именем да не оскверним уста?

Нет, как ни толкуйте, а есть всё-таки разница между ребёнком гениальным и ребёнком обыкновенным — скажем это, рискуя навлечь на себя гнев уравнительной педагогики. Гениальный ребёнок, в отличие от вундеркинда, тешащего родительскую гордость ранними успехами, всё больше помалкивает. Он лишь чувствует, видит и запоминает не так, как все.

Там, где у Андрея Михайловича — ребячий рай, игра «в диких», рыбалка, походы в лес за грибами, там у его старшего брата — иссечённая крестьянская лошадь и бьющий её по глазам добрый мужик Марей...

«Телёнок, которого зарезали...» — это тоже воспоминание детства.

Плачет маленький телёнок
Под кинжалом мясника...

Руссоистская, пейзанская идиллия оборачивается для него тем, о чём век спустя будет сказано: «природы вековечная давильня» — и что ранее не вызывало у него, городского мальчика, особых раздумий.

Над садом
шёл смутный шорох тысячи смертей.
Природа, обернувшаяся адом,
свои дела вершила без затей.

С детством связаны не только очищающие и возвышающие душу картины. Там, в детстве, зияет нечто такое, о чём Достоевский «впря-

мую» не обмолвится никогда. Но это окажет могущественное влияние на всю его творческую судьбу: как бумеранг, вновь и вновь будет возвращаться к нему эта тема.

В итоге зловещая тень падёт на него самого. Страхов, Толстой, Тургенев, Григорович и множество других достойных и уважаемых лиц будут осведомлены (с той или иной степенью вероятия) об ужасном поступке, которым якобы «похвалялся» защитник униженных и оскорблённых. Стыдливо ликующая молва обвинит его в растлении малолетней. Деяние Николая Ставрогина, остававшееся для широкой публики неизвестным (этот эпизод Достоевского вынудят исключить из «Бесов»), будет вменено автору.

Русским писателям не привыкать к оговорам. Но подобной мерзости, кажется, не удостаивался ещё никто из них.

Была ли девочка?

...Если нашему повествованию суждено продлиться, мы ещё остановимся на этом сюжете. На том, как нелепый слух, выпорхнувший из петербургских гостиных, сделался со временем поистине *мировой сплетней*. Как попал он в анналы и оброс примечаниями[1]. Но всё это начнётся в семидесятые годы. Мы же пока не выбрались из тридцатых.

И потому в ответ на привычный вопрос: «А была ли девочка?» — остаётся лишь скорбно наклонить голову.

Девочка *была*: о ней, по свидетельству З.А. Трубецкой, поведал однажды сам автор «Преступления и наказания».

З.А. Трубецкая — внучка Анны Павловны Философовой, чьё «умное сердце» высоко чтил Достоевский. Женщина независимых мнений, подвижница и филантропка, Анна Павловна собирала у себя избранный круг. В свои последние годы Достоевский любил бывать в её доме. Именно здесь сын Философовой (родной дядя З.А. Трубецкой) услышал поразивший его рассказ.

Девятилетнюю девочку, «дочь кучера или повара», подругу детских лет рассказчика, изнасиловал какой-то пьяный негодяй, и она, истекая кровью, умерла на руках Достоевского-старшего. Детское потрясение обернётся взрослым кошмаром, — как выяснится, неотвязным.

(Чувствительный Биограф тоже не игнорирует тему. Одобрительно отмечает он дружбу скрытно тяготеющего к социальным низам

[1] Убедительное опровержение этого биографического мифа см.: *Захаров В.Н.* Проблемы изучения Достоевского. Петрозаводск, 1978, гл. «Факты против легенды» (С. 75–109) и др.

ребёнка с представительницей утеснённых сословий. «Впрочем, только ли дружба?» — интригующе вопрошает Ч. Б. (предпочтительнее, конечно, «детская влюблённость»). И, по обыкновению, лепит образ: «Хрупкая, словно светящаяся изнутри, она дарила ему счастье открывания красоты в её скромных, неброских проявлениях...» (О целомудренный слог Ч. Б.!) «Попробуй, какие клейкие листочки!» — восклицает героиня. Наконец-то мы знаем, откуда в «Карамазовых» взялся этот мотив.)

«...Самое ужасное преступление... самый страшный грех...», — скажет Достоевский гостям Философовой. «Если соблазните единого от малых сих» — по памяти цитирует Ставрогин. Дополним цитату: «...И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает, а кто соблазнит одного от малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской» (Матф., XVIII, 5–6). Тем, на ком лежит каинова печать такого злодейства, остаётся лишь истребить себя.

Но, несмотря на уверения позднейших знатоков, что *«дитя, созревшее для смерти, не могло не созреть для любви»*[1], истребляет себя и жертва: так множится зло.

Слова, процитированные в предыдущем абзаце, взяты нами из книжки, вышедшей в 1922 г. Тогда, при вскрытии ящика с рукописями Достоевского в Центрархиве, была обнаружена так называемая «Исповедь Ставрогина» (глава «У Тихона»). Обнародование «Исповеди» произвело, если верить автору книжки, чрезвычайное воздействие на привыкших ко всяческим ужасам москвичей.

Литературовед Н.Л. Бродский сделал доклад о новонайденной рукописи; актёр Художественного театра Л.М. Леонидов постарался донести текст. Автор книжки (он же — очевидец) изображает дело так:

«Жутью насыщено всё вступительное слово докладчика — истерический, из шкуры вылезающий кошмар.

Жутью веет от заметно настраивающегося ему в тон лица Леонидова.

Жутью прониклась и вся аудитория...»

В результате после «исполнения» текста в Доме печати «подавленная впечатлениями публика единогласно отказалась от “диспута” и прений».

[1] *Александро́вич Ю.* Матрёшкина проблема. Исповедь Ставрогина Ф.М. Достоевского и проблема женской души. М., 1922. С. 31.

Ю. Александрович от «диспута» не отказался.

Автор «Матрёшкиной проблемы» (довольно влиятельный в своё время историк литературы и критик) расценивает «Исповедь Ставрогина» как слегка законспирированную оду к радости — гимн желанию, «идущему навстречу другому желанию». «Мы не знаем, — с чувством восклицает учёный, — зачем пошла она (Матрёша. — *И. В.*) в тёмный чулан, — плакать или доступными ей средствами утолить возникшую жгучую похоть».

И впрямь, загадка остаётся неразрешённой. Зато нам не забывают сообщить, что Достоевский — «специалист по садизму, и нравственному, и половому, и умственному. По извращению».

(Представляем, как взвился бы Ч. Б.: в его палитре присутствуют исключительно светлые краски. Но отчего-то не хочется присоединяться ни к одной из сторон. Чудится какая-то меж ними стачка, какая-то близость душ...)

В гостиных, как известно, говорят о погоде. Что до нас, мы бы вообще предпочли не касаться интимных сторон жизни — не только художника, но и его героев. И вовсе не по несвойственному нам пуританству, а потому, что любые изыскания в этой области неубедительны и малопродуктивны. Веет как хочет не только дух... Но дело в том, что в литературном море, бушующем вокруг нашего героя, особенно высока волна этого специфического интереса — волна, которая захлёстывает даже опытных пловцов, и — с шипением разбивается о дамбы, как бы намеренно воздвигнутые для того, чтобы привлечь ещё большее внимание к изгоняемой «стихии». О мировая пошлость, кто, как не ты, соединяешь волну и камень в их дружественном противоборстве!..

Итак, «стихия прорвалась и буйствует»[1]. Оставим в покое Матрёшу: какая уж там стихия... Но и мотивы Ставрогина не имеют ничего общего с теми, которые ему великодушно приписывают. Ибо его «поступок с отроковицей» — такое же *теоретическое* преступление, как и убиение Раскольниковым старухи-процентщицы. Оба эти *убийства* однотипны. И для Родиона Романовича, и для Николая Всеволодовича главное — «преступить черту».

Казалось бы, невероятно, но в «Исповеди» нет ни одной *чувственной* детали! «Белобрысая и весноватая» Матрёша не вызывает у профессионального сладострастника Ставрогина ни малейших эмоций.

[1] *Кашина-Евреинова А.* Подполье гения (Сексуальные источники творчества Достоевского). Пг., 1923. С. 50.

Его действия продиктованы отнюдь не всепоглощающей страстью (он ничуть не похож на набоковского Гумберта Гумберта («Лолита») — как бы нас ни пытались в этом уверить), а холодным и дерзким расчётом. «Не подлость я любил (тут рассудок мой бывал совершенно цел), — признаётся Ставрогин, — но упоение мне нравилось от мучительного сознания низости».

«...Но тут, — сказано в черновиках к «Бесам», — я вдруг спросил себя: могу ли остановиться, и тотчас ответил, что могу». «Эта фраза, — комментирует Ю. Александро́вич, — зачеркнута, из чего ясно желание автора показать, что остановиться Ставрогин *не мог*[1]». Да, фраза снята, но в окончательном тексте осталось: «Я убеждён, что мог бы прожить целую жизнь, как монах, несмотря на звериное сладострастье... Я всегда господин себе, когда захочу».

Ставрогин не останавливается потому, что проводит *моральный эксперимент*. «Стихия» здесь ни при чём. Это вожделение более страшного свойства: искушение духа, а не плоти.

Пьяный насильник-зверь — призрак далёкого детства — обращается в насильника «чистого» и духовно утончённого. «Звериное», *очеловеченное* таким манером, делается ещё «зверинее»: примеры известны...

История, поведанная З.А. Трубецкой (и лишь сравнительно недавно обнародованная), приоткрывает бездну: первую, куда заглянул наш герой. Сделать это было тем страшнее, что возраст наблюдателя не превышал, очевидно, возраста жертвы.

Впрочем, вопрос о дате не обсуждался. Отважимся её назвать: 7 июня 1831 года.

Следует привести аргументы.

Если сравнить «видение» Свидригайлова (девочка в гробу) и два описания в «Бесах» — того, как Ставрогин совершил своё преступление и как повесилась оскорблённая им жертва, то можно убедиться, что во всех трёх случаях изображён *один и тот же день*.

Сравним детали:

«Преступление и наказание»	*«Бесы»*
день «светлый»	«солнце ужасно ярко светило»
«тёплый, почти жаркий»	«Воздух был тёпл, было даже жарко».
«окна были отворены»	«Все окна были отворены». «Окна были отперты».

[1] *Александро́вич Ю.* Указ. соч. С. 16.

И даже обилие цветов в сне Свидригайлова рифмуется с «на окнах стояло много гераней» в «Исповеди Ставрогина».

Случайны ли эти совпадения? Или все три картины имеют в своей основе один источник, один зрительный и психологический образ?

«Всё произошло в июне», — говорит Ставрогин. В «Преступлении и наказании» сказано: «праздничный день. Троицын день».

Достоевский был очень внимателен к датам.

Троицын день (50-й после Пасхи) празднуется как в мае, так и в июне. В 1821–1831 годах Троицын день приходится на июнь в 1823-м (Феде — 1 год), 1826-м (4 года), 1829-м (7 лет) и, наконец, 1831-м (9 лет), 7 и 9 лет — возраст наиболее «подходящий». Но 2 июня 1829 года — дата менее вероятная: судя по рассказу Достоевского, вряд ли девочка была старше его. Скорее они ровесники: в 1831 году обоим по девять лет. Конечно, нельзя полностью исключить и более поздний срок (скажем, 10 июня 1834 г.). Однако начиная с 1832 года семья, как правило, проводит лето в деревне.

Но резонно задать вопрос: почему именно летом и именно в Троицын день? Событие могло совершиться когда угодно, а указание на летний месяц в обоих романах — непредумышленно и случайно.

Повторяем: Достоевский был внимателен к датам. А также — к реалиям. Свои детские впечатления он, как правило, передаёт очень точно.

Кроме того, имеется ряд косвенных доказательств.

Откуда в чинном больничном саду вдруг оказались пьяные? Почему за врачом посылают именно Федю?

В Троицын день подгулявший преступник сумел бы без особых трудностей проникнуть за госпитальную ограду. (Им, кстати, мог оказаться и кто-то из «своих» — например, больничный служитель и даже — сколь это ни печально, — решивший *отдохнуть* пациент.) По той же причине (лето! воскресенье! праздник!) отсутствовали и многие врачи. И появление в саду маленького Феди как бы давало знать, что семья доктора Достоевского на месте. Мальчик посылается за отцом.

И ещё одно обстоятельство, которое в сопоставлении с данным эпизодом обретает совершенно особый смысл.

«Феодор Михайлович, — говорит Анна Григорьевна, — чувствовал себя истинно несчастным, когда в праздники вечером встречал на улице много пьяных». Конечно, подобная реакция зависит от разных причин. Но не было ли среди них одной, о которой сдержанная мемуаристка предпочитает умалчивать?

Давно отмечена повторяемость у Достоевского схожих сюжетов и лиц. Нередко в их основе — сильное первоначальное впечатление.

В воображении растлителя (Свидригайлова) возникает усыпанный цветами гроб, в котором покоится девочка с распущенными светлыми волосами. «...Венок из роз обвивал её голову», — говорит автор. «В белом венчике из роз», — если перефразировать Достоевского строкою Блока. Сближение не из самых удачных. Вспомним, однако, бред занемогшей Матрёши — «Бога убила». Вспомним цитату, пришедшую на память Ставрогину. По слову того же Евангелия от Матфея (XII, 31–32), ни в сем веке, ни в будущем не прощается лишь один грех — хула на Духа Святого. И не потому ли в салоне Анны Павловны Философовой как вина, которой нет искупления, называется именно эта — попрание и осквернение духа?

Желая (или стараясь себя уверить, что желает) искупить прошлое, Ставрогин приходит к старцу. У одного русского писателя есть книга, где другой великий грешник, жено- и детоубийца, тоже приходит к святому схимнику и просит молиться о нём. Схимник отказывает просителю.

Это — «Страшная месть» Гоголя. Известно, что названная повесть сильно повлияла на раннего Достоевского: следы этого воздействия легко различимы в «Хозяйке».

Но — «Бесы»?

В «Страшной мести» главному герою приданы черты антихриста. Гоголевский колдун — «чистое», беспримесное воплощение зла. Со Ставрогиным дело обстоит сложнее. И тем не менее не только сумма им содеянного, но и особый характер деяний позволяют предположить возможность такого сближения.

Ставрогин — от греческого «ставрос», «крест». Он несёт его на свою Голгофу, ибо у антихриста она тоже есть: не жертва за других, но — самоказнь.

И тут — ещё одно совпадение, исполненное глубочайшего смысла.

И у Гоголя, и у Достоевского зло не в состоянии перенести только одной вещи — явной или тайной над собою насмешки.

Конь, на котором пытается спастись колдун, вдруг поворачивает морду и смеётся во тьме двумя рядами белых зубов («лицо коня»!): «Дыбом поднялись волоса на голове колдуна».

У героев Достоевского волосы тоже поднимаются дыбом.

«Бешенство одолело его: изо всей силы начал он бить старуху по голове, но с каждым ударом топора смех и шёпот из спальни раздавались всё сильнее и слышнее, а старушонка так вся и колыхалась от хохота. Он бросился бежать...»

Раскольников бросился бежать — ничего иного не остаётся, ибо это — приговор. Поступки Свидригайлова, Ставрогина, Раскольникова не только ужасны: где-то в своей онтологической глубине они ещё и *смешны*. «Преступившие черту» готовы выдержать многое, но это (и только *это*!) для них — непереносимо.

«И сатана, привстав, с веселием на лике...» Злодеи по-сатанински хохочут над миром, но кто-то — «в другой комнате» — смеётся над ними самими — *невидимым миру* смехом.

Свидригайлову снится «кошмар во всю ночь»: он подбирает промокшего, голодного ребёнка, и ребёнок этот засыпает у него в комнате. Однако сновидец уже не может совершать добрые поступки — даже во сне! И сон демонстрирует ему эту невозможность с убийственной силой. Ресницы спящей блаженным сном девочки «как бы приподнимаются и из-под них выглядывает лукавый, острый, какой-то недетски подмигивающий глазок... Но вот уже она совсем перестала сдерживаться; это уже смех, и явный смех... «А, проклятая! — вскричал в ужасе Свидригайлов...»

Этот ужас — едва ли не мистического свойства. Смех, исходящий из самых глубин несмешного, — неестественный, безобразный, развратный смех пятилетнего ребёнка (словно нечистая сила глумится над нечистой силой!), — этот смех иррационален и грозит «страшной местью».

Добро, если б над Свидригайловым смеялась покойница. Мёртвые старухи, смеющиеся над Германном («Пиковая дама») и Раскольниковым, «действуют» по-своему логично — даже в пугающем алогизме сна. Девочка, смеющаяся над Свидригайловым, и конь, смеющийся над колдуном, — оборотни. Их смех ничем «не оправдан», он свидетельствует об обречённости сознания стихии подсознательного, о торжестве «сюра», когда предметам присваиваются несвойственные им функции и качества. Так в «Мастере и Маргарите» Булгакова нас не очень-то пугают проделки «штатных» служителей Сатаны, но мы вместе с Римским невольно вздрагиваем, заметив, что *обычный* театральный администратор не отбрасывает тени.

Видение Свидригайлова «страшнее» сна Раскольникова, ибо его искупительная жертва не принимается, как не принимается и покаяние Ставрогина.

...Колдуну в «Страшной мести» мерещится, что все вокруг «смеются над ним», — и он убивает насмешников. «Отец, ты смеёшься надо мною!» — говорит он святому схимнику — и старца постигает та же участь.

(Буквы в книге, которую читает схимник (разумеется, Библии) наливаются кровью. Вспомним: «...ни в сем веке, ни в будущем...»)

...Дочитав исповедь Ставрогина, Тихон робко замечает:

«— А нельзя ли в документе сем сделать иные исправления?

— Зачем? Я писал искренно, — ответил Ставрогин.

— Немного бы в слоге».

Слог — это человек, и слог выдает человека. Когда Тихон осторожно намекает Ставрогину, что тот не выдержит замысленного им подвига (обнародования исповеди), Ставрогин вначале не понимает:

«— Что не выдержу? Не вынесу со смирением их ненависти?..

— Не одной лишь ненависти.

— Чего же ещё?

— Их смеху, — как бы через силу и полушёпотом вырвалось у Тихона».

И когда исповедующийся вопрошает старца, есть ли в его, Ставрогина, грехе нечто такое, что могло бы развеселить исповедника, Тихон отвечает словами, немыслимыми для духовного лица, тем более — его ранга и положения: «Кто знает, может и есть? О, может и есть!»

Что же смешного содержит в себе исповедь Ставрогина? Надругательство над малолетней — не самый весёлый сюжет. Но старец указывает Ставрогину уязвимейшее место его псевдопокаяния — антиэстетизм поступка. «Убьёт некрасивость, — прошептал Тихон, опуская глаза».

Тихон «опускает глаза» как бы от имени мира, не только ужасающегося преступлению, но и сознающего всю ничтожность преступника, весь его скрытый комизм.

В «Страшной мести» колдун в конце концов умирает от настигшего его смеха жертвы.

В отличие от колдуна, Ставрогин не убивает «своего» схимника, хотя при других обстоятельствах он, кажется, был бы не прочь это сделать. «Проклятый психолог! — оборвал он вдруг в бешенстве и, не оглядываясь, вышел из кельи».

«А, проклятая!» — восклицает в ужасе Свидригайлов. Раскольников — не в меньшем ужасе — бежит прочь. Все они понимают, что *открыты*, — и смех, раздающийся им вослед, и есть самое ужасное (и позорное) для них наказание.

Но жертвам от этого не легче.

Дух попран — и ни Варенька в «Бедных людях», ни Настасья Филипповна в «Идиоте», ни Грушенька в «Братьях Карамазовых» — никто из них не может простить своих соблазнителей и обидчиков.

При всём разнообразии женских характеров и судеб, явленных Достоевским, этот «исходный импульс» никогда не оборачивается счастливым финалом. «Американский» вариант у Достоевского не проходит: предполагаемый брак камелии с князем («Идиот») не состоится. Да и соединение Вареньки Добросёловой с господином Быковым не предвещает ей особой радости. У «девочек» Достоевского нет будущего: в лучшем случае — содержанка, в худшем — панель и смерть.

Девочка в гробу — не единственный мёртвый ребёнок у Достоевского. В «гробике» изображается маленький безымянный сосед Макара Девушкина, о смерти которого тот с горечью сообщает Вареньке. «В голубом, убранном белым рюшем гробе» лежит Илюшечка Снегирёв.

При этом обращает внимание одна деталь.

И в «Преступлении и наказании», где перед нами девочка-покойница «со сложенными и прижатыми на груди, *точно выточенными из мрамора руками*», и в «Братьях Карамазовых», где про Илюшечку сказано: «Особенно хороши были *руки*, сложенные накрест, *точно вырезанные из мрамора*», — и там и здесь опять дан один и тот же зрительный образ[1].

Присутствовал ли Достоевский на отпевании своей подруги (очевидно — в той самой церкви, где крестили его самого)? Но главное даже не в этом. Главное в том, что гибель девятилетней соседки — первая смерть, виденная им вблизи[2].

На его руках умрут многие из дорогих ему людей: мать, первая жена Мария Дмитриевна, брат Михаил Михайлович, трёхмесячная дочь Соня, малолетний сын Алёша. На его глазах будет кончаться каторжанин в острожной больнице. Он сам заглянет в лицо смерти (вернее, она — ему) — там, на Семёновском плацу. Но уход ровесницы — первое из доказательств, что этот мир не вечен.

Мёртвым мальчикам Достоевского *тоже* по девять лет. Он назначает покойникам собственный возраст: тот, в котором он пребывал тогда.

[1] Кстати, девочка в гробу из «Преступления и наказания» вовсе не походит на утопленницу, в чём, казалось бы, старается нас уверить автор. О её пребывании в воде свидетельствуют только её мокрые волосы. Между тем смерть от утопления, как и всякая смерть от асфиксии (недостатка воздуха) сопровождается приливом крови к голове. У утопленников и удавленников — искаженные черты, распухшие синие лица. «Строгий и уже окостенелый профиль её лица был тоже как бы выточен из мрамора», — говорит Достоевский.

[2] Если не считать прожившей всего несколько дней сестры Любочки (1828): смерть *незнакомого* младенца вряд ли была для Феди особенно приметной.

Для ребёнка, родившегося и выросшего в больнице, смерть — предмет совершенно обыденный, можно сказать — домашний. Морг и церковные отпевания входят в круг его интересов. Но то — «чужие» покойники, «они» — *другие*. Оказавшаяся в гробу сверстница, соседка, подруга — это совсем иное: легко вообразить себя на её месте.

Высокая тайна смерти сталкивается с другой, низкой — той, которую от него упорно скрывают. Но ведь мальчик живёт среди людей. Недомолвки родителей, пересуды прислуги, возможные откровения товарищей «из простых» — всё это не проходит даром. На «лике мира сего» проступают отвратительные черты...

Два человека, близко знавших Достоевского, не сговариваясь, утверждают, что первопричиной, «которая ведёт к нервным болезням, а следовательно, и к падучей», было «нечто страшное, незабываемое, мучащее», случившееся с ним в детстве. Некоторые исследователи считают, что эти глухие намёки имеют отношение к убийству отца. Но Михаил Андреевич погиб, когда его второму сыну было почти 18 лет, а С.Д. Яновский и А.С. Суворин определённо говорят: «в детстве». Летом 1832 года он уже подвержен галлюцинациям (вспомним «Волк бежит!»).

«...Отнять веру в красоту любви... страшное преступление», — так предварит Достоевский свой рассказ в салоне А.П. Философовой. Но не была ли отнята «вера» и у него самого? Не этим ли в конце концов объясняется тот факт, что, лишь достигнув возраста Христа, наш герой пережил первый в жизни любовный роман?

«Моё первое личное оскорбление...», — запишет он через много лет[1].

Конечно, в биографии Достоевского это только эпизод, как будто бы не имеющий прямого касательства к герою. Но — и одна из переломных точек духовной судьбы: не менее значимая, чем встреча с мужиком Мареем.

В десять лет он видел добро и зло.

Дважды к Мареевой улыбке прилагается один и тот же эпитет: «материнская». В этом, очевидно, не случайном определении можно усмотреть признание духовного родства. Что, в свою очередь, не отменяет вопроса о родстве более прозаическом: мы имеем в виду отца и мать.

[1] Расположение этой записи таково, что её можно отнести к различным сюжетам.

Отцы и дети

О родителях Достоевский говорит глухо и непространно.

Все воспоминатели сходятся на том, что он с благоговением отзывался о матери и избегал касаться отца. Подразумеваются *разговоры*. Что же до его собственных письменных свидетельств, кажется странным, что отца и мать он упоминает, как правило, *вместе* («родители») и за одним-двумя исключениями предпочитает не давать им характеристик[1].

Остановимся на исключениях.

В письме к Михаилу Михайловичу от 31 октября 1838 г., сообщив о том, что присланное братом стихотворение «Видение матери» «выжало несколько слёз из души моей и убаюкало на время душу приветным нашептом воспоминаний», Достоевский продолжает: «...я не понимаю, в какой странный абрис облёк ты душу покойницы. Этот замогильный характер не выполнен. Но зато стихи хороши, хотя в одном есть промах».

Эти тонкие филологические соображения могли бы изумить своей надмирной холодностью, если бы не был известен текст: сочинение Михаила Михайловича не отличается большими поэтическими достоинствами. Однако не только поэтому его корреспондент столь сдержан: он говорит *о литературе*, в силу душевного целомудрия избегая касаться остального...

«Ежели будет у тебя дочка, то назови Марией», — напишет он брату в 1843 году.

Мария Фёдоровна была моложе Пушкина на один год и пережила его на один месяц. Его гибель, совпавшая с их семейным несчастьем, тоже воспринималась как личное горе («братья чуть с ума не сходили»).

Смерть матери означала конец семьи: у отца не было ни сил, ни душевных возможностей соединить вместе семерых детей в возрасте от 2 до 17 лет. Да и собственная его жизнь, по существу, завершилась.

В том же самом письме, где обсуждаются стихи о покойной матери, содержится единственная у Достоевского хоть сколько-нибудь подробная характеристика Михаила Андреевича (который в это время был ещё жив): «Мне жаль бедного отца! Странный характер! Ах, сколько несчастий перенёс он! Горько до слёз, что нечем его утешить. — А знаешь ли? Папенька совершенно не знает света: прожил в нём 50 лет и остался при своём мненье о людях, какое он имел 30 лет назад. Счастливое неведенье».

[1] Речь идет о прямых, внехудожественных суждениях. Отражение этой темы в художественной прозе — вопрос особый.

Под «светом» здесь, конечно, разумеется не светское или полусветское общество, которое Михаил Андреевич действительно не знал, а общество вообще: человеческое общежитие, люди, мир — свет. «Папенька» отстал, он не искушён в жизни (если иметь в виду её сокровенный, лишь избранными постигаемый смысл) — то есть как раз в том, в чём литературно образованные братья мнили себя истинными знатоками. И нотка некоторого превосходства, которое позволяет себе 17-летний сын (за день до написания письма ему стукнуло именно столько), вполне уживается с искренней жалостью по отношению к «бедному отцу».

Из того, что Достоевский любил мать, необязательно следует, что к отцу он испытывал прямо противоположные чувства: версия, на которой с профессиональным удовлетворением настаивают фрейдисты. Так, проф. И. Нейфельд, указывая на «волкофобию» юного Достоевского («Мужик Марей»!), приходит к такому умозаключению: в деревне «мальчику не приходилось разделять материнскую нежность с другим конкурентом, которого он боялся; это подтверждает наше предположение, что боязливый крик “волк идет!” был в сущности страхом перед отцом, который может придти и нарушить эту идиллию летней жизни»[1]. У молодого Достоевского обнаруживают страстное, хотя и подсознательное желание скорейшей смерти одного из родителей в целях беспрепятственного овладения другим («эдипов комплекс»), а также — тяжкие угрызения совести, когда эта заветная мечта наконец-то осуществилась — «в части, — как сказано у одного автора, — касавшейся отца».

(С этой точки зрения, «Братья Карамазовы» трактуются как акт компенсации — запоздалого искупления легкомысленных детских грёз.)

С отцом действительно не было душевной близости. Но отсутствие таковой ещё не предполагает наличия уголовных намерений. Тем более рискованно приписывать Достоевскому подобные чувствования после кончины матери: ведь не спешил же он в самом деле — пусть даже бессознательно — остаться круглым сиротой. Не говоря уже о том (следует извиниться за столь *интересные* доводы), что гипоте-

[1] *Нейфельд И.* Достоевский. Психоаналит. этюд / Под ред. проф. З. Фрейда. Л., 1925. С. 20.

тическая смерть Михаила Андреевича не слишком улучшала материальное положение семьи.

Позднейшие умолчания об отце могут быть связаны с трагическими обстоятельствами его кончины: об этом ещё будет сказано ниже.

Для иллюстрации домашних антагонизмов ссылаются на свидетельства Андрея Михайловича — о том, как отец самолично преподавал старшим братьям латынь и как те страшились вспышек его гнева. Но ученический страх перед главой семейства вовсе не обязательно должен перерастать во взрослую неприязнь. Тем более что отцовский авторитет держался исключительно на моральных основаниях: детей никогда не пороли и не ставили в угол.

(Запомним: ни в отчем доме, ни в Инженерном училище Достоевский ни разу не вкусил прелестей розги. Что же касается каторги, то об этом тоже речь впереди.)

Наиболее резкие характеристики Михаила Андреевича восходят к дочери Достоевского, Любови Фёдоровне, которая родилась через тридцать лет после кончины своего деда. Будучи женщиной нервной и вообще довольно болезненной, она имела склонность приписывать свои недуги исключительно наследственным факторам: мрачный характер пращура служил ей некоторым оправданием.

В 20-е годы минувшего столетия племянник Достоевского Андрей Андреевич (сын Андрея Михайловича) сообщал М.В. Волоцкому: «В неправильной характеристике нашего деда Михаила Андреевича Любовь Фёдоровна, может быть, и не так повинна. Эта неправда про него пошла с нелегкой, в данном случае, руки покойного проф. Ореста Федоровича Миллера. С его слов в течение многих лет разные исследователи без всяких других оснований увеличивали его недобрую славу и она росла, как лавина, превратив его в какое-то исчадие человеческого рода»[1].

Однако первый биограф Достоевского О.Ф. Миллер нарочно ничего не придумывал. Его сведения восходят к семейному кругу самого Достоевского. Когда Андрей Андреевич раздражительно замечает о «каких-то преданиях, неизвестно откуда идущих»[2], он упускает из виду, что сами эти предания, если даже и допустить их принадлежность к биографическому фольклору, возросли на семейной почве.

К счастью, существует первоисточник, которому хотелось бы отдать предпочтение: переписка самих родителей.

[1] *Волоцкой М.В.* Хроника рода Достоевского. М., 1933. С. 52.

[2] Воспоминания Андрея Михайловича Достоевского. Л., 1930. С. 6.

Вера Степановна Нечаева в своих превосходных работах подробно прокомментировала эту семейную эпистолярию[1]. Соглашаясь с многими из её оценок, позволим некоторые параллельные отступления.

Какое чувство преобладает в письмах Михаила Андреевича? Это — ощущение враждебности окружающего его пространства. Ощущение, что им хотят пренебречь или его обмануть: от императора Николая Павловича, обошедшего его наградой, до прачки Василисы, подозреваемой в краже белья и присвоении сломанной серебряной ложки. Мало, крепостной человек Григорий обвинён в беззаконном распитии двух бутылок отправленной из Дарового наливки. Тень подозрения падает и на самоё Марию Фёдоровну — на сей раз в преступлении гораздо более капитальном: сокрытии имевшей место супружеской неверности.

Очередная беременность Марии Фёдоровны (по собственному её выражению, «седьмой крепчайший узел взаимной любви нашей»), сопровождаемая изжогой, вызывает у супруга-медика сильные нравственные сомнения, которые он и выразит с максимальной деликатностью: «В прежних беременностях никогда оной (то есть изжоги. — *И.В.*) не было». Конечно, это невинное замечание не вызвало бы столь бурной реакции, если бы предварительно не случилось описанного Андреем Михайловичем эпизода с «истерическим плачем».

Михаил Андреевич не только постоянно угнетён жизненным неблагополучием — безденежьем, неурожаем, плохой погодой, нерадением прислуги и, наконец, расстроенным здоровьем (болезненные припадки, хандра, трясение рук и головные боли), не только постоянно страдает от всех этих напастей, но, кажется, и не очень-то желает выходить из подобных хронических обстоятельств. Он не устаёт на них жаловаться, но они — его естественная среда, они оправдывают его неистребимую мнительность, хотя, быть может, именно ею нередко и вызываются.

Порою кажется, что сам жалобщик находит в постигающих его бедах известное моральное удовлетворение.

Здесь самое время потолковать о наследственности: некоторые делают это с особенным удовольствием. Не будем умножать их число. И не потому, что те или иные черты Михаила Андреевича не отразились на душевной структуре его тоже в высшей степени мнительного

[1] См.: *Нечаева В.С.* В семье и усадьбе Достоевских. М., 1939; Ранний Достоевский. 1821–1849. М., 1979.

и подверженного тяжёлым настроениям сына. Но дело в том, что сама эта душевная организация была иной: *там* господствовал иной дух, иные понятия, иная нравственная культура. Конечно, наследственность не исчезла (да и куда ей деваться?). Хотя сын и обладал качествами, как будто не совпадавшими с отцовскими, — такими, как щедрость, широта, исключительная отзывчивость на чужую боль, — несмотря на это, по ряду психических признаков он действительно напоминает отца. Однако отдельные наследственные свойства не оказались механически пересаженными на новую, равнодушно приемлющую их почву: они подверглись очень мощной личностной трансформации.

Было бы рискованно утверждать, что Достоевский сделался жертвой генетического детерминизма: его личность победила «биологию» или, по меньшей мере, не позволила ей диктовать свои условия.

Но вернёмся к Достоевскому-старшему.

Не существует серьёзных доказательств, позволяющих винить Михаила Андреевича (во всяком случае при жизни его жены) в хроническом алкоголизме, болезненной скупости или непомерном сластолюбии — то есть как раз в том, что, по мнению Любови Фёдоровны, свидетельствует о сходстве её деда с Фёдором Павловичем Карамазовым. И без этого сходства он был весьма далёк от идеала.

Почитая своим сыновним долгом преследовать неблагоприятные отзывы о родителе, Андрей Михайлович пишет: «Нет, отец наш, ежели и имел какие недостатки, то не был угрюмым и подозрительным, то есть каким-то *букой*. Напротив, он в семействе был всегда радушным, а подчас и весёлым».

И опять-таки нет оснований не доверять столь авторитетному свидетельству, хотя свидетель — в данном случае лицо заинтересованное. И снова изображение двоится, одни образы наплывают на другие — то проглянет насупленный лик отца с «мефистофельскими бровями», то его же расплывающееся в радушной («а подчас и весёлой») улыбке лицо.

Кстати, о веселье.

В одном из писем к супруге Михаил Андреевич подробнейшим образом описывает, как он тренировал («трессировал») няньку Алёну Фроловну: была надежда, что «сорокавёдерная бочка» победит в соревнованиях по обжорству. Няньке для возбуждения аппетита пускалась кровь, ей давалась глауберова соль, постное масло пополам с вином и многие другие неслабые средства. Возможно, эта «дикая бурсацкая затея» (как справедливо именует её позднейший комментатор) имела в глазах Михаила Андреевича важное учёное оправдание.

Кто действительно обладал неистощимым оптимизмом, так это маменька. Свойственная ей «весёлость природного характера» нередко (хотя и не всегда) умягчала ипохондрический нрав её супруга. Письма Марии Фёдоровны, свободно соединяющие в себе высокий литературный «штиль» и живую пластику разговорной речи (что выгодно контрастирует с вязким семинарским слогом её корреспондента), являют натуру искреннюю и жизнелюбивую. Ответное письмо мужу относительно его вздорных и неосновательных предположений исполнено оскорблённого чувства. Но при этом оно ещё деликатно, оно щадит адресата, оно написано искусным пером.

«Кто прочтёт письма маменьки, — замечает Андрей Михайлович, — тот, конечно, скажет, что эта личность была незаурядная... Этак писать и нынешней высокообразованной светской даме не стыдно, а матушка моя была личность, получившая домашнее образование... в одном из скромных патриархальных московских купеческих семейств»[1].

Действительно, послания Марии Фёдоровны обнаруживают не одну только искренность чувств. Уроки русской сентиментальной прозы не прошли для неё даром: «Наконец, мелькнула сия гибельная догадка, как стрелой пронзила и легла на сердце». Или: «... клянусь тебе, друг мой, самим Богом, небом и землёю, детьми моими и всем моим счастьем и жизнию моею, что никогда не была и не буду преступницей сердечной клятвы моей, данной тебе, другу милому, единственному моему перед святым алтарём в день нашего брака».

Так, пожалуй, могла бы писать и бедная Лиза.

Через много лет Достоевский в сугубо ироническом плане обыграет некогда избранную им с братом для материнского надгробия скорбно-оптимистическую строчку: «Покойся, милый прах, до радостного утра» (т. е. до конца света и всеобщего воскрешения). Этой эпитафией ёрник и шут Лебедев почтит свою якобы отстреленную в 1812 году и погребённую на Ваганьковском кладбище ногу (по коей он ежегодно совершает церковные панихиды). Подобный поворот отнюдь не свидетельствует о кощунственных наклонностях автора «Идиота». Карамзинская строка понадобилась исключительно для целей литературных. В этом смысле *воскрешение* старой надгробной

[1] Воспоминания Андрея Михайловича Достоевского. С. 94.

надписи есть ещё и средство самопародии: усмешка над своим тогдашним жизне- (и *смерте*-) ощущением.

Но вернёмся к переписке. Отдадим должное той эпистолярной свободе, с которой её участники переходят от «низкой» житейской прозы (когда, скажем, горячо дебатируется вопрос, почему корова «не стельна») к предметам более возвышенного толка — например, к области супружеских чувств[1].

Едва ли можно судить о стилистике семейных отношений Достоевских на основании одних только эпистолярных источников. «Чувствительная» часть писем — как бы очищенная, идеальная модель действительности. Оба корреспондента даже в конфликтной ситуации ни на минуту не забывают о существующей литературной норме. Они блюдут выработанный предыдущим столетием эпистолярный этикет.

Стоит, пожалуй, вспомнить написанные в те же 30-е годы изумительные по своему слогу и духу послания Пушкина к Наталье Николаевне. Конечно, о прямом сравнении не может быть и речи: несоизмеримы масштаб личности, воспитание, уровень культуры. Пушкин сам создаёт норму. Его письма поражают богатством эпистолярных интонаций — от назидательно-нежных до грубовато-фамильярных. Но главное, что Пушкин абсолютно свободен в проявлении собственной индивидуальности. То есть как раз в том, в чём родители Достоевского чувствуют себя несколько скованными и зависимыми от существующих литературных образцов.

Вместе с тем наложение разнородных стилей придаёт семейной переписке Достоевских неизъяснимую прелесть. Этот домашний диалог, в котором ревность, любовь, забота, подозрение и обида принуждены украшаться цветами условного красноречия и где обилие мелких и мельчайших подробностей теперь, по прошествии едва ли не двух веков, наводит на мысль о некоторой насмешливости бытия, — эта проза истинно поэтична.

Итак, в какой же нравственной атмосфере возрос будущий разрушитель семейного романа?

Трудно отдать безоговорочное предпочтение одной из биографических версий. Сгущение мрачных красок в семейно-исторических экскурсах Любови Фёдоровны (рассчитанных, к тому же, на уже

[1] Заметим, что не только для «частного», но и для официального языка эпохи характерно сочетание сугубой откровенности и сентиментальной иносказательности. Так, Мариинская больница без обиняков именуется больницей *для бедных*, а, скажем, служащие в ней сиделки (рекрутируемые главным образом из Вдовьего дома) получают — согласно штатному расписанию! — элегическое обозначение «сердобольные вдовы».

приуготованного к «русским ужасам» западного читателя[1]) вызывает понятный скептицизм. Но, очевидно, и полнокровное перо Андрея Михайловича, как любил выражаться его старший брат, *стушёвывает* отдельные детали.

Что же несомненно?

Несомненно, что мать и отец Достоевского искренне любили друг друга. Несомненно, что они были людьми порядочными. Бесспорно также и то, что интересы семьи составляли для них смысл жизни и что они чрезвычайно серьёзно подходили к своим родительским обязанностям — делали всё, чтобы дать детям наилучшее, с их точки зрения, воспитание и образование.

Много лет спустя Достоевский писал младшему брату, что их родители были одержимы идеей «стремления в *лучшие люди*» и следовали ей, «несмотря на все уклонения».

Может быть, именно это стремление он и имел в виду, когда незадолго до смерти высказал тому же корреспонденту следующую рискованную (и как бы рассчитанную на потенциальные возражения) мысль: «Да знаешь ли, брат, ведь это были люди передовые... и в настоящую минуту они были бы передовыми!..»

Заметим, однако, что, горячо расхваливая идею, Достоевский ничего не говорит о способах её осуществления. А глухое упоминание «уклонений» заставляет внимательнее взглянуть на принятую Михаилом Андреевичем систему воспитания.

Всем в жизни обязанный самому себе, многое перенёсший, Достоевский-старший не желал, чтобы его детям пришлось пройти сквозь те же мытарства. Покинув родительский кров (не сиклюсено, что наперекор отчей воле), он, очевидно, опасался повторения этого «сценария» во втором поколении. Он хотел, чтобы его собственные дети не только безоговорочно признавали его родительский авторитет, но и полагали последний тем краеугольным камнем, на котором зиждется вся иерархия — религия, общество, государство, весь мировой порядок. Его сыновья должны были естественно и, главное, безболезненно вписаться в существующие социальные координаты, использовав наработанный ещё в детстве капитал.

У Михаила Андреевича не было ни застарелой родовой спеси, ни ранней демократической гордости. Он целиком и полностью принадлежал государству: сама его служба находилась под прямой опекой

[1] Воспоминания Любови Фёдоровны были написаны в начале 20-х годов на французском языке. Первый русский перевод (неполный) сделан с немецкого издания. Ныне вышел первый перевод с французского. *Любовь Федоровна Достоевская.* Мой отец Фёдор Достоевский. М., 2017. В настоящей книге мы ссылаемся на оба издания.

царского дома[1]. Он жил в эпоху, когда наивысшего своего расцвета достигла система регламентаций: главное было не нарушать *приличий*.

Именно таковым нарушением могли выглядеть в его глазах прискорбные события 1825 года и другие отступления от заведённого порядка вещей. Бывший военный лекарь отлично понимал, что залогом жизненного успеха является дисциплина и что уважение к главе семейства — есть первая ступень законопослушания. Его сыновья должны были выдержать социальную конкуренцию и выйти в люди. Весь педагогический процесс был подчинён этой великой цели.

У Достоевского имелись основания говорить о «безотрадной обстановке» своего детства. Но не забудем и его слов о высшей идее, которой были одержимы родители. Суровость воспитания позволила не только легче пережить переход из-под родительского крова в закрытое военно-учебное заведение. Именно в семье были заложены те понятия, которые, надо полагать, не остались для него бесполезными: добра и зла, благородства и чести, порядочности и долга. Жестокость требований, предъявляемых к детям, не помешала бурному развитию воображения, а прикосновение к источникам культуры дало первотолчок тому духовному движению, которое уже не могло остановиться никогда.

Может быть, счастье Михаила Андреевича, что он не дожил до того дня, когда его второй сын, взойдя на эшафот, продемонстрирует непредсказуемые эффекты отцовской педагогики: он не перенёс бы подобного удара.

Что мог думать сын — об отце?

На процессе Мити Карамазова не чуждый новейших веяний адвокат Фетюкович обращается к заполнившей судебную залу публике со следующими прочувствованными словами: «...пусть сын станет перед отцом своим и осмысленно спросит его самого: “Отец, скажи мне: для чего я должен любить тебя? Отец, докажи мне, что я должен любить тебя?” — и если этот отец в силах и в состоянии будет ответить и доказать ему, то вот и настоящая нормальная семья... В противном случае, если не докажет отец, — конец тотчас же этой семье; он не отец ему, а сын получает свободу и право впредь считать отца своего за чужого себе и даже врагом своим».

Тончайшая авторская ирония пронизывает эту чужую прямую речь.

Ибо отцов не выбирают.

[1] После смерти в 1828 году императрицы Марии Фёдоровны больница перешла в ведение IV Отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии (учреждённого тогда же — вслед за III!) и получила название Мариинской. Больница находилась под покровительством Николая I и его супруги.

В 1857 году в письме к Врангелю, касаясь его недоразумений с отцом, Достоевский скажет, что «знал в жизни... точно такие же отношения». И добавит: «Его тоже нужно понять...»

Последняя фраза звучит как рефрен той, давней: «Мне жаль бедного отца!» Именно к этому слову — *жалость* (жаление, со-жаление) обращается Достоевский, говоря об отце, — к слову, которое в русском просторечье имеет ещё один смысл...

В детстве у него как будто не было оснований посягать на отцовский авторитет. Но в 15–16 лет он мог ощущать некий душевный разлад: внушаемые ему с детства представления колебались под напором «высокого и прекрасного». «Домашние» и «мировые» идеалы вступали в извечное противоборство.

Как уловить момент, когда главные его интересы (или, как сейчас сказали бы, — приоритеты) выделяются из семейного круга? Когда перешёл он этот рубеж, когда захватил его собственный личный Sturm und Drang[1]?

Источники хранят на сей счет абсолютное молчание.

В конце жизни он вспоминал, что это началось «ещё с 16-ти, может быть, лет», а ещё точнее: «когда мне было всего лишь около пятнадцати лет от роду». Детство кончилось: он впервые задумался о будущем, о призвании, о том, зачем явился на этот свет. «...В душе моей был своего рода огонь, в который я и верил, а там, что из этого выйдет, меня не очень заботило...»

Ещё совсем недавно мы наблюдали ребёнка — живого, отзывчивого на все впечатления бытия, самозабвенно предающегося весёлой игре. Теперь, в пансионе Чермака, «это был сериозный, задумчивый мальчик, белокурый, с бледным лицом». Он берёт под защиту своего младшего товарища (Каченовский младше Достоевского на пять лет); в нём самом не осталось ничего от былого инфантилизма. Недавнего предводителя «диких», его не занимают ныне шумные игры — он предпочитает более умеренные удовольствия.

Очевидно, именно в эти годы у Достоевского вырабатывается та глубокая внутренняя сосредоточенность и самоуглублённость, которая со стороны могла представляться замкнутостью или даже нелюдимостью.

В набросках к неосуществлённому «Житию великого грешника» сказано: «Опасная и чрезвычайная мысль, что он будущий человек необыкновенный, овладела им ещё в детстве». Случайно ли мысль о собственной необыкновенности названа «опасной»?

[1] Буря и натиск (*нем.*).

Среди всех мыслимых вариантов один пример был особенно зрим, ослепителен и недавен. Он являл собой как бы квинтэссенцию земной человеческой славы.

В год, когда Достоевский вышел из пансиона Чермака и готовился к новой неведомой жизни, Россия отмечала 25-летие Отечественной войны 1812 года.

Развенчанная тень

Девять лет отделяют рождение Достоевского от недавних мировых событий. И всего полгода от смерти их главного виновника и героя.

Он родился в октябре 1821-го. В мае того же года на острове Святой Елены «угас» Наполеон.

«Мир был наполнен этим именем, — говорит князю Мышкину генерал Иволгин, — я, так сказать, с молоком всосал».

Детские годы Достоевского озарены отблеском великого московского пожара. Его окружают живые *воспоминатели* — свидетели, жертвы и очевидцы. Он жадно впитывает их рассказы; он бродит по саду, где слышатся голоса французских солдат; он видит дома, встающие на пепелище. Вещественный мир духовен: он полон знаков, намёков и тайн.

В отличие от ревности к грядущему, ревность к прошедшему не губительна для настоящего...

Могут ли мальчики не играть в войну? Особенно — в войну недавнюю, следы которой ещё не изгладились — ни в памяти, ни в душе? Ребёнок ближе к *до*жизни: у него просто нет иных воспоминаний.

Я с лёгкостью смотрю
на снимок прежних лет.
«Вот кресло, — говорю, —
меня в нём только нет».

Но с ужасом гляжу
за тёмный тот предел,
где кресло нахожу,
в котором я сидел.

Его не было *в той* Москве: для мечтателя это дело поправимое.

Рассказ генерала Иволгина о его камер-пажестве у Наполеона — первая историческая «поэма» Достоевского. (Второй (и последней) станет Легенда о великом инквизиторе.)

Следует задуматься о литературных истоках. Насколько самобытен сей плод (своего рода Легенда о великом императоре!), взращённый в чудном генеральском саду?

Вспомним, что юный Достоевский — усердный читатель Вальтера Скотта. Он начинает читать великого шотландца примерно в том возрасте, в каком будущий генерал Иволгин удостаивается дружбы завоевателя Москвы.

Прямого влияния Вальтера Скотта на Достоевского как будто не наблюдается: слишком различны их художественные миры. Между тем «наполеоновская» новелла в «Идиоте» — вальтер-скоттовская по всем статьям.

Во-первых, у Достоевского, как и у Вальтера Скотта, присутствует реальная историческая личность: великая, благородная, мятущаяся и в конце концов погибающая. Во-вторых — имеет место идеальный юноша (в нашем случае — мальчик со звучным именем Ардалион): тоже непременный участник вальтер-скоттовского романного действа. Затем наполеоновский телохранитель мамелюк Рустан[1] — аналог колоритного «чужеземца». И наконец, юная дева, сестра новоиспечённого камер-пажа (правда, в 1812 году ей только три годика — столько же, скажем, сколько сестре юного любителя Вальтера Скотта Вере[2]), гибнущая впоследствии в родах. Это в её альбоме, покидая Москву, вписал злополучный странник свой августейший автограф: «Ne mentez jamais!»[3] — совет тем более дельный, что осведомляет нас о нём не кто иной, как генерал Иволгин.

Если добавить ко всему этому высокую чувствительность генеральского рассказа, сходство с Вальтером Скоттом обозначится ещё сильнее.

Наполеоновская тема занимает Достоевского с раннего детства до конца его дней.

Можно сказать, все девятнадцатое столетие пронизано отзвуками наполеоновского мифа. Наполеон — человек века: он потряс воображение нескольких поколений. К нему — к его славе и судьбе, к его взлёту и падению прикованы взоры.

---

[1] Также лицо историческое, автор позднейших мемуаров.

[2] Вера 1829 года рождения, следовательно, три года ей было в 1832–1833 гг., когда самому Достоевскому 11–12 (пора чтения Вальтера Скотта). Не исключено, что в системе романных «подстановок» значимы не только детские грезы автора, но и его семейные обстоятельства.

[3] Никогда не лгите! (*фр.*).

Всё он, всё он — пришлец сей бранный,
Пред кем смирилися цари,
Сей ратник, славою венчанный,
Исчезнувший, как тень зари.

Наполеон — загадка века.

...Мировой вихрь словно бы врывается в новейшую европейскую историю. Император французов вписывает своё имя вслед за именами Цезаря и Александра Македонского. Он возлагает на себя железный венец Карла Великого, выкованный из гвоздя Распятия: меч должен был завершить начатое крестом. Но только ли слава полководца привлекает к нему сердца?

Пушкин сказал о Байроне: «Другой от нас умчался гений, другой властитель наших дум». Байрон — «другой», но тот, *первый гений* — Наполеон. Смеет ли он претендовать на то, что составляет прерогативу духовных вождей? «Властитель *дум*», — говорит Пушкин.

Наполеон навеки запечатлён в русской исторической памяти. И — что не менее важно — в русском художественном сознании. Его личность, образ его действий, его идея — всё это стало предметом искусства. Ни один из отечественных классиков не обошёл темы. Но лишь Достоевский возвращается к ней столь неотступно и сокровенно.

Он начинает не на пустом месте.

Русская поэзия, устами Жуковского и Пушкина воспевшая политическую «гибель пришлеца», немедленно после его падения исполняется великодушия и снисхождения к поверженному страдальцу. Страдание вновь даёт ему право — уже в новом обличье — вступить в круг сочувственного поэтического интереса. «Одна скала, гробница славы...» Русский человек незлобив и отходчив — и не унижение ли некогда могущественного противника примирило с ним сердца, ещё недавно пламеневшие жаждою мести? Поверженный враг — уже не враг. Тем более — изгнанный и живущий в неволе. Он — тот же каторжник, «несчастный», и его добродушный победитель смотрит на него едва ли не виновато и уже готов протянуть ему калач или подать медный грош.

Отшумела «гроза двенадцатого года» — и привычный образ злодея, супостата, антихриста стал терять свои демонические черты[1]. Вернее, демонизм сохранился, но он был уже совершенно иного толка. Нет, Лермонтов ошибался: «Конец его мятежный не

[1] Не призваны ли замелькавшие уже в наше время намёки на принадлежность Наполеона к всемирному масонскому заговору реанимировать этот образ в указанном качестве? Естественно в этой связи ожидать и новых открытий относительно истинного происхождения героя.

отуманил наших глаз!..» Конец-то как раз и отуманил. Судьба свершилась — и в свете этой свершённой судьбы человек, поднявшийся из романтического ничтожества к вершинам власти и вновь ввергнутый в ничтожество, возбуждал острый поэтический интерес. Наполеон оказался вновь вознесённым — не силой оружия, а волной позднейшего литературного сочувствия и сострадания. Внушающий трепет «железный венец» сменился терновым венком мученика: в России это действует неотразимо.

Явившийся с дикого для Европы острова (что само по себе — знак избранничества), на острове же заканчивал он свои не столь долгие дни. Его «гробница славы» — это прижизненный, так сказать, мавзолей. И когда обитатель «гробницы» действительно умирает («там он почил среди *мучений*»)[1], русский поэт, тоже изгнанник, протягивает через моря свою открытую для примирения руку:

Великолепная могила!
Над урной, где твой прах лежит,
Народов ненависть почила
И луч бессмертия горит.
. . . . . .
Да будет омрачен позором
Тот малодушный, кто в сей день
Безумным возмутит укором
Его развенчанную тень.

О, если б Наполеон умер на вершине успеха, Пушкин нашёл бы другие слова![2]

«Смерть важна, — говорит один исследователь, — она ирреализует подпись автора и превращает произведение в миф». Она, добавим, превращает в миф и самого автора.

Я презираю песнопенья громки;
Я выше и похвал, и славы, и людей.

Русская поэзия тактично соблюла дистанцию. Русская проза безжалостно её отбросила: в отношении героя была проявлена неслыханная фамильярность.

[1] Не только нравственных, если вспомнить о наследственном раке желудка.

[2] В стихотворении «Наполеон на Эльбе» (1815), написанном после высадки бывшего императора во Франции, 16-летний Пушкин именует Наполеона «губителем», «хищником» и т. п. Герой стихотворения — реальный противник, вновь поднявший меч и грозящий Европе новыми бедами. В 1821 году точка зрения Пушкина совершенно иная.

Наполеон из имени собственного становится именем нарицательным.

Достоевский впервые упоминает императора французов в контексте, не имеющем прямого отношения к деятельности названного лица. Наполеон является здесь не в своём конкретном историческом обличье, а в, казалось бы, совершенно проходном вербальном смысле. У господина Прохарчина, героя одноимённого рассказа, сурово вопрошают: «...Для вас свет, что ли, сделан, Наполеон вы, что ли, какой», давая тем самым ему понять неуместность его амбиций[1]. Комическая пара Прохарчин — Наполеон вполне случайна. До появления другого тандема — Наполеон — Раскольников — ещё далеко. Случайна и речевая ситуация, однако мысль, что свет «сделан» *для* Наполеона, выражена достаточно ясно.

Отсюда не так уж далеко до основополагающего тезиса подпольного парадоксалиста «свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить»: взглянувший в *такое* зеркало «классический» Наполеон должен был бы устыдиться.

«...Почерк — моё единственное сходство с Наполеоном...», — говорит Достоевский в одном письме.

В отличие от Достоевского, князь К. из «Дядюшкиного сна» полагает, что он походит на Наполеона и внешне: это в его глазах составляет известный нравственный капитал.

«— Знаешь, мой друг, мне все говорят, что я на Наполеона Бонапарте похож... а в профиль будто я разительно похож на одного старинного папу? Как ты находишь, мой милый, похож я на па-пу?

— Я думаю, что вы больше похожи на Наполеона, дядюшка.

— Ну да, это en-face. Я, впрочем, и сам то же думаю, мой милый».

Так рушится «образ врага», замещённый если не дружеским шаржем, то довольно игривым литературным портретом. Князь К., прибегая к Наполеону, желал бы подчеркнуть в себе «оттенок благородства» — тайную санкцию на замышляемое им дело. Но и «сам Наполеон», сопряжённый с князем К., обретает оттенок комического величия.

[1] Ср. у М. Булгакова («Мастер и Маргарита»): «Никанор Иванович... совершенно не знал произведений поэта Пушкина, но самого его знал прекрасно и ежедневно по несколько раз в день произносил фразы вроде: “А за квартиру Пушкин платить будет?” или “Лампочку на лестнице, стало быть, Пушкин вывинтил?”, “Нефть, стало быть, Пушкин покупать будет?”». В отличие от «более узкого» Наполеона, Пушкин абсолютный универсальный заместитель всех тех, кто не выполняет своих функций или выполняет их недолжным образом. Не в этой ли связи замечено Аполлоном Григорьевым: «Пушкин наше всё»?

Сравнение с Наполеоном у Достоевского всегда усмешливо. Назвать кого-то Наполеоном — значит сыграть на понижение. С Наполеоном сравниваются (или — сравнивают себя) такие жалкие существа, как уже упомянутый господин Прохарчин, впавший в *детство* князь К[1]., умирающий от чахотки Ипполит («Идиот»). Даже косвенное уподобление возникает в минуту величайшего унижения героя («Записки из подполья»), когда, застигнутый врасплох, в драном халате, он из последних сил старается сохранить лицо: «Я ждал минуты три, стоя перед ним (слугой. — *И.В.*), с сложенными a 1a Napoleon руками». Эта «позицья» — последняя линия обороны подпольного парадоксалиста, переживающего своё Ватерлоо.

В «Дядюшкином сне», наряду с князем К., сравнения с великим человеком удостоена дама.

Марью Александровну Москалёву «сравнивали даже, в некотором отношении, с Наполеоном. Разумеется, это делали в шутку её враги, более для карикатуры, чем для истины». В действительности же император французов и в подмётки не годится почтеннейшей Марии Александровне: «у Наполеона закружилась, наконец, голова, когда он забрался уже слишком высоко», а «у Марьи Александровны никогда и ни в коем случае не закружится голова, и она останется первой дамой в Мордасове».

Наполеон женского рода возникает и в «Бесах». Губернаторша Юлия Михайловна — первая дама в городе Т., где развёртывается действие «Бесов» — устраивает у себя грандиозный бал (он кончится грандиозным скандалом). Приглашённые — те, кто впервые вступает в великолепную, отделанную золотом и украшенную зеркалами Белую залу, — застывают разинув рты.

Белая зала — поле грядущей битвы, место предполагаемого торжества. Здесь все враги Юлии Михайловны должны обрести бесславный конец. Но где же предводитель воинских сил?

[1] В том же «Дядюшкином сне», кстати, содержится первая «притча» Достоевского о Наполеоне — если второй считать рассказ генерала Иволгина. Обе фантасмагории вложены в уста претендующих на особое уважение стариков. Между тем и генеральский рассказ, и рассуждения князя К. о том, как он поступил бы с плененным Наполеоном, — всё это чисто детские грёзы. Князь К. говорит, что с «Бона-парте» обращались бы «о-те-чески», его бы потчевали пирожками, ему бы дозволялись прогулки — «разумеется, под присмотром», а также невинные «раз-вле-чения» в виде театра и т. п. Можно подумать, что это маленького Иволгина назначили «начальником режима»! «Остранение» ситуации (Наполеон — вроде приручённого злого духа, с которым можно и поиграть в «необитаемый остров», и поделиться пирожками) присуще именно детскому сознанию. Любопытно, что льготы, предназначаемые Наполеону князем К. (театр, прогулки под присмотром и т. п.), довольно точно воспроизводят «развлекательные» реалии авторского детства.

Предводителя нет: есть *предводительша*. Правда, впрямую с Наполеоном она не сравнивается. Повествователь лишь сообщает, что зала была украшена «старинною тяжёлою, *наполеоновского* времени мебелью, белою с золотом и облитою бархатом» (курсив наш. — *И.В.*).

Судя по всему, это ампир. Автору виднее, в какой интерьер уместнее поместить провинциальных дам-наполеонш.

Да и сам император может вот-вот появиться в N-ской губернии. Гоголь, во всяком случае, не исключал подобной возможности.

Город, где поначалу так удачно совершает свои негоции Павел Иванович Чичиков, охвачен волнением. Всех занимает вопрос: кто таков? «Из числа многих, в своём роде сметливых предположений было, наконец, одно, странно даже и сказать, что не есть ли Чичиков переодетый Наполеон, что англичанин издавна завидует, что, дескать, Россия так велика и обширна... И вот теперь они, может быть, и выпустили его с острова Елены, и вот он теперь и пробирается в Россию будто бы Чичиков, а в самом деле вовсе не Чичиков».

Покупщик мёртвых душ — орудие английской интриги, а его предпринимательская деятельность — только ширма, долженствующая скрыть его намерения, — эта счастливая мысль вполне национальна. И проницательные жители губернского града, который, как скорбно замечает автор, располагался вовсе «не в глуши, а, напротив, недалеко от обеих столиц», внимательно всматриваются в лицо заезжего гостя, демонстрируя таковым своим интересом возможность, явленную ещё в «Ревизоре» — *самозванство наоборот*.

«Конечно, — добавляет Гоголь, — поверить этому чиновники не поверили, а, впрочем, призадумались и, рассматривая это дело каждый про себя, нашли, что лицо Чичикова, если он поворотится и станет боком, очень сдаёт на портрет Наполеона».

Князь К., как помним, полагал, что он похож на Наполеона en face.

Но почему же русская проза настойчиво сопрягает славное имя с провинциальным образом жизни, провинциальным бытом, провинциальными нравами? Только ли по закону контраста? Или в подобном сближении можно уловить некую тайную насмешку — как над эпигонами великого человека, так, пожалуй, и над ним самим?

«Осмеян прозвищем героя...»

Наполеонизм, несмотря на свой «вселенский» замах, имманентно провинциален. В нём есть что-то несолидное, случайное, преходящее, напускное. С точки зрения природных аристократов (да и не только их), сделавшийся императором бывший артиллерийский капитан — выскочка и парвеню. (Недаром те же мордасовцы понимают, что он «не только не был из королевского дома, но даже и не был

gentilhomme[1] хорошей породы».) То, что другим достаётся по праву рождения, Бонапарт вынужден брать силой. Он «беззаконная комета» в толпе наследственных европейских монархов. При всех его достоинствах, характере и уме от него разит провинцией и казармой. Недаром Талейран сетовал, что великий человек так плохо воспитан.

Наполеон возлагает на себя императорскую корону и вступает в династический брак не из одних политических видов, но и для того, чтобы избавиться от своих застарелых провинциальных комплексов. Завоевавший Париж и овладевший едва ли не всей Европой, он в глубине души ощущает себя неловким провинциалом, которому вот-вот могут указать на дверь. Сама его колоссальная империя эфемерна и кажется плодом воображения провинциального безумца: в ней нет ни холодного римского величия, ни делового британского расчёта. Всей Европе надлежит превратиться в имперскую периферию и оттенять собой великолепие новой мировой столицы. Это ли не мечта нотариуса из какого-нибудь тулузского захолустья?

Мир может преобразиться волею гения. Но сам этот гений — провинциален.

Наполеон — великий человек и одновременно — пародия на него. Родион Раскольников — пародия на пародию. Его *провинциальному* преступлению далеко до мировой бойни, устроенной его кумиром. Но и Раскольников, и Наполеон Бонапарт — каждый по-своему — стремятся прежде всего доказать миру свою исключительность, подлинность и духовное первородство. Иначе — свою *непровинциальность*. В этой «точке» они совпадают.

Наполеон может вызывать восторг и поклонение, но от всех его поступков — начиная египетской экспедицией или 18 брюмера и кончая Ста днями — веет духом отчаяния и авантюры. Как одержимый, гонится он за счастьем — и счастье то улыбается, то изменяет ему. Он — приобретатель, делец, игрок, нувориш. Нет, недаром простодушные губернские жители заподозрили в Чичикове Наполеона, а, скажем, не лорда Байрона!

Интересно бы знать: читал ли автор «Мёртвых душ» наполеоновские записки?

Измученный «казнию покоя» мемуарист развёртывает перед читателем захватывающие картины. Он говорит, что если бы русский

[1] Дворянином (*фр.*).

поход удался, «Европа действительно составила бы... один и тот же народ, и всякий, путешествуя где бы то ни было, находился бы всегда в общей родине». (Как видим, долгое островное уединение весьма способствует уяснению скрытых благ интеграции.) Низложенный император уверяет, что его попечением тоже был бы создан *священный союз* — разумеется, не тот, который создали его враги, а совсем иной — просвещённый, гуманный, отечески-патриархальный: «в этом собрании великих государей мы обсуживали бы наши интересы семейно и считались бы с народами, как писец с хозяином». Но этого мало! «Я бы выговорил, чтобы все реки были судоходны для всех, чтобы море было общее, чтобы постоянные большие армии были уменьшены единственно до гвардии государей». Далее удалившийся от дел объединитель Европы сообщает, что его царственные досуги были бы отданы не только воспитанию любезного сына, но он сам вместе с супругой императрицей стал бы «мало-помалу посещать, как настоящая деревенская чета, на собственных лошадях, все уголки государства, принимая жалобы, рассеивая во все стороны и везде здания и благодеяния»[1]. Разумеется, в результате подобных подвигов «Париж был бы столицей мира, и французы предметом зависти всех наций!..»

Неужели Николай Васильевич Гоголь не знал этих строк?

«Он думал о благополучии дружеской жизни, о том, как бы хорошо было жить с другом на берегу какой-нибудь реки, потом через эту реку начал строиться у него мост, потом огромнейший дом с таким высоким бельведером, что можно оттуда видеть даже Москву и там пить вечером чай на открытом воздухе и рассуждать о каких-нибудь приятных предметах».

Конечно, у Манилова — не тот размах, но благородство его намерений тоже не вызывает сомнений.

У Гоголя Наполеон не является самостоятельным действующим лицом: он лишь символ и знак. Толстой и Достоевский изобразили императора французов вживе. Автор «Войны и мира» сделал это «на полном серьёзе», как и положено историческому романисту. Автор «Идиота» — в виде литературной шутки.

Толстой (как бы демонстрируя справедливость позднейших уверений Д. Мережковского о том, что он — «художник плоти») буквально раздевает (раз-облачает) героя. Автор отваживается на шаг — абсолютно новаторский для целомудренной русской прозы: толстовский Наполеон изображён голым! Император, «пофыркивая и покряхтывая поворачивался то толстой спиной, то обросшей жирной грудью под щётку», которой камердинер растирает его холёное тело. Внимание Толстого занимают подробности: красивая белая рука императора, которой он подаёт знак начинать сражение, дрожание его ноги и т. д. и т. п. В упор рассмотренная телесность снижает образ великого человека, который, будучи вытолкнут на мировые подмостки, вдруг обнаруживает черты провинциального актёра. Он разыгрывает спектакль перед портретом своего сына, римского короля, он лицедействует перед искушёнными царедворцами и перед искренне приветствующими его полками, он, наконец, ломает ваньку перед самим собой.

[1] Это блаженные сны Римской империи, золотой век Антонинов: долгожданный мир, наступивший вслед за исполненной победоносных войн эпохой Траяна. Императорская чета — Адриан и Сабина — объезжают успокоенные и процветающие провинции. Современники Наполеона, неплохо знавшие древнюю историю, очевидно, улавливали намёк.

Достоевский, работая над «Идиотом», конечно же, держит в памяти недавно опубликованный толстовский роман.

Осталось ли бесследным это знакомство?

И Пьер Безухов, и маленький Иволгин оказываются в опустевшей и занятой неприятелем Москве. Оба они выбиты из привычного жизненного уклада, и тот, и другой сподобились стать свидетелями великих событий и волею случая их судьбы пересеклись с судьбами сильных мира сего.

Добавим, что «московские» эпизоды 1812 года в «Войне и мире» и «Идиоте» уснащены французской речью.

Сходны кое в чём и венценосные герои.

Наполеон Достоевского тоже «работает на публику», произнося театральные фразы и делая театральные «жесты» («Я люблю гордость этого ребёнка! Но если все русские мыслят, как это дитя, то...») Юный Иволгин присутствует при поистине исторических минутах: маршал Даву («огромный, полный, хладнокровный человек в очках, с странным взглядом»[1]) советует своему государю освободить крепостных рабов и принять православие. «Ребёнок, — привычно вопрошает император, — пойдут за мной русские или нет?« — «Никогда!» — отвечает находчивый камер-паж. Этот не по летам мудрый ответ решает дело: Россия шествует дальше *своим* путём.

[1] Даву фигурирует и в «Войне и мире» (сцена допроса Пьера Безухова). У Толстого Даву воинствен и строг, у Достоевского это чисто опереточная фигура. В тексте «Идиота» встречаются реминисценции и другого рода. Так, генерал Иволгин говорит князю Мышкину: «Один из наших автобиографов начинает свою книгу именно тем, что в двенадцатом году его, грудного ребёнка, в Москве кормили хлебом французские солдаты». Упоминание не названного здесь по имени, но, конечно, легко узнаваемого Герцена придаёт этой литературной игре ещё большую остроту.

Заметим, что слова и поступки Наполеона, свидетелем которых стал десятилетний ребёнок, основаны, как и у Толстого, на подлинных исторических документах (генерал Иволгин, надо отдать ему должное, начитан в предмете). Это придаёт рассказу генерала особую пикантность. Наполеон «Идиота» вписан в трагические декорации 1812 года (время и место действия III и IV томов «Войны и мира»). Но если у Толстого герой дан через всеобъемлющее авторское созерцание, Достоевский рассматривает его глазами ребёнка, правда, слегка затуманенными поздней генеральской слезой.

Порою кажется, что Наполеон Достоевского — тончайшая пародия на Наполеона «Войны и мира»: попытка не столь безобидная, если вспомнить, кто именно в «Идиоте» подвизался в качестве воспоминателя.

Но здесь начинаются различия. Они чрезвычайно важны.

Для Толстого всё движение исторической жизни подчинено некой мировой предопределённости. История совершилась именно так — и она не могла совершиться иначе. Достоевского подобное предположение не устраивало ни в коей мере. В «Дневнике писателя» он «просчитывает» различные политические комбинации и прикидывает возможные варианты. Он говорит, что наше счастье состояло в том, что мы одолели Наполеона в союзе с Австрией и Пруссией. «Если б мы тогда одни победили, то Европа чуть только оправилась после Наполеона, бросилась бы опять на нас». (Любопытное наблюдение, особенно если распространить его на ситуацию Второй мировой войны — разумеется, с заменой упомянутых стран «новыми» англосаксонскими союзниками.) Для автора «Дневника» история многовариантна. Так, подробно обсуждается, что произошло бы, если бы Россия, изгнав наполеоновские полчища из своих пределов, не двинулась дальше. Предполагается, что в этом случае Россия мирно отдала бы Запад недавнему врагу, а сама прочно бы утвердилась на Востоке (своеобразный альянс уважающих друг друга сверхдержав). Для Толстого подобная постановка вопроса просто немыслима.

Немыслим для Толстого и тот образ завоевателя Москвы, который представлен в «Идиоте».

В Наполеоне «Идиота» — все черты «русского» Наполеона (героя не только Пушкина и Лермонтова, но и народной песни «Шумел, горел пожар московский...»)[1]. И в полном соответствии с этой романтической установкой маленький Иволгин советует императору «в минуту жизни трудную» написать письмо не законной супруге (вспомним цветаевскую неприязнь к Марии Луизе, «“Fraîche comme une rose”[1] и дуре»[2]!), а императрице Жозефине, воззвать к «третьему» (после самого Иволгина и маленького римского короля) любящему Наполеона сердцу.

[1] Конечно, можно приписать этот взгляд целиком генералу Иволгину. Но интересно, что князь Мышкин, пытаясь уточнить частности и внутренне стыдясь генеральской лжи, нимало не оспаривает его *концепцию* Наполеона (напротив, он, кажется, даже её разделяет!), характерную для массового сознания.

Да, будущий генерал — один из этих трех. Le petit boyard[3] существует в сознании императора рядом с «1e roi de Rome»[4]: симпатии к русскому камер-пажу поддерживаются тоской по оставленному во «Франции милой» Орлёнку.

Если в «Войне и мире» (сцена накануне Бородинского боя) портрет играющего земным шаром наследника служит Наполеону лишь поводом для демонстрации своих родительских чувств, то в рассказе Иволгина отцовская любовь искренна и сокровенна. Конечно, если не предполагать, что Наполеон способен лицемерить даже перед десятилетним ребёнком.

И тут мы с изумлением убеждаемся: Наполеон Достоевского наивен и прост. Его поведение не есть преднамеренное актёрство (как у Наполеона Толстого). Это естественная театральность, характерная для цельных, рефлектирующих и вместе с тем *игровых* натур. Наполеон Достоевского не боится выглядеть слабым в присутствии посторонних; он даже рискует показаться глупым, советуясь с десятилетним пажем. Властелин полумира сам порой доверчив и простодушен, как ребёнок. И если образ, нарисованный Толстым, способен оттолкнуть, то герой Достоевского способен вызвать сочувствие.

Наполеон Толстого — человек самоупоённый.

Наполеон Достоевского — человек страдающий.

Ибо в самих глубинах «романного» смеха вдруг возникает глухая и щемящая нота.

В одной из рукописных редакций «Подростка» сказано: «В *Нём*, хищном типе, страстная и *неутомимая* потребность наслаждения жизнию, *живой жизнию*, но в широкости её. Он не желал бы захватить слишком видный жребий (Наполеона, например)». Этот жребий отпугивает Подростка. Его страшит мера личной расплаты: «Слишком много на тебя смотрят, слишком много надо кривляться, *сочинять себя* и позировать (можно подумать, что герой только что прочитал

[1] Свежей, как роза (*фр.*).
[2] *Цветаева М.И.* Сочинения. М., 1988. Т. 2. С. 320.
[3] Маленький боярин (*фр.*).
[4] Римским королём (*фр.*).

«Войну и мир»! — *И. В.*). Вкусы разные, и я люблю больше свободу. Особенно люблю тайну».

Наполеон — это несвобода, это сверхличная власть, порабощающая своего носителя. Это авторитет, но без чуда и тайны. Подросток говорит, что он предпочёл бы «жребий Унгерн-Штернберга»[1]: иными словами, анонимное и таинственное могущество. Не устроила ли бы его также участь Великого инквизитора?

Власть, если носитель её — существо нравственное, сопряжена с несвободой и чревата страданием.

В 1812 году Подростка ещё не было не свете. Можно, однако, предположить, что в его генетической памяти отложился наполеоновский опыт маленького камер-пажа.

С особой значительностью генерал сообщает князю Мышкину, что, служа у Наполеона, он оказался «свидетелем ночных слёз и стонов великого человека». Рассказчик безмерно горд, что был, так сказать, допущен в императорскую опочивальню: «этого уже никто не видел, кроме меня!»[2]. Он, очевидно, забыл, что туда уже проник взор автора «Войны и мира»: правда, пред этим взором открылась совсем иная картина.

Невозможно представить толстовского Наполеона плачущим — к примеру, в той самой спальне, где «камердинер, придерживая пальцем склянку, брызгал одеколоном на выхоленное тело императора». Толстовский Наполеон не удостоен страдания. И именно такой *бесстрастный* Наполеон захватывает воображение Болконского, Родиона Раскольникова.

Да, персонаж, на которого более всего хотел бы походить герой «Преступления и наказания», — это *толстовский* Наполеон. Это он «ставит поперек улицы хар-р-р-ошую батарею»; он «*тратит* полмиллиона людей в московском походе и отделывается каламбуром в Вильне».

Раскольников говорит, что для такого Наполеона не возникло бы вопроса — убивать или не убивать старуху-процентщицу — «если бы только не было ему другой дороги». В подобном случае «не только его не покоробило бы, но даже и в голову бы ему не пришло, что это не монументально». Важен не масштаб преступления, а внутренняя

[1] Унгерн-Штернберг — романтический разбойник, обитавший на одном из островов Балтийского моря и заманивавший мореплавателей на скалы, на верную погибель.

[2] Замечено, что никто не может выглядеть великим человеком в глазах своего лакея. Между тем оба служителя Наполеона (Рустам и Констан) оставили о нём панегирические воспоминания. Чего же в таком случае требовать от десятилетнего дитяти?

готовность *преступить*. Но этой-то несокрушимости и не обнаруживает мнительный петербургский теоретик: «Уж если я столько с ней промучился: пошёл ли бы Наполеон или нет? так ведь уж ясно чувствовал, что я не Наполеон...» Это *поражение* Раскольникова — залог его воскресения: «человеческое» в нём ещё не задавлено окончательно «наполеоновским».

Может быть, поэтому он догадывается кое о чём.

«Страдание и боль всегда обязательны для широкого сознания и глубокого сердца, — говорит Раскольников. — Истинно великие люди, мне кажется, должны ощущать на свете великую скорбь»[1].

Нетрудно указать источник. Это Екклезиаст: «Во многой мудрости много печали; и кто умножает познание, умножает скорбь» (1, 18). Для Толстого власть — это удаление от истины, для Достоевского — может быть, мучительное приближение к ней.

Толстовский Наполеон не ведает сомнений. Он, как сказал по другому поводу Герцен, klar im sich (ясен в самом себе).

Наполеон Достоевского — это Наполеон *Достоевского*. Ночные императорские слёзы, свидетелем которых становится десятилетний отрок, подтачивают всё сооружение: оно (как в случае со «слезинкой ребёнка»!) готово завалиться и рухнуть. «Наполеоновская идея» не выдерживает человеческих слёз. И сам носитель идеи, запертый в Московском Кремле, начинает испытывать «великую скорбь». Для Достоевского это сильнейший аргумент.

...Толстовский Наполеон — с его честолюбием и эгоцентризмом, с его пушками и маршалами — ясен Достоевскому и не особенно его занимает. Автору «Преступления и наказания» интереснее *претендент* — с его «страданием и болью», с его томлением между совестью и властью.

Можно предположить, что в сознании Раскольникова уже брезжит образ того Наполеона, о котором поведает генерал Иволгин.

В своей статье, написанной накануне убийства, Раскольников развивает мысль, что все «законодатели и установители человечества... все до единого были преступниками», ибо, водворяя новый закон на место ветхого, вольно или невольно проливали чужую кровь. Называются имена: Ликург, Солон, Магомет, Наполеон. Вряд ли Толстой согласился бы поместить французского императора в этот достойный ряд.

[1] Толстовского Наполеона сомнение постигает только однажды — на исходе Бородинской битвы: «дело это ему в первый раз, *вследствие неуспеха* представлялось ненужным и ужасным (курсив наш. — *И.В.*)». Для Раскольникова «дело» представляется таковым вследствие *успеха*.

Гений может позволить себе преступить через кровь. Это один порядок мироустройства. Но обсуждению подлежит и другой.

Подросток рисует следующую картину: «Мне нравилось ужасно представлять себе существо, именно бесталанное и срединное, стоящее перед миром и говорящее с улыбкой: вы Галилеи и Коперники, Карлы Великие и Наполеоны, вы Пушкины и Шекспиры, вы фельдмаршалы и гофмаршалы, а вот я — бездарность и незаконность, и всё-таки выше вас, потому что вы сами этому подчинились. Сознаюсь, я доводил эту фантазию до таких окраин, что похеривал даже самоё образование. Мне казалось, что красивее будет, если человек этот будет даже грязно необразованным. Эта, уже утрированная, мечта повлияла даже тогда на мой успех в седьмом классе гимназии; я перестал учиться именно из фанатизма: без образования будто прибавлялось красоты к идеалу».

Гениальность наказуема: где-то мы уже слышали об этом. Уж не читал ли Подросток один известный роман? Ибо в утопии нашего недоучившегося гимназиста названы знаменитые имена. Именно на них, Копернике и Шекспире, хотел бы поставить свой эксперимент провинциальный мечтатель по фамилии Шигалёв.

«— Первым делом понижается уровень образования, наук и талантов. Высокий уровень наук и талантов доступен только высшим способностям, не надо высших способностей. Высшие способности всегда захватывали власть и были деспотами. Высшие способности не могут не быть деспотами и всегда развращали более, чем приносили пользы; их изгоняют или казнят. Цицерону отрезывается язык, Копернику выкалывают глаза, Шекспир побивается камнями — вот шигалёвщина!»

Герой «Бесов» — убеждённый сторонник равенства, он — против высших способностей! В этом смысле он ярый отрицатель наполеоновской идеи. Можно ли, однако, на этом основании зачислять его в единомышленники Достоевского?

Наполеон Толстого никогда не встанет в один ряд с Пушкиным и Шекспиром. Достоевский без видимых усилий сопрягает эти имена: деспотизм «высших способностей» отнюдь не устрашает его!

Ибо неизвестно, что лучше — деспотизм таланта или равенство рабов. И, может быть, Наполеон менее ужасен, чем счастливая шигалёвская коммуналка?

Гений и злодейство — «вещи несовместные». «Великая скорбь», которую должен ощущать гений, — подтверждение этой пронзительной пушкинской догадки.

Наполеону нет места в фаланстере Шигалёва. Как, впрочем, нет в нём места ни Копернику, ни Шекспиру.

«Вредность», «ничтожность» старушонки — повод к её уничтожению для Раскольникова. Деспотизм и гениальность Наполеона — повод к его уничтожению для Шигалёва. Шигалёвщина — это теория Раскольникова наизнанку.

Достоевскому жалко и «старушонку», и Наполеона.

«Люди верят только Славе, — говорит Пушкин, — и не понимают, что между ими может находиться какой-нибудь Наполеон, не предводительствовавший ни одною егерскою ротою».

Мечтает ли 16-летний Достоевский о славе? Или ему достаточно сознания, что он — «человек необыкновенный»?

Смерть матери, гибель Пушкина, близкое уже расставание с домом — все эти события обрушиваются на него в первые месяцы 1837 года. У него вдруг пропадает голос — и нет рядом мужика Марея, который бы смог коснуться его онемелых губ.

(Что означает это изъятие *дара речи*: не весть ли о том, что служение начинается с поста?)

Он едет в Петербург — поступать в Инженерное училище — в самый разгар захватившей его духовной работы. Ему ещё нет 16-ти; он читает Жорж Санд и грезит Италией; он полон надежд и смутных предчувствий.

По дороге он наблюдает сцену: фельдфебель лупит по шее мужика-возницу. Впечатление глубоко врежется в сердце и отзовётся через много лет; пока же он сочиняет «роман из венецианской жизни».

Между тем возок подкатывает к столице — и в белёсом тумане уже различим шпиль Петропавловской крепости.

Жизнь в документах

Свидетельство о рождении

Брюсов календарь. 1709–1715

1821 <...> рождение великого принца <...>

Отроча рождшися между 14 днем октовриа и 14 ноемвриа <...> будет <...> человек скораго тела <...>. широкий великий лоб. <...> непригож образ чист и горд. <...> есть же он лутчий между братиями своими. <...> Болезни и немощь тела его есть <...> стенание главы <...>. смерть его <...> приключится <...> кровлением <...>. в службе Божии умрет и погребен будет. (*Первобытный Брюсов календарь. Факсимильное издание. Харьков, 1875. С. 11 (1-я пагин.), 9 (2-я пагин.).*)

Из Метрических книг Московской духовной консистории за 1821 год

Сретенского сорока[1], церкви Петра и Павла, что при больнице для бедных, тысяча восемьсот двадцать первого года, октября 30-го дня, родился младенец, в доме больницы для бедных, у штаб-лекаря Михаила Андреевича Достоевского, — сын Федор. — Молитвовал священник Василий Ильин, при нём был дьячок Герасим Иванов. Крещён месяца ноября 4-го дня; восприемниками были: штаб-лекарь надворный советник Григорий Павлов Маслович и княгиня Прасковья Тимофеевна Козловская; московский купец Фёдор Тимофеев Нечаев и купеческая жена Александра Федоровна Куманина. — Оное крещение совершал священник Ильин с причтом. (*Жизнь и труды... С. 23.*)

Л.Ф. ДОСТОЕВСКАЯ

<...> мой отец в течение всей её жизни был любимцем тётки Куманиной, которая была его крёстной матерью. (*Достоевский в изображении дочери... С. 95*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ (в передаче О.Ф. Миллера)

Григ<орий> Павл<ович> Маслович был муж двоюродной сестры нашей матушки; Фёд<ор> Тим<офеевич> Нечаев — отец матушки, а Алекс<андра> Фёдоров<на> Куманина — родная её сестра, — следовательно, все лица нам

[1] «Приходов в Москве 241. По управлению они разделены на 6 так называемых Сороков: Никитский, Сретенский, Китайский, Ивановский, Пречистенский и Замоскворецкий». (*Андроссов В.П. Статистическая записка о Москве. М., 1832. С. 114*).

родственные. — В каких же отношениях к нам была княгиня Козловская — не знаю. Вероятно, она была одна из многочисленных пациенток моего отца. (*Биография... С. 5.*)

Первые радости

ДОСТОЕВСКИЙ

Мы в семействе нашем знали Евангелие чуть не с первого детства. Мне было всего лишь десять лет, когда я уже знал почти все главные эпизоды русской истории из Карамзина, которого вслух по вечерам нам читал отец. Каждый раз посещение Кремля и соборов московских было для меня чем-то торжественным. У других, может быть, не было такого рода воспоминаний, как у меня. (*Дневник писателя, 1873.*)

Из черновых набросков к роману «Подросток». 22 марта 1875

<...> мечты детства (читал Карамзина, образы Сергия, Тихона[1]). (*ПСС, XVI. С. 329.*)

А.Г. ДОСТОЕВСКАЯ

С удовольствием вспоминаю <...> дни нашего пребывания в Москве <в 1867 г.>. Каждое утро мы отправлялись осматривать достопримечательности города: Кремлёвские соборы, дворец, Оружейную палату, дом бояр Романовых. <...> Побывали мы на Воробьёвых горах. Фёдор Михайлович, москвич по рождению, был отличным чичероне и рассказывал мне много интересного про особенности первопрестольной. (*Воспоминания. М., 1971. С. 135.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

Родители наши были люди весьма религиозные, в особенности маменька. Всякое воскресенье и большой праздник мы обязательно ходили в церковь к обедне, а накануне — ко всенощной. Исполнять это нам было весьма удобно, так как при больнице была очень большая и хорошенькая церковь. (*Воспоминания... С. 49.*)

Л.Ф. ДОСТОЕВСКАЯ

На Страстной неделе мой отец добросовестно исполнял религиозные обязанности, постился, ходил два раза в день в церковь и откладывал всякую литературную работу. Он любил также наше удивительное богослужение Страстной недели, в особенности светлую

[1] Сергия Радонежского и Тихона Задонского.

заутреню, изобилующую песнопениями, полными великой радости. Дети не бывают обычно на этой обедне, начинающейся в полночь и оканчивающейся в два или три часа ночи. Но мой отец хотел показать мне это дивное богослужение, когда мне едва исполнилось девять лет. Он поставил меня на стул, чтобы я могла лучше следить за богослужением, и, поднимая меня высоко на руках, объяснял мне смысл этих прекрасных обрядов. (*Достоевский в изображении дочери... С. 92.)*

ДОСТОЕВСКИЙ. Записки из Мертвого дома

Великопостная служба, так знакомая ещё с далёкого детства в родительском доме, торжественные молитвы, земные поклоны — всё это расшевеливало в душе моей далёкое-далёкое минувшее, напоминало впечатления ещё детских лет, и, помню, мне очень приятно было, когда, бывало, утром, по подмерзшей за ночь земле, нас водили под конвоем с заряженными ружьями в Божий дом. <...> Я припоминал, как, бывало, в детстве, стоя в церкви, смотрел я иногда на простой народ, густо теснившийся у входа и подобострастно расступавшийся перед густым эполетом, перед толстым барином или перед расфуфыренной, но чрезвычайно богомольной барыней, которые непременно проходили на первые места и готовы были поминутно ссориться из-за первого места. Там, у входа, казалось мне тогда, и молились-то не так, как у нас, молились смиренно, ревностно, земно и с каким-то полным сознанием своей приниженности.

Теперь и мне пришлось стоять на этих же местах, даже и не на этих; мы были закованные и ошельмованные <...>.

А.Г. ДОСТОЕВСКАЯ

<...> воспоминание от 2-х-летнего возраста сохранилось у Ф<ёдора> М<ихайловича> о том, как мать причащала его в их деревенской церкви, и голубок пролетел через церковь из одного окна в другое. (*Семинарий... С. 66.*)

ДОСТОЕВСКИЙ. Братья Карамазовы

Такие воспоминания могут запоминаться (и это всем известно) даже и из более раннего возраста, даже с двухлетнего, но лишь выступая всю жизнь как бы светлыми точками из мрака, как бы вырванным уголком из огромной картины, которая вся погасла и исчезла, кроме этого только уголочка.

О.Ф. МИЛЛЕР

Едва ли не самым ранним воспоминанием Ф. М. было, как однажды няня привела его, лет около трёх, при гостях в гостиную, заставила стать на колени перед образами и, как это всегда бывало на сон грядущий, прочесть молитву: «Все упование, Господи, на Тебя возлагаю. Матерь Божия, сохрани мя под кровом Своим». Гостям это очень понравилось, и они говорили, лаская его: «Ах, какой умный мальчик!» Воспоминание это врезалось в его память, молитву же ту он твердил всю жизнь и ею же напутствовал ко сну своих собственных детей. (*Биография... С. 5–6.*)

Л.Ф. ДОСТОЕВСКАЯ

<...> он <Достоевский> заходил <...> в нашу детскую, чтобы пожелать нам покойной ночи и благословить нас и прочитать с нами краткую молитву Богородице — ту же молитву, которую родители заставляли его читать в детстве. (*Достоевский в изображении дочери... С. 84.*)

ДОСТОЕВСКИЙ. Из набросков к «Житию великого грешника»

Первая исповедь: что у него <священника> там в ящичках и в чаше. Есть ли бог? (*ПСС. IX. С. 133.*)

Из подготовительных материалов к «Дневнику писателя». 1876

Я бы удивился, если б в Евангелии была пропущена встреча Христа с детьми и благословение детей. (*ПСС. XXII. С. 156.)*

Казённый дом

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

<...> отец наш, уже семейный человек, имевший в то время 4–5 человек детей, пользуясь штаб-офицерским чином, занимал квартиру, состоящую собственно из двух чистых комнат, кроме передней и кухни. При входе из холодных сеней, как обыкновенно бывает, помещалась передняя в одно окно (на чистый двор). В задней части этой довольно глубокой передней отделялось с помощью дощатой столярной перегородки, не доходившей до потолка, полутёмное помещение для детской. Далее следовал зал — довольно поместительная комната о двух окнах на улицу и трёх на чистый двор. Потом гостиная в два окна на улицу, от которой тоже столярною дощатою перегородкою отделялось полусветлое помещение для спальни родителей. Вот и вся квартира!

Обмеблировка была тоже очень простая. В зале стояли два ломберных стола (между окнами, хотя в карты у нас в доме никогда не игрывали). Помню, что такое беззаконие у нас случилось на моей памяти раза два, в дни именин моего отца. Далее помещался обеденный стол на средине залы и дюжины полторы стульев берёзового

дерева под светлою политурою и с мягкими подушками из зелёного сафьяна <...>. В гостиной помещался диван, несколько кресел, туалет маменьки, шифоньер и книжный шкаф. В спальне же размещались кровати родителей, рукомойник и два громадных сундука с гардеробом маменьки. (*Воспоминания... С. 22–23.*)

Из росписи жалованья штата Мариинской больницы

С 1 января 1815 г.

<...> лекарей 600 <руб.>

С 12 января 1833 г.

Лекарей старших 1200 <руб.>

(*Московская Мариинская больница для бедных. М., 1906. С. 131–132.*)

Л.Ф. ДОСТОЕВСКАЯ

Если государство и не оплачивало своих чиновников слишком щедро, то оно предоставляло им зато всё, что нужно было для беззаботной жизни. Так мой дед Михаил получал, кроме жалования, казённую квартиру. <...> Этот дом был расположен около госпиталя и был окружён садом. (*Достоевский в изображении дочери... С. 12–13.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

Стулья и кресла, по тогдашней моде, были громадных размеров, так что ежели сдвинуть два кресла, то на них легко мог улечься взрослый человек. Что же касается до диванов, то любой из них мог служить двухспальной кроватью. Вследствие этого, сидя на стульях, креслах или диванах, никоим образом нельзя было облокотиться на спинку, а надо было всегда сидеть как с проглоченным аршином. (*Воспоминания... С. 23.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ (в передаче О.Ф. Миллера)

В праздничные дни, в особенности в Святки, в той же гостиной иногда играли, при участии родителей, в карты — в короли, причём брат Фёдор, по юркости своего характера, всегда уловчался сделать какой-нибудь обман, в чём и бывал не раз уличаем. (*Биография... С. 9.*)

Л.Ф. ДОСТОЕВСКАЯ

<...> у моего отца были карие, чисто украинские глаза, а от матери он унаследовал добрую улыбку. Он был живее, страстнее и предприимчивее своего брата[1]. (*Достоевский в изображении дочери... С. 14*)

[1] Михаила.

Воспитание чувств

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

В полутёмной детской, которая расположена была в заду передней, помещались только старшие братья. Сестра Варя спала ночью в гостиной на диване. Что же касается до меня, а позднее до сестры Верочки, то мы, как младенцы, спали в люльках в спальне родителей. Няня же и кормилицы спали в тёмной комнатке, имевшейся при спальной родителей. (*Воспоминания... С. 24.*)

Л.Ф. ДОСТОЕВСКАЯ

Моя бабушка могла сама кормить лишь своего старшего сына Михаила, которого она особенно любила. Остальных детей кормили мамки, которых выбирали из среды крестьянок в окрестностях Москвы. (*Достоевский в изображении дочери... С. 14.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

<...> я невольно вспоминаю и двух других кормилиц: Варину, которую звали Катериной, и свою кормилицу — Лукерью. <...> Эти две бывшие кормилицы ежегодно (по преимуществу зимою) приходили к нам в гости раза по два. Приход их для нас, детей, был настоящим праздником. Они приходили из ближайших деревень всегда на довольно долгое время и гащивали у нас дня по два, по три. Как теперь рисуется в моих воспоминаниях следующая картина: одним зимним утром является к маменьке в гостиную няня Алёна Фроловна и докладывает: «Кормилица Лукерья пришла». Мы, мальчики, из залы вбегаем в гостиную и бьём в ладоши от радости. — «Зови её», — говорит маменька. И вот является лапотница Лукерья. Первым делом помолится иконам и поздоровается с маменькой; потом перецелует всех нас; мы же буквально повиснем у неё на шее; потом обделит нас всех деревенскими гостинцами в виде лепёшек, испечённых на пахтанье <...>. (*Воспоминания... С. 44.*)

ДОСТОЕВСКИЙ

Выражение «*обучиться языку*» особенно идёт к нам, русским, потому что мы, высший класс, уже достаточно оторваны от народа, то есть от живого языка (язык — народ, в нашем языке это синонимы, и какая в этом богатая глубокая мысль!). <...> Чтоб усвоить себе этот русский язык натуральнее, без особой надсадки и не по одной только науке <...> надо непременно ещё с детства перенимать его от русских нянек, по примеру Арины Родионовны, не боясь того, что она сообщит ребёнку разные предрассудки — о трёх

китах например (Господи! ну, как киты-то у него на всю жизнь останутся!); сверх того, не бояться простонародья и даже слуг, от которых так предостерегают родителей иные деятели. (*Дневник писателя. 1876. Июль – август.*)

В.П. АНДРОССОВ

Около половины всего народонаселения Москвы составляют дворовые и крестьяне, в числе которых 3/4 крепостного состояния. (*Статистическая записка о Москве. С. 63.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

Но вот наступают сумерки, приходит вечер. Маменька занимается в гостиной, папенька тоже в гостиной занят выпискою рецептов в скорбные листы (по больнице), которые ежедневно приносились ему массами, — а мы, дети, ожидаем уже в тёмной (неосвещённой) зале прихода кормилицы. Она является, усаживаемся все в темноте на стулья, и тут-то начинается рассказывание сказок. Это удовольствие продолжается часа по три, по четыре, рассказы передавались почти шёпотом, чтобы не мешать родителям. Тишина такая, что слышен скрип отцовского пера. И каких только сказок мы не слыхивали, и названий теперь всех не припомню; тут были и про «Жар-птицу», и про «Алёшу-Поповича», и про «Синюю Бороду», и про многое другое. Помню только, что некоторые сказки казались для нас очень страшными. (*Воспоминания... С. 44–45.*)

ДОСТОЕВСКИЙ

И вот, верите ли вы тому, что по всей земле русской чрезвычайно распространено знание Четьи-Минеи — о, не всей, конечно, книги, — но распространён дух её по крайней мере, — почему же так? А потому, что есть чрезвычайно много рассказчиков и рассказчиц о житиях святых. Рассказывают они из Четьи-Минеи прекрасно, точно, не вставляя ни единого лишнего слова от себя, и их заслушиваются. Я сам в детстве слышал такие рассказы прежде ещё, чем научился читать. Слышал я потом эти рассказы даже в острогах у разбойников, и разбойники слушали и воздыхали. Эти рассказы передаются не по книгам, а заучились изустно. В этих рассказах, и в рассказах про святые места, заключается для русского народа, так сказать, нечто покаянное и очистительное. (*Дневник писателя. 1877. Июль – август.*)

Л.Ф. ДОСТОЕВСКАЯ

Я предполагаю, что Достоевский не знал детских книг. В его юношеские годы ещё не было в России подобных книг, и восьми или

девяти лет он должен был уже начать читать великих писателей. (*Достоевский в изображении дочери... С. 91–92.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

Кстати, о сказках. В наше время, то есть во время нашего детства, были очень распространены так называемые лубочные издания сказок: про «Бову-королевича», «Еруслана Лазаревича» и т. п. Это были тетрадки в четвертушку, на серой бумаге, напечатанные лубочным способом или славянскими, или русскими буквами, с лубочными картинками вверху каждой страницы. Таковые тетрадки и у нас в доме не переводились. (*Воспоминания... С. 45.*)

ДОСТОЕВСКИЙ (в пересказе П. Быкова[1])

По старшинству я родился вторым, был прыток, любознателен, настойчив в этой любознательности, прямо-таки надоедлив — и даровит. Года в три, что ли, выдумал слагать сказки, да ещё мудрёные, пожалуй, замысловатые, либо страшные, либо с оттенком шутливости. Я их запоминал <...> (*Красная газета. 1925, 24 февраля, вечерний выпуск.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

Алёна Фроловна была, действительно, замечательная личность, и как я начинаю себя помнить, не только была в уважении у родителей моих, но даже считалась как бы членом нашего дома, нашей семьи. Она не была нашею крепостною, но была московская мещанка, и званием этим очень гордилась, говоря, что она не из простых. <...> С того времени, как я начинаю её помнить, ей было уже лет под пятьдесят. Она была для женщины довольно высокого роста и притом очень толста, так что живот её висел почти до колен. Ела она страшно много, но только два раза в день; чай же пила без хлеба в прикуску. <...> Никогда и никто не помнил, чтобы она засиживалась в кухне, объясняя это тем, что в кухне бывают различные разговоры, которые ей, как девице, слушать непристойно. Родители улыбались, слушая это, но сами были очень довольны такими поступками Алёны Фроловны. Обедала и ужинала она всегда в детской, куда ей приносили все кушанья прямо со стола нашего. (*Воспоминания... С. 24–25.*)

Из записной книжки А.Г. ДОСТОЕВСКОЙ

Нянька Алёна Фроловна, толстая, нестарая женщина, чрезвычайно любившая детей и их защищавшая от отца <...>. (*Лит. газета. 1986, 16 апреля.*)

---

[1] Источник малодостоверен.

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

Она <Алёна Фроловна> была девицей и называла себя «христовой невестой».<...>

Постов Алёна Фроловна строго не придерживалась, говоря, что она человек подневольный и что с неё за это не взыщется, но зато она почитала страшным грехом есть что-нибудь без хлеба. По её мнению, только кашу, и то гречневую, да пироги можно есть без хлеба; но при этом прибавляла, что греха большого не будет, ежели ошибкою поешь каши и пирога с хлебом. — «Ты, батюшка, откуси сперва хлебца, а потом возьми в рот кушанье... так Бог велел!» — Это было всегдашнее её поучение. Помню, что я, бывши уже почти готовым к общему столу, евши суп или щи, заявил ей своё мнение, что я покрошу хлеб в суп и буду так есть. На это она сказала: «Ты покрошить-то покроши, оно вкусно будет; а в ручку-то всё-таки возьми хлеба и употребляй, как всегда, а то грешно будет, значит, ты пренебрегаешь хлебом...» (*Воспоминания... С. 25–26.*)

А.Г. ДОСТОЕВСКАЯ

О своей няне Алёне Фроловне часто любил вспоминать Федор Михайлович с благодарным чувством и рассказывал о ней своим детям. (*Семинарий... С. 64.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

Почти ежегодно ей кидали кровь, и день, в который это совершалось, был самым постным для Фроловны днём, потому что в этот день сам папенька следил за питанием Фроловны, и после этого она всегда говаривала, что *она исчезает*, желая высказать этим, что она похудела и отощала. Выражение это впоследствии сделалось обычным её ответом на вопрос о здоровье. «Что, Фроловна, как поживаешь?» — спросит её кто-нибудь из гостей. — «Да что, батюшка (или матушка), — отвечала она всегда, — совсем исчезаю!» — И при этом начинала смеяться, колыхаясь всем своим грузным телом. (*Воспоминания... С. 27.*)

ФЕДОР и АНДРЕЙ ДОСТОЕВСКИЕ — М.Ф. ДОСТОЕВСКОЙ. 9 мая 1835. Москва

Жалко Алёну Фроловну, она так страдает, бедная, скоро вся исчезнет от чахотки, которая к ней пристала. (*ПСС, XXVIII. I. С. 32.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

Время от времени с няней по ночам случались оказии — она во сне начинала кричать. Не знаю, как и выразиться, — это не был крик, а какой-то неистовый вой. И тогда-то отец должен был сам вставать с постели, и насилу-насилу удавалось ему привести в сознание Фроловну. На другой день всегда, бывало, отец спрашивает: «Что это опять приключилось с тобою ночью, Фроловна?» — «Да что, Михайло Андреевич, опять домовой душил, такой страшный, с рогами» и т. д. — «Да ты бы, Фроловна, поменьше ела за ужином», — говорил папенька. — «Пробовала по вашему совету, батюшка, — отвечала она, — да ещё хуже... всё цыганы снятся, и всю ночь не спится... более всё ходишь». — «Ну, уж как себе хочешь, — отвечал папенька, — но предупреждаю тебя, ежели опять завоешь, я велю выпустить из тебя фунта три крови!» (*Воспоминания... С. 27.*)

ДОСТОЕВСКИЙ

Была она <Алёна Фроловна> тогда лет сорока пяти, характера ясного, весёлого, и всегда нам рассказывала такие славные сказки! (*Дневник писателя. 1876. Апрель.*)

Обстоятельства места: порфироносная вдова

ДОСТОЕВСКИЙ

Вот затем несколько зданий — больниц, институтов и даже дворцов первых и десятых годов нашего столетия — это стиль времени Наполеона Первого — огромно, псевдовеличественно и скучно до невероятности <...>. (*Дневник писателя. 1873.*)

Из послужного списка М.А. ДОСТОЕВСКОГО. 1832[1]

По Высочайшему Её Императорского Величества в Бозе почивающей Императрицы Марии Федоровны соизволению определён Московского Воспитательного дома в больницу для бедных (что ныне Мариинская) на вакансию лекаря, при отделении приходящих больных женского пола. . . . . .1821 г. марта 24

(*В семье и усадьбе... С. 126.*)

Докладная записка вдовствующей императрицы МАРИИ ФЁДОРОВНЫ АЛЕКСАНДРУ I. 31 января 1803

По истине и сущей справедливости первыми предметами благотворения Воспитательного дома, после несчастнорождённых младенцев, должны быть те, в которых соединено убожество

[1] «Хранился в архиве Мариинской больницы до 1919 г.; при ликвидации части архива документ случайно попал в руки служащего И.Я. Смарина. Последний передал его в 1932 г. в Музей Достоевского». (Примеч. В.С. Нечаевой в кн.: В семье и усадьбе... С. 151.)

с изнеможением и невинностью. Таковые суть: страждущие болезнями и ранами, день от дня более вкореняющимися от единого недостатка во врачебных способах, или овдовевшие, с многочисленным семейством и без достаточного при старости своей пропитания, остальные свои дни в горести, слезах и забвении проводящие. (*Историческая записка о Московской Мариинской больнице для бедных. М., 1880, С. 3.*)

АЛЕКСАНДР I — императрице МАРИИ ФЁДОРОВНЕ. 1 февраля 1803. Петербург

Мне не остаётся более как просить Ваше Императорское Величество, приняв искреннюю и чувствительную мою благодарность, привести в исполнение столь полезные намерения Ваши, пребывая навек Вам преданный сын

Александр.
(*Ист. записка... С. 4.*)

АНОНИМ

Если ж когда-либо найдётся между нами тот жестокий, неблагодарный, который осмелится забыть, чем была для Россиян МАРИЯ: то <...> беспомощные страдальцы, изнурённые тягостнейшими болезнями, от коих не надеялись избавления, — в благотворной деснице Ея обретшие покой, отраду и исцеление <...> благодарственными кликами своими заглушат дерзновенного <...>. (*Жизнь в Бозе почиющей Государыни Императрицы Марии Феодоровны. М., 1829. Ч. 2. С. 3.*)

Из проекта учреждения больницы для бедных. 1803

Всякого состояния, пола и возраста и всякой нации бедный и неимущий, будучи болен, может явиться или кем приведён быть в оную больницу и в оную принят будет.

Примечание. Бедным и неимущим в сем случае разумеется тот, который не может иметь в болезни за собою надлежащего присмотра, не знает лекаря, который бы ему помог, и заплатить за лекарство не в состоянии. (*Ист. записка... С. 155.*)

АНОНИМ

Из сей благодетельной больницы выдают безденежно лекарства неимущим и с приветливым вниманием, объясняют, как должно оные употреблять. (*Жизнь Марии Феодоровны. Ч. 2. С. 43.*)

Обстоятельства места: отступление в 1812 год[1]

Рескрипт императрицы МАРИИ ФЁДОРОВНЫ. 9 августа 1812. Петербург

Больница для бедных остаётся в прежнем положении и действии под управлением главного лекаря до излечения всех тех лежачих больных, которые при вступлении неприятеля тут находиться будут, и на то снабдить главного лекаря достаточною по примерному исчислению суммою. <...> Остающимся при больнице строго подтвердить в оное критическое время наиточнейшее и беспрекословное повиновение главному лекарю, который иметь будет право удалить нерадеющих о своей должности и нарушающих порядок, а других представить к награждению при возвращении мира. (*Ист. записка... С. 42.*)

Всеподданнейшее донесение Московской больницы для бедных главного лекаря ХРИСТОФОРА ОППЕЛЯ императрице МАРИИ ФЁДОРОВНЕ. 15 октября 1812. Москва

<...> дни смятения, ужаса и отчаяния во всё время, как от пламени, почти всю Москву в глазах наших пожиравшего, так и от прочих многочисленных, словами неизобразимых бедствий, останутся в душах наших вечно неизгладимы. (*Чтения в Обществе истории и древностей Российских, 1860, № 2. С. 187.*)

ДОСТОЕВСКИЙ. Братья Карамазовы

<Смердяков:>

— В двенадцатом году было на Россию великое нашествие императора Наполеона французского первого, отца нынешнему[2], и хорошо, кабы нас тогда покорили эти самые французы: умная нация покорила бы весьма глупую-с и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки-с.

Всеподданнейшее донесение главного лекаря Х. ОППЕЛЯ. 15 октября 1812. Москва

<...> больница бедных действие своё продолжать могла только до 4-го числа Сентября, ибо с сего времени начали уже поступать в оную разные из Французских войск больные, число коих ежедневно умножалось до того, что, наконец, оставшиеся бедные больные <...> всего 132 человека, Французским правительством отправлены в Екатерининскую больницу, оставя их там без всякого про-

[1] Впрочем, тема этой главки могла бы быть обозначена одним исчерпывающим военно-политическую ситуацию словом: *отступление*.

[2] «Нынешний» — Наполеон III, племянник разорителя Москвы.

питания и призрения <...> и что с ними потом случилось, мне неизвестно. После чего больница бедных, яко организованное и всеми чинами снабдённое место, к общему прискорбию нашему, вся обращена была во Французскую военную гошпиталь, в коей более 300 человек всегда находилось, пользование коих нам же предоставлено было и всякий из служащих остался на своём месте <...>.

28-го Сентября[1] Французское правительство, видя больницу бедных благоустроенною, особенно её назначило для 4-го корпуса <...>. Генерал Нарбон осматривал также нашу больницу и, выхваляя нас и труды наши, объявил нам, что он не преминёт тот же вечер о нас и о нашем о Французских больных попечении донести Императору Наполеону и что нам непременно жалование определено будет; но всякий из медицинских чиновников, верноподданейшим усердием исполнен, помня долг чести и присяги, гнушался оным, почему я, именем всех, благодаря его за то, от оного отрицался, представляя, что мы, по нашему месту и настоящей службе, жалованье имеем и иного ни от кого не желаем <...>.

Мраморный бюст Ея Императорского Величества, всемилостивейшей нашей Государыни, перенесли мы из Александровского института в больницу <...>. (*Чтения в Обществе истории и древностей Российских, 1860. № 2. С. 185, 189, 192.*)

Аббат СЮРЮГ, настоятель католической церкви святого Людовика на Малой Лубянке — своему другу аббату Д.К. НИКОЛЮ. 10 ноября 1812. Москва

5-го числа <сентября 1812 г.> огненное море наполнило всю атмосферу Москвы; волны пламени, гонимые ветром и похожие на волны морские во время сильной бури <...>. Это был огненный потоп. Нужно было самому видеть это зрелище, чтобы составить себе о нём понятие. (*Рус. архив. 1882. № 4. С. 201.*)

НАПОЛЕОН. Из мемуаров, продиктованных О. МЕАРУ на острове Святой Елены

Это было огненное море, небо и тучи казались пылающими, горы красного крутящегося пламени, как огромные морские волны, вдруг вскидывались, подымались к пылающему небу и падали затем в огненный океан. О! это было величественнейшее и самое устрашающее зрелище, когда-либо виданное человечеством!!! (*Моск. летописец. М., 1988. Вып. 1. С. 65.*)

[1] В документе ошибочно: «Октября».

Н.С. СОКОЛОВ. Он. 1850

Кипел, горел пожар московский,
Дым расстилался по реке,
На высоте стены кремлёвской
Стоял Он в сером сюртуке.

Он видел огненное море.
Впервые полный мрачных дум,
Он в первый раз постигнул горе,
И содрогнулся гордый ум!

Всеподданнейшее донесение главного лекаря Х. ОППЕЛЯ. 15 октября 1812. Москва

Страх наш в течение нашего несчастия тем более усугублялся, что Французы, вокруг нас стоящие, как и везде, без разбору места раскладывали огонь, с свечами без всякой осторожности ходили по конюшням, повсюду поступали в сем случае не только самовольно, но и злодейски. Единое милосердое Провидение нас от пожара охранило, ибо вся бдительность наша не была бы достаточна. (*Чтения в Обществе истории и древностей Российских. 1860. № 2. С. 190.*)

А.Е. ЕГОРОВ

Картина была полна страшного эффекта, особенно ночью. <...> Огромное пространство небосклона было облито ярко-пурпурным цветом, составлявшим как бы фон этой картины. По нём крутились и извивались какие-то змеевидные струи светло-белого цвета. Горящие головни различной величины и причудливой формы и раскалённые предметы странного и фантастического вида подымались массами вверх и, падая обратно, рассыпались огненными брызгами. (*Рус. старина. 1882. № 17. С. 345.*)

Аббат СЮРЮГ — Аббату НИКОЛЮ. 10 ноября 1812. Москва

Большое число их <москвичей> <...> приютились в госпиталях, до которых ещё не добрался огонь. (*Рус. архив. 1882. № 4. С. 201*)

Всеподданнейшее донесение главного лекаря Х. ОППЕЛЯ. 15 сентября 1812. Москва

Бесчисленному в то время стечению народа в больницу дал я в ограде оной убежище от пожара, грабежа и насилий <...>. (*Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1860. № 2. С. 186.*)

А.Е. ЕГОРОВ

Самый искусный пиротехник не мог бы придумать более прихотливого фейерверка, чем Москва — это сердце России, — объятая пламенем. <...> Впе-

чатление, производимое на сельчан этой картиною, увенчанною к тому же серебристым отблеском кометы с её длинным хвостом, было необычайное: женщины плакали навзрыд, мужчины бранили всех — и Бонапарта (так называл народ Наполеона), и русских вождей, говоря: «Как можно было допустить до этого матушку-Москву белокаменную? Зачем наши не дрались на Поклонной горе, не задержали его?» (*Рус. старина. 1882. № 17. С. 345.*)

Всеподданнейшее донесение главного лекаря Х. ОППЕЛЯ. 15 октября 1812. Москва

С 4-го числа Октября начали они <французы> больных своих, по причине приближения Казаков, выводить <...> а *6-го* занимались этим чрез всю ночь, покинув у нас до 40 человек, из числа коих теперь ещё в больнице находятся вообще 35-ть. По выходе больных, наша опасность и страх тем более ещё увеличились, что мы остались без военной защиты в поле <...> везде видимы были только пьяные и самовольные люди и вокруг беспрерывная стрельба. Поутру *8-го числа* увидали мы, благодаря Всевышнего, первого Казака, чрез больницу проскакавшего; но Французский пехотный отряд, нечаянно появившийся, усмотрев его, начал по нём стрелять. Казак ускакал, но, к общему нашему сожалению, Штаб-Лекарь Девитте, идя в больницу, в то самое время был подстрелен от них сквозь оба бедра пулею навылет и повержен на землю. (*Чтения в Обществе истории и древностей. Российских. 1860. № 2. С. 191.*)

ДОСТОЕВСКИЙ. Преступление и наказание

<Раскольников:>

«Нет, те люди не так сделаны: настоящий *властелин*, кому всё разрешается <...> *тратит* полмиллиона людей в московском походе и отделывается каламбуром в Вильне; и ему же по смерти ставят кумиры, — стало быть, и *всё* разрешается. Нет, на этаких людях, видно, не тело, а бронза!»

Аббат СЮРЮГ — Аббату НИКОЛЮ. 10 ноября 1812. Москва

Уходя из Москвы, французы оставили на великодушие Русского правительства две тысячи раненых, которых не могли отправить с обозами. Когда армия удалилась, им тотчас было объявлено, что они военнопленные. (*Рус. архив. 1882. № 4. С. 201.*)

Всеподданнейшее донесение главного лекаря Х. ОППЕЛЯ. 15 октября 1812. Москва

Хотя, благодарение Богу, заведение оное общим нашим старанием и неусыпным бдением осталось в целости, но при всём том от потери некоторого количества казённого имущества избежать было невозможно <...>. Казённые лошади были уведены драгунами Итальянскими с телегами и збруею, и вопреки приказанию Французского Коменданта, больницу бедных, яко военную их гошпиталь, иметь в уважении и неприкосновенности, и невзирая также на охранительные билеты и бумаги, делали всякого рода насилия. <...> 28-мь наших байковых одеял пропали. (*Чтения в Обществе истории и древностей Российских. 1860. № 2. С. 185–186, 190.*)

А.И. ГЕРЦЕН. Былое и думы

Я ещё как сквозь сон помню следы пожара, оставшиеся до начала двадцатых годов, большие обгорелые домы, без рам, без крыш, обвалившиеся стены, пустыри, огороженные заборами, остатки печей и труб на них.

Рассказы о пожаре Москвы, о бородинском сражении, о Березине, о взятии Парижа были моей колыбельной песнью, детскими сказками, моей Илиадой и Одиссеей. (*Полярная звезда на 1856 год. Кн. 2. С. 51.*)

«Благодарим! Благодарим...»

АНОНИМ

В бытность свою в древней Русской Столице, сама общая Матерь всех сирот и вдов, *Императрица* МАРИЯ ФЕОДОРОВНА неоднократно посещала сию больницу и присутствием своим у одра больных приносила им отраду и новое существование. (*Жизнь Марии Феодоровны. Ч. 2. С. 43.*)

Посещение Мариинской больницы Высочайшими особами

<...> в 1826 <...> Императрица Мария Фёдоровна.
<...> Император Николай Павлович.
(*Московская Мариинская больница для бедных. С. 95.*)

Г.А. ФЁДОРОВ. Из разысканий о московской родне Достоевского

В 1826 г. городскому голове[1] выпадает честь принимать в коронацию императора. <...> При въезде императора в древнюю столицу Куманин с московским купечеством встречал его хлебом-солью на золотом блюде стоимостью в 15 тысяч рублей.

[1] К.А. Куманин, сын московского городского головы 1812 года, старший брат А.А. Куманина — дяди Достоевского.

<...> он во главе депутатов от Думы участвует в коронационном шествии в Кремле. (*Мат. и иссл. 2. С. 68.*)

А.И. ГЕРЦЕН. Былое и думы

Отпраздновавши казнь, Николай сделал свой торжественный въезд в Москву. Я тут видел его в первый раз; он ехал верхом возле кареты, в которой сидела вдовствующая императрица и молодая. (*Полярная звезда на 1856 год. Кн. 2. С. 91.*)

А.И. ГЕРЦЕН. К нашим

Победу Николая над пятью торжествовали в Москве молебствием. Середь Кремля митрополит Филарет благодарил Бога за убийства. Вся царская фамилия молилась, около неё сенат, министры, а кругом на огромном пространстве стояли густые массы гвардии, коленопреклонённые, без кивера, и тоже молились; пушки гремели с высот Кремля. (*Полярная звезда на 1855 год. Кн. I. С. 228.*)

Г.А. ФЁДОРОВ

Куманин удостоился беседы с императором. Коронационные торжества завершились грандиозной иллюминацией с финальным букетом в 140 тысяч ракет и световой декорацией работы П. Гонзаго с транспарантом «Успокоителю отечества Николаю Первому».

Отъезд императора из Москвы был отмечен новым (совместно с братом Александром) взносом, за что К.А. Куманин пожалован бриллиантовым перстнем. (*Мат. и иссл. 2. С. 68.*)

А.И. ГЕРЦЕН. К нашим

Никогда виселицы не имели такого торжества. Николай понял важность победы!

Мальчиком четырнадцати лет, потерянным в толпе, я был на этом молебствии, и тут, перед алтарём, осквернённым кровавой молитвой, я клялся отомстить казнённых и обрекал себя на борьбу с этим троном, с этим алтарём, с этими пушками. (*Полярная звезда на 1855 год. Кн. 1. С. 228.*)

Из дневника А.И. ТУРГЕНЕВА. 4 января 1837

М<ария> Ф<едоровна> на коленях умоляла сына о помиловании

Примечание П.Е. Щеголева. Речь идёт, очевидно, о помиловании декабристов, приговорённых к смертной казни. (*Дуэль и смерть Пушкина. М., 1987. С. 242, 508.*)

В.А. ЖУКОВСКИЙ. У гроба Государыни Императрицы МАРИИ ФЕОДОРОВНЫ в ночь накануне Её погребения. 12 ноября 1828

Благодарим! Благодарим
Тебя за жизнь Твою меж нами!
За трон Твой, царскими делами
И сердцем благостным Твоим
Украшенный, превознесенный!<...>
За благодать, с какою Ты
Спешила в душный мрак больницы,
В приют страдающей вдовицы
И к колыбели сироты!..

(*Жизнь Марии Феодоровны, ч. 2. С. 73.*)

Из истории больницы

В память Августейшей Основательницы (указом от 28-го ноября <1828 г.>) больницам для бедных в обеих столицах повелено присвоить имя Мариинских, вследствие чего на фронтоне Московской больницы была сделана итальянцем Кампиони новая надпись из медных вызолоченных букв, стоившая 400 руб. (*Московская Мариинская больница для бедных. С. 37.*)

Труды и дни

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

Вставали утром рано, часов в шесть. В восьмом часу отец выходил в больницу, или в Палату, как у нас говорилось. В это время шла уборка комнат, топка печей по зимам и проч. В девять часов утра отец, возвратившись из больницы, ехал сейчас же в объезд своих довольно многочисленных городских пациентов, или, как у нас говорилось, «на практику». В его отсутствие мы, дети, занимались уроками. В более же позднее время два старшие брата бывали в пансионе. Возвращался отец часов около 12-ти, а в первом часу дня мы всегда обедали. <...>

В четыре часа дня пили вечерний чай, после которого отец вторично шел в Палату к больным. Вечера проводились в гостиной, освещённой двумя сальными свечами. Стеариновых свечей тогда ещё не было и в помине; восковые же жглись только при гостях и в торжественные семейные праздники. Ламп у нас не было, отец не любил их, а у кого они и были, то освещались постным маслом, издававшим неприятный запах. Керосину и других гарных масел тогда не было ещё и в помине. <...> В 9 часов вечера, не раньше не

позже, накрывался обыкновенно ужинный стол, и, поужинав, мы, мальчики, становились перед образами, прочитывали молитвы и, простившись с родителями, отходили ко сну. — Подобное препровождение времени повторялось ежедневно. (*Воспоминания... С. 45–47.*)

В.М. КАЧЕНОВСКИЙ

<...> мы, дети, спешили в тенистый сад Больницы и вмешивались в группы играющих детей местных медиков и служащих. Как теперь помню в их числе двух белокурых мальчиков; один из них был немного старше меня, другой — лет на пять. Для игры они выбирали себе более подходящих по возрасту товарищей и становились их руководителями. Авторитет их между играющими был заметен и для меня, ребёнка. Эти дети были Фёдор и Михаил Достоевские... Прошло года два, в течение которых я ближе сошёлся с обоими братьями, которые мне и сообщили, что они уже учатся в пансионе. (*Моск. ведомости. 1881, 31 января.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

В больнице, кроме нас, было много жильцов, т. е. докторов и прочих служащих. Но замечательно, что детей, нам сверстников, ни у кого не было. <...> А потому мы поневоле должны были довольствоваться только играми между собою, которые и были очень однообразны. <...> присутствие больных нисколько не стесняло наших прогулок, так как больные вели себя очень чинно. Нам же, равно как и няне, строго было запрещено приближаться к ним и вступать с ними в какие-либо разговоры. (*Воспоминания... С. 49–50.*)

А.И. САВЕЛЬЕВ

Сострадание к бедным и беззащитным людям у Ф<ёдора> М<ихайло вича> могло в нём родиться с летами очень рано, по крайней мере в детстве, когда он жил в доме своего отца, в Москве, который был доктором в больнице для бедных, при церкви Петра и Павла. Там ежедневно Фёдор Михайлович мог видеть перед окнами отца, во дворе и на лестнице бедных и нищих и голытьбу, которые сбирались к больнице, сидели и лежали, ожидая помощи. (*Рус. старина. 1918. № 1–2. С. 16.*)

АНОНИМ

По уединённому своему местоположению, она (Мариинская больница) со всех сторон окружена чистым воздухом. При ней обширный и прекрасный сад: прогуливаясь в нём, выздоравливающие укрепляют силы свои и наслаждаются видом пленительной зелени и зрелищем ясного неба. (*Жизнь Марии Феодоровны. Ч. 2. С. 42.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ (в передаче О.Ф. Миллера)

В больничном саду прогуливались также и больные, или в суконных верблюжьего цвета халатах или в летних тиковых, смотря по погоде, но всегда в белых как снег колпаках, вместо фуражек, и в башмаках или туфлях без задков. Брат Фёдор очень любил, как-нибудь украдкою, вступать в разговоры с этими больными, в особенности ежели попадались мальчики; но это строго преследовалось, и отец был весьма недоволен, ежели до него доходили об этом слухи. (*Биография... С. 12.*)

О.Ф. МИЛЛЕР

Если <...> никто не ходил к ним из сверстников, то это, вероятно, происходило от строгой разборчивости и мнительности родителей, особенно отца, в таком деле, как выбор приятелей. Сам Ф.М. рассказывал, что он постоянно стремился иметь их, но это ему не давалось вследствие крайней его обидчивости. (*Биография... С. 25.*)

Л.Ф. ДОСТОЕВСКАЯ

Позже, когда мой отец приезжал из Петербурга в Москву, он виделся только с роднёй. У него там не было ни одного друга детства, ни одного старого отцовского приятеля, которых он мог бы навестить. (*Vie de Dostoiewsky... P. 29.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

Когда же, изредка, случалось, что <...> родители выедут из дому вечером в гости, то наши детские игры делались более шумными и разнообразными. Это случалось вовсе не оттого, что мы, дети, стеснялись в своих играх присутствием родителей, но оттого, что прислуга наша, конечно, стеснялась ими. С отъездом же родителей начиналось пение песен, затем начинались хороводы, игры в жмурки, в горелки и тому подобные увеселения, каковым способствовала наша большая зала и каковых при родителях не бывало. Но, впрочем, отсутствие родителей никогда не бывало продолжительным; в 9–10 часов вечера они непременно уже возвращались. Мы же постоянно на другой день сообщали маменьке, с которою, конечно, были более откровенны, о вчерашних играх во время их отсутствия; и я помню, что маменька, бывало, говаривала, уезжая: — «Уж ты, Алёна Фроловна, позаботься, чтобы дети повеселились». (*Воспоминания... С. 47.*)

Литератор И.Г. ПРЫЖОВ, участник «нечаевского дела»

Отец мой служил в Московской Мариинской больнице вместе с своим добрым приятелем, доктором Достоевским, отцом покойного Ф.М. Досто-

евского. Последнего помню немного, когда мне было еще лет шесть-семь. Итак, из Мариинской больницы суждено идти в Сибирь двоим, Достоевскому и мне. Не знаю, есть ли ещё такая счастливая больница! (*Минувшие годы. 1908. № 2. С. 52.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

Я уже говорил неоднократно, что брат Фёдор был слишком горяч, энергично отстаивал свои убеждения и вообще был довольно резок на слова. При таких проявлениях со стороны брата папенька неоднократно говаривал: «Эй, Федя, уймись, не сдобровать тебе... быть тебе под красной шапкой!» (*Воспоминания... С. 71.*)

Марьина роща

В.А. ЖУКОВСКИЙ. Марьина роща. 1809

Проезжая по Троицкой дороге, взойдите на Мытищинский водовод — вправе представится глазам вашим синеющий лес; там, где прозрачная река Яуза одним изгибом своим прикасается к роще и отражает в тихих волнах и древние сенистые дубы, и бедные хижины, рассыпанные по берегам её <...>.

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

В летнюю пору в домашнем препровождении времени появлялись некоторые разнообразия, а именно, совершались вечерние семейные прогулки. Дом Московской Мариинской больницы находился на Божедомке, между зданиями двух институтов: Екатерининского и Александровского, и в недальнем расстоянии от Марьиной рощи. Эта роща была всегдашнею целью наших летних прогулок. Часу в седьмом вечера, когда палящая жара уже спадает, мы все, дети с родителями, и по большей части с другими обитателями Мариинской больницы <...> отправлялись на эту прогулку. Проходя мимо часового, стоявшего неизвестно для каких причин при ружье и в полной солдатской форме у ворот Александровского института, принято было за непременную обязанность подавать этому часовому грош или копейку. Но подача эта делалась не в руку, а просто бросалась под ноги. Часовой находил удобный случай нагнуться и поднять копейку. Это вообще было в обычае у москвичей того времени. Прогулки происходили весьма чинно, и дети даже за городом, в Марьиной роще, не позволяли себе поразвлечься, побегать. Это считалось неприличным и допускалось только в домашнем саду. (*Воспоминания... С. 48.*)

А.И. ПОЛЕЖАЕВ. Сашка. 1825

Деру «завесу чёрной нощи»
С прошедших, милых сердцу дней
И вижу: в Марьиной мы роще
Блистаем славою своей!
Ермолки, взоры и походка —
Всё дышит жизнью и поёт;
Табак, ерофа, пиво, водка
Разит, и пышет, и несёт...
Идём, волнуясь величаво, —
И все дорогу нам дают,
А девки влево и направо
От нас со трепетом бегут.

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

В прогулках этих отец всегда разговаривал с нами, детьми, о предметах, могущих развить нас. Так помню неоднократные наглядные толкования его о геометрических началах, об острых, прямых и тупых углах, кривых и ломаных линиях, что в московских кварталах случалось на каждом шагу. (*Воспоминания... С. 48.*)

М.А. ДМИТРИЕВ. Марьина роща. 1847

В Марьиной роще, где нынче гулянье, тут было кладбище:
Тут чужеземцы лежат, и видны могильные камни.
Надписи стёрты давно; а на них православный пирует,
Не заботясь, чей сон он разгульною песнею будит,
Ганса ли, Книпса тревожит он слух, Таверньe иль Лефорта!

Немцы же, слыша сквозь сон песни и клики цыганок,
Лежа в потёмках, ворчат и выводят свои заключенья!
В полночь и можно бы встать мертвецам, посмотреть да разведать;
Но далёко за полночь гуляет народ! — И выводят
Важные немцы в потёмках — Бог знает что, a priori!

А.С. ПУШКИН. Путешествие из Москвы в Петербург. 1835

Бывало, богатый чудак <...> выедет в Марьину Рощу в карете из кованого серебра 84-й пробы.

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ (в передаче О.Ф. Миллера)

Раз нам удалось видеть, на каком-то гулянье, бегуна, который за деньги показывал своё искусство бегать. При этом он во рту держал

конец платка, напитанного каким-то спиртным веществом. Я помню, что брат Фёдор долгое время представлял такого бегуна и неутомимо бегал по садовым аллеям, держа во рту тоже конец носового своего платка. (Это, вероятно, объясняется тем, что Ф<ёдор> М<ихайлович>, по его собственным словам, любил в детстве выказываться силою, ловкостью и т. п.) (*Биография... С. 12.*)

А.И. ПОЛЕЖАЕВ. Сашка. 1825

Идём... и горе тебе, дерзкий,
Взглянувший искоса на нас!
«Молчать! — кричим, насупясь зверски, —
Иль выбьем потроха тотчас!» <...>
Кричим, поём, танцуем, свищем —
Пусть дураки на нас глядят!
Нам всё равно: хвалы не ищем,
Пусть как угодно говорят!

«Если б исчезла земля...» (круг чтения)

О.Ф. МИЛЛЕР

Фёдор Михайлович вспоминал также, что держали их строго и рано начинали учить. Его уже четырнадцатилетним сажали за книжку и твердили: «учись!», а на воздухе было так тепло, хорошо, так и манило в большой и тенистый больничный сад! Зато когда отец уезжал на практику, мать отпускала деток на волю. (*Биография... С. 6.)*

Из записной книжки А.Г. ДОСТОЕВСКОЙ

Для Мих<аила> и Фёдора Мих<айловичей> была тёмная комната, учились они в зале, где и сидели, уткнувши носы в свои книги. Но лишь только отец уезжал на практику, то бросали книги и шли к матери, которая всегда сидела в гостиной, и там все садились за круглый стол, дети читали что-нибудь вслух, а мать работала. (*Лит. газета. 1986, 16 апреля.*)

Л.Ф. ДОСТОЕВСКАЯ

Моя бабушка Мария обнаруживала живой интерес к чтению её детей. (*Достоевский в изображении дочери... С. 14.*)

ДОСТОЕВСКИЙ. Из набросков к «Житию великого грешника»

Первая исповедь. Гадливость: есть ли Бог. Библия и чтение. (*ПСС. IX. с. 128.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

Первою книгою для чтения была у всех нас одна. Это Священная история Ветхого и Нового завета на русском языке <...>. Она называлась собственно: «Сто четыре священных истории Ветхого и Нового завета». При ней было несколько довольно плохих литографий: Сотворения мира. Пребывание Адама и Евы в раю, Потопа и прочих главных священных фактов. Помню, как в недавнее уже время, а именно в 70-х годах, я, разговаривая с братом Фёдором Михайловичем про наше детство, упомянул об этой книге; и с каким он восторгом объявил мне, что ему удалось разыскать этот же самый экземпляр книги (т. е. наш детский) и что он бережёт его как святыню. (*Воспоминания... С. 63.*)

ДОСТОЕВСКИЙ. Братья Карамазовы

<Зосима:>

К воспоминаниям же домашним причитаю и воспоминания о священной истории, которую в доме родительском, хотя и ребёнком, я очень любопытствовал знать. Была у меня тогда книга, священная история, с прекрасными картинками, под названием «Сто четыре истории Ветхого и Нового завета», и по ней я и читать учился. И теперь она у меня здесь на полке лежит, как драгоценную память сохраняю.

Из записной тетради 1875–1876 гг.

Если б когда исчезла земля, конечно Библия. Все характеры. Читать детям. (*Лит. наследство. Т. 83. С. 393.*)

К.М. ДОСТОЕВСКИЙ

В это время к нам ходили на дом два учителя. Первый — это дьякон, преподававший Закон Божий. <...> К его приходу в зале всегда раскладывали ломберный стол, и мы, четверо детей, помещались за этим столом вместе с преподавателем. Маменька всегда садилась сбоку, в стороне, занимаясь какой-нибудь работой. Многих впоследствии имел я законоучителей, но такого, как отец дьякон, не припомню. Он имел отличный дар слова, и весь урок, продолжавшийся по старинному часа $1^{1/2}$–2, проводил в рассказах, или, как у нас говорилось, в толковании Св. Писания. Бывало, придёт, употребит несколько минут на спрос уроков и сейчас же приступит к рассказам —

о потопе, о приключениях Иосифа. О Рождестве Христове он говорил особенно хорошо, так что, бывало, и маменька, оставив свою работу, начинает не только слушать, но и глядеть на воодушевляющегося преподавателя. (*Воспоминания... С. 64.*)

ДОСТОЕВСКИЙ. Из набросков к «Житию великого грешника»

Полоса неверия в Бога. NB. Непременно о том, как действовало на него Евангелие. Согласен с Евангелием. (*ПСС. IX. С. 132.*)

Из записной тетради 1875–1876 гг.

Библия принадлежит всем, атеистам и верующим равно. Это книга человечества. Если когда-нибудь исчезнет весь род человеческий... (*Лит. наследство. Т. 83. С. 412.*)

Братья Карамазовы

<Зосима:>

Господи, что это за книга и какие уроки! Что за книга это Священное Писание, какое чудо и какая сила, данные с нею человеку! Точно изваяние мира и человека и характеров человеческих, и названо всё и указано на веки веков.

ДОСТОЕВСКИЙ — А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ. 10/22 июня 1875. Эмс

Читаю книгу Иова, и она приводит меня в болезненный восторг: бросаю читать и хожу по часу по комнате, чуть не плача <...>. Эта книга, Аня, странно это — одна из первых, которая поразила меня в жизни, я был ещё тогда почти младенцем! (*ПСС, XXIX, I, С. 43.*)

ДОСТОЕВСКИЙ

Мне было всего лишь десять лет, когда я уже знал почти все главные эпизоды русской истории из Карамзина, которого вслух по вечерам нам читал отец. (*Дневник писателя. 1873.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

Выше я упомянул о семейных чтениях, происходивших в гостиной. Чтения эти существовали, кажется, постоянно в кругу родителей. С тех пор как я начинаю себя помнить, они уже происходили. Читали попеременно вслух или папенька, или маменька. Я помню, что при чтениях этих всегда находились и старшие братья, ещё до поступления их в пансион; впоследствии и они начали читать вслух, когда уставали родители. Читались по преимуществу произведения исторические: «История Государства Российского» Карамзина (у нас

был свой экземпляр), из которой чаще читались последние томы — IX, X, XI и XII, так что из истории Годунова и Самозванцев нечто осталось и у меня в памяти от этих чтений; биография Мих. Вас. Ломоносова соч. Ксенофонта Полевого и многие другие. Из чисто литературно-беллетристических произведений, помню, читали Державина (в особенности оду «Бог»), Жуковского и его переводные статьи в прозе; Карамзина — «Письма русского путешественника» и повести: «Бедную Лизу», «Марфу Посадницу» и проч. Пушкина преимущественно прозу. Впоследствии начали читать и романы «Юрий Милославский», «Ледяной дом», «Стрельцы» и сентиментальный роман «Семейство Холмских». Читались также сказки и казака Луганского. <...>

Вообще брат Федя более читал сочинения исторические, серьёзные, а также и попадавшиеся романы. Брат же Михаил любил поэзию и сам пописывал стихи, бывши в старшем классе пансиона (чем брат Фёдор не занимался). Но на Пушкине они мирились, и оба, кажется, и тогда чуть не всего знали наизусть <...>. (*Воспоминания... С. 70–72.*)

Учёный дедушка

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

<...> дедушка Василий Михайлович Котельницкий был родным дядей моей маменьки, он был доктором и профессором Московского университета по медицинскому факультету, не знаю только по какой кафедре. Это в начале 30-х годов был уже глубокий старик, очень уважаемый как моим отцом, так, кажется, и всем тогдашним медицинским миром. В день его именин (1-го января) в маленьком деревянном домике «под Новинским» перебывает, бывало, весь университет, как профессора, так и студенты-медики. Целая корзина визитных карточек и целая тетрадь с расписками были результатами этого дня. (*Воспоминания... С. 37.*)

Н.И. ПИРОГОВ

И теперь без смеха нельзя себе представить Вас. Мих. *Котельницкого*, идущего в нанковых, бланжевых штанах в сапоги (а сапоги с кисточками), с кульком в одной руке и с фармакологиею Шпренгеля, перевод Иовского, под мышкою. Это он, Вас. Мих. *Котельницкий* (проживавший в университете), идёт утром с провизиею из Охотного ряда на лекцию. Он отдаёт кулёк сторожу, а сам ранёхонько утром отправляется на лекцию, садится, вынимает из карманов очки «табакерку, нюхает звучно, с храпом, табак и, надев очки, раскрывает книгу, ставит свечку прямо перед собою и начинает чи-

тать слово в слово и притом с ошибками. Вас. Мих., с помощью очков, читает в фармакологии Шпренгеля, перевод Иовского: «Клещевинное масло, oleum ricini, — *китайцы* придают ему горький вкус». Засим кладёт книгу, нюхает с всхрапыванием табак и объясняет нам, смиренным его слушателям: «вот, видишь ли, китайцы придают клещевинному маслу горький вкус». Мы, между тем, смиренные слушатели, читаем в той же книге: вместо китайцев — «кожицы придают ему горький вкус». У Вас. Михайловича на лекции что ни день, то репетиция[1]. «Нуте-ка, ты там, Пеше, — обращается он к одному студенту (сыну немецкого шляпного мастера), — ты приходи; — подойди, я тебя вот из Тенара жигану. А? что? небось, замялся, а еще немец. Нуте-ка, ты, Пирогов, скажи-ка мне, как французская водка по-латыни?

— «Spiritus gallicus».

— Молодец! (*Рус. старина, 1885, № I. С. 42–43.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

Мы, впрочем, любили дедушку, и он, как бездетный, тоже любил нас очень. (*Воспоминания... С. 38.*)

М.В. ТОЛСТОЙ

Ординарный профессор, статский советник В.М. Котельницкий читал на первом курсе фармацию по маленькой, латинской, давно устарелой книжке: «Фармация доктора Пленка». Старик очень добрый и почтенный, но профессор крайне плохой, он ограничивался буквальным чтением книжки, которую приносил с собою; она была так редка, что трудно было купить её, и студенты принуждены были списывать, причём делали ошибки, доходившие до бессмыслицы. <...>

Некоторые из студентов, переписывая <...> книжку Пленка и мало понимая Латинский язык, на котором она писана, вместо слова: venenum[2] писали: venereum[3] и так произносили на репетициях; впрочем, почтенный профессор не обращал на это внимания. Часто заключал он лекцию до звонка такими словами: «а мне пора к Надежде Андреевне (жене); она у меня нездорова». (*Рус. архив. 1881. Кн. 2. С. 50, 68.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

<...> много лет спустя <...> я познакомился с доктором Иваном Петровичем Успенским, бывшим слушателем Василия Михайловича; он рассказывал между прочим, что Василий Михайлович читал свои лекции по книж-

[1] Повторение, опрос по пройденному материалу.

[2] Яд (*лат.*).

[3] Венерическое (*лат.*).

ке, причём добавлял, что книжка для него была только, так сказать, гидом, но что в большинстве случаев старик говорил сам от себя много дельного и интересного. Вот как-то студенты, у которых он оставил свою книжку, захотели сошкольничать и переместили сделанную профессором закладку на целую лекцию назад. Приходит Василий Михайлович на первую затем лекцию, открывает книгу по сделанной заметке и начинает читать... Через несколько времени старик останавливается и говорит: — «Да об этом, кажется, я читал вам уже, господа!» — «Нет, господин профессор... Мы первый раз ещё слушаем эту интересную лекцию». — «Гм, гм... как, однако же... того, память начинает, того, изменять мне!.. Ведь я, того, думал, что я читал уже вам об этом, а выходит, что я читал это в прошлом году вашим предшественникам!.. Да, того, память начинает изменять!» — При этом Успенский сообщил мне, что Василий Михайлович Котельницкий был очень любим и уважаем всеми студентами вообще, потому что он был всегдашним защитником и ходатаем за всех студентов в совете университета. (*Воспоминания... С. 39.*)

П.И. ПРОЗОРОВ

Что касается до декана, защитника студенческого, то без преувеличения можно сказать, что это был преоригинальный старик, о котором можно написать много прекурьёзных анекдотов. Для образчика приведу хоть два. Однажды, когда требовалось от преподавателей, по какому руководству они будут читать лекции — по своему ли собственному или другого какого известного автора, он отвечал, что «будет читать по Пленку, что умнее Пленка-то не сделаешься, хоть и напишешь своё собственное». В другой раз, когда стали при нём хвалить молодого преподавателя <С.П. Шевырёва>, только что возвратившегося из Италии, он пренаивно отвечал: «Ну, не хвалите прежде времени, — поживёт с нами, так поглупеет». (*Библиотека для чтения. 1859. № 12. С. 3–4.*)

М.В. ТОЛСТОЙ

<...> мне случилось быть у Котельницкого, чтобы просить о переводе меня на медицинский факультет. С того времени я сохранил знакомство с этим почтенным стариком, жившим в своём домике близ Смоленского рынка; иногда я бывал у него, а иногда встречал его на Смоленском рынке, где он по воскресным дням покупал провизию и, садясь с нею на извозчика, приговаривал: «Смотри, поезжай осторожнее; статского советника везёшь». Страсть к чинам была тогда почти общею, и добрейший Котельницкий увлекался величием своего чина! Другой случай в том же роде: В. М. спускался, после акта, с большого крыльца старого университетского здания в мундире и треугольной шляпе с плюмажем (тогда чиновники V

класса и выше носили плюмаж на шляпах); студенты, собравшиеся на крыльце, закричали ему вслед: «Петух идет!», а он преважно отвечал им: «а петух-то статский советник!» (*Рус. архив. 1881. Кн. 2. С. 50.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

Он ежегодно, раз пять в год, бывал со своей супругой у нас. Приезжали они всегда к вечернему чаю и всегда в коляске с лакеем, проводили у нас в разговорах часа 2–3 и уезжали. Помню, как дедушка всякий раз сажал меня к себе на колени и, оттопырив два пальца правой руки (указательный и мизинец), бодал меня ими, приговаривая: «Идёт коза рогатая... забодает Андрюшу, забодает!..» Господи, как боялся я тогда этой козы рогатой!! (*Воспоминания... С. 38.*)

М.В. ТОЛСТОЙ

<...> Котельницкий <...> показывал нам разные медикаменты из университетской аптеки, приговаривая: «Medicamentum est, quod morbum in corpore tollit, venenum autem, quod destruit vitam» (лекарство изгоняет болезнь из тела, а яд разрушает жизнь). При этом престарелый профессор прибавлял: «а иногда бывает и наоборот; и от лекарства подчас человек умереть может; так что нужно прописывать рецепты поосторожнее». (*Рус. архив, 1881. Кн. 2. С. 67.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

Замечательно, что, быв доктором, он <В. М. Котельницкий>, по его собственным словам, не написал в свою жизнь ни одного рецепта, по причине своей мнительности и боязни ошибиться. А потому, при самом пустячном недуге своём или жены своей, он обращался за советом к папеньке, который и лечил как его, так и Надежду Андреевну. (*Воспоминания... С. 38.*)

А.И. ГЕРЦЕН. Былое и думы

Когда он <ректор>, бывало, приходил в нашу аудиторию <...> с Котельницким, который заведовал шкапом с надписью «Materia Medica»[1], неизвестно зачем проживавшим в математической аудитории <...> мы смотрели на них большими глазами, как на собрание ископаемых, как на последних Абенсерагов[2], представителей иного времени, не столько близкого к нам, как к Тредьяковскому и Кострову, — времени, в котором читали Хераскова и Княжнина <...>. (*Полярная звезда на 1856. Кн. 2. С. 139.*)

[1] Медицинские вещества (*лат.*).

[2] Абен-ас-Серрахи, знатный мавританский род в Гранаде XV в.

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

<...> каждую пасху мы, трое старших братьев, в заранее назначенный дедушкою день обязаны были являться к нему на обед. Родители без боязни отпускали нас, зная, что дедушка хорошо досмотрит за нами, и вот, после раннего обеда, часу во втором дня, дедушка, забрав нас, отправлялся в балаганы. Праздничные балаганы в то время постоянно устраивались «под Новинским» напротив окон дедушкиного дома. Обойдя все балаганы и показав нам различных паяцов, клоунов, силачей и прочих балагановых Петрушек и комедиантов, дедушка, усталый, возвращался с нами домой; там нас дожидалась уже коляска от родителей, и мы, распростившись с дедушкой, отъезжали домой, полные самых разнообразных впечатлений, и долгое время, подражая комедиантам, представляли по-своему различные комедии. (*Воспоминания... С. 38.*)

ДОСТОЕВСКИЙ. Подготовительные материалы к «Дневнику писателя». 1876

Дети и отцы их стояли сплошной толпой и смотрели бессмертную народную комедию, и, право, это было чуть ли не всего веселее на всём празднике. Скажите, почему так смешон Петрушка, почему вам непременно весело, смотря на него, всем весело, и детям, и старикам? Но и какой же характер, какой цельный художественный характер! <...> Петрушка вроде Санхо-Пансы и Лепорелло, но уже совершенно обрусевший и народный характер. (*ПСС, XXII. С. 180.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

<...> ежели мы редко бывали в театрах, то зато в балаганах московских (у так называемых Петрушек) мы всегда бывали по праздникам и на масленице с дедушкой Василием Михайловичем Котельницким (*Воспоминания... С. 49.*)

ДОСТОЕВСКИЙ. Из подготовительных материалов к «Дневнику писателя». 1876

Петрушка. Есть комические вещи, а Петрушка очень комичен. (*ПСС, XXII. С. 141.*)

А.И. ГЕРЦЕН. Былое и думы

Московский университет своё дело делал; профессора, способствовавшие своими лекциями развитию Лермонтова, Белинского, И. Тургенева, Кавелина, Пирогова, могут спокойно играть в бостон и ещё спокойнее лежать под землёй. (*Полн. собр. соч. Т. VIII. С. 123.*)

Надпись на надгробии В.М. КОТЕЛЬНИЦКОГО на Дорогомиловском кладбище в Москве

Котельницкий Василий Михайлович, статский советник и кавалер. Московского Университета ординарный профессор, † 12 января 1844, 75 л<ет> 11 д<ней>. «Sive vivimus, sive morimus, Domini sumus»[1]. (*Саитов В.И. Московский некрополь. Т. 2. СПб., 1907. С. 95.*)

«Моё первое личное оскорбление...»

ДОСТОЕВСКИЙ. Из подготовительных материалов к «Бесам». 1871

Из страсти к мучительству изнасиловал ребёнка. (*ПСС. XI. С. 274.*)

З.А. ТРУБЕЦКАЯ

Мой дядя Владимир Владимирович <Философов> рассказывал нам следующий эпизод, очевидцем которого он был сам.

На этот раз гостей у Анны Павловны <Философовой> было немного, и после обеда все гости, среди которых был и Достоевский, перешли в маленькую гостиную пить кофе. Горел камин, и свечи люстр освещали красные отливы платьев и камней. Началась беседа. Достоевский, как всегда, забился в угол. Я, рассказывал дядя, по молодости лет, подумывал, как бы удрать незаметно... Как вдруг кто-то из гостей поставил вопрос: какой, по вашему мнению, самый большой грех на земле? Одни сказали — отцеубийство, другие — убийство из-за корысти, третьи — измена любимого человека... Тогда Анна Павловна обратилась к Достоевскому, который молча, хмурый, сидел в углу. Услышав обращённый к нему вопрос, Достоевский помолчал, как будто сомневаясь, стоит ли ему говорить. Вдруг лицо его преобразилось, глаза засверкали, как угли, на которые попал ветер мехов, и он заговорил. Я, рассказывает дядя, остался, как прикованный, стоя у двери в кабинет отца, и не шелохнулся в течение всего рассказа Достоевского. (*Рус. литература. 1973. № 3. С. 117.*)

ДОСТОЕВСКИЙ. Из подготовительных материалов к «Бесам». 1870

Князь исповедует Ш<атову> свою подлость с ребёнком (изнасиловал)<...>. (*ПСС. XI. С. 153.*)

З.А. ТРУБЕЦКАЯ

Достоевский говорил быстро, волнуясь и сбиваясь... Самый ужасный, самый страшный грех — изнасиловать ребёнка. Отнять жизнь — это ужасно, говорил Достоевский, но отнять веру в красоту любви — ещё более страшное преступление. И Достоевский рассказал эпизод из своего детства. Когда я в детстве жил в Москве в больнице для бедных, рассказывал Достоевский, где мой отец был врачом, я играл с девочкой (дочкой кучера или повара). Это был хрупкий, грациозный ребёнок лет девяти. Когда она видела цветок, пробивающийся между камней, то всегда говорила: «Посмотри, какой красивый, какой добрый цветочек!» И вот какой-то мерзавец, в пьяном виде, изнасиловал эту девочку, и она умерла, истекая кровью. Помню, рассказывал Достоевский, меня послали за отцом в другой флигель больницы, прибежал отец, но было уже поздно. Всю жизнь это воспоминание меня преследует, как самое ужасное преступление, как самый страшный грех, для которого прощения нет и быть не может, и этим самым страшным преступлением я казнил Ставрогина в «Бесах»... (*Рус. литература. 1973. № 3. С. 117.*)

ДОСТОЕВСКИЙ. Из подготовительных материалов к «Бесам». 1872

<Тихон:>

— <...> более великого и более страшного преступления, чем поступок ваш с отроковицей, разумеется, нет и не может быть. (*ПСС, XI. С. 25.*)

З.А. ТРУБЕЦКАЯ

Этот рассказ я неоднократно слышала от своего дяди и помню, как он был страшно возмущён, когда прочёл печально известное письмо Страхова к Л. Толстому, в котором Страхов приписал преступление Ставрогина самому Достоевскому. Дядя снова вспомнил рассказ Достоевского в салоне Анны Павловны и сказал, что это чудовищная клевета, что этого не могло быть даже и в мыслях Достоевского, ибо мысль ещё грешнее действия! (*Рус. литература. 1973. № 3. С. 117.*)

ДОСТОЕВСКИЙ. Из подготовительных материалов к «Бесам». 1872

— Кстати, Христос ведь не простит, — спросил Ставрогин, и в тоне вопроса послышался лёгкий оттенок иронии, — ведь сказано в книге: «Если соблазните единого от малых сих» — помните? По Евангелию, больше преступления нет и не может <быть>. (*ПСС. XI. С. 28.)*

ДОСТОЕВСКИЙ. Преступление и наказание

<Разумихин:>

— <...> сорокалетний бесчестит десятилетнюю девочку, — среда, что ль, его на это понудила?

[1] Живём ли мы, умрём ли мы, Господни есмь (*лат.*).

С.В. КОВАЛЕВСКАЯ

Иногда Достоевский бывал очень реален в своей речи, совсем забывая, что говорит в присутствии барышень. Мать мою он порой приводил в ужас. Так, например, однажды он начал рассказывать сцену из задуманного им ещё в молодости романа; герой — помещик средних лет, очень хорошо и тонко образованный <...>. В молодости он кутил, но потом остепенился, обзавёлся женой и детьми и пользуется общим уважением.

Однажды он просыпается поутру, солнышко заглядывает в окна его спальни; всё вокруг него так опрятно, хорошо и уютно. <...>

Вдруг, в самом разгаре этих приятных грёз и переживаний, начинает он ощущать неловкость — не то боль внутреннюю, не то беспокойство. <...>

Начинает ему казаться, что он должен что-то припомнить, и вот он силится, напрягает память... И вдруг действительно вспомнил, да так жизненно, реально, и брезгливость при этом такую всем существом ощутил, как будто вчера это случилось, а не двадцать лет тому назад. А между тем за все эти двадцать лет и не беспокоило это его вовсе.

Вспомнил он, как однажды после разгульной ночи и подзадоренный пьяными товарищами он изнасиловал десятилетнюю девочку.

Мать моя только руками всплеснула, когда Достоевский это проговорил:

— Фёдор Михайлович! Помилосердствуйте! Ведь дети тут! — взмолилась она отчаянным голосом. (*Воспоминания. Повести. М., 1974. С. 76–77.)*

ДОСТОЕВСКИЙ. Из подготовительных материалов к «Бесам». 1870

ПОСЛЕДНИЙ ОБРАЗ КНЯЗЯ

<...> соблазнил <зачеркнуто: «изнасиловал»> 13-летнюю, об чём пошёл шум. (Так вдруг, невзначай, фантазия нашла.) (*ПСС. XI. С. 136.*)

Из подготовительных материалов к «Преступлению и наказанию». 1866

ОТМЕТКИ О СВИДРИГАЙЛОВЕ

О хозяйке говорит, что дочь изнасильничали и утопили, но кто, не говорит, и потом уж объясняется, что это он. <...>

Черты. <...> 3) Безо всякого угрызения совести рассказывает, как во время помещичьего права он двух засёк и пользовался *невинностями*. <*На полях*: NB О детях и девчонках нищих. Раскольников встречает его на промысле. Описание.> <...> 12) Насильничанье сделано нечаянно. <...> 14) О насильничании детей, но бесстрастно. NB. Анекдоты его ужасны. Не проговаривается. Говорит как бы нечаянно. (*ПСС.VII. С. 162–163.*)

Преступление и наказание

Ему <Свидригайлову> вообразился <...> светлый, тёплый, почти жаркий день, праздничный день, Троицын день.

Из подготовительных материалов к «Бесам». 1872

Всё произошло в июне. <...> солнце ужасно ярко светило. <...> Все окна были отворены. Воздух был тёпл, было даже жарко. (*ПСС, XI. С. 13, 16, 18.*)

Преступление и наказание

Полы были усыпаны свежею накошенною душистою травой, окна были отворены, свежий, легкий, прохладный воздух проникал в комнату, птички чирикали под окнами, а посреди залы, на покрытых белыми атласными пеленами столах, стоял гроб. Этот гроб был обит белым гроденаплем и обшит белым густым рюшем. Гирлянды цветов обвивали его со всех сторон. Вся в цветах лежала в нём девочка, в белом тюлевом платье, со сложенными и прижатыми на груди, точно выточенными из мрамора, руками. Но распущенные волосы её, волосы светлой блондинки, были мокры; венок из роз обвивал её голову.

Из подготовительных материалов к «Бесам». 1872

Она была белобрысая и весноватая, лицо обыкновенное, но очень много детского и тихого, чрезвычайно тихого. (*ПСС. XI. С. 13.*)

Преступление и наказание

Строгий и уже окостенелый профиль её лица был тоже как бы выточен из мрамора, но улыбка на бледных губах её была полна какой-то недетской, беспредельной скорби и великой жалобы. Свидригайлов знал эту девочку <...>. Эта девочка была самоубийца — утопленница. Ей было только четырнадцать лет, но это было уже разбитое сердце, и оно погубило себя, оскорблённое обидой, ужаснувшею и удивившею это молодое детское сознание, залившею незаслуженным стыдом её ангельски чистую душу и вырвавшею последний крик отчаяния, не услышанный, а нагло поруганный в тёмную ночь, во мраке, в холоде, в сырую оттепель, когда выл ветер...

Из подготовительных материалов к «Бесам». 1872

Полагаю, что всё случившееся должно было ей представиться окончательно как беспредельное безобразие, со смертным ужасом. (*ПСС, XI. С. 16.*)

Преступление и наказание

<Лужин:>

— <...> уголовное дело с примесью зверского и, так сказать, фантастического душегубства, за которое он <Свидригайлов> весьма и весьма мог бы прогуляться в Сибирь. <...> девочка <...> найдена была на чердаке удавившеюся. Присуждено, что от самоубийства. <...> впоследствии явился, однако, донос, что ребёнок был... жестоко оскорблён Свидригайловым.

А.С. СУВОРИН

Нечто страшное, незабываемое, мучащее случилось с ним <Достоевским> в детстве, результатом чего явилась падучая болезнь. (*Новое время. 1881. 1 февраля.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ — А.С. СУВОРИНУ. 5 февраля 1881. Ярославль

В чём состояло это «нечто страшное, незабываемое» и т. д., я не могу понять.

Примечание А. С. Суворина. Все факты, которые дали мне повод написать эти строки, я сообщу письменно автору этого письма и попрошу у него разъяснения. (*Новое время. 1881. 8 февраля.*)

С.Д. ЯНОВСКИЙ — А.Г. ДОСТОЕВСКОЙ. Не ранее 1881

Фёдора Михайловича именно в детстве постигло то мрачное и тяжёлое, что никогда не проходит безнаказанно и в летах зрелого возраста и что кладёт в человеке складку того характера, которая ведёт к нервным болезням, а следовательно, и к падучей, и к той угрюмости, скрытности и подозрительности, на которую обыкновенно указывают как на борьбу с нуждой, хотя таковой, по крайней мере в ужасающей степени, и нет. (*В кн.: Гроссман Л.П. Достоевский на жизненном пути. Вып. I. М., 1928. С. 25.*)

Из подготовительных материалов к «Преступлению и наказанию». 1866

Бульвар. Девочка.

Моё первое личное оскорбление, лошадь, фельдъегерь.

Изнасилованное дитя.(*ПСС, VII. С. 138.*)

Федина роща

Из послужного списка М. А. ДОСТОЕВСКОГО. 1832

По представлению начальства за отличную и ревностную службу пожалован

Кавалером Ордена Св. Анны 3 степени 1825 г. апреля 2

По таковому же представлению за выслугу узаконенных лет награждён чином

Коллежского Ассесора[1]... 1827 апреля 7

(В семье и усадьбе... С. 126.)

Из Жалованной грамоты ЕКАТЕРИНЫ II на права, вольности и преимущества благородного Российского дворянства. 21 апреля 1787

26. Благородным подтверждается право покупать деревни. (*Рус. архив. 1885. № 5. С. 160.)*

Выписка из определения Московского дворянского депутатского собрания. 28 июня 1828

<...> Фёдор Михайлович Достоевский записан в третью часть родословной книги. (*Жизнь и труды... С. 24.)*

Из Жалованной грамоты ЕКАТЕРИНЫ II на права, вольности и преимущества благородного Российского дворянства. 21 апреля 1787

69. Буде кто не внесён в дворянскую родословную книгу той губернии, тот не только не принадлежит к дворянству той губернии, но да и не пользуется общими преимуществами дворянства той губернии. (*Рус. архив. 1885. № 5. С. 164.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

Родители мои давно уже приискивали для покупки подходящее именьице не в дальнем расстоянии от Москвы. <...> наконец одно из них в летнее время 1831 года обратило внимание папеньки. <...> он решился поехать сам на место для личного осмотра этого именьица. <...> Папенька, простившись с маменькой и перецеловав всех нас, сел в <...> кибитку и уехал из дому чуть не на неделю. Это было, кажется, первое расставание на несколько дней моих родителей. Но не прошло и двух часов, когда мы <...> увидели подъезжающую кибитку с бубенчиками и в ней сидящего отца. Папенька мгновенно выскочил из кибитки и вошёл в квартиру, а с маменькой сделалось что-то вроде обморока; она сильно испугалась внезапному и неожиданному возвращению отца. К тому же тогда она была беременна братом Николею. Отец кое-как успокоил маменьку. Оказалось, что он позабыл дома подорожную и что, подъехав к Рогожской заставе, не был пропущен через неё за неимением вида. <...> Эпизод этот, то

[1] Этот чин давал право на потомственное дворянство.

есть внезапное возвращение отца, часто вспоминался в нашем доме в том смысле, что это худой признак и что покупаемая деревня счастья нам не принесёт. Ежели сопоставить следующие обстоятельства, то, пожалуй, примета эта в сём данном случае и окажется справедливою, как увидим впоследствии. <...>

Название деревеньки, которую приобрели наши родители, было сельцо Даровое. (*Воспоминания... С. 51, 53.)*

Л.Ф. ДОСТОЕВСКАЯ

<...> молодая чета не терпела недостатка ни в чём, так как в те времена государственная служба была очень выгодна. <...> Мой дед имел в своём распоряжении прислугу, состоявшую при госпитале, и экипаж для посещения больных в городе. У него была, вероятно, большая практика, так как он вскоре мог приобресть два имения в Тульской губернии, в 150 верстах от Москвы. Одно из этих имений, носившее название *Даровое*, стало летним местопребыванием Достоевских. (*Достоевский в изображении дочери... С. 12–13.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ (в передаче О.Ф. Миллера)

Поездка в деревню для нас, детей, составляла эпоху, которой мы дожидались с нетерпением. Ездили обыкновенно на своих деревенских же лошадях <...>. Во время поездок этих брат Фёдор бывал в каком-то лихорадочном настроении. Он всегда избирал место сидения на облучке. Не бывало ни одной остановки, хотя бы на минуту, при которой брат не соскочил бы с брички, не обегал бы близлежащей местности или не повертелся бы <...> около лошадей. (*Биография... С. 13.*)

А. ДРОЗДОВ. Усадьба Достоевского

<...> на девятой версте езды, в серебряной шапке тополей <...> откроется вам смиренная усадебка, островок памяти о Достоевском, среди моря русских просторов.

Деревенька крохотная — двадцать дворов, двадцать соломенных крыш, забурелых от солнца и ливней. (*Известия. 1924. 4 ноября.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

Местность в нашей деревне была очень приятная и живописная. Маленький плетнёвый, связанный глиною на манер южных построек, флигелёк для нашего приезда состоял из трёх небольших комнаток и был расположен в липовой роще, довольно большой и тенистой. Роща эта через небольшое поле примыкала к берёзовому леску, очень

густому и с довольно мрачною и дикою местностью, изрытою оврагами. Лесок этот назывался «Брыково». <...> Лесок Брыково с самого начала очень полюбился брату Феде, так что впоследствии в семействе нашем он назывался Фединою рощею.

Примечание**.** Название это не раз встречается в произведениях брата, Фёдора Михайловича. Так, например, в «Бесах» местность поединка Ставрогина и Гаганова названа именем Брыково. (*Воспоминания... С. 53–55.*)

А. ДРОЗДОВ. Усадьба Достоевского.

Но мало что сберег этот уголок: наследниками писателя уничтожена «Федина роща», свидетельница его детских игр; погиб мазанковый домик — на его месте выстроен новый <...> (*Известия. 1924. 4 ноября.*)

В.С. НЕЧАЕВА. Поездка в Даровое

<...> только три вещи сохранились от того времени: диван, овальный стол перед ним и тёмный, почти чёрный книжный шкаф с стеклянной дверцей. (*Новый мир. 1926. № 3. С. 130.)*

ДОСТОЕВСКИЙ

И ничего в жизни я так не любил, как лес с его грибами и дикими ягодами, с его букашками и птичками, ёжиками и белками, с его столь любимым мною сырым запахом перетлевших листьев. И теперь даже, когда я пишу это, мне так и послышался запах нашего деревенского березняка: впечатления эти остаются на всю жизнь. (*Дневник писателя. 1876, февраль.*)

Комментарий Л.Ф. ДОСТОЕВСКОЙ к предыдущему тексту

Литовцы никогда не забывают своих лесов; они продолжают им поклоняться и столетия спустя после того, как их покинули. (*Vie de Dostoiewsky... P. 30.*)

Из записной книжки А.Г. ДОСТОЕВСКОЙ

Всегда мечтал об имении, но непременно спрашивал: есть ли лес. На пахоту и луга не обращал внимания, а лес, хотя бы небольшой, в его глазах составлял главное богатство имения. <...>

Не любил дуба, а любил лиственный лес, не расчищенный, а скорее запущенный, разросшийся. (*Жизнь и труды... С. 318.*)

Из Жалованной грамоты ЕКАТЕРИНЫ II на права, вольности и преимущества благородного Российского дворянства. 21 апреля 1787

34. Подтверждается благородным право собственности в лесах, растущих в их дачах <усадьбах> <...>. (*Рус. архив. 1885. № 5. С. 161.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

В деревне у нас была дурочка, не принадлежавшая ни к какой семье; она всё время проводила шляясь по полям, и только в сильные морозы зимой её насильно приючивали к какой-нибудь избе. Ей уже было тогда лет 20–25; говорила она очень мало, неохотно, непонятно и несвязно; можно было только понять, что она вспоминает постоянно о ребёнке, похороненном на кладбище. Она, кажется, была дурочкой от рождения и, несмотря на своё таковое состояние, претерпела над собою насилие и сделалась матерью ребёнка, который вскоре и умер. Читая впоследствии в романе брата, Фёдора Михайловича, «Братья Карамазовы» историю Лизаветы Смердящей, я невольно вспоминал нашу дурочку Аграфену. (*Воспоминания. С. 62–63.*)

ДОСТОЕВСКИЙ. Братья Карамазовы

Двадцатилетнее лицо её, здоровое, широкое и румяное, было вполне идиотское; взгляд же глаз неподвижный и неприятный, хотя и смирный. Ходила она всю жизнь, и летом и зимою, босая и в одной посконной рубашке. <...> даже многие из городских сострадательных людей, из купцов и купчих преимущественно, пробовали не раз одевать Лизавету приличнее, чем в одной рубашке, а к зиме всегда надевали на неё тулуп, а ноги обували в сапоги; но она обыкновенно, давая всё надеть на себя беспрекословно, уходила и где-нибудь, преимущественно на соборной церковной паперти, непременно снимала с себя всё, ей пожертвованное, — платок ли, юбку ли, тулуп, сапоги, — всё оставляла на месте и уходила босая и в одной рубашке по-прежнему.

В.С. НЕЧАЕВА

Крестьяне Дарового помнят её и сейчас. Аграфена Тимофеевна жила долго, и Достоевский мог видеть её в свой приезд ещё в 1877 году. До конца жизни она ходила в одной рубахе круглый год, убегала из дому, где её бранили родные. Часто зимой её находили на кладбище всю заиндевевшую, со спутанными седыми волосами, с босыми ногами. Говорить Аграфена не могла за исключением нескольких невнятных слов.

В церковных списках Аграфена нами найдена. Родилась она в 1810 году и росла в большой семье. В начале 30-х годов, когда мальчиком мог её наблюдать Достоевский, ей было 20 с лишком лет, жила она с родителями и семьёй тётки. Никаких сведений о её ребёнке в книгах нет. (*В семье и усадьбе... С. 67–68.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

Все крестьяне, в особенности женщины, нас очень любили и не стесняясь нисколько вступали с нами в разговоры. Мы с своей стороны старались тоже угодить им всевозможными средствами. Так, однажды брат Федя, увидев, что одна крестьянка пролила запасную воду, вследствие чего ей нечем было напоить ребёнка, немедленно побежал версты за две домой и принёс воды, чем заслужил большую благодарность бедной матери. (*Воспоминания... С. 58.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ (в передаче О.Ф. Миллера)

Любил он также вступать в разговоры с крестьянами, которые всегда охотно с ним говорили; но верхом удовольствия его было исполнить какое-либо поручение или сделать одолжение и быть чем-нибудь полезным. Я помню, как одна крестьянка, вышедшая на поле жать, вместе с маленьким ребёнком в люльке, пролила нечаянно жбанчик воды, и бедного ребёнка нечем было напоить. Брат сейчас же взял жбанчик, сбегал в деревню (версты 1 1/2) за водою и принёс к радости матери полный жбан воды. Он сам знал, что его любили. (*Биография... С. 15.*)

ДОСТОЕВСКИЙ

<...> хочу сделать, пользуясь случаем, маленький крюк по дороге, из Москвы полтораста вёрст в сторону, чтобы посетить места первого моего детства и отрочества — деревню, принадлежавшую когда-то моим родителям, но давно уже перешедшую во владение одной из наших родственниц. Сорок лет я там не был и столько раз хотел туда съездить, но всё никак не мог, несмотря на то, что это маленькое и незамечательное место оставило во мне самое глубокое и сильное впечатление на всю потом жизнь и где всё полно для меня самыми дорогими воспоминаниями. (*Дневник писателя. 1877, июль – август.*)

А.Г. ДОСТОЕВСКАЯ

<...> в свой приезд муж мой посетил самые различные места в парке и окрестностях, дорогие ему по воспоминаниям, и даже сходил пешком (версты две от усадьбы) в любимую им в детстве рощу «Чермашню», именем которой он потом назвал рощу в романе «Братья Карамазовы». Заходил Фёдор Михайлович и в избы мужиков, из которых многих он помнил. Старики и старухи и сверстники, помнившие его с детства, радостно его приветствовали, зазывали в избы и угощали чаем. (*Воспоминания. С. 313.*)

В.С. НЕЧАЕВА

Фёдора Михайловича в деревне не помнят. Его единственный приезд в Даровое, после проведённого там детства, в 1877 году, в памяти крестьян не сохранился <...>. (*Новый мир. 1926. № 3. С.131.*)

А. АРЦИБАШЕВ. Святыни для души

И вот усадьба великого русского писателя спустя полтора века. Впрочем — усадьба ли? Скорей — её жалкие остатки. <...>

Заглянув через окно внутрь, ужаснулся: стены ободраны, в полу — проломы, по углам кучи мусора... Нет, разумеется, и хозяйственных построек: скотного двора, амбара, сарая. Так же как и «тенистой рощи», парка, фруктового сада, аккуратных дорожек... Перед домом — уродливый, метров пяти, обломок огромной липы, искорёженной то ли молнией, то ли бурей, а может быть, завалившейся от старости; чуть поодаль — чахлые кусты акации, покосившийся забор...

Постояв с полчаса в раздумье у памятного места, тронулись в обратный путь. (*Лит. Россия. 1989. 21 апреля.*)

Индейцы средней полосы

А. АРЦИБАШЕВ

— Я ж говорил... — твердил своё провожатый. — Может, оно когда-то и было красивым, это самое Даровое, а сейчас-то, сами видите, чем тут любоваться? Заколоченными избами?

Да, жизнь в знаменитом сельце и впрямь угасла. Редкие подворья, принадлежащие, по всей видимости, дачникам, вызывали гнетущее состояние — ни одного следа у калиток, ни одного намёка на присутствие хозяев. Лишь у самого пруда, возле приземистого невзрачного домишки, нас облаяла взлохмаченная дворняжка. (*Лит. Россия. 1989. 21 апреля.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

Брат Федя, тогда уже много читавший, вероятно, ознакомился с описанием жизни дикарей. «*Игра в диких*» и была любимою нашею игрою. Она состояла в том, что выбравши в липовой роще место более густое, мы строили там шалаш, укрывали хворостом и листьями и делали ход в него незаметным. Шалаш этот делался главным местопребыванием диких племён; раздевались до нага и расписывали себе тело красками на манер татуировки, делали себе поясные и головные украшения из листьев и выкрашенных гусиных перьев и, вооружившись самодельными луками и стрелами, производили воображаемые набеги на Брыково, где, конечно, были находимы

нарочно помещённые там крестьянские мальчики и девочки. Их забирали в плен и держали, до приличного выкупа, в шалаше. Конечно, брат Фёдор, как выдумавший эту игру, был всегда главным предводителем племён. (*Воспоминания... С. 56.)*

Из воспоминаний В.М. ДОСТОЕВСКОЙ-ИВАНОВОЙ, сестры писателя

Фёдор Михайлович ребёнком был чрезвычайно резв и слыл в семействе «буяном». Он придумывал всевозможные шалости, первый же в них попадался, но, попавшись, никогда не отрекался от них. (*Достоевский на жизненном пути. 1. С. 27.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

Брат Миша редко участвовал непосредственно в этой игре, она была не в его характере; но он, как начинавший в то время рисовать и имевший краски, был нашим костюмером и разрисовывал нас. (*Воспоминания... С. 56.*)

ДОСТОЕВСКИЙ

Более даровитые и обособленные из детей всегда сдержаннее или если уж веселы, то с непременной повадкой вести за собой других и командовать. Жаль ещё тоже, что детям теперь так всё облегчают — не только всякое изучение, всякое приобретение знаний, но даже игру в игрушки. Чуть только ребёнок станет лепетать первые слова, и уже тотчас же начинают его облегчать. Вся педагогика ушла теперь в заботу об облегчении. Иногда облегчение вовсе не есть развитие, а, даже напротив, есть отупение. (*Дневник писателя, 1876, январь.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

Особый интерес в этой игре тот, чтобы за нами, «дикими», не было присмотра старших и чтобы, таким образом, совершенно уединиться от всего обычного — не дикого. Раз, помню, что в отличную сухую погоду маменька, желая продлить нашу игру и наше удовольствие, решилась не звать нас к обеду и велела отнести дикарям обед на воздух в особой посуде и поставить его где-нибудь под кустами. Это доставило нам большое удовольствие, и мы съели обед без помощи вилок и ножей, а просто руками, как приличествовало диким. (*Воспоминания... С. 56–57.*)

ДОСТОЕВСКИЙ

Две-три мысли, два-три впечатления, поглубже выжитые в детстве, собственным усилием (а если хотите, так и страданием), проведут ребёнка го-

раздо глубже в жизнь, чем самая облегчённая школа <...>. (*Дневник писателя. 1876. Январь.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

Вспоминаю ещё игру, а скорее непростительную шалость. За липовой рощей было кладбище, и вблизи его стояла ветхая деревянная часовня, в которой на полках помещались иконы. Дверь в эту часовню никогда не запиралась. Гуляя однажды в сопровождении горничной Веры, которая была очень весёлой и разбитной девушкой, мы зашли в эту часовню и долго не думая подняли образа и с пением различных церковных стихов и песней, под предводительством Веры, начали обход по полю. Эта непростительная проделка удалась нам раза два-три, но кто-то сообщил об этом маменьке, и нам досталось за это порядком. (*Воспоминания... С. 57–58.*)

А. АРЦИБАШЕВ

<...> на лай собаки в притворе сеней показалась старушка. Что-то подтолкнуло подойти к ней, заговорить. Познакомились. Полина Николаевна Макарова, пенсионерка. <...>

Заметив в правом углу иконку с лампадкой, поинтересовался у Полины Николаевны:

— В церковь, наверное, ходите?

— Ходила. Сейчас ноги отказывают, нет мочи отправляться в дальний путь. Надо ведь ехать в Зарайск.

— Ближе, значит, храмов нет?

— Разорили все. Да что церкви — ничего нынче, похоже, не свято...

— Вот и усадьба Достоевского никому оказалась не нужной, — вырвалось у меня.

— Ой, деточки, срам-то какой! — закачала сокрушённо головой старушка. — Помню, было много книжек, кое-какая ещё барская мебель стояла. Хотели даже музей сделать, а потом всё растащили...

— Кто же растащил?

— Разве углядишь, сколько тут перебывало разных попечителей! (*Лит. Россия. 1989. 21 апреля.*)

«Волк бежит!»

ДОСТОЕВСКИЙ

Мне вдруг припомнилось почему-то одно незаметное мгновение из моего первого детства, когда мне было всего девять лет от роду <...>. Мне припомнился август месяц в нашей деревне: день сухой

и ясный, но несколько холодный и ветреный; лето на исходе, и скоро надо было ехать в Москву опять скучать всю зиму за французскими уроками, и мне так жалко покидать деревню. Я прошёл за гумна и, спустившись в овраг, поднялся в *Лоск* — так назывался у нас густой кустарник по ту сторону оврага до самой рощи <...>. Вдруг, среди глубокой тишины, я ясно и отчётливо услышал крик: «Волк бежит!» Я вскрикнул и вне себя от испуга, крича во весь голос, выбежал на поляну, прямо на пашущего мужика. Это был наш мужик Марей. <...>

— Волк бежит! — прокричал я, задыхаясь.

Он вскинул голову и невольно огляделся кругом, на мгновение почти мне поверив.

— Где волк?

— Закричал... Кто-то закричал сейчас: «Волк бежит»... — пролепетал я.

— Что ты, что ты, какой волк, померещилось, вишь! Какому тут волку быть! — бормотал он, ободряя меня. Но я весь трясся и ещё крепче уцепился за его зипун и, должно быть, был очень бледен. Он смотрел на меня с беспокойною улыбкою, видимо боясь и тревожась за меня.

— Ишь ведь испужался, ай-ай! — качал он головой. — Полно, родной. Ишь, малец, ай!

Он протянул руку и вдруг погладил меня по щеке.

— Ну, полно же, ну, Христос с тобой, окстись. — Но я не крестился; углы губ моих вздрагивали, и, кажется, это особенно его поразило. Он протянул тихонько свой толстый, с чёрным ногтем, запачканный в земле палец и тихонько дотронулся до вспрыгивавших моих губ.

— Ишь ведь, ай, — улыбнулся он мне какою-то материнскою и длинною улыбкой, — господи, да что ж это, ишь ведь, ай, ай!

Я понял наконец, что волка нет и что мне крик: «Волк бежит!» — померещился. Крик был, впрочем, такой ясный и отчётливый, но такие крики (не об одних волках) мне уже раз или два и прежде мерещились, и я знал про то. (Потом, с детством, эти галлюцинации прошли.) (*Дневник писателя, 1876, февраль.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

Это <Марей> был красивый мужик, выше средних лет, брюнет с солидною чёрною бородою, в которой пробивалась уже седина. (*Воспоминания... С. 58–59.*)

В.С. НЕЧАЕВА

Марея в деревне хорошо помнят и его двух братьев, Федота и Филиппа. (*Новый мир. 1926. № 3. С. 131.*)

ДОСТОЕВСКИЙ. Из записной тетради 1875–1876 гг.

Марей. Он любит свою кобылёнку и зовёт её кормилицей. Если же есть в нём минуты нетерпения и прорывается в нём татарин и начнёт он хлестать свою завязшую в грязи с возом кормилицу кнутом по глазам, то <...> тут: воспитание, привычки, воспоминания, зелено вино <...>. (*Лит. наследство. Т. 83. С. 416.*)

ДОСТОЕВСКИЙ. Преступление и наказание

<...> маленькая, тощая саврасая крестьянская клячонка, одна из тех, которые — он <Раскольников> часто это видел — надрываются иной раз с высоким каким-нибудь возом дров или сена, особенно коли воз застрянет в грязи или в колее, и при этом их так больно, так больно бьют всегда мужики кнутами, иной раз даже по самой морде и по глазам, а ему так жалко, так жалко на это смотреть, что он чуть не плачет, а мамаша всегда, бывало, отводит его от окошка.

Из подготовительных материалов к «Преступлению и наказанию»

Воспоминания мельком из того, что он видел в детстве: лошадь, которую били в детстве, телёнок, которого зарезали <...>. (*ПСС, VII. С. 77.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

При воспоминании о Марее мне всегда припоминается одно происшествие, ясно рисующее, до какой степени детски наивны были тогда крестьяне в нашей местности. Они, не стесняясь, называли вещи своими названиями, хотя таковые всеми другими почитаются неприличными и невежливыми. Раз как-то на ярмарке в Зарайске <...> маменьке очень понравилась одна корова своей красивостью, но, к несчастью, у неё был короткий хвост; долго маменька смотрела на неё. Марей же не обращал на неё никакого внимания, верно зная, что она негодная. На выраженное желание маменьки купить эту корову Марей ответил: «Что вы, матушка, Марья Фёдоровна, какая это корова... она для нас не подойдёт! Что это за корова, ей и мух от... отогнать нечем!» (*Воспоминания... С. 59.*)

ДОСТОЕВСКИЙ

Встреча была уединённая, в пустом поле, и только Бог, может, видел сверху, каким глубоким и просвещённым человеческим чувством и какою тонкою, почти женственною нежностью может быть наполнено сердце иного грубого, зверски невежественного крепостного русского мужика, ещё и не ждавшего, не гадавшего тогда о своей свободе. (*Дневник писателя, 1876, февраль.*)

Из записной тетради 1875–1876 гг.

Ви-ишь! И тронул мне концом пальца угол дрожавшей губы (животинку-то остановил). (*ПСС. XXIV. С. 108.*)

П.П. СЕМЁНОВ-ТЯН-ШАНСКИЙ

Но всего менее я могу согласиться с мнением биографов, что Ф.М. Достоевский был «истерически нервным *сыном города*» <...>

<...> стоит вспомнить показания Андрея Михайловича Достоевского о детстве брата, слышанное нами сознание самого Достоевского о том, что деревня оставила на всю его жизнь неизгладимые впечатления, и его собственные рассказы о крестьянине Марее, и страстные сообщения на вечерах Петрашевского о том, что делают помещики со своими крестьянами, его идеалистическое отношение к освобождению крестьян с землёю и, наконец, его глубокую веру в русский народ, разумея под таковым сельское население — крестьян, чтобы убедиться в том, что Ф.М. Достоевский был *сыном деревни*, а не города. (*Детство и юность. Пг., 1917, С. 202.*)

ДОСТОЕВСКИЙ. Униженные и оскорблённые

<Крестьянин Макар Иванович:>

— <...> раз волка испугалась, бросилась ко мне, вся трепещет, а и никакого волка не было.

Из записной тетради 1875–1876 гг.

И как этот мужик Марей трепал меня по щеке и гладил по головке. Я это забыл, т. е. не забыл, а только в каторге припомнил. Эти воспоминания дали мне возможность пережить в каторге. (*Лит. наследство. Т. 83. С. 401.*)

В свете пожара

ДОСТОЕВСКИЙ

Мне было всего ещё девять лет от роду, как, помню, однажды, на третий день светлого праздника, вечером, часу в шестом, всё наше семейство, отец и мать, братья и сёстры, сидели за круглым столом, за семейным чаем, а разговор шёл как раз о деревне и как мы все отправимся туда на лето. Вдруг отворилась дверь, и на пороге показался наш дворовый человек, Григорий Васильев, сейчас только из деревни прибывший. В отсутствие господ ему даже поручалось управление деревней, и вот вдруг вместо «управляющего», всегда одетого в немецкий сюртук и имевшего

солидный вид, явился человек в старом зипунишке и в лаптях. Из деревни пришёл пешком, а войдя, стал в комнате, не говоря ни слова.

— Что это? — крикнул отец в испуге. — Посмотрите, что это?

— Вотчина сгорела-с! — пробасил Григорий Васильев. (*Дневник писателя, 1876, апрель.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

Как теперь помню, что мы проводили день по-праздничному, за несколько запоздавшими визитами обедали несколько позже, и только что встали из-за стола. <...> Вдруг докладывают родителям, что в кухню пришел из Даровой приказчик, Григорий Васильев. <...>

Сейчас же велели позвать пришедшего, и праздничное настроение, как бы в ожидании какого-либо несчастия, сменилось в тревогу. Через несколько минут в переднюю является Григорий, в лаптях (хотя дворовые у нас никогда в лаптях не ходили), в разорванной и заплатанной свитке, с небритою бородою и с мрачным лицом. Казалось, он нарочно старался загримироваться, чтобы сделать свой вид более печальным.

— Зачем ты пришёл, Григорий?.. Что случилось в деревне?..

— Несчастие... вотчина сгорела! — ответил гробовым голосом Григорий. (*Воспоминания... С. 59–60.*)

Из донесения полицейского исправника. 1832

<...> в умышленном же поджоге погоревших дворов крестьян и вотчинных ни чаяния сомнения и подозрения <...> никакого не имеют, а полагают пожар случился от неосторожности при бывшем тогда ветре. (*Новый мир. 1988. № 10. С. 230.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

<...> пожар случился от того, что один крестьянин, Архип, вздумал в Страстную пятницу палить кабана у себя на дворе. Ветер был страшный. Загорелся его дом, а от него сгорела и вся усадьба. В довершение несчастья сгорел и сам виновник беды, Архип, который побежал в горевшую свою избу что-то спасать и там и остался! <...>

Дочь сгоревшего крестьянина Архипа, Аришу, маменька очень полюбила и взяла к себе в комнаты, а потом она сделалась дворовою и была у нас постоянною прислугою в горницах в Москве. (*Воспоминания... 60–61.*)

ДОСТОЕВСКИЙ

С первого страху вообразили, что полное разорение. Бросились на колена и стали молиться, мать плакала. И вот вдруг подходит к ней

наша няня, Алёна Фроловна, служившая у нас по найму, вольная то есть, из московских мещанок. <...> Жалованья она не брала у нас уже много лет: «Не надо мне», и накопилось её жалованья рублей пятьсот, и лежали они в ломбарде, — «на старость пригодится» — и вот она вдруг шепчет маме:

— Коли надо вам будет денег, так уж возьмите мои, а мне что, мне не надо... (*Дневник писателя, 1876, апрель.*)

Из записной тетради 1875–1876 гг.

Есть совершенно святые, частные ли это случаи (няня Алёна Фроловна) или общего свойства всего народу? (*Лит. наследство. Т. 83, С. 460.*)

ДОСТОЕВСКИЙ

Без святого и драгоценного, унесённого в жизнь из воспоминаний детства, не может и жить человек. Иной, по-видимому, о том и не думает, а всё-таки эти воспоминания бессознательно да сохраняет. Воспоминания эти могут быть даже тяжёлые, горькие, но ведь и прожитое страдание может обратиться впоследствии в святыню для души. Человек и вообще так создан, что любит своё прожитое страдание. Человек, кроме того, уже по самой необходимости наклонен отмечать как бы точки в своём прошедшем, чтобы по ним ориентироваться в дальнейшем и выводить по ним хотя бы нечто целое, для порядка и собственного назидания. При этом самые сильнейшие и влияющие воспоминания почти всегда те, которые остаются в детстве. (*Дневник писателя, 1877, июль – август.*)

Pater familias

О.Ф. МИЛЛЕР

По воспоминаниям некоторых родственников, он <Михаил Андреевич> был человек угрюмый, нервный, подозрительный. (*Биография... С. 20.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

<...> я вполне убеждён, что кому случится прочесть письма отца, тот верно не назовёт его человеком *угрюмым, нервным, подозрительным*, как наименовал его покойный О.Ф. Миллер <...> со слов и воспоминаний каких-то родственников. Нет, наш отец ежели и имел какие недостатки, то не был угрюмым и подозрительным, то есть каким-то *букой*. Напротив, он в семействе был всегда радушным, а подчас и весёлым. (*Воспоминания... С. 93–94.*)

Л.Ф. ДОСТОЕВСКАЯ

В то время в России всё было поставлено на военную ногу. Врачи, состоявшие на государственной службе, не имели права одеваться в штатское платье, а должны были носить мундир и шпагу. В воспоминании Достоевского его отец оставался всегда чем-то вроде солдата, ввиду того, что он начал свою карьеру штаб-лекарем и всегда сохранял военную офицерскую выправку. (*Достоевский в изображении дочери... С. 14.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

По тогдашнему мнению, доктор не мог делать визиты к больным ни в каком другом костюме, как только в чёрном фраке, белом жилете и белом галстуке. Допускался также мундирный (тоже чёрный) фрак, но тоже с белым жилетом и галстуком. <...> Хотя папенька в молодых годах и не прочь был пофрантить, но я не помню у него никакого другого костюма, кроме чёрного или мундирного (тоже чёрного) фрака с белым жилетом и галстуком, причём всегда с орденом. Когда же отец, вышедши в отставку, надел чёрный сюртук, то его не узнавали. (*Воспоминания... С. 42.*)

М.А. ДОСТОЕВСКИЙ — М. Ф. ДОСТОЕВСКОЙ. 23 мая 1835. Москва

Новостей у нас нет никаких, император уехал. Он у нас был чрезвычайно доволен, императрица также[1], Рихтеру 2-й степени Станислава со звездою, а нам, разумеется, ничего, оттого я тебе и не писал ничего, в протчем это так всегда водилось и будет водиться, овцы пасутся, а пастух доит молоко, стрижёт шерсть и получает барыш. (*В семье и усадьбе... С. 98.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

Сейчас же после обеда папенька уходил в гостиную, двери из залы затворялись, и он ложился на диван в халате заснуть после обеда <...>. Я должен был липовою веткою, ежедневно срываемою в саду, отгонять мух от папеньки, сидя в кресле возле дивана, где он спал. Эти полтора — два часа были мучительны для меня, так как, уединённый от всех, я должен был проводить это время в абсолютном безмолвии и сидя без всякого движения на одном месте. К тому же, боже сохрани, ежели, бывало, прозеваешь муху и дашь ей укусить спящего...

[1] Ни в одном известном источнике не зафиксировано посещение Мариинской больницы членами царской семьи в 1835 г. Может быть, говоря «у нас», Михаил Андреевич имеет в виду — «в Москве»?

А из залы слышались шёпотливые разговоры, сдерживаемые смехи. Как, казалось, было там весело. Но, наконец, папенька вставал и я покидал своё уединение. (*Воспоминания... С. 46.*)

Л.Ф. ДОСТОЕВСКАЯ

Пятнадцати лет от роду мой отец знал уже большинство образцовых произведений нашей литературы. Детей приучали декламировать выученные наизусть стихотворения. Иногда устраивались для мальчиков состязания в декламации. Мой отец и его брат Михаил учили наизусть русские стихотворения, а родители решали, кто из них лучше декламирует. (*Достоевский в изображении дочери... С. 13–14.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

Дни семейных праздников, в особенности дни именин отца, всегда были для нас очень знаменательны. Начать с того, что старшие братья, а впоследствии и сестра Варенька, обязательно должны были приготовить утреннее приветствие имениннику. Приветствие это было всегда на французском языке, тщательно переписанное на почтовой бумаге, свернутое в трубочку, подавалось отцу и говорилось наизусть. Помню даже, что один раз было что-то сказано из Генриады (единый Бог знает, для какой причины). Отец умилялся и горячо целовал приветствующих. (*Воспоминания... С. 47–48.*)

Л.Ф. ДОСТОЕВСКАЯ

Он был очень бережлив, почти скуп, но когда дело шло о воспитании его сыновей, он не скупился. Первоначально он поместил своих старших сыновей — Михаила и Фёдора — во французский пансион Сюшара. Так как там не обучали латыни, то дед взял преподавание латыни на себя. (*Достоевский в изображении дочери... С. 13.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

Разница между отцом-учителем и посторонними учителями, к нам ходившими, была та, что у последних ученики сидели в продолжение всего урока вместе с учителем; у отца же братья, занимаясь нередко по часу и более, не смели не только сесть, но даже облокотиться на стол. Стоят, бывало, как истуканчики, склоняя по очереди: mensa, mensae, mensae и т. д., или спрягая: amo, amas, amat. Братья очень боялись этих уроков, происходивших всегда по вечерам. Отец, при всей своей доброте, был чрезвычайно взыскателен и нетерпелив, а главное, вспыльчив. Бывало, чуть какой-либо со стороны братьев промах, так сейчас разразится крик. Замечу тут кстати, что, несмотря на вспыльчивость

отца, в семействе нашем принято было обходиться с детьми очень гуманно, и, несмотря на известную присказку к ижице, нас не только не наказывали телесно, — никогда и никого, — но даже я не помню, чтобы когда-либо старших братьев ставили на колени или в угол. Главнейшим для нас было то, что отец вспылит. Так и при латинских уроках, при малейшем промахе со стороны братьев, отец всегда рассердится, вспылит, обзовёт их лентяями, тупицами; в крайних же, более редких случаях, даже бросит занятия, не докончив урока, что считалось уже хуже всякого наказания. (*Воспоминания... С. 65–66.)*

А.Г. ДОСТОЕВСКАЯ

Фёдор Михайлович охотно вспоминал о своём счастливом, безмятежном детстве и с горячим чувством говорил о матери. (*Воспоминания. С. 89.*)

С. Д. ЯНОВСКИЙ

<...> он <Фёдор Михайлович> сообщал мне многое о тяжёлой и безотрадной обстановке его детства, хотя благоговейно отзывался всегда о матери, о сёстрах и о брате Михаиле Михайловиче; об отце он решительно не любил говорить и просил о нём не спрашивать <...> (*Рус. вестник. 1885. № 4. С. 799–800.*)

М.М. ДОСТОЕВСКИЙ — М.А. ДОСТОЕВСКОМУ. Конец января 1839. Ревель

Я не могу вспомнить покойной маменьки без сильного душевного движения! Летом я видел её во сне; видел, будто она нарочно сошла с небес, чтоб только благословить меня, и это было причиною рождения моего стихотворения. (*Памятники культуры. Новые открытия. 1980. Л., 1981. С. 82.*)

М.М. ДОСТОЕВСКИЙ. Видение матери. 1838

Всё та ж небесная улыбка на устах,
Всё тот же светлый взгляд, всё тот же, как и прежде,
Но слёз уж не было в приветливых очах,
Укоров не было обманчивой надежде.

(*Лит. наследство. Т. 86. С. 327.*)

А.А. ДОСТОЕВСКИЙ, племянник писателя

Покойная дочь писателя, Любовь Фёдоровна, в своей известной книге об отце много погрешила против истины, изобразив своего деда каким-то исчадием рода человеческого. Она такой характеристики от своего отца не слыхала и не могла слышать уже по той простой причине, что когда Фёдор Мих<айлович> скончался, ей было всего лишь 11 лет и едва ли Фёд<ор> Мих<айлович> мог рассказывать ребёнку о таких ужасах об её деде, которых на самом деле и не было. (*В кн.: Воспоминания Андрея Михайловича Достоевского. С.* 7.)

Из записной книжки А.Г. ДОСТОЕВСКОЙ

<...> отец <Достоевского> был угрюмый, подозрительный, ревнивый <...>. (*Лит. газета. 1986. 16 апреля.*)

Л.Ф. ДОСТОЕВСКАЯ

Дочери дворян предназначались для замужества, и их целомудрие ревниво оберегалось. Мой дед Михаил никогда не разрешал дочерям выходить одним и сопровождал их в тех редких случаях, когда они посещали своих соседей по имению. Ревнивая бдительность их отца оскорбляла тонкие чувства моих тёток. С возмущением они вспоминали позже, как их отец заглядывал по вечерам под их кровати — не спрятался ли там какой-нибудь возлюбленный. Мои тётки были в то время ещё настоящими детьми — чистыми и невинными. (*Достоевский в изображении дочери... С. 16.*)

ДОСТОЕВСКИЙ. Идиот

<Докторенко, племянник Лебедева:>

— Представьте себе, что он <Лебедев> вот этого ангела <...> свою дочь, подозревает, у ней каждую ночь милых друзей ищет! Ко мне сюда потихоньку приходит, под диваном у меня тоже разыскивает. С ума спятил от мнительности <...>.

Из черновых набросков к роману «Подросток». 26 августа 1874

ОН мнителен <отец>. Смотрит под постелями, прислушивается ночью. (*ПСС, XVI. С. 84.*)

Старосветские помещики

М.А. ДОСТОЕВСКИЙ — М. Ф. ДОСТОЕВСКОЙ. 9 июля 1833. Москва

Здесь, в Москве, льют беспрестанные дожди; ежели и у вас такие же, то беда да и только, ваза[1] пропадёт, сено у тебя в Даровой хотя

[1] «Ваза — сорт озимой ржи, который был распространён в средней полосе России». (*Прим. В.С. Нечаевой*).

и скошено, но наверное говорю, что сгинет, а всё от того, что меня не послушались и не сложили в ригу. По приезде нашёл, что нанятая моя услуга расстроилась, прачка без меня, взявши у няньки денег, пропадала целую неделю, а кухарка на другой же день сказалась больною, всё время лежит и просит, чтобы её отпустить; беда мне да и только <...>. Письма твоего ожидаю с нетерпением. <...> Целую тебя до засосу. Детей наших за меня поцелуй, скажи от меня старшим, чтобы учились и не огорчали тебя; посылаю вам всем, милые моему сердцу, любовь мою и благословение. (*В семье и усадьбе... С. 76–78.*)

М.А. ДОСТОЕВСКИЙ — М.Ф. ДОСТОЕВСКОЙ. 6 августа 1833. Москва

За вареньице и наливочку благодарю тебя, несравненная моя, медок с чайком кушай, друг мой, и поблагодари за меня старосту. Прощай, душа моя, голобице моя, радость моя, жизнёночек мой, целую тебя до упаду. Детей за меня поцелуй. Кажется, писать нечего, исполни только то, что в прошедших письмах было писано. Прощай, единственный друг мой, и помни навсегда, что я всегда есмь твой до гроба.

М. Достоевский
(*В семье и усадьбе... С. 80–81.*)

М.А. ДОСТОЕВСКИЙ — М.Ф. ДОСТОЕВСКОЙ. 23 августа 1833. Москва

Благодарю тебя, мой дружочек, за изготовленной тобою для меня гостинец, я прочее все получил сполна, выключая двух бутылочек наливки, которые, по словам Григория, разбились; ты пишешь, что незаслащённая с сургучом на пробках в двух бутылках, а он мне доставил пять, из коих на троих есть сургуч по краям, а две просто завязаны; то я, друг мой, сомневаюсь, сами ли оне разбились или же их сперва опорожнили, а после разбили, и толку не мог добиться. И тебе взамен сего посылаю полфунтика чайку и маленькую головку сахарцу, да ещё фунтов 10 песочку сахарного и ещё Верочке башмачонки, поцелуй её за меня и скажи, что башмачки папа ей посылает. <...> Я отчасти покоен нащёт Чермошенского скотника, а Харлашка, слышу, бездельник ленив. Надобно за ним смотреть строже, а ежели нужно будет, то и посечь. <...> Прощай, дружочек мой, ангел мой, жизнь моя, сокровище моё, родная моя. Препоручаю тебя Господу Богу, а сам останусь весь живьём твой

М. Достоевский.

Приписка на полях:

Любезнейшая Маминька!

Мы уже приехали к папиньке, любезнейшая маминька, в добром здоровьи. Папинька и Николинька также находятся в добром здоровьи. Дай Бог, чтобы и Вы были здоровы. Приезжайте к нам, любезнейшая маминька, остальной хлеб, я думаю, не долго убрать, и гречиху, я думаю, вы уже по немногу убираете. Прощайте, любезная маминька, с почтением целую ваши ручки и пребуду Ваш покорный сын

Фёдор Достоевский.
(*В семье и усадьбе... С. 81–83.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М. Ф. ДОСТОЕВСКОЙ. Апрель — май 1834. Москва

Любезная маменька!

Когда Вы уехали от нас, любезная маменька, то мне стало чрезвычайно скучно, и я теперь, когда вспомню о Вас, любезная маменька, то на меня нападёт такая грусть, что я никак не могу её прогнать, если бы Вы знали, как мне хочется Вас увидеть, я не могу дождаться сей радостной минуты. Всякий раз, когда я вспомню о Вас, то молю Бога о Вашем здоровии. Уведомьте нас, любезная маменька, благополучно ли Вы доехали, поцелуйте за меня Андрюшеньку и Верочку. Целую Ваши ручки и пребуду покорный Вам сын Ваш

Ф. Достоевский.
(ПСС, XXVIII, I. С. 31.)

М.А. ДОСТОЕВСКИЙ — М.Ф. ДОСТОЕВСКОЙ. 12 мая 1835. Москва

Очень рад, милый друг мой, что ты прислала Дарию и с оною гостинца, яичек и маслица. Благодарю тебя, дражайшая, за твою обо мне печность. Сорочки три готовых и две не шитых получил. (*В семье и усадьбе... С. 93.*)

М.А. ДОСТОЕВСКИЙ — М.Ф. ДОСТОЕВСКОЙ. 23 мая 1835. Москва

Ещё тебе скажу, что ты напрасно зделала, что прислала нешитые рубашки: они останутся нешитыми до твоего приезда, все отговариваются недосугом. (*В семье и усадьбе... С. 98.*)

М.А. ДОСТОЕВСКИЙ — М.Ф. ДОСТОЕВСКОЙ. 16 мая 1835. Москва

Во-первых, скажу тебе, что у нас в доме всё покуда спокойно, хотя Василиса в некоторых случаях оказалась подозрительною, но я смотрю теперь за нею в оба глаза. <...>

Напиши, дружочек, сколько у тебя в чулане полштофов и бутылок с наливкою. (*В семье и усадьбе... С. 94–95.*)

М.Ф. ДОСТОЕВСКАЯ — М.А. ДОСТОЕВСКОМУ. 29 мая 1835. Даровое

Очень рада, друг мой, что в доме у тебя стало потише; не заботься, голубчик мой, о недошитых сорочках, они дошьются и после <...>. (*В семье и усадьбе... С. 103.*)

М.А. ДОСТОЕВСКИЙ — М.Ф. ДОСТОЕВСКОЙ. 19 мая 1835. Москва

Приписка на полях. Я не хотел огорчать неисправностию моей прачки, но сегодня отпросилась со двора и на силу пришла в 11-ть часов и то, слышу, пьяна, на руку не чиста, ничего нельзя поверить, ибо во многих случаях ежели не уличена, то в большей части очень подозрительна. Напиши — не осталось ли твоих платьев, манишек, чепчиков или чего сему подобного равно что у нас в чулане, вспомни и напиши подробно, ибо я боюсь, чтоб она не обокрала. (*В семье и усадьбе... С. 96.*)

М.Ф. ДОСТОЕВСКАЯ — М.А. ДОСТОЕВСКОМУ. 24 мая 1835. Даровое

Василиска наша со всех сторон показала себя скверною женщиною. Ах друг мой, как ето неприятно и сколько ты терпишь; слышу даже, что она белится и румянится, друг мой, прошу тебя, запрети ей ето с строгостию, она и тебя страмит етим, а лучше всего подумай, как бы тебе её сбыть с рук. (*В семье и усадьбе... С. 99–100.*)

М.А. ДОСТОЕВСКИЙ — М.Ф. ДОСТОЕВСКОЙ. 30 мая 1835. Москва

Нащёт Василиски скажу тебе, что получивши реэстр я обрадовался и сей час хотел было её расчесть и пашпорт в руки, но прочитавши его стал в тупик; ты пишешь, что у меня в расходе ложек столовых 6, а у меня налице только 5. Пишешь ещё, что в шифоньерке осталась сломанная ложка, а её я не отыскал, то прошу тебя подумай хорошо, не ошиблась ли ты, ибо скажу тебе, что у меня с самого твоего отъезда было только 5 ложек, нащёт же сломанной припомни хорошенько, не положила ли ты её где-нибудь в другом месте, ибо ключи беспрестанно со мною. (*В семье и усадьбе... С. 105.*)

ДОСТОЕВСКИЙ. Из черновиков к «Житию великого грешника». 1870

Анна и Василиса бежали. Продали Василису. (*ПСС. IX. С. 127.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

Кухарка Анна. <...> **была крепостною с давних пор**, то есть ещё до покупки деревни <...>. Прачка Василиса. <...> была крепостная, но впоследствии скрылась, или говоря проще, — сбежала. Этот побег был чувствителен для родителей моих не столько в материальном отношении, сколько в нравственном, потому что бросал тень на худое житьё у нас крепостным людям, между тем как жизнь у нас для них была очень хороша. (*Воспоминания... С. 29.*)

Vox populi [1]

ДАНИЛ МАКАРОВ, крестьянин с. Дарового (со слов своего отца). Записано В.С. НЕЧАЕВОЙ в 1925 г.

Барин был строгий, неладный господин, а барыня была душевная. Он с ней нехорошо жил, бил её. Крестьян порол ни за что. Бывало, гуляет в саду, а там за дорогою мужик пашет, не видит барина, и шапку не снимает. А барин велит позвать да всыпать ему штук от 20-ти до 30-ти, а потом посылает: «Иди, работай». (*Новый мир. 1926. № 3. С. 132.*)

Крестьянка АВДОТЬЯ СПИРИДОНОВНА (в записи Д. СТОНОВА). 1924

<...> старый-то Махал Андреевич хочет мужиков наших наказать, а она, светушка <Мария Фёдоровна>, плачет — убивается, христом-богом молит — не трожь. Он её, Махал Андреевич, в гандерепке за то запирал — не мешай, мол, моей воле![2] Вот ведь барыня какая была сердешная, за то ей Господь сынка такого послал — Фёдора. Сказывают, — в славе гремит. (*Красная Нива. 1926. 18 апреля.*)

ДАНИЛ МАКАРОВ (в записи Д. СТОНОВА). 1924

Говорили, будто сын барина, Фёдор-то Михайлович, большим человеком стал. Не верю я, как хотите, этому. Не может, гражданин, быть, чтоб у этакого отца такой сын был. Не верю. (*Красная Нива. 1920. 18 апреля.*)

М.М. ДОСТОЕВСКИЙ — сестре Варваре. 1 сентября 1839. Ревель

Музыка была любимым наслаждением покойного папеньки! (*Хроника рода Достоевского. С. 50.*)

---

[1] Глас народный (*лат.*).

[2] Крестьянские толки о характере отношений Михаила Андреевича и Марии Фёдоровны трудно признать достоверными — не только в силу того, что они не находят подтверждения в других источниках, но и потому, что при жизни Марии Фёдоровны её супруг в деревне практически не бывал и все хозяйственные заботы приходились на долю новоиспечённой помещицы.

Выбранные места из семейной переписки

М.А. ДОСТОЕВСКИЙ — М.Ф. ДОСТОЕВСКОЙ. 23 мая 1835. Москва

Пишешь, между протчим, что в Чермашне корова отелилась неблагополучно, а не упоминаешь от чего это, ежели виновата скотница, то ты очень худо поступила, что только слегка побранила и не наказала для примера протчим. (*В семье и усадьбе... С. 101.*)

М.А. ДОСТОЕВСКИЙ — М.Ф. ДОСТОЕВСКОЙ. 19 мая 1835. Москва

Скажу тебе ещё за новость, что корова наша не стельна и в пятницу потребовала быка, ушла в стадо в Мариину рощу, то я и приказал её спровадить к быку, после обеда сам пошёл туда и сам был очевидцом, что она настоящим образом принимала. Теперь суди, когда она будет с телёнком, за то бык тирольский отличнейший, только боюсь, чтоб она не осталась ялова, ибо и с прежним быком она повидимому обходилась, как следует, и теперь оказалось попустому. Теперь, друг мой, не знаю, когда будут детские экзамены, и ничего тебе решительного не могу сказать, когда я могу быть у тебя. (*В семье и усадьбе... С. 96.*)

ФЁДОР и АНДРЕЙ ДОСТОЕВСКИЕ — М.Ф. ДОСТОЕВСКОЙ. 26 мая 1835. Москва

Любезнейшая Маминька!

Очень радуюсь, что вы по всеблагому промыслу Создателя находитесь в хорошем здравии. Сии два дня, т. е. Троицын и Духов, мы проводим дома у папиньки. <...> Экзамен наш будет по прошлогоднему в конце Июня и по сему мы лишаемся надежды вскоре вас увидеть. <...> Прощайте, любезная маминька, более писать нечего; остаюсь покорный сын Ваш

Фёдор Достоевский и Андрей Достоевский

(В семье и усадьбе... С. 102.)

М.Ф. ДОСТОЕВСКАЯ — М.А. ДОСТОЕВСКОМУ, 29 мая 1835. Даровое

<...> более у нас новостей никаких нет, выключая того, что мне Бог дал крестьянина и крестьянку: у Никиты родился сын Егор, а у Федота дочь Лукерья. Свинушка опоросила к твоему приезду пятерых поросяточек; утки выводятся понемножку, а гусям вовсе воду нет в ету переменную погоду, беспрестанно гусенят убывает, так жаль, что мочи нет <...>. (*В семье и усадьбе... С. 103.*)

А.А. ДОСТОЕВСКИЙ — М. В. ВОЛОЦКОМУ. 3 августа 1924

Это <М. Ф. Достоевская> была женщина в высшей степени добрая, религиозная, в то же время хозяйственно-практическая. Не лишена

музыкальных способностей (гитара). (*Достоевский на жизненном пути. I. С. 20.*)

М.Ф. ДОСТОЕВСКАЯ — М. А. ДОСТОЕВСКОМУ. 24 мая 18.?5. Даровое

Удивительно для меня, что бы ето значило, что коровка наша нестельна, и жаль, ежели она останется яловою, у нас и здесь есть такая, сколько раз видели её в етом, а всё не стельна. Посмотрим, что будет от тирольского. (*В семье и усадьбе... С. 99.)*

М.А. ДОСТОЕВСКИЙ — М.Ф. ДОСТОЕВСКОЙ. 30 мая 1835. Москва

Корова наша, кажется, останется яловою, представь себе, во вторник опять водили куда следует и она гуляла как следует, но по моему замечанию всё по пустому. Я ещё заплатил 5 р. асс., ибо не хотели пускать Тирольского. (*В семье и усадьбе... С. 104–105.*)

Попытка ревности

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

<...> родители разговаривали и делали предположения на будущее лето о поездке в деревню, причём, вероятно, маменька заметила, что нельзя наверно рассчитывать, а сообщила папеньке, что она подозревает, что её постигла вновь беременность. Услышав это, папенька, вероятно, неосторожно высказал своё неудовольствие, что и вызвало со стороны маменьки истерический плач. (*Воспоминания... С. 72.)*

Л.Ф. ДОСТОЕВСКАЯ

Она <М. Ф. Достоевская> была кроткой, красивой, преданной своему мужу женщиной, всецело посвятившей себя семье. Она была слабого здоровья — многочисленные роды совершенно истощили её. (*Достоевский в изображении дочери... С. 14.*)

М.А. ДОСТОЕВСКИЙ — М.Ф. ДОСТОЕВСКОЙ. 23 мая 1835. Москва

Пишешь ты, друг мой, что тебя мучает изжога и что избавляешься от оной пряничками; Бог знает откуда она у тебя, ты в прежних беременностях никогда оной не имела <...>. (*В семье и усадьбе... С. 97.*)

М.Ф. ДОСТОЕВСКАЯ — М.А. ДОСТОЕВСКОМУ. 31 мая 1835. Даровое

В прошедшем письме твоём ты упрекнул меня изжогою, говоря, что в прежних беременностях я её никогда не имела. Друг мой, соображая

всё сие, думаю, не терзают ли тебя те же гибельные для обоих нас и несправедливые подозрения в неверности моей к тебе, и ежели я не ошибаюсь, то клянусь тебе, друг мой, самим Богом, небом и землёю, детьми моими и всем моим щастием и жизнию моею, что никогда не была и не буду преступницею сердечной клятвы моей, данной тебе, другу милому, единственному моему пред святым алтарём в день нашего брака. Клянусь также, что и теперешняя моя беременность есть седьмой крепчайший узел взаимной любви нашей, со стороны моей любви чистой, священной, непорочной и страстной, неизменяемой от самого брака нашего; довольно ли сей клятвы для тебя, которой я ещё никогда не повторяла тебе, во-первых, потому, что стыдилась себя унизить клятвою в верности моей на шестнадцатом году нашего союза; во-вторых, что ты по предубеждению своему мало расположен был выслушать, а не только верить клятвам моим; теперь же клянусь тебе, щадя твое драгоценное спокойствие; к тому же и клятва моя, я полагаю, более имеет вероятности, судя по моему положению: ибо которая женщина в беременности своей дерзнёт поклясться Богом, забираясь ежечасно предстать пред страшный и справедливый суд Его (*В семье и усадьбе... С. 106.*)

М.Ф. ДОСТОЕВСКАЯ — М.А. ДОСТОЕВСКОМУ. 8–10 июня 1835. Даровое

<...> друг мой, я, может быть, раз 50 перечитала твоё письмо, думала и передумывала, что бы такая за отчаянная грусть терзала тебя, которой ты в жизни своей не имел; наконец мелькнула сия гибельная догадка, как стрелой пронзила и легла на сердце. <...> Я не сомневаюсь в любви твоей и чту твои чувствования, боготворю ангельские твои правила, но сама, хотя и люблю ещё более, люблю без всяких сомнений, с чистою, святою доверенностию, и любви моей не видят, не понимают чувств моих, смотрят на меня с низким под<озрением>, тогда как я дышу моею любовию. Между тем времена и годы проходят, морщины и жолчь разливаются по лицу; весёлость природного характера обращается в грустную меланхолию, и вот удел мой, вот награда непорочной, страстной любви моей; и ежели бы не подкрепляла меня чистая моя совесть и надежда на Провидение, то конец судьбы моей самый был бы плачевной. (*В семье и усадьбе... С. 109.*)

МИХАИЛ, ФЁДОР и АНДРЕЙ ДОСТОЕВСКИЕ — М.Ф. ДОСТОЕВСКОЙ. 2 июня 1835. Москва

Любезная маменька!

Душевно радуемся, видя из письма Вашего, что Вы, слава Богу, здоровы. Что же касается до экзамена, то он будет наверно 24 июня,

и мы теперь к оному приготавливаемся. Погода у нас вчера и нынче прекрасная; и теперь сбираемся с папенькой гулять. Прощайте, дражайшая маменька, пожелав Вам доброго здравия и расцеловав Ваши ручки, честь имеем пребыть дети Ваши

Михаил, Фёдор, Андрей Достоевские.
(*ПСС, XXVIII, I. С. 34.*)

М.Ф. ДОСТОЕВСКАЯ — М.А. ДОСТОЕВСКОМУ. 29 мая 1835. Даровое

Дети нас любят и мы щастливы ими чего же нам больше богатства да составит ли оно наше щастие! Друг мой, умоляю тебя, отбрось все печальные думы Бог милосерд не оставит нас своею милостию; поверь мне что когда ты повеселей то и я весела, когда ты грустен, то и я плачу тебе моею грустию; полно дружочек мой не тоскуй. (*В семье и усадьбе... С. 103.*)

М.А. ДОСТОЕВСКИЙ — М.Ф. ДОСТОЕВСКОЙ. 23 июня 1835. Москва

Письма на прошедшей почте я к тебе не писал, ибо по прежним двум твоим письмам ты хотела сама приехать, и я тебя все дни ожидал; но последнее письмо твоё разрешило загадку; теперь ясно вижу, что переписка твоя прежде тобою была хорошо обдуманна, скажу тебе откровенно, что я тебя совершенно понимаю, ты переписывалась с тем, чтобы довести время до последнего периода, и после сказать решительно, что не можешь приехать, а я по своей простоте всему верил и в последние дни все глаза проглядел. — Но Бог тебе судья. <...> не сердись на меня за правду, внушённую мне чистою, искренною, постоянною и оскорблённою любовию; обо мне не беспокойся, я здоров и как всегда пекусь о щастии моего семейства, о нравственности моих детей и теперь более, чем когда, а равным образом и тружусь о ежедневном для них насущном пропитании. (*В семье и усадьбе... С. 110–111.*)

М.М. ДОСТОЕВСКИЙ — сестре Варваре. 1 сентября 1839. Ревель

Музыка была любимым наслаждением покойного папеньки![1] (*Хроника рода Достоевского. С. 50.*)

[1] Полагаем, великодушный читатель простит нам невольный самоповтор или, по крайней мере, сделает вид, что его не заметил. (См. с. 20???.)

Отцы и дети

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

Отец наш был чрезвычайно внимателен в наблюдении за нравственностью детей, и в особенности относительно старших братьев, когда они сделались уже юношами. Я не помню ни одного случая, когда бы братья вышли куда-нибудь одни; это считалось отцом за неприличное, между тем как к концу пребывания братьев в родительском доме старшему было почти уже 17, а брату Фёдору почти 16. В пансион они всегда ездили на своих лошадях и точно так же и возвращались. (*Воспоминания... С. 71.*)

Л.Ф. ДОСТОЕВСКАЯ

Мой дед боялся грубости московского простонародья и не разрешал детям гулять по улице. <...> Мой отец так плохо знал свой родной город, что ни одного описания Москвы нельзя встретить в его романах. (*Vie de Dostoiewsky... P. 29.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

Родители наши были отнюдь не скупы, скорее даже тароваты; но, вероятно, по тогдашним понятиям, считалось тоже за неприличное, чтобы молодые люди имели свои хотя бы маленькие карманные деньги. Я не помню такого случая, и, вероятно, они ознакомились с деньгами только тогда, когда отец оставил их в Петербурге.

<...> отец не любил делать нравоучений и наставлений, но у него была одна, как мне кажется теперь, слабая сторона. Он очень часто повторял, что он человек бедный, что дети его, в особенности мальчики, должны готовиться пробивать себе сами дорогу, что со смертью его они останутся нищими и т. п. (*Воспоминания... С. 71.*)

Л.Ф. ДОСТОЕВСКАЯ

Мой дед Михаил был очень честолюбив, когда дело касалось его сыновей, и беспрестанно твердил им, что они должны работать беспрерывно: «Вы бедны, — повторял он постоянно. — Я не могу оставить вам большое состояние, вы можете надеяться лишь на собственные силы, вы должны много работать, быть осмотрительными в своём поведении, взвешивать свои слова и поступки». (*Достоевский в изображении дочери... С. 15.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — А.Е. ВРАНГЕЛЮ. 9 марта 1857. Семипалатинск

Более всего беспокоят меня за Вас, друг мой, отношения Ваши с отцом. Я знаю, чрезвычайно хорошо знаю (по опыту), что подобные неприятности нестерпимы, и тем более нестерпимы, что Вы оба, я знаю это, любите друг друга. Это своего рода бесконечное недоразумение с обеих сторон, которое, чем далее идёт, тем более запутывается. <...> Характеры, как у Вашего отца, — странная смесь подозрительности самой мрачной, болезненной чувствительности и великодушия. Не зная его лично, я так заключаю о нём, ибо знал в жизни, два раза, точно такие же отношения, как у Вас с ним. Его тоже нужно щадить <...>. (*ПСС, XXVIII, I. С. 270.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 31 октября 1838. Петербург

Мне жаль бедного отца! Странный характер! Ах, сколько несчастий перенёс он! Горько до слёз, что нечем его утешить. А знаешь ли? Папенька совершенно не знает света: прожил в нём 50 лет и остался при своём мненье о людях, какое он имел 30 лет назад. Счастливое неведенье. Но он очень разочарован в нём. Это, кажется, общий удел наш. (*ПСС, XXVIII, I. С. 55.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

<...> не могу не упомянуть о том мнении, какое брат Фёдор Михайлович высказал мне о наших родителях. <...> я как-то, бывши в Петербурге, разговорился с ним о нашем давно прошедшем и упомянул об отце. Брат мгновенно воодушевился, схватил меня за руку повыше локтя (обыкновенная его привычка, когда он говорил по душе) и горячо высказал: «Да, знаешь ли, брат, ведь это были люди передовые... и в настоящую минуту они были бы передовыми!.. А уж такими семьянинами, такими отцами... нам с тобою не быть, брат!..» (*Воспоминания... С. 94.*)

Л.Ф. ДОСТОЕВСКАЯ

Позже, вспоминая детские годы, Достоевский говорил своим младшим братьям Андрею и Николаю, что их родители были замечательными людьми, более передовыми по своим взглядам, чем большинство их современников[1]. (*Vie de Dostdiewsky... P. 26–27.*)

[1] Надо всё же полагать, что под словом «передовые» Достоевский разумел не *систему убеждений*, а нечто иное.

ДОСТОЕВСКИЙ

О, если родители добры, если любовь их к детям ревностна и горяча, то дети многое простят им и многое забудут потом не только из комического и безобразного, но даже не осудят их безапелляционно за иные совсем уже дурные дела их; напротив, сердца их непременно найдут смягчающие обстоятельства. (*Дневник писателя. 1877. Июль – август.*)

Братья Карамазовы

<Старец Зосима:>

Из дома родительского вынес я лишь драгоценные воспоминания, ибо нет драгоценнее воспоминаний у человека, как от первого детства его в доме родительском, и это почти всегда так, если даже в семействе хоть только чуть-чуть любовь да союз. Да и от самого дурного семейства могут сохраниться воспоминания драгоценные, если только сама душа твоя способна искать драгоценное.

ДОСТОЕВСКИЙ — А.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 10 марта 1876. Петербург

<...> идея непременного и высшего стремления *в лучшие люди* (в буквальном, самом *высшем* смысле слова) была основною идеей и отца и матери наших, несмотря на все уклонения. (*ПСС. XXIX. II. С. 76.*)

М.М. ДОСТОЕВСКИЙ — сестре Варваре. 1 сентября 1839. Ревель

Музыка была любимым наслаждением покойного папеньки![1] (*Хроника рода Достоевского. С. 50.*)

Частный пансион

Л.Ф. ДОСТОЕВСКАЯ

<...> дети <М.А. и М.Ф. Достоевских> не знали телесных наказаний. Это и впрямь примечательно, ибо маленьких москвичей в ту эпоху усиленно секли. (*Vie de Dostoiewsky... P. 26.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

<...> гуманное отношение к нам, детям, со стороны родителей и было поводом к тому, что при жизни своей они не решались поместить нас в гимназию, хотя это стоило бы гораздо дешевле. Гимназии не пользовались в то время хорошею репутациею, и в них существовало обычное и заурядное, за всякую малейшую провинность, наказание телесное. Вследствие чего и были предпочтены частные пансионы. (*Воспоминания... С. 66.*)

[1] См. примечание на с. 276.

Из «Наставления содержателям и содержательницам пансионов по части учебной». 1835

<...> частный пансион должен по возможности приближаться к казённым учебным заведениям во внешнем и внутреннем устройстве. (*Мат. и исслед., I, С. 242.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

Братья <...> были отданы к Чермаку на полный пансион и приезжали домой только по субботам к обеду, а в понедельник утром уезжали опять на целую неделю. <...>

В субботу с утра чувствовалось уже прибытие всей семьи в родной кров. И родители делались несколько веселее, и к столу прибавлялось что-то лишнее <...>. Но вот приезжали братья, не успели поздороваться, как и горячее уже на столе. Садились обедать, и тут же, не удовлетворивши первому аппетиту, братья начинали рассказывать о всём случившемся в продолжение недели. Во-первых, отрапортуют правдиво о всех полученных в продолжение недели по различным предметам баллах, а потом и начнутся рассказы про учителей, про различные детские, а иногда и не совсем приличные шалости товарищей. За рассказами и разговорами и обед в этот день продолжается гораздо дольше. Родители самодовольно слушали и молчали, давая высказаться приезжим. Можно сказать, что откровенность в рассказах была полная. Вспоминаю, что отец ни разу не давал наставлений сыновьям при повествованиях о различных шалостях, случившихся в классе; отец только приговаривал: «ишь ты, шалун, ишь разбойник, ишь негодяй!» и т. п., смотря по степени шалости, но ни разу не говорил: «Смотрите, не поступайте-де и вы так!» — Этим давалось, кажется, знать, что отец и ожидать не может от них подобных шалостей. (*Воспоминания... С. 66–68.*)

Л.Ф. ДОСТОЕВСКАЯ

Училище Чермака носило патриархальный характер, и там старались дать иллюзию семейной жизни. Сам Чермак ел за одним столом вместе со своими учениками и обращался с ними ласково, как с собственными сыновьями. Он приглашал в качестве преподавателей лучших московских учителей, и обучение велось там очень серьёзно. (*Достоевский в изображении дочери... С. 13.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

Пища в пансионе была приличная. Сам Леонтий Иванович и его семейство (мужского пола) постоянно имели стол общий с учениками. (*Воспоминания... С. 96.*)

Д.В. ГРИГОРОВИЧ

Мне потом не раз случалось встречаться с лицами, вышедшими из пансиона Чермака, где получил образование Достоевский; все отличались замечательною литературною подготовкой и начитанностью. (*Рус. мысль. 1892. № 12. С. 22.*)

Донос И.В. ШЕРВУДА великому князю МИХАИЛУ ПАВЛОВИЧУ. 20 августа 1843

<...> в то время существовали учебные заведения, как, например, в Москве Чермака, где юношество просто приготовлялось врагами отечества. (*Троцкий И.М. Жизнь Шервуда-Верного. М., 1931. С. 250.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

Леонтий Иванович <Чермак>, человек уже преклонных лет, был мало или совсем необразован, но имел тот такт, которого часто недостает и директорам казённых учебных заведений. <...> Но, главное, наш старик был с душою. <...> Отличных по успехам учеников, т. е. каждого получившего четыре балла (пятичная система баллов тогда ещё не существовала), он очень серьёзно зазывал к себе в кабинет и там вручал ему маленькую конфетку. Случалось иногда, что подобные награды давались и ученикам старших классов, но никогда ни один из них не принимал этого с насмешкой, потому что всякий знал, что Л.И. — старик добрый и что над ним смеяться грешно! (*Воспоминания... С. 95–96.*)

Список предметов. 1837

ПАНСИОН ЛЕОНТИЯ ЧЕРМАКА

I. Предметы учения по курсу Гимназическому

а. **Науки**
1. Закон Божий
2. Логика
3. Риторика
4. Арифметика
5. Алгебра
6. Геометрия
7. География
8. История
9. Физика

в. **Языки**
10. Русский
11. Греческий
12. Латинский
13. Немецкий
14. Английский
15. Французский

с. **Искусства**
16. Чистописание
17. Рисование и
18. Танцевание

(*Мат. и исслед., I. С. 251.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

Чермак содержал свой почти образцовый пансион более чем 25 лет; ученики из его пансиона были лучшими студентами в университете, и в заведении его получили начальное воспитание люди, сделавшиеся впоследствии видными общественными деятелями. Помимо двух Достоевских (Фёдора и Михаила Михайловичей), я могу указать на <...> Каченовского (литератора, сына проф. М.Т. Каченовского) <...> (*Воспоминания... С. 97.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — В.М. КАЧЕНОВСКОМУ. 16 октября 1880. Петербург

Да, наших чермаковцев немного, а я всех помню. <...> Бывая в Москве, мимо дома в Басманной всегда проезжаю с волнением. (*ПСС, XXX, I. С. 219.*)

В.М. КАЧЕНОВСКИЙ

Вообще как в разговоре, так и в письмах, он <Достоевский> любил употреблять слово «старый товарищ», и был очень сердечен. (*Моск. ведомости. 1881, 31 января.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — В.М. КАЧЕНОВСКОМУ. 25 ноября 1880. Петербург

Вам совершенно преданный старый товарищ Ваш

Ф. Достоевский.

(ПСС, XXX, I. С. 228.)

В.М. КАЧЕНОВСКИЙ

В первый же день поступления, когда я, оторванный от семьи, окружённый чужими для меня лицами и, как новичок, даже обижаемый ими, предавался порывам детского отчаяния, во время рекреации, послышался в среде резвившихся вокруг меня детей знакомый голос... Это был Фёдор Михайлович Достоевский, который, увидав меня, тотчас же подошёл ко мне, прогнал шалунов-обидчиков и стал меня утешать, что ему скоро и удалось вполне. С тех пор он часто приходил ко мне в класс, руководя моими занятиями, а во время рекреации облегчал занимательными рассказами тоску мою по родительском доме. Он был ко мне очень приветлив и ласков. (*Моск. ведомости. 1881. 31 января.*)

Из списка учащихся в пансионе Л.И. ЧЕРМАКА. 1837

а. Из дворян

<...>
4. Михаил Достоевский
5. Фёдор Достоевский <...>
28. Владимир Каченовский

(Мат. и исслед. I. С. 253.)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

Оба старшие брата были погодки, росли вместе и были чрезвычайно дружны между собою. Дружба эта сохранилась и впоследствии, до конца жизни старшего брата. Но, несмотря на эту дружбу, они были совершенно различных характеров. Старший брат Михаил был в детстве менее резв, менее энергичен и менее горяч в разговорах, чем брат Фёдор, который был во всех проявлениях своих настоящий огонь, как выражались наши родители. (*Воспоминания... С. 43.*)

А.Г. ДОСТОЕВСКАЯ

Фёдор Михайлович вспоминал всегда о Михаиле Михайловиче с самым нежным чувством. Он любил его более, чем кого другого из своих кровных родных, может быть, потому, что вырос вместе с ним и делил мысли в юности. (*Семинарий... С. 65.*)

ДОСТОЕВСКИЙ. Черновые наброски к «Житию великого грешника». 1870

Матушкины дети у Сушара и у Чермака <...>. (*ПСС, IX, С. 127.*)

Бегство в Венецию (круг чтения)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

<...> старшие братья читали во всякое свободное время. В руках брата Феди я чаще всего видал Вальтер Скотта: «Квентин Дорварда» и «Ваверлея» <...>. (*Воспоминания... С. 69.*)

ДОСТОЕВСКИЙ. Из подготовительных материалов к «Дневнику писателя». 1877

Приехал в деревню. Листва, роща и Вальтер Скотт. (*ПСС. XXV. С. 237.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — Н.Л. ОЗМИДОВУ. 18 августа 1880. Старая Русса

12-ти лет я в деревне во время вакаций прочёл всего Вальтер Скотта, и пусть я развил в себе фантазию и впечатлительность, но зато я направил её в хорошую сторону и не направил на дурную, тем более, что захватил с собой в жизнь из этого чтения столько прекрасных и высоких впечатлений, что, конечно, они составили в душе моей

большую силу для борьбы с впечатлениями соблазнительными, страстными и растлевающими. (*ПСС. XXX. I. С. 212.*)

Л.Ф. ДОСТОЕВСКАЯ

Мой отец, забывший <девичью> фамилию своей жены и лицо своей возлюбленной, помнил все английские имена героев <...> Вальтер Скотта, произведших на него впечатление в юности, и говорил о них, как о своих близких друзьях. (*Достоевский в изображении дочери... С. 91.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — Н.Л. ОЗМИДОВУ. 18 августа 1880. Старая Русса

Впечатления от *прекрасного* именно необходимы в детстве. 10-ти лет от роду я видел в Москве представление «Разбойников» Шиллера с Мочаловым, и, уверяю Вас, это сильнейшее впечатление, которое я вынес тогда, подействовало на мою духовную сторону очень плодотворно. (*ПСС, XXX, I. С. 212.*)

О.Ф. МИЛЛЕР

Сам Ф<ёдор> М<ихайлович> рассказывал Анне Григорьевне о том сильном впечатлении, какое произвело на него, десятилетнего, представление <...> «Разбойников» Шиллера — с Мочаловым в главной роли. (*Биография... С. 11.*)

Л.Ф. ДОСТОЕВСКАЯ

В один осенний вечер в Старой Руссе, когда дождь лил потоками и жёлтые листья устилали землю, Достоевский объявил нам, что он прочитает нам вслух «Разбойников» Шиллера. Мне было в это время семь лет, а брату еле исполнилось шесть лет. Моя мать пожелала присутствовать при этом первом чтении. Достоевский читал с увлечением, иногда останавливался для того, чтобы объяснить нам трудное выражение. Мы слушали с открытым ртом; эта немецкая драма казалась нашему детскому уму очень странной. <...> Хотя я, семи лет, и не могла понять произведения Шиллера, но я всё же хорошо поняла, что эта загадочная драма очень интересовала моего отца <...>. Но так как сон овладевал мною тем больше, чем свирепее становились братья Мооры, я судорожно раскрывала по возможности шире мои бедные утомлённые детские глаза, а брат Фёдор совершенно бесцеремонно уснул... Когда Достоевский взглянул на свою аудиторию, он замолчал, расхохотался и стал смеяться над собой. — «Они не могут этого понять, они ещё слишком молоды», — сказал он печально своей жене. Бедный отец! Он надеялся пережить с нами снова тот восторг, который возбудили в нём драмы Шиллера <...>. (*Достоевский в изображении дочери... С. 89.*)

М.М. ДОСТОЕВСКИЙ — М.А. ДОСТОЕВСКОМУ. 26 мая 1838. Ревель

Папинька! Как мне благодарить Вас за то воспитание, которое Вы мне дали! Как сладко, как отрадно задуматься над Шекспиром, Шиллером, Гёте! чем оценяются эти мгновения! (*Памятники культуры. Новые открытия. 1980. С. 78.*)

Л.Ф. ДОСТОЕВСКАЯ

Мальчики подбирали рифмы, составляли эпитафии и стихотворения, мой отец писал в молодости венецианские романы и исторические драмы. (*Достоевский в изображении дочери... С. 12.*)

ДОСТОЕВСКИЙ

Вообще и прежде, поколение или два назад, в головах этого очень юного народа тоже могли бродить мечты и фантазии <...>. Прежние, надумав проект (ну хоть и бежать в Венецию, начитавшись о Венеции в повестях Гофмана и Жорж Занда, — я знал одного такого), всё же проектов своих не исполняли и много что поверяли их под клятвою какому-нибудь товарищу <...> (*Дневник писателя, 1876, декабрь.*)

О.Ф. МИЛЛЕР

По собственным словам Ф.М., он очень любил читать путешествия и под влиянием такого чтения пламенною мечтою его сделалось посетить Венецию, Константинополь и вообще Восток, сильно занимавший его воображение. (*Биография... С. 23.*)

ДОСТОЕВСКИЙ. Зимние заметки о летних впечатлениях

За границей я не был ни разу; рвался я туда чуть не с моего первого детства, ещё тогда, когда в долгие зимние вечера, за неумением грамоте, слушал, разиня рот и замирая от восторга и ужаса, как родители читали на сон грядущий романы Радклиф, от которых я потом бредил во сне в лихорадке.

ДОСТОЕВСКИЙ — Я.П. ПОЛОНСКОМУ. 31 июля 1861. Петербург

Сколько раз мечтал я, с самого детства, побывать в Италии. Ещё с романов Радклиф, которые я читал ещё с восьми лет, разные Альфонсы, Катарины и Лючии въелись в мою голову. А донами Педрами и доньями Кларами ещё и до сих пор брежу. (*ПСС, XXVIII, I. С. 19.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

Появлялись в нашем доме и книжки издававшейся в то время «Библиотеки для Чтения». Как теперь помню эти книжки, менявшие ежемесячно цвет своих обложек, на которых изображался загнутый верхний уголок с именами литераторов, поместивших статьи в этой книжке. Эти книги уже были исключительным достоянием братьев. Родители их не читали. (*Воспоминания... С. 69.*)

М.М. ДОСТОЕВСКИЙ

Мы признаёмся в своей слабости <...> мы несколько неравнодушны к ней <«Библиотеке для чтения»> <...> по старой памяти. Мы помним, тому уже очень давно, когда мы все были, кто ещё очень молод, а кто моложе, мы помним, с каким нетерпением, бывало, ожидали выхода каждой из её книжек. А как мы, бывало, восхищались её стихотворениями. Где теперь эти светила русского Парнаса, гг. Тимофеевы, Бернеты? (*Пантеон и Репертуар. 1848. № 5. С. 73–74.*)

В.М. КАЧЕНОВСКИЙ

В то время Фёдор Михайлович был вместе с братом уже в старших классах. Это был серьёзный, задумчивый мальчик, белокурый, с бледным лицом. Его мало занимали игры: во время рекреаций он не оставлял почти книг, проводя остальную часть свободного времени в разговорах со старшими воспитанниками пансиона <...> (*Моск. ведомости. 1881. 31 января.*)

ДОСТОЕВСКИЙ. Черновые наброски к «Житию великого грешника». 1870

Опасная и чрезвычайная мысль, что он будущий человек необыкновенный, охватила его ещё в детстве.

<...> он кается и мучается совестью в том, что ему так низко хочется быть необыкновенным. Впрочем, он сам не знает, что он будет.

Чистый идеал свободного человека мелькает перед ним иногда; всё это — в пансионе. (*ПСС, IX. С. 136.*)

Осень 1836: «предположите, что Чаадаев...»

ДОСТОЕВСКИЙ — А.Н. МАЙКОВУ. 25 марта 1870. Дрезден

Тут же в монастыре посажу Чаадаева (конечно, под другим тоже именем). Почему Чаадаеву не просидеть года в монастыре? Предположите, что Чаадаев, после первой статьи, за которую его свидетельствовали доктора каждую неделю, не утерпел и напечатал, например,

за границей, на французском языке, брошюру, — очень и могло бы быть, что за это его на год отправили бы посидеть в монастырь. К Чаадаеву могут приехать в гости и другие, Белинский, наприм<ер>, Грановский, Пушкин даже. (Ведь у меня же не Чаадаев, я только беру в роман этот тип.) (*ПСС, XXIX, I. С. 118.*)

Ф.И. БУСЛАЕВ

Однажды вечером приходим мы в <трактир> «Железный», опрометью бежит к нам Арсений <половой> и вместо трёх пар чаю приносит нам нумер «Телескопа». «Вот, — говорит, — вчера только что вышел: прелюбопытная статейка, все её читают, удивляются: много всякого разговора». Это была знаменитая статья Чаадаева. (*Мои воспоминания. М., 1897. С. 19.*)

А.И. ГЕРЦЕН. Былое и думы

...Летом 1836 года я спокойно сидел за своим письменным столом в Вятке, когда почтальон принёс мне последний № «Телескопа» <...>.

Наконец дошёл черёд и до письма. Со второй, третьей страницы меня остановил печально-серьёзный тон: от каждого слова веяло долгим страданием, уже охлаждённым, но ещё не озлобленным. Этак пишут только люди, много думавшие и много испытавшие; жизнью, а не теорией доходят до такого взгляда... Читаю далее... письмо растёт, оно становится мрачным обвинительным актом против России, протестом личности, которая за всё вынесенное хочет высказать часть накопившегося на сердце. (*Полярная звезда на 1855 год. Кн. 1. С. 155.*)

П.Я. ЧААДАЕВ. Философические письма к г-же*. Письмо первое**

<...> мы никогда не шли вместе с другими народами; мы не принадлежим ни к одному из великих семейств человечества, ни к Западу, ни к Востоку, не имеем преданий ни того, ни другого. Мы существуем как бы вне времени, и всемирное образование человеческого рода не коснулось нас. <...>

В самом начале у нас дикое варварство, потом грубое суеверие, затем жестокое, унизительное владычество завоевателей, владычество, следы которого в нашем образе жизни не уладились совсем и доныне[1]. Вот горестная история нашей юности. (*Телескоп. 1836. № 15. С. 280–281, 283.*)

[1] Во французском оригинале: «дух, которого позднее унаследовала наша национальная власть».

А.И. ГЕРЦЕН. Былое и думы

Я раза два останавливался, чтоб отдохнуть и дать улечься мыслям и чувствам... и потом снова читал и читал. <...> Я боялся, не сошёл ли я с ума. <...> Весьма вероятно, что то же самое происходило в разных губернских и уездных городах, в столицах и господских домах. (*Полярная звезда на 1855 год. Кн. 1. С. 155.*)

ДОСТОЕВСКИЙ. Зимние заметки о летних впечатлениях

<...> до него <Белинского> только разве один Чаадаев так смело, а подчас и слепо, как он, негодовал на многое наше родное и, повидимому, презирал всё русское.

М.И. ЖИХАРЕВ

Никогда с тех пор, как в России стали писать и читать, с тех пор, как завелась в ней книжная и грамотная деятельность, никакое литературное или учёное событие, ни после, ни прежде этого (не исключая даже и смерти Пушкина), не производило такого огромного влияния и такого обширного действия, не разносилось с такой скоростью и с таким шумом. Около месяца среди целой Москвы почти не было дома, в котором не говорили бы про «чаадаевскую статью» и про «чаадаевскую историю» <...> всё соединилось в одном общем вопле проклятия и презрения человеку, дерзнувшему оскорбить Россию. (*Вестник Европы. 1871. № 9. С. 31.*)

Мануфактур-советник и кавалер Н.И. РЫБНИКОВ. «Российское купечество на обеде у императора НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА (1833). Событие»

<Николай I:>

— Я люблю Москву; она примерная столица, в ней всегда тихо. Я желал бы, чтобы и все с неё брали пример. (*Рус. архив. 1891. Кн. 3. С. 566.*)

П.Я. ЧААДАЕВ

<...> в крови у нас есть что-то отталкивающее, враждебное совершенствованию. Повторяю ещё: мы жили, мы живём, как великий урок для отдалённых потомств, которые воспользуются им непременно, но в настоящем времени, что бы ни говорили, мы составляем пробел в порядке разуменья. (*Телескоп. 1836. № 15. С. 295.*)

ДОСТОЕВСКИЙ. Из записной тетради 1864–1865 гг.

<...> гадкая статья Чаадаева. (*ПСС. XX. С. 190.*)

Из дневника А.В. НИКИТЕНКО. Запись 25 ноября 1836 г.

Статья написана прекрасно; автор её Чаадаев. Но в ней весь наш русский быт выставлен в самом мрачном виде. Политика, нравственность, даже религия представлены как дикое, уродливое исключение из общих законов человечества. Непостижимо, как цензор Болдырев пропустил её. (*Дневник. М., 1955. Т. 1. С. 188.*)

Резолюция НИКОЛАЯ I на докладе министра народного просвещения С.С. УВАРОВА

Прочитав статью, нахожу, что содержание оной смесь дерзостной бессмыслицы, достойной умалишённого: это мы узнаем непременно, но не извинительны ни редактор журнала, ни цензор. Велите сейчас журнал запретить, обоих виновных отрешить от должности и вытребовать сюда к ответу. (*Лемке М.Н. Николаевские жандармы и литература. 1826–1855 гг. СПб., 1908. С. 413.)*

Ф.И. БУСЛАЕВ

Николай Павлович называл наш <Московский> университет волчьим гнездом и, когда случалось ему проезжать мимо него, долго оставался в дурном расположении духа. (*Мои воспоминания. С. 111.*)

А.И. ГЕРЦЕН. Былое и думы

Обозрение было тотчас запрещено; Болдырев, старик ректор Московского университета и цензор, был отставлен; Надеждин, издатель, сослан в Усть-Сысольск; Чаадаева Николай приказал объявить сумасшедшим и обязать подпиской ничего не писать. (*Полярная звезда на 1855 год. Кн. I. С. 156.*)

М.И. ЖИХАРЕВ

Я не знаю, кто именно придумал означенную меру. Тогда говорили, что её почерпнули из какого-то закона, когда-то изданного Петром В<еликим>— объявлять безумными тех, кто что-либо осмелится произнести против православной веры. (*Вестник Европы. 1871. № 9. С. 34.*)

П.Я. ЧААДАЕВ

Опыт веков для нас не существует. Взглянув на наше положение, можно подумать, что общий закон человечества не для нас. Отшельники в мире, мы ничего ещё не дали, ничего не взяли у него, не приобщили ни одной идеи к массе идей человечества; ничем не содействовали совершенствованию человеческого разуменья и исказили всё, что сообщило нам это совершенствование. Во всё продолжение нашего общественного существования мы ничего не сделали для общего блага людей: ни одной полезной мысли не возросло на бесплодной нашей почве, из-среди нас. Мы ничего не выдумали сами, и из всего, что выдумано другими, заимствовали только обманчивую наружность и бесполезную роскошь. <...>

Если бы орды варваров, возмутивших мир, не прошли, прежде нежели наводнили Запад, страны нами обитаемой, мы не доставили бы и одной главы для всемирной истории. Чтобы обратить на себя внимание, мы должны были распространиться от Берингова пролива до Одера. (*Телескоп, 1836, № 15. С. 293–294.*)

Начальник III Отделения А.Х. БЕНКЕНДОРФ — московскому военному губернатору Д.В. ГОЛИЦЫНУ. 22 октября 1836. Петербург

<...> жители древней нашей столицы, всегда отличающиеся чистым, здравым смыслом и будучи преисполнены чувством достоинства Русского Народа, тотчас постигли, что подобная статья не могла быть написана соотечественником их, сохранившим полный свой рассудок, и потому, — как дошли сюда слухи, — не только не обратили своего негодования против г. Чеодаева, но, напротив, изъявляют искреннее сожаление своё о постигшем его расстройстве ума, которое одно могло быть причиною написания подобных нелепостей. Здесь получены сведения, что чувство сострадания о несчастном положении г. Чеодаева единодушно разделяется всею московскою публикою. Вследствие сего Государю Императору угодно, чтобы Ваше Сиятельство, по долгу звания вашего, приняли надлежащие меры в оказании г. Чеодаеву всевозможных попечений и медицинских пособий. Его Величество повелевает, дабы Вы поручили лечение его искусному медику, вменив сему последнему в обязанность непременно каждое утро посещать г. Чеодаева, и чтоб сделано было распоряжение, дабы г. Чеодаев не подвергал себя вредному влиянию нынешнего сырого и холодного воздуха; одним словом, чтоб были употреблены все средства к восстановлению его здоровья. Государю Императору угодно, что <б> Ваше Сиятельство о положении Чеодаева каждомесячно доносили Его Величеству.

Резолюция Николая I на проекте письма. Очень хорошо. *(Николаевские жандармы... С. 413–414.)*

ДОСТОЕВСКИЙ. Черновые наброски к «Житию великого грешника». 1870

Аникита <монах> идет к Чаадаеву усовещевать. Зовет Тихона <Задонского>, тот идёт, спорит, и потом прощения просит. (*ПСС, IX. С. 138.*)

Осиротевшее семейство

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

С осени 36-го года в семействе нашем было очень печально. Маменька с начала осени начала сильно хворать. Отец, как доктор, конечно, сознавал её болезнь, но, видимо, утешал себя надеждою на поддержание сил больной. Силы её падали очень быстро, так что в скором времени она не могла расчёсывать своих очень густых и длинных волос. Эта процедура начала её сильно утомлять, а предоставить свою голову в чужие руки она считала неприличным, а потому и решила остричь свои волосы почти под гребёнку. Вспоминаю об этом обстоятельстве потому, что оно сильно меня поразило. С начала нового 1837 г. состояние маменьки очень ухудшилось, она почти не вставала с постели, а с февраля месяца и совершенно слегла в постель. <...>

Это было самое горькое время в детский период нашей жизни. И немудрено. Мы готовились ежеминутно потерять мать. Одним словом, в нашем семействе произошёл полный переворот, заключённый кончиною маменьки. В конце февраля доктора заявили отцу, что их старания тщетны и что скоро произойдёт печальный исход. Отец был убит окончательно. Помню ночь, предшествовавшую кончине маменьки, то есть с 26-го на 27-е февраля. Маменька перед смертной агонией пришла в совершенную память, потребовала икону Спасителя и сперва благословила нас всех, давая еле слышные благословения и наставления, а затем захотела благословить и отца. Картина была умилительная, и мы все рыдали. Вскоре после этого началась агония и маменька впала в беспамятство, а в 7-м часу утра 27 февраля она скончалась на 37-м году своей жизни. (*Воспоминания... С. 77–78.*)

М.М. ДОСТОЕВСКИЙ. Видение матери. 1838

О тень, мне милая! А сколько было слёз,
Когда я, горестный, с тобою расставался,
Когда я в Божий храм твой гроб отверстый нёс
И там в последний раз с тобой, мой друг, прощался!

Когда в могильный ров я бросил горсть земли,
Когда пропели вдруг: «Покойся со святыми!»
И в землю поклонясь, домой все побрели,
Толкуя кой о чём с домашними своими.

(*Лит. наследство. Т. 86. С. 326.*)

Черновик прошения М. А. ДОСТОЕВСКОГО об отставке. Апрель — май 1837

<...> по крайней слабости зрения и по застарелым ревматическим припадкам, от коих воспоследовало трясение правой руки, я не могу занять предлагаемого мне места <...> выгодного по значительному окладу жалованья <...>. Изложенные припадки, особенно зрение моё, от постигшего меня удара смертию жены моей, становиться со дня на день худшим до того, что и с помощию стекол затрудняюсь в чтении и письме, а следовательно нахожусь в невозможности продолжать впредь с должным рачением службу, по чему донося о сём <...> покорнейше прошу представить по начальству об увольнении меня вовсе от оной. (*В семье и усадьбе... С. 114.*)

Из формулярного списка М.А. ДОСТОЕВСКОГО. 1837

<...> произведён в коллежские советники со старшинством . . . . . .
. . . . . 18 апреля 1837 г.
и уволен со службы . . . . . 1 июля 1837 г.

(*Лит. мысль. 1. С. 209.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

Избрание надписи на памятнике отец предоставил братьям. Они оба решили, чтобы обозначено было только имя, фамилия, день рождения и смерти, на заднюю же сторону памятника выбрали надпись из Карамзина: «Покойся милый прах до радостного утра»... И эта прекрасная надпись была исполнена. (*Воспоминания... С. 80.*)

Надпись на памятнике М.Ф. ДОСТОЕВСКОЙ

Под сим камнем погребено тело Надворной Советницы Марии Феодоровны ДОСТОЕВСКОЙ, скончавшейся 21-го февраля 1837-го Года, на 37-м году от рождения.

Другу милому, незабвенному, супруге нежной, матери попечительной. Покойся милый прах до радостного утра!

А.Г. ДОСТОЕВСКАЯ

В одно ясное утро Фёдор Михайлович повёз меня на <Лазаревское> кладбище, где погребена его мать, Мария Фёдоровна Достоевская, к памяти которой он всегда относился с сердечною нежностью. (*Воспоминания. С. 135.*)

В.И. САИТОВ

Достоевская Мария Фёдоровна, надв. советница † 27 февраля 1837, на 37 г<оду> (Лазаревское кладбище). (*Московский некрополь. СПб., 1907. С. 401.*)

Из записной книжки А.Г. ДОСТОЕВСКОЙ

Когда был маленький, мать называла его Федюшей. (*Лит. газета. 1986, 16 апреля.*)

Ещё одна смерть

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

Не знаю, вследствие каких причин, известие о смерти Пушкина дошло до нашего семейства уже после похорон маменьки. Вероятно, наше собственное горе и сидение всего семейства постоянно дома было причиною этому. Помню, что братья чуть с ума не сходили, услыхав об этой смерти и о всех подробностях её. Брат Фёдор в разговорах с старшим братом несколько раз повторял, что ежели бы у нас не было семейного траура, то он просил бы позволения отца носить траур по Пушкине. (*Воспоминания... С. 78–79.*)

В.Ф. ОДОЕВСКИЙ

Солнце нашей поэзии закатилось!

Пушкин скончался, скончался во цвете лет, в середине своего поприща! <...> Более говорить о сём не имеет смысла, да и не нужно; всякое русское сердце будет растерзано. Пушкин! наш поэт! наша народная слава! <...> Неужели в самом деле нет уже у нас Пушкина! К этой мысли нельзя привыкнуть!

29-го января 2 ч. 45 м. по полудни.

(*Лит. приложения к «Рус. инвалиду». 1837. № 5.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

Учителем немецкого языка <в пансионе Чермака> был лектор Московского университета Геринг. Этот господин, джентльмен по наружности <...> был замечателен ещё тем, что был страстным почитателем Пушкина. <...> Не было почти ни одного класса, чтобы он со своим немецким акцентом не продекламировал несколько пушкинских стихотворений, и, надо отдать справедливость, декламировал с большим энтузиазмом и подчас даже с пафосом. Рассказывал он между прочим и о своём свидании с Пушкиным. «Я хотел, — рассказывал он, — переводить его сочинения на немецкий язык, но, как вежливый и деликатный господин, я хотел сперва зарузчиться дозволением самого великого поэта. В одном великосветском обществе я был представлен Пушкину, и, после нескольких светских фраз, я деликатно коснулся вопроса о дозволении мне перевести его творения на немецкий язык. Что же, вы думаете, он ответил мне? — рассказывал Геринг. — Он ответил мне лаконически: “Ежели есть охота, то переводите”... Конечно, ежели бы я это услышал от другого, — дополнял Геринг, — то я счёл бы это за дерзость и ответил бы тоже дерзостью... Но от великого поэта я не считаю это дерзостью. Ведь все великие люди имеют свои странности!» (*Воспоминания... С.118.*)

Д.В. ГРИГОРОВИЧ

Кончина Пушкина в 1837 г. была чувствительна между нами, я убеждён, одному Достоевскому, успевшему ещё в пансионе Чермака (в Москве) прочесть его творения <...>. (*Рус. мысль. 1892. № 12. С. 22.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

Конечно, до нас не дошло ещё тогда стихотворение Лермонтова на смерть Пушкина, но братья где-то достали другое стихотворение неизвестного мне автора. Они так часто произносили его, что я помню и теперь его наизусть. Вот оно:

Нет поэта, рок свершился,
Опустел родной Парнас!
Пушкин умер, Пушкин скрылся
И навек покинул нас.
Север, север, где твой гений?
Где певец твоих чудес?
Где виновник наслаждений?
Где наш Пушкин? — Он исчез!
Да, исчез он, дух могучий,
И земле он изменил!
Он вознесся выше тучей,
Он взлетел туда, где жил!

(*Воспоминания... С. 79.*)

ДОСТОЕВСКИЙ

Я и старший брат мой ехали, с покойным отцом нашим, в Петербург, определяться в Главное инженерное училище. Был май месяц, было жарко. Мы ехали на долгих, почти шагом, и стояли на станциях часа по два и по три. Помню, как надоело нам, под конец, это путешествие, продолжавшееся почти неделю. Мы с братом стреми-

лись тогда в новую жизнь, мечтали об чём-то ужасно, обо всём «прекрасном и высоком» — тогда это словечко было ещё свежо и выговаривалось без иронии. И сколько тогда было и ходило таких прекрасных словечек! Мы верили чему-то страстно, и хоть мы оба отлично знали всё, что требовалось к экзамену из математики, но мечтали мы только о поэзии и поэтах. Брат писал стихи, каждый день стихотворения три, и даже дорогой, а я беспрерывно в уме сочинял роман из венецианской жизни. Тогда, всего два месяца перед тем, скончался Пушкин, и мы, дорогой, сговаривались с братом, приехав в Петербург, тотчас же сходить на место поединка и пробраться в бывшую квартиру Пушкина, чтобы увидеть ту комнату, в которой он испустил дух[1]. (*Дневник писателя, 1876, январь.*)

Сцены на большой дороге

Черновик прошения М.А. ДОСТОЕВСКОГО. Май 1837

В январе месяце сего года, по начальству осмелился утруждать Ваше Императорское Величество всеподданнейшим прошением моим по многочисленному семейству моему и по бедному состоянию об определении двух старших сыновей моих, Михаила 16 и Фёдора 15 лет в Главное Инженерное училища, на казённое содержание, хотя по положению в оное допускается один только, на такое прошение воспоследовало Всемилостивейшее Вашего Императорского Величества решение: что определение детей моих зависеть будет от выдержания ими установленного в том училище экзамена, почему и приказано мне доставить их в С-т Петербург. (*В семье и усадьбе... С. 115.*)

Г. ТИМЧЕНКО-РУБАН

<...> при Николае Павловиче труд инженерных офицеров оплачивался в некоторых случаях роскошно, всегда хорошо и во всяком случае в мере, позволяющей жить безбедно на казённое содержание. (*Очерк деятельности великого князя и императора Николая Павловича как руководителя военно-инженерной частью. СПб., 1912. Т. I. С. 153.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

Тётенька Александра Фёдоровна <Куманина>, по обычаю, ежегодно весною ездила на богомолье в Троицкую лавру, и на этот год упросила папеньку отпустить с нею и двух старших сыновей для поклонения святыне перед отъездом их из отчего дома в Петербург. Впоследствии я часто слышал от тётеньки, что оба брата во время путешествия услаждали тётеньку постоянною декламациею стихотворений, которых они массу знали наизусть. (*Воспоминания... С. 79–80.*)

[1] Полагаем, что выполнить последнее было бы затруднительно, ибо ещё в феврале 1837 г. Наталья Николаевна с детьми и сестрой Александриной выехала из квартиры, а обстановка, вещи и книги были сданы для хранения на склад.

ДОСТОЕВСКИЙ — А. Н. МАЙКОВУ. 25 марта 1870. Дрезден

В этом мире я знаток и монастырь русский знаю с детства. (*ПСС, XXIX, I. С. 118.*)

А. М. ДОСТОЕВСКИЙ

Причина, которая чуть не замедлила поездку отца в Петербург, была болезнь брата Фёдора. У него, без всякого видимого повода, открылась горловая болезнь, и он потерял голос, так что с большим напряжением говорил шёпотом и его трудно было расслышать. Болезнь была так упорна, что не поддавалась никакому лечению. <...> мне кажется, что у брата Фёдора Михайловича остались на всю жизнь следы этой болезни. Кто помнит его голос и манеру говорить, тот согласится, что голос его был не совсем естественный <...> (*Воспоминания... С. 79.*)

О.Ф. МИЛЛЕР

Не была ли тут простуда от декламации по дороге к Сергию?[1] (*Биография... С. 28.*)

ДОСТОЕВСКИЙ

Анекдот этот случился со мной уже слишком давно, в моё доисторическое, так сказать, время, а именно в тридцать седьмом году, когда мне было всего лишь пятнадцать лет от роду, по дороге из Москвы в Петербург. <...>

Прямо против постоялого двора через улицу приходился станционный дом. Вдруг к крыльцу его подлетела курьерская тройка и выскочил фельдъегерь в полном мундире <...>. Фельдъегерь был высокий, чрезвычайно плотный и сильный детина с багровым лицом. Он пробежал в станционный дом и уж наверно «хлопнул» там рюмку водки. <...> Между тем к почтовой станции подкатила новая переменная лихая тройка, и ямщик, молодой парень лет двадцати, держа

[1] Существует мнение, что горловые нарушения Достоевского — ранний признак эпилепсии (*Rice J. Z.* Dostoevsky and the healing art. Ann Arbor (Mich.), 1985. P. 50). Во всяком случае, это безусловное следствие сильного нервного потрясения.

в руке армяк, сам в красной рубахе, вскочил на облучок. Тотчас же вскочил и фельдъегерь, сбежал со ступенек и сел в тележку. Ямщик тронул, но не успел он и тронуть, как фельдъегерь приподнялся и молча, безо всяких каких-нибудь слов, поднял свой здоровенный правый кулак и, сверху, больно опустил его в самый затылок ямщика. Тот весь тряхнулся вперёд, поднял кнут и изо всей силы охлестнул коренную. Лошади рванулись, но это вовсе не укротило фельдъегеря. Тут был метод, а не раздражение, нечто предвзятое и испытанное многолетним опытом, и страшный кулак взвился снова и снова ударил в затылок. Затем снова и снова, и так продолжалось, пока тройка не скрылась из виду. Разумеется, ямщик, едва державшийся от ударов, беспрерывно и каждую секунду хлестал лошадей, как бы выбитый из ума, и наконец нахлестал их до того, что они неслись как угорелые. (*Дневник писателя, 1876, январь.*)

Из подготовительных материалов к «Дневнику писателя». 1876

Фельдъегерь. Это было так давно, что, может быть, мне пропустит цензура. (*ПСС, XXII. С. 145.*)

Л.Ф. ДОСТОЕВСКАЯ

<...> поездки <...> на тройке приводили в восторг моего отца, питавшего в молодости большую любовь к лошадям. (*Достоевский в воспоминаниях дочери... С. 13.*)

ДОСТОЕВСКИЙ

Тут каждый удар по скоту, так сказать, сам собою выскакивал из каждого удара по человеку. В конце сороковых годов, в эпоху моих самых беззаветных и страстных мечтаний, мне пришла вдруг однажды в голову мысль, что если б случилось мне когда основать филантропическое общество, то я непременно дал бы вырезать эту курьерскую тройку на печати общества как эмблему и указание. (*Дневник писателя. 1876, январь.*)

М.А. КОРФ

На одной прогулке в Павловске <в 1802 г.> оба Великих Князя <Николай и Михаил Павловичи> и Великая Княжна <Анна Павловна> увидали мальчишку крестьянского, который жестоко обращался с измученной или слабой лошадью и беспощадно её бил. Они все трое пришли в негодование и грозились пожаловаться тотчас же Императрице <Марии Фёдоровне>, которая немедленно прикажет выгнать его из Павловска. (*Материалы и черты к биографии Императора Николая I. Спб., 1896. С. 40.*)

ДОСТОЕВСКИЙ. Из записной тетради 1875–1876 гг.

Фельдъегерь. Вот бы тут проповедовать гуманность. Главное ведь это не картина, а даже символ. В самом деле: он варвар, что так настегал лошадей, но ведь каждая плеть его была вызвана колотушкой ему же в спину, без колотушек этих он бы не стегал. (*Лит. наследство. Т. 83. С. 411.*)

Записки из подполья

<...> в нетерпении я ударил кулаком извозчика в шею.

— Да что ты, чего дерёшься? — закричал мужичонка, стегая, однако ж, клячу, так что та начала лягаться задними ногами.

Н.А. НЕКРАСОВ. Перед дождём

Над проезжей таратайкой
Спущен верх; перёд закрыт.
И «пошёл!» — привстав с нагайкой –
Ямщику денщик[1] кричит.

(*Альманах «Первое апреля». 1846. С. 18*)

Из подготовительных материалов к «Преступлению и наказанию». 1866

Моё первое личное оскорбление, лошадь, фельдъегерь. (*ПСС. VII. С. 138*)

[1] Имеется в виду жандарм. Эвфемистическая замена была снята лишь в издании 1873 г.

Глава 3

МИХАЙЛОВСКИЙ ЗАМОК

Alma mater

Пушкин, сочиняя, любил набрасывать пером профили и женские ножки. Достоевский рисовал в рукописях готические соборы.

Оба его младших брата, Андрей и Николай, сделались профессиональными архитекторами; старший брат, Михаил, как и он сам, — военным инженером. Ни один из братьев не стяжал на избранном поприще особых лавров. Младшие — хуже или лучше — прошли его до конца; старшие — отважились «переменить судьбу».

Пристрастие к архитектуре останется у Достоевского навсегда.

Классические пропорции Мариинской больницы приуготовили глаз к восприятию стройных ансамблей Северной Пальмиры. Но среди этих разнообразнейших строений выделялось одно, не совсем обычное для Петербурга.

Русский зодчий Баженов и итальянец Бренна, очевидно, в равной мере старались угодить эстетическим вкусам августейшего заказчика, который, как сказывают, сам исправлял эскизы. Рвы и подъёмные мосты, потайные лестницы и узкие переходы — от всего веяло славным духом средневековья. Царь-рыцарь, император-романтик спешил. Днём и ночью пылали громадные камины, затопленные для просушки стен: влажный пар клубился под тяжёлыми сводами.

Как водится, не обошлось без масонов. Баженов принадлежал к одной из лож; император тоже благоволил подобным затеям. Масонская символика запечатлелась в архитектуре.

Павел I исполнил волю архангела Михаила, явившегося во сне одному из его солдат: свою новую резиденцию он воздвиг в немыслимые для позднейших времён сроки. Однако сам основатель провёл в Михайловском замке всего сорок суток.

«Дому Твоему подобаетъ святыня Господня въ долготу дней» — эту надпись, красовавшуюся на фронтоне (число знаков — 47, — как выяснилось, в точности соответствовало количеству лет, прожитых Павлом), позднее хотели было убрать: ввиду краткости пребывания в замке первого жильца указанный текст мог выглядеть двусмысленно и неприлично.

Для Достоевского «долгота дней» окажется равной четырём годам. Если же считать учёбу в верхних офицерских классах и хождение на службу (она помещалась здесь же), то — семи. Можно сказать, что молодость он провёл в замке.

После кончины Павла осиротевшее жилище поступило в гофинтендантское ведомство. Жандармский полуэскадрон, конюшенная контора, канцелярия министра духовных дел мирно сосуществовали или сменяли друг друга в бывших царских апартаментах, давно утративших первоначальную роскошь. «Забвенью брошенный дворец» был вспомянут сыном — великим князем Николаем Павловичем. Назначенный после своего бракосочетания генерал-инспектором по инженерной части, он в 1819 году разместил в замке вновь учреждённое Главное инженерное училище. Рвы и подъёмные мосты исчезли; предания, которыми славилось место, остались. Замок стал именоваться Инженерным.

Так наряду с мужающей *павловской* темой начинает робко пробиваться ещё одна. У неё, правда, имеется шанс обрести державную мощь и даже сделаться *лейб*мотивом.

«Мы, инженеры...» — любил говаривать император Николай Павлович.

С нежного возраста преданный военно-инженерным забавам, великий князь не без сожаления вынужден был оставить излюбленную стезю. Взойдя на трон предков (что явилось некоторой неожиданностью для него самого), он призван был отныне заботиться не только об усовершенствовании отдельных крепостных сооружений, но — о неприступности крепости как таковой. Он вступит во владение 14 декабря 1825 года — под гром верных ему орудий. «Находился при защите дворца», — пометит он в своём служебном формуляре: эта *техническая* задача будет исполнена им самым удовлетворительным образом.

Инженерная часть перейдёт в заведование младшего брата, великого князя Михаила Павловича: может быть, в знак забвения тех детских обид, когда при осаде игрушечных крепостей брат Миша доводил до слёз будущего венценосного коменданта...

Если верить авторам августейших жизнеописаний, государь неизменно пёкся о питомцах близкого его сердцу инженерного ведомства. В 1849 году, назначая каторгу одному из них, он, надо думать, делал это не без душевного сокрушения.

Достоевский-отец знал, куда определить сыновей: потребная государству специальность обеспечивала верный кусок хлеба.

Они прибыли в Петербург в мае 1837-го. Экзамены, увы, начинались осенью. Поместив недорослей в подготовительный пансион капитана К.Ф. Костомарова, папенька со стеснённым сердцем отбыл в первопрестольную.

Он тревожился не напрасно. Училищные лекари признают здоровье старшего сына недостаточным. Расставшись с братом Фёдором, Михаил Михайлович определится инженерным юнкером в Ревель. Что же касается самого брата Фёдора, то его хотя и примут, но отнюдь не на обещанную ранее казённую вакансию: только 950 рублей, внесённые попечительными московскими родственниками, обеспечат его карьеру.

Он поступает в III класс, минуя *Сибирь*: так на училищном жаргоне зовётся младший, IV. Однако чему бывать, того, как говорится, не миновать...

Как некогда отец, он остаётся один — в незнакомом городе, без связей и знакомств, скованный жёсткими требованиями воинской дисциплины. Его душевная жизнь, его духовные вожделения не имеют ничего общего с интересами нелюбимой и поглотившей лучшие его годы профессии. Однако ни разу не пожалуется он на судьбу и не оспорит родительский выбор: кесарю отдаётся кесарево.

Но и Богу отдаётся Богово. В письмах к единственному своему поверенному — «брату и другу» Мишеньке, в этих юношески чистых и порой экзальтированных посланиях поддерживается совсем иной градус, нежели в почтительной и чуть-чуть принуждённой переписке с папенькой. Нет, брат Михаил вовсе не отстраняется от посвящения в житейские, особенно денежные, заботы своего корреспондента. Сообщаемые ему на этот счёт подробности лишь подтверждают справедливость жалоб, адресованных отцу: тут нет двойной игры. Но с братом обсуждаются такие материи, обращение к которым показалось бы папеньке (и без того уже недовольному «стихокропанием» старшего из сыновей) пустым и ненужным умствованием.

«Мне кажется, что мир наш — чистилище духов небесных, отуманенных грешною мыслию» — эту нехитрую сентенцию могли бы, пожалуй, изречь и иные из их меланхолических сверстников. Однако в следующей фразе — «мне кажется, мир принял значенье отрицательное и из высокой, изящной духовности вышла сатира» — ро-

ждается *звук*: он-то и заставляет пристальнее вглядеться в 16-летнего автора.

Вглядимся же: «довольно кругленький, полненький светлый блондин с лицом округлённым и слегка вздёрнутым носом...» — этот ранний «благополучный» портрет, набросанный доктором Ризенкампфом, мало согласуется с более поздними изображениями. Очевидно, с годами юношеская припухлость исчезнет, как исчезнет и многое другое. По словам Трутовского (ему, профессионалу, автору первого и единственного в 40-е годы портрета Достоевского, приходится особенно верить), герой был весьма худощав, цвет лица имел бледный, глаза впалые, «но взгляд проницательный и глубокий».

Изображение снова двоится.

Он был неуклюж и не преуспел во фрунтовой науке. Он не добивался лидерства, не ласкался к начальству и не искал себе преимуществ. Внешне сдержанный и не обладавший столь ценимыми меж подростков достоинствами, как физическая ловкость, неутомимость в забавах или, скажем, наличие нескудеющего притока родительских ассигнований, он тем не менее сумел отстоять своё особое место в этом распалённом сдавленными страстями сонмище — заводил и тихонь, насмешников и сквернословов, циников и идеалистов.

Впрочем, он предпочитает идеалистов.

В повести «Инженеры-бессребреники» Н.С. Лесков рассказал подлинную историю — о том, как в 20-е годы среди воспитанников Училища составился кружок юных аскетов — рыцарей «святости и чести». Факт любопытный хотя бы потому, что свидетельствует о духовных напряжениях, возникающих в России порою в самых непредсказуемых местах. Один из членов кружка, Дмитрий Брянчанинов, способнейший молодой человек и пансионер государя, неожиданно подаёт в отставку и поступает в монастырь. Его примеру следует его друг, инженер-поручик Михаил Чихачев.

Поступок двух выпускников поразил училищную молодёжь, мечтавшую о совсем иной карьере. Их порыв не был скоропреходящей юношеской блажью: оба приятеля закончили свои дни во иночестве (Брянчанинов, принявший имя Игнатий, — в сане епископа).

Стремление к «святости и чести» заключает, как кажется, мысль не только о личном спасении: тут можно усмотреть потребность деятельного добра.

Достоевскому было ведомо печальное продолжение этой истории.

Один из офицеров-воспитателей, Николай Фермор, оказался ревностным последователем «брянчаниновской секты». Инженерствуя в Царстве Польском, он так и не захотел вписаться в «систему самовознаграждения» (служебный эвфемизм, обозначающий присвоение казённых денег), чем, естественно, вызвал сомнения относительно собственного здоровья. В Училище он также прослыл чудаком. Встретив однажды императора, он уведомил его, что потерял веру в людей: государь прислал лейб-медика Мандта. Водворенный на пароход «Александр», дабы быть отправленным (опять-таки за счёт государя) для излечения в заморские страны, Фермор без объяснения причин бросился за борт.

В 1856 году Некрасов сообщает Тургеневу — из Ораниенбаума (в виду залива): «У меня припадки такой хандры бывают, что боюсь — брошусь в море... Этакая штука была с моим одним приятелем... Его звали Фермором».

«На *скользком море* жизни бурной...» — так начинались стихи, вписанные Некрасовым году в 1838-м или 1839-м в альбом сестры Фермора: автор ещё не подозревает о близкой участи её брата.

...Бедный Фермор! Однажды вошёл он в рекреационную залу с пачкой «тоненьких брошюр в бледно-розовых обертках» и призвал воспитанников приобрести эти скромные издания, дабы помочь нуждающемуся молодому поэту...

«Стихи неизвестного писателя, — говорит Григорович, — сколько помнится, не произвели на меня и Достоевского особенного впечатления». Отсюда, по крайней мере, можно заключить, что «брошюра» была куплена и прочитана.

Название книги — «Мечты и звуки» (автор был обозначен на обложке инициалами Н. Н.) — войдет в литературный обиход как синоним дебютного провала. Через несколько лет незадачливый стихотворец встретит Достоевского на изломе его судьбы, вмешается в его жизнь, останется в ней навсегда...

Вяло листая «Мечты и звуки», 18-летний кондуктор не подозревает о том, что он материально поддержал своего будущего антрепренёра: лет за шесть, как тот поддержит его.

Судьба вновь подаёт намекающие знаки: различает ли их наш задумчивый герой?

Его прозовут «монахом Фотием». Что, собственно, имелось в виду? Только ли удивлявший товарищей интерес к вопросам религиозной веры? Или ещё — неучастие в специфических «юнкерских» разговорах, которые неизбежны в мужских компаниях и общежитиях? (Вспомним, что Алёша Карамазов тоже избегал толков «про это».)

Пушкин в Лицее пишет поэму «Монах»: она шаловлива и в меру пикантна. У юного Достоевского нет этой «французской» игривости: он ориентируется скорее на возвышенные германские образцы...

Его личные, интимные симпатии сугубо избирательны. Воспитанный в строгих домашних правилах, он не может не чувствовать тайного превосходства над большинством своих легкомысленных сверстников («о товарищах ничего не могу сказать хорошего»). Его отъединённость от «коллектива» не есть следствие высокомерия и гордыни или — как можно было бы предположить — романтической позы. Он слишком погружён в себя, в свою внутреннюю жизнь, чтобы оспаривать доставшуюся ему репутацию «чудака». Насмешки, которым он порой подвергается, мемуарист именует «добродушными»: надо полагать, такой оттенок они приобрели не сразу.

Бывал ли он бит в качестве «рябца», или, иными словами, подвергался ли испытанию тогдашней «дедовщины»? Современник (офицер-воспитатель А.И. Савельев) осторожно высказывается в пользу подобного допущения. В свою очередь, Чувствительный Биограф, которому мы привыкли верить как самому себе, рисует душераздирающие сцены. Беззащитный Федя предстаёт жертвой радостных коллективных издевательств. Очевидно, подразумевается, что будущий певец униженных и оскорблённых никогда не стал бы таковым при отсутствии личного негативного опыта. Смущает, правда, мысль, что Достоевский, как мы уже знаем, поступил прямо в III класс (минуя младший, IV, в котором, собственно, и учились «рябцы»), что ему было уже 16 и что он ни разу не пожаловался на такого рода обиды. Более того, Михаил Михайлович сообщает родителю: «Кондукторы с ним очень ласковы!»

Он не вызывает общих восторгов. Однако никто не может отказать ему в уважении.

Конечно, Инженерное училище не Царскосельский лицей. Оно никогда не будет пробуждать в нём тех чувств и воспоминаний, которыми утешался Пушкин. Присущий Училищу корпоративный дух имел мало общего с высоким духом лицейского дружества. Но родная душа всюду находит родную душу...

Чем больше он замыкается на людях, тем, очевидно, сильнее потребность раскрыться, высказать себя в общении с человеком близкого, как ему кажется, душевного склада. Конечно, это *идейная* дружба: недаром её опознавательным знаком становится Шиллер.

О «шиллеровщине» много позже он будет отзываться иронически. Может быть, потому, что знает: восторги чреваты скорым охлаждением.

Юности свойственны страстные привязанности. В России эта черта проявляется с особенной силой. Как было замечено, обожание вообще характерно для закрытых заведений. Очутившись в чуждой ему среде, Достоевский ищет наперсника и конфидента. Бережецкому надлежало заполнить вакуум, оставленный отъехавшим в Ревель братом. Правда, от стороннего наблюдателя (А.И. Савельева) не укрылось то обстоятельство, что один из друзей, а именно Бережецкий, «слушался... и повиновался» другому, «как преданный ученик учителю».

Чему же учит он своего нового приятеля?

В отличие, например, от будущего героя русско-турецкой войны Радецкого он не может похвастать выдающимися атлетическими способностями. Поэтому настойчивые попытки «отклонить» товарищей от издевательств над слабейшими (черта устойчивая: вспомним эпизод в пансионе Чермака — с Качановским) — эти попытки основаны исключительно на его моральном авторитете.

Он даже выступает порою в роли судии. За неблагородный, унижающий человеческое достоинство поступок они с Бережецким приговаривают порядочно поколотить виновника. «Монах Фотий» оказывается не столь смирен. «Ай да схимник!» — восклицает, как помним, брат Иван, поражённый неожиданным резюме брата Алёши («расстрелять!» — в качестве средства улучшить социальные нравы!).

Не будем, однако, настаивать на аналогиях.

Туманный образ Бережецкого, едва возникнув, исчезает во мгле. Но... «Эта дружба так много принесла мне горя и наслажденья! Теперь я вечно буду молчать об этом...»

Он исполнит обещание: ни в одном его тексте фамилия Бережецкого не названа. Зато с глубоким чувством он произносит другое имя.

Хрупкая мужская дружба

С Иваном Николаевичем Шидловским братья знакомятся сразу же по приезде в Петербург. Выпускник юридического факультета Харьковского университета, он по своим природным склонностям был очень далёк от юриспруденции. Он был романтик, мистик и, разумеется, поэт.

«О какая откровенная, чистая душа!.. ангельская душа!» — восклицает Достоевский, и за этим расхожим — в духе столетия — штампом трудно разглядеть какие-то индивидуальные черты. Однако в отличие от Бережецкого Шидловский был натурой необыкновенной. Недаром на исходе дней Достоевский подметит некое сходство между своим давним, уже по тому времени покойным приятелем и новым молодым знакомцем — философом Владимиром Соловьёвым.

Современники вспоминают странный «сверхчеловеческий» хохот Владимира Соловьёва: очевидно, именно так встретил он предположение Достоевского, будто в него, Соловьёва, переселилась чужая душа. Между тем шутка была уместна. Ибо Достоевского всегда влекло к людям именно такого психологического склада — сочетавшим в себе взыскующий, мятущийся дух и глубокую, выстраданную веру...

Шидловский обладал даром слова. Возвышенный строй его беседы, его духовный экстаз не были данью возрасту или обстоятельствам. Его миновала участь, предречённая — в своём комфортабельном варианте — другому романтику, Владимиру Ленскому. Ибо и по миновании молодости он оставался человеком духа. Словно бродячий апостол, проповедовал он на больших дорогах Евангелие и, обретаясь в миру, вплоть до самой своей кончины не снимал послушнического одеяния.

Он никогда не был на каторге, как ошибочно полагает Всеволод Соловьёв (брат философа), которому почему-то запомнилась именно эта возможность.

Достоевский был моложе своего друга на целых пять лет. Ему должно было льстить это знакомство. Кроме того, Шидловский — первый встреченный им «настоящий» поэт: его лирический дар имел своих прозелитов.

«Единственное ремесло, пригодное для романтического сознания, — говорит М.П. Алексеев, — ремесло писателя, художника, артиста: все прочие осуждены, потому что служат житейской необходимости»[1]

Стихи Шидловского, «не уступающие Музе Баркова», до нас не дошли: «романтическое сознание» скрыло свою изнанку. Дошло другое, не менее любопытное.

Звезда горит на небе ясном;
Она пленительна, нежна;
В её сиянии прекрасном
Тоска любви заключена,

[1] *Алексеев М.П.* Ранний друг Достоевского. Одесса, 1921. С. 20

Но для чего она сияет,
Того не ведает сама.
Не Бог ли в ней земле являет
Маяк и чувства, и ума?
Что ждёт её? С какою целью,
Какой ей путь на небе дан?
Её пучиной или мелью
Искусит горний океан?
Или, сама собой скучая,
Она сорвётся, упадёт,
Как с глаз Творца слеза святая,
И в нашем мраке пропадёт[1].

Конечно, это «общемировое» — тоскующее, неистребимое, вечное. Может быть, Шелли? («Скажи, звезда с крылами света, скажи, куда тебя влечёт, в какой пучине непроглядной закончишь огненный полёт?») Но сквозь графоманскую заезженность чужого напева проступает что-то «до боли родное» — в ритме, в дыхании, в горестном безответном вопрошении. Возможно ли? Да, это Бунин — как прекрасная статуя под слоем облепившей её глины:

Звезда дрожит среди вселенной...
Чьи руки дивные несут
Какой-то влагой драгоценной
Столь переполненный сосуд?

Звездой пылающей, потиром
Земных скорбей, небесных слёз
Зачем, о Господи, над миром
Ты бытие мое вознёс?

Шидловский — угадывает и предвосхищает. Он дерзает сравнить плывущие по небу облака с «хитона Божьего каймою накладной». Минет XIX век, склонится к закату XX — и другой отважный метафорист уподобит парящую чайку белым плавкам бога: образный ряд будет пройден *практически* до конца.

И — ещё одна перекличка, горячащая кровь. Шидловский пишет:

Он не к Себе ль ведёт меня,
Отец, всемощный Покровитель?
Дождусь я радостного дня:
И вечность, время заменя,
Откроет мне свою обитель.

[1] Рус. архив. 1886. № 10. С. 230.

Это — пастернаковская «Магдалина»: её рифмы, строфика, её словарь:

О где бы я теперь была,
Учитель мой и мой Спаситель,
Когда б ночами у стола
Меня бы вечность не ждала,
Как новый, в сети ремесла
Мной завлечённый посетитель.

«И вечность, время заменя...» — неуверенно, спотыкаясь, начинает Шидловский. «Ты вечности заложник...» — легко «подхватывает» Пастернак, освобождая чистый горловой звук из родовых судорог косноязычия. Но воздадим и предтече! Такое впечатление, что человек с трудом, мучительно, невпопад припоминает то, что будет написано только спустя столетие. Мудрено ли, что юный Достоевский так жадно вслушивается в эти *воспоминания?*

Задумывался ли он о будущем? Готовился ли к нему?

Все внеслужебные интересы будущего военного инженера устремлены в одну сторону. Он приглядывается то к тому, то к другому из мировых творцов — от Гомера (неосторожно сближаемого с Христом) до своего знаменитого современника — Виктора Гюго. Он говорит о литературе не как любитель, а как лицо посвящённое: он — *примеривается.*

...Дежурный по Инженерному училищу офицер замечает далеко за полночь бодрствующего воспитанника. Набросив одеяло поверх белья, он что-то пишет у выходящей на Фонтанку оконной *амбразуры* (за́мок есть за́мок). Быть может, дело происходит белой ночью: «... пишу, читаю без лампады».

А.И. Савельев по простоте душевной полагает, что именно так создавались «Бедные люди». Он ссылается при этом на самого Достоевского, через много лет якобы поведавшего ему, что роман начал писаться ещё до поступления автора в училище.

Воспоминатель, конечно, ошибается. До «Бедных людей» ещё довольно далеко. Но что-то Достоевский действительно сочиняет, и это «что-то» — скорее всего не дошедшие до нас наброски романтических драм.

(Но почему, собственно, романтических? Потому что помним ещё со школьной скамьи: нет ничего неотвратимей величавой поступи литературных эпох. Романтизм предшествует... то-то же: сами знаем чему. Достоевский не должен выламываться из ряда! Сам Гоголь начинал как романтик! Между тем уже написан не только «Вертер»,

но и «Капитанская дочка»; «Мёртвые души» вот-вот сорвутся с письменного стола...)

Он начнёт сразу. Он явится публике уже как «готовый» реалист. Всё, что писалось до 1844 года, относится к стадии внутриутробной.

Впрочем, вплоть до обретения первого офицерского чина трудно было изыскивать досуги для занятий литературных. У воспитанника кондукторской роты доставало иных забот. Громадный объём учебного материала, неизбежная зубрёжка, изматывающая «фрунтовая служба», бесчисленные парады и смотры — всё это не оставляло ни времени, ни сил: не только для сочинительства, но даже для правильной переписки с родными. Отсюда — большие эпистолярные паузы, вызывающие у старшего брата самые мрачные предположения: «...стал прилежно читать приказы, думая найти его имя в списке или отживших или живущих, но как живущих?!» (вспомнилось — до времени — отцовское: «...быть тебе под красной шапкой!»?).

Кроме того, при переводных экзаменах его постигает катастрофа: он оставлен на второй год.

Портрет второгодника

О блаженное время второгодничества!

О неспешное текучее время, о золотая пора, когда наконец ты свободен, и смел, и учён, и отмечен богами, и принадлежишь самому себе, когда ты постиг уже всё, что стараются судорожно понять неофиты. Когда можно отвлечься от постылых учебников и читать только те книжки, которые выбираешь сам, когда на уроках мечтаешь о чём угодно, когда пришли сроки поразмыслить и о душе.

Отдых в пути, вакации, именины сердца...

Что происходит с нашим героем осенью и зимой 1838-го, весной 1839-го? Никогда прежде мы не задумывались над этим. Может быть, именно здесь — точка перелома? Избегая сакральной формулы «духовный переворот», выразимся скромнее: с героем происходит *нечто*.

Меняются его письма: их дух, содержание, тональность. Если раньше в них господствовал своего рода биографический фатализм (безграничное упование на волю Божью, что щедро отражено в словаре), то теперь этот *предмет* практически изъят из употребления. Автор Нагорной проповеди, как помним, сравнивается с Гомером, автор Пятикнижия — с Шекспиром. Меняется стиль мышления: все ценности становятся эстетически измеримы. Литература оказывается столь же универсальной, как само бытие. Бог и человек обретаются в ней как на равных.

Из писем к отцу исчезают все рассуждения на «отвлечённую» тему — тот «отстал» окончательно. Зато в письмах к брату «идейная» часть возрастает.

Эту зиму он тесно общается с Шидловским. Но, может быть, следует назвать ещё одно имя. Хотя он упоминает его только единожды («к чему мне сделаться Паскалем или Остроградским»).

Тёзка Ломоносова, Михаил Васильевич Остроградский, — первый встреченный им в жизни гений (он встретит их, надо сказать, не так уж много). Остроградский преподавал математику — и о том, как он её преподавал, ходили легенды. Его знали в Европе. «Каково идёт учёность?» — осведомлялся при встрече государь Николай Павлович. «Очень хорошо, Ваше Императорское Величество», — отвечал Остроградский.

«...Не терплю математики», — признаётся Достоевский, может быть, поражённый тем, чего достиг в этом деле его гениальный учитель и чего ему самому никогда не достичь. Но наставник и не призывал к подражанию. Его заботит другое.

И в лекциях, и в печатных трудах академик не устаёт повторять: надо быть первым в *своём* деле. «Если вы будете первым в своей специальности, то будете более полезным для себя и для других, чем если вы будете посредственно знать и науку, и литературу, технические ремесла и искусство»[1].

Достоевский желает быть первым.

Но пока он оставлен на второй год.

Последнее происшествие, при известии о котором папеньку чуть было не хватил удар (а пожалуй что и хватил), произвело не меньшее впечатление и на самого потерпевшего: с ним, по его словам, «сделалось дурно». Это немудрено: здесь жестоко страдало самолюбие и — уже не впервой — оскорблённое чувство справедливости. Помимо прочего, неперевод в следующий класс открывал добавочную статью родительских расходов.

«Мы не знаем, что Вам вздумалось, милый папенька, писать к нам о деньгах. О! у нас их ещё очень много», — бодро сообщают братья летом 1837 года, в первые месяцы своего столичного житья. Кажет-

[1] *Остроградский М.В.* Педагогическое наследие. М., 1961. С. 40.

ся, это единственный случай: более они никогда не решатся на столь легкомысленные заявления.

Почти все письма Достоевского к Михаилу Андреевичу полны просьб о денежном вспомоществовании. Почтительный сын, он никогда не просит денег просто так — аккордно и неподотчётно, он самым подробнейшим образом исчисляет свои — в большинстве своём крайние — нужды. Так, извещая Достоевского-старшего, что решительно все его новые товарищи обзавелись собственными киверами, он тонко даёт понять неизбежность и для себя этих чрезвычайных трат. Дело, оказывается, отнюдь не в стремлении не отстать от прочих, а главным образом, в том, что старый его кивер «мог бы броситься в глаза царю».

Подобные аргументы, долженствующие, по мысли автора, продемонстрировать его непосредственную близость к источнику власти (и произвести тем самым неотразимое действие на законопослушного родителя), эти *государственные* мотивы сменяются со временем доводами более прозаическими: «...я прошу у Вас хоть что-нибудь мне на сапоги в лагери, потому что туда надо запасаться этим».

О возможном неудовольствии монарха по поводу не совсем исправных сапог на сей раз умалчивается.

Дочь Достоевского Любовь Фёдоровна утверждает, что её дед «владел имением и деньгами, которые он копил для приданого своим дочерям», а посему будущего автора «Преступления и наказания» глубоко возмущали те лишения и унижения, которым его «подвергала скупость отца».

Любовь Фёдоровна по обыкновению несколько преувеличивает: мы знаем, что «именье» не приносило почти никакого дохода, а приданым для дочерей пришлось озаботиться всё тем же Куманиным. Сам Достоевский ни разу — ни прямо, ни косвенно — не попрекает отца за прижимистость. Наоборот, он всячески пытается войти в его положение. «Боже мой! Долго ли я ещё буду брать у Вас последнее... Знаю, что мы бедны». Он говорит, что, если бы он обретался «на воле», он бы не требовал от отца ни копейки: «...я обжился бы с железною нуждою».

Отметим в скобках энергическую точность эпитета.

Те материальные и сопряжённые с ними нравственные стеснения, о которых он повествует в письмах к отцу и брату, отнюдь не досужий плод его юношеских фантазий. Он действительно принуждён отказываться от многих благ, которыми походя пользуются его более обеспеченные соученики. Уместно всё же предположить, что воспи-

танники одного из самых престижных военно-учебных заведений с голоду не пухли...

Здесь, пожалуй, впервые явила себя одна из характернейших его черт. Он всегда был склонен драматизировать свои обстоятельства.

П.П. Семёнов-Тян-Шанский, обитавший в том же полевом лагере, что и Достоевский, свидетельствует: ему самому на все лагерные надобности хватало десяти рублей. А поскольку казённый чай давали утром и вечером, он вполне обходился без своего чая.

На этом сюжете мы обещали остановиться подробней.

Испрашивая у отца необходимые ему сорок рублей, Достоевский настоятельно подчёркивает, что он не включает в эту сумму расходы на чай и сахар. При этом даётся понять, что чай — не роскошь, а средство существования, ибо в условиях лагерного житья отсутствие этого ободряющего напитка влечёт невосполнимый ущерб здоровью. Но — тут следует самое патетическое место: «Но всё-таки я, уважая Вашу нужду, не буду пить чаю».

Такое самоотвержение призвано было до глубины потрясти душу чадолюбивого родителя. Что, собственно, и входило в авторский замысел. Благородный отказ от предмета первой необходимости (только в силу бесконечной сыновней покорности трактуемого как баловство: «Что же, не пив чаю, не умрёшь с голода»), эта добровольно приносимая жертва оборачивалась немым укором. Уж если в уважении родительских нужд отказывают себе в таком невинном удовольствии, надо иметь воистину каменное жестокосердие, чтобы немедленно не удовлетворить все прочие пожелания бескорыстного просителя — хотя бы в вознаграждение за его стоический дух.

И тут, откуда ни возьмись, вновь возникает уже знакомый *павловский* мотив. «Однажды училище почтила Своим посещением... вдовствующая Императрица Мария Фёдоровна. Осведомясь о пище кондукторов, Ея Величество приказала дозволить им по вечерам пить чай, для чего и подарила училищу самовар. В то время во всех прочих военно-учебных заведениях чай положительно не допускался»[1].

В тоне официального историографа Училища, запечатлевшего этот замечательный, но, увы, пропущенный потомками факт, звучит законная гордость. Высочайше пожалованный чай — привилегия не менее почётная, чем отсутствие телесных наказаний. Поддержание

[1] *Максимовский М.С.* Исторический очерк развития Главного Инженерного училища. 1819–1869. СПб., 1879. 1-я пагин. С. 111.

доброй традиции в полевых условиях (уже на собственный счёт) становится делом чести.

Конечно, чай — только знак, символ нравственной независимости (Семёнов-Тян-Шанский замечает, что чаепитие носило скорее ритуальный характер — «чтобы не отстать от других товарищей»). И хотя нелепо (вслед за Страховым) отождествлять автора «Записок из подполья» с его героем, нельзя упускать из виду, что слова подпольного парадоксалиста («Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить») могли заключать в себе реминисцентную пародию: во-первых, некоторых реальных обстоятельств авторской юности[1], а во-вторых, той эпистолярной методики, которая использовалась в сношениях с отцом.

Молодой Достоевский решает вопрос в пользу «света»: впрочем, последнее даётся ему не без известных усилий.

...Михаил Андреевич ещё успеет отозваться на указанное письмо. Он изобразит картину надвинувшейся беды: чёрные выжженные поля, обнажённые для корма скоту крыши, безысходность, отчаяние и гибель. Он высылает просимую сыном сумму, уведомляя, что не скоро сможет возобновить присылки. И — как бы в усиление его слов — это даяние оказывается последним.

«Скоропостижно умре...»

Смерть отца (вернее, обстоятельства этой смерти) — одно из самых тёмных мест в биографии сына.

Сам Достоевский не обмолвился об этом ни словом: ни прямо — в дошедших до нас текстах, ни косвенно — в передаче воспоминателей. Считалось, что владелец Чермошни и Дарового умер скоропостижно — от внезапно поразившего его апоплексического удара. Это случилось 6 июня 1839 г. Труп почти двое суток пролежал в поле, пока явившийся из Каширы лекарь формальным образом не удостоверил факт смерти. (Первоначально прибыл доктор из близлежащего Зарайска, но, поскольку владения Достоевских относились к Каширскому уезду, он не мог дать официального заключения.)

[1] Кстати, фамилия одного из персонажей «Записок из подполья», школьного товарища героя, — Зверков (лицо, надо признать, малосимпатичное). В списках воспитанников Главного инженерного училища находим: Зверков Харлампий, в 1842 году выпущен из кондукторского класса юнкером в 4-й Саперный батальон. (См.: *Максимовский М.С.* Указ. соч. 2-я пагин. С. 100).

О том, что Михаил Андреевич не умер естественной смертью, а был убит своими крепостными, впервые поведала миру дочь писателя Любовь Фёдоровна. Зная наклонность мемуаристки к вымыслам и преувеличениям, можно было бы отнестись к её словам скептически. Если бы не опрошенные на сей предмет крестьяне, которые в 1925 г., то есть через 86 лет после самого события, почти единодушно подтвердили, что их деды и прадеды повинны в насильственной смерти барина, и даже назвали имена убийц. Кроме того, в 1930 г. вышли в свет воспоминания Андрея Михайловича (написанные, кстати, несколькими десятилетиями ранее книжки Любови Фёдоровны), где младший брат Достоевского как нечто не подлежащее сомнению излагает ту же историю.

Семейная версия закрепилась в литературе и не вызывала особых споров, пока в 1975 г. Г.А. Фёдоров не опубликовал в «Литературной газете» несколько выписок из обнаруженных им в архивах документов о смерти М.А. Достоевского[1]. Из материалов официального расследования явствовало, что надворный советник Михаило Андреев Достоевский «скоропостижно умре» и «в насильственной смерти его... сомнения и подозрения никакого не оказалось». Вполне убеждённый этими, казалось бы, неоспоримыми доказательствами, автор публикации (поддержанный мощным авторитетом В.Я. Кирпотина) пришёл к заключению, что семейная версия (убийство) не что иное, как невольное воспроизведение злонамеренной выдумки соседей Достоевского по имению Хотяинцевых. Зачем это им понадобилось? Оказывается, затаив злобу против покойника, они пытались опорочить его посмертно (в чьих глазах: крестьян? родственников? начальства?). Именно Хотяинцевы признавались отныне виновными в распространении той криминальной информации, с которой почему-то согласились не только легковерные исследователи, но и члены семейства Достоевских.

Как бы то ни было, находка Г.А. Фёдорова произвела сенсацию. Правда, большинство специалистов сошлось на том, что, прежде чем делать какие-либо заключения, необходимо ознакомиться со всем комплексом вновь найденных документов: изучить полный текст, оценить степень его достоверности, установить отсутствие или наличие внутренних противоречий и т. д. До выполнения этой элементарной источниковедческой работы говорить о научном

[1] Литературная газета. 1975. 18 июня. См. тж.: *Фёдоров Г.А.* «Помещик. Отца убили...», или История одной судьбы / Новый мир. 1988. № 10. Его же: Московский мир Достоевского. М., 2004.

значении находки было бессмысленно (тем более что статья Фёдорова практически не содержала архивных ссылок).

Может быть, поэтому толкования автора статьи убедили далеко не всех. «...Иначе как «романтическим» домыслом Г.А. Фёдорова эту гипотезу назвать нельзя»[1], — замечает В.С. Нечаева, подвергая саму «гипотезу» весьма основательной критике.

Между тем следственное дело до сих пор не опубликовано! Но вот вопрос: сохранилось ли оно вообще? Проведя тщательный поиск в архивах, мы пришли к заключению, что пока ответ должен быть отрицательным.

Споры о том, был ли убит отец Достоевского или же он умер собственной смертью, с годами приобретают всё более схоластический характер. Оппоненты апеллируют не столько к фактам, сколько к неоспоримым идеологическим соображением. По мнению одних, убийство крепостника-помещика как бы иллюстрирует неотвратимость классовой мести. Другие полагают, что подозрение в убийстве бросает тень как на законопослушных сельских жителей, так и на самого умершего, отличавшегося высокими моральными и деловыми качествами, и косвенно наносят «репутационный ущерб» его гениальному сыну.

Признаться, мы не являемся безусловными сторонниками ни одной из версий. Наша задача сугубо прикладная: обнародовать и свести воедино все имеющиеся на сегодня в наличии документальные материалы (не отказываясь при этом от потенциальной возможности новых открытий). Допускаем, что к этому сюжету ещё суждено вернуться нашим ученикам, последователям и оппонентам.

Известно, что смерть отца произвела на 17-летнего Достоевского неизгладимое впечатление. Высказывались предположения, что именно это известие вызвало у него первый приступ эпилепсии.

«Мне кажется совершенно невозможным говорить о гении Достоевского, не произнося слова «преступление», — понизив голос, замечает Томас Манн. — ...Нет сомнений, что подсознание и даже сознание этого художника-титана было постоянно отягощено тяжким чувством вины, преступности и что чувство это отнюдь не было только ипохондрией»[2]. Разумеется, автор статьи «Достоевский — но в меру» имеет в виду признание полубезумного Ивана Карамазова:

[1] *Нечаева В.С.* Ранний Достоевский. 1821–1849. М., 1979. С. 94. Полагаем, что наша полемика с ныне уже покойным Г.А. Фёдоровым, глубоким знатоком связанных с Достоевским реалий, ничуть не умаляет заслуги этого замечательного и преданного своему делу исследователя.

[2] *Манн Т.* Собр. соч. М., 1961. Т. 10. С. 330–331.

«Кто не желает смерти отца?..». И впрямь: уж не посещали ли творца «Карамазовых» схожие чувства?

Поклонники психоанализа немедленно связали возникновение падучей болезни с якобы преследовавшим больного «комплексом вины». «...Бессознательные чувства ненависти и мести против отца, — пишет профессор Нейфельд, — были так сильны, что цензура сознания могла защищаться от них только при помощи глубокого обморока»[1]. Заметим, что обморок помогает в таких случаях «защищаться» и от чувства любви.

Он мог испытывать угрызения: правда, иного рода.

Ведь это для него, воспитанника императорского Инженерного училища, выбивались из мужиков последние медные деньги; это ему — в голод и неурожай — посылались в Петербург средства (правда, довольно скудные) на приобретение собственного чая. Жестокость отца, приведшая к его гибели, могла провоцироваться невольным эгоизмом сына.

Причины для обморока были.

«Есть одно совершенно особое свидетельство о болезни Ф.М., — пишет первый биограф Достоевского Орест Миллер, - относящее её к самой ранней его юности и связывающее её с трагическим случаем в их семейной жизни. Но хотя это и передано мне на словах очень близким к Ф.М. человеку, я ниоткуда более не встретил подтверждения этому слуху, а потому не решаюсь подробно и точно его изложить»[2].

Что скрывается за этим глухим намёком? «Очень близкий человек» — это, скорее всего, никто иной, как Анна Григорьевна, которая и поведала О.Ф. Миллеру семейную тайну — разумеется, с условием не называть источник.

Но если даже свидетельства о ранних припадках не вполне точны (эпилепсия, судя по всему, возникла позднее), вряд ли можно сомневаться, что Достоевский пережил сильнейшее нервное потрясение, память о котором осталась навсегда. Дело усугубилось знанием тех ужасных подробностей, которые не замедлили вскоре явиться.

Существовало ещё одно обстоятельство, не могшее не тяготить душу. Среди убийц Достоевского-старшего наверняка находились

[1] *Нейфельд И.* Психоаналитический этюд. Под ред. проф. З. Фрейда. Л., 1925. С. 22.

[2] *Миллер О.Ф.* Материалы для жизнеописания Ф.М. Достоевского // Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 14 т. СПБ., 1883. Т. 1: Биография, письма и заметки из записной книжки. С. 5–176, 1-я паг. Правда, к «самой ранней юности» можно отнести и историю с изнасилованной девочкой.

люди, которых Достоевский-младший знал с самого детства. Тот же мужик Марей, ободривший некогда напуганное «волком» дитя (о чём Достоевский рассказал в «Дневнике писателя»), имел шанс оказаться заодно с теми, кто отправил в лучший мир отца ребёнка: среди прочих убийц значатся члены семьи Марка Ефремова (то бишь Марея).

Не потому ли мужик Марей вспоминается рассказчику именно на каторге? Он мог оказаться соседом по нарам.

Черемошня — метафора смерти

В планы убийц, если верить молве, посвящён и кучер Давид — фигура, на наш взгляд, заслуживающая внимания.

По словам Андрея Михайловича, Давид был крепостным его отца и служил у него ещё задолго до женитьбы последнего. Это обстоятельство не может не вызвать некоторого недоумения, поскольку не вполне ясно, каким образом Михаил Андреевич, ещё не будучи дворянином, исхитрился сделаться владельцем крепостных душ. Но, может быть, Давид Савельев был крепостным другого барина, отпущенным в услужение (то есть как бы сданным в аренду)?

На этот вопрос позволяют ответить обнаруженные нами исповедные ведомости «церкви святых Апостолов Петра и Павла, что при Больнице для бедных». Так, в ведомости за 1821 г., где указано семейство Достоевских (Михаил Андреевич, Мария Фёдоровна и годовалый Михаил), значится только одна «крепостная девка Ирина Тимофеева» 24 лет. Это, разумеется, наёмная прислуга, а не «принадлежность» семьи. (Кстати, в ведомости за 1826 г. она поименована как «мещанка».)[1] Никаких других слуг, крепостных или вольных, у Достоевских не наблюдается. Зато в ведомостях начиная с 1829 г. неизменно присутствуют «крепостные их люди» Давид Савельев и его брат Феодосий[2]. Это дворовые, купленные выслужившим наконец дворянство Михаилом Андреевичем. Но они отнюдь не жители Дарового и Черемошни, приобретённых только в 1831–1832 гг. Следовательно, для жителей этих сёл кучер Давид — человек со стороны.

Немало усилий, очевидно, понадобилось убийцам, чтобы «подговорить» или по меньшей мере нейтрализовать нежелательного свидетеля, которому, согласно исповедным ведомостям, было в ту пору 37 лет. Может, его просто-напросто припугнули? Дошедшие до

[1] ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 747. Ед. хр. 1013. Л. 153 об.

[2] ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 747. Ед. хр. 1132. Лл. 548, 555 и др.

нас толки о безуспешной попытке кучера в последний момент отклонить барина от роковой поездки в Чермошню выглядят не столь фантастично.

В «Братьях Карамазовых» Смердяков говорит Ивану: «А всё чрез эту самую Чермашню-с... Если б остались, то тогда бы ничего не произошло...» В сознании Достоевского поездка в Чермошню — знак смертельной опасности, синоним предательства, метафора смерти.

Но вернемся к Давиду. Не особенно заботясь о достоверности, Любовь Фёдоровна намекает, что он-то и есть «главный убивец». Она говорит, что её дед был задушен «подушкой от экипажа», после чего кучер, само собой, «исчез вместе с лошадьми». Трудно ручаться за лошадей, но что касается кучера, он никуда не делся. Он продолжал исправно служить семейству. Осенью 1855 г. тридцатилетний Андрей Михайлович, заехав в Москву к сёстрам, с трудом узнаёт в старике «с седой окладистой бородой, в кучерском наряде» своего давнего знакомца.

«– З<д>равствуй, Давыд!

— Здравствуйте, сударь... да я что-то не признаю вас.

— А Андрея Михайловича Достоевского позабыл?..

— Батюшка, Андрей Михайлович... — и чубурах мне тут же на улице в ноги!..»[1]

Конечно: радость внезапной встречи, трогательная привязанность к господам (не уступающая Мареевой) и т. д. и т. п. Всё это так. Но падение в ноги — ещё и жест покаянный. Его можно расценить и как мольбу о прощении — того греха, который вольно или невольно взял на свою душу кающийся.

(Следует признать, что, если Давиду и не удалась попытка предотвратить убийство, он, во всяком случае, озаботился тем, чтобы Михаил Андреевич умер как христианин. Очевидно, убийцы полагали, что барин мёртв, и поэтому позволили кучеру увезти труп — подальше от места действия. Можно предположить, что по дороге несчастный стал подавать признаки жизни — и Давид, оставив барина «у дуба», поспешил в Моногарово «за попом», дабы спасти душу умирающего для жизни вечной. Правда, допустим и другой вариант: священник был необходим убийцам как свидетель агонии и мирной кончины.)

Описывая убийство отца, Андрей Михайлович приводит ряд очень характерных деталей. Но именно это обстоятельство вызвало через сто лет сугубое недоверие его строгого критика и оппонента. «Кто

[1] Воспоминания А.М. Достоевского. Л., 1930. С. 252.

это рассказывает, — негодующе восклицает Г.А. Фёдоров, — очевидец, бывший в те дни в Даровом? Нет, рассказывает старик, а было ему тогда четырнадцать лет, и жил он при московском пансионе, весть до него дошла, пройдя через множество уст и отлившись в версию, сформированную в недоброй к памяти его отца среде»[1].

Согласимся на минуту с исследователем. Допустим, что неродная бабушка (вдова Ф.Т. Нечаева, мачеха покойной Марии Фёдоровны Достоевской), незамедлительно явившаяся в Даровое по поручению Куманиных, а также сами Куманины — все это «недобрая» к памяти покойного «среда». Но ведь Андрей Михайлович ссылается на другие источники! Он говорит, что главная информация исходила от двух живших в семье людей — няни Алёны Фроловны, которая обреталась «вместе с папенькой в деревне и была почти свидетельницей и очевидицею катастрофы», а также от девушки Ариши, к которой «приходили родные из деревни». Уж их-то, ближайших и преданнейших домочадцев, трудно заподозрить в злонамеренном искажении фактов!

И, наконец, кучер Давид. Он был непосредственным свидетелем и участником происшествия: отвозил барина в Чермошню, ездил в Моногарово за попом и т. д. И если бы Михаил Андреевич умер естественной смертью, преданный возчий не преминул бы уверить в этом безутешных родных. Тем более что подобная трактовка событий в первую очередь была спасительна для него самого.

Между тем дети Михаила Андреевича, а также их потомки во втором и третьем колене никогда не сомневались, какой именно смертью умер отставной надворный советник. Семейная версия однозначна: Михаил Андреевич был убит.

...Спустя сорок лет, в июле 1877 г., Достоевский в первый и единственный раз вновь посетит эти места. Проездом через Москву он делает крюк и направляется в Даровое, хотя это и нарушало его нетерпеливые планы — как можно скорее вернуться к ждущей его семье. «Проклятая поездка в Даровую! — пишет он Анне Григорьевне. — Как бы я желал не ехать! Но невозможно: если отказывать себе в этих впечатлениях, то как же после того и об чём писать писателю! Но довольно, обо всём переговорим».

О каких впечатлениях идёт речь? Была ли эта поездка лишь ностальгической данью воспоминаниям детства? Или здесь позволительно усмотреть ещё и желание лично побывать на месте катастрофы? Многие свидетели, а может, и виновники трагедии были ещё живы. «...Обо всём переговорим», — пишет Достоевский жене, и в этой

[1] Новый мир. 1988. № 10. С. 237.

многозначительной интонации тоже брезжит намёк — на такие предвидимые волнения, о которых уместно рассказывать только лично.

...Когда отец Илюшечки хочет выполнить его последнюю волю, квартирная хозяйка Снегирёвых невольно нарушает чинную скорбь похорон, чтобы сделать ему соответствующее внушение. «Вишь, что выдумал. У камня поганого хоронить, точно бы удавленника, — строго проговорила старуха хозяйка».

Михаил Андреевич Достоевский отнюдь не «удавленник», а скорее удавленный, и похоронен он (как и Илюшечка) в освящённой земле. Отсутствие этой могилы — знак забвения и греха.

Выйдя из неизвестности, Михаил Андреевич вновь уходит во тьму, словно не желая оставлять по себе ни памяти, ни хронологических мет...

Первые письменные сообщения о смерти отца — те, которые Достоевский должен был получить из Москвы или Дарового, до нас не дошли. Да и вряд ли они содержали *всю* информацию: такие вещи не доверяются почте. «Брат пишет очень неясно о всём происшедшем...» — сетует из Ревеля получивший печальную весть Михаил Михайлович (письмо брата Фёдора, о котором упоминает Михаил Достоевский, также не сохранилось). Но, очевидно, брат и не мог изъясняться толковее: тогда, в конце июня, ему, самому находящемуся на большом расстоянии от места событий, далеко не всё было понятно.

Итак, никаких *частных* свидетельств, относящихся к 1839 г., практически не существует. С другой стороны, наличествуют солидные, скреплённые официальными подписями документы, чей почтенный архивный возраст не может не внушить невольного уважения.

Конечно, нельзя не учитывать магии документа (тем паче — полицейского документа)! Кто позволит себе усомниться в результатах официального следствия: его непогрешимость подтверждена гробовым молчанием более чем полутора веков! Но что сталось бы с нами, жертвами новейших исторических аберраций, если бы мы судили, например, о сгинувших в 1937-м только на основании завершённых и благополучно сданных в архив следственных производств...

О чём же говорят и о чём умалчивают архивы?

Суд да дело

Позволим себе одно личное воспоминание. Покойный академик Григорий Михайлович Фридлендер, редактор Полного академиче-

ского собрания сочинений Ф.М. Достоевского, неоднократно советовал нам отправиться в тульские архивы, дабы на месте изучить, а затем подготовить к печати следственное дело (после публикации Г.А. Фёдорова представление о существовании такового прочно утвердилось в умах исследователей).

Мы начали поиски уже после смерти Г.М. Фридлендера. И тут выяснилось интересное обстоятельство. Большинство «числившихся за Тулой» документов оказалось в Москве, в ЦИАМ (они, очевидно, были переведены туда после вхождения Каширы в Московскую область). Следственное дело (как комплекс соответствующих документов), несомненно, существовало. Оно должно было отложиться в архиве Каширского земского суда. Собственно земский суд — это не что иное, как местная полиция (её следственная часть). И естественно, что все первичные документы (протоколы, показания и т. д.) должны были сосредоточиваться именно здесь. Но, к сожалению, материалы Каширского земского суда за 1839–1840 гг. в архивах отсутствуют.

Зато сохранились Журналы заседаний Каширского уездного суда (инстанции, надзирающей над земской полицией), которые, повторяем, находятся ныне в ЦИАМ. Это — огромные тома по 800, 900 и более листов каждый, густо исписанные разными, зачастую трудночитаемыми почерками. Среди тысяч представленных там документов только семнадцать имеют отношение к смерти М.А. Достоевского. Это отнюдь не первичная документация, а лишь подтверждение того, что расследование действительно имело место: служебная переписка, фиксация следственных действий, судебные резюме и т. д. Из совокупности этих текстов можно сделать заключение, что существовал неизвестный нам целый пласт материалов, которые, собственно, и составляли следственное дело. Это, прежде всего, медицинские документы — протоколы осмотра трупа, анатомирования, заключение о смерти и т. д. Затем — протоколы допроса свидетелей (которые одновременно могли быть и убийцами) — крепостных крестьян; протоколы очных ставок; показания родственников и лиц, находившихся вместе с Михаилом Андреевичем в Даровом (нянька Алёна Фроловна). Наличие всех этих документов нашло косвенное отражение в Журналах заседаний Каширского уездного суда, который на протяжении шестнадцати месяцев возвращается к этому сюжету.

Рассмотрим его и мы — хотя бы в общих чертах.

16 июня 1839 г. из Каширского земского суда тульскому гражданскому губернатору поступает донесение, что 6 июня надворный советник М.А. Достоевский, «быв в поле для присмотра за возившими крестьянами навоз, скоропостижно умре по произведённому временным отделением Сего Суда следствию в насильственной смерти его Г-на Достоевского сомнения и подозрения никакого не оказалось, а последовала таковая как свидетельством Уездной Штаб-лекарь Шенкнехт удостоверяет от апоплексического удара вследствие сильных геморроидальных напряжений от коих привычного пособия не было принято».

20 июня Каширский уездный суд получает дело «о скоропостижно умершем надворном советнике Михайле Андрееве Достоевском». Это обычная полицейская формальность. Суд постановляет: «рапорт с делом записав отдать в повытье (отделение письменных или приказных дел в судах. — *И.В.*) с роспискою а как из произведённого следствия видно, что умышленной смерти г-на Достоевского никого виновных и подозрительных к тому видов не открыто, и сумнения в том ни от кого никакового не изъявлено, почему случай таковой смерти предать суду воле Божией и дело с мнением и экстрактом отослать на ревизию Г-ну тульскому гражданскому губернатору и кавалеру при рапорте, о чём сочинить особый протокол»[1].

Казалось бы, на этом можно поставить точку и благополучно сдать дело в архив. Однако неожиданно на сцену выступает новый персонаж. Г.А. Фёдоров утверждает, что 6 июля в Каширский земский суд «явился местный помещик ротмистр А.И. Лейбрехт, «изъявив в смерти Достоевского подозрение на крестьян его»[2]. Это ошибка: 6 июля в Каширский уездный суд из земского суда уже поступило «доследование», вызванное доносом Лейбрехта. Видимо, сам донос был сделан в 20-х числах июня — так сказать, по свежим следам.

Лейбрехт, доводя до властей свои подозрения, ссылался на информацию, полученную от Владимира Фёдоровича Хотяинцева. Последний — родственник соседа Достоевского, Павла Петровича Хотяинцева. Отсюда, как уже говорилось, делается умозаключение, что именно они, Хотяинцевы, виновники и распространители уголовных слухов.

Но странное дело. В.Ф. Хотяинцев, на которого ссылается Лейбрехт, призванный на очную ставку с последним, категорически отказывается от приписываемых ему слов. Сам же Павел Петрович, якобы горевший желанием «открыть всё дело», почему-то не спешит с исполнением этого благородного намерения.

Документально это выглядит следующим образом.

---

[1] ЦИАМ. Ф. 2150. Оп. 1. Ед. хр. 98. Лл. 292 об. — 293 (Журнал заседаний Каширского уездного суда. Январь — июнь 1839).

[2] Литературная газета. 1975. 18 июня.

Получив доследование, Каширский уездный суд, констатируя, «что в разноречивых показаниях Г-дам Штаб-ротмистру Александре Иванову Лейбрехту и Штабс-капитану Владимиру Фёдоровичу Хотяинцову не дана очная ставка и не отобрано показание от Зарайского городового лекаря Ш<ен>рока, против составленного в оном суде журнала 22 июня, и объяснения Г-на Лейбрехта, почему о первых Каширскому земскому суду предписать указом и велеть, чтобы оный обязал их на повестный срок в одно время подписками о явке в сей суд для дачи изъяснений <...> действительности показаний Г-на Лейбрехта от Г-на Шенрока отобрать сведения, а по отобрании прислать в сей суд немедленно»[1].

Из этого текста следует, что, реагируя на заявление Лейбрехта, земский суд назначил очную ставку между ним и В.Ф. Хотяинцевым, а также предписал отобрать показания от того самого зарайского лекаря, который первым осматривал труп М.А. Достоевского.

28 июля в уездный суд присланы подписки, «отобранные у Штабротмистра Лейбрехта и Штабс-капитана Хотяинцова о явке в сей суд». Расписки приобщили к делу[2]. Однако 31 июля в уездный суд поступают сведения из земского суда, что Лейбрехт «обещал явиться в сей суд сего июля 28 дня, который и явился»; что же касается штабс-капитана Хотяинцева, то последний «за ранами явиться не может; а посему приказали о сём записать в журнале а действительно ли Г-н <текст повреждён> о действительности сего освидетельствовать на законном основании. По выполнению сего Каширскому земскому суду и предписать указом с тем, чтоб по исполнении сему суду донёс»[3]. То есть, как можно понять, суд требует, чтобы В.Ф. Хотяинцев, который не явился на очную ставку «за ранами» (будучи офицером, он теоретически мог их иметь), представил врачебное свидетельство на сей предмет. После чего суд ещё несколько раз вызывал Лейбрехта и Хотяинцева, но второй, обязавшись явиться 8 августа, в суд не явился, а Лейбрехт «отлучился из имения своего в город Коломну». Поэтому суд вновь шлёт повестки, призывая обоих указанных лиц явиться «для дачи очных ставок», а до тех пор постановляет «дело остановить решением»[4]. 6 сентября история повторяется. Лейбрехт, который «и прежде сего являлся»,

[1] ЦИАМ. Ф. 2150. Оп. 1. Ед. хр. 109. Лл. 61 об. – 62 об. Источник повреждён: отсутствует верхняя часть листов (Журнал заседаний Каширского уездного суда. Июль – ноябрь 1839).

[2] Там же. Л. 158.

[3] Там же. Лл. 160, 160 об.

[4] Там же. Лл. 283, 306 об., 307.

прибывает в суд, однако «оный Хотяинцов не является». Суд постановляет: «о сём записать в журнал, а Каширскому земскому суду вновь ещё предписать указом и велеть, чтоб оный (то есть В.Ф. Хотяинцев. – *И.В.*) немедленно выполнил предписание сего суда от 31 августа за № 1608, ибо за сим только и дело остановилось в нерешении»[1].

Из всего этого с очевидностью следует, что в отличие от законопослушного Лейбрехта В.Ф. Хотяинцев всячески уклоняется от встречи. У него, видимо, нет никакого желания давать официальным властям какую бы то ни было информацию – и он тянет время в надежде, что вся эта история кончится ничем.

Наконец 12 сентября долгожданная встреча состоялась. Приведём полностью свидетельствующий о том документ:

«12 сентября 1839. В присутствии сего суда (очевидно, имеется в виду всё-таки Каширский уездный суд. – *И.В.*) явившиеся в оное Г-дам Штабс-капитану Владимиру Фёдорову сыну Хотяинцову и Штабротмистру Александре Иванову сыну Лейбрехту в разноречивых показаниях по производившемуся в сём суде делу о умершем Г-не Надворном советнике Михайле Андрееве Достоевском, была дана очная ставка в нижезначущемся предмете; на коей Г. Лейбрехт Г. Хотяинцова уличал в том, что он слышал от него говорённые им лично слова, в доме у него, что в смерти Г. Достоевского имеются сумнения и какая-то девка Г. Достоевского <слышала крик его>, и чтоб она о том никому не говорила, брат её запрещал, люди его Достоевского толе были озлоблены, что когда обмывали тело Г. Достоевского, то били по пятам, противу сего Г. Хотяинцов в показуемом на него зделал отрицательство, что он сих слов ему Г-ну Лейбрехту ни говорил, а утвердился на прежнем данном им сведении Г-ну старшему дворянскому заседателю Шишкову сего года Июня 26 дня, сверх сего дополняет он Лейбрехт, что на другой день по даче от себя сведений в Каширский земский суд, он поехал к Г-ну Хотяинцову и объявил ему, что по желанию его, он передал все сии слухи на щёт смертности Г-на Достоевского Г-ну исправнику Каширского земского суда, и оный потребовал от него на бумаге сведение, и что он всё слышанное от него в оном поместил, говорено было ему им в присутствии его супруги Марьи Васильевны и бывшей тогда у них девицы Ирины Васильевны Закуриной, на что ему Г. Хотяинцов сказал, что он весьма дурно сделал, а следовало бы ему замешать в оном деле самого исправника, и тогда он, получа его сведение, положил бы под сукно,

[1] Там же. Л. 339. См. тж. л. 368 об.

в протчем это не беда, он скажет, что всё оное слышал от Г. Хотяинцова Павла Петровича жены. — На каковые слова его супруга Владимира Фёдоровича Хотяинцова и девица Ирина Васильевна Закурина сказали ему, что ето с его стороны будет неблагородно выставлять даму в свидетельницы, после сего разговора они расстались с Г-ном Хотяинцовым как хорошие соседи...»[1].

Итак, Лейбрехт утверждает, что всё, о чём он поведал в своём письменном (июньском) доносе, он слышал самолично от В.Ф. Хотяинцева и, как можно понять из текста, в присутствии его супруги Марьи Васильевны и девицы Ирины Васильевны Закуриной (возможно, если судить по отчеству, сестры жены?). В свою очередь В.Ф. Хотяинцев категорически это отрицает (при этом выясняется, что он уже давал показания на этот счёт ещё 26 июня старшему дворянскому заседателю Шишкову). Лейбрехт же после своего заявления исправнику Каширского земского суда (и фиксации этих сведений на бумаге) едет к Хотяинцеву и объявляет ему о своём поступке. Далее следует довольно неясное место. В.Ф. Хотяинцев говорит Лейбрехту, что тот «весьма дурно сделал, а следовало бы ему замешать в оном деле самого исправника, и тогда он, получа его сведение, положил бы под сукно». Видимо, Хотяинцев уже не заинтересован в открытии истины и сожалеет о том, что Лейбрехт сообщил обо всём не лично исправнику (неофициально?), который по каким-то причинам мог не давать делу дальнейшего хода, а отнёсся в земский суд. Теперь официальное доследование неизбежно. В этом разговоре с Лейбрехтом В.Ф. Хотяинцев указывает на источник информации: он говорит, что сошлётся на жену своего родственника, Павла Петровича Хотяинцева, что не вызывает одобрения (по причинам, как можно понять, этическим) его собственной супруги и девицы Закуриной. Впрочем, расстаются Лейбрехт с В.Ф. Хотяинцевым «как хорошие соседи».

Далее в Журнале Каширского уездного суда, где излагаются результаты происходившей 12 сентября очной ставки, следует очень важный, на наш взгляд, текст. Лейбрехт заявляет: с В.Ф. Хотяинцевым он «до сего случая не имел никаких неудовольствий; и не знает, почему он в поданном от себя сведении отказывается от своих говорённых слов и объявил, будто бы он всё оное вывел на него по злобе, тогда как он просил его чтобы он открыл исправнику. Что Г-н Хотяинцов Павел Петрович его ждёт к себе непременно, дабы открыть всё сие дело».

[1] ЦИАМ. Ф. 2150. Оп. 1. Ед. хр. 109. Лл. 365, 366.

Этот, к сожалению, тоже весьма невнятный пассаж можно прокомментировать следующим образом. Лейбрехт удивлён, почему В.Ф. Хотяинцев отказывается от своих слов, утверждая, что Лейбрехт всё это выдумал по каким-то субъективным причинам («по злобе») и что Павел Петрович Хотяинцев (на чью жену, как помним, ссылался В.Ф. Хотяинцев) с нетерпением ждёт исправника, «дабы открыть всё дело».

Лейбрехт завершает своё показание следующим образом: «сверх сего дополняет, что выдумать самому им всё сие невозможно, ибо он никогда у Г. Достоевского в имении не бывал и не знает, есть ли у него девка у коей есть брат, который уговаривал её молчать, а Г. Хотяинцов был с ним коротко знаком и он видел его у него весьма часто». Правдоискатель Лейбрехт упирает на то, что он не обладает столь богатым воображением, чтобы выдумать приводимые им детали. Важная подробность: он неоднократно наблюдал М.А. Достоевского гостившим у В.Ф. Хотяинцева, что должно свидетельствовать о короткости отношений последних.

Суд вынес следующее резюме. «Приказано: очную ставку записав приобщить к делу, а как из оной очной ставки видно что Г. Лейбрехт в говорении слов Г-м Хотяинцовым касательно смерти Г. Достоевского в том что имеет сумнение и какая-то девка Г. Достоевского слышала крик его Достоевского и чтоб она о том никому не говорила брат <её> запрещал люди его Достоевского так были озлоблены, что когда обмывали тело его Достоевского то били по пятам и о прочем выставить свидетелей жену его Хотяинцова Марью Васильевну и девицу Арину Васильевну Закурину, из коих жену Г. Хотяинцова суд сей на основании Продолжения Свода Законов 15 тома 3 части 947 с-и 7-го пункта во свидетели принять не может; от девицы же Закуриной сведение в оном на законном основании отобрать, о чём Каширскому земскому суду предписать указать и велеть чтоб он по отобрании то сведение прислал в сей суд»[1].

Г.А. Фёдоров полагает, что Лейбрехт «подставное лицо»: через него Хотяинцевы пускают свой поклёп на «невиновных крестьян». Логика странная, ибо вообще-то «подставное лицо» (т. е. Лейбрехт) возводит напраслину прежде всего на тех, чьим доверенным он якобы является. Он тщится доказать: Хотяинцевы знают, что М.А. Достоевский умер не своей смертью. Такое показание равносильно обвинению в сокрытии сведений или, иначе говоря, в недонесении.

[1] Там же. Лл. 366–367 об.

Уж не развлекался ли подобным образом в своей деревенской глуши отставной майор и герой 1812 г. Павел Петрович Хотяинцев — через «подставных лиц» оговаривая самого себя?

Почтенный сосед Достоевских предстаёт перед нами этаким провинциальным злодеем, мечтающим, как бы половчее опорочить доброе имя соседа, пустить по миру его детей и ради достижения этой заветной цели даже готовым рискнуть собственной репутацией. Эта опереточная (не по своей воле) фигура могла бы произвести некоторое впечатление на доверчивого читателя, если бы не было известно, что во второй половине 30-х годов оба соседствующих семейства пребывали в наилучших отношениях (несмотря на застрявшую в судах тяжбу между ними), что маменька Мария Фёдоровна любила гащивать у соседей, а те, в свою очередь, были посвящены в домашние дела овдовевшего Михаила Андреевича.

Вообще-то Хотяинцевы заслуживают внимания по разным причинам. Если верить Андрею Михайловичу, у соседей имелся 4-летний сынок — баловень и любимец семьи. (Возраст ребёнка как будто свидетельствует о том, что сам папаша, Павел Петрович Хотяинцев, в 30-е годы — ещё не столь стар: это соображение нам понадобится чуть ниже.) Любимым развлечением означенного дитяти «было рядиться в священника, а потому у него было полное священническое облачение и он постоянно что-нибудь служил»[1]. Как тут не вспомнить юного Павлушу Смердякова — его милую привычку подвергать казни через повешение пленённых им кошек и затем хоронить их по христианскому обряду — «с церемонией»: «Он надевал для этого простыню, что составляло вроде как бы ризы, и пел и махал чем-нибудь над мёртвой кошкой, как будто кадил».

Вычтем из чистого, хотя и несколько туманного облика хотяинцевского недоросля отвратительные «смердяковские» подробности (они, будем надеяться, не имеют к нему прямого отношения) и зададимся вопросом: не оказался ли соседский пример заразительным и для будущего автора «Карамазовых», который, мы знаем, устроил-таки однажды несанкционированный крестный ход — к вящему неудовольствию маменьки?

Но довольно о Хотяинцеве-сыне. Куда занимательнее его отец! Нам даже мнится (впрочем, при малейшем несогласии мы с радостью отречёмся от наших предположений), что именно Павел Петрович Хотяинцев и был настоящей причиной супружеской ревности Михаила Андреевича летом 1835 года.

[1] Воспоминания Андрея Михайловича Достоевского. С. 62.

Действительно: к кому, собственно, было ревновать неблагодарному мужу свою добродетельную супругу? В Москве, вечно обременённая семейством и почти неотлучно при нём пребывающая, Мария Фёдоровна вряд ли могла подать повод для подозрений. Опасность — с точки зрения мужа — могла возникнуть только в краткие промежутки относительной свободы — во время летних выездов новоиспечённой помещицы в Даровое. Но кто же тогда потенциальный соблазнитель? Уж конечно, не ближайшие соседи — старушка Небольсина и «помещики Еропкины» (по свидетельству Андрея Михайловича, тоже люди «уже пожилые»). Остаётся овеянный романтической славой 12-го года и, по нашим исчислениям, ещё вполне свежий Павел Петрович Хотяинцев (боевой офицер — это вам не тыловой медик!): других достойных кандидатов поблизости не наблюдается. Дело усугублялось ещё и тем, что простодушная Мария Фёдоровна и не думала скрывать от мужа подробности своих деревенских досугов. Досуги же эти, как было сказано, включали в себя и визиты к гостеприимным соседям. Разумеется, могли иметь место ответные посещения: отчего бы не лишённому воображения Михаилу Андреевичу не заключить, что Павел Петрович Хотяинцев заглядывал в Даровое запросто, без семьи? И ещё одно сугубо внешнее обстоятельство, которое тем не менее могло бы поколебать душевный покой недоверчивого супруга. Мария Фёдоровна и Павел Петрович — само звучание этих имён напоминало об августейшей чете: несчастных родителях царствующего государя. Что мешало чувствительным натурам узреть в этом совпадении тайный знак, призывающий их, и без того добрых друзей, к ещё большей короткости? Теперь, по смерти Марии Фёдоровны, все эти старые и вздорные страхи должны были пробудить в душе овдовевшего Михаила Андреевича горькое и позднее раскаяние. В отношениях его с соседями нельзя обнаружить каких-либо признаков взаимной вражды. Напротив, отношения эти довольно дружественные.

«Долгом считаю, — пишет Ф.М. Достоевский 3 марта 1839 г. одному из Хотяинцевых, — изъявить Вам свою сердечную признательность в том, что Вы принимаете участие в делах моего батюшки!»

До смерти родителя остаётся чуть более трёх месяцев.

«Заговор Хотяинцевых» против наследников Михаила Андреевича выглядит детективно, но, увы, не находит никаких фактических подтверждений.

Хотяинцевы, безусловно, знали о факте убийства (если только таковой имел место) и, очевидно, имели намерение довести всё до

сведения властей. Почему же они внезапно меняют точку зрения и упорно отпираются от признаний чистосердечного Лейбрехта? Да очень просто: обстоятельства изменились.

То, о чём приватно было поведано Лейбрехту (может быть, в порядке совета с ним: открывать или не открывать дело?) и что он поспешил сообщить по начальству, — всё это надлежало забыть. Родственники убитого согласились замять историю. Нависшая над наследниками угроза разорения и позора вряд ли могла быть восполнена запоздалой радостью от удовлетворения чувства классовой мести. Следствию уже нельзя было дать обратный ход: обнаружились бы подделки и мздоимания. (Впрочем, можно допустить, что ввиду трудно распознаваемого способа убийства медики дали свои заключения более или менее искренно.) Мужики, повязанные круговой порукой, натурально, не спешили свидетельствовать против самих себя. И даже крестьянские дети оказались на высоте, не прельстившись даровыми господскими конфетами. Очень похоже, что куманинские капиталы (может быть, с присовокуплением толики натуральных плодов крестьянского труда) привели следственное делопроизводство в столь гармоническое состояние.

«Нам кажется несколько наивной, — пишет В.С. Нечаева, — уверенность Г.А. Фёдорова в возможности обнаружить в архиве николаевского суда 30-х годов... следы «фальсификации» приговора»[1].

Действительно, в Журнале заседаний Каширского уездного суда эти следы практически не прослеживаются. При этом все формальности суд выполняет с большой тщательностью.

8 января 1840 г. суд постановляет «учинить следующее»: во-первых, «находящийся при деле отзыв Г-на Зарайского лекаря Шенрока, по оставлении с него к делу копий отослать при отношении на заключение в тульскую врачебную управу, с требованием таковым, чтоб оная по зделании своего заключения с возвращением оного сей суд уведомила». Это уже своего рода экспертиза: тульские медики должны дать заключение о первом (неофициальном, так как официальное заключение давал каширский лекарь Шенкнехт) осмотре трупа. Они должны написать бумагу в ответ на бумагу: вряд ли при этом у них явится цель уличить в чём-либо своего зарайского коллегу[2].

[1] *Нечаева В.С.* Ранний Достоевский. С. 91.

[2] Еще один немаловажный вопрос: производилось ли вскрытие? По закону оно вроде должно было быть. Однако об анатомировании упоминает лишь Андрей Михайлович, и то вскользь. В судебных материалах на это обстоятельство нет никаких ссылок. Правда, протоколы вскрытия могли содержаться в не дошедших до нас медицинских заключениях. Но полной уверенности в том, что анатомирование действительно было произведено (надо полагать, в обычной деревенской избе) и произведено высо- копрофессионально, – у нас нет.

Во-вторых, суд постановляет «в разноречивых показаниях дать очныя ставки Г-на Достоевского деревни Чермошни дворовой девке Марфе Исаевой с дворовым человеком Алексеем Михайловым, и дознать от крестьян, слышавших крик Г-на Достоевского, сколько долго оной продолжался, и какие слова произносил». Выясняется, таким образом, что «разноречивые показания» давали не только Лейбрехт и В.Ф. Хотяинцев: наличие разноречий потребовало очные ставки и в крестьянской среде. Остаётся ещё раз пожалеть, что соответствующие протоколы, как и другие первичные документы, до нас не дошли.

В-третьих, решено «отобрать сведения от супруги Павла Петровича Хотяинцова, от Федосьи Сергеевной, не передавала ли она Владимиру Фёдоровичу Хотяинцову сведения о смерти Г. Достоевского, и буде передавала, то какие именно и в чём оные заключаются». И наконец, «допросить няньку детей Г. Достоевского Московскую мещанку Елену Фроловну, за каким она родственником Г. Достоевского посылала в Москву, и кого именно, и потом всех их спросить, не имеют ли они в смерти Г. Достоевского какого подозрения, о исполнении всего онаго Каширскому земскому суду предписать указом и велеть, чтоб оный немедленно всё исполнил...»[1].

Позднее, уже в марте 1840 г., в суд поступят сведения, отобранные от московских родственников — Куманиных, от находившихся во время убийства в Даровом дочери М.А. Достоевского (? Саша — 4 года!) и, как сказано, няньки Алёны Фроловны: наличие этих документов отражено всё в том же Журнале заседаний, но сами они до нас не дошли. Поскольку все опрошенные лица связаны круговой порукой и придерживаются одной точки зрения (необходимости сокрыть убийство), вряд ли в их показаниях можно было бы обнаружить какие-либо разночтения.

Но суд предпринимает и другие полезные действия. Он поручает каширскому уездному предводителю учинить «через кого следует» повальный обыск об «образе жизни Г. Штаб-ротмистра Александра Иванова Лейбрехта и Штабс-капитана Владимира Фёдорова Хотяинцова», а также осведомить суд «как Г. умершей Достоевский в жизнь свою обращался с своими крестьянами, и не было ли от них приносимо ему (то есть уездному предводителю. — *И.В.*) каких-

[1] Там же. Ед. хр. 109а. Лл. 26 об., 27. Журнал заседаний Каширского уездного суда (январь — июнь 1840).

либо жалоб, и буде были то какие и в чём именно оные заключаются»[1].

Между тем время идёт, и вот уже уездный стряпчий предъявляет полученный им от тульского губернского прокурора ордер, «по которому предложил уведомить его в каком положении находится дело»: оно прислано для доследования из тульской палаты уголовного суда. Стряпчему отвечают, что производится повальный обыск и т. д., письменно уверяют, «что когда оное дело из земского суда прислано будет, тогда суд сей к рассмотрению оного немедленно приступит»[2].

Уже в апреле 1840 г. неугомонный Лейбрехт укоряет суд в том, что названная им свидетельница — жена В.Ф. Хотяинцева «во всём совершенно не спрошена, а обер-офицерская дочь девица Ирина Васильевна Закурина, хотя и вспрошена, но была ли приведена о показании истины к присяге ему неизвестно», и просит привести к присяге указанных лиц в его присутствии. На такое процессуальное занудство суд терпеливо отвечает, что «от девицы Арины Васильевны Закуриной сведение отобрано на законном основании под присягою, и к оной приводил священник села Спас-Журавны Александр Петров Журавлёв при приставе 2-го стана Силиче, в чём подписью их руками утверждено». Что же касается М.В. Хотяинцевой, то она по указанным ранее причинам «во свидетельство против своего мужа принята быть не может», а посему в просимом г-ном Лейбрехтом следует отказать[3].

Интересно, что о Павле Петровиче Хотяинцеве и его супруге Федосье Сергеевне в документах более не говорится ни слова.

29 мая 1840 г. Каширский земский суд посылает в суд уездный рапорт «с приложением подписки, отобранной от Г-на Лейбрехта в том что указ сего суда ему Г-ну Лейбрехту касательно в отказе ему в поданном прошении о скоропостижно умершем Г-не Достоевском объявлен»[4].

И наконец 5 ноября 1840 г. приказано: «указ с делом записав отдать в повытье с распискою, которое в своё время и сдать в архив архивариусу сего суда»[5].

---

1 Там же. Лл. 27 об., 28.
2 Там же. Лл. 66 об., 67.
3 Там же. Лл. 423–424 об.
4 Там же. Л. 571.
5 ЦИАМ. Ф. 2150. Оп. 1. Ед. хр. 110. Л. 486 об. Журнал заседаний Каширского уездного суда (июль — декабрь 1840).

На что способен народ

Надо признать, что малоподвижная судебная машина действует хотя медленно, но последовательно, не обходя ни одного из возникающих обстоятельств и формально исполняя все требования закона. Уездный суд надёжно страхует себя от возможных обвинений в недобросовестности или попытках замять дело. При этом главная ответственность перелагается на земский суд.

Удивительно другое. В 1925 г. деревенские старожилы — с чужих, разумеется, слов — «вспоминают» подробности (во многом совпадающие, заметим, с теми, что приводятся в воспоминаниях Андрея Михайловича). Так, сквозь тьму времён доходит известие, что в момент покушения «навоз мужики возили». Эта устойчивая деталь, фигурирующая также и в официальных бумагах, как бы намекает на тайное равноправие обеих версий...

Допустим и «промежуточный» вариант: припадок и смерть, последовавшие в результате нападения.

Апоплексический удар под бесцветным, пустым, выжженным июньским небом столь же вероятен, как и зверское умерщвление опостылевшего и распутного помещика. Среди убийц находились и родственники 16-летней Катерины, которая незадолго до того прижила от барина вскоре умершее дитя. А само нападение, по некоторым сведениям, совершилось во дворе крестьянина Ефимова — двоюродного брата Катерины. «Убийство Михаила Андреевича, — замечает Нечаева, — ... имело особый характер (сдавливание гениталий. — *И.В.*), который может быть истолкован как месть за женщину». Надо думать, однако, что метод предполагал прежде всего неоставление улик. Иначе — если длить аналогию — вливание в барскую глотку бутылки спирта тоже может быть истолковано в сугубо символическом смысле...

Ч. Б., разумеется, не может проигнорировать такой сюжет. Его не удовлетворяет скупая информация Андрея Михайловича («Катя... была огонь-девчонка»), и он смелыми мазками дополняет картину: «рано развившаяся девочка с широкими бедрами и пышной грудью (вот, вот они, недостающие подробности, уличающие, но отчасти и оправдывающие поздние мужские порывы Михаила Андреевича! — *И.В.*), так не соответствующими её тонкому, скорбному лицу и тихим, задумчивым глазам...» (само собой, с «задумчивыми глазами» более гармонировали бы узкие бедра). Оказывается, вовсе не маменьку ревновал несовершеннолетний Федюша, а пышногрудую горничную

отца: какое, однако, посрамление для фрейдистов! Но и её настигает рок. «...Катерину вытащили из неумело прилаженной на сеновале петли», — горько заключает Ч. Б.: бестактно вопрошать подлинного художника, откуда он известился об этом не отражённом ни в одном источнике приключении...

«У тебя на шее, Катя, шрам не зажил от ножа», — почему-то (и совершенно некстати!) приходит на ум разухабистая строка, памятная со школьных лет. И в виде гордого обломка полузабытой университетской образованности запоздало всплывает: «Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?»[1] — с игривой, будившей молодой восторг гимназистов заменой имени римского патриция близкой отечественному слуху Катериной...

О, нет, мы не сторонники шуток и, как, надеемся, заметил читатель, прибегаем к ним в исключительных случаях — главным образом из робости перед изобразительной мощью Ч.Б. Нам кажется, что юная наложница Михаила Андреевича заслуживает не только беллетристического или, положим, учёного интереса, но и самых простых человеческих чувств. Она живой человек, а не героиня мелодрамы.

Она, возможно, единственная свидетельница обвинения.

Откуда, собственно, пошёл слух? Почему у Хотяинцевых возникли подозрения о насильственной смерти соседа? Лейбрехт, говорящий с их слов, утверждает, что «какая-то девка Г-на Достоевского слышала крик его, и чтобы она о том никому не говорила брат её запрещал».

Какая такая «девка»? И какой такой «брат»?

Известно, что после появления первенца — незаконнорожденного сына Михаила Андреевича — Катерина была возвращена из господского дома в деревню, в семью своего двоюродного брата (она была сирота). Именно у него во дворе, по словам крестьян, совершилось убийство.

«Девка Г-на Достоевского» — очень похоже, что это всё та же Катерина. Она «слышала крик»: что пробудил он в её смятенной душе? В отличие от Ч. Б., загнавшего бедную самоубийцу на сеновал, у нас нет никаких оснований подозревать Катерину в чувствах, враждебных отцу её ребёнка. Мы бы даже рискнули предположить обратное,

[1] До каких пор, скажи мне, Катилина, будешь ты испытывать наше терпение? (*лат.*) — Из первой речи Цицерона против Катилины.

хотя сознаём, что такое допущение способно навлечь на нас упрёк в притуплении классового чутья. Молодая мать слышала смертный крик убиваемого. Несмотря на угрозы брата, она могла поведать об услышанном: например, крестьянам Хотяинцева или даже самим Хотяинцевым. Толки дошли до Лейбрехта... Ход делу был дан.

«Ищите женщину!» — радостно восклицаем мы, указуя на тайный движитель преступлений. Но не она ли (женщина) есть и вернейшее средство к разоблачению оных?

Достоевский, по свидетельству очевидцев, не любил говорить об отце. Это объясняют его неприязнью к покойному. Но не вернее ли предположить, что сыновняя сдержанность была вызвана и воспоминаниями о чудовищных подробностях отцовской кончины?

Незадолго до смерти автор «Мёртвого дома» скажет А.С. Суворину: «Вы не видели того, что я видел... вы не знаете, на что способен народ, когда он в ярости. Я видел страшные, страшные случаи».

Интересно: где именно мог наблюдать он эти проявления слепой и стихийной ярости? На каторге? Разумеется. Хотя там — не столько видел, сколько слышал («страшные истории» — непременная принадлежность каторжного фольклора). Не правильнее ли поэтому отнести его слова о народной ярости к собственному семейному опыту («видел» = «знал»)?

Независимо от того, как отвечаем мы на сакраментальный вопрос, «был ли убит отец Достоевского», трудно предположить, чтобы у самого писателя существовала на этот счёт точка зрения, отличная от семейной. В свою очередь, документы, призванные как будто поколебать уверенность в возможности криминального исхода, цели этой не вполне достигают. Оказывается, что слухи об убийстве отца не позднейшие домыслы, не навет, порождённый мстительным воображением потомков, — о преступлении догадывались современники событий.

Не исключено, правда, что именно «вмешательство» Лейбрехта явилось тем спусковым крючком, который запустил миф о насильственной гибели Михаила Андреевича. То есть как раз тщательное расследование (долгая нерешаемость дела, доследования, допросы крестьян и т. д. и т. п.) породило слухи о криминальной подоплёке события, а услужливая молва подхватила и раздула первоначальные пересуды, персонифицировав предполагаемых участников убийства. Историки в равной мере могут как благодарить дотошного ротмистра, так и ретроспективно журить его.

Но тут различим ещё один поворот темы.

Дом с привидениями

Долгие годы автор «Братьев Карамазовых» проводит в стенах Михайловского замка. Между тем стены эти хранят *государственную тайну*. Повествуя о пребывании Достоевского в училище, Савельев говорит, что будущий инженер хорошо изучил топографию замка. Думается, его не меньше интересовала история.

События той роковой ночи — с 11 на 12 марта 1801 года, — конечно же, принадлежали к числу самых захватывающих училищных преданий. Надо полагать, дошли и кое-какие детали. Спальня императора — та самая — не была доступна для обозрения, что, конечно, усугубляло её мрачную репутацию. Окровавленный призрак (как и положено призракам) скитался по лестницам и переходам замка — порой не без помощи изобретательных «кадетов». Не для его ли успокоения основал позднее Александр II домовую церковь — на месте бывшей царской опочивальни?

Павловский мотив возникает вновь.

И отец Достоевского, и император Павел Петрович оказались умерщвлёнными *тайно*. И в том, и в другом случае официальная версия гласила, что они скончались скоропостижно. Совпадает даже диагноз: апоплексический удар. И тогда, и теперь (как можно предположить) медицинские заключения были фальсифицированы. В обоих случаях обстоятельства кончины не являлись секретом для окружающих, но о них не принято было говорить вслух. И, наконец, оба убиения сопровождались достаточно отвратительными подробностями.

«Бывают странные сближенья», — сказал Пушкин.

Разумеется, гвардейский заговор, имевший целью смену царствования, мало напоминает мужицкое возмущение (хотя в последнем случае тоже можно обнаружить элементы умысла или сговора). Скарятинский шарф и массивная золотая табакерка, послужившие орудиями убийства, конечно, несопоставимы с бутылкой спирта и прочими пособиями, употреблёнными для аналогичной цели. (И там, и здесь выдержан соответствующий социальный уровень, но наиболее чудовищная деталь в обоих случаях совпадает.) Проницательный обществовед мог бы добавить, что ни то, ни другое происшествие не повлекло за собой изменений самой системы. Однако последнее соображение вряд ли нам пригодится.

И тем не менее. Странное схождение разновременных и тайно аукающихся обстоятельств могло оставить глубокий след: не только в душе 17-летнего юноши, но и в его дальнейшей деятельности.

Речь идёт о «Братьях Карамазовых».

Брат Иван Фёдорович, желающий смерти отца и дающий молчаливую санкцию на убийство, отправляется в Чермашню (название вспомнилось как нельзя кстати). Этот шаг означает «*добро*»: Смердяков довершает дело.

Известно, что наследник престола цесаревич Александр Павлович (будущий император Александр I) был извещён заговорщиками заблаговременно. Он ждал; пребывая в одном из покоев Михайловского замка, он в ночь на 12 марта лёг спать *не раздеваясь*. Правда, он решительно потребовал от заговорщиков сохранить жизнь родителю: в русских условиях это было трудноисполнимо.

Молчаливое согласие сына на переворот могло означать только одно: смерть. Как и брат Иван Фёдорович, Александр *самоустранился*.

Рассказывают, что, ошибочно приняв одного из ворвавшихся к нему гвардейцев за кого-то из своих сыновей, Павел воскликнул: «И ваше высочество здесь?» (российский парафраз к античному — тоже *мартовскому* — «И ты, Брут...»). Многие в Европе расценили петербургские события как отцеубийство.

В «Братьях Карамазовых» — разумеется, в самом общем виде — различима та же нравственная схема. Император Александр и брат Иван Фёдорович сопоставимы по своим сюжетным функциям[1].

Годы учения не прошли для него даром.

...Императору Александру Павловичу Бог не даровал сыновей. Законные дочери государя умерли во младенчестве; век единственной побочной (от «официальной» фаворитки Нарышкиной) тоже окажется недолог. Царя не оставляла мысль, что гибель детей ниспослана ему за грех 11 марта.

Историки будут говорить о духовной драме Александра; Толстой напишет «Посмертные записки старца Фёдора Кузьмича». Для современников не останется секретом подверженность государя приступам мистической меланхолии.

...В Михайловском замке в начале века поселится госпожа Буксгевден — немецкая нянька покойной дочери государя, великой княж-

[1] Можно также допустить, что отчество Фёдора Павловича Карамазова есть своего рода отсылка всё к той же павловской теме. Тогда и совпадение имён автора и героя приобретает особый смысл. Фёдор ведёт своё происхождение (и как бы «отталкивается») от Павла. Круг замыкается самоистреблением ещё одного Павла — Смердякова.

ны Марии. Её собственная дочь Екатерина Филипповна Буксгевден (в замужестве Татаринова), перейдя в 1817 году из лютеранства в православие, откроет в себе тайный пророческий дар.

В замке, по словам очевидцев, начинает твориться «нечто ни на что не похожее». «Это шабаш!» — энергически выразится одна из них.

Достоевский несколько раз упоминает «хлыстовскую» секту Татариновой: он, очевидно, неплохо осведомлён о предмете.

Хлысты появились на Руси в середине XVII века. Они именовали себя «людьми божиими» и полагали, что в любого из них может вселиться святой дух. В конце XVIII столетия внутри хлыстовства возникает новая его разновидность — скопчество. Во главе движения становится отец-искупитель (оскопитель) Кондратий Селиванов. Когда в 1775 году Селиванова везут в ссылку, в Сибирь, он встречает закованного в железы Пугачёва: того соответственно эскортируют в Москву. Не тогда ли зародилась у Селиванова мысль — наряду с Христом наречься ещё и Петром III? Именно в таком виде он и предстанет впоследствии перед императором Павлом Петровичем, коий, выслушав эту интересную новость, поспешит отправить «родителя» в дом скорби. (По-видимому, государя не обрадовал и добросердечный совет собеседника — ради спасения души проделать над собой известную операцию.)

Сектаторство, изгойство, отпадение от «мира», безумство и самозванство — все эти темы не были чужды автору «Бесов». Он пристально вглядывается в глубинные корни русского сектантства. С какой-то смутной «недоконченной» тревогой говорит он о том, что самые рафинированные, самые утончённые духовные учения могут «слиться с которой-нибудь из тёмных сект народа русского...». «Тёмное» и «светлое» способны к социальному и нравственному сожительству: вопрос только — в чью пользу? Кажется, он не ждёт добра от подобного симбиоза...

Он говорит о двух «древнейших атрибутах» сектантства — верчении и пророчестве. Упомянув квакеров и тамплиеров, он простирает аналогию далее — в глубь веков: античные пифии склоняются над истоками российских радений!

Ему, эпилептику, жертве «священной болезни» — недуга юродивых и пророков, — важен не обрядовый, а духовный смысл мистических игрищ. Он усматривает в сектантстве силу, способную сплотить людей — как на добро, так и на зло.

Отчуждение, тайна, гордыня, посвящённость, избранничество, фанатизм — всё это, соединённое для известной цели, может порабо-

тить мир. Знал ли Достоевский о том, что один из «светских скопцов» — камергер Еленский — подал Александру I записку о теократическом правлении — с Христом-Селивановым во главе и поголовном, если можно так выразиться, оскоплении мужского христианского люда?

Документальное повествование П.И. Мельникова (А. Печерского) «Белые голуби» (так называли себя скопцы; хлысты, со своей стороны, именовали себя «духовными скопцами»), где приводилась, в частности, записка Еленского, было опубликовано в третьей и пятой книжках «Русского вестника» за 1869 год. Разумеется, Достоевский внимательно следил за журналом, в котором только что был окончен печатанием его «Идиот». В конце того же 1869 года он набрасывает план «Жития великого грешника» и задумывает «Бесов».

На первый взгляд, утопия камергера Еленского не имеет ничего общего с системой «фанатика человеколюбия» Шигалева. Но духовное оскопление общества («Цицерону отрезывается язык, Копернику выкалывают глаза, Шекспир побивается каменьями») ничем не лучше физического самооскопления индивида. И там и здесь торжествует ненависть к «чужому».

Но есть ещё одно сопряжение.

«Злоумышленное общество», к которому вскоре примкнёт Достоевский, тоже своего рода секта, церковь, «орден меченосцев». Причём — со своими ночными «радениями» и своими — страстными и захватывающими — пророчествами. Позднее русская революция будет представляться ему также делом, проникнутым духом нетерпимости и сектантства.

«Мы пустим легенду получше, чем у скопцов», — говорит Петр Верховенский.

Не приданы ли «нашим» в «Бесах» черты хлыстовской секты? Антихрист Ставрогин выполняет функции не только «князя», «Ивана-царевича» и т. д., он ещё и «типичный» хлыстовский христос (что подчёркивается его «говорящей» фамилией: «ставрос», как помним, по-гречески означает «крест»). Он формально вне «наших», их организационной рутины (вербовка неофитов, наказание ослушников и т. п.), но — как бы освящает все действия секты самим фактом своей сопричастности. Ставрогин, как Кондратий Селиванов и другие олицетворённые символы «белого» и «духовного» скопчества, *является* (это его основная роль); он, как и положено хлыстовскому христу, сожительствует (плотски или духовно) с двумя потенциальными «богородицами» — двумя Мариями, чьи дети (вымышленный

у Лебядкиной и реальный у Шатовой) умирают вскоре после рождения, что может рассматриваться как описанное у Мельникова-Печерского хлыстовское жертвоприношение. С этой точки зрения, более ясна и композиционная роль Ставрогина в романе.

Вернёмся, однако, к Татариновой. Ни она сама, ни её последователи не называли себя хлыстами; они толковали про «духовный союз» и, несмотря на идейные симпатии, отвергали скопчество как богопротивную мерзость. Они основывали свою *практику* на библейских примерах (царь Давид, скачущий перед ковчегом) и на словах первого послания апостола Павла к коринфянам: «Достигайте любви; ревнуйте о *дарах* духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать» (Коринф. I, XIV, 1).

Татариновой покровительствовал министр духовных дел князь Голицын; государь Александр Павлович, мучимый, как сказано, угрызениями совести, относился к её подвигам в высшей степени снисходительно. В 1821 году, вскоре после основания Инженерного училища, Татаринова принуждена была выехать из замка: она обосновалась на даче по Московской дороге.

В 1837 году (год поступления Достоевского в Училище) до правительства доходит весть, что на вышеупомянутой даче творятся всякие непотребства. Генерал Дубельт и обер-прокурор Синода лично прибывают на место; в чулане они обнаруживают чуть живую от голода и истязаний дочь чиновника Попова. Лавочку прикрывают; заблудших овец рассылают по монастырям.

Надо полагать, Инженерного училища, «родового гнезда» Татариновой, достигают слухи о последних событиях.

Через двенадцать лет, осенью 1849-го, о секте вспоминают вновь. Впрочем, пребывающему в крепости Достоевскому это уже безразлично. И тем не менее между ним, узником равелина, и вновь затеянным делом есть некая связь.

Во-первых, Липранди.

Тут следует почтительно приподнять шляпу: впервые в нашем повествовании появляется это имя.

Об Иване Петровиче Липранди надлежит говорить обстоятельно и со вкусом: мы постарались сделать это в книге «Пропавший заговор». Здесь же заметим следующее.

Осенью 1849 года Липранди остаётся не у дел. Выслеженные им злоумышленники преданы в руки правосудия, но сам виновник торжества, к глубочайшему своему неудовольствию, практически отстранён от следственных игр.

«В утешение» — как специалисту по скопчеству и расколу — действительному статскому советнику Липранди поручают новое дело. Он немедленно подключит к своим занятиям двух агентов — Шапошникова и Наумова: последние тоже *простаивают* после ареста Петрашевского и его друзей.

Среди привлечённых к дознанию сектантов наличествует значительное лицо: генерал от инфантерии Е.А. Головин. Его дочь замужем за действительным статским советником Я.В. Ханыковым. Заметим справедливости ради, что Липранди всячески выгораживает своего коллегу по Министерству внутренних дел Я.В. Ханыкова, оправдывая его терпимость к происходившим у него на квартире мистическим таинствам пагубным влиянием горячо любимой жены.

Между тем младший брат Я.В. Ханыкова, студент Петербургского университета Александр Владимирович Ханыков, заключён в крепости: он проходит по делу петрашевцев.

С младшим Ханыковым, своим однодельцем, Достоевский, естественно, знаком. Оба они ещё раньше входили в кружок Бекетовых, речь о котором впереди.

Информация, которую Достоевский получил в Инженерном училище (относительно деятельности Татариновой), могла пополняться свежими сведениями, почерпнутыми от младшего Ханыкова.

Тут уместен вопрос, никогда ранее не возникавший. Нет ли следов этой осведомлённости в раннем творчестве героя?

«Странная вещь! непонятная вещь!» — воскликнул Белинский, с трудом одолевший «Хозяйку»; цитата пришлась как нельзя кстати.

Действительно, эта небольшая повесть — едва ли не самое «темное», порой даже раздражающее своей событийной невнятностью произведение Достоевского. Загадочен фольклорный разбойник Илья Мурин, загадочна Катерина, загадочны обстоятельства и характер их, по-видимому, не освященного церковью брака[1]. И хотя комментаторы академического собрания сочинений Достоевского именуют Мурина «старообрядцем», вряд ли можно согласиться с подобным определением: он, как и Катерина, посещает православные богослужения и усердно молится в храме.

Из всех русских сект господствующую церковь признавали (или полупризнавали) только скопцы и хлысты.

[1] Из текста «Хозяйки» можно заключить, что Илья Мурин был некогда любовником матери Катерины. И, следовательно, возможно, он «женится» на собственной дочери. Намёк на это есть в тексте. Тогда понятно, какой «страшный грех» тяготеет над любовниками.

В доме Кошмарова (чего стоит одно название!), где поселяются Мурин и Катерина, как будто не совершается никаких противозаконных в религиозном отношении действий. Однако быт жильцов окутан покровом тайны: Мурин читает древние «чёрные книги»; он обладает силой внушения; наконец, он «колдун», вещун, прорицатель.

Мистическое откровение и дар пророчества — две фундаментальные основы хлыстовства. Если добавить к этому специфические воззрения хлыстов на брак и отношения полов (ср. настоятельные призывы Катерины к герою повести жить «как брат и сестра» и т. п.), тогда глухие переклички между миром «Хозяйки» и стихией русского сектантства станут ещё ощутимее.

Принято считать, что герою повести Ордынову Достоевский придал автобиографические черты. В качестве прототипа называют также Шидловского (Ордынов, как и он, трудится над историей церкви!). Эти соображения следовало бы дополнить.

Во-первых, имя и отчество Ордынова соответствуют имени и отчеству «учёного дедушки» — Василия Михайловича Котельницкого. И, во-вторых, Ханыков.

Ордынов (орда) — Ханыков (хан) — подобная смысловая близость может быть преднамеренной. Особенно если вспомнить, что идея «Хозяйки» возникает у Достоевского в октябре 1846 года — в период тесного общения с Бекетовыми и Ханыковым.

Но почему автор прямо не называет вещи своими именами?

В 40-е годы хлыстовщина (равно как и другие «ереси») — тема, глубоко не одобряемая начальством. Это неодобрение простирается и на область изящной словесности. Сверх того, автор «Хозяйки» не Лесков и не Мельников-Печерский: он не настолько хорошо знает предмет. Вероятно, поэтому он решает ограничиться полунамёками и набрасывает на потенциально опасную фабулу лёгкий уголовно-романтический флёр.

В «Хозяйке» — впервые у Достоевского — изображён приступ падучей. Предчувствует ли автор близкий уже недуг?

Не будем, однако, злоупотреблять единственным преимуществом — тем, что у нас всегда есть возможность заглянуть в конец.

Если рукописи не горят

5 августа 1841 года он получает свой первый офицерский чин. Еще через год — делается подпоручиком и переводится в верхний офицерский класс. Помимо прочих благ, это давало ещё одно неоценимое

преимущество — свободу в выборе места жительства. Впервые он обрёл возможность жить как хотел.

Однако о том, *как* он жил, мы осведомлены сравнительно мало. Круг его знакомых ограничен. Немногочисленные воспоминания содержат довольно общую информацию о герое. Даже такой опытный мемуарист, как Григорович, живописует главным образом внешние подробности, не посягая на сокровенный мир своего приятеля и — некоторое время — соседа по квартире. То же можно сказать и о другом его знакомце (и тоже соседе) — докторе Ризенкампфе, чьи сетования по поводу расточительности его пациента не менее любопытны, чем профессиональные медицинские наблюдения.

Можно было бы обратиться к самому Достоевскому, но, увы, сделать это не так просто. Два письма (к брату) за весь 1841 год, одна пятистрочная записка за 1842-й, пять писем за 1843-й — вот все тексты, оставленные нам будущим сочинителем многостраничных романов и плодовитым невольником эпистолярного жанра.

Между тем в этот период, то есть в 1841–1843 годы, решается всё: он живёт *накануне*.

Продолжающееся ученье, а с 1843 года служба в Санкт-Петербургской инженерной команде «с употреблением при чертёжной Инженерного департамента» практически не затрагивают сферы его собственных, личных интересов. Ибо он ни в малой мере не связывает свою будущность с открывшейся военно-инженерной карьерой. Поприще уже избрано; остаётся только ступить на него.

Однако желанный момент почему-то откладывается.

Достоевского миновала ранняя участь Некрасова и Гоголя: ему не пришлось скупать и уничтожать свои первые творения. Он явился сразу. Нам неведомы пробы его пера: до нас не дошло ни строчки, писанной прежде «Бедных людей». Куда девалось созданное ещё в училище, «у амбразуры», а затем на воле — под чужим и случайным кровом? Где драмы с громкими историческими наименованиями, которые вызывали восхищение младшего брата, а по уверениям старшего (имевшим, правда, известную цель), должны были вскоре явиться на петербургской сцене?

Ничего этого нет. Утешительное правило, согласно которому рукописи не горят, относится, очевидно, не ко всякому сочинению: оно действует избирательно. Вся предварительная черновая работа (надо полагать — немалая) оказалась сокрытой от наших глаз. На вопрос младшего брата о своих давних опытах он только махнёт рукой...

А между тем...

16 февраля 1841 года Достоевский «впервые» читает друзьям отрывки из своих драматических сочинений. Самому драматическому писателю недавно минуло девятнадцать.

Через три с лишним года, осенью 1844-го, он собирается наконец обнародовать свою «Марию Стюарт». Первые пробы пера отданы драме. Факт знаменательный, особенно если вспомнить позднейшие уверения автора романов-трагедий о невозможности воплотить их в сценической форме[1].

Но странное дело. Те названия, которыми он намеревается украсить первые свои творения, уже существуют в литературе. «Борис Годунов» давно сочинён Пушкиным. «Мария Стюарт» — Шиллером. Уж не собирается ли начинающий драматург перепевать старые темы?

На Достоевского это не похоже.

Автор «Бедных людей» так и не создал того, что может быть названо «широким эпическим полотном». История действует у него не «в лоб» — через столкновения народов и государств, свидания государей, брачные или дипломатические союзы и т. д. и т. п., она *осуществляется* исподволь — на «низком», «негероическом» уровне. Но взгляд художника таков, что каждое мгновение частной жизни может заключать в себе мировой смысл.

Нет, Достоевский не собирался переписывать знаменитые драмы.

Царь Борис, Лжедмитрий, Марина Мнишек — все эти главные пушкинские герои могли стать у Достоевского героями *второстепенными*. И — наоборот. Кстати, у Пушкина есть линия, едва намеченная: он словно нарочно оставляет её *другому*.

Это — семейный круг царя Бориса. Потерявшая жениха и впоследствии поруганная Лжедмитрием несчастная Ксения — о её судьбе Достоевский мог прочитать у Карамзина (не первая ли «девочка» в ряду ей подобных?), сын-школяр, прилежно чертящий карту Московии и выслушивающий отеческие наставления царя-детоубийцы («Учись, мой сын...» — *чему*? — мог бы резонно возразить отрок), — в этой частной семейной коллизии скрывается высокий трагизм. Для молодого Достоевского с его приверженностью к камерным и малонаселённым сюжетам, с его внимательностью к сокровенной жизни детей — для такого автора выбор младших Годуновых был бы вполне оправдан.

[1] Не вполне ясно, стихами или прозой были написаны первые драмы. См. нашу работу «Стихи не твоя специальность...» (Достоевский как стихотворец) // День поэзии. 1986. М., 1986. С. 216–219), а также: *Игорь Волгин*. Возвращение билета. М., 2004. С. 173–179.

Преступник-отец (царь!), увиденный невинными глазами любящих его детей, — можно только гадать, какие парадоксальные психологические возможности представлялись воображению драматурга.

Конечно, нам могут возразить, что подобная реконструкция несохранившихся текстов относится исключительно к области литературоведческих грёз. И мы немедленно согласились бы с этим справедливым укором, если бы следы «Годуновского» замысла не проступали в позднейшей прозе.

Речь идёт о «Неточке Незвановой».

Неточка не помнит родного отца. Она боготворит отчима, к которому у неё «какая-то безграничная любовь». Это, по её мнению, «самый странный, самый чудесный человек из всех, которых я знала». Между тем над «самым чудесным человеком» тяготеет такое же тяжкое подозрение, как и над царём Борисом: в тайном умерщвлении соперника.

Отчим Неточки, музыкант, заводит дружбу с капельмейстером-итальянцем. Тот обучает своего нового знакомца скрипичному искусству и завещает ему дорогой инструмент. Затем капельмейстер умирает. «Его нашли поутру крестьяне во рву, у плотины. Нарядили следствие, и вышло, что он умер от апоплексического удара».

Заметим: диагноз и обстоятельства кончины капельмейстера-итальянца удивительным образом напоминают уже знакомый эпизод. Отца Достоевского тоже «нашли» крестьяне: при этом был официально зафиксирован тот же диагноз.

Но далее нас ожидают ещё большие сюрпризы.

Один из персонажей «Неточки Незвановой», тоже музыкант, «затеял ужасное дело». Он подаёт донос, что приятель умершего «виновен в смерти итальянца и умертвил его с корыстной целью». Над отчимом Неточки нависает страшная угроза. Напрасно обвинителя пытаются образумить и разуверить — «ничто не могло поколебать доносчика в его намерении. Ему представляли, что медицинское следствие над телом покойного капельмейстера было сделано правильно, что доносчик идёт против очевидности, может быть, по личной злобе и по досаде... Музыкант стоял на своём, божился, что он прав, доказывал, что апоплексический удар произошёл не от пьянства, а от отравы, и требовал следствия в другой раз. С первого взгляда доказательства его показались серьёзными. Разумеется, делу дали ход».

«Лейбрехт! Лейбрехт!» — осенённо воскликнет наш прозорливый читатель — и нам остаётся лишь подивиться аналитической силе его ума. Действительно, ситуация, обозначенная в «Неточке Незвановой», буквально, вплоть до деталей, напоминает расклад, когда бди-

тельность ротмистра Лейбрехта воспрепятствовала тому, чтобы дело о скоропостижной кончине Михаила Андреевича Достоевского было положено под сукно.

В.С. Нечаева первой указала на эту знаменательную перекличку. Г.А. Фёдоров тоже не обошёл её стороной. Он вполне удовлетворён тем, что обвинение, возведённое на отчима Неточки, было признано ложным и следствие закончилось полным оправданием героя. Отсюда, очевидно, должно следовать: донос Лейбрехта тоже был ложен. Аналогично тому, как клеветник в «Неточке Незвановой» возвёл напраслину на «чудесного человека», так в реальной жизни доносчик Лейбрехт попытался опорочить ни в чём не повинных чермашенских крестьян.

И тут опять возникает отнюдь не праздный вопрос: *как* читать художественные тексты?

Вспомним, что у Достоевского (да и не только у него) речь героя далеко не всегда отражает позицию автора. Взгляд персонажа может не только не совпадать с авторской точкой зрения, но и быть диаметрально противоположным. Макар Девушкин в «Бедных людях», всячески расхваливая Вареньке условия своего житья-бытья, мимоходом роняет, что в его комфортном жилище, к сожалению, правда, «чижики так и мрут». Эта невинная проговорка мгновенно дезавуирует эйфорические заверения Макара Алексеевича.

В «Неточке Незвановой» — стоит лишь пристальнее вглядеться — с «чижиками» происходит очень похожая метаморфоза.

Всё, что говорится в романе об отчиме Неточки, произносится вовсе не автором, а героиней, от имени которой ведётся повествование и которой, как уже было сказано, дорог человек, заменивший ей отца. Естественно, Неточка выступает *в защиту*, она — даже в затруднительных случаях — пытается оправдать героя.

Но чем искреннее она старается это сделать, тем меньше истины просматривается в её словах.

Во-первых, не может не насторожить необъяснимое озлобление, которое испытывает Неточкин отчим к своему покойному благодетелю: итальянец, по его словам, «издох, как собака». Далее следует странное полупризнание: «Многому он меня научил на мою погибель. Лучше б мне никогда его не видать».

Это ситуация пушкинского «Моцарта и Сальери». Итальянец завещал своему другу скрипку, но не смог завещать собственного таланта. Как и Сальери, Неточкиного отчима подозревают в отравительстве.

Во-вторых, даже после формального оправдания героя его обвинитель остаётся в полной уверенности, что оправданный был «причиной смерти несчастного капельмейстера». Причём в отличие, скажем, от Лейбрехта обличитель пользуется не какими-то сомнительными слухами, а действует по собственной догадке, по глубокому, ничем не поколебленному внутреннему убеждению.

Во всех «детективных» романах Достоевского интуиция играет неизмеримо большую роль, нежели формальные юридические доказательства. Вина Родиона Раскольникова не установлена: между тем Порфирий Петрович ни минуты не сомневается в том, кто есть настоящий убийца. Напротив, вина «отцеубийцы» Дмитрия Карамазова доказана по всем правилам следовательского искусства, и лишь «блаженный» Алёша глубоко убеждён в невиновности брата.

Достоевский нигде не говорит, что отчим Неточки — убийца. Однако эта жуткая догадка всё прочнее укореняется в сознании читателя. И адвокатский пыл Неточки лишь сильнее подчёркивает обоснованность подозрений.

Нам уже приходилось говорить о присущей прозе Достоевского системе «повествовательных намёков»[1]. Недоговорённость, открытость события для читательского домысливания — отличительная черта его художественного стиля.

И, наконец, последнее. Пора вспомнить фамилию героя.

Отчим Неточки Незвановой зовётся просто: Ефимов. Но такова фамилия реального убийцы. Именно во дворе черемошенского крестьянина Ефимова, двоюродного брата Катерины, мужики устроили барину «карачун».

Не слишком ли много совпадений?

Трудно объяснить их простою случайностью. Скорее мы имеем дело с системой скрытых мотивов. Обстоятельства убийства Михаила Андреевича проецируются на романный текст — с явным акцентом в пользу «семейной» версии.

«Борис Годунов» так и не был закончен. Егор Ефимов в «Неточке Незвановой» частично взял на себя функции царя Бориса.

Преступление как двигатель сюжета — «метод» позднего Достоевского. В его ранней прозе (этих бескровных маленьких трагедиях) человеческие страсти, как правило, ещё не влекут криминальных развязок. Но «Борис Годунов» и «Мария Стюарт» свидетельствуют о *намерениях*.

Стефан Цвейг, сам написавший одноимённую повесть о Марии Стюарт, говорит: «Только Шекспиры, только Достоевские способны

[1] *Волгин И.Л.* Последний год Достоевского. С. 259–260.

создавать такие образы...»[1] Знал ли он о ранних замыслах второго из упомянутых им лиц?

Однажды Достоевский признался, что в юности «любил воображать себя иногда то Периклом, то Марием, то христианином из времен Нерона, то рыцарем на турнире...». Это достаточно традиционный романтический ряд. Однако пишущий добавляет: «... то Эдуардом Гляденингом из романа "Монастырь" Вальтер Скотта...»

Дети, зачитывающиеся Вальтером Скоттом, воображают себя либо Айвенго, либо Ричардом Львиное Сердце, либо — чаще всего — Робин Гудом. Гляденинг — фигура в этом смысле достаточно бледная. Почему же запомнился именно он?

Эдуард Гляденинг, как известно, герой и другого романа Вальтера Скотта — «Аббат»: речь в нём идёт об освобождении Марии Стюарт из её первого заточения. Впрочем, шотландской королеве пытались помочь многие. У Шиллера — Мортимер: это вымышленное литературное лицо — также любимый герой Достоевского.

Следует учесть авторские симпатии.

Время действия «Марии Стюарт», по свидетельству Ризенкампфа, у Достоевского то же, что и у Шиллера: он «хотел обработать эту трагическую тему по-своему, для чего тщательно принялся за приготовительное историческое чтение».

Но тут словно сама судьба вновь выглядывает из-за кулис и делает автору пьесы предостерегающие знаки.

Известно, что восторженных молодых людей, жаждущих спасти королеву из последнего её заточения, обвинят в заговоре и государственной измене. Всех их приговорят к смерти и подвергнут в Лондоне мучительной казни.

Если Достоевский берёт этот сюжет, то, значит, он сочиняет сценарий собственной жизни. Ибо только в разговорах, письмах и туманных мечтах заключалось то преступление, которое привело возвышенных молодых людей на елизаветинский эшафот. Их заговор можно назвать «заговором идей»: именно так квалифицирует вскоре Петрашевский то, в чём будут обвинены он и его друзья и что повлечёт за собой два десятка смертных приговоров...

— О чём ваша пьеса, маэстро?
— О себе, о себе, конечно же, о самом себе...

[1] *Цвейг С.* Мария Стюарт. М., 1960. С. 210.

Итак, XVI век. Заговор Беббингтона (прототип шиллеровского Мортимера) инспирирован его злейшим врагом, министром полиции Уолсингемом, который следит за заговорщиками с помощью специально подосланных лиц. Если вспомнить подробности дела петрашевцев, сходство покажется невероятным[1].

Предчувствуя гибель, Беббингтон мечется в поисках спасения. «Потом, — пишет о нём С. Цвейг, — вдруг возвращается в Лондон и появляется — невольно вспомнишь Достоевского — как раз у того человека, который играет его судьбой...»[2]

«Невольно вспомнишь Достоевского...» Конечно, С. Цвейг имеет в виду *психологию* (Порфирий! Раскольников!). Он, очевидно, не подозревает о странных предвестиях...

«Шиллер остался нашим любимцем, лица его драм были для нас существующие личности... — вспоминает Герцен. — На сто ладов придумывал я, как буду говорить с Николаем, как он потом отправит меня в рудники, казнит. Странная вещь, что почти все наши грёзы оканчивались Сибирью или казнью и почти никогда торжеством, неужели это русский склад фантазии или отражение Петербурга с пятью виселицами и каторжной работой на юном поколении?»

Первая драма могла оказаться черновым наброском судьбы.

Впрочем, возможно, во всём виноват Михайловский замок — обитель царей и цареубийц.

И, наконец, последний из замыслов — «Жид Янкель». Как видим, на главную роль претендует явно негероическое лицо. Правда, в «Тарасе Бульбе» этот персонаж — своего рода «помощник» главного героя (термин В.Я. Проппа[3]), двигатель сюжетного действия. С ним так или иначе связаны судьбы главных персонажей. Гоголевский Янкель постоянно в курсе событий: чем не будущий Хроникёр?

...Практически ничего не ведая о ранних опытах Достоевского, можно попытаться по ряду косвенных признаков «вычислить» их художественный вектор. Конечно, «расчёты» эти сугубо условны — предпочтительнее поискать сам текст...

Но даже при отсутствии рукописей ясно одно. Тому триумфальному вступлению в литературу, которое и доныне возбуждает благородную зависть в талантах и графоманах (ночь, объятия, мгновенная и лёгкая слава), — всему этому *кино* предшествовала немалая

[1] См. Пропавший заговор.
[2] *Цвейг С.* Мария Стюарт. С. 352.
[3] *Пропп В.Я.* Морфология сказки. М., 1969. С. 72–75.

литературная работа. Она осталась сокрытой от современников и потомков.

Он утаивает свои труды от постороннего взора почти так же ревностно, как и свои болезни, хотя постоянно мучается тем и другим.

Несколько более различимы контуры его холостого офицерского житья. Правда, и здесь обнаруживаются существенные пробелы.

У него нет знакомств в обществе; не вхож он пока и в литературный мир. Иногда он наезжает в Ревель, к брату, который недавно обзавёлся семейством, и эти испрашиваемые у начальства («для пользования тамошними ваннами») отлучки — единственные за двенадцать лет петербургской жизни перемещения его в географическом пространстве. Вплоть до того дня, когда судьба швырнёт его за тысячу вёрст от Петербурга — но уже на казённый счёт.

Он ведёт достаточно уединённое существование, и его удовольствия ограничиваются в основном посещением театров да истощающей его финансы бильярдной игрой. Иного, кажется, и не разглядеть: годы эти как бы теряются в бледном петербургском тумане...

«К женскому обществу, — замечает добропорядочный Ризенкампф, — он всегда казался равнодушным и даже чуть ли не имел к нему какую-то антипатию...» И раздумчиво добавляет: «Может быть, и в этом отношении он скрывал кое-что».

«Замечал он и толпившихся у трактиров ярко нарумяненных и принаряжённых женщин», — погрустнев, сообщает Ч.Б.: тут, однако, с ним не поспоришь. В развитие темы живописуется визит героя в известное заведение, где тот, само собой, знакомится с девушкой: «...сквозь густой слой пудры явственно проступало свежее, молодое лицо». (Мы рискнули бы добавить, что сквозь «слой пудры» проступает и нечто ещё, чрезвычайно знакомое. Наглядный урок начинающим авторам: желаешь правдиво изобразить личную жизнь писателя — не поленись полистать его книги!) И хотя «всё дальнейшее», естественно, «произошло как в тумане», герой с присущей ему социальной чуткостью догадывается, что состояние его *избранницы* «не имеет ничего общего с его состоянием, что ей нехорошо». Весьма возможно, снова добавим мы; зато как хорошо нам, читателям, не устающим поражаться бесстрашному психологизму автора и зрелой мужественности его наблюдений!

В письмах Достоевского конца 30 — начала 40-х годов мы не встретим ни одного женского имени, которое было бы названо под определённым ударением. Ни одного увлечения, ни — хотя бы — намёка на влюблённость (разительный контраст с пушкинским или лермонтовским мироощущением). Мерной поступью минует он пору, казалось бы, самой природой назначенную для романтических безумств и признаний. (Сочувственный отзыв о роковой и литературно облагороженной страсти Шидловского лишь подчёркивает его собственный индифферентизм в этом отношении.) Между тем его первая повесть явит глубокое знание женского сердца.

Личный опыт, безусловно, желателен, но не всегда необходим для художника.

Дочь Достоевского утверждает, что до сорока лет её отец жил «как святой» (wie ein Heiliger). Эта замечательная гипотеза столь же недоказуема, сколь и мрачные подозрения прямо противоположного толка (например, счастливая догадка уже упоминавшейся эссеистки, будто интересующий нас период был «необычайно бурен в половом отношении»[1]). Последнее умозаключение, пожалуй, и можно было бы подкрепить игривым намёком из письма к Михаилу Михайловичу (у Достоевского в это время гостит брат Андрюша): «Ничем нельзя ни заняться, ни развлечься — понимаешь», — однако эта братская откровенность вовсе не обязательно подразумевает то, что тщится различить наше ретроспективное любопытство. Ещё меньше оснований, как уже говорилось, числить за автором «Записок из подполья» тот специфический «подпольный» опыт, через который проходит его «уединённый» герой.

Изображение вновь расплывается и двоится, но это тот извинительный случай, когда, признаться, и не хотелось бы большей чёткости.

Упомянув об отсутствии у Достоевского чрезвычайных, связанных с интимными потребностями расходов, доктор Ризенкампф выказывает удивление, куда же он девал деньги: они у него никогда не задерживались. В свою очередь, отнюдь не широкая по натуре Любовь Фёдоровна полагает, что безмерное расточительство её отца было своеобразной формой борьбы с наследственной скупостью.

Почти все письма Достоевского наполнены просьбами о деньгах или предположениями о том, где бы их раздобыть. Он желает казаться оборотистым и тёртым; на самом деле — он беспечен, непрактичен и прост. Он постоянно жалуется на бедность, однако способен в один вечер спустить присланную опекуном и рассчитанную на довольно

[1] *Кашина-Евреинова А.* Подполье гения. С. 21. Автор этой завлекательной книжки, утверждая, что её «изыскания в области физиологической жизни Достоевского не ограничиваются геморроем», предвосхитила ряд позднейших суждений на ту же тему.

продолжительный срок сумму. Его собственный денщик почти открыто обкрадывает его; он проигрывает последнее, делает долги и поминутно оказывается в затруднительном положении.

Он надеется поправить свои обстоятельства с помощью переводов. В письмах к старшему брату возникают захватывающие проекты будущих совместных изданий.

Но пока удаётся завершить только одну работу.

Рождественскими праздниками 1843 года он до неправдоподобия быстро переводит «Евгению Гранде» Бальзака[1]. Перевод — разумеется, без имени переводчика — появляется в шестой и седьмой книжках «Репертуара и Пантеона» за 1844 год.

Справедливо замечено, что Достоевского привлекала в новом для него деле «возможность сотворчества»[2]. И возможностью этой он пользуется довольно лихо.

Начинающий литератор позволяет себе *править* Бальзака. С истинно французским красноречием сказанное — «прекрасная вышивка, выполненная с любовью в часы, потерянные для любви» — умеряется почти до аскезы: «...труд любви для любви»[3].

Смягчаются неудобные для российского уха вольности: «Вы что, принимаете моего племянника за беременную женщину?» — вопрошает отец Евгении. «Разве племянник мой баба?» — слегка меняет акценты целомудренный переводчик. Папаша Гранде говорит «девки» (les garces) — Достоевский деликатно переводит «они». Авторское богохульство: «А, чтобы чёрт побрал твоего бога!» — усекается до максимально допустимого: «А, чтобы черт...» — по соображениям, думается, как вкусовым, так и цензурным.

Легко догадаться, что переводчик слабо разбирается во французской кухне! Он путает печенье с пирожным, а «торт с фруктами» переводит как «компот». Сын врача нетвёрд в медицинских терминах. Так, «волкодав, лаявший так хрипло, как будто у него был ларингит», превращается (не очень ловко) в «дикое животное, потерявшее свой лай».

Зато щедро добавляются слова и даже целые обороты, вовсе отсутствующие в оригинале. Старик Гранде выражается: «жизнёночек мой» — вспомним, что точно так отец переводчика именовал в своих

[1] Отметим ошибку (или описку) комментаторов Полного собрания сочинений Достоевского, отнёсших это событие к концу 1844 года (Т. 1. С. 459).

[2] Гроссман Л.П. Бальзак в переводе Достоевского // Бальзак О. де. Евгения Гранде. М., Л., 1935. С. LIX.

[3] Здесь и далее перевод сравнивается с французским оригиналом издания 1834 года, с которого он и осуществлялся.

письмах его мать. И даже когда Бальзак начинает вдруг мыслить по-русски (например, крыловской строкою: «...в сердце льстец всегда отыщет уголок»), то и тогда не следует хватать переводчика за руку, произнося ужасное слово «отсебятина».

Ибо Достоевский старается воплотить не букву, но дух. Он играет при этом ещё не окрепшими литературными мускулами. Он позволяет себе быть свободным: недаром так раскован его словарь.

Но уроки Бальзака скажутся не только на стиле.

Достоевский начинает свою первую прозу вскоре после окончания перевода. Сравнив оба текста, нельзя не заметить того, что мы упорно не замечали сто пятьдесят лет: их глубокого структурного сходства.

И Евгения Гранде, и Макар Девушкин живут в бедности в большом, подробно описанном доме, сам «образ» которого является символом безысходности. Это, так сказать, декорации. Но вот и действующие лица. Оба главных героя (Шарль и Варенька) переживают семейное горе — смерть отца (матери), разорение, связь с человеком «из общества», который старше их. (В «Евгении Гранде» это Аннета, в «Бедных людях» — господин Быков.) Макар Девушкин симметричен Евгении; Варенька Добросёлова — Шарлю. Евгения (Девушкин) отказывает себе во всём ради блага дорогого человека, который зачастую этого не замечает, не ценит. *Любимым* улыбается счастье: Шарль женится на дочери маркиза, Варенька выходит за господина Быкова; их судьбы материально устроены. Но оба они не любят и не уважают своих «избранников»; их брак — сделка.

Единственное (но существенное!) различие — отсутствие у Макара Девушкина потенциального отца-миллионера. По логике «хэппи энда», Макар, как и Евгения, должен был бы унаследовать 21 миллион: «критический реалист» Достоевский избавил русских читателей от этой душераздирающей развязки.

«Бедные люди» по сюжету (точнее, по функциональной схеме) как бы «зеркальны» бальзаковскому роману. Так *девушка* становится *Девушкиным*; разумеется, бедный петербургский чиновник нимало не похож на свою иноплемённую сестру. Бальзаковская сюжетная схема наполняется реалиями русской жизни и меняет свой вид до неузнаваемости.

Перевод «Евгении Гранде» не первое соприкосновение Достоевского с миром литературы. Но первое — с литературным миром. Кажется, он становится своим человеком в редакции «Репертуара и Пантеона»; о чём, как не о близости, свидетельствует эпистолярное именование журнальных редакторов «этими дураками» или, скажем, «канальями»?

Вообще с зимы 1844 года в его письмах начинают мелькать имена издателей и журналистов. Несколько раз всплывает имя Александра Васильевича Никитенко — профессора, цензора и — что пока неизвестно автору — того, от кого в немалой мере будет зависеть печатная судьба ещё не написанных «Бедных людей».

Пора, наконец, оставить привычку заглядывать в будущее: так рискуешь вообще до него не добраться.

«Какой дурак это чертил?»

Худо-бедно первый гонорар (за «Евгению Гранде») был получен, и литературная карьера — пусть анонимно — начата. Сообщая московским родственникам, что младший брат «желает вполне предаться литературе», Михаил Михайлович успокоительно добавляет: «... до сих пор он работал только для денег, т. е. переводил для журналов («Отечественные записки», «Репертуар»), за что ему очень хорошо платили».

Современный комментатор говорил так: «Переводы Достоевского, помещавшиеся в “Отечественных записках” и “Репертуаре русского и пантеоне всех европейских театров”, полностью не выявлены»[1].

Действительно, известна только «Евгения Гранде». Но в том же шестом номере «Репертуара и Пантеона», где печатался упомянутый роман, мы находим рассказ ещё одного французского автора, Эдуарда Лемоаня. Заманчиво атрибутировать перевод Достоевскому: впрочем, это отдельный вопрос. Пока же отметим название:

«СЛЕЗА РЕБЁНКА».

«Слезинка... слезинка очистила, открыла сердце моё!» — восклицает сентиментальный автор. Конечно, этот пассаж не имеет прямого отношения к грядущей беседе братьев — Ивана и Алёши Карамазовых. Но не тогда ли запала на ум великая формула?

Переводы, вопреки увериям брата, не принесли ни денег, ни славы. Между тем первые были необходимы даже больше второй, ибо росли долги. Достоевский решается на отчаянный шаг: изъявляет готовность отказаться от своей доли родительского наследства — всего за 1000 рублей серебром.

[1] *Ланской Л.Р.* Достоевский в неизданной переписке современников // Лит. наследство. Т. 86. С. 366.

Последнее зависело исключительно от Петра Андреевича Карепина.

Пётр Андреевич, женившись на сестре Варе (жених был старше 18-летней невесты на каких-нибудь 26 лет), делается официальным опекуном осиротевшего семейства. Он жительствует в Москве, с завидной аккуратностью высылая братьям причитающиеся им части. Однако брат Фёдор неосновательно полагает, что ему выгоднее разом покончить с этой зависимостью.

Он требует свою тысячу и отказывается от всех прочих наследственных притязаний. Положительный Пётр Андреевич опасается, сомневается и жмётся.

Достоевский вдумчиво объясняет новоявленному родственнику, что спать под колоннадою Казанского собора нездорово, ибо от этого можно протянуть ноги. Он уведомляет, что имеет «величайшую надобность в платье», ибо зимы в Петербурге холодны, а осени — ненастны. «Наконец, нужно *есть*. Потому что *не есть* нездорово...» Он заявляет, что его терпение истощилось «и остается употребить все средства, данные мне законами и природою, чтобы меня услышали, и услышали обоими ушами».

Разумеется, такое исполненное сокрушительного сарказма послание больше, чем просто письмо. Оно отвечает всем требованиям искусства: нельзя не заметить, как за последние годы возмужало его перо.

Он аттестует свою переписку с Карепиным как «образец полемики». Но это ещё и *проба* (не менее важная, чем предпринятый им перевод Бальзака). Проба характера, умения настоять на своём и, главное, — изложить свои претензии литературно. Он мгновенно нащупывает у оппонента «комическую черту» — его высокомерное «озлобление на Шекспира» — и, как бы лично задетый, наносит ответный удар.

(Увы, увы. К тайному удовольствию оппонента, удар этот, кажется, поражает воздух.

«Свинья Карепин» (они с Достоевским никогда не встретятся, что не помешает одному из них вообразить другого господином Быковым в «Бедных людях» и господином Лужиным в «Преступлении и наказании»: так осуществится художественная месть!), трактуя об «отвлечённой лени и неге шекспировских мечтаний», снисходительно вопрошает: «Что в них вещественного, кроме распалённого, раздутого, распухлого — преувеличенного, но пузырного образа?»

Уязвлённый, как уже было сказано, «Шекспиром», родственник немедленно лезет в бутылку: «...Вам не следовало бы так наивно выразить своё превосходство... шекспировскими мыльными пузырями. Странно: за что так больно досталось от Вас Шекспиру. Бедный

Шекспир!» И, всё ещё негодуя, в письме к брату вновь обрушивается на московского опекуна: «Говорит, что Шекспир и мыльный пузырь всё равно... Ну к чему тут Шекспир?»

Думается, что Шекспир был «к чему».

Чуткий Карепин сразу уловил в письмах своего корреспондента их подчёркнутую литературность. И, очевидно, решил сыграть с ним в ту же игру.

Назидая пребывающего в петербургском отдалении «брата» (человека, как он догадывался, непростого), Пётр Андреевич решает блеснуть своей эрудицией и знанием европейских литератур. Очень похоже, что его сентенции относительно «пузырного образа» имеют совершенно конкретный литературный источник. А именно: Шекспир, «Макбет», акт 1, сцена 3.

Сравним:

(Ведьмы исчезают.)
БАНКО
И на земле бывают пузыри,
Как на водах, — вот нам пример. Куда
оне исчезли?

МАКБЕТ
В воздух: что казалось
Телесным, как дыханья пар от ветра,
Пропало <...>.

БАНКО
Конечно, часто с умыслом лукавым
Клевреты мрака говорят нам правду,
Нас обольщают истиной в безделке.
Чтоб погубить изменою в важнейшем[1].

Как видим, «мыльные пузыри» здесь ни при чём. Имеются в виду вовсе не они, а те самые «пузыри земли», на которых спустя десятилетия неосторожно споткнутся лирические герои Блока[2].

[1] *Шекспир В.* Макбет. Пер. с англ. М.В. Спб., 1837. С. 11, 13.

[2] Впрочем, она захотела,
Чтоб я читал ей вслух «Макбета».
Едва дойдя до пузырей земли,
О которых я не могу говорить без волнения,
Я заметил, что она тоже волнуется
И внимательно смотрит в окно.
Оказалось, что большой пёстрый кот
С трудом лепится по краю крыши,
Подстерегая целующихся голубей.
Я рассердился больше всего на то,
Что целовались не мы, а голуби,
И что прошли времена Паоло и Франчески.

Достоевский в гневе «не опознал» текст. Хотя вряд ли можно усомниться в том, что он, столь высоко ставящий Шекспира и сам увлечённый «шотландским» сюжетом, читал прославленную трагедию в русском или французском переводе. Но если даже он и знаком с «Макбетом», ему «выгоднее» *забыть*: фигура «свиньи-Карепина» уже обрела художественную завершённость, и он, этот образ, несовместим ни с каким Шекспиром.

Приходится слегка уточнить картину. Сухой, рассудочный, велеречиво резонёрствующий Пётр Андреевич (по-нашему говоря, зануда) неожиданно выказывает ловкий литературный вкус и изящно обыгрывает своего петербургского оппонента (хотя последний уверен как раз в обратном!).

Здесь надлежит закрыть потерявшуюся скобку.

«Даже в отношении Достоевского к родственникам, — замечает М.П. Алексеев, — сквозит иногда типичная романтическая ненависть к непосвящённым»[1]. Тем важнее для него сочувствие посвящённых.

«Мои письма chef d'oeuvre *летристики*», — пишет он брату. Между тем уже двинулся в путь его первый — эпистолярный — роман.

Отказавшись от своей доли наследства, он перестаёт быть помещиком и владельцем крепостных душ. И — почти одновременно — лицом, состоящим на государственной службе.

Если высочайшая резолюция, за некую архитектурную погрешность гневно поименовавшая его дураком, не очередной биографический миф, тогда, похоже, это автобиографический розыгрыш или самооговор. О.Ф. Миллер усматривает в данной истории своего рода lapsus memoriae (ошибку памяти), возникшую на основе другого случая — оплошности Достоевского при титуловании великого князя Михаила Павловича («превосходительство» вместо «высочества», что вызвало августейшую реплику — «посылают же таких дураков»). С другой стороны, настаивая на подлинности своей версии (о нелицеприятном царском резюме), доктор Яновский добавляет, что на его вопрос, почему Достоевский оставил инженерную карьеру, последний якобы отвечал: «Нельзя, не могу, скверную кличку дал мне государь, а ведь известно, что иные клички держатся до могилы...» Николай Павлович действительно имел обыкновение лично рассма-

[1] *Алексеев М.П.* Ранний друг Достоевского. С. 21.

тривать даже второстепенные архитектурные проекты. (В 1831 году на плане одной из построек Мариинской больницы для бедных государь собственноручно начертал: «Украшение это походит на древнюю гробницу»[1], что в ретроспективе может выглядеть как «рифма» к сюжету, изложенному Яновским.)

Как бы то ни было, монаршее вопрошение на эскизе лишённой ворот крепости — («Какой дурак это чертил») — вся эта туманная, но вместе с тем поучительная история имела в виду намекнуть на личное вмешательство императора в его судьбу. Через несколько лет этот неосторожный намёк овеществится в подлинной царской сентенции — на приговоре: государство отечески наложит на него свою карающую руку.

Пока же, в 1844 году, он разрывает тяготившие его узы, чтобы — уже до конца дней — возложить на себя новые бремена.

Сообщаемые родным причины его отставки выглядят не вполне логично. И здесь множественность версий — в том числе грозящее ему откомандирование из Петербурга — затемняет действительную подоплёку событий. Конечно, «служба надоела, как картофель[2]», — в этом можно признаться брату. Но главная цель, которая подвигла его на сей решительный шаг, не называется.

Это поворот судьбы, поступок, как уже говорилось, в чём-то напоминающий уход Михаила Андреевича из отчего дома. Как бы намеренно создаётся экстремальная ситуация: отныне он может рассчитывать только на себя.

Михаил Михайлович горячо уверяет родственников в недюжинных дарованиях брата: москвичам предоставляется право поверить ему на слово. Сверстники (например, Григорович, на всю жизнь запомнивший откровение — о *подпрыгивающем пятаке*) уже проявили данные им от Бога таланты. Он же в свои 23 года, кроме перевода «Евгении Гранде», ещё не опубликовал ни строки. Тем временем «разлад между чертёжничеством и авторством» (как изящно выражается О.Ф. Миллер) становится всё невыносимее.

Поэтому он сжигает мосты. Отныне ничто не мешает ему отдаться любимому делу. У него не остаётся никаких иных надежд, кроме этой. Его поступок обличает не только цельность натуры, но и азарт игрока.

Он идёт с козырей.

---

[1] Историческая записка о Московской Мариинской больнице для бедных. С. 69.

[2] Кстати, на сленге того времени «картофель» обозначал дамское общество, как выразились бы ныне, «с пониженной социальной ответственностью».

Жизнь в документах

Лето 1837: приготовительная ступень

ДОСТОЕВСКИЙ. Петербургские сновидения в стихах и прозе

<...> Петербург, не знаю почему, для меня всегда казался какою-то тайною. Ещё с детства, почти затерянный, заброшенный в Петербурге, я как-то всё боялся его. (*Время. 1861. № 1. Отд. VI. С. 3.*)

В.Г. БЕЛИНСКИЙ

Только в Питере человек может узнать себя — человек он, получеловек или скотина: если будет страдать в нём — человек, если Питер полюбился ему — будет или богат, или действительным статским советником. (*Белинский В.Г. Полн. собр. соч. М., 1953–1959. Т. XI. С. 418.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

Помню я восторженные рассказы папеньки про Петербург и пребывание в нём: про путешествие, про петербургские деревянные (торцовые) мостовые, про поездку в Царское Село по железной дороге, про воздвигающийся храм Исаакия и про многие другие впечатления. (*Воспоминания... С. 81.*)

Из черновика прошения М. А. ДОСТОЕВСКОГО о помещении М. М. и Ф.М. ДОСТОЕВСКИХ в Главное Инженерное училище

Вашего Императорского Величества верноподданнейший Штаблекарь Коллежский Советник Михаил Андреев сын Достоевский. Маия 1837 г. временное жительство у Обухова Моста в гостинице под № . (*В семье и усадьбе... С. 147.*)

МИХАИЛ и ФЁДОР ДОСТОЕВСКИЕ — М. А. ДОСТОЕВСКОМУ. 23 июля 1837. Петербург.

Теперь у вас идёт в деревне уборка хлеба, а это, как мы знаем, самое любимое для Вас занятие; мы не знаем, каков-то в вашей стороне урожай, какова-то у вас погода? Что касается до петербургской, то у нас прелестнейшая, итальянская. <...>

Ещё долго Вам будет пещись о воспитанье детей: нас у Вас много. Судите же, как мы должны просить Бога о сохраненье Вашего драгоценного для нас здоровья. (*ПСС. XXVIII. 1. С. 38.*)

М.М. ДОСТОЕВСКИЙ — М. А. ДОСТОЕВСКОМУ. 20 августа 1837. Петербург

Мы не знаем, что Вам вздумалось, милый папенька, писать к нам о деньгах. О! у нас их ещё много. Ещё целая немененная пятидесятирублёвая бумажка и 4 целковых. Всё нужное уже куплено, кроме, может быть, ещё придется купить Артиллерию. Платье наше хорошо: нового нам совсем не нужно, потому что и с этим куда нам будет деваться после вступления? Мы не знаем как благодарить Вас за Ваше попечение о нас. Мы уж и так очень много стоим Вам, слишком много, чтоб когда-либо мочь совершенно возблагодарить Вас. (*В кн.: Воспоминания Андрея Михайловича Достоевского. С. 365–366.*)

Д.В. ГРИГОРОВИЧ

Раз в воскресенье отправился я из училища, желая навестить бывшего моего наставника К.Ф. Костомарова. Я пришёл утром, в то время, когда его питомцы (их был новый комплект и, по-прежнему, человек пять) не занимались. Меня тотчас же все радостно обступили; я был для них предметом живейшего любопытства, мог сообщить о житье-бытье училища, в которое они должны были вступить будущею весной.

В числе этих молодых людей находился юноша лет семнадцати, среднего роста, плотного сложения, белокурый, с лицом, отличавшимся болезненною бледностью. Юноша этот был Фёдор Михайлович Достоевский. (*Рус. мысль. 1892. № 12. С. 21.*)

МИХАИЛ и ФЁДОР ДОСТОЕВСКИЕ — М.А. ДОСТОЕВСКОМУ. 23 июля 1837. Петербург

Скоро мы начнём учиться фронту у унтер-офицера, которого пригласил Коронад Филиппович <Костомаров>, и займёмся этим до самого вступления, то есть до декабря месяца. На фронт чрезвычайно смотрят, и хоть знай всё превосходно, то за фронтом можно попасть в низшие классы. И притом этим одним мы можем выиграть у его высочества Михаила Павловича. Он чрезвычайны<й> любитель порядка. (*ПСС. XXVIII. 1. С. 38.*)

А.Н. ЯХОНТОВ

Великий князь Михаил Павлович, под главным начальством которого мы состояли <...> навещал нас изредка, и мы страшно боялись этого, в сущности, доброго человека — так умел он принимать на себя грозный вид. (*Рус. старина. 1888. № 10. С. 110.*)

М.М. ДОСТОЕВСКИЙ — М.А. ДОСТОЕВСКОМУ. 20 августа 1837. Петербург

Няне <Алёне Фроловне> и Федосье мы кланяемся. Первой желаем потолстеть. (*В кн.: Воспоминания Андрея Михайловича Достоевского. С. 366.*)

Приказ по Главному инженерному училищу. 2 сентября 1837

По случаю имеющего начаться приёмного экзамена кандидатов прошу г-на доктора статского советника Волькенау приступить к освидетельствованию кандидатов начиная с 3-го числа, причём, на основании повеления его императорского высочества генерала-инспектора по Инженерной части, присутствовать г-дам полковнику Лом<н>овскому и подполковнику Фере. Список кандидатов с отметкою состояния их здоровья прошу представить ко мне за общим подписанием.

Генерал-лейтенант В.Л. Шарнгорст
(*Мат. и исслед., 5. С. 180.*)

Д.В. ГРИГОРОВИЧ

Нас повели сначала в лазарет для осмотра, потом в какую-то комнату, где всех раздели до нага (я корчился, как девочка, едва удерживая от стыда слёзы). Час спустя мы были в казённом белье, куртках с погонами и тугим застёгнутым воротником, крайне неловко подпиравшим подбородок. Нас поставили в ранжир по росту и долго заставляли чего-то ждать. Вошёл наконец ротный командир, полковник Фере, человек заспанного, сумрачного вида, с красным, опухшим лицом. Он обвёл нас мутными глазами и вдруг скомандовал: «Направо, марш!» Напирая друг другу на пятки, сбиваясь от непривычки на шагу, мы направились к рекреационной зале, по которой расхаживали наши будущие товарищи. (*Рус. мысль. 1892. № 12. С. 13.*)

Из приказа по Главному инженерному училищу. 8 сентября 1837

15-го числа сего месяца начнётся приёмный экзамен по следующему расписанию:

Арифметика и геометрия: 15 и 16 числа. Алгебра и геометрия: 17 и 18. Русский язык и география: 20 и 21 числа. История: 22 и 23 числа. Французский язык: 24 числа. Немецкий язык и рисование: 25 числа. <...>

Для экзамена по Закону Божию определённых дней не назначать, но представляется г-ну протоиерею Полиектову произвести оный в те дни, когда время ему то дозволит. Экзамен будет начинаться ежедневно в 7 часов утра. (*Мат. и исслед., 5. С. 180–181.*)

Д.В. ГРИГОРОВИЧ

<...> Костомаров приготовлял своих питомцев таким образом, что они выдерживали поступной экзамен всегда первыми; их в училище так и звали *костомаровцами*; каждый лез из кожи, чтобы не ударить лицом в грязь и поддержать репутацию уважаемого наставника. (*Рус. мысль. 1892. № 12. С. 20.*)

«На открывшиеся вакансии...»

М.М. ДОСТОЕВСКИЙ — М.А. ДОСТОЕВСКОМУ. 27 сентября 1837. Петербург

Брат держал экзамен с честию. Мы наверно полагали, что он будет в числе первых, ибо ни у кого почти нет более его баллов. Из геометрии, истории, французского и Закона <Божия> он получил полные баллы, то есть 10. Из прочих всех по 9. Чего почти ни у кого не было. Несмотря на всё это, он стал 12-м; ибо теперь, вероятно, смотрели не на знания, но на лета и на время, с которого начали учиться. Поэтому первыми стали почти все маленькие и те, которые дали денег, то есть подарили. Эта несправедливость огорчает брата донельзя. Нам нечего дать; да ежели бы мы и имели, то, верно бы, не дали, потому что бессовестно и стыдно покупать первенство деньгами, а не делами. Мы служим государю, а не им. (*ПСС. XXVIII. 1. С. 40.*)

А.И. САВЕЛЬЕВ

Сохраняющий в сердце своём чувства высокой честности, он рассказывал мне своё глубокое негодование на некоторых начальников, грабивших и возмущающих солдат тогдашней продолжительной службы <...>. Ф<ёдор> М<ихайлович> знал имена начальников в войсках на войне и на гражданском поприще, которые получали награды не по заслугам, а благодаря родству и связям с сильными мира сего. Он знал проделки бывшего инспектора классов Инженерного училища, как он помещал и поддерживал тех кондукторов, которых родители ему платили или делали подарки и пр. (*Рус. старина. 1918. № 1–2. С. 19.*)

М.М. ДОСТОЕВСКИЙ — М.А. ДОСТОЕВСКОМУ. 27 сентября 1837. Петербург

Главное же дело состоит в том, что генерал объявил, что нет ни одной казённой ваканции; след<овательно>, несмотря на разрешение государя принять его <Достоевского> не могут на казённый счёт.

Беда, да и только! Где же взять нам теперь 950 р.? Неужели отдать последнее? (*ПСС. XXVIII. 1. С. 40–41.*)

МИХАИЛ и ФЁДОР ДОСТОЕВСКИЕ — М.А. ДОСТОЕВСКОМУ. 6 октября 1837. Петербург

От тётеньки получили мы нынче письмо — ответ на наше, которое послали вместе с письмом к Вам. Они очень об нас жалеют и хотят непременно внести за нас плату по 950 руб. за каждого, ежели Вы только это позволите. Это нас очень удивило, тем более что в нашем письме мы совсем об этом и не намекали и совсем не просили. Позвольте это им сделать именно только для нас. В будущем письме мы ждём от Вас ответа. Для них это ничего не будет стоить, а для нас это будет иметь большое влияние на судьбу нашу. (*ПСС. XXVIII, 1. С. 42.*)

Из приказа по Главному инженерному училищу. 16 января 1838

На открывшиеся в кондукторской роте вакансии пенсионеров с утверждения его императорского высочества генерал-инспектора по Инженерной части, зачисляются следующие кандидаты.

Кондукторами: <...>

11. Достоевский Фёдор 15<лет>[1] 3[2]<...>

Вследствие сего предписываю вышеозначенных кандидатов по спискам кондукторской роты зачислить налицо кондукторами и на верность службы привести к присяге.

На приказе помета. При собрании рот было читано. (*Мат. и исслед., 5. С. 181.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.А. ДОСТОЕВСКОМУ. 4 февраля 1838. Петербург

Недавно я узнал, что уже после экзамена генерал постарался о принятии четырёх новопоступающих на казённый счёт <...> и перебил мою ваканцию. Какая подлость! Это меня совершенно поразило. Мы, которые бьёмся из последнего рубля, должны платить, когда другие — дети богатых отцов — приняты безденежно. Бог с ними! (*ПСС, XXVIII, 1. С. 47.)*

М.М. ДОСТОЕВСКИЙ — М. А. ДОСТОЕВСКОМУ. 1838. Петербург

В субботу и в воскресенье я видел брата! Ну, папинька! каким он стал молодцом в своём новом мундире! Я надеюсь также, ежели не

---

[1] Возраст убавлен на год — очевидно, намеренно: это повышало шансы пройти конкурсный отбор.

[2] «Цифра указывает средний балл, полученный на экзаменах». (*Примеч. И.Д. Якубовича*).

на этой неделе, то на той непременно надеть мундир! <...> Брату всё нужное будет куплено; он тысячу раз просит у вас прощения, что не мог написать к вам! потому что не успел! в будущем письме он напишет! (*Лит. наследство. Т. 86. С. 359.*)

М.М. ДОСТОЕВСКИЙ — М.А. ДОСТОЕВСКОМУ. 29 января 1838. Петербург

Брата я нынче видел! Сегодня рожденье Михаила Павловича — и в Училище генерал делает бал! Они теперь, я думаю, подняли пыль до небес! Кондукторы с ним очень ласковы! Какой он молодец в своём мундире! Только скучает фронтом; ибо перед всяким офицером надобно вытягиваться! (*Лит. наследство. Т. 86. С. 359.*)

М.А. ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 12 февраля 1838. Даровое

Уведомь, доволен ли Фединька своим теперешним состоянием, ты писал мне, что он скучает тем, что надобно становиться во фронт перед офицерами. Скажи ему, чтобы он не скучал, ибо это неизменный устав воинской службы, а лучше всего, чтобы он себя поставил на месте офицера, я полагаю, что ему было бы приятно, есть ли бы низшие воздавали ему честь, а более всего, что тот, кто не умеет повиноваться, не будет уметь и повелевать. <...> поцелуй за меня Фединьку. Скажи ему, что он меня забыл, вероятно он очень занят. Посылаю вам обоим мое благословение, ваш вас нежно любящий отец и друг

М. Достоевский

(*В семье и усадьбе... С. 118–119.*)

Из приказа генерал-инспектора по инженерной части великого князя НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА. 15 марта 1820

Кротость, согласие и беспрекословное повиновение властям <...> суть отличительные признаки посвящающих себя военной службе и в особенности вступивших в Главное Инженерное училище <...>. (*В кн.: Савельев А.И. Исторический очерк инженерного управления в России за время царствования императора Николая I. СПб., 1896. С. 220.*)

Без семьи

А. де КЮСТИН

Всё идёт в ней <России> как в военном училище, с той лишь разницей, что ученики не оканчивают его до самой смерти. (*Николаевская Россия. М., 1930. С. 216.*)

Д.В. ГРИГОРОВИЧ

Нас ставили в ряд; унтер-офицер становился впереди и командовал: «Ра-а-аз!» — и мы должны были вытягивать правую ногу и носок; затем шла команда: «Два-а-а!» — следовало медленно подымать ногу и стоять в таком журавлином положении, пока не скомандуют: «Три!» При малейшем колебании туловища унтер-офицер кричал: «Отставь!» — и снова начиналось вытягивание ноги и носка. <...> Более всех горячился добрейший Д.А. Скалон. Когда фронт становился лицом к солнцу, глаза начинали щуриться и штыки колебаться, он положительно выходил из себя, топал ногами и кричал с пеной у рта: «Смирно! Во фрунте нет солнца!.. Нет солнца во фрунте! Смирно, говорю вам!..» (*Рус. мысль. 1983. № 12. С. 18.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.А. ДОСТОЕВСКОМУ. 4 февраля 1838. Петербург

Нас посылают на фрунтовое ученье, нам дают уроки фехтованья, танцев, пенья, в которых никто не смеет не участвовать. Наконец, ставят в караул, и в этом проходит всё время; но получив от Вас письмо, я бросил всё и теперь спешу отвечать Вам, любезнейший папенька. Слава богу, я привыкаю понемногу к здешнему житью; о товарищах ничего не могу сказать хорошего. Начальники обо мне, надеюсь, очень хорошего мнения. (*ПСС, XXVIII, 1. С. 46.*)

А.И. САВЕЛЬЕВ

На то, что особенно сердило Григоровича: барабанный бой, вытягивание носка на маршировке и стояние, как он говорит, в журавлиной позе на одной ноге, пока не скомандуют её опустить — Достоевский смотрел равнодушно, усердно вытягивал носок, учился подходить на ординарцы, хотя сознавал, что по его телосложению, болезненной структуре и по его бледному лицу, он уже по природе не был красавцем, чтоб быть представителем строевого кондуктора. Григоровича сердили нередко фразы инструктора солдатика Образцового полка, говорившего: когда маршируете, то так, чтобы «носок ваш играл», когда идёт по фронту начальство справа, то держите левое ухо вострее и смотрите начальству «глаз в глаз», — одним словом, ему не нравились многие обычные солдатские выражения: «уберите третье ребро», или «подавайтесь всеми средствиями вперёд, не упираясь на оные» и т. п. Ф.М. Достоевского наставления эти не только не сердили, но казались любопытными по своей оригинальности. (*Рус. старина. 1900. № 8. С. 331–332.*)

В.Д. ХЛЕБНИКОВ

В моей памяти врезался один разговор Шарнгорста с Остроградским. Это было во время переводных экзаменов младшего офицерского класса. Кому-то из моих товарищей досталась из интегрального исчисления довольно сложная и трудная задача. Шарнгорст, обращаясь к Остроградскому, сказал вполголоса: «Вот вчера мне пришлось взять этот интеграл, и представьте, я с этим делом не сладил». — «А вы попробуйте, ваше превосходительство, — отвечал ему Остроградский, — видоизменить подинтегральную функцию, и тогда скоро дойдёте до конца». Вот, думаю, каков наш начальник: он и до сих пор занимается высшею математикою. Как же тогда нам, юным птенцам, не заниматься ею! И это было в царствование Николая I-го, когда во всех военно-учебных заведениях обучение фронту, маршированию и деланию различных приёмов с ружьём отведено было первое место; благодаря нашему разумному начальству, у нас в Главном Инженером училище мы почитали науку, а на такие эквилибристические упражнения, как например, на марширование тихим шагом в три приёма, смотрели более чем равнодушно, просто с пренебрежением; такие сознавали, что все увлечения Государя, его занятия с войсками никакого соотношения с настоящим военным делом не имеют. (*Рус. архив. 1907. Кн. 1. С. 383.*)

К.А. ТРУТОВСКИЙ

Во всём училище не было воспитанника, который бы так мало подходил к военной выправке, как Ф.М. Достоевский. Движения его были какие-то угловатые и вместе с тем порывистые. Мундир сидел неловко, а ранец, кивер, ружьё — всё это на нём казалось какими-то веригами, которые временно он обязан был носить и которые его тяготили. (*Рус. обозрение. 1893. № 1. С. 213.*)

Из приказа по Главному инженерному училищу. 3 января 1839

По представленной командиром кондукторской роты полковником Фере аттестации о поведении и знании фронтовой службы кондукторов за декабрь 1838 г. по фронтовой службе оказываются слабыми <...>

Достоевский Фёдор.

<...> составить особую команду и проводить им ежедневное учение. (*Мат. и исслед., 5. С. 182.*)

Д.В. ГРИГОРОВИЧ

<...> гонор основывался на преимуществе перед другими военно-учебными заведениями, не допускавшем в училище телесного наказания. Такое преимущество в значительной степени приподымало дух каждого, составляло его гордость. (*Рус. мысль. 1892. № 12. С. 16.*)

Приватная жизнь казённого дома

Д.В. ГРИГОРОВИЧ

С первого дня поступления новички получали прозвище *рябцов* — слово, производимое, вероятно, от рябчика, которым всегда военные называли штатских. Смотреть на рябцов, как на парий, было в обычае. Считалось особенною доблестью подвергать их всевозможным испытаниям и унижениям. <...> Крайне забавным считалось налить воды в постель новичка, влить ему за воротник ковш холодной воды, налить на бумагу чернил и заставить его слизать, заставить говорить непристойные слова, когда замечали, что он конфузлив и маменькин сынок. (*Рус. мысль. 1892. № 12. С. 14.*)

А.И. САВЕЛЬЕВ

Он <Достоевский> умел отклонять товарищей от задуманных шалостей (так называемых отбоев, бенефисов и пр.), но были случаи, где его авторитет не помогал, так нередко, когда проявлялось своеволие товарищей его над «рябцами» (новичками) или грубое их обращение со служителями. (*Рус. старина. 1918. № 1–2. С. 14.*)

Д.В. ГРИГОРОВИЧ. Из речи на обеде в честь выпускника Инженерного училища генерала Ф.Ф. Радецкого. 19 октября 1878

Бить репцов считалось молодечеством. Хотя мы далеко, кажется, не были в обетованной Палестине, всё это напоминало некоторым образом Ирода и сцены избиения младенцев. Проходя по каморам училища, часто слышалось: «Куда идёшь?» — «Бить репцов!!» <...>

Ставился табурет перед дверью; заставляли репцов проходить в класс ползком; репцов при этом жестоко били. Помню случай, как один из старших, вооружившись чугунной чернильницей, которую обмотал он платком, начал вдруг с остервенением наносить удары... (*Плюцинский А.Ф. Генерал-адъютант Ф.Ф. Радецкий в среде бывших воспитанников Николаевской инженерной академии и училища в день 19 октября 1878 г. СПб., 1878. С. 18.*)

М.С. МАКСИМОВСКИЙ

Жалобы начальству не допускались. Но если кто из «рябцов», возмущённый какою-либо несправедливостью старенького или выведенный из терпения толчками и пинками, решался на явный отпор, то на это смотрели снисходительно. <...>

Грубые формы, в которых проявлялись принципы домашнего законодательства, не мешали учению, — оно шло своим чередом, — но

преследуя всё нечестное, не прямое, приносили свою долю пользы: характеры вырабатывались твёрдые, сильные, мужественные. (*Исторический очерк развития Главного Инженерного Училища. СПб., 1869. 1-я пагин. С. 102–103.*)

А.И. САВЕЛЬЕВ

<...> значение старших было так велико, и надзор над младшими был так серьёзен и строг, что проявления в кондукторах младшего класса нарушения местных традиционных обычаев или моды, безнравственных привычек, отсутствие честности, хвастовство, обман и прочее, позорящее человека, в особенности кондуктора Инженерного училища, наказывались товарищами старшего класса, или внушениями разного рода, или неисправимому предлагалось выйти в отставку, и всё это делалось келейно, никто из начальства этого не знал. (*Рус. старина. 1900. № 8. С. 327.*)

К.А. ТРУТОВСКИЙ

Существовал обычай, что все старшие воспитанники имели полное право приказывать новичкам, а те должны были беспрекословно исполнять их приказания. Всякое сопротивление их приказанию или проявление самостоятельности было наказываемо ими подчас очень жестоко. (*Рус. обозрение. 1893. № 1. С. 213.*)

А.И. САВЕЛЬЕВ

<...> в небольшой семье кондукторов, замкнутых по неделям вместе, не получавших газет, почти не знакомых с внешним миром, деливших между собой и горе и радости, представлявших собою отдельный мирок, были и свои традиционные уставы, обычаи и, пожалуй, законы. Хотя все эти постановления иногда были сильнее драконовских, но в сущности заключали в себе много хорошего, ослабляя в привычках молодых людей остатки дурного домашнего воспитания. Сближение между товарищами было так велико и эта связь такое имела влияние на всю жизнь бывших кондукторов Инженерного училища, что никакие ни счастливые, ни несчастливые обстоятельства не разрушали этой связи. (*Рус. старина. 1900. № 8. С. 327.*)

Д.В. ГРИГОРОВИЧ

В классах, во время приготовления уроков, как только дежурный офицер удалялся, поперёк двери из одного класса в другой ставился стол; новички должны были на четвереньках проходить под ним, между тем как с другой стороны их встречали кручёными жгутами

и хлестали куда ни попало. И боже упаси было заплакать или отбиваться от такого возмутительного насилия. <...>

И всё это происходило в казённом заведении, где над головой каждого висел дамоклов меч строгости, взыскательности самой придирчивой; где за самый невинный проступок — расстёгнутый воротник или пуговицу — отправляли в карцер или ставили у дверей на часы с ранцем на спине и не позволяли опускать ружьё на пол. (*Рус. мысль. 1892. № 12. С. 14.*)

А.И. САВЕЛЬЕВ (в передаче О.Ф. Миллера)

Он <Достоевский> очень далеко держал себя от начальства и старших товарищей, но не чуждался тех лиц, которые, будучи его начальниками, не показывали над ним своего господства, и особенно был ласков с теми лицами, которые по положению своему в училище не имели ни собственного голоса, ни защиты. (*Биография... С. 37.*)

К.А. ТРУТОВСКИЙ

<...> так как я рисовал лучше других, то мне часто приходилось, по просьбе, а большею частью по приказанию, рисовать для старших воспитанников. <...>

Как-то раз и Ф<ёдор> М<ихайлович> попросил меня исполнить для него подобного рода работу, — и когда я сделал то, что он просил, то Ф<ёдор> М<ихайлович> заинтересовался моими способностями и стал моим защитником против грубых наших повелителей из старших классов. (*Рус. обозрение. 1893. № I. С. 213.*)

А.И. САВЕЛЬЕВ

Всего чаще можно было видеть Ф<ёдора> М<ихайловича>, подготовлявшего товарищу сочинение на заданную тему. (*Рус. старина. 1918. № 1–2. С. 18.*)

Карьера генерал-адъютанта

Д.В. ГРИГОРОВИЧ

Один из кондукторов старших двух классов вступился неожиданно за избитого, бросился на обидчика и отбросил его с такою силою, что тот покатился на паркет. На заступника наскочило несколько человек; но он объявил, что первый, кто к нему подойдёт, поплатится рёбрами. Угроза могла быть действительна, так как он владел замечательной физическою силой. Собралась толпа. Он объявил, что с этой минуты никто больше не тронет новичка, что он считает подлым, низким обы-

чай нападать на беззащитного, что тот, кому придёт такая охота, будет с ним иметь дело. Немало нужно было для этого храбрости. Храбрец этот был Радецкий, тот самый Фёдор Фёдорович Радецкий, который впоследствии был героем Шипки. (*Рус. мысль. 1892. № 12. С. 17.*)

А.И. САВЕЛЬЕВ

<...> в довершение тяжёлых впечатлений Григоровича, начались назойливые приставания, расспросы так называемых «старых» кондукторов, которых забавляла его чувствительность, по их понятиям женственность; насмешки их переходили в грубость и могли кончиться очень печально для Григоровича, «рябца», если бы не выручил его из беды проходивший мимо старшего класса Радецкий (Ф. Ф.) и, узнав причину слёз Григоровича, своими внушениями не прекратил совсем преследования его товарищами. (*Рус. старина. 1900. № 8. С. 329–330.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — Ф.Ф. РАДЕЦКОМУ. 16 апреля 1878. Петербург

Дорогой нам, всем русским, генерал
и незабвенный старый товарищ
Фёдор Фёдорович,

Может быть, Вы меня и не помните, как старого товарища в Главном Инженерном Училище. Вы были во 2-м кондукторском классе, когда я поступил, по экзамену, в третий; но я припоминаю Вас портупей-юнкером, как будто и не было тридцати пяти лет промежутка. Когда, в прошлом году, начались Ваши подвиги, наконец-то объявившие Ваше имя всей России, мы здесь, прежние Ваши товарищи — (иные как я, давно уже оставившие военную службу) — следили за Вашими делами как за чем-то нам родным <...>.

И бесспорно, что самая лучшая часть России теперь с Вами, там, за Балканами. (*ПСС, XXX. 1. С. 20.*)

Выпускник Инженерного училища генерал Д. И. РОМАНОВСКИЙ. Из речи на обеде в честь Ф.Ф. РАДЕЦКОГО. 19 октября 1878

Генерал Радецкий служит для нас представителем того типа русских людей, которые будучи поставлены силою обстоятельств у какого бы то ни было дела, свято исполняют его, самоотверженно несут его тяготы. Инженерное училище давало таких людей. Здесь, в числе присутствующих, мы видим людей этого типа, Сеченова, Достоевского <...>. (*Плюцинский... С. 21.*)

Из отчёта об обеде в честь Ф. Ф. РАДЕЦКОГО. 19 октября 1878

Встал наш известный писатель Ф.М. Достоевский. «Уважаемый Фёдор Фёдорович, — сказал он негромким голосом, обращаясь к генералу Радецкому. — Мы чествуем вас, как знаменитого генерала, как редкого человека, как стойкого и доблестного русского солдата, олицетворением которого в его наилучших чертах вы служите. Позвольте же мне провозгласить тост за здоровье русского солдата!»

Генерал Радецкий орлиным, «щипкинским», сказали бы мы, взглядом окинул всех и твёрдо, не без торжественности, воскликнул:

«Да, господа! Выпьем здоровье нашего славного русского солдата!»

Громкое «ура!» вырвалось у всех, как один могучий боевой крик, и долгим рокотом пронеслось по зале. (*Плюцинский... С. 20.*)

А.И. САВЕЛЬЕВ (в передаче О.Ф. Миллера)

Нет сомнения, что испытаниям в послушании старшим, в первый год своего пребывания в училище, мог подвергнуться и Ф.М. Достоевский. Исключений в этом случае никому не делалось. (*Биография... С. 37.*)

Из отчёта об обеде в честь Ф.Ф. РАДЕЦКОГО. 19 октября 1878

Весело ещё раз были подняты бокалы, но генерал Радецкий встал и, с его симпатичною улыбкою на добром лице, сказал: «А всё-таки, господа, "репцов" бить следует — из них потом люди выходят!» «Браво!» загремело кругом со стороны слушателей, в большинстве испытавших справедливость замечания генерала Радецкого. (*Плюцинский... С. 19.*)

Братская разлука

О.Ф. МИЛЛЕР

<...> медицинское свидетельство главного доктора Инженерного училища, Волькенау, признавшего совершенно здорового старшего брата — чахоточным, а болезненного младшего — здоровым, расстроило планы отца. Михаил Михайлович не был принят и в июне 1838 года отправился в Ревель для поступления кондуктором в тамошнюю инженерную команду. Таким образом, Фёдору Михайловичу совершенно неожиданно пришлось разлучиться с братом. (*Биография... С. 30.*)

М.А. ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. и Ф.М. ДОСТОЕВСКИМ. 17 октября 1837

Напишите, как зовут медика, который делал вам осмотр. (*В семье и усадьбе... С. 116.*)

Л.Ф. ДОСТОЕВСКАЯ

Когда мой отец узнал о предстоящей разлуке с братом, его отчаянию не было границ. Он страдал ещё больше, когда, после отъезда

его отца в Москву, он остался в Петербурге совершенно одиноким, без друзей и родных. (*Достоевский в изображении дочери... С. 15.*)

Из рукописи воспоминаний А.Е. РИЗЕНКАМПФА

Михаил Михайлович на шестнадцатом году был таков же, каковым он остался во всю жизнь: невысокого роста, худощав, с несколько впалой грудью, лицо его было очень красивое, умное, продолговатое, слегка смуглое, осенённое длинными каштановыми волосами; несмотря на постоянную бледность, цвет его был здоровым; глаза темно-голубые, открытые, весьма выразительные, часто оживлённые, почти огненные; нос продолговатый, слегка сгорбленный; губы тонкие, подвижные, нередко сжимавшиеся в виде насмешки. Разговор его был при первой встрече, особенно в кругу незнакомых людей, сдержанный, осторожный; затем, коль скоро удалось возбудить его сочувствие или затронуть живую нотку по которому-нибудь из любимых предметов, например, литературе, музыке, он делался более сообщительным и, наконец, вдохновлялся; в декламации не было ему подобных. (*Лит. наследство. Т. 86. С. 324–325.*)

М.М. ДОСТОЕВСКИЙ — М.А. ДОСТОЕВСКОМУ. 8 мая 1838. Ревель

Благодарю, много, много благодарю и вас за всё: и за деньги, и за письмо, а особливо за известие (хотя и неполное) о брате! Вот уже более полгода, как я об нём ничего не знаю; это меня мучило — и я, как и вы, папинька, стал бог знает что придумывать о его молчании; даже — сказать ли вам эту глупость — стал прилежно читать приказы, думая найти его имя в списке или отживших или живущих, но как живущих?! Можете вообразить, каково мне было успокаивать вас, писать, что он здоров, и тому подобное, когда я сам знал об нём ещё менее, нежели вы! Но скажите, ради бога, что это за причина, какая это была причина, заставившая его изломать перо своё для нас? Вот загадка! (*Лит. наследство. Т. 86. С. 360.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М. М. ДОСТОЕВСКОМУ. 9 августа 1838. Петербург

Брат! <...>

Не знаю, стихнут ли когда мои грустные идеи? Одно только состоянье и дано в удел человеку: атмосфера души его состоит из слияния неба с землёю; какое же противузаконное дитя человек; закон духовной природы нарушен... Мне кажется, что мир наш — чистилище духов небесных, отуманенных грешною мыслию. Мне кажется, мир

принял значенье отрицательное и из высокой, изящной духовности вышла сатира. <...> Как малодушен человек! Гамлет! Гамлет! <...> Раз Паскаль сказал фразу: кто протестует против философии, тот сам философ. Жалкая философия! <...>

У меня есть прожект: сделаться сумасшедшим. Пусть люди бесятся, пусть лечат, пусть делают умным. (*ПСС. XXVIII. 1. С. 49–51.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 1 января 1840. Петербург

<...> я изобрёл для себя нового рода наслажденье — престранное — томить себя.

Возьму твоё письмо, перевёртываю несколько минут в руках, щупаю его, полновесно ли оно, и, насмотревшись, налюбовавшись на запечатанный конверт, кладу в карман... ты не поверишь, что за сладострастное состоянье души, чувств и сердца! И таким образом жду иногда с 1/4 часа; наконец с жадностью нападаю на пакет, рву печать и пожираю твои строки, твои милые строки. О, чего не перечувствует сердце, читая их! (*ПСС. XXVIII. 1. С. 66.)*

Из повести М.М. ДОСТОЕВСКОГО «Господин Светёлкин»

Вы видите, что я поступила с вашими подарками, как иногда поступаю с дорогими и редкими письмами: до тех пор не распечатываю, покуда уже сил не достанет от нетерпения. О, я умею наслаждаться! (*Отеч. записки. 1848, октябрь. С. 238.*)

М.М. ДОСТОЕВСКИЙ — ДОСТОЕВСКОМУ. 5 декабря 1841. Ревель

Я в ужасных хлопотах. Сердце моё не покойно <...>. Мне кажется, что я делаю глупость, что женюсь; но, когда я посмотрю на Эмилию, когда вижу в глазах этого ангела детскую радость — мне становится веселее. Трудно мне будет, брат, особенно первый год, но что делать, как-нибудь перебьёмся. (*Лит. наследство. Т. 86. С. 371.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 22 декабря 1841. Петербург

Когда свадьба! Желаю тебе счастия и жду длинных писем. Я же даже и теперь не в состоянии написать тебе порядочного. Веришь ли, я к тебе пишу в 3 часа утра, а прошлую ночь и совсем не ложился спать. Экзамены и занятия страшные. Всё спрашивают — и репутации потерять не хочется, — вот и зубришь, с «*отвращением*» — а зубришь. (*ПСС. XXVIII. 1. С. 79.*)

А.И. ШУБЕРТ

<...> <Э.Ф. Достоевская, жена М.М. Достоевского> добрая, симпатичная немка. (*Моя жизнь. М., 1929. С. 201.*)

Alma mater

М.М. ДОСТОЕВСКИЙ — М.А. ДОСТОЕВСКОМУ. 28 февраля 1838. Петербург

Брат очень доволен также своим Училищем. У них чудеснейшие учителя. (*Лит. наследство. Т. 86. С. 359.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — С.А. ИВАНОВОЙ. 20 марта 1869. Флоренция

<...> меня с братом Мишей свезли в Петербург, в Инженерное училище, 16-ти лет, и испортили нашу будущность. По-моему, это была ошибка. (*ПСС. XXIX. 1. С. 27.*)

А.И. САВЕЛЬЕВ

Фёдор Михайлович был из тех кондукторов, которые строго сохраняли законы своей alma mater, поддерживали во всех честность и дружбу между товарищами, которая впоследствии между ними сохранялась целую жизнь. Это был род масонства, имевшего в себе силу клятвы и присяги. Фёдор Михайлович был тоже врагом заискивания и внимания у высшего начальства и не мог равнодушно смотреть на льстецов даже и тогда, когда лесть выручала кого-либо из беды или составляла благополучие. (*Рус. старина. 1918. № 1–2. С. 14.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — И.В. ЖДАН-ПУШКИНУ. 17 мая 1858. Семипалатинск

Вы Вашим письмом разбудили во мне все тяжёлые воспоминания моего собственного воспитания. Но я был в отцовском доме до 15 лет и не заглох в корпусе. Но что я видел перед собою, какие примеры! Я видел мальчиков тринадцати лет, уже рассчитывавших в себе всю жизнь: где какой чин получить, что выгоднее, как деньги загребать (я был в инженерах) и каким образом можно скорее дотянуть до обеспеченного, независимого командирства! Это я видел и слышал собственными глазами, и не одного, не двух! (*ПСС. XXVIII. 1. С. 309.*)

Из записок Н.А. МОМБЕЛЛИ. Май — ноябрь 1847

Двое выпускных Московского кадетского корпуса пойманы в педерастии. <...> Пущин <командир полка> сообщил Ростовцову. Вместе решили наказать попавшихся домашним способом и потом закрыть всё

тайной. <...> Дни через три Чернышёв, военный министр, потребовал к себе Ростовцова по делам службы. При входе Ростовцова Чернышёв разразился громом и молниею и всё во имя императора: <...> император недоволен слабостию взыскания, что закрывают преступление, что просто поощряют пакости. Переждав бурю, Ростовцов попросил позволения высказать своё оправдание. Ростовцов старался доказать, что об этого рода ошибках юности справедливо судить могут только воспитывавшиеся в казённых заведениях, только испытавшие, как легко детям впасть в заблуждение. Потом прибавил: «если взыскивать за ошибки детства так строго, как вы требуете, то пришлось бы разжаловать многих генералов, занимающих важные посты в государстве и уже принёсших пользу своею службою. Для доказательства приведу в пример свой выпуск. Я вышел из пажеского корпуса в таком-то году. Во-первых, я сам шалил в корпусе и, по-вашему, должен быть наказан». Чернышёв невольно сделал знак удивления, — как, вы, Яков Иванович?.. «Да, я», — отвечал Ростовцов: «со мною вместе вышли...» При этом Ростовцов перечислил три или четыре фамилии известных генералов <...>. Каждая новая фамилия всё сильнее и сильнее поражала удивлённого министра, давно уже забывшего свой служебный гнев. Гнев по обязанности сменило невольное удивление. <...> Неистовый смех по крайней мере на полчаса отнял у министра способность выговаривать слова. <...> Император тоже сильно хохотал. Раскрытие гнусных тайн, соединённых с корпусным воспитанием, отнюдь не опечалило его, а наоборот, забавило, развеселило. *(Дело петрашевцев. Т. I. М.; Л., 1937. С. 302–304.*)

А.И. САВЕЛЬЕВ (в передаче О.Ф. Миллера)

<...> трудно признать, по крайней мере без оговорок, чтобы Достоевский разумел своих собственных товарищей в <...> словах озлобленного героя «Подполья» <...>. (*Биография... С. 46.*)

ДОСТОЕВСКИЙ. Записки из подполья

В нашей школе выражения лиц как-то особенно глупели и перерождались. Сколько прекрасных собой детей поступало к нам. Через несколько лет на них и глядеть становилось противно. <...> Чин почитали за ум; в шестнадцать лет уже толковали о тёплых местечках. <...> Развратны они были до уродливости.

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ. Ода к нужнику. 1834

Но вот над школою ложится мрак ночной <...>.
Последняя свеча <...>

Угасла... и луна кидает медный свет
На койки белые и лаковый паркет.
Вдруг шорох! слабый звук! и легкие две тени
Скользят по каморе к твоей знакомой сени...
Уж сблизились они... ещё лишь миг единый
— Но занавес пора задёрнуть над картиной <...>.

Из записок Н.А. МОМБЕЛЛИ. Май — ноябрь 1847

В Брест-Литовском кадетском корпусе корпусный офицер Фишер учил кадет взаимному онанизму... <...>

Фишер воспитанник Павловского кадетского корпуса. (Дело *петрашевцев. I. С. 301–302.*)

Особые приметы

А.И. САВЕЛЬЕВ

Он <Достоевский> настолько был непохожим на других его товарищей во всех поступках, наклонностях и привычках и так оригинальным и своеобычным, что сначала всё это казалось странным, ненатуральным и загадочным, что возбуждало любопытство и недоумение, но потом, когда это никому не вредило, то начальство и товарищи перестали обращать внимание на эти странности. Фёдор Михайлович вел себя скромно, строевые обязанности и учебные занятия исполнял безукоризненно, но был очень религиозен, исполняя усердно обязанности православного христианина. <...> После лекций из Закона Божия о. Полуэктова Фёдор Михайлович ещё долго беседовал со своим законоучителем. Всё это настолько бросалось в глаза товарищам, что они его прозвали монахом Фотием[1]. (*Рус. старина. 1918. № 1–2. С. 13.*)

К.А. ТРУТОВСКИЙ

Нравственно он также резко отличался от всех своих — более или менее легкомысленных — товарищей. Всегда сосредоточенный в себе, он в свободное время постоянно задумчиво ходил взад и вперёд где-нибудь в стороне, не видя и не слыша, что происходило вокруг него. <...>

Такое изолированное положение Ф<ёдора> М<ихайловича> вызывало со стороны товарищей добродушные насмешки, и почему-то ему присвоили название «Фотия». (*Рус. обозрение. 1893. № 1. С. 213–214.*)

[1] Очевидно, в честь новопреставленного новгородского архимандрита (1792–1838), героя пушкинских эпиграмм.

А.И. САВЕЛЬЕВ

Судя по спокойному, невозмутимому его лицу, можно было догадываться об его грустном, может быть, наследственном настроении души, и если вызывали его на откровенность, то он отвечал часто на это словами Монтескье: Ne ditez jamais la vérité aux dépens de votre vertu[1]. (*Рус. старина. 1918. № 1–2. С. 14.*)

Чрезвычайные обстоятельства

ДОСТОЕВСКИЙ — М.А. ДОСТОЕВСКОМУ. 23 марта 1839. Петербург

Теперь я знаю причину, почему мои письма не доходили до Вас. У нас в училище случилась ужаснейшая история, которую я не могу теперь объяснить на бумаге; ибо я уверен; что и это письмо перечитают многие из посторонних. 5-ть человек кондукторов сослано в солдаты за эту историю. Я ни в чём не вмешан. Но подвергся общему наказанью. (*ПСС. XXVIII. 1. С. 56.*)

Д.В. ГРИГОРОВИЧ

Один из кондукторов, прежде меня поступивший в училище, сделался любимцем ротного командира Фере, которого все боялись и огулом не любили. <...> Этого достаточно было, чтобы возбудить подозрение, стали распространять слухи, что любимец ничего больше, как фискал и доносчик. Не помню, как составился и созрел против него заговор; я в нём не участвовал. Помню только следующую сцену. Это было ночью. Любимец, в качестве унтер-офицера, был дежурным; он проходил через большую камеру, где спало нас шестьдесят человек; зала тускло освещалась высокими жестяными подсвечниками с налитою в них водою и плавающим в ней сальным огарком. Едва показался любимец, огни мгновенно были погашены; несколько человек, ждавших этой минуты, вскочили с постелей, забросали любимца одеялами и избили его до полусмерти. На шум и крик вбежал дежурный офицер; со всех концов посыпался на него картофель, без сомнения заранее сбережённый после ужина. «Господа, — кричал офицер, — я не под такими картофелями был, под пулями — и не боялся!..» <...> На следующее утро всю роту выстроили по камерам; пришёл генерал Шарнгорст и, по обычаю, начал здороваться; ему не отвечали. Вскоре за ним приехал начальник штаба военно-учебных заведений генерал Геруа[2]. Проходя по камерам, он начал также здороваться; никто не откликнулся. Не

[1] Никогда не говорите правды в ущерб вашей добродетели (*фр.*).
[2] Предшественник Ростовцова.

ожидая, вероятно, такого упорного неповиновения и приписывая его опасной стачке, он, не дойдя до последней камеры, круто повернулся на каблуке и вышел, сопровождаемый начальством училища, которое шло повеся нос и как бы пришибленное. Результат был тот, что всю роту заперли в училище на неопределённое время. (*Рус. мысль. 1982. № 12. С. 11–12.*)

Из дневника Н.А. МОМБЕЛЛИ. 17 октября 1845

Инспектор классов Павловского кад<етского> кор<пуса> дей<ствительный> ст<атский> сов<етник> Шенин, имевший огромное влияние на Ростовцова и на весь комитет Военно-учебных заведений, изнасиловал кадета. Кадет, возвратясь в роту, рассказал о происшедшем. Вся рота выстроилась и заставила несчастного кадета перед ротою рассказать дежурному офицеру, который рапортом и по команде донёс, как следует. Шенина посадили в дом сумасшедших на время, а потом, говорят, намерены отправить его за границу или, если согласится, дать ему какую-нибудь другую выгодную должность. (*Дело петрашевцев. I. С. 279.*)

А.И. САВЕЛЬЕВ

<...> и кондуктора, замеченного в курении табаку, и офицера, курившего в классной комнате или на дежурстве, сажали под арест или высылали на службу. Ещё строже взыскивали за нарушение дисциплины, несоблюдение формы одежды, головного убора, за хождение в фуражках по улице или в калошах и пр. (*Рус. старина. 1900. № 8. С. 327–328.*)

Хрупкие мужские дружбы

А.И. САВЕЛЬЕВ

И в юности он <Достоевский> не мог мириться с обычаями, привычками и взглядами своих сверстников-товарищей. Он не мог найти в их сотне несколько человек, искренне ему сочувствовавших, его понятиям и взглядам, и только ограничился выбором одного из товарищей, *Бережецкого*, тоже кондуктора, хотя старшего класса. Это был юноша очень талантливый и скромный, тоже, как *Достоевский*, любящий уединение, как говорится, человек замкнутый, особняк (homme isole). Бывало, на дежурстве мне часто приходилось видеть этих двух приятелей. Они были постоянно вместе или читающими газету «Северная пчела» или произведения тогдашних поэтов: Жуковского, Пушкина, Вяземского, или литографированные записки лекций, читанных преподавателями. Можно было видеть двух приятелей, Б<ережецкого> и Д<остоевского>, гуляющих по камерам,

когда их товарищи танцовали во вторник в обычном танцклассе или играли на плацу. (*Рус. старина. 1918. № 1–2. С. 15.*)

ДОСТОЕВСКИЙ. Из черновых набросков к предполагавшейся переработке «Двойника». 1861–1862

Мечты старшего: мы бы жили, близнецы, в дружбе, общество бы умилительно смотрело на нас, и мы бы умерли, могилы рядом.

— Можно бы даже в одном гробе, — замечает небрежно младший.

— Зачем ты заметил это небрежно? — придирается старший. (*ПСС. 1. С. 434.*)

А.И. САВЕЛЬЕВ (в передаче О.Ф. Миллера)

Часто, под предлогом нездоровья, оставались они или у столика у кровати, занимаясь чтением, или гуляли вдвоём по камерам (спальням). <...> Бережецкого считали за человека состоятельного, он любил щеголять своими богатыми средствами (носил часы, бриллиантовые кольца, имел деньги) и отличался светским образованием, щеголял своею одеждою, туалетом и особенно мягкостью в обращении. (*Биография... С. 37.*)

О.Ф. МИЛЛЕР

А.И. Савельев полагает, что Бережецкий мог защитить Достоевского подобно тому, как Ф.Ф. Радецкий (впоследствии герой Шипки) однажды защитил «новичка» Григоровича (Дмитрия Васильевича), но по мнению лица, бывшего тогда портупей-юнкером и сообщившего свои замечания на воспоминания А.И. Савельева, этого не могло быть, потому что Бережецкий не имел никакого влияния на товарищей, что же касается Достоевского, то его, как «чудака», вскоре оставили в покое. По словам самого А.И. Савельева, Бережецкий сам был под сильным влиянием Достоевского, слушался его и повиновался ему, как преданный ученик учителю. (*Биография... С. 38.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 1 января 1840. Петербург

Я имел у себя товарища, одно созданье, которое так любил я! Ты писал ко мне, брат, что я не читал Шиллера. Ошибаешься, брат! Я вызубрил Шиллера, говорил им, бредил им; и я думаю, что ничего более кстати не сделала судьба в моей жизни, как дала мне узнать великого поэта в такую эпоху моей жизни; никогда бы я не мог узнать его так, как тогда. Читал с *ним* Шиллера, я поверял *над ним* и благородного, пламенного Дон Карлоса, и маркиза Позу, и Мортимера.

Эта дружба так много принесла мне и горя и наслажденья! Теперь я вечно буду молчать об этом <...>. (*ПСС. XXVIII. 1. С. 69.*)

К.Д. ХЛЕБНИКОВ

Помню также, как Ф.М. Достоевский и Бережецкий увлекались совместным чтением, если не ошибаюсь, Шиллером. Бывало, читают, читают, и вдруг заспорят, а затем скоро, очень скоро пойдут через все наши камеры или спальни, один впереди, как бы убегая, чтобы не слышать возражений другого, что делал обыкновенно Бережецкий, а его преследовал Достоевский, желая доказать ему свои мысли. (*Рус. архив. 1907. Кн. 1. С. 377.*)

ДОСТОЕВСКИЙ

Французский конвент 93 года, посылая патент на право гражданства au poête allemand Schiller, l'ami de l'humanité[1], хоть и сделал тем прекрасный, величавый и пророческий поступок, но и не подозревал, что на другом краю Европы, в варварской России этот же Шиллер гораздо национальнее и гораздо роднее варварам русским, чем не только в то время — во Франции, но даже и потом, во всё наше столетие, в котором Шиллера, гражданина французского и l'ami de l'humanité, знали во Франции лишь профессора словесности, да и то не все, да и то чуть-чуть. А у нас он, вместе с Жуковским, в душу русскую всосался, клеймо в ней оставил, почти период в истории нашего развития обозначил. (*Дневник писателя, 1876, июнь*)

А.И. САВЕЛЬЕВ

Не нужно было особенного наблюдения, чтобы заметить в этих друзьях особенно выдающихся душевных качеств, например, их сострадания к бедным, слабым и беззащитным, которое у Достоевского и Бережецкого проявлялось чаще всего зимою, нежели летом, когда они видели грубое обращение товарищей со служителями и с *рябцами* (только что поступившими в училище кондукторами). Достоевский и Бережецкий употребляли все средства, чтобы прекратить эти обычные насилия, точно так же старались защищать и сторожей и всякого рода служащих в училище. Достоевского и Бережецкого возмущали и всякого рода демонстрации, проделки кондукторов с учителями иностранных языков, особенно немцев (так в тексте. — *И.В.*). Пользуясь большим авторитетом у товарищей, они, Достоевский и Бережецкий, или прекращали задуманные проделки

[1] Немецкому поэту Шиллеру, другу человечества (*фр.*).

с учителями, или останавливали. Только то, что творилось внезапно, им нельзя было остановить, как например, это случилось во время перемены классов, когда из четвёртого класса (называвшегося Сибирью) вдруг, из открытых дверей, выбежал кондуктор О., сидевший верхом на Н., учителе немецкого языка. Конечно, эта проделка не прошла даром. По приговору Д<остоевского> и Б<ережецкого> виновник проделки был порядочно товарищами старшего класса побит. (*Рус. старина, 1918. № 1–2. С. 16.*)

ДОСТОЕВСКИЙ. Записки из подполья

Был у меня раз как-то и друг. Но я уже был деспот в душе; я хотел вселить в него презрение к окружавшей его среде; я потребовал от него высокомерного и окончательного разрыва с этой средой. Я испугал его моей страстной дружбой; я доводил его до слёз, до судорог; он был наивная отдающаяся душа; но, когда он отдался мне весь, я тотчас же возненавидел его и оттолкнул от себя — точно он и нужен был мне только для одержания над ним победы, для одного его подчинения. Но всех я не мог победить; мой друг был тоже ни на одного из них не похож и составлял самое редкое исключение.

Загадочный Иван Николаевич

ДОСТОЕВСКИЙ — М.А. ДОСТОЕВСКОМУ. 3 июля 1837, Петербург

Погода теперь прекрасная. Завтра, надеемся, она также не изменится, и ежели будет хороша, то к нам придет Шидловский, и мы пойдем странствовать с ним по Петербургу и оглядывать его знаменитости. (*ПСС. XXVIII. 1. С. 36–37.*)

Н.А. РЕШЕТОВ

Мне неоднократно приходилось слышать от Шидловского о его Петербургских знакомых, двух братьях Достоевских, тогда ещё молодых путейских офицерах, ещё ничем не заявивших себя в литературе; особенно много говорил он об одном из них, именно о Фёдоре Михайловиче, предугадывая в нём будущую знаменитость. (*Рус. архив. 1886. № 10. С. 228.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 31 октября 1838. Петербург

Ах, скоро, скоро перечитаю я стихотворенья Ивана Николаевича <Шидловского>. Сколько поэзии! Сколько гениальных идей! (*ПСС. XXVIII. 1. С. 55.*)

Н.А. РЕШЕТОВ

Он <Шидловский> обладал удивительной памятью, отлично декламировал стихи, был страстный поклонник Пушкина и многие его стихотворения знал наизусть. (Он говорил, что одной из главных причин, почему он отправился на службу в Петербург, было страстное желание видеть Пушкина; но к великому своему огорчению он не застал его в живых, а в день своего приезда увидал Пушкина в гробу.) (*Рус. архив. 1886. № 10. С. 226.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 1 января 1840. Петербург

Шидловский показал мне тогда твои стихотворенья... О! как ты несправедлив к Шидловскому. <...> Взглянуть на него: это мученик! Он иссох; щёки впали; влажные глаза его были сухи и пламенны; духовная красота его лица возвысилась с упадком физической. Он страдал! тяжко страдал! Боже мой, как любит он какую-то девушку (Marie, кажется). Она же вышла за кого-то замуж. Без этой любви он не был бы чистым, возвышенным, бескорыстным жрецом поэзии... Часто мы с ним просиживали целые вечера, толкуя бог знает о чём! О, какая откровенная, чистая душа! У меня льются теперь слёзы, как вспомню прошедшее! (*ПСС. XXVIII. 1. С. 68.*)

Н.А. РЕШЕТОВ

Личность Ивана Николаевича <Шидловского> была во многих отношениях весьма примечательна и выдавалась из ряда обыкновенных, начиная с наружности: это был очень высокий, красивый мужчина, с прекрасным выражением в глазах, внушавший к себе, при его светлом уме и хорошем образовании, общее расположение. Главное, что привлекало к нему всех, было его замечательное красноречие. Он был идеалист, и любимой его темой для разговоров служили большею частью предметы отвлечённые; к тому же он был поэт, писал стихи так же легко и свободно, как говорил. (*Рус. архив. 1886. № 10. С. 226.*)

Л.В. ШИДЛОВСКАЯ

Глубокое нравственное чувство Ив<ана> Ник<олаеви>ча стояло нередко в противоречии с некоторыми странными поступками; искренняя вера и религиозность сменялись временным скептицизмом и отрицанием. Эту сторону в характере Шидловского, эту двойственность его натуры верно подметил Ф.М. Достоевский. (*В кн.: Алексеев М.П. Ранний друг Ф.М. Достоевского. Одесса, 1921. С. 20.)*

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 1 января 1840. Петербург

В последнее свиданье мы гуляли в Екатерингофе. О как провели мы этот вечер! Вспоминали нашу зимнюю жизнь, когда мы разговаривали о Гомере, Шекспире, Шиллере, Гофмане, о котором столько мы говорили, столько читали его. Мы говорили с ним о нас самих, о прошлой жизни, о будущем, о тебе, мой милый. <...> о пиши к нему! (*ПСС. XXVIII. 1. С. 68–69.*)

ДОСТОЕВСКИЙ (в передаче Вс.С. Соловьёва)

Непременно упомяните в вашей статье о Шидловском, нужды нет, что его никто не знает и что он не оставил после себя литературного имени. Ради Бога, голубчик, упомяните — это был большой для меня человек, и стоит он того, чтоб его имя не пропало. (*Ист. вестник. 1881. № 3. С. 608.*)

Н.А. РЕШЕТОВ

В последний раз мне пришлось увидеть Ивана Николаевича при довольно странной, но живописной обстановке; это было весною, ранним утром, при восходе солнца, в степи, на муравском шляхе, где стоял на границе Харьковской губернии шинок. Подъезжая к нему, я увидал толпу крестьян, мужчин и женщин, а посреди них человека высокого роста, в странической одежде, в котором я немедленно узнал Ивана Николаевича Шидловского. Он проповедовал евангелие, и толпа благоговейно его слушала: мужчины стояли с обнажёнными головами, многие женщины плакали. <...> окончивши свою проповедь, Иван Николаевич обратился к собравшимся кругом него людям со словами: «Православные, восхвалим господа Бога», и запел зычным голосом: «Тебя, Бога, хвалим...» И толпа ему подтягивала... <...> Подойдя к нему, я выразил ему своё удивление, что встречаю его среди толпы в такой обстановке; но он мне восторженно отвечал на это: «Поучать меньших наших братий слову Божию есть моё истинное признание! Посмотри, как довольны и искренни эти добрые люди!» (*Рус. архив. 1886. № 10. С. 227–228.*)

Л.В. ШИДЛОВСКАЯ

Дома он <И.Н. Шидловский> занимался какой-то большой работой и говорил, что готовит Историю Русской Церкви. Но учёная работа не могла всецело поглотить его душевную деятельность. Внутренний разлад, неудовлетворённость всем окружающим — вот предположительно те причины, которые побудили его в 50-х годах поступить в Валуйский монастырь. Не найдя, по-видимому, и здесь удовлетворения и нравственного успокое-

ния, он предпринял паломничество в Киев, где он обратился к какому-то старцу, который посоветовал ему вернуться домой в деревню, где он и жил до самой кончины, не снимая одежды инока-послушника. <...> Умер И.Н. 14-го июня 1872 г. у себя в имении. (*Ранний друг Ф.М. Достоевского. С. 5–6.*)

Вс. С. СОЛОВЬЁВ

Шидловский, по рассказам Достоевского, был человек, в котором мирилась бездна противоречий: он имел громадный ум и талант, не выразившийся ни одним писаным словом, и умерший вместе с ним; кутёж и пьянство — и пострижение в монахи. Умирая, он сделал Бог знает что: он был тоже в Сибири, на каторге; когда его выпустили, то из железа своих кандалов он сделал себе кольцо, носил его постоянно и умирая — проглотил это кольцо...[1] (*Ист. вестник. 1881. № 3. С. 608.*)

А.Г. ДОСТОЕВСКАЯ

Один раз мой муж высказал Вл. Соловьёву причину, почему он так к нему привязан.

— Вы чрезвычайно напоминаете мне одного человека, — сказал ему Фёдор Михайлович, — некоего Шидловского, имевшего на меня в моей юности громадное влияние. Вы до того похожи на него и лицом и характером, что подчас мне кажется, что душа его переселилась в вас.

— А он давно умер? — спросил Соловьёв.

— Нет, всего года четыре тому назад.

— Так как же вы думаете, я до его смерти двадцать лет ходил без души? — спросил Владимир Сергеевич и страшно расхохотался. (*Воспоминания. С. 254–255.*)

Судьба отдельных дарований при деспотизме

Д.В. ГРИГОРОВИЧ

Сближение моё с Ф.М. Достоевским началось едва ли не с первого дня его поступления в училище. <...> Ему радостно было встретить во мне знакомого в кругу чужих лиц, не упускавших случая грубо, дерзко придираться к новичку. (*Рус. мысль. 1892. № 12. С. 20.*)

Из приказа по Главному инженерному училищу. 11 июля 1839

На основании годичного экзамена и состоявшейся по оному конференции в присутствии всех г-д преподающих переводятся в высшие классы: <...>

[1] Шидловский никогда не был на каторге. Не связаны ли, однако, слова Вс. Соловьёва с представлением Достоевского, что он мог бы там быть?

Во 2-й кондукторский класс: <...>

№ 3. Достоевский <...>

№ 6. Григорович

(Мат. и исслед., 5. С. 184.)

Д.В. ГРИГОРОВИЧ

С тех пор прошло более полустолетия, но хорошо помню, что всех товарищей юности я никого так скоро не полюбил и ни к кому так не привязывался, как к Достоевскому. Казалось, он сначала отвечал мне тем же, несмотря на врождённую сдержанность характера и отсутствие юношеской экспансивности — откровенности. (*Рус. мысль. 1892. № 12. С. 22.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

В описываемое мною время Д.В. Григорович был молодым человеком лет 21, то есть таких же лет, как и брат. Это был очень весёлый и разговорчивый господин. В то время я узнал об нём следующее: Григорович, дойдя до старшего кондукторского класса, перестал заниматься науками, а всецело предался рисованию, и в то время, например, когда Остроградский читал лекции, он преспокойно рисовал его портрет. Ближайшие наставники и наблюдатели, после различных мер домашних, решились донести об этом великому князю Михаилу Павловичу, а тот, на докладе положив резолюцию: «лучше быть хорошим художником, нежели плохим инженером», — велел выпустить Григоровича вовсе из заведения. (*Воспоминания... С. 128.*)

А.И. САВЕЛЬЕВ

Никто не мог изменить его <Григоровича> намерения: ни убеждения и уговоры начальства (Шарнгорста, барона Розена и Дальвица); ни просьбы его матери и друзей его: Достоевского, Бекетова и Витковского, не могли убедить его остаться в училище; прошение об увольнении было подано, и он был уволен из училища по болезни. (*Рус. старина. 1900. № 8. С. 336.*)

К.А. ТРУТОВСКИЙ

В то время начальство этого училища если видело в воспитаннике какое-нибудь дарование, то старалось дать возможность ему развиться, направляя его на то поприще, к которому у него были природные способности. Стоило только доложить покойному Государю Николаю Павловичу или Великому Князю Михаилу Павловичу, что воспитанник обладает та-

лантом, чтоб ему сделали всевозможные льготы, понимая, что всякий человек только тогда будет полезным деятелем, когда он будет работать на своём поприще. (*Рус. обозрение. 1893, № 1, С. 215–216.)*

НИКОЛАЙ I — обер-прокурору Святейшего Синода. 1833.

<...> сказать митрополиту Серафиму, что я желаю, чтоб перевёл в Сергиевский монастырь, что на Петергофской дороге, бывшего моего воспитанника и фельдфебеля в Инженерном Училище, потом подпоручика, Брянчининова, ныне игумена Игнатия; ибо по отличным его дарованиям и качествам мне лично давно известным, я не желаю терять его из виду, и поручаю митрополиту в особое покровительство. (*В кн.: Савельев А.И. Исторический очерк инженерного управления в России за время царствования Императора Николая I.С. 234–235.*)

С.М. СОЛОВЬЁВ

Посещает император одно военное училище; директор представляет ему воспитанника, оказывающего необыкновенные способности <...> что же отвечает император? — Радуется, осыпает ласками даровитого молодого человека, будущего слугу отечества? Нисколько: нахмурившись, отвечает Николай: «Мне таких не нужно, без него есть кому думать и заниматься этим; мне нужны вот какие!» С этими словами он берёт за руку и выдвигает из толпы дюжего малого, огромный кус мяса, без всякой жизни и мысли на лице и последнего по успехам <...>. (*Записки Сергея Михайловича Соловьёва. Пб., 1915. С. 117.*)

«О подлость!»

Из приказа по Главному инженерному училищу. 16 августа 1838

Экзамен имеет начаться рассматриванием рисунков, и только те офицеры и кондукторы будут допущены к дальнейшему экзамену по наукам, у коих рисунки в исправности, остальные же затем в науках экзаменованы не будут и останутся в том же классе на другой год. (*Мат. и исслед., 5. С. 183–184.*)

М.М. ДОСТОЕВСКИЙ — М.А. ДОСТОЕВСКОМУ. Начало октября 1838. Ревель

О брате Феде не беспокойтесь. <...> Неужели вы полагаете, что там один только он худо чертит? Поверьте, что там гораздо более половины таких, которые не только чертить, но и учиться не умеют. (*Лит. наследство. Т. 86. С. 362.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.А. ДОСТОЕВСКОМУ. 30 октября 1838. Петербург

Любезнейший папенька! <...>

Наш экзамен приближался к концу; я гордился своим экзаменом, я экзаменовался *отлично*, и что же? Меня оставили на другой год в классе. Боже мой! Чем я прогневал Тебя? Отчего не посылаешь Ты мне благодати своей, которою мог бы я обрадовать нежнейшего из родителей? О сколько слёз мне это стоило. Со мной сделалось дурно, когда я услышал об этом. В 100 раз хуже меня экзаменовавшиеся перешли (*по протекции*). Что делать, видно, сам не прошибёшь дороги. Скажу одно: ко мне не благоволили некоторые из преподающих и самые сильные своим голосом на конференциой. С двумя из них я имел личные неприятности. Одно слово их, и я был оставлен. <...> О подлость! (*ПСС. XXVIII. 1. С. 51–52.*)

М.А. ДОСТОЕВСКИЙ — В.М. ДОСТОЕВСКОЙ. 19 ноября 1838. Даровое

Любезный друг Варинька!

<...> я получил от брата твоего, Фединьки письмо, для нас всех неприятное; он уведомляет, что на экзамене поспорил с двумя учителями, это сочли за грубость и оставили его до майя будущего года, в том же классе, это меня, при болезненном состоянии, до того огорчило, что привело в совершенное изнеможение, левая сторона тела начала неметь, голова начала кружиться; тут я призвал Бога на помощь, послал за фельдшером, который измучил меня четырьмя разрезами до того, что я претерпел 4 обморока, не помню как наконец он успел мне пустить кровь, эта операция меня пооблегчила. Помню только, как во сне, Сашинькин плач, что папинька умер. — Я жив, да и удивительно ли, жизнь моя закалена в горниле бедствий. (*В кн.: Воспоминания Андрея Михайловича Достоевского. С. 364.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 31 октября 1838. Петербург

Я не переведён! О ужас! ещё год, целый год лишний! Я бы не бесился так, ежели бы не знал, что подлость, одна подлость низложила меня; я бы не жалел, ежели бы слёзы бедного отца не жгли души моей. До сих пор я не знал, что значит оскорблённое самолюбие. (*ПСС. XXVIII. 1. С. 53.)*

М.М. ДОСТОЕВСКИЙ — М.А. ДОСТОЕВСКОМУ. Начало октября 1838. Ревель

Что же касается до его <Достоевского> выключки, то я, право, не знаю, чем побожиться вам, что этого никогда не может быть. Вы-

ключают тех, кто гадко ведёт себя и кто сидят по четыре, по пять лет в одном классе! И то по благоусмотрению великого князя, который докладывает об этом государю. Выключить кондуктора — дело не совсем лёгкое, а тем более совсем невинно, ни за что, ни про что. (*Лит. наследство. Т. 86. С. 362.*)

Д.В. ГРИГОРОВИЧ

Достоевский, сколько помнится, учился также неважно; он приневоливал себя с тем, чтобы окончить курс и переходить из класса в класс без задержки. Последнее не удалось ему, однако ж; при переходе в один из классов он не выдержал экзамена и должен был в нём остаться ещё год; неудача эта потрясла его совершенно; он сделался болен и пролежал несколько времени в лазарете. (*Рус. мысль. 1892. № 12. С. 23.*)

Портрет второгодника

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 31 октября 1838. Петербург

Философию не надо полагать простой математической задачей, где неизвестное — природа... Заметь, что поэт в порыве вдохновенья разгадывает Бога, след<овательно>, исполняет назначенье философии. След<овательно>, поэтический восторг есть восторг философии... След<овательно>, философия есть та же поэзия, только высший градус её!.. (*ПСС. XXVIII. 1. С. 54.*)

А.И. САВЕЛЬЕВ

Невозмутимый и спокойный по природе, Ф<ёдор> М<ихайлович> казался равнодушным к удовольствиям и развлечениям его товарищей; его нельзя было видеть ни в танцах, которые бывали в училище каждую неделю, ни в играх в «загонки, бары, городки», ни в хоре певчих. Впрочем, он принимал живое участие во многом, что интересовало остальных кондукторов, его товарищей. Его скоро полюбили и часто следовали его совету или мнению. (*Рус. старина. 1918. № 1–2. С. 13–14.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 31 октября 1838. Петербург

Послушай! Мне кажется, что слава также содействует вдохновенью поэта. Байрон был эгоист: его мысль о славе — была ничтожна, суетна... Но одно помышленье о том, что некогда вслед за твоим былым восторгом вырвется из праха душа чистая, возвышенно-прекрасная, мысль, что вдохновенье как таинство небесное освятит страницы, над которыми плакал ты и будет плакать потомство, не думаю, чтобы эта мысль не закрадывалась в душу поэта и в самые минуты творчества. (*ПСС. XXVIII. 1. С. 54–55.*)

А.И. САВЕЛЬЕВ (в передаче О.Ф. Миллера)

Он говорил всегда тихо, медленно, с расстановкой <...> но совсем не от старания говорить риторически, изящно и убедительно; самое простое воспоминание о своём детстве, какой-нибудь неважный исторический эпизод, им передавались медленно, но прекрасно, с особенным ему свойственным одушевлением; он, кажется, сознавал сам, какое впечатление на слушателя производили его рассказы, и потому любил говорить обо всём с одинаковым увлечением, хотя нередко в словах его заметна была жёлчность <...>. (*Биография... С. 43–44.*)

А.Е. РИЗЕНКАМПФ (в передаче О.Ф. Миллера)

Вот как описывает доктор Ризенкампф тогдашнего <1838 г.> Фёдора Михайловича: «довольно кругленький, полненький светлый блондин с округлённым и слегка вздёрнутым носом... Светло-каштановые волосы были коротко острижены, под высоким лбом и редкими бровями скрывались небольшие, довольно глубоко лежащие серые глаза; щёки были бледные, с веснушками; цвет лица болезненный, землистый, губы толстоватые. Он был далеко живее, подвижнее, горячее степенного своего брата... Он любил поэзию страстно, но писал только прозою, потому что на обработку формы не хватало у него терпения... Мысли в его голове родились подобно брызгам в водовороте... Природная прекрасная его декламация выходила из границ артистического самообладания». (*Биография... С. 35.*)

Д.В. ГРИГОРОВИЧ

С неумеренною пылкостью моего темперамента и вместе с тем крайнею мягкостью и податливостью характера, я не ограничился привязанностью к Достоевскому, но совершенно подчинился его влиянию. Оно, надо сказать, было для меня в то время в высшей степени благотворно. Достоевский во всех отношениях был выше меня по развитости; его начитанность изумляла меня. То, что сообщал он о сочинениях писателей, имя которых я никогда не слыхал, было для меня откровением. (*Рус. мысль. 1892. № 12. С. 22.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 1 января 1840. Петербург

Что же касается до Гомера и Victor'a Hugo[1], то ты, кажется, нарочно не хотел понять меня. Вот как я говорю: Гомер (баснословный человек, мо-

[1] Виктора Гюго (*фр.*).

жет быть как Христос, воплощённый богом и к нам посланный) может быть параллелью только Христу, а не Гёте. Вникни в него, брат, пойми «Илиаду», прочти её хорошенько (ты ведь не читал её? признайся). Ведь в «Илиаде» Гомер дал всему древнему миру организацию и духовной и земной жизни, совершенно в такой же силе, как Христос новому. Теперь, поймёшь ли меня? <...> Прощай, милый! (*ПСС. XXVIII. 1. С. 69.*)

Высочайший инженер

А.И. САВЕЛЬЕВ

Раз даже Достоевский, будучи ординарцем, представлялся вел<икому> князю Михаилу Павловичу, подходя к которому и сделав на караул, он оробел и вместо следующей фразы: «К в<ашему> и<мператорскому> в<ысочеству>» — громко сказал: «К вашему превосходительству». Этого было довольно, чтобы за это досталось и начальству, и самому ординарцу. (*Рус. старина. 1918. № 1–2. С. 20.*)

О.Ф. МИЛЛЕР

К числу неприятностей, перенесённых Ф<ёдором> М<ихайлови>чем в Инженерном училище, относится и то, что со слов его записала Анна Григорьевна об отправлении его в ординарцах к В<еликому> К<нязю> Михаилу Павловичу. При этом он забыл отрапортовать слова: «к Вашему Императорскому Высочеству». «Посылают же таких дураков», — заметил Великий Князь. (*Биография... С. 45.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.А. ДОСТОЕВСКОМУ. 5 июня 1838. Петербург

Пять смотров великого князя и царя измучили нас. Мы были на разводах, в манежах вместе с гвардиею маршировали церемониальным маршем, делали эволюции и перед всяким смотром нас мучили в роте на ученье, на котором мы приготовлялись заранее. Все эти смотры предшествовали огромному, пышному, блестящему *майскому параду*, где присутствовала вся фамилия царская и находилось 140 000 войска. Этот день нас совершенно измучил. — В будущих месяцах мы выступаем в лагери. (*ПСС. XXVIII. 1. С. 48–49.*)

Д.В. ГРИГОРОВИЧ

В лагерное время прекращались всякие классные занятия. Занимались только шагистикой, военными эволюциями, приготовлением к линейным учениям и манёврам, которыми командовал обыкновенно сам государь Николай Павлович. (*Рус. мысль. 1892. № 12. С. 19.*)

Из дневника Н.А. МОМБЕЛЛИ

Относительно здоровья и во всем другом выгоды тирана совершенно противоположны нашим, напр<имер>, манёвры страшным образом разрушают наше здоровье, а император часто затевает манёвры именно для поправления своего здоровья: ему прописали это лекарство Арендт и другие лекаря как лучшее средство для рассеяния, зная его особенную наклонность к военным экзерциям. (*Дело петрашевцев. I. С. 338.*)

А. де КЮСТИН

Император лично командовал смотром[1]. Несколько очень удачно выполненных перестроений, по-видимому, вполне удовлетворили его величество. Он изволил взять за руку одного из самых юных кадет, подвёл его к императрице, затем поднял его на уровень своего лица, то есть над головой всех остальных, и публично его расцеловал. (*Николаевская Россия. С. 148.*)

С.М. СОЛОВЬЁВ

Смотр стал целью общественной и государственной жизни. Всё делалось напоказ, для того, чтоб державный приехал, взглянул и сказал: — Хорошо! всё в порядке! — Отсюда всё потянулось напоказ, во внешность, и внутреннее развитие остановилось. Начальники выставляли Россию перед императором на смотр на больших дорогах — и здесь всё было хорошо, всё в порядке; а что было дальше, туда никто не заглядывал, там был чёрный двор. Учебные заведения также смотрелись, всё было чисто, вылощено, опрятно, воспитанники стояли по росту и дружно кричали: «Здравия желаем, в<аше> и<мператорское> в<еличество>!» Больше ничего не спрашивалось. (*Записки... С. 120.*)

Н.С. ЛЕСКОВ. Русский демократ в Польше

Удивительно вспомнить, как люди, бывало, с особенною серьёзностью внушали, что «Россия государство не торговое и не земледельческое, а военное, и призвание его быть грозою света»...

М.А. КОРФ

Склонность Николая Павловича к *строительной* части начала выражаться довольно рано: в его играх заметно было стремление ко всякого рода постройкам; рисовать любил он также не столько фигуры и другие предметы, сколько *домики и крепости* <...>. Всё военное было до такой сте-

[1] Маркиз де Кюстин описывает смотр военно-учебных заведений в Петергофе летом 1839 г., в котором, судя по всему, должен был участвовать Достоевский.

пени на первом плане, что даже когда Николай Павлович строил дачу для няни или гувернантки, из стульев, земли или игрушек, то он никогда не забывал *укрепить* её пушками, «*для защиты*». Михаил Павлович, будучи гораздо живее своего брата, столько же любил *разрушать*, сколько тот любил *строить* крепости, гавани, мосты и проч., и потому старший брат часто боялся даже присутствия младшего для своих построек. (*Материалы и черты... С. 36.*)

А. КОРСАКОВ. Детство и отрочество Николая Павловича

<...> великий князь Николай с самого детства своего, как только мог ходить и владеть руками, стал высказывать свой вкус к военным игрушкам: видели, как он носил ружьё, взмахивал шпагою, бил в барабан. Едва он стал понимать первое значение слов, как находил большое удовольствие в рассказах о войне и сражениях; он охотно проводил бы целые дни слушая их, выслушав — желал бы ещё слушать. Лучшею наградою для него было, когда воспитатель его Ламсдорф мог ему обещать сводить его в день парада на место развода. Он отправлялся туда с восторгом, с поспешностью и оставался там как можно дольше, наслаждаясь зрелищем, которое он наблюдал в малейших подробностях. (*Рус. мысль. 1896. № 6. С. 284.*)

А.И. САВЕЛЬЕВ

С восшествием на престол, Император Николай I не оставлял без внимания своего любимого заведения и постоянно интересовался всем, что касалось до Инженерного Училища, им созданного. Не только всё начальство, профессоры, преподаватели и дежурные офицеры были ему лично известны, но воспитанники и все служители. (*Ист. очерк... С. 244.*)

Г.И. ТИМЧЕНКО-РУБАН

Все историографы русского инженерного учреждения единогласно удостоверяют, что Николай Павлович превосходно знал личный состав инженерного корпуса. (*Очерк деятельности... I. С. 25.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М. А. ДОСТОЕВСКОМУ. 5 июня 1838. Петербург

Решительно все мои новые товарищи запаслись собственными киверами; а мой казённый мог бы броситься в глаза царю. Я вынужден был купить новый, а он стоит 25 рублей. На остальные деньги я поправил инструменты и купил кистей и краски. Всё надобности! К лагерям же наступит ужаснейшая необходимость, ибо там без денег

беда. Если можно, папенька, пришлите мне хоть что-нибудь. (*ПСС. XXVIII. 1. С. 48.*)

Г. И. ТИМЧЕНКО-РУБАН

Назначение молодого Великого Князя <Николая Павловича в 1817 г.> генерал-инспектором по инженерной части на 21 году от роду не явилось простой случайностью. Во главе ведомства было поставлено лицо, давно уже тяготевшее к военно-инженерной специальности и увлекавшееся ею с младенческих лет. <...> любимой забавой их <Николая и Михаила Павловичей> были всегда именно военные игры, любимыми игрушками — оловянные солдатики. (*Очерк деятельности... I. С. 7.*)

М.С. МАКСИМОВСКИЙ

Инженерное училище всегда отличалось самою пламенной преданностью царствующему дому. *Государь*, передавший в 1825 г. *Наследника Цесаревича*, во время декабрьских событий, на руки Л.-гв. Саперному Баталиону, который тогда, по первому призыву, поспешно был приведён ко дворцу доблестным ротным командиром, капитаном П.А. Витовтовым, передавал Своего Августейшего Первенца в верные руки. В Инженерном ведомстве помнили всегда этот высший знак *Царского* доверия и гордились им. Инженерное училище было отражением настроения целого ведомства. (*Ист. очерк... 1-я пагин. С. 112.*)

Г.И. ТИМЧЕНКО-РУБАН

Особое расположение высказывал Николай Павлович училищу до конца своих дней <...>.

<...> Николай Павлович, и поначалу чувствовавший большую склонность к инженерному корпусу, с течением времени стал смотреть на сапёрных и инженерных офицеров как на людей ему особо близких. По удостоверению барона Корфа, уже будучи на престоле, он постоянно говорил: «Мы, инженеры...», «Наша инженерная часть...» <...> Инженерный мундир Император считал почётным <...>. (*Очерк деятельности... I. С, 14, 17.*)

«Кипит весёлый Петергоф...»

Л.М. ЖЕМЧУЖНИКОВ

Лагерь мы любили; здесь было свободнее; соблазняли нас разносчики, нравилось нам гулянье в царских садах, купание в море, несмотря на продолжительные учения и смотры. (*Мои воспоминания из прошлого. М., 1971. С. 46.*)

Из приказа по Главному инженерному училищу. 7 июня 1838

Вследствие приказания по военно-учебным заведениям от 6-го июня о выступлении в лагерь 11-го числа июня, кондукторские классы сего числа кончаются. Вследствие сего предписываю: 1) Взятые кондукторами из библиотеки книги сдать обратно в оную 8-го числа в 8 часов утра. 2) Сдать в библиотеку для хранения классные чертежи. 3) Занятия в лагерях должны состоять из решения геометрических практических задач и в съёмке и нивелировании местности, в разбитии и дефилировании полевых укреплений и в производстве сапёрных и линейных работ. (*Мат. и исслед. 5. С. 183.*)

А.И. САВЕЛЬЕВ

Достоевский, как «слабый по фронту», назначался в «квартирьеры», т. е. в то число (четырёх человек) кондукторов, которых посылали с офицером за день до выступления роты из Петербурга в Петергоф, для занятия изб и сараев для ночлега роты, в дер<евне> «Старая Кикинка». (*Рус. старина. 1900. № 8. С. 332.*)

Д.В. ГРИГОРОВИЧ

В бытность нашу в кадетском лагере нас иногда <...> вели в нижнюю часть петергофского парка к Самсону; там устанавливали нас <...> против одного из бассейнов, куда стекает вода, ниспадающая по ступеням мраморной лестницы; на верхней площадке, перед дворцом, помещались придворные, окружавшие Государыню Александру Фёдоровну. Несколько минут спустя выходил Государь и здоровался с нами. Выровняв наши ряды, он отходил в сторону и командовал: «Раз! Два! Три!» По третьей команде мы бултыхались в бассейн и, цепляясь друг за дружку, сбиваемые водой, старались взобраться по ступенькам каскада до верхней площадки; первым трём, опередившим других, императрица собственноручно дарила призы <...>. (*Рус. мысль. 1892. № 12. С. 19–20.*)

А.И. САВЕЛЬЕВ

Кроме строевых и специальных занятий, в которых они <Достоевский и Бережецкий> обязательно участвовали, оба приятеля избегали подчинённости; в то время, когда отправляли командами при офицере гулять в саду «Александрии» или водили купаться, они никогда не были. Точно так же их нельзя было видеть в числе участвовавших на штурме лестниц Сампсониевского фонтана и пр. Занятия и удовольствия летом у двух приятелей были те же, что и зимою. (*Рус. старина. 1918. № 1–2. С. 15.*)

П.С. НИКОЛАЕВ

Император Николай Павлович всякий вечер объезжал лагерь или один в дрожках или в тюльбюри с Августейшим Семейством. Помню, как он однажды приехал к нам, остановился на плацу и позвал к себе кадет; когда все это детское население окружило Его, Он спросил: «А кто меня догонит?» — и пустился бежать вдоль плаца. Кадеты за ним; в другой раз он приехал поздно, дал знать рукою, чтобы не кричать, как это водилось, «всем на линию», подошёл к барабанщику, взял палки и собственноручно пробил тревогу. (*Отдел рукописей ГБЛ, 358, 408. 10. Л. 58 об.*)

М.С. МАКСИМОВСКИЙ

Однажды, после непродолжительного манёвра вследствие тревоги, Его Величество приказал кондукторам выстроить укрепление; он неоднократно изволил приезжать на место постройки укрепления и принимал участие в работе, надевая для того холщовую кондукторскую куртку. (*Ист. очерк... 1-я пагин. С. 112–113.*)

К.В. ЗАИКОВСКИЙ

Несколько воспитанников разных корпусов, подстрекаемые любопытством, вздумали прогуляться по царским покоям <в Петергофе> <...> и таким образом, переходя из комнаты в комнату, очутились в кабинете государя. Не успели они ещё опомниться от испуга, что уже слишком далеко зашли, как входит государь. Кадеты наши обезумели от страха; но государь, всегда милостивый и снисходительный к детским увлечениям, надрал шутя уши шалунам и сказал: «Вы здесь лишние гости». Этим отеческим выговором и отделались смельчаки. (*Ист. вестник. 1886. № 4. С. 113.*)

Л.М. ЖЕМЧУЖНИКОВ

Государь играл с нами; в расстёгнутом сюртуке ложился он на горку, и мы тащили его вниз или садились на него, плотно друг около друга; и он встряхивал нас, как мух. Любовь к себе он умел вселять в детях <...>. (*Мои воспоминания из прошлого. С. 38.*)

В.Д. ХЛЕБНИКОВ

Никогда не забуду того страха, который я испытал в минуту раздражения Государя после одного из учений, которое он делал в Петергофе отряду военно-учебных заведений. На заднем от нашего лагеря поле было грязно, много луж. Когда приходилось идти через воду, то натурально, что многие предпочитали или обойти лужу, или прыгнуть через неё. Государь за это был нами недоволен и по окончании ученья, подойдя к нашей роте, начал кричать на нас. В свою очередь мы были утомлены, голодны, а следовательно,

и нетерпеливы; двое или трое из нас, довольно громко, в ответ на его брань, посылали по его адресу очень резкие эпитеты. Я думал, что если только он услышит, то беда нам всем неминучая; но к счастью он в пылу гнева не слыхал, и дело окончилось благополучно. (*Рус. архив. 1907. Кн. 1. С. 383–384.)*

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ. Петергофский праздник. 1833–1834

Кипит весёлый Петергоф,
Толпа по улицам пестреет,
Печальный лагерь юнкеров
Приметно тихнет и пустеет.
Туман ложится по холмам,
Окрестность сумраком одета —
И вот к далёким небесам,
Как долгохвостая комета,
Летит сигнальная ракета.

А. де КЮСТИН

В петергофском парке можно проехать с милю, не побывав два раза на одной и той же аллее; вообразите же себе весь этот парк в огне! В этой льдистой и лишённой яркого солнечного света стране иллюминации похожи на пожары. Кажется, будто ночь хочет вознаградить людей за тусклый день. Деревья исчезают под бриллиантовыми ризами, и в каждой аллее огней больше, чем листьев. Перед вами Азия, не реальная Азия наших дней, но сказочный Багдад из «Тысячи и одной ночи» или ещё более сказочный Вавилон времён Семирамиды.

Говорят, что в день тезоименитства императрицы <Александры Фёдоровны> шесть тысяч экипажей, тридцать тысяч пешеходов и бесчисленное множество лодок покидают Петербург и располагаются лагерем вокруг Петергофа. <...> Конечно, войска тоже принимают участие в празднестве: часть гвардии и кадетские корпуса стоят в лагерях около царской резиденции. <...>

Солдаты в лагерях подчинены дисциплине ещё более строгой, чем в казарме. Такой суровый режим среди глубокого мира и к тому же в день народного празднества заставляет меня вспомнить отзыв великого князя Константина о войне: «Я не люблю войны, — сказал он однажды, — она портит солдат, пачкает мундиры и подрывает дисциплину». (*Николаевская Россия. С. 141, 143.*)

А.И. САВЕЛЬЕВ

<...> ему <Достоевскому> приходилось видеть <...> крестьян в пригородных деревнях, когда летом, идя в лагеря в Петергоф, кондукторская рота ночевала в деревне Старая Кикенка. Здесь представлялась картина нищеты, в ужасающих размерах, от бедности, отсутствия промыслов, дурной глинистой почвы и безработицы. <...> Поразительная бедность, жалкие избы и масса детей, при бескормице, увеличивали сострадание в молодых людях к крестьянам Старой Кикенки. Д<остоевский>, Б<ережецкий> и многие их товарищи устраивали денежную складку, сбирали деньги и раздавали беднейшим крестьянам. (*Рус. старина. 1918. № 1–2. С. 16.*)

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ. Петергофский праздник. 1833–1834

Узоры радужных огней,
Дворец, жемчужные фонтаны,
Жандармы, белые султаны,
Корсеты дам, гербы ливрей <...>.

Пить или не пить: к вопросу о чае

ДОСТОЕВСКИЙ — М.А. ДОСТОЕВСКОМУ. 23 марта 1839. Петербург

Я задолжал кругом и очень много. Я должен по крайней мере 50 р. Боже мой! Долго ли я ещё буду брать у Вас последнее. Но эта помощь необходима или я пропал. Срок платежа прошел давно. Спасите меня. Пришлите мне 60 р. (50 р. долга, 10 для моих расходов до лагеря). Скоро в лагери, и опять новые нужды. Боже мой! Знаю, что мы бедны. Но, Бог свидетель, я не требую ничего лишнего. Итак, умоляю Вас, помогите мне скорее, как можно. <...>

Я сейчас только приобщался. Денег занял для священника. Давно уже не имею ни копейки денег. (*ПСС. XXVIII. 1. С. 57.*)

М.М. ДОСТОЕВСКИЙ — М.А. ДОСТОЕВСКОМУ. 26 мая 1838. Ревель

Брата я также ссужал деньгами: на книги; с них брали также подписку за исповедь и за коньки! Это уж всегда бывает! Да и так ему иногда надобились деньги на мелочи. (*Лит. наследство. Т. 86. С. 362.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.А. ДОСТОЕВСКОМУ. 5–10 мая 1839. Петербург

Волей или неволей, а я должен сообразовываться вполне с уставами моего теперешнего общества. К чему же делать исключения собою? Подобные исключенья подвергают иногда ужасным неприятностям. Вы сами это понимаете, любезный папенька. Вы жили с людьми.

Теперь лагерная жизнь каждого воспитанника военно-учебных заведений требует по крайней мере 40 р. денег. (Я Вам пишу всё это потому, что я говорю с отцом моим.) В эту сумму я не включаю таких потребностей, как например: иметь чай, сахар и проч. Это и без того необходимо не из одного приличия, а из нужды. Когда вы мокнете в сырую погоду, придя с ученья усталый, озябший, без чаю можно заболеть; что со мною случилось прошлого года на походе. Но всё-таки я, уважая Вашу нужду, не буду пить чаю. (*ПСС. XXVIII. 1. С. 60.*)

Л.Ф. ДОСТОЕВСКАЯ

Достоевский возмущался лишениями и унижениями, которым их подвергала скупость отца, скупость тем более недостойная, что мой дед владел имением и деньгами, которые он копил для приданого своим дочерям. Мой отец полагал, что, избрав для него блестящее и выдающееся учебное заведение, дед обязан был доставлять ему достаточно средств для того, чтобы он мог жить так же, как его товарищи. (*Достоевский в изображении дочери... С. 16.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.А. ДОСТОЕВСКОМУ. 5–10 мая 1839. Петербург

Милый, добрый родитель мой! Неужели Вы можете думать, что сын Ваш, прося от Вас денежной помощи, просит у Вас лишнего. Бог свидетель, ежели я хочу сделать Вам хоть какое бы то ни было лишенье, не только из моих выгод, но даже из необходимости. Как горько то одолжение, которым тяготятся мои кровные. У меня есть голова, есть руки. Будь я на воле, на свободе, отдан самому себе, я бы не требовал от Вас копейки; я обжился бы с железною нуждою. (*ПСС. XXVIII. 1. С. 60.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 9 августа 1838. Петербург

Ну брат! ты жалуешься на свою бедность. Нечего сказать, и я не богат. Веришь ли, что я во время выступленья из лагерей не имел ни копейки денег; заболел дорогою от простуды (дождь лил целый день, а мы были открыты) и от голода и не имел ни гроша, чтоб смочить горло глотком чаю. Но я выздоровел, и в лагере участь моя была самая бедственная до получения папенькиных денег. Тут я заплатил долги и издержал остальное. (*ПСС. XXVIII. 1. С. 50.*)

Л.М. ЖЕМЧУЖНИКОВ

Спали мы в больших, хороших палатках, но в сильный дождь они промокали до того, что одеяло и постель были мокры, и только

оставалось сухое то место, на котором лежишь. Тюфяки и подушки были парусиновые, набитые соломой. Ружья стояли посреди палатки. Умывались в поле, далеко от палаток, на открытом воздухе. (*Мои воспоминания из прошлого. С. 47.*)

М.С. МАКСИМОВСКИЙ

Его Величество, посетив раз кадетский лагерь, нашёл, что кондукторы лежали в сырости и на совершенно мокрой соломе. Он приказал отправлять маленьких на ночь во дворец, а большим умывать по вечерам ноги водкою. (*Ист. очерк... 1-я пагин. С. 112.*)

П.П. СЕМЁНОВ-ТЯН-ШАНСКИЙ

Я жил в одном с ним лагере, в такой же полотняной палатке, отстоявшей от палатки, в которой он находился (мы тогда не были знакомы), всего только в двадцати саженях расстояния, и обходился без *своего* чая (казённый давали у нас по утрам и вечерам, а в Инженерном училище один раз в день), без собственных сапогов, довольствуясь казёнными, и без сундука для книг, хотя я читал их не менее, чем Ф.М. Достоевский. Стало быть, всё это было не действительной потребностью, а делалось просто для того, чтобы не отстать от других товарищей, у которых были и свой чай, и свои сапоги, и свой сундук. В нашем более богатом, аристократическом заведении мои товарищи тратили в среднем рублей триста на лагерь, а были и такие, которых траты доходили до 3000 рублей, мне же присылали, и то неаккуратно, 10 рублей на лагерь, и я не тяготился безденежьем. (*Детство и юность. С. 209.*)

Л.М. ЖЕМЧУЖНИКОВ

Лагерная столовая стояла далеко; это был навес на деревянных столбах, вдоль которого тянулись столы, покрытые чёрной клеёнкой, и на них расставлены были деревянные миски, ложки, кружки с квасом и чёрный хлеб. К каждой миске садилось пять, шесть человек, составляющих артель. <...> Кормили нас в лагерях лучше, чем в городе, из боязни, что приедет царь и попробует, что он делал нередко. (*Мои воспоминания из прошлого. С. 47.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.А. ДОСТОЕВСКОМУ. 5–10 мая 1839. Петербург

Пишете, любезнейший папенька, что сами не при деньгах и что уже будете не в состоянье прислать мне хоть что-нибудь к лагерям. Дети, понимающие отношенья своих родителей, должны сами разделять с ними все радости и горе; нужду родителей должны вполне нести дети. Я не буду требовать от Вас многого.

Что же; не пив чаю, не умрёшь с голода. Проживу как-нибудь! Но я прошу у Вас хоть что-нибудь мне на сапоги в лагери; потому что туда надо запасаться этим. (*ПСС. XXVIII. 1. С. 58.*)

М.А. ДОСТОЕВСКИЙ — ДОСТОЕВСКОМУ. 27 мая 1839. Даровое

Любезный друг Фединька! <...>

Пишешь, что терпишь и в лагерях будешь терпеть нужду в самых необходимейших вещах, как то: в чае, сапогах и т. п., и даже изъявляешь на ближних твоих неудовольствие, в коем разряде без сомнения и я состою, в том, что они тебя забывают. Как ты несправедлив ко мне в сём отношении! Ты писал что состоишь должным 50 р. и просил, чтобы прислать тебе для расплаты, а также и для себя хотя 10 р., вот твои слова. Я выслал тебе семьдесят пять рублей <...> Теперь ты, выложивши математически свои надобности, требуешь еще 40 руб. Друг мой! роптать на отца за то, что он тебе прислал, сколько позволяли средства, предосудительно и даже грешно. Вспомни, что я писал третьего года к вам обоим, что урожай хлеба дурной, прошлого года писал тоже, что озимого хлеба совсем ничего не уродилось. Теперь пишу тебе, что за нынешним летом последует решительное и конечное расстройство нашего состояния. Представь себе зиму, продолжавшуюся почти 8 месяцев, представь, что по дурным нашим полям мы и в хорошие годы всегда покупали не только сено, но и солому, то кольми паче теперь для спасения скота я должен был на сено и солому употребить от 500 до 600 руб. Снег лежал от мая месяца, следовательно, кормить скот чем-нибудь надобно было. Крыши все обнажены для корму. Но это ничто в сравнении с настоящим бедствием. С начала весны и до сих пор ни одной капли дождя, ни одной росы. Жара, ветры ужасные всё погубили. Озимые поля черны, как будто и не были сеяны; много нив перепахано и засеяно овсом, но это, по-видимому, не поможет, ибо от сильной засухи, хотя уже конец мая, но всходов ещё не видно. Это угрожает не только разорением, но и совершенным голодом! После этого станешь ли роптать на отца за то, что тебе посылает мало. Я...[1] я себе решительно... сделал ни одного, старое... в ветхость, не имею никогда собственно для себя ни одной копейки, но я подожду. Теперь посылаю тебе тридцать пять рублей асс<игнациями>, что по московскому курсу составляет 45 р. 75 к., расходуй их расчётливо, ибо, повторяю, что я не скоро буду в состоянии тебе послать. (*В семье и усадьбе... С. 120–121.*)

[1] «Край листа вырван, отчего пострадал текст письма». (*Примеч. В.С. Нечаевой*).

М.М. ДОСТОЕВСКИЙ — А.А. и А.Ф. КУМАНИНЫМ. 30 июня 1839. Ревель

Подивитесь предчувствию души моей. В ночь на 8-е июня — я видел во сне покойного папиньку. Вижу, как будто он сидит за письменным столиком и весь как лунь седой; ни одного волоса чёрного; я долго смотрел на него, и мне стало так грустно, так грустно, что я заплакал; потом я подошёл к нему и поцеловал его в плечо, не быв им замеченным, и проснулся. Я тогда же подумал, что это не к добру <...>. (*В кн.: Воспоминания Андрея Михайловича Достоевского. С. 414.*)

Опасности, подстерегающие вдовцов

ДОСТОЕВСКИЙ — А.Г. ДОСТОЕВСКОЙ. 28 апреля 1871, Висбаден

<...> я сегодня ночью видел во сне *отца*, но в таком ужасном виде, в каком он два раза только являлся мне в жизни, предрекая грозную беду, и два раза сновидение сбылось. (*ПСС. XXIX. 1. С. 197.*)

А.Г. ДОСТОЕВСКАЯ

Ф<ёдор> М<ихайлович> придавал значение снам. Очень тревожился он, когда видел во сне брата Мишу и в особенности отца. Сновидение предвещало горе или беду и я была несколько раз свидетельницею тому, что вскоре (дня 2–3 спустя) после подобного сновидения наступала чья-либо болезнь или смерть в нашей семье, доселе здоровой, тяжёлый припадок с Ф<ёдором> М<ихайловичем> или какая-нибудь материальная беда. (*В кн.: Письма Ф.М. Достоевского к жене. М. – Л., 1926. С. 316.*)

Из «Ведомости Тульской Епархии Каширского уезда села Моногарова церкви Сошествия Святого Духа... обретающимся при оной церкви в приходе нижеявленных чинов людям». 1838

Сельца Дарового Помещик надворный советник Михаил Андреев Достоевский вдов — 51 г.[1]

дети ево: Николай — 6 л.

Александра — 3 л.

живущая в доме его московская мещанка девица Елена Флорова[2] — 63 г. (*В семье и усадьбе... С. 156.*)

[1] В 1838 г. М.А. Достоевскому, если верить формулярным спискам, 49 лет. Но, может быть, на исповеди он называет более точную цифру? Ср. с. 45 и с. 96.

[2] Алёна Фроловна.

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

Но, наконец, вот он <М. А. Достоевский> в деревне, в осенние и зимние месяцы, когда даже и полевые работы прекращены. — После очень трудной двадцатипятилетней деятельности отец увидел себя закупоренным в две-три комнаты деревенского помещения, без всякого общества. Овдовел он в сравнительно не старых летах, ему было 46–47 лет. По рассказам няни Алёны Фроловны он в первое время даже доходил до того, что вслух разговаривал, предполагая, что говорит с покойной женой и отвечая себе её обычными словами... От такового состояния, особенно в уединении, недалеко и до сумасшествия. Независимо всего этого он понемногу начал злоупотреблять спиртными напитками. В это время он приблизил к себе бывшую у нас в услужении ещё в Москве девушку Катерину. При его летах и в его положении, кто особенно осудит его за это?! (*Воспоминания... С. 109.*)

Ведомость церкви Сошествия Святого Духа с. Моногарова. 1838

<...> сын её <Катерины> незаконнорожденный Симеон 3 мес[1]. <...>. (*В семье и усадьбе... С. 58.*)

Из черновиков воспоминаний А.М. ДОСТОЕВСКОГО

Причины смерти отца.

Сильная любовь его к матери, его сумасшествие, его привязанность к рюмочке. Приближение Катьки. Постоянное возбуждённое состояние <...>. (*В семье и усадьбе... С. 60.*)

ДОСТОЕВСКИЙ. Из черновых материалов к «Житию великого грешника»

<Альфонский> открыто держит любовницу. Осипова сестра. (Тутто и засёк брата Осипова.) А<льфонско>го убивают крестьяне. ... А<льфонско>го, задурившего в деревне, *могли* убить крестьяне, чему мальчик мог быть свидетелем и — (*ПСС. IX. С. 134.*)

АКУЛИНА, крестьянка села Дарового, бывшая прислуга Достоевских. Записано О.А. ИВАНОВОЙ в 1925 г.

Оставшись один после смерти своей жены, Михаил Андреевич очень тосковал. Во время приступов тоски он стонал, бегал по комнате и даже бился головой об стену. (*Хроника рода Достоевского. С. 55.*)

[1] Запись в церковной ведомости относится к февралю 1838 г. Таким образом выясняется, что сводный брат Достоевского появился на свет Божий ровно через девять месяцев после смерти Марии Фёдоровны и был, так сказать, следствием тех утешений, которые позволил себе овдовевший супруг.

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

Пристрастие его к спиртным напиткам видимо увеличилось, и он почти постоянно бывал не в нормальном состоянии. (*Воспоминания... С. 109.*)

А. ДРОЗДОВ. Усадьба Достоевского

Память о себе Михаил Андреевич оставил недобрую. Потеряв жену, он шатнулся душой. Боль по умершей вылилась в тоску и в крутую жестокость с мужиками. (*Известия. 1924. 4 ноября.*)

Л.Ф. ДОСТОЕВСКАЯ

Алкоголизм моего деда был роковым почти для всех его детей. Его старший сын Михаил и самый младший Николай унаследовали эту болезнь. Мой дядя Михаил, хотя и пил, однако, мог всё-таки работать. Но несчастный дядя Николай, блестяще окончивший курс, никогда ничего не делал и всю жизнь был в тягость братьям и сёстрам. Эпилепсия моего отца была, очевидно, следствием той же причины. (*Достоевский в изображении дочери... С. 19.*)

А.А. ДОСТОЕВСКИЙ (сын А.М. Достоевского)

Если наш дед Михаил Андреевич был, действительно, алкоголиком, то страдание это появилось у него уже позже рождения всех его детей. Судя по описанию патриархального быта моих дедов, когда Михаил Андреевич с утра до вечера в течение 25 лет был постоянно на работе, всегда окружённый людьми, судя по тому, что он часто бранил своего шурина (брата жены) за пьянство, судя по восторженным, я бы сказал, отзывам Фёдора Михайловича о своих родителях — трудно предположить, чтобы в период детства своих сыновей и дочерей он предавался этой пагубной страсти. (*Хроника рода Достоевского. С. 52.*)

М.А. ИВАНОВА

Незадолго до смерти намеревался жениться на соседней помещице Александре Дмитриевне Лагвеновой, которая была очень недурна собой. Знакомство и дружба между потомками Лагвеновой и М.А. Достоевского (Ивановыми) продолжается до сих пор, на протяжении трёх поколений. (*Хроника рода Достоевского. С. 55.*)

«...Бессмысленный и беспощадный»

ДАНИЛ МАКАРОВ, крестьянин с. Дарового. Записано Д. Стоновым в 1926 г.

Я, гражданин <...> старого барина, конечно, не упомнил — где там! Мне отец-покойник рассказывал о нём. Зверь был человек! Душа у него была тёмная — вот что! (*Красная нива. 1926. № 16. С. 18.*)

И.П. ПЕРЛОВ

Тяжёлый в семье, Мих<аил> Андр<еевич> был суровым крепостником по отношению к крестьянам: недаром старики до сих пор не забыли его ужасных экзекуций; эта память невольно затемняет у них славу его сына, искупившего каторгой вину своего отца. (*По Тульскому краю. Пг., 1925. С. 525–526.*)

И.В. МЕЛИХОВ, крестьянин с. Чермошны. Записано В.С. Нечаевой в 1925 г.

Семён[1] был хитрый мужик. Вёз он раз воз ржи мимо барского дому. А в старину было так: всяк должон у барского дома шапку снять. Семён, чтобы шапки не снимать, взял да по другую сторону дома и поехал. А барин-то зашёл с другой стороны и говорит: «Здорово, Сёмушка! Ты и шапки перед барином снять не хочешь». И велел ему закатить... (*Новый мир, 1926, № 3. С. 133.*)

А.И. ГЕРЦЕН. Былое и думы

А тут чувствительные сердца и начнут удивляться, как мужики убивают помещиков с целыми семьями <...>.

В передних и девичьих, в сёлах и полицейских застенках, схоронены целые мартирологи страшных злодейств, воспоминание о них бродит в душе и поколениями назревает в кровавую, беспощадную месть <...>. (*Полярная звезда на 1855 год. Кн. I. С. 142.*)

А. де КЮСТИН

Крестьянские волнения растут: каждый день слышишь о новых поджогах и убийствах помещиков[2]. <...> Можете себе представить, какая расправа уготована для виновников! Впрочем, всю Россию в Сибирь не сослать! Если ссылают людей деревнями, то нельзя подвергнуть изгнанию целые губернии. (*Николаевская Россия. С. 268.*)

Из всеподданнейшего отчёта III Отделения за 1839 г.

Происходят и в прошедшем году происходили в разных местах беспорядки, ропот, неудовольствия, которые угрожают хотя отдалённою, но страшною опасностью. Так и теперь, по поводу бракосочетания великой княжны Марии Николаевны в народе разнеслась весть, что крестьяне будут освобождены. <...>

Вообще крепостное состояние есть пороховой погреб под государством и тем опаснее, что войско составлено из крестьян же и что ныне составилась огромная масса беспоместных дворян из чиновников, которые будучи воспалены честолюбием и не имея ничего терять, рады всякому расстройству. (*Крестьянское движение 1827–1869 гг. Вып. 1. М., 1931. С. 31, 41.*)

[1] Дед Мелихова.
[2] Летом 1839 г.

А.де КЮСТИН

Недавно в какой-то далёкой деревне, в которой вспыхнул пожар, крестьяне, изнемогавшие от жестокостей своего господина, воспользовались суматохой, быть может ими же вызванной, схватили своего врага, убили его, посадили на кол и сжарили в огне пожара. (*Николаевская Россия. С. 75.*)

Л.Ф. ДОСТОЕВСКАЯ

Мой дед Михаил обращался всегда очень строго со своими крепостными. Чем больше он пил, тем свирепее становился, до тех пор, пока они в конце концов не убили его. (*Достоевский в изображении дочери... С. 16.*)

«Скоропостижно умре...»

А. ДРОЗДОВ

На голой дороге между Чермашнёй и Даровым в глухую ночь Михаил Андреевич был убит крестьянами, страшное это место и ныне пугает в ночи. (*Известия. 1924, 4 ноября.*)

В.С. НЕЧАЕВА

Смутно хранится в памяти крестьян образ отца писателя, Михаила Андреевича Достоевского. Помнят, что барин был суровый, недобрый, но лично знавших его крестьян уже нет в живых. Отчётливо стоит в памяти крестьян лишь факт его насильственной смерти. Наиболее подробно рассказать об этом факте смогли два крестьянина с. Дарового, Данила Макаров и Андрей Саввушкин. Первый, девяностолетний старик, был мальчиком лет семи, когда было совершено убийство, второй рассказывал со слов своего отца. Рассказывали старики вместе, поправляя и дополняя друг друга. (*Новый мир. 1926. № 3. С. 131.*)

ДАНИЛ МАКАРОВ и АНДРЕЙ САВВУШКИН. Записано В.С. Нечаевой 8 июля 1925.

Чермашинские мужики задумали с ним кончить. Сговорились между собой — Ефимов, Михайлов[1], Исаев да Василий Никитин[2]. Теперь всё равно никого на свете нет, давно сгнили, — можно сказать.

[1] Муж Мареевой дочери Настасьи.
[2] Двоюродный брат Михайлова, свойственник Марея.

Петровками, о сю пору, навоз мужики возили. Солнце уже высоко стояло, барин спрашивает, все ли выехали на работу. Ему говорят, что из Чермашни четверо не выехало, сказались больными. «Вот я их вылечу» — велел дрожки заложить. А у него палка вот какая была. (*Новый мир. 1926. № 3. С. 132.*)

ДАНИЛ МАКАРОВ. Записано Д. Стоновым в 1926 г.

А кучер тут и не выдержал, говорит — не езжайте, барин, может с вами там что приключится. Барин на него кричит-топчет — ты хочешь, чтоб я их не лечил? Закладывай живей! — Кучер только рукой махнул, пошел запрягать. (*Красная нива. 1926. № 16. С. 18.*)

ДАНИЛ МАКАРОВ и АНДРЕЙ САВВУШКИН. Записано В.С. Нечаевой 8 июля 1925

А кучер Давид был подговорён. (*Новый мир. 1926. № 3. С. 132.*)

А. М. ДОСТОЕВСКИЙ

<...> кучер Давид Савельев <...> был крепостным ещё до женитьбы отца и жил у нас бессменно по день смерти папеньки <...>. Личность эту папенька особенно любил и уважал против прочей кухонной прислуги. (*Воспоминания... С. 28.*)

Л.Ф. ДОСТОЕВСКАЯ

В один летний день он <М.А. Достоевский> отправился из своего имения Дарового в своё другое имение под названием Чермашня и больше не вернулся... (*Достоевский в изображении дочери... С. 16.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

Вот в это-то время в деревне Черемошне на полях под опушкою леса работала артель мужиков, в десяток или полтора десятка человек; дело, значит, было вдали от жилья. (*Воспоминания... С. 109–110.*)

ДАНИЛ МАКАРОВ. Записано Д. СТОНОВЫМ в 1926 г.

Приезжает барин в Чермашню, а там никого и нет, дети — и те по домам спрятались. Только около одного дома Ефимов сидит, курит. — Почему на работу не вышел? — Болен. — Я тебя полечу, — барин говорит и дубинку поднимает: — я тебя лечить стану. А Ефимов — не будь дурак! — юрк в ворота. Барин за ним. Как он в ворота сунулся, тут все трое на него и напали. (*Красная нива. 1926. № 16. С. 18.*)

ДАНИЛ МАКАРОВ и АНДРЕЙ САВВУШКИН. Записано В.С. Нечаевой 8 июля 1925

Приехал, а мужики уже стоят на улице. — «Что не едете?» — «Мочи, говорят, нет». Он их палкой одного, другого. Они во двор, он за ними. Тут Василий Никитин — здоровый, высокий такой был, его сзади за руку схватил, а другие стоят, испугались. Василий им крикнул: «Что ж стоите? зачем сговаривались?» (*Новый мир. 1926. № 3. С. 132*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

Выведенный из себя каким-то неуспешным действием крестьян, а может быть, только казавшимся ему таковым, отец вспылил и начал очень кричать на крестьян. Один из них, более дерзкий, ответил на этот крик сильною грубостью и вслед за тем, убоявшись последствий этой грубости, крикнул: «Ребята, карачун ему!..» — и с этим возгласом все крестьяне, в числе до 15 человек, кинулись на отца и в одно мгновенье, конечно, покончили с ним... (*Воспоминания... С. 109–110.*)

Из черновиков воспоминаний А.М. ДОСТОЕВСКОГО

<два слова нрзб.> рабочих в Черемошне, крик его на крестьян. Протест их. Боязнь протеста *порешили.* (*В семье и усадьбе... С. 60.*)

В.С. НЕЧАЕВА

М.А. Иванова, со слов соседней помещицы-старушки, от которой она слышала рассказ об убийстве, сообщила нам, что убийство произошло посредством сжатия мочевого пузыря. Вследствие чего на теле будто бы нельзя было обнаружить никаких признаков насильственной смерти. (*Новый мир. 1926. № 3. С. 132.*)

ДАНИЛ МАКАРОВ и АНДРЕЙ САВВУШКИН. Записано М.В. Волоцким 8 июля 1925

Мужики бросились да за нужное место; нужное место ему завернули. Бить не били, знаков боялись. Приготовили они бутылку спирту, барину рот разжали, весь спирт ему в глотку вылили и в рот тряпку забили. От этого барин и задохнулся. (*Хроника рода Достоевского. С. 58.*)

Л.Ф. ДОСТОЕВСКАЯ

Его <М.А. Достоевского> нашли позже на полпути, задушенным подушкой из экипажа. Кучер исчез вместе с лошадьми, одновременно исчезли ещё некоторые крестьяне из деревни. Во время судебного разбирательства другие крепостные моего деда показали, что это был акт мести. (*Достоевский в изображении дочери... С. 16–17.*)

ДАНИЛ МАКАРОВ и АНДРЕЙ САВВУШКИН. Записано М.В. Волоцким 8 июля 1925

<...> его кучер увёз и под Чермошней на меже у дуба — стоит ещё и теперь дуб этот! — и свалил, а сам, не заезжая в Даровое, в Моногарово за попом. (*Хроника рода Достоевского. С. 58.*)

ДАНИЛ МАКАРОВ. Записано Д. Стоновым в 1926 г.

Приехал священник, а барин еще дыхал, говорить не может, а дыхать — дыхал.

Священник кучера спрашивает: — что ты с барином сделал?

— С ним — кучер отвечает — удар и боле ничего. А с ним удары и ране бывали. Туда-сюда — пришлось поверить. Тем дело и кончилось. (*Красная нива. 1926. № 16. С. 1*8.)

ДАНИЛ МАКАРОВ и АНДРЕЙ САВВУШКИН. Записано В.С. Нечаевой 8 июля 1925

Поп глухую исповедь принял, знал он да скрыл, крестьян не выдал. Следователи потом из Каширы приезжали, спрашивали всех, допытывали, ничего не узнали. Будто от припадка умер, у него припадки бывали. (*Новый мир. 1926. № 3. С. 132.*)

М.М. ДОСТОЕВСКИЙ — А.А. и А.Ф. КУМАНИНЫМ. 30 июня 1839. Ревель

Боже мой! Боже мой, какою ужасною смертью умер папинька! два дня на поле... может быть, дождь, пыль ругались над бренными останками его; может быть, он звал нас в последние минуты, и мы не подошли к нему, чтобы смежить его очи. Чем он заслужил себе конец такой! (*В кн.: Воспоминания Андрея Михайловича Достоевского. С. 414.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

Няня Алёна Фроловна жила вместе с папенькой в деревне и была почти свидетельницей и очевидицею катастрофы, т. е. видела труп отца. (*Воспоминания... С. 108.*)

Донесение из Каширского земского суда Тульскому гражданскому губернатору. 16 июня 1839

Сего июня 6 числа утром Надворный Советник Михаило Андреев Достоевский имея от роду 54 года[1], распоряжавший имением покойной его жены Каширского уезда в селе Даровом — быв в поле для присмотра за во-

[1] На самом деле — 50 лет.

зившими крестьянами навоз скоропостижно умре по произведённому временным отделением Сего Суда следствию в насильственной смерти его Г-на Достоевского сомнения и подозрения никакого не оказалось, а последовала таковая, как свидетельством Уездный Штаб-Лекарь Шенкнехт удостоверяет от апоплексического удара вследствие сильных гемороидальных напряжений от коих привычного пособия не было принято. (*Лит. газета. 1975, 18 июня.*)

В.С. НЕЧАЕВА

8 июля 1925 г. М.В. Волоцкий, автор труда «Хроника рода Достоевского» (1933), и я <...> ездили в Даровое со специальной целью побеседовать с крестьянами на эту тему. Обстоятельные, спокойные рассказы стариков были чужды всякого стремления к эффекту, не было в них противоречий, путаницы. Правильно назывались имена давно умерших крестьян, которые я потом проверила по церковным ведомостям села Моногарова. Они так оправдывали оглашение долго скрывавшегося преступления: «Теперь всё равно никого нет на свете, давно сгнили — можно сказать». (*Ранний Достоевский. С. 93.)*

Семейная тайна

М.М. ДОСТОЕВСКИЙ — А.А. и А.Ф. КУМАНИНЫМ. 30 июня 1839. Ревель

На этой неделе получил я от брата Фёдора письмо, в котором он извещает меня о несчастии, постигшем семейство наше. Видно, Провидению угодно было вновь поставить на пробу твёрдость нашего духа и заставить нас до дна испить чашу горести. Мы теперь круглые сироты, без матери, без отца. <...> Из деревни я не получал ещё никакого известия, а брат пишет очень неясно о всём происшедшем; потому я почти ничего не знаю подробно. (*В кн.: Воспоминания Андрея Михайловича Достоевского. С. 413.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

Сперва от меня как будто бы скрывали причину смерти отца, говоря что он скончался в одночасье, скоропостижно, ударом и т. п. Но из разговоров, высказываемых вскользь, которым я был свидетелем, я вскоре убедился, что сообщения эти неверны, и я начал приставать сперва к сестре, а потом и к тётушке <А.Ф. Куманиной>, чтобы мне сказали всю истину, и в результате достиг того, что от меня перестали скрывать действительную причину смерти отца, то есть что он был убит своими крестьянами. Впоследствии я много

слышал подробностей этого убийства из уст сестры Веры Михайловны, а главное, от девушки Ариши и от няни Алёны Фроловны. Арина Архипьевна <«Ариша»> жила у тётушки и ходила за ней. Конечно, к ней приходили родные из деревни, и от них-то она слышала все подробности, переданные мне впоследствии. (*Воспоминания... С. 108.*)

Протокол заседания Тульской врачебной управы (в изложении Г.А. Фёдорова)

6 июля в Каширский земский суд явился местный помещик ротмистр А.И. Лейбрехт, «изъявив в смерти Достоевского подозрение на крестьян его». От него потребовали «на бумаге сведения». И Лейбрехт записал: «<...> слышал от Г-на В.Ф. Хотяинцева <родственника соседа Достоевского — П.П. Хотяинцева>, что в смерти <...> Достоевского имеется сумнение в том, что будто бы какая-то девка Г-на Достоевского слышала крик его, и чтобы она о том никому не говорила брат её запрещал; люди его Достоевского так озлоблены когда обмывали тело умершего били по пятам и не хотели оное вносить в церковь». (*Лит. газета. 1975. 18 июня.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

Как стая коршунов, наехало из Каширы так называемое временное отделение. Первым его делом, конечно, было разъяснить, сколько мужики могут дать за сокрытие этого преступления. Не знаю, на какой сумме они порешили, и не знаю также, где крестьяне взяли вдруг, вероятно, немаловажную сумму денег, знаю только, что временное отделение было удовлетворено, труп отца был анатомирован, при чём найдено, что смерть произошла от апоплексического удара, и тело было предано земле в церковном погосте села Моногарова. (*Воспоминания... С. 110.*)

Резолюция на донесении исправника о необходимости доследования дела о смерти М.А. Достоевского

Напротив же сего, по произведённому следствию <...> оказалось совершенно сему <сообщенному Лейбрехтом> противное со всеми тщательными изысканиями ничего не оказалось и ни от кого никакого сумнения кроме г-на Лейбрехта. (*Лит. газета. 1975. 18 июня.*)

Из материалов следственного дела (в изложении Г.А. Фёдорова)

26 июля последовало обращение к В.Ф. Хотяинцеву за подтверждением слов Лейбрехта. Однако В.Ф. Хотяинцев «совершенно во всём сделал отрекательство». Разноречивость показаний требовала очной ставки Лейбрехта с В.Ф. Хотяинцевым. (*Лит. газета. 1975. 18 июня.*)

Из материалов следственного дела (в изложении Г.А. Фёдорова)

12 сентября они <Лейбрехт и В.Ф. Хотяинцев> явились в суд, и Лейбрехт, повторив ранее сказанное («все сии слухи», как сказано в документе), уличил Хотяинцева: его показания в суде — пересказ того, что услышано у Хотяинцева дома. Хотяинцев, однако, вновь всё отрицал и заявил: Лейбрехт «вывел» на него «всё по злобе». И тут Лейбрехт дал новые показания, из которых открылось, что В.Ф. Хотяинцев прямо просил Лейбрехта сообщить исправнику: «Г-н Хотяинцев Павел Петрович <сосед Достоевского> его ждёт к себе непременно, дабы открыть всё сие дело». (*Лит. газета. 1975. 18 июня.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

Оба Хотяинцевы, т. е. муж и жена, не скрывали от бабушки <вдовы Ф.Т. Нечаева, посетившей Даровое в конце июня 1839 г.> истинной причины смерти папеньки, но не советовали возбуждать об этом дела, как ей, так и кому-либо другому из ближайших родственников. Причины к этому выставляли следующие:

а) отца детям не воротишь;

б) трудно предположить, чтобы виновное временное отделение дало себя изловить; по всей вероятности, и второе переосвидетельствование трупа привело бы к тем же лживым результатам;

в) что ежели бы, наконец, и допустить, что дело об убиении отца и раскрылось бы со всею подробностью, то следствием этого было бы окончательное разорение оставшихся наследников, так как всё почти мужское население деревни Черемошни было бы сослано на каторгу. (*Воспоминания... С. 110.*)

Из материалов доследования (в изложении Г.А. Фёдорова)

Тульская палата уголовного суда присланные на ревизию материалы дела сочла не во всём удовлетворяющими и послала указ о продолжении следствия. Губернский прокурор непосредственно сам предписал уведомить его о расследовании. В Москву послали запросы родным и бывшей 6 июня 1839 года в Даровом няньке детей Достоевских...<...>

Каширскому предводителю дворянства <...> предписывалось, «чтоб оный в образе жизни <...> А.И. Лейбрехта и <...> В.Ф. Хотяинцева чрез кого следует учинил повальный обыск». (Представленные сведения сочтут недостаточными и потребуют дополнительных. Предводитель дворянства приходился родственником жене П.П. Хотяинцева.) От него затребовали и «как г. умерший Достоевский в жизни своей обращался с своими крестьянами и не было ли от них приносимо Ему какие либо жалобы, и буде были то какие именно и в чём оные заключаются». (*Лит. газета. 1975. 18 июня.*)

ДАНИЛ МАКАРОВ и АНДРЕЙ САВВУШКИН. Записано М.В. Белецким 8 июля 1925

Следователи потом из Каширы приезжали, спрашивали всех, допытывали, ребятишек даже гостинцами сманивали, но ничего не узнали. (*Хроника рода Достоевского. С. 58.*)

Из материалов доследования (в изложении Г.А. Фёдорова)

На заседании 13 февраля 1840 года заслушивались сведения, отобранные <...> «от крестьян г. Достоевского Андрея Миронова и прочих показания учинённые крестьянской девочки Марфы Исаевой[1] с крестьянином Алексеем Михайловым очные ставки изъятые от старосты Савина Иванова и дворового человека Григорья Васильева». (*Лит. газета, 1975, 18 июня.)*

В.С. НЕЧАЕВА

Характерно, что крестьянин Чермошни, с которым мы беседовали, семидесятилетний старик Иван Васильевич Мелихов решительно отверг факт убийства и изобразил картину смерти так, как вероятно, официально она была установлена. Барин ехал на дрожках в поле из Дарового в Чермошню; с ним сделался удар, кучер его оставил в поле и поскакал за священником в Моногарово[2]. (*Новый мир. 1926. № 3. С. 133.*)

Из черновиков воспоминаний А.М. ДОСТОЕВСКОГО

Скрыли. Почему скрыли... Почему не возбуждали <два слова нрзб.> Так и остались убийцы без наказания. Про няню, про Аришу. (*В семье и усадьбе... С. 60*)

Л.Ф. ДОСТОЕВСКАЯ

Преступления, совершаемые крестьянами из мести, были в те времена довольно часты, но не считались позорными. Сожалели о жертве, говорили с отвращением об убийцах. (*Достоевский в изображении дочери... С. 17.*)

А. де КЮСТИН

В таких случаях царь обыкновенно высылает всю деревню в Сибирь, и это называется в Петербурге: «заселять Азию». (*Николаевская Россия. С. 75.*)

[1] Может быть, всё-таки не Катерина, а «крестьянская девочка Марфа Исаева» была той «девкой Г-на Достоевского», которая слышала его предсмертный крик? Но всё это остаётся в области домыслов и предположений, покуда дело о смерти Михаила Андреевича не опубликовано полностью.

[2] Таким образом, версию об убийстве в первую очередь поддерживают крестьяне села Дарового, а жители Чермошни, чьи предки непосредственно подозреваются в убийстве, склонны защищать официальную версию.

Из постановления Каширского уездного суда. 16 ноября 1839

<...> случай смерти <...> предать суду воли Божией, так как в оной виновных никого нет. (*Лит. газета. 1975. 18 июня.*)

М.М. ДОСТОЕВСКИЙ — сестре, В.М. ДОСТОЕВСКОЙ. 1 сентября 1839. Ревель

Что делается у нас в деревне, выбраны ли у нас опекуны, нет ли каких-нибудь препятствий? — Я ничего, о всём этом ничего не знаю.<...> Мне все советуют ехать. Я и сам знаю, что это необходимо, но как я поеду? с чем я поеду? где возьму я денег на мою поездку? Между тем, из каширского суда получил я бумагу, в коей вызывают меня в деревню. (*Лит. наследство. Т. 86. С. 363.*)

Из материалов доследования (в изложении Г.А. Фёдорова)

П.П. Хотяинцев, объявивший о «вине» крестьян Достоевского, в документах дела больше не упоминается. Лейбрехту же суд считает нужным «подтвердить, чтоб он впредь в подобных сему случаях был осторожнее». (*Лит. газета. 1975, 18 июня.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

Вероятно, старшие братья узнали истинную причину смерти отца ещё ранее меня, но они молчали. (*Воспоминания... С. 110–111.)*

Л.Ф. ДОСТОЕВСКАЯ

Замечательно, что вся родня моего деда считала эту насильственную смерть позором, никогда не говорила об этом и не позволяла литературным друзьям Достоевского, которым были известны подробности его жизни, говорить об этом в их воспоминаниях о моём отце. (*Достоевский в изображении дочери... С. 17.*)

Предположение сугубо медицинского свойства

О.Ф. МИЛЛЕР

Есть одно совершенно особое свидетельство о болезни Ф<ёдора> М<ихайловича>, относящее её к самой ранней его юности и связывающее её с трагическим случаем в их семейной жизни. Но хотя это и передано мне на словах очень близким к Ф.М. человеком, я ниоткуда более не встретил подтверждения этому слуху, а потому и не решаюсь подробно и точно его изложить. (*Биография... С. 41.*)

Л.Ф. ДОСТОЕВСКАЯ

Семейное предание гласит, что с Достоевским при первом известии о смерти отца сделался первый припадок эпилепсии. (*Достоевский в изображении дочери... С. 17.*)

На что способен народ?

Л.Ф. ДОСТОЕВСКАЯ

Это преступление, совершённое во время его юности столь любимыми крестьянами Дарового, произвело глубокое впечатление на юношу. Он помнил это всю жизнь и глубоко анализировал причины этой ужасной смерти. (*Достоевский в изображении дочери... С. 17.*)

А.С. СУВОРИН

Во время политических преступлений наших он <Достоевский> ужасно боялся резни, резни образованных людей народом, который явится мстителем. — «Вы не видели того, что я видел, говорил он; вы не знаете, на что способен народ, когда он в ярости. Я видел страшные, страшные случаи». (*Новое время. 1881, 1 февраля.*)

Л.Ф. ДОСТОЕВСКАЯ

Моего отца не было дома во время этой ужасной смерти. Он больше не ездил в Даровое, так как воспитанники инженерного училища должны были оставаться в лагере в окрестностях Петербурга. (*Достоевский в изображении дочери... С. 17.*)

Отзвуки катастрофы

М.М. ДОСТОЕВСКИЙ — А.А. и А.Ф. КУМАНИНЫМ. 30 июня 1839. Ревель

Слёзы мешают писать мне далее <...>.

Братьев и сестёр всех целую. Бедная Варинька! Ты потеряла лучшего друга и нежнейшего из отцов! (*В кн.: Воспоминания Андрея Михайловича Достоевского. С. 414.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 16 августа 1839. Петербург

Милый брат! Я пролил много слёз о кончине отца, но теперь состояние наше ещё ужаснее; не про себя говорю я, но про семейство наше. <...> есть ли в мире несчастнее наших бедных братьев и сестёр? Меня убивает мысль, что они на чужих руках будут воспитаны. (*ПСС. XXVIII. 1. С. 62.*)

М.М. ДОСТОЕВСКИЙ — В.М. ДОСТОЕВСКОЙ. 1 сентября 1839. Ревель

Если б я мог поехать сам в деревню, то наверно всё бы устроил, — или, по крайней мере, вывел бы себя из этого мучительного незнания. Время идёт, вот уже четвёртый месяц, как скончался папинька, — а ещё ничего не устроено. У нас, я думаю, ужаснейший беспорядок; староста не знает, к кому относиться в делах своих; всё запечатано; Григорий писал ко мне, что ему даже не позволили выколотить папинькины шубы и он боится, чтоб в них не завелась моль. Дворовые люди гуляют, между тем как они могли бы быть отпущены по паспорту и приносить оброк; в нашем теперешнем положении и это было бы значительною помощию. Притом же, кто будет опекуном нашим? Чужой! Что ему за дело до нас?! Боюсь, сестра, боюсь, чтоб крохи, собранные покойником, не разлетелись вместе с его кончиной. <...>

Брат мне также пишет, чтоб я немедленно ехал! Ах, Варинька, ты не поверишь, какую нужду терпит он теперь. Два месяца не писал он ко мне ни слова, не имея денег на почту... Наше положение ужасно... <...> Ох, папинька, папинька! Сколько мы потеряли в тебе!.. (*Лит. наследство. Т. 86. С. 363.*)

Из дневника А.М. ДОСТОЕВСКОГО

Отец похоронен в церковной ограде. На могиле его лежит камень без всякой надписи и могила окружена деревянною решёткою, довольно ветхою. Надо будет озаботиться возобновить ограду.

Примечание А.А. Достоевского. Этого намерения Андрею Михайловичу, к сожалению, не довелось привести в исполнение. (*В кн.: Воспоминания Андрея Михайловича Достоевского. С. 411.*)

А. ДРОЗДОВ

Тело Михаила Андреевича, рядом с телом его сестры <дочери?>, погребено на запущенном моногаровском кладбище. Каменная плита сброшена с его могилы, решётка разломана. Тропинка поросла травою, в которой путается нога. Жизнь забыла о нём. (*Известия. 1924. 4 ноября.*)

Архитектура, внушающая трепет

Из ведомости о расходах ПАВЛА I в первые три недели царствования

28-го <ноября 1796 г.> На построение замка Михайловского дворца . . . .
Поведённая сумма . . . . . 395600 <руб.> (*Рус. старина. 1873. № 7. С. 99.*)

Из указа ПАВЛА I о строительстве Михайловского замка. 28 ноября 1796

<...> повелеваю употребить всевозможные способы, чтоб помянутый замок в течение будущего 1797 года мог быть вчерне отделан. (*Цит. по кн.: Михайлов А.И. Баженов М., 1951. С. 270.*)

Надпись на камне при закладке Михайловского замка

В лето 1797-е месяца февраля в 26 день, в начале царствования Государя Императора и всея Руси Самодержца Павла Первого, положено основание здания Михайловского замка Его Императорского Величества и супругою его Государынею Императрицею Мариею Фёдоровною. (*Пыляев М.И. Старый Петербург. СПб., 1887. С. 297.*)

А. КОЦЕБУ

Подвалы и нижний этаж выстроены из тесанного гранита, а два верхние этажа из кирпича, по большей части облицованного мрамором. Остальные части стен окрашены в красноватый цвет, происхождение которого преданием, довольно достоверным, приписывается рыцарской любезности. Говорят, что одна придворная дама[1] однажды явилась в перчатках этого цвета, и что император послал одну из этих перчаток в образец составителю этой краски. Надобно сознаться, однако же, что столь резкий красный цвет более приличен для пары перчаток, чем для дворца. (*В кн.: Шильдер Н.К. Император Павел Первый. СПб., 1901. С. 447.*)

К.-Ф. РОЗЕНЦВЕЙГ, саксонский посланник при дворе Павла I

У дворца было имя архангела и краски любовницы. (*Цит. по кн.: Шиман Т., Брикнер А. Смерть Павла Первого. М., 1910. С. 72.*)

А. КОЦЕБУ

Внутренность дворца представляет истинный лабиринт тёмных лестниц и мрачных коридоров, в которых день и ночь горят лампы; мне нужно было более двух недель, чтобы обойтись без провожатого и чтобы научиться ходить одному, не заблуждаясь, по этому лабиринту. (*Император Павел Первый. С. 459.*)

Н.С. ЛЕСКОВ. Привидение в Инженерном замке

У домов, как у людей, есть своя репутация. Есть дома, где, по общему мнению, *нечисто*, т. е. где замечают те или другие проявления

[1] Княгиня Анна Петровна Гагарина, урождённая княжна Лопухина, фаворитка Павла.

какой-то нечистой или, по крайней мере, непонятной силы. Спириты старались много сделать для разъяснения этого рода явлений, но так как теории их не пользуются большим доверием, то дело со страшными домами остаётся в прежнем положении.

А. де КЮСТИН

Я удивляюсь лишь тому, что до сих пор не снесли этого дворца с его мрачными воспоминаниями. Но для туриста большая удача видеть историческое здание, которое своей старинной внешностью так резко выделяется на общем фоне города, в котором деспотизм всё подстриг под одну гребенку, всё уравнял и создал заново, стирая каждый день самые следы прошлого. Впрочем, эта беспокойная стремительность, пожалуй, и является причиной того, что старый Михайловский замок уцелел: о нём просто забыли. Его огромный четырёхугольный массив, глубокие каналы, его трагические воспоминания, потайные лестницы и двери, которые так способствовали преступлению, его необычайная высота в городе, где все строения придавлены, — всё это придаёт старинному дворцу какое-то особенное величие, которое редко встречается в Петербурге. (*Николаевская Россия. С. 64.*)

Н.С. ЛЕСКОВ. Привидение в Инженерном замке

В Петербурге во мнении многих подобною худою славою долго пользовалось характерное здание бывшего Павловского дворца, известное нынче под названием Инженерного замка. Таинственные явления, приписываемые духам и привидениям, замечали здесь почти с самого основания замка. Ещё при жизни императора Павла тут, говорят, слышали голос Петра Великого и, наконец, даже сам император Павел видел тень своего прадеда. <...> Прадед будто бы покидал могилу, чтобы предупредить своего правнука, что дни его малы и конец их близок. Предсказание сбылось.

А. де КЮСТИН

Если в России молчат люди, то за них говорят — и говорят зловеще — камни. Я не удивляюсь, что русские боятся и предают забвению свои старые здания. Это — свидетели их истории, которую они чаще всего хотели бы возможно скорее забыть. Когда я увидел глубокие каналы, массивные мосты, пустынные галереи этого мрачного дворца, я невольно вспомнил о том имени, которое с ним связано, и о той катастрофе, которая возвела Александра на трон. Передо мной воскресла вся обстановка этой потрясающей сцены, которой закончилось царствование Павла I. (*Николаевская Россия. С. 63.)*

А.С. ПУШКИН. Вольность. 1817

Глядит задумчивый певец
На грозно спящий средь тумана
Пустынный памятник тирана,
Забвенью брошенный дворец <...>.

О.Ф. МИЛЛЕР

В памяти самого Ф<ёдора> М <ихайловича>, кстати будет заметить, отчётливо сохранилась историческая топография инженерного замка, который очень нравился ему своею архитектурой.

Примечание. Занесено в записную книжку А.Г. Достоевской. (*Биография... С. 44.*)

Обстоятельства места: отступление в 1801 год

А.Ф. ЛАНЖЕРОН

Павел вскочил с постели и если бы сохранил присутствие духа, то легко мог бы бежать; правда, он не мог этого сделать через комнаты императрицы <...> но мог спуститься к Гагарину или бежать оттуда. Но, по-видимому, он был слишком перепуган, чтобы соображать, и забился в один из углов маленьких ширм, загораживавших простую, без полога, кровать, на которой он спал. (*Цареубийство 11 марта 1801 года. СПб., 1907. С. 143.*)

А. ЧАРТОРЫЙСКИЙ

Ищут с фонарём в руках и скоро находят несчастного императора забившимся в складки портьеры, за которой он старался спрятаться от них. Ни жив ни мёртв, в одной сорочке, он был вытащен оттуда. <...> «Ваше Величество», сказал ему генерал <Беннигсен>, «вы — мой пленник, и ваше царствование окончено; откажитесь от короны, напишите и подпишите тотчас же акт отречения в пользу великого князя Александра». (*Мемуары князя Андрея Чарторижского и его переписка с императором Александром I. Т. 1. М., 1912. С. 219.*)

А. КОЦЕБУ

Конечно, никого бы не удивило, если бы в эту минуту, как многие уверяли, государь поражён был апоплексическим ударом. И действительно, он едва мог владеть языком, однако собрался с духом и весьма внятно сказал: «Non, non! je ne souscrirai point!»[1] (*Цареубийство II марта I80I года. С. 336.*)

[1] «Нет, нет, я это не подпишу!» (*фр.*).

Л.Л. БЕННИГСЕН

Вдруг буйная толпа ворвалась с неистовыми криками в спальню, впереди были все три брата Зубовы. (*Ист. сборник Вольной русской типографии. Кн. 2. Лондон, 1861. С. 131.*)

А.С. ПУШКИН. Вольность

<...> в лентах и звездах,
Вином и злобой упоённы,
Идут убийцы потаённы,
На лицах дерзость, в сердце страх.
Молчит неверный часовой,
Опущен молча мост подъёмный,
Врата отверсты в тьме ночной
Рукой предательства наёмной...
О стыд! о ужас наших дней!
Как звери, вторглись янычары!..
Падут бесславные удары...
Погиб увенчанный злодей.

Н.А. САБЛУКОВ

<...> <Николай Зубов> сжимая в кулаке массивную золотую табакерку, со всего размаху нанёс правою рукою удар в левый висок императора, вследствие чего тот без чувств повалился на пол. (*Цареубийство 11 марта 1801 года. С. 88.*)

А. КОЦЕБУ

В падении своём Павел хотел было удержаться за решётку, которая украшала стоявший вблизи письменный стол и выточена была из слоновой кости самою императрицею. <...>

Тут все ринулись на него. (*Цареубийство 11 марта 1801 года. С. 383.*)

А.С. ПУШКИН

Скарятин снял с себя шарф, прекративший жизнь Павла I-го. (*Полн. собр. соч. Т. VIII. М., 1958. С. 38.)*

А. ЧАРТОРЫЙСКИЙ

Один из заговорщиков, имени которого я не припоминаю, отвязал свой офицерский шарф и накинул его на шею злополучного монарха. <...> В это время, увидав красный конногвардейский мундир одного из заговорщиков и приняв последнего за сына своего Константина, император в ужасе за-

кричал: «Ваше высочество, пощадите! воздуху! воздуху!» (*Цареубийство 11 марта 1801 года. С. 275.*)

А.Ф. ЛАНЖЕРОН

<...> увидав одного офицера конной гвардии, приблизительно одного роста с великим князем Константином, он <Павел I> принял его за сына и сказал, как Цезарь Бруту: «Как! и ваше высочество здесь?» (Это слово «высочество» очень необычно при подобных обстоятельствах.) (*Цареубийство 11 марта 1801 года. С. 189.*)

А. КОЦЕБУ

Яшвиль и Мансуров накинули ему на шею шарф и начали его душить. Весьма естественным движением Павел тотчас засунул руку между шеей и шарфом; он держал её так крепко, что нельзя было её оторвать. Тогда какой-то изверг взял его за самые чувствительные части тела и стиснул их. Боль заставила его отвести туда руку, и шарф был затянут. (*Цареубийство 11 марта 1801 года. С. 383.*)

Я.И. САНГЛЕН

Однажды, несколько лет спустя, император Александр спросил <...>: «Вы знаете, что такое Болговский (Д. Н., бывший штабс-капитаном Измайловского полка)? Il a pris la tête morte de mon pere par les cheveux, l'a heurté vers la terre et a dit: Voilà le tyran!»[1] (*Цареубийство 11 марта 1801 года. С. 415.*)

А.Н. ВЕЛЬЯМИНОВ-ЗЕРНОВ

Александр плакал и рвался беспрестанно идти на помощь к своему отцу. Гг. офицеры загораживали ему путь <...> умоляли его всеми возможными убеждениями и даже ложными обещаниями, что Павел не будет лишён жизни, не стремиться к отцу и подождать возвращения от него заговорщиков. (*Ист. сборник Вольной русской типографии. Кн. 2. С. 50.*)

Т. ШИМАНН

Александр не имел мужества сам участвовать в заговоре и тем спасти отца. (*Цит. по: Эйдельман Н.Я. Грань веков. М., 1982. С. 299.*)

ДОСТОЕВСКИЙ. Братья Карамазовы

Глаза Смердякова злобно сверкнули.

[1] Он схватил мёртвую голову моего отца за волосы, стукнул ею об пол и сказал: «Вот тиран!» (*фр.*).

— А то самое я тогда разумел и для того я тогда это произносил, что вы, знамши наперёд про это убийство, родного родителя вашего, в жертву его тогда оставили, и чтобы не заключили после сего люди чего дурного об ваших чувствах, а может, и об чём ином прочем, — вот что тогда обещался я начальству не объявлять.

Н.И. ГРЕЧ

Александр, после продолжительного колебания, дал своё согласие принудить императора к отречению от короны, но с непременным условием щадить отца и не нанести ему никакого зла, никакого оскорбления. Заговорщики обещали ему свято исполнить его волю и, конечно, сами не имели намерения лишить Павла жизни, но буйные из них (Николай Зубов, князь Яшвиль и т. п.), придавшие себе смелость шампанским, увлеклись злым чувством и умертвили беззащитного своего царя, молившего о пощаде его жизни, совершили гнусное, ужасное злодеяние. (*Записки о моей жизни. М.-Л., 1930. С. 326–327.*)

А.Н. ВЕЛЬЯМИНОВ-ЗЕРНОВ

Вдруг императрица Мария Фёдоровна ломится в дверь и кричит: «Пустите, пустите!» Кто-то из Зубовых сказал: «Вытащите вон эту бабу». Евсей Гордонов, мужчина сильный, схватил её в охапку и принёс, как ношу, обратно в её спальню. Надобно заметить, что императрица была в одной рубашке. (*Ист. сборник Вольной русской типографии. Кн. 2. С. 48.*)

Л.Л. БЕННИГСЕН

Вернувшись, я вижу императора, распростёртого на полу. Кто-то из офицеров сказал мне: «С ним покончено!» <...> Итак, несчастный государь был лишён жизни непредвиденным образом и, несомненно, вопреки намерениям тех, кто составлял план этой революции. (*Цареубийство 11 марта 1801 года. С. 120.)*

К.М. ПОЛТОРАЦКИЙ

Я обожал великого князя, я был счастлив его воцарением, я был молод, возбуждён, и, ни с кем не посоветовавшись, побежал в его апартаменты. Он сидел в кресле, без мундира, но в штанах, жилете и с синей лентой поверх жилета. <...>

Увидя меня, он поднялся, очень бледный; я отдал честь, первый назвав его «Ваше императорское величество».

«Что ты, что ты, Полторацкий!» — сказал он прерывистым голосом. Железная рука оттолкнула меня, и Пален с Бенигсеном приблизились. Первый очень тихо сказал несколько слов императору, который воскликнул

с горестным волнением: «Как вы посмели! Я этого никогда не желал и не приказывал!» — и он повалился на пол. (*Грань веков. С. 327.*)

ДОСТОЕВСКИЙ. Братья Карамазовы

<Иван — Смердякову:>

— Но отвечай, отвечай, я настаиваю: с чего именно, чем именно я мог вселить тогда в твою подлую душу такое низкое для меня подозрение?

— Чтоб убить — это вы сами ни за что не могли-с, да и не хотели, а чтобы хотеть, чтобы другой кто убил, это вы хотели.

К.М. ПОЛТОРАЦКИЙ

Его <Александра> уговорили подняться, и Пален, встав на колени, сказал: «Ваше величество, теперь не время... 42 миллиона человек зависят от Вашей твёрдости». Пален повернулся и сказал мне: «Господин офицер, извольте идти в Ваш караул. Император сейчас выйдет». Действительно по прошествии 10 минут император показался перед нами, сказав: «Батюшка скончался апоплексическим ударом, всё при мне будет, как при бабушке» (*Грань веков. С. 327.*)

Из манифеста о вступлении на престол Александра I. 12 марта 1801

Судьбам Вышнего угодно было прекратить жизнь любезного Родителя НАШЕГО, Государя Императора ПАВЛА ПЕТРОВИЧА, скончавшегося скоропостижно апоплексическим ударом в ночь с 11-го на 12-е число сего месяца. (*Император Павел Первый. Вклейка к с. 489.*)

ДОСТОЕВСКИЙ. Братья Карамазовы

<Смердяков:>

— <...> главный убивец во всём здесь единый вы-с, а я только самый не главный, хоть это и я убил. А вы самый законный убивец и есть!

Дом с привидениями

А. КОЦЕБУ

Тело Павла было набальзамировано и, так как всей этой операцией распоряжался статский советник Гриве, я обязан ему подробным отчётом обо всём, что он заметил. На теле были многие следы насилия. Широкая полоса кругом шеи, сильный подтёк на виске <...> красное пятно на боку, но ни одной раны острым орудием <...> два красные шрама на обеих ляжках — вероятно, его сильно прижали к письменному столу; на коленях и далеко около них были значительные повреждения, которые доказывают, что его заставили стать на

колени, чтобы легче задушить. Кроме того, всё тело вообще было покрыто небольшими подтёками; они, вероятно, произошли от ударов, нанесённых уже после смерти. (*Цареубийство 11 марта 1801 года. С. 400–401.*)

Н.И. ГРЕЧ

Тело покойного императора было выставлено в длинной проходной комнате, ногами к окнам. Едва войдешь в дверь, указывали на другую с увещанием: «извольте проходить». Я раз десять, от нечего делать, ходил в Михайловский замок и мог видеть только подошвы его ботфортов и поля широкой шляпы, надвинутой ему на лоб. (*Записки о моей жизни. С. 191.*)

Н.С. ЛЕСКОВ. Привидение в Инженерном замке

Неожиданная внезапность кончины императора Павла, по случаю которой в обществе тотчас вспомнили и заговорили о предвещательных тенях, встречавших покойного императора в замке, ещё более увеличили мрачную и таинственную репутацию этого угрюмого дома. С тех пор дом утратил своё прежнее значение жилого дворца, а по народному выражению — «пошёл под кадетов».

А.де КЮСТИН

Теперь русские люди проходят мимо старого Михайловского дворца, не смея на него взглянуть. В школах и вообще повсюду запрещено рассказывать о смерти Павла I, и самое событие это никогда никем не упоминается. (*Николаевская Россия. С. 64.*)

Н.С. ЛЕСКОВ. Привидение в Инженерном замке

<...> спальная комната, из которой исходили главнейшие страхи Инженерного замка, была открыта и получила такое приспособление, которое изменило её жуткий характер, но предания о привидении долго ещё жили <...>. Кадеты продолжали верить, что в их замке живёт, а иногда ночами является призрак. Это было общее убеждение, которое равномерно держалось у кадетов младших и старших, с тою, впрочем, разницею, что младшие просто слепо верили в привидение, а старшие сами иногда устраивали его появление. Одно другому, однако, не мешало, и сами подделыватели привидения его тоже побаивались.

А.И. САВЕЛЬЕВ (в передаче О.Ф. Миллера)

Должно заметить, что в Михайловском (инженерном) замке сохранилось до сих пор много устных преданий о первой четверти нынешнего столетия, касающихся истории замка: сохранились указания, где была тронная зала императора, его спальня, столовая,

кухня, не так давно заделан ход в стене, в котором шла лестница из среднего этажа в нижний, уничтожен коридор, шедший к дверям, ведущим к каналу, где когда-то стояла лодка <...>.(*Биография... С. 44.*)

Н.С. ЛЕСКОВ. Привидение в Инженерном замке

Особенно было в моде пугать новичков или так называемых «малышей», которые, попадая в замок, вдруг узнавали такую массу страхов о замке, что становились суеверными и робкими до крайности. Более всего их пугало, что в одном конце коридоров замка есть комната, служившая спальней покойному императору Павлу, в которой он лёг почивать здоровым, а утром его оттуда вынесли мёртвым. «Старики» уверяли, что дух императора живёт в этой комнате и каждую ночь выходит оттуда и осматривает свой любимый замок, — а «малыши» этому верили. Комната эта была всегда крепко заперта, и притом не одним, а несколькими замками, но для духа, как известно, никакие замки и затворы не имеют значения.

Г. ТИМЧЕНКО-РУБАН

В октябре 1822 года Великий Князь <Николай Павлович> вошёл со всеподданнейшим докладом, в котором указывал, что в Михайловском замке размещены различные инженерные учреждения и что посему «существующая над главным фронтоном оного, во всю длину фасада надпись: «Дому Твоему подобаетъ святыня Господня въ долготу дней», равно надписи над воротами «Воскресенскія», «Зачатейскія» и «Рождественскія» — неприличествуют более сему зданию». Поэтому Его Высочество испрашивал разрешение — надписи снять, а на главном фронтоне изобразить: «Дом инженерного корпуса» или «Инженерный корпус» и тому подобное. 23 февраля 1823 года было Высочайше повелено Михайловский замок «называть — впредь Инженерным замком»; о надписях же умалчивалось. (*Очерк деятельности... 1. С. 87–88.)*

А.И. САВЕЛЬЕВ

Когда Главное училище инженеров помещено было в одном из павильонов Михайловского замка, то над главным входом Училища была надпись: Главное Училище Инженеров. (*Исторический очерк... С. XIX.*)

Обстоятельства места: под голубем белым

А.И. САВЕЛЬЕВ (в передаче О.Ф. Миллера)

<...> сохранился в одной из овальных комнат замка крюк, на котором висел голубь, принадлежавший секте хлыстов, под которым они совершали свои «радения» и проч. (*Биография... С. 44.*)

Ф.Ф. ВИГЕЛЬ

<...> в один воскресный день, раз посетил я доброе семейство Лабат-де-Виванс <...>. Оно состояло из старых девок, ревностных, чтобы не сказать бешеных католичек, которым, по милости государя, за службу отца дана была квартира в верхнем этаже Михайловского замка. За дружеским разговором последовало минутное молчание, во время которого послышалось мне странное пение. «Что это значит?» — спросил я, — «Ah, c'est le sabbat»[1], — воскликнули они, заливаясь слезами. Окна их выходили на Фонтанку, рядом с округлённым выступом, вовнутрь которого из них сбоку вниз можно было смотреть. Там находилась зала, отведённая секте для её духовных упражнений. Я полюбопытствовал взглянуть и мог только рассмотреть фигуры, как бы в саваны наряженные, с остроконечными белыми колпаками, которые, с неимоверною быстротою кружась молниеобразно, появлялись и исчезали. Девицы Лабат после того предложили мне войти в тёмный коридор и в открытую трубу прислушаться к их пению; на голос: «За долами, за горами» я разобрал только слова: «Бог нам дал и дева». (*Записки. М., 1928. Т. 2. С. 170–171.*)

А.И. САВЕЛЬЕВ

До вечерней повестки нередко сбирались в рекреационной зале все, не исключая прислуги, послушать рассказы старшего писаря *Игумнова.*

Это был старший писарь кондукторской роты, человек, прослуживший долго в строю, в армейском полку; весьма честный, добрый, весьма любимый кондукторами, большой любитель литературы и обладавший отличной памятью. Он имел большое нравственное влияние на молодёжь. Его рассказы исторические из русской старины были весьма интересны, в особенности об Инженерном Замке, о жительстве в нём, в 20-х годах, секты «людей Божиих», об их курьёзных радениях (пляске, кружениях и пениях) <...> (*Рус. старина. 1918. № 1–2. С. 19.*)

ДОСТОЕВСКИЙ

<...> у Татариновой вертелись и пророчествовали <...>. (*Дневник писателя. 1877. Январь.*)

Ф.Ф. ВИГЕЛЬ

Один очевидец, допущенный зрителем к их проказливым таинствам, рассказывал мне после следующее. Верховная жрица, некая г-жа Татаринова,

[1] «Ах! Это шабаш!» (*фр.*).

урождённая Буксгевден, посреди залы садилась в кресла; мужчины садились вдоль по стене, женщины становились перед нею, ожидая от неё знака. Когда она подавала его, женщины начинали вертеться, а мужчины петь, под такт ударяя себя в колена сперва тихо и плавно, а потом всё громче и быстрее; по мере того и вращающиеся превращались в юлы. В изнеможении в иступлении тем и другим начинало что-то чудиться. Тогда из среды их выступали вдохновенные, иногда мужик, иногда простая девка, и начинали импровизировать нечто ни на что не похожее. Наконец, едва передвигая ноги, все спешили к трапезе, от которой нередко вкушал сам министр духовных дел, умевший подчинить себе святейший синод. (*Записки. Т. 2. С. 171.*)

П.И. МЕЛЬНИКОВ (А. ПЕЧЕРСКИЙ). Белые голуби

Обыкновенно моления хлыстов («радения») совершаются следующим образом. Часов в шесть вечера они собираются в один дом, где в особой комнате, в углу сидит богородица, а по лавкам с одной стороны мужчины, а с другой женщины, все в особого покроя длинных белых рубахах. <...> По окончании радения каждый подходит к богородице и целует у ней голую коленку. (*Рус. вестник. 1869. № 3. С. 369–370.*)

ДОСТОЕВСКИЙ

<...> штунда[1] не имеет никакого будущего, широко не раздвинется, скоро остановится и наверно сольётся с которой-нибудь из тёмных сект народа русского, с какой-нибудь хлыстовщиной — этой древнейшей сектой всего, кажется, мира, имеющей бесспорно свой смысл и хранящей его в двух древнейших атрибутах: верчении и пророчестве. Ведь и тамплиеров судили за верчение и пророчество, и квакеры вертятся и пророчествуют, и пифия в древности вертелась и пророчествовала <...>. (*Дневник писателя. 1877. Январь.*)

М.И. ПЫЛЯЕВ

В этом хлыстовском корабле купцы первой гильдии Фролов и Тименков достигали такой быстроты в кружении, что гасили свечи и люстры. Рассеянное общество Татариновой продолжало существовать до конца тридцатых годов. (*Старый Петербург. С. 378.*)

Л.Н. ТОЛСТОЙ. Война и мир

— Ну что же, всё это безумие <...> Татаринова, — спросил Денисов, — неужели всё продолжается?

[1] Религиозная секта рационалистического характера, отрицавшая догматы православной церкви (1860–1870-е гг.).

— Как продолжается? — воскликнул Пьер. — Сильнее чем когда-нибудь. Библейское общество — это теперь всё правительство.

С.Я. ШТРАЙХ

К её <Татариновой> «союзу» были очень близки А.Н. Голицын, А.Ф. Лабзин, директор департамента духовных дел В.С. Попов и др. Сам Александр одно время с интересом беседовал с Татариновой и покровительствовал её «союзу». Императрица Елизавета Алексеевна любила её. <...> Впавший в это время в мистицизм царь писал, что сердце его «пламенеет любовью к спасителю», когда он читает о собраниях «союза» Татариновой. (*В кн.: Вигель Ф.Ф. Записки. 2. С. 172.*)

Ф.Ф. ВИГЕЛЬ

<...> доверенную его <Александра I> особу, жалкого князя Голицына, всё более втягивали в мистицизм. Он посещал богослужение различных раскольничьих сект, находившихся в Петербурге, и одной из них умел выпросить помещение в императорском дворце. (*Записки. 2. С. 170.*)

А.Н. ГОЛИЦЫН — генералу ВЯЗМИТИНОВУ. 15 октября 1817. Москва

<...> Его Императорское Величество, рассмотрев записку (Вашу) о собраниях в Михайловском замке, о Подполковницы Татариновой, указать (мне) соизволил, сообщить Вашему Высокопревосходительству, что можно оставить оные без внимания, как не заключающие в себе важности. (*Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1868. № 4. Отд. V. С. 24.*)

Из записной книжки члена секты — художника В.Л. БОРОВИКОВСКОГО

1819-й год

Мая 18-го. Воскресенье. После обеда, в Михайловском <замке> увиделся со всеми <...>. При пении: «Царство ты, царство», приходил в сокрушение, и слезы лились. <...>

21-го. Середа. Во 2-м часу началось, кончилось в 5-ть. <...> и Е<катерина> Ф<илипповна> <Татаринова> многим пророчествовала и мне. <...>

25-го. Воскресенье, Пятидесятница. Пришел в Михайловский и застал уже давно прод<олжающих>. Е.Ф. подала мне рубашку, и я прод<олжал> один час. <...>

18-го <августа>. Понедельник. Для Е<катерины> Ф<илипповны> писать картину: <...> она с проч<ими>, и я тут же, на коленах. <...>

19-го. Вторник. <...>Смотрела картину и была довольна. (*Девятнадцатый век. Вып. I. СПб., 1872. С. 213, 216.*)

ДОСТОЕВСКИЙ. Идиот

<Князь Мышкин:>

— Ведь подумать только, что у нас образованнейшие люди в хлыстовщину даже пускались... Да и чем, впрочем, в таком случае хлыстовщина хуже, чем нигилизм, иезуитизм, атеизм? Даже, может, и поглубже ещё!

П.И. МЕЛЬНИКОВ (А. ПЕЧЕРСКИЙ). Белые голуби

В Михайловском дворце, у Татариновой, совершались те самые обряды, какие совершались по ночам у отца-искупителя <К. Селиванова>. (*Рус. вестник. 1869. № 5. С. 287*)

А.М. ЕЛЕНСКИЙ. Известие, на чём скопчество утверждается. 1804

Занимаемся таинственными псалмами, пением сионских песней <...> яко Давид пред кивотом Господним был скачущий, и играющий, и плясающий, а когда Мелхола безумная посмеялась, то он и паче скакаше и играше. Так и ныне та же Мелхола смеётся нам и поносит, а рабы Божии в дому Давидовом и паче скачут и играют, яко младенцы благодатные, пивом новым упоенные. Пасха всечестная с нами всегда пребывает. (*Рус. вестник. 1869. № 5. С. 260.*)

Мистика как свойство организма

М.И. ПЫЛЯЕВ

Про Селиванова старожилы рассказывали много таинственного и чудесного: говорили, что он предсказывает будущее, а этого уже было достаточно, чтобы привлекать суеверную публику. Петербургские барыни толпами приезжали к этому пророку, чтобы послушать пророчества. (*Старый Петербург. С. 331.*)

ДОСТОЕВСКИЙ. Хозяйка

<Полицейский чиновник Ярослав Ильич — Ордынову:>

— То же самое случилось и с одной знатной дамой высшего общества: она тоже вышла от него <Мурина> бледна как платок, вся в слезах и в изумлении от его предсказания и красноречия. <...>

Были чудные примеры-с. Один молодой корнет, цвет и надежда высшего семейства, глядя на него, усмехнулся. «Чего ты смеёшься? — сказал, рассердившись, старик. — Через три дня ты сам будешь вот что!» — и сложил накрест руки, означая таким знаком труп мертвеца.

— Ну?

— Не смею верить, но, говорят, предсказание сбылось.

ДОСТОЕВСКИЙ (в передаче Вс.С. Соловьёва)

Видите ли, не верить в возможность предсказаний нельзя, никак нельзя... Это вздор! уж не говоря о том, что в истории сохранилось многое в этом роде, но почти каждый человек на себе знает. Все верят и если не признаются, то единственно из малодушия, которого в нас так много. Сам верит, верит, может быть, даже больше, чем бы следовало — и в то же время смеётся, глумится над искренним человеком, который так просто и скажет, что верит... (*Ист. вестник. 1881. № 4. С. 849.*)

Из подготовительных материалов к «Дневнику писателя». Май-июнь 1877

Если способность пророчества действительно есть в человеке, заключается в самой природе его, в организме его, положим при известных, особых усл<овиях>, но совершенно естественных условиях, то как бы хорошо и полезно было разъяснить, очистить факт, хотя бы только от мистической его примеси. <...> Если существует способность пророчества, то во всех ли людях, более или менее разумеется, или в самых редких случаях, из множества миллионов людей в одном каком-нибудь экземпляре?[1] (*Лит. наследство. Т. 86. С. 69.*)

П.И. МЕЛЬНИКОВ (А. ПЕЧЕРСКИЙ). Белые голуби

В иных, немногих, впрочем, <хлыстовских> кораблях, моление начинается чтением священных книг <...>. (*Рус. вестник. 1869. № 3. С. 370.*)

ДОСТОЕВСКИЙ. Хозяйка

<Катерина — Ордынову:>

— Он <Мурин> мучил меня, он мне в книгах читал... На, смотри его книгу! Вот его книга. <...> Смотри, смотри...

И она показывала ему книгу <...>. Он машинально взял её, всю писанную, как древние раскольничьи книги, которые ему удавалось прежде видеть. <...>

— Иной раз он просто своими словами меня заговаривает, другой раз берёт свою книгу, самую большую, и читает надо мной. Он всё грозное, суровое такое читает. Я не знаю что и понимаю не всякое слово; но меня берёт страх, и когда я вслушиваюсь в его голос, то словно это не он говорит, а кто-то другой, недобрый, кого ничем не

[1] Этот текст был обнаружен нами в рукописях «Дневника писателя», хранящихся в Пушкинском доме. Достоевский в своё время не отважился его напечатать, опасаясь, по-видимому, упрёков в отсталости и ретроградстве.

умягчишь, ничем не замолишь, и тяжело-тяжело станет на сердце, горит оно...

А. И. САВЕЛЬЕВ

Должно заметить, что общество, наз. «Собором Братства», существовавшее в Михайловском замке до 1821 г., когда последовало распоряжение, чтобы оно выехало из Замка, — старалось извлекать из церковной литературы доказательства в пользу учения своей секты <...>. (*Ист. очерк... С. 217.*)

ДОСТОЕВСКИЙ. Хозяйка

<Ордынов — Ярославу Ильичу:>
— Он, кажется, читает, всё священные книги?
— Да-с, он мистик-с. <...> Но я вам говорю это по секрету.

Ю.В. ТОЛСТОЙ (со слов члена секты, генерала Е.А. Головина)

В эту эпоху искания истины в вере <...> Е.Ф. Татаринова обратила на себя особенное внимание Петербургского общества. <...>. Не редко приходившие к ней или к матери её гости заставали её прислуживающею за своим столом нищим и, по примеру её, прислуживали им. (*Девятнадцатый век. I. С. 221*)

И.П. ЛИПРАНДИ

При принятии в эту <татариновскую> секту г-жа Франц приведена была в бесчувствие, и явившийся ей Пророк сказал, что вскоре явятся Ангелы и возьмут её от сей жизни, а потому советовал ей, для приобретения спасения, быть благотворительною. Солдатская же жена *Варвара Осипова*, находившаяся в услужении у Татариновой, и принятая в её секту, рассказывала, что при приёме её она положена была в постель и не знает, отчего пришла в беспамятство; когда же очувствовалась, то явился ей Пророк, предрекавший, что придёт к ней корабль с деньгами, и тогда она сама будет раздавать бедным деньги. (*Чтения в обществе истории и древностей российских. 1868. № 4. Отд. V. С. 22.*)

ДОСТОЕВСКИЙ

<...> в философской основе этих самых сект, этих трясучек и хлыстовщины, лежат иногда чрезвычайно глубокие и сильные мысли. По преданию, у Татариновой, в Михайловском замке, около двадцати годов, вместе с нею и с гостями её, такими, как, например, один тогдашний министр, вертелись и пророчествовали и крепостные слуги Татариновой; стало быть, была же сила мысли и порыва, если могло создаться такое «неестественное» единение верующих,

а секта Татариновой была, по-видимому, тоже хлыстовщина или одно из бесчисленных её разветвлений. (*Дневник писателя. 1876. Март.*)

«Строжайше запрещено-с...»

А.И. САВЕЛЬЕВ

<...> переселившись <в 1821 г.> за город, по московской дороге (где ныне находится кладбище Новодевичьего монастыря) <...> в особенно устроенную усадьбу, куда никто не мог проникнуть, благодаря принятым предосторожностям; секта безнаказанно продолжала совершать свои «радения» не только с усердием, но и с фанатизмом. (*Ист. очерк... С. 217.*)

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН. История одного города

Приметив на самом выезде из города полуразвалившееся здание, в котором некогда помещалась инвалидная команда, он <Грустилов> устроил на нём сходбища, на которые по ночам собирался весь так называемый глуповский бомонд. Тут сначала читали <...> но так как они глупы, то скоро переходили к другим занятиям. Председатель вставал с места и начинал корчиться; примеру его следовали другие; потом, мало-помалу, все начинали скакать, кружиться, петь и кричать, и производили эти неистовства до тех пор, покуда совершенно измученные не падали ниц. Этот момент собственно и назывался «восхищением».

А.И. САВЕЛЬЕВ

Так продолжалось до 1837 г., когда одна из дочерей (средняя) т<айного> с<оветника> *Попова*, измученная наказаниями отца за то, что отказывалась исполнять требования сектантов, не пожаловалась городскому начальству. (*Ист. очерк... С. 217–218.*)

Из анонимного доноса в III Отделение о деятельности секты Татариновой

Рассейте данною Вам властью эту бессмысленную толпу, противную воле Государя и вредную нравственности. Я, как женщина, не желаю обнаруживать своего имени, но Вы, приказав обследовать, удостоверитесь в истине. (*Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1868. № 4. Отд. V. С. 21.*)

Ю.В. ТОЛСТОЙ

<...> в начале 1837 года до сведения правительства дошло по слухам, как обыкновенно весьма преувеличенным, что на дачах за Московской заста-

вою совершаются непозволительные сатурналии, что после неистовых пений и радений, наподобие скопческих, тушатся свечи и совершаются страшные деяния «им же имяни несть!» — что противляющиеся сим деяниям дети засекаются до бесчувствия, что на сборищах сектаторов попирается святость уз родственных, прорицается гибель политическому бытию державы, изрекаются в нечестивых прорицаниях хулы православию! (*Девятнадцатый век. I. С. 226.*)

ДОСТОЕВСКИЙ. Хозяйка

<Ярослав Ильич:>

— По секрету скажу вам ещё, что за ним <Муриным> был некоторое время сильный присмотр.

И.П. ЛИПРАНДИ

В 1837 году, находившийся в услужении у Тайного Советника Попова крепостной человек, *Петр Александров*, обнаружил, что близ Московской заставы, на дачах, принадлежащих Титулярному Советнику Фёдорову и Медику *Косовичу*, учреждена Статскою Советницею Татариновою религиозная секта, к которой принадлежат некоторые, поименованные им, лица.

Вследствие сего, от 8 Мая (1837 г.), в 10 часов вечера, по Высочайшему повелению, С.-Петербургский Обер-Полицеймейстер Генерал-Майор *Кокошкин*, Начальник Штаба Корпуса Жандармов Генерал-Майор *Дубельт* и Обер-Прокурор Святейшего Синода, Флигель-Адъютант Полковник Граф *Протасов*, прибыли на помянутые дачи <...>. (*Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1868. № 4. Отд. V. С. 25.*)

А.И. САВЕЛЬЕВ

В одну ночь полиция проникла в усадьбу сектантов и арестовала всех, кого там застала. (*Ист. очерк... С. 218.*)

ДОСТОЕВСКИЙ. Хозяйка

— Ах! Представьте, — я было совсем позабыл рассказать, — молвит вдруг Ярослав Ильич, как будто припомнив что-то весьма интересное, — у нас новость! Я вам скажу по секрету. Помните дом, где вы жили?

Ордынов вздрогнул и побледнел.

— Так вообразите же, недавно открыли в этом доме целую шайку воров, то есть, сударь вы мой, ватагу, притон-с; контрабандисты, мошенники всякие, кто их знает! Иных переловили, за другими ещё только гоняются; отданы строжайшие приказания.

Управляющий делами III Отделения А.Н. МОРДВИНОВ — шефу жандармов А.Х. БЕНКЕНДОРФУ. 1 июня 1837. Петербург

Здесь давно уже занимаются делом г-жи Татариновой. Его передавали и объяснили на всякие лады. Теперь оно кончено, и больше не говорят про него. Всё их общество в настоящее время рассеяно. Главные лица разосланы по монастырям. Забавно, что в доме у них найдена бронзовая позолоченная статуя старика князя Александра Голицына, отличной работы, на подставке с символическими знаками. По-видимому, он считался покровителем этого почтенного сборища. (*Рус. архив. 1886. № 11. С. 417.*)

П.И. МЕЛЬНИКОВ (А. ПЕЧЕРСКИЙ). Белые голуби

В сентябре 1846 года <...> в Петербурге и Кронштадте производились розыски скопцов <...>. (*Рус. вестник. 1869. № 5. С. 288.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 20-е числа октября 1846. Петербург

Я пишу другую повесть <«Хозяйка»>, и работа идёт, как никогда в «Бедных людях», свежо, легко и успешно. (*ПСС. XXVIII. 1. С. 131.*)

И.П. ЛИПРАНДИ

Действительный Статский Советник, Яков Владимирович Ханыков, состоял по Министерству Внутренних Дел, был женат на дочери Головина, Екатерине Евгеньевне, рьяной последовательнице учения Татариновой, и в 1837 году взятой с матерью на сборище. Яков Владимирович был человеком высокого образования, но, попав в закоренелое сектаторское семейство и общество, не имея твёрдого характера и к тому влюблённый, подчинился влиянию обстоятельств и <...> конечно, не разделяя сумасбродств семейства и близких к оному посетителей, терпел, для сохранения семейного спокойствия, происходившие там таинственные чтения, в которых тесть его принимал такое живое участие <...>.

Младший <...> брат Якова Владимировича <Ханыкова>, был замешан в деле Петрашевского. (*Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1868. № 4. Отд. V. С. 44–45.*)

Из дневника Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО. Запись 4 декабря 1848 г.

У него <А.В. Ханыкова> взял II том Фурье <...> как будто бы читаешь какую-нибудь мистическую книгу средних веков или наших раскольников: множество (т. е. не множество, потому что и всего-то немного, а просто

несколько) здравых мыслей, но странностей бездна. (*Полн. собр. соч. Т. 1. М., 1939. С. 188.*)

ДОСТОЕВСКИЙ. Хозяйка

<Ордынов— Ярославу Ильичу:>

— Но теперь он <Мурин> не занимается этим?

— Строжайше запрещено-с.

Бдения у амбразуры

А.И. САВЕЛЬЕВ (в передаче О.Ф. Миллера)

В 1841 г. <...> Ф<ёдор> М<ихайлович> был уже на выпуске в старшем классе. Как прежде задумчивый, скорее, угрюмый, можно сказать, замкнутый, он редко сходился с кем-либо из своих товарищей, хотя и не удалялся, даже часто делился с ними своими учебными записками <...> но никогда нельзя было его видеть праздным и весёлым. (*Биография... С. 42.*)

П.С. НИКОЛАЕВ

В лагере мы стояли между гвардейскими подпрапорщиками <...> и ротою Инженеров. <...> В этой инженерной роте я впервые познакомился с Достоевским; он был постоянно какой-то вялый, сонливый или задумчивый, говорил очень мало и более сидел один где-нибудь в углу; кажется, он уже тогда писал свой известный роман «Бедные люди», который составил ему впоследствии литературное имя. (*Отдел рукописей ГБЛ, 358.408.10. Л. 60 об.)*

А.И. САВЕЛЬЕВ (в передаче О.Ф. Миллера)

Любимым местом его <Достоевского> занятий была амбразура окна в угловой (так называемой круглой каморе) спальне роты, выходящей на Фонтанку. В этом изолированном от других столиков месте, сидел и занимался Ф.М. Достоевский; случалось нередко, что он не замечал, что кругом его делалось. <...> Достоевский только тогда убирал в столик свои книги и тетради, когда проходивший по спальням барабанщик, бивший вечернюю зорю, принуждал его прекратить свои занятия. Бывало, в глубокую ночь, можно было заметить Ф<ёдора> М<ихайловича> у столика сидящим за работою. Набросив на себя одеяло сверх белья, он, казалось, не замечал, что от окна, где он сидел, сильно дуло <...>. Нередко на замечания мои, что здоровее вставать ранее и заниматься в платье, Ф<ёдор> М<ихайлович> любезно соглашался, складывал свои тетради и, по-видимому, ложился

спать; но проходило немного времени, его можно было видеть опять в том же наряде, у того же столика, сидящим за его работою.<...> Но какая это была работа, отгадать было трудно; сам же Ф<ёдор> М<ихайлович> никому об ней не говорил.

Примечание А.И. Савельева. Сорок лет спустя при одном из моих свиданий с Ф.М. Достоевским, когда я припомнил его ночные письменные занятия в роте, особенно то обстоятельство, что я мешал ему иногда заниматься ночью, то он мне сказал, что он тогда действительно писал роман «Бедные люди», но что начал писать этот роман ещё до поступления своего в училище. (*Биография... С. 42–43.*)

Д.В. ГРИГОРОВИЧ

Фёдор Михайлович уже тогда выказывал черты необщительности, сторонился, не принимал участия в играх, сидел углубившись в книгу, и искал уединённого места; вскоре нашлось такое место и надолго стало его любимым: глубокий угол четвёртой камеры с окном, смотревшим на Фонтанку; в рекреационное время его всегда можно было найти, и всегда с книгой. (*Рус. мысль. 1892. № 12. С. 22.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 27 февраля 1841. Петербург

О брат! милый брат! Скорее к пристани, скорее на свободу! Свобода и призванье — дело великое. Мне снится и грезится оно опять, как не помню когда-то. Как-то расширяется душа, чтобы понять великость жизни. (*ПСС. XXVIII. 1I. С. 78.*)

Если рукописи не горят...

О.Ф. МИЛЛЕР

Любопытно бы знать, не стихами ли писал Фёдор Михайлович и начатые им драмы. (*Биография... С. 55.*)

Из рукописи воспоминаний А.Е. РИЗЕНКАМПФА

<...> Он любил поэзию страстно, но писал только прозою, потому что на обработку рифмы не хватало у него терпения <...>. (*Лит. наследство. Т. 86. С. 325.*)

А.Е. РИЗЕНКАМПФ (в пересказе О.Ф. Миллера)

<...> Фёдор Михайлович <в феврале 1841 года> читал отрывки из двух своих драматических опытов (навеянных, надо думать, чтением

Шиллера и Пушкина): «Марии Стюарт» и «Бориса Годунова». <...> Достоевский хотел обработать эту трагическую тему по-своему, для чего тщательно принялся за приготовительное историческое чтение. (*Биография... С. 41.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ — А.С. СУВОРИНУ. 5 февраля 1881. Ярославль

Ещё в 1842 г., то есть гораздо ранее «Бедных людей», брат мой написал драму «Борис Годунов». Автограф лежал часто у него на столе, и я — грешный человек — тайком от брата нередко зачитывался с юношеским восторгом этим произведением. Впоследствии, уже в очень недавнее время, кажется в 1875 г., я в разговорах с братом, покаялся ему, что знал о существовании его «Бориса Годунова» и читал эту драму. На вопрос мой: «Сохранилась ли, брат, эта рукопись?», он ответил только, махнув рукой: «Ну, полно! Это... это детские глупости!» (*Новое время. 1881. 8 февраля.*)

Из рукописи воспоминаний А.Е. РИЗЕНКАМПФА

6 февраля 1841 г. Михаил Михайлович, покончив с прощальными визитами, собрал немногочисленных своих знакомых и друзей на прощальный вечер. Здесь был и Фёдор Михайлович, который в первый раз нам читал отрывки из двух драматических своих опытов: «Марии Стюард» и «Бориса Годунова». (*Лит. наследство. Т. 86. С. 328.*)

М.М. ДОСТОЕВСКИЙ — П.А. КАРЕПИНУ. 3 октября 1844. Ревель

Он <Достоевский> окончил <...> две драмы, которые, уверяю вас, удивительны. (*Лит. наследство. Т. 86. С. 368.*)

О.Ф. МИЛЛЕР

Куда девались наброски его «Марии Стюарт», а равно и «Бориса» — остается неизвестным. (*Биография... С. 41.*)

Господин офицер

Из приказа по Главному инженерному училищу. 9 августа 1841

Высочайшим его императорского величества приказом в 5 день августа 1841 г. <Достоевский> производится из кондукторов в полевые инженеры-прапорщики <...>. (*Мат. и исслед., 5. С. 185.*)

Из «Кондуитного списка г. г. обер-офицеров Главного инженерного училища за 1841 год»

ЗВАНИЕ ЧИНОВ	ФЁДОР, МИХАЙЛОВ СЫН, ДОСТОЕВСКИЙ
Усерден ли по службе?	Весьма усерден.
Каковы способности ума?	Хороших.
В каких науках имеет знание?	В Законе Божием, русском языке, во всей чистой математике со включением дифференциального и интегрального исчислений, начертательной геометрии, статике, геодезии, полевой и долговременной фортификации и минном искусстве, артиллерии, военно-строительном искусстве, архитектуре, физике, тактике, истории, географии, рисовании, ситуации черчении планов.
Какие знает иностранные языки?	Французский и немецкий.
Каков в нравственности?	Хорош.
Каков в хозяйстве?	Хорош.

(*Достоевский на жизненном пути. I. С. 72.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

Брат в то время жил на Караванной улице близ самого манежа, так что ему близко было ходить в офицерские классы главного инженерного училища. Он занимал квартиру в две комнаты с передней, при которой была и кухня; но квартиру эту он занимал не один, а у него был товарищ-сожитель Адольф Иванович Тотлебен. Тотлебен занимал первую комнату от передней, а брат — вторую, каждая комната была о двух окнах, но они очень низенькие и мрачные, к тому же табачный дым от Жукова табаку постоянно облаками поднимался к потолку и делал верхние слои комнаты наполненными как бы постоянным туманом. — Мы ввалились в братнину квартиру в сумерки. Первая встреча с братом Фёдором была тоже не из особо тёплых. Большое внимание было обращено на старшего брата <Михаила>, а я в первое время чувствовал себя даже в неловком положении. Брат представил меня Адольфу Ивановичу Тотлебену, который был так добр, что занялся мною. Два же брата заперлись в комнате брата Фёдора, оставив меня в комнате Тотлебена. На ночлег тоже два старшие брата уединились, а я ночевал на турецком диване в комнате Тотлебена. Это продолжалось во всё пребывание брата Михаила в Петербурге. По отъезде же его в Ревель, я переселился на ночлег к брату Фёдору, но всё-таки особо родственным вниманием брата не пользовался. (*Воспоминания... С. 123–124.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 22 декабря 1841. Петербург

Андрюша болен; я расстроен чрезвычайно. Какие ужасные хлопоты с ним. Вот ещё беда. Его приготовление и его житьё у меня вольного, одинокого, независимого, это для меня нестерпимо. Ничем нельзя ни заняться, ни развлечься — понимаешь. Притом у него такой странный и пустой характер, что это отвлечёт от него всякого; я сильно раскаиваюсь в моём глупом плане, приютивши его. (*ПСС. XXVIII. 1. С. 79.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

<...> я где-то простудился, и у меня сделалась сильнейшая тифозная горячка; по крайней мере я долгое время лежал и наконец впал в беспамятное состояние. Брат ухаживал за мною очень внимательно, он давал лекарства, предписываемые доктором, который ездил ежедневно. Но тут-то и случился казус, сильно напугавший брата и, кажется, бывший причиною моего очень медленного выздоровления. Дело в том, что одновременно с моею болезнью брат лечился сам, употребляя какие-то наружные лекарства, в виде жидкостей. Раз как-то ночью брат, проснувшись и вспомнив, что мне пора принимать микстуру, спросонья перемешал склянки и налил мне столовую ложку своего наружного лекарства. Я мгновенно принял и проглотил его, но при этом сильно закричал, потому что мне страшно обожгло рот и начало жечь внутри... Брат взглянул на рецептурку и, убедившись в своей ошибке, начал рвать на себе волосы и сейчас же, одевшись, поехал к пользовавшему меня доктору. Тот, приехав мгновенно, осмотрел склянку наружного лекарства, которое мне было дано, прописал какое-то противоядие и сказал, что это может замедлить мое выздоровление. (*Воспоминания... С. 126.*)

А.Е. РИЗЕНКАМПФ (в передаче О.Ф. Миллера)

Понятно, что при всё более и более развивающихся литературных наклонностях Достоевский должен был тяготиться посещением офицерских классов. Он бы давно бросил их, если бы не угроза опекуна прекратить в таком случае выдачу ему денег. А Фёдор Михайлович в них постоянно нуждался! (*Биография... С. 50.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

Упомяну также здесь о случившихся раза 3–4 вечеринках у брата, на которые собирались несколько офицеров (товарищей брата), с целью игры в карты; в первое время своего офицерства брат очень увлекался игрою, причём преферанс или вист были только началом

игры, а вечер постоянно кончался азартною игрою в банк или штосс. Помню, что в подобные вечера я занимался хозяйственной частью, наливая всем гостям чай и отправляя в комнату брата, где происходила игра, с лакеем Егором. После же чая всегда подавался пунш, по одному или по два стакана на человека. (*Воспоминания... С. 129.*)

Отзыв об отчёте Достоевского по практическим занятиям. Лето 1842

Журнал составлен на скорую руку, и хотя в нём нет больших ошибок, но не мешало бы более подробное изложение работ, вообще видно, что к составлению его мало приложено старания. (*Мат. и исслед., 5. С. 185.*)

Расстройства всякого рода

А.Е. РИЗЕНКАМПФ (в передаче О.Ф. Миллера)

Цвет лица его <Достоевского> был какой-то земляной, его постоянно мучил сухой кашель, особенно обострявшийся по утрам; голос его отличался усиленною хрипотой; к болезненным симптомам присоединялась еще опухоль подчелюстных желёз. Все это, однако же, упорно скрывалось от всех, и даже приятелю-доктору насилу удавалось прописать Фёдору Михайловичу хотя какие-нибудь средства от кашля и заставить его хоть несколько умереннее курить жуковский табак. (*Биография... С. 49.*)

К.А. ТРУТОВСКИЙ

В то время Ф<ёдор> М<ихайлович> был очень худощав; цвет лица был у него какой-то бледный, серый, волосы светлые и редкие, глаза впалые, но взгляд проницательный и глубокий. (*Рус. обозрение. № 1. С. 213.*)

А.Е. РИЗЕНКАМПФ — А.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 10 марта 1881. Пятигорск

В сентябре 1843 года, поселившись с ним на одной квартире, я не скоро узнал, что он страдает некоторыми болезнями <...> притом весьма тяжкими. Он держался правила: «Откройся только тому, кто в состоянии тебе помочь». С стоическим терпением он ходил на службу, страдая невыносимо от нарывов, а между тем даже ближайший друг его Григорович об этом ничего не знал. (*Лит. наследство. Т. 86. С. 550.*)

Из рукописи воспоминаний А.Е. РИЗЕНКАМПФА

<...> Он был золотушного телосложения, и хриплый его голос при частом опухании подчелюстных и шейных желёз, также землистый

цвет его лица указывали на порочное состояние крови (на кахексию) и на хроническую болезнь воздухоносных путей. Впоследствии присоединились опухоли желёз и в других частях, нередко образовывались нарывы, а в Сибири он страдал костоедой костей голенных. Но он переносил все эти страдания стоически и только в крайних случаях обращался к медицинской помощи. Гораздо более его тревожили нервные страдания. (*Лит. наследство. Т. 86. С. 331.*)

Рапорт ДОСТОЕВСКОГО начальнику офицерских отделений Главного инженерного училища. 8 июня 1843. Петербург

Страдая болью в груди и продолжительными ломотами, я прибегнул к совету доктора, г-на статского советника Валькенау, который объявил мне, что купанье в море принесло бы мне несомненную пользу. Но так как вода в Кронштадте, где предстоят верхнему офицерскому классу практические занятия, по отзыву г-на доктора Валькенау, весьма слаба, то купанье в ней никак не может считаться средством целительным. Посему прошу покорнейше, Ваше высокоблагородие, исходатайствовать мне у его превосходительства г-на Начальника Училища, двадцати осьмидневный отпуск в Ревель для пользования тамошними ваннами, во время года тому благоприятствующее, то есть в середине лета, когда вода ещё не остыла. (*ПСС. XXVIII, 1. С. 380.*)

Из рукописи воспоминаний А.Е. РИЗЕНКАМПФА

Неоднократно он мне жаловался, что ночью ему всё кажется, будто бы кто-то около него храпит; вследствие этого делается с ним бессонница и какое-то беспокойство, так что он места себе нигде не находит. В это время он вставал и проводил нередко всю ночь за чтением, а ещё чаще за писанием разных проектированных рассказов. (*Лит. наследство. Т. 86. С. 331.*)

Д.В. ГРИГОРОВИЧ

Несколько раз во время наших редких прогулок с ним случались припадки. Раз, проходя вместе с ним по Троицкому переулку, мы встретили похоронную процессию. Достоевский быстро отвернулся, хотел вернуться назад, но, прежде чем успели мы отойти несколько шагов, с ним сделался припадок настолько сильный, что я с помощью прохожих принуждён был перенести его в ближайшую мелочную лавку; насилу могли привести его в чувство. После таких припадков наступало обыкновенно угнетённое состояние духа, продолжавшееся дня два или три. (*Рус. мысль. 1893. № 1. С. 10.*)

Из рукописи воспоминаний А.Е. РИЗЕНКАМПФА

Фёдор Михайлович любил скрывать не только телесные свои неудачи, но и затруднительные денежные обстоятельства. В кругу друзей он казался всегда весёлым, разговорчивым, беззаботным, самодовольным. Но немедленно по уходе своих гостей он впадал в глубокое раздумье, затворившись в уединённом кабинете, выкуривал трубку за трубкой, обдумывал печальное своё положение <...>. (*Лит. наследство. Т. 86. С. 331.*)

О.Ф. МИЛЛЕР

В то же время держал свой выпускной экзамен и д-р Ризенкампф. От усиленных занятий он заболел и ещё 30-го июня 1842 г. лежал в постели. Как вдруг в этот день приезжает к нему Фёдор Михайлович, которого нельзя было и узнать. Весёлый, с здоровым видом, довольный судьбой, он возвестил о благополучном окончании экзаменов, выпуске из заведения с чином подпоручика (в полевые инженеры), о получении от опекуна такой суммы денег, которая дала ему возможность расплатиться со всеми кредиторами <...> он силою стащил приятеля с постели, посадил его с собой на пролётку и повёз в ресторан Лерха на Невском проспекте. Тут Достоевский потребовал себе номер с роялем, заказал роскошный обед с винами и заставил больного приятеля есть и пить с собой вместе. Как ни казалось это сначала невозможным для больного г. Ризенкампфа, но пример Фёдора Михайловича подействовал на него заразительно; он хорошо пообедал, сел за рояль — и выздоровел. (*Биография... С. 50–51.*)

А.Е. РИЗЕНКАМПФ (в передаче О.Ф. Миллера)

Крайнее безденежье Фёдора Михайловича продолжалось около двух месяцев. Как вдруг, в ноябре, он стал расхаживать по зале как-то не по-обыкновенному — громко, самоуверенно, чуть ли не гордо. Оказалось, что он получил из Москвы 1000 руб<лей>. Но на другой же день утром <...> он опять своею обыкновенною тихою, робкою походкою вошёл в мою спальню с просьбою одолжить ему пять рублей. Оказалось, что большая часть полученных денег ушла на уплату за различные заборы в долг, остальное же частию проиграно на бильярде, частию украдено каким-то партнёром, которого Фёдор Михайлович доверчиво зазвал к себе и оставил на минуту одного в кабинете, где лежали незапертыми последние 50 рублей. (*Биография... С. 52.*)

О.Ф. МИЛЛЕР

По свидетельству д-ра Ризенкампфа, он <Достоевский> вместе с жалованьем получал около 5000 р. ассигнациями в год. Но Фёдор Михайлович отличался крайней непрактичностью и потому по большей части сидел без денег. (*Биография... С. 48.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — А.М. ДОСТОЕВСКОМУ. Декабрь 1842. Петербург

Брат! Если ты получил деньги, то ради бога пришли мне рублей 5 или хоть целковый. У меня уж 3 дня нет дров, а я сижу без копейки. На неделе получаю 200 руб. (я занимаю) наверное, то тебе всё отдам. (*ПСС. XXVIII. 1. С. 80.*)

О.Ф. МИЛЛЕР

Вернувшись в Петербург в сентябре 1843 года, доктор Ризенкампф <...> застал <...> Фёдора Михайловича без копейки, кормящимся молоком и хлебом, да и то в долг из лавочки. «Фёдор Михайлович, — говорит он, — принадлежал к тем личностям, около которых живётся всем хорошо, но которые сами постоянно нуждаются. Его обкрадывали немилосердно, но, при своей доверчивости и доброте, он не хотел вникать в дело и обличать прислугу и её приживалок, пользовавшихся его беспечностью». Самое сожительство с доктором чуть было не обратилось для Фёдора Михайловича в постоянный источник новых расходов. Каждого бедняка, приходившего к доктору за советом, он готов был принять как дорогого гостя. «Принявшись за описание быта бедных людей, — говорил он как бы в оправдание, — я рад случаю ближе познакомиться с пролетариатом столицы». На поверку однако же оказалось, что громадные счёты, подававшиеся в конце месяца даже одним булочником, зависят не столько от подобного гостеприимства Фёдора Михайловича, сколько от того, что его денщик Семён, находясь в интимных отношениях с прачкой, прокармливал не только её, но и всю её семью и целую компанию её друзей за счёт своего барина. Мало того: вскоре раскрылась и подобная же причина быстрого таяния белья, ремонтировавшегося каждые три месяца <...>.

<...> ему, Достоевскому, так нравилась благодушная физиономия его денщика Семёна, что на все предостережения от его долгих рук он преспокойно отвечал: «Пусть себе ворует; не разорюсь я от этого». На самом же деле он положительно разорялся и входил в долги. (*Биография... С. 51–52, 48.*)

Л.Ф. ДОСТОЕВСКАЯ

К сожалению, мой отец всегда имел очень фантастическое представление о бережливости. Всю жизнь он тратил все имеющиеся у него деньги, не думая о том, на какие средства он будет существовать завтра. (*Достоевский в изображении дочери... С. 20.*)

«Однако ножка Терпсихоры...»

А.Е. РИЗЕНКАМПФ (в передаче О.Ф. Миллера)

<...> из всей занимаемой Фёдором Михайловичем квартиры отапливался только один кабинет. Фёдор Михайлович совсем почти отказался от удовольствий, после того как немало потратился в 1841 и начале 1842 г. на Александринский театр, процветавший в то время, отчасти и на балет, который он почему-то тогда любил, и на дорогие концерты таких виртуозов, как Оле-Буль и Лист. Теперь, после утреннего посещения офицерских классов, он сидел запершись в своём кабинете, предавшись литературным занятиям. (*Биография... С. 49.*)

В.Р. ЗОТОВ

Вообще балет несмотря на то, что он должен занимать последнее место в ряду сценических зрелищ, стоял на первом плане в глазах дирекции театров и лиц известного положения в свете второй и даже третьей молодости, находивших удовольствие в том, чтобы любоваться полускромными позами полуобнажённых полудевиц. В то время не писали глубокомысленных и мнимоучёных диссертаций о пользе балета, но так же горячо отстаивали его пластическое и даже эстетическое значение, хотя стремились в балет с более или менее порнографическими целями. После гастрономического обеда с тонкими винами и ликёрами это было очень приятное развлечение, удовлетворявшее эпикурейским наклонностям всегда присущим сытому человечеству. Вот почему балет всегда процветал в эпоху упадка всех других стремлений и наклонностей, какими бы софизмами балетоманы всех времён ни оправдывали своей страсти к этому роду зрелищ. (*Ист. вестник. 1890. № 1. С. 43.*)

Л.Ф. ДОСТОЕВСКАЯ

В России принято, что родители водят своих детей в балет. Достоевский не был любителем балета и никогда не посещал его; он предпочитал водить нас в оперу. (*Достоевский в изображении дочери... С. 90*)

Из рукописи воспоминаний А.Е. РИЗЕНКАМПФА

Что касается балета, то я сам в нём почти никогда не бывал, но Фёдор Михайлович всегда с восхищением говорил о впечатлении,

которое на него производили танцовщицы Тальони, Шлефахт, Смирнова, Андреянова и танцовщик Иогансон. (*Лит. наследство. Т. 86. С. 328.*)

В.Р. ЗОТОВ

Корифейки того времени не отличались красотою, и, что всего страннее, многие из них были очень похожи друг на друга, точно были вылиты по одной форме; такое сходство встречалось прежде у солдат одного набора и одной роты. <...> У Андреяновой и вообще была <...> непривлекательная наружность <...>. М.Л. Невахович постоянно рисовал её в своём «Ералаше» даже не в карикатуре. На одном рисунке она изображена перед прилавком модного магазина. — «Покажите материи, которые были бы мне к лицу», — говорит она. — «Извините-с, таких ещё не привезли!» — отвечает приказчик с выпученными глазами. (*Ист. вестник, № 1. С. 41–42.*)

С.Д. ЯНОВСКИЙ

Танцы Фёдор Михайлович любил как выражение душевного довольства и как верный признак здоровья, но никогда к ним не примешивал ни вопроса о сближении с женщиной благодаря возможности, танцуя, перекинуться с нею живым словом, ни вопроса о грации и ловкости танцующих. О балете знал только понаслышке, но никогда, в то время, его не посещал[1]. (*Рус. вестник. 1885. № 4. С. 814.*)

Л.Ф. ДОСТОЕВСКАЯ

Моя мать хвалила мужа за точность, с какою он исполнял трудные па кадрили. «О, — отвечал он, с кашлем вытирая пот со лба, — если бы ты видела, как хорошо я танцевал в молодости мазурку!» (*Достоевский в изображении дочери... С. 84.*)

Из рукописи воспоминаний А.Е. РИЗЕНКАМПФА

Весною 1843 года здоровье Фёдора Михайловича стало поправляться. По-видимому, и материальные его средства улучшились; во время великого поста он навещал концерты вновь прибывшего Листа, знаменитого тенора Рубини и кларнетиста Блаза. 18 апреля мы были на представлении «Руслана и Людмилы». (*Лит. наследство. Т. 86. С. 329.*)

В.Р. ЗОТОВ

На святой неделе приехал Лист и давал концерты летом, но несмотря на это публика стекалась слушать блестящего виртуоза. В последнем концерте

[1] Это свидетельство относится к периоду после 1846 г.

своём, 2-го июня, в Большом театре, он был предметом восторженных оваций, особенно после исполненного им марша из «Руслана и Людмилы». В концерте участвовали лучшие певцы и артисты и Лист сам аккомпанировал всем лучше всякого оркестра <...>. В конце спектакля из всех лож четвёртого яруса, вместе с цветами и букетами, посыпались на сцену листочки белой, розовой и голубой бумаги, на которых в изысканных французских фразах выражалась просьба ещё раз приехать в Петербург. Это было нововведение, потому что ещё в 1842 году было запрещено бросать букеты Тальони и если теперь вошло в обычай бросать цветы Рубини, то потому что первый букет к ногам певца упал из царской ложи. <...> В концерте ещё играл Блаз на кларнете. Этот лысый фламандец сделал из своей дудки удивительный инструмент и играл на нём с таким чувством, что приводил в восторг. (*Ист. вестник. 1890, № 1. С. 47.*)

Из рукописи воспоминаний А.Е. РИЗЕНКАМПФА

С 9 апреля 1842 года начались концерты гениального Листа и продолжались до конца мая. Несмотря на неслыханную до тех пор цену билетов (сначала по 25, после по 20 рублей ассигнациями), мы с Фёдором Михайловичем не пропускали почти ни одного концерта. <...> После одного из концертов, в тесноте при выходе из залы у него была оторвана кисточка от шпажного темпляка, и с тех пор до самой отставки он ходил без этой кисточки, что, конечно, было замечено многими, но Фёдор Михайлович равнодушно отвечал на все замечания, что этот темляк без кисточки ему дорог как память о концертах Листа. (*Лит. наследство. Т. 86. С. 329.*)

А.Е. РИЗЕНКАМПФ (в передаче О.Ф. Миллера)

<...> молодые люди в своих двадцатых годах обыкновенно гонятся за женскими идеалами, привязываются к хорошеньким женщинам. Замечательно, что у Фёдора Михайловича ничего подобного не было заметно. К женскому обществу он всегда казался равнодушным и даже чуть ли не имел к нему какую-то антипатию. <...> может быть, и в этом отношении он скрывал кое-что; по крайней мере меня удивляло, что он не мало интересовался стихами влюблённого П. Сушкова, адресованными, как известно, к актрисе Асенковой, и особенно любил романс: «Прости меня, прелестное созданье», который он то и дело тихо распевал про себя. (*Биография... С. 64–65.*)

Из рукописи воспоминаний А.Е. РИЗЕНКАМПФА

Понятно, что Фёдор Михайлович при своей страстной натуре, при своей жажде всё видеть, всё узнать, кидался без разбора в те и другие развлечения; но скорее всего он отказался от балов, маске-

радов и др., так как он вообще был довольно равнодушен к женскому полу и его приманкам. Непостижимы были мне непомерные его расходы, несмотря на сравнительную умеренность в удовольствиях. (*Лит. наследство. Т. 86. С. 329.*)

Правило падающего пятака

Из книги приказов Главного инженерного училища. 19 августа 1842

Его императорское высочество генерал-инспектор по Инженерной части <великий князь Михаил Павлович> от 15 сего августа за № 37 изволил отдать по Инженерному корпусу следующий приказ: высочайшим его императорского величества приказом, последовавшим августа в 11 день, производятся по экзамену состоящие при Главном инженерном училище полевые инженеры:

<...> из прапорщиков в подпоручики —

Достоевский

(*Мат. и исслед., 5. С. 185–186.*)

К.Д. ХЛЕБНИКОВ

А когда мы были уже в офицерских классах <...> к нам приходил Ф.М. Достоевский и завоёвывал наше общее внимание к своим вдохновенным рассказам, уже далеко за полночь, все мы сильно уставшие, а Достоевский стоит, схватившись за половинку двери, и говорит с каким-то особенно нервным одушевлением, глухой, совершенно грудной звук его голоса наэлектризован, а мы прикованы к рассказчику. (*Рус. архив. 1907. Кн. 1. С. 377.*)

Из рукописи воспоминаний А.Е. РИЗЕНКАМПФА

<...> мысли в его голове рождались подобно брызгам в водовороте; в это время он доходил до какого-то исступления, природная прекрасная декламация выходила из границ артистического самообладания; сиплый от природы голос его делался крикливым, пена собиралась у рта, он жестикулировал, кричал, плевал около себя. Притом ему вредили испорченные от постоянной привычки к курению трубки зубы. (*Лит. наследство. Т. 86. С. 325.*)

К.А. ТРУТОВСКИЙ

Яснее всего сохранилось у меня в памяти то, что он <Достоевский> говорил о произведениях Гоголя. Он просто открывал мне глаза и объяснял глубину и значение произведений Гоголя. Мы, воспитанники училища, были очень мало подготовлены к пониманию Гоголя, да и не

мудрено: преподаватель русской словесности, профессор Плаксин, изображал нам Гоголя как полную бездарность, а его произведения называл бессмысленно-грубыми и грязными. (*Рус. обозрение. 1893. № 1. С. 214.*)

В.В. СТАСОВ

Тогдашний восторг от Гоголя — ни с чем не сравним. Его повсюду читали точно запоем. Необыкновенность содержания, типов, небывалый, неслыханный по естественности язык, отроду ещё не известный никому юмор — всё это действовало просто опьяняющим образом. С Гоголя водворился в России совершенно новый язык; он нам безгранично нравился своей простотой, силой, меткостью, поразительной бойкостью и близостью к натуре. Все гоголевские обороты, выражения быстро вошли во всеобщее употребление. (*Рус. старина, 1881, № 2, С. 414–415.*)

Д.В. ГРИГОРОВИЧ

Я был всегда высокого мнения о Достоевском; его начитанность, знание литературы, его суждения, серьёзность характера действовали на меня внушительно; мне часто приходило в голову, как могло случиться, что я успел уже написать кое-что, это кое-что было напечатано, я считал уже себя некоторым образом литератором, тогда как Достоевский ничего ещё не сделал по этой части. (*Рус. мысль. 1893. № 1. С. 10.*)

Из рукописи воспоминаний А.Е. РИЗЕНКАМПФА

То и дело он нанимал писарей для переписки черновых своих сочинений и выходил из себя, видя их ошибки и бесполезно им истраченные деньги. Между тем время шло, и Фёдор Михайлович до 23-летнего возраста не заявил о себе ещё ни одним печатным сочинением. (*Лит. наследство. Т. 86. С. 332.*)

Л.Ф. ДОСТОЕВСКАЯ

Его друг Григорович, более опытный в жизни, старался, наряду с писательством, приобретать знакомства, которые могли быть полезны для дальнейшего успеха, он проник в литературные круги и ввёл туда и своего друга Достоевского. Григорович был красив, весел и изящен, ухаживал за дамами и приводил в восторг каждого. (*Достоевский в изображении дочери... С. 22.*)

О.Ф. МИЛЛЕР

Между тем 12 августа 1843 г., по окончании полного курса наук в верхнем офицерском классе, Ф.М. Достоевский выпущен был дей-

ствительную службу в инженерный корпус и зачислен при С.-Петербургской инженерной команде с употреблением при чертёжной Инженерного департамента. (*Биография... С. 48.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

Когда Григорович бывал у брата, то всегда время проходило очень весело, потому что он ни на минуту не переставал что-нибудь рассказывать из театрального мира, и вообще что-нибудь интересное. (*Воспоминания... С. 128.*)

О.Ф. МИЛЛЕР

Из товарищей часто навещал тогда Достоевского только Дм. Вас. Григорович, представлявший во многих отношениях прямую противоположность Фёдору Михайловичу. «Молодой, ловкий, статный, — вспоминает доктор Ризенкампф, — светский, красивый и живой, сын богатого гусарского полковника и его жены, француженки-аристократки, друг поручика Тотлебена, тогда уже обнаружившего задатки будущей своей известности, и артиста Рамазанова, любимец и поклонник прекрасного пола, вращавшийся постоянно в лучшем петербургском обществе, Григорович привязался к нелюдиму и затворнику Достоевскому по врождённой ему страсти к литературе». (Биография... С. 49.)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. Июль-август 1844. Петербург

Наконец, *случился* со мною один неприятный *случай*. <...> перевод Жорж Занда романа кончался у меня («La dernière Aldini»[1]). Суди же о моём ужасе — роман был переведён в 1837 году. А чёрт это знал, я был в исступлении. (*ПСС. XXVIII. 1. С. 91.*)

Д.В. ГРИГОРОВИЧ

В течение этого времени <1844 г.> я чаще и чаще виделся с Достоевским. Кончилось тем, что мы согласились жить вместе, каждый на свой счёт. Матушка посылала мне ежемесячно пятьдесят рублей; Достоевский получал от родных из Москвы почти столько же. По тогдашнему времени, денег этих было бы за глаза для двух молодых людей; но деньги у нас не держались и расходились обыкновенно в первые две недели; остальные две недели часто приходилось продовольствоваться булками и ячменным кофеем, который тут же

[1] «Последняя Альдини» (*фр.*).

подле покупали мы в доме Фридерикса. Дом, где мы жили, находился на углу Владимирской и Графского переулка; квартира состояла из кухни и двух комнат с тремя окнами, выходившими в Графский переулок; последнюю комнату занимал Достоевский, ближайшую к двери — я. Прислуги у нас не было, самовар ставили мы сами, за булками и другими припасами также отправлялись сами. (*Рус. мысль. 1893. № 1. С. 8.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 30 сентября 1844. Петербург

Мой адрес: у Владимирской церкви в доме Прянишникова, в Графском переулке. Спросить Достоевского. (*ПСС. XXVIII. 1. С. 101.*)

Д.В. ГРИГОРОВИЧ

Он <Достоевский>, по-видимому, остался доволен моим очерком, хотя и не распространялся в излишних похвалах; ему не понравилось только одно выражение в главе «Публика шарманщика». У меня было написано так: когда шарманка перестаёт играть, чиновник из окна бросает пятак, который падает к ногам шарманщика. «Не то, не то, — раздражённо заговорил вдруг Достоевский, — совсем не то! У тебя выходит слишком сухо: пятак упал к ногам... Надо было сказать: пятак упал на мостовую, *звеня и подпрыгивая...*» Замечание это — помню очень хорошо — было для меня целым откровением[1]. (*Рус. мысль. 1893. № 1. С. 7.*)

Д.В. ГРИГОРОВИЧ. Петербургские шарманщики. 1844

<...> когда шарманщик взял бубен, завертел его на мизинце и стал обходить зрителей, толпа заметно стала редеть. <...> с горя шарманщик обратился к ложам, т. е. к окнам, в которых все ещё торчали головы любопытных; наконец, один пятак упал, звеня и прыгая, на мостовую.

Тот, о ком не ведал Бальзак

Д.В. ГРИГОРОВИЧ

Когда я стал жить с Достоевским, он только что кончил перевод романа Бальзака: «*Евгения Гранде*». (*Рус. мысль. 1893. № 1. С. 9.*)

[1] Совет стал классическим и будет «работать» (хотя и с обратным знаком) спустя почти полтора столетия: «Самолёт, звеня и подпрыгивая, мчался по взлётно-посадочной полосе...» (Правда. 1989. 9 апреля). Интересно: вспоминается ли при этом первоисточник или фраза просто причислена к журналистскому фольклору?

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 9 августа 1838. Петербург

Ну ты хвалишься, что перечитал много... но прошу не воображать, что я тебе завидую. Я сам читал в Петергофе по крайней мере не меньше твоего. <...> почти весь Бальзак (Бальзак велик! Его характеры — произведения ума вселенной! Не дух времени, но целые тысячелетия приготовили бореньем своим такую развязку в душе человека). (*ПСС. XXVIII. 1. С. 51.*)

Д.В. ГРИГОРОВИЧ

Бальзак был любимым нашим писателем; говорю: «нашим» потому, что оба мы одинаково им зачитывались, считая его неизмеримо выше всех французских писателей. (*Рус. мысль. 1893. № 1. С. 9.*)

А.де КЮСТИН

Я пытался было навести разговор на нашу новейшую литературную школу, но увидел, что в России знают одного лишь Бальзака. Перед ним бесконечно преклоняются и довольно верно о нём судят. Почти все сочинения современных французских писателей запрещены в России, что доказывает приписываемое им значение. Вероятно, других писателей тоже знают, ибо с таможней можно столковаться, но боятся о них говорить. Впрочем, это лишь моё предположение. (*Николаевская Россия. С. 183.)*

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. Вторая половина января 1844. Петербург

Нужно тебе знать, что на праздниках я перевёл «Евгению Grandet» Бальзака (чудо! чудо!). Перевод бесподобный. — Самое крайнее мне дадут за него 350 руб. ассиг<нациями>. Я имею ревностное желание продать его, но у будущего тысячника нет денег переписать; времени тоже. Ради ангелов небесных, пришли 35 руб. ассиг<нациями> (цена переписки). Клянусь Олимпом и моим «Жидом Янкелем» (оконченной драмой) и чем ещё? разве усами, кои, надеюсь, когда-нибудь вырастут, что половина того, что возьму за «Евгению», будет твоя. (*ПСС, XXVIII. 1. С. 86.*)

Д.В. ГРИГОРОВИЧ

Увлечение Бальзаком было причиной, что Белинский, к которому в первый раз повёл меня Некрасов, сделал на меня впечатление обратное тому, какое я ожидал. <...> едва я успел коснуться, что сожитель мой, — имя которого никому не было тогда известно, — перевёл «*Евгению Гранде*», Белинский разразился против общего нашего кумира жесточайшею бранью, назвал его мещанским писателем, сказал, что если б только попала ему в руки

эта «*Евгения Гранде*», он на каждой странице доказал бы всю пошлость этого сочинения[1]. (*Рус. мысль. 1893. № 12. С. 9.*)

ДОСТОЕВСКИЙ

Я не говорю уже о Бальзаке <...> давшем <...> в тридцатых годах такие произведения, как «Евгения Гранде» и «Старик Горио» (и к которому так был несправедлив Белинский, совершенно проглядевший его значение во французской литературе). (*Дневник писателя. 1876. Июнь.*)

Д. В. ГРИГОРОВИЧ

Не могу припомнить, каким образом, через кого перевод «Евгении Гранде» попал в журнал «*Библиотека для Чтения*»[2]; помню только, когда книга журнала попала к нам в руки, Достоевский глубоко огорчился, и было от чего: «Евгения Гранде» явилась едва ли не на треть в сокращённом виде против подлинника. Но таков уж, говорили, был обычай у Сенковского, редактора «*Библиотеки для Чтения*». Он поступал так же бесцеремонно с оригинальными произведениями авторов. Последние были настолько смирны, что молчали, лишь бы добиться счастья видеть свою рукопись и своё имя в печати. (*Рус. мысль. 1893. № 1. С. 9.*)

Почтовая дуэль: в преддверьи эпистолярного романа

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. Март — апрель 1844. Петербург

Служба надоедает.

Служба надоела, как картофель[3]. (*ПСС. XXVIII. 1. С. 89.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

<...> с выходом сестры Вареньки в замужество, добрейший муж её Пётр Андреевич Карепин сделался опекуном над имением, оставшимся после родителей, в соопекуны к нему назначен был брат Михаил <...>. (*Воспоминания... С. 120.)*

---

[1] Интересно: было ли названо в разговоре с Белинским имя переводчика?

[2] Ошибка Григоровича. На самом деле — в редактируемый Межевичем и Песоцким «Репертуар и Пантеон».

[3] Почему, собственно, «картофель»? Жаргонная, бытовавшая в столичной военной среде трактовка этого слова (девицы лёгкого поведения), очевидно, осталась неизвестной *специалистам*, иначе они бы не преминули подробно обсудить этот многообещающий вариант.

О.Ф. МИЛЛЕР

По словам самого Ф. М., он очень любил в детстве «сестру Варю», впоследствии вышедшую замуж за г. Карепина. (*Биография... С. 7.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — П.А. КАРЕПИНУ. 20-е числа августа 1844. Петербург

Уведомляю Вас, Пётр Андреевич, что имею величайшую надобность в платье. Зимы в Петербурге холодны, а осени весьма сыры и вредны для здоровья. Из чего следует очевидно, что без платья ходить нельзя, а не то можно протянуть ноги. Конечно, есть на этот счёт весьма благородная пословица — *туда и дорога*! Но эту пословицу употребляют только в крайних случаях, до крайности же я не дошёл. Так как я не буду иметь квартиры, ибо со старой за неплатёж нужно непременно съехать, то мне придётся жить на улице или спать под колоннадою Казанского собора. Но так как это нездорово, то нужно иметь квартиру. Существует полупословица, что в таком случае можно найти казённую, но это только в крайних случаях, а я ещё не дошёл до подобной крайности. Наконец, нужно есть. Потому что не есть нездорово, но так как тут нет ни вспомогательного средства, ни пословицы, то остаётся умереть с голоду; но это только в крайних случаях возможно, а я, слава Всевышнему, ещё не дошёл до подобной крайности. Я требовал, просил и умолял три года, чтобы мне выделили из имения следуемую мне после родителя часть. Мне не отвечали, мне не хотели отвечать, меня мучили, меня унижали, надо мной насмехались. Я сносил всё терпеливо, делал долги, проживался, терпел стыд и горе, терпел болезни, голод и холод, теперь терпение кончилось и остаётся употребить все средства, данные мне законами и природою, чтобы меня услышали, и услышали обоими ушами. <...>

Так как я хочу, чтобы никто не смел говорить, что я разоряю всё семейство наше, то я теперь говорю, в последний раз, по моей собственной воле, по моему собственному желанию сделать так, чтобы всем было хорошо, *что я отказываюсь от всего участка моего (приносящего до 1000 руб. дохода) за 1000 руб. серебром*, из которых половина должна быть выплачена разом, а остальное на сроки. (*ПСС. XXVIII. 1. С. 92–93.*)

Л.Ф. ДОСТОЕВСКАЯ

<...> они <сестры Достоевского> вспомнили, с какою лёгкостью их брат Фёдор отказался взамен ничтожной и тотчас выплаченной суммы от наследства своих родителей. Они думали, что он и вторично позволит обобрать себя[1] <...>. (*Достоевский в изображении дочери... С. 95.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — П.А. КАРЕПИНУ. 7 сентября 1844. Петербург

А обстоятельства мои вот какие. В половине августа я подал в отставку, в силу того что долгов у меня бездна, а командировка не терпит уплаты их и что ославленный офицер начнёт весьма дурно свою карьеру. Наконец, самому жизнь была не в рай. Долги, превышающие состояние, простятся богачу. Даже в иных случаях на это обстоятельство — везде смотрят с уважением. Бедняку дают щелчка. <...> Наконец, говорю Вам в последний раз, теперь, будучи в совершенном неведении насчёт Вашего решения, что лучше сгнию в тюрьме, чем вступлю в службу, прежде окончания и устроения дел моих. (*ПСС. XXVIII. 1. С. 95–96.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

<...> он <Карепин> был добрейший из добрейших людей, прибавляя при этом, что он был не просто добрым, но евангельски-добрым человеком. <...> он вышел из народа, достигнул всего своим умом и своей деятельностью. Впрочем, когда он сделался женихом сестры, то был уже дворянином. (*Воспоминания... С. 114.*)

А.Г. ДОСТОЕВСКАЯ. Записи к биографии Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО

Он <Карепин> был действительно дрянной человек. (*Хроника рода Достоевского. С. 163.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

Служил Пётр Андреевич во многих местах и везде получал солидное содержание (конечно, по-тогдашнему). Во-первых, он служил правителем канцелярии московского военного генерал-губернатора; во-вторых — аудитором при каком-то военном учреждении, но из этой службы он вскоре после женитьбы вышел в отставку; в-третьих, он был секретарём в дамском комитете, то есть при дамском попечительном о тюрьмах комитете, где между тогдашними патронессами города играл видную роль, прельщая всех своим чисто парижским французским языком; в-четвертых, он был секретарём в попечительном комитете о просящих милостыню. И в-пятых, главнейшая и самая доходнейшая его служба была частная, а именно,

[1] Речь идёт о семейном конфликте из-за куманинского наследства, относящемся к последнему периоду жизни Достоевского. Параллель с ситуацией 1844 года не вполне основательна: как видим, «обирание» было непременным требованием самого обираемого.

он был главноуправляющим над всеми имениями, кажется, князей Голицыных <...>. (*Воспоминания... С. 113-114.*)

П.А. КАРЕПИН — ДОСТОЕВСКОМУ. 5 сентября 1844. Москва

Продать следующую Вам часть наследства, кроме того прискорбия, что сын слишком мало дорожит трудами и заботами родителей и что стоило им ценой жизни сбыть на другой год выхода из школы и сбыть Бог знает для чего, не было возможным, потому что Вам едва минуло совершеннолетие. <...>

Вы едва почувствовали на плечах эполеты, довольно часто в письмах своих упоминали два слова — наследство и свои долги; я молчал, относя это к фантазии юношеской, твёрдо зная, что опыт, лета, поверка отношений общественных и частных лучше Вам истолкуют; но теперь хочу упомянуть, что первое слишком миниатюрно. <...> Не вина наша, что мы родились не миллионерами; но наша вина будет в том, если не воспользоваться средствами от Бога и положением, благодетельного начальства предоставленными. Не Вы первый, а много, очень много людей, начинающих своё поприще по известным чистым, светлым и весьма отрадным правилам труда, прилежания и терпения, со способностями ума, коими одарил Вас Господь, с хорошим образованием, которое получили в заведении отличном, — Вам ли оставаться при софизмах портических, в отвлечённой лени и неге Шекспировских мечтаний? на что они, что в них вещественного, кроме распалённого, раздутого, распухшего — преувеличенного, но пузырного образа? Тогда как в вещественности Вам указан и открыт путь чести, труда уважительного, пользы общественной <...>.

Офицеру в военном мундире нельзя останавливаться приготовлениями мягких пуховиков и Луколловой кухни. Почтовая кибитка, бурка и кусок битой говядины, приготовленной денщиком, всегда найдётся за прогоны и царское жалованье. Зато сколько приятных ощущений при удачном исполнении своего долга; сколько отрады во внимании начальников, в любви и уважении товарищей, а далее награда, заслуженная трудом своим путём прямым, благородным. Вот, Брат! настоящая поэзия жизни и сердечное желание Вам преданного

П. Карепина.

(*В кн.: Письма. Т. IV. С. 449–450.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — П.А. КАРЕПИНУ. 19 сентября 1844. Петербург

Милостивый государь Пётр Андреевич.

Письмо Ваше от 5-го сентября, наполненное советами и представлениями, я получил и теперь спешу отвечать Вам.

Естественно, что во всяком другом случае я бы начал благодарностию за родственное, дружеское участие и за советы. Но тон письма Вашего, тон, который обманул бы профана, так что он принял бы всё за звонкую монету, этот тон не по мне. Я его понял хорошо и — он же мне оказал услугу, избавив меня от благодарности. <...>

Будьте уверены, что я чту память моих родителей не хуже, чем Вы Ваших. Позвольте Вам напомнить, что эта материя так тонка, что я бы совсем не желал, чтоб ею занимались Вы. Притом же, разоряя родительских мужиков, не значит поминать их. Да и, наконец, всё остаётся в семействе.

Вы говорите, что на многие письма мои Вы молчали, относя их к неосновательности и к юношеской фантазии. Во-первых, Вы этого не могли делать; я полагаю, Вам известно почему: кодекс учтивости должен быть раскрыт для всякого. Если же Вы считаете пошлым и низким трактовать со мною о чём бы то ни было, разумеется уж в тех мыслях, что он-де мальчишка и недавно надел эполеты, то всё-таки Вам не следовало бы так наивно выразить своё превосходство заносчивыми унижениями меня, советами и наставлениями, которые приличны только отцу, и шекспировскими мыльными пузырями. Странно: за что так больно досталось от Вас Шекспиру. Бедный Шекспир! (*ПСС. XXVIII. 1. С. 96–98.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 30 сентября 1844. Петербург

Свинья-Карепин глуп как сивый мерин. Эти москвичи невыразимо самолюбивы, глупы и резонёры. В последнем письме Карепин ни с того ни с сего советовал мне не увлекаться Шекспиром! Говорит, что Шекспир и мыльный пузырь всё равно. Мне хотелось, чтобы ты понял эту комическую черту, озлобление на Шекспира. Ну к чему тут Шекспир? Я ему такое письмо написал! Одним словом, образец полемики. Как я его отделал. Мои письма chef d'oeuvre *летристики*[1]. (*ПСС. XXVIII. 1. С. 100–101.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — П.А. КАРЕПИНУ. 19 сентября 1844. Петербург

Четвёртая страница Вашего письма, кажется, избегнула общего тона письма Вашего, за что Вам душевно благодарен. Вы правы совершенно: реальное добро вещь великая. Один умный человек, именно Гёте, давно сказал, что малое, сделанное хорошо, вполне означает ум человека и совершенно стоит великого. Я взял эту цита-

[1] Шедевр (*фр.*); летристика — от фр. lettre — письмо.

цию для того, чтоб Вы видели, что я Вас понял. Вы именно то же хотели сказать, задев меня сначала и весьма неловко крючком Вашей насмешки. Изучать жизнь и людей — моя первая и цель и забава, так что я теперь вполне уверился, н<а>п<ример>, в существовании Фамусова, Чичикова и Фальстафа. (*ПСС. XXVIII. 1. С. 98.*)

М.М. ДОСТОЕВСКИЙ — П.А. КАРЕПИНУ. 25 сентября 1844. Ревель

Он даёт подписку, что отказывается от своей части; вы пошлёте ему деньги <...>. Брат так честен, что ему можно и без расписки дать эти деньги. Я за него, если хотите, в качестве второго опекуна, — ручаюсь. (*Лит. наследство. Т. 86. С. 365.*)

Из отчёта по опеке ДОСТОЕВСКИХ за 1844 год

Расход денег
на содержание детей Достоевских отправлено почтою:
1) Михаилу Михайловичу ..... 700 р. асс.
2) Фёдору Михайловичу ..... 2412 р. 50 к. асс.
3) Андрею Михайловичу ..... 150 р. асс.
4) На одежду, учебные пособия Николаю Михайловичу .. 65 р. 25 к. асс.
(*Жизнь и труды... С. 39.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 30 сентября 1844. Петербург

Брат, пиши домой как можно скорее, пожалуйста, ради самого Создателя. Я в страшном положении; ве<дь> 14 самый дальний срок; я уже $1^{1/2}$ месяца, как подал[1]. Ради небес! Проси их, чтобы прислали мне. Главное, я буду без платья. Хлестаков соглашается идти в тюрьму, только благородным образом. Ну, а если у меня штанов не будет, будет ли это благородным образом? (*ПСС. XXVIII. 1. С. 101.*)

«Какой дурак это чертил?»

Из «Биографии», продиктованной Достоевским в 1877 г.

В 1842-м году окончил военно-инженерный курс и вышел из училища инженер-подпоручиком. Был оставлен на службе в Петербурге, но другие цели и стремления влекли его к себе неотразимо. Он особенно стал заниматься литературой, философией и историей. (*ПСС. XXVII. С. 120.*)

[1] В отставку.

М.М. ДОСТОЕВСКИЙ — П.А. КАРЕПИНУ. 25 сентября 1844. Ревель

<...> он <Достоевский> уведомляет меня, что вот уже четыре месяца, как он подал в отставку. Причин мне не пишет никаких. Вам он писал об откомандировке. Если точно это побудило его к тому, что я готов с ним согласиться, что ему нечего было делать, как подавать в отставку. Он не может покинуть Петербурга, не разорвав всех связей, которые сулят ему в будущем широкую дорогу славы и богатства. Он желает вполне предаться литературе; до сих пор он работал только для денег, т. е. переводил для журналов <...> за что ему очень хорошо платили. Я ему много пророчу в будущем. Это человек с сильным, самостоятельным талантом, с глубокою эрудицией. Прочитав почти всех классиков Европы, я, по крайней мере, могу составить себе мнение об хорошем и дурном. Я читал, с восхищением читал его драмы. Нынешней зимою они явятся на петербургской сцене. Развивающийся талант должен учиться, и потому Петербурга ему нельзя и не должно оставлять; в нём одном в России он только и может образоваться. Ему предстоит теперь трудное дело — проложить себе дорогу, завоевать имя. Он пожертвовал всем своему таланту, и талант — я знаю, я уверен, — его не обманет. Дай Бог, чтоб он только не пал, чтоб он только вынес первые удары, а там... кто может знать, что будет впереди? (*Лит. наследство. Т. 86. С. 364–365.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 30 сентября 1844. Петербург

Подал я в отставку, оттого что подал, то есть, клянусь тебе, не мог служить более. Жизни не рад, как отнимают лучшее время даром. Дело в том, что я, наконец, никогда не хотел служить долго, след<овательно>, зачем терять хорошие годы? А наконец, главное: меня хотели командировать — ну, скажи, пожалуйста, что бы я стал делать без Петербурга. Куда я бы годился? (*ПСС. XXVIII. 1. С. 100.*)

М.М. ДОСТОЕВСКИЙ — П.А. КАРЕПИНУ. 3 октября 1844. Ревель

Он избрал для себя новую, лучшую дорогу, и так как два дела делать вдруг нельзя, он вполне предался тому, к которому чувствовал более склонности. Вы, любезный брат, не зная лично брата Фёдора, вероятно судите об его поступке как о малодушном капризе ребёнка, который с бухты-барахты, не спросясь рассудка, решился на дело, могущее иметь влияние на целую жизнь. Я, зная хорошо брата, зная его как человека с правилами, как человека опытного — не улыбайтесь, ради бога, это так, — я скорее готов видеть в его поступке необыкновенную силу души

и характера, великое самопожертвование новому призванию. <...> Поверьте, любезный брат Пётр Андреевич, он будет богаче всех нас. Мы будем ещё им гордиться. <...> Одно только и есть затруднение: если, получа эти деньги, брат всё-таки будет иметь ещё притязания на свою долю. Но в этом я вам, как угодно, письменно, форменно, ручаюсь, что этого никогда не будет. (*Лит. наследство. Т. 86. С. 366, 368.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 30 сентября 1844. Петербург

Никто не знает, что я выхожу в отставку. Теперь, если я выйду, — что тогда буду делать. У меня нет ни копейки на платье. Отставка моя выходит к 14 октябр<я>. Если свиньи-москвичи промедлят, я пропал. И меня пресерьёзно стащут в тюрьму (это ясно). Прекомическое обстоятельство. (*ПСС. XXVIII. 1. С. 100.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — П.А. КАРЕПИНУ. 20-е числа октября 1814. Петербург

Так как я без средств, с долгами, без платья и вдобавок больной, что, впрочем, всё равно, то я естественно прихожу к заключению как-нибудь, так или этак, поправить свои обстоятельства. Вы человек *деловой*, Пётр Андреевич, Вы и с нами действуете, как человек *деловой*, не иначе, и так как Вы человек *деловой*, то у Вас времени не будет обратить внимание на мои дела, хотя они и миниатюрны, или, может быть, именно оттого, что миниатюрны. Но если эти миниатюрные дела составляют всё спасение, всё благосостояние, всю надежду человека, то нужно извинить его настойчивость и назойливость. Вот почему я нижайше прошу Вас помочь мне в том смысле, как я Вам писал. (*ПСС. XXVIII. 1. С. 103.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. Ноябрь 1844. Петербург

<...> нужно заметить тебе, любезный брат, что последнее письмо моё в Москву было немножко слишком жёлчно, даже грубо. Но я был ввергнут во всевозможные бедствия, я страдал в полном смысле слова, я был без малейшей надежды — немудрено, что физические и нравственные мучения заставили меня писать жёлчную, резкую правду...

Итак, я со всеми рассорился. <...> Из родных остался мне ты один. Остальные все, даже дети[1], вооружены против меня. Им, вероятно, говорят, что я мот, забулдыга, лентяй, не берите дурного примера, вот пример — и тому подобное. Эта мысль мне ужасно тяжела. <...> А что я ни сделаю из своей судьбы — какое кому дело? Я даже считаю

[1] Имеются в виду оставшиеся в Москве младшие братья и сёстры.

благородным этот риск, этот неблагоразумный риск перемены состояния, риск целой жизни — на шаткую надежду. Может быть, я ошибаюсь? А если не ошибаюсь?.. (*ПСС. XVIII. 1. С. 104.*)

М.М. ДОСТОЕВСКИЙ — П.А. КАРЕПИНУ. 28 ноября 1844. Ревель

В этот год судьба его может значительно измениться. Что ни говорите, любезный брат, а я слепо верю в его необыкновенное дарование и уверен, что на избранном поприще рано или поздно он составит себе славное имя. Правда, я совершенно согласен с вами, что всё это можно бы сделать иначе, не вдруг, осторожнее, рассудительнее. Но и то сказать, всё зависит от того, с какой точки зрения станешь смотреть на предмет <...>.

Впрочем, любезный брат, в случае, если бы он ошибался, он во всякое время будет принят опять в инженеры; хоть завтра, пожалуй, подавай просьбу — не откажут. <...> Брат отставлен поручиком. (*Лит. наследство. Т. 86. С. 369.)*

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 30 сентября 1844. Петербург

У меня есть надежда. Я кончаю *роман* в объёме Eugenie «Grandet». Роман довольно оригинальный. Я его уже переписываю, к 14-му я наверно уже и ответ получу за него. Отдам в «Отечественные з<аписки>». (Я моей работой доволен.) Получу, может быть, руб. 400, вот и все надежды мои. (*ПСС. XXVIII. 1. С. 100.*)

М.М. ДОСТОЕВСКИЙ — П.А. КАРЕПИНУ 28 ноября 1844. Ревель

<...> вы можете видеть, любезный брат, что он <Достоевский> не злой человек; он очень, очень добр. Жаль, что вы не знаете его лично — вы переменили бы своё мнение. В январе выходит в свет его роман. Он замечателен оригинальностью — вещь превосходная! (*Лит. наследство. Т. 86. С. 369.*)

О.Ф. МИЛЛЕР

<...> на одном чертеже Ф. М.-ча был какой-то пропуск, и император Николай Павлович написал на нём: «Какой дурак это чертил», будто это было уже тогда, когда Ф. М. уже офицером занимался в чертёжной Инженерного департамента, и будто он подал в отставку вследствие того, что пометка государя была покрыта лаком и чертёж с нею отдан на сохранение в архив Инженерного управления. Между тем, после тщательных розысков в архиве при обязательном содействии А.И. Савельева, ничего подобного там не оказалось. (*Биография... С. 45.*)

А.И. САВЕЛЬЕВ

Нередко его чертежи (планы и фасады зданий, караульни, с их платформами и пр.), составленные им неправильно, без масштаба, возвращались обратно в инженерную команду с выговором или с саркастической заметкой их автору. (*Рус. старина. 1918. № 1–2. С. 20.*)

С.Д. ЯНОВСКИЙ

Почему я с такой уверенностью поддерживаю ту причину выхода в отставку Фёдора Михайловича, какую я сообщил, то есть неблагоприятный отзыв императора Николая Павловича об одной из чертёжных работ Достоевского, а не ординарчество у великого князя, на это отвечу коротко: потому что всё мною сказанное я слышал из уст самого Фёдора Михайловича и рассказ записан был мною тотчас в моём «Дневнике». (*Рус. вестник. 1885. № 4. С. 807.*)

Из письма С.Д. ЯНОВСКОГО О.Ф. МИЛЛЕРУ (в передаче А.С. Долинина).

В этом письме <...> приводятся ответы Достоевского на заданные ему Яновским вопросы: «Отчего он не хочет, не оставляя литературы, служить и зачем он оставил именно инженерную карьеру?» На первый вопрос Достоевский якобы ответил: «Прислуживаться тошно, да и не умею»; на второй: «Нельзя, не могу, скверную кличку дал мне государь, а ведь известно, что иные клички держатся до могилы...» (*В кн.: Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников. Т. 1. М., 1964. С. 405–406.*)

С.Д. ЯНОВСКИЙ

Понимая его таким всегда, то есть инженером без призвания, я никогда не сомневался в том, что он мог начертить план крепости, не указав место для ворот, и я вполне сочувствовал тому равнодушию, с каким сам Фёдор Михайлович относился к выходу в отставку, причём он ни разу не намекнул даже, что ему обидна главная причина этой отставки. (*Рус. вестник. 1885. № 4. С. 807.*)

Высочайший приказ об отставке ДОСТОЕВСКОГО

Его Императорское Величество, в присутствии Своём в Гатчине, октября 19-го дня 1844 года, соизволил отдать следующий приказ.

УВОЛЬНЯЮТСЯ СО СЛУЖБЫ: <...>

По инженерному корпусу. <...> По домашним обстоятельствам. <...> Полевый Инженер-Подпоручик Достоевский, Поручиком. (*Рус. инвалид. 1844. 24 октября.*)

Диплом об отставке Достоевского. 5 апреля 1845

По указу его величества государя императора
Николая Павловича самодержца Всероссийского
и прочая, и прочая, и прочая.

Предъявитель сего, служивший в Инженерном корпусе полевым инженер-подпоручиком Фёдор Михайлов сын Достоевский <...> вероисповедания православного. От роду имеет двадцать два года. Из дворян. <...> По выборам дворянства не служил, в походах не бывал; особых поручений по высочайшим повелениям и от своего начальства не имел; наград, высочайших благоволений, всемилостивейших рескриптов и похвальных листов не получал. <...> Жалобам не подвергался. Слабым в отправлении обязанностей службы и по званию начальника замечен не был <...> беспорядков и неисправности между подчинёнными не допускал, оглашаем и изобличаем в неприличном поведении не был. (*Я кн.: Бельчиков Н.Ф. Достоевский в процессе петрашевцев. М., 1971. С. 114–115.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ 30 сентября 1844. Петербург

Насчёт моей жизни не беспокойся. Кусок хлеба я найду скоро. Я буду адски работать. Теперь я свободен. (*ПСС. XXVIII. 1. С. 100.*)

ДОСТОЕВСКИЙ. Петербургские сновидения в стихах и в прозе

И стал я разглядывать и вдруг увидел какие-то странные лица. Всё это были странные, чудные фигуры, вполне прозаические, вовсе не Дон-Карлосы и Позы, а вполне титулярные советники и в то же время как будто какие-то фантастические титулярные советники... И замерещилась мне тогда другая история, в каких-то тёмных углах, какое-то титулярное сердце, честное и чистое... а вместе с ним какая-то девочка, оскорблённая и грустная, и глубоко разорвала мне сердце вся их история. (*Время. 1861. № 1. Отд. VI. С. 6.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 16 августа 1839. Петербург

Человек есть тайна. Её надо разгадать, и ежели будешь её разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время; я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком. Прощай. Твой друг и брат

Ф. Достоевский.

(*ПСС. XXVIII. 1. С. 63.*)

Глава 4

БЕЛАЯ НОЧЬ

«Это выше сна!»

Осенью 1825 года, завершив «Бориса Годунова», сочинитель «бил в ладоши и кричал, ай да Пушкин, ай да сукин сын!». Через двадцать лет, весной 1845-го, Достоевский сухо сообщает брату (речь идёт о «Бедных людях»): «Около половины марта я был готов и доволен».

Сравнение уязвимо. 26-летний Пушкин изгнан, признан, любим, почитаем, печатаем, знаменит. Он ни в каком отношении не схож с пребывающим в полной безвестности 23-летним самодеятельным автором. И все жё их роднит чувство: то самое, которое заставляет победителя прибегать к сильным выражениям (блоковское, по окончании «Двенадцати» сказанное: «Сегодня я гений», — *типологически* соответствует пушкинской ликующе-изумлённой самооценке) и которое в застенчивой школьной адаптации обретает вполне благородный вид («Ай да молодец!»).

У Достоевского, правда, всё происходит с некоторым замедлением.

Осенью 1844 года Михаил Михайлович уверяет строгих московских родственников, что не далее как в январе первое сочинение брата явится почтеннейшей публике. И действительно, оно явилось в январе — правда, с задержкой на год. Но в расчётах Михаила Михайловича не было намеренных искажений. Его информация основывалась на сведениях, полученных от самого автора.

Через много лет в «Дневнике писателя» Достоевский заметит, что «Бедные люди» были начаты зимой 1845 года и что до них он ничего не писал. Оба эти утверждения не вполне точны. «Забыты» (может быть, умышленно) ранние драматические опыты. Но не упомянуты и труды 1844 года: ведь ещё 30 сентября автор бодро сообщал брату, что роман почти окончен и уже перебеляется для отправки издателю.

Такая хронология психологически объяснима. Автор как бы намеренно игнорирует то, что писалось им *до* отставки — «параллельно» учению и службе. Он ведёт отсчёт лишь с момента, когда стал свободен: независимость — условие профессионализма.

Не выпустив ещё сочинение из рук, сочинитель уже исчисляет день, когда получит редакционный ответ («к 14-му»!). Черта знаменательная. И позднее он будет планировать свои действия (и ответные шаги партнёров) на несколько ходов вперёд, порою жестоко ошибаясь и попадая впросак.

Разумеется, к 14 октября 1844 г. редакционный ответ не последовал — по той причине, что рукопись в редакцию не поступала.

Проходит *семь* месяцев: вместо уведомления о выходе романа брат извещается о всё новых и новых редакциях и переделках (их можно насчитать не менее пяти). Даже после известного «готов и доволен» рукопись ещё раз подвергается капитальнейшей правке. Стремление к совершенству, как известно, не имеет границ. Но наконец 14 мая 1845 года автор резким усилием воли пресекает судорожные попытки улучшить текст: «Я слово дал до него не дотрогиваться».

Итак, труд, занявший, очевидно, никак не менее года, благополучно завершён. Но вот странность: подробно информируя корреспондента о ходе работ, Достоевский, как помним, никогда не таивший от брата своих творческих мечтаний, на сей раз воздерживается сообщить, что, собственно, он сочиняет. Роман — это понятно: но о чем, *из какой жизни*? (Надо надеяться, не из венецианской!) Даже непосредственный свидетель, а именно Григорович, отстранён от каких бы то ни было обсуждений: он видит только множество листов, исписанных мелким бисерным почерком...

Труд совершается прикровенно: до его окончания автор доверяет только собственному суду. Уж не опасается ли он *сглаза*? Даже название будущего творения оглашению не подлежит.

Трудно сказать, на какой стадии роман получил имя, которое нам известно. Никакие иные варианты заголовка до нас не дошли. Но, кажется, вещь и не могла быть названа иначе. В названии различим не один лишь любезный русскому интеллигентному уху социальный акцент. «Бедные люди» — это как бы вздох мировой скорби, вздох по всему роду человеческому (бедные *люди!*), а не только горевание об отсутствии вещественных благ. Бедный человек — человек несчастный, несовершенный, далёкий от идеала. Это почти божественная печаль о слабом и одиноком человеческом существе и вместе с тем — его собственная горестная самооценка.

Имя первого сочинения Достоевского — эпиграф ко всей его будущей прозе.

Но что думает по этому поводу обладающий почти безошибочным вкусом Чувствительный Биограф? Такое название, раздумчиво замечает он, «не означает, что Достоевский поэтизирует голь перекатную». Ибо в отличие, скажем, от некоторых будущих бытописателей, он «изображает не дно общества, а преддно». (Уж не Ч.Б. ли подсказал польскому юмористу тонкую шутку: «Когда я опустился на дно, снизу постучали»?)

«Кажется, что в произведениях писателя только мрак. Но это не так», — бодро декламирует Ч.Б., невольной рифмой подтверждая верность суждения.

Однако вернёмся к герою.

Дело было сделано. Оставались сущие пустяки: обнародовать написанное. Но тут в образе мыслей автора вновь обнаруживается странная непоследовательность.

В марте, явно отступив от первоначальных намерений, он уверяет брата, что ни за что не отдаст своё детище в журналы, ибо там рукопись прочтут через полгода, а если и напечатают, то заплатят гроши. Следовательно, выгоднее издавать самому. «...На что мне... слава, когда я пишу из хлеба?» Экономический мотив выставляется нарочито грубо — словно бы в противовес могущим возникнуть романтическим подозрениям. Этот напускной реализм с его демонстративным презрением к причинам высшего порядка как нельзя лучше оттеняет эти последние...

Не проходит и двух месяцев — и настроение снова меняется. «Итак, я решил обратиться к журналам...» Разумеется, к «Отечественным запискам»: где же и начинать, как не здесь — в самом видном и почитаемом органе российской словесности? Именно здесь вершит свои приговоры не ведающий страха (но внушающий его другим!) Виссарион Белинский. Может быть, это имя, вслух, впрочем, не произносимое, и есть решающий довод в пользу журнала? Да и сто тысяч потенциальных читателей (из интересного расчёта — 40 человек на номер!) — дело нешуточное[1]. Это именно та самая слава, которая

[1] Достоевский ошибался. Он исходит из того, что тираж «Отечественных записок» равен 2500 экземплярам. Между тем в 1845 году тираж этот приближался к 4000. Таким образом, если подсчёты будущего автора «Отечественных записок» принимать всерьёз, журнал должна была читать поистине гигантская аудитория.

ранее высокомерно отвергалась. «А не пристрою романа, так, может быть, и в Неву... Я не переживу смерти моей idée fixe».

Для литератора, пишущего «из хлеба», подобный максимализм не вполне оправдан.

Достоевский вступил в литературу в мае.

«Прозрачный сумрак, блеск безлунный» как бы подсвечивают этот дебют. Событие совершается ночью, и, как всё совершающееся в ночи, оно приобретает неверный, полуфантастический колорит. Собственно, этого и следовало ожидать, ибо само словосочетание «белая ночь» — отважный поэтический образ. Время как бы вывернуто наизнанку («здесь ночи ходят невпопад» — почти через век усмехнётся Н. Заболоцкий), и в этом зеркальном, изнаночном, неестественно-отчётливом мире гулко, как на пустой сцене, перекликаются голоса...

Григорович и Некрасов читают рукопись *вслух*. (Жаль, что этот высокоторжественный миг не обрёл ещё своего ваятеля и живописца!) У Некрасова, ровесника Достоевского, славного пока лишь удачными издательскими спекуляциями, голос прерывается, и, не выдержав, он стукает ладонью по рукописи: «Ах, чтоб его!» (полная рифма пушкинскому — увы, одинокому — восторгу в Михайловском). Между тем белая ночь длит своё призрачное действо... И вот звучит знаменитое: «*Это* выше сна!» — и два молодых силуэта уже летят по вымершим петербургским улицам: надо закончить дело до наступления дня. И третий силуэт, качнувшись в распахнутом окне, поднимется им навстречу, изумлённый внезапным приходом двоих...

Ночь белая болезненна, бледна.
Вот юный Достоевский у окна.
Пред ним в слезах Некрасов, Григорович...

Любопытно бы знать: с чем рифмуется Григорович?

При этом (что уже не впервой) сюжет вновь начинает двоиться. Правда, на сей раз — сущие пустяки. Григорович уверяет, что однажды утром Достоевский торжественно призвал его и прочитал вслух своё творение. Восхищённый слушатель (вернее, *перво*слушатель — честь в данном случае немалая!) почти силком забрал у автора рукопись и поспешил доставить её Некрасову. Затем оба читателя посещают Достоевского, а по уходе Некрасова Григорович (последний, натурально, остаётся, ибо он у себя дома), «лёжа на своём диване», ещё долго слышит шаги взволнованного соседа.

Версия самого Достоевского несколько иная. Он говорит, что Григорович в то время жил у Некрасова, которому он, Достоевский, отвёз рукопись самолично. Ночной звонок (у Григоровича стук) в дверь наводит на мысль, что Достоевский, пожалуй, ближе к истине: зачем звонить, если у Григоровича должен иметься собственный ключ? Достоевский определённо говорит об уходе обоих ночных посетителей, что порождает некоторое недоумение относительно *диванного* свидетельства Григоровича.

Не вполне ясно и то, чем занимался герой в первые часы этой незабываемой судьбоносной ночи. По его позднейшему (адресованному широкой публике) признанию, после отдачи рукописи Некрасову он мирно направился «к одному из прежних товарищей», где и предался занятию, как нельзя более подходящему к случаю. «А не почитать ли нам, господа, Гоголя!» Отчего же не почитать — «и, пожалуй, всю ночь». Он вернулся домой в четыре. Страшно подумать, как выглядела бы история отечественной словесности, если бы любитель поздних чтений замедлил с приходом и ночные гости удалились несолоно хлебавши.

Между тем одна воспоминательница утверждает, что автор «Бедных людей» в тесном дружеском кругу излагал этот хрестоматийный сюжет несколько иначе. Отослав рукопись в редакцию (т. е., очевидно, отдав её Некрасову?) и терзаемый авторскими сомнениями, он якобы ринулся в пучину разврата («закутил с горя») и в ту самую ночь вернулся домой как раз после таких непохвальных отвлечений. Трудно сказать, домысел ли это мемуаристки или лукавый самооговор, имеющий целью подчеркнуть опасную близость порока к чистым источникам творческого труда...

И всё же, и всё же... Не злоупотребляем ли мы благорасположением снисходительного читателя, задерживаясь на недостойных его внимания частностях и мелочах? Какая, в конце концов, разница, кто кого посетил, после чего и во сколько? Для Литературы (с большой, разумеется, буквы) это совершенно неважно. Важен общий утешительный итог: на него не влияет броуновское мельтешение отдельных фактов и фактиков. Классикам более подобает *средний* план. Долой подробности, ибо они всегда неприличны![1]

[1] «Наивно полагаться на незыблемый авторитет классиков, — отечески журит нас один взыскательный критик. — От введения в оборот новых пикантных подробностей из их (очевидно, классиков. — *И.В.*) жизни этот авторитет не станет более прочным». Критик даже не подозревает, насколько он прав!

«Бедные люди» сделали его знаменитым — буквально в одну ночь. Но это ночное признание — с блицвизитами, объятиями и слезами, а главное — с восторженным поминанием Гоголя (чья незримая тень, отбрасываемая из Италии, многозначительно маячит на заднем плане) — всё это, хотя и предвосхитило характер дальнейших событий, однако ж не отменяло необходимости взглянуть на происходящее при свете дня.

Достоевский отдал роман Некрасову. Тем самым он вверял свою литературную участь той партии, душой и совестью которой был Белинский. От его приговора зависело всё.

От Белинского зависело всё, но сам он, горячий, вспыльчивый и прямой, не выказывал и тени литературного генеральства. Он был инстанцией, производящей в генералы других. Он признавался лидером и теоретиком школы, которая вскоре, заслужив у Булгарина бранную кличку натуральной, обратит это прозвище в своё боевое знамя. Белинский жаждал социальности, сопряжённой с психологизмом: «Бедные люди» пришлись как нельзя кстати.

Герольдский клик Некрасова «Новый Гоголь явился!» (автор «Мёртвых душ» — мера и точка отсчёта, что позволяет усмотреть в некрасовском возгласе ещё и *геральдический* оттенок) — эта весть должна была отозваться сладкой музыкой в сердце «первого критика». Произведение восхитило его сразу и целиком. Это был сигнал для всех остальных.

«...И в гроб сходя, благословил»: благословившему оставалось жить ровно три года.

Когда всё-таки был он *представлен*? Белые ночи всё водят свой призрачный хоровод — и май неприметно переходит в июнь, и тянет на летний воздух, и грех в такую погоду сочинять письма или вести дневники, и будущие биографы недоумённо разводят руками...

И всё же... В 1873 году бывший дебютант напишет М.П. Погодину: «С Белинским я познакомился в июне 45-го года и тут же с Некрасовым». Месяц обозначен твёрдо, без затей. Конечно, прошло двадцать восемь лет, но *такие* вещи помнятся хорошо.

Что удивительно: Некрасов и Достоевский покинули столицу в один и тот же день (следовало бы запатентовать это ценное наблюдение!). А именно — 7 июня. Достоевский отбыл в Ревель к брату, Некрасов — к Герцену и его друзьям в Москву — дабы обзавестись вкладчиками для будущего «Петербургского сборника» (именуемого пока «1 января»: издание замышлялось к Новому, 1846 году). Следовательно, если принять во внимание исчисления самого бенефицианта, ночной визит к нему двух молодых друзей и последующее зна-

комство его с Белинским — все эти события совершились в первую неделю июня 1845 года[1].

Итак, внесём важную хронологическую поправку: Достоевский вступил в литературу в июне! Что, впрочем, ничуть не меняет ни освещения сцены, ни расположения фигур.

«Я вышел от него в упоении... — говорит Достоевский о своём первом визите к Белинскому. — Это была самая восхитительная минута во всей моей жизни. Я в каторге, вспоминая её, укреплялся духом».

Он запомнит свидание: звёздный свой час. Отныне он обречён в поте лица своего отрабатывать выданный ему непомерный аванс.

Он признан: правда, пока только в кругу «своих». Но «неофициальный» успех «Бедных людей», сколь ни странно, отсрочит появление их в печати. Теперь не было нужды отдавать роман в «Отечественные записки», где он — с подачи Белинского — мог бы явиться незамедлительно. Имело смысл повременить — до выхода некрасовского «Петербургского сборника»: там роману была уготована особая роль.

...Делать в пустеющем Петербурге было более нечего — и, как уже говорилось, 7 июня, сев на пароход, он отправляется в Ревель, к брату — единственному своему наперснику и конфиденту. Там приступает он к «Приключениям господина Голядкина» (будущему «Двойнику»): надо ковать железо, пока горячо. Какие ещё заботы одолевали его в это лето, томительное лето 1845 года, можно только догадываться: писем нет, да и писать-то, собственно, было не к кому...

1 сентября он возвращается в Петербург. Он едет морем — и от города, казалось бы, расположенного встретить его литаврами, веет на него неизъяснимой печалью. Может быть, оттого, что дело вновь происходит глубокой ночью.

«Я смутно перечувствовал всю мою будущность в эти смертельные три часа нашего въезда...» Он смотрит на город своей судьбы, на глухую и величественную панораму надвигающейся столицы. Кажется, никогда ещё не возникало у него подобного чувства — такого грозного ощущения грядущей беды, такого мучительного сомнения в неотменимости выбора: «Весь этот спектакль решительно не стоит свечей».

[1] Косвенное подтверждение такой датировки: указанные факты не отражены в письмах к брату, как это непременно случилось бы, относись они, скажем, к середине мая. Но в начале июня Достоевский уже готов отправиться в Ревель, поэтому последние ошеломляющие новости припасены для личной встречи.

Как будто чёрная сентябрьская ночь молча меряется с той, белой...

Между тем подходит октябрь, столица наполняется публикой — и в тоне его начинают звучать более мажорные ноты. Он запросто поминает *имена*, давая понять брату, что это теперь — его круг, что он здесь — свой среди своих. Он бойко рассуждает о замышляемых им и его друзьями журнальных предприятиях. Он сочиняет весёлое объявление об издании «Зубоскала» и публикует его в «Отечественных записках»: следствием сего неосторожного шага станет запрещение объявленного журнала. Плачевный результат первого оригинального выступления в печати (в том самом органе, о котором мечталось) не очень огорчит автора, ибо *этот* его дебют, по счастью, останется анонимным.

Главный дебют — ещё впереди: и ожидание приносит ни с чем не сравнимую радость. Тем более что, «терзаемый угрызениями совести», Некрасов обещает доплатить ещё 100 рублей серебром сверх положенной за «Бедных людей», ранее обговорённой суммы, ибо, как сокрушённо признает, 150 рублей — «плата не христианская».

Согласимся, что подобная (без требований со стороны автора) надбавка — событие в писательском мире довольно редкое. Во всяком случае, с Достоевским такого больше не приключалось.

Хорошее дело — арифметика.

Достоевский надеялся продать роман (семь печатных листов) Краевскому в «Отечественные записки» за 400 рублей серебром. Выходит — около 60 рублей за печатный лист. Некрасов, крайне стеснённый в средствах, первоначально предлагает автору «Бедных людей» аккордную плату — упомянутые 150. Автор, не колеблясь, соглашается.

Для человека, пишущего «из хлеба», подобный поступок довольно странен.

Он согласен получить плату едва ли не в три раза меньшую: немногим более 20 рублей за печатный лист. Даже после широкого некрасовского жеста плата, сделавшись чуть более «христианской», всё же остаётся весьма и весьма умеренной (примерно 35 рублей за лист). Таким образом, автор готов потерять 250, а затем, после добровольной некрасовской компенсации, — 150 рублей: деньги, которые по расчёту он мог бы взять с издателя «Отечественных записок» Андрея Александровича Краевского.

Обременённый расходами и долгами, ради чего он идёт на такие жертвы?

Передача рукописи в «Петербургский сборник» — акт идейной солидарности. Солидарности с Некрасовым, с Белинским, но, впро-

чем, и с Краевским, поскольку все они в 1845 году составляют ещё одну компанию.

Конечно, солиднее (да и выгоднее!) иметь дело с «самим» Краевским. Но дебютант выбирает «мечты и звуки». И не потому, что так уж чтит автора одноимённой, наверняка позабытой им стихотворной книжки, а скорее — в силу молодой симпатии к сверстнику, к кругу литературных идей, ими обоими разделяемых...

Он примыкает к *направлению*.

«...О к ним, с ними!»

Любимец публики

15 ноября он впервые посещает Панаевых: там обыкновенно сходится весь кружок[1].

На следующий день — под впечатлением — он пишет брату. Если бы мы наверное не знали, кому принадлежит текст, это послание можно было бы принять за жестокую и сокрушительную пародию.

«Ну, брат, никогда, я думаю, слава моя не дойдёт до такой апогеи, как теперь. Всюду почтение неимоверное, любопытство насчёт меня страшное... Все меня принимают как чудо. Я не могу даже раскрыть рта, чтобы во всех углах не повторяли, что Достоев<ский> то-то сказал, Достоев<ский> то-то хочет делать... Откровенно тебе скажу, что я теперь упоён собствен<ной> славой своей».

Вспомним: «Я вышел от него в упоении». Именно это чувство, впервые захватившее его тогда, весной, после встречи с Белинским, вновь возрождается осенью. Правда, теперь это упоение иного рода: оно требует приставки *само-*. Дебютант словно напрочь забыл о своих недавних предчувствиях: как будто вовсе не ему пригрезилось «мене, текел, фарес» нагнавшей на него тоску петербургской ночью...

«Эх, самолюбие моё расхлесталось!» И — как высший градус этого «расхлеставшегося» самолюбия — передача чужого, но отнюдь не отвергаемого мнения: «Гоголь... не так глубок, как я».

Гоголь упомянут как нельзя кстати. Поразительно только, что такой знаток и ценитель гоголевских писаний не улавливает в собственной

[1] Панаевы жительствуют на углу Невского проспекта и набережной реки Фонтанки в доме купца Лопатина. Здесь же с 1843 года живёт Белинский (он занимает освободившуюся квартиру Краевского). Осенью 1845 года этот «литературный дом» — главная точка притяжения для дебютанта. Накануне его прихода, 14 ноября, из Петербурга отбывает Герцен, гостивший у Панаевых: его с Достоевским знакомство откладывается на год.

захлёбывающейся речи этот знакомый звук. Впрочем, может быть, в слове «расхлесталось» как раз и содержится скрытое указание на имя?

«Да, и в журналы помещаю... “Пожалуйста, братец, напиши что-нибудь”. Думаю себе: “Пожалуй, изволь, братец!”»

Автор «Бедных людей» проговаривает свой эпистолярный монолог в той же — хлестаковской — тональности. Он, автор, тоже «с Пушкиным на дружеской ноге». Во всяком случае, фамилии «аристократишек» — князя Одоевского и графа Соллогуба — помянуты с насмешливым пренебрежением: не столько даже к их титулам, сколько к заискивающим, с точки зрения автора, попыткам добиться немедленного знакомства. Между тем «Бедные люди» будут украшены в печати эпиграфом из того же князя Одоевского.

Здесь различима грань: между литературой и «окололитературой».

Трудно поверить, что «Бедные люди» и письма с известиями о литературных успехах их автора писаны одним и тем же пером. Там — уверенная рука мастера, искусно владеющего слогом и точно рассчитывающего каждый речевой жест. В письмах — наоборот, отсутствие «формы», неумение «художественно», со стороны, оценить ситуацию, коробящая порой откровенность. Достоевский словно нарочно спешит навлечь на себя обвинения в заносчивости, зазнайстве и саморекламе.

Стоит, однако, вслушаться в интонацию всех этих нескромных признаний. Не сквозит ли в его ранних восторгах что-то искусственное, лихорадочно-преувеличенное и, как это и можно было предположить, не вполне в себе уверенное? Не носят ли подобные упоения не только наивный, но и несколько театрализованный характер?

Никогда ещё «вхождение в литературу» не осуществлялось таким ошеломляющим образом. Даже у наиболее счастливых дебютантов — Пушкина, Гоголя, позднее Толстого — писательская известность нарастала постепенно. Никогда ни одному начинающему автору Белинский не говорил: «...цените же ваш дар и... будете великим писателем!..»

Для Достоевского, не принадлежавшего ни к светскому, ни к полусветскому кругу, ведшего уединённое, будничное, «угловое» существование, неожиданный литературный успех значил перемену всех личных и общественных обстоятельств. Информация, предназначаемая брату, должна была как можно резче подчеркнуть именно этот аспект: мгновенное, почти сказочное достижение желанной цели, обретение нового жизненного качества. Автор писем старается растолковать эти перемены как можно «популярнее», то есть грубее.

Лев Толстой, например, никогда не допустил бы подобных экзальтаций. Он не любил выглядеть смешным. Кроме того, писательство оставалось для него лишь одним из возможных жизненных вариантов, порою далеко не главным. Недаром Тургенев не без ехидства вопрошал автора «Детства»: «...что же Вы такое, если не литератор: офицер? помещик? философ? основатель нового религиозного учения? чиновник? делец?» Толстой словно не уверен, что именно литература позволит ему реализовать своё жизненное предназначение[1].

У Достоевского нет таких сомнений. Для него писательство — единственная и исключительная возможность. Его самооценка целиком зависит от осуществления этой главной задачи.

«Меня то же мучило, что и Вас, еще с 16-ти, может быть, лет, — пишет он в 1877 году одному начинающему литератору, — но я как-то уверен был, что рано или поздно, а непременно выступлю на поприще, а потому (безошибочно вспоминаю это) не беспокоился очень». «Не беспокоился», веря в *единственность* своего выбора: с такой верой можно было и не поспешать. «Насчёт же места, которое займу в литературе, был равнодушен...»

С первого своего шага он «вдруг» занял в литературе место, о котором не смел и мечтать. Не отсюда ли мальчишеская «упоённость» его писем: в них видна душа доверчивая и открытая, ещё не наловчившаяся прикрывать собственные слабости спасительной самоиронией. Ничто так не выдает возраст автора, как полнейшая неспособность сохранить на лице важность, приличествующую моменту...

Достоевский ревностно осваивает выпавшую ему роль. Он не без удовольствия примеряет костюм внезапного любимца муз, этакого баловня фортуны и, чтобы, не дай бог, не спутали, спешит выставить объяснительную табличку: «любимец муз». Разумеется, не только музы, но и все прочие обязаны испытывать к счастливцу тёплые чувства: «Эти господа уж и не сознают, как любить меня, влюблены в меня все до одного». Язык спотыкается, речь переходит в лепет... «Я, признаюсь, литературой существую... тридцать пять тысяч одних курьеров!.. Меня завтра же произведут сейчас в фельдмарш...» Простодушный Иван Александрович врал вполне бескорыстно. Неискушённый автор «Бедных людей» не менее бескорыстно старается рассказать правду. Но как раз поэтому слова его выглядят чистейшей хлестаковщиной.

[1] Заметим, что и у Пушкина занятия словесностью — только одна из его видимых ипостасей. Не меньше, чем литературной репутацией, он дорожит репутацией светской. Более того, в своей «внелитературной» жизни он как бы игнорирует свою главную роль. (См.: *Лотман Ю.М.* Александр Сергеевич Пушкин. Л., 1983. С. 157–159).

Не случайно именно в таком контексте возникает небрежное: «Минушки, Кларушки, Марианны и т. п. похорошели донельзя, но стоят страшных денег» — замечание, навлёкшее на неосторожного бонвивана столько учёных подозрений[1]. Между тем — независимо от своего реального содержания — фраза эта абсолютно отвечает характеру играемой роли. Ибо ничто так не оттеняет успех, как внимание женщин. Но поскольку героиня отсутствует, делается указание на временно заменяющую её принадлежность театрального реквизита.

Впрочем, героиня может вот-вот явиться.

15 ноября 1845 года, как уже было сказано, Достоевский проводит вечер у Панаевых: у Ивана Ивановича и Авдотьи Яковлевны (которые в домашнем быту именуют друг друга запросто: Жанно и Евдокси). На следующий день он сообщает брату, что, «кажется», влюбился в хозяйку дома. Так впервые (хотя и с некоторым опозданием) возникает, наконец, нота, которая, едва себя обозначив, вскоре оборвётся, чтобы вновь зазвучать только через десять лет...

(«...Кажется, влюбился...» Что за вечная интеллигентская неопределённость! Можно понять Ч. Б., который, не удовлетворившись столь скудной информацией, значительно углубляет тему: «Он ощущал каждой клеткой, каждым нервом своего, словно не принадлежащего уже ему... тела (отметим завидную стойкость мотива! — *И.В.*), что это то, именно то, о чём прежде он только мечтал, но не ведал...» Далее бережно воспроизводится внутренний монолог героя: «...для неё он будет гением, станет первым в России писателем, и она полюбит его...» К сожалению, сбылась только первая часть этого утешительного прогноза.)

Если это первая любовь (а о других нам ничего не известно), то к тому же — с первого взгляда. И взгляд этот, хоть и затуманенный душевным волнением, зорко подмечает высокие достоинства предмета («умна и хорошенькая, вдобавок любезна и пряма донельзя»).

«Хорошенькая» — ещё слабо сказано: 25-летняя Авдотья Яковлевна, судя по всему, была неотразима. Хотя, как сокрушённо замечает

[1] Так, А. Кашина-Евреинова не без сочувствия приводит слова одного авторитета, якобы заявившего: «Да, для меня совершенно ясно, что как Некрасов, так и Достоевский недели не могли прожить без женщины». (Подполье гения. С. 21). Хотя подобного рода гипотезы и не подлежат обсуждению, уместно в настоящем случае обратиться к сообщаемому Яновским мнению самого заинтересованного лица — относительно его нелюбви к «юпке».

Чувствительный Биограф, и страдала от несовершенства мужа, «от сознания его вторичности среди окружающих его талантов». Надо полагать, что здесь содержится деликатный намёк на имеющие воспоследовать вскоре перемены. Авдотья Яковлевна — на долгие годы — станет верной подругой одного из «окружающих талантов» (а именно Некрасова) и деятельной сотрудницей его журнала. Что же касается нынешнего панаевского гостя, то по прошествии двух с половиной месяцев он подтвердит серьёзность своего чувства: «Я был влюблён не на шутку в Панаеву, теперь проходит, а не знаю ещё». То есть не знает, пройдёт ли... Впрочем, имя Панаевой больше не будет названо — никогда.

Но не возникнут более ни разу и пресловутые «Минушки и Кларушки», которые, к слову, фигурируют в том же самом письме, где речь впервые заходит об Авдотье Яковлевне (с последней эти внесценические персонажи вступают даже в некую вербальную связь: «хорошенькая... и пряма донельзя» — «похорошели донельзя»). Тема исчерпала себя так же неожиданно, как и появилась, что свидетельствует о её относительной периферийности. (В переписке современников такие подробности тоже довольно редки — не столько из-за непристойности сюжета, сколько в силу его обыденности.) Дальнейшие сетования Достоевского на беспутную жизнь — жалобы, которые иные специалисты склонны трактовать в совершенно определённом смысле, могут означать всё, что угодно[1].

Приведя известный случай, когда её отец упал в обморок перед светской красавицей (мы ещё коснемся этого эпизода), Любовь Фёдоровна не без остроумия добавляет: «Период страстей у отца начинается только после каторги, и тогда уже в обмороки он не падает».

Насмешливая дочь ошибается: период страстей начался гораздо раньше. Точнее, имела место «одна, но пламенная страсть» — она-то и потеснила все остальные.

С 1845 года, по его собственному выражению, он живет «как в чаду».

Отныне и уже навсегда его биографическое время сопряжено с жёсткими сроками журнальных публикаций. Отныне он будет жить, задыхаясь от издательской гонки, стараясь поспеть в номер, растрачивая взятые вперёд деньги и вновь залезая в долги. Его бурная и краткая слава сменится, несмотря на упорство и интенсивность

[1] Забавно, что в обратном переводе с немецкого слова Достоевского (из его письма к брату) «порядочно жить я не могу, до того я беспутен» звучат следующим образом: «я так распутен, что уже не могу жить нормально...» (*Нейфельд И.* Достоевский. М., 1923. С. 24). Как можно догадаться, это не совсем одно и то же.

его творческого труда, вялым интересом к нему читающей публики, которая, как водится, быстро охладевает к недавним своим любимцам. Никогда больше не переживёт он минут, хотя бы отдалённо напоминающих восторг первых дней. Неслыханный, беспрецедентный успех будет мниться всё более случайным: он отравит ему кровь и замучит воспоминаниями. И так — вплоть до разразившейся над ним катастрофы, которая положит конец этому мучительному состоянию, позднее названному им однозначно: болезнь.

Превознося до небес ещё не вышедших «Бедных людей», хвалители имеют в виду и некоторую практическую пользу. Ибо авансы, щедро расточаемые новому дарованию, расточаются в *рост*. Это — выгодное помещение капитала: превосходная реклама будущему «Петербургскому сборнику», в котором, к слову сказать, участвуют и некоторые из вестовщиков.

...Наконец, 15 января 1846 года долгожданный альманах поступает в лавки книгопродавцев. Недели через две, 1 февраля, во втором номере «Отечественных записок» появляется «Двойник». И, хотя совпадение было чисто случайным, невольно могло закрасться подозрение, что расчётливый дебютант так подгадал события, чтобы шарахнуть публику сразу из двух стволов.

Как и следовало ожидать, сюжет снова двоится.

...Казалось, дразнящий ореол тайны, почти полгода мерцавший вкруг авторского чела, должен смениться, наконец, ровным свечением нимба. На деле, однако ж, не обошлось без скандала.

Достоевский ступил на литературную арену в момент относительного затишья. Совсем недавно смолкли корифеи — Пушкин, Лермонтов, Крылов... После громового успеха первого тома «Мёртвых душ» наступила томительная пауза. На подходе была новая литературная волна. Однако мужающая натуральная школа ещё не осознала себя в качестве таковой. Потребовались «Бедные люди», чтобы дело приняло серьёзный вид.

Предводительствуемая Белинским русская либеральная элита торжественно расступилась — и вперёд, как молодой трубач, был вытолкнут Достоевский.

С первых шагов дебютант заявил о себе как человек партии. Вернее, так посчитали его литературные восприемники. Для Белинского «Бедные люди» явились сильнейшим художественным подтверждением его теоретической правоты. «Петербургский сборник» с первой повестью молодого автора был брошен на стол как неоспоримое доказательство. В полемической ажитации сюда же поначалу присоединили и «Двойника».

«Белинский, служака исправный, — желчно заметит А. Блок, — торопливо клеймил своим штемпелем всё, что являлось на свет Божий».

Естественно, что все противники натуральной школы, начиная с немедленно ринувшегося в бой Булгарина (чьи нападки в «Северной пчеле» по причине одиозности органа стали едва ли не лучшей рекомендацией дебютанту) и кончая высокоумными и язвительными критиками «Москвитянина», — все они поспешили оповестить публику, что её ожидания жестоко обмануты. Причём если одни рецензенты отвергают само наличие дарования, другие тонко дают понять, что робкие зачатки таланта были погублены неумеренными похвалами мнимых друзей.

Реакция самого виновника этих журнальных ристаний на ещё не привычную для него печатную брань вполне отвечает правилам игры. «Сунул же я им всем собачью кость! Пусть грызутся — мне славу дурачьё строят», — пишет он брату 1 февраля 1846 года: в день выхода «Двойника». Он словно повторяет — в ещё более откровенной форме — слова Белинского, явившиеся в «Отечественных записках» тем же самым днём, 1 февраля: «...слава не бывает без терний, и говорят, что посредственность и бездарность уже точат на г. Достоевского свои деревянные мечи и копья...» «Г. Достоевский» с лёгкостью принимает эту точку зрения; для него авторитетны только мнения «наших». А все «наши», не исключая Белинского, находят необходимым признать, что самый юный из них «далеко ушёл от Гоголя».

Самого Гоголя немедленно известят о событии. Три корреспондента из России (поэт Н.М. Языков и, не сговариваясь с ним, сёстры Виельгорские) вышлют ему «Бедных людей», причём один экземпляр следует с царской почтой (двор, а вместе с ним М.Ю. Виельгорский проводят лето в Италии). Гоголь, «пролистнув» текст, обронит несколько слов в пользу таланта автора и его «качеств душевных»: сказано будет благожелательно, но скупо.

Это единственный собственноручный отзыв Гоголя о Достоевском. (А ведь им вместе жить на этом свете ещё целых шесть лет.) Возможно ли? Неужто Гоголь не вглядывается с робкой надеждой в туманную петербургскую даль, как бы стараясь различить наконец-то явившегося преемника?

18 февраля 1846 года — ранее всех — Н.М. Языков сообщает Гоголю о появлении нового гения («какой-то Достоевский»[1]) и просит его

[1] Точно такую же формулу употребит в письме к Гоголю и П.А. Плетнёв, присовокупив, что для него, Плетнёва, «это пока — ничто». «Гоголевская» партия воспринимает новость весьма скептически.

высказать мнение относительно «Бедных людей». Книги (в том числе «Петербургский сборник»), посланные Языковым отдельно от этого письма, проищут Гоголя до июля. И хотя он уже прочёл отправленный ему Виельгорскими роман, он «не услышит» вопроса Языкова, давая понять последнему, что недоволен задержкой:

«Письмо твоё от 19 марта получил, но книг не получил; они канули бог весть где... Как нарочно в этом году так было легко получать книги: курьеры приезжали всякую неделю в Рим, всем что-нибудь привозили, одному мне ничего»[1].

Автор «Ревизора» раздосадован, как ребёнок.

«Я ничуть не виноват в неполучении тобою книг: виноват или кн. Вяземский, или Виельгорский! — срочно оправдывается Языков. — Не посланы ли эти книги во Франкфурт...»[2]

Курьеры, курьеры... тридцать пять тысяч одних курьеров! И каких — Вяземский, Виельгорский...

Но, наконец, книги получены — и ошалевший от ожидания Гоголь (в рассеяньи он именует присланный сборник «Невским альманахом», хотя его-то Языков как раз и не посылал) может быть удовлетворён. Между тем нетерпеливый поэт вторично требует от знаменитого друга начальственной оценки «Бедных людей», извещая его попутно, что автор «из числа твоих подражателей». Казалось, теперь надо бы отозваться. Гоголь безмолвствует.

Это — невероятно.

Ещё весной 1846 года автор «Мёртвых душ» просил Языкова сберегать его, Гоголя, письма, особенно те, в которых он касается материй литературных. Ибо автор писем не оставляет надежды подарить читателей избранными местами из своей переписки. Гоголь обещает своему корреспонденту (долженствующему немедленно возликовать от подобных посулов) почаще сообщать те мысли, «которые нужно будет пустить в общий оборот»[3].

Если б мы не знали обратного, можно было бы заключить, что Гоголь писал без черновиков.

Исполнительный Языков аккуратно снимает копии с писем-оригиналов и отправляет их автору в Рим. Не было ли среди этих бумаг искомой? Неужели, решив обозреть современную словесность, Гоголь даже не счёл нужным отозваться на упорный, дважды повторённый вопрос?

[1] *Гоголь Н.В.* Полн. собр. соч. Т. XIII. С. 61.
[2] Рус. старина. 1896. № 12. С. 643.
[3] *Гоголь Н.В.* Полн. собр. соч. Т. XIII. С. 62.

Между тем можно не сомневаться, что пребывающий в отдалении классик (которому, кстати, нет ещё сорока) присматривается к новичку. В 1846 году он просит прислать ему годовой комплект «Отечественных записок» («Двойник»!), в 1847 году — «Современника» («Роман в девяти письмах»!) — и нет никаких оснований полагать, что просьбы эти не были уважены.

Но... В «Выбранных местах из переписки с друзьями» о Достоевском не сказано ни полслова. Разве что — косвенный след в одной, по обыкновению, предварительно трижды сожжённой главе с длинным названием: «В чём же наконец существо русской поэзии и в чём её особенность». Гоголь пишет: «Сравнительно с «Капитанской дочкой» все наши романы и повести кажутся приторной размазней»[1].

Вот так-то.

Конечно, Гоголь говорит «все». Но, во-первых, «все» — значит *и* «Бедные люди», *и* «Двойник». Достоевский легко мог отнести это на собственный счёт. А во-вторых, сказанное близко к отзыву о «Бедных людях» в письме к Виельгорским («много говорливости» и т. д.).

С передачей лиры, во всяком случае, выходила заминка.

Но вернёмся к «нашим»: они, судя по всему, исполнены дружелюбия и приязни. Достоевский не подозревает, что именно с этой стороны воспоследуют самые чувствительные удары.

«Страшно нервный и впечатлительный молодой человек» (Панаева), попавший к тому же в общество незнакомых или малознакомых ему людей, он поначалу не может преодолеть природной застенчивости, насторожённости и скованности. Он дичится, робеет, ёжится, чувствует себя явно не в своей тарелке. Умная женщина, Авдотья Яковлевна тактично приходит ему на помощь (недаром он так восхваляет её любезность).

Он и впредь будет отдавать предпочтение тем, кто его жалеет: только возникшие на этой почве романы завершатся законным браком.

В зрелые годы он нередко жалуется, что у него «нет жеста»: тем более не было его в молодости. Это означает не только отсутствие светских навыков, но и неумение поддержать ровный тон в своих житейских и деловых отношениях. Ему абсолютно чужд усреднённо-вежливый тип общения. Он не умеет ни притворяться, ни лицемерить и, будучи человеком замкнутым, тем не менее не в силах «сыграть» — скрыть свои чувства от любопытствующих глаз. Склонный по-мальчишески воспринимать собственные успехи, он наивно требует от окружающих такой же бескорыстной *мальчишеской* любви, забывая о том, что этот взрослый мир живёт совсем по иным законам...

[1] *Гоголь Н.В.* Выбранные места из переписки с друзьями. СПб., 1847. С. 226.

Как сейчас сказали бы — он неадекватен. Он незащищён, открыт, в высшей степени уязвим. Он не спешит украсить собственное дарование лёгким игриво-кокетливым (аристократическим!) к нему пренебрежением — что обычно примиряет друзей и обескураживает завистников. Он относится к тому, в чём его уверяют, серьёзно (слишком серьёзно), полагая тем самым угодить уверяющим. Но именно это делает его смешным.

«...Этих людей только и есть в России... — восклицал он белой петербургской ночью, — о к ним, с ними!» Он не ошибся: *других* людей в России (точнее, в Пкетербурге) не было. Он готов разделить их высокий порыв, ещё не догадываясь о том, что далеко не всегда носители идеала соответствуют столь обременительной ноше. Он старается вписаться в среду, что называется, передовую: её скрепляет громадный моральный авторитет одного человека — того, кого Тургенев назовёт позднее *центральной натурой*.

Масштаб остальных чрезвычайно различен — от таких незаурядных личностей, как Некрасов, до мелких литературных сочувствователей, которые задают «настоящим» писателям званые обеды, выполняют их комиссии, ссужают им деньги, а также разносят новейшие слухи из дома в дом.

Впрочем, последним не брезгуют и некоторые профессионалы. Так, под «одним приятелем» Достоевского, который, «из любви к искусству, передавал всем, кто о ком что сказал», Панаева скорее всего разумеет Дмитрия Васильевича Григоровича. Все эти господа составляют особый — насмешливый и злоязычный — литературный круг. И, как во всяком литературном кругу, здесь не прощают слабостей и ошибок.

Явись в этой компании хоть сам Гоголь, он не избежал бы общей участи. Правда, автор «Мёртвых душ» стоит слишком высоко: ему не страшны никакие пересуды (лишь «Выбранные места» окажутся способными поколебать это положение). Что же касается Гоголя «нового» —

(Кстати. В письме Гоголя к Н.Я. Прокоповичу из Франкфурта от 8/20 июня 1847 года содержится одно загадочное место. Автор письма просит своего корреспондента разузнать, «какой появился другой Гоголь, будто бы мой родственник», и настаивает на принятии безотлагательных мер против вышеуказанного самозванца — дабы

помешать тому воспользоваться его, Гоголя, литературным именем. «Поручение твоё о появившемся здесь, по словам твоим, твоём однофамильце я выполнил, — отвечает Прокопович, — но никаких следов его здесь не отыскалось». Позволительно спросить: не сработал ли в данном случае «испорченный телефон»? То есть — не претерпело ли выражение «новый Гоголь» ряд комических трансформаций, прежде чем оно дошло к поименованному лицу, которое, в свою очередь, восприняло известие буквально? Очевидно, сам Гоголь, как помним, сдержанно одобривший «Бедных людей» (которые были присланы ему — ввиду чрезвычайности события — выдранными из «Петербургского сборника»), не подозревает о присвоенном их автору титуле[1].)

— что же касается Гоголя «нового», то навязанное ему амплуа юного гения при полнейшей неспособности героя достойно поддержать эту роль (ситуация усугубляется полууспехом-полупровалом «Двойника») — всё это делает недавнего дебютанта фигурой в высшей степени привлекательной для битья.

Изумительная откровенность, явленная им в письмах к родному брату, была совершенно неуместна в сношениях с братьями-писателями. Ибо для этой специфической публики нет большего удовольствия, как, увенчав коллегу лаврами, тотчас же почесть таковые фиговыми листами и приступить к их дружному ощипу. Делается всё это, разумеется, по-домашнему, то есть самым добродушным образом.

В том самом письме, где сообщается о внезапном чувстве к Панаевой (и о столь же внезапно похорошевших Кларушках и Минушках), заключено ещё одно важное признание. Это восторженные строки о молодом Тургеневе. Он, если верить приводимым тут же словам Белинского (характерная для Достоевского ссылка на мнения третьих лиц, когда речь касается его самого), с первой встречи влюбился в автора письма. «Я тоже едва ль не влюбился в него», — говорит автор.

Он мог бы «влюбиться» в него значительно раньше.

[1] 22 июня 1847 года один из «наших», знакомя Белинского с приведённым письмом Гоголя к Прокоповичу, многозначительно подчеркивает его *странно-интересный* характер. (См.: В.Г. Белинский и его корреспонденты. М., 1948. С. 278). Это язык посвящённых, понимающих, о чём идет речь. Подозрение, что автор только что обнародованных «Выбранных мест из переписки с друзьями» несколько «не в себе» — как нельзя кстати: через несколько дней (15 июля 1847 г.) Белинский напишет в Зальцбрунне свой «обвинительный акт», где будет изящно обыгран этот мотив. О возможной прикосновенности к этой «странно-интересной» истории Достоевского даже не вспоминают: летом 1847 года «новый Гоголь» в глазах кружка уже не являлся таковым.

«И чуть чуть скоропостижно»

Меж тех двоих, вбежавших к Достоевскому ночною порой, так и хочется разглядеть ещё одного. Этот *третий*, судя по всему, должен быть где-то рядом, где-то невдалеке! Но нет, мимо! 20 мая 1845 года — не дотянув всего чуть-чуть — Иван Сергеевич Тургенев отбывает в Европу. Ему — впервые — позволено почтительно сопровождать семейство Виардо. Запись в тургеневском «мемориале» гласит: «Отъезд в чужие край. — Куртавнель. Жорж Санд. Поездка в Пиренеи. *Самое счастливое время моей жизни.* — Возвращение к зиме»[1].

Он действительно вернётся к зиме. Знакомство с Достоевским им никак не отмечено. Тем не менее 1845 год — самое счастливое время для них обоих. Каждый из них счастлив по-своему, и всё у них — впереди.

Не здесь ли, однако, корни будущих драм?

27-летний Тургенев оказывается среди зачинщиков той бескорыстной *приятельской* травли, которая очень веселила её участников и которую спустя много лет Достоевский должен был вспомнить не без некоторого содрогания.

Но, собственно, почему надо было его щадить? Ведь на лбу у него не обозначено, что он — будущий творец «Идиота» и «Братьев Карамазовых». Зато невооружённым глазом можно различить претензии, явно превышающие заслуги. Что с того, что герой болезнен, неуравновешен, легко раним; его друзья не обязаны быть ни врачами, ни педагогами...

«...Характер неистощимо прямой, прекрасный, выработанный в доброй школе» — таково первое впечатление Достоевского от Тургенева. Он, по обыкновению, приписывает новому знакомцу черты, которых, как он полагает, недостаёт ему самому. Исчислив неоспоримые достоинства друга («поэт, талант, аристократ, красавец, богач»), Достоевский опускает одну, может быть, ещё неведомую ему деталь: Тургенев любил позлословить. Если верить Панаевой, именно благовоспитанный и, как мы помним, «влюблённый» в Достоевского Иван Сергеевич мастерски *доводит* плохо владеющего собой дебютанта, выставляя на всеобщее обозрение его и без того очевидные слабости и пороки.

О, разумеется, Тургеневым движут самые тёплые порывы! Что может быть невиннее дружеской затрещины, наносимой бескорыстно и с неподдельной приязнью! И если осмеянное лицо не зовут немедленно присоединиться к общему веселью, то единственно из деликатности чувств: сочинители порой щекотливы, как дети...

[1] Лит. наследство. Т. 73. Кн. 1. С. 344.

«Как всегда, блистал остротами и стёклышком в глазу... Тургенев», — в свою очередь шутит Ч.Б.

А.Я. Панаева туманно говорит о каких-то тургеневских стихах «на Девушкина», благодарящего своего создателя, и даже припоминает, что в них часто повторялось характерное для «Бедных людей» слово «маточка» — деталь очень правдоподобная. Однако эти эпиграмматические упражнения до нас не дошли.

Зато — к сожалению, только в отрывках — дошло сочинение другого автора, не менее остроумного, чем Тургенев.

В 1917 году К.И. Чуковский, выбрав для этого не самое подходящее время, обнародовал найденные им в бумагах Некрасова черновые наброски какой-то неизвестной доселе повести. Автограф не имел названия, был написан наскоро и испещрён поправками.

«Сначала, — говорит Чуковский, — я не догадался, в чём дело... мне показалось, что предо мной беллетристика, самая обыкновенная повесть о каком-то смешном Глажиевском, авторе «Каменного сердца», и я уже прочитал страниц пять, когда меня вдруг осенило: да ведь этот Глажиевский — Достоевский!»[1]

Было чему дивиться. Ведь Некрасов так и не написал мемуаров. Новонайденная рукопись частично восполняла этот пробел.

Повесть Некрасова — сочинение ироническое.

Люди 40-х годов — тот круг, к которому принадлежал сам автор, — живописуются здесь с нескрываемой насмешкой. (Что, в свою очередь, заставляет вспомнить позднейшие изображения Степана Трофимовича Верховенского в «Бесах».) Досталось всем: Анненкову, Боткину, Панаеву, Григоровичу, литературным сочувствователям... Единственный персонаж, о котором автор отзывается с полным почтением, — это Мерцалов (то есть Белинский).

Повесть написана скорее всего в первой половине 50-х годов — в период нахождения одного из её героев в Сибири. Не потому ли сочинение осталось незаконченным?

[1] Неизданные произведения Н.А. Некрасова. Пг., 1918. Т. 1. С. 9. Ср.: *Некрасов Н.А.* Каменное сердце. (Повесть из жизни Достоевского). Пг., 1922: С. 11. Рецензируя открытие Чуковского, известный историк М.К. Лемке (под псевдонимом М. Маврин) неожиданно заявил о существовании литографического издания (тираж — 10 экземпляров) с титулом: «Н.А.Н. «Как я велик!» Повесть из жизни литературного гения. Пермь. Литография Злотникова. 1884. Не продаётся». (См.: Книга и революция. 1920. № 1. С. 34–36). Лемке утверждал, что полный текст повести, опубликованный в Перми, значительно больше отрывка, найденного Чуковским, и состоит из пяти глав. Однако загадочное пермское издание до сих пор не разыскано, и есть основания полагать, что сведения о нём мистифицированы. (См.: Альманах библиофила, 1979. Вып. 7. С. 179–183).

Достоевский в изображении Некрасова довольно забавен. Он впадает в безумное волнение накануне своего первого визита к Белинскому; он опасается, как тонко замечает автор, «своей физиономией разрушить эффект своего произведения, хотя подобный страх был довольно основательный» (справедливости ради укажем, что это место в рукописи зачёркнуто); он чуть не сбегает в последний момент — у дверей квартиры, где жительствует знаменитый критик. Всё это выглядит вполне достоверно. Следует любопытная подробность: Глажиевский, желая «щегольнуть» развязностью (это одна из двух крайних точек его поведенческой амплитуды), рассказывает Белинскому «анекдот о своём Терентии», который «по незнанию грамоты» закусил пластырем, прописанным ему для наружного употребления. Если припомнить очень похожий случай, отмеченный в мемуарах Андрея Михайловича (где жертвой является сам воспоминатель), тогда закрадывается подозрение, что сообщённый Глажиевским «анекдот» есть художественная трансформация вполне реального происшествия, причём замена родного брата «Терентием» свидетельствует в пользу высокого представления рассказчика о родственной чести.

(Конечно, беллетристика есть беллетристика: никто не смеет отнять у автора священное право на вымысел! Поэтому будем осторожны, обсуждая вопрос об *историчности* некрасовской прозы. Но ведь, с другой стороны: это почти мемуарный жанр! Запечатлённые в повести факты подтверждаются при перекрёстном допросе. Некрасову не было надобности изобретать сюжет. Ни — тем паче — героев: все они были налицо. И тогда свидание Белинского с автором «Бедных людей», скупо изображённое последним, обретает ещё одного (стороннего) свидетеля и очевидца: Некрасов лично присутствовал при исторической встрече.

Подобное допущение в высшей степени натурально. Ибо кто же, как не первооткрыватель, должен был *привести* Достоевского пред грозные очи начальства и своим присутствием умерить волнение дебютанта?)

Глажиевский у Некрасова наивен, бесхитростен, прост — и, может быть, в силу всего этого не только смешон, но и — симпатичен. И хотя трудно согласиться с К.И. Чуковским, что «вместо сатиры на автора «Бедных людей» Некрасов (нечаянно!) дал блестящую его апологию», следует всё же признать, что по сравнению с другими действующими лицами юный Глажиевский выглядит пристойно.

«Достоевский, милый пыщ...» — сказано в знаменитом «Послании».

Пыщ — значит человек напыщенный, надутый. Однако этот подлежащий осмеянию персонаж именуется «милым»: тональность свидетельствует о том, что объект пародии всё ещё находится внутри дружеского круга.

«Послание Белинского к Достоевскому» сочинено Некрасовым и Тургеневым (возможно, не без содействия Панаева), как полагают, в самом начале 1846 года (у нас ещё будет возможность уточнить дату). Это коллективное детище не лишено остроумия и литературного блеска. Литературоведы, почитающие серьёзность едва ли не единственной принадлежностью ушедшей исторической жизни, осудительно прилагают к этому дружескому пашквилю эпитет «злой». Однако таковым он становится лишь в контексте дальнейших событий.

Не следует забывать, что зимой 1846 года Достоевский — один из самых необходимейших «наших». Он не только не враг кружка, он — его главный козырь. Поэтому «Послание» не есть орудие литературной борьбы: это средство для внутреннего употребления.

В «Послании» вовсе не ставится под сомнение правомерность литературных успехов героя: ирония относится лишь к неумеренному их воздействию на его, так сказать, моральное самочувствие. «На носу литературы рдеешь ты как новый прыщ», — не очень, конечно, респектабельно, но среди «своих» вполне допустимо и, учитывая специфику жанра, даже лестно. Неоскорбителен здесь и возможный намёк на гоголевского героя («А знаете ли, что у алжирского бея под самым носом шишка?»): как-никак имеется в виду всё-таки Гоголь, а, скажем, не какой-нибудь барон Брамбеус...

Можно указать на ещё одну гоголевскую аллюзию: «За тобой султан турецкий скоро вышлет визирей». Ирония авторов «Послания» в этом случае не вполне понятна. Однако стоит вспомнить: «До сих пор нет депутации из Испании... Я ожидаю их с часу на час» — и участие в этой литературной игре «Записок сумасшедшего» теперь, кажется, не вызовет сомнений.

Пойдём далее. «Хоть ты юный литератор, но в восторг уж всех поверг. Тебя знает император...» (в одном из вариантов — «любит») — подобная констатация тоже нимало не унижает адресата. Правда, при желании здесь можно усмотреть иронический намёк на уже известную нам высочайшую резолюцию («какой дурак это чертил») — отзыв тем более обидный, если распространить его и на первые литературные опыты бывшего военного инженера. Однако вряд ли авторы «Послания» осведомлены об этой не слишком лестной для героя истории. Остаётся предположить, что до Зимнего дворца

действительно дошли какие-то слухи о «Бедных людях», а возможно, был прочитан и сам текст.

Строка «уважает Лейхтенберг» также намекает на какие-то высшие (но, увы, неизвестные нам) обстоятельства, ибо герцог Максимилиан Лейхтенбергский, муж любимой дочери императора, слыл большим поклонником и покровителем изящных искусств[1].

Далее в «Послании» следует игривое описание уже упоминавшегося обморока, который, как явствует из других источников, действительно приключился с Достоевским при его представлении некой светской красавице:

Но когда на раут светский
Перед сонмище князей,
Ставши мифом и вопросом,
Пал чухонскою звездой
И моргнул курносым носом
Перед русой красотой...

Да, пасквиль есть пасквиль — и, естественно, он содержит не очень корректную аттестацию наружности пародируемого субъекта, особенно по контрасту с его подразумеваемой собеседницей. (Как помним, внешность Глажиевского не удостоилась одобрения и в прозе.) Сообщается и о грозивших герою опасностях:

...Как трагически недвижно
Ты смотрел на сей предмет
И чуть-чуть скоропостижно
Не погиб во цвете лет.

Позднейшие комментаторы делают здесь негодующую мину. И в самом деле: нехорошо насмехаться над больным человеком. При этом, однако, забывают, что в указанное время никто из друзей Достоевского (да и он сам) ещё не подозревает у него эпилепсии. (Некрасов в своей повести вскользь упоминает о каком-то ночном обмороке с Глажиевским, но это упоминание указывает скорее на повышенную чувствительность героя, нежели на его болезнь.) Изображённый

[1] Максимилиан Лейхтенбергский мог узнать о «Бедных людях» от князя В.Ф. Одоевского, восторженно принявшего роман. Именно к этому периоду относится деловое сотрудничество герцога и князя: в 1846 году Одоевский избран председателем только что образованного Общества попечения бедных, а герцог — его почётным попечителем. (См.: Рус. старина. 1904. № 8. С. 418). Мы, впрочем, далеки от мысли рассматривать возникновение Общества как результат прямого педагогического воздействия «Бедных людей».

соавторами конфуз на светском рауте трактуется ими как обыкновенное бытовое происшествие: комизм заключается в несоответствии персонажа предлагаемым обстоятельствам[1].

Именно это несоответствие и породило первую строчку. «Витязь горестной фигуры» — конечно же, Рыцарь Печального Образа (в одном из вариантов «Послания» так и сказано: «Рыцарь»).

Но, собственно, почему? Только ли в силу видимой нелепости героя, непригодности его к светской жизни, смеси в нём гордыни, подозрительности и идеализма — всего того, что так зорко подмечено одарёнными памфлетистами? Или — как деликатный намёк на лёгкую его ненормальность? (Тогда, кстати, становится понятной и косвенная отсылка к «Запискам сумасшедшего».) Или, наконец, — как убийственная догадка о некой утаённой платонической страсти (Авдотья — Дуня — Дульсинея): если они действительно догадывались *об этом*, это ужасно.

Как бы то ни было, бедный идальго понадобился для целей исключительно прикладных. Никто не вспомнил при этом, что он ещё и Алонсо Кихано *Добрый*.

Много лет спустя и герой «Послания», и один из его сочинителей выскажутся о прототипе.

«...Под словом “Дон Кихот”, — говорит в 1860 году Тургенев, — мы часто подразумеваем просто шута, — слово “донкихотство” у нас равносильно с словом: нелепость...» Однако, добавляет автор, «этот сумасшедший, странствующий рыцарь — самое нравственное существо в мире».

«Самый великодушный из всех рыцарей, бывших в мире, самый простой душою и один из самых великих сердцем людей...» — «откликается» Достоевский в 1877 году: тут — случай довольно редкий — он полностью солидарен с вечным своим оппонентом.

«Его фигура (разумеется, *горестная*! — *И.В.*) едва ли не самая комическая фигура, когда-либо нарисованная поэтом», — продолжает Тургенев, чрезвычайно высоко ставящий героя Сервантеса и, конечно же, напрочь забывший об игровом соотнесении этого бессмертного персонажа с автором «Двойника».

«Эту самую *грустную* из книг, — заключает Достоевский, — не забудет взять с собою человек на последний суд Божий».

[1] Драгоценны в этой связи медико-литературные наблюдения Чувствительного Биографа. Справедливо указав, что припадки «проявляются у добрых под влиянием хищных» и что у Достоевского, как ни странно, встречаются отдельные произведения, где вовсе «нет припадков и обмороков», Ч.Б. проницательно добавляет: «Там упасть некому — не те люди».

Он не подозревает, что, защищая Дон Кихота, он защищает себя — того: юного, наивного, простодушного и — смешного. И это незнание даёт ему право высказать мысль, которая в силу полнейшего бескорыстия автора решает спор.

Достоевский говорит, что лучшие качества («величайшая красота человека, величайшая чистота его, целомудрие, простодушие, незлобивость, мужество и, наконец, величайший ум») — всё это «обращается ни во что» единственно потому, «что всем этим благороднейшим и богатейшим дарам... недоставало одного только последнего дара — именно: *гения*...».

Слово произнесено: не отнесённое к нему самому, оно тем не менее стало его оправданием.

Но этим же даром «оправдан» и Белинский. Ибо подставной автор «Послания» некоторыми своими чертами удивительно напоминает его героя. Белинский — тоже сын лекаря и внук священника. Он существует исключительно литературой: она для него — дело жизни и смерти. (Недаром он говорит, что умрёт на журнале и в гроб велит положить под голову книжку «Отечественных записок».) Разночинец не только по духу, но и по образу жизни, Белинский, как и Достоевский, «очень застенчив» и совершенно теряется в незнакомом обществе. С мягкой (или, как принято говорить, любовной) усмешкой повествует Герцен о его судорожных попытках уклониться от представления некой незнакомой даме: по счастью, этот визит не повёл к такой печальной развязке, как в случае с Достоевским.

Однако и с Белинским случались казусы.

Герцен и Панаев — с равной убедительностью, хотя и с разночтениями — живописуют другой замечательный эпизод. На рауте у князя Одоевского (где, саркастически добавляет Герцен из своего прекрасного далека, «Белинский был совершенно потерян... между каким-нибудь саксонским посланником, не понимавшим ни слова по-русски, и каким-нибудь чиновником III Отделения, понимавшим даже те слова, которые умалчивались») критик по неловкости опрокинул столик с вином, и бордо начало «пресерьёзно» поливать белые форменные с золотом панталоны Василия Андреевича Жуковского. «Во время этой суматохи, — говорит автор “Былого и дум”, — Белинский исчез и, близкий к кончине (ср. «и чуть-чуть скоропостижно...»! — *И.В.*), пешком прибежал домой». По другой — панаевской — версии, дело едва не кончилось обмороком («едва» — может быть, потому, что на вечере не было дам): «Белинский потерял равновесие и упал

на пол... хозяин дома... повёл его в свой кабинет, предлагал ему воду, различные нюхательные спирты...»

Герцен воссоздаёт картину с чужих слов, Панаев, можно предположить, присутствовал при сём лично.

«Падение Белинского со стула, — заключает Панаев, — было причиною того, что имя его стало переходить из уст в уста»[1]. Как мало надо для славы, добавим мы: ведь популярность Достоевского сильно выросла благодаря очень схожим обстоятельствам.

И тут обнаруживается неожиданный и до сих пор нигде не отмеченный поворот сюжета. Оказывается — об этом в 1882 году поведал Анне Григорьевне доктор Яновский — Достоевскому тоже довелось наблюдать очень похожую сценку. В доме Виельгорских (что в плане «социальной привязки» равнозначно «литературно-дипломатическому» салону князя Одоевского) верный себе Белинский опрокинул рюмку с вином. Свидетелю этого происшествия, а именно Достоевскому, удалось даже подслушать реплику хозяйки дома, жены графа Соллогуба, в адрес незадачливого гостя: «Они не только неловки и дики, но и неумны». Употреблённое множественное число («они») наводит на мысль, не имелся ли при этом в виду и присутствовавший тут же автор «Бедных людей» (который позднее с горечью скажет Яновскому: «*Нас* пригласили... для выставки, напоказ»).

Но этого мало.

Чисто теоретически предположив, что оба эпизода (обморок Достоевского и битье посуды Белинским) имеют шанс совместиться в рамках одного и того же вечера, мы в ходе дальнейших разысканий не без изумления убедились, что такая сугубо рабочая гипотеза очень смахивает на правду. (Доказательства будут явлены ниже.) Но тогда существенно меняется вся картина. «Катализатором» обморока могла стать услышанная Достоевским реплика: после неё эмоциональное напряжение достигает предела. Неизвестной прелестнице оставалось лишь повести бровью...

Впрочем, в обморок мог бы упасть и Белинский.

«Я просто боюсь людей; общество ужасает меня, — признаётся он Боткину в 1840 году. — Но если я вижу хорошенькое женское лицо: я умираю — на глаза падает туман, нервы опадают, как при виде удава или гремучей змеи, дыхание прерывается, я в огне»[2].

[1] Панаев утверждает, что всё это случилось в канун Нового 184* года (как тонко заметил один выдающийся писатель, «русские авторы — в силу оригинальной честности нашей литературы — недоговаривают единиц»).

[2] *Белинский В.Г.* Полн. собр. соч. Т. XI. С. 20.

И Достоевский, и Белинский — оба они «неловки и дики». Оба — уравнены в глазах света. Но — отнюдь не в глазах «наших».

«Милый Белинский! — говорит Герцен, вспоминая конфуз на вечере у князя Одоевского (что, конечно же, имеет несколько иной оттенок, чем «милый пыщ»), — как его долго сердили и расстроивали подобные происшествия, как он об них вспоминал с ужасом...»

«С ужасом» — не меньшим, думается, чем и «витязь горестной фигуры», грохнувшийся в обморок перед той, которую даже Ч.Б. не отважился бы именовать его дамой сердца.

Но кто же она, прекрасная незнакомка?

Всеведущий Григорович — единственный, назвавший имя: г-жа Сенявина. Ни инициалов, ни социальной принадлежности он не обозначает. Впрочем, одно ценное указание всё-таки есть: Сенявина именуется «красавицей».

Это, пожалуй, единственное, что нам известно.

Позднейшие комментаторы не обременят себя поисками. Они рассудят так. В Петербурге имелся в наличии Лев Григорьевич Сенявин, бывший в то время директором Азиатского департамента Министерства иностранных дел. Отсюда естественно вытекает, что «г-жа Сенявина» — его дочь.

Остаётся выяснить самую малость. Во-первых, вхож ли помянутый Сенявин в салон Соллогубов — Виельгорских. Во-вторых, имелась ли у него дочь. И, в-третьих (что тоже немаловажно), являлась ли эта дочь красавицей.

Ни на один из этих вопросов не дано пока удовлетворительного ответа.

Уместнее начать с отношений семейственных.

В первом номере «Русского архива» за 1916 год удалось отыскать письма Л.Г. Сенявина к русскому посланнику в Тегеране князю Д.И. Долгорукому. Переписка как раз охватывает интересующие нас годы: 1845–1848-й.

Воспитанный человек, как правило, упоминает о жене и детях. Лев Григорьевич оказался на редкость неучтив! Поздравляя посланника с новорожденной, передавая приветы его семейству, он ни разу не присовокупил к этим эпистолярным любезностям добрые пожелания своих домашних. Впрочем, и сам посланник, Д.И. Долгорукий, (которого как профессионального дипломата трудно заподозрить

в невежливости), также не шлёт поклонов домашним Сенявина — о чём можно догадаться по тому, что Лев Григорьевич его за это не благодарит.

Из сего можно заключить, что в означенный период Л.Г. Сенявин либо холост, либо вдов.

Сенявин жалуется своему тегеранскому приятелю на близорукость и подагру, говорит об отраде одиноких дачных прогулок. И т. д. и т. п. Никаких признаков обременённости семейством или хотя бы наличия детей в письмах Льва Григорьевича не наблюдается.

Ни разу также не упомянуты в письмах ни Соллогубы, ни Виельгорские. Это совсем иной круг. К тому же, если верить автору, зимой и весной 1846 года он упорно трудится вечерами и в свет не выезжает.

(Он ещё проявит себя. Во время следствия по делу петрашевцев Л.Г. Сенявин по собственной охоте устроит обыск в столах своих подчинённых. Это кое о чём говорит. Возможно, директор департамента был по сердцу высшему начальству, но у высшего света — свои законы. Даже если у Сенявина и имелась красавица дочь, это ещё не повод, чтобы получить приглашение в салон Виельгорских.)

Теперь остановимся на чаровнице.

Трудно вообразить, чтобы молодого человека, каковым был тогда Достоевский, могли так запросто знакомить с незамужней особой. Это не принято, тем более — у Виельгорских, где, надо надеяться, соблюдались правила хорошего тона. Светскую барышню представляли постороннему лицу только её родные. В 1859 году в Твери жена местного губернатора графиня Баранова напомнит следующему из Сибири Достоевскому о том, как много лет назад, девушкой, она была представлена ему у тех же Виельгорских (и, как мы подозреваем, на том же вечере!): рекомендовал её один из хозяев дома, граф Соллогуб, её кузен.

Знакомство с будущей губернаторшей (в девичестве — Васильчиковой) не повлекло тогда, по-видимому, никаких осложнений. Чего нельзя сказать о знакомстве с губернаторшей бывшей: чуть ниже мы постараемся разъяснить этот туманный намёк.

«Г-жа Сенявина» — подобная формула вряд ли приложима к незамужней барышне. По сути, «госпожа» адекватно французскому «мадам». Но если гипотетическая дочь директора Азиатского департамента состояла к тому времени в браке, Григорович, разумеется, назвал бы её фамилию по мужу.

Достоевский на вечере у Виельгорских был подведён к даме. Светская львица, благосклонно (а, кто знает, может, и *с тайным волнением*) взирающая на юную знаменитость, — это ли не вечная грёза поэтов, обитающих «на чердаках и в подвалах»? Вот оно, воздаяние за годы лишений... но в момент, когда мечта готова сделаться явью, силы изменяют мечтателю...

«...И чуть-чуть скоропостижно...»

Правда, Панаев годы спустя, в фельетоне, речь о котором впереди, будет толковать именно о барышне — «с пушистыми puклями и блестящим именем». Блестящее имя, как мы ещё убедимся, действительно наличествовало. Но — вовсе не у той. Ибо самой «барышни» не существовало: это скорее всего пригодный для фельетонных надобностей образный штамп.

Так кто же?

В «Петербургском некрополе» сказано: член Государственного совета Лев Григорьевич Сенявин умер в 1862 году и погребён на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры (там, к слову, будет погребён и Достоевский). Зная год рождения Льва Григорьевича (1805) и предположив, что женился он, как все порядочные люди, где-то около тридцати, нетрудно расчислить возраст его предполагаемой дочери (буде последняя вопреки всему всё-таки не фантом). В 1846 году ей лет этак одиннадцать-двенадцать. Если даже она и впрямь красавица и к тому же, невзирая на нежные лета, допущена на светские рауты, всё равно хлопаться перед ней в обморок по меньшей мере непедагогично.

Вместе со Львом Григорьевичем не покоится никто из членов его семейства[1]. За исключением старшего брата — Ивана Григорьевича, который заслуживает того, чтобы им заняться поближе.

И тут в стройный порядок рассказа, как всегда, мешая колоду, врывается Пушкин.

Иван Григорьевич Сенявин (1801–1851) — двоюродный брат «полумилорда, полукупца» М.С. Воронцова, под бдительным призором которого знаменитый изгнанник отбывал одесскую ссылку. 1 апреля 1824 года Пушкин писал брату Льву: «Письмо это доставит тебе Синявин, *адъютант* графа Воронцова, славнейший малый, мой приятель...»

[1] См.: *Саитов В.И.* Петербургский некрополь. Т. 4. СПб., 1913. С. 58–59.

Бессмертие г-ну Сенявину сим обеспечено; пока, правда, нет никаких намёков на «г-жу».

Но вот в 1829 г. полковник Сенявин женится и вскоре выходит в отставку. Его избранница — Александра Васильевна Оггер (или Гоггер) — дочь бывшего голландского посланника в России Иоанна-Вильгельма (Василья Даниловича тож) Гоггера. Последний в 1810 г, не перенеся, очевидно, захвата любимой отчизны войсками Бонапарта, принял русское подданство и сделался губернатором Курляндским.

Женитьба «славнейшего малого», которому его давний одесский приятель посылает на новый, 1830 г. свою визитную карточку, отмечена и обсуждена в пушкинском круге. «Они устроили свой дом на Аглицкой набережной, — пишет А.О. Смирнова-Россет. — Она (Сенявина. — *И.В.*) сказала, что принимает запросто у себя утром. Тогда спускали занавески и делался таинственный полусвет»[1].

Когда наконец Александра Васильевна выступает из этого «таинственного полусвета», первое, в чём мы немедленно убеждаемся, что она-то уж точно красавица.

Пётр Андреевич Вяземский в супружеских письмах аттестует Александру Васильевну как «мадам... у которой плечи, глаза, ножки, ноздри, дом, обед, всё на лучшей ноге», и игриво осведомляется у супруги, не ревнует ли она его к указанной особе[2].

В 1846 г., достигнув бальзаковского возраста (она старше Достоевского лет, наверно, на десять), Александра Васильевна не утратила былого блеска и обаяния.

...И моргнул курносым носом
Перед русой красотой...

(А всё происхождение: фламандка, блондинка, словом — белокурая бестия! Пушкину тоже напророчили белого человека. Ч. Б. с его острым патриотическим глазом непременно подметил бы, что дети голландских посланников, как сговорившись, сражают русских писателей: оставим за ним это важное наблюдение.)

...Для вящего удобства растаскивая вечность «по эпохам», мы забываем порой, что она, собственно, неделима и что время медленно перетекает во время. Знакомые тени встречают нас на пороге грядущих времён! Защитники натуральной школы проливают вполне

[1] *Смирнова-Россет А.О.* Автобиография. М., 1931. С. 119.
[2] Звенья. М., 1936. Т. 6. С. 252.

натуральную слезу — и вот уж «Бедная Лиза» машет слабеющей рукой вослед почти одноимённому роману... Пушкинские красавицы внезапно являются людям совсем иной поры — и ослепляют их, и восхищают, и повергают в смятение...

Мы искали портрет Сенявиной, но — не нашли.

Итак, Александра Васильевна: более некому. К тому же выясняется, что она имеет некоторое касательство к русской литературе.

«Я получил приглашение от Сенявиной на завтрашний вечер, — пишет Ю.Ф. Самарин К.С. Аксакову. — Загоскин и Вельтман будут читать. Любопытно послушать».

Письмо это — от одного литератора к другому (с упоминанием ещё двух писательских имен) — написано в 1843 году, в Москве, где муж Сенявиной исполнял должность гражданского губернатора. Дом Ивана Григорьевича был «одним из центров московского общества», а *губернаторша* (вот, наконец, разъяснение мелькнувшего выше намёка!) отличалась — что отчасти нам уже не в новинку — «красотою и любознательностью»[1].

Любознательность Сенявиной простиралась настолько, что она даже посещала лекции Т.Н. Грановского в Московском университете. Впрочем, последнее было модно. «...Вероятно, — пишет И.С. Аксаков родным, — лекции Грановского скоро потеряют первобытный характер, ибо где светское общество, там всегда пустота, возбуждающая насмешку. Особенно эти дамы!.. Сенявина записывает!»[2]

Сам Грановский, однако, не выказывал признаков недовольства. «Лекции дали мне много новых знакомств, — пишет он Н.Х. Кетчеру 14 декабря 1843 года, — между прочим, я познакомился с Сенявиной. Она мне понравилась: умная и живая женщина, с которою легко говорить»[3].

Достоевскому с Сенявиной «говорить» было трудно.

[1] *Самарин Ю.Ф.* Сочинения. СПб., 1911. Т. 12. С. 39.
[2] Отец Аксаковых, Сергей Тимофеевич, чтобы продемонстрировать сыну красоты плохо усвоенной русской речи, не поленился переписать для него записку, которую губернаторша адресовала другому его сыну, Константину Сергеевичу: «Завтра вечером четверг я буду дома и с удовольствием увижу, господин Аксаков, что вы не упустите случай мне доказать вашу признательность к нашему обществу...» (В кн.: *Аксаков И.С.* Письма к родным. М., 1988. С. 573–574). Учитывал ли взыскательный автор «Записок ружейного охотника», что Александру Васильевну несколько извиняет её иностранное происхождение?
[3] В кн.: *Герцен А.И.* Собр. соч.: В 30 т. М., 1961. Т. 22. С. 286.

Пока гражданский губернатор Москвы тщетно пытался искоренить во вверенном ему городе взятки, его супруга занималась делом более исполнимым. Она собирает вокруг себя избранных литературных друзей и вообще, если верить тогдашней прессе, выступает покровительницей «всех отличных дарований»[1]. Когда в 1844 году Иван Григорьевич получил новое назначение (на пост товарища министра внутренних дел) и семья засобиралась в Петербург, московское литературное общество положило подарить на память своей ценительнице и меценатке «великолепный альбом с видами Москвы», украсив оный стихами и прозою.

В воспоминаниях Б.Н. Чичерина (в своём либеральном благодушии не подозревающего о том, что он — дядя будущего наркома) запечатлён разразившийся в связи с этим скандал.

Николай Михайлович Языков, некогда тонкий лирик, а ныне обличитель безродных космополитов, вписал в альбом *гражданской* губернаторше свои гражданские стихи. Они были выдержаны в выражениях не вполне парламентских. Так, Пётр Яковлевич Чаадаев аттестовался в них как «плешивый идол строптивых баб и модных жён» (не имелась ли в последнем случае в виду счастливая обладательница альбома?), а любимый Москвою Грановский был поименован оракулом юных неучей и — что значительно хуже — сподвижником «всех западных гнилых надежд»[2].

«Подобная проделка была совершенно непозволительна, — замечает Б.Н. Чичерин. — ...Когда же этот пасквиль рукою автора был внесён в альбом великосветской дамы, занимающей видное общественное положение... то неприличие достигало уже высшего своего предела»[3].

Короче, Сенявина пала едва ли не первой жертвой великой национальной распри — идейной схватки западников и славянофилов, распри, которую Достоевский много позже назовёт недоумением ума, а не сердца. Как и на всякой войне, женщины терпят безвинно...

Надо признать, что появление Александры Васильевны у Виельгорских совершенно уместно. Где ещё в Петербурге женщина света могла удовлетворить свои литературные интересы, не рискуя при этом добрым именем и репутацией?

---

[1] Москвитянин. 1844. № 5. Отд. 111. С. 167–168.

[2] Воспоминания Бориса Николаевича Чичерина. Москва сороковых годов. М., 1929. С. 23. Мемуарист, вероятно, приводит по памяти варианты языковских стихов: в окончательном тексте эти строки звучат несколько по-иному.

[3] Там же. С. 22–23.

Установив личность «г-жи Сенявиной», попытаемся теперь воссоздать всю картину.

Где, собственно, происходит дело? Следует всё же дать точную справку: иначе читатель окончательно запутается в титулах, степенях родства и прочих сословных аксессуарах.

Граф Владимир Александрович Соллогуб со своей 25-летней женой, Софьей Михайловной, жительствует в доме тестя, графа Михаила Юрьевича Виельгорского, женатого, в свою очередь, на Луизе Карловне, урождённой герцогине Бирон. Строго говоря, у каждого члена семьи собственная жизнь и собственные приёмы. Луиза Карловна собирает у себя исключительно аристократический круг; граф Михаил Юрьевич — светско-артистически-музыкальный; граф Владимир Александрович — светско-литературный. Последние два круга — взаимопроницаемы.

Разумеется, Достоевский был в гостях у Соллогубов (посещал ли он музыкальные вечера Виельгорских — другой вопрос), однако, согласно традиции, мы будем иногда обозначать этот дом именами обоих хозяев.

Соллогуб недаром зазывал автора «Бедных людей» к себе в «зверинец». Там было что посмотреть. Литераторы выставлялись на обозрение как редкие дивы — и дамы украдкой снимали свои бриллианты, дабы не напугать робких гостей.

Но Достоевского, как знаем, поразило другое.

Гоголь говаривал, что графиня Софья Михайловна (кстати, это именно она *выдрала* для него из альманаха «Бедных людей») — ангел кротости. Что же могло вывести её из себя и вызвать столь неадекватную, «неангельскую» реакцию? Уж не уронил ли ненароком Белинский злополучную рюмку на новое платье хозяйки: он, если вспомнить погубленные панталоны Жуковского, был мастером по этой части.

(В 1880 г. в гостях у издателя «Русского вестника» М.Н. Каткова (чей московский дом — своего рода политический высший свет) Достоевский опрокинул чашку чая и при этом, как с горестью сообщает он Анне Григорьевне, «весь замочился». Добро что чай не был пролит на брюки Каткова и дело таким образом не получило *литературной* огласки.)

Реплика Софьи Михайловны («они не только неловки и дики, но и неумны») могла уязвить смертельно.

Положим, о «дикости» Белинского Софья Михайловна могла быть осведомлена и заранее. Для неё, очевидно, не являлось секретом злополучное приключение у князя Одоевского. Хозяйке дома, ей

подобало окружить необычного гостя особой заботой и сквозь пальцы смотреть на его светские промахи. Графиня не снизошла до этой демократической роли.

Положим; но почему же ещё «и неумны»? Не была ли довершена физическая неловкость Белинского неуместностью его суждений? (Нельзя всё-таки забывать, что ты не у себя дома, где позволительно нести Бог весть что!) В салонах беседуют степенно, не горячась. И да послужат хрустальные осколки немым укором тому, кто дерзнул нарушить этот закон!

Итак, фраза («они не только...» и т. д.) была произнесена. С кем, однако, делилась графиня своими любопытными наблюдениями? Уж не перед её ли собеседницей один из гостей пал, как остроумно замечено в «Послании», «чухонскою звездой»?

И ещё вопрос. Каким образом Достоевский мог подслушать этот доверительный разговор? Ведь не орала же Софья Михайловна на всю залу!

Дочь графа Виельгорского и жена графа Соллогуба слишком хорошо воспитана, чтобы позволить себе такую промашку. Фраза скорее всего была произнесена вполголоса, с улыбкой и — по-французски. Белинский не понимал этого языка. Софья Михайловна могла полагать, что французским не владеет и никто из «диких и неумных» его сотоварищей.

Относительно переводчика «Евгении Гранде» графиня заблуждалась.

Стоит ли толковать о предчувствиях? Сенявина, в конце концов, не только красавица, но и жена товарища министра — одного из высших чиновников того самого ведомства, которое вплотную займётся Достоевским годика через три. Как тут не зашататься от страха? Однако эти мистические предположения завели бы нас слишком далеко.

Возможно, существовала ещё причина — на сей раз сугубо прозаического свойства.

Достоевский не любил вина.

Особенно дурно действовало на него шампанское. Когда в 1867 г. он вместе с Анной Григорьевной будет делать свадебные визиты, именно этот благородный напиток вызовет у него ужасный — двойной — приступ эпилепсии, что так поразит его молодую жену. У Белинского, как помним, в руках находилась рюмка (бокал?). Нет оснований предполагать, что в руках у Достоевского находилось что-то другое.

Незнакомое и высокомерное общество, выпитое вино, неловкость, совершённая глубоко уважаемым им человеком, и обида за него после

случайно услышанной фразы, ослепительная «аристократическая» красота Сенявиной, наконец, — всего этого вполне достаточно, чтобы повести к злополучной развязке. Сознание, как помним, защищается от сильных чувств при помощи обморока...

Впрочем, ему (сознанию) ничего иного не остаётся, ибо оно (сознание), как известно любому школьнику, определяется бытием. Кажется, автор «Двойника» нарушил это капитальное установление. Художественный вымысел оказался у него первичным. И судьба немедленно подвергла его взысканию, избрав своим орудием женщину...

Вспомним «петербургскую поэму».

Решительным пунктом в помешательстве господина Голядкина становится его беззаконное вторжение на бал в день рождения несравненной Клары Олсуфьевны. При этом герой совершает ряд непростительных ошибок: «Наткнулся мимоходом на какого-то советника, отдавив ему ногу, кстати, уже наступил на платье одной почтенной старушки и немного порвал его, толкнул человека с подносом, толкнул и ещё кой-кого...» Кульминация сцены — отчаянная попытка героя заставить виновницу торжества пройтись с ним в новомодной польке. Господина Голядкина оттаскивают и с позором изгоняют из начальственного дома. На обратном пути от Берендеевых впервые является герою его двойник.

Разумеется, Сенявина — не Клара Олсуфьевна, да и Достоевский у Соллогуба — гость желанный и званый. И всё же на этом празднике жизни он тоже *чужой*. Поэтика «Двойника» накладывается на поэтику действительности, и ущемлённое своей вторичностью бытие как бы мстит непрошеному провидцу...

...Но надо ли так пристально вглядываться в один-единственный день (даже вечер!) из жизни героя? Разве мало других, не менее замечательных дней? Мы, однако, подозреваем, что иные из них отмечены особым знаком.

Отрочество и юность Достоевского — это цепь судьбоносных мгновений. Встреча с мужиком Мареем, смерть девочки из Мариинской больницы, часы ночного дебюта, обморок у Виельгорских и, наконец, Семёновский плац — все эти однократные (и неравнозначные) события будут востребованы неоднократно. Они потрясут душу и отложатся в ней навсегда.

«Я, брат, пустился в высший свет, — лихо сообщает герой 1 февраля 1846 г., — и месяца через три лично расскажу тебе все мои похождения». О последних больше не будет упомянуто ни разу.

Но слово не воробей. Стыдливо потупясь, биографы вынуждены признать, что автор «Бедных людей» на некоторое (недолгое, к счастью) время поддался искушениям и соблазнам красивой жизни. Даже строгие к фактам комментаторы Полного (академического) собрания сочинений говорят о его *визитах* к Соллогубу — во множественном числе (т. XXVIII, I, с. 431). При этом основываются как на намёках самого любителя «похождений», так и на заявлениях Любови Фёдоровны, которая, уверяя, будто её отец «часто» и «с давних пор» посещал литературные салоны, безмятежно добавляет: «Отец особенно хорошо чувствовал себя у Виельгорских...»[1]

О том, *как* он себя там чувствовал, мы уже знаем. Зададимся вопросом, сколь часто он там бывал.

О В.А. Соллогубе Достоевский впервые упоминает в письме к брату от 16 ноября 1845 г. По его словам, граф якобы усиленно допрашивает Краевского, где ему *достать* автора ещё не опубликованных «Бедных людей». Издатель «Отечественных записок» со свойственной ему прямотой «режет» графу — Достоевский, мол, вряд ли захочет осчастливить его своим посещением, после чего безутешный граф «рвёт на себе волосы от отчаяния».

Владимир Александрович Соллогуб был восемью годами старше Достоевского. Светский человек, он писал неплохую прозу и слыл модным беллетристом. (Государь, по словам Пушкина, «литератор не весьма твёрдый», даже путал его с Гоголем.) Автор «Тарантаса» принадлежал к кругу Жуковского, Вяземского, Ал. Тургенева — к той самой «литературной аристократии», на которой всё ещё лежал отблеск пушкинской славы. И сам Соллогуб, и его тесть — царедворец, композитор и меценат в одном лице — граф Михаил Юрьевич Виельгорский, оба они — приятели Пушкина: это дорогого стоило.

Интерес Соллогуба к Достоевскому — не просто любопытство большого света. Это как бы знак внимания большой литературы.

Такое внимание льстит и настораживает одновременно.

В письме Достоевского, лично ещё не знакомого с графом, сквозят нотки явного недоброжелательства. Он именует Соллогуба «аристократишкой» (зачёркнуто: «мерзавец»), который «становится на ходули и думает, что уничтожит меня величием своей ласки».

[1] Степень осведомлённости мемуаристки демонстрирует её утверждение, что «у Виельгорских не было дочерей». Между тем одна из этих несуществующих дочерей была, как мы знаем, замужем за В.А. Соллогубом, вторая — за крупным чиновником, а третья, Анна Михайловна, — та единственная счастливица, к которой сватался Гоголь.

«Аристократишка» — это не только форма социальной самозащиты. Это ещё и точка зрения круга, лишённого родовых преимуществ, но свято чтущего своё духовное первородство.

Так и не сумев познакомиться с Достоевским осенью 1845-го, Соллогуб знакомится с его «Бедными людьми» в конце января 1846-го. Придя от романа в восторг, граф неожиданно посещает дебютанта. Описав в своих воспоминаниях скромную обстановку, в какой он застал молодого писателя, Соллогуб добавляет, что тот был чрезвычайно сконфужен его посещением и особенно — его похвалами. Граф объясняет это природной застенчивостью хозяина. Он, разумеется, прав. Но, может быть, Достоевский вспомнил ещё свои нелестные эпистолярные отзывы — и ему сделалось совестно?

Граф настоятельно приглашает коллегу посетить его запросто. Достоевский конфузится и благодарит.

«Соллогуб, мой приятель», — небрежно роняет он в письме к брату: оно, судя по всему, написано либо в самый день визита, либо буквально назавтра. Засим следует уже известная фраза о высшем свете и удовольствиях, там ожидаемых. Причём сама фраза построена таким образом, что из неё можно заключить, будто означенные удовольствия уже имели место[1].

1 февраля 1846 г. (дата написания письма) Достоевский в высший свет ещё не «пустился». Он лишь зван в этот чарующий мир. Но нетерпеливый герой, как всегда, опережает события.

Есть документ, который, возможно, связан с визитом Достоевского к Соллогубу. Это записка Белинского к автору «Двойника» — единственное дошедшее до нас письменное свидетельство их отношений.

Белинский слегка интригует адресата. Он зовёт его в дом, куда должен проводить приглашённого человек, доставивший эту записку. Очевидно, Достоевский в доме том ранее не бывал, хотя с хозяином скорее всего знаком. «Вы увидите всё наших, а хозяина не дичитесь, он рад вас увидеть у себя».

Очень похоже, что Белинский писал свою записку, находясь в гостях у Соллогуба, который, как помним, однажды уже приглашал адресата. В пользу такого предположения говорит «иерархический подтекст». Вряд ли Достоевский мог дичиться кого-то из «наших»: для такого визита не требовалось особенных уговоров[2].

[1] Напомним: «Я, брат, пустился в высший свет и... лично расскажу тебе все мои похождения». Эта новая информация как бы зеркальна уже известной («Минушкам и Кларушкам»): правда, здесь резко повышен социальный статус.

[2] В качестве потенциальных хозяев можно было бы, пожалуй, назвать ещё и Панаевых. Но это допущение маловероятно, так как у Панаевых Достоевский уже

Сочинитель записки явно успокаивает Достоевского, уверяя его, что там, куда он зван, в основном будут *свои*. Такое заверение могло относиться исключительно к «чужому» дому (где «наши», как брезгливо заметит графиня Софья Михайловна, — это «они»). По сути, приглашённый ставится в положение почти безвыходное. Ибо очень трудно отказать сразу двоим (Белинскому и хозяину дома), тем более, что передатчик записки имеет, очевидно, инструкции лично доставить адресата[1].

Новейшие исследователи датируют записку Белинского ноябрём — первой половиной января 1846 г.[2]

Хотелось бы уточнить датировку.

Как мы знаем, Соллогуб посещает Достоевского, очевидно, в самом конце января (не позже 1 февраля) 1846 года. Достоевский тогда уклонился от приглашения. Записка Белинского (если она писана действительно у Виельгорских) должна была возыметь своё действие. Во-первых, в данном конкретном случае повторный отказ выглядел бы просто невежливым. А во-вторых, присутствие у Соллогуба «наших» являлось серьёзной моральной поддержкой для самого стеснительного из них.

1 февраля — сразу же после визита Соллогуба! — заявлено о намерении поразить высший свет (хотя, повторяем, глагол «пустился» может быть истолкован как констатация действий уже совершённых). В следующем письме к брату, от 1 апреля, тема эта не возникает. Автор письма сообщает о реакции публики на «Двойника», о литературных новостях, о здоровье. «Идей бездна и пишу беспрерывно», — говорит он.

Нет, не так ведут себя удачники, литературные везунчики, кумиры толпы! Замирая от нетерпения, поспешают они в гостиные и будуары («Сказала: “Будь смел” — не вылазил из спален. Сказала: “Будь первым” — я стал гениален...» — в этой мировой формуле следовало

бывал. Если же он идёт туда впервые (15 ноября 1845 г.), то «дичиться» хозяина у Достоевского нет пока никаких причин, а с прекрасной хозяйкой гость, естественно, ещё не знаком.

[1] Отметим также одну второстепенную подробность (впрочем, кто возьмётся определить её настоящий размер?). В 1845 г. Соллогуб был в натянутых отношениях с Белинским и его кругом — из-за статьи критика о «Тарантасе». Статья не показалась Соллогубу достаточно лестной. (Не вызвана ли первоначальная неприязнь Достоевского к графу солидарностью с общей позицией «наших»?) Записка Белинского могла быть сигналом того, что мир заключён и идти к автору «Тарантаса» можно и даже должно. Сам раут «с литераторами», очевидно, замышлялся Соллогубом как акт примирительный. Достоевскому надлежало способствовать успеху предприятия.

[2] *Немзер А. С., Осповат А.Л.* Две заметки о Белинском // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз., 1982. Т. 41. Вып. 1. С. 66–68.

бы, пожалуй, поменять последовательность событий), — поспешают, дабы насладиться заслуженной славой или по меньшей мере убедиться в отсутствии таковой. «Пишу беспрерывно» — это удел непризнанных гениев: заслуженным талантам можно и отдохнуть...

«Я, брат, пустился в высший свет...» Полно; при всём уважении к автору мы позволим себе ему не поверить.

Ибо если февраль и март прошли в каждодневных трудах, следовательно, воинственные намерения остались только в проекте. Это, собственно, подтверждает и сам искуситель — хозяин салона, граф Соллогуб (никакой другой территории для «похождений» не просматривается). Он говорит, что «только месяца два спустя» после его приглашения автор «Бедных людей» появился наконец в его «зверинце».

Сам Достоевский не упоминает об этом визите.

Следующее письмо его к брату — от 26 апреля — представляет разительный контраст с предыдущими. В нём нет и тени былой хлестаковщины; ни малейших следов дебютной эйфории. «Я не писал тебе оттого, что до самого сегодня не мог взять пера в руки». Этот мерный суровый тон, эта печальная деловитость ничуть не похожи на недавние авторские восторги. Между 1 и 26 апреля должно было случиться нечто чрезвычайное. Достоевского поражает болезнь, и длится она, по-видимому, не менее двух-трёх недель.

Следовательно, визит к Соллогубу мог состояться в первых числах апреля. То есть как раз спустя те два месяца, о которых толкует граф.

«Лечение же моё должно быть и физическое и нравственное», — замечает Достоевский. Обморок у Виельгорских выглядит как первый приступ тяжёлой апрельской болезни. Да и сама болезнь могла быть спровоцирована волнением, пережитым «перед сонмищем князей».

Доктор Яновский, пользовавший больного (чей недуг, собственно, и явился причиной их знакомства), хорошо запомнит рассказ своего пациента. Не тогда ли было поведано ему о сентенции графини, которая взирала на нерасторопного Белинского и в *дурном вкусе* чувствительного Достоевского почти как на двух ковёрных?

Так сколь же часто бывал Достоевский в высшем свете?

Сам Соллогуб определённо говорит (и его слова благополучно игнорируются), что скромный дебютант появился у него *только однажды*.

В это — единственное! — своё посещение он становится свидетелем неловкости Белинского, «подслушивает» оскорбительную реплику хозяйки дома, наконец, сам падает в обморок. Подобная плотность

событий почти немыслима в жизни, но как раз характерна для его романов, где единицей измерения часто бывает скандал.

«...Скоро, — продолжает граф, — наступил 1848 г., он (Достоевский. — *И.В.*) оказался замешанным в деле Петрашевского и был сослан в Сибирь...» Естественно, визиты прекратились.

Мемуарист полагает, что доверчивого читателя устроит подобное объяснение. Но ведь до ареста героя оставалось ещё целых три года! Не проще ли предположить, что впечатлительный гость не испытывал особого желания вновь побывать на месте своего позора? Следует, впрочем, отдать должное деликатности графа: будучи, без сомнения, свидетелем происшествия, он не считает возможным о нём распространяться... В отличие, скажем, от Панаева, который не только дважды (1847 и 1855) обыграл эпизод в печати, но, по-видимому, собирался капитально изложить его в своих позднейших воспоминаниях, чего сделать, однако, не успел, вследствие внезапной кончины. Воспоминания доведены как раз до главы, где должен был изображаться дебют Достоевского. Сохранилась лишь краткая аннотация: «Появление Ф.М. Достоевского. — Успех его «Бедных людей». — Увлечение Белинского. — Достоевский на вечере у Соллогуба (обморок? — *И.В.*)».

Решившись посмеяться над Достоевским в *третий* раз, Панаев как бы понёс магическую кару. Что, впрочем, не остерегло других, даже не заметивших знака.

В своих предсмертных записях Достоевский глухо упоминает о какой-то ссоре своей с И.И. Панаевым. Возможно, следствием (или причиной?) этой ссоры был фельетон Панаева в четвёртом номере «Современника» за 1847 г., где содержался прозрачный намёк на известный (правда, уже годичной давности) обморок. У Панаева было злое перо. Разумеется, герой фельетона не мог не узнать себя. Отметим сходство отдельных фразеологических оборотов в панаевском тексте и в тексте «Послания Белинского к Достоевскому»: «Я, признаюсь... чуть-чуть скоропостижно не лишился жизни...» (фельетон Панаева). «...И чуть-чуть скоропостижно не погиб во цвете лет» («Послание»). Если даже Панаев не был одним из соавторов «Послания» (о такой вероятности будет сказано ниже), он выжал из происшествия всё, что мог. Не поддадимся соблазну усмотреть в этом факте наличие супружеской обиды: ведь перед А.Я. Панаевой Достоевский в обморок не падал!

...В апреле он был «при смерти в полном смысле этого слова». Может ли болезнь уврачевать дух?

Весной 1847 года, в Казани, восемнадцатилетний Толстой решает вести дневник: занятие, которое, несмотря на пробелы, он не оставит до конца своих дней. Этот грандиозный, охватывающий несколько десятилетий биографический эпос — ещё и средство самоочищения, вечная профилактика души.

С чего начинает Толстой? Первая запись (17 марта) гласит: «Вот уже шесть дней, как я поступил в клинику, и вот уже шесть дней, как я почти доволен собой. Les petites choses produisent de grands effets[1]. Я получил *Гаонарею*, понимается от того, от чего она обыкновенно получается; и это пустое обстоятельство дало мне толчок, от которого я стал на ту ступень, на которой я уже давно поставил ногу...»

Досадное (и унизительное) физическое расстройство становится побудительной причиной начавшегося нравственного переворота, сподобливает автора дневника подняться на давно присмотренную, но до этого «пустого обстоятельства» никак не дающуюся «ступень». И юный Толстой, и старший его семью годами Достоевский, оба они, несмотря на существенную разность недомоганий, стараются обрести в своих несчастиях душевное исцеление.

«О Господи, как совершенны
Дела твои, — думал больной...»

«Здесь я один, — продолжает свою больничную хронику будущий автор “Детства”, — мне никто не мешает... Главная же польза состоит в том, что я ясно усмотрел, что беспорядочная жизнь, которую большая часть светских людей принимают за следствие молодости, есть не что иное, как следствие раннего разврата души... (Ср.: «...Некрасов и Белинский разбранили меня в прах за беспорядочную жизнь»: жаль, что у Толстого не было таких гувернёров! — *И.В.*). Отделись человек от общества, взойди он сам в себя, и как скоро скинет с него рассудок очки, которые показывали ему всё в превратном виде...»[2].

Будет ли *помогать* Достоевскому его грядущий недуг? Станет ли он для него вечным напоминанием, грозным «memento mori»[3]?

Автор «Дневника писателя» не вёл дневников.

...Таков был печальный итог его «похождений». Единственное посещение большого света не принесло ему славы. Но — запомнилось крепко: к счастью для биографов, не только ему одному.

---

1 «Малые причины производят большие следствия» (*фр.*).
2 Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. Т. 46. М.-Л., 1934. С. 3–4.
3 «Помни о смерти» (*лат.*).

Что ж. Теперь, пожалуй, можно по-новому датировать плод коллективных досугов — «Послания Белинского к Достоевскому»: не ранее апреля 1846 г.

Страсти вокруг коймы

Вернёмся, однако, к самому «Посланию» — хотя, строго говоря, мы от него и не уходили.

Остановимся на последней строфе. В ней содержался намёк, который в 1880-м — спустя 34 года! — породил громкий литературный скандал. (Как ни предостерегали нас критики от «смрадного дыхания сплетни», соблазн слишком велик!)

Речь идёт о пресловутом требовании, которое Достоевский якобы предъявил своим издателям: обвести одно из его произведений особой печатной каймой, подчеркнув тем самым высокие достоинства текста.

Но, прежде чем обратиться к этой истории, зададимся вопросом: знал ли о «Послании» его герой?

А.Я. Панаева описывает выразительную сцену. Достоевский «в очень возбуждённом состоянии» является к Некрасову; между ними происходит бурное объяснение. «...Оба они страшно горячились; когда Достоевский выбежал из кабинета в переднюю, то был бледен как полотно и никак не мог попасть в рукав пальто, которое ему подавал лакей; Достоевский вырвал пальто из его рук и выскочил на лестницу».

Осведомлённый читатель понимающе усмехнётся. Как же! Разумеется, Авдотья Яковлевна, втайне гордясь происшествием, описывает ссору двух ревнивцев, один из которых, бросив в лицо счастливому сопернику *жалкие слова*, с горестью покидает поле боя («в мутной передней долго не влезет сломанная дрожью рука в рукав»). Но в XIX в. мемуаристки ещё стеснялись сообщать широкой публике такие подробности! Поэтому Авдотья Яковлевна, покривив душой, указывает *литературную* причину.

Не в наших правилах в чём-то разубеждать читателя.

После ухода Достоевского Некрасов «дрожащим от волнения голосом» заявляет, что его посетитель «просто с ума сошёл»: «И кто это ему наврал, будто бы я всюду читаю сочинённый мною на него пасквиль в стихах! до бешенства дошёл».

Когда происходит сцена? Авдотья Яковлевна воссоздаёт её с точки зрения *хозяйки дома* (перемещающейся из кабинета Некрасова в столовую и обратно). Следует вспомнить, что осенью 1846 г. Некрасов жительствует уже в квартире Панаевых: так отныне будет всегда.

Поскольку никакой иной некрасовской эпиграммы на Достоевского мы не знаем, остаётся предположить, что речь идёт о «Послании». Однако, если даже «витязь горестной фигуры» извещён о *существовании* подобного опуса, это ещё не означает, что ему известен сам текст. Во всяком случае, авторы, зная обидчивость героя, не были особенно заинтересованы в том, чтобы это сочинение до него дошло.

Нет никаких указаний на то, что ранее весны 1880 г. (то есть его *последней* весны) те или иные строки «Послания Белинского к Достоевскому» были знакомы адресату.

В мае 1880 г., когда разразился упомянутый литературный скандал (речь о нём ещё впереди), одна строфа «Послания» появилась в «Вестнике Европы»: редакция извлекла её из забвения как исторический аргумент. Так Достоевскому стала известна единственная (последняя) строфа, где имя его, впрочем, не называлось. Несколько позже он заносит в предсмертную записную тетрадь, что эти стихи «*без сомнения* не на меня написаны». Если бы он знал всё стихотворение (или хотя бы его название!), он бы, разумеется, думал иначе.

Впрочем, он думал бы иначе и в том случае, если бы после выхода с каторги, пребывая в Семипалатинске, имел возможность более основательно следить за столичной периодикой.

В декабрьском номере «Современника» за 1855 г. Новый Поэт (Иван Иванович Панаев: опять он!) предавал осмеянию некоего литературного кумирчика, которому автор фельетона и его друзья когда-то восторженно поклонялись. Кумирчик якобы потребовал от своего издателя, чтобы тот напечатал его произведение «в начале, или в конце книги» и чтобы оно было обведено «золотым бордюром, или каймою». Издатель, дабы угодить юному гению, немедленно согласился на все его условия:

Ты доволен будешь мною,
Поступлю я, как подлец,
Обведу тебя каймою,
Помещу тебя в конец!

Таким образом, последняя строфа «Послания» была впервые обнародована ещё в 1855 г.: герой был легко узнаваем (во всяком случае,

19-летний Добролюбов узнал немедленно). Однако ни в письмах из Сибири, ни позже Достоевский никогда не упоминает об этом навете. Знакомство со стихотворным текстом состоялось только через четверть века — в 1880 г., когда — в ходе полемики — в номере «Нового времени» от 3 мая В.П. Буренин изложил забытый панаевский фельетон[1].

Но даже и теперь Достоевскому не хочется верить! Однако верить приходится. И в его последней тетради появляется запись:

«*Каторга*...

И мужик постыдится, он не попрекнёт "несчастного"».

Иначе говоря, автор «Мёртвого дома» не без горечи констатирует, что его бывшие друзья и единомышленники потешались над ним как раз в тот момент, когда он пребывал «в мрачных пропастях земли».

Здесь обнаруживается одна знаменательная аналогия. В своё время Достоевским были публично отвергнуты обвинения в том, что его повесть «Крокодил. Необыкновенное событие, или Пассаж в Пассаже» — не что иное, как пародия на заключённого в Петропавловскую крепость Николая Гавриловича Чернышевского. Для него, бывшего узника этой крепости, подобные шутки — нравственно невозможны.

В 1855 г. Панаев с легкостью необыкновенной позволил себе то, в чём позднее был негодующе упрекаем автор «Крокодила». У Достоевского имелись основания заметить, что этика Нового Поэта несколько проигрывает в сравнении с этикой «мужика».

Однажды, говоря о Панаеве, Белинский со свойственным ему оптимизмом заметил: «От таких недостатков должно исправлять людей гильотиною». Но Панаев — «свой», поэтому ему легко прощается его «свистунское начало», выражающееся как в неуёмном стремлении поражать окружающих своими модными штанами, так и в его «бабьей страсти к сплетням литературным»: последним Новый Поэт был особенно славен.

«Кумирчик наш, — вовсю веселится Панаев, словно не ведая, где именно обретается в настоящий момент означенный "кумирчик", — стал совсем заговариваться и вскоре был низвергнут нами с пьедестала и совсем забыт... Бедный! Мы погубили его!..»

«О ком это писано? — негодующе откликнулся в 1918 г. Корней Иванович Чуковский. — О Достоевском! "Достоевский забыт"! И кто

[1] Авторство В.П. Буренина мы устанавливаем из неопубликованного письма А.С. Суворина к Достоевскому от 12 мая 1880 г. См. с. 537.

это пишет! Панаев, которого так прочно забыли, словно его и не было на свете. О, как бы изумился Панаев, если бы мог хоть на миг воскреснуть из своей забытой могилы и увидеть, что этот смешной Достоевский, этот ходячий анекдот, этот "прыщ" — есть величайшая святыня России, что он приворожил к нам Европу, которая увидела в нём залог, обетование и знамение наших сказочно-грандиозных судеб»[1].

Стоит ли, однако, так укорять бедного Ивана Ивановича: все мы крепки задним умом (в том числе и по части «сказочно-грандиозных судеб»). Пусть себе резвится в прогрессивнейшем из русских журналов: нашего героя от этого не убудет...

Но каким образом через столько лет после предполагаемых событий вдруг снова всплыла эта история? Почему за восемь месяцев до смерти Достоевский вынужден был публично оправдываться в возводимых на него клеветах?

Апрель 1880: в журнале М.М. Стасюлевича «Вестник Европы» (издание, к которому близок весь тургеневский круг) печатаются одни из лучших русских воспоминаний — «Замечательное десятилетие» Павла Васильевича Анненкова. Сам 67-летний мемуарист, талантливо и с истинным жаром поведавший читателям о незабвенной эпохе 40-х годов, пребывает в это время на курорте в немецком городе Бадене.

Повествуя о славных днях, Анненков, разумеется, не мог не упомянуть Достоевского. Обстоятельная ретроспектива была оживлена анекдотом. Требование «каймы» — открыто, без каких-либо экивоков — влагалось в уста названного своим полным именем героя. Автор ещё не законченных печатанием «Братьев Карамазовых» представал перед всей читающей Россией в довольно-таки дурацком виде.

Либеральная («тургеневская») партия наносила своему давнему ненавистнику и оппоненту идейный удар, более похожий на личное оскорбление. Недаром Достоевский расценил этот выпад как акт моральной дискредитации, как попытку опорочить его писательский облик в глазах читающей публики («чтобы запачкать»).

Суворинское «Новое время», только и ждущее случая, чтобы почувствительнее задеть респектабельный «Вестник Европы», не без злорадства уличает Анненкова в клевете. Газета даёт точную библиографическую справку: в известных экземплярах «Петербургского сборника» никакой каймы нет.

[1] В кн.: Неизданные произведения Н.А. Некрасова. С. 44.

Честь мемуариста была поставлена на карту — и он из Бадена немедленно высылает Стасюлевичу свои письменные оправдания. Автор «Замечательного десятилетия» горячо уверяет редактора, что он-де самолично видел первые экземпляры сборника «с рамками». Разумеется, это не намеренная ложь, а невольная аберрация старческой памяти. (Трогательно, что, уверяя Стасюлевича в её абсолютной надёжности, Анненков тут же именует первый роман Достоевского «*Добрыми* Людьми».)

Любопытна также трансформация давних слуховых впечатлений в устойчивый зрительный образ. Дело в том, что в 1846 г. будущий воспоминатель покинул Петербург 8 января, то есть за четыре дня до появления цензурного разрешения на выход «Петербургского сборника» и примерно за одну-две недели до его поступления в продажу. Так что сам он «видеть» ничего не мог — он мог только *слышать*.

Ни одного экземпляра «Петербургского сборника» с «каймой» доселе не обнаружено.

Неточности в воспоминаниях Анненкова были отмечены не только на родине их автора. В той же апрельской книжке «Вестника Европы» мемуарист поведал о своих встречах с Карлом Марксом (они познакомились в Брюсселе весной 1846 г. — как раз после отбытия Павла Васильевича из Петербурга). Анненков, в частности, излагает разговор Маркса с одним русским «степным помещиком»[1]. Этот номер журнала попался на глаза Марксу, который наконец-то *обратил свои взоры* к России и, как бы томясь тайным предчувствием, принялся за изучение языка («Я русский бы выучил только за то...»). Анненков подвернулся как нельзя кстати. На полях 496-й страницы «Вестника Европы» основоположник сделал следующую выразительную помету: «Это ложь! Он (то есть помещик. — *И.В.*) ничего подобного не говорил»[2].

Таким образом, Анненков-мемуарист подвергся критике не только в Петербурге. Его не одобрили и в Лондоне. Интересно: добрался ли Маркс до эпизода, где фигурировал Достоевский, и сказала ли ему что-нибудь эта фамилия?

[1] К.И. Чуковский установил, что речь идет о Григории Толстом, приятеле Некрасова и Панаева. См.: Лит. наследство. Т. 49–50. С. 365–396.

[2] См.: *Ан<дреев>ский С.А.* К характеристике Маркса. Рус. мысль. 1903. № 8. 2-я пагин. С. 63. Автор статьи утверждает, что эту книжку «Вестника Европы» Маркс читал «с большим вниманием»: многие страницы отмечены его синим карандашом.

Встречи и переписка с Марксом относятся к тому весьма непродолжительному периоду в жизни Анненкова, когда он мог позволить себе известное вольномыслие. Правда, те, кто хорошо изучил характер Павла Васильевича, никогда не обольщались на этот счёт. В 1856 г. Некрасов и Дружинин жестоко отделали своего приятеля в совместно написанной эпиграмме (чувство юмора в 40-е и 50-е годы тесно увязано с чувством коллективизма):

За то, что ходит он в фуражке
И крепко бьёт себя по ляжке,
В нём наш Тургенев все замашки
Социалиста отыскал.
Но не хотел он верить слуху,
Что демократ сей чёрств по духу,
Что только к собственному брюху
Он уважение питал.

Замечательно, что Анненков (точно так же, как и Достоевский в случае с «Посланием») почти четверть века ничего не ведал об этой характеристике: вплоть до возникновения «дела о кайме», когда Суворин, желая побольнее уязвить оппонента, опубликовал указанную эпиграмму в «Новом времени» (4 мая 1880 г.). Разобиженный Павел Васильевич не нашёл ничего лучшего, как приватно возразить, что он «фуражки — ей-Богу — никогда не носил» и что «это напраслина»[1].

Впрочем, по сравнению с «каймой» «фуражка» выглядела сущей безделицей.

Достоевский не мог поверить в то, что он является адресатом «Послания». В свою очередь, Анненков, ознакомившись с эпиграммой на себя, усомнился в авторстве Некрасова: «А впрочем может быть и он состряпал — таков был человек». Кстати, что сказал бы Павел Васильевич о ещё одной эпиграмме, в 1853 г. благополучно сочинённой на него неистощимым Иваном Ивановичем:

С бордюром в Прусском магазине
Не заказал ли он жилет?..

И Панаев радостно поясняет: «У него (т. е. Анненкова. — *И.В.*) летний жилет с бордюром, дамского рисунка»[2].

Воистину, *бордюр* бросает зловещую тень на репутации российских литераторов! Уж не масонский ли это знак, который вместо того,

[1] М.М. Стасюлевич и его современники в их переписке. СПб., 1912. Т. 3. С. 387.

[2] Лит. мысль. 1. С. 40.

чтобы ограждать от насылаемой порчи, служит целям совершенно обратным?

Но вернёмся к автору «Замечательного десятилетия». Полемика вокруг «каймы» сильно огорчила мемуариста. («Помой очень много вылито... на меня пакостниками «Н<ового> В<ремени>»). Спустя три месяца, когда, казалось бы, должны были стихнуть страсти, он, всё ещё негодуя, пишет Стасюлевичу, что прибывающая в Карлсруэ великая княгиня Мария Максимилиановна (внучка Николая I и дочь того самого «Лейхтенберга», который некогда «уважал» Достоевского) «упорствует считать меня порядочным и честным человеком, несмотря на все возражения «Нового времени». Вероятно — не читает его»[1].

Надо полагать, Достоевский негодовал не меньше. Он даже положил не подавать руки Павлу Васильевичу, если вдруг встретит его на Пушкинском празднике в Москве. Они действительно встретились — и Анненков наградил Достоевского поцелуем: интересующихся подробностями отсылаем к другой нашей книге[2].

Между тем «Вестнику Европы» надо было срочно спасать лицо, ибо, доверившись мемуаристу, редакция попала в пренеприятное положение. Дабы не усугублять конфуз, Стасюлевич, естественно, отказался воспроизвести в печати путаные и маловразумительные оправдания своего баденского корреспондента. Издатель обратился к другому лицу — единственному благополучно здравствующему автору «Послания». Именно Тургенев, находившийся в эти дни в Петербурге, поспешил подтвердить истинность слов своего старого друга, заменив при этом, однако, «Бедных людей» на никому не ведомый «Рассказ Плисмылькова». (Что окончательно запутало дело. Ибо «Рассказом Плисмылькова» первоначально (в журнальном объявлении) именовался будущий рассказ Достоевского «Ползунков», напечатанный в 1848 г. в запрещённом цензурой «Иллюстрированном альманахе» Некрасова и Панаева. Никакой «каймы» вокруг «Ползункова» в дошедших до нас экземплярах нет[3].)

Конечно, в редакционном ответе «Вестника Европы» нет прямой ссылки на новый источник информации (то есть на Тургенева), да

[1] М.М. Стасюлевич и его современники... III. С. 387, 390.

[2] См.: *Волгин И.Л.* Последний год Достоевского. М., 2017. С. 385, 390.

[3] В «Иллюстрированном альманахе» 1848 г. «Ползунков» (то есть «Рассказ Плисмылькова») снабжён рисунками П.А. Федотова. Это единственное произведение Достоевского, иллюстрированное в 40-е годы. В тексте альманаха «Ползункову» непосредственно предшествует рассказ А.В. Станкевича «Дурак Федя»: справедливо ли усмотреть в этом *случайном* соседстве тонкий выпад издателей против одного из авторов?

и в качестве сочинителей «Послания» упомянуты лишь покойники (Некрасов и Панаев). Тургенев предпочёл сокрыть своё участие под неопределённым «и др.». У живого автора, и без того состоявшего в сложных отношениях с героем, не было ни малейшего желания настаивать на своих правах. Но, разумеется, именно с его слов была обнародована на страницах журнала последняя строфа «Послания» — с прозрачной заменой рифмующего слова «подлец» вызывающе деликатными точками... Скромность чрезмерная, особенно если вспомнить, что указанная строфа уже опубликована Панаевым в 1855 г., причём в неурезанном виде.

«Новое время» ответило на объяснения «Вестника Европы» очередными насмешками, а 18 мая Суворин уже от имени самого Достоевского опубликовал решительное опровержение журнальной сплетни. Полемика оборвалась...

Но не оборвалась *традиция* («...ставши мифом и вопросом» — как в воду глядели авторы «Послания»: действительно *мифом* и действительно *вопросом*). История с «каймой» периодически всплывала в той или иной мемуарной интерпретации, причём надо заметить, что все версии в конечном счёте восходят к Тургеневу. Достоевский, правда, до этого уже не дожил. И хотя нынешние исследователи склонны сюжет с «каймой» считать чистейшим, ни на чём не основанным вымыслом[1], настойчивость упоминаний заставляет поискать какие-то реальные обстоятельства, хотя бы и до неузнаваемости искажённые логикой мифа.

Для того чтобы отвергнуть легенду, необходимо постичь её механизм.

Кто в первую очередь был заинтересован в том, чтобы отличить «Бедных людей»? Разумеется, сам издатель. Он прекрасно понимал, что «эта штука» (похитим у будущего бессмертную формулу) если и не посильнее «Фауста» Гёте, то тем не менее всё же способна стать главной приманкой «Петербургского сборника». И Некрасов действительно *выделяет* роман, открывая им свой альманах.

Ни о какой «кайме» толков пока нет. Правда, говорят о другом: об иллюстрациях.

Что собираются иллюстрировать?

Открыв «Петербургский сборник», каких-либо картинок к «Бедным людям» мы там не обнаружим. И всё же они существовали. Указания

[1] См. обстоятельную и конструктивную работу В.Н. Захарова «По поводу одного мифа о Достоевском» (Север. 1985. № 11. С. 113–120).

на это содержатся по меньшей мере в двух независимых друг от друга источниках.

Во-первых, свидетельство художника П.П. Соколова: ему были заказаны Некрасовым иллюстрации к роману.

Во-вторых, «Северная пчела». Её сотрудник Л.В. Брандт, как и следовало ожидать, был покороблен «великолепно-картинным» объявлением о «Петербургском сборнике», которое он углядел в кондитерской на Невском проспекте.

Без риска ошибиться можно утверждать, что речь у Брандта идёт о первых в мире иллюстрациях к сочинениям Достоевского.

Выше уже говорилось, что булгаринская газета встретила дебютанта решительным поношением. И на сей раз упоминание о «Бедных людях» выдержано в таком же глумливом тоне. Но для нас в данном случае важна не оценка, а информация. Очевидно, те самые рисунки Соколова, которые по неизвестным причинам не попали в печатный текст, были использованы для рекламы. И не исключено, что автор «Бедных людей», так и не дождавшийся обещанных иллюстраций, высказал в связи с этим своё неудовольствие.

Подобные огорчения не могли укрыться от его весёлых литературных друзей: об этом свидетельствует блистательное «Послание».

Но что удивительно. Кроме указанного стихотворного текста (32 строки), не существует *ни одного* относящегося к 40-м годам источника, где бы упоминалась история с «каймой». Ни в переписке современников, ни в их дневниках на это нет и намёка. Каким же образом такой соблазнительный факт мог ускользнуть от внимания друзей и врагов? Белинский, например, сообщает о Достоевском «анекдоты» куда менее занимательные. О «кайме» же впервые вспоминают лишь в 1855 г. (фельетон Панаева): тут уже она повышена в ранге и именуется «золотым бордюром». В самый момент происшествия «нехудожественные» известия о нём отсутствуют.

Всё это наводит на мысль, что слух о «кайме» возрос не на основе конкретного, достоверно известного и твёрдо зафиксированного в общественной памяти события, а синтезировался из разного рода пересудов и кривотолков. Но как возникли эти последние?

И снова сквозь *шум времени* (который, как водится, большей частью состоит из звуковых помех) доходит до нас слабый голос героя. Доходит, правда, не «напрямую», а в позднейшей передаче Константина Леонтьева. Да и сам Константин Леонтьев в данном случае лишь ретранслятор: он старательно воспроизводит рассказ Ивана Сергеевича Тургенева.

Тем не менее — вслушаемся.

«Знаете, — *мою-то повесть надо бы каким-нибудь бордюрчиком обвести*!»

Вот она, криминальная фраза! Очевидно, на этих (действительно неосторожных!) словах и основывались авторы «Послания». Для них совершенно безразлично, когда и при каких обстоятельствах слова эти были произнесены.

Между тем самое замечательное тут — это интонация: она прорывается сквозь двойные литературные фильтры. В словах Достоевского нет ни гордыни, ни самоупоения; тон здесь скорее просительный, почти защитный («*каким-нибудь* бордюрчиком»!). Нам как-то уже приходилось говорить, что так мог бы изъясняться и Макар Девушкин.

К какому же тексту относится указанная просьба?

«Бедные люди» и «Двойник» уже опубликованы, «Рассказа Плисмылькова» («Ползунков») нет ещё и в намётках. Между тем Белинский, увлечённый издательским успехом Некрасова, затевает собственный сборник — «Левиафан». Достоевский, поспешая, пишет для него повесть «Сбритые бакенбарды».

Справедливо замечено, что по буквальному смыслу «Послания» его герой «потребовал обвести каймой произведение, которое просто не существовало». А этого быть не могло, поскольку «Достоевский так не шутил»[1].

Не было текста — не было и просьбы о «кайме». Но, может быть, Достоевский и позволял себе такие шутки именно потому, что произведение ещё не написано?

На титульном листе «Петербургского сборника» значится: «Некоторые статьи иллюстрированы». И это действительно так. К примеру, стихи Тургенева украшены 19 отличными рисунками, а рассказ Панаева — 25 политипажами! В «Бедных людях» обещанные ранее иллюстрации отсутствуют. Так отчего же не намекнуть непрактичному Белинскому, что недурно бы в предполагаемом «Левиафане» украсить предполагаемую повесть хотя бы «каким-нибудь бордюрчиком» (сиречь иллюстрациями), раз чести этой удостаиваются и другие авторы. Чем он, Достоевский, хуже остальных?

Попробуем на минуту *отвлечься* и представить, как происходит дело. (Мысленная инсценировка — при скудности документов — не худшая форма познания.) Честная компания сидит у Белинского и обсуждает альманашный проект. Некрасов, Тургенев, Панаев — люди в издательском деле тёртые — наперебой предлагают: мне хо-

[1] Север. 1985. № 11. С. 118.

рошо бы такие-то иллюстрации, мне — такие-то... Достоевский, ущемлённый, как помним, художниками «Петербургского сборника», робко встревает: и мне... Какое, однако, самомнение!

Между тем он требует не преимуществ, а равенства. И если бы речь шла именно о рисунках, никому бы не пришло в голову обыгрывать этот сюжет. Но герой, к несчастью, выражается непрямо. Он предпочитает иносказания. Эвфемистическое «бордюрчик» — бесценный подарок литературным остроумцам. Они подхватывают словцо и превращают его в *улику*.

Через тринадцать лет, в письме к брату из Семипалатинска, обсуждая планы переиздания «Бедных людей», Достоевский заметит: «Как бы хорошо сделал Кушелев, если б издал с иллюстрацией! Это было бы очень хорошо».

Опять интонация: не сожаление ли об упущенных некогда возможностях?

И, наконец, последнее.

«Обведу тебя каймою, помещу тебя в конец», — сулит обозлённый издатель. То есть? То есть преподнесу твой текст так, как положено, увы, подавать в печати неизбежные *горестные заметы*... Не намекалось ли тут самым невинным образом, что требующий «каймы» как бы печётся о собственном некрологе?

Итак, если «каймы» физически не существовало, то, как полагают иные, «что-то без сомнения было». И это «что-то» принадлежит к тому же ряду *двоящихся* сюжетов, которые словно для того и возникают, чтобы подчеркнуть соблазнительное сходство (первым соблазнился Белинский) между автором и героем «Двойника».

Отозвавшись в 1877 г., что «повесть эта мне положительно не удалась», Достоевский тут же добавляет: «...серьёзнее этой идеи я никогда ничего в литературе не проводил».

Двусмысленная судьба «Двойника»...

К истории болезни

Главы из повести читались у Белинского ещё в декабре 1845 г.: об этом много лет спустя поведал сам Достоевский. Избирательная, как у всех авторов, память запечатлела подробности. Тургенев, прослушавший половину, «похвалил и уехал» («очень куда-то спешил», — добавляется в скобках, — и эта *тридцатилетней выдержки* ирония свидетельствует о незабытых обидах). Самому же Белинскому всё,

что ни пишет его литературный крестник, нравится как бы по инерции. Правда, в его печатном отзыве уже различимы мягкие укоряющие нотки.

Это едва наметившееся охлаждение гораздо откровеннее заявляет о себе в коллективном «Послании»: «Из неизданных творений удели не „Двойника"». И не знающий этих строк, но известный своей чуткостью герой более всего огорчён тем обстоятельством, что «наши» (и прежде всего — Белинский) недовольны им «за Голядкина».

Впрочем, первый истолкователь «Бедных людей» ещё столь пламенно верует в возможности молодого таланта, что, торопя Герцена поскорее дать повесть в проектируемый «Левиафан», уверяет своего корреспондента, что она (повесть) была бы в альманахе капитальною вещью, «разделяя восторг публики с повестью Достоевского» («Сбритые бакенбарды»): последней между тем ещё не существует в природе, и она никогда не будет дописана.

Неуспех «Двойника» вызывает у его создателя сильнейшие душевные муки. И если первое сообщение брату, будто *литературные* переживания повели к тому, что автор «заболел от горя», выглядит столь же литературно, то подробности, явившиеся позже (после обморока у Виельгорских), не оставляют сомнений в том, что апрельский кризис 1846 г. потряс весь его организм.

«Каждый мой неуспех производил во мне болезнь», — скажет он позднее.

Речь зашла о здоровье: о том, чего Достоевскому всегда не хватало.

В отличие, скажем, от Пушкина или Толстого он не был человеком физически крепким. К нему легко привязывались мелкие телесные недуги. Его преследовали нервические расстройства. Все воспоминатели отмечают бледность его лица.

Он был чрезвычайно мнителен. «Пивший обыкновенно не чай, а тёплую водицу», он приходит в ужас от цветочной заварки и беспокоится за частоту пульса (о чём нельзя читать без улыбки — особенно если вспомнить его позднейшую приверженность к почти чёрному, похожему на «чифир» чаю и крепчайшему кофе). Страшась печальных последствий летаргического сна (черта, кстати, общая с Гоголем), он оставляет на ночь предупреждающие записки; он внимательно надзирает за состоянием языка и бдительно прислушивается к малейшим нарушениям в деятельности своего организма. Его очень занимает строение собственного черепа (который, по отзывам, напоминал сократовский): он — чисто по-детски — пробует приложить к нему интригующие открытия медицины.

По его собственному признанию, эпилепсия впервые поразила его в Сибири. Однако, если верить доктору Яновскому, ещё задолго до каторги обнаруживается у него та самая «кондрашка с ветерком», в которой можно усмотреть грозное предвестье надвигающейся болезни.

Осенью 1846-го он, мечтавший некогда об Италии, собирается посетить её въявь — дабы поправить пошатнувшееся здоровье. Намерение не сбывается. Между тем 30 августа упомянутого года на свет появляется Анна Григорьевна Сниткина: спустя двадцать два года молодые проведут зиму во Флоренции.

«Я переехал с квартиры, — сообщает он брату 1 февраля 1846 г. (всё в том же, многажды помянутом письме), — и нанимаю две превосходно меблированные комнаты от жильцов. Мне очень хорошо жить».

Он не подозревает, что этот так и не узнанный им в старости дом станет его последним пристанищем (круг переселений замкнётся) и именно отсюда ровно через тридцать пять лет — почти день в день! — вынесут его гроб.

В год своего дебюта он всё время меняет квартиры — словно одержимый каким-то тайным беспокойством. Душевная неприкаянность прежде всего воплощается в быте: он буквально не может найти себе места.

Он любит селиться в угловых домах — в точке схождений и пересечений — там, где запинается линейный ритм городской застройки и просматриваются разные пространственные возможности. При этом он отдаёт предпочтение тем квартирам, из окон которых можно наблюдать церковные купола и шпили: зримые знаки обетованной миру гармонии.

Но пока гармонии не предвидится — не только в мире, но и в одной, отдельно взятой душе...

За несколько лет до смерти он продиктовал Анне Григорьевне, именуя себя в третьем лице, краткую свою биографию (сделано это было в первый и единственный раз — по чьей-то настоятельной просьбе). Не без гордости поведав о беспримерном успехе «Бедных людей», автор далее замечает: «Но наступившее затем постоянное нездоровье несколько лет сряду вредило его литературным занятиям».

Сами «литературные занятия» — не столь, заметим, малозначительные — не расшифрованы хотя бы в названиях. Зато «нездоровье» упомянуто как важный (пожалуй, даже решающий) биографический фактор. Ни с каким другим периодом своей творческой жизни Достоевский не будет так тесно увязывать указанное обстоятельство.

И тут является мысль: сугубо ли медицинскими причинами были вызваны его тогдашние недомогания? Или же естественные расстройства усугублялись отчасти их *литературным* происхождением?

Ни в детстве, ни в юности (то есть *до* начала серьёзных занятий словесностью) никаких признаков эпилепсии у Достоевского не наблюдается. Правда, доктор Яновский говорит о каких-то нервных явлениях (может быть, галлюцинациях? вспомним: «Волк бежит!»), которым, по словам его пациента, тот был подвержен в детские годы. Но только к одной эпохе — «вступлению на поприще» — сам больной относит зримое торжество мучившей его болезни.

Внимательный наблюдатель, он совершенно отчётливо характеризует своё состояние 1845–1849 гг. как душевную болезнь. Он избавится от неё только на каторге, которая, по его словам, обновит его физически и духовно. Но ведь именно на каторге — опять же по его собственному счёту — настигнет его эпилепсия. Как примирить эти, на первый взгляд, несовместимые вещи? Одна ли болезнь вытеснила другую? Или за счастливое исцеление от «болезни нравственной» пришлось заплатить столь высокую цену?

Сам Достоевский решительно разводит оба свои недуга. Он, кажется, вообще не склонен рассматривать эпилепсию в качестве душевного, то есть чисто психического, заболевания. «Болезнь нравственная» оказалась излечимой. Против падучей не нашлось никаких средств.

С эпилепсией у Достоевского обычно соединяется равнодушие к женскому полу.

О Смердякове замечено:

«...Женский пол он, кажется, так же презирал, как и мужской, держал себя с ним степенно, почти недоступно. Фёдор Павлович Карамазов стал поглядывать на него с некоторой другой точки зрения...

— С чего у тебя припадки-то чаще? — косился он иногда на нового повара, всматриваясь в его лицо. — Хоть бы ты женился на какой-нибудь, хочешь женю?..

Но Смердяков на эти речи только бледнел от досады, но ничего не отвечал».

Обладающий немалым житейским опытом, Карамазов-старший склоняется, очевидно, к мысли, что обострение природной болезни Смердякова сопряжено с вынужденным и не всегда полезным в его

возрасте воздержанием. Правда, сам больной таковым обстоятельством вроде бы не удручён.

Высказывалась мысль, что появление у Достоевского эпилепсии (в её «классической» форме) именно на каторге связано с теми же неудобствами, которые вызывали искреннюю озабоченность Фёдора Павловича Карамазова. Намекалось даже, что сама эта болезнь была неизбежным следствием слишком резкого перехода от вольного петербургского житья к суровой каторжной прозе.

Эта гипотеза не хуже всех остальных, хотя не вполне ясно, почему болезнь не пошла на убыль вместе с уничтожением вызвавших её причин.

В «Идиоте» Рогожин и князь Мышкин обмениваются следующими суждениями:

«— А до женского пола вы, князь, охотник большой? Сказывайте раньше!

— Я н-н-нет! Я ведь... Вы, можете быть, не знаете, я ведь по прирождённой болезни моей даже совсем женщин не знаю».

«Незнание» женщин князем — прямой результат его недуга, в то время как у Смердякова сама болезнь, возможно, провоцируется высокомерной нравственностью героя.

Для эпилептиков Достоевского характерна некоторая непроявленность пола. «Священная болезнь» не только не подстёгивает половой инстинкт, но скорее притупляет его. Волнения и заботы «сладострастников» неведомы бедным больным.

Всё это, разумеется, не означает, что анамнез автобиографичен: у Достоевского сложные отношения со своими героями.

Сложные отношения у автора «Двойника» и с самим собой. В одном из писем к брату он просит простить его за то, что был «угловат и тяжёл», гостя у него в Ревеле, и «нарочно злился» даже на маленького Федю (племянника, названного так, разумеется, в его честь). Он говорит, что был «смешон и гадок», приписывает это своему болезненному состоянию и выказывает раскаяние. Он знает о своём нелёгком характере, осуждает свои «уклонения» и просит поверить, что вовсе не они составляют его человеческую суть. Он занят не только самоанализом, но и тем, что позже будет названо им *самоодолением* (здесь он схож с Л. Толстым): воспитанием собственной личности, «выделкой» самого себя.

Его всегда занимало, что думают о нём окружающие. Но в эти годы из всех своих современников он наиболее дорожит мнением одного. Он трудится с постоянной оглядкой на этого человека — того, чей образ всю его жизнь не будет давать ему покоя.

Чехов заметил, что царствование Белинского было для автора «Бедных людей» существеннее, чем царствование императора Николая.

Русский мат с изюминкой подоплёкой

«К нему, — говорит П.В. Анненков о Белинском, — всегда являлись несколько *по-праздничному*, в лучших нарядах, и моральным неряхой нельзя было перед ним показаться...»

«Лучшим нарядом» Достоевского были «Бедные люди». Праздник, однако, длился недолго.

Три капитальных момента определяют стремительное сближение и последующее расхождение... — ученика и учителя, по старой школьной привычке чуть было не обмолвились мы, но на ходу сообразили, что эти определения здесь не вполне уместны. Итак, три момента («три составных части...» — если уж на то пошло). Во-первых, эстетика. Во-вторых, проблемы общего мировоззренческого толка. И, наконец, меняющаяся литературно-журнальная ситуация.

Всё, что писал Белинский о Достоевском в «Отечественных записках», отмечено превосходной степенью. Даже указания на отдельные недостатки должны были льстить самолюбию: недостатки эти сопрягаются с избытком таланта, ещё не ведающего собственных сил.

Всего около полутора лет Достоевский мог числить себя принадлежащим к ближайшему окружению Белинского. Он вхож не только в духовный мир критика: он принимает посильное участие в его издательских и даже домашних делах. Когда весной 1846 г. жена Белинского вместе с сестрой и годовалым ребёнком отправляется на воды в Гапсаль, Достоевский предваряет их приезд в Ревель письмом к брату, где даются подробнейшие инструкции относительно приискания для Белинских «порядочной няньки». Он умоляет Михаила Михайловича оказать дружественному семейству всяческое содействие и гостеприимство: «Я люблю и уважаю этих людей». Он просит о снисхождении к гостям не только жену брата, Эмилию Фёдоровну, но и — в шутливо-назидательном виде — своих малолетних племянников: «Недурно, если Федя и Маша тоже окажут со своей стороны какую-нибудь приязнь и откровенно выскажут своё мнение в пределах их известной солидности».

Пока Достоевские приискивают няньку для дочери Белинского, сам глава отъехавшего в Ревель семейства путешествует по югу России.

Осенью 1846 г. все, как и положено, сходятся в Петербурге. Но за лето успели произойти события, которые явятся полной неожиданностью как для Белинского, так и для его литературного протеже.

Об этих изменившихся обстоятельствах будет сказано ниже. Пока остановимся на изменившихся *оценках*.

«...Это такой слабый человек, что даже в литературных мнениях у него пять пятниц на неделе», — жалуется Достоевский брату в ноябре 1846-го. Он словно предчувствует недоброе.

Предчувствия оправдались. В первой же статье Белинского в первом номере обновлённого «Современника» (январь 1847) Достоевский помянут в тональности, прежде к нему не применимой. Правда, и тут об авторе «Бедных людей» и «Двойника» сказано несколько сочувственных слов. Однако третья его вещь, «Господин Прохарчин», напечатанная в «Отечественных записках», оценена неприязненно. Хотя и в ней Белинский усматривает искры таланта, он раздражительно замечает, что искры эти сверкают «в такой густой темноте, что их свет ничего не даёт рассмотреть читателю».

В мае тон ещё более ужесточается. Возникают — что ранее полностью исключалось — откровенно насмешливые нотки. Белинский выговаривает критику Валериану Майкову за то, под чем какой-нибудь год назад он, пожалуй, собственноручно бы подписался: за упоминание Достоевского в одной компании с Пушкиным, Лермонтовым и Гоголем...

О «Хозяйке» говорено с таким негодованием («что-то чудовищное», «странная вещь! непонятная вещь!»), какое может быть сравнимо лишь с восторгами, возбуждёнными «Бедными людьми». А в предназначенном исключительно для дружеских глаз послании (П.В. Анненкову) Белинский прилагает к новой повести Достоевского уж вовсе непечатные определения[1].

В 60-е годы Тургенев тактично предположил, что прославление Белинским «свыше меры» «Бедных людей» «служило доказательством уже начинавшегося ослабления его организма». Казалось бы, пришедшее наконец прозрение должно свидетельствовать об окрепшем здоровье.

Увы, увы! Знаменитое — «надулись же мы, друг мой, с Достоевским-гением!» — доносится почти из гроба: жить Белинскому остаётся всего чуть-чуть.

Выходит — *не* благословил?

[1] Письма Белинского (с несколько смягчённой издателями формулировкой: «Хозяйка» названа здесь «нервической *чепухой*», хотя в подлиннике употреблено более энергическое выражение) были опубликованы в № 187–188 «С.-Петербургских ведомостей» за 1869 г. и вполне могли стать известными находившемуся в то время за границей, но по мере сил следившему за отечественной прессой Достоевскому. Таким образом, спустя двадцать с лишним лет он имел возможность ознакомиться с «внутренними» отзывами «наших», что, конечно, могло лишь усилить его раздражение против изображаемых в «Бесах» «людей 40-х годов».

Через тридцать примерно лет Достоевский запишет в рабочей тетради: «При огромном таланте можно высказать много чувств (Белинский), но всё-таки не быть критиком».

Он не отказывает Белинскому в таланте. Он не отказывает ему в чувстве. Он ставит под сомнение его профессионализм.

В той же рабочей тетради замечено: «Человек ограниченный (Белинский), который не в состоянии разглядеть в виновном невиноватого, а в ином и праведном виновного. Уж у него, кого признал праведным, — вечно праведен, а злодеем — тот вечно злодей».

Современники отмечают, что в своих симпатиях и антипатиях Белинский, напротив, был непостоянен, как женщина.

Кому же прикажете верить?

Верить приходится всем. Ибо по сути речь идёт об одном. С переменой точки зрения Белинский радикально уничтожал всё, с этой точкой зрения связанное. Он не ведал полутонов. Он не включал в своё *новое* понимание ни одного из элементов понимания старого. Неумение разглядеть в невиновном виновного и т. д. — не намекает ли это на отсутствие той душевной пластичности, которая только и позволяет оценить явление в *разных* его ипостасях, обозреть его с *разных* сторон?

«Истинное величие души, — не без иронии говорит Паскаль, — как раз и состоит в умении придерживаться середины, в том, чтобы оставаться в ней, а не выскакивать из неё»[1].

Конечно, Белинский «вне середины». В этом — его сила. Но в этом же — слабость. «И — и» не для Белинского. Диалектический метафизик, он признаёт лишь «или — или». Он верен принципам, в которые свободно уверовал — и ничто не в силах поколебать в нём эту фанатичную убеждённость. Искусство должно споспешествовать исправлению нравов! Нравы, как видим, ухудшились, а искусство всё ещё живо.

«Я меняю убеждения, это правда, — говаривал “первый критик”, — но меняю их, как меняют копейку на рубль!»

Он был нерасчётлив, но искренен.

Да, Белинский был искренен: и тогда, когда превозносил «Бедных людей», и тогда, когда два года спустя признавался, что трепещет

[1] В кн.: *Франсуа де Ларошфуко.* Максимы. Блез Паскаль. Мысли. Жан де Лабрюйер. Характеры. М., 1974. С. 173. (Мысль № 378).

при мысли перечитать их. К счастью, он, кажется, так и не успел этого сделать: *первое* чувство (которое, как свидетельствует опыт, нередко оказывается самым верным) не подверглось ревизии ожесточённого критического рассудка.

Рассудку, впрочем, было отчего ожесточиться. Ибо время с 1846 по 1849 г. оказалось для Достоевского периодом *проб* (благозвучие требует непременного «и ошибок», но мы, затруднившись расшифровкой термина, пожертвуем им вовсе). Автор «Бедных людей» нимало не убеждён, что, сочинив этот роман, он раз и навсегда решил вопрос о творческом методе. Он находится в постоянном поиске, «сталкивая», казалось бы, взаимоисключающие приёмы письма и отваживаясь на рискованные художественные эксперименты. («В моём положении однообразие — гибель»). Он прекращает писание «Сбритых бакенбард», обнаружив, что «всё это есть не что иное, как повторение старого». Он писатель *неустоявшийся*: он пребывает в движении. Направление этого движения (к «Преступлению и наказанию», к «Бесам»!) неразличимо для тех, кто лишён возможности тайком заглянуть в ответ.

Белинского, только недавно провозгласившего принципы новой реалистической поэтики, не мог не насторожить гипертрофированный психологизм «Двойника». Размытое, двоящееся, «несфокусированное» изображение представлялось ему отходом от этих принципов. Рецидивы поверженного романтизма, обнаруженные в «Хозяйке» (этой негодной попытке «помирить Марлин<ского> с Гофманом, подболтавши немножко Гоголя»), должны были окончательно вывести его из себя.

Особого неудовольствия удостаивается «фантастический колорит». «Фантастическое, — строго замечает критик, покоряя друга-читателя неоспоримостью аргумента — в наше время может иметь место только в домах умалишённых, а не в литературе, и находиться в заведывании врачей, а не поэтов... В искусстве не должно быть ничего тёмного и непонятного...» Не будем, однако, спорить с этой замечательной мыслью: автор не виноват, что он не дожил до лучших времён и не читывал того, что читывали мы...[1]

...Какое, всё же, подспорье для совести и души — счастливое озарение, что Александр Андреевич Чацкий несколько не в себе! Сколь утеши-

[1] А ведь писано тем же автором в 1840 г.: «Фантастическое есть тоже один из романтических элементов духа, который должен быть развит в человеке, чтоб он был человеком» (*Белинский В.Г.* Полн. собр. соч. Т. III. С. 506.). Неужели так скоро всё это принесено в жертву новейшим откровениям позитивизма? И «фантастическое» изгоняется потому, что и религия может быть отнесена к этой туманной области духа?

тельна эта мысль, а главное, сколь необходима она при всех наших недоумениях и печалях! И вот уж велено докторам ежедневно свидетельствовать не сознающего себя басманного жителя и оказывать ему всяческие пособия и попечения. Можно ли не умилиться мягкосердечию высшей власти, избавившей бедного больного от заслуженных им взысканий! И мы облегчённо вздыхаем, уверясь в том, что смущавшие нас парадоксы — всего лишь следствия гибельных для здоровья занятий, частых и непомерных напряжений ума. Но, Боже правый! Зачем ненавистники власти так рабски копируют её же приёмы, и не из того же ль посева возрос этот жалкий ребяческий плагиат? Двусмысленный шепоток предшествует появлению «Выбранных мест», а по выходе их разносится громовое: «Или Вы больны, и Вам надо спешить лечиться, или — не смею досказать моей мысли...» «Конечно, конечно, лечиться!» — радостно подхватываем мы, желая отклонить от неосторожного автора ещё более мрачные подозрения. Конечно, лечиться — в спецучреждениях, в психушках — к вящей пользе тех, кто, как выяснилось, скорбен главой. Ибо помыслить их здоровыми — значит признать безумными самих себя. И, разумеется, он невменяем, наш Незабвенный Мучитель: поставим же поскорее диагноз и продолжим игру в домино! Лишь бы не догадаться, что наша история — это *история болезни*: всё дело в неадекватности отдельных лиц!

...Рассказывают, что в начале 50-х годов в Саратове, где учительствовал в то время только что окончивший курс в Петербурге молодой Чернышевский, его товарищ, человек сугубо религиозный, вернувшись с пасхальной заутрени, разбудил своего приятеля восклицанием: «Христос воскресе, Николай!» — «Это ещё надо доказать», — проворчал недовольный ранней побудкой Николай Гаврилович.

«Только с ним я сохранил прежние добрые отношения. Он человек благородный», — говорит Достоевский. На дворе осень 1846 г. Но отношения не могут долго оставаться «добрыми», если само добро понимается розно.

Справедлива мысль, что, будучи одним из «виновников» такого явления, как Достоевский, Белинский влиял на будущего автора «Братьев Карамазовых» «*вовсе не как критик*» (вернее, не только как критик)[1]. Гораздо могущественнее было его воздействие как идеолога и ересиарха.

[1] См.: *Виноградов И.* Диалог Белинского и Достоевского: философская алгебра и социальная арифметика // Знамя. 1986. № 6. С. 230.

Если вера Достоевского прошла через «горнило сомнений», можно сказать, что впервые это горнило раздул Белинский.

«...Он тотчас же бросился... обращать меня в свою веру... Я застал его страстным социалистом, и он прямо начал со мной с атеизма». Так говорит автор «Дневника писателя» в 1873 г.

Атеизм становится мировой религией.

За четыре года до знакомства с автором «Бедных людей» Белинский писал В.П. Боткину, что он не может веровать «в мужичка с бородкою, который, сидя на мягком облачке, <-—-> под себя, окружённый сонмами серафимов и херувимов (вспомним «истерические взвизги херувимов» в «Братьях Карамазовых»! — *И.В.*), и свою силу считает правом, а свои громы и молнии — разумными доказательствами. Мне было отрадно... — заключает Белинский, — плевать ему в его гнусную бороду».

Крепкие выражения употреблялись, как видим, по поводам не только литературным.

На этом месте, не скроем, перо наше дрогнуло и споткнулось. Похолодев, вспомнили мы о том, как, обсуждая предыдущую нашу книгу, один уже упомянутый выше критик обличил нас за то, что, «пользуясь правом вседозволенности», мы осмелились процитировать «просторечное название экскрементов», встречающееся порой в письмах и записных книжках Достоевского. По мнению критика, нас не извиняет даже то обстоятельство, что указанные тексты давно опубликованы, ибо «одно дело — академическое издание», другое — «книга, адресованная массовому читателю» Принося целомудренному оппоненту живейшую благодарность за это в высшей степени полезное наблюдение, мы хотели бы лишь почтительно заметить, что напрасно он полагает, будто знание «просторечного названия экскрементов» (равно как и других аналогичных «названий») является привилегией одних лишь академических кругов.

В 1842 г., сообщая тому же корреспонденту о внезапной смерти 25-летней жены А.А. Краевского (старшей сестры Авдотьи Яковлевны Панаевой), Белинский позволяет себе не меньшее богохульство. Правда, на сей раз он подбирает более нейтральное (с точки зрения официального культа) обозначение для неодобряемого предмета: «Велик Брама — ему слава и поклонение во веки веков!.. Леденеет от ужаса бедный человек при виде его! Слава ему, слава: он и бьёт-то нас, не думая о нас, а так — надо ж ему что-то делать. Наши мольбы, нашу благодарность и наши вопли — он слушает их с цыгаркою во рту и только поплёвывает на нас в знак своего внимания к нам».

Сказано также неслабо.

Конечно, отсюда ещё далеко до принципиального неверия: отрицается, скорее, определённый тип религиозности. Но доводы подобного рода запоминаются крепко. Недаром замечено, что «бунт» Ивана Карамазова, система его доказательств разительно схожи с атеистической логикой Белинского в начале 40-х годов. Не эта ли сокрушительная аргументация была обрушена на голову Достоевского при вступлении его на поприще?

И не тогда ли незамутнённая «слезинка ребёнка» (вспомним французский рассказ), утрачивая свойственную ей литературность, начала отливаться в грозное философское вопрошение?

«...Я *страстно* (выделено нами. — *И.В.*) принял всё учение его», — говорит Достоевский. «Всё учение» означает и «бунт». Богоборческие инвективы Ивана, его этически неопровержимые «contra» — всё это столь выстрадано и *страстно*, что заставляет задуматься о возможных автобиографических мотивах. Старые угли в «горниле сомнений» ещё не подёрнулись пеплом...

(Да: «...принял всё учение его». Весной 1846 г., сообщая брату литературные новости, Достоевский роняет загадочную обмолвку: «Пропускаю жизнь и моё *учение*...» В многозначительно подчёркнутом слове желательно бы, конечно, углядеть тайный намёк на успехи Белинского в духовном совращении своего прозелита. Но с равным основанием нам могут указать и на конкурентов — помянутых выше Минушек и Кларушек... В жизни всё смешалось, почти как в доме Облонских, и кто возьмётся по прошествии стольких лет без риска ошибиться отделить идейных агнцев от безыдейных козлищ?..)

Славно, что мы хотя бы имеем возможность прислушаться к спору.

«— Да знаете ли вы, — взвизгивал он (Белинский. — *И.В.*) раз вечером (он иногда как-то взвизгивал, если очень горячился, обращаясь ко мне), — знаете ли вы, что нельзя насчитывать грехи человеку и обременять его долгами и подставными ланитами, когда общество так подло устроено, что человеку невозможно не делать злодейств, когда он экономически приведён к злодейству, и что нелепо и жестоко требовать с человека того, чего уже по законам природы не может он выполнить, если б даже захотел»[1].

[1] Дневник писателя. 1873. Январь. *Старые люди.*

«Невозможно не делать злодейств...» Творец сам виноват, что не создал человеку приличных условий: тогда бы и он, человек, смог бы вести себя много пристойнее! Идея эта счастливо порхает в воздухе — и разве только ленивый не подпал ещё под её обаятельную власть.

Достоевскому тоже довелось размышлять над коварным вопросом.

«Делая человека ответственным, — напишет он в 1873 г., — христианство тем самым признает и свободу его. Делая же человека зависящим от каждой ошибки в устройстве общественном, учение о среде доводит человека до совершенной безличности, до совершенного освобождения его от всякого нравственного личного долга, от всякой самостоятельности, доводит до мерзейшего рабства, какое только можно вообразить. Ведь этак табаку человеку захочется, а денег нет — так убить другого, чтобы достать табаку».

Создателю надлежало бы озаботиться тем, чтобы табаку хватило на всех! В противном случае имеются все основания для принятия исправительных мер. «Помилуйте: развитому человеку, ощущающему сильнее неразвитого страдания от неудовлетворения своих потребностей, надо денег для удовлетворения их — так почему ему не убить неразвитого, если нельзя иначе денег достать?»[1]

Кажется, Белинский мало преуспел, обращая Достоевского в свою веру (вернее, в свое без-верие). Слишком различен был их духовный состав. Зато почти безошибочно можно обозначить общую точку. Это жгучий интерес к проблеме теодицеи (то есть богооправдания, снятия вины с Творца за существование мирового зла). Ни Белинский, ни Достоевский вовсе не приходят в восторг от несовершенства творения. Ни тому, ни другому не нравится «лик мира сего». Но в их кажущемся единомыслии таится нота смертельного разлада.

Строго говоря, аргументация Ивана Карамазова неопровержима с точки зрения формальной логики. Алёшино «Расстрелять!» — красноречивое тому свидетельство. Но у Алёши есть запасной козырь — тот, который одинаково чужд как брату Ивану, так и «предтече» Ивана — Виссариону Белинскому. Белинский полагал, что в творение только ещё предстоит внести искупающий его смысл. По Достоевскому, такие обетования уже даны.

В 1867 году, находясь за границей, он пишет для готовящегося в России литературного сборника статью «Знакомство моё с Белинским». Работа подвигается туго, и в одном из писем можно отыскать намёк на причину авторских мучений: «Только что притронулся писать и сейчас увидел, что возможности нет написать *цензурно*...»

[1] Там же.

Статья (немалая по объёму) была всё же написана, отослана и — бесследно исчезла. Она не найдена до сих пор. Однако ряд косвенных указаний позволяет понять, какой именно аспект смущал мемуариста.

В своём кругу Белинский никогда не стеснялся в выборе выражений. Особого шельмования («надоели мне эти ракалии») удостаивались имена, вчера ещё высокопочитаемые: *Ламартинишка, Блашка* (читай: Ламартин, Луи Блан). Исключений не делалось и для более значительных фигур. Отвергая христианскую доктрину как не соответствующую новому гуманизму и новой морали, Белинский, естественно, не мог щадить и Того, чьим именем обозначалась традиционная вера.

Между тем имя это исполнено для Достоевского высочайшего обаяния и смысла.

При каждом упоминании Белинским Иисуса Христа у будущего автора «Карамазовых» мгновенно менялось лицо — «точно заплакать хочет...». «Учитель» бил в самую уязвимую точку. Его собеседник мог простить ему многое, мог даже понять необходимость «бунта». Но Белинский, как бы дразня «чуть не плачущего» Достоевского, употреблял крепкое словцо (оно, как помним, наличествовало в последней строфе «Послания», однако применительно ко Христу не имело ни малейших шансов появиться в печати). Это было непереносимо, и через много лет вспоминалось как тяжёлое личное оскорбление.

Через много лет... Если бы (попробуем вообразить) в семидесятые годы того же столетия кто-либо из знакомцев героя позволил себе такую стилистику, можно не сомневаться, что всякие отношения с кощуном и охульником были бы прерваны. С Белинским отношения сохраняются. (Разрыв произойдёт позднее и, как мы убедимся, совсем по другим причинам.) Очень похоже, что за «экстремой» и нещадными ругательствами своего оппонента Достоевский различает что-то иное. Догадывается ли он, что религиозная холодность не в силах породить такие неистовства?..

Бердяев позже заметит, что атеизм есть один из моментов Богопознания.

«Поклонись Белинскому... — пишет одному своему приятелю Грановский. — Я помирился даже с его невозможными речами, понимая, как оне сходят с благородного языка».

Это говорит человек серьёзных религиозных правил, который вскоре едва не разойдётся с Герценом и его кругом из-за обнаружившегося разномыслия в подобных вещах.

«Однажды, — вспоминает Н.А. Тучкова-Огарёва, — посреди горячего спора о вероятности несуществования загробной жизни Гра-

новский вдруг встал и отошёл. На вопрос некоторых друзей — что с ним, Грановский отвечал:

— У меня умерла сестра, которую я горячо любил, я не могу допустить, что я с нею не увижусь»[1].

«Маша лежит на столе. Увижусь ли с Машей?» — запишет Достоевский в 1864 г. — у гроба первой жены.

Он, как и всякий человек, *лично* заинтересован в ответе.

В 1867 г., в Базеле его поразит картина Ганса Гольбейна Младшего «Мёртвый Христос». Человек, снятый с креста, — не прекрасное тело Бога, не золотое, озарённое нимбом чело, а истерзанный труп со следами тления и распада — такого изображения Спасителя он не встречал нигде. Анна Григорьевна, поведавшая в своих мемуарах о потрясении, которое пережил её муж, не приводит при этом его собственных слов. В записях, сделанных «для себя», она откровеннее: «...он тогда сказал мне, что “от такой картины вера может пропасть”»[2].

Может пропасть — не одолев «горнило сомнений».

Ипполит в «Идиоте» — в связи с той же картиной — замечает, что природа мерещится ему в виде бессмысленной «новейшей» машины, которая «поглотила в себя, глухо и бесчувственно, великое и бесценное существо». «Вечная», «равнодушная» природа отвратительна и лишена всякого смысла, если она пожирает свой собственный цвет — лучших своих детей.

Белинский никогда не видел полотна Гольбейна и, естественно, не читал «Идиота». Но кажется, что и его вера могла «пропасть» от впечатлений подобных.

«Боткин, — Станкевич умер! — пишет Белинский 12 августа 1840 г. — Боже мой!.. Да каждому из нас казалось невозможным, чтобы смерть осмелилась подойти безвременно к такой божественной личности и обратить её в ничтожество. В *ничтожество*, Боткин! После неё ничего не осталось, кроме костей и мяса, в которых теперь кишат черви»[3].

Смерть не разбирает между «Христом» и «Станкевичем», и если она есть — она есть для всех. «Бунт» Белинского по сути есть бунт против смерти: он не может простить Богу, что бессмертия не дано. Сокрушение религиозных основ — не пароксизм ли это жаждущей веры души? От вероотступника до богоискателя — подать рукой.

---

[1] *Тучкова-Огарёва Н.А.* Воспоминания. М., 1959. С. 73.

[2] Примечания А.Г. Достоевской к сочинениям Ф.М. Достоевского. В кн.: Гроссман Л.П. Семинарий по Достоевскому. М. — Пг., 1922. С. 59.

[3] *Белинский В.Г.* Полн. собр. соч. Т. XI. С. 537–538.

«...Богохульство, — говорит Лютер, — звучит иной раз приятнее для слуха Божьего, чем даже Аллилуйя или какое хотите торжественное славословие. И чем ужаснее и отвратительнее богохульство, тем приятнее Богу».

Речи Ивана Карамазова не отвращают от него брата Алёшу, как речи Великого инквизитора не отвращают Христа: в обоих случаях «бунт» вознаграждается поцелуем.

(Надо помнить ещё и об эпатажной лексике Белинского — обычной для его домашних полемик. Напротив, в своём знаменитом письме к Гоголю (1847 г.) он как раз противополагает *личность* Христа существующей церковной ортодоксии. Не сказалось ли здесь «обратное» влияние Достоевского?)

Достоевский вспоминает, как однажды во время жаркого спора «друг Белинского» («мы сидели, а он расхаживал взад и вперёд по комнате») высказал мысль, что, родись Христос «в наше время», он бы непременно «примкнул к движению» или, что ещё вероятнее, «стал во главе его». Белинский принял гипотезу с восторгом.

Знакомая — «в белом венчике из роз» — фигура неслышно выскальзывает из скромной петербургской гостиной и — до поры — исчезает во мгле. За белой слепой метелью не разглядеть лица. Не тот ли это, однако, кто молвил в Севилье: «Сегодня сожгу тебя»?

И — каково имя «друга», меряющего шагами комнату, которая видится нам плотно уставленной цветами (слабость, простительная эстетику; глава *натуральной* школы обожал *живые* цветы). Очень похоже, что это Василий Петрович Боткин: именно его Белинский «весьма уважал и во многом слушался» (хотя и замечал приватно, что приятель его, недавно вернувшийся из Европы, «заразился европейским развратом, а великие европейские идеи пропустил мимо ушей»). Разговор, надо полагать, сильно поразил одного из участников, поскольку через много лет Коля Красоткин огорошит Алёшу Карамазова умозаключением, совпадающим с мнением «друга» почти дословно: «...Он бы (Христос. — *И.В.*) прямо примкнул к революционерам и, может быть, играл бы видную роль».

«С каким это дураком вы связались!» — в сердцах восклицает Алёша. Конечно, трудно предположить, чтобы «друг Белинского» (весьма, надо полагать, постаревший) поверил свои откровения гимназисту 60-х годов. Да и сам Коля указывает иной источник:

«— Это ещё старик Белинский тоже, говорят, говорил.

— Белинский? Не помню. Он этого нигде не написал.

— Если не написал, то, говорят, говорил. Я это слышал от одного... впрочем, чёрт...»

Достоевский не зря заставил своего юного героя чертыхнуться. Ещё бы! Ведь не мог же Коля Красоткин сослаться на личное свидетельство автора!

«Нельзя пройти мимо того факта, — тонко замечает один исследователь, — что Алёша Карамазов оказывается таким хорошим знатоком Белинского, что может *категорически* заявить Коле: «Он этого нигде не написал». Трудно сказать определённо, сознательно или бессознательно Достоевский заставил своего любимца прочитать все сочинения Белинского, но нигде в романе мы не находим указаний, чтобы это чтение помешало Алёше сделаться той прекрасной личностью, какой изобразил его Достоевский».

За месяц до смерти, отвечая одному своему корреспонденту на вопрос, что бы он рекомендовал для чтения его сыну, Достоевский советует давать ему лишь то, «*что производит прекрасные впечатления и родит высокие мысли*». В этом списке, наряду с Библией, наличествует и Белинский. Надо, пожалуй, согласиться, что в «Братьях Карамазовых» «нет никаких указаний, которые помешали бы думать, что, хотя отчасти, влияние Белинского сделало Алёшу «ранним человеколюбцем» и правдолюбцем, готовым за правду пожертвовать даже жизнью»[1].

Алёша читал Белинского, но он никогда не слышал его речей. А если бы слышал — не исказилось бы болью и его молодое лицо?

Ибо печаль — одна.

«Дитя неверия и сомнения», убеждённый, что останется таковым «даже... до гробовой крышки», автор «Карамазовых» тем не менее «сложил в себе символ веры». Ему удастся пронести эту веру через «горнило сомнений»: кажется, излюбленный им образ лишь закалился в его всепожирающем пламени.

В 1854 г., выйдя с каторги, он напишет Н.Д. Фонвизиной, что если б ему доказали, «что Христос вне истины, и *действительно* было бы, что истина вне Христа», то ему «лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной».

Нам однажды уже приходилось останавливаться на этих удивительных словах[2].

Достоевский допускает (пусть теоретически), что истина (которая есть выражение высшей справедливости) может оказаться вне Христа: например, если «арифметика» авторитетно докажет, что дело

[1] *Ашевский С.* Белинский в оценке его современников. Пб., 1911. С. 204.

[2] См.: Последний год Достоевского. С. 540–541.

обстоит именно так. Но в таком случае сам Христос как бы оказывается *вне* Бога (вернее, вне «арифметики», тождественной в данном случае мировому смыслу). И Достоевский предпочитает остаться «со Христом», если вдруг сама истина не совпадёт с идеалом красоты. Это тоже своего рода бунт: остаться с человечностью и добром, если «истина» по каким-либо причинам окажется античеловечной и недоброй.

Он выбирает «слезинку ребёнка».

...В уже упоминавшейся (единственной!) записке одного из участников спора другому запечатлён нежный отголосок их идейных баталий. «Достоевский, душа моя (бессмертная) жаждет видеть Вас». Конечно же, это «игровой», акцентированный текст, отсылающий адресата к каким-то предшествующим разговорам. Главнейший эпитет невинно прикрылся скобками: он-то и подлежал обсуждению.

Однажды Белинский сказал Тургеневу — «с горьким упрёком»: «Мы не решили ещё вопроса о существовании Бога, — а вы хотите есть!..» Достоевский, пожалуй, мог бы взять эту фразу в качестве эпиграфа к одной из глав «Братьев Карамазовых»...

В 1881 г., за несколько дней до смерти, знакомясь с письмом Л. Толстого к графине А.А. Толстой (в нём отрицалась божественность главного евангельского персонажа), автор «Карамазовых» хватался за голову и «отчаянным голосом» восклицал: «Не то, не то!..»[1] Уж не припомнились ли ему те давние споры?

Его позднейшие оценки Белинского пристрастны и разноречивы. Ни об одном из современников не отзывался он с такой вызывающей непоследовательностью. Порою (это следует признать с особенной грустью) он доходит до чудовищных несправедливостей, почти до площадной брани — может быть, в чём-то схожей с той, какую позволял себе его оппонент насчёт известных предметов. Он словно повторяет путь, некогда проделанный его собеседником по отношению к нему самому: оба они оказываются не правы.

В своих *официальных* высказываниях Достоевский гораздо сдержаннее.

Казалось бы, что мешало ему поведать о своих идейных несогласиях с автором рокового письма, публичное чтение которого обернулось для читающего смертным приговором? Лицу, находящемуся под следствием, афиширование подобного разномыслия (особенно

[1] Переписка Л.Н. Толстого с гр. А.А. Толстой, 1857–1903. СПб., 1911. С. 26.

политического и религиозного) сулило несомненную *выгоду*. Бывшему же его собеседнику никакие признания были уже не страшны. Достоевский между тем не говорит об этом ни слова. В качестве главной и единственной причины их с Белинским размолвки указываются мотивы чисто эстетические: они-то как раз интересовали следователей в последнюю очередь.

Вообще обстоятельства «форменной ссоры» не вполне ясны.

Конечно, им с Белинским далеко до единомыслия. Но никакие оттенки во мнениях при наличии взаимной приязни — а она, бесспорно, существовала в первые месяцы знакомства — не смогли бы повести к разрыву. И всё же, помимо прочих причин («неважных во всех отношениях»), имелась ещё одна: может быть, капитальнейшая.

Двойник-конкурент

1 апреля 1846 г. Достоевский сообщает брату «огромную новость»: Белинский оставляет «Отечественные записки». Это действительно была сенсация. Лучший русский критик покидал лучший в России журнал, который сделался таковым главным образом благодаря его в нём участию. Вконец изнуривший себя срочной журнальной работой, принуждённый наряду с разбором пушкинских и гоголевских творений обсуждать достоинства песенников и гадательных книжек, Белинский решается на отчаянный шаг. Он расстается с *бескорыстным* своим работодателем — Андреем Александровичем Краевским (именуемым также за глаза Ванькой-Каином), чьи капиталы, как полагали иные его сотрудники, умножались — независимо от воли издателя — прямо пропорционально радикализму издания.

Белинский уходит на *вольные хлеба*: дабы овеществить метафору, он затевает издание уже помянутого «Левиафана». Уповая лишь на «толщину баснословную» замысленного альманаха, новоявленный издатель бросает клич: московские и петербургские друзья нестройно откликаются на призыв. Достоевский в числе первых: «из неизданных (и — ещё раз напомним — так и не написанных. — *И.В.*) творений» он обещает «уделить» «Сбритые бакенбарды» (над призраком которых немедленно возникает призрак «каймы»).

Лето 1846 г. приносит неожиданные перемены (именно о них и было упомянуто выше). Покуда Белинский, опекаемый добрейшим Михаилом Семёновичем Щепкиным, пытается поддержать гибнущие лёгкие целительным воздухом Одессы и Крыма, Некрасову и Панаеву является мысль: взять в аренду один из существующих литературных журналов. (Основать новый было бы затруднительно, ибо

государь начертал некогда на подобном проекте: «И без того много».) После долгих переговоров П.А. Плетнёв соглашается за 30 тысяч наличными плюс 3000 ежегодных отчислений уступить право издания «Современника». Славное имя основателя уже давно не приносит преемникам никаких материальных выгод — 300 подписчиков не окупают расходов. Практичный Некрасов рьяно берётся за дело. Он убеждает Белинского за умеренное (очень умеренное) вознаграждение передать ему рукописи, предназначавшиеся ранее для «Левиафана». Бывшему их владельцу, помимо сказанной компенсации, обещана в новом издании почётная роль.

Но — откуда взялись потребные суммы? Журнал — не альманах: он жаждет постоянных вложений. Не говоря уже о значительных начальных расходах...

...Летом 1846 г. (Достоевский — в Ревеле, Белинский — на юге) заскучавший было Некрасов отправляется в Казанскую губернию — в имение своего приятеля Григория Толстого: там, по слухам, отличные охоты. Сюда же прибывает чета Панаевых: у Ивана Ивановича — очевидно, по чистой случайности — тоже оказывается вблизи недурное именьице. Какое счастливое стечение обстоятельств! За долгими ночными бдениями радушному хозяину (то бишь Григорию Толстому) является мысль, ненавязчиво подсказанная гостями, — расстаться с частью свободных помещичьих капиталов и употребить их на общее благо. Не подозревает ли он в душе, что будущему печальнику горя народного лучше знать, как распорядиться плодами крестьянских трудов?

Если же верить присутствовавшей при сём Авдотье Яковлевне, именно она указала на возможный источник финансирования, намекнув непрактичному мужу, что искомые деньги можно выручить от продажи панаевского леса. Нам почему-то мнится (впрочем, без должных тому доказательств), что именно в эти, проведённые среди роскошной природы недели, их с Некрасовым роман вступил в решающую фазу, а ничто, как известно, так не способствует внезапным озарениям и поступкам (в том числе и основанию журналов), как подобное состояние души...

Лишь только идея была одобрена, Некрасов, бегло указав собеседникам на красоту июльского неба при раннем восходе, ринулся в Петербург — покупать журнал. В столице, однако, царствовал мёртвый сезон, и Некрасов стремительно перемещается в Ревель. Уж не спешит ли он поделиться с Достоевским своими задушевными планами? Или — поведать их пребывающему в тех же краях семейству Белинского, которое, разумеется, не замедлит переслать счастливую новость своему отсутствующему главе?

Нет, будущий приобретатель «Современника» не таков. О планах никому не будет сказано ни слова. (А ведь в Ревеле приятели наверняка встречались.) Только в сентябре, вернувшись в Петербург, Достоевский узнает стороной «причину приезда Некрасова в Ревель — причину, которую он держал в тайне, по разным политическим видам...» Оказывается, неутомимый поэт совершил свой вояж для того, чтобы приватно переговорить с Массальским — издателем журнала «Сын отечества». Сделка не состоялась — и всё внимание было перенесено на Плетнёва.

17 сентября Достоевский пишет брату: «Всё по-старому; ждут Белинского... Все затеи, которые были, кажется, засели на месте; или их, может быть, держат в тайне — чёрт знает». Автор письма, видимо, раздражён тем, что Некрасов не находит возможным посвящать его в свои волнующие игры. Напрасно он огорчается. Даже Белинского, ради которого, как будут уверять, затевается всё дело, огорошат радостной вестью не ранее конца сентября.

Не слишком ли много секретов? И от кого? От тех, кто, казалось бы, должен быть кровно заинтересован в успехе! У Некрасова, впрочем, есть свои резоны. Он блюдёт издательскую тайну, равно как и тайну вкладов. (Судя по всему, Григорий Толстой в последнюю минуту дрогнул и только выгодно проданный панаевский лес спас, как говорится, честь русской демократии.) Пока не спохватился Краевский, пока не передумал Плетнёв, пока не заколебалось Главное управление цензуры — вперёд и только вперёд!

Тут надлежит появиться титрам: «Так начинался великий “Современник”». Но для самих современников это ещё не вполне очевидно.

Менее всего очевидно это для Николая Васильевича Гоголя, в своём италийском уединении ничего не ведающего о петербургских пертурбациях и манёврах. 22 ноября (4 декабря н. ст.) 1846 г., когда судьба «Современника» уже месяц как решена, Гоголь неспешно направляет Плетнёву средних размеров статью, скромно облёкшуюся в форму дружеского письма (склонность к публичному собеседованию с друзьями дорого обойдётся автору!). Заголовок послания прост: «О “Современнике”».

«...Письмо моё, — наставляет Плетнёва Гоголь, — поставь первой статьёй в виде программы или вступленья в самую книгу»: подразумевается первый номер «Современника» на следующий, 1847 г.

Какой же проект, так никогда и не узнанный читателями журнала, вызрел под живительными лучами ласкового иноземного солнца?

Во-первых, Плетнёву рекомендуется немедленно преобразовать «Современник», который должен отныне «отбросить от себя названье журнала» и обратиться в своего рода альманах, выходящий аккуратно три раза в год: к Рождеству, к Пасхе и к Покрову («когда все съезжаются... в города»).

Во-вторых, в новом издании *возбраняется* — не побоимся общего корня — всякая литературная *брань*: «Современник» должен быть солиден, невозмутим и ориентирован на вечное.

В-третьих, — и это главное, — надлежит собрать под единой обложкой «лучшие цветы современной нашей литературы».

Непонятно, почему эту совершенно конкретную *издательскую программу* трактуют как приятельские советы, не имеющие никакой особенной цели. Ведь письмо Гоголя — заявление о намерениях! Больше того — это оповещение о *новом* издании, которое с 1847 г. должно выходить под его, Гоголя, высшим руководством, хотя и с сохранением официального редакторства Плетнёва. У читателей, если бы они вдруг каким-то образом узрели гоголевский текст, не возникло бы сомнений на этот счёт.

Зачем Плетнёв так поспешил! Решись он немного повременить — и у автора «Мёртвых душ», возможно, был бы собственный орган, по характеру и духу во многом противоположный тому, какой затевался ныне.

Но Гоголь — опоздал.

Теперь понятно, почему петербургские друзья столь настоятельно призывались посылать в Италию всё мало-мальски заметное по части русской литературы. Помимо чисто читательского интереса, у Гоголя была ещё специальная цель. Он присматривается к *авторам*.

Кому же из них уготавливалась такая славная участь?

Поэтическая физиономия будущего «Современника» не вызывает у Гоголя особых раздумий. Он очерчивает привычный круг: Жуковский, Языков, Вяземский. Что касается прозы, здесь маэстро проявляет известную осторожность.

Первым называется граф Соллогуб. Он, по мнению Гоголя, «бесспорно есть нынешний наш лучший повествователь». Далее поощрительного отзыва удостаиваются Казак Луганский (В.И. Даль), Н.Ф. Павлов и ещё несколько менее значительных лиц.

«Человек года» — автор «Бедных людей» и «Двойника» — среди счастливцев не значится.

«Мне сказывали, — туманно добавляет Гоголь, — что вообще в последнее время *повесть* сделала у нас успех, и несколько молодых писателей показали особенное стремленье к наблюденью жизни дей-

ствительной». Информация, конечно, заслуживает доверия, но кое-что удалось прочесть и ему самому. «...Постройка самих повестей, — замечает строгий читатель, — мне показалась особенно неискусна и неловка»; кроме того, обнаружены «излишество и многословие, а в слоге отсутствие простоты».

Всё это вполне согласуется с тем, что было замечено ранее (в письме к А.М. Виельгорской) о «Бедных людях».

Но Гоголь не ограничивается сторонней оценкой. Он считает своим непременнейшим долгом предостеречь молодые дарования, если бы им вдруг вздумалось учиться у него словесному искусству. Такая учёба может, по мнению автора, произвести только карикатуру. «Доказательство этому, — указывает Гоголь Плетнёву (а вместе с ним — всем потенциальным читателям своего письма), — можешь видеть на некоторых молодых и неопытных подражателях моих, которые через это самое подражание стали несравненно ниже самих себя, лишив себя своей собственной самостоятельности». Сказано довольно общо. Но из всех «молодых подражателей» «новым Гоголем» был, как помним, наречён только один.

В письме-статье не упомянуто ещё одно имя: его отсутствие сразу бросается в глаза. Это — Белинский.

Конечно, провозглашённый отказ от журнальной полемики заставляет предположить, что Белинскому в новом издании нечего делать. Но с другой стороны... Какой русский критик обладает такими достоинствами, чтобы украсить своими трудами новый журнал? Гоголь обходит этот вопрос. Мог ли он позабыть о том, что Белинский по-прежнему остаётся лучшим истолкователем его собственных, вызывающих споры творений? До рецензии на «Выбранные места» и до знаменитого зальцбруннского письма дело ещё не дошло...

Надо всё-таки думать, что Белинский не упомянут по соображениям дипломатического порядка. Гоголь не желает огорчить своих петербургских друзей. А ещё пуще — московских: Погодина, Шевырёва, Константина Аксакова и др., для которых обозреватель «Отечественных записок» — прежде всего злобный гонитель славянофилов и литературный враг номер один.

Не держит ли, однако, автор «Ревизора» *в уме* одиозное имя, уподобляясь тем самым Пушкину, который, присмотрев некогда молодого Белинского для *своего* «Современника», вынужден был тщательно скрывать от ревнивых коллег возникший было демократический интерес?

Гоголь ведёт свою игру, не желая порывать ни с Белинским, ни с его литературными противниками. Последние между тем гораздо лучше Гоголя осведомлены об истинном положении дел.

«Объявляют за важную весть, что Белинский, который будет заведовать критикой “Современника”, изменил своё мнение о Гоголе и напечатает ряд статей против него», — пишет С.П. Шевырёв П.А. Плетнёву 6 ноября 1846 г. Свидетельство вполне правдоподобное, ибо благодаря нескромности цензора Никитенко, дающего читать ещё не напечатанную рукопись «Выбранных мест» всем, кто только ни пожелает, слухи о *странной книге* широко распространились по Петербургу. «Это послужит только к чести Гоголя, — продолжает Шевырёв, — и давно пора ему для славы своей скинуть с себя пятно похвал и восклицаний, которые приносит ему Белинский»[1].

Сам Гоголь не подозревает об опасности. И дорога в новое литературное дружество пока не заказана никому. Ибо, по уверению автора проекта, «талантов в нынешнее время гораздо больше, чем когда-либо прежде»[2]. Не уместно ли собрать их всех под одно мощное крыло? Все они будут счастливы питать своими дарованиями детище, опекаемое первым писателем России: об этом не говорится вслух, но это должно быть ясно всякому простаку.

(Какая блистательная перспектива! Литераторы натуральной школы, трудящиеся бок о бок с последними могиканами «золотого века»: вот оно, то взыскуемое блаженство, которое на языке современных грёз именуется консолидацией литературных сил.)

Если бы знать!.. Грустная участь Груши, опоздавшего на выручку к Наполеону... сравнение снова хромает, ибо какой же Плетнёв Наполеон, да и Панаев на Блюхера категорически не похож. Собственно, и Ватерлоо никакого не было. Просто один редактор мирно сменил другого.

Как говорят англичане, дьявол скрывается в деталях.

...Едва ли не на следующий день после отсылки своего письма Гоголь, наконец, узнаёт то, что в России известно всем. Мужественно приняв новость («о которой, — с мягкой укоризной говорено Плетнёву, — ты меня совсем не известил»), он поручает поступить с его статьей так, как адресат найдет приличней. (Она и пропылится в плетнёвских бумагах добрый десяток лет.)

«Не смею теперь никаких делать тебе замечаний: они могут быть и ошибочны и некстати»[3], — заключает Гоголь: он оказался деликатнее многих.

---

1 В кн.: Переписка Я.К. Грота с П.А. Плетнёвым. 2. С. 962–963.
2 Гоголь Н.В. Полн. собр. соч. Т. VIV. С. 428.
3 Там же. Т. XIII. С. 153.

«Тень Пушкина! не содрогнёшься ли ты?» — взывают благомыслящие друзья, адресуя, впрочем, этот горестный вздох не Пушкину, а всё тому же Плетнёву — тому, кому некогда был посвящён «Евгений Онегин». Они шокированы его сомнительной сделкой с «мальчишками» (профессор старше Некрасова почти на тридцать, Панаева и Белинского — на двадцать лет.) Как! Люди без роду и племени, ниспровергатели истинных и распространители дутых слав, ловкие зачинатели журнальных склок — как смеют они посягать на скромный, но исполненный достоинства орган — едва ли не последний в России оплот чистого вкуса, небранного слова, тонких литературных приличий! Неужели Плетнёв не мог найти более благородных партнёров?

Не все, однако, взывают к бесплотной пушкинской тени. Иные больше надеются на предержащую власть.

15 октября 1846 г. генерал Пётр Петрович Ланской обращается в Главное управление цензуры. От имени Опеки, учреждённой «над малолетними детьми и имением Камер-Юнкера А.С. Пушкина», он просит почтить её (Опеку) уведомлением, «на каком основании разрешено было в 1836 г. 16 января А.С. Пушкину издавать журнал „Современник"». Ничем не объяснив такового своего любопытства и не высказывая пока никаких претензий, генерал просит одновременно «учинить в делах Ценсурного Комитета справку, не было ли впоследствии с 1837 г. передано право на издание "Современника" кому-либо другому»[1].

Этому официальному письму предшествовало письмо неофициальное, отправленное пятью днями ранее — 10 октября и адресованное непосредственно Плетнёву. Оно подписано тем же Петром Петровичем Ланским и, сверх того, графом Михаилом Юрьевичем Виельгорским. С графом покойный поэт, как мы знаем, приятельствовал; о Петре Петровиче не имел никакого понятия. Оба они оказались ныне в числе *опекунов*.

«Дружеские отношения, которые связывали Вас с покойным Александром Сергеевичем Пушкиным, — вкрадчиво начинают авторы письма, — вызвали Вас по кончине его принять участие в журнале "Современник"; а впоследствии с той же благородною целью, единственно в память основателя сего журнала, Вы поддерживали его существование до сих пор». Авторы письма ни секунды не сомневаются в личном и литературном бескорыстии Петра Александровича (который, как, может быть, им ведомо, ежегодно употребляет собственные пять тысяч для возмещения типографских расходов).

[1] Пушкин и его современники. Вып. VI. СПб., 1908. С. 21–22.

Однако известившись из газет о намерении издателя передать журнал в чужие руки, опекуны имеют честь «покорнейше просить Вашего согласия о возвращении снова права на издание сего журнала наследникам Александра Сергеевича, что вполне согласно с законами по сему предмету существующими».

Несмотря на мягкий и даже дружественный тон, в письме содержится намёк на юридическую бесспорность заявленной просьбы. Авторы письма присовокупляют, что они не требуют у Плетнёва никакого отчёта за его прежнюю издательскую деятельность. И только последние события побуждают Опеку озаботиться возвращением «Современника», каковое требование Опека осмеливается объявить «по прямой своей обязанности сохранять выгоды малолетних»[1].

Ответ Плетнёва (суть его будет изложена ниже), очевидно, не удовлетворил соавторов, следствием чего и было помянутое обращение П.П. Ланского от 15 октября в Главное управление цензуры.

П.П. Ланской получил официальный ответ на свой туманный запрос только 17 декабря: правительственные лица не любили компрометировать себя излишней поспешностью. И, очевидно, предвидя подобный ход событий, в дело вступает *дама*.

22 октября, ровно через неделю после зондирующего демарша Опеки, Наталья Николаевна Пушкина-Ланская относится к председателю Петербургского цензурного комитета, своему «полуоднофамильцу» М.И. Мусину-Пушкину. Письмо не по-женски кратко и дельно.

«Простите мне, Милостивый Государь, — пишет Наталья Николаевна, — что я беру на себя смелость обратиться к Вам по делу, в котором затронуты интересы моих детей. Речь идёт о "Современнике", журнале, который был основан моим покойным мужем Пушкиным. После его смерти, друзья его, князья Вяземский и Одоевский, гг. Жуковский и Плетнёв в течение года издавали его в пользу моих детей; позже опека по небрежности не закрепила за собой право собственности, и г. Плетнёв получил позволение издавать его, а ныне продал обществу литераторов. Я бы желала, Милостивый Государь, узнать Ваше мнение о споре, который теперь возник между опекой, требующей восстановления прав, которые она считала принадлежащими моим детям, и г. Плетнёвым, отстаивающим свои права».

Наталья Николаевна сдержанна в выражениях. Упомянув о «небрежности» Опеки, она деликатно намекает на возможность её исправления. Она ничего не требует, а лишь интересуется мнением

[1] В кн.: Переписка Я.К. Грота с П.А. Плетнёвым. 2. С. 957.

цензурного начальства относительно шагов, предпринятых одним из друзей её покойного мужа без согласия и совета с другими. При этом, правда, даётся понять, что образ действий Плетнёва сомнителен.

«Мой муж Ланской, — продолжает просительница, — который теперь назначен опекуном, считая себя обязанным охранять интересы детей, намерен употребить все законные средства, чтобы вновь вступить во владение этим журналом, я же со своей стороны умоляю Вас обратить на это дело Ваше любезное внимание и помочь нам Вашими советами, если Вы найдёте, что наше требование справедливо и может быть удовлетворено по примеру многих других журналов, которые были оставлены за семьями их основателей»[1].

_Интересно, извещены ли Некрасов и Панаев о требованиях Опеки? Волнует ли их судьба пушкинских детей? С другой стороны, сильно обрадовались бы русские читатели, обнаружив однажды во главе «Современника» генерала Ланского?

С.М. Бонди полагал, что мотивом действий Опеки были «не столько материальные соображения, сколько нежелание, чтобы журнал, основанный Пушкиным, попал в руки кружка Белинского с его определённым направлением»[2]. Смеем, однако, думать, что это волновало Опеку меньше всего.

В 1845 г., выйдя замуж за Ланского, Наталья Николаевна пишет брату, что должность её мужа, командира полка, хотя и позволяет им жить «в великолепной квартире», однако это казённое жилище необходимо ещё прилично обставить — уже на собственный счёт. Кроме того, одно только жалованье прислуге составляет 6000 рублей! «И это вынужденное положение непрочно, — добавляет новоиспечённая генеральша, — оно зависит целиком от удовольствия или неудовольствия его величества, который в последнем случае может не сегодня, так завтра всего его (т. е. мужа. — *И.В.*) лишить»[3]. Наталья Николаевна усердно просит брата не оставлять её своей братской помощью, ибо весь её капитал составляет 30 000 рублей и находится в распоряжении одного из членов Опеки — графа С.Г. Строганова. (Известно, что деньги эти — остаток тех пятидесяти тысяч, которые были выручены от продажи посмертного издания сочинений поэта и положены в банк — до совершеннолетия малолетних наследников. Текущие расходы (болезни детей, их воспитание и т. д.) значительно уменьшили сумму.)

[1] Литературный музеум. I. Пб., 1921. С. 332–333.
[2] Там же. С. 332.
[3] В кн.: *Ободовская И.М., Дементьев М.А.* После смерти Пушкина. Неизданные письма. М., 1980. С. 142.

У Натальи Николаевны были основания вспомнить о «Современнике».

Имя просительницы, очевидно, возымело действие: просьба была незамедлительно доложена С.С. Уварову. В тот же день, 23 октября, министр народного просвещения (не питавший при жизни поэта особых к нему симпатий) приказал «привести это обстоятельство в ясность».

На следующий день (быстрота феноменальная!) Мусин-Пушкин составляет для министра памятную записку, где кратко излагает историю вопроса. Из этого документа следует, что в 1836 г. Пушкин просил разрешения издать «4 тома статей» (маленькая хитрость: ведая о тревогах царя, проситель тщательно избегал слова «журнал») и что «Государь Император изъявил на то согласие». Издатель формально не высказывал просьб о продлении ему издательских прав на 1837 г., «почему Опека после смерти Пушкина... не могла считать "*Современник*", уже не существовавший с января 1837 года, как бы наследственной собственностью детей Пушкина».

Суждение не вполне вразумительное. Выходит, что указанная собственность после 1 января 1837 года как бы бесследно испарилась. С другой стороны, давалось понять, что беспечный издатель — в предчувствии собственной кончины — должен был бы больше пещись об интересах своей семьи.

Пушкин действительно допустил юридическую оплошность (впрочем, вынужденную): «Современник», будучи, конечно, журналом, официально не именовался таковым. В глазах начальства он оставался «периодическим сочинением» (как затейливо поименовал его основатель при обращении в инстанции), а отнюдь не обычным повременным изданием. Издатель получил разрешение только на один год: оно требовало возобновлений.

Наталья Николаевна могла не знать (или не помнить) всех этих тонкостей.

Мусин-Пушкин сообщает министру, что государь позволил продолжить издание «литературного журнала "Современник"» (наконец-то журнал откровенно назван журналом!) и на 1837 год: этим должны были озаботиться действительный статский советник Жуковский, князь Вяземский, князь Одоевский и профессор Плетнёв.

Составляя свою справку, Мусин-Пушкин опирался не только на служебные материалы. У него на столе лежала записка, тремя днями раньше представленная П.А. Плетнёвым. В ней Плетнёв излагает те же самые аргументы, которые он привёл в своём ответе Виельгорскому и Ланскому на их письмо от 10 октября.

«...По истечении 1837 года, — пишет Плетнёв, — “Современник” не существовал ни как журнал, ни как сборник. Никто о нём не думал. Для продолжения его не было ни разрешения Государя Императора, ни редактора».

Последнее оказалось поправимо, а это, сколь ни удивительно, вызвало к жизни первое. Плетнёв предвкушает эффект:

«Тогда Е<я> И<мператорское> В<ысочество> Великая Княжна Мария Николаевна изволила ходатайствовать у Государя Императора, *чтобы Высочайше разрешено было обратить издание “Современника” в постоянный журнал, предоставив его редактору в собственность.* Ея Высочеству угодно было представить в редакторы — *Профессора Плетнёва*, от которого Великая Княжна благоволила принять предварительное согласие. (Плетнёв согласен, осталось уговорить Рокфеллера! — *И.В.*) Г. Министр Народного Просвещения, 19 ноября 1837 года № 377 дал знать предложением своим Председателю Здешнего Цензурного Комитета[1], что Е<го> И<мператорское> В<еличество>, на основании заключения Главного Управления Цензуры в 14 день ноября 1837 года Высочайше соизволил предоставить право редактора “Современника” Плетнёву»[2].

Мог ли Плетнёв не принять царский подарок? Правда, возникает и другой вопрос: почему бы не осчастливить осиротевшее семейство, закрепив за ним журнал в собственность, а Плетнёву предоставив *аренду*! Близкий друг покойного поэта мог бы шепнуть подобную мысль начальству...

Но главная загадка не в этом. Почему именно на него, Плетнёва, излилась августейшая милость и государь Николай Павлович, как знаем, не очень-то жалующий журналистов, согласился продлить жизнь изданию, без особой охоты разрешённому и обречённому умереть со смертью владельца?

И потом: что за особые симпатии у великой княжны Марии Николаевны к господину профессору Плетнёву? Кстати, сколько ей лет? По каким причинам 18-летняя девица (признаемся, что в 1837 году Марии Николаевне именно столько) интересуется подобным вздором и вяжется в явно неженское дело?

Мир мало изменился: и в XIX веке всё решали личные связи. Протекция (или, если угодно, блат) — явление вневременное.

Профессор Плетнёв преподавал некогда русский язык и словесность наследнику цесаревичу (родному брату Марии Николаевны,

[1] Предшественнику Мусина-Пушкина князю М.А. Дондукову-Корсакову («князю Дундуку» пушкинской эпиграммы).

[2] Литературный музеум. I. С. 11.

будущему Александру II), а также, как сказано в одном источнике, «и др. особам царского дома». Мы готовы биться об заклад, что среди этих «и др.» находилась великая княжна. Может ли ученица отказать учителю? И в свою очередь, способен ли отец огорчить любимую дочь?

Разумеется, все эти в высшей степени деликатные обстоятельства не нашли отражения в официальных бумагах. Но лёгкость, с какой Петру Александровичу Плетнёву удалось избавиться от журнала, может быть сравнима только с простотой обретения оного. Хотя журнал предстояло передать в руки тех, кто, судя по всему, не вызывал особого восторга у лиц цензурного ведомства, эта передача прошла без видимых затруднений. И если даже в 1846 году Мария Николаевна не вмешивалась в это дело, потенциальное покровительство одного из членов царской семьи (к тому времени — супруги герцога Лейхтенбергского) могло сильно действовать в пользу издателя «Современника».

Пушкин любил Плетнёва. Тот был добрым другом, верным советчиком и вообще *славным малым*. После смерти поэта он, как мог, тянул «Современник», который, как сказано, не приносил ему особых радостей. («У тебя нет качества журналиста...» — жёстко выговаривал издателю Гоголь.) Передача «Современника» в чужие руки сроком на десять лет сулила фиксированную десятилетнюю ренту, а по истечении этого срока можно было сдать журнал в аренду *вторично* — за ещё большую сумму, которую Плетнёв не без удовольствия уже высчитывал. Будучи сам человеком небогатым, он искренне полагал, что дети первого поэта России вовсе не нуждаются в его материальной поддержке. Его записка в цензурный комитет основана на юридических фактах: автор не намерен входить в обсуждение моральных проблем.

Мусин-Пушкин остался вполне удовлетворённым объяснением одной из сторон и поспешил доложить С.С. Уварову, что «наследники А.С. Пушкина никакого права на журнал “Современник” не имеют и что он составляет теперь неоспоримую собственность г. Профессора Плетнёва»[1].

В тот же день, 24 октября, председатель Петербургского цензурного комитета отвечает и «госпоже Ланской, прежде Пушкиной, урождённой Гончаровой» на её позавчерашнее письмо, которое Мусин-Пушкин проницательно именует «запиской». Изложив уже известные нам факты, он заключает: «Из этого Вы легко убедитесь,

[1] Пушкин и его современники. VI. С. 22.

Милостивая Государыня, что права г. Плетнёва на этот журнал неизменно остаются его собственностью, хотя в настоящее время он и уступил на неопределённый срок редактирование и издание его Профессору Никитенко».

Засим автор письма выражает чувства «глубокого почтения и особенного уважения» адресатке[1].

Надо полагать, эта любезная формула не содержит намёков на те пикантные обстоятельства, в которых завистливая молва пламенно тщится уличить подругу поэта. Во всяком случае, близость к царскому дому профессора Плетнёва гораздо легче доказуема, нежели аналогичные подозрения в адрес прекрасной вдовы. Поэтому поспешим согласиться, что неслыханная быстрота официального ответа связана лишь с галантностью должностных лиц.

Как мы уже говорили, откликнулось и Главное управление по делам печати — не в пример Мусину-Пушкину месяца через два. Оно глубокомысленно объявило Опеке, что «право на издание журнала или газеты даётся только издателю и не составляет литературной собственности неотъемлемой и переходящей наследственно»[2].

Таким образом, вдова и дети Пушкина не могли претендовать ни на что — что, очевидно, и вызвало весёлость Сергея Семёновича Уварова, который, по свидетельству Плетнёва, осведомившись об их претензиях, «много смеялся над этими штуками».

Знал ли обо всех этих закулисных движениях Достоевский? Сочувствовал ли он покупщикам «Современника», своим азартным друзьям, или же «слезинка ребёнка» (предположительно проливаемая конкретными — пушкинскими! — детьми) жгла его сердце? Поскольку «господа в “Современнике” всё таятся», остаётся думать, что вряд ли он был посвящён в деликатную сторону вопроса.

23 октября, в тот день, когда решается спор между робкой Опекой и тем, кто по праву дружбы сам должен был бы заботиться о благе её подопечных, Панаев и Плетнёв подписывают договор об аренде.

Высокие договаривающиеся стороны соглашаются в том, что в течение десяти лет бывший издатель «Современника» не будет ни под каким видом вмешиваться в редакционные дела. За ним закреплялась

[1] Литературный музеум. I. С. 333.

[2] Пушкин и его современники. VI. С. 24–25. Это не совсем верно. В ответе Главного управления — может быть, намеренно — смешаны два вопроса: право на издание и право собственности. Право на издание действительно давалось персонально. Что же касается самого журнала, то он, как всякая собственность, наследовался. Так, А.А. Краевский купил в 1839 году «Отечественные записки» у *наследников* П.П. Свиньина.

лишь ежегодная рента — упомянутые 3000 рублей. В редакторы приглашался цензор Никитенко: это был точный дипломатический ход.

Никитенко в «Современнике»... «...Как бы похохотал Пушкин своим добрым, заливным смехом над пустозвонными фразами Вашего будущего наместника», — пишет из Москвы Плетнёву поражённый внезапной новостью С.П. Шевырёв.

Пушкин, как ведомо, вёл дневник — но, в отличие от Толстого, эпизодически и недолго. Многое, впрочем, до нас не дошло. Первую фразу толстовского дневника мы приводили. Последняя фраза пушкинского такова: «Никитенко глупее Бирукова»[1] (февраль 1835 года). А в следующем, 1836-м, Пушкин вопрошает Плетнёва: «Неужели залягает меня ослёнок Никитенко и забодает бык Дундук?»[2]

Позже, в 1850 году, Тургенев удостоит Никитенко следующей эпиграммы:

Исполненный ненужных слов
И мыслей, ставших общим местом,
Он красноречья пресным тестом
Всю землю вымазать готов.

Достоевскому тоже доводилось иметь с ним дело.

...Когда в 1844 году брат Михаил Михайлович перевёл шиллеровских «Разбойников», Достоевский снёс рукопись в цензуру. «...Никитенко, — сообщает он в Ревель, — не может и не хочет взять ответственность, не перечеркнув целой трети». Пройдёт год — и гонитель «Разбойников» станет первым цензором «Бедных людей».

Роман посылается Некрасовым «милостивому государю Александру Васильевичу» 7 июня 1845 года — в тот самый день, когда, как помним, автор и издатель одновременно покинули Петербург. Миновало лето, давно наступила осень, а о судьбе «Бедных людей» — ни слуху ни духу. «Такой невинный роман таскают, таскают, и я не знаю, чем они кончат, — жалуется Достоевский брату 8 октября — через *четыре* месяца после отсылки текста. — Ну как запретят? Исчеркают

[1] *Пушкин А.С.* Полн. собр. соч. Т. VIII. С. 64. *Бируков* — один из самых бездарных цензоров александровского времени.

Эта запись, будучи заключительной, таинственным образом перекликается с *последними* словами умирающего Василия Львовича Пушкина, которые его знаменитый племянник приводит в письме к Плетнёву (9 сентября 1830 года): «*...Как скучны статьи Катенина*». «Пушкин говорит, — добавляет князь Вяземский, — что он при этих словах вышел из комнаты, чтобы дать дяде умереть исторически» (*Вяземский П.А.* Полн. собр. соч. Т. IX. СПб., 1884. С. 139).

[2] Там же. Т X. С. 552.

сверху донизу?» Поклонник Шиллера, он предполагает *романтический* вариант. Ему невдомёк, что в данном случае задержка проистекла не столько по причине всем известной осторожности Александра Васильевича, сколько из-за его непреодолимой лени, против которой изобретал хитрые противоядия Гоголь и которую, вопия и стеная, с трудом пробивал даже такой выжига, как Булгарин.

Но странное дело. Ленивый Никитенко, с завидной обстоятельностью и усердием заполнявший свой бесконечный дневник (в коем помянуто великое множество событий и лиц), ни разу — ни разу! — не называет имени Достоевского. Как будто не он, Никитенко, был цензором «Бедных людей», свидетелем их успеха и даже — журнальным их рецензентом. Как будто история с Петрашевским разразилась не в Петербурге, а, скажем, на Луне...

Оставим эту загадку до лучших времён.

Никитенко и Некрасов: в одну телегу можно, оказывается, впрячь кого угодно.

Но кто же в этой упряжке коренник?

Согласно договору, в случае смерти или в силу других причин, по которым Никитенко должен был бы оставить редакторство, выбор нового редактора зависел исключительно от господина Панаева. Более того: тот же Панаев без согласования с прежним владельцем мог передать права издания третьему лицу, которое хотя и не обозначено в договоре, но, как можно предположить, ждёт своего часа.

За каждым шагом Панаева, чьи деньги составили основной издательский капитал, ощутима чья-то могучая воля. При номинальном владельце (Плетнёве), номинальном редакторе (Никитенко) и едва ли не номинальном арендаторе (Панаеве) один человек держит в своих руках все главные нити.

Николай Алексеевич Некрасов, кажется, так и родился профессионалом.

1846-й — это тоже его год, его звёздный час.

Восемь лет назад, явившись из своего ярославского угла в Петербург, он так и не смог ни поступить в университет, ни устроиться в департамент. «Мечты и звуки» тоже, как помним, не принесли ему славы. Случалось, он голодал.

Питаясь чуть не жестию,
Я часто ощущал

Такую индижестию,
Что умереть желал.

Он жил литературной подёнщиной, сочинял всё, что придётся, не брезгуя даже зазывными афишами для «Кабинета восковых фигур». «У меня, — говорит современник, — даже осталось в памяти несколько стихов из этой афиши: “Иван Иваныч Штейнигерс с сажённой бородой. Он был в немецком городе когда-то головой! Вот и Вильгельм Васильевич Тель, парень удалой. Он храбро дрался с немцами за город свой родной!”»[1].

Это, конечно, не «Размышления у парадного подъезда», но тоже — не без души.

А.С. Суворин передаёт слова Некрасова о своей молодости. Что-то очень знакомое слышится в этих речах.

«Я дал себе слово не умереть на чердаке. Нет, думал я, будет и тех, которые погибли прежде меня, — я пробьюсь во что бы то ни стало. Лучше по Владимирке пойти, чем околевать беспомощным, забитым и забытым всеми. И днём и ночью эта мысль меня преследовала, от нервного волнения я подпрыгивал на своей кровати и голова горела, как в горячке»[2].

Да, разумеется: так вполне мог бы рассуждать Родион Романович Раскольников.

Я за то глубоко презираю себя,
Что живу — день за днём бесполезно губя...
. . . . . .
Что, доживши кой-как до тридцатой весны[3],
Не скопил я себе хоть богатой казны,
Чтоб глупцы у моих пресмыкалися ног,
Да и умник подчас позавидовать мог!
. . . . . .
И что злоба во мне и сильна и дика,
А хватаюсь за нож — замирает рука!

Эти стихи написаны тогда же — в 1845 году.

«Миллион — вот демон Некрасова!» — саркастически заметит Достоевский в 1878 году в посвящённой поэту некрологии: он как бы

---

[1] Ист. вестник. 1891. № 2. С. 585–586.

[2] Незнакомец <А. С. Суворин>. Недельные очерки и картинки // Новое время. 1878. № 662.

[3] Строка, остерегающая нас от слишком прямого отождествления автора с лирическим героем. До «тридцатой весны» Некрасову ещё целых шесть лет.

«цитирует» общую молву. Но у автора «Дневника писателя» имеются собственные соображения на этот счёт.

«Это был демон гордости, жажды самообеспечения, потребности оградиться от людей твёрдой стеной и независимо, спокойно смотреть на их злость, на их угрозы... Я думаю, что я не ошибаюсь, я припоминаю кое-что из самого первого моего знакомства с ним».

Он действительно не ошибается. Он не завидует поэту и не укоряет его. Он понимает, что у Некрасова — своя судьба.

«Петербургский сборник» свёл их вместе. «Современник» их развёл. Некрасов уже никогда не покинет журнального поприща. До конца своих дней будет стоять он во главе двух знаменитых изданий, в которых, собственно, воплотятся наши исторические порывы и недоумения.

Век Пушкина кончился, по сути, в 1846-м. Начинался век иной.

Из блистательного созвездия 1820-х годов не осталось практически никого. Вяземский и Жуковский мнились фигурами почти восковыми: они были не в счёт. Новое поколение «молодых» — Достоевский, Некрасов, Григорович, Герцен, Тургенев, Гончаров — все эти многообещающие таланты в большей или меньшей степени тяготеют к Белинскому. Как сказано, *других* людей в России не было.

В 1846 году появились не только «Бедные люди». В этом году закончены «Деревня» и «Кто виноват?». В этом году начаты «Записки охотника». В этом году написаны стихи — «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»), «Родина», «Псовая охота».

В этом году удачливый альманашник впервые ощутил себя Поэтом.

Он добивается любви Авдотьи Панаевой. Он затевает «Современник».

Он расходится с Достоевским.

5 сентября Достоевский сообщает брату: «...к Новому году у нас может быть новый журнал». Самое замечательное здесь — это «у нас»: автор не сомневается, что он участвует в *общем* деле.

В широковещательных, рассылаемых едва ли не по всей России объявлениях о выходе нового издания наряду с прочими значится имя автора «Бедных людей». И действительно: в первом номере «Современника» за 1847 год появляется его «Роман в девяти письмах». Рассказ этот был написан им «в одну ночь» — ещё в ноябре 1845-го — и предназначался для так и не разрешённого «Зубоскала»: оплаченный Некрасовым, он оставался в его издательском портфеле. Это первая и единственная публикация Достоевского в новом журнале. Один из

самых, казалось бы, вероятных и желаемых авторов остаётся *вне* «Современника». Сдержанно-горделивое «у нас» обращается со временем в неприязненное «у них».

Как это могло случиться?

У обновлённого «Современника» была цель: сокрушить своего потенциального двойника-конкурента — «Отечественные записки». Белинский полагал, что с его уходом все друзья его в обеих столицах немедленно оставят Краевского и примкнут к новому литературному делу. Он верил, что у журнала не будет соперников, а если они пока и есть, то часы их уже сочтены. «Человек экстремы», он хочет поставить друзей перед выбором: или — или.

Ни Некрасов, ни Белинский, естественно, не сомневаются в том, что их питомец и единомышленник будет с ними заодно.

Оба они ошиблись.

26 ноября 1846 года, извещая брата, что он «имел неприятность окончательно поссориться с «Современником» в лице Некрасова», Достоевский прямо называет причину. Кстати, совсем не ту, на которой настаивает А.Я. Панаева, описавшая, как помним, ссору между двумя приятелями (если, вопреки безбожно путающей даты мемуаристке, отнести это происшествие к осени 1846-го). Про некрасовскую эпиграмму, якобы вызвавшую конфликт, в письме Достоевского не сказано вовсе. Хотя в словах «это всё подлецы и завистники» можно уловить отголосок некой литературной обиды. (Кроме того, «подлецы и завистники» как бы находится в метафизической связи с той мужественной самоаттестацией, которой в «Послании» по воле авторов удостаивает себя Белинский: «поступлю я как подлец».) Согласно Достоевскому, главная причина его ссоры с Некрасовым — требование последнего «публично объявить», что автор «Двойника» не принадлежит более к «Отечественным запискам».

Что значит «публично объявить»?

Днём раньше, 25 ноября, в «Северной пчеле» было опубликовано заявление, в котором говорилось об *исключительном* участии ряда писателей (Некрасова, Панаева, Белинского, Искандера (т. е. Герцена), Кронеберга и других) в обновлённом «Современнике». Не потребовал ли Некрасов от Достоевского примкнуть к сей коллективной акции?

Достоевский отказывается это сделать.

Он отказывается отнюдь не по соображениям идейного или эстетического порядка и не по какой-то особой любви к журналу Краев-

ского. Просто он уже намертво связан с ним самыми крепкими узами. И «виноват» в этом не кто иной, как один из нынешних руководителей «Современника».

Осенью 1845 года, когда автор ещё трудится над «Двойником», Белинский «сватает» повесть в «Отечественные записки». Разумеется, такой рекомендации было достаточно. Огорчённый тем, что он проморгал «Бедных людей», Краевский с профессиональной ловкостью вцепляется в хвост восходящей звезды.

«На днях Краевский, услышав, что я без денег, упросил меня покорнейше взять у него 500 руб. взаймы», — с небрежной гордостью сообщает одолжённый (ещё бы: издатель «упросил» автора!). Имя названо и немедленно сопряжено с *суммой*: последняя может меняться, но сама эта связь останется неизменной.

Андрей Александрович знает своё дело. Он верит в искусительную силу аванса. Он убеждён, что вскоре «покорнейше» просить будет не он, а у него[1] («Бедность мешает сосредоточиться...» — со свойственной ему тягой к афористичности замечает Ч.Б.: тут, как говорится, с ним не поспоришь).

В отличие от издателя «Отечественных записок» Некрасов пока только учится редакторскому ремеслу. Раздосадованный тем, что Достоевский ничего не приготовил для «Современника», он «неосторожно» требует выданные вперёд деньги. Такая оплошность не остаётся безнаказанной. Краевский немедленно берёт на себя долговые обязательства своего автора, гася тем самым и аванс, выданный когда-то Некрасовым. Это был мудрый шаг: «Отечественные записки» приобретают отныне деятельного сотрудника.

Но и Достоевский пытается использовать ситуацию. В конце 1846 года — перед самым появлением преображённого «Современника» — Краевского охватывает нечто похожее на панику. Знавший Пушкина, водивший приятельство с Лермонтовым, допущенный в хороший литературный круг, вращаясь в котором он мог пользоваться трудами едва ли не всех сотоварищей Белинского, он страшится ныне, что все *имена* окажутся в некрасовском журнале. Тем больше он дорожит автором «Бедных людей». Отсюда следует: «Я плачу все долги мои, посредством Краевского».

Правда, радоваться особенно нечему, ибо давно уже понято, что это «есть система моего рабства и зависимости литературной». Ухо-

[1] За «Двойника» автор предполагал получить от Краевского полторы тысячи рублей ассигнациями. Он взял больше — 600 рублей серебром (2100 ассигнациями), поскольку повесть разрослась. Из этой суммы пятьсот автор уже должен издателю, следовательно, надо вновь прибегать к его кредиту.

дя на каторгу, он останется должен своему благородному антрепренёру 650 рублей.

Но каков моральный кредит самих «Отечественных записок»?

Белинский, в статьях которого действительно заключалась главная соль, полагал, что без него у Краевского всё пойдет прахом. Возможно ли было так обольщаться! Всеядный российский читатель восхищался не только рискованными эскападами критической мысли. С варварской ненасытностью он поглощал *всё*. Тем более что журнал Краевского был *культурнее* правительства: в русских условиях это уже есть оппозиция.

«Кто из моих сверстников не помнит “Отечественных Записок” того времени? — элегически вздохнёт через полвека один безвестный читатель. — В настоящее время уже каждый школьник знает, чьи произведения печатались там и какое значение имели они». Журнал читался от корки до корки: своего рода либеральный университет на дому. Действие его не проходило бесследно.

«Во мне, — продолжает тот же воспоминатель, — родилось рано как будто какое-то угрызение совести: я чувствовал словно неловкость в отношении к людям вообще, и эта неловкость лишала меня охоты к жизни и какой бы то ни было энергии»[1].

Вот оно, то робкое умонастроение («недовольство существующим строем»), на которое, помнится, с ликованием указывали наши школьные учителя, дабы оправдать законные неистовства всех позднейших времён.

Нет, у Достоевского не было серьёзных причин порывать с Краевским. Чего ради? Чем Некрасов с Панаевым лучше их конкурента? Достоевскому важно, что у него есть *свой* журнал. И хотя он не испытывает особых симпатий к расчётливому патрону, с 1846 по 1849 год в «Отечественных записках» появятся десять его сочинений — практически почти всё, что он напишет после «Бедных людей».

У него не устанавливается с его издателем ни идейной, ни личной близости. Как и Карепин, Краевский — «человек деловой». Он сух, требователен, корректен. У него как редактора есть одно неоценимое преимущество — он никогда не вмешивается в авторский текст. Краевский надёжен: всё, что ни приносит ему автор «Двойника», немедленно идёт в набор.

Правда, и просьбы автора к Андрею Александровичу Краевскому начинают напоминать его же исполненные жёлчи послания к Петру Андреевичу Карепину.

[1] Рус.старина. 1895. № 7. С. 114–115.

Белинский, оговорившись, что Краевский, «может быть, очень хороший человек», честит последнего во все корки: он для него вампир и приобретатель. Большинство современников как будто с этим согласны. Но, скажем, Григорович замечает, что мало кто из литераторов уходил от Андрея Александровича неудовлетворённым.

Краевский имел совесть. В 1841 году он писал М.Н. Каткову: «Белинский работает по-прежнему, плохо ему, бедному, приходится от моего безденежья: глаза у меня на него не смотрят»[1].

«Безденежье» давно кончилось; число подписчиков возросло. Однако, получая сто тысяч годового дохода (ассигнациями), издатель не считает возможным платить ведущему критику более шести тысяч рублей.

В «Современнике» Белинскому положат восемь тысяч (ассигнациями, разумеется) — при том, что объём его обязанностей сильно уменьшится и участие его в некрасовском журнале будет, как он сам говорил, «больше нравственное».

В отличие от Белинского, получавшего от журнальных издателей постоянную плату, Достоевский мог рассчитывать только на авторский гонорар. Редактор «Отечественных записок» авансирует его малыми дозами — чтобы держать на коротком поводке. Белинский был всё-таки прав, говоря о «счастии Краевского находить сотрудников в затруднительных обстоятельствах».

Когда Белинский умрёт, оба конкурирующих журнала не удержатся от того, чтобы скрестить копья над ещё свежей могилой. И хотя приличия будут соблюдены и имена врагов не названы, строки редакционных некрологов напоены скрытым ядом.

«Современник» с прискорбием укажет на беспрерывную осьмнадцатилетнюю деятельность покойного и «невозможность прекратить» оную, несмотря на прогрессирующий «упадок сил». Тем самым давалось понять, кто есть истинный виновник его ранней кончины. Ибо «при условиях более благоприятных» (то есть тех, какие Белинский, наконец, обрёл в «Современнике») болезнь «не обнаружила бы столь решительного и быстрого влияния».

Увлечённый разоблачением конкурента, «Современник» забыл упомянуть о заслугах самого покойного автора — в редакционной заметке он назван всего лишь «известным литератором»[2].

[1] Лит. наследство. М., 1950. Т. 56. С. 154.

[2] Современник. 1848. № 6. Отд. IV. С. 173.

Получив «Современник», Герцен напишет из Парижа своим московским друзьям: «И что за свиньи редакторы! Как глупо, пошло известили они о смерти Белинского. Я полагаю, сблизиться с «От<ечественным> зап<исками>» благопристойнее...»

Действительно, Краевский взял более достойный тон. «Отечественные записки» замечали, что болезнь Белинского, «сильно развившаяся в последние годы» (читай: в последние два года — во время сотрудничества в «Современнике»!), лишала его возможности трудиться в полную силу. Далее со сдержанным благородством добавлялось, что «никакие журнальные отношения последнего времени» не помешают сказать доброе слово в адрес покойного[1].

Но всё это произойдёт в 1848-м. Пока же Белинский ещё жив и со всё возрастающим подозрением следит за деятельностью «нового Гоголя».

После появления в октябрьской (1846) книжке «Отечественных записок» «Господина Прохарчина» его автор замолкает ровно на год. Подписчики пребывают в недоумении, поскольку публично, в журнальном анонсе, была обещана на 1847 год «Неточка Незванова». Им придется ждать «большого романа» добрых два года.

Достоевский, как тень отца Гамлета, возникает в прихожей Краевского, но, так и не отдав рукописи, как призрак же, исчезает. Что за мимолётное виденье? То ли не хватило у автора духу предстать пред грозными редакторскими очами? Или, может, он так *шутит*, исполняя условия договора — *явиться* к издателю к такому-то числу? Белинский, живописуя в частном письме это мистическое происшествие (сведения, дошедшие из вражеского стана!), не без основания сравнивает его со сценой из «Двойника».

Между тем время идёт — и Достоевскому так или иначе надо «отписывать» листаж — за деньги, взятые вперёд. (Он так и выражается в сношениях с Краевским — *отписал* на столько-то рублей.) В октябрьском номере появляется, наконец, «Хозяйка» — единственное его произведение, напечатанное в журнале Краевского за весь 1847 год.

Позже сочинитель обвинит в неуспехе этой «дурной вещи» издателя: это-де он подгонял автора, заставляя его спешить, насиловать себя и портить повесть. Но как тогда быть с «родником вдохновения», бьющим прямо из души повествователя и водящим его пером: именно в таких выражениях сообщается брату о работе над повестью.

Издатель «Отечественных записок» уважал экономические методы. Давая деньги вперёд, он не требовал немедленных возмещений.

[1] Отечественные записки. 1848. № 6. Отд. VIII. С. 157–158.

Разумеется, он торопил Достоевского. Его, «человека делового», заботили тираж, подписка, репутация издания. Он не обязан был брать в расчёт творческие муки.

При этом следует помнить, что сроки (с точностью до дня) назначались, как правило, самим самонадеянным автором.

Скажем больше. Никто из будущих менеджеров Достоевского не обладал таким капитальным терпением, как Андрей Александрович. Много позже, в начале 60-х годов, автор «Записок из Мёртвого дома» возьмёт у редактора «Библиотеки для чтения» Петра Дмитриевича Боборыкина аванс в 300 рублей и *честным словом* («в котором ещё никто не имел основания сомневаться») заверит его в том, что представит к намеченному сроку свой новый рассказ. Рассказ представлен не будет — и негодующий Пётр Дмитриевич, как бы повторяя давнюю ошибку Некрасова, потребует деньги обратно: он потеряет при этом потенциального автора. Мыслимо ли представить в подобной роли Краевского?

«Он груб — русский человек — мошну развязывает с кряхтеньем (когда мало денег) — вот и всё, но в честности его нельзя сомневаться»[1], — скажет о своём патроне Белинский в первые годы их делового союза.

Достоевский не хочет, чтобы *его* честность была поставлена под сомнение. Он остаётся в «Отечественных записках».

Итак, Достоевский остаётся в «Отечественных записках» — журнале, с которым он связан словом и долгом: чтобы отказаться от первого, нужно вернуть второе. В объявлениях «Современника» о подписке на 1848 год имя его не значится.

С точки зрения новой редакции, этот демонстративный *непереход* выглядел моральной изменой. С точки зрения Достоевского, такой изменой было поведение его бывших друзей.

Журнал Некрасова соединял вокруг себя литераторов разного калибра. Но конфликты, случавшиеся внутри этого круга, не приводили к его распаду. С Достоевским всё обстояло иначе. И дело даже не в том, что он упорно работал на конкурента.

Большинство приятелей Белинского, несмотря на его упрёки и брань, продолжают сотрудничать у Краевского (тому даже удаётся увеличить подписку). Однако они не подвергаются за это отлучению и позору. Ибо, во-первых, они не работают *исключительно* на Краевского. Во-вторых, далеко не все они были «открыты» Белинским и удостоены его родительского благословения. А в-третьих — и это,

[1] *Белинский В.Г.* Полн. собр. соч. Т. XII. С. 84.

пожалуй, главное, — никто из них не ведёт себя столь независимо и — уединённо.

Кто-то заметил, что молодость — это болезнь.

«Я был... болен болезнью странною нравственною», — скажет он спустя десятилетие, никак не пояснив своих слов и заставляя нас теряться в догадках. Был ли вызван этот странный недуг одиночеством, вечным недовольством собой, стремлением к иной, не дающейся в руки жизни?

Он падает в обморок — так, как это будет происходить со многими его героями. Но с ним самим подобного более не случится. Не лёгкие обмороки на балу, а свирепые приступы «священной болезни» будут сопровождать его в пути.

«И чуть-чуть скоропостижно не погиб во цвете лет», — от души веселятся авторы «Послания Белинского к Достоевскому», не ведая, что эта их насмешка — самая первая (причем художественная!) фиксация будущего заболевания.

Они не подозревают также о том, что нечто подобное описанному ими происшествию повторится с героем при совсем других обстоятельствах.

Конец прекрасной эпохи

...Один из самых сильных припадков поражает Достоевского, когда он узнаёт о смерти номинального автора «Послания» (Белинский умрёт 26 мая 1848 года — в день рождения Пушкина и за четыре дня до собственного 37-летия). Проведай об этом факте (то есть о припадке) иной расторопный фрейдист, он не преминул бы связать его с теми тайными помыслами, которые якобы питал Достоевский относительно собственного родителя и расплатой за каковые явилась болезнь. Белинский тоже «отец» (хотя бы и крёстный): заманчиво бросить отсюда луч в мрачные глубины подсознания, высветив наконец двусмысленную, если не криминальную, природу гения.

Присутствовал ли Достоевский на похоронах?

Вопрос, которым никто не задавался.

Единственное дошедшее до нас описание этого события принадлежит И.И. Панаеву (в его статье 1861 года «По поводу похорон Н.А. Добролюбова»: автор вспоминает по аналогии).

Похороны Белинского состоялись 28 мая[1]. «...По Лиговке к Волкову кладбищу тянулась бедная и печальная процессия, не обращая на себя особенного внимания встречных. За гробом шло человек двадцать приятелей умершего, а за ними, как это обыкновенно водится на всякого рода похоронах, тащились две извозчичьи четвероместные колымаги, запряжённые клячами... Это были литературные похороны, не почтённые, впрочем, ни одной литературной или учёной знаменитостью. Даже ни одна редакция журнала (за исключением редакции “Отечественных записок” и только что возникшего “Современника”) не сочла необходимым отдать последний долг своему собрату...»

Кто же шёл за этим, почти *отверженным*, гробом? Разумеется, от «Современника» должны были быть Некрасов и сам воспоминатель, то есть Панаев. Но «Отечественные записки»? Почёл ли нужным Краевский проститься с бывшим своим работником — тем, кто пожертвовал здоровьем, а может, и жизнью, поднимая его журнал?

«Из числа двадцати, провожавших этот гроб, — говорит Панаев, — собственно литераторов было, может быть, не более пяти-шести человек».

Мы не знаем, был ли среди этих «пяти-шести» автор «Бедных людей». Последний год он не посещал Белинского. Их отношения прекратились. Но смерть — случай чрезвычайный.

...Однажды они с Григоровичем встретили похоронную процессию и, как свидетельствует Григорович, его спутнику сделалось дурно (удивительно, что никто из друзей не отразил в эпиграмме этот занимательный факт!). Ныне нервы могли не выдержать при виде живых. Да и в каком качестве явился бы он ко гробу?

Впрочем, следует обратить внимание на одну деталь.

Герой «Записок из подполья» со вкусом живописует своей случайной ночной подруге её грядущую участь. Он говорит о виденных им утром похоронах. Он предполагает, что в могиле, куда опустят гроб, вынесенный из «дурного дома», будет стоять вода.

«— Отчего в могиле вода? — спросила она с каким-то любопытством...

[1] И.И. Панаев ошибочно датирует похороны 29 мая. Как свидетельствует запись в «Приходо-расходной книге церкви Волкова кладбища», они состоялись, когда и положено, — на третий день, 28 мая.

— Как же, вода на дне, вершков на шесть. Тут ни одной могилы, на Волковом, сухой не выроешь.

— Отчего?

— Как отчего? Место водяное такое, здесь везде болото. Так в воду и кладут. Я видел сам... много раз...»

«Эти слова, — замечено в позднейших комментариях, — ... навеяны, по-видимому, поэмой Некрасова “О погоде”...»[1]

Что ж, в поэме Некрасова, действительно, можно найти схожую картину:

Наконец вот и свежая яма,
И уж в ней по колено вода!
В эту воду мы гроб опустили,
Жидкой грязью его завалили,
И конец!

Но схожая картина есть и у Панаева! «Когда покойника отпели, друзья снесли гроб его на своих плечах до могилы, которая уже до половины была наполнена водою, опустили гроб в воду, бросили в него, по обычаю, горсть земли и разошлись молча, не произнеся ни единого слова над этим дорогим для них гробом»[2].

Герой Некрасова, придя на похороны, ищет на кладбище чью-то старую затерянную могилу («где уснули великие силы»). Чуткому к намёкам и иносказаниям российскому читателю нетрудно было догадаться, что речь идёт о могиле Белинского.

Вообще-то мотив этот отчасти и литературный. 14 августа 1836-го Пушкин, как бы предчувствуя, что жить ему остаётся менее полугода, написал стихи, в которых возобновил (продлил?) давнее, небезразличное для него размышление («И хоть бесчувственному телу равно...» и т. д.):

Когда за городом, задумчив, я брожу
И на публичное кладбище захожу,
Решётки, столбики, нарядные гробницы,
Под коими гниют все мертвецы столицы,
В болоте кое-как стеснённые рядком,
Как гости жадные за нищенским столом,
. . . . . .
Могилы склизкие, которы также тут
Зеваючи жильцов к себе на утро ждут, —

[1] *Серман И.З.* Примечания // Достоевский Ф.М. Собр. соч. М., 1956. Т. 4, С. 600.

[2] Современник. 1861. № 11. Отд. II. С. 69–70.

Такие смутные мне мысли всё наводит,
Что злое на меня уныние находит.
Хоть плюнуть да бежать...

Пушкин говорит о некоем безымянном столичном некрополе. В «Записках из подполья» точно указано место: Волково кладбище. То есть то самое, на котором похоронен Белинский. «Я видел сам...» — настаивает рассказчик. (Правда, он тут же добавляет: «Ни одного разу я не видал, да и на Волковом никогда не был, а только слышал, как рассказывали», но эта *психологическая* подробность, естественно, относится не к автору, а к повествователю — «подпольному парадоксалисту».)

Мог видеть, а мог и слышать, как рассказывали другие — и не только Панаев[1].

«Записки из подполья» написаны через шестнадцать лет после смерти Белинского. Еще через девять лет (то есть спустя четверть века после похорон) в рассказе «Бобок» вновь возникает тот же мотив: «Заглянул в могилки — ужасно! вода, и какая вода! Совершенно зелёная и... ну да уж что! Поминутно могильщик выкачивал черпаком».

И в «Записках из подполья», и в «Бобке» одна и та же поразившая воображение картина: очень близкая той, какую нарисовал Панаев.

Конечно, все эти подробности могли быть сообщены Достоевскому очевидцами. Но в тексте они «оформлены» как личное впечатление.

Нам неизвестно ни о каких петербургских похоронах (в 40-е годы), в которых принимал бы участие автор «Бедных людей».

Куда он направился от Яновского в тот майский полдень — после того, как принёс роковую весть? Преследовал, терзал ли его вопрос — пойти или не пойти? Во всяком случае, и то и другое решение могло стать причиной нагрянувшего вскоре припадка.

В ночь, полагаем, с 28 на 29 мая 1848 года.

Смерть Белинского была для него потрясением: может быть, не меньшим, чем первое их знакомство. Пожалуй, никто более не играл в его жизни такой громадной и исключительной роли. Белинский

[1] В одном из писем к Достоевскому (1869 г.) Л.Н. Майков говорит, что первые литературные похороны, на которых он, Майков, присутствовал, — это похороны Белинского. (См.: Памятники культуры. Новые открытия. 1982. М., 1984. С. 77). Автор письма — ещё один потенциальный рассказчик.

навсегда останется «вечным спутником» своего — на тридцать три года пережившего его — современника.

Но отложился ли этот образ в художественной памяти романиста?

Однажды, рассматривая иллюстрации к «Идиоту», мы вдруг испытали странное чувство. Почудилось, что в облике князя Мышкина проступили чьи-то знакомые черты...

Трудно сказать, входила ли такая трактовка в творческие намерения иллюстратора — Ильи Глазунова или же перекличка возникла случайно — под влиянием, скажем, малоизвестного портрета Белинского работы художника Н. Аввакумова (1941). Как бы то ни было, персонажи Аввакумова и Глазунова разительно схожи[1]. Не будем вторгаться в зыбкую область бессознательного (которое у художников, как известно, еще бессознательнее, чем у простых смертных). Признаем лучше, что для сближения «тихого князя» Мышкина с «неистовым Виссарионом» имеются некоторые основания.

Вглядимся внимательнее.

«Я увидел, — говорит И.С. Тургенев о своей первой встрече с Белинским, — человека небольшого роста, сутуловатого, с неправильным, но замечательным и оригинальным лицом, с нависшими на лоб белокурыми волосами и с тем судорожным и беспокойным выражением, которое так часто встречается у застенчивых и одиноких людей...» Но вот собеседник заговорил — «и всё лицо его преобразилось... привлекательная улыбка заиграла на его губах и засветилась золотыми искорками в его голубых глазах, красоту которых я только тогда заметил». В «Идиоте» Лев Николаевич Мышкин описан следующим образом: «...роста немного повыше среднего, очень белокур, густоволос, со впалыми щеками и с лёгонькою, востренькою, почти совершенно белою бородкой. Глаза его были большие, голубые и пристальные... Лицо... приятное, тонкое и сухое, но бесцветное...»

Эти описания можно, пожалуй, поменять местами. Особенно если к перечисленным Тургеневым «структурным» деталям добавить ещё известные по другим воспоминаниям и по портретам.

«Я не видел глаз более прелестных, чем у Белинского», — говорит Тургенев. Не заимствованы ли «большие, голубые и пристальные» глаза князя Мышкина у его возможного (осмелимся это сказать) прототипа? Но сопоставима не только внешность. Сопоставимо и поведение. Дело даже не в том, что князь, несмотря на свой титул,

[1] Ср.: Лит. наследство. Т. 55. С. 369 и: *Достоевский Ф.М.* Собр. соч. М., 1982. Т. 6. С. 96–97 (вклейка).

человек несветский, что он порой диковат и неловок, что, наконец, совершенно в духе Белинского, он разбивает в гостях китайскую вазу. Дело в более глубоких аналогиях.

«Очерк его моральной проповеди, длившейся всю жизнь его, — говорит о Белинском П.В. Анненков, — был бы и настоящей его биографией».

И князь Мышкин, и Белинский — оба они моралисты и проповедники. Оба преображаются, когда речь заходит о дорогих им предметах.

«Князь даже одушевился говоря, лёгкая краска проступила в его бледное лицо, хотя речь по-прежнему была тихая». Тут, конечно, есть и отличие. Белинский, по словам Достоевского, волнуясь, «*взвизгивал*». Мышкин (как, впрочем, и Алёша Карамазов) почти никогда не повышает голос.

Сразу же после написания «Идиота» его автор особенно резко отзывается об уже канонизированном Белинском. Не был ли образ «положительно прекрасного человека» предвосхищающей компенсацией — тех обвинений, которые уже повисли на кончике авторского пера?

«Смеялся он от души, как ребёнок», — говорит Тургенев и добавляет: «Невозможно себе представить, до какой степени Белинский был правдив с другими и с самим собою...»

Детскость, открытость, непосредственность, прямота, чистота помыслов и житейская наивность — все эти качества в высшей степени присущи как «первому критику», так и далёкому от изящной словесности князю.

(Еще одна *скрытая* реминисценция — рассказ князя Мышкина о смертной казни: впечатления самого автора, пережившего сходный ритуал. Следует помнить, что к расстрелу Достоевский был приговорён не за что иное, как за чтение Белинского: его хрестоматийного (с точки зрения будущих школьных программ) послания к Гоголю.)

...В том же «Идиоте» Аглая Епанчина с чувством декламирует пушкинское стихотворение «Жил на свете рыцарь бедный...» В сознании героини Дон Кихот, «рыцарь бедный» и князь Мышкин — фигуры родственные. Но Белинский, в свою очередь, родствен с ними со всеми. Он тоже беззаветно предан «прекрасной даме» — русской литературе.

Он имел одно виденье,
Непостижное уму,
И глубоко впечатленье
В сердце врезалось ему.

Достоевский — ещё одно звено этой великой цепи. Он полон той же «чистою любовью». И — к вящему нашему удивлению — мы вдруг постигаем, что «Жил на свете рыцарь бедный...» и «Витязь горестной фигуры...» написаны одним и тем же стихотворным размером — четырёхстопным хореем. И улавливаем в этой звуковой перекличке тайный и знаменательный смысл.

Да, Достоевский — человек того же духовного склада.

Он человек того же типа и склада не потому, что и физически чем-то напоминает Белинского (чисто славянский, простонародный, «поповский» тип лица), а потому, что в нём и в Белинском как бы раздваивается некая общая идея и каждый из них, взглянув в лицо другому, уже не в силах признать собственного двойника.

Их противоборство есть следствие общей духовной драмы. Но Достоевский — по молодости лет — переживает её особенно остро.

...По его собственному признанию, все эти годы он живёт «как в чаду». И, помимо прочих тягот и испытаний, для него припасено страдание особого рода. «Сделали они мне известность сомнительную, и я не знаю, до которых пор пойдёт этот ад».

Как контрастирует эта «сомнительная известность» с тем, что возглашалось всего годом ранее («слава моя достигла до апогеи»). «Они» — этим личным *безличным* местоимением (так разнящимся от интимно-доверительного «наши») гневно обозначены вчерашние поклонники и адепты. Мог ли он всего год назад предположить, что судьба (литературная судьба) сыграет с ним такую коварную шутку и слова его сбудутся *буквально*. Первый шаг окажется «апогеей», выше которой — так полагает обманутое в лучших ожиданиях большинство — ему уже никогда не подняться.

Ни одно из следующих за «Бедными людьми» сочинений не вызывает со стороны его бывших друзей заметных критических сочувствий. А иные тексты будут восприняты как очередное падение.

Художника менее сильного духом это могло бы повергнуть в отчаяние.

Достоевский в отчаяние не повергается. Он продолжает писать, подгоняемый нуждой и *привычкой*. «Тут бедность, срочная работа, — кабы покой!» Покоя не будет никогда, как не будет работы несрочной[1].

[1] Так, над «Двойником» автор ещё трудится за *четыре* дня до появления повести в «Отечественных записках», что делает честь не только его художнической взыска-

Но он этого ещё не знает. Поэтому своё обычное жизненное состояние он воспринимает как временное и неестественное. Отторжение от враждебного теперь ему литературного круга, лихорадочные надежды на *повторное* признание («ничего, Виссарион Григорьевич, отмалчивайтесь, придёт время, что и вы заговорите»), повторяющееся каждый раз несовпадение замысла и результата — всё это создаёт то «прыгающее» эмоциональное напряжение, которое разрешается острыми приступами нервной болезни.

«Мне всё кажется, что я завёл процесс со всею литературою...» Раньше у него были могущественные союзники. Теперь он остаётся один.

Так кончаются «упоения».

Позднее он скажет: «...моё первое вступление на литературное поприще... грустное, роковое для меня время».

Свой звёздный час он именует роковым: эпитет справедлив, но несколько преждевременен.

тельности, но и невообразимой (спустя сто шестьдесят лет) быстроте производственного цикла.

Жизнь в документах

Idĕe fixe [1]

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 24 марта 1845. Петербург

Моим романом я серьёзно доволен. Это вещь строгая и стройная. Есть, впрочем, ужасные недостатки. *(ПСС. XXVIII. 1. С. 107.)*

Д.В. ГРИГОРОВИЧ

Достоевский, между тем, просиживал целые дни и часть ночи за письменным столом. Он ни слова не говорил о том, что пишет; на мои вопросы он отвечал неохотно и лаконически; зная его замкнутость, я перестал спрашивать. Я мог только видеть множество листов, исписанных тем почерком, который отличал Достоевского: буквы сыпались у него из-под пера, точно бисер, точно нарисованные. Такой почерк видел я впоследствии только у одного писателя: Дюма-отца. (*Рус. мысль. 1893. № 1. С. 9–10.)*

ДОСТОЕВСКИЙ

<...> писал я их <«Бедных людей»> с страстью, почти со слезами — «неужто всё это, все эти минуты, которые я пережил с пером в руках над этой повестью, — всё это ложь, мираж, неверное чувство?» Но думал я так, разумеется, только минутами, и мнительность немедленно возвращалась. (*Дневник писателя, 1877, январь.*)

Из примечаний А.Г. ДОСТОЕВСКОЙ к «Униженным и оскорблённым»

Фёдор Михайлович с упоением вспоминал те часы, когда он создавал своих «Бедных Людей». (*Семинарий... С. 55.*)

ДОСТОЕВСКИЙ. Униженные и оскорблённые

Нет! Если я был счастлив, когда-нибудь, то это даже и не во время первых упоительных минут моего успеха, а тогда, когда ещё я не читал и не показывал никому моей рукописи: в те долгие ночи, среди восторженных

[1] Навязчивая идея (*фр.*).

надежд и мечтаний и страстной любви к труду; когда я сжился с моей фантазией, с лицами, которых сам создал, как с родными, как будто с реально существовавшими; любил их, радовался и печалился с ними, а подчас даже и плакал самыми искренними слезами над незатейливым героем моим.

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 24 марта 1845. Петербург

Кончил я его <роман> совершенно чуть ли ещё не в ноябре месяце <1845 г.>, но в декабре вздумал его весь переделать; переделал и переписал, но в феврале начал опять снова обчищать, обглаживать, вставлять и выпускать. Около половины марта я был готов и доволен. <...>

Но как бы то ни было, а я дал клятву, что коль и до зарезу будет доходить, — крепиться и не писать на заказ. Заказ задавит, загубит всё. Я хочу, чтобы каждое произведение моё было отчётливо хорошо. Взгляни на Пушкина, на Гоголя. Написали немного, а оба ждут монументов. И теперь Гоголь берёт за печатный лист 1000 руб. сереб<ром>, а Пушкин, как ты сам знаешь, продавал стих по червонцу. <...>

Если моё дело не удастся, я, может быть, повешусь. (*ПСС, XXVIII, 1. С. 106–107.*)

Краткие биографические сведения, продиктованные писателем А.Г. Достоевской. 1878.

Был оставлен на службе в Петербурге, но другие цели и стремления влекли его к себе неотразимо. Он особенно стал заниматься литературой, философией и историей[1]. (*ПСС, XXVV, С. 120.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 24 марта 1845. Петербург

Брат, в отношении литературы я *не тот*, что был тому назад два года. Тогда было ребячество, вздор. Два года изучения много принесли и много унесли.

В «Инвалиде», в фельетоне, только что прочёл о немецких поэтах, умерших с голоду, холоду и в сумасшедшем доме. Их было штук 20, и какие имена! Мне до сих пор как-то страшно. Нужно быть шарлатаном... (*ПСС, XXVIII, 1. С. 108.*)

А. ВЕЙС. Поэты в Германии

Лессинг умер в нужде, проклиная германскую нацию. Шиллер никогда не имел 1000 фр., чтобы съездить взглянуть на Париж и на море. Моцарт

[1] См. также с. 455. Повторяем этот текст — в ином контексте.

получал всего 1500 фр. жалования, оставив после смерти 3000 фр. долгу. Бетховен умер в крайней нужде. Друг Гегеля и Шеллинга Гельдерлин принуждён был быть школьным учителем. Терзаемый любовью и нуждой, сошёл с ума 32-х лет и дожил в этом состоянии до 76 лет. Гёльти, чистый поэт любви, давал уроки по 6 фр. в месяц, чтобы иметь кусок хлеба. Умер молодым — отравился. Бюргер знал непрерывную борьбу с нуждою. Шуберт провел 16 лет в заключении и кончил сумасшествием. Граббе, автор гениальных «Фауста и Д<он> Жуана», в буквальном смысле умер с голода 32 лет. Ленц, друг Гете, умер в крайней нужде у одного сапожника в Москве. Писатель Зонненберг раздробил себе череп. Клейст застрелился; Лесман повесился; Раймунд — поэт и актёр — застрелился. Луиза Бришман кинулась в Эльбу. Шарлотта Штиглиц заколола себя кинжалом. Ленау отвезён в дом умалишенных. (*Рус. инвалид, 1845, 22 марта.*)

ДОСТОЕВСКИЙ. Униженные и оскорблённые

Вот в это-то время <...>я кончил мой первый роман, тот самый, с которого началась моя литературная карьера, и, как новичок, сначала не знал, куда его сунуть.

В.Г. БЕЛИНСКИЙ

Обыкновенно у нас замечательный успех всякой книги состоит в расходе пяти- или, много, семисот экземпляров; будучи же помещаемы в журналах (разумеется, не во всех, а в каких-нибудь двух, не больше), они находят себе тысячи читателей. (*Отеч. записки, 1844, отд. V. С. 42.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 24 марта 1845. Петербург

Тут меня начали толкать и направо и налево, чтобы отдать моё дело в «Отечеств<енные> записки». Да пустяки. Отдашь да не рад будешь. Во-первых, и не прочтут, а если прочтут, так через полгода. Там рукописей довольно и без этой. Напечатают, денег не дадут. Это какая-то олигархия. А на что мне тут слава, когда я пишу из хлеба? Я решился на отчаянный скачок: ждать, войти, пожалуй, опять в долги и к 1-му сентября, когда все переселятся в Петербург и будут, как гончие собаки, искать носом чего-нибудь новенького, тиснуть на последние крохи, которых, может быть, и недостанет, мой роман. Отдавать вещь в журнал значит идти под ярем не только главного maître d'hotel'я[1], но даже всех чумичек и поварёнков, гнездящихся в гнёздах, откуда распространяется просвещение. Диктаторов не

[1] Метрдотеля (*фр.*).

один: их штук двадцать. Напечатать самому значит пробиться вперёд грудью, и если вещь хорошая, то она не только не пропадёт, но окупит меня от долговой кабалы и даст мне есть. (*ПСС. XXVIII. 1. С. 106.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 4 мая 1845. Петербург

Итак, я решил обратиться к журналам и отдать мой роман за бесценок— разумеется, в «Отечеств<енные> записки». Дело в том, что «Отечеств<енные> записки» расходятся в 2500 экземплярах, след<овательно>, читают их по крайней мере 100 000 человек. Напечатай я там — моя будущность литературная, жизнь — всё обеспечено. Я вышел в люди. (*ПСС. XXVIII. 1. С. 109.*)

В.Г. БЕЛИНСКИЙ

В современной русской литературе журнал совершенно убил книгу. Между разным балластом всё-таки только в журналах, — разумеется, лучших (которых так немного), — можно встречать более или менее замечательные произведения по части изящной литературы. Сюда должно отнести ещё сборники, или альманахи: в лучших из них тоже попадаются иногда хорошие пьесы. (*Отеч. записки. 1845. № 6. Отд. V. С. 29.*)

Д.В. ГРИГОРОВИЧ

Не помню, о чём-то раз зашёл у меня с Достоевским горячий спор. Результат был тот, что решено было жить порознь. Мы разъехались, но, однако ж, мирно, без ссоры. (*Рус. мысль. 1893. № 1. С. 14.*)

К.А. ТРУТОВСКИЙ

Жил он <Достоевский> тогда на углу Владимирской улицы и Графского переулка. <...>

Квартира его была во втором этаже и состояла из четырёх комнат: просторной прихожей, зальца и ещё двух комнат; из них одну занимал Ф<ёдор> М<ихайлович>, а остальные были совсем без мебели. В узенькой комнате, в которой помещался, работал и спал Ф<ёдор> М<ихайлович>, был письменный стол, диван, служивший ему постелью, и несколько стульев. На столе, стульях и на полу лежали книги и исписанные листы бумаги. (*Рус. обозрение. 1893. № 1. С. 214.*)

А.Г. ДОСТОЕВСКАЯ

Фёдор Михайлович был убеждён, что «в тесной квартире и мыслить тесно», поэтому он готов был отказывать себе во всём, лишь бы иметь в своей квартире хоть две просторные комнаты. (*Семинарий... С. 55.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 4 мая 1845. Петербург

Этот мой роман, от которого я никак не могу отвязаться, задал мне такой работы, что если б знал, так не начинал бы его совсем. Я вздумал его ещё раз переправлять, и ей-богу к лучшему; он чуть не вдвое выиграл. Но уж теперь он кончен, и эта переправка была последняя. Я слово дал до него не дотрогиваться. Участь первых произведений всегда такова, их переправляешь до бесконечности. <...>

А не пристрою романа, так, может быть, и в Неву. Что же делать? Я уж думал обо всём. Я не переживу смерти моей idée fixe. (*ПСС. XXVIII. 1. С. 108, 110.*)

«Это выше сна!»

Д.В. ГРИГОРОВИЧ

Раз утром (это было летом) Достоевский зовёт меня в свою комнату; войдя к нему, я застал его сидящим на диване, служившем ему также постелью; перед ним, на небольшом письменном столе, лежала довольно объёмистая тетрадь почтовой бумаги большого формата с загнутыми полями и мелко исписанная.

— Садись-ка, Григорович; вчера только что переписал; хочу прочесть тебе; садись и не перебивай, — сказал он с необычною живостью. <...>

С первых страниц «*Бедных людей*» я понял, насколько то, что было написано Достоевским, было лучше того, что я сочинял до сих пор; такое убеждение усиливалось по мере того, как продолжалось чтение. Восхищённый донельзя, я несколько раз порывался броситься ему на шею; меня удерживала только его нелюбовь к шумным, выразительным излияниям; я не мог, однако ж, спокойно сидеть на месте и то и дело прерывал чтение восторженными восклицаниями. (*Рус. мысль. 1893. № 1. С. 10–11.*)

Л.Ф. ДОСТОЕВСКАЯ

Григорович убедил его доверить ему рукопись и показал её Некрасову. Тот спросил его, знает ли он произведение своего друга, и услышав, что у Григоровича ещё не было времени прочесть его, предложил ему просмотреть вместе с ним две или три главы и проверить, стоящая ли это вещь. (*Лит. наследство. Т. 86. С. 299.*)

ДОСТОЕВСКИЙ

Был май месяц сорок пятого года. В начале зимы я начал вдруг «Бедных людей», мою первую повесть, до тех пор ничего не писавши. Кончив повесть, я не знал, как с ней быть и кому отдать. Литературных

знакомств я не имел совершенно никаких, кроме разве Д.В. Григоровича, но тот и сам ещё ничего тогда не написал, кроме одной маленькой статейки «Петербургские шарманщики» в один сборник. Кажется, он тогда собирался уехать на лето к себе в деревню, а пока жил некоторое время у Некрасова. Зайдя ко мне, он сказал: «Принесите рукопись (сам он ещё не читал её); Некрасов хочет к будущему году сборник издать, я ему покажу». Я снёс, видел Некрасова минутку, мы подали друг другу руки. Я сконфузился от мысли, что пришёл с своим сочинением, и поскорей ушёл, не сказав с Некрасовым почти ни слова. Я мало думал об успехе, а этой «партии Отечественных записок», как говорили тогда, я боялся. Белинского я читал уже несколько лет с увлечением, но он мне казался грозным и страшным и — «осмеёт он моих “Бедных людей”!» — думалось мне иногда. (*Дневник писателя, 1877, январь.*)

Д.В. ГРИГОРОВИЧ

Из скромности, вероятно, он <Достоевский> умолчал о подробностях, как чтение происходило у Некрасова. Читал я. На последней странице, когда старик Девушкин прощается с Варинькой, я не мог больше владеть собою и начал всхлипывать; я украдкой взглянул на Некрасова: по лицу у него также текли слёзы. Я стал горячо убеждать его в том, что хорошего дела никогда не надо откладывать, что следует сейчас же отправиться к Достоевскому, несмотря на позднее время (было около четырёх часов утра), сообщить ему об успехе и сегодня же условиться с ним насчёт печатания его романа.

Некрасов, изрядно также возбуждённый, согласился, наскоро оделся и мы отправились. (*Рус. мысль. 1893. № 1. С. 11.*)

С.В. КОВАЛЕВСКАЯ

<...> отослав рукопись, он <Достоевский> тотчас же сам и раскаялся. С ним произошёл тяжёлый психологический процесс, который, вероятно, пришлось пережить всякому автору: пока он писал свой роман, он сам восхищался им и верил, что происходит нечто великое и гениальное. Но лишь только рукопись была окончена и отослана в редакцию, как на него вдруг нашло сомнение и разочарование. Все недостатки романа ярко выступили перед ним, всё в нём показалось ему бледным, ничтожным. Он почувствовал отвращение к собственному детищу и устыдился его.

<...> эти переходы от уверенности к подавленному состоянию духа в первые дни после отсылки рукописи дошли в нём до таких размеров, что он просто закутил с горя.

«Всю ночь, — рассказывал Достоевский своим приятелям, — провёл я в разгуле, грязном, дешёвом, без удовольствия, так просто, с тоски, с озлобления какого-то. Было уже четыре часа утра, когда я вернулся домой. Это было в мае месяце, и на дворе была белая петербургская ночь. Я этих ночей выносить не мог, всегда они мне расстраивали нервы и наводили особую, какую-то «подлую» тоску. А уж сегодня и подавно. Вернулся я домой; не спится мне; сел я на открытую раму. Скверно на душе — ну хоть сейчас иди и топись. Сижу я так, вдруг слышу звонок. Кто бы это мог быть в такую пору?» (*Воспоминания. С. 360.*)

ДОСТОЕВСКИЙ

Вечером того же дня, как я отдал рукопись, я пошёл куда-то далеко к одному из прежних товарищей; мы всю ночь проговорили с ним о «Мёртвых душах» и читали их, в который раз не помню. Тогда это бывало между молодёжью; сойдутся двое или трое: «А не почитать ли нам, господа, Гоголя!» — садятся и читают, и пожалуй, всю ночь. Воротился я домой уже в четыре часа, в белую, светлую как днём петербургскую ночь. Стояло прекрасное тёплое время, и, войдя к себе в квартиру, я спать не лёг, отворил окно и сел у окна. Вдруг звонок, чрезвычайно меня удививший, и вот Григорович и Некрасов бросаются обнимать меня, в совершенном восторге, и оба чуть сами не плачут. Они накануне вечером воротились рано домой, взяли мою рукопись и стали читать её на пробу: «С десяти страниц видно будет». Но, прочтя десять страниц, решили прочесть ещё десять, а затем, не отрываясь, просидели уже всю ночь до утра, читая вслух и чередуясь, когда один уставал. «Читает он про смерть студента, — передавал мне потом уже наедине Григорович, — и вдруг я вижу, в том месте, где отец за гробом бежит, у Некрасова голос прерывается, раз и другой, и вдруг не выдержал, стукнул ладонью по рукописи: “Ах, чтоб его!” Это про вас-то, и этак мы всю ночь». Когда они кончили (семь печатных листов!), то в один голос решили идти ко мне немедленно: «Что ж такое, что спит, мы разбудим его, это выше сна!» (*Дневник писателя, 1877, январь.*)

ДОСТОЕВСКИЙ (в передаче С.В. Ковалевской)

Иду отворять. Батюшки... в комнату вбегают Некрасов и Григорович и, не говоря ни слова, принимаются меня обнимать, а я и знаком-то по-настоящему не был, знал их только в лицо[1]. (*В кн.: Ковалевская С.В. Воспоминания. С. 361.*)

Д.В. ГРИГОРОВИЧ

На стук наш в дверь отворил Достоевский; увидев подле меня незнакомое лицо, он смутился, побледнел и долго не мог слова ответить

[1] Это Григоровича-то!

на то, что говорил ему Некрасов. После его ухода я ждал, что Достоевский начнёт бранить меня за неумеренное усердие и излишнюю горячность, но этого не случилось; он ограничился тем только, что заперся в своей комнате и долго после того я слышал, лёжа на своём диване, его шаги, говорившие мне о взволнованном состоянии его духа. (*Рус. мысль. 1893. № 1. С. 11.*)

ДОСТОЕВСКИЙ

Они пробыли у меня тогда с полчаса, в полчаса мы Бог знает сколько переговорили, с полслова понимая друг друга, с восклицаниями, торопясь; говорили и о поэзии, и о правде, и о «тогдашнем положении», разумеется, и о Гоголе, цитируя из «Ревизора» и из «Мёртвых душ», но, главное, о Белинском. «Я ему сегодня же снесу вашу повесть, и вы увидите, какая это душа!» — восторженно говорил Некрасов, тряся меня за плечи, обеими руками. «Ну, теперь спите, спите, мы уходим, а завтра к нам!» Точно я мог заснуть после них! Какой восторг, какой успех, а главное — чувство было дорого, помню ясно: «У иного успех, ну хвалят, встречают, поздравляют, а ведь эти прибежали со слезами, в четыре часа, разбудить, потому что это выше сна... Ах хорошо!» Вот что я думал, какой тут сон! (*Дневник писателя, 1877, январь.*)

Из неоконченной повести Н.А. НЕКРАСОВА

В продолжение короткого знакомства с Глажиевским <Достоевским> Чудов <Некрасов> имел много случаев наблюдать выражение радости в лице нового писателя, которая тем разительнее выражалась в нём, что в обыкновенном спокойном состоянии оно уподоблялось сероватой и мглистой осенней туче, готовой ежеминутно разразиться дождём, пополам со снегом и слякотью. (*Некрасов Н.А. Каменное сердце. (Повесть из жизни Достоевского). Пб., 1922. С. 44.*)

ДОСТОЕВСКИЙ

Потом, приглядевшись к характеру Некрасова, я часто удивлялся той минуте: характер его замкнутый, почти мнительный, осторожный, мало сообщительный. Так, по крайней мере, он мне всегда казался, так что та минута нашей первой встречи была воистину проявлением самого глубокого чувства. (*Дневник писателя, 1877, январь.*)

А. Г. ДОСТОЕВСКАЯ

С Некрасовым для мужа соединялись воспоминания о его юности, о начале его литературной карьеры. Ведь Некрасов был один из первых, кто признал талант Фёдора Михайловича и содействовал

его успеху в тогдашнем интеллигентном обществе. (*Воспоминания. С. 340.*)

ДОСТОЕВСКИЙ

Странно бывает с людьми; мы в жизнь нашу редко видались, бывали между нами и недоумения, но у нас был один такой случай в жизни, что я никогда не мог забыть о нём. Это именно наша первая встреча друг с другом в жизни. И что ж, недавно я зашёл к Некрасову, и он, больной, измученный, с первого слова начал с того, что помнит об тех днях. Тогда (это было тридцать лет тому!) произошло что-то такое молодое, свежее, хорошее, — из того, что остаётся навсегда в сердце участвовавших. Нам тогда было по двадцати с немногим лет. (*Дневник писателя, 1877, январь.*)

«...Я ХОЧУ ВИДЕТЬ ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА»

Из неоконченной повести Н.А. НЕКРАСОВА

В тот же день часов в одиннадцать утра Чудов <Некрасов>, в страшных попыхах, побежал с «Каменным Сердцем» <«Бедными людьми»> к своему приятелю Мерцалову <Белинскому> и с увлечением сказал ему:

— Григорий Александрович! Прочтите, ради Бога прочтите эту рукопись поскорее! Если я не ошибаюсь, судьба посылает нашей литературе нового блестящего деятеля! По моему мнению, это превосходнейшая вещь! (*Некрасов, 1922. С. 39.*)

ДОСТОЕВСКИЙ

Некрасов снёс рукопись Белинскому в тот же день. <...> «Новый Гоголь явился!» — закричал Некрасов, входя к нему с «Бедными людьми». — «У вас Гоголи-то как грибы растут», — строго заметил ему Белинский, но рукопись взял. (*Дневник писателя, 1877, январь.*)

Из неоконченной повести Н.А. НЕКРАСОВА

— Эх вы, молодёжь, молодёжь! — сказал он <Белинский — «Мерцалов»> с усмешкой. — Чуть прочтёте что-нибудь, понравится, расшевелит сердчишко, уже сейчас и превосходная, пожалуй даже — гениальная вещь!

— Прежде прочтите — сами то же скажете.

— Прочесть? Да смотрите: стоит ли читать? Я теперь очень занят.

— Стоит, уверяю вас, стоит! — с жаром отвечал Чудов <Некрасов>. — Вы только начните — не оторвётесь.

— Будто? Вы по себе судите. Полноте! Я уже не ваших лет. Для меня нет теперь книги, от которой я не мог бы оторваться для чего угодно — хоть для пустого разговора.

— Я ужо зайду, — сказал Чудов.

— Вечером? Хорошо; заходите.

— И вы мне скажете ваше мнение.

— Уже? Вы думаете, что я вот так всё брошу и примусь читать.

— Но ведь отличная вещь. Прочтите сегодня...

— Сегодня никак не могу. Я начал прекрасную книгу[1], надобно кончить.

— Когда же вы прочтёте?

— Да вот... прочту как-нибудь, — лениво отвечал Мерцалов.

Чудов ушёл. Следует заметить, что Мерцалов вовсе и не думал продолжать чтение, но тотчас же по уходе Чудова с живостью ухватил рукопись «Каменного Сердца» <«Бедных людей»>. Он прочёл заглавие; пробежал эпиграф, который составляли несколько строк, выписанных из его собственной критической статьи[2], и стал читать. По прочтении нескольких страниц, лицо его вспыхнуло, он оставил рукопись и заходил скорыми шагами по комнате. Потом он кликнул человека, приказал ему никого не принимать и стал продолжать чтение. (*Некрасов. 1922, С. 40–41.*)

И.И. ПАНАЕВ

Белинский принял её <рукопись «Бедных людей»> не совсем доверчиво. Несколько дней он, кажется, не принимался до неё.

Он в первый раз взялся за неё <...> думая прочесть немного, но с первой же страницы рукопись заинтересовала его... Он увлекался ею более и более <...> и прочел её разом, не отрываясь. (*Современник. 1860. № I. С. 369.*)

ДОСТОЕВСКИЙ. Униженные и оскорблённые.

Б. обрадовался как ребёнок, прочитав мою рукопись.

П.В. АННЕНКОВ. Замечательное десятилетие

В одно из моих посещений Белинского, перед обедом, когда он отдыхал от утренних писательских работ, я со двора дома увидел его

[1] «В рукописи оставлено свободное место, чтобы впоследствии вписать сюда название книги». (*Примеч. К.И. Чуковского*).

[2] В известном тексте «Бедных людей» эпиграф взят из рассказа В.Ф. Одоевского «Живой мертвец». За полгода до появления Достоевского этот рассказ был публично похвален Белинским. Но, может быть, какой-то вариант «Бедных людей» действительно содержал другой эпиграф?

у окна гостиной, с большой тетрадью в руках и со всеми признаками волнения на лице. Он тоже заметил меня и прокричал: «Идите скорее, сообщу новость»... «Вот от этой самой рукописи, — продолжал он, поздоровавшись со мною, — которую Вы видите, не могу оторваться второй день. Это — роман начинающего таланта: каков этот господин с виду и каков объём его мысли — ещё не знаю, а роман открывает такие тайны жизни и характеров на Руси, которые до него и не снились никому. Подумайте, это первая попытка у нас социального романа и сделанная притом так, как делают обыкновенно художники, т. е. не подозревая и сами, что у них выходит. <...> Да я и забыл Вам сказать, что художника зовут “Достоевский”, а образцы его мотивов представлю сейчас». И Белинский принялся с необычайным пафосом читать места, наиболее поразившие его, сообщая им ещё большую окраску своей интонацией и нервной передачей. (*Вестник Европы. 1880. № 4. С. 478.*)

ДОСТОЕВСКИЙ

Когда Некрасов опять зашёл к нему вечером, то Белинский встретил его «просто в волнении»: «Приведите, приведите его скорее»[1] (*Дневник писателя, 1877, январь.*)

И.И. ПАНАЕВ

<...> Некрасов застал Белинского уже в восторженном, лихорадочном состоянии.

В таком положении он обыкновенно ходил по комнате в беспокойстве, в нетерпении, весь взволнованный. В эти минуты ему непременно нужен был близкий человек, которому бы он мог передать переполняющие его впечатления...

Нечего говорить, как Белинский обрадовался Некрасову.

— Давайте мне Д<остоевского>! — были первые слова его. (*Современник. 1860. № 1. С. 369.*)

«Что я ему?»

Из неоконченной повести Н.А. НЕКРАСОВА

Около восьми часов вечера Чудов <Некрасов>, поджигаемый нетерпением, побежал к Мерцалову <Белинскому>.

Мерцалов лежал на диване, когда раздался звонок. Лицо его выражало сильное волнение; в руках была рукопись «Каменного Сердца»

[1] Надеемся, это ритмическое совпадение в какой-то степени извинит легкомысленное избрание нами есенинской строки в качестве названия настоящей главки.

<«Бедных людей»>. Услышав звонок, он быстро вскочил с дивана и встретил Чудова следующими словами, в которых отражались и досада и нетерпение:

— Где вы пропадали?

— Я? Обедал... Мы обедали с Глажиевским <Достоевским> в Hotel de Paris[1].

— Я вас жду, жду; думал уж послать к вам. Что, он молодой человек?

Увидав в руках у Мерцалова знакомую рукопись, Чудов догадался, о ком идёт речь.

— Молодой, — отвечал он.

— А как?

— Ему, я думаю, лет двадцать пять или двадцать четыре[2].

— Слава Богу! — с восторгом воскликнул Мерцалов и перевёл дух: как будто камень свалился с его груди. — Этот вопрос меня очень занимал. Я просто измучился, дожидаясь вас. Так ему только двадцать четыре года?

— Никак не более двадцати пяти! — отвечал Чудов <Некрасов>.

— Ну так он гениальный человек! — с эффектом произнёс Мерцалов.

— Я вам говорил, — заметил обрадованный Чудов.

— Вы говорили? Что вы говорили! Можно ли так говорить о подобной вещи! Пришёл, повернулся, оставил рукопись и пропал!.. Превосходная вещь, — мало ли что мы называем превосходной вещью. <...> Это художественное гениальное произведение! — с воодушевлением продолжал Мерцалов. — Я вам скажу, Чудов, — заключил он, вспыхнув так, что лицо его покраснело, и сделав резкое движение рукой, — я не возьму за «Каменное Сердце» <«Бедных людей»> всей русской литературы! (*Некрасов, 1922. С. 42.*)

В.Г. БЕЛИНСКИЙ — В.П. БОТКИНУ. 8 сентября 1841. Петербург

Социальность, социальность — или смерть! Вот девиз мой. (*Белинский В.Г. XII. С. 69.*)

Из неоконченной повести Н.А. НЕКРАСОВА

До глубокой ночи проговорили приятели о «Каменном Сердце» и его авторе, и Чудов ушёл, пообещав завтра же привести к Мерцалову нового гениального человека. Как не поздно было, однако ж Чудов забежал к Глажиевскому <Достоевскому> и откровенно, с юношеским

[1] Отель «Париж» (*фр.*).

[2] Достоевскому в мае 1845 года шёл двадцать четвертый год.

увлечением, пересказал ему мнение Мерцалова о «Каменном Сердце». <...> ни разу ещё не заметил Чудов в лице Глажиевского такого счастья, каким озарилось оно при рассказе о похвалах Мерцалова. Повторилось нечто вроде обморока, приключившегося с Глажиевским ночью[1]. Тем же дрожащим, расслабленным, неровным голосом переспрашивал он по нескольку раз, что именно говорил Мерцалов, повторяя сам его отзывы, как будто вникал в них и взвешивал значительность каждого слова, поминутно усмехаясь своим дребезжащим нервным смехом и тщетно усиливаясь сообщить солидность своей физиономии.

Чудов не без основания подумал, что, не будь свидетелей, гениальный человек, вероятно, пустился бы вприсядку, как делают обыкновенные смертные в минуты сильной радости. В то же время Чудов заметил, что его собственные похвалы «Каменному Сердцу» уже не так радостно выслушиваются Глажиевским: ему как будто всё казалось их мало, и он спрашивал небрежно:

— Григорий Александрыч, что ли, так говорит? — и при ответе Чудова, что так он сам думает, но что, вероятно, и Мерцалов согласится с его мнением, выражал в своём лице нечто вроде презрения: так, по крайней мере, казалось Чудову.

— А ведь вот Разбегаев <Григорович>, — заметил, между прочим, Глаж<иевский>. — Ведь вот он пустой малый, а вкус у него есть; такт есть... И добрый он; бесподобный малый: не завистливая душа! Я улыбнулся — да и вы, кажется, тоже? (тут он значительно, не без иронии взглянул в глаза Чудову), — когда Разбегаев назвал моё «Каменное Сердце» гениальной вещью, а вот теперь Григорий Александрыч говорит то же!

В этом замечании Чудов как бы слышал упрёк себе в том, что при первом знакомстве с Глаж<иевским> был осторожен в похвалах его произведению и не только ни разу не назвал «Каменного Сердца» гениальным произведением, но даже не удостоил никаким замечанием мнение Разбегаева, как пустое и вздорное.

Это его несколько удивило. (*Некрасов, 1922. С. 45.*)

Н.Н. СТРАХОВ

Он <Достоевский> с самого начала выступил как новый писатель, глядящий на вещи с своей, с особенной стороны. Это тотчас поняли и признали Белинский и Некрасов, хотя и не вся глубина и ширина этой новости была им доступна (*Биография... С. 320.*)

[1] Об этом обмороке (в ночь первого визита к Достоевскому?) в рукописи Некрасова больше не упоминается.

А.И. ГЕРЦЕН. Былое и думы

<...> после мрачной статьи Чаадаева является выстраданное, жёлчное отрицание и страстное вмешательство во все вопросы Белинского. В ряде критических статей он кстати и некстати касается всего, везде верный своей ненависти к авторитетам, часто подымаясь до поэтического одушевления. Разбираемая книга служила ему по большей части материальной точкой отправления, на полдороге он бросал её и впивался в какой-нибудь вопрос. (*Полярная звезда на 1855 год. Кн. I. С. 95.*)

Из неоконченной повести Н.А. НЕКРАСОВА

На другой день Чудов <Некрасов> ждал Глажиевского <Достоевского>, чтоб отправиться вместе к Мерцалову <Белинскому>.

Условное время уже прошло, а его не было; зная нетерпеливый нрав Мерцалова, Чудов побежал к Глажиевскому.

Гениальный человек был не одет; лицо его носило признаки долгого колебания, борьбы с самим собою и слабости.

— Что же вы? — с упрёком сказал Чудов <Некрасов>.

— Я не пойду к Мерцалову <Белинскому>, — отвечал Глажиевский <Достоевский>.

— Как? Что такое? Отчего?

— Да так... право... Не лучше ли будет не идти? — произнёс он менее решительно, потупив глаза в пол.

— Отчего же?

— Да я так думал... Я сегодня целую ночь думал... Ведь вы говорите, он спрашивал обо мне, о моём лице даже... что, если... я боюсь... если...

Тут он вдруг остановился, как будто осёкся, и потом с решительностью прибавил: — Нет, лучше не идти! <зачёркнуто>: «Что ему какая нужда до меня, до моей физиономии; он прочёл произведение, сделал своё заключение — ну и пусть пишет, как говорил — хоть целую книгу. А до автора какая нужда!..» Чудов невольно улыбнулся, поняв, в чём дело: очевидно было, что Глажиевский боялся своей физиономией разрушить эффект своего произведения, хотя подобный страх был довольно основательный». (*Некрасов, 1922. С. 45.*)

С.Д. ЯНОВСКИЙ

Вот буквально верное описание наружности того Фёдора Михайловича, каким он был в 1846 году: роста он был ниже среднего, кости имел широкие и особенно широк был в плечах и в груди; голову имел пропорциональную, но лоб чрезвычайно развитой, с особенно выдававшимися лобными возвышениями, глаза небольшие светло-серые

и чрезвычайно живые, губы тонкие и постоянно сжатые, придававшие всему лицу выражение какой-то сосредоточенной доброты и ласки; волосы у него были более чем светлые, почти беловатые и чрезвычайно тонкие или мягкие, кисти рук и ступни ног примечательно большие. (*Рус. вестник, 1885. № 4. С. 797.*)

Н.А. НЕКРАСОВ. Несчастные. 1856

<Молодой Достоевский — «Крот»:>

Рука, не твёрдая в труде,
Как спицы ноги, детский голос
И словно лён пушистый волос
На голове и бороде[1].

Из неоконченной повести Н.А. НЕКРАСОВА

— Какое ребячество! — воскликнул с жаром Чудов <Некрасов>. — Неужели вы боитесь, что эффект вашего произведения разрушится, когда Мерцалов <Белинский> увидит вас?

— С чего вы взяли, что я так думаю? — резко возразил гениальный человек, обидясь тем, что Чудов угадал причину его раздумья, которое он и высказывал и не высказывал. — Я просто не пойду, потому что рассудил, что мне нечего там делать. Что я ему? Какую роль буду играть я у него? Что между нами общего? Он учёный человек, известный литератор, знаменитый критик, а я... что я такое?

— Осип Михайлыч! Осип Михайлыч! — с кротким упрёком заметил Чудов. — Какое смирение! И перед кем? Разве я не читал «Каменного Сердца», разве Мерцалов не читал его?

— Так что ж такое? — сдерживая улыбку удовольствия, тихо и вкрадчиво произнёс Глажиевский <Достоевский>.

— Как будто вы не знаете, как будто не говорили вам, что, если не ваши личные достоинства, которых Мерцалов ещё не знает, то ваше произведение...

Лицо гениального человека процвело; каждая веснушка его налилась радостью, но, стараясь скрыть её, он перебил Чудова с притворной досадой и смирением:

---

[1] «Иногда муж заставал Некрасова бодрствующим, — пишет Анна Григорьевна Достоевская о днях последней болезни Некрасова, — и тот читал мужу свои последние стихотворения и, указывая на одно из них — "Несчастные" (под именем"Крота"), — сказал: "Это я про вас написал!" — что чрезвычайно тронуло мужа». (Воспоминания. С. 340; ср.: Дневник писателя, 1877, декабрь). Существует также мнение, что одним из прототипов «Крота» является Белинский.

— Полноте, полноте! Вы, может быть, так думаете. А он? Вот он вчера расхвалил... а теперь, может быть, поохладел... и уж совсем иначе думает... (*Некрасов, 1922. С. 46*).

И.И. ПАНАЕВ

Его любили и вместе боялись, несмотря на его кроткую, нежную, увлекательную натуру, — боялись, потому что Белинский беспощадно высказывал правду в глаза своим друзьям и жестоко преследовал насмешкою различные их слабости. Взаимное самовосхваление, лесть и лицемерие были ненавистны ему.

— Всё это признаки растленного старчества, — говорил он, — не дай Бог дожить до этого! (*Современник. 1860. № 1. С. 354.*)

Из неоконченной повести Н.А. НЕКРАСОВА

Тут опять тень действительного сомнения и страха показалась в его лице, которое имело обыкновение меняться тысячу раз в минуту, то изображая собою, как мы уже заметили, угрюмую тучу, готовую разрешиться дождём и слякотью, — то вдруг мгновенно озаряясь ярким играющим светом, каким блестит солнце по морозу.

— Мерцалов не такой человек, да и «Каменное Сердце» не такая вещь, чтобы так скоро разочароваться, — отвечал Чудов (причём лицо гениального человека опять изменилось — к морозу). — Он привык обдуманно произносить суждения...

— И прекрасно, и прекрасно! — заметил Глажиевский. — Чего же ему ещё? Прочёл роман, сделал своё заключение о нём — ну и пусть пишет, пусть хоть целую книгу, как говорил сам вчера, пишет...

— Так вы не пойдёте?

— Нет... разве в другой раз когда... после... будет ещё время...

— Ну как хотите! — с досадой отвечал Чудов, которому надоело упрашивать его. Он также не имел охоты вторично пускаться в доказательства, почему Мерцалову интересно видеть его, — к чему Глажиевский как бы вызывал его, прибавив:

— Да и что ему интересного в человеке, который... который...

— Прощайте! — вместо ответа резко сказал Чудов и ушёл. (*Некрасов, 1922. С. 46–47.*)

К.Д. КАВЕЛИН

Белинского в нашем кружке не только нежно любили и уважали, но и побаивались. Каждый прятал гниль, которую носил в своей душе, как можно подальше. Беда, если она попадала на глаза Белинскому: он её выворачивал тотчас же напоказ всем и неумолимо, язвительно преследовал несчастного дни и недели, не келейно, а соборно, перед всем кружком, на каждом шагу.

<...> Панаеву немало доставалось за его суетность, мне — за «прекраснодушие» и за славянофильские наклонности, которые в то время были очень сильны. (*Кавелин К.Д. Собр. соч. Т. III. СПб., 1899. Стб. 1094*).

Из неоконченной повести Н.А. НЕКРАСОВА

Едва сделал он десять шагов по тротуару, как услышал за собой крик:

— Тихон Васильевич! Тихон Васильевич!

Он обернулся и увидел Терентия, бежавшего за ним без шапки.

— Что?

— Барин вас просит. Он приказал сказать, что идёт; только сейчас оденется.

Чудов воротился.

— Я подумал, — сказал ему Глажиевский, — ловко ли будет? Он, может быть, ждёт... Всё равно ведь беды большой не будет, если и сходишь, ведь нет? — спрашивал он, как будто ещё сомневаясь, действительно ли нет беды.

— Какая же беда, когда он сам просил и ждёт. Я уж вам сколько раз повторял.

Глажиевский оделся, и они пошли. Всю дорогу Глажиевский расспрашивал о привычках Мерцалова; говорил, что он человек не светский, не умеет ни войти, ни поклониться, ни говорить с незнакомыми людьми. Чудов отвечал ему, что с Мерцаловым нужно вести себя просто и больше ничего!

Когда они взошли на лестницу и Чудов взялся за звонок, — Погодите! — произнёс Глажиевский таким судорожным, резким голосом, что Чудов испугался и невольно принял руку со звонка.

— Что с вами?

— Нет, ей-Богу... нет... я решительно сообразил, что мне не должно идти. Я не пойду! Идите одни, — говорил Глажиевский таким голосом, как будто Чудов был посланником ада, пришедшим тащить его в царство тьмы.

И он бросился с лестницы.

— Как хотите! — отвечал взбешённый Чудов. — Мне всё равно; только смотрите: Мерцалов рассердится; он человек жёлчный, раздражительный...

— Рассердится!

Не успел Чудов договорить последнего слова, как Глажиевский стоял уже рядом с ним и искал звонок: ручка его была с другой стороны двери, чего он не видал, хотя смотрел во все глаза. Эти глаза и вообще вся физиономия Глажиевского походила на тучу, уже раз-

решившуюся всем тем, о чём было сказано выше; серый осенний день был в полном разгуле; вглядываясь в неё, можно было даже слышать визгливое и жалобное завывание ветра, сопровождающее осенние непогоды... (*Некрасов, 1922. С. 46–48.*)

ДОСТОЕВСКИЙ

И вот (это, стало быть, уже на третий день[1]) меня привели к нему. (Дневник писателя, 1877, январь.)

Русский человек на rendez-vous[2]

Из неоконченной повести Н.А. НЕКРАСОВА

Чудов <Некрасов> только тогда понял долгую нерешительность Глажиевского <Достоевского>, когда увидел, до какой изумительной степени автор «Каменного Сердца» <«Бедных людей»> оробел, представ пред грозные очи критика. В минуты сильной робости он имел привычку съёживаться, уходить в себя до такой степени, что обыкновенная застенчивость не могла подать о состоянии его ни малейшего понятия. Оно могло быть только охарактеризовано им же самим изобретённым словом «стушеваться», которое и пришло теперь в голову Чудову. Лицо его всё вдруг ссовывалось, глаза исчезали под веками, голова уходила в плечи; голос, всегда удушливый, окончательно лишался ясности и свободы, звуча так, как будто гениальный человек находился в пустой бочке, недостаточно наполненной воздухом, и притом его жесты, отрывочные слова, взгляды и беспрестанные движения губ, выражающих подозрительность и опасение, имели что-то до такой степени трагическое, что смеяться не было возможности. (*Некрасов, 1922. С. 48*).

ДОСТОЕВСКИЙ

Помню, что на первый взгляд меня очень поразила его наружность, его нос, его лоб; я представлял его себе почему-то совсем другим — «этого ужасного, этого страшного критика». (*Дневник писателя, 1877, январь.*)

К.Д. КАВЕЛИН

Белинский был небольшого роста, очень невзрачен с виду, сутуловат и страшно застенчив и неловок. Наружность его доказывала, что его воспитание и жизнь прошли вдали от светских кружков. Значительна была его голова и в ней особенно глаза. Несмотря на весьма некрасивые плоские волосы, прекрасно сформированный интеллигентный лоб бросался в глаза. Глаза большие, серые, страшно проницательные, загорались и блестели при малейшем оживлении. <...> Ходил он большими шагами, слегка спускаясь, как бы приседая при каждом шаге. Сморкался и кашлял он чрезвычайно громко и неизящно. Вечно бывал он нервно возбужден или в полной нервной атонии и расслаблении. (*Собр. соч. Т. III. Стб. 1095–1096.*)

И.А. ГОНЧАРОВ

И в то же время он <Белинский> боялся шпионов, и сколько был доверчив к приятелям, даже ко всем вхожим к нему лицам, к которым привык, столько же боялся новых людей, косился на них, подозревая предательство. (*Четыре очерка. СПб., 1881. С. 195.*)

И.И. ПАНАЕВ

Вообще Белинский не терпел разнородного, малознакомого и большого общества. Он даже, бывало, при появлении в нашем обычном кружку какого-нибудь незнакомого лица изменялся мгновенно, впадал в дурное расположение духа и переставал говорить. (*Современник. 1860. № 1. С. 360.*)

ДОСТОЕВСКИЙ

Он встретил меня чрезвычайно важно и сдержанно. «Что ж, так оно и надо», — подумал я, но не прошло, кажется, и минуты, как всё преобразилось: важность была не лица, не великого критика, встречающего двадцатидвухлетнего начинающего писателя, а, так сказать, из уважения его к тем чувствам, которые он хотел мне излить как можно скорее, к тем важным словам, которые он чрезвычайно торопился мне сказать. Он заговорил пламенно, с горящими глазами: «Да вы понимаете ль сами-то, — повторял он мне несколько раз и вскрикивая по своему обыкновению, — что это вы такое написали!» Он вскрикивал всегда, когда говорил в сильном чувстве. «Вы только непосредственным чутьём, как художник, это могли написать, но осмыслили ли вы сами-то всю эту страшную правду, на которую вы нам указали? Не может быть, чтобы вы в ваши двадцать лет уж это

[1] Таким образом, если верить Достоевскому, его знакомство с Белинским после ночного визита Некрасова и Григоровича состоялось почти немедленно. (Что подтверждает наше предположение о сконцентрированности событий на первой неделе июня.) Тогда те многочисленные подробности, которые приводит в своей повести Некрасов, есть скорее всего результат позднейшего художественного обобщения.

[2] Свидание (*фр.*). Эта встреча — первое вхождение Достоевского в круг Белинского, начало того драматического диалога, который — в личном плане — завершится через 35 лет, на московском бульваре, последней встречей с И.С. Тургеневым. Надеемся, читатель не осудит нас за одинаковые названия глав, трактующие оба эти события. (*См.: Волгин И.Л. Последний год Достоевского. С. 401*).

понимали. <...> Вы до самой сути дела дотронулись, самое главное разом указали. Мы, публицисты и критики, только рассуждаем, мы словами стараемся разъяснить это, а вы, художник, одною чертой, разом в образе выставляете самую суть, чтоб ощупать можно было рукой, чтоб самому нерассуждающему читателю стало вдруг всё понятно! Вот тайна художественности, вот правда в искусстве! Вот служение художника истине! Вам правда открыта и возвещена как художнику, досталась как дар, цените же ваш дар и оставайтесь верным и будете великим писателем!..» (*Дневник писателя. 1877, январь.*)

И.И. ПАНАЕВ

Когда к нему <Белинскому> привезли Д<остоевского>, он встретил его с нежною, почти отцовскою любовью, и тотчас же высказался перед ним весь, передал ему вполне свой энтузиазм.

Открытее, искреннее и прямее Белинского я не знал никого. (*Современник. 1860. № 1. С. 369.*)

И.А. ГОНЧАРОВ — К.Д. КАВЕЛИНУ. 25 марта 1874. Петербург

О недостатках Белинского, я знаю, будет большая речь впереди. Ему не простят так же снисходительно, как прощаем мы, его почитатели, пристрастие его к друзьям, где у него строгость сознания и суда уступала сердцу (он хвалил преувеличенно Панаева, Брянского и почти всех, кто был ему близок), ибо мы знаем, что это были уступки, мягкость сердца, и что других уступок он не сделал бы за миллионы — подкупить или обмануть его можно было только симпатией: более ничем он не подкупался. (*Лит. наследство. Т. 56. С. 263.*)

И.А. ГОНЧАРОВ

Его <Белинского> подкупали симпатии к близким или хорошим людям, к своему кружку — и он грешил не совестью, а мягкостью сердца. Упомяну о некоторых примерах. Между прочим он хвалил повести Панаева и однажды только, как-то нехотя, почти шёпотом, сказал мне уныло: «творчества у него ни капли нет». <...>

Он смешивал приятеля с его сочинением, что, повторяю, у него было грехом его сердца, а не совести и эстетического вкуса. (*Четыре очерка. С. 207.*)

ДОСТОЕВСКИЙ

Это была самая восторженная личность из всех мне встречавшихся в жизни. (*Дневник писателя, 1873.*)

Из неоконченной повести Н.А. НЕКРАСОВА

<...> простой и ласковый приём Мерцалова <Белинского>, а особенно похвалы, которыми он не замедлил осыпать «Каменное Сердце» <«Бедных людей»>, скоро возвратили Глажиевскому <Достоевскому> употребление способностей. Он даже перешёл в другую крайность: вздумал щегольнуть развязностью, промурлыкал какой-то стих из песенки и рассказал анекдот о своём Терентии, который, по незнанию грамоты, съел какой-то пластырь, прописанный ему для наружного употребления. Анекдот был не забавен, а изложение его отличалось деланностью и двумя-тремя натянутыми сарказмами.

— Ну, Бог с ним, с вашим Терентьем, — заметил Мерцалов. — А вот скажите мне, долго ли вы писали ваше «Каменное сердце»?

Глажиевский несколько смешался.

— Я?.. Не долго...

— А как?

Глажиевский не вдруг отвечал:

— Да как? Начал я его в мае... а кончил, кончил... в том же году.

Чудову <Некрасову> такой ответ показался несколько странным; ещё недавно Глажиевский сказал ему, что писал свой роман четыре года и шестнадцать раз переписывал.

«Неужели он, — подумал Чудов, — стыдится перед Мерцаловым сказать правду!»

— Скоро! — заметил Мерцалов. — Впрочем, в деле творчества время ничего не значит. Пушкин писал некоторые свои произведения необыкновенно скоро, другие, напротив, доставались ему, по-видимому, с огромным трудом: мне случалось видеть рукопись некоторых глав «Онегина»: исчёркано, перечёркнуто по десять раз каждое слово, — а результат один: и то, что написалось скоро, и то, что писано долго и с напряжённым трудом, читается одинаково легко, с одинаковым наслаждением. И то и другое одинаково гениально! Байрон вообще писал очень скоро. «Манфреда» своего написал он в двадцать два дня, а некоторые песни «Дон Жуана» стоили ему не более одной ночи. Наш Гоголь пишет, говорят, трудно, по нескольку раз переставляя одно слово, — его рукописи тарабарская грамота, а можно ли заметить, читая его плавную, текучую, картинную прозу, что она стоила автору таких усилий? Я имею автографы и целые рукописи многих замечательных писателей. Хотите видеть?

Мерцалов говорил добродушно, не думая о впечатлении, которое производят его слова, но если б он следил за лицом Глажиевского, он увидел бы, что не только его слова и автографы великих людей занимали слушателя, сколько то обстоятельство, что он, великий

русский критик, по поводу его, Глажиевского, заговорил о Пушкине, Байроне и Гоголе, — лицо автора «Каменного Сердца» всего красноречивее выражало чувства, возбуждённые в нём таким лестным сближением; по этому лицу Чудов, уже начинавший понимать Глажиевского, тотчас догадался, в чём дело!

— Какой умный человек! — сказал он Чудову, когда Мерцалов ушёл за автографами, — и как удивительно, как тонко понимает изящное! Вот настоящий критик!

Мерцалов был действительно умный человек, но ум его, конечно, проявлялся не в таких сценках и обстоятельствах. Он очень скоро сбился с роли, которую думал выдержать, приняв твёрдое намерение быть умеренным в похвалах. Довольно было одной фразы Глажиевского, сказанной необыкновенно кротким тоном смирения:

— Вы, кажется, преувеличиваете достоинства моего романа!

И добродушный Мерцалов, вспыхнув, принялся доказывать, почему считает «Каменное Сердце» художественным, великим, гениальным произведением. (*Некрасов, 1922. С. 48–50.*)

И.А. ГОНЧАРОВ

Как безмолвных, так и слишком горячих собеседников, каким он был сам, он <Белинский>, кажется, не любил, что и понятно. (*Четыре очерка. С. 210.*)

Из неоконченной повести Н.А. НЕКРАСОВА

Глажиевский <Достоевский> время от времени бросал словечко (не без умыслу, как начинало казаться Чудову <Некрасову>), которое производило действие масла, влитого в огонь: Мерцалов <Белинский> горячился всё более и забывал всякую умеренность в выражениях, повторяя снова и торжественно вчерашнюю фразу, что он за «Каменное Сердце» <«Бедных людей»> не возьмёт всей русской литературы!

— Да вот увидите: я буду писать: тогда только раскроется всё великое художественное значение «Каменного Сердца». Это такой роман, о котором можно написать целую книгу вдвое толще его самого!

— Полноте, Григорий Александрович! Вы, право, так ко мне добры — да что ж тут напишешь! Признаюсь, приведись на меня, я не нашёл бы, чем наполнить и коротенькую рецензию. Похвала коротка, — а если растянуть её, выйдет однообразно...

— Это только доказывает, — не без маленькой гордости отвечал Мерцалов, — что вы не критик и взялись бы не за своё дело. Разбирать

подобное произведение значит выказать его сущность, значение, при чём легко можно обойтись и без похвалы: дело слишком ясно и громко говорит само за себя: но сущность и значение подобного художественного создания так глубоки и многозначительны, что в рецензии нельзя только намекнуть на них.

— Ну, это ваше дело, ваше дело, — отвечал Глажиевский, давая знать, что он совершенно убеждён доводами критика. Беседа в этом роде продолжалась ещё часа полтора. (*Некрасов, 1922. С. 50.*)

ДОСТОЕВСКИЙ

Я вышел от него в упоении. Я остановился на углу его дома, смотрел на небо, на светлый день, на проходивших людей и весь, всем существом своим, ощущал, что в жизни моей произошёл торжественный момент, перелом навеки, что началось что-то совсем новое, но такое, чего я и не предполагал тогда даже в самых страстных мечтах моих. (А я был тогда страшный мечтатель.) «И неужели вправду я так велик», — стыдливо думал я про себя в каком-то робком восторге. О не смейтесь, никогда потом я не думал, что я велик, но тогда — разве можно было это вынести! «О, я буду достойным этих похвал, и какие люди, какие люди! Вот где они! Я заслужу, постараюсь стать таким же прекрасным, как и они; пребуду “верен”! О, как я легкомыслен, и если б Белинский только узнал, какие во мне есть дрянные, постыдные вещи! А все говорят, что эти литераторы горды, самолюбивы. Впрочем, этих людей только и есть в России, они одни, но у них одних истина, а истина, добро, правда всегда побеждают и торжествуют над пороком и злом, мы победим; о к ним, с ними!» <...>

Эта была самая восхитительная минута во всей моей жизни. Я в каторге, вспоминая её, укреплялся духом. (*Дневник писателя, 1877, январь.*)

Прочие сведения, относящиеся к лету от Р. Х. 1845

Н.А. НЕКРАСОВ — А.В. НИКИТЕНКО. 7 июня 1845. Петербург

Милостивый государь Александр Васильевич!

К 1846 году я собираю альманах, в котором примут участие Панаев, Белинский, А. Майков, Тургенев, Огарев и др.

Вы ко мне добры и это даёт мне смелость просить вас взять на себя цензуру этого альманаха. К тем статьям, которые уже у Вас, препровождаю поэму Тургенева «Помещик» и роман г. Достоевского «Бедные люди» (роман — чрезвычайно замечательный, как вы увидите, прочитав рукопись). Покорнейше Вас прошу просмотреть эти рукописи (хоть к сентябрю месяцу, ради бога!) и отдать Белинскому; по времени будут доставлены Вам и остальные.

Альманах мой будет называться «Первое января».

Для меня это дело важно; я издержал на него последние свои деньжонки и основываю на нём кое-какие надежды — вот всё, что могу сказать в извинение моей докучливой просьбы. <...>

Я уезжаю из Петербурга, и это лишает меня удовольствия быть у Вас лично. (*Некрасов Н.А. Полн. собр. соч. Т. X. М., 1960. С. 43.*)

А.М. КОНЕЧНЫЙ (установлено по спискам пассажиров в «Revalsche Wochentliche Nachrichten»)[1]

Июня 9 <1895 г.>. Фёдор Д<остоевск>ий прибыл пароходом в Ревель к брату. (*Достоевский и его время. Л., 1971. С. 283.*)

ДОСТОЕВСКИЙ

<...> в этом же 1845 году я и начал летом, уже после знакомства с Белинским, эту вторую мою повесть «Двойник, приключения господина Голядкина». (*Дневник писателя, 1877, ноябрь.*)

Первое отступление о цензоре А.В. Никитенко (Примечание к предыдущей главке)

Н.В. ГОГОЛЬ — П.А. ПЛЕТНЁВУ. 8/20 октября 1846. Франкфурт

С Никитенком можно ладить, но с ним необходимо нужно иметь дело лично. Письмом и запиской ничего с ним не сделаешь. В нём не то главное, что он ленив, но то, что он не видит и не чувствует сам, что он ленив. Я это попытал: в бытность мою в Петербурге я его заставил в три дня прочесть то, что он не прочёл бы сам по себе два месяца. А после моего отъезда всякая небольшая статья залёживалась у него по месяцу. На него нужно серьёзно насесть и на все приводимые им причины отвечать одними и теми же словами: «Послушайте, всё это, что вы говорите, так и могло бы иметь место в другом деле, но вспомните, что всякая минута замедления расстраивает совершенно все обстоятельства автора книги. <...> подписуйте твёрдо и теперь же листки, потому что типография ждёт, а времени и без того уже упущено довольно». <...> Как кремень, крепись, верь в бога, двигайся вперёд — и всё тебе уступит! (*Гоголь Н.В. Полн. собр. соч. М., 1937–1952. Т. XIII. С. 112–113.*)

Ф.В. БУЛГАРИН — А.В. НИКИТЕНКО. 15 октября 1845. Петербург

Почтеннейший и добрейший Александр Васильевич!

[1] «Ревельские недельные известия» (*нем.*).

Если б вы знали, сколь важно для меня в моих семейных делах скорый выход в свет моих «Воспоминаний», то по душевной доброте вашей и по всегдашней ко мне благосклонности, невзирая на многочисленность ваших занятий — прочли бы скоро мою рукопись. <...>

Отче мой, не оставь меня всуе! (*Рус. старина. 1900. № 1. С. 178–178.*)

Ф.В. БУЛГАРИН — А.В. НИКИТЕНКО. 28 октября 1845. Петербург

Отец и командир, Александр Васильевич! <...>

Ольхин, мой полномочный посол, сказал мне, что вы хотели возвратить рукопись в понедельник.

Благоволите же назначить, в котором часу явиться мне к вам! Ой, нужно, нужно, нужно!

Отче! я пред вами аки овца — не спорю и не прекословлю, но смирно вытягиваю выю. <...>

Господи, вскуе мя создал еси! Душевно преданный Ф. Булгарин. (*Рус. старина. 1900. № 1. С. 179.*)

Ф.В. БУЛГАРИН — А.В. НИКИТЕНКО. 29 октября 1845. Петербург

Отец и командир Александр Васильевич!

В понедельник «зван быхъ и приидохъ» — с утра посылал посланца, а ввечеру сам явился, хотя и знал, что услышу роковое: дома нет!

Сжалься, ах, отец родной!
Над несчастным сиротой.
Прекрати мои стенанья,
Возврати «Воспоминанья»!

(*Рус. старина. 1900. № 1. С. 179.*)

Н.В. Гоголь — П.А. ПЛЕТНЁВУ. 4/16 октября 1846. Франкфурт.

Скорбно мне слышать происшедшие неустройства от медленности Никитенки. <...> Никитенко ленив, даже до невероятности, но у него добрая душа, и на него особенно следует наседать лично. (*Гоголь. XIII. С. 110.*)

В.Г. БЕЛИНСКИЙ — А.И. ГЕРЦЕНУ. 14 января 1846. Петербург

Цензоров у нас мало, а работы у них гибель, оттого они страшно задерживают рукописи. (*Белинский. XIV. С. 256.*)

Из дневника А.В. НИКИТЕНКО. Запись 1 сентября 1845 г.

Отдал лично графу Клейнмихелю мою «Теорию деловой словесности», которую написал на даче летом по его поручению. (*Дневник. 1. С. 293.*)

Въезд с Невы

А.М. КОНЕЧНЫЙ (по спискам пассажиров в «Revalsche Wochentliche Nachrichten»)

Сентября 1 <1845 г.>. Фёдор Д<остоевск>ий отбыл пароходом из Ревеля в Петербург. (*Достоевский и его время. С. 283.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 4 сентября 1845[1]. Петербург

Сказать тебе, возлюбленный друг мой, сколько неприятностей, скуки, грусти, гадости, пошлости было вытерпено мною во время дороги и в первый день в Петербурге — свыше пера моего. Во-первых, простившись с тобою и с милой Эмилией Фёдоровной, я взошёл на пароход в самом несносном расположении духа. Толкотня была страшная, а моя тоска была невыносимая. Отправились мы в двенадцать часов с минутами первого. Пароход полз, а не шёл. Ветер был противный, волны хлестали через всю палубу; я продрог, прозяб невыносимо и провёл ночь неописанную, сидя и почти лишаясь чувств и способности мыслить. Помню только, что меня раза три вырвало. На другой день ровно в четыре часа пополудни пришли мы в Кронштадт, то есть в 28 часов. Прождав часа три, мы отправились уже в сумерках на гадчайшем, мизернейшем пароходе «Ольга», который плыл часа три с половиною в ночи и в тумане. Как грустно было мне въезжать в Петербург. Я смутно перечувствовал всю мою будущность в эти смертельные три часа нашего въезда. Особенно привыкнув с вами и сжившись так, как будто бы я целый век уже вековал в Ревеле, мне Петербург и будущая жизнь Петербургская показались такими страшными, безлюдными, безотрадными, а необходимость такою суровою, что если б моя жизнь прекратилась в эту минуту, то я, кажется, с радостию бы умер. Я, право, не преувеличиваю. Весь этот спектакль решительно не стоит свечей. <...>

Ах, брат, какое грустное дело одиночество, и я начинаю тебе теперь завидовать. Ты, брат, счастлив, право, счастлив, сам не зная того. (*ПСС. XXVIII. I. С. 110–111.*)

ДОСТОЕВСКИЙ. Двойник. Приключения господина Голядкина

Было без малого восемь часов утра, когда титулярный советник Яков Петрович Голядкин очнулся после долгого сна, зевнул, потянулся и открыл наконец совершенно глаза свои. Минуты с две, впрочем, лежал он непо-

[1] Датировка наша.

движно на своей постели, как человек не вполне ещё уверенный, проснулся ли он совершенно, или всё ещё спит, наяву ли и в действительности ли всё то, что около него теперь совершается, или — продолжение его беспорядочных сонных грёз. <...> Наконец, серый осенний день, мутный и грязный, так сердито и с такой кислой гримасою заглянул к нему сквозь тусклое окно в комнату, что господин Голядкин никаким уже образом не мог более сомневаться, что он находится не в тридесятом царстве каком-нибудь, а в городе Петербурге, в столице<...> в собственной квартире своей. (*Отеч. записки. 1846. № 2. Отд. 1. С. 260.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 4 сентября 1845. Петербург

Я теперь настоящий Голядкин, которым я, между прочим, займусь завтра же. <...>

Голядкин выиграл от моего сплина. Родились две мысли и одно новое положение. Ну, прощай, мой голубчик. Послушай, что-то с нами будет лет через двадцать? Не знаю, что со мной будет; знаю только, что я теперь мучительно чувствую. (*ПСС. XXVIII. I. С. 112.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 8 октября 1845. Петербург

Любезнейший брат.

До сих пор не было у меня ни времени, ни расположения духа уведомить тебя о чём-нибудь до меня касающемся. Так всё было скверно и гадко, что самому тошно было глядеть на свет божий. Во-первых, дражайший, единственный друг мой, всё это время я был без копейки и жил на кредит, что весьма скверно. Во-вторых, было вообще как-то грустно, так что поневоле опадаешь духом, не заботишься о себе и становишься не безмозгло равнодушным, но, что хуже этого, переходишь за предел и бесишься и злишься до крайности. <...>

Вообще говоря, будущность (и весьма недалёкая) может быть хороша и может быть и страх как дурна. (*ПСС. XXVIII. I. С. 112–113.*)

В. ГРИГОРОВИЧ

После знакомства с Некрасовым и через него с Белинским, который прочёл рукопись «Бедных людей», с Достоевским произошла заметная перемена. Во время печатания «Бедных людей» он постоянно находился в крайнем нервном возбуждении. (*Рус. мысль. 1893. № 1. С. 11–12.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 19 октября 1845. Петербург

Нужно тебе знать, что Белинский две недели тому назад прочёл мне полное наставление, каким образом можно ужиться в нашем литературном мире, и в заключение объявил мне, что я непременно должен, ради спасения души своей, требовать за мой печатный лист не менее 200 р. асс<игнациями>. (*ПСС. XXVIII. I. С. 112.*)

А.Я. ПАНАЕВА

Белинский находил, что тем литераторам, которые имеют средства, не следует брать денег с Некрасова. Он проповедовал, что обязанность каждого писателя помочь нуждающемуся собрату выкарабкаться из затруднительного положения <...>. Герцен, Панаев, Одоевский и даже Соллогуб отдали свои статьи без денег. Кронеберг и другие литераторы сами очень нуждались; им Некрасов заплатил <...>. (*Ист. вестник. 1889. № 3. С. 568–569.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 8 октября 1845. Петербург

Терзаемый угрызениями совести, Некрасов забежал вперёд зайцем и к 15 генварю обещал мне 100 руб. серебром за купленный им у меня роман «Бедные люди». Ибо сам чистосердечно сознался, что 150 р. сереб<ром> плата не христианская. И посему 100 р. сереб<ром> набавляет мне сверх из раскаяния. Всё это покамест хорошо. Но вот что скверно. Что ещё равнёшенько ничего не слыхать из цензуры насчёт «Бедных людей». Такой невинный роман таскают, таскают, и я не знаю, чем они кончат. Ну как запретят? Исчеркают сверху донизу?[1] Беда да и только, просто беда, а Некрасов поговаривает, что не успеет издать альманаха, а уж истратил на него 4000 руб. ассиг<нациями>. (*ПСС. XXVIII. 1. С. 112–113.*)

Н.А. НЕКРАСОВ — сестре. 19 октября 1845. Петербург

Теперь я просто без гроша. Затеял предприятие в десять тысяч, имея только четыре, и всякую копейку, какая есть, принуждён отдавать на бумагу, на печать, на картинки и на всякие другие принадлежности. Всё это изготовится только к генварю, и тогда только начнутся деньги, то есть законное вознаграждение за труд и риск. Впрочем, дело идёт успешно, потому что я привлёк к себе в долю по этому предприятию г. Языкова[2], своего ко-

[1] О возможных причинах задержки см. предыдущую главку: они совсем не те, которые воображает Достоевский.

[2] *Языков* Михаил Александрович (не путать с поэтом Н.М. Языковым!) — один из членов кружка Белинского, остроумец, каламбурист, всеобщий доброжелатель

роткого знакомого, имеющего капитал, и чего недостаёт денег, беру у него, разумеется, в ожидании будущих благ, которые, впрочем, очень верны. (*Книга и революция. 1921. № 2. С. 63.*)

Юмор, не оценённый почти никем

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 8 октября 1845. Петербург

Некрасов аферист от природы, иначе он не мог бы и существовать, он так с тем и родился — и посему в день же приезда своего, у меня вечером, подал проект летучему *маленькому альманаху*, который будет созидаться посильно всем литературным народом, но главными его редакторами будем я, Григоров<ич> и Некрасов. <...> Название его «Зубоскал»; дело в том, чтобы острить и смеяться над всем, не щадить никого, цепляться за театр, за журналы, за общество, за литературу, за происшествия на улицах, за выставку, за газетные известия, за иностранные известия, словом, за всё, всё это в одном духе и в одном направлении. <...> Эпиграфом берутся знаменитые слова *Булгарина* из фельетона «Северной пчелы», что «мы готовы умереть за правду, не можем без правды» и т. д., и подпишет Фаддей Булгарин. То же будет написано в объявлении, которое пойдёт 1-го числа ноября. Статьи для 1-го нумера будут Некрасова, о некоторых (разумеется,

и благодетель. «Добр, как агнец, безжёлчен, как голубь, и развратен, как козёл», — говаривал о нём нежно любивший его Белинский. Тургенев удостоил Языкова эпиграммы:

Языков сам столь важный, столь приятный
Меня почтил улыбкой благодатной.

«Доброта его, — замечает Л.Ф. Кони, — была не тем апатичным неделанием зла и сентиментальничаньем, которым дают у нас неправильно кличку доброты, — это была любовь деятельная, тревожная, приходившая на помощь в форме деликатной настойчивости, везде, где только было возможно <...>. Иной уж совсем ослабевал, рискуя махнуть на всё рукой <...> но приходил колеблющеюся походкой своих коротеньких ножек Языков, говорил растроганным голосом, смотрел влажными, умными и добрыми глазами — и вместе с ним приходили помощь, обучение, заработок, служба <...>». (*Кони А.Ф.* За последние годы. СПб., 1898. С. 167). О гостеприимстве Языкова с чувством вспоминает Фет: «Бывало, зимою, поздно засидевшись после обеда, кто-нибудь из собеседников крикнет: “господа! поедемте ужинать к Языкову!” И вся ватага садилась на извозчиков и отправлялась на фарфоровый завод к несчастной жене Языкова, всегда с особенной любезностью встречавшей незваных гостей. Не знаю, как она успевала накормить всех, но часа через полтора или два являлись сытные и превосходные русские блюда, начиная с гречневой каши со сливками и кончая великолепным поросёнком, сырниками и т. д. И ватага отваливала домой, довольная хозяевами и ночной экскурсией» (*Фет А.А.* Мои воспоминания. Ч. 1. М., 1890. С. 133). Достоевский хорошо знал Языкова, хотя, по-видимому, не был с ним особенно близок.

на днях случившихся) *петербург<ских> подлостях*. <...> Обозрение всех журналов. <...> потом последнее заседание *славянофилов*, где торжественно докажется, что Адам был и жил в России, и по сему случаю покажется вся необыкновенная важность и польза разрешения такого великого социального вопроса для благоденствия и пользы всей русской нации. (*ПСС. XXVIII. I. С. 113–114.*)

<ДОСТОЕВСКИЙ>. Объявление об издании «Зубоскала»

«*Зубоскал*» будет отголоском правды, трубою правды, будет стоять день и ночь за правду, будет её оплотом, хранителем, и особенно теперь, когда, с недавнего времени, правда ему страх как понравилась. Впрочем, он иногда и приврёт; отчего же не приврать? Он и приврёт иногда только умеренно. Ведь со всеми случается; все любят приврать иногда; то есть не приврать — что мы! — обмолвились, но этак, знаете, сказать поцветистее. Ну вот и «Зубоскал» точно так же иногда что-нибудь тоже скажет метафорой, но зато если и соврёт, то есть сметафорит, то сметафорит так, что будет совершенно похоже на правду, что выйдет не хуже иной правды, — вот будет так! А впрочем, во всяком случае, будет за правду стоять, до последней капли крови будет за правду стоять![1] (*Отеч. записки. 1845. № 11. Отд. VI. С. 46.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 16 ноября 1845. Петербург

Объявление наделало шуму; ибо это первое явление такой лёгкости и такого юмору в подобного рода вещах. Мне это напомнило 1-й фельетон Lucien de Rubempré[2]. Объявление моё напечатано уже в «Отеч<ественных> записках» в Разных известиях. За него я взял 20 руб. сереб<ром>.

<...>на днях, не имея денег, зашёл я к Некрасову. Сидя у него, у меня пришла идея романа в 9 письмах. Придя домой, я написал этот роман в одну ночь; величина его 1/2 печатного листа. Утром отнёс к Некрасову и получил за него 125 руб. ассиг<нациями>, то есть мой лист в «Зубоскале» ценится в 250 руб. асс<игнациями>. Вечером у Тургенева читался мой роман во всём нашем круге, то есть между 20 челов<еками> по крайней мере, и произвёл фурор[1]. Напечатан он будет в 1-м номере «Зубоскала». Я тебе пришлю книгу к 1-му декабря, и вот ты сам увидишь, хуже ли это, нап<ример>, «Тяжбы» Гоголя? Белинский сказал, что он теперь уверен во мне совершенно, ибо я могу браться за совершенно различные элементы. <...>

С будущим письмом пришлю «Зубоскала». Белинский говорит, что я профанирую себя, помещая свои статьи в «Зубоскале». (*ПСС. XXVIII. 1. С. 115–116.*)

Д.В. ГРИГОРОВИЧ

Одна неосторожная фраза в объявлении: «“Зубоскал” будет смеяться надо всем, что достойно смеха», послужила поводом к остановке издания. (Рус. *мысль. 1893. № 1. С. 4.*)

Н.А. НЕКРАСОВ — Н.Х. КЕТЧЕРУ. 2 декабря 1845. Петербург

«Зубоскал», о котором я писал, выходить не будет; почему? *по обстоятельствам, не зависящим от редакции.* <...>

А о себе скажу, что со времени несчастия, постигшего друга моего «Зубоскала», я куда как скучен. (*Некрасов. X. С. 49–50.*)

Из дневника А.В. НИКИТЕНКО. Запись 26 февраля 1845 г.

В цензурном комитете получено высочайшее повеление не дозволять печатать никаких статей о постройках по ведомству путей сообщения без предварительного сношения с главным начальством. У нас всякий отдельный начальник избегает гласности и старается окружить непроницаемым мраком все свои действия. Так, конечно, лучше: во мраке все позволительно. Чудная это вещь русская администрация! (*Дневник. 1. С. 290.*)

П.А. ПЛЕТНЁВ — Я.К. ГРОТУ. 13 апреля 1846. Петербург

<...> взгляни на выписки из гнуснейшей книжонки: «Первое апреля»[2], изданной шайкою Краевского, чтобы потешиться ругательствами над лицами, им враждебными: Булгариным, Погодиным, Шевырёвым <...>. (*Переписка... 2. С. 731.*)

---

[1] До сих пор в литературе не было отмечено, что эта пародия Достоевского на стиль Булгарина перекликается с рассказом князя В.Ф. Одоевского «Живой мертвец» (Отеч. записки. 1844. № 1). Достоевский использует для своей пародии некоторые мотивы этого рассказа, в котором даётся ироническая характеристика булгаринской «Северной пчеле». «Живой мертвец», безусловно, известен Достоевскому, так как именно из этого сочинения взят эпиграф к «Бедным людям». Добавим также, что в стиле объявления сказалось, как думается, влияние «Двойника».

[2] Люсьена де Рюбампре (*фр.*), героя романов Бальзака, преуспевающего журналиста.

[1] «Роман в девяти письмах» будет, как говорилось, напечатан только через год — в первом номере некрасовского «Современника». Но как изменятся суждения! «Достоевского переписка шулеров, к удивлению моему, мне просто не понравилась, — пишет Белинский тому же И.С. Тургеневу 19 февраля 1847 г., — насилу дочёл. Это общее впечатление» (Белинский. XII. С. 335). Взаимное охлаждение «нашего круга» и автора «Бедных людей» немедленно вызывает негативный эстетический резонанс.

[2] Юмористический альманах, изданный Н.А. Некрасовым. В него вошла часть материалов из запрещённого «Зубоскала».

П.А. ПЛЕТНЁВ. «Первое апреля»

<...> мы желали бы знать, для кого всё это печатается? Ужели есть жалкие читатели, которым понравится собрание столь грязных и отвратительных исчадий праздности? Это последняя ступень, до которой могла упасть в литературе шутка, если только не преступление называть шуткою то, чего нельзя назвать публично собственным его именем.

Н.А. НЕКРАСОВ

За «Честол<юбивые> сны»[1]:
Григор<овичу> 50
Дост<оевскому> 25.

(*Жизнь искусства. 1922. 10 января.*)

Авансы и долги

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 8 октября 1845. Петербург

Белинский понукает меня дописывать Голядкина. Уж он разгласил о нём во всём литературн<ом> мире и чуть не запродал Краевскому <...>. (*ПСС. XXVIII. I. С. 113.*)

ДОСТОЕВСКИЙ

Белинский, с самого начала осени 45-го года, очень интересовался этой новой моей работой. Он повестил об ней, ещё не зная её, Андрея Александровича Краевского, у которого работал в журнале, с которым и познакомил меня и с которым я и уговорился, что эту повесть «Двойник» я, по окончании, отдам ему в «Отечественные записки» для первых месяцев наступающего 46-го года. (*Дневник писателя, 1877, ноябрь.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 16 ноября 1845. Петербург

Белинский охраняет меня от антрепренёров. (*ПСС. XXVIII. 1. С.116.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 8 октября 1845. Петербург

<...> мой Голядкин пойдёт по крайней мере в 1500 рублях ассиг<нациями>. <...>

[1] «Как опасно предаваться честолюбивым снам». Коллективное произведение, написанное Некрасовым, Достоевским и Григоровичем и напечатанное в альманахе «Первое апреля».

Яков Петрович Голядкин выдерживает свой характер вполне. Подлец страшный, приступу нет к нему; никак не хочет вперёд идти, претендуя, что ещё ведь он не готов, а что он теперь покамест сам по себе, что он ничего, не в одном глазу, а что, пожалуй, если уж на то пошло, то и он тоже может, почему же и нет, отчего же и нет? Он ведь такой, как и все, он только так себе, а то такой, как и все. Что ему! Подлец, страшный подлец! Раньше половины ноября никак не соглашается окончить карьеру. Он уж теперь объяснился с е<го> превосходительством и, пожалуй, (отчего же нет) готов подать в отставку. А меня, его сочинителя, ставит в крайне негодное положение[1]. (*ПСС. XXVIII. 1. С. 112–113.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 16 ноября 1845. Петербург

Любезный брат.

Пишу к тебе теперь наскоро и тем более, что временем теперь совсем не богат. Голядкин до сей поры ещё не кончен; а нужно кончить непременно к 25-му числу. <...>

На днях Краевский, услышав, что я без денег, упросил меня покорнейше взять у него 500 руб. взаймы. Я думаю, что я ему продам лист <«Двойника»> за 200 руб. асс<игнациями>. <...>

Я думаю, что у меня будут деньги. Голядкин выходит превосходно; это будет мой chef d'oeuvre. <...>

Мои долги на прежней точке. (*ПСС. XXVIII. 11. С. 115–116.*)

Любимец публики

ДОСТОЕВСКИЙ. Униженные и оскорблённые

Ещё задолго до появления его <романа> поднялся шум и гам в литературном мире.

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 8 октября 1845. Петербург

Я бываю весьма часто у Белинского. Он ко мне донельзя расположен и серьёзно видит во мне доказательство перед публикою и оправдание мнений своих. Познакомился я на днях с Кронебергом[2], переводчиком Шекспира. (*ПСС. XXVIII. I. С. 113.*)

[1] Ср. с рец. К.С. Аксакова на с. 627.

[2] Один из авторов некрасовского «Петербургского сборника».

В.Н. МАЙКОВ

Ещё в ноябре и декабре 1845 года все литературные дилетанты ловили и перебрасывали отрадную новость о появлении нового огромного таланта. (*Отеч. записки. 1847. № 1. Отд. V. С. 2.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 16 ноября 1845. Петербург

Ну, брат, никогда, я думаю, слава моя не дойдёт до такой апогеи, как теперь. Всюду почтение неимоверное, любопытство насчёт меня страшное. Я познакомился с бездной народа самого порядочного. Князь Одоевский просит меня осчастливить его своим посещением, а граф Соллогуб рвёт на себе волосы от отчаяния. Панаев объявил ему, что есть талант, который их всех в грязь втопчет. Соллогуб обегал всех и, зашедши к Краевскому, вдруг спросил его: Кто этот Достоевский? Где мне *достать Достоевского*? Краевский, который никому в ус не дует и режет всех напропалую, отвечает ему, что «Достоевский не захочет Вам сделать чести осчастливить Вас своим посещением». Оно и действительно так: аристократишка <зачеркнуто: «мерзавец»> теперь становится на ходули и думает, что уничтожит меня величием своей ласки. Все меня принимают как чудо. <...> Белинский любит меня как нельзя более. (*ПСС. XXVIII. 1. С. 115.*)

И.И. ПАНАЕВ

Появление всякого нового замечательного таланта в русской литературе было праздником для Соллогуба. В Соллогубе не было ни малейшей тени той литературной зависти или того неприятного ощущения при чужом успехе, которые, к сожалению, нередко встречаются в очень талантливых артистах и литераторах... Он был увлечён «Бедными людьми» Достоевского и приставал ко всем нам: — «Да кто такой этот Достоевский? Бога ради покажите его, познакомьте меня с ним!»[1] (*Лит. воспоминания. М., 1950. С. 132.*)

Н.А. НЕКРАСОВ — В.Ф. ОДОЕВСКОМУ. 27 ноября 1845. Петербург

Я виделся с г. Достоевским. Он теперь очень занят и просил меня извинить его перед Вами, что не может быть у вас ранее, как после первого декабря. (*Некрасов. X. С. 48.*)

[1] Ср. со свидетельством Д.В. Григоровича (С. 518 настоящего издания).

А.А. КРАЕВСКИЙ — В.Ф. ОДОЕВСКОМУ. 27 ноября 1845. Петербург

Вот «*Бедные Люди*», сейчас только мною полученные[1]. Даю их вам только на ночь и прошу никому не показывать; завтра *утром* возвратите мне их. (*Рус. старина. 1904. № 6. С. 584.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 8 октября 1845. Петербург

<...> о «Бедных людях» говорит уже пол-Петербурга. (*ПСС. XXVIII. I. С. 113.*)

Из неоконченной повести Н.А. НЕКРАСОВА

Весть о новом гениальном романе, о новом литературном гении с необыкновенной быстротою разнеслась в литературном кружке, центром и светилом которого был Мерцалов <Белинский>.

Приятели, подходившие к нему, не видали его иначе как с рукописью «Каменного Сердца» <«Бедных людей»> в руках, из которой он тотчас начинал читать отрывки, восхищаясь ими и отдавая должную дань удивления таланту автора. (*Некрасов, 1922. С. 50.*)

И.И. ПАНАЕВ. Воспоминания о Белинском

<...> <Белинский> говорил, что «Бедные Люди» обнаруживают громадный, великий талант, что автор их пойдёт далее Гоголя, и прочее. «Бедные Люди», конечно, замечательное произведение и заслуживало вполне того успеха, которым оно пользовалось, но всё-таки увлечение Белинского относительно его доходило до крайности. (*Современник. 1860. № 1. С. 369.*)

И.С. ТУРГЕНЕВ. Воспоминания о Белинском

«Да, — говорил он <Белинский> с гордостью, словно сам совершил величайший подвиг, — да, батюшка, я вам доложу! — не велика птичка — и тут он указывал рукою чуть ли не на аршин от полу — не велика птичка — а ноготок востёр!» — Каково же было моё удивление, когда встретившись вскоре потом с г-м Достоевским — я увидел в нём человека, росту более среднего — во всяком случае выше самого Белинского! — Но в припадке отеческой нежности к новонародившемуся таланту Белинский относился к нему как к сыну, как к своему «дитятке».

Примечание (исключённое И.С. Тургеневым в последующих изданиях). Должно признаться, что прославление свыше меры «Бедных людей» — было одним из первых промахов Белинского и служило доказательством уже начавше-

[1] Речь идёт о рукописи или вёрстке «Бедных людей»: до их выхода из печати остаётся почти два месяца.

гося ослабления его организма. Впрочем — тут его подкупила тёплая демократическая струйка. (*Вестник Европы. 1869. № 4. С. 720–721.*)

И.И. ПАНАЕВ

Около Белинского в Петербурге составлялся мало-помалу небольшой кружок из людей, высоко ценивших его как писателя, глубоко уважавших его как человека. К этому кружку принадлежали между прочими: П.В. Анненков, Кавелин (переехавший в Петербург), А.А. Комаров, М.А. Языков, И.И. Маслов, Н.Н. Тютчев[1] и другие; вскоре к ним присоединились Некрасов и Тургенев и позже Ф.М. Достоевский и Гончаров... Из Москвы часто приезжали В.П. Боткин, Искандер, А.И. Герцен и Огарёв. (*Лит. воспоминания. М., 1950. С. 241.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 16 ноября 1845. Петербург

Я не могу даже раскрыть рта, чтобы во всех углах не повторяли, что Достоев<ский> то-то сказал, Достоев<ский> то-то хочет делать. <...>

У меня бездна идей; и нельзя мне рассказать что-нибудь из них хоть Тургеневу, н<а>п<ример>, чтобы назавтра почти во всех углах Петербурга не знали, что Достоев<ский> пишет то-то и то-то. <...>. Время я провожу весело. Наш кружок пребольшой. <...>.

Эти господа уж и не сознают, как любить меня, влюблены в меня все до одного. (*ПСС. XXVIII. I. С. 115–116.*)

По прочтении — сжечь?

В.Г. БЕЛИНСКИЙ — ДОСТОЕВСКОМУ. Апрель 1846[2]. Петербург

Достоевский, душа моя (бессмертная) жаждет видеть Вас. Приходите, пожалуйста, к нам, вас проводит человек, от которого вы получите эту записку. Вы увидите всё наших, а хозяина не дичитесь, он рад вас видеть у себя.

В. Белинский

(*Голос минувшего. 1915. № 11. С. 21–22.*)

Сообщение Комиссии по разбору бумаг арестованных петрашевцев. 16 мая 1849

По рассмотрении бумаг поручика *Достоевского* не оказалось в них ничего непосредственно относящегося к настоящему делу, но найдены: записка

[1] Заметим, что четверо последних — не литераторы, а «литературные сочувствователи»: без них как тогда, так и теперь литературе не выжить.

[2] Обоснование датировки см. на с. 499–500.

к нему от *Белинского*, заключающая в себе приглашение в собрание у одного лица, с которым он ещё не знаком <...> (*В кн.: Бельчиков Н.Ф. Достоевский в процессе петрашевцев. С. 133.*)

А.Я. ПАНАЕВА

Вдруг ему <В. П. Боткину> вообразилось <...> что в бумагах Достоевского могут найти какую-нибудь записку, писанную к нему года два тому назад, и Боткин озлобленно говорил:

— Не честно, подло не уничтожать записок знакомых. Можно рисковать собой сколько угодно, но других обязан не вмешивать в своё дело. (*Ист. вестник. 1889. № 5. С. 280.*)

Допрос ДОСТОЕВСКОГО Следственной комиссией. 8 июня 1849

<*Вопрос.*> В бумагах ваших найдена записка от Белинского, заключающая в себе приглашение вас в собрание у одного лица, с которым вы ещё не были знакомы. Объясните, какое это собрание, были ль вы на оном, и сколько именно раз.

<*Ответ.*> О записке Белинского решительно ничего не могу припомнить, не знаю, какого она содержания, и теперь только в первый раз узнаю, что у меня была записка от Белинского. Но этими словами я вовсе не хочу отречься от моего знакомства с Белинским.

<...> если я был приглашён куда-нибудь, то не в собрание, а в гости, к какому-нибудь литератору. Но куда? как? — припомнить ничего не могу, потому что о записке совершенно забыл и не знаю её[1]. (*ПСС. XVIII. С. 164–165.*)

Из неоконченной повести Н.А. НЕКРАСОВА

Прощаясь с Глажиевским <Достоевским>, Мерцалов <Белинский> объявил, что надеется очень скоро его увидеть опять у себя.

— На днях я соберу у себя кой-кого из моих приятелей, и мы введём вас в наш литературный круг. Люди все очень хорошие, — я готовлю им хорошее наслаждение: мы прочтем «Каменное Сердце» <«Бедных людей»>.

Через три дня Глажиевский действительно получил записку следующего содержания:

«Любезный Осип Михайлович! У меня собралось сегодня несколько хороших приятелей, они все будут рады познакомиться с автором “Каменного Сердца”, которое вы будете так добры, — прочтёте нам и прочее прочее.

Мерцалов».

[1] Настаивая на тонком терминологическом различении между «собранием» и «гостями», Достоевский тем самым отклоняет довольно неуклюжую попытку шить ему дело.

По прочтении записки лицо Глажиевского вытянулось в длинный вопрос: идти или нет? (*Некрасов, 1922. С. 50–51.*)

Психологическая проза в авторском исполнении

ДОСТОЕВСКИЙ

В начале декабря 45-го года Белинский настоял, чтоб я прочёл у него хоть две-три главы этой повести <«Двойника»>. Для этого он устроил даже вечер (чего почти никогда не делывал) и созвал своих близких. На вечере, помню, был Иван Сергеевич Тургенев, прослушал лишь половину того, что я прочёл, похвалил и уехал, очень куда-то спешил. Три или четыре главы, которые я прочёл, понравились Белинскому чрезвычайно (хотя и не стоили того). Но Белинский не знал конца повести и находился под обаянием «Бедных людей». (*Дневник писателя, 1877, ноябрь.*)

П.В. АННЕНКОВ. Замечательное десятилетие

В доме же Белинского прочитан был новым писателем и второй его рассказ: «Двойник» <...>. Белинскому понравился и этот рассказ по силе и полноте разработки оригинально-странной темы, но мне, присутствовавшему тоже на этом чтении, показалось, что критик имеет ещё заднюю мысль, которую не считает нужным высказать тотчас же. Он беспрестанно обращал внимание Достоевского на необходимость набить руку, что называется, в литературном деле, приобрести способность лёгкой передачи своих мыслей, освободиться от затруднений изложения. Белинский, видимо, не мог освоиться с тогдашней, еще расплывчатой манерой рассказчика, возвращавшегося поминутно на старые свои фразы, повторявшего и изменявшего их до бесконечности и относил эту манеру к неопытности молодого писателя <...>. Но Белинский ошибся: он встретил не новичка, а совсем уже сформировавшегося автора <...>. Достоевский выслушивал наставления критика благосклонно и равнодушно. (*Вестник Европы. 1880. № 4. С. 479.*)

Д.В. ГРИГОРОВИЧ

Белинский сидел против автора, жадно ловил каждое его слово и местами не мог скрыть своего восхищения, повторяя, что один только Достоевский мог доискаться до таких изумительных психологических тонкостей. (*Рус. мысль. 1893. № 1. С. 12.*)

ДОСТОЕВСКИЙ. Из записной тетради 1872–1875 гг.

У Белинского, в восторге слишком известные литераторы <...>. (*ПСС, XXI. С. 264.*)

И.С. АКСАКОВ — родным. 15 декабря 1845. Калуга

Какая деятельность! Множество альманахов должно выйти зимой в том числе один, издаваемый «Отечественными Записками» с компанией <...>. Сии последние нашли новую звезду, какого-то Достоевского, которого ставят чуть ли не выше Гоголя, находя в Гоголе много славянофильского духа!!!!... Ах, Господи Боже мой, всё так гнусно и скверно, а у нас в Москве всё так же пусто бездейственно, что не знаешь, что делать, куда приклонить голову в России! (*Иван Сергеевич Аксаков в его письмах. М., 1888. Ч. 1. Т. 1. С. 312–313.*)

Любовь с первого взгляда

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 16 ноября 1846. Петербург

Вчера я в первый раз был у Панаева и, кажет<ся>, влюбился в жену его. Она умна и хорошенькая, вдобавок любезна и пряма донельзя. (*ПСС. XXVIII. I. С. 116.*)

А.Я. ПАНАЕВА

Достоевский пришёл к нам в первый раз вечером с Некрасовым и Григоровичем <...>. (*Ист. вестник. 1889. № 3. С. 570.*)

А.А. ФЕТ

Это <А. Я. Панаева> была небольшого роста, не только безукоризненно красивая, но и привлекательная брюнетка. Её любезность была не без оттенка кокетства. Её тёмное платье отделялось от головы дорогими кружевами или гипюрами; в ушах у неё были крупные бриллианты, а бархатистый голосок звучал капризом избалованного мальчика. Она говорила, что дамское общество её утомляет и что у неё в гостях одни мужчины. (*Воспоминания. М., 1983. С. 261.*)

В.А. СОЛЛОГУБ

<...> романы Панаева тогда усердно читались, а жена его была одна из самых красивых женщин в Петербурге <...>. (*Ист. вестник. 1886. № 4. С. 86.*)

А.Г. ДОСТОЕВСКАЯ

Я расспрашивала Фёдора Михайловича о его увлечениях, и мне показалось странным, что, судя по его воспоминаниям, у него в молодости

не было серьёзной горячей любви к какой-нибудь женщине. Объясняю это тем, что он слишком рано начал жить умственной жизнью. Творчество всецело поглотило его, а потому личная жизнь отошла на второй план. Затем он всеми помыслами ушёл в политическую историю, за которую так жестоко поплатился. (*Воспоминания. С. 107.*)

С.Д. ЯНОВСКИЙ

Череп же Фёдора Михайловича сформирован был действительно великолепно. Его обширный, сравнительно с величиною всей головы, лоб, резко выделявшиеся лобные пазухи и далеко выдавшиеся окраины глазницы при совершенном отсутствии возвышений в нижней части затылочной кости, делали голову Фёдора Михайловича похожею на Сократову. Он сходством этим был очень доволен, находил его сам и обыкновенно, говоря об этом, добавлял: «А что нет шишек на затылке, это хорошо, значит, не юпошник; верно, даже очень верно, так как я, батенька, люблю не юпку, а, знаете ли, чепчик люблю, чепчик вот такой, какой носит Евгения Петровна (мать Аполлона Николаевича и других Майковых, которую Фёдор Михайлович, да и все мы глубоко почитали и любили), больше ничего; ну и значит верно». (*Рус. вестник. 1885. № 4. С. 806.*)

А.Г. ДОСТОЕВСКАЯ (в передаче Л.П. Гроссмана)

Увлечение Панаевой было мимолетно, но всё же это было единственным увлечением Достоевского в его молодые годы. В доме у них <Панаевых>, где к Фёдору Михайловичу начали относиться насмешливо, неглупая и, по-видимому, чуткая Панаева пожалела Достоевского и встретила за это с его стороны сердечную благодарность и нежность искреннего увлечения. (*В кн.: Гроссман Л.П. Путь Достоевского. Л., 1924. С. 121.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 1 февраля 1846. Петербург

Я был влюблён не на шутку в Панаеву, теперь проходит, а не знаю ещё. (*ПСС, XXVIII, I. С. 118.*)

С.Д. ЯНОВСКИЙ

Здесь же кстати я позволю себе сказать слово о том, что во все времена моего знакомства с Фёдором Михайловичем и во всех моих беседах с ним, я никогда не слыхал от него, чтоб он был в кого-нибудь влюблён или даже просто любил какую-нибудь женщину страстно. До ссылки Фёдора Михайловича в Сибирь я никогда не видал его

даже «шепчущимся», то есть штудирующим и анализирующим характер какой-либо из знакомых нам дам или девиц, что, однако же, по возвращении его в Петербург из Сибири, составляло одно из любимых его развлечений. (*Рус. вестник. 1885. № 4. С. 814–815.*)

Л.Ф. ДОСТОЕВСКАЯ

Удивляются тому, что в период первой молодости, которую большинство людей посвящает любви, у Достоевского не было ни одной женщины. (*Лит. наследство. Т. 86. С. 303.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 16 ноября 1845. Петербург

Минушки, Кларушки, Марианны и т. п. похорошели донельзя, но стоят страшных денег. На днях Тургенев и Белинский разбранили меня в прах за беспорядочную жизнь. (*ПСС. XXVIII. I. С. 116.*)

Л.Ф. ДОСТОЕВСКАЯ

<...> <Достоевский> человек, живший в двадцать лет воздержанно, как святой <...>. Это можно объяснить исключительно аномалией в его физическом развитии. В двадцать лет мой отец был робким школьником <...>. (*Достоевский в изображении дочери... С. 37.*)

А.Я. ПАНАЕВА

С первого взгляда на Достоевского видно было, что это страшно нервный и впечатлительный молодой человек. Он был худенький, маленький, белокурый, с болезненным цветом лица; небольшие серые глаза его как-то тревожно переходили с предмета на предмет, а бледные губы нервно подёргивались. Почти все присутствовавшие тогда у нас уже были ему знакомы, но он видимо был сконфужен и не вмешивался в общий разговор. Все старались занять его, чтобы уничтожить его застенчивость и показать ему, что он член кружка. С этого вечера Достоевский часто приходил вечером к нам: застенчивость его прошла, он даже выказывал какую-то задорность, со всеми заводил споры, очевидно, из одного упрямства противоречил другим. (*Ист. вестник. 1889. № 3. С. 570.*)

ДОСТОЕВСКИЙ

<...> моё первое вступление на литературное поприще, Бог знает сколько лет тому назад; грустное, роковое для меня время. (*Дневник писателя. 1873.*)

Час роковой

ДОСТОЕВСКИЙ. Униженные и оскорблённые

И вот вышел наконец мой роман.

Н.С. АШУКИН (по «Реестрам Санкт-Петербургского цензурного комитета»)

Января 12 <1846 г.>. Ц<ензурное> р<азрешение> книги «Петербургский сборник, изданный Н. Некрасовым». СПб. 1846. (Летопись жизни и творчества Н.А. Некрасова. М. — Л., 1935. С. 66.)

Библиографические и разные известия

В магазине русских книг Ильи Петр<овича> Лоскутова (бывшем М.И. Зайкина), состоящем против Гостиного Двора, подле Императорской Публичной Библиотеки, в доме Генерал-Лейтенанта Балабина, № 28, поступили в продажу: <...>

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ СБОРНИК»,

изданный *Н. Некрасовым*. С политипажными рисунками. СПб., 1846. Цена 4 р. сер. с пересылкою 5 р. с<еребром>. (*Сев. пчела. 1846, 24 января.*)

<А.А. ГРИГОРЬЕВ>

«<Петербургский> Сборник» наделал шуму ещё до своего появления в свет, и этим шумом обязан он сколько роману нового и, сказать правду, блестящего дарования, столько же и голосу одного журнала, который довольно давно уже в нашей литературе *уготовывает* путь почти всему сколько-нибудь замечательному, что в ней появлялось и до сих пор появляется. (*Финский вестник. 1846. № 9 (май). Отд. V. С. 21–22.*)

В.Г. БЕЛИНСКИЙ

<...> наступающий год, — мы знаем это наверное, — должен сильно возбудить внимание публики одним новым литературным именем, которому, кажется, суждено сыграть в нашей литературе одну из таких ролей, какие даются слишком немногим. Что это за имя, чьё оно, чем занимательно, — обо всём этом мы пока умолчим, тем более что всё это сама публика узнает на днях. (*Отеч. записки. 1846, январь. Отд. VI. С.2.*)

С.П. ШЕВЫРЁВ

Нельзя не удивляться деятельности Петербургских литераторов! Любо смотреть! Давно ль вышла «Физиология Петербурга» в двух томах? И вот, вслед за ней, колоссальный «Петербургский Сборник», от которого столу тяжело! 560 страниц довольно мелкого убористого шрифта! Вот огромная повесть: «Бедные люди», нового дебютанта в литературе Г. Фёдора Достоевского! Одна уж эта повесть — целая книга! (*Москвитянин. 1846. № 2. С. 163.*)

П.В. АННЕНКОВ. Молодость И.С. Тургенева

Удивительный был этот 1846 год. По странной случайности к нему относится единовременное появление замечательных памятников русской литературы. Тогда были кончены и опубликованы: «Обыкновенная история» И.А. Гончарова, «Бедные люди» Ф.М. Достоевского, «Антон Горемыка» Д.В. Григоровича — произведения, открывавшие новые дороги талантам и возвещавшие цветение литературы в скором будущем, не оправданное, однако же, событиями и обстоятельствами, вскоре затем наступившими... (*Вестник Европы. 1884. № 2. С. 467.*)

Ф.Б. <Ф. В. БУЛГАРИН>

Из разбора «*Физиологии Петербурга*» читатели наши знают, что Г. Некрасов принадлежит к новой, т. е. *натуральной*, литературной школе, утверждающей, что должно изображать природу без покрова. Мы, напротив, держимся правила <...>: «Природа только тогда хороша, когда её вымоют и причешут». Это, разумеется, относится только к литературе и к художествам, а не к Швейцарским горам и не к Океану. Вскоре будет помещён в «Северной Пчеле» разбор «*Петербургского Сборника*», а мы скажем только предварительно: славны бубны за горами! (*Сев. пчела, 1846. 26 января.*)

Из водевиля П.А. КАРАТЫГИНА «Натуральная школа». 1847

Вихляев <И.И. Панаев>.

Мы, мы натуры прямые поборники,
Гении задних дворов:
Наши герои — бродяги да дворники,
Чернь Петербургских углов!

(*Сев. пчела, 1847. 22 ноября.*)

В.Г. БЕЛИНСКИЙ — А.И. ГЕРЦЕНУ. 26 января 1846. Петербург

Альманах Некрасова дерёт; больше 200 экземпляров продано с понедельника 21 января по пятницу 25-е. (*Белинский. XII. С. 261.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 1 февраля 1846. Петербург

«Бедные люди» вышли ещё 15-го. Ну, брат! Какою ожесточённою бранью встретили их везде! В «Иллюстрации» я читал не критику,

а ругательство. В «Северной пчеле» было чёрт знает что такое. Но я помню, как встречали Гоголя, и все мы знаем, как встречали Пушкина. Даже публика в остервенении: ругают читателей, но 1/4 (да и то нет) хвалит отчаянно. Debats[1] пошли ужаснейшие. Ругают, ругают, ругают, а всё-таки читают. (Альманах расходится неестественно, ужасно. Есть надежда, что через 2 недели не останется ни одного экземпляра.) Так было и с Гоголем. Ругали, ругали его, ругали — ругали, а всё-таки читали и теперь помирились с ним и стали хвалить. Сунул же я им всем собачью кость! Пусть грызутся — мне славу дурачьё строят. (*ПСС. XXVIII. I. С. 117.*)

В.Г. БЕЛИНСКИЙ

А что нового в нашей литературе? Последняя новость в ней — явление нового необыкновенного таланта. Мы говорим о г. Достоевском, который рекомендуется публике «Бедными Людьми» и «Двойником» — произведениями, которыми для многих было бы славно и блистательно даже и закончить своё литературное поприще; но *так* начать — это, в добрый час молвить! что-то уж слишком необыкновенное... Теперь в публике только и толков, что о г. Достоевском, авторе «Бедных Людей»; но слава не бывает без терний, и говорят, что посредственность и бездарность уже точат на г. Достоевского свои деревянные мечи и копья... (*Отеч. записки. 1846, февраль. Отд. VIII. С. 126.*)

<А.А. ГРИГОРЬЕВ>

Другое, резко противуположное этому <«Отечественных записок»> мнение выразилось в одной известной газете, оспоривавшей достоинства почти всякого нового самобытного дарования. Фельетонист этой газеты <...> не только тешился, но и в буквальном смысле бесновался над промахами молодого таланта, над частыми повторениями слов: «маточка вы моя, голубушка вы моя» и т. п., и, разумеется, своими возгласами немало содействовал к распространению и «Сборника» и литературной известности г. Достоевского в читающей публике. (*Финский вестник. 1846. № 9 (май). Отд. V. С. 23.*)

Я. Я. Я. <Л.В. БРАНДТ>

<...> «Северная Пчела» всегда будет на страже чистого вкуса и действительно художественной истины. Известно, что это очень не нравится нашим самозванцам-Гегелям; мы в отчаянии от их немилости, хотя впрочем совершенно здоровы и веселы. (*Сев. пчела. 1846, 28 февраля.*)

[1] Прения, дебаты (*фр.*).

П.И. БАРТЕНЕВ (со слов обер-прокурора Синода Д.В. Толстого)

Государь Александр Николаевич удостоил его <Д.В. Толстого> приглашением к своему столу <в Царском Селе в 1870 г.>. За столом, в присутствии немногих, зашла речь о Русских газетах, и Государь стал вспоминать про былое время, когда он с великим князем Михаилом Павловичем вынуждены были довольствоваться чтением «Северной Пчелы» <...>. «А теперь!» прибавил Государь не без некоторого самоудовольствия. (*Рус. архив. 1882. № 4. С. 242.*)

Хвалы и хулы (робкие опыты плюрализма)

Ф.Б. <Ф.В. БУЛГАРИН>

<...> по городу разнесли вести о новом гении, Г. Достоевском (не знаем наверное, псевдоним или подлинная фамилия[1]), и стали превозносить до небес роман «*Бедные люди*». Мы прочли этот роман и сказали: бедные Русские читатели! (*Сев. пчела. 1846. 1 февраля.*)

В.Г. БЕЛИНСКИЙ — А. И. ГЕРЦЕНУ. 6 февраля 1846. Петербург

Альманах Некр<асова> — дерёт, да и только. Только три книги на Руси шли так страшно: «Мёртвые души», «Тарантас» и «Петербургский сборник». (*Белинский. XII. С. 263.*)

АНОНИМ

Роман <...> не имеет никакой формы и весь основан на подробностях утомительно однообразных, наводит такую скуку, какой нам ещё испытывать не удавалось. Подробности за подробности в романе похожи на обед, в котором вместо супа сахарный горошек, вместо говядины, соуса, жаркого и десерта сахарный горошек. Оно, может быть, и сладко, может быть, и полезно, но в таком смысле, в каком подчивают сластями кондитерских учеников: чтобы поселить отвращение к сахарным произведениям. (*Иллюстрация. 1846, 26 января.*)

П.А. ПЛЕТНЁВ — Я.К. ГРОТУ. 6 февраля 1846. Петербург

Вечером в среду мы читали кое-что из «<Петербургского> сборника». Но всё как-то не по душе. Даже Майков и Тургенев обратились

[1] Булгарин иронически намекает на то, что фамилия Достоевского — «говорящая» (о её происхождении см. главу «Родословное древо»).

в каких-то *Некрасовцев*[1] (имя создателя сборника). Одоевский натянут и в разладе с натурою. <...> В пятницу после обеда был у Балабиных, где нашёл Ильиных. Читали кое-что из Сборника. Ильина защищала Достоевского; но Пётр Иванович в негодовании на скуку его рассказа, и я тоже. (*Переписка Я.К. Грота с П.А. Плетнёвым. СПб., 1896. Т. 2. С. 668–669.*)

Я. Я. Я. <Л. В. БРАНДТ>

Душевно радуясь появлению нового дарования среди бесцветности современной литературы русской, мы с жадностью принялись за чтение романа г. Достоевского и, вместе со всеми читателями, жестоко разочаровались <...>. (*Сев. пчела. 1846. 30 января.*)

О.И. СЕНКОВСКИЙ

<...> уж, видно, не было в виду ничего истинно необыкновенного и стоящего того, чтоб унизить, когда они <«Северная пчела»> так ожесточились на новорождённое дарование автора «Бедных людей». <...> Брань в искусных руках — вещь дорогая: зачем тратить её по-пустому на первые опыты начинающих? Погодите, посмотрите ещё, что будет. (*Библиотека для чтения. 1846. № 3. Отд. VI. С. 2.*)

В.Г. БЕЛИНСКИЙ

Честь и слава молодому поэту, муза которого любит людей на чердаках и в подвалах, и говорит о них обитателям раззолоченных палат: «ведь это тоже люди, ваши братья!» (*Отеч. записки. 1846. № 2. Отд. V. С.9.*)

АНОНИМ

В страшной, сжимающей сердце картине, представляет он <Достоевский> несчастия, претерпеваемые бедным классом нашего общества. <...> Читаешь эти полузабавные, полупечальные страницы: иногда улыбка навернётся на уста; но чаще защемит и заноет сердце, и глаза оросятся слезами. Вы кончите роман, и в душе вашей остаётся тяжкое, невыразимо-скорбное ощущение, — такое, какое наводит на вас предсмертная песня Дездемоны. (*Рус. инвалид. 1846, 10 февраля.*)

О.И. СЕНКОВСКИЙ

Много разных разностей сбирался я сказать об этом произведении благополучно начинающего дарования, которое, если ещё возможно, стоило

[1] Плетнёв, надо полагать, каламбурит: некрасовцы, как известно, — религиозная секта (старообрядцы-поповцы), потомки казаков — участников Булавинского восстания (1707–1709), ушедших в Турцию.

бы спасти добрыми советами и от неминуемой погибели, изготовленной ему предательством рассчитанных восторгов <...>. Погибель под грудою пристрастной хвалы тем ужаснее, что она делает человека смешным навсегда. (*Библиотека для чтения. 1846. № 3. Отд. VI. С. 3.*)

А.А. ГРИГОРЬЕВ

Две вещи сборника произвели общее сильное впечатление: «Бедные люди» и некрасовское стихотворение «В дороге». (*Время. 1862. № 7. Отд. II. С. 16.*)

В.Г. БЕЛИНСКИЙ — А.И. ГЕРЦЕНУ. 19 февраля 1846. Петербург

Пьеса Некр<асова> «В дороге» нисколько не виновата в успехе альманаха. «Бедные люди» — другое дело, и то потому, что о них заранее прошли слухи. (*Белинский. XII. С. 265.*)

Я. Я. Я. <Л.В. БРАНДТ>[1]

Таков «Петербургской сборник», только что изданный Н. Некрасовым <...>. Чем наполнить тут 566 страниц в большую осьмушку? Поневоле пришлось прибегнуть к юмору, повторениям, бесконечному расположению одного и того же <...>. Нынче — в самых обыкновенных, простых положениях насильственно отыскивать, выжимать, так сказать, какую-то небывалую высоко знаменательную, многозначительную сторону, «тонко» (уж больно тонко!) анализировать «внутренний мир» души и сердца, самые характеры возводить в какой-то недосягаемый идеал, вопреки истины и действительности, — другими словами, из мухи делать слона. — «Вот тайна, вот верх, вот торжество искусства!» — восклицают эксцентричные критики. А неопытная молодость обольщается этими мудрёными теориями, и выходит... ничего не выходит, кроме скуки читателей и работы типографскими станками! (*Сев. пчела. I 1846. 30 января.*).

[1] Современник (В. Бурнашев) свидетельствует: «Речь (Л.В. Брандта. — *И.В.*) наставительная и самовосхвалительная, движения медленные и плавные, усмешка, старающаяся быть остроумною и глубокомысленною. Слыл литератором, потому что печатал в журналах различные статейки довольно отрицательных качеств и издал какой-то роман. Он являлся постоянно, словно на службу, к Гречу по четвергам, к Воейкову по пятницам и к Кукольнику по субботам» (Рус. вестник. 1871. № 11. С. 100.). Постоянный критик «Северной пчелы» был, помимо прочего, знаменит тем, что походил на Наполеона: «Брандт сам объяснял своё сходство с Наполеоном I следующим образом: во время бегства своего из России, в 1812 году, Наполеон остановился ночевать в усадьбе матери Брандта, в Литве, и был принят чрезвычайно радушно. Последствием этого пребывания императора у г-жи Брандт и было рождение сына, весьма похожего на великого полководца» (Ист. вестник. 1891. № 3. С. 747).

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 1 февраля 1846. Петербург

До того осрамиться, как «Северная пчела» своей критикой, есть верх посрамления. Как неистово-глупо! Зато какие похвалы слышу я, брат! Представь себе, что наши все и даже Белинский нашли, что я даже далеко ушёл от Гоголя! (*ПСС. XXVIII. I. С. 117.*)

В.Г. БЕЛИНСКИЙ

<...> имя <Достоевского> совершенно неизвестное и новое, но которому, как кажется, суждено играть значительную роль в нашей литературе. (*Отеч. записки. 1846. № 2. Отд. VI. С. 45.*)

В.М. ДОСТОЕВСКАЯ-КАРЕПИНА — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ и его жене. Начало 1846. Москва

Не знаешь ли, милый брат, чего-нибудь о брате Феденьке? Мы от него не имеем ни слуху, ни духу, не знаем, здоров ли он. Напиши, пожалуйста, не хочет ли он опять вступить на службу?.. (*Лит. наследство. Т. 86. С. 370.*)

Брак по любви (экскурс в дела семейные)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 1 февраля 1846. Петербург

Верочка выходит замуж. Знаешь ты это? (*ПСС. XXVIII. I. С.118.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

В декабре 1845 г. я получил письмо от сестры Верочки, что она выходит замуж и что обручение её состоялось 2 декабря 1845 г. с неким господином Александром Павловичем Ивановым, врачом по профессии, и сверх того преподавателем физики и химии во многих казённых учебных заведениях. <...> Прочие же родственники московские жили благополучно по-прежнему. (*Воспоминания... С. 179.*)

В.М. ДОСТОЕВСКАЯ-КАРЕПИНА — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. Весна 1846. Москва

Помолвка её <Веры> была ещё 2 декабря 1845 года, а свадьба — 7 генваря 1846 года. Муж её, Александр Павлович Иванов — очень добрый и умный человек тридцати двух лет <...>. Он так любит и обожает сестру, что весело на них посмотреть. У него есть мать, которая также не наглядится на Верочку; одним словом, она так счастлива, как, кажется, и желать нельзя. (*Лит. наследство. Т. 86. С. 370.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 1 апреля 1846. Петербург

Верочка уже 3 месяца как вышла замуж. Говорят, счастливо. Дядя <А.А. Куманин> дал столько же, сколько и Варе. Пиши дяде. Она вышла за Иванова (его высокоб<лагородие>). Ему 30 лет. Он где-то профессор химии. Мне писала Верочка, говорит, что и тебе тоже. (*ПСС. XXVIII. I. С. 121.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ

Тётушка <А.Ф. Куманина> при виде нас, и в особенности, при виде Верочки, Николи и Сашеньки всегда, бывало, горько расплачется. Прощаясь с нами, она, бывало, всех нас, отдельно каждого, перекрестит, — чего прежде, при жизни маменьки, не случалось; этим она хотела, видимо, заявить, что в отношении к нам принимает на себя все обязанности матери. (*Воспоминания... С. 80.*)

А.Г. ДОСТОЕВСКАЯ

<...> из всех своих родных Фёдор Михайлович особенно любил сестру, Веру Михайловну Иванову, и всю её семью. (*Воспоминания. С. 147.*)

«...Ушёл от Гоголя»?

П.А. ПЛЕТНЁВ — В.А. ЖУКОВСКОМУ. 5 февраля 1846. Петербург

Верно вам пришлёт Соллогуб «Петербургский Сборник». Там есть Достоевского романа «Бедные люди». От него наши Некрасовцы (печатающиеся в альманахе какого-то Некрасова) без ума и говорят, что теперь смерть и Гоголю и всем. Но я пока не думаю этого. (*Сочинения и переписка П.А. Плетнёва. Т. 3. СПб., 1885. С. 570.*)

Н.А. ДОБРОЛЮБОВ

Появление «Бедных людей» было встречено величайшим восторгом всей литературной партии, признавшей Гоголя <...>. (*Современник. 1861. № 9. Отд. II. С. 99.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М. М. ДОСТОЕВСКОМУ. 5 февраля 1846. Петербург

Во мне находят новую оригинальную струю (Белинский и прочие), состоящую в том, что я действую Анализом, а не Синтезом, то есть иду в глубину и, разбирая по атомам, отыскиваю целое. Гоголь же берёт прямо целое и оттого не так глубок, как я. (*ПСС, XXVIII, I. С. 118.*)

С.П. ШЕВЫРЁВ

Но заметно ли оригинальное художественное создание? Решить такой вопрос с первого раза очень трудно. Оригинальность художника определяется формою его созданий. На форме лежит ещё такая резкая, неотразимая печать влияния Гоголева, что мы не видим возможности освобождения. (*Москвитянин. 1846. № 2. С. 169.*)

В.Г. БЕЛИНСКИЙ

С первого взгляда видно, что талант г. Достоевского не сатирический, не описательный, но в высокой степени творческий, и что преобладающий характер его таланта — юмор. Он не поражает тем знанием жизни и сердца человеческого, которое даётся опытом и наблюдением: нет, он знает их, и притом глубоко знает, но a priori[1], следовательно, чисто-поэтически, творчески. Его знание есть талант, вдохновение. Мы не хотим его сравнивать ни с кем, потому что такие сравнения вообще отзываются детством и ни к чему не ведут, ничего не объясняют. Скажем только, что это талант необыкновенный и самобытный, который сразу, ещё первым произведением своим, резко отделился от всей толпы наших писателей, более или менее обязанных Гоголю направлением и характером, а потому и успехом своего таланта. (*Отеч. записки. 1846. Март. Отд. V. С. 7.)*

<А. А. ГРИГОРЬЕВ>

<...> всё, что у Гоголя возводится в единослитный, сияющий перл создания, у Достоевского дробится на искры. (*Финский вестник. 1846. № 9 (май). Отд. V. С. 30.*)

П.А. ПЛЕТНЁВ — Я.К. ГРОТУ. 30 января 1846. Петербург

Я купил «Петербургский Сборник», чтобы сказать о нём слова два в № 2 «Современника». Это альманах, изданный Некрасовым, где вся шайка Сологуба, Краевского и Белинского. Там и хвалёный роман Достоевского «Бедные люди». Он мне почти не понравился, кроме одного места. Всё на тон Гоголя и Квитки. Так утомительно. Однако тебе надо купить его для университетской библиотеки. (*Переписка... 2. С. 663–664.*)

П.А. ПЛЕТНЁВ

В этом романе два элемента поэзии: серьёзный и комический. Первый гораздо более второго носит на себе той *художнической истины*, которая

[1] Умозрительно, до и вне всякого опыта (*лат.*).

так высоко ценится в произведениях таланта. Комическое же здесь как-то изысканно и составляет заметное подражание тону, краскам и даже языку Гоголя и Квитки. (*Современник. 1846. № 2. С. 273.*)

Н.М. ЯЗЫКОВ — Н.В. ГОГОЛЮ. 18 февраля 1846. Москва

Я послал тебе несколько книг: тут всё, что вышло у нас нового, хотя сколько-нибудь любопытного <...>.

В Питере, по мнению «Отечеств <енных> Записок», явился новый гений — какой-то Достоевский; повесть его найдешь ты в сборнике Некрасова. Прочти её и скажи мне твоё мнение: я сам не успел прочесть её, потому что мои здешние благоприятели, читавшие её, не похваляют её! (*Рус. старина. 1896. № 12. С. 640–641.*)

Н.В. ГОГОЛЬ — Н.М. ЯЗЫКОВУ. 9/21 апреля 1846. Рим

Письмо получил, но книг, заключающих наши литер<атурные> новости, не получал, хотя ожида<л> целые две недели после получения письма. <...> Мне бы теперь сильно хотелось прочесть повестей наших нынешних писателей. Они производят на меня всегда действие возбуждающее, несмотря на самую тягость болезненного состояния моего. В них же теперь проглядывает вещественная и духовная статистика России, а это мне очень нужно. Поэтому для меня имеют много цены даже и те повествован<ия>, которые кажутся другим слабыми и ничтожными относительно достоинства художественного. Я бы все эти сборники прочитал с большим аппетитом, но их нет, и не знаю даже, куды и с кем они тобою посланы и когда их получу. (*Гоголь Н.В. Полн. собр. соч. 13. С. 52.*)

П.А. ПЛЕТНЁВ — Н.В. ГОГОЛЮ. 4 марта 1846. Петербург

Не прислал ли тебе Аркадий Россет[1] каких новых Рус<ских> книг? Здесь Белинский с Краевским беснуются <из->за какого-то Достоевского. По мне это пока — ничто. Разве?.. (*Грот К.Я. К переписке Н.В. Гоголя с П.А. Плетнёвым. Неизданные письма 1832–1846 гг. СПб., 1900. С. 20.*)

А.М. ВИЕЛЬГОРСКАЯ — Н.В. ГОГОЛЮ. 18–21 марта 1846. Петербург

A propos[2], Николай Васильевич, с первым фельдъегерем мы вам пошлём повесть Достоевского «Бедные Люди», которая мне очень понравилась. Прочтите её, пожалуйста, и скажите мне ваше мнение. (*Вестник Европы. 1889. № 11. С. 105.*)

[1] Брат А.О. Смирновой-Россет.
[2] Кстати (*фр.*).

Н.В. ГОГОЛЬ — А.М. ВИЕЛЬГОРСКОЙ. 2/14 мая 1846. Генуя

«Бедные люди» я только начал, прочёл страницы три и заглянул в середину, чтобы видеть склад и замашку речи нового писателя (напрасно вы оторвали одних «Бедных людей», а не прислали весь сборник <...>). В авторе «Бедных людей» виден талант, выбор предметов говорит в пользу его качеств душевных, но видно также, что он ещё молод. Много ещё говорливости и мало сосредоточенности в себе: всё бы оказалось гораздо живей и сильней, если бы было более сжато. Впрочем, я это говорю ещё не прочитавши, а только перелистнувши. (*Гоголь. 13. С. 66.*)

С.М. ВИЕЛЬГОРСКАЯ-СОЛЛОГУБ — Н.В. ГОГОЛЮ. 22 июня 1846. Павлино

30 июня отправляется на год в чужие края Михаил Фёдорович Самарин. С ним я вам пришлю сборник, из которого я вырезала «Бедные люди», и ещё другие русские книги. Брат их вам доставит. (*Вестник Европы. 1889. № 11. С. 109.*)

Н.В. ГОГОЛЬ — Н.М. ЯЗЫКОВУ. 9/21 июля 1846. Швальбах

Наконец книги получены <...>. (*Гоголь. 13. С. 89.*)

Н.М. ЯЗЫКОВ — Н.В. ГОГОЛЮ. 24 июля 1846. Москва

Сердечно радуюсь, что книги, мною к тебе посланные, таки дошли, и таким образом моё к тебе преусердие по сей части оправдалось очевидно! Скажи мне твоё мнение о повести Достоевского: питерские критики, щелкопёры, прокричали ему большую похвалу; повесть эта довольно длинная — и мне не хотелось читать наудалую, ты же теперь томимый жаждою русского чтения, прочтёшь и её, какая бы ни была. Плетнёв говорит, что Достоевский из числа твоих подражателей и что разница между тобою и им та же, что <между> Карамзиным и кн. Шаликовым!! Чертовская разница! (*Рус. старина. 1896. № 12. С. 644.*)

А.О. СМИРНОВА-РОССЕТ

В 1848 году[2] печатался роман Достоевского «Макар Девушкин»[1], который огорчил покойника <Н.В. Гоголя>. «А у него есть большой талант, жаль, что его перо пишет без остановки, но без руководства. Макар Девушкин оставляет в душе невыносимое чувство безотрадной грусти». (*Автобиография. М., 1931. С. 308.*)

[1] Так в тексте.

Разные мнения, в том числе не подлежащие оглашению

Верноподданнейший доклад начальника III Отделения гр. А.Ф. ОРЛОВА. 23 февраля 1848

<...> превознося одного Гоголя, писателя натуральной школы, вдались также в чрезмерную крайность; они хвалят только те сочинения, в которых описываются пьяницы, развратники, порочные и отвратительные люди, и сами пишут в этом же роде. Такое направление имеет свою вредную сторону, ибо если все наши литераторы обратятся к подобным сочинениям и публика не будет читать ничего другого, кроме произведений натуральной школы, то в народе, сверх уничтожения чистого вкуса, могут усилиться дурные привычки и даже дурные мысли. (*Николаевские жандармы... С. 176.*)

П.А. ВЯЗЕМСКИЙ

Его <Гоголя> хотели поставить главою какой-то новой литературной школы, олицетворить в нём какое-то чёрное литературное знамя. Таким образом с больных голов на здоровую складывали все несообразности, все нелепости, провозглашаемые некоторыми журналами. На его душу и ответственность обращали все грехи, коими ознаменовались последние годы нашего литературного падения. Как тут было не одуматься, не оглядеться? Как писателю честному не осыпать головы своей пеплом и не отказаться с досадою от торжества, устроенного непризванными и непризнанными руками? (*Санкт-Петербургские ведомости. 1847, 24 апреля.*)

В.Г. БЕЛИНСКИЙ

Что же касается до князя Вяземского, то избавь нас Боже от его критик так же, как и от его стихов. (*Молва. 1836. № 7. С. 176.*)

А.О. СМИРНОВА-РОССЕТ

Я ему <Николаю I> напомнила о Гоголе, он был благосклонен. «У него есть много таланту драматического, но я не прощаю ему выражения и обороты слишком грубые и низкие». — «Читали ли вы “Мёртвые души”?» — спросила я. — «Да разве они его? Я думал, что это Соллогуба». (*Записки, дневник, воспоминания, письма. М., 1929. С. 283.*)

А.С. ПУШКИН — М.П. ПОГОДИНУ. 5 марта 1833. Петербург

Государь <...> при вашем имени было нахмурился — (он смешивает вас с Полевым; извините великодушно; он литератор не весьма твёрдый, хоть молодец, и славный царь). Я кое-как успел вас отрекомендовать, а Д.Н. Блу-

дов всё поправил и объяснил, что между вами и Полевым общего только первый слог ваших фамилий. (*Полн. собр. соч. X. С. 428.*)

П.С. НИКОЛАЕВ

Литература в то время занимала всё общество, да и сам Император Николай Павлович, как известно, очень много читал и очень любил литературу. (*Отдел рукописей ГБЛ, 358. 408. 10, л. 54 об.*)

Н.А. НЕКРАСОВ, И.С. ТУРГЕНЕВ, <И.И. ПАНАЕВ>. Из «Послания Белинского к Достоевскому». Апрель 1846 <?>

<...> Тебя знает Император <...>.

(*Письма К. Дм. Кавелина и Ив.С. Тургенева к Ал. Ив. Герцену. С. 207.*)

Москва слезам не верит

С.П. ШЕВЫРЁВ

Новое имя в литературе — г. Фёдор Достоевский! Молва журнальная трубила в большие трубы перед его появлением. Рассыльщики вестей о петербургской литературе ходили по разным московским гостиным и трубили в маленькие, но звонкие голосистые трубочки, что является звезда первой величины на небе нашей немногозвёздной литературы. Нам кажется, что вся эта суета была напрасна <...>. (*Москвитянин. 1846. № 2. С. 164.)*

Г-н ИМРЕК <К.С. АКСАКОВ>

Г. Достоевский не явил в своей повести, как в целом, художественного таланта. Это, конечно, первая его повесть, но в первых попытках истинного художника почти всегда уже виден его талант и свойство этого таланта, — эта искренность творчества, которая так неотъемлемо принадлежит ему. Но этого мы не видим в повести вообще у г. Достоевского; в ней нет этого бесцельного творчества. <...> Картины бедности являются во всей своей случайности, не очищенные, не перенесённые в общую сферу. Впечатление повести тяжёлое и частное, потому проходящее и не остающееся навсегда в вашей душе. (*Московский литературный и учёный сборник*[1]*. М., 1847, 2-я пагин. С. 29.*)

И.С. АКСАКОВ — родным. 5 августа 1846. Калуга

Я спрашивал «Московский Сборник». Книгопродавец отвечал, что он его не выписывал, *потому что его в «Отечественных Записках» и «Библиотеке*

[1] Печатный орган славянофилов в 1840-е годы.

<для чтения>» не очень хвалят, а «Петербургский Сборник» есть. (*Иван Сергеевич Аксаков в его письмах. I, 1. С. 357.*)

АНОНИМ

В нынешнем году появились два литературные сборника: Петербургский и Московский. Одинаковые по своему объёму, они резко отличаются между собою, как направлением, так и содержанием своих статей. В «Петербургском сборнике» отразилось направление живое, современное; появлением своим он справедливо возбудил всеобщее внимание. В нём мы прочли роман г. Достоевского: «Бедные люди», произведение, замечательное неотъемлемым, самобытным дарованием и много обещающее в будущем <...>. В Московском же сборнике, за исключением весьма, весьма не многих статей, проявилось направление мёртвое, неестественное: в нём раздались какие-то болезненные вопли о том, что уже пора России оторваться от дрыхлого и болезненного Запада <...>. (*Финский вестник. 1846. № 12 (декабрь). Отд. V. С. 77.*)

Из каталога библиотеки П.Я. ЧААДАЕВА

55. Петербургский сборник, изданный Н. Некрасовым <...>. (*Каталог библиотеки П.Я. Чаадаева. М., 1980. С. 24.*)

Н.М. ЯЗЫКОВ. А.С. ХОМЯКОВУ. 1 мая 1845. Москва

Да уничтожится тобою
И общий наш недоброхот[1],
Творец бессмыслиц вопиющих,
Он, тот преследователь блох,
Явлений сущих и со-сущих,
Тот юморист-идеолог,
Всегда водяный и туманный,
Почтенный сеятель клевет,
Начальник шайки бесталанной,
И он, и весь его совет,
И нечестивый и беспутный,
И вся заморская их гиль, —
Всё пропади, как бред минутный,
Как мерзкий сон, как сор и пыль!

[1] В.Г. Белинский.

Н.А. МЕЛЬГУНОВ — М.П. ПОГОДИНУ. 15 февраля 1846. Москва

Читал ли ты «Бедных людей»? Если Ш<евырёв> разбранит их, то я попрошу тебя дать местечко[1] моей защите, где я разберу художественное и общественное значение этого романа. (*Лит. наследство. Т. 86. С. 370.*)

Н.А. МЕЛЬГУНОВ — М.П. ПОГОДИНУ. Февраль 1846. Москва

Павлов, окончив теперь повесть Достоевского «Бедные люди», от неё в восторге. Находит, что даже и я не довольно хвалю её. Попроси его написать на неё рецензию. (*Лит. наследство. Т. 86. С. 370.*)

Из дневника М.П. ПОГОДИНА. Запись 16 февраля 1846 г.

Читал «Петербургский сборник», Достоевский не без достоинства и надежд. А впрочем сколько гадостей. (*В кн.: Барсуков Н.П. Жизнь и труды М.П. Погодина. Кн. 8. СПб., 1894. С. 34*9.)

Робкие опыты плюрализма (продолжение)

В.Г. БЕЛИНСКИЙ

Если б эту повесть приняли все с безусловными похвалами, с безусловным восторгом, — это служило бы неопровержимым доказательством, что в ней точно есть талант, но нет ничего необыкновенного. Такой дебют был бы жалок. Но вышло гораздо лучше: за исключением людей, решительно лишённых способности понимать поэзию, и за исключением, может быть, двух-трёх *испугавшихся* за себя писак, все согласились, что в этой повести заметен не совсем обыкновенный талант. Для первого раза нечего больше и желать. (*Отеч. записки. 1846. март. Отд. V. С. 6.*)

Я. Я. Я. <Л.В. БРАНДТ>

<...> не скажем, чтоб новый автор был совершенно бездарен, но он увлёкся пустыми теориями «принципиальных» критиков, сбивающих у нас с толку молодое, возникающее поколение. <...> Пусть, в дальнейших опытах, он уклонится от соблазна наружного подражания, устранив нелепые теории фокусников искусства, и, может быть, лучше удастся. А на этот раз извините: первый блин комом вышел, гора родила мышь — «слухи» — не оправдались, и даже не

[1] М.П. Погодин издавал журнал «Москвитянин», где вскоре С.П. Шевырёв действительно «разбранит» молодого автора.

очень повредили автору, ибо настроили публику к ожиданию чего-то необыкновенного. (*Сев. пчела. 1846, 30 января.*)

В.Г. БЕЛИНСКИЙ

Смешить и глубоко потрясать душу читателя в одно и то же время, заставить его улыбаться сквозь слёзы, — какое уменье, какой талант! И никаких мелодраматических пружин, ничего похожего на театральные эффекты! Всё так просто и обыкновенно, как та будничная, повседневная жизнь, которая кишит вокруг каждого из нас и пошлость которой нарушается только неожиданным появлением смерти то к тому, то к другому!.. (*Отеч. записки. 1846, март. Отд. V. С. 10.*)

О.И. СЕНКОВСКИЙ

<...> бедный молодой человек! За что вы его так жестоко хвалите, так лестно браните <...> что он вам сделал?.. он, такой скромненький, тихонький, миленький, пригоженький? — он, который даже не смеет говорить ore rotundo[1] и изъясняется всё одними только уменьшительными?.. «в роще щебетали *птички, кустики*, обегавшие *опушку*, были такие *хорошенькие*, такие *весёленькие*, *берёзка* раскидывалась с такими говорливыми трепещущими листочками, что, бывало, невольно, перебежишь *лужайку*, по травке так *гармонически шелестящей* под ножкой...» всё у него миньонное — идеечка самая капельная — подробности самые крошечные — сложок такой чистенький — пёрышко такое гладенькое, — наблюденьице такое меленькое — чувство и страстицы такие нежненькие, такие кружевные, что, прочитавши, невольно воскликнул я: премиленький талантик! <...>. (*Библиотека для чтения. 1846, март. Отд. VI. С. 3.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 1 февраля 1846. Петербург

В публике нашей есть инстинкт, как во всякой толпе, но нет образованности. Не понимают, как можно писать таким слогом. Во всём они привыкли видеть рожу сочинителя; я же моей не показывал. А им и невдогад, что говорит Девушкин, а не я, и что Девушкин иначе и говорить не может. (*ПСС, XXVIII, I. С. 117.*)

О.И. СЕНКОВСКИЙ

Один из моих учёных друзей <А.В. Никитенко>, умный и опытный знаток литературного дела, отнял у меня «Петербургский сборник» и хочет

[1] Складно, стройно (*лат.*).

сам поговорить об нём в другом отделении. Он скажет там всё, что нужно, и обо всём, что заслуживает внимания, и скажет лучше моего. (*Библиотека для чтения. 1846. № 3. Отд. VI. С. 5.*)

А.В. НИКИТЕНКО

Мы понимаем, как одна умная и милая дама могла сказать, сидя за «Петербургским сборником», раскрытым на половине романа «Бедные люди»: «Я плачу, а дочитать не могу». Этот приговор простодушного чувства вернее всякой критической оценки. В самом деле, в романе есть сцены, которые в состоянии тронуть сердце наше до глубины слёз; между тем, прочитав весь роман, вы испытываете впечатление, похожее на то, какое ощущаем после приятной, но утомительной прогулки. (*Библиотека для чтения. 1846. № 3. Отд. V. С. 30.*)

С.П. ШЕВЫРЁВ

Повесть эта сочинена с явными видами филантропическими. В первой половине они довольно искусно прикрыты живым исполнением, но во второй становятся очень заметными. Потому надобно разбирать его с двоякой точки зрения: художественной и филантропической. (*Москвитянин. 1846. № 2. С. 169.*)

А.В. НИКИТЕНКО

Но этот маленький чиновник, этот бедняк, которому общество и не может уделить более благ, как сколько следует существу переписывающему, он вне своей общественной сферы, посреди отношений человеческих, является уже с полным правом на наше уважение и сочувствие. (Библиотека для чтения. 1846. № 3. Отд. V. С. 26.)

В.Г. БЕЛИНСКИЙ

В этой книжке «Отеч<ественных> записок» русская публика прочтёт и ещё роман г. Достоевского: «*Двойник*», — этого слишком достаточно для убеждения, что такими произведениями обыкновенные таланты не начинают своего поприща. (*Отеч. записки. 1846, февраль. Отд. V, С.45.*)

Я. Я. Я. <Л.В. БРАНДТ>

Февральская книжка «Отеч<ественных> Записок», с восторгом, в совершенном экстазе, сжимает в своих объятиях второе произведение нового Русского гения <...>. (*Сев. пчела. 1846, 28 февраля.*)

Новые приключения господина Голядкина

В.Г. БЕЛИНСКИЙ

Как талант необыкновенный, автор нисколько не повторился во втором своём произведении, — и оно представляет у него совершенно новый мир. (*Отеч. записки. 1846, март. Отд. V. С. 18.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 1 февраля 1846. Петербург

Голядкин в 10 раз выше «Бедных людей». Наши говорят, что после «Мёртвых душ» на Руси не было ничего подобного, что произведение гениальное и чего-чего не говорят они! С какими надеждами они все смотрят на меня! Действительно, Голядкин удался мне донельзя. Понравится он тебе, как не знаю что! Тебе он понравится даже лучше «Мёртвых душ», я это знаю. (*ПСС, XXVIII, I. С. 118.*)

П.А. ПЛЕТНЁВ — Я.К. ГРОТУ. 9 февраля 1846. Петербург

Забыл я сказать, что вчера на середовом вечере <...> мы читали новый роман Достоевского из № 2 «Отечественных Записок». И это мне не понравилось, хотя талант виден. Он гоняется за Гоголем. Тут он вывел сумасшедшего — и видно, что хотел уничтожить Гоголевы «Записки сумасшедшего». (*Переписка... 2. С. 671.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 1 апреля 1846. Петербург

У меня есть ужасный порок: неограниченное самолюбие и честолюбие. Идея о том, что я обманул ожидания и испортил вещь, которая могла бы быть великим делом, убивала меня. Мне Голядкин опротивел. Многое в нём писано наскоро и в утомлении. 1-я половина лучше последней. Рядом с блистательными страницами есть скверность, дрянь, из души воротит, читать не хочется. Вот это-то создало мне на время ад, и я заболел от горя. (*ПСС. XXVIII. 1. С. 120*)

В.Г. БЕЛИНСКИЙ

Если б автор «*Двойника*» дал нам перо в руки с безусловным правом исключать из рукописи его «*Двойника*» всё, что показалось бы нам растянутым и излишним, — у нас не поднялась бы рука ни на одно отдельное место, потому что каждое отдельное место в этом романе — верх совершенства. Но дело в том, что таких превосходных мест в «*Двойнике*» уж чересчур много, а одно да одно, как бы ни было оно превосходно, и утомляет и наскучает. <...> Итак, в этом отношении, суд толпы справедлив; но он ложен в вы-

воде о таланте г. Достоевского. Самая эта чрезмерная плодовитость только служит доказательством того, как много у него таланта и как велик его талант. (*Отеч. записки. 1846, март. Отд. V. С. 18–19.*)

Я. Я. Я. <Л. В. БРАНДТ>

Мы не обременяли бы столбцов «Северной Пчелы», терпения читателей и собственного выписками из суждений «Отечественных Записок», если бы, к сожалению, не убедились, что этот журнал в продолжении нескольких лет постоянно напрягает все усилия свои к распространению ложных превратных понятий об искусстве и поэзии, сбивающих с толку молодое поколение и молодых писателей. Пример последнему видим в том же Г. Достоевском, рассказчике не без таланта, но безнадежно увлечённом пустыми и жалкими теориями партии, которая возглашает, что только «новая школа» пишет хорошо, что только её произведения и читаются публикой. (*Сев. пчела. 1846, 1 марта.*)

О.И. СЕНКОВСКИЙ

У одних, говорят, была вакансия гения и они поскорее произвели автора статьи <романа «Бедные люди»> в гении — да ещё в какие! — свет не видывал ничего подобного! — просто превосходит всякое вероятие! <...>. (*Библиотека для чтения. 1846. № 3. отд. VI. С. 2.*)

Я. Я. Я. <Л. В. БРАНДТ>

И эту путаницу слов, эту бессмыслицу выдают нам за огромный талант, за произведение гения! <...>

Что вы на это скажете, читатель, вместе с нами уже знающий, какого сорта гений Г. Достоевского и из какого угла увенчан он *славою*! (*Сев. пчела. 1846, 18 февраля.*)

В.Г. БЕЛИНСКИЙ

Судя по «*Бедным людям*», мы заключили было, что глубоко человечественный и патетический элемент, в слиянии с юмористическим, составляет особенную черту в характере его таланта; но, прочтя «*Двойника*», мы увидели, что подобное заключение было бы слишком поспешно. Правда, только нравственно слепые и глухие могут не видеть и не слышать в «Двойнике» глубоко патетического, глубоко трагического колорита и тона; но, во-первых, этот колорит и тон в «Двойнике» спрятались, так сказать, за юмор, замаскировались им, как в «Записках сумасшедшего» Гоголя <...>. Вообще, талант г. Достоевского, при всей его огромности, ещё так молод, что не может

высказаться и высказаться определённо. (*Отеч. записки. 1846, март. Отд. V. С. 7–8.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 1 апреля 1846. Петербург

Слава моя достигла до апогеи. В 2 месяца обо мне, по моему счёту, было говорено около 35 раз в различных изданиях. В иных хвала до небес, в других с исключениями, а в третьих руготня напропалую. Чего лучше и выше? Но вот что гадко и мучительно: свои, наши, Белинский и все, мною недовольны за Голядкина. <...> Но что всего комичнее, так это то, что все сердятся на меня за растянутость и все до одного читают напропалую и перечитывают напропалую. А один из наших тем только и занимается, что каждый день прочитывает по главе, чтобы не утомить себя, и только чмокает от удовольствия. Иные из публики кричат, что это совсем невозможно, что глупо и писать и помещать такие вещи, другие же кричат, что это с них и списано и снято, а от некоторых я слыхал такие мадригалы, что говорить совестно. (*ПСС. XXVIII. I. С. 119–120.*)

В.Г. БЕЛИНСКИЙ

Что же касается до толков большинства, что «*Двойник*» — плохая повесть, что слухи о необыкновенном таланте его автора преувеличены и т. п. — об этом г. Достоевскому нечего заботиться: его талант принадлежит к разряду тех, которые постигаются и признаются не вдруг. Много, в продолжение его поприща, явится талантов, которых будут противопоставлять ему, но кончится тем, что о них забудут именно в то время, когда он достигнет апогеи своей славы. (*Отеч. записки. 1846. Март.: Отд. V. С. 20.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 1 апреля 1846. Петербург

Явилась целая тьма новых писателей. Иные мои соперники. Из них особенно замечателен Герцен (Искандер) и Гончаров. 1-й печатался, второй начинающий и не печатавшийся нигде. Их ужасно хвалят. Первенство остаётся за мною покамест и надеюсь, что навсегда. Вообще никогда так не закипала литература, как теперь. Это к лучшему. <...>

Никогда ещё не был я так богат деятельностью, как теперь. Все кипит, идёт... Но что-то будет? Прощай, мой возлюбленный. (*ПСС. XXVIII. 1. С. 120–121.*)

«...Из гоголевской "Шинели"»?

С.П. ШЕВЫРЁВ

<...> мы не понимаем, как автор «Бедных людей», повести всё-таки замечательной, мог написать «Двойника» <...>. Это грех против художественной совести, без которой не может быть истинного дарования. Вначале тут беспрерывно кланяешься знакомым из Гоголя: то Чичикову, то Носу, то Петрушке, то индейскому петуху в виде самовара, то Селифану; но чтение всей повести, если вы захотите непременно до конца дочитать её, произведёт на вас действие самого неприятного и скучного кошмара после жирного ужина. (*Москвитянин. 1846. № 2. С. 172–173.*)

П. П. <П.И. ПЕЖЕМСКИЙ>

<...> видно, что г. Достоевский не без таланта, но талант этот, по признанию даже самых жарких поклонников его, принял какое-то утомительное для читателя направление, юмор автора большею частию не в мысли, а в словах, в беспрерывном и несносном повторении одних и тех же выражений, сплошь и рядом скопированных с манеры гоголевского рассказа (недостаток, общий, впрочем, всем последователям так называемой натуральной школы). (*Москвитянин. 1847. № 1. Отд. IV. С. 152.*)

Г-н ИМРЕК <К.С. АКСАКОВ>

В этой повести видим мы уже не влияние Гоголя, а подражание ему <...>. В ней Г. Достоевский постоянно передразнивает Гоголя, подражает часто до такой степени, что это выходит уже не подражание, а заимствование. (*Моск. сборник, 1847. С. 33–34.*)

Ф.Б. <Ф.В. БУЛГАРИН>

Молодые люди не постигают, что спекуляторы, возвышая их для своих видов, — их унижают. Почтенного Господина Гоголя <...> провозгласили Гомером <...>! После Господина Гоголя, приводившего в отчаяние спекуляторов своим молчанием, выдвинули из толпы другого молодого человека, Господина Достоевского, и назвали его *гением, равным* Гоголю, не для пользы Г. Достоевского, а для того только, чтоб обратить внимание публики на тот журнал, где печатались сказки Г. Достоевского. Попытка не удалась! (*Сев. пчела. 1847, 12 апреля.*)

В.Н. МАЙКОВ

И Гоголь и г-н Достоевский изображают действительное общество. Но Гоголь — поэт по преимуществу социальный, а г. Достоевский по преимуществу психологический. Для одного индивидуум важен как представитель известного общества или известного круга; для другого самое общество интересно по влиянию его на личность индивидуума. (*Отеч. записки. 1847, январь. Отд. V. С. 3.*)

Литератор Д.К. МАЛИНОВСКИЙ — Н.В. ГОГОЛЮ. 1–12 апреля 1848. Петербург

Вот не читали вы повести нового писателя Достоевского: «Двойник», там кажется уже слишком пересолено или по крайней мере взят больной человек. По сходству кой в чём героя этой повести со мною я очень его дичился и, признаюсь вам, начал стыдиться того, чего прежде не стыдился. Грубому вкусу наших читателей так и надобно побольше посолить, чтобы они расчухали и начали исправляться. (*Ранний Достоевский. С. 160.*)

А.А. ГРИГОРЬЕВ — Н.В. ГОГОЛЮ. 17 ноября 1848. Москва

<...> вы, вчитываясь в это чудовищное создание <«Двойник»>, уничтожаетесь, мелеете, сливаетесь с его безмерно ничтожным героем — и грустно становится вам быть человеком, и вы убеждаетесь, как будто, что человек только таков и может быть. Какая же тут вина, ответственность, какой суд над собою? Жил червём и умер червём, и дело кончено <...>. (*Григорьев А.А. Собр. соч. М., 1916. Вып. 8. С. 27.*)

К вопросу о даровании

Б.Н. МАЙКОВ

В «Двойнике» манера г. Достоевского и любовь его к психологическому анализу выразились во всей полноте и оригинальности. В этом произведении он так глубоко проник в человеческую душу, так бестрепетно и страстно вгляделся в сокровенную машинацию человеческих чувств, мыслей и дел, что впечатление, производимое чтением «Двойника», можно сравнить только с впечатлением любознательного человека, проникающего в химический состав материи. (*Отеч. записки. 1847. № 1. Отд. V. С. 4–5.*)

В.Г. БЕЛИНСКИЙ

Для всякого, кому доступны тайны искусства, с первого взгляда видно, что в «*Двойнике*» ещё больше творческого таланта и глубины мысли, нежели в «*Бедных людях*». А между тем почти общий голос петербургских читателей решил, что этот роман несносно растянут и оттого ужасно скучен, из чего-де и следует, что об авторе напрасно прокричали и что в его таланте нет ничего необыкновенного!.. (*Отеч. записки. 1846. № 3. Отд. IV. С. 18.*)

П. Б[1]. <П.С. БЕЛЯРСКИЙ>

Что касается повести г. Достоевского: «Двойник» («От<ечественные> зап<иски>» № 2), то желали бы мы не встречать более подобных злоупотреблений таланта и трудов. Нельзя видеть без удивления, как в этой повести разговор действующих лиц зашёл за все границы приличия, и обратился в какую-то смесь ругательств, нетерпимых для круга образованных читателей[2]. (*Журнал Министерства народного просвещения. 1846. № 7. Отд. VI. С. 104.*)

В.Г. БЕЛИНСКИЙ

<...> публика тотчас же обнаружила ту неумеренную требовательность в отношении к таланту г. Достоевского и ту неумеренную нетерпимость к его недостаткам, которые имеет свойство возбуждать только талант. (*Современник. 1847. № 1. Отд. III. С. 35.*)

П.А. ПЛЕТНЁВ — Я.К. ГРОТУ. 11 сентября 1846. Спасская мыза близ Петербурга

Во вторник я весь день провёл на даче один, то выходя гулять, то читая № 9 «Отечественных Записок». Там чудеса да и только. Уже и Лермонтов является устаревшим. Выше его стоит *Достоевский*, а Краевский, как Геркулес, убил Гизо, Вильмена и Кузена — наравне со славянофилами. Это-де были дураки — дуалисты, а он разумный аналитик. Неимоверное и хвастовство, и дерзость, и глупость? Даже писать против этого совестно. (*Переписка... 2. С. 882.*)

<А. А. ГРИГОРЬЕВ>

«Двойник», по грешному разумению нашему, сочинение патологическое, терапевтическое, но нисколько не литературное: это история сумасшествия, разанализированного, правда, до крайности, но тем не менее отвратительного, как труп. Больше ещё: по прочтении «Двойника» мы •невольно подумали, что если автор пойдёт дальше по этому пути, то ему суждено играть в нашей литературе ту роль, какую Гофман играет в немецкой <...>. (*Финский вестник. 1846. № 9 (май). Отд. V. С. 30.*)

А.Н. ПЛЕЩЕЕВ

Нынешний год ознаменован в нашей литературе появлением новой, яркой звезды на её горизонте — появлением таланта в полном смысле художественного: мы говорим о Ф.М. Достоевском, авторе «Бедных людей», «Двойника» и «Господина Прохарчина». Такие таланты являются редко, и за них можно простить недостаточность беллетристики. (*Рус. инвалид. 1846, 13 октября.*)

[1] Так в «Оглавлении» (4-я с. обложки). Личность рецензента установлена нами по кн.: *Масанов И.Ф.* Словарь псевдонимов русских писателей, учёных и общественных деятелей. М., 1957. Т. 2. С. 312.

[2] Трудно удержаться, чтобы не подкрепить этой здравой мыслью мнение нашего уважаемого оппонента, приведённое в сноске на с. 465!

Я. Я. Я. <Л.В. БРАНДТ>

Нельзя представить себе ничего бесцветнее, однообразнее, скучнее длинного, бесконечно растянутого, смертельно утомительного рассказа о незанимательных «приключениях Господина Голядкина», который с самого начала и до конца повести является помешанным, беспрестанно делает разные промахи и глупости, ни смешные и ни трогательные, несмотря на все усилия автора представить их таковыми. <...> Искренне сожалеем о талантливом молодом человеке, так ложно понимающем искусство и, очевидно, сбитом с толка литературною «котериею», из видов своих выдающею его за гения. (*Сев. пчела. 1846, 28 февраля.*)

В.Г. БЕЛИНСКИЙ

<...> теперь целые фельетоны «Северной пчелы» наполняются совсем не хладнокровными доказательствами, что у г. Достоевского нет ни искорки таланта. Ну, нет так и нет — тем лучше для вас. Скажите это — и успокойтесь, а то подумают, что вы неискренни и с особым намерением хотите всех уверить, что он — не талант. (*Отеч. записки. 1846, апрель. Отд. V. С. 123.*)

«Приёмы эти схватить нетрудно...»

С.П. ШЕВЫРЁВ

<...> беда таланту, если он свою художественную совесть привяжет к срочным листам журнала, и типографские станки будут из него вытягивать повесть. Так рождаться могут одни кошмары, а не поэтическое создание. Г. Достоевский поймёт нас, если дарование его истинно. (*Москвитянин. 1846, № 2. С. 173–174.*)

В.Г. БЕЛИНСКИЙ

Хотя первый дебют молодого писателя уже достаточно угладил ему дорогу к успеху, однако должно сознаться, что «Двойник» не имел никакого успеха в публике. Если ещё нельзя на этом основании осудить второе произведение г. Достоевского как неудачное и, ещё менее, как не имеющее никаких достоинств, — то нельзя также и признать суд публики неосновательным. (*Современник. 1847. № 1. Отд. 111. С. 36.*)

Г-н ИМРЕК <К. С. АКСАКОВ>

Говоря о повести г. Достоевского «Двойник», можно повторить слова, которые часто повторяет у него г. Голядкин: «Эх, плохо, плохо! Эх, плохо, плохо! Эх, дельце-то наше как плоховато! Эх, дельце-то наше чего прихватило!» Да, точно, нехорошо и нехорошего прихватило. Если бы не первая повесть г. Достоевского, мы никак не имели бы терпения прочесть его вторую. <...> Где талант, который видели мы в первой повести? Или его стало только на одну? (*Моск. сборник. 1847. 35–36.*)

В.Г. БЕЛИНСКИЙ

Искусственность и манерность слога, которым она <повесть «Двойник»> написана, разительно доказывается тем, что даже г. Имрек смастерил на слог её довольно удачную пародию. <...> Г-н Имрек продолжает свою критику слогом повести <...>. (*Современник. 1847. № 6. Отд. II. С. 131.)*

Г-н ИМРЕК <К.С. АКСАКОВ>

Приёмы эти схватить не трудно; приёмы-то эти вовсе не трудно схватить; оно вовсе не трудно и не затруднительно схватить приёмы-то эти. Но дело не так делается, господа; дело-то. Господа, не так производится; оно не так совершается, сударь вы мои, дело-то это. А оно надобно тут, знаете, и тово; оно, видите ли, здесь другое требуется, требуется здесь тово, этово, как его — другова. А этово-то, другово-то, и не имеется; именно этово-то, и не имеется; таланта-то, господа, поэтического-то, господа, таланта, этак художественного-то и не имеется. Да вот оно, оно самое дело-то, то есть, настоящее вот оно как; оно именно так[1]. (*Моск. сборник. 1847. С. 35.*)

Э.И. ГУБЕР

Новая критика жадно ухватилась за эту книгу, рассыпалась в восторженных похвалах, пожаловала молодого литератора в гении первой степени и вознесла его на такую высоту, на которой поневоле голова закружится, что и случилось на самом деле: промахи, простительные в первом произведении, сделались грубыми ошибками во втором; недостатки выросли; что было сперва однообразно, потом сделалось скучно до утомления, и только немногие, прилежные читатели, да и те по обязанности, прочитали до конца *господина Голядкина и Прохарчина.* Это горькая, но чистая правда, которая должна была опечалить человека с таким решительным дарованием, как г. Достоевский. И кто знает, насколько виновата в этих неудачах неосторожная критика юного поколения? Кто знает, какое влияние имела она на развитие молодого, сильного, но ещё шаткого, незрелого дарования? (*Санкт-Петербургские ведомости. 1847, 5 января.*)

[1] К.С. Аксаков не ведает, что в письме к брату от 8 октября 1845 г., говоря о работе над «Двойником», Достоевский уже прибегнул к весьма похожей самопародии. (см. с. 594 настоящего издания).

В.Г. БЕЛИНСКИЙ

Вот уж подлинно с больной-то головы да на здоровую! Вероятно, г. фельетонисту не совсем приятно будет узнать, что самые факты обращают его грозное обвинение ни во что: *юная критика*, на которую он метит, и которая, по его словам, превознесла автора «Бедных людей» на головокружительную высоту, явилась в печати ровно через месяц после того, как «*Двойник (Приключения господина Голядкина)*» был уже напечатан. Следовательно, автору «*Бедных людей*» не было никакой возможности испортить своей второй повести вследствие головокружения от похвал первой[1]. <...> Мы и теперь считаем г. Достоевского человеком с решительным талантом и на основании этого-то мнения и думаем, что ни похвала, ни брань не может иметь на него никакого влияния; в противном же случае мы считали бы этот талант и нерешительным и ничтожным <...>. (*Современник. 1847. № 2. С. 189.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. Январь — февраль 1847. Петербург

О Голядкине я слышу исподтишка (и от многих) такие слухи, что ужас. Иные прямо говорят, что это произведение чудо и не понято. Что ему страшная роль в будущем, что если б я написал одного Голядкина, то довольно с меня, и что для иных оно интереснее дюмасовского интереса. Но вот самолюбие моё расхлесталось. Но, брат! Как приятно быть понятым. (*ПСС, XXVIII, I. С. 139.*)

В.Г. БЕЛИНСКИЙ

Может быть, талант г. Достоевского был встречен преувеличенными похвалами; но зачем же и тут непременно предполагать заговор, кабалу, скопище, спекуляцию, а не увлечение, не ошибку?[2] И притом никто из лю-

[1] Здесь Белинский немного лукавит. Он старается скрыть от своих оппонентов «допечатную» историю «Бедных людей» и «Двойника», когда их автор в течение примерно полугода испытывал действие самых восторженных похвал. В своё оправдание критик мог бы привести слова, правда, тогда ещё несуществующего Козьмы Пруткова: «Поощрение столь же необходимо гениальному писателю, сколь необходима канифоль смычку виртуоза».

[2] Это, конечно, попытка «спасти лицо». Не прошло и полутора лет после дебюта, а Белинский (хотя и косвенно) спешит признать неумеренность своих увлечений.

дей с умом и со вкусом не станет отрицать в г. Достоевском таланта, даже замечательного; стало быть, весь вопрос только в степени и объёме таланта. (*Современник. 1847. № 5. Отд. IV. С. 125.*)

Позднейший комментарий

ДОСТОЕВСКИЙ

Повесть эта мне положительно не удалась, но идея её была довольно светлая, и серьёзнее этой идеи я никогда ничего в литературе не проводил. Но форма этой повести мне не удалась совершенно. Я сильно исправил её потом, лет пятнадцать спустя, для тогдашнего «Общего собрания» моих сочинений, но и тогда опять убедился, что эта вещь совсем неудавшаяся, и если б я теперь принялся за эту идею и изложил её вновь, то взял бы совсем другую форму; но в 46-м году этой формы я не нашёл и повести не осилил. (*Дневник писателя. 1877, ноябрь.*)

Л.Ф. ДОСТОЕВСКАЯ

<...> второй роман отца не имел такого успеха, как первый. Это было слишком ново; тогда ещё не был понятен этот детальный анализ человеческого сердца, завоевавший позднее столь большую популярность. Люди с больной психикой ещё не вошли в моду; этот роман без героя и героини находили скучным. <...> Отец боялся, что выдающийся успех его первого романа может не повториться более, и вернулся к ложному жанру Гоголя. (*Лит. наследство. Т. 86. С. 302.*)

ДОСТОЕВСКИЙ. Из записной тетради 1872–1875 гг.

<...> мой главнейший подпольный тип (надеюсь, что мне простят это хвастовство ввиду собственного сознания в художественной неудаче типа). (*ПСС. XXI. С.264.*)

Школа злословия

ДОСТОЕВСКИЙ. Из записной тетради 1875–1876 гг.

Я знаю, что появление их уязвило и потрясло множество самолюбий, ибо «Бедными людьми» я сразу стал известен, а они протекли, как вешние воды...[1] С тех пор некоторые люди (в литературе) ужасно не полюбили меня, хотя я вовсе не знал их лично. (*Лит. наследство. Т. 83. С. 409.*)

[1] Не имеется ли в виду И.С. Тургенев?

Из водевиля П.А. КАРАТЫГИНА «Натуральная школа». 1847

Вихляев <И.И. Панаев>:

Новую школу ума и словесности
Мы на Руси завели.
В этой-то школе дойти до известности
Многим уж мы помогли.

(Сев. пчела. 1847, 22 ноября.)

Новый поэт <И.И. ПАНАЕВ>. Литературные кумиры и кумирчики

Одного, произведённого таким образом в кумиры, курениями и поклонениями перед ним мы чуть было даже не свели с ума. <...> его мы носили на руках по городским стогнам и, показывая публике, кричали: «Вот только что народившийся маленький гений, который со временем убьёт своими произведениями всю нашу настоящую и прошедшую литературу. Кланяйтесь ему! кланяйтесь!..» (*Современник. 1855. № 12. Отд. V. С. 238.*)

Из неоконченной повести Н.А. НЕКРАСОВА

Такова была меньшая и не главная часть кружка литераторов... <...> Как и самые простые смертные, они — сплетничали и злословили, хвастали и завидовали.

И сплетни их были тем непростительнее, что они прекрасно знали и здраво судили, до какой степени такое ремесло унизительно. (*Некрасов, 1922. С. 56.*)

Д.В. ГРИГОРОВИЧ

Могу сказать только с уверенностью, что успех «Бедных людей» и ещё больше, кажется, неумеренно-восторженные похвалы Белинского положительно вредно отразились на Достоевском, жившем до той поры замкнуто, в самом себе, встречавшемся, да и то не часто, с немногими товарищами, не имевшими ничего общего с литературой. Возможно ли было такому человеку, даже при его уме, сохранить нормальное состояние духа, когда с первого шага на новом поприще такой авторитет, как Белинский, преклонился перед ним, громко провозглашая, что появилось новое светило в русской литературе? (*Рус. мысль. 1893. № 1. С. 12.*)

А.Я. ПАНАЕВА

Когда Белинскому передавали, что Достоевский считает себя уже гением, то он пожимал плечами и с грустью говорил:

— Что за несчастье, ведь несомненный у Достоевского талант, а если он, вместо того, чтобы разработать его, вообразит уже себя гением, то ведь не пойдёт вперёд. Ему непременно надо лечиться, всё это происходит от страшного раздражения нервов. Должно быть, потрепала его, бедного, жизнь! Тяжёлое настало время, надо иметь воловьи нервы, чтобы они выдержали все условия нынешней жизни. Если не будет просвета, так, чего доброго, все поголовно будут психически больны! (*Ист. вестник. 1889. № 3. С. 571–572.*)

А.В. ОРЛОВА, свояченица Белинского

Как горячо заступался он <Белинский> за Некрасова, бранил Тургенева, что он раздражает Достоевского и подзадоривает больного человека, всех-то он любил, ценил и жалел. (*В пользу голодающих. «Лепта Белинского»*[1]. *М., 1892. С. 30.*)

А.Я. ПАНАЕВА

Когда Тургенев, по уходе Достоевского, рассказывал Белинскому о резких и неправильных суждениях Достоевского о каком-нибудь русском писателе, то Белинский ему замечал:

— Ну, да вы хороши, сцепились с больным человеком, подзадориваете его, точно не видите, что он в раздражении, сам не понимает, что говорит. (*Ист. вестник. 1889. № 3. С. 571.*)

Д.В. ГРИГОРОВИЧ

Увлечение Белинского не сделало бы ещё, может быть, такого действия на Достоевского, как тот внезапный, резкий поворот на его счёт в мнении Белинского и его кружка. (*Рус. мысль. 1893. № 1. С. 12.)*

А.Я. ПАНАЕВА

У Достоевского явилась страшная подозрительность вследствие того, что один приятель[2] передавал ему всё, что говорилось в кружке лично о нём и о его «Бедных людях». Приятель Достоевского, как говорят, из любви к искусству, передавал всем, кто о ком что сказал. Достоевский заподозрил всех в зависти к его таланту и почти в каждом слове, сказанном без всякого умысла, находил, что желают умалить его произведение, нанести ему обиду <...>. (*Ист. вестник. 1889. № 3. С. 571.*)

[1] Средства от продажи этого сборника воспоминаний о Белинском были переданы в фонд помощи пострадавшим от голода 1892 года.

[2] Д.В. Григорович.

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 8 октября 1845. Петербург

Один Григорович чего стоит! Он сам мне говорит: «Je suis votre claqueur-chauffeur»[1]. (*ПСС. XXVIII. 1. С. 113.*)

А.Н. ПЛЕЩЕЕВ — ДОСТОЕВСКОМУ. 10 апреля 1859. Петербург

Гнусность Григоровича вошла в поговорку даже в литературных кружках. (*Долинин. 2. С. 444.*)

А.Н. МАЙКОВ. Эпиграмма на Д.В. Григоровича. 1856

Видал ли ты на небесах комету?
Видал ли ты, как хвост её поймал
И, привязав к нему свою карету,
Езжал один известный генерал?
Народу что сбежалось — о мой Боже!
Видал ли ты? — Нет, не видал. — Я тоже,
А Григорович так видал.

(*Ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома. 1975. С. 89–90.*)

Новый поэт <И. И. ПАНАЕВ>

С этих пор наш маленький гений сделался невыносим: — он ни за что не хотел ходить сам по земле или по тротуару, а непременно требовал, чтобы мы его носили на руках и поднимали как можно выше, чтобы все его видели; он беспрестанно злился на нас и кричал: — «выше! выше!» (*Современник. 1855. № 12. Отд. V. С. 239.*)

Н.Ф. ЩЕРБИНА. Эпиграмма на И.И. Панаева. Между 1855 и 1862 гг.

Когда с Панаевым встречаюсь я порой,
При людях мне тогда неловко и конфузно,
Как будто кто передо мной
Показывает гузно.

(*Избр. произведения. Л., 1970. С. 290.*)

И.И. ПАНАЕВ

Я вступил в литературный круг, как в какое-нибудь святилище, с благоговейным чувством. Я думал, что если не все, то по крайней мере избранные из литераторов — люди возвышенные, необыкновенные, непричастные ника-

[1] «Я ваш клакер-пропагандист» (*фр.*).

ким мелким страстишкам и слабостям обыкновенных смертных, — и должен был горько разочаровываться с каждым днём. (*Лит. воспоминания. С. 78.*)

А.П. МИЛЮКОВ — Г.П. ДАНИЛЕВСКОМУ. 30 марта 1861. Петербург

Читали ли вы воспоминания Панаева в «Современнике»? По-моему — это грязное дело, и так литераторы у нас не в почёте, а он их вовсе в грязи затирает. (*Лит. наследство. Т. 86. С. 379.*)

Н.А. НЕКРАСОВ. В.Г. БЕЛИНСКИЙ. 1855

Тогда всё глухо и мертво
В литературе нашей было:
Скончался Пушкин; без него
Любовь к ней в публике остыла...
В боренье пошлых мелочей
Она, погрязнув, поглупела...
До общества, до жизни ей
Как будто не было и дела.

Л.Ф. ДОСТОЕВСКАЯ

Для того, чтобы уронить его в общественном мнении, товарищи Достоевского распространяли о нём комические анекдоты. И Достоевский усумнился в своём даровании. (*Достоевский в изображении дочери... С. 23.)*

Предательства, бывшие в моде

Из дневника ВС.С. СОЛОВЬЁВА. Запись 2 января 1873 г.

<...> мы говорили о самолюбии и о конфузливости как об одном из проявлений самолюбия. Достоевский сказал, что я, должно быть, очень самолюбив! Он высказал одну мысль, которая мне очень понравилась: «Вы боитесь впечатления, производимого вами на незнакомого человека; вы разбираете ваши слова, движения, упрекаете себя в бестактности некоторых слов, воображаете себе то впечатление, которое произведено вами, и — непременно ошибаетесь; впечатление, произведённое вами, непременно другое, а всё это потому, что вы себе представляете людей гораздо крупнее, чем они есть, — люди несравненно мельче, простее, чем вы себе представляете». (*Лит. наследство. Т. 86. С. 425.*)

А.Я. ПАНАЕВА

По молодости и нервности, он не умел владеть собой и слишком явно высказывал своё авторское самолюбие и самомнение о своём

писательском таланте. <...> С появлением молодых литераторов в кружке, беда была попасть им на зубок, а Достоевский, как нарочно, давал к этому повод своею раздражительностью и высокомерным тоном, что он несравненно выше их по своему таланту. И пошли перемывать ему косточки, раздражать его самолюбие уколами в разговорах; особенно на это был мастер Тургенев — он нарочно втягивал в спор Достоевского и доводил его до высшей степени раздражения. Тот лез на стенку и защищал с азартом иногда нелепые взгляды на вещи, которые сболтнул в горячности, а Тургенев их подхватывал и потешался. (*Ист. вестник. 1889. № 3. С. 570–571.*)

Д.В. ГРИГОРОВИЧ

<...> в натуре Тургенева не было ничего агрессивного, не было признака того, что называется задором; его, напротив, можно было упрекнуть в излишней уступчивости, даже против тех, кто не стоил его мизинца, не мог равняться с ним ни в каком отношении. (*Рус. мысль. 1893. № 2. С. 71.*)

И.И. ПАНАЕВ

Я встречал, ещё до моего знакомства с ним, довольно часто на Невском проспекте очень красивого и видного молодого человека с лорнетом в глазу, с джентльменскими манерами, слегка отзывающимися фатовством. Я думал, что это какой-нибудь богатый и светский юноша, и был очень удивлён, когда узнал, что это — Тургенев. (*Лит. воспоминания. С. 250.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 16 ноября 1845. Петербург

На днях воротился из Парижа поэт Тургенев (ты, верно, слыхал) и с первого раза привязался ко мне такою привязанностью, такою дружбой, что Белинский объясняет её тем, что Тургенев влюбился в меня. Но, брат, что это за человек? Я тоже едва не влюбился в него. Поэт, талант, аристократ, красавец, богач, умён, образован, 25 лет[1], — я не знаю, в чём природа отказала ему? Наконец: характер неистощимо прямой, прекрасный, выработанный в доброй школе. (*ПСС, XXVIII, 1. С. 115.*)

Л.Ф. ДОСТОЕВСКАЯ

Особенно тяжела для отца была злость Тургенева, который, вне себя от успеха «Бедных людей», не знал уже, что и придумать, что бы навредить Достоевскому. Он так его любил, почитал его так ис-

[1] Тургеневу в 1845 году было 27 лет.

кренно! Именно здесь начало их вражды, длившейся всю их жизнь и вызвавшей в России столько разговоров <...>. (*Лит. наследство. Т. 86. С. 301.*)

А.Я. ПАНАЕВА

Тургенев стал сочинять юмористические стихи на Девушкина, героя «Бедных людей», будто бы тот написал благодарственные стихи Достоевскому за то, что он оповестил всю Россию об его существовании, и в стихах повторялось часто «мамочка»[1]. (*Ист. вестник. 1889. № 3. С. 572.*)

Д.В. ГРИГОРОВИЧ

Тургенев был действительно мастер на эпиграмму. <...> Для красного словца он <...> не щадил иногда приятеля <...>. (*Рус. мысль. 1893. № 2. С. 76.*)

В.Г. БЕЛИНСКИЙ — В.П. БОТКИНУ. 31 марта — 3 апреля 1843. Петербург

Я несколько сблизился с Тургеневым. Это человек необыкновенно умный, да и вообще хороший человек. Беседа и споры с ним отводили мне душу. <...> У Тургенева много юмору. <...> У Комаришки[2] висят портреты актрис и певиц парижских. Мне понравилась одна выражением неопределенной вдумчивости в лице; а другая не понравилась немножко <- — -> выражением. «Вы, я замечаю (сказал мне Тургенев), любите женщин с неопределённым выражением, что в них толку? Вот эта — другое дело: я вижу, что это женщина неглупая и страстная, и знаю, с кем имею дело; а та — какой-то субстанциальный пирог». А ведь похоже на правду, Боткин? (*Белинский. XII. С. 95.*)

А.Я. ПАНАЕВА

Раз Тургенев при Достоевском описывал свою встречу в провинции с одной личностью, которая вообразила себя гениальным человеком, и мастерски изобразил смешную сторону этой личности. Достоевский был бледен, как полотно, весь дрожал и убежал, не дослушав рассказа Тургенева. Я заметила всем: — к чему изводить так Достоевского? — Но Тургенев был в самом весёлом настроении, увлёк и других, так что никто не придал значения быстрому уходу Достоевского. (*Ист. вестник. 1889. № 3. С. 572.*)

[1] Т. е. «маточка». В «Историческом вестнике» скорее всего опечатка.

[2] А.С. Комаров, двоюродный брат приятеля Белинского Комарова А.А.

Д.В. ГРИГОРОВИЧ

Неожиданность перехода от поклонения и возвышения автора «Бедных людей» чуть ли не на степень гения к безнадёжному отрицанию в нём литературного дарования могла сокрушить и не такого впечатлительного и самолюбивого человека, каким был Достоевский. Он стал избегать лиц из кружка Белинского, замкнулся весь в себя ещё больше прежнего и сделался раздражительным до последней степени. При встрече с Тургеневым, принадлежавшим к кружку Белинского, Достоевский, к сожалению, не мог сдержаться и дал полную волю накипевшему в нём негодованию, сказав, что никто из них ему не страшен, что дай только время, он всех их в грязь затопчет. <...>

Во всяком случае, я уверен, вина была на стороне Достоевского. Характер Тургенева отличался полным отсутствием задора; его скорее можно было упрекнуть в крайней мягкости и уступчивости. После сцены с Тургеневым произошёл окончательный разрыв между кружком Белинского и Достоевским; он больше в него не заглядывал. На него посыпались остроты, едкие эпиграммы, его обвиняли в чудовищном самолюбии, в зависти к Гоголю <...>. (*Рус. мысль. 1893. № 1. С. 12–13.*)

А.Я. ПАНАЕВА

Когда было напечатано первое произведение Дружинина в «Современнике» в 1848 году, то Тургенев говорил Некрасову и Панаеву:

— Положительно везёт «Современнику»! Вот это талант, не чета вашему «*литературному прыщу*» <...>. И как я порадовался, когда он явился ко мне вчера с визитом — джентльмен!.. Надо, к сожалению, сознаться, что от новых литераторов пахнет мещанской средой... Я оттого перестал бывать по субботам у Одоевского, что мне просто стыдно, до чего не умеют себя держать прилично новые литераторы. И какой чудак Одоевский, сам себе задаёт каждую субботу порку, как будто он находится в школе. Я вижу, как его шокируют манеры дурного тона «*литературного прыща*», когда он бывает у него. Дорого же обходится Одоевскому желание заслужить популярность между литераторами! Я понимаю княгиню, что она не дозволяет Одоевскому вводить в её салон всех его субботних гостей... Да, господа, низко упали литераторы, от них со страхом сторонится светское общество, тогда как с прежними литераторами все светские женщины добивались сближения, потому что тогда литераторы вполне были джентльменами, а те, кто не принадлежал к высшему кругу, смирнёхонько себе жили в своей среде. А теперь все с гонором, с претензиями, что

мы, мол, плюём на все светские приличия! (*Ист. вестник. 1889. № 5. С. 284.*)

Н.А. НЕКРАСОВ, И.С. ТУРГЕНЕВ <И.И. ПАНАЕВ>. Послание Белинского к Достоевскому

Витязь горестной фигуры,
Достоевский, милый пыщ,
На носу литературы
Рдеешь ты, как новый прыщ.

Хоть ты юный литератор,
Но в восторг уж всех поверг:
Тебя знает Император,
Уважает Лейхтенберг,

За тобой Султан турецкий
Скоро вышлет визирей.

(*Письма Кавелина и Тургенева... С. 207–208.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 1 февраля 1846. Петербург

Одоевский пишет отдельную статью о «Бедных людях». Соллогуб, мой приятель, тоже. Я, брат, пустился в высший свет и месяца через три лично расскажу тебе все мои похождения. (*ПСС, XXVIII, I. С. 117.*)

«...И чуть-чуть скоропостижно...»

В.А. СОЛЛОГУБ

<...> повесть эта <«Бедные люди»> привела меня в восторг. Прочитавши её, я тотчас же отправился к <...> Андрею Александровичу Краевскому, осведомиться об авторе; он назвал мне Достоевского и дал мне его адрес. Я сейчас же к нему поехал и нашёл <...> молодого человека, бледного и болезненного на вид. На нём был одет довольно поношенный домашний сюртук с необыкновенно короткими, точно не на него сшитыми, рукавами. Когда я себя назвал и выразил ему в восторженных словах то глубокое и вместе с тем удивлённое впечатление, которое на меня произвела его повесть, так мало походившая на всё, что в то время писалось, он сконфузился, смешался и подал мне единственное находившееся в комнате старенькое, старомодное кресло. Я сел, и мы разговорились; правду сказать, говорил больше я — этим я всегда грешил. Достоевский скромно отвечал на мои вопросы, скромно и даже уклончиво. (*Ист. вестник. 1886. № 6. С. 561–562.*)

Д.В. ГРИГОРОВИЧ

В тогдашнее время в великосветском обществе существовал <...> дом, в котором <...> собирались лица большого света и артисты; это был дом графов В<и>ельгорских.

<...> запевалой в доме графа М.Ю. <Виельгорского> был его зять, граф В.А. Соллогуб <...>. Гр<афа> Соллогуба недолюбливали в кругу литераторов; виной был его характер, отличавшийся крайнею неровностью в обращении: сегодня — запанибрата, завтра — как бы вдруг не узнаёт и едва протягивает руку. <...> Стоило явиться молодому даровитому писателю, гр<аф> Соллогуб не давал ему покоя, пока не приведёт его в гостиную графа В<и>ельгорского <...>. (*Рус. мысль. 1893. № 1. С. 30–32.*)

В.А. СОЛЛОГУБ

Просидев у него <Достоевского> минут двадцать, я поднялся и пригласил его поехать ко мне запросто пообедать. Достоевский просто испугался.

— Нет, граф, простите меня, — промолвил он растерянно, потирая одну об другую свои руки, — но, право, я в большом свете отроду не бывал и не могу никак решиться...

— Да кто вам говорит о большом свете, любезнейший Фёдор Михайлович, — мы с женой действительно принадлежим к большому свету, ездим туда, но к себе его не пускаем!

Достоевский рассмеялся, но остался непреклонным, и только месяца два спустя решился однажды появиться в моём зверинце. (*Ист. вестник. 1886. № 6. С. 562.*)

ДОСТОЕВСКИЙ. Двойник. Приключения господина Голядкина

— <...> я, Крестьян Иванович, люблю спокойствие, а не светский шум. Там у них, я говорю, в большом свете, Крестьян Иванович, нужно уметь паркеты лощить сапогами... (тут господин Голядкин немного пришаркнул по полу ножкой), там это спрашивают-с <...> комплимент раздушенный нужно уметь составлять-с... вот что там спрашивают. А я этому не учился, Крестьян Иванович, — хитростям этим всем я не учился; некогда было, Крестьян Иванович. (*Отеч. записки. 1846. № 1. Отд. I. С. 272–273.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 1 февраля 1846. Петербург

Я, брат, пустился в высший свет и месяца через три лично расскажу тебе все мои похождения[1]. (*ПСС. XXVIII. 1. С. 117.*)

В.А. СОЛЛОГУБ

Один, всего один раз, мне удалось затащить к себе Достоевского. <...>

Но скоро наступил 1848 год, он оказался замешанным в деле Петрашевского и был сослан в Сибирь, в каторжные работы. (*Ист. вестник. 1886. № 6. С. 561–562.*)

А.Я. ПАНАЕВА

В характере Соллогуба была хорошая черта: он никогда не передавал никаких сплетен, тогда как многие литераторы лишены были этого хорошего качества. (*Ист. вестник. 1889. № 3. С. 15.*)

Новый поэт <И.И. ПАНАЕВ>

<...> <В. А. Соллогуб> дал вечер — и к нему приехали (хотя на его вечера давно уже не ездили), приехали, потому что он ловко дал знать в городе: что такого-то числа, в таком-то часу, у него будут меня[2] показывать. (*Современник. 1847. № 4. Отд. IV. С. 154.*)

В.Г. БЕЛИНСКИЙ — ДОСТОЕВСКОМУ. <Апрель 1846>. Петербург

Достоевский, душа моя (бессмертная) жаждет видеть Вас. Приходите, пожалуйста, к нам, вас проводит человек, от которого вы получите эту записку. Вы увидите всё наших, а хозяина не дичитесь, он рад вас видеть у себя.

В. Белинский[3]

(Голос минувшего. 1915. № 11. С. 21–22.)

А.М. ВИЕЛЬГОРСКАЯ — Н.В. ГОГОЛЮ. 7 февраля 1847. Петербург

У Софьи Михайловны <Виельгорской-Соллогуб> собираются по середам знакомые её мужа, почти все русские, люди умные, некоторые из них литераторы[4] <...>. (*Вестник Европы. 1889. № 11. С. 120.*)

[1] Принуждены вновь привести эту фразу, как, возможно, помнит читатель, уже фигурировавшую выше. (См. с. 637).

[2] Т. е. Достоевского.

[3] Имеет смысл в данном контексте ещё раз привести этот, уже приводившийся выше документ. (См. с. 597.)

[4] 9 апреля 1847 года П.А. Плетнёв писал Я.К. Гроту: «Я очень обрадовался, заметив из отзывов Её Высочества (Марии Николаевны, герцогини Лейхтенбергской, — *И.В.)* о литературе, что Великая Княгиня не любит неистовой школы писателей... Про

ДОСТОЕВСКИЙ. Идиот

В первый раз в жизни он <князь Мышкин> видел уголок того, что называется страшным именем «света». Он давно уже вследствие некоторых особенных намерений, соображений и влечений своих жаждал проникнуть в этот заколдованный круг людей и потому был сильно заинтересован первым впечатлением. Это первое впечатление его было даже очаровательное. Как-то тотчас и вдруг ему показалось, что все эти люди как будто так и родились, чтоб быть вместе; что у Епанчиных нет никакого «вечера» в этот вечер и никаких званых гостей, что всё это самые «свои люди» и что он сам как будто давно уже был их преданным другом и единомышленником и воротился к ним теперь после недавней разлуки. Обаяние изящных манер, простоты и кажущегося чистосердечия было почти волшебное.

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 1 октября 1859. Тверь

Лет 12 назад Соллогуб представил меня ей <Е.А. Барановой> (она его кузина), тогда ещё девушке, Васильчиковой[1]. (ПСС. XXVIII. I. С. 341.)

Л.Ф. ДОСТОЕВСКАЯ

<...> <Е.А. Баранова>, урождённая Васильчикова, была двоюродной сестрой графа Соллогуба, писателя, имевшего раньше литературный салон в Петербурге. Мой отец, часто посещавший в молодости этот салон, был, по случаю успеха, выпавшего на долю «Бедных людей», представлен Васильчиковой. Она не могла забыть его и, узнав о прибытии Достоевского в Тверь, поспешила возобновить отношения. (*Достоевский в изображении дочери... С. 31.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — А.Е. ВРАНГЕЛЮ. 4 октября 1859. Тверь

Графиня <Е.А. Баранова> прекрасная женщина (Васильчикова урождённая), которую я встречал ещё девушкой в Петербурге, у их

Соллогуба отозвалась, что он ей просто гадок, и повторила этот эпитет, прибавив, что другого для него выражения не находит» (Переписка... 3. С. 48). «Очень любопытен отзыв Великой Княгини Марии Николаевны о Соллогубе, — отвечает Грот. — Что бы сказала бедная Софья Михайловна (Виельгорская-Соллогуб. — *И.В.*), если б услышала это?» (Там же. С. 51.) Не светские ли повести Соллогуба вызывали раздражение великой княгини? И кстати: как относилась она к «Бедным людям»? Вопрос не праздный, если вспомнить, что её муж, герцог Лейхтенбергский, «уважает» Достоевского. Или последнее тоже сказано в насмешку?

[1] Достоевский говорит о жене тверского губернатора Баранова, с которой, как было уже сказано, писатель «вновь» познакомился, когда после Сибири ему было разрешено жить в Твери.

родственника Соллогуба, о чём она мне сама первая напомнила. Она мне и тогда очень понравилась[1]. (*ПСС. XXVIII. 1. С. 344.*)

ДОСТОЕВСКИЙ. Идиот

И вот всё-то это общество князь <Мышкин> принял за самую чистую монету, за чистейшее золото, без лигатуры. Впрочем, все эти люди были тоже, как нарочно, в самом счастливом настроении в этот вечер и весьма довольны собой.<...> Мало-помалу он становился ужасно счастлив.<...> Говорил он мало, и то только на вопросы, и наконец совсем замолк, сидел и всё слушал, но видимо утопая в наслаждении.

Л.Ф. ДОСТОЕВСКАЯ

Мой отец был неловок, робок, нелюдим и скорее некрасив; он говорил мало и больше прислушивался. (*Достоевский в изображении дочери... С. 22.*)

Новый поэт <И.И. ПАНАЕВ>

Я, признаюсь, сильно струсил, когда появился в многочисленной и незнакомой толпе, струсил и чуть-чуть скоропостижно не лишился жизни; но меня увели в другую комнату и похвалами моему великому таланту привели в чувство... Я, впрочем, не вдруг показал, что не нуждаюсь больше ни в каком лекарстве; уже совершенно опомнившись, я долго не подавал признака жизни и всё слушал, слушал с закрытыми глазами, как кошка, у которой щекочут под горлом.<...> Не поверите, что за удивительное наслаждение, когда говорят об вас, и так превозносят! (*Современник. 1847. № 4. Отд. IV. С. 154.*)

В.Г. БЕЛИНСКИЙ — И.С. ТУРГЕНЕВУ. 1 марта 1847. Петербург

А Панаев далеко не глуп всегда, а иногда и умён положительно<...> во всём остальном та же лёгкость характера и та же никакими инструментами не измеримая внутренняя пустота. (*Белинский, XII. С. 346.*)

А.Н. ПЛЕЩЕЕВ — ДОСТОЕВСКОМУ. 10 апреля 1859. Петербург

Панаев пуст, и его<...> никто не ставит в грош, но он сам это знает; и уж не прикидывается авторитетом. Он, по крайней мере, тем хорош, что забавен с своими анекдотами <...>. (*Ф.М. Достоевский. Материалы и исследования. Под ред. А.С. Долинина. Л., 1935. С. 444.*)

[1] Не сомневаемся, что если бы Григорович не назвал другое имя, специалисты авторитетно доказали бы, что не кто иная, как Васильчикова, и была виновницей знаменитого обморока.

Новый поэт <И. И. ПАНАЕВ>

Одна барышня с пушистыми пуклями и с блестящим именем, белокурая и стройная, пожелала его видеть, наслышавшись об нём <...> и наш кумирчик был поднесён к ней, и подносивший его говорил ей с восторгом: «Вот он! смотрите! вот он!»

Барышня с пушистыми локонами изящно пошевелила своими маленькими губками, которые она беспрестанно обсасывала своим маленьким язычком, для придания им свежести, и хотела отпустить нашему кумирчику прелестный комплимент <...> как вдруг он побледнел и зашатался. Его вынесли в заднюю комнату и облили одеколоном. (*Современник. 1855. № 12. С. 238–239.*)

ДОСТОЕВСКИЙ

<...> можно упрекать, например, г. Панаева за то, что он в своих литературных воспоминаниях не собрал ничего достаточно крупного, достойного тех личностей, с которыми он сходился в то время, когда и сам уже был литератором, и они были в полном расцвете своих талантов <...>. (*Время. 1861. № 8. С. 113.*)

Новый поэт <И.И. ПАНАЕВ>

Оскорблённый толпою, он бросался к себе на чердачок, и там являлась к нему аристократическая барышня с пушистыми локонами и говорила ему: «Ты гений! ты мой! Я люблю тебя! Я пришла за тобой. Пойдем в храм славы — в наши яркие и блестящие салоны, в которых ты не услышишь ни одного русского слова»[1] <...>. И она обвивала его своей душистой рукой и касалась до его лица своими пушистыми локонами <...> и она всё манила его куда-то... в какие-то роскошные и таинственные будуары с матовым освещением и с гамбсовскими кушетками <...>. (*Современник. 1855. № 12. Отд. V. С. 239.*)

Л.Ф. ДОСТОЕВСКАЯ

Коллеги отца, изобретавшие анекдоты о том, как он падает в обморок при виде прекрасных женщин, конечно, заметили эту удивительную робость его перед женщинами. Период страстей у отца начинается только после каторги, и тогда уже в обморок он не падает. (*Лит. наследство. Т. 86. С. 303.*)

[1] Уместно напомнить наше предположение, что оскорбительная для Достоевского и Белинского фраза С.М. Виельгорской-Соллогуб была произнесена по-французски.

Н.А. НЕКРАСОВ, И.С. ТУРГЕНЕВ <И.И. ПАНАЕВ>. Послание Белинского к Достоевскому

Но когда на раут светский
Перед сонмище князей,

Ставши мифом и вопросом,
Пал чухонскою звездой
И моргнул курносым носом
Перед русой красотой,

Как трагически недвижно
Ты смотрел на сей предмет
И чуть-чуть скоропостижно
Не погиб во цвете лет.

(*Письма Кавелина и Тургенева... С. 208.*)

Л.Ф. ДОСТОЕВСКАЯ

Друзья Достоевского высмеивали его робость перед женщинами и рассказывали, что он от волнения в обморочном состоянии упал к ногам юной красавицы, когда ей его представляли. (*Лит. наследство. Т. 86. С. 301.*)

Из записной книжки Д.В. ГРИГОРОВИЧА

С Достоевским, представленным на вечере у Виельгорских красавице г-же Сенявиной, сделалось от волнения дурно. (*Ежемесячные лит. приложения к «Ниве». 1901. № 11. Стб. 393.*)

Ф.Б. <Ф.В. БУЛГАРИН>

Кстати об авторах. Они почти то же, что модницы, страждущие *вапорами*[1], нервическими припадками и аппетитами. (*Сев. пчела. 1846. 15 апреля*[2].)

С.Д. ЯНОВСКИЙ — А.Г. ДОСТОЕВСКОЙ. 8/20 января 1882. Пельц

Фёдор Михайлович напр<имер> описывая мне один раз посещение салона Гр<афа> Вьельгорского, на котором он присутствовал вместе с Белинским, прямо сказал — нас пригласили туда для выставки, напоказ. Случайная сцена с Белинским, который уронил нечаянно рюмку с подноса, была шокирована самым оскорбительным образом. Фёд<ор> Мих<айлович> мне говорил, что он собственными ушами

[1] Недомогания, истерические припадки (*фр.*).

[2] Если это намёк на реальное происшествие, то тем самым подтверждается наше предположение, что вечер у Соллогуба состоялся в первых числах апреля.

слышал, как дочь Вьельгорского, граф<иня> Салогуб произнесла след<ующие> слова: «они не только неловки и дики, но и не умны!» (*Долинин, 1924. С. 387.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 26 апреля 1846. Петербург

Любезный брат.

Я не писал тебе оттого, что до самого сегодня не мог взять пера в руки. Причина же тому та, что был болен, при смерти в полном смысле этого слова. Болен я был в сильнейшей степени раздражением всей нервной системы, а болезнь устремилась на сердце, произвела прилив крови и воспаление в сердце, которое едва удержано было пиявками и двумя кровопусканиями. Кроме того, я разорился на разные декокты, капли, порошки, микстуры и тому подобн<ые> гадости. Теперь я вне опасности. (*ПСС. XXVIII. 1. С. 121.*)

Три необязательных дополнения к предшествующей главке

ДОСТОЕВСКИЙ. Идиот

<Аглая — Мышкину:>

— Вы сумеете взять и выпить прилично чашку чаю, когда на вас все будут нарочно смотреть?

— Я думаю, что сумею.

— Это жаль; а то бы я посмеялась.

А.И. ГЕРЦЕН. Былое и думы

Он <Белинский> являлся иногда на литературно-дипломатические вечера одного аристократического литератора <князя Одоевского>. Там толпились люди, ничего не имевшие общего, кроме некоторого страха и отвращения друг от друга <...>.

Раз в субботу накануне нового года хозяин вздумал варить жжёнку en petit comité[1], когда главные гости разъехались. Белинский непременно бы ушёл, но перед ним стояла баррикада мебели, он как-то забился в угол и перед ним поставили небольшой столик с вином и стаканами. Жуковский в белых форменных штанах с золотым «позументом» сел наискось от него. Долго терпел Белинский, но, не видя улучшения своей судьбы, он стал несколько подвигать стол; стол сначала уступал, потом покачнулся и грохнул

[1] В узком кругу (*фр.*).

наземь, бутылка бордо пресерьёзно начала поливать Жуковского. Он вскочил, красное вино струилось по его панталонам: сделался гвалт, слуга бросился с салфеткой домарать вином остальные части панталон, другой подбирал разбитые рюмки... во время этой суматохи Белинский исчез и близкий к кончине, пешком прибежал домой. (*Полярная звезда на 1855 год. Кн. I. С. 96–97.*)

ДОСТОЕВСКИЙ. Идиот

<...> он <князь Мышкин> пересел ближе к столу и прямо попал на кресло подле огромной, прекрасной китайской вазы, стоявшей на пьедестале, почти рядом с его локтем, чуть-чуть позади.

При последних словах своих он вдруг встал с места, неосторожно махнул рукой, как-то двинул плечом — и... раздался всеобщий крик! Ваза покачнулась, сначала как бы в нерешимости: не упасть ли на голову которому-нибудь из старичков, но вдруг склонилась в противоположную сторону, в сторону едва отскочившего в ужасе немчика, и рухнула на пол. Гром, крик, драгоценные осколки, рассыпавшиеся по ковру, испуг, изумление, — о, что было с князем, то трудно да и почти не надо изображать!

Свидетельства медицины

Краткие Биографические сведения, продиктованные А.Г. Достоевской. 1878

В 1844 году вышел в отставку и тогда же написал свою первую довольно большую повесть «Бедные люди». Эта повесть разом создала ему положение в литературе, встречена была критикой и лучшим русским обществом чрезвычайно благосклонно. Это был успех в полном смысле слова редкий. Но наступившее затем постоянное нездоровье несколько лет сряду вредило его литературным занятиям. (*ПСС. XXVII. С. 120.*)

С.Д. ЯНОВСКИЙ

Лечение Фёдора Михайловича было довольно продолжительно; когда местная болезнь совершенно была излечена, он продолжал недели три пить видоизменённый декокт Цитмана, уничтоживший то золотушно-скорбутное худосочие, которое в сильной степени заметно было в больном. Во всё время лечения, которое началось в конце мая <1846 г.> и продолжалось до половины июля, Фёдор Михайлович ежедневно посещал меня, за исключением тех случаев, когда ненастная погода удерживала его дома и когда я навещал его. (*Рус. вестник. 1885. № 4. С. 798.*)

ВС.С. СОЛОВЬЁВ

— Мои нервы расстроены с юности, — говорил он <Достоевский>. — Ещё за два года до Сибири, во время разных моих литературных неприятностей и ссор, у меня открылась какая-то странная и невыносимо мучительная нервная болезнь. Рассказать я не могу этих отвратительных ощущений; но живо их помню; мне часто казалось, что я умираю, ну вот право — настоящая смерть приходила и потом уходила. Я боялся тоже летаргического сна. И странно — как только я был арестован — вдруг вся эта моя отвратительная болезнь прошла <...>. (*Ист. вестник. 1881. № 3. С. 609.*)

К.А. ТРУТОВСКИЙ

Случилось как-то, что в 1849 году Ф<ёдор> М<ихайлович> прожил у меня на квартире несколько дней, и в эти дни, когда он ложился спать, всякий раз просил меня, что если с ним случится летаргия, то чтобы не хоронили его ранее трёх суток. Мысль о возможности летаргии всегда его беспокоила и страшила. (*Рус. обозрение. 1893. № 1. С. 216.*)

Н.В. ГОГОЛЬ. Завещание

1. Завещаю тела моего не погребать по тех пор, пока не покажутся явные признаки разложения. Упоминаю об этом потому, что уже во время самой болезни находили на меня минуты жизненного онемения, сердце и пульс переставали биться... Будучи в жизни своей свидетелем многих печальных событий от нашей неразумной торопливости во всех делах, даже и в таком, как погребение, я возвещаю это здесь в самом начале моего завещания, в надежде, что, может быть, посмертный голос мой напомнит вообще об осмотрительности. (*Выбранные места из переписки с друзьями. СПб., 1847. С. 7–8.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 1 февраля 1846. Петербург

Здоровье мое ужасно расстроено; я болен нервами и боюсь горячки или лихорадки нервической. Порядочно жить я не могу, до того я беспутен. Если не удастся летом купаться в море, то просто беда. (*ПСС. XXVIII. 1. С. 118.*)

Диагноз, требующий подтверждений

А.П. МИЛЮКОВ

Если до ссылки у него <Достоевского> были, как говорят, припадки падучей болезни, то, без сомнения, слабые и редкие. (*Литературные встречи и знакомства. СПб., 1890. С. 207.*)

С.Д. ЯНОВСКИЙ — А.Н. МАЙКОВУ. 17 февраля/1 марта 1881. Канн

Покойный Фёдор Михайлович Достоевский страдал падучею болезнью ещё в Петербурге и притом за три, а может быть и более лет до арестования его по делу Петрашевского, а следовательно до ссылки в Сибирь. Дело всё в том, что тяжёлый этот недуг, называемый Epilepsia— падучая болезнь, у Фёд<ора> Мих<айловича> в 1846, 47 и 48 годах обнаруживался в лёгкой степени; между тем хотя посторонние этого не замечали, но сам больной, правда смутно, болезнь свою сознавал и называл её обыкновенно кондрашкой с *ветерком*. (Заметьте это последнее слово, оно служило мнительному до крайности Фёд<ору> Мих<айловичу> как предвозвестник припадка, вследствие чего он говорил — успею добежать до Сенной, т. е. до моей квартиры, а в сущности это есть один из характеристических признаков Epilepsii). Для меня же, как для врача, было ясно, что дорогой друг наш страдал падучею. Впрочем и в то время несколько раз болезнь обнаруживалась не только в несомненной форме, но даже и в такой сильной степени, что угрожала серьёзною опасностью жизни. (*Новое время. 1881, 24 февраля.*)[1]

И.Е. ДЯДЬКОВСКИЙ[2]. Падучая болезнь

Разделение и течение.

<...> вдруг появляется особенное чувствование поднимающегося горячего или холодного пара, известного под названием *эпилептического ветерка*, быстро пробегающего из какой-либо конечности по нерву к общему чувствилищу, и тотчас следуют припадки <...>.

Исходы. <...> *Смертию* оканчивается или через кровоизлияние в мозг, составляющее материальную сущность удара, или через истощение сил, бывающее при часто повторяемых приступах. (*Практическая медицина. Лекции частно-терапевтические. М., 1847. Ч. 2. С. 125, 128.*)

А.М. ДОСТОЕВСКИЙ — А.С. СУВОРИНУ. 5 февраля 1881. Ярославль

С 1843 года до апреля 1849 года (времени его ареста) я, за редкими исключениями, почти ежедневно видался с братом[3], но никогда,

[1] Е.А. Рыкачёва (дочь А.М. Достоевского) писала родителям 26 февраля 1881 года: «Анна Григорьевна высказала неудовольствие, что Майков напечатал письмо Яновского, не показав его предварительно ей, она бы тогда посоветовала сделать некоторые выпуски, касающиеся семейной жизни дяди» (Мат. и исслед., I. С. 303).

[2] Напоминаем: знаменитый врач, соученик отца Достоевского по Медико-хирургической академии.

[3] Отношения Достоевского с младшим его на четыре года Андреем Михайловичем никогда не были столь тесными: они могли не видеться месяцами.

в продолжительных наших беседах не слыхивал от него об этом недуге; а следует заметить, что он своих болезней не скрывал от меня и часто жаловался, что худо себя чувствует. Правда, в этот период времени (не помню уже с какого именно года) он был несколько раздражителен и, кажется, страдал какою-то нервной болезнью. Мне часто приводилось видеть записки его, оставляемые им на ночь, приблизительно следующего содержания: «Сегодня со мной может случиться летаргический сон, а потому — не хоронить меня (столько-то) дней». Но, скажу ещё раз, о «падучей» в этот период времени он никогда не упоминал. Наконец, я помню слышанное от него самого, что эта болезнь приобретена им во время нахождения его в Сибири. (*Новое время. 1881. 8 февраля.*)

ДОСТОЕВСКИЙ. Из записной тетради 1864–1865 гг.

Да, я болен падучею болезней, которую имел несчастье получить 12 лет назад <зачеркнуто: «получил в неприятную эпоху жизни»>[1] (*ПСС. XX. С. 198.*)

ДОСТОЕВСКИЙ (в передаче Вс.С. Соловьёва)

<...> во время каторги со мной случился первый припадок падучей <...>. Всё, что было со мною до этого первого припадка, каждый малейший случай из моей жизни, каждое лицо, мною встреченное, всё, что я читал, слышал — я помню до мельчайших подробностей. Всё, что началось после первого припадка, я очень часто забываю <...>. (*Ист. вестник. 1881. № 3. С. 609.*)

С.В. КОВАЛЕВСКАЯ

<...> многие доктора говорили мне, что почти все больные этой болезнью <эпилепсией> представляют ту типическую черту, что сами забывают, каким образом она началась у них, и постоянно фантазируют на этот счёт. (*Воспоминания. С. 75.*)

«...Смешон и гадок» (к истории болезни)

С.Д. ЯНОВСКИЙ

Каждое утро, сначала около 10 часов, а потом ровно в половине 9-го, после звонка, раздававшегося в передней, я видел скоро входившего в приёмную комнату Фёдора Михайловича, который, положив на первый стул свой цилиндр и заглянув быстро в зеркало (при-

[1] То есть в Сибири, на каторге.

чём наскоро приглаживал рукой свои белокурые и мягкие волосы, причёсанные по-русски), прямо обращался ко мне: «Ну, кажется, ничего; сегодня тоже не дурно; ну, а вы, батенька? (это было любимое и действительно какое-то ласкающее слово Фёдора Михайловича, которое он произносил чрезвычайно симпатично) ну да, вижу, вижу, ничего. Ну, а язык как вы находите? Мне кажется, беловат, нервный; спать-то спал; ну а вот галлюцинации-то, батенька, были, и голову мутило».

Когда, бывало, после этого приступа, я осмотрю подробно и внимательно Фёдора Михайловича, исследую его пульс и выслушаю удары сердца и, не найдя ничего особенного, скажу ему в успокоение, что всё идёт хорошо, а галлюцинации — от нервов, он оставался очень доволен и добавлял: «ну, конечно, нервы; значит, Кондрашка не будет? это хорошо! Лишь бы Кондрашка не пришиб, а с остальным мы сладим». (*Рус. вестник. 1885. № 4. С. 798.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — С. Д. ЯНОВСКОМУ. 17 декабря 1877. Петербург

<...>я Вас всегда глубоко уважал и искренно любил. А когда думаю о давнопрошедшем и припоминаю юность мою, то Ваш любящий и милый лик всегда встаёт в воспоминаниях моих, и я чувствую, что Вы воистину были один из тех немногих, которые меня любили и извиняли и которым я был предан прямо и просто, всем сердцем и безо всякой подспудной мысли. (*ПСС. XXIX. II. С. 178.*)

С.Д. ЯНОВСКИЙ

<...> он часто жаловался на особенные головные дурноты, подводя их под общее название кондрашки. Я же, наблюдая за ним внимательно и зная многое из его рассказов о тех нервных явлениях, которые бывали с ним в детстве[1], а также принимая во внимание его темперамент и телосложение, постоянно допускал какую-нибудь нервную болезнь. (*Рус. вестник. 1885. № 4. С. 800.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. Январь — февраль 1847. Петербург

Иногда меня мучает такая тоска. Мне вспоминается иногда, как я был угловат и тяжёл у вас в Ревеле. Я был болен, брат. Я вспоминаю, как ты раз сказал мне, что моё обхождение с тобою исключает взаимное равенство. Возлюбленный мой. Это совершенно было несправедливо. Но у меня такой скверный, отталкивающий характер. Я тебя всегда ценил выше и лучше себя. Я за тебя и за твоих готов жизнь отдать, но иногда, когда сердце моё плавает в любви, не добьёшься от меня ласкового слова. Мои нервы не повинуются мне в эти минуты. Я смешон и гадок, и вечно посему страдаю от несправедливого заключения обо мне. (*ПСС. XXVIII. I. С. 139.*)

[1] Это важное и, пожалуй, единственное свидетельство такого рода, ибо кроме описанной самим Достоевским слуховой галлюцинации («Мужик Марей») о его детских нервных расстройствах достоверных сведений не существует.

А.И. ГЕРЦЕН — жене. 5–8 октября 1846. Петербург

Видел вчера Достоевского, он был здесь[1] — не могу сказать, чтоб впечатление было особенно приятно. (*Герцен. XXII. С. 259.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 7 октября 1846. Петербург

Петербург ад для меня. Так тяжело, так тяжело жить здесь! <...> К тому же я страшно боюсь. <...>

Я теперь почти в паническом страхе за здоровье. Сердцебиение у меня ужасное, как в 1-е время болезни. (*ПСС. XXVIII. I. С. 127–128.*)

С.Д. ЯНОВСКИЙ

Лёгкие <Достоевского> при самом тщательном осмотре и выслушивании оказались совершенно здоровыми, но удары сердца были не совершенно равномерны, а пульс был не ровный и замечательно сжатый, как бывает у женщин и у людей нервного темперамента. (*Рус. вестник. 1885. № 4. С. 797.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. Январь — февраль 1847. Петербург

Говорят, что я чёрств и без сердца. Сколько раз я грубил Эмилии Фёдоровне[2], благороднейшей женщине, в 1000 раз лучше меня. Помню, как иногда я нарочно злился на Федю, которого любил в то же самое время даже больше тебя. Я тогда только могу показать, что я человек с сердцем и любовью, когда самая внешность обстоятельства, случая вырвет меня насильно из обыденной пошлости. До того времени я гадок. (*ПСС. XXVIII. I. С. 139.*)

[1] У Панаевых, где остановился Герцен. Следует обратить внимание на дату этого и следующего писем. Знакомство Герцена с Достоевским происходит в момент, когда у последнего наблюдаются признаки нервного расстройства.

[2] Жене Михаила Михайловича.

На площади Сенатской

С.Д. ЯНОВСКИЙ

<...> нельзя было иногда не рассмеяться, когда, бывало, видишь, что стоило кому-нибудь случайно сказать: «какой славный, душистый чай!» — как Фёдор Михайлович, пивший обыкновенно не чай, а тёплую водицу, вдруг встанет с места, подойдёт ко мне и шепнет на ухо: «ну, а пульс, батенька, каков? а? ведь чай-то цветочный!» И нужно было спрятать улыбку и успокоить его серьёзно в том, что пульс ничего и что даже язык хорош и голова свежа. (*Рус. вестник. 1885. № 4. С. 802.*)

Л.Ф. ДОСТОЕВСКАЯ

Здоровье его <Достоевского> пошатнулось, он стал нервным и истеричным. В нём уже пустила корни эпилепсия, и хотя припадков ещё не было, он уже чувствовал себя чрезвычайно подавленным. Теперь он избегал салоны, часами отсиживался дома или блуждал по самым тёмным и пустынным улицам Петербурга. Гуляя, он разговаривал сам с собой, жестикулировал, так что прохожие оглядывались на него. Друзья, встречавшие его, считали его сумасшедшим. В этом бесцветном и отупляющем Петербурге его талант угасал <...>. (*Лит. наследство. Т. 86. С. 302.*)

С.Д. ЯНОВСКИЙ

<...> я совершенно инстинктивно, безотчётно, под влиянием какого-то тревожного чувства повернул направо к Сенатской площади, и как только дошёл до неё, я увидал посреди площади Фёдора Михайловича без шляпы, в расстёгнутом сюртуке и жилете, с распущенным галстуком, шедшего под руку с каким-то военным писарем и кричавшего во всю мочь: «вот, вот тот, кто спасёт меня» и т. д. <...> Фёдор Михайлович называл случай этот знаменательным, и когда приходилось нам вспоминать о нём, то он каждый раз приговаривал: «ну, как после этого не верить в предчувствие?»[1] (*Рус. вестник. 1885. № 4. С. 801.*)

С.Д. ЯНОВСКИЙ — А.Н. МАЙКОВУ. 17 февраля/1 марта 1881. Канн

Я прошу вас, Аполлон Николаевич, припомнить тот случай, как вы, прийдя ко мне однажды, совершенно случайно, в июле 1847 года (я жил

[1] Отметим, что действие разворачивается в виду Медного всадника — свидетеля и виновника многих безумств.

тогда на Обуховском проспекте, в д<оме> докт<ора> Шольца), застали у меня в квартире страшную суматоху и когда вошли в приёмную комнату, то увидали Фёд<ора> Мих<айловича> сидящим на стуле с поднятою рукой, из которой текла струя чёрной как уголь крови, и он закричал вам: «Спасён, батинька, спасён!» — Это был первый сильный припадок болезни, который сопровождался страшным приливом крови к голове и необыкновенным возбуждением всей нервной системы. Я тогда случайно встретился с Фёд<ором> Мих<айловичем> на Исакиевской площади, он шёл от Солоницына, и его вёл под руку какой-то писарь военного ведомства. Фёд<ор> Мих<айлович> был в страшно возбуждённом состоянии; кричал, что он умирает и чтобы его вели скорее ко мне, пульс у него был более 100 ударов и чрезвычайно сильный, голова прижималась к затылку и начинались конвульсии. <...> вы <...> видели у меня в квартире больного несколько дней после этого пароксизма, и я <...> всем вам болезнь называл падучей и больного лечил средствами, болезни этой соответствовавшими. (*Новое время. 1881, 24 февраля.*)

И.Е. ДЯДЬКОВСКИЙ. Падучая болезнь

Лечение в самом пароксизме <...> иногда, для облегчения кровообращения в голове, кроме примочек, требуется общее или местное кровопускание из головной системы. (*Практическая медицина. Лекции частно-терапевтические. Ч. 2. С. 128–129.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.Н. КАТКОВУ. 11 января 1858. Семипалатинск

В то время я, вдобавок ко всему, был болен ипохондрией, и нередко в сильнейшей степени. Только молодость сделала то, что я не износил<ся>, что не погиб во мне жар и любовь к литературе <...>. (*ПСС. XXVIII. I. С. 296.*)

Страсти вокруг каймы

Н.А. НЕКРАСОВ

С 1844 года дела мои шли хорошо. Я без особого затруднения до 700 руб. ассигнациями выручал в месяц, в то время как Белинский, связанный по условию с Краевским, работая больше, получал 450 руб. в месяц. Я стал подымать его на дыбы, указывая на свой заработок. (*Новый мир. 1925. № 1. С. 85.*)

А.Я. ПАНАЕВА

Некрасов подбивал Белинского издать книгу как можно объёмистее и придумал уже название «Альманах Левиафан». Раз, находясь у нас, Не-

красов высчитывал расходы по изданию альманаха, а Белинский расхаживал по комнате и слушал; когда же Некрасов высчитал — сколько за всеми расходами может остаться барыша, Белинский остановился и воскликнул:

— Да я буду Крез!... (*Ист. вестник. 1889. № 4. С. 34.*)

В.Г. БЕЛИНСКИЙ — А.И. ГЕРЦЕНУ. 2 января 1846. Петербург

К Пасхе я издаю толстый, огромный альманах. Достоевский даёт повесть <...>. (*Белинский. XII. С. 254.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ 1 апреля 1846. Петербург

Он <Белинский> не возьмётся за критику года два. Но для поддержания финансов издаёт *исполинской* толщины альманах (в 60 печ. листов). Я пишу ему две повести: 1-е) «Сбритые бакенбарды», 2-я) «Повесть об уничтоженных канцеляриях», обе с потрясающим трагическим интересом и — уже отвечаю — сжатые донельзя. Публика ждёт моего с нетерпением (*ПСС. XXVIII. I. С. 120.*)

Н.А. НЕКРАСОВ, И.С. ТУРГЕНЕВ <И.И. ПАНАЕВ>. Послание Белинского к Достоевскому

С высоты такой завидной,
Слух к мольбе моей склоня,
Брось свой взор пепеловидный,
Брось, великий, на меня!

Ради будущих хвалений
(Крайность, видишь, велика)
Из неизданных творений
Удели не «Двойника».

Буду нянчиться с тобою,
Поступлю я как подлец,
Обведу тебя каймою,
Помещу тебя в конец.

(*Письма Кавелина и Тургенева... С. 208.*)

Из записной книжки Д.В. ГРИГОРОВИЧА

Стихотворение это <«Послание Белинского к Достоевскому»>, написанное в 1846 г., когда Тургенев и Некрасов находились в дружественных отношениях, посвящено было Белинскому, восторгавшемуся тогда Достоевским. Достоевский настоятельно требовал

помещения в «Сборнике» Белинского его повести «Двойник» и желал, чтобы она напечатана была окружённая рамкой, для отличия её от других произведений «Сборника». (*Ежемесячные лит. приложения к «Ниве». 1901. № 11, стб. 393–394.*)

Новый поэт <И.И. ПАНАЕВ>

Кумирчик наш потребовал, чтобы его статью напечатали непременно в начале или в конце книги, чтобы она бросилась в глаза всем, и была не в пример другим обведена золотым бордюром или каймою. Издатель на всё согласился и запел, потрепав маленького гения по плечу:

Ты доволен будешь мною:
Поступлю я как подлец,
Обведу тебя каймою,
Помещу тебя в конец!

(*Современник. 1855. № 12. Отд. V. С. 240.*)

Из дневника Н.А. ДОБРОЛЮБОВА. Запись 2 января 1856 г.

В декабрь<ской> книжке «Совр<еменника>» помещено начало заметок Нового Поэта о петерб<ургской> жизни. Там толкуется о разных литераторах, и именно: литератор, к которому все ходят читать свои произведения, — Тургенев; литератор, любящий водку, — Писемский; литератор, которого все поднимали и который кричал всё «выше, выше», — Достоевский Ф. (*Добролюбов Н.А. Дневники 1851–1859. М., 1931. С. 87.*)

<К.Ф. ПИСЕМСКИЙ>. Мнения, чувства и воззрения статского советника Салатушки

<...> сегодня же я пробегал литературные воспоминания г-на Панаева. Этот писатель должен быть чрезвычайно свободомыслящий человек. Он, я думаю, способен всё на свете написать про всякого, кто только имел неосторожность пускать его к себе в дом. Интересно знать: опишет ли он в своих воспоминаниях тот краеугольный камень, на котором основалась его замечательная в высшей степени дружба с г-ном Некрасовым, так что теперь дружба Греча с Булгариным теряет уже всю свою прелесть. Не знаю, всё ли он опишет, а ведь если умолчит что-нибудь, так, пожалуй, явится и дополнение. Интересно тогда будет читать: я ужасно люблю такого рода схватки[1]. (*Библиотека для чтения. 1861. № 2. С. 4.*)

[1] Некрасов заметит в письме к Тургеневу: «Писемский написал <...> ужасную гадость, которая кабы касалась меня, так ничего бы» (Некрасов. X. С. 448). Разумеется, Некрасов имеет ввиду намёк на его связь с А.Я. Панаевой.

Н.Ф. ЩЕРБИНА. Эпитафия И.И. ПАНАЕВУ. 1860

Лежит здесь, вкушая обычный покой неизвестности,
Панашка, публичная девка российской словесности.
(*Рус. старина. 1907. № 4. С. 197.*)

ДОСТОЕВСКИЙ. Из записной тетради 1875–1876 гг.

Белинский. Поэт — это ведь б<—>. (*ПСС. XXIV. С. 136.*)

Новый поэт <И.И. ПАНАЕВ>

С этой минуты кумирчик наш стал совсем заговари<ва>ться и вскоре был низвергнут нами с пьедестала и совсем забыт. Бедный! мы погубили его, мы сделали его смешным. (*Современник. 1855. № 12. Отд. V. С. 240.*)

ДОСТОЕВСКИЙ. Из черновых материалов к неосуществлённым главам «Дневника писателя». 1881.

Каторга. <...>

И мужик постыдится, он не попрекнёт «несчастного». (*ПСС. XXVII. С. 198.*)

Краткий практикум по истории сплетни

Д.В. ГРИГОРОВИЧ

Стороною только доходили до меня слухи о том, что он <Достоевский> требовал печатать «*Бедных людей*» особым шрифтом и окружить рамкой каждую страницу; я не присутствовал при этих разговорах и не знаю, справедливо это или нет; если и было что-нибудь похожее, тут, вероятно, не обошлось без преувеличения. (*Рус. мысль. 1893. № 1. С. 12.*)

И.С. ТУРГЕНЕВ

В тогдашнее, тёмное, подпольное время сплетня играла большую роль во всех суждениях — литературных и иных... Известно, что сплетня и до сих пор не совсем утратила своё значение; исчезнет она только в лучах полной гласности и свободы[1]. (*Вестник Европы. 1869. № 4. С. 695.*)

<ДОСТОЕВСКИЙ>. Петербургская летопись

Знаете ли, господа, сколько значит, в обширной столице нашей, человек, всегда имеющий у себя в запасе какую-нибудь новость, ещё

[1] Это суждение вдвойне справедливо, если учесть роль самого Тургенева в «истории с каймой». (См. след. главку).

никому не известную, и сверх того обладающий талантом приятно её рассказать? По-моему, он почти великий человек; и уж бесспорно, иметь в запасе новость лучше, чем иметь капитал. Когда петербуржец узнаёт какую-нибудь редкую новость и летит рассказать её, то заране чувствует какое-то духовное сладострастие; голос его ослаб и дрожит от удовольствия; и сердце его как будто купается в розовом масле. <...>

Сплетня вкусна, господа! (*С.-Петербургские ведомости. 1847. 11 мая.*)

Факты по делу — из первых и третьих рук

Художник П.П. СОКОЛОВ

<...> Некрасов <...> нервно начал ходить по комнате, лихорадочно потирая себе руки, и заговорил: — Так вот, г. Соколов <...> главною вещью этого «Альманаха» и самою выдающеюся будет повесть Достоевского «Бедные люди»; уж Вы, пожалуйста, постарайтесь передать эти бесподобные типы. <...>

По моему совету Некрасов решил ограничиться одним заглавным листом; это было бы и дешевле и скорее могло быть исполнено. На большом листе я собрал все цветы этого альманаха в виде большого букета с группою из повести «Бедные люди». (*Воспоминания. Л., 1930. С. 111–112.*)

Я. Я. Я. <Л.В. БРАНДТ>

На Невском Проспекте, в многолюдной кондитерской Излера всенародно вывешено великолепно-картинное объявление о «Петербургском Сборнике». На вершине сего отлично расписанного яркими цветами объявления, по сторонам какого-то бюста, красуются, спиною друг к другу, большие фигуры «Макара Алексеевича Девушкина» и «Варвары Алексеевны Добросёловой», героя и героини романа Г. Достоевского: «Бедные люди». Один пишет на коленах, другая читает письма, услаждавшие их горести. Нет сомнения, что подвигнутый этим картинным объявлением «Петербургский Сборник» воспользуется успехом, отнятым у него покамест завистию и несправедливостию. (*Сев. пчела. 1846, 1 марта.*)

Н.В. ГОГОЛЬ — П.А. ПЛЕТНЁВУ. 8/20 марта 1846. Рим

<...> я враг политипажей и всяких модных выдумок. Товар должен продаваться лицом, и нечего подслащивать его этим кондитерством. (*Гоголь, 13. С. 45.*)

В.Г. БЕЛИНСКИЙ — А.И. ГЕРЦЕНУ. 19 февраля 1846. Петербург

Политипажи — дело доброе: они вербуют тех покупателей, которые иначе не читают книг, как только глазами, а для кармана все покупатели хороши. (*Белинский. XII. С. 265–266.*)

П.А. ПЛЕТНЁВ — Я.К. ГРОТУ. 3 апреля 1846. Петербург

Гоголь вчера написал мне, что не согласен «Мёртвые души» <...> издать с гравюрами, которые называет конфектными снадобьями для сбыта гнилого товара. (*Переписка... 2. С. 722.*)

Н.В. ГОГОЛЬ — П.А. ПЛЕТНЁВУ. 22/30 июля 1846. Швальбах

Печатать <«Выбранные места»> на хорошей бумаге <...> ни виньеток, ни бордюров никаких, сохранить во всём благородную простоту. (*Гоголь, 13. С. 92.*)

И.С. ТУРГЕНЕВ (в передаче К.Н. Леонтьева). Осень 1851

Вот как, например, случилось с этим несчастным Достоевским. Когда он отдавал свою повесть Белинскому для издания, так увлёкся до того, что сказал ему: «Знаете, — *мою-то повесть надо бы каким-нибудь бордюрчиком обвести!*» (*В кн.: Леонтьев К.Н. Страницы воспоминаний. СПб., 1922. С. 27.*)

Из черновых набросков к неосуществлённым главам «Дневника писателя». 1881

Но чтоб требовать каймы — не в таких я был отношениях. (*ПСС. XXVII. С. 198.*)

Н.А. БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ — А.К. ШЕЛЛЕРУ. 21 сентября 1883

Затем Тургенев передавал свои воспоминания о прошлом. Достоевский во времена Белинского, его недоверчивость и подозрительность; требования, чтобы его статьи в альманахе печатались с каёмкою на страницах, чтобы отличить их от прочих. (*И.С. Тургенев. Материалы и исследования. Орел, 1940. С. 52.*)

Из дневника А.Н. ЛУКАНИНОЙ (со слов Тургенева). Запись 27 мая 1879

Помню случай с Белинским — это было во времена «Московского телеграфа»[1]. Является к Белинскому молодой человек и приносит рукопись, прося прочитать её и поместить её в журнал, если она годится. Статья оказалась недурна, и Белинский согласился на то, чтобы она была напечатана. Тогда молодой автор поставил условием, чтобы она была непременно помещена в конце или начале книги и чтобы каждая страница была обнесена каймой. Белинский отказался от помещения её на таких условиях. После мы все вместе сочинили по этому поводу шуточные стихи, описывающие похождения молодого автора, — припев был такой: «Обнесу тебя каймою, помещу тебя в конец». (*В кн.: И.С. Тургенев в воспоминаниях современников. М., 1969. Т. 2. С. 221.*)

[1] Как видим, фантастический элемент нарастает по мере удаления от события. «Московский телеграф» был запрещён в 1834 году, и Белинский в нём не сотрудничал. Можно предположить, что слушательница запамятовала название журнала. Но похоже, что Тургенев намеренно смещает хронологию и не называет фамилию героя (в 1879 году благополучно здравствовавшего).

А.П. ТОЛЧЁНОВ

Боже мой! Каких историй, рассказов, анекдотов не ходило в публике того времени про Белинского, Некрасова, Ф. Достоевского и др. (*Музыкальный свет. 1873. № 33. С. 263.*)

1880 год: воскрешение легенды (новые страсти вокруг каймы)

П.В. АННЕНКОВ. Замечательное десятилетие

Внезапный успех, полученный его <Достоевского> повестью, сразу оплодотворил в нём те семена и зародыши высокого уважения к самому себе и высокого понятия о себе, какие жили в его душе. <...> когда решено было напечатать «Бедные люди» в альманахе Некрасова «Петербургский Сборник» (1846), автор совершенно спокойно, и как условие, следующее ему по праву, потребовал, чтобы его роман был отличён от всех других статей книги особенным типографским знаком, например — каймой. Роман и был действительно обведён почётной каймой в альманахе. (*Вестник Европы, 1880, № 4. С. 479.*)

О.Ф. МИЛЛЕР

Слуху этому легко помогает держаться то, что «Петербургский сборник» давно уже составляет библиографическую редкость. Но стоит только вытребовать его в Публичной библиотеке и поискать, где в нём бордюр вокруг «Бедных людей»? (*Биография... С. 67.*)

<А.С. СУВОРИН>

Мы взяли «Петербургский Сборник» 1846 г. и увидели, что г. Анненков это обстоятельство сочинил, вероятно, по свойственному ему добродушию: «Бедные люди» напечатаны без всякой каймы, тем

же самым шрифтом, как и другие статьи этого сборника. Мало этого, «почётной каймой» отличены «Помещик» Тургенева и «Парижские увеселение» Ив. Панаева — под этой почётной каймой мы разумеем иллюстрации <...>. (*Новое время. 1880, 4 апреля.*)

П.В. АННЕНКОВ — М.М. СТАСЮЛЕВИЧУ. 7/19 апреля 1880. Баден

Память мне не изменила, да и не могла изменить. Всему тогдашнему литературному миру были известны долгие переговоры Достоевского с Некрасовым, предметом которых служило требование первого, чтобы роман его был отличён от других произведений в альманахе каким-либо почётным знаком <...>. Взбешённый Некрасов согласился на все требования автора и отомстил ему только эпиграммой, которая ходила тогда по рукам. Прошу Вас навести справку об этой подробности у Тургенева, который знал всё это дело, да и помнил до недавнего времени эпиграмму наизусть. <...> *Я сам видел первые* экземпляры Сборника с рамками <...>. (*В кн.: М.М. Стасюлевич и его современники в их переписке. СПб., 1912. Т. III. С. 383–384.)*

И.С. ТУРГЕНЕВ — П.В. АННЕНКОВУ. 3/15 января 1857. Париж

Идеалист с широким пузом,
Рос<т>бифа неуклонный жрец,
Помещик, милый Русским Музам,
Бог опечаток — наконец!

(*Наша старина. 1914. № 11. С. 987.*)

Из черновых набросков к неосуществлённым главам «Дневника писателя». 1881

Г-н Анненков скоро уехал и не мог быть свидетелем дальнейшего, то есть как меня поссорили с Белинским, хотя мы никогда не ссорились. Но тут была не только оскорблена личность, а я ничего-то этого не заметил. (*ПСС. XXVII. С. 198.*)

Л.Ф. ДОСТОЕВСКАЯ

Достоевский был настолько честен, что ему не приходила в голову мысль о том, что его кто-нибудь желает обмануть. (*Достоевский в изображении дочери... С. 83.*)

<М.М. СТАСЮЛЕВИЧ>. От редакции

Автор «Воспоминаний» находится за границей; но нам и не пришлось ожидать от него объяснений, так как возможность справки оказалась у нас под рукой. Вся существенная сторона рассказа о «кайме» — несомненна, но

автор «Воспоминаний» <...> отнёс «обстоятельство», известное всем в ту эпоху, к «Бедным людям», между тем как дело должно было идти о другом произведении г. Достоевского — «Рассказ Плисмылькова», или что-то в этом роде, предназначавшемся в задуманный Белинским сборник «Левиафан». <...> Белинский тогда же, смущённый таким оригинальным требованием, изложил своё затруднение близким друзьям; чтоб утешить его — Некрасов, Панаев и др. придумали написать от имени Белинского стихотворное послание к автору «Бедных Людей», которое заключалось таким четверостишием:

«Будешь ты доволен мною:
Поступлю я как п...
Обведу тебя каймою,
Помещу тебя в конец».

Примечание. Это четверостишие памятно многим людям той эпохи <...> в настоящем же его виде, оно сообщено нам из записной книги 50-х годов, ведённой одним из лиц, весьма близко стоявших к редакции «Современника» той эпохи. (*Вестник Европы. 1880. № 5. С. 412–413.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — К.П. ПОБЕДОНОСЦЕВУ. 19 мая 1880. Старая Русса

Профессора ухаживают там <в Москве> за Тургеневым, который решительно обращается в какого-то личного мне врага. (В «Вестнике Европы» пустил обо мне мелкую сплетню о небывалом одном происшествии 35 лет тому назад). (*ПСС. XXX. I. С. 156.*)

<А.С. СУВОРИН>

Мы говорили уже об этой старческой сплетне почтенного г. Анненкова, поддержанной другим старцем, не объявившим своего имени, которое осталось тайною кабинета г. Стасюлевича. (*Новое время. 1880, 18 мая.*)

Из черновых набросков к неосуществлённым главам «Дневника писателя». 1881

«Вестник Европы» утверждается именно на виршах. Но в результате вышло, что в виршах этих все его доказательства. Но вирши-то эти и могли бы, по-моему, открыть глаза столь горячим обвинителям моим (не понимаю, почему столько горячки) и убедить их, что они без сомнения не на меня написаны. (*ПСС. XXVII. С. 198.*)

А.С. СУВОРИН — ДОСТОЕВСКОМУ. 1 мая 1880. Петербург

Многоуважаемый Фёдор Михайлович,

Посылаю Вам «Вестник Европы» на случай, если его Вы не выписываете. На стр. 412 Вы найдёте ответ на мою заметку, которую я сделал относи-

тельно «Каймы». Будете ли Вы отвечать или нет? Во всяком случае отвечать можно и мне. «Вест<ник> Евр<опы>» не выписал из моей заметки тех строк, где я говорю о том, что обведены были каймою рассказ Тургенева и очерк Панаева, т. е. иллюстрированы, в ответе вообще замечается путаница, и он похож на какую-то сплетню, ибо никакого доказательства рассказанной выше сплетне нет. <...> Если Вы отвечать не будете — черкните два слова. Я отвечу сам, ибо, повторяю, ничего убедительного в рассказе «Вест<ника> Европы», вероятно, Тургенева, нет.

Ваш А. Суворин.

Была ли у Вас повесть «Рассказ Плисмылькова»? (*Отдел рукописей РГБ, ф. 93, разд. 2, карт. 2, ед. хр. 33*)

Н.А. НЕКРАСОВ <Журнальное объявление>

Скоро отпечатается:

«Иллюстрированный альманах»

I. Содержание:

<...>

«Рассказ Плисмылькова»[1] ..... Ф.М. Достоевского
«Встреча на станции», рассказ ..... И.И. Панаева
«Дурак Федя», рассказ[2] ..... А. С<танкевича>

(*Современник. 1848. № 2.*)

А.С. СУВОРИН

<...> никакого «Рассказа Плисмылькова» нет ни в «Сочинениях» Достоевского, ни в «Современнике». (*Новое время. 1880. 18 мая.*)

ДОСТОЕВСКИЙ. Из записной тетради 1880–1881 гг.

Нравственен ли поступок журнала «Вестник Европы», клеветавшего на меня. (*ПСС. XXVII. С. 51.*)

<В.П. БУРЕНИН>. К истории о «кайме», сочинённой г. Анненковым и поддерживаемой г. Стасюлевичем

Очевидно, новый поэт, т. е. покойный Панаев, вообще склонный к юмористическим подтруниваниям на счёт литературных приятелей, сочинил в шутку эту смешную сплетню, а разные литературные кумушки сороковых годов подхватили её и начали выдавать за несомненную правду. (*Новое время. 1880, 3 мая.*)

[1] Как уже было сказано, так первоначально именовался «Ползунков».

[2] Любопытно, что в журнальном объявлении, в отличие от текста «Иллюстрированного альманаха», рассказ Достоевского и «Дурак Федя» тактично разведены.

Из черновых набросков к неосуществлённым главам «Дневника писателя». 1881

Всё это, может, и вздор, и конечно не стоило связываться. Но я сам писал о Белинском и встрече моей с ним. И я не хочу, чтобы тень лжи легла на мой рассказ. Если бы я не возразил, сказали бы, что справедливо. Во-2-х, что за странное желание досадить, рыться в таком хламе, что за горячка.

Сделать смешнее <?> il en reste[1].

Забыл, где у Диккенса, член конгресса — что вот этот член украл 9-ти лет яблоко — тут вроде этого.

Не могу тоже не заметить, что кто раз сказал неправду, тот скажет её и в другой раз, и потому я жду от органов г-на Стасюлевича и всякой дальнейшей неправды. (*ПСС. XXVII. С. 198–200.*)

<В.П. БУРЕНИН>

Поддерживать эту гадкую сплетню, сочинённую каким-нибудь досужим журналистом чуть не полвека назад, и при том поддерживать так серьёзно и важно, как это делает почтенная редакция «Вестника Европы», — право, это не достойное дело. Со стороны г. Анненкова не хорошо уже было то, что он подобрав где-то сплетню, ввёл её в свои воспоминания; но со стороны г. Стасюлевича совсем уж дурно, что он различными лживыми изворотами старается утвердить достоверность явного журнального вздора. (*Новое время. 1880, 2 мая.*)

Из черновых набросков к неосуществлённым главам «Дневника писателя». 1881

Не припомню, кто это был, но скажу лишь про покойного Панаева.

Панаев этого никогда не мог мне простить[2] и, я повторяю, кое в чём мне вредил, но всё же я не обвиняю его в изобретении анекдотика с каймой. Откуда его мог слышать г-н Анненков, от кого? (*ПСС. XXXII. С. 198.*)

А.С. СУВОРИН — ДОСТОЕВСКОМУ. 12 мая 1880. Петербург

Довольны ли Вы тем, что написал Буренин о кайме, или Вы желали бы, чтоб объявить от Вашего имени, что это ложь? Признаться, я не решился

[1] <Клевещите смело,> что-нибудь да останется (*фр. посл.*).

[2] Не вполне ясно, о чём идет речь. Вряд ли имеется в виду супружеская ревность, хотя, если верить А.Я. Панаевой, муж (спокойно взиравший на её отношения с Некрасовым) однажды приревновал её даже к вполне безобидному Белинскому. Не подразумевается ли здесь какая-то литературная обида, где обиженной стороной выступает Панаев («не мог *мне* простить»)?

это сделать, думая, что Вы, пожалуй, раздумаете. Но я нашёл все альманахи при «Современнике», в одном из них Ваш крошечный рассказ совсем не под тем названием, под которым объявил «Вестник Европы»[1], а в «Современнике» Ваш рассказ на 10 страничек, в письмах[2] и больше ничего. (*Отдел рукописей ГБЛ, ф. 93, разд. II, карт. 9, ед. хр. 33.*)

Из черновых набросков к неосуществлённым главам «Дневника писателя». 1881

Есть одна вещь, которую я глубоко избегаю, именно личные препирания по нападкам личным, не как на автора только, а именно лично. В прежних «Дневниках» моих (76 и 77 года) я редко препирался лично, в прошлом (1880) году была сделана на меня одна нападка в одном журнале, на первый взгляд очень ничто<жная>. <...>

Я было вовсе хотел их пренебречь и не ответить, но они прямо касаются моей биографии, а не поправь я, не возрази я сам, пожалуй, скажут, что я согласен и что всё, стало быть, справедливо. (*ПСС. XXVII. С. 197–198.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — А.С. СУВОРИНУ. 14 мая 1880. Старая Русса

На счёт глупенькой «каймы» не знаю, что Вам и сказать. Словами в «Нов<ом> времени» (о кайме) я конечно доволен. Если сам что-нибудь напишу, то когда-нибудь потом, когда начну мои «Литературные воспоминания» (а их начну непременно). Но если бы теперь Вы, например, как издатель газеты поместили бы всего *пять* строк в том смысле что: мы-де получили от Ф.М. Достоевского формальное заявление, что никогда ничего подобного рассказанному в «Вестнике» насчёт каймы не было и не могло быть, и проч. и проч. (формулировка по Вашему усмотрению), то я был бы Вам весьма за это благодарен. (*ПСС. XXX. I. С. 155.)*

<А.С. СУВОРИН>

Ф.М. Достоевский, находясь в Старой Руссе, где он лечится, просит нас заявить от его имени, что «ничего подобного тому, что рассказано в “Вестнике Европы” П.В. Анненковым на счет “каймы”, не было и не могло быть» и что он «никогда не получал стихотворения, якобы сочинённого Некрасовым и Панаевым на счёт этой же каймы». (*Новое время. 1880, 18 мая.*)

[1] «Ползунков» (Иллюстрированный альманах. СПб., 1848).
[2] «Роман в девяти письмах» (Современник. 1847. № 1).

ДОСТОЕВСКИЙ. Из записной тетради 1880–1881 гг.

Ах если б вам какой анекдотик. Прибегать к кайме, чтобы запачкать. (*Лит. наследство. Т. 83. С. 676.*)

П.В. АННЕНКОВ — М.М. СТАСЮЛЕВИЧУ. 2/14 июня 1880. Симбирск

Скажите Тургеневу, чтобы не забыл положить на бумагу полной эпиграммы Некрасова на эту одичавшую собаку, которая зовётся в мире...[1] (*М.М. Стасюлевич и его современники... III. С. 388.*)

Заботы нелитературного свойства

М.В. БЕЛИНСКАЯ — ДОСТОЕВСКОМУ. 12 декабря 1862. Москва

Милостивый государь Фёдор Михайлович!

Пятнадцать лет прошло с тех пор, как мы не виделись и, быть может, что Вы забыли о моём существовании, но я никогда не переставала чувствовать к Вам самое дружеское расположение и принимала в Вас искреннее участие. <...>

Как часто с сестрой моей вспоминаю я об Вас и о том времени, когда Вы познакомились с моим мужем; с каким вниманием слушает об Вас дочь моя, *которую Вы носили на руках* <...> (*В кн.: Достоевский Ф.М. Письма, 1, С. 559.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 26 апреля 1846. Петербург

У меня есть до тебя просьба, которую ты должен исполнить и хлопотать о ней всеми силами. Это вот что. Белинский едет на лето (он уехал сегодня) в Москву, а потом вместе с другом своим Щепкиным и ещё кое с кем предпринимает путешествие на юг России, в Малороссию, в Одессу и в Крым. Он возвращается в сентябре и будет хлопотать о своём альманахе. Жена его с своей сестрой и с годовалым ребёнком отправляются в Гапсаль. <...> Они остаются без няньки. <...> И посему просят меня покорнейше написать к тебе следующую просьбу их. Начиная со дня получения сего письма моего, постараться всеми силами (о чём и я прошу тебя) поискать в Ревеле няньку, немку, *а не чухонку* (это непременно), если можно пожилую <...>. Умоляю тебя за себя. Я люблю и уважаю этих людей. Прошу тебя покорнейше, тебя вместе с Эмилией Фёдоровной, постарайтесь. M-me Белинская, весьма слабая, пожилая[2] и больная женщина, принуждена ехать одна-одинёшенька, да ещё с ребёнком. Служить же у них не надо лучше.

[1] Не вполне ясно, принадлежит ли это многоточие Анненкову или здесь сделана издательская купюра.
[2] М.В. Белинской в 1846 году — 34 года.

Они люди добрые, живут в довольстве и обходятся с людьми примерно хорошо (*ПСС. XXVII. I. С. 122.*)

А.М. КОНЕЧНЫЙ (установлено по спискам пассажиров в «Revalsche Wochentliche Nachrichten»)

1846

Мая 25. Фёдор Д<остоевск>ий прибыл пароходом в Ревель к брату. (*Достоевский и его время. С. 283.*)

В.Г. БЕЛИНСКИЙ — М.В. БЕЛИНСКОЙ. 12 июля 1846. Одесса

Итак, поездка твоя в Ревель не принесла тебе ни пользы, ни удовольствия, оттого, главное, как теперь ясно оказывается, что ты ошибочно понадеялась найти в Ревеле прислугу и рискнула ехать туда без прислуги. <...>

Опасение Агриппины[1], чтобы я не проболтался Достоевскому о том, что его родные — размазня, совершенно неосновательно. Я был бы не болтун, а дурак, если бы счёл себя вправе смеяться Достоевскому в глаза над близкими ему людьми, которые, в довершение всего, были к вам радушны. На этот счёт я могу вас успокоить. (*Белинский. XII. С. 300–301.*)

Н.Н. СТРАХОВ

<...> Михаил Михайлович <Достоевский>, как и многое множество наших дворян, имел очень мало свойств делового человека. (*Биография... С. 263–264.*)

А.М. КОНЕЧНЫЙ (установлено по спискам пассажиров в «Revalsche Wochentliche Nachrichten»)

Августа 31 <1846 г.>. Фёдор Д<остоевск>ий и М.В. Белинская отбыли пароходом из Ревеля в Петербург. (*Достоевский и его время. С. 283.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 17 октября 1846. Петербург

Брат Андрей тебе кланяется. Белинские тоже, и тебе и Эмилии Фёдоровне. Я у них бываю. Вот играют-то на авось![2] (*ПСС. XXVIII. I. С.130.*)

А.Я. ПАНАЕВА

Достоевский претендовал на Белинского за то, что он играет в преферанс, а не говорит с ним о его «Бедных людях».

[1] А.В. Орлова, сестра М.В. Белинской.

[2] В момент написания этого письма Белинский ещё не вернулся в Петербург, поэтому слова Достоевского относительно карточной игры свидетельствуют *о семейной страсти.*

— Как можно умному человеку просидеть даже десять минут за таким идиотским занятием, как карты, а он сидит по два и по три часа! — говорил Достоевский с каким-то озлоблением. — Право, ничем не отличишь общества чиновников от литераторов: то же тупоумное препровождение времени. (*Ист. вестник. 1889. № 3. С. 571.*)

К.Д. КАВЕЛИН

Как только приходил Белинский после обеда — тотчас же начиналась игра в карты, копеечная, но которая занимала и волновала его до смешного. Заигрывались мы зачастую до бела дня. <...> Поверит ли читатель, что в нашу игру, невиннейшую из невинных, которая в худшем случае оканчивалась рублём, двумя, Белинский вносил все перипетии страсти, отчаяния и радости, точно участвовал в великих исторических событиях? (*Собр. соч. III. Стб. 1089.*)

А.Я. ПАНАЕВА

<...> вечером, часов в десять <Белинский> приходил к нам играть в преферанс, к которому очень пристрастился, сильно горячась за картами. Он всё приставал, ко мне, чтобы я также выучилась играть в преферанс.

— Гораздо было бы лучше играть с нами в преферанс, чем всё читать вашу Жорж-Занд, — твердил он. <...>

— Мы и так с вами бранимся, а за картами просто подерёмся, — отвечала я. — К тому же вам вредно играть в преферанс; вы слишком волнуетесь, тогда как вам нужен отдых.

— Мои волнения за картами пустяки; вот вредное для меня волнение, как, например, сегодня я взволновался, когда мне принесли лист моей статьи, окровавленной цензором: изволь печатать изуродованную статью! От таких волнений грудь ноет, дышать трудно! (*Ист. вестник. 1889. № 2. С. 316.)*

С.Д. ЯНОВСКИЙ

В карты Фёдор Михайлович не только не играл, но не имел понятия ни об одной игре, ненавидел игру. Вина и кутежа он был решительный враг <...>. (*Рус. вестник. 1885. № 4. С. 802.*)

А.В. ОРЛОВА

24 ноября 1846 года родился у него <Белинского> сын Владимир. <...> Тургенев заранее высказался быть крёстным отцом и сказал сестре, что подарит крестнику небольшую деревню. <...>

Обыкновенно Тургенев звонил сильно и иногда даже обрывал звонок, а как войдёт, бросится на диван, так что иногда пружины лопались, а на другой день после рождения мальчика он позвонил очень осторожно (колокольчик был обвязан), вошёл и сел так тихо, что ни одна пружина не за-

звенела, и спросил у меня вполголоса о здоровье сестры и маленького. Эта деликатность удивила и глубоко тронула меня.

Крестник Тургенева прожил недолго; в марте он умер. (*Лепта Белинского. С. 20.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. Январь — февраль 1847. Петербург

Не знаю, что родила m-me Белинская. Слышал, что кричит за две комнаты ребёнок, а спросить как-то совестно и странно. (*ПСС. XXVIV. I. С. 140.*)

ДОСТОЕВСКИЙ

Семейство, собственность, нравственную ответственность личности он <Белинский> отрицал радикально. (Замечу, что он был тоже хорошим мужем и отцом, как и Герцен.) (*Дневник писателя. 1873.*)

И.С. АКСАКОВ — родным. 1 июня 1846. Калуга

Узнав, что Белинский женат, имеет ребёнка и что он атеист, она <А.О. Смирнова-Россет> почувствовала к нему сильное сострадание; в самом деле он жалок да ещё болен. (*И.С. Аксаков в его письмах... Ч. I. Т. I. С. 339.*)

Рождение журнала: двойник-конкурент

В.Г. БЕЛИНСКИЙ — А.И. ГЕРЦЕНУ. 2 января 1846. Петербург

Вот в чём дело. Я твёрдо решился оставить «Отечественные записки» и их благородного, бескорыстного владельца. <...> с г. Кр<ае>вским невозможно иметь дела. Это, может быть, очень хороший человек, но он приобретатель, следовательно, вампир, всегда готовый высосать из человека кровь и душу, <а> потом бросить его за окно как выжатый лимон. <...> Я живу вперёд забираемыми у него деньгами, — и ясно вижу, что он не хочет мне их давать: значит, хочет от меня отделаться. Мне во что бы то ни стало надо упредить его. (*Белинский. XII. С. 252–253.*)

В.Г. БЕЛИНСКИЙ — А.И. ГЕРЦЕНУ. 19 февраля 1846. Петербург

Ход дела был чрезвычайный. Я, будто мимоходом, уведомил Рощина[1], предлагавшего мне взять у него денег, что, спасая здоровье и жизнь, бросаю работу журнальную и прошу только додать мне рублей 50 серебром, остающихся за ним по 1-е апреля. В ответ получаю, что без

[1] Разбойник из повести М.Н. Загоскина. Так Белинский именует А.А. Краевского.

меня он не может счесться, что, дескать, придите — обо всём перетолкуем. Прихожу. Сцена была интересная. Он был явно смущён. Не знал, как начать — думал шуткою, да не вышло. Он ожидал, может быть, что я намекну о недостаточности платы, а я холодно и спокойно заговорил о жизни и здоровье. «Да ведь надо же работать-то». — «Буду делать, что мне приятно и не стесняясь срочностью». — «Гм! Как же это? Надо подумать об “Отечественных записках”. Что делает Кронеберг?» — «Не знаю». — «Гм! а Некрасов?» и т. д. Наконец: «Не знаете ли кого?» Вообще был сконфужен сильно; но опасности своей не понимает — это ясно. <...> В апреле едет в Москву — кажется переманивать в Петербург Галахова[1]. Желаю успеха. (*Белинский. XII. С. 264.*)

В.Г. БЕЛИНСКИЙ — А.И. ГЕРЦЕНУ. 6 апреля 1846. Петербург

В Москву он <Краевский> не поехал. У него <-—-> образовалась фистула, и он вытерпел довольно мучительную операцию и теперь лежит. Но, вероятно, оправившись, поедет надувать Галахова. С богом! (*Белинский. XII. С. 273–274.*)

А.И. ГЕРЦЕН — А.А. КРАЕВСКОМУ. 25 февраля 1846. Москва

Что у вас в Питере за чудеса творятся? Министерский кризис в «Отечественных записках»! Белинский пишет, что он устал, что он чувствует себя не в силах работать срочно и что оставляет «Отеч<ественные> зап<иски>» — решительно. Это сконфузило здесь всех любителей «От<ечественных> зап<исок>» и поклонников Бел<инского>. — Пусть бы он ехал на лето в Москву, в Крым, а потом бы опять. Потеря такого сотрудника равняется Ватерлоо, после которого Наполеон всё Наполеон — да без армии. Критика «От<ечественных> зап<исок>» составляла их соль, резкий характер её действовал сильно на читателей. <...> Наконец, я одного не понимаю: если у вас нет с ним другого разрыва, то кто же мешает ему не постоянно участвовать? <...> без Бел<инского> охладеют многие вкладчики. (*Герцен. XXII. С. 252.*)

П.А. ПЛЕТНЁВ — Я.К. ГРОТУ. 13 марта 1846. Петербург

Вчера был у меня Герц[2], который рассказывал, что недавно навещал он Белинского <...> и слышал от него, будто между Краевским и им <Белинским> возникли несогласия, так что Герц ожидает совершенного разрыва между знаменитыми друзьями. Я этому не верю. Герц думает, что Белинский перейдёт к Дершау <в «Финский вестник»>, у которого ныне *будто бы* уже 1300 подписчиков. И это для меня невероятно. (*Переписка... 2. С. 702–703.*)

[1] Московский приятель Белинского, критик и беллетрист.

[2] Историк и литератор.

В.Г. БЕЛИНСКИЙ — А.И. ГЕРЦЕНУ. 20 марта 1846. Петербург

Теперь <Краевский> через Некр<асова> пытает о моих делах, делает вид, что принимает участие, и, кажется, ему хочется, чтоб я взял у него денег, да нет же — скорей повешусь. Вообще ему, как видно, неловко, и он сконфужен. Слышал я, что он распространяет слухи, что хочет мне отказать, как человеку беспокойному и его изданию опасному. Поздно спохватился! (*Белинский. XII. С. 268.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 1 апреля 1846. Петербург

1-е (огромная новость). *Белинский* оставляет «Отечеств<енные> записки». Он страшно расстроил здоровье, отправляется на воды и, может быть, за границу. (*ПСС. XXVIII. I. С. 120.)*

П.А. ПЛЕТНЁВ — Я.К. ГРОТУ. 4 мая 1846. Петербург

Говорят, что Белинский рассорился с Краевским и что последний на его место уже ангажировал Старчевского. (*Переписка... 2. С. 755.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 5 сентября 1846. Петербург

Белинские[1] доехали хорошо, и с самой пристани я ещё не видался с ними. Зашёл на другой день к Некрасову. Он живёт в одной квартире с Панаевыми, и потому я виделся со всеми. <...> Дело-то кажется пошло на лад, и к Новому году у нас может быть новый журнал. (*ПСС. XXVIII. I. С.124–125.*)

П.А. ПЛЕТНЁВ — Я.К. ГРОТУ. 21 сентября 1846. Петербург

Панаев (И.И.) и Никитенко подговаривают меня сдать «Современник» на их редакцию. Это мне очень по сердцу <...> я свободнее займусь чем-нибудь подельнее, нежели библиографиею и «Разным». А важнейшее: не буду связываться с этой грязною братиею литераторов. (*Переписка... 2. С. 827.*)

Литератор Д. КОПТЕВ — П.А. ПЛЕТНЁВУ. 21 сентября 1846

<...> говорят, будто Вы передали «Современник» каким-то новым редакторам — пожалуйста, уведомьте поскорей, — говорят: Белинскому и Некрасову — я уверяю, что это неправда и что этого никогда не может быть! (*В кн.: Переписка Грота с Плетнёвым. 2. С. 954.*)

[1] М.В. Белинская с дочерью и сестрой, возвратившиеся вместе с Достоевским из Ревеля.

Н.М. ЯЗЫКОВ — брату. 1846. Москва

Вообрази, что «Современник» переходит в руки Белинского, Тургенева, Огарёва и проч. Стыдно Плетнёву, что журнал Пушкина достанется п <- — -> и щелкопёрам. (*Вестник Европы. 1897. № 12. С. 619.*)

И.И. ПАНАЕВ — Н.Х. КЕТЧЕРУ. 26 сентября 1846. Петербург

С самого приезда в Петербург Некрасова и до 10 сего сентября включительно метались мы, отыскивая журнал. <...> наконец, двери «Современника» отверзлись нам. Я купил у Плетнёва журнал сей. Кажется, лучше этого быть ничего не может. Журнал не запачканный, глухо и неслышно тянущий своё существование, и носящий такое удивительное имя!.. (*В кн.: Белинский В.Г. Письма. Пг., 1914. Т. III. С. 360.*)

А.И. ГЕРЦЕН — жене. 5–8 октября 1846. Петербург

Панаев и Некрасов поглощены «Современником». Всё доселе виденное и слышанное мной заставляет меня желать полного успеха. Правда во всём этом есть немного неосновательности — но и только. Они ждут ответа от Гр<ановского> и К<орша> et C^nie[1] и пуще всего ждут Белинского. (*Герцен. XXII. С. 259.*)

Плата за страх и другие накладные расходы

Н.А. НЕКРАСОВ — В.Г. БЕЛИНСКОМУ в Симферополь. Между 15 и 26 сентября 1846. Петербург

В июле я отправился в Петербург, в августе прибыл и Панаев, и, наконец, мы на-днях кончили с Плетнёвым и взяли у него «Современник». Ответственным редактором будет Никитенко, ибо иначе сделать было нельзя <...>. (*Некрасов. X. С. 53.*)

И.И. ПАНАЕВ — Н.Х. КЕТЧЕРУ. 1 октября 1846. Петербург

Краевский и здесь распускает разные слухи, подосланы были люди к Никитенке, чтобы отклонить его от согласия с нами. (*В кн.: Белинский. Письма. 1914. III. С. 364.*)

Устав о Цензуре 1826 года

§ 129. Право издавания в свет всякого повременного издания может быть предоставлено только человеку добрых нравов, известному на поприще отечественной словесности, доказавшему сочинениями хороший

[1] Московские друзья Белинского, на чьё сотрудничество надеялись новые издатели «Современника».

образ мыслей и благонамеренность свою, и способному направлять общественное мнение к полезной цели. (*Сборник постановлений и распоряжений по цензуре с 1720 по 1862 год. СПб., 1862. С. 161.*)

И.И. ПАНАЕВ — Н.Х. КЕТЧЕРУ. 1 октября 1846. Петербург

Будет ли журнал верен своему направлению? Но на это отвечать легко. Я убеждён в том, что у меня и у Некрасова достанет столько смысла, чтобы не допускать статьи, противоречащие направлению журнала. В этом мы уж, верно, имеем перевес перед Андреем Краевским. — Если же в год раз поместится статья Никитенко, как ответственного редактора, — это, я думаю, небольшая беда. К тому же это неизбежно. Без Никитенко ничего бы не состоялось, и всякий поймёт, почему помещена его статья... У Краевского помещались чорт знает какие и чорт знает чьи статьи, однако, это не мешало всем порядочным людям участвовать в его журнале, ибо там участвовал Белинский... (*Белинский. Письма. III. С. 263.*)

А.Я. ПАНАЕВА

Страшным ударом для Белинского было, когда в цензурном комитете нашли, что Панаев и Некрасов не настолько благонадёжные люди, чтобы их можно было утвердить редакторами...

...Надо было приискать подходящего человека, которому разрешили бы редактировать «Современник». Обратились к Никитенке; он согласился. Белинский кипятился, что прибавится ещё новый тысячный расход от фиктивного редактора, но делать было нечего. (*Ист. вестник. 1889. № 4. С. 41.*)

П.А. ПЛЕТНЁВ — Я.К. ГРОТУ. 16 октября 1846. Петербург

Барановского спроси: во сколько ценит он годичные труды мои по «Современнику»? Ежели в 3 т<ысячи> р. асс<игнациями>, то пусть он присоединит к этому 5 т<ысяч> р. асс<игнациями>, которые ежегодно вносил я в типографию за недостатком подписчиков. Теперь же, сбывая на 10 лет «Современник», я эти издержки возлагаю на Панаева, следовательно, он мне единовременно заплатил уже 80 т<ысяч> р. асс<игнациями>, приняв на сохранение «Современник» мой, который я когда-нибудь всё же принуждён бы был прекратить. Через 10 лет он наверное возвратится ко мне с 4-мя тысячью подписчиков. Тогда я во второй раз возьму с Панаева до 100 т<ысяч> руб. асс<игнациями> на год. Вот пока какие мои расчёты. Другие мне ещё не представились. (*Переписка... 2. С. 840.)*

А.Я. ПАНАЕВА

Белинский возмутился, услышав, что Плетнёв выговаривал себе четыре тысячи в год за право и едва согласился на три.

— Нелепое запрещение издавать новые журналы развивает в литературе ростовщичество, но что поделаешь; надо, господа, согласиться — пусть его подавится этими тремя тысячами. (*Ист. вестник. 1889. № 4. С. 40.*)

Жалобы по начальству (второе отступление о цензоре никитенко)

Ф.В. БУЛГАРИН — управляющему III Отделением Л.В. ДУБЕЛЬТУ. Март 1846. Петербург

Как действует Краевский в своих журналах, особенно в «Отечественных Записках», в которые Правительственным лицам тяжело заглядывать, по толстоте книжек. Действует умнее Марата и Робеспьера. Вся прежняя наша литература, поэзия и проза, сатира и комедия имела характер монархический и религиозный. Бог и Царь были священны и неприкосновенны. Краевский стал разрушать всю прежнюю литературу <...>. Несколько раз указывала на это «Северная Пчела», но правительство на это не смотрит, а цензура не дозволяет другим журналам делать выписки из «Отечественных Записок», потому что сами же цензора — сотрудники этого журнала. (*Николаевские жандармы... С. 303.*)

Ф.В. БУЛГАРИН — шефу жандармов А.Ф. ОРЛОВУ. Около 25 апреля 1846. Петербург

Цензоры — Никитенко и Куторга сотрудники «*Отечественных Записок*». Эти господа цензируют журналы, в которых участвуют и от которых получают жалованье!!! Может ли тут быть беспристрастие и справедливость? <...>

Приписка для управляющего III Отделением Л.В. Дубельта.

Отец и Командир!

Знаю я, что литературу и цензуру почитают у нас хуже дохлой собаки, а литераторов трактуют, как каторжников. Но я, ради Бога, прошу Вас показать прилагаемое маранье графу Алексею Фёдоровичу Орлову. Это человек Ecce homo[1]! Остальное хоть бросьте.

Верный до гроба и за гробом и преданный душою *Ф. Булгарин.* (*Николаевские жандармы... С. 329–330, 325.*)

[1] Се человек! (*лат.*). Слова Пилата о Христе (Иоанн, XIX, 5).

Ф.В. БУЛГАРИН — А.В. НИКИТЕНКО. 3 января 1847. Петербург

Я должен буду защищаться, представить на вид всё пропущенное вами в «Отечественных Записках», которые помещали более, нежели журналы, где свобода книгопечатания[1], и вы всё утверждали своею подписью. Скажу вам откровенно: горе литературе, когда цензора издают журналы или сотрудничают в них, точно так же, как горе коммерции, когда таможенники занимаются торговлею.

С истинным почтением и таковою же преданностию честь имею быть вашим покорным слугой Фаддей Булгарин. (*Рус. старина. 1900. № 1. С. 183.*)

Формула перехода

Н.М. ЯЗЫКОВ — Н.В. ГОГОЛЮ. 27 октября 1846. Москва

Вот тебе животрепещущие новости нашего литературного мира: «Современник» купили Никитенко, Белинский, И. Тургенев и прочие такие же, следственно с будущего 1847 г. сей журнал, основанный Пушкиным, будет орудием щелкопёров <...>. (*Рус. старина. 1896. № 12. С. 645.*)

В.П. БОТКИН — П.В. АННЕНКОВУ. 20–26 ноября 1846. Петербург

Фонд «Современника» состоит из 35 тысяч Панаева и 35 тысяч <Григория> Толстого. Редакторы — Никитенко, Панаев и Некрасов. Первый — для ограждения от цензурных хлопот, последний заведывает всею материальною частию, а второй будет писать повести да раскладывать на своём столе иностранные журналы и тем придавать себе немалую важность. (*П.В. Анненков и его друзья. СПб., 1892. С.25*1.)

Е.С. НЕКРАСОВА

Делами нового журнала <«Современника»> не менее была заинтересована и его <Герцена> жена. Она при отъезде мужа из Москвы вручила ему для передачи поэту <Некрасову> на «*Современник*» собственных 5 тыс. руб. ассигнациями, которые Некрасов взял в долг и выдал на них Герцену расписку. (*Рус. мысль. 1904. № 10. С. 42.*)

И.С. АКСАКОВ — П.А. ПЛЕТНЁВУ. 19 октября 1846. Калуга

Смирнова сообщила мне страшное известие: не знаю, в какой степени оно верно. Говорят, что Вы передали свой журнал Белинскому и Панаеву? Так ли это? Сделайте одолжение, уведомьте. Признаюсь, мне не хотелось

[1] Т. е., очевидно, в тех странах, где есть такая свобода.

бы этого слышать, — единственный орган благородного образа мысли заглохнет! (*Рус. филол. вестник. 1915. № 3. С. 12.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 7 октября 1846. Петербург

«Современник» издаёт Некрасов и Панаев 1-го января. Критик Белинский. Подымаются разные журналы и чёрт знает что ещё. (*ПСС. XXVIII. I. С. 128.*)

А.В. НИКИТЕНКО, И.И. ПАНАЕВ, Н.А. НЕКРАСОВ. Об издании «Современника» в 1847 году

В первом № «Современника» <...> будут помещены следующие статьи: <...>.

В «Смеси» между прочим будут напечатаны: <...> «*Роман в девяти письмах*» Ф.М. Достоевского, «*Хорь и Калиныч*», рассказ И. Тургенева и пр. (*Об издании «Современника» в 1847 году. Необходимое объяснение. СПб., 1846. С. I. (Цензурное разрешение от 8 декабря 1846 г.). Цит. по: Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1968. Т. II. Вып. 2. С. 153.)*

Я.К. ГРОТ — П.А. ПЛЕТНЁВУ. 8 октября 1846. Гельсингфорс

Булгарин уже протрубил о переходе «Современника» в другие руки. В каком положении это дело? (*Переписка... 2. С. 836.*)

П.А. ПЛЕТНЁВ — Я.К. ГРОТУ. 16 октября 1846. Петербург

Булгарин протрубил о «Современнике» без всякого основания. Дело ещё не утверждено министром. Но Булгарину нужно было, пока не началась подписка на журналы, ощипать Краевского, известив, что его оставили все сотрудники. (*Переписка... 2. С. 840.*)

Председатель петербургского цензурного комитета М.Н. МУСИН-ПУШКИН — министру народного просвещения С.С. УВАРОВУ. 6 октября 1846. Петербург

Действительный Статский Советник Плетнёв изъяснил, что по многочисленным занятиям своим он желает на неопределённое время передать издание журнала «Современник», без перемены программы его, господину профессору здешнего Университета Статскому Советнику Никитенку, с возложением на него ответственности пред Правительством.

Резолюция министра. Согласен. (В кн.: Жизнь и труды Погодина. 9. С. 1.)

Из дневника А.В. НИКИТЕНКО. Запись 14 октября 1846 г.

Министр согласился на передачу мне редакции «Современника». (*Дневник. 1. С. 298.)*

П.А. ПЛЕТНЁВ — Я.К. ГРОТУ. 26 октября 1846. Петербург

В прошедшую среду <14 октября> министр подписал дозволение о передаче «Современника» на редакцию Никитенки. С плеч моих спала гора. Панаев тут показал себя благородным человеком. Он предложил мне платить за уступленное ему издание каждый год в течение десяти лет по 3000 р. асс[1]. Я нахожу, что это уже и слишком выгодно для меня. Может быть, они и вгонят «Современник» в моду; но тут нужно рисковать капиталом, чего я не умел и не мог сделать. (*Переписка... 2.С. 844.*)

Договор об аренде «Современника». 23 октября 1846

2. Как редакция «Современника» передана мною с разрешения господина Министра Народного Просвещения статскому советнику А.В. Никитенке, то во все продолжение означенного десятилетнего срока, я, Плетнёв, не имею права вмешиваться в распоряжение редакциею журнала и препятствовать вмешательством своим действовать Никитенке и Панаеву самостоятельно, равно как не имею права употреблять какие-либо меры к присвоению себе права на такое вмешательство. <...>

4. В случае, если бы г. Никитенко по каким-либо причинам отказался от звания редактора сего журнала прежде окончания срока — выбор нового редактора зависит единственно от гг. Панаева и Никитенки, а я, Плетнёв, в сем выборе голоса не имею. Равным образом не должен я, Плетнёв, присваивать себе права редактора или вмешиваться в выбор нового редактора в случае смерти г. Никитенки прежде истечения срока сему условию. Напротив, как в первом, так и во втором случае обязуюсь употребить своё содействие к утверждению в звании редактора того лица, которое изберёт г. Панаев.

5. Буде Панаев пожелает передать от себя право на издание сего журнала какому-либо другому лицу, то я, Плетнёв, воспрепятствовать ему в сей передаче права не имею. (*Голос минувшего. 1915. № 9. С. 39–40.*)

Аршинные буквы на зелёном поле

Я.К. ГРОТ — П.А. ПЛЕТНЁВУ. 29 октября 1846. Гельсингфорс

Итак, решена участь «Современника»! Тень Пушкина! не содрогаешься ли ты? Твоё создание. <...>

[1] Плетнёв относит это к благородству Панаева! Неуместно ли предположить, что указанное «предложение» было вызвано требованиями самого Плетнёва? Ср. с. 544.

Хорошо, если Панаев исполнит предложение. Оно справедливо: другой содрал бы с них такую сумму, что они наперёд подумали бы. (*Переписка... 2. С. 845.*)

П.А. ПЛЕТНЁВ. К читателю «Современника»

Передаю редакцию «Современника» сослуживцу моему и товарищу по кафедре, профессору А.В. Никитенко. Довольно этого ручательства, чтобы я был покоен за будущую судьбу издания моего. «Мы (кстати повторю здесь) одно любим, одного желаем». (*Современник. 1846. № 12. С. 572.*)

П.А. ПЛЕТНЁВ — Я.К. ГРОТУ. 26 октября 1846. Петербург

В пятницу <22 октября> я начал для № 12 «Современника» статью, под названием: «К читателю “Современника”», где прощаюсь с моими подписчиками. Объявление о новом «Современнике», где буквы в аршин, на зелёном огромном листе, уже разослано по городу и в города провинциальные. (*Переписка... 2. С. 845.*)

Неизвестный — председателю Московского цензурного комитета Д.П. ГОЛОХВАСТОВУ. Около 1 ноября 1846. Москва

Я совсем было завернул ассигнации для подписки на «Современник». Но вдруг, как бомба, упала в меня прилагаемая афиша. Вот в чьи руки переходит благонамереннейший из журналов! Вот кто будут направителями наших мнений. <...>

Издание этого (возобновлённого) журнала будет последним coup de grace[1] нашей нравственности и нашему монархизму. Увидят это: иные к своей адской радости, другие к скорби неутешной. Я не теряю из памяти 1788, 1789 и 1790 годов фр<анцузского> переворота. Не так ли фр<анцузская> литература переходила в руки Бомарше и Мирабо? <...>

О, Русь! — остаётся плакать о тебе и над тобою! Бог, однако же, хранивший тебя, сохранит тебя ещё надолго. (*Лит. наследство. Т. 56. С. 183–184.*)

А.Я. ПАНАЕВА

Такая масса объявлений об издании «Современника» дала повод литературным врагам глумиться печатно над издателями. Говорили, например, что они апраксинские молодцы, которые с нахальством тащут в свою лавку всякого проходящего и расхваливают свой товар и т. д. (*Ист. вестник. 1889. № 4. С. 41.*)

[1] Смертельный удар (*фр.*).

К.Д. КАВЕЛИН

Барышнические рекламы «*Современника*» нам очень не нравились. (*Рус. мысль. 1892. № 1. С. 108.*)

А.Я. ПАНАЕВА

Некрасов велел печатать объявления об издании «Современника» в громадном числе; они помещались почти во всех тогдашних журналах и газетах. Панаев находил, что это стоит очень дорого и вовсе не нужно; но Белинский ему возражал:

— Нам с вами нечего учить Некрасова; ну, что мы смыслим, мы младенцы в коммерческом расчёте: сумели бы мы с вами устроить такой кредит в типографии и с бумажным фабрикантом, как он? Нам на рубль не дали бы кредиту, а он устроил так, что на тысячи может кредитоваться. Нам уж в хозяйственную часть нечего и соваться. (*Ист. вестник. 1889. № 4. С. 41.*)

Н.А. НЕКРАСОВ (в передаче А.С. Суворина)

Один я между идеалистами был практик — и, когда мы заводили журнал, идеалисты это прямо мне говорили и возлагали на меня как бы миссию создать журнал. (*Новое время. 1878. № 662.*)

П.А. ПЛЕТНЁВ — Я.К. ГРОТУ. 2 ноября 1846. Петербург

В среду министр <С. С. Уваров> с обедом своим опять отвлёк меня от обеда с моими дамами. Он рассказал мне, что Пушкина-Ланская, Вяземский и опека детей Пушкинских интригуют у него против меня, желая получаемые мною 3 тыс. р. доставить детям Пушкина, ибо-де журнал, наравне с прочими его сочинениями, составляет их неотъемлемое наследство. Министр много смеялся над этими штуками. (*Переписка... 2. С. 848.*)

«Отроившийся рой» (заявление о намерениях)

А.В. НИКИТЕНКО, И.И. ПАНАЕВ, Н.А. НЕКРАСОВ. «Современник», литературный журнал на 1847 год

«СОВРЕМЕННИК», основанный А.С. Пушкиным, а после с Высочайшего соизволения перешедший в распоряжение П.А. Плетнёва, с 1847 года подвергается СОВЕРШЕННОМУ ПРЕОБРАЗОВАНИЮ. Редакция «Современника», с разрешения Господина Министра Народного Просвещения, переходит к Профессору С.-Петербургского Университета, А. В. НИКИТЕНКО.

Издание же сего журнала, по взаимному согласию и условию с прежним издателем и редактором, приняли на себя И.И. ПАНАЕВ и Н.А. НЕКРАСОВ. <...>

В «Современнике» с 1847 года будут участвовать следующие учёные и литераторы: Белинский В.Г. <...> Грановский Т.Н. <...> Гончаров И.А. — Даль-Луганский В.И. — Достоевский Ф.М. <...> Искандер. — Никитенко А.В. — Надеждин Н.И. — Огарёв Н.П. — Одоевский, князь В.Ф. — Панаев И.И. — Плетнёв П.А. <...> Соллогуб, граф В.А. <...> Тургенев И.С. и др. (*Современник. 1846. № 11. С. 236–237.*)

Я.К. ГРОТ — П.А. ПЛЕТНЁВУ. 5 ноября 1846 г. Гельсингфорс

Сегодня получил я № 11 «Современника». Объявление о продолжении его прочёл я не без некоторого — как бы сказать? — содрогания. Некрасов в числе издателей — творец «*1-го апреля*»! И что за сотрудники! Признаться, я ожидал общества получше. Но этим брошен новый элемент борьбы в журнальный мир. Пусть переедят друг друга: этого-то и нужно. И публика пусть давится пищею, которую сама себе стряпает. (*Переписка... 2. С. 849.*)

С.П. ШЕВЫРЁВ — М.П. ПОГОДИНУ. Ноябрь — декабрь 1846. Москва

Читал ли ты объявление о «Современнике»? Можно бы сделать наблюдение над нашими журналами. Это рой, отроившийся от «Отечественных Записок», — и матка в нём Белинский. А всё-таки на их стороне деятельность. (*Жизнь и труды Погодина, 9. С. 3.*)

Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ — родным. 19 ноября 1846. Петербург

Панаев и Некрасов и Никитенко принимают издание «Современника» в новом виде.

Это, кажется, хочет быть журнал благородный по духу. Все наши теперь действующие и пишущие знаменитые люди литературные — сотрудниками.

Между прочим, Белинский, Майков, Искандер, прежний редактор Плетнёв. <...>

«Современник» отбил много сотрудников у «Отеч<ественных> записок». (*Полн. собр. соч. Т. XIV. М., 1949. С. 69.*)

Н.А. НЕКРАСОВ — Н.М. ЩЕПКИНУ. 26 октября 1846. Петербург

Русь-матушка велика: скоро ли дойдёт до неё, что «Отечеств<енные> записки» переменили квартиру и, приодевшись и приумывшись, хотят явиться к ней под именем «Современника»? (*Некрасов. X. С. 56.*)

Неизвестный — Д.П. ГОЛОХВАСТОВУ. Около 1 ноября 1846. Москва

У добрых людей останется одна надежда, хотя и макиавелистская: видеть столкновение Белинского и Некрасова с Краевским. (*Лит. наследство. Т. 56. С. 184.)*

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 7 октября 1846. Петербург

Пришлю в «Современник» 1-ю часть романа[1] <...>. (*ПСС. XXVIII. I. С. 128.*)

«...До бешенства дошёл»

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 5 сентября 1846. Петербург

Был я и у Краевского. Он начал набирать «Прохарчина»; появится он в октябре. Я покамест о деньгах не говорил; он же ласкается и заигрывает. (*ПСС. XXVIII. I. С. 125.*)

И.И. ПАНАЕВ — Н.Х. КЕТЧЕРУ. 1 октября 1846. Петербург

<...> сборник Белинского <«Левиафан»> и не мог состояться... Господа здешние просто без церемонии объявили, что они не могут отдать Белинскому статей, обещанных ими (Достоевский, Гончаров и др.), ибо-де они — люди бедные, и им нужны деньги сейчас, а от Белинского они имеют ещё только отдалённые надежды на деньги[2] <...> (*В кн.: Белинский. Письма. III. С. 362.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 17 октября 1846. Петербург

«Сбрит<ые> баке<нбарды>» ещё не совсем кончены. «Прохарчина» очень хвалят. Мне рассказывали много суждений. Белинский ещё не приехал. Господа в «Современнике» всё таятся. Так что я ещё придерживаюсь с «Сбрит<ыми> бакенбард<ами>» и не обещал. Может быть, будут у Краевского. Впрочем, я ещё не знаю, как устроюсь

[1] Свой новый роман («Неточка Незванова»?) автор письма предполагает прислать из Италии, куда он собирается на восемь месяцев. «...И из Рима на два месяца съезжу в Париж и обратно», — мечтательно добавляет Достоевский. Он попадёт в Европу только через шестнадцать лет.

[2] Тонкий нюанс: Панаев пытается уверить адресата, будто «Левиафан» не мог состояться исключительно из-за корыстолюбия и неуступчивости отдельных лиц. Между тем, как мы знаем, Некрасов уже предложил Белинскому передать все материалы «Левиафана» в редакционный портфель нового журнала, ибо теперь редакторы «Современника» вовсе не заинтересованы в выходе альманаха.

и с этим. Буду пользоваться обстоятельствами и пущу повесть в драку, кто больше. (*ПСС. XXVIII. I. С. 130.*)

Н.А. НЕКРАСОВ — В.Г. БЕЛИНСКОМУ. Между 15 и 26 сентября 1846. Петербург

Достоевский Краевскому повесть дал[1], а Вам — неизвестно когда, и кончит ли<...>. (*Некрасов. X. С. 52.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 20-е числа октября 1846. Петербург

Я не пишу и «Сбритых бакенбард». Я всё бросил: ибо всё это есть не что иное, как повторение старого, давно уже мною сказанного. Теперь более оригинальные, живые и светлые мысли просятся из меня на бумагу. Когда я дописал «Сбр<итые> бак<енбарды>» до конца, всё это представилось мне само собою. В моём положении однообразие гибель.

Я пишу другую повесть, и работа идёт, как некогда в «Бедных людях», свежо, легко и успешно. Назначаю её Краевскому. Пусть господа «Современника» сердятся, это ничего. (*ПСС. XXVIII. I. С. 131.)*

А.Я. ПАНАЕВА

Однажды явился в редакцию Достоевский, пожелавший переговорить с Некрасовым. Он был в очень возбуждённом состоянии. Я ушла из кабинета Некрасова и слышала из столовой, что оба они страшно горячились; когда Достоевский выбежал из кабинета в переднюю, то был бледен как полотно и никак не мог попасть в рукав пальто, которое ему подавал лакей; Достоевский вырвал пальто из его рук и выскочил на лестницу. Войдя к Некрасову, я нашла его в таком же разгорячённом состоянии.

— Достоевский просто сошёл с ума! — сказал Некрасов мне дрожащим голосом. — Явился ко мне с угрозами, чтобы я не смел печатать мой разбор на его сочинение в следующем нумере. И кто это ему наврал, будто бы я всюду читаю сочинённый мною на него пасквиль в стихах! до бешенства дошёл. (*Ист. вестник. 1889. № 5. С. 278–279.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 26 ноября 1846. Петербург

Скажу тебе, что я имел неприятность окончательно поссориться с «Современником» в лице Некрасова. Он, досадуя на то, что я всё-таки

[1] Имеется в виду рассказ «Господин Прохарчин».

даю повести Краевскому, которому я должен, и что я не хотел публично объявить, что не принадлежу к «Отечеств<енным> запискам», отчаявшись получить от меня в скором времени повесть, наделал мне грубостей и неосторожно потребовал денег. Я его поймал на слове и обещал заёмным письмом выдать ему сумму к 15-му декабря. Мне хочется, чтобы сами пришли ко мне. Это всё подлецы и завистники. Когда я разругал Некрасова в пух, он только что семенил и отделывался, как жид, у которого крадут деньги. Одним словом, грязная история. Теперь они выпускают, что я заражён самолюбием, возмечтал о себе и передаюсь Краевскому затем, что <Валериан> Майков[1] хвалит меня. Некрасов же меня собирается ругать. <...> Между тем Краевский, обрадовавшись случаю, дал мне денег и обещал сверх того уплатить за меня все долги к 15 декабря. За это я работаю ему до весны. (*ПСС. XXVIII. I. С. 133–134.*)

В.Г. БЕЛИНСКИЙ — А.И. ГЕРЦЕНУ. 2 января 1846. Петербург

Если вы не будете давать ему <Краевскому> ни строки, равно как и никто из порядочных людей, может быть, что ему на будущий год нельзя будет и объявить подписки. (*Белинский. XII. С. 255.*)

И.И. ПАНАЕВ — Н.Х. КЕТЧЕРУ. 26 сентября 1846. Петербург

В объявлении нашем о журнале будет сказано, что такие-то и такие-то участвуют *исключительно в «Современнике»*. Да не испугаются этого Искандер и другие! Это только avis aux lecteurs[2] «Отечественных записок». <...> Надобно употребить все меры, все эффекты для приобретения подписчиков — согласись с этим. (*В кн.: Белинский. Письма. III. С. 361.*)

В.Г. БЕЛИНСКИЙ, Н.А. НЕКРАСОВ, И.И. ПАНАЕВ — в редакцию «Северной пчелы». 12 ноября 1846. Петербург

<...> Гг. Белинский, Панаев, Некрасов, равно как Гг. Искандер, Кронеберг и некоторые другие, с 1847 года примут деятельное участие в «Современнике» и *помещать трудов своих* в «Отечественных записках» *не будут.* (*Сев. пчела. 1846, 25 ноября.*)

А.А. КРАЕВСКИЙ

Относительно объявления гг. Белинского, Панаева и Некрасова, что труды свои с 1847 года не будут они помещать в «Отечественных Записках», мы находим это объявление излишним. Мы сами намекнули об этом в «Объявлении по Нелитературному Делу», и теперь с большею уверенностью подтверждаем, что *ни одна статья гг. Белинского, Панаева и Некрасова не будет напечатана в «Отечественных Записках», пока этот журнал издаётся нами.* Кажется, этого довольно? (*Отеч. записки. 1846. № 12. Отд. IV. С. 119.*)

[1] Молодой критик, заменивший Белинского в «Отечественных записках».

[2] Предуведомление для читателей (*фр.*).

ДОСТОЕВСКИЙ

Потом, помню, мы <с Некрасовым> как-то разошлись, и довольно скоро; близость наша друг с другом продолжалась не долее нескольких месяцев. Помогли и недоразумения, и внешние обстоятельства, и добрые люди. (*Дневник писателя. 1877. Декабрь.*)

А.Я. ПАНАЕВА

<...> Достоевский уже более не показывался к нам и даже избегал встречи на улице с кем-нибудь из наших. Раз, встретив его на улице, Панаев хотел остановиться и спросить, почему его давно не видно, но Достоевский быстро перешёл на другую сторону. Он виделся только с одним своим приятелем, бывшим в кружке <Д.В. Григоровичем>, и тот сообщал, что Достоевский страшно бранит всех и не хочет ни с кем из кружка продолжать знакомства, что он разочаровался во всех, что это всё завистники, бессердечные и ничтожные люди. (*Ист. вестник. 1889. № 3. С. 572.*)

А.А. КРАЕВСКИЙ. Библиографические и журнальные известия

В книжках «Отечественных Записок» будущего года помещены будут, между прочим, следующие статьи:

Старушка. Повесть, в двух частях, *графа В.Л. Соллогуба.*

Неточка Незванова. Роман *Ф.М. Достоевского.*

Круговая Порука. Повесть князя *В.Ф. Одоевского.*

Бретёр. Повесть *И.С. Тургенева.*

Хозяйка. Повесть *Ф.М. Достоевского*[1]. <...>

Опыт простонародной драмы. *Князя В.Ф. Одоевского.*

Очерки Рима. Собрание стихотворений *А.Н. Майкова.* <...>

Письма о химии. *Князя В.Ф. Одоевского.*

Об эстетическом гении. *А.В. Никитенко* (*Отеч. записки. 1846. № 12. Отд. VI. С. 119–120.*)[2]

[1] Таким образом, оба задуманных беллетристических произведения демонстративно предназначаются Краевскому, что, естественно, не может не вызвать сильнейшего раздражения у его конкурентов.

[2] Этот анонс говорит, с одной стороны, о критическом положении Краевского (некоторые имена ему приходится повторять дважды и даже трижды), а с другой — о крахе некрасовского замысла блокады «Отечественных записок»: у Краевского сотрудничают не только авторы нового журнала, но и его редактор — Никитенко!

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 17 декабря 1846. Петербург

Пишу я с рвением. Мне всё кажется, что я завёл процесс со всею нашей литературою, журналами и критиками и тремя частями романа моего в «Отечеств<енных> записках» и устанавливаю и за этот год моё первенство назло недоброжелателям моим. (*ПСС. XXVIII. I. С. 135.*)

Наши домашние дела[1]

Ф.В. БУЛГАРИН — Л.В. ДУБЕЛЬТУ. Март 1846. Петербург

Замечательно, что Краевский никогда не подписывает своего имени под статьями. Он только как злой дух парит над бездною — он везде и нигде. (*Николаевские жандармы... С. 304.*)

Ф.Б. <Ф.В. БУЛГАРИН>

<...> в восемь лет существования «Отечественных Записок» мы не видали подписи самого издателя ни под одною статьёю:

«Не пишет он, то есть в том пользы не находит» и проч. (См. «Горе от ума».)

А все статьи, как всем известно, писали для «Отечественных Записок» гг. Белинский (главный сотрудник журнала до половины 1846 года), Некрасов, И.И. Панаев и другие молодые литераторы. Теперь все эти бывшие постоянные сотрудники «Отечественных Записок» решительно оставили журнал[2]. (*Северная пчела. 1846. 5 октября.*)

А.А. КРАЕВСКИЙ — председателю Петербургского цензурного комитета М.Н. МУСИНУ-ПУШКИНУ. 8 октября 1846. Петербург

Ваше превосходительство, милостивый государь!

В 224-м № «Северной пчелы» в «Журнальной всякой всячине» г. Булгарин, говоря об «Отечественных записках», дозволил себе такие выражения против меня лично, которые вынуждают меня обеспокоивать Ваше превосходительство покорнейшею просьбою обратить на них Ваше начальническое внимание.

[1] Совпадение заголовка с традиционным названием журнальных рубрик непреднамеренно и случайно! (*Прим. для редактора*).

[2] Именно эта заметка Булгарина — первое (ещё до заявления «некрасовцев» в той же «Северной пчеле») публичное оглашение (разглашение) о расколе в «Отечественных записках». (См. также письмо Грота Плетнёву от 8 октября 1846 г. на с. 674.) Необычайно резкая реакция Краевского вызвана не столько самой утечкой информации, сколько возможным влиянием этой новости на ход подписной кампании. (См. ниже.)

<...> г. Булгарин, вероятно, пользуясь моим молчанием, посягает уже не только на репутацию мою как литератора (на что я и не претендовал бы, предоставляя всякому свободу судить о моих достоинствах и недостатках в литературном отношении), но старается выставить меня как *смышлёного* и *ловкого* промышленника, сбывающего свой товар какими-то тёмными путями во всех городах России с какими-то уступками и подарками и после того нагло хвастающегося своими успехами! Сверх того, в том же номере своей газеты он рассказывает разные выдуманные им и совершенно ложные известия о некоторых литераторах, называя их постоянными сотрудниками моего журнала, от него отказавшимися, тогда как ни о постоянном сотрудничестве, ни об отказе их нигде мною напечатано не было, — словом, входит в домашние дела редакции, которые, как всякое домашнее дело, не имеют надобности быть открываемы публике, если сама редакция молчит о них. (*В кн.: Мельгунов Б.В. Некрасов-журналист. (Малоизученные аспекты проблемы). Л., 1989. С. 74.*)

Ф.В. БУЛГАРИН — А.В. НИКИТЕНКО. 28 ноября 1845. Петербург

Отец и командир Александр Васильевич!

Право, не постигаю той удивительной вольности, которою пользуются «Отеч<ественные> Записки», и той неприкосновенности, которою обеспечен г-н Краевский! Крылов (цензор) был сегодня у меня и показал мне исключения из статьи об «Отеч<ественных> Записках» <в «Северной пчеле»>! Я решился перенесть суд повыше и всеподданнейше просить моего личного благодетеля, царя православного, разрешить: почему Краевскому позволено печатно поносить меня самым гнусным образом, топтать моё имя в грязь, употреблять самые низкие выражения, — а мне запрещено даже защищаться! Дело это должно принять самый серьёзный оборот, потому что у меня собраны акты. Наконец, вывели меня из терпения! (*Рус. старина. 1900. № 1. С. 173.*)

А.А. КРАЕВСКИЙ — М.Н. МУСИНУ-ПУШКИНУ. 8 октября 1845. Петербург

Не мне судить, до какой степени позволительно в цензурном отношении подобное забвение всех приличий, но не могу не заметить, что господа цензоры, рассматривающие «Северную пчелу», поступили не совсем осторожно, дозволив господину Булгарину напечатать вышеозначенные неправды, не имеющие ничего общего с литературою. Слова г. Булгарина касаются прямо личных и собственных дел издателя журнала и направлены к уничтожению в публике доверия к его честности и состоятельности, — а между тем подобные нелитературные указания и известия строго запрещено печатать. <...> Мне осталось одно средство: прибегнуть к Ваше-

му превосходительству с покорнейшею просьбою о приказании редакции «Северной пчелы» напечатать теперь «Объяснение»1 *без всяких с её стороны комментариев и дополнений.* Те же самые читатели, которые прочли в «Северной пчеле» изобретённые господином Булгариным клеветы, прочтут в той же газете опровержение этих клевет и таким образом всё это дело, которое могло бы повести к нелитературным спорам и перебранкам, уничтожится само собою, без дальнейших последствий. (*Некрасов – журналист. С. 75.*)

Ф.В. БУЛГАРИН — А.В. НИКИТЕНКО. 29 ноября 1845. Петербург

Уж когда так суждено, что каждая ракалия может ругать меня и поносить <...> а Белинский лаяться, как собака, в «Отечественных Записках», а мне безъименно даже нельзя сказать, что на меня клевещут, пусть будет так! (*Рус. старина, то. № 1. С. 181.*)

Из решения Петербургского цензурного комитета. 8 октября 1846

Уведомить г. Краевского через канцелярию Комитета, что цензура не имеет никакого законного основания приказать редакции «Северной пчелы» напечатать представленное им объявление[1], но что вместе с тем не находит с своей стороны никакого препятствия к дозволению ему поместить оное в «Северной пчеле», если на то будет согласна её редакция, или в издаваемых им «Отечественных записках», либо, наконец, в каком-либо другом выходящем здесь в Санктпетербурге журнале, которого редакция изъявит согласие исполнить его желание. (*Некрасов-журналист. С. 75.*)

Доносы как жанр (продолжение предыдущего)

Ф.В. БУЛГАРИН — управляющему III Отделением Л.В. ДУБЕЛЬТУ. Март 1846. Петербург

Между тем, журнал «Отечественные Записки», издаваемый явно, без всякого укрывательства в духе Ком<м>унисма, Социализма и Пантеисма, произвёл в России такое действие, какого никогда не бывало. С одной стороны, раздаётся вопль людей благонамеренных и истинных христиан, которые не постигают, как Правительство может терпеть такой журнал; с другой стороны, разорившееся и развратное дворянство, безрассудное юношество и огромный класс, ежедневно умножающийся, людей, которым нечего терять и в перевороте есть надежда всё получить — кантонисты, семинаристы, дети бедных чиновников и проч. и проч., почитают «Отечественные Записки» своим Евангелием, а Краевского и его первого министра — Белинского (выгнанного московского студента) — апостолами. (*Николаевские жандармы... С. 303.*)

[1] «Объяснение по Нелитературному Делу». В конце концов эта статья, в которой Краевский отвечал своим журнальным противникам, была отпечатана в виде отдельной брошюры и разослана через газетную экспедицию по всей России — к вящему изумлению читателей, не совсем понимавших, что, собственно, от них хотят.

Ф.В. БУЛГАРИН — А.В. НИКИТЕНКО. 31 октября 1834. Карлово близ Дерпта

Клянусь вам счастием моих детей, что кроме нравственной цели, не имею я никого в виду. Живу я в удалении от людей и общества и не хочу задевать никого. <...> я посвятил себя служению истины и добрым нравам, а потому ни за что не соглашусь написать, не только напечатать, что-либо вредное обществу. (*Рус. старина. 1900. № 1. С. 173.*)

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ. Эпиграмма на Ф.В. Булгарина. 1837

Россию продает Фаддей
Не в первый раз, как вам известно,
Пожалуй, он продаст жену, детей,
И мир земной, и рай небесный,
Он совесть продал бы за сходную цену,
Да жаль, заложена в казну.

Ф.В. БУЛГАРИН — Л.В. ДУБЕЛЬТУ. Март 1846. Петербург

Он <Краевский> родился в Москве от незаконной связи бывшей содержательницы женского пансиона, г-жи фон-дер-Пален, с неизвестным человеком. Бедный и развратный белорусский шляхтич Краевский, как говорят, за 300 рублей асс<игнациями> согласился дать дитяти свою фамилию. Г-жа фон-дер-Пален (кажется, до сих пор девица) признаёт себя побочной дочерью известного Архарова[1], а по крайней мере воспитывалась в его доме и неизвестно по каким причинам приняла знаменитую фамилию фон-дер-Пален. Она лишилась носа и на месте его носит чёрный пластырь, однако и это при сильной протекции не послужило препятствием к основанию женского пансиона (ай да Москва!), который теперь не существует, по воле г. Краевского, считающего себя теперь аристократом. (*Николаевские жандармы... С. 302.*)

Ф.В. БУЛГАРИН

Пусть враги мои говорят, что угодно. Клевета может действовать только при жизни — а я пишу для детей моих и смело скажу: оставляю им безукоризненное имя! (*Библиотека для чтения. 1849. № 2. С. 50.*)

[1] Московский обер-полицмейстер, а затем генерал-губернатор, знаменитый своими сыскными способностями.

Ф.В. БУЛГАРИН — Л.В. ДУБЕЛЬТУ. Март 1846. Петербург

Словом, скоро Краевский овладеет общим мнением. Журналы его разбираются в училищах и студенты списывают революционные идеи. Правительство молчит и покровительствует, а после удивляется, откуда берутся злодеи. Цель Краевского не та, чтоб теперь возжечь бунт, но чтоб приготовить целое поколение к революции, — подарок Наследнику. (*Николаевские жандармы... С. 309.*)

Н.И. ГРЕЧ

Я не называю Краевского в числе людей опасных: он возбуждал молодых людей и распространял вредные учения вовсе не с революционным намерением, при всём радикализме своего образа мыслей, он употреблял несчастных вралей орудиями к своему обогащению, видя, что публика падка на смелые вещи. Сам же он конечно охотно потянул бы за верёвку, если б их стали вешать. (*Записки о моей жизни. С. 153.*)

Из дневника А.В. НИКИТЕНКО. Запись 5 января 1846 г.

Более всего громит он <председатель цензурного комитета М.Н. Мусин-Пушкин> «Отечественные записки». Но к счастью, он здесь ничего не значит, так как не он цензирует. Однако мы узнали, из какого источника почерпает Мусин-Пушкин свои мнения о русской литературе. Он заимствует их у Бориса Михайловича Фёдорова, несчастного автора детских книжонок, обруганного всеми журналами. Жажда мести увлекла его к доносам, на которые он и прежде уже покушался. Теперь же он окончательно определился в шпионы к казанскому хану[1] и руководит его суждениями о всех вопросах современной русской образованности. (*Дневник. 1. С. 297.*)

Ф.В. БУЛГАРИН — Л.В. ДУБЕЛЬТУ. Март 1846. Петербург

Он <Б.М. Фёдоров> собирает все выписки из «Отечественных записок». У него есть семь корзин с выписками, методически расположенными, с заглавиями: противу бога, противу христианства, противу государя, противу самодержавия, противу нравственности и т. п. (*Николаевские жандармы... С. 309.*)

Б.М. ФЁДОРОВ — Л.В. ДУБЕЛЬТУ. Октябрь 1846. Петербург

Выписки <из «Отечественных записок»> <...> можно разделить на четыре отдела: I. *Противу-народность. II. Безнравственность. III. Вольнодумство. IV. Противу-религиозность.*

[1] До переезда в Петербург Мусин-Пушкин 17 лет был попечителем Казанского учебного округа.

Противу-народность проявляется в унижении русского характера и славы предков, в превратном представлении русской истории и в разных нареканиях на отечественное[1]. <...>

«Отечественные Записки» внушают отвращение к *отцам* <...> полагают счастие и величие в пылких страстях, толкуя о Прометеях, о пользе опиума, о любви между мужчинами. <...>

После этого нет ничего удивительного в *противу-религиозном* направлении «Отечественных Записок». <...>

Противу-религиозное направление «От<ечественных> Записок» обличается их похвалами язычеству, прославлением учения писателей, в *противу-религиозном* направлении <...> неуместным применением, искажением и произвольным толкованием священных текстов и представлением евангельских событий в виде мифа. (*Николаевские жандармы... С. 313–315.*)

Эпиграмма на Б.М. Фёдорова[2]

Фёдорова Борьки
Мадригалы горьки,
Эпиграммы гадки,
А доносы сладки.

(*Николаевские жандармы... С. 312.*)

Из дневника А.В. НИКИТЕНКО. Запись 12 октября 1846 г.

Было новое гонение на «Отечественные записки». Булгарин с Гречем и Борисом Фёдоровым подали на них донос в III Отделение. Узнав об этом, я тотчас сообщил Краевскому и посоветовал ему съездить к министру <С.С. Уварову>, а потом и к Дубельту. Последний, как говорится, намылил ему голову за либерализм, но в заключение объявил, что, впрочем, ничего из этого не будет. (*Дневник. 1. С. 298.*)

Н.А. НЕКРАСОВ — В.Г. БЕЛИНСКОМУ в Симферополь. Между 15 и 26 сентября 1846. Петербург

Краев<ский> делает гадости по-прежнему. Недавно ещё, когда ему был выговор за направление «О<течественных> з<аписок>», он сказал, что этого вперёд не будет, ибо он удалил уже сотрудников, которые поддерживали такое направление. (*Некрасов. X. С. 53.*)

[1] Эти *обвинительные* формулировки воспроизводятся по прошествии многих лет слово в слово, что свидетельствует о блестящем знании их авторами психологии власти, долженствующей немедленно отозваться на этот патриотический звук.

[2] Эпиграмма А.А. Дельвига, перефразированная С.А. Соболевским.

Общественное мнение слева

В.Г. БЕЛИНСКИЙ — К.Д. КАВЕЛИНУ. 22 ноября 1847. Петербург

По нашему убеждению, журнал, издаваемый свинцовою <- — ->, вместо мыслящей головы, не может иметь никакого направления, ни хорошего, ни дурного; а если «Отечественные записки» доселе имеют направление, и ещё хорошее, это потому, что они ещё не успели простыть от жаркой топки — Вы знаете, кем сделанной <...>. (*Белинский. XII. С. 431.*)

А.И. КРОНЕБЕРГ. К портрету Краевского

Вот он — тоже сочинитель!
Вот он — наглый мародёр!
Из холопов управитель,
Конокрад и живодёр.
Незнакомый ни с Европой,
Ни с родною стороной,
Он берёт свинцовой ж...
И чугунной головой. <...>
Осторожен как татарин,
И расчётлив как купец,
Либерал как русский барин
И как барин — весь подлец.

(*Звенья. VI. 792*)

И.И. ПАНАЕВ

Он <Краевский> вообще так и льнул к пушкинской партии и хотел втереться к самому Пушкину. Не знаю, удалось ли бы ему это: внезапная смерть Пушкина расстроила его планы, но он по крайней мере был утешен тем, что протёрся-таки хоть к гробу Пушкина и вместе с друзьями поэта и жандармами тайком, ночью, выносил этот гроб из квартиры. (*Лит. воспоминания. М., 1950. С. 95–96.*)

Н.И. ГРЕЧ[1]

Некоторая свобода тиснения бывает очень полезна правительству, показывая ему, кто его враги и друзья. Таким образом, гнусные «Отечественные Записки», до 1848 г., могли служить лучшим телеграфом к обнаружению, что за люди Белинский, Достоевский, Герцен (Искандер) <...>. (*Записки о моей жизни. С. 153.*)

[1] Разумеется, это голос «справа», но мы включаем его в настоящую главку, подчиняясь естественному чувству гармонии.

А.И. КРОНЕБЕРГ. К портрету Краевского

Он чужой жиреет кровью
И чужим живёт умом,
И полиция с любовью
Отзывается о нём.

(*Звенья. VI. С. 792.*)

Жертвы искусства

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 26 апреля 1846. Петербург

Я должен окончить одну повесть до отъезда небольшую, за деньги, которые я забрал у Краевского, и тогда уже взять вперёд деньги. (*ПСС. XXVIII. 1. С. 123.*)

Д.В. ГРИГОРОВИЧ

В тех слухах, которые распространяли в известном кружке насчёт Краевского, было много пристрастного и преувеличенного. Главным обвинительным пунктом выставлялось всегда то, что Краевский был угнетателем, эксплуататором Белинского. Если считать угнетением, что Краевский выдавал Белинскому в год только шесть тысяч и не больше, обвинение падает само собою. <...> Надо было высоко ценить его сотрудничество, чтобы стараться, как старался Краевский, пригласить его в свой журнал и платить ему шесть тысяч в такое время, когда сам Краевский не успел ещё выпутаться из долгов и принуждён был ежемесячно выпускать толстый том «Отечественных записок», в которых каждый лист оплачивался сотрудникам. Разлад Белинского с Краевским произошёл вовсе не из-за шести тысяч; этому помогли друзья, возбуждавшие его против Краевского и желавшие переманить его на свою сторону. (*Рус. мысль. 1893. № 1. С. 41.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.Н. КАТКОВУ. 11 января 1858. Семипалатинск

Но работа для денег и работа для искусства — для меня две вещи несовместные. Все три года моей давнишней литературной деятельности в Петербурге я страдал через это. Лучшие идеи мои, лучшие планы повестей и романов я не хотел профанировать, работал по-

спешно и к сроку. Я так их любил, так желал создать не наскоро, а с любовью, что, мне кажется, скорее бы умер, чем решился бы поступать с своими лучшими идеями не честно. Но, быв постоянно должен А.А. Краевскому (который, впрочем, никогда не вымогал из меня работу и всегда давал мне время), — я сам был связан по рукам и ногам. (*ПСС. XXVIII. 1. С. 296.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 17 декабря 1847. Петербург

Я плачу все долги мои, посредством Краевского. Вся задача моя заработать ему всё в зиму и быть ни копейки не должным на лето. Когда-то я выйду из долгов. Беда работать подёнщиком! Погубишь всё, и талант, и юность, и надежду, омерзеет работа и сделаешься наконец пачкуном, а не писателем. (*ПСС. XXVIII. 1. С. 135.*)

Д.В. ГРИГОРОВИЧ

Говоря по совести, в обращении Краевского было мало привлекательного: то, что называется приветливостью, у него вполне отсутствовало; говорил он мало, отрывисто, не любил праздных слов, прямо, без обиняков, без любезностей приступал к делу, — словом, не обладал качествами, располагающими с первого взгляда к человеку. За этою несколько бирюковатою внешностью скрывалось, однако ж, очень доброе сердце. Краевского прославили кремнём, скаредом, жадным к деньгам; но разве те, которые ставили это ему в вину, сами считали деньги презренным металлом и от них когда-нибудь отказывались? Краевский, как все люди, достигшие благосостояния трудом, знал цену деньгам и не бросал их, но от этого далеко ещё до жадности и скаредничества. Я знаю за ним немало добрых дел; знаю лиц, которые распускали про него самые гнусные клеветы и в то же время не стыдились прибегать к нему. Обращаюсь к совести тех из них, которые ещё живы: часто ли случалось уходить им от Краевского с пустыми руками? (*Рус. мысль. 1893. № 1. С. 41.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 7 октября 1846. Петербург

А система всегдашнего долга, которую так распространяет Краевский, есть система моего рабства и зависимости литературной. <...> Рассчитайся, если можешь ссудить меня до 1-го января, то дай. На меня же в отношении отдачи надейся как на каменную гору. (*ПСС. XXVIII. 1. С. 128.*)

Преимущества конкуренции, давно очевидные всем

Из дневника А.В. НИКИТЕНКО. Запись 4 января 1847 г.

Вышел первого числа первый № «Современника» под новой редакцией. Он произвёл хорошее впечатление. Отовсюду слышу благоприятные отзывы его тону и направлению. (*Дневник. 1. С. 299.*)

А.Я. ПАНАЕВА

Некрасов купил для «Современника» у Белинского все статьи, обещанные ему его московскими и петербургскими приятелями[1]. За сотрудничество Белинского в «Современнике» была положена плата восемь тысяч рублей в год. Эта цифра 40 лет тому назад казалась баснословной. Сами друзья Белинского удивлялись щедрости издателей журнала, а один из них с жалостью говорил Панаеву:

— Это сумасшествие с твоей стороны, так швырять деньгами.

— Если хорошо пойдёт журнал, — отвечал Панаев, — мы ещё прибавим; мы сами литераторы, стыдно усчитывать сотрудников.

— Так я тебе предсказываю, что ты гроша не будешь иметь барыша от журнала, если так будешь роскошничать. И что это Некрасов смотрит, он человек коммерческий. Нельзя, нельзя так вести денежные дела, будет банкротство журнала, помянете меня, да поздно будет, что не послушались моего благоразумного совета. Жаль, очень жаль тебя, любезнейший Панаев, — там, где люди наживают деньги, ты прогоришь!

Но за первую же статью, которую поместил в «Современнике» этот благоразумный советник, он потребовал прибавки за лист, говоря Некрасову:

— Если я отнесу мою статью в «Отечественные Записки», мне с радостью ещё дороже дадут.

С появлением «Современника» быстро поднялась цена на литературный труд. (*Ист. вестник. 1889. № 4. С. 39–40.*)

А.А. КРАЕВСКИЙ — В.Ф. ОДОЕВСКОМУ. 22 сентября 1846. Петербург

<...> мне нужна повесть, повесть! <...> засядьте за неё, сделайте одолжение, да не давайте и не обещайте никому ничего (тем более, что альманах Белинского *не состоится*). (*Рус. старина. 1904. № 6. С. 584.*)

---

[1] Для альманаха «Левиафан».

В.П. БОТКИН — П.В. АННЕНКОВУ. 20 ноября 1846. Петербург

Конкуренция явилась страшная. Краевский даёт большие деньги за малейшую статью с литературным именем. Недавно за поллиста печатных стихотворений <Аполлона> Майкова заплатил 200 руб. сер<ебром>. Всё это наделало появление «Современника». Видите: законы промышленности вошли уже в русскую литературу, а ведь это сделалось на наших глазах; за 10 лет об этом слуха не было. (*П.В. Анненков и его друзья. С. 521–522.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 17 декабря 1846. Петербург

Краевский повесил нос. Он почти погибает. «Современник» же выступает блистательно. У них уже завязалась перестрелка. (*ПСС. XXVIII. 1. С.135.*)

В.Г. БЕЛИНСКИЙ — В.П. БОТКИНУ. 22 апреля 1847. Петербург

Кредит Кр<аевского> падает со дня на день; недаром он поседел, как лунь. Его раскусили. Несмотря на горькие опыты, он всё тот же: найдёт дешевле сотрудника и откажет тому, который подороже. (*Белинский. XII. С. 359.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. Апрель 1847. Петербург

Я возьму у Краевского после окончания романа 1000 руб. серебр<ом> вперёд и не иначе как на *неопределённый срок*. Так как «*Современник*» идёт и с ожесточением переманивает к себе сотрудников «Отеч<ественных> записок», то он, *Андр<ей> Алексан<дрович> Краевский*, сильно трусит. Он будет согласен на всё. (*ПСС. XXVIII. 1. С. 140.*)

Who is who (новый литературный расклад)

А.В. НИКИТЕНКО. Запись 31 января 1847 г.

У меня уж со второго номера «Современника» возникли несогласия с издателями. Пришлось исключить некоторые статьи, по причинам литературным и цензурным. Например, предполагали поместить грязный пасквиль на Кукольника; я воспротивился. <...> Мои издатели вознегодовали на меня, забывая, что по первоначальным условиям моего редакторства они сами предоставили мне полную свободу в выборе статей и в сообщении журналу направления. Я только на этих условиях и мог согласиться подписывать под ним моё имя. (*Дневник, 1. С. 301.*)

В.Г. БЕЛИНСКИЙ

Первоначальный текст

В «Двойнике» автор обнаружил огромную силу творчества, характер героя принадлежит к числу самых глубоких, смелых и истинных концепций, какими только может похвалиться русская литература, ума и истины в этом произведении бездна, художественного мастерства — тоже <...>. (*Белинский. VIII. С. 683.*)

После правки Некрасова

В «Двойнике» автор обнаружил замечательную силу творчества, характер героя концепирован смело, истины в этом произведении много; но вместе с этим тут видно страшное неуменье владеть и распоряжаться экономически избытком собственных сил. (*Современник. 1847. № 1. Отд. III. С. 36.*)

Д.В. ГРИГОРОВИЧ

<...> Белинскому явственно было высказано, что, прежде всего, журнал «Современник» не ему принадлежит, и похвалы о том, что печатается в «Отечественных Записках», не могут быть допущены в «Современнике». (*Рус. мысль. 1893. № 1. С. 20.*)

А.В. НИКИТЕНКО. Запись 5 февраля 1847 г.

Я начинаю подумывать о том, чтобы отказаться от редакции «Современника». Скоро, но что же делать. Мне слишком тяжело находиться в постоянной борьбе с издателями, которых в свою очередь может тяготить моё влияние. Они, вероятно, рассчитывали найти во мне слепое орудие и хотели самостоятельно действовать под прикрытием моего имени. Я не могу на это согласиться. (*Дневник. 1. С. 301.*)

К.Д. КАВЕЛИН

Что Панаев был редактором «Современника», — это было ещё понятно. Но каким образом Некрасов, тогда мало известный и не имевший ни гроша, сделался тоже редактором, а Белинский, из-за которого мы были готовы оставить «Отечественные Записки», оказался наёмником на жалованьи, — этого фокуса мы не могли понять, негодовали и подозревали Некрасова в литературном кулачестве и гостиннодворчестве <...> Мне не было никакой охоты сближаться с новой редакцией и порвать связи с Краевским, к чему нас очень подзадоривали. Разницы в редакции не было в сущности никакой. (*Собр. соч. III. Стб. 1092–1093.*)

В.Г. БЕЛИНСКИЙ — И.С. ТУРГЕНЕВУ. 1 марта 1847. Петербург

Насчёт Кр<аевского> я сильно ошибся: у него не только не убавилось, но даже прибавилось число подписчиков, несмотря на успех «Современника», — мы отняли у него, может быть, сотню, другую,

а у него новых набежало несколько сотен. Вот как велика в публике жадность к журналам. Было бы из чего не спать, а работать. (*Белинский. XII. С. 345.*)

Всеподданнейший доклад начальника III Отделения графа А.Ф. ОРЛОВА. 23 февраля 1848

Общий дух этих двух журналов <«Современника» и «Отечественных записок»> состоит в том, что они изображают природу и людей как они есть, без всяких прикрас и преувеличений, называя себя поэтому писателями натуральной школы и с презрением отзываются о всех прежних и нынешних литераторах, которые описывали и описывают предметы более идеальные, нежели существующие в природе. (*Николаевские жандармы... С. 175.*)

В.Г. БЕЛИНСКИЙ — П.Г. АННЕНКОВУ. 20 ноября — 2 декабря 1847. Петербург

Боясь, что «Современник» подрежет его при новой подписке, Кр<аевский> велел Галахову валяться в ногах у москвичей, чтобы выпросить у них названий будто бы обещанных в «Отечественные записки» статей; и те — дали! <...> Грановский отвечал прямо, что так как «Отечественные записки» издаются в одном духе с «Современником», то он очень рад, что у нас, вместо одного, два хороших журнала, и готов помогать обоим. Подите, растолкуйте такому шуту, что именно по одинаковости направления оба журнала и не могут с успехом существовать вместе, но должны только мешать и вредить друг другу. <...> Одинаковое направление! Эти господа не хотят понять, что направлением своим теперь «Отечественные записки» обязаны только случаю да счастию, а не личности их редактора. (*Белинский. XII. С. 427–428.*)

Эстетические неудовольствия, могущие завести далеко

ДОСТОЕВСКИЙ. Из записной тетради 1876–1877 гг.

Реалисты неверны, ибо человек есть целое лишь в будущем, а вовсе не исчерпывается весь настоящим.

В одном только реализме нет правды. (*Лит. наследство. Т. 86. С.628.*)

В.Г. БЕЛИНСКИЙ

Мы убеждены, что если бы г. Достоевский укоротил своего «Двойника», по крайней мере, целою третью, повесть его могла бы иметь успех. Но в ней есть ещё и другой существенный недостаток: это её

фантастический колорит. Фантастическое в наше время может иметь место только в домах умалишённых, а не в литературе, и находиться в заведывании врачей, а не поэтов.

В искусстве не должно быть ничего тёмного и непонятного <...>. (*Современник. 1847. № 1. Отд. III. С. 36–37.*)

ДОСТОЕВСКИЙ. Из записной тетради 1875–1876 гг.

Нужно наблюдать природу человека во всех её видах. Я люблю тех, которым мерещится. (*Лит. наследство. Т. 83. С. 403.*)

Из показаний ДОСТОЕВСКОГО Следственной комиссии. 1849

Я упрекал его <Белинского> в том, что он силится дать литературе частное, недостойное ей назначение, низводя её единственно до описания, если можно выразиться *одних газетных фактов* или скандалёзных происшествий. Я именно возражал ему, что жёлчью не привлечёшь никого, а только надоешь смертельно всем и каждому, хватая встречного и поперечного на улице, останавливая каждого прохожего за пуговицу фрака и начиная насильно проповедовать ему и учить его уму-разуму. (*ПСС. XVIII. С. 127.*)

ДОСТОЕВСКИЙ. Униженные и оскорблённые

<Старик Ихменёв:>

— Что Б. всё ещё критику пишет?

— Да, — пишет, — отвечал я.

— Эх, Ваня, Ваня, — заключил он, махнув рукой, — что уж тут критика!

Его вторая зима

А.В. НИКИТЕНКО. Запись 5 августа 1847 г.

Возвратился из цензурного заседания. Спорил с попечителем, который объявил, что «надо совсем вывести романы в России, чтобы никто не читал романов». Я ещё не встречался на моём поприще с таким глупцом. (*Дневник. 1. С. 307.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 17 сентября 1846. Петербург

«Прохарчин» страшно обезображен в известном месте. Эти господа известного места запретили даже слово *чиновник* и бог знает из-за чего; уж и так всё было слишком невинное, и вычеркнули его во всех местах. Всё живое исчезло. Остался только скелет того, что я читал тебе. Отступаюсь от своей повести. (*ПСС. XXVIII. 1. С. 126.*)

Э.И. ГУБЕР

<...> что было сперва однообразно, потом сделалось скучно до утомления, и только немногие прилежные читатели, да и те по обязанности, прочитали до конца <...> «Прохарчина». Это горькая, но чистая правда, которая должна была опечалить человека с таким решительным дарованием, как г. Достоевский. (*С.-Петербургские ведомости. 1847, 3 января.*)

В.Г. БЕЛИНСКИЙ

В десятой книжке «*Отеч<ественных> записок*» появилось третье произведение г. Достоевского, повесть *«Господин Прохарчин»*, которая даже и почитателей таланта г. Достоевского привела в неприятное изумление. В ней сверкают искры таланта, но в такой густой темноте, что их свет ничего не даёт рассмотреть читателю... Не вдохновение, не свободное и наивное творчество породило эту странную повесть, а что-то вроде... как бы это сказать? — не то умничанья, не то претензии... иначе она не была бы такою вычурною, манерною, непонятною <...>. (*Современник. 1847. № 1. С. 37.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 26 ноября 1846. Петербург

Что же касается до Белинского, то это такой слабый человек, что даже в литературных мнениях у него пять пятниц на неделе. Только с ним я сохранил прежние добрые отношения. Он человек благородный. (*ПСС. XXVIII. 1. С. 134.*)

Д.В. ГРИГОРОВИЧ

Белинский, человек в высшей степени пылкий и впечатлительный, искренне привязанный к друзьям, нередко, однако ж, переносил свои увлечения то к одному из них, то к другому; отсюда происходила та переменчивость, то внезапное пристрастие, в котором его упрекали лучшие его приятели. (*Рус. мысль. 1893. № 1. С. 21–22.*)

И.А. ГОНЧАРОВ

Он <Белинский> как Дон Жуан к своим красавицам — относился к своим идолам: обольщался, хладел, потом стыдился многих из них и как будто мстил за прежнее своё поклонение. Идолы следовали почти непрестанно один за другим. Истощившись весь на Пушкина, Лермонтова, Гоголя (особенно Гоголя, от обаяния которого он ещё не успел вполне успокоиться, когда я познакомился с ним), он сейчас же, легко перешёл к Достоевскому, потом пришёл я — он занялся мною, тут же явился Григорович, попозже Кольцов, наконец Дружинин. Ко мне он отнёсся сравнительно покойнее

и трезвее, потому что я подвернулся с своей книгой как раз после одного из этих разочарований, в котором он покаялся даже где-то печатно — и стал немного осторожнее. (*Четыре очерка. СПб., 1881. С. 198.*)

А.Я. ПАНАЕВА

Достоевский уже не бывал у нас с тех пор, как Белинский напечатал в «Современнике» критику на его «Двойника» и «Прохарчина». Достоевский оскорбился этим разбором. Он даже перестал кланяться и гордо и насмешливо смотрел на Некрасова и Панаева; они удивлялись таким выходкам Достоевского. (*Ист. вестник. 1889. № 5. С. 276.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 17 декабря 1846. Петербург

Теперь, брат, вот что: приезжай этот год на масленицу в Петербург. Хоть на две недели. Но приезжай непременно. Квартира и стол тебе не будут ничего стоить. Чай, сахар и всё содержание тоже. Карманного ты почти ничего не истратишь. Вся поездка обойдётся в пустяки. А? Как ты думаешь. Подумай об этом. Что тебе? Я бы был так рад тебя видеть. Да и тебе-то было бы приятно пожить в Петербурге. Тебе даже не нужно совсем денег, брат, чтобы ехать сюда. Я тебе должен и заплачу за всё. (*ПСС. XXVIII. 1. С. 136.*)

«...Как в чаду»

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. Январь — февраль 1847. Петербург

Я, брат, работаю; не хочу ничего выдавать раньше, чем кончу. Денег между тем нет, и если б не было добрых людей, я бы погиб. Разложение моей славы в журналах доставляет мне более выгоды, чем невыгоды. Тем скорее схватятся за новое мои поклонники, которые, кажется, очень многочисленны и отстоят меня. Я живу очень бедно <...>. (*ПСС. XXVIII. 1. С. 138.*)

В.Г. БЕЛИНСКИЙ

<...> должно быть чуждыми фанатической гордости настоящим и избегать, например, таких фраз: «*Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский*»...[1] <...> Ну, а если вы не угадали <...> насчёт дарования, которое силитесь произвести в гении? (*Современник. 1847. № 5. Отд. IV. С. 130.*)

[1] Из статьи В. Майкова в апрельском (1847 г.) номере «Отечественных записок».

В.П. БОТКИН — В.Г. БЕЛИНСКОМУ. 27 марта 1847. Москва

Мне тяжко вспомнить вычурного Достоевского, хоть должно признаться, что у этого, при всей его тугости и смуте, есть глубокое чувство трагического. Но до него надо докапываться — сквозь целые груды навоза. (*Лит. мысль. II. С. 190.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. 17 декабря 1846. Петербург

Я теперь завален работою и к 5-му числу генваря обязался поставить Краевскому 1-ю часть романа «Неточка Незванова», о публикации которой ты уже, верно, прочёл в «Отечеств<енных> записках». (*ПСС. XXVIII. 1. С. 135.*)

А.Я. ПАНАЕВА

Любители-вестовщики передавали в редакцию «Отечественных Записок» — какие статьи заготовляются на будущий номер и что говорится при этом, а затем, прибегая из редакции «Отечественных Записок», передавали, что там говорилось о «Современнике» и о его издателях, конечно, с разными прибавлениями; всё это делалось под видом живого участия. (*Ист. вестник. 1889. № 4. С. 47.*)

В.Г. БЕЛИНСКИЙ — И.С. ТУРГЕНЕВУ. 19 февраля 1847. Петербург

Кстати: вот Вам анекдот об этом молодце. Он забрал у Кр<аевско>го более 4 тысяч асс<игнациями> и обязался контрактом 5 декабря доставить ему 1-ую часть своего большого романа, 5 января — 2-ю, 5 февраля — 3-ю, 5 марта — 4-ю. Проходит декабрь и январь — Дост<оевский> не является, а где его найти, Кр<аевский> не знает. Наконец в феврале в одно прекрасное утро в прихожей Кр<аевского> раздается звонок. Человек отворяет — и видит Дост<оевского>. Наскоро схвативши с него шинель, бежит доложить — Кр<аевский>, разумеется, обрадовался, человек выходит сказать — дескать, пожалуйте, но не видит ни калош, ни шинели Дост<оевско>го, ни его самого — и след простыл... Не правда ли, что это точь-в-точь сцена из «Двойника»? (*Белинский. XII. С. 335.*)

Н.А. ДОБРОЛЮБОВ

Г-н Достоевский известен любовью к рисованию психологических тонкостей. Мнение о его, кажется, «Двойнике», что это «собственно, не повесть, а психологическое развитие», подало даже повод к одному очень известному анекдоту. (*Современник. 1861. № 9. Отд. II. С. 90.*)

Подпись под карикатурой Н. СТЕПАНОВА

<Достоевский и А.А. Краевский:>

— Вы изволили прочесть мою повесть?

— Прочёл, ничего; недурна, местами есть промахи, поверхностный взгляд на предметы...

(С глубокомысленною важностию.)

Знаете, повесть ваша собственно не повесть, а психологическое развитие.

— Именно-с... Вы может быть изволили забыть, что это мнение Г^{на} Т[1]., которое я изложил в письме к вам при посылке повести? (*Иллюстрированный альманах. СПб., 1848. Вклейка.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. Апрель 1847. Петербург

<...>роман мой <«Неточка Незванова»> печатается в конце года. Он завершит год, пойдёт во время подписки и, главное, будет, если не ошибаюсь теперь, капитальною вещью в году и утрёт нос друзьям «Современникам», которые решительно стараются похоронить меня. Но к чёрту их. (*ПСС. XXVIII. 1. С. 140.*)

К.А. ТРУТОВСКИЙ

С юношескою откровенностью я передавал Ф<ёдору> М<ихайловичу> все перипетии моего романа, с увлечением описывал красоту моего предмета, её действия, слова <...> Имя этой милой девушки было Анна Львовна И. Дома её звали Неточка. Ф<ёдору> М<ихайловичу> очень понравилось это название, и он озаглавил свой новый рассказ «Неточка Незванова». (*Рус. обозрение. 1893. № 1. С. 215.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. Апрель 1847. Петербург

Ты не поверишь. Вот уже третий год литературного моего поприща я как в чаду. Не вижу жизни, некогда опомниться; наука уходит за невременьем. Хочется установиться. Сделали они мне известность сомнительную, и я не знаю, до которых пор пойдёт этот ад. Тут бедность, срочная работа, — кабы покой! (*ПСС. XXVIII. 1. С. 141.*)

Разночтения в показаниях одного лица

ДОСТОЕВСКИЙ

Первая повесть моя «Бедные люди» восхитила его <Белинского> (потом, почти год спустя, мы разошлись — от разнообразных причин,

[1] Тургенев?

весьма, впрочем, неважных во всех отношениях); но тогда, в первые дни знакомства, привязавшись ко мне всем сердцем, он тотчас же бросился с самою простодушною торопливостью обращать меня в свою веру. Я нисколько не преувеличиваю его горячего влечения ко мне, по крайней мере в первые месяцы знакомства. Я застал его страстным социалистом, и он прямо начал со мной с атеизма. (*Дневник писателя, 1873.*)

Показания ДОСТОЕВСКОГО Следственной комиссии. 1849

Тогда, то есть в первые дни нашего знакомства, он очень интересовался мною; ибо первый роман мой ему очень понравился и он смотрел на меня, несколько преувеличивая и моё дарование и значение моё. Через роман мой я с ним и познакомился. Сколько помню, мы только и говорили тогда об одной литературе, и несколько месяцев вёлся у нас жаркий спор о некоторых мнениях чисто литературных. (*ПСС. XVIII. С. 165.*)

ДОСТОЕВСКИЙ. Из записной тетради 1876–1877 гг.

<...> зарождающийся социализм и Белинский — да неужто и Белинский не сила? Именно всё это сила и даже страшно себя проявившая. (*Лит. наследство. Т. 83. С. 628.*)

Совращение совершеннолетних

А.И. ГЕРЦЕН. Былое и думы

Статьи Белинского судорожно ожидались молодёжью в Москве и Петербурге с 25 числа каждого месяца. Пять раз хаживали студенты в кофейные спрашивать, получены ли «Отечественные записки»; тяжёлый номер рвали из рук в руки. «Есть Белинского статья?» — «Есть», — и она поглощалась с лихорадочным сочувствием, со смехом, со спорами... и трёх-четырёх верований, *уважений* как ни бывало.

Не даром Скобелев, комендант Петропавловской крепости, говорил шутя Белинскому, встречаясь на Невском проспекте: «Когда же к нам, у меня совсем готов тёпленький каземат, так я для вас его и берегу». (*Полярная звезда на 1855 год. Кн. I. С. 96.)*

Анонимный донос, поступивший в III Отделение. Февраль 1848

Участвуя прежде в московских журналах и потом в «От<ечественных> зап<исках>», Белинский всегда обращал на себя внимание резкостью суждений о прежних писателях наших, не признавая почти никаких достоинств ни в Ломоносове, ни в Державине, ни в Жуковском, ни во всех прочих литераторах и этим оскорбляет чувство тех, которые питают уважение к нашим старым писателям. Это мнение разделяют с Белинским Краевский и почти все молодые писатели наши, которые дошли до того, что считают за ничто всякую старую знаменитость. С одной стороны, это дело литературное, зависящее от мнений, но с другой — оно может сделаться важным по своим последствиям. Нет сомнений, что Белинский и его последователи пишут таким образом только для того, чтобы придать больший интерес статьям своим, и нисколько не имеют в виду коммунизма, но в их сочинениях есть что-то похожее на коммунизм, а молодое поколение может от них сделаться вполне коммунистическим. (*Николаевские жандармы... С. 174.*)

М.А. ДМИТРИЕВ. К безименному критику <В.Г. Белинскому>.

Нет! Твой подвиг непохвален!
Он России не привет!
Карамзин тобой ужален,
Ломоносов — не поэт!

Кто ни честен, кто ни славен,
Ни радел стране родной,
И Жуковский, и Державин
Дерзкой тронуты рукой!

. . . . . .

Всё язвить — что знаменито,
Что высоко — низводить;
Чувством нравственным открыто
Насмехаться — и шутить;

Лить на прошлое отраву,
И трубить для всех ушей
Лишь сегодняшнюю славу,
Лишь сегодняшних людей <...>

. . . . . .

Жалко племя молодое,
Где добра и славы тать
Всё святое, всё родное
Научает попирать!..

ДОСТОЕВСКИЙ

Все эти тогдашние новые идеи нам в Петербурге ужасно нравились, казались в высшей степени святыми и нравственными и, главное,

общечеловеческими, будущим законом всего без исключения человечества. Мы ещё задолго до парижской революции 48 года были охвачены обаятельным влиянием этих идей. Я уже в 46 году был посвящён во всю *правду* этого грядущего «обновлённого мира» и во всю святость будущего коммунистического общества ещё Белинским. (*Дневник писателя, 1873.*)

В.Г. БЕЛИНСКИЙ — В.П. БОТКИНУ. 27–28 июня 1841. Петербург

Я начинаю любить человечество маратовски: чтобы сделать счастливой малейшую часть его, я, кажется, огнём и мечом истребил бы остальную. (*Белинский. XII. С. 52.*)

А.И. ГЕРЦЕН

Идеал Белинского, идеал наш, наша церковь и родительский дом, в котором воспитались наши первые мысли и сочувствия был *западный мир* с его наукой, с его революцией, с его уважением к лицу, с его политической свободой, с его художественным богатством и несокрушённым упованием. (*Колокол. 1863, 15 апреля.*)

Объяснения ДОСТОЕВСКОГО Следственной комиссии. 1849

Несколько времени я был знаком с Белинским довольно коротко. Это был превосходнейший человек как человек. Но болезнь, сведшая его в могилу, сломила в нём даже и человека. Она ожесточила, очерствила его и залила жёлчью его сердце. <...> В литературном мире небезызвестно весьма многим о моей ссоре и окончательном разрыве с Белинским в последний год его жизни. Известна тоже и причина нашей размолвки: она произошла из-за идей о литературе и о направлении литературы. Взгляд мой был радикально противуположный взгляду Белинского. Белинский рассердился на меня и, наконец, от охлаждения мы перешли к форменной ссоре, так что и не видались, наконец, друг с другом в продолжение всего последнего года его жизни. (*ПСС. XVIII. С. 127.*)

П.В. АННЕНКОВ. Замечательное десятилетие

С Белинским он <Достоевский> вскоре разошёлся — жизнь развела их в разные стороны, хотя довольно долгое время взгляды и созерцание их были одинаковы. (*Вестник Европы. 1880. № 4. С. 480.*)

Из показаний ДОСТОЕВСКОГО Следственной комиссии. 1849.

Я был с ним <Белинским> знаком в первый год знакомства довольно коротко, во второй год очень отдалённо, а в третий год был с ним в ссоре и не виделся с ним ни разу. (*ПСС. XVIII. С. 164.*)

ДОСТОЕВСКИЙ

В последний год его жизни я уже не ходил к нему. Он меня невзлюбил; но я страстно принял всё учение его. (*Дневник писателя. 1873.*)

Из дневника А.И. ГЕРЦЕНА. Запись 14 ноября 1842 г.

Письмо от Белинского. Фанатик, человек экстремы, но всегда открытый, сильный, энергичный. Его можно любить или ненавидеть, середины нет. Я истинно его люблю. Тип этой породы людей — Робеспьер. Человек для них ничто, убеждение — всё. (*Герцен. II. С. 242.*)

«...Позволь смиренно...»

И.И. ПАНАЕВ

Белинский, как я замечал уже, не мог скрывать своих ощущений и впечатлений и никогда не драпировался. В этом отношении он был совершенный контраст Лермонтову. (*Лит. воспоминания. С. 136.*)

К.Д. КАВЕЛИН

Ненависть и любовь его <Белинского> одинаково выражались страстно, подчас ребячески, с чудовищными преувеличениями, но в которых всегда лежала верная, светлая и глубокая мысль, которую мы понимали. (*Собр. соч. Т. III. Стб. 1090.*)

Из неоконченной повести Н.А. НЕКРАСОВА

Вообще крайности составляли главную черту его <Белинского> характера как в литературе, так и в жизни. Середины у него не было — и человек или книга, ещё сегодня милые ему, рисковали завтра возбудить его отвращение. Такие переходы совершались в нём всегда резко и круто<...>. (*Некрасов, 1922. С. 40.*)

ДОСТОЕВСКИЙ. Из записной тетради 1876–1877 гг.

Белинский. Необычная стремительность к восприятию новых идей с необычайным желанием, каждый раз, с восприятием нового, растоптать всё старое, с ненавистью, с оплеванием, с позором. Как бы жажда отмщения старому, и я сжёг всё, чему поклонялся. (*Лит. наследство. Т. 83. С. 672.*)

И.С. ТУРГЕНЕВ

Лицо он <Белинский> имел небольшое, бледно-красноватое, нос неправильный, как бы приплюснутый, рот слегка искривлённый, особенно когда раскрывался, маленькие, частые зубы, густые белокурые волосы падали

клоком на белый, прекрасный, хоть и низкий лоб. Я не видывал глаз более прелестных, чем у Белинского. Голубые, с золотыми искорками в глубине зрачков, эти глаза, в обычное время полузакрытые ресницами, расширялись и сверкали в минуты воодушевления, в минуты весёлости взгляд их принимал пленительное выражение приветливой доброты и беспечного счастья. <...> Смеялся он от души, как ребёнок. (*Вестник Европы. 1869. № 4. С. 698.*)

А.И. ГЕРЦЕН. Былое и думы

Но в этом застенчивом человеке, в этом хилом теле обитала мощная, гладиаторская натура; да, это был сильный боец! Он не умел проповедовать, поучать, ему надобен был спор. Без возражений, без раздражения, он не хорошо говорил, но когда чувствовал себя уязвлённым, когда касались до его дорогих убеждений, когда у него начинали дрожать мышцы щёк и голос перерываться, тут надобно было его видеть; он бросался на противника барсом, он рвал его на части, делал его смешным, делал его жалким и по дороге с необычайной силой, с необычайной поэзией развивал свою мысль. Спор оканчивался очень часто кровью, которая у больного лилась из горла; бледный, задыхающийся, с глазами, остановленными на том, с кем говорил, он дрожащей рукой поднимал платок ко рту и останавливался, глубоко огорчённый, уничтоженный своей физической слабостью. Как я любил и как жалел я его в эти минуты! (*Полярная звезда на 1855 год. Кн. I. С. 98.*)

И.И. ПАНАЕВ

<...> для того, чтобы иметь о Белинском полное понятие, видеть его во всём блеске, надобно было навести разговор на те общественные предметы и вопросы, которые живо его затрагивали, и раздражить его противоречием; затронутый, он вдруг вырастал, слова его лились потоком, вся фигура дышала внутренней энергией и силой, голос по временам задыхался, все мускулы лица приходили в напряжение... Он нападал на своего противника с силой человека, власть имеющего, мимоходом играл им, как соломинкой, издевался, ставил его в комическое положение и между тем продолжал развивать свою мысль с энергией поразительной. В такие минуты этот обыкновенно застенчивый, робкий и неловкий человек был неузнаваем. (*Современник. 1860. № 1. С. 361–362.*)

А.И. ГЕРЦЕН. Былое и думы

Притесняемый денежно литературными подрядчиками, притесняемый нравственно цензурой, окружённый в Петербурге людьми мало симпатичными, снедаемый болезнию, для которой балтийский климат был убийственен, Белинский становился раздражительнее и раздражительнее. Он чуждался посторонних, был до дикости застенчив, и иногда недели целые проводил в мрачном бездействии. Тут редакция посылала записку за запиской, требуя оригинала, и закабалённый литератор со скрежетом зубов брался за перо и писал те ядовитые статьи, трепещущие от негодования, те обвинительные акты, которые так поражали читателей. (*Полярная звезда на 1855 год. Кн. I. С. 98.*)

Н.А. НЕКРАСОВ. Медвежья охота. 1864–1867

Учитель! перед именем твоим...[1]

Бумаги для служебного пользования

Ф.В. БУЛГАРИН — Л.В. ДУБЕЛЬТУ. Март 1846. Петербург

Белинский, у которого собиралось юношество, явно называл себя русским Иисусом Христом (чему можно представить свидетелей), а Краевский верит, что ему будут воздвигнуты монументы. (*Николаевские жандармы... С. 308.*)

Из доклада чиновника III Отделения ГЕДЕОНОВА «О записке г. Булгарина, обвиняющей журнал «Отечественные Записки»», составленного по приказанию Л.В. Дубельта. Март 1846

1. Булгарин говорит, что «Отечественные Записки» действуют <...> для уничтожения христианства. Но как примирить г. Булгарина с самим собою, когда он тут же говорит, что «Отечественные Записки» действуют христианством для возбуждения революции? (*Николаевские жандармы... С. 312.*)

«...В белом венчике из роз...»

ДОСТОЕВСКИЙ. Из подготовительных материалов к «Бесам». 1870

Нравственность Христа в двух словах: это идея, что счастье личности есть вольное и желательное отрешение её, лишь бы другим было лучше. (*ПСС. XI. С. 193.*)

ДОСТОЕВСКИЙ

В новые нравственные основы социализма (который, однако, не указал до сих пор ни единой, кроме гнусных извращений природы

[1] Продолжение см. ниже.

и здравого смысла) он <Белинский> верил до безумия и безо всякой рефлексии; тут был один лишь восторг. Но, как социалисту, ему прежде всего следовало низложить христианство; он знал, что революция непременно должна начинать с атеизма. (*Дневник писателя 1873.*)

В.Г. БЕЛИНСКИЙ — Н.В. ГОГОЛЮ. 3/15 июня 1847. Зальцбрунн

<...> смысл учения Христова открыт философским движением прошлого века. И вот почему какой-нибудь Вольтер, орудием насмешки потушивший в Европе костры фанатизма и невежества, конечно, больше сын Христа, плоть от плоти Его и кость от костей Его, нежели все Ваши попы, архиереи, митрополиты и патриархи, восточные и западные. (*Лит. наследство. Т. 56. С. 575.*)

ДОСТОЕВСКИЙ. Из записной тетради 1875–1876 гг.

Если не религия, то хоть то, что заменяет её на миг в человеке. Вспомните Дидро, Вольтера, их век и их веру... О, какая это была страстная вера. (*ПСС. XXIV. С. 67.*)

Братья Карамазовы

<Алёша — Ивану:>

— Поэма твоя есть хвала Иисусу, а не хула... как ты хотел того.

ДОСТОЕВСКИЙ

— Да поверьте же, наивный вы человек, — набросился он <Белинский> опять на меня, — поверьте же, что ваш Христос, если бы родился в наше время, был бы самым незаметным и обыкновенным человеком; так и стушевался бы при нынешней науке и при нынешних двигателях человечества.

— Ну не-е-т! — подхватил друг Белинского. (Я помню, мы сидели, а он расхаживал взад и вперёд по комнате.) — Ну нет; если бы теперь появился Христос, он бы примкнул к движению и стал во главе его.

— Ну да, ну да, — вдруг и с удивительною поспешностью согласился Белинский. — Он бы именно примкнул к социалистам и пошёл за ними. (*Дневник писателя. 1873.*)

В.Г. БЕЛИНСКИЙ — Н.В. ГОГОЛЮ. 3/15 июля 1847. Зальцбрунн

Он <Христос> первый возвестил людям учение свободы, равенства и братства и мученичеством запечатлел, утвердил истину своего учения. <...> Неужели Вы этого не знаете? А ведь всё это теперь вовсе не новость для всякого гимназиста... (*Лит. наследство. Т. 56. С. 448–449.*)

Братья Карамазовы

<Коля Красоткин:>

— И если хотите, я не против Христа. Это была вполне гуманная личность, и живи Он в наше время, Он бы прямо примкнул к революционерам и, может быть, играл бы видную роль... Это даже непременно.

— Ну где, ну где вы этого нахватались! С каким это дураком вы связались? — воскликнул Алёша.

— Помилуйте, правды не скроешь. <...> Это ещё старик Белинский тоже, говорят, говорил.

— Белинский? Не помню. Он этого нигде не написал.

— Если не написал, то, говорят, говорил. Я это слышал от одного... впрочем, чёрт...

Из подготовительных материалов к «Бесам». 1870

Липу<тин>: «Социализм ведь это замена христианства, ведь это новое христианство, которое ведёт обновить весь мир. Это совершенно то же христианство, только без бога». (*ПСС. XI. С. 301.*)

ДОСТОЕВСКИЙ

А что стоит уверить тёмный и нищий народ, что коммунизм есть то же самое христианство и что Христос только об этом и говорил. Ведь есть же и теперь даже умные и остроумные социалисты, которые уверены, что то и другое одно и то же и серьёзно принимают за Христа антихриста... (*Дневник писателя. 1873.*)

Русский мат с идеологической подоплёкой

ДОСТОЕВСКИЙ

Тут оставалась, однако, сияющая, личность самого Христа, с которою всего труднее было бороться. Учение Христово он <Белинский> как социалист, необходимо должен был разрушать, называть его ложным и невежественным человеколюбием, осуждённым современною наукой и экономическими началами; но всё-таки оставался пресветлый лик Богочеловека, Его нравственная недостижимость, Его чудесная и чудотворная красота. Но в беспрерывном, неугасимом восторге своём Белинский не остановился даже и перед этим неодолимым препятствием. (*Дневник писателя, 1873.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — Н.Н. СТРАХОВУ. 18/30 мая 1871. Дрезден

Этот человек <Белинский> ругал мне Христа по матерну, а между тем никогда он не был способен сам себя и всех двигателей всего

мира сопоставить со Христом для сравнения. Он не мог заметить того, сколько в нём и в них мелкого самолюбия, злобы, нетерпения, раздражительности, подлости, а главное, самолюбия. Ругая Христа, он не сказал себе никогда: что же мы поставим вместо него, неужели себя, тогда как мы так гадки. (*ПСС. XXIX. 1. С. 215.)*

Из подготовительных материалов к «Бесам». 1870

<Степан Верховенский:>

Покойный Белинский Христа по-матерну, а сам курицы бы не обидел. (*ПСС. XI. С. 73.*)

О.Ф. МИЛЛЕР

По прочтении с Ф<ёдором> М<ихайлови>чем нагорной проповеди Христа, он <горец-каторжник в Омском остроге> сказал: «да, Иса святой пророк!.. Как хорошо!». То же повторили и его братья, вполне уверенные, что делают Ф<ёдору> М<ихайлови>чу великое удовольствие, восхваляя Ису. Бедным горцам, конечно, не чуялось, что они как бы вознаграждали этим Достоевского за ту ужасную брань, при которой и вообще, когда слышишь её от пьяной толпы, становится страшно за человека и которая совершенно поразила его, когда пришлось услышать её в Петербурге в устах физически-трезвого и образованного человека — услышать в связи с святейшим для человечества именем — с именем, пред которым невольно преклонялись в остроге эти иноверные «сыны природы». (*Биография... С. 133.*)

ДОСТОЕВСКИЙ

В этот вечер мы были не одни, присутствовал один из друзей Белинского, которого он весьма уважал и во многом слушался; был тоже один молоденький, начинающий литератор, заслуживший потом известность в литературе.

— Мне даже умилительно смотреть на него, — прервал вдруг свои яростные восклицания Белинский, обращаясь к своему другу и указывая на меня, — каждый-то раз, когда я вот так помяну Христа, у него всё лицо изменяется, точно заплакать хочет... (*Дневник писателя. 1873.*)

Из подготовительных материалов к «Бесам». 1870

<Степан Верховенский:>

— <...> я помню писателя Д<остоевского> — тогда ещё почти юношу. Б<елинский> обращал его в атеизм и на возражение Д<остоевского>, защищавшего Христа, ругал Христа по-матерну. «И всегда-то он сделает, когда я обругаюсь, такую скорбную убитую физиономию», — говорил <...> Б<елинский>, указывая на Д<остоевского>, с самым добродушным, невинным смехом. (*ПСС. XI. С. 73.*)

О.Ф. МИЛЛЕР

А между тем изменившееся лицо этого «наивного человека», эта готовность его заплакать от такой обиды — сильно, должно быть, действовали на Белинского. Недаром в своём «Обзоре русской литературы» 1847 г. он так восторженно отзывался о нравственном влиянии христианства в социальном смысле. Ясно, что беседы с Достоевским заставляли его подвергать пересмотру так страстно усвоенные им антихристианские заключения. (*Биография... С. 77.*)

Вс. С. СОЛОВЬЁВ

— Вот хоть бы о Белинском (он <Достоевский> раскрыл № «Гражданина» с первым своим «Дневником писателя»), разве тут я всё сказал, разве то я мог бы сказать! И совсем-то, совсем его не понимают. Я хотел бы просто привести его собственные слова — и больше ничего. (*Ист. вестник. 1881. № 3. С. 607.*)

Из дневника генерала А.А. КИРЕЕВА. Запись 7 апреля 1880 г.

Вечером был у Бестужева-Рюмина <...>. Достоевский рассказывал из давних лет — Белинский так говорил об Иисусе Христе: «Этот подлец <- — ->». А мы-то кланялись в пояс Белинскому. (*Лит. наследство. Т. 86. С. 498.*)

О.Ф. МИЛЛЕР

О той же самой бешеной выходке Белинского говорил мне Ф. М. года за три до своей смерти — говорил с тем же неугасимым с годами негодованием — и этим объяснилось для меня до тех пор казавшееся мне странным крайнее нерасположение его к Белинскому. (*Биография... С. 77.*)

Из дневника А.И. ГЕРЦЕНА. 1843 г.

Белинский не переменился ни на волос, вечно в экстреме; но глубоко вникающий и симпатичный <...> резкий до цинизма в словах, но верный в смелости и не трус, конечно, в консеквентности[1]. Я люблю его речь и недовольный вид и даже ругательство. (*Собр. соч. II. С. 291.*)

[1] Последовательности (*лат.*).

Т.Н. ГРАНОВСКИЙ — Н.Х. КЕТЧЕРУ. Начало марта 1845. Москва

Поклонись Белинскому. <...> Я помирился даже с его невозможными речами, понимая, как оне сходят с благородного языка. (*Т.Н. Грановский и его переписка. М., 1897. Т. 11. С. 464.*)

Шестое доказательство

ДОСТОЕВСКИЙ. Из записной тетради 1880–1881 гг.

Нравственный образец и идеал есть у меня, дан, Христос. <...>

Нравственно только то, что совпадает с вашим чувством красоты и с идеалом, в котором вы её воплощаете. (*ПСС. XVII. С. 56–57.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — Н.Д. ФОНВИЗИНОЙ. Январь — февраль 1854. Омск

Я скажу Вам про себя, что я — дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных. И, однако же, бог посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно спокоен; в эти минуты я люблю и нахожу, что другими любим, и в такие-то минуты я сложил в себе символ веры, в котором всё для меня ясно и свято. Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпа<ти>чнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и *действительно* было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной. (*ПСС. XXVIII. 1. С. 176.*)

ДОСТОЕВСКИЙ. Из записной тетради 1880–1881 гг.

Подставить ланиту, любить больше себя — не потому, что полезно, а потому, что нравится, до жгучего чувства, до страсти. Христос ошибался — доказано! Это жгучее чувство говорит: лучше я останусь с ошибкой, со Христом, чем с вами. (*ПСС, XXVII, С. 57.*)

О.Ф. МИЛЛЕР

По свидетельству Ст. Дм. Яновского, в 1847 и 1849 гг. Ф.М. вместе с ним говел у Вознесенья и «делал это не для формы». (*Биография... С. 94–95.*)

ДОСТОЕВСКИЙ. Из записной тетради 1880–1881 гг.

«*Карамазовы*». Мерзавцы дразнили меня необразованною и ретроградною верою в бога. Этим олухам и не снилось такой силы отрицание бога, какое положено в Инквизиторе <...>. Не как дурак же, фанатик, я верую в бога. <...> Им ли меня учить. <...>

И в Европе такой силы атеистических *выражений нет и не было*. Стало быть, не как мальчик же я верую во Христа и его исповедую, а через большое *горнило сомнений* моя *осанна* прошла <...>. (*ПСС. 1 XVII. С. 48, 86.*)

Г.З. ЕЛИСЕЕВ — М.Е. САЛТЫКОВУ-ЩЕДРИНУ. 28 декабря 1884. Париж

А ведь он <Достоевский> с начала своего писательства был на другой стороне. И надобно было много усилий, чтобы свернуть его отсюда. Только посредством бога могли его свернуть отсюда. Точно мы противники бога! Да и внутренно никогда не свернул окончательно. (*Письма Г.З. Елисеева к М.Е. Салтыкову-Щедрину. М., 1935. С. 163–164.*)

ДОСТОЕВСКИЙ. Из черновых материалов к «Дневнику писателя». 1877

Христианство есть доказательство того, что в человеке может вместиться бог. Это величайшая идея и величайшая слава человека, до которой он мог достигнуть. (*ПСС. XXV. С. 228.*)

Счастливейший из людей

ДОСТОЕВСКИЙ

Это <Белинский> был самый торопившийся человек в целой России. Раз я встретил его часа в три пополудни у Знаменской церкви. Он сказал мне, что выходил гулять и идёт домой.

— Я сюда часто захожу взглянуть, как идёт постройка (вокзала Николаевской железной дороги, тогда ещё строившейся). Хоть тем сердце отведу, что постою и посмотрю на работу; наконец-то и у нас будет хоть одна железная дорога. Вы не поверите, как эта мысль облегчает мне иногда сердце.

Это было горячо и хорошо сказано; Белинский никогда не рисовался. Мы пошли вместе. Он, помню, сказал мне дорогою:

— А вот как зароют в могилу (он знал, что у него чахотка), тогда только спохватятся и узнают, кого потеряли. (*Дневник писателя. 1873.*)

ДОСТОЕВСКИЙ. Из подготовительных материалов к «Бесам». 1870

<Степан Верховенский:>

— Раз этот Д<остоевский> встретил Б<елинско>го у вокзала строившейся дороги. «Я не могу хладнокровно ждать, я выбрал прогулку к этому месту и каждый день смотрю на дорогу». О, если б он, бедный, знал, каким взглядом смотрели тогда многие на эту дорогу, и особенно строители дороги! Белинский говорил: «Я не так, как другие, я вот уж этим и болю. Загребут землёй — узнают, кого схоронили». Д<остоевский> пошёл с ним и разговорился о железной дороге, мало-помалу о будущих дорогах, об отоплении вагонов, об отоплении, наконец, Москвы, где дрова всё дороже и дороже, а в будущем, при скрещении всех железных дорог в Москве, ещё дороже. Вероятно, будут привозить дрова по железным дорогам из лесистых стран. Белинский расхохотался малому знанию действительности: «Дрова по железным дорогам перевозить хочет!» Это ему показалось чудовищным. Вообразите, он и в самом деле думал, что по железным дорогам будут ездить только пассажиры, а из товаров перевозить будут только самые тонкие и ценные, articles de Paris[1] какие-нибудь. И вот его знание действительности. Но понимал он больше всех. <...>

Играл в карты. Но как они любили Россию! (*ПСС. XI. С. 73, 464.*)

ДОСТОЕВСКИЙ

При такой тёплой вере в свою идею это был, разумеется, самый счастливейший из людей. <...>

Этот всеблаженный человек, обладавший таким удивительным спокойствием совести, иногда, впрочем, очень грустил; но грусть эта была особого рода, — не от сомнений, не от разочарований, о нет, — а вот почему не сегодня, почему не завтра? (*Дневник писателя. 1873.*)

Полифония, как и было указано

ДОСТОЕВСКИЙ

<...> много ли было тогда воистину либералов, много ли было действительно страдающих, чистых и искренних людей, таких, как, например <...> Белинский (не говоря уже об уме его). (*Дневник писателя. 1876, март.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — А.И. МАЙКОВУ. 9/21 октября 1870. Дрезден

<...> я <...> оставался ещё тогда <на каторге> всё ещё с сильной закваской шелудивого русского либерализма, проповедованного г<-—->ками вроде букашки навозной Белинского и проч. <...> Россия

[1] Парижские изделия (*фр.*).

выблевала вон эту пакость, которою её окормили <...>. (*ПСС. XXIX. 1. С. 145.*)

ДОСТОЕВСКИЙ. Из записной тетради 1875–1876 гг.

Белинский в каторге, — я благоговел[1]. (*Лит. наследство. Т. 83. С. 402.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — А.И. МАЙКОВУ. 18 февраля/1 марта 1868. Женева

Вспомните лучших либералов — вспомните Белинского: разве не враг отечества сознательный, разве не ретроград? (*ПСС. XXVIII. 1. С. 259.*)

Из записной тетради 1875–1876 гг.

Но знайте, что Белинский прав, когда и виноват, — нужно иметь ум. (*Лит. наследство. Т. 83. С. 466.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — А.Н. МАЙКОВУ. 11/23 декабря 1868. Флоренция

<...> никогда не поверю словам покойного Аполлона Григорьева, что Белинский кончил бы славянофильством. Не Белинскому кончить было этим. Это был только паршивик — и больше ничего. Большой поэт в своё время, но развиваться далее не мог. Он кончил бы тем, что состоял бы на побегушках у какой-нибудь здешней м-м Гёгг адъютантом по женскому вопросу на митингах и разучился бы говорить по-русски, не выучившись всё-таки по-немецки. (*ПСС. XXVIII. II. С. 328.*)

ДОСТОЕВСКИЙ

Белинский, может быть, кончил бы эмиграцией, если бы прожил дольше и если бы удалось ему эмигрировать, и скитался бы теперь маленьким и восторженным старичком с прежнею тёплой верой, не допускающей ни малейших сомнений, где-нибудь по конгрессам Германии и Швейцарии <...>. (*Дневник писателя. 1873.*)

Из записной тетради 1875–1876 гг.

Но у Белинского была правда и его заблуждение, а у вас и правда выходит заблуждением. (*Лит. наследство. Т. 83. С. 463.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — Н.Н. СТРАХОВУ. 18/30 мая 1871. Дрезден.

Я обругал Белинского более как явление русской жизни, нежели лицо; это было самое смрадное, тупое и позорное явление русской

[1] Очевидно, имеется в виду отношение к Белинскому Достоевского во время пребывания последнего на каторге.

жизни. Одно извинение — в неизбежности этого явления. (*ПСС. XXIX. 1. С. 215.*)

Из записной тетради 1876–1877 гг.

В старину по крайней мере писали так, что читать можно было, — ну, Белинский например <...>. (*Лит. наследство. Т. 83. С. 620.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — Н.Н. СТРАХОВУ. 23 апреля/5 мая 1871. Дрезден

Смрадная букашка, Белинский <...> именно был немощен и бессилен талантишком, а потому и проклял Россию и принес ей сознательно столько вреда <...>. (*ПСС. XXIX. 1. С. 208.*)

Из записной тетради 1876–1877 гг.

<...> так что самые заблуждения Белинского, если у него только есть они, выше всякой правды, да и всего, что вы натворили и написали. (*Лит. наследство. Т. 83. С. 526.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — Н.Н. СТРАХОВУ. 18/30 мая 1871. Дрезден

Я помню моё юношеское удивление, когда я прислушивался к некоторым чисто художественным его суждениям (н<а>прим<ер> о «Мёртв<ых> душах»). Он до безобразия поверхностно и с пренебрежением относился к типам Гоголя и только рад был до восторга, что Гоголь *обличил*. (*ПСС. XXIX. 1. С. 215.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — А.Н. МАЙКОВУ. 9/21 октября 1870. Дрезден

А продолжают ли на выпусках, в гимназиях, раздавать гимназисткам книги вроде полного собрания сочинений Белинского, в которых тот плачет, зачем Татьяна <Ларина> осталась верна мужу? Нет, долго ещё это не искоренится <...>. (*ПСС. XXIX. 1. С. 146.*)

ДОСТОЕВСКИЙ — неустановленному лицу (Н. А.) 19 декабря 1880. Петербург

Каких лет Ваш сын — этого Вы не обозначаете. — Скажу лишь вообще: берите и давайте лишь то, что производит прекрасные впечатления и родит высокие мысли. <...> Если вы хотите, то можете дать и Белинского. Но других критиков — повремените. (*ПСС. XXX. I. С. 237.*)

Из записной тетради 1875–1876 гг.

Много ли было страдавших душою Белинских? (*Лит. наследство. Т. 83. С. 458.)*

Отказ от родства

В.Г. БЕЛИНСКИЙ — И.С. ТУРГЕНЕВУ. 19 февраля 1847. Петербург

Достоевского переписка шулеров <«Роман в девяти письмах»>, к удивлению моему[1], мне просто не понравилась — насилу дочёл. Это общее впечатление. (*Белинский. XII, С. 335.*)

А.А. ГРИГОРЬЕВ

Из произведений этой <натуральной> школы обращает внимание прекрасный рассказ Достоевского — «Роман в девяти письмах». (*Московский городской листок. 1847, 5 марта.*)

Из рецензии В.Г. БЕЛИНСКОГО на первое отдельное издание «Бедных людей»

Шум конечно не всегда одно и то же со славою, но без шуму нет славы. «*Бедные люди*» доставили своему автору громкую известность, подали высокое понятие о его таланте и возбудили большие надежды — увы! — до сих пор не сбывающиеся. (*Современник. 1848. № 1. Отд. III. С. 43.*)

С.Д. ЯНОВСКИЙ

Я знаю, что Фёдор Михайлович, по складу его ума и по силе убеждений, не любил подчиняться какому бы там ни было авторитету, вследствие чего он нередко даже о Белинском выражался так: «ничего, ничего, Виссарион Григорьевич, отмалчивайтесь; придёт время, что и вы заговорите (это он говорил так по поводу того, что Белинский, расхваливший его «Бедных людей», потом как бы игнорировал его произведения, а Фёдору Михайловичу молчание о его творениях было горше брани) <...>. (*Рус. вестник. 1885. № 4. С. 817.*)

В.Г. БЕЛИНСКИЙ — П.В. АННЕНКОВУ. 15 февраля 1848. Петербург

Из Руссо я только читал его «Исповедь» и <...> возымел сильное омерзение к этому господину. Он так похож на Дост<оевского>, который убеждён глубоко, что всё человечество завидует ему и преследует его. (*Белинский. XII. С. 467.*)

---

[1] Ср. с. 592 (сноска 1).

ДОСТОЕВСКИЙ — М.М. ДОСТОЕВСКОМУ. Январь — февраль 1847. Петербург

Я пишу мою «Хозяйку». Уже выходит лучше «Бедных людей». Это в том же роде. Пером моим водит родник вдохновения, выбивающийся прямо из души. Не так, как в «Прохарчине», которым я страдал всё лето. (*ПСС. XXVIII. I. С. 139–140.*)

В.Г. БЕЛИНСКИЙ — В.П. БОТКИНУ. 4–8 ноября 1847. Петербург

Его <Краевского> беда — повести; не то, что у него нет хороших повестей, а то, что он печатает мерзости, вроде <...> «Хозяйки» Достоевского (нервическая <— — —>) да ещё без конца. (*Белинский. XII. С. 421.*)

В.Г. БЕЛИНСКИЙ — П.В. АННЕНКОВУ. 20 ноября — 2 декабря 1847. Петербург

Достоевский славно подкузьмил Кр<аевско>го: напечатал у него первую половину повести, а второй половины не написал, да и никогда не напишет. Дело в том, что его повесть до того пошла, глупа и бездарна, что на основании её начала ничего нельзя (как ни бейся) развить. Герой — какой-то нервический <- — -> — как ни взглянет на него героиня, так и хлопнется он в обморок. Право! (*Белинский. XII. С.430.*)

В.Г. БЕЛИНСКИЙ — П.В. АННЕНКОВУ. 15 февраля 1848. Петербург

Я, батюшка, болен уже шестую неделю — привязался ко мне проклятый грипп; мучит сухой и нервический кашель, по поверхности тела пробегает озноб, а голова и лицо в огне; истощение сил страшное — еле двигаюсь по комнате; 2 № «Современника» вышел без моей статьи, теперь диктую её через силу для 3-го <...>. (*Белинский. XII. С. 465.*)

В.Г. БЕЛИНСКИЙ

Но мы должны сказать ещё несколько слов о «Хозяйке», повести г. Достоевского <...>. Будь под нею подписано какое-нибудь неизвестное имя, мы бы не сказали о ней ни слова. <...> Не только мысль, даже смысл этой, должно быть, интересной повести остаётся и останется тайной для нашего разумения, пока автор не издаст необходимых пояснений и толкований на эту дивную загадку его причудливой фантазии. Что это такое — злоупотребление или бедность таланта, который хочет подняться не по силам и потому боится идти обыкновенным путём и ищет себе какой-то небывалой дороги? Не знаем; нам только показалось, что автор хотел попытаться помирить Марлинского

с Гофманом, подболтавши сюда немного юмору в новейшем роде и сильно натеревши всё это лаком русской народности. Удивительно ли, что вышло что-то чудовищное <...>. Во всей этой повести нет ни одного простого и живого слова или выражения: всё изысканно, натянуто, на ходулях, поддельно и фальшиво. <...> Что это такое? Странная вещь! непонятная вещь! (*Современник. 1848. № 3. Отд. III. С. 37–39.*)

В.Г. БЕЛИНСКИЙ — П.В. АННЕНКОВУ. 15 февраля 1848. Петербург

Не знаю, писал ли я Вам, что Достоевский написал повесть «Хозяйка» — ерунда страшная! В ней он хотел помирить Марлин<ского> с Гофманом, подболтавши немножко Гоголю. Он и ещё кое-что написал после того, но каждое его новое произведение — новое падение. В провинции его терпеть не могут, в столице отзываются враждебно даже о «Бедных людях». Я трепещу при мысли перечитать их, так легко читаются они! Надулись же мы, друг мой, с Достоевским — гением! О Тург<еневе> не говорю — он тут был самим собою, а уж обо мне, старом чёрте, без палки нечего и толковать. Я, первый критик, разыграл тут осла в квадрате[1]. (*Белинский. XII. С. 467.*)

Конец прекрасной эпохи

М.В. БЕЛИНСКАЯ — И.А. АСТАФЬЕВУ. 24 декабря 1873. Корфу

<...> последние 3, 4 месяца Виссарион Григорьевич не мог сам писать, а, лежа на кушетке, диктовал мне: изнурительная лихорадка пожирала его в это время (это, как мне помнится, было Великим постом), лицо у него страшно горело, а лоб был перевязан белым носовым платком, намоченным в холодной воде. (*Былое. 1917. № 4. С. 181–182.*)

А.В. ОРЛОВА

Раз вечером собрались у нас несколько человек. Вдруг Белинский говорит: «Тютчев, сколько стоили похороны Кульчицкого?» Тютчев сказал цифру. «Откуда же возьмёт бедная вдова такую сумму и для того только, чтобы запрятать гнилое тело?» Все, как ошеломлённые молчали. (*Лепта Белинского. С. 22.*)

А.М. БЕРХ

В то время (это уже было в 1848 году) он <Белинский> почти ничего не писал. Не считая возможным входить в подробности, замечу только, что

[1] Текст этого письма написан чужой рукой — под диктовку автора.

многое в жизни тогда давило и угнетало его, но и при более благоприятных обстоятельствах он вряд ли мог бы много писать, так расстроено и слабо было его здоровье. Но деятельный ум его не был способен усыпляться, и он тогда совершенно был поглощён политикой и событиями Запада. Февральская революция вспыхнула во Франции, и большая, обширная комната, в которой мы находились, носила на себе следы тогдашних его занятий. Всюду висели и лежали географические карты, тут около них теснились книги, идущие к делу, планы и т. п. Он в то время был в переписке с кем-то из своих знакомых или приятелей, жившим в Париже и посылавшим ему все горячие, животрепещущие вести оттуда. <...> Одно смущало меня и возбуждало во мне какое-то болезненное чувство, это — видимое, но тщетное усилие Белинского победить телесную боль. Он говорил с трудом, тихим прерывистым, хотя и одушевлённым голосом. (*Белинский. Ст. и материалы. Л., 1949. С.* 236.)

А.В. СТАРЧЕВСКИЙ

<...> «Современник» навязал себе Белинского, который по болезни не мог дать ему ходу и ничего не сделал для журнала; притом же Белинский уже совершенно ослабел физически. (*Ист. вестник. 1886. № 2. С. 381.*)

А.В. ОРЛОВА

Последние дни он очень тосковал и не мог долго оставаться в одной комнате; надо было переводить его из кабинета в залу, потом в спальню, а один он не мог идти, упал; вот мы и возьмём его под руки. «Не думал я дожить до того, чтобы меня водили под руки». (*Лепта Белинского. С. 22.*)

В.Г. БЕЛИНСКИЙ — В.П. БОТКИНУ. 4–8 ноября 1847. Петербург

<...> я был спасён «Современником». Мой альманах, имей он даже большой успех, помог бы мне только временно. Без журнала я не мог существовать. Я почти ничего не сделал нынешний год для «Современника», а мои 8 тысяч давно уже забрал. Поездка за границу, совершенно лишившая «Современник» моего участия на несколько месяцев, не лишила меня платы. На будущий год я получаю 12 тысяч. Кажется, есть разница в моём положении, когда я работал в «Отечественных записках». Но эта разница не оканчивается одними деньгами; я получаю много больше, а делаю много меньше. Я могу делать, что хочу. Вследствие моего условия с Некрасовым, мой труд больше качественный, нежели количественный; моё участие больше нравственное, нежели деятельное. <...> Не Некрасов говорит мне, что я должен делать, а я уведомляю Некрасова, что я хочу или считаю нужным делать. Подобные условия были бы дороги каждому, а тем более мне, человеку больному, не выходящему из опасного положения, утомлённому, измученному, усталому

<...>. «Современник» — вся моя надежда; без него я погиб в буквальном, а не в переносном значении этого слова. (*Белинский. XII. С. 415–416.*)

Н.А. НЕКРАСОВ (в передаче А.С. Суворина)

За неделю до смерти <Белинского> я был у него. Он лежал грустный. «Что с вами, Виссарион Григорьевич?» — «Я думаю о том, — сказал он, — что года через два и вы будете лежать так же беспомощно, как я. Берегите себя, Некрасов!» Это он сказал с такою душою, как только можно говорить человеку, которого любишь. (*Дневник А.С. Суворина. М., 1923.*)

А.В. ОРЛОВА

<...> Некрасов в последнюю зиму всё раздражал его <Белинского>, говоря, что пора писать, а когда Белинский говорил: «не могу писать», то Некрасов прибавлял: «когда нужно писать, то и больны. Да впрочем скоро вам и совсем запретят писать». После этих свиданий Белинский долго не мог прийти в себя. Сестра пошла сама затворять дверь и говорит: «Как вам не стыдно, Некрасов, мучить больного? разве вы не видите, что он умирает?» (*Лепта Белинского. С. 30.)*

Н. А. НЕКРАСОВ. Медвежья охота. 1861–1867

Белинский был особенно любим...
Молясь твоей многострадальной тени,
Учитель! перед именем твоим
Позволь смиренно преклонить колени!

А.В. ОРЛОВА

В день смерти пришёл Панаев, прошёл в заднюю комнату, где была сестра <М.В. Белинская>, и сказал ей захлёбывающимся от рыданий голосом: «Ради Бога, ни о чём не заботьтесь, всё будет сделано». И действительно, похоронили его в складчину приятели, которые и содержали нас до конца ноября <...>. (*Лепта Белинского. С. 23.*)

А.М. ВЕРХ

Друзьями Белинского была собрана сумма для его вдовы и дочери, но до какой цифры она простиралась, не знаю. Значительной, во всяком случае, она быть не могла, потому что, как я узнал после, вдова <...> была кастеляншей в московском сиротском институте. (*Кронштадтский вестник. 1862. 17 июля.*)

А.В. ОРЛОВА

<...> <в конце ноября 1848 г.> мы отправились с двумя детьми и с собакой Белинского в Москву, страшно бедствовали в дороге.

Меньшая дочь Белинского скоро <в 1849 г.> умерла <...>.

После переезда нашего в Москву друзья Белинского не навестили ни разу вдову и дочь Белинского <...>. (*Лента Белинского. С. 23, 30.*)

ДОСТОЕВСКИЙ. Униженные и оскорблённые

— А что Б. всё ещё критику пишет?

— Да ведь он уже умер, в чахотке.

— Умер, гм... умер! Да так и следовало. Что ж, оставил что-нибудь жене и детям? Ведь ты говорил, что у него там жена, что ль, была... И на что эти люди женятся!

— Нет, ничего не оставил, — отвечал я.

— Ну, так и есть! — вскричал Ихменёв с таким увлечением, как будто это дело близко, родственно до него касалось и как будто умерший Б. был его брат родной. — Ничего. То-то ничего! А знаешь, Ваня, я ведь это заранее предчувствовал, что так с ним кончится, ещё тогда, когда, помнишь, ты мне его всё расхваливал. Легко сказать: ничего не оставил! Гм... славу заслужил. Положим, может быть, и бессмертную славу, но ведь слава не накормит.

И.И. ПАНАЕВ

Из числа двадцати, провожавших этот гроб, собственно литераторов было, может быть, не более пяти-шести человек, — остальные принадлежали к людям простым, не пользовавшимся никакой известностью, но близким покойному... Ни одного постороннего человека добровольно не было на этих похоронах, только два или три какие-то неизвестные появлялись и на пути к кладбищу, и в церкви на отпевании, и на могиле при опускании гроба. Чего хотели они, чем могли возбудить их любопытство эти бедные похороны?.. (*Современник. 1861. № 11. С. 69–70.*)

С.Д. ЯНОВСКИЙ — А.Н. МАЙКОВУ. 17 февраля 1881. Канны

В одно утро Ф<ёдор> М<ихайлович> пришёл ко мне чрезвычайно встревоженный и возбуждённый. Не дав мне возможности спросить у него — отчего он так взволнован, он сам предупредил меня восклицанием: «батинька, великое горе свершилось — Белинский умер!» Я <...> прежде всего старался убедить его в том, чтобы он не увеличивал постигшего нас горя своею болезнью, а потом я просил его остаться у меня на целый день и хотел не расставаться с ним в этот день ни на минуту. Но он в 12 часов от меня всё-таки ушёл, попросив позволения ночь провести со мною. Так и сделали. И когда в 10 часов вечера я возвратился домой, то застал у себя Фёдора Михайловича

и Якова Петр<овича> Буткова. Втроём мы напились чаю и когда Бутков ушёл, мы, побеседовав ещё час-другой, улеглись спать.<...> Вдруг часу в 3-м ночи я услыхал чрезвычайно тяжёлые хриплые вздохи и когда я вошёл с зажжёною свечою в комнату, где спал Фёд<ор> Мих<айлович>, то увидал, что он лежит навзничь, с открытыми глазами, в конвульсиях, с пеною у рта и с высунувшимся языком. (*Новое время. 1881, 24 февраля.*)

Приложение

СТОЛИЦА И УСАДЬБА

(По неизвестным источникам)[1]

Семейство Достоевских как социальный организм

«О находившейся в бегах...»

«Я происходил из семейства русского и благочестивого», — говорит однажды Достоевский. Что мы знаем об этой семье?

Помимо переписки Достоевских-родителей и воспоминаний их сына Андрея Михайловича, нам практически неизвестны другие связанные с этой темой источники. Тем интереснее обнаруженные нами в московских архивах документы, которые проливают свет на внутреннее устройство и способ существования этой, казалось бы, несложной социальной организации.

№ 20038. 10 марта 1828 Года В московскую управу благочиния Сущёвской части пристава Рапорт

К представленному мною истёкшего февраля 14 числа при рапорте Сущёвской <части> за № 566 под расписку Гаврилова, по данному от Гжи Коллежской Асессорши Марьи Фёдоровны Достоевской объявлению о находившейся в бегах дворовой ея девки *Анне Петровой* доставленный из Бронницкаго земскаго суда при отношении № 28 обыск, учинённый в доме Крестьянской жены Марфы Михайловой и поданны<й> от упомянутой Г-жи Достоевской 3 числа сего месяца о *явившейся из бегов другой дворовой ея девки Василисе Михайловой* с ея показаниями и разпискою Гжи Достоевской при сём честь имею представить на рассмотрение[2].

[1] Настоящее Приложение заключает некоторые материалы, дополняющий основной текст.

[2] ЦИАМ. Ф. 105 (Московская управа благочиния). Оп. 8 (Уголовная часть). Ед. хр. 8433. Лл. 1–1 об. Дело по рапорту пристава Сущёвской части г. Москвы о задержании беглой дворовой жены коллежского асессора Достоевской М.Ф. — Петровой Анны.

Из этого не очень внятного текста можно сделать следующее заключение. Очевидно, М.Ф. Достоевская «объявила» об исчезновении её дворовой девки Анны Петровой в конце 1827 г. или в начале 1828 г. 3 марта 1828 г. она же уведомила полицию о том, что из бегов вернулась другая её дворовая — Василиса Михайлова. Похоже, это та самая «прачка Василиса», о которой вспоминает Андрей Михайлович: «Обязанности её состояли в том, чтобы каждую неделю первые три дня стоять за корытом, а последние три дня за катанием и утюгом»[1]. В связи с её побегом в Бронницком уезде (а это сравнительно недалеко от Москвы) у «крестьянской жены Марфы Михайловой» (скорее всего, у матери или сестры Василисы) местными властями был учинён «обыск» (то есть проведено расследование). Поступившие оттуда материалы пристав Сущёвской части, к которой относится Мариинская больница, представляет в городскую полицию.

Таким образом, находит документальное подтверждение то, о чём говорит Андрей Михайлович: «Василиса тоже была крепостная, но впоследствии скрылась, или говоря проще — сбежала. Этот побег был чувствителен для родителей моих не столько в материальном отношении, сколько в нравственном, потому что бросал тень на худое житьё у нас крепостным людям, между тем как жизнь у нас для них была очень хороша».

Получается, что Андрей Михайлович передаёт семейное предание, ибо в 1828-м ему было всего три года и быть «очевидцем» происшествия он никак не мог. Мемуарист объясняет побеги крепостных «тоскою по родине». При этом он не упоминает еще об одной беглянке — Анне Петровой, чьё исчезновение произошло, по-видимому, одновременно с Василисиным. Недаром в памяти Фёдора Михайловича (которому тогда ещё не исполнилось семи лет) прочно отложилось то обстоятельство, что побег был коллективным. В набросках к «Житию великого грешника» он записывает: «Анна и Василиса бежали. Продали Василису. <...> Анна и Василиса бежали»[2]. Теперь мы можем назвать их фамилии — Петрова и Михайлова — и установить, что обе женщины направились в Бронницкий уезд.

Василиса «явилась из бегов» добровольно. Что же касается Анны, дело в отношении неё продолжалось. Надо сказать, что подлинники «объявлений» Марии Фёдоровны или её автографы (расписки) в деле отсутствуют. Отсутствуют также результаты «обыска», в том числе показания Василисы и Марфы Михайловых. Вообще, ситуация здесь

[1] Воспоминания. С. 29.

[2] ПСС. Т. 9. С. 127–128, 133.

такая же, как в случае с материалами о смерти М.А. Достоевского: самого дела нет, а есть только его следы, отражённые в полицейской или судебной переписке[1].

Остановимся на втором документе.

№ 2157

1828 Года, Марта 12 дня в журнале Московской Управы Благочиния записано по слушании сего рапорта. Приказали: так как значущиеся в допросе девки Михайловой таковыя ж А<н>на Петрова не спрошена и дальнейшаго показанию 1й изыскания не учинено, то дело для выполнения отослать обратно к Гну частному приставу дав при том знать, что прежнее производство <отправлено?> в броницкой земской суд[2].

Дело возвращается в Сущёвскую часть, ибо следует допросить ещё Анну Петрову. В рапорте, присланном после доследования, зафиксированы причины, скорее всего, и побудившие Анну к побегу. Из этого же документа выясняется, что это не первый случай. Из дома Достоевских на Божедомке исчезали порой и другие лица.

№ 26588. 7 апреля 1828 Года В Московскую Управу Благочиния Сущёвской Части Пристава рапорт

По приказам Управы Благочиния последовавшим с № 23498 и 24785 о дворовых Гжи Достоевской девках Анне Петровой и Василисе Михайловой Следствие при описи на <пропуск в тексте> листах у сего честь имею представить, и донести что жившей в кучерах у Г. Коллежскаго Асессора Михаила Андреевича Достоевскаго, княгини Прозоровской крестьянин Софрон Филипов в июле месяце прошлаго 1825 года от него отошёл и где находится не известно; о чём Г. Квартальны<й> поручик Калинин при рапорте представит сведение Г. Достоевскаго и выписку из пачпортной книги в письменном виде упомянутаго Филипова, а девка Петрова в отобранном от нея вновь показании видимом на <нрзб.> объявила, что рожденный ею незаконный прижитый младенец при возвращении в Москву к господам за 25 верст оставлен в деревни название коей не знает, у о<т>ставного солдата Ивана Степанова и ево жены по имени неизвестной, которые новорождённого отдали в той же деревне на Старобряцком кладбище для воспитания неизвестно к кому[3].

Итак, в 1825 г. от Достоевских «отошёл» кучер Софрон Филипов (по-видимому, оброчный крестьянин, отпущенный княгиней

[1] Подробнее см. на с. 313–339.
[2] ЦИАМ. Ф. 105. Оп. 8. Ед. хр. 8433. Л. 2.
[3] ЦИАМ. Ф. 105. Оп. 8. Ед. хр. 8433. Лл. 3–3 об.

Прозоровской на заработки). Причины его исчезновения гадательны. Что же касается Анны, тут все понятно: она не рискнула предъявить господам прижитого ею ребенка. Правда, не совсем ясно, покинула ли она дом на Божедомке, уже будучи беременной, или же, напротив, беременность явилась, так сказать, следствием её побега.

В этой связи уместно задаться, казалось бы, праздным вопросом: слышал ли Достоевский что-либо о брошенном Анной ребенке, вернее — о самом факте его оставления на старообрядческом кладбище и отдания «неизвестно к кому». Кстати, был ли младенец обнаружен полицией (если она его, конечно, искала), или его участь оказалась ещё печальнее, чем та, на которую указывала забывчивая мать? Слухи на сей счет среди дворни, безусловно, ходили; могли упоминать об этом обстоятельстве и родители. Все это представляется не столь важным, если только забыть, что в майском выпуске «Дневника писателя» за 1876 г. чрезвычайное внимание уделено судьбе «вышвырков» — незаконнорождённых детей и что их «слезинка» была далеко не безразлична автору «Дневника».

Исповедные ведомости как исторический источник

Остановимся, однако, на составе семейства, включая сюда домочадцев, прислугу и т. д. Фактические сведения об этом можно почерпнуть из исповедных ведомостей церкви Петра и Павла при Мариинской больнице. Эти источники никогда не подвергались специальному изучению. Между тем в них с достаточной степенью достоверности зафиксированы как «исторические» (то есть упоминаемые в литературе), так и неизвестные прежде фигуры.

Начнем с ведомости 1821 г.

Ведомость Сретенского сорока, церкви святых Апостол<ов> Петра и Павла, что при Больнице для бедных, священника Василья Ильина с причетники, о обретавшихся при оной церкви в доме нашем нижеявленных чинов людях, с изъявлением противу коегождо имени о бытии их во святу четвородесятницу и исповеди и Святых Таин причастия, и кто не исповедался сего 1821-го года

Штаб-лекарь Михайло Андреев Достоевский 32 не был[1]

жена ево Марья Фёдорова 21 была

[1] М.А. Достоевский значится последним среди врачей больницы — перед списком фельдшеров, среди которых обращают на себя внимание «***Петр*** Никитин ***Лужин*** 36 лет» (ср. с Петром Петровичем Лужиным в Преступлении и наказании»).

сын их Михаил 1
крепостная девка Ирина Тимофеева 24 была[1]

Семейство состоит из Михаила Андреевича, его молодой жены и полугодовалого сына. На четыредесятницу (то есть в период Великого поста) 1821 г. Фёдора ещё нет: он появится в октябре. «Крепостная девка Ирина Тимофеева» (очевидно, не принадлежавшая Достоевским, а нанятая ими) — единственная проживающая в доме прислуга. Какие-либо другие служители, крепостные или вольные, в ведомости не обозначены.

В 1823-м наблюдается несколько иная картина:

Штаб-Лекарь Михайло Андреев Достоевский 34
жена Его Марья Фёдорова 23
дети их
Михаил 3
Феодор 2
Варвара 1
мещанка девка Ирина Тимофеева 26[2]

Появляются новые дети — Фёдор и Варвара. Крепостная Ирина Тимофеева превращается в «мещанку», но с сохранением именования «девка», что вызывает вопросы. Конечно, при наличии уже трёх детей семья пользуется не только её услугами. Возможно присутствие не отмеченных в источнике деревенских кормилиц, наёмной горничной, а также других приходящих, но не живущих в доме служителей. (Андрей Михайлович определяет общее число прислуги в доме в семь человек — правда, в более поздний период.)

В исповедной ведомости 1825 г.[3] Ирина Тимофеева отсутствует. Зато появляются новые лица: крепостная девка Анна Петрова 28 лет (будущая беглянка отмечена как у исповеди не бывшая), «служащая у них» (то есть у Достоевских) «диаконова жена» вдова Агафья Львова 50 лет и, наконец, «отпущенная на волю дворовая девка Елена Фролова Крюкова». Это няня Алёна Фроловна, колоритная личность которой неоднократно возникает в переписке родителей, а также фигурирует в воспоминаниях Андрея Михайловича, в «Бедных людях» и в «Дневнике писателя». Исповедные ведомости позволяют уточнить её социальное происхождение. «Московская мещанка», каковым

[1] ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 747. Ед. хр. 282. Л. 354.
[2] Там же. Ед. хр. 1013. Л. 153 об.
[3] ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 747. Ед. хр. 1013. Л. 499.

званием она особенно гордилась, оказывается отпущенной на волю дворовой. Это по меньшей мере означает, что у Алёны Фроловны не городские, а деревенские корни. Что касается Анны Петровой, то утверждение Андрея Михайловича, будто она была крепостной его родителей с давних пор, «ещё до покупки деревни», поскольку в те времена «крепостных можно было приобретать и без земли»[1], требует уточнения. Достоевские ещё не принадлежали к дворянскому сословию, обладающему исключительным правом на владение крепостными душами. Только 2 апреля 1825 г. М.А. Достоевский награждается орденом Св. Анны III степени. Согласно статусу ордена (до 1845 г.), любая его степень давала награждаемому право на потомственное дворянство. Анна Петрова, чьё имя усмешливо перекликается со славным именем ордена, возможно, первая крепостная, приобретённая новоиспечёнными членами привилегированного сословия. Причем купчая оформлена, скорее всего, на имя Марии Фёдоровны, почему она и «объявляет» полиции о побеге.

Сам побег был «чувствителен» для семьи не только в нравственном, но и в вещественном отношении, поскольку, по словам Андрея Михайловича, Анна «была отличная кухарка и уже истинно могла заменять повара»[2].

В 1826 г. в исповедных ведомостях — всё те же лица; Анна Петрова почему-то в них не значится[3].

Исповедные ведомости за 1827 г. выглядят следующим образом:

Штаб-Лекарь и Кавалер Михаил Андреев Достоевский 38
Жена его Марья Фёдорова 27
Дети их Михаил 7
Фёдор 6
Андрей 2
Варвара 5
Живущие у него: Г-на Буракова дворовая девка Прасковья Иванова 30 Коллежская Секретарша Ульяна Ивановна Чебо<та>рёва 60 Отпущенная на волю дворовая девка Елена Фроловна Крюкова 50[4]

В семье прибавился сын Андрей (будущий мемуарист); среди домашних появились некая Прасковья Иванова (чужая крепостная, живущая у Достоевских по найму) и коллежская секретарша Чебо-

[1] Воспоминания. С. 29.
[2] Воспоминания. С. 29.
[3] ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 747. Ед. хр. 1065. Л. 550.
[4] ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 747. Ед. хр. 1089. Л. 674.

тарёва. Последняя — это «старая няня Ульяна» Вареньки Добросёловой в «Бедных людях». Поскольку сведения о покойном муже Чеботарёвой, придворном певчем, умершем ещё в 1801-м, сгорели в московском пожаре, ей было отказано в помещении во вдовий дом, и её приютили Достоевские, у которых она прослужила более шести лет[1]. Отсутствие же Анны Петровой может быть связано с тем, что она уже находится в бегах.

В исповедных ведомостях за 1828 г.[2] появляется «Господина Буракова дворовая девка Марья Евграфова 15» (вместо тридцатилетней Прасковьи Ивановой от того же хозяина). Присутствует и неизменная Алёна Фроловна, «отпущенная на волю девица». Здесь же впервые означена и Василиса — «девка Васса Михайлова 20». Анне Петровой, которая, если верить ведомости 1825 г., в то время было 28 лет, теперь, в 1828-м, всего 25, что свидетельствует либо о некоторой приблизительности церковных исчислений, либо о нестрогих представлениях Анны относительно собственного возраста.

В следующем, 1829-м, М.А. Достоевский значится уже как «Штаб-Лекарь и Кавалер Коллежский Асессор»; Ульяна Чеботарёва записана как вдова титулярного советника (то есть повышена чином). Имеются также «девица Василиса Михайлова 21» и «девка Анна Петрова» — тут ей 26 лет. Среди крепостных мы видим два новых имени: Давыд (Давид) Савельев 27 лет и его брат Феодосий четырьмя годами моложе[3]. (Таким образом, не находит подтверждения указание А.М. Достоевского: кучер Давид Савельев «был крепостным ещё до женитьбы отца»[4].) Именно в это время у доктора Мариинской больницы для бедных появляется собственный — четвернёй — выезд. Давид, пишет Андрей Михайлович, «жил у нас бессменно по день смерти папеньки, а потом числился дворовым при нашей деревне, к которой впрочем не принадлежал родом».

Кучеру Савельеву дочь Достоевского Любовь Фёдоровна приписывает едва ли не главную роль в убийстве её деда Михаила Андреевича, который, по её словам, был задушен «подушками из его экипажа», после чего «кучер с лошадьми исчез». И хотя дело происходило иначе, Давид — ключевой свидетель убийства или (если придерживаться официальной версии) естественной кончины Михаила Андреевича.

[1] Московский мир Достоевского. С. 64.

[2] ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 747. Ед. хр. 1111. Лл. 575–576.

[3] ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 747. Ед. хр. 1132. Л. 548. В реестре прихожан, не бывших у исповеди и причастия, значатся оба брата Савельевы Василиса Михайловна. Что касается последней, то она, будучи зафиксирована в ведомости (по образцу предыдущего года), на самом деле, возможно, уже не живет на Божедомке.

[4] Воспоминания. С. 28.

В ведомостях 1831 г.[1] появляются двухлетняя сестра Достоевского Вера, а также «солдатка Анна Филипова 50» и вдова вахмистра «Александра Николаева Новицкая 66». Функции последних не очень ясны — скорее всего, это прислуга. По-прежнему значится Анна Петрова (которой «опять» 28 лет!), но нет Василисы.

В этом году Достоевские делаются помещиками. Однако на московском семействе это практически не отражается.

В 1832-м состав и численность домочадцев таковы:

Штаб-Лекарь, Коллежский Асессор и Кавалер Михаил Андреев Достаевский 43
Жена его Марья Фёдорова 32
Дети их
Михаил 12
Федор 11
Андрей 7
Николай 1
Варвара 10
Вера 3
Крепостные их люди
Давыд Савельев 30
Феодосий Савельев 26
Девица Анна Петрова 29
вольно отпущенная девка Елена Флорова 57
Титулярная советница вдова Ульяна Иванова Чеботарёва 65[2]

В исповедной ведомости за 1833 г.[3] нет ни Анны, ни Василисы. Зато возникает взятая из деревни 12-летняя «девка Катерина Иванова» (№ 16), которой суждено будет сыграть известную роль в судьбе Михаила Андреевича.

В 1834-м состав жильцов тот же. Плюс вновь появившаяся «девица Алёна <Анна?> Петрова», которой здесь 35 лет[4], 85-летний Павел Игнатов (очевидно, родственник кого-то из дворни) и 11-летняя

[1] ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 747. Ед. хр. 1175. Л. 805 об.

[2] ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 747. Ед. хр. 1194. Л. 308.

[3] Там же. Ед. хр. 1216. Л. 894 об.

[4] Да одно и то же ли это лицо? В.С. Нечаева сообщает, что в церковных книгах 1838 г. среди дворовых Дарового значится «девка Анна Петрова 31» (!) года (В семье и усадьбе. С. 140).

Ирина Архипова (Ариша), как и Катерина, взятая из деревни[1]. Ариша — дочь сгоревшего во время пожара Дарового мужика Архипа, которая после смерти супругов Достоевских будет до конца своих дней служить у Куманиных.

В исповедной ведомости 1835 г.[2] всё те же лица. Годы идут: отцу семейства 46 лет, Марии Фёдоровне — 35. Растут и дети: Михаилу 15 лет, Фёдору («Феодору») — 14, Андрею — 10, Николаю — 4, Варваре — 13, Вере — 6... Алёне Фроловне — 60, Давиду Савельеву — 33, Кате — 15. В апреле беременная последним ребёнком (будущей дочкой Александрой) Мария Фёдоровна отбывает в Даровое. Вместе с ней в деревню отправляют «нашего Люцыферя Анку», как метафорически именует её барыня (характеристика выразительная, позволяющая подозревать в аттестуемой первую из «инфернальниц» Достоевского). Причём кухарка за какие-то провинности понижается в должности — её предполагают определить в подмогу местной скотнице[3]. Так что оставшемуся в Москве Михаилу Андреевичу приходится нанимать новую стряпуху.

Семейство Достоевских — довольно сложный социальный организм: это микромир со своими внутренними напряжениями и тлеющими конфликтами. И одной из постоянных причин семейных неудовольствий является Василиса.

Зачем продали Василису?

В 1835 г. Вассе Михайловой должно быть 27 лет. Учитывая, что в 1828-м обе беглянки направились к родственникам 20-летней Василисы в Бронницкий уезд, можно догадаться, что она — не робкого десятка. Кстати, «продали» именно её, а не старшую по возрасту Анну, которая, казалось бы, должна быть инициатором побега.

Вообще, следует признать, что Василиса — фигура загадочная. Она значится только в двух исповедных ведомостях (1828 и 1829 гг.). В записной тетради Достоевского дважды сообщается о её пропаже.

[1] ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 747. Ед. хр. 1237. Лл. 494 об. – 495. Однако, вероятно исповедные ведомости фиксируют численный состав прислуги не полностью. Так, в письме жене от 9 июля 1833 г. Михаил Андреевич среди «наших московских» упоминает некоего Семёна. В церковных книгах 1838 г. он значится как дворовый дворовый Дарового: «Семён Варламов 22» (В семье и усадьбе. С. 77, 136).

[2] ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 747. Ед. хр. 1237. Лл. 542 об. – 543.

[3] В семье и усадьбе. С. 79. Анна «ссылалась» в деревню и раньше как в письме жене от 6 августа 1833 г. Михаил Андреевич говорит: «Ежели Анна обещается вести себя получше, тот мы ей, подтвердивши то же, можем прислать, она в деревне почти не нужна» (Там же. С. 79).

Но когда именно «продали Василису»? По смыслу записи — после побега, то есть в 1828-м. Однако имя прачки исчезает из исповедных ведомостей всё-таки позже — и вновь возникает в 1835-м в переписке родителей[1].

...После отбытия Анны Петровой вместе с барыней в Даровое все заботы по московскому дому ложатся на Василису. Вопрошая оставленного в божедомской квартире мужа о его житье, Мария Фёдоровна не без тревоги замечает: «Какова-то ета Василиса». Не исключено, что словоупотребление «ета» означает другую, одноимённую женщину, а не ту, которая некогда бежала, а затем, возможно, была продана. Очень похоже, что «ета» Василиса — всё же не крепостная, а наёмная прислуга. Такой наём особенно практиковался во время летних отъездов Марии Фёдоровны в Даровое. Двумя годами ранее глава семейства писал супруге: «По приезде <из Дарового в Москву> нашёл, что нанятая моя услуга расстроилась, прачка без меня, взявши у няньки денег, пропадала целую неделю, а кухарка на другой же день сказалась больною, всё время лежит и просит, чтобы ее отпустить; беда мне да и только...» «Нанятая услуга» — это временные кухарка и прачка, взятые, в частности, вместо отправленной в деревню Анны. Ближе к концу лета Михаил Андреевич говорил: «Нащёт моей услуги не беспокойся, кухарка и прачка кажется обе порядочные, то есть лучше сказать смирные». Так («кажется») не отзываются о хорошо знакомых людях. Поэтому в данном случае трудно отождествить эту «временную» прачку с «етой Василисой». Но когда же возникла «ета»? «Вероятно, — резонно замечает В.С. Нечаева, — она появилась в доме Достоевских незадолго до отъезда М.Ф. в деревню (в 1835 г. — *И.В.*), которая её плохо знала»[2]. Между тем Василису, сбежавшую в 1828-м, Мария Фёдоровна знала очень хорошо.

Летом 1835 г. Василиса («старая» или «новая») упоминается в переписке супругов постоянно. Она, можно сказать, главный источник их беспокойств. Мария Фёдоровна, сетуя на «проказы» московской дворни, замечает, что «Василиса едва ли сладит с такими комчедалами», и предлагает выслать ей подкрепление из деревни. Михаилу Андреевичу посылаются недошитые сорочки: «пусть Василиса на досуге дошьёт»; ей же препоручается иготовление чулок для детей. Несомненно, Василиса — центральная фигура в доме: именно она управляет оставленной без надлежащего глаза прислугой. «Скажи

[1] Эта переписка приводится здесь по: В семье и усадьбе. С. 77, 79, 85, 87, 92, 94–96, 99–100, 103, 105, 108.

[2] В семье и усадьбе. С. 139.

мой поклон Василисе, ежели она того стоит»[1], — пишет мужу Мария Фёдоровна 3 мая: в этой оговорке звучит тревожная нота.

Опасения оказались не напрасными. Уже 16 мая Михаил Андреевич сообщает супруге: «Во-первых, скажу тебе, что у нас в доме все покуда спокойно, хотя Василиса в некоторых случаях оказалась подозрительною, но я смотрю теперь за нею в оба глаза». В этом контексте вполне уместной выглядит следующая просьба: «Напиши, дружочек, сколько у тебя в чулане полштофов и бутылок с наливкою».

И, наконец, следует целый обвинительный акт — в виде приписки на полях в письме от 19 мая. «Я не хотел огорчать неисправностию моей прачки, но сегодня отпросилась со двора и на силу пришла в 11-ть часов и то слышу пьяна, на руку не чиста, ничего нельзя поверить, ибо во многих случаях ежели не уличена, то в большей части очень подозрительна. Напиши — не осталось ли твоих платьев, манишек, чепчиков или чего сему подобного равно что у нас в чулане, вспомни и напиши подробно, ибо я боюсь, чтоб она не обокрала». В этой же связи между супругами возникает переписка относительно имеющегося в наличии столового серебра.

«Василиска наша со всех сторон показала себя скверною женщиною, — констатирует Мария Федоровна. — Ах друг мой как ето неприятно и сколько ты терпишь; слышу даже что она белится и румянится (то есть у Марии Фёдоровны, помимо писем Михаила Андреевича, есть и другие источники информации. — *И.В.*), друг мой прошу тебя запрети ей ето с строгостию она и тебя страмит етим; а лучше всего подумай, как бы тебе её сбыть с рук». Таким образом, в вину Василисе ставится не только нерадивость, но и не соответствующие её положению косметические пристрастия, которые, по мнению матери Достоевского, могут нанести семье известный моральный ущерб. И в другом письме — от 29 мая: «кто же думал что из Василисы родилась Василиска». Шутит ли здесь Мария Фёдоровна, имея в виду чудовище-василиска, или следует понимать так: родилась из прежней беглянки? Нынешняя Василиска может быть как тем, так и совсем другим лицом[2].

[1] Цит. по: Воспоминания. С. 90. В.С. Нечаева, так же публиковавшая это письмо по подлиннику, после «ежели» дает помету: «несколько слов вырвано» (В семье и усадьбе. С. 90).

[2] Допустимо еще одно предположение: теперешнее Василиска — это всё та же прежняя Василиса, проданная или возвращенная прежним хозяевам после своего побега («продали Василису»), а ныне вновь определившаяся к Достоевским. Тогда становится более понятной фраза Марии Фёдоровны — воспринимаемая, правда, уже без оттенка шутливости.

Мария Фёдоровна советует супругу пригласить в дом одну из знакомых, дабы она потрудилась принять от Василисы «всё по реестру». «...Люди наши слышу, — добавляет автор письма, — ненавидят её как собаку и наверное сыщут тебе другую на её место, верно не хуже етой Василиске, с которой ты так мучаишся; Ах! ежели бы мне можно было шелёпами[1] бы прогнала её». «Прогнала» вряд ли равнозначно «продала»; скорее всего, Василиса не принадлежит Достоевским. Это как будто подтверждается следующими словами Михаила Андреевича: «Нащёт Василиски скажу тебе, что получивши реэстр <серебряных ложек> я обрадовался и сей час хотел было её расчесть и пашпорт в руки». «Расчесть» — с собственными крепостными такой способ расставания не принят. Не посылают её в виде наказания и в деревню. «...Отпустить её непременно надобно, — добавляет автор письма, — ибо она совсем ненадёжная и ежели поехать в деревню, то комнаты во вся останутся без присмотра. С людьми нашими больше не сорится и кажется живут в согласии, а это хуже первого». Иначе говоря, атмосфера (или, если угодно, социальная ситуация) в доме на Божедомке изменилась: ненависть «людей» к чужаку вытеснена классовой приязнью, и мнительного Михаила Андреевича страшит реальный или гипотетический союз Василисы с дворней.

Последний раз это имя возникает в письме Михаила Андреевича от 2 июня. «В доме у меня тихо, и у Василисы всё отнято и она знает только бельё, а всё ожидаю только разрешения об людях, чтоб её отпустить». То есть Василиса лишена всех властных и хозяйственных полномочий, в её компетенции оставлены только стирка и глажка. Домоправительница вновь обратилась в простую прачку, чья судьба решится, как только воспоследует какой-то ожидаемый административный акт («разрешение об людях»). «Жаль, — продолжает Михаил Андреевич, — что такая способная женщина, отличная кухарка, но ветренна и показавши себя подозрительною однажды, нельзя будет ей поверить дом когда надобно будет в деревню». Профессиональные достоинства Василисы не могут искупить её нравственных изъянов.

Может быть, изгнание (повторное?) Василисы в 1835 г. запечатлелось в памяти Достоевского как «продажа»? Дважды зафиксировав в своих заметках к «Житию великого грешника» этот сюжет, он, возможно, свёл воедино события 1828 и 1835 гг. Для шестилетнего мальчика побег (а тем более «продажа») кого-то из домашних — событие запоминающееся. Но и летом 1835 г. 14-летний Достоевский

[1] Плетьми, кнутами.

оставался в городе вместе с отцом и мог быть постоянным, хотя и невольным свидетелем его противоборства со «скверною женщиной» и её последующего удаления. Ибо всё, что случается в доме, вряд ли проходит мимо его сознания.

Впрочем, не следует забывать, что между «просто сознанием» и сознанием творческим существует известная разница.

Замысел «Жития великого грешника», где упоминаются Анна и Василиса, включает в себя и детство героя, которое должно было стать одним из ключевых элементов повествования. Главное действующее лицо — «13-летний мальчик, участвовавший в совершении уголовного преступления, развитый и развращённый», как характеризует его Достоевский в письме к Майкову («я этот тип знаю»). И хотя герой имеет мало сходства с задумавшим его автором, последний вводит в повествование значительное количество подлинных, знакомых ему с детства имён[1]. Брат Миша, Альфонский, Умнов, Сушар, Чермак и, наконец, Анна и Василиса — всё это реальные лица, о которых нам известно «из независимых источников». Но следует ли отсюда, что имя точно соответствует означаемому лицу? Скажем, намечаемый в «Житии» образ Альфонского, хотя и корреспондирует с какими-то моментами его биографии, всё-таки весьма далёк от своего прототипа — врача Мариинской больницы и близкого знакомого семьи Достоевских (в будущем — декана медицинского факультета и ректора Московского университета). Как правило, «имя» является у Достоевского исходной точкой, знаком, символом занимающего его характера или явления. Пожалуй, большинство реальных имён, встречающихся в его подготовительных материалах и черновых записях, можно было бы отнести к категории условных обозначений. Конечно, мера этой условности в каждом случае разная.

Надо полагать, «Анна» и «Василиса» не являются здесь исключением. Автор отталкивается от происшествия, от характера, от факта; в своём художественном мире он волен придать им любое измерение. Побег Анны и Василисы не мог ему не запомниться, тем более что событие наверняка обсуждалось долгие годы. Что касается «продали Василису» (о чём, кстати, ни словом не упоминает Андрей Михайлович), то это может быть как отзвуком действительного случая (причём форма расставания — необязательно продажа), так и результатом художественного дополнения. И то, и другое — реально.

[1] ПСС. Т. 9. С. 118. Т. 9. С. 125–133 и др.

...Последний документ, в котором зафиксированы численность и состав семейства Достоевских накануне его крушения и распада, — это исповедная ведомость 1836 г.:

Штаб-Лекарь Коллежский Асессор и Кавалер Михаил Андреев Достаевский 47
Жена его Марья Феодорова 36
Дети их:
Михаил 16
Феодор 15
Андрей 11
Варвара 14
Вера 7
Николай 5
Александра 1
Крепостные их Люди:
Давид Савельев 34
Феодосий Савельев 30
Михаил Васильев 11
Девица Анна Петрова 37
Девица Екатерина Андреева 16
Девица Ирина Архипова 13
Мещанка девица Елена Фролова 61[1]

Лица всё те же — с добавлением взятого из деревни маленького Миши Васильева, незаконнорождённого сына крестьянки Дарьи. Пятнадцатилетняя Катя, «огонь-девчонка», будущая мать рождённого от Михаила Андреевича и недолго прожившего Симеона, ещё не знает своей судьбы. Через год всё переменится: умрёт Мария Фёдоровна; старшие братья отправятся в Петербург; Михаил Андреевич оставит службу и навсегда переселится в Даровое, где некоторые из сопровождавших его домочадцев станут свидетелями, а возможно, и участниками его трагического конца.

Но это уже другая история.

Смиренное кладбище

«В одно ясное утро, — говорит Анна Григорьевна, — Фёдор Михайлович повёз меня на кладбище, где погребена его мать, Мария Фёдоровна

[1] ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 747. Ед. хр. 1282. Л. 639 об.

Достоевская, к памяти которой он всегда относился с сердечною нежностью».

Московское Лазаревское кладбище — семейная усыпальница Достоевских. Здесь покоилась не только Мария Фёдоровна, но и её старшая сестра Екатерина, бабка писателя Варвара Михайловна, урождённая Котельницкая, дед Фёдор Тимофеевич Нечаев, умершая во младенчестве сестрёнка Любочка... Здесь мог бы покоиться и отец — не выйди он в отставку и не покинь казённую квартиру на Божедомке. В 1864-м здесь, рядом с дорогими ему могилами, Достоевский похоронил первую жену — Марью Дмитриевну. Он не исключал, что когда-нибудь и сам найдёт здесь последний приют: во всяком случае, такой разговор он вёл со второй женои[1].

Разумеется, он неоднократно бывал на кладбище в детстве (похороны, панихиды по родственникам и т. д.). Посещал он его и позже, во время своих приездов в Москву. Среди вкладчиков кладбища значится имя: «Достоевский Ф.М., капитан»[2]. Неясно, правда, почему он записан под этим никогда не принадлежавшим ему званием. Впрочем, в Москве с ним случались подобные казусы.

«Покойся, милый прах...» Увы, эсхатологическому пожеланию братьев Достоевских — во всяком случае, в первой его части — не суждено было сбыться. Задолго (хотелось бы верить!) до наступления «радостного утра» — а именно в 1936 г. — Лазаревское кладбище ликвидировали. Правда, надгробный памятник сохранился: тщанием М.В. Волоцкого он был передан московскому музею Достоевского, где пребывал в запасниках восемь десятилетий. Был, очевидно, изъят и прах — с передачей в НИИ и Музей антропологии МГУ. Известно, что М.М. Герасимов (тогда — сотрудник музея) перед Великой Отечественной войной сделал реконструкцию портрета М.Ф. Достоевской по черепу.

Будь Михаил Андреевич Достоевский похоронен не на погосте села Моногарово, а рядом с любимой женой, его останки, возможно, постигла бы та же участь (что, допустим, могло бы споспешествовать решению вопроса о причинах его таинственной смерти). Но, кажется, пришло время исполнить волю семьи и веление христианского долга — успокоить наконец прах матери Достоевского: естественнее всего — в том же Моногарове. Хотя могила Михаила Андреевича тоже утрачена (в разрушенной моногаровской церкви Сошествия

[1] См.: Хроники рода Достоевских. С. 1060.

[2] Московский мир Достоевского. С. 44.

Святого Духа — одноимённой той, что на Лазаревском кладбище! — был склад, на месте погоста — заваленный мусором пустырь), предпринятые в последние годы усилия реставраторов дают всё же некоторые плоды. В 2005 г. на предполагаемом месте захоронения М.А. Достоевского установили памятный крест (кенотаф). А 11 апреля 2012 г. осле долгих согласований прах Марии Фёдоровны был передан в Иоанно-Предтеченский собор города Зарайска. И, наконец, 11 марта 2017 г. на бывшем Лазоревском кладбище (ныне парк «Фестивальный»), на прицерковной территории храма Сошествия Святого Духа состоялось освящение извлечённого из запасников Музея Достоевского (после долгого восьмидесятилетнего отсутствия) надгробия. Причём, памятник располагается практически на месте утраченной могилы (или очень близко от неё) — там находится и незначительная часть останков.

Некий трагический подтекст состоит в том, что среди останков, переданных в православный храм, отсутствует череп — очевидно утраченный в то время, когда М.М. Герасимов осуществлял свою реконструкцию. Несмотря на предпринятые поиски, судьба черепа неизвестна.

До сих пор в отличие от *докуда* неясно, *где* будет покоится прах Марии Фёдоровны. Мнения общественности разделились. Одни настаивают, чтобы останки были возвращены в могилу, под надгробный камень, другие — настаивают на их захоронении рядом с мужем, на погосте моногаровской церкви. Как бы то ни было, прах остаётся непогребенным[1].

...«Покойся, милый прах, до радостного утра» — чаяние о бессмертии. Собственно, об этой последней надежде говорит само «официальное» название погоста: кладбище Лазарева воскресения. В расположившейся на нём Духосошественской церкви, которая, в отличие от самого кладбища, сохранилась до сих пор, имеется фреска «Воскрешение Лазаря»: её, разумеется, видел Достоевский. И этот захватывающий евангельский сюжет не мог не запасть в его детскую память.

Порфирий Петрович вопрошает Раскольникова: « — И-и-и в Бога веруете? Извините, что так любопытствую. — Верую, — повторил Раскольников, поднимая глаза на Порфирия. — И-и в воскресение Лазаря веруете? — Ве-верую. Зачем вам всё это? — Буквально верую-

[1] Этот печальный сюжет в известной мере «корреспондирует» со «скитальческой» историей похорон и перезахоронений Анны Григорьевны Достоевской, чей прах лишь в 1968 г. нашел успокоение в Александрово-Невской лавре, в могиле мужа.

те? — Буквально». Воскрешение «Лазаря четверодневного» (то есть четыре дня проведшего во гробе) — величайшее изо всех чудес, совершённых Иисусом. Вера в это чудо есть безусловное признание божественной природы Христа и, следовательно, упование о грядущем воскресение всех. (Этот эпизод Евангелия от Иоанна всегда вызывал сильнейший гнев богоборческой критики: «Когда он (Иисус. — *И.В.*) разбудил заснувшего летаргическим сном Лазаря...» — такова сугубо медицинская оценка события в давней, но не потерявшей своей вразумляющей силы статье «Иисус Христос как тип душевнобольного». Её автор, доктор Я.В. Минц, квалифицирует все речи Христа, вышедшего «из мелкобуржуазной среды ремесленников» (плотников), как проявление религиозного бреда, отягощённого к тому же навязчивыми глюками: «Интересно, что голод (сорокадневное пощение в пустыне. — *И.В.*) вызвал галлюцинацию о хлебе, что очень рельефно выдает её происхождение». Первое дьявольское искушение есть, таким образом, не более чем прискорбный результат функционального расстройства. Неудивительно, что «историю болезни» венчает глубокий учёный диагноз: «Конституция Иисуса соответствует типу душевнобольного — параноика; худой, бледный, слабый, лишённый полового чувства и инстинкта размножения»[1].)

Для Достоевского Христос — образец красоты, мужества, совершенства. Воскрешение Им Лазаря — залог бессмертия души.

Фреска, которую видел юный Достоевский, как сказано, помещалась в церкви Сошествия Святого Духа. Однако — что явствует из обнаруженных нами источников — так она стала называться с 1840 г. Когда её посещало семейство Достоевских, церковь имела другое название — Лазарева Воскресения (или праведника Лазаря), что на кладбище. То есть не только фреска, но и само имя церкви сопряжено с ключевой сценой «Преступления и наказания». Сценой, переделанной автором по требованию М.Н. Каткова (усмотревшего в тексте «следы нигилизма») и всё равно не устроившей — правда, по совсем иным соображениям — пристрастнейшего из эстетов, В.В. Набокова[2]. Раскольников спрашивает:

« — Где тут про Лазаря? <...> Про воскресение Лазаря где? Отыщи мне, Соня. <...> Читай! Я так хочу! — настаивал он <...> Соня развернула книгу и отыскала место. Руки её дрожали, голосу не хватало. Два раза начинала она, и всё не выговаривалось первого слога.

[1] Клинический архив гениальности и одаренности. С. 243–252.

[2] См. подробнее: *Игорь Волгин.* Достоевский: дорога на эшафот. М., 2017. С. 145–148. Глава «Катков и Набоков против Сонечки Мармеладовой».

“Был же болен некто Лазарь, из Вифании...” — произнесла она наконец, с усилием, но вдруг, с третьего слова, голос зазвенел и порвался, как слишком натянутая струна. Дух пересекло, и в груди стеснилось».

Нельзя не согласиться с тем, что «о воскрешении Лазаря Достоевский узнаёт, ещё не умея читать»[1].

В архивных документах можно найти подробности, относящиеся к истории храма[2]. Каменная церковь была построена в 1787 г. «тщанием и иждивением Покойной Титулярной Советницы Долговой» (церковный староста в 1837 г., когда скончалась Мария Фёдоровна, — штабс-капитан Николай Долгов, сын храмостроительницы). Здание — с двумя колокольнями (так оно выглядит и сегодня). В церковных документах зафиксировано наличие трёх престолов: во имя Сошествия Святого Духа, во имя евангелиста Луки и — «в холодном приделе с левой стороны во имя Лазарева Воскресения». Таким образом, сначала церковь именовалась по одному из имеющихся в ней престолов, а с 1840 г. — по другому. «Земли при сей церкви усадебной и кладбищенской находится 21 десятина <...> священно и церковно служители пользуются с сей земли сенокосом». Кроме того, на своё содержание причт получает «из Московского опекунского Совета по билетам, хранящимся в церковной ризнице и записанным в церковной описи, процент с капитала 11 тысяч 159 рублей и 50 копеек ассигнациями <...> Из суммы же, собираемой за могилы, получается четвёртая часть». Ежегодный доход от продажи свечей колеблется в довольно широких пределах — от 120 до 680 рублей (как раз в 1837-м), а подаяние «в кошельки и кружки» достигает 1000 рублей. Ведомость констатирует, что церковь на Лазаревском кладбище «утварию и содержанием» достаточна.

В богадельне при храме обитают «священнических, диаконских, дьячковских и пономарских вдов и дочерей девиц» до 50 человек.

В ведомостях 1837–1846 гг. обозначен причт — священник Иван Николаев сын Померанцев, дьячок Фёдор Николаев сын Маркелов: надо полагать, именно они отпевали Марию Фёдоровну Достоевскую. Тогда Ивану (Иоанну) Померанцеву было 58 лет. Сын священника, он окончил бывшую московскую Славяно-греко-латинскую академию; «переведён на настоящее место» в 1833 г., а до этого среди прочих мест служил «увещателем подсудимых в Сретенском частном доме». И «за девятилетнее безвозмездное исправление треб в двух Военно-

[1] Московский мир Достоевского. С. 44.

[2] ЦИАМ. Ф. 2126. Оп. 1. Ед. хр. 303.

рабочих баталионах и за обращение нескольких рядовых из Магометан и Евреев в Православную Христианскую Веру Всемилостивейше пожалован бархатною фиолетовою скуфьёю». Отметим эти, очевидно, не столь легко достижимые миссионерские заслуги. Что касается дьячка Фёдора Маркелова, то его определили пономарём в эту церковь ещё в 1784-м (за 37 лет до рождения Достоевского), в возрасте 14 лет, «по исключении из нисших классов» вышеупомянутой академии — и переименовали «во дьячки» в 1804-м. С того же года служил в церкви «пономарь Семён Иванов Фёдоров». Эти люди отпевали погребённых на Лазаревском кладбище Нечаевых — Котельницких — Достоевских. (Марью Дмитриевну в 1864-м напутствовали, скорее всего, уже другие, незнакомые Достоевскому лица.)

Петербургские кладбища, изображённые Достоевским, ужасны. И не только потому, что гробы опускаются прямо в болотную жижу («Записки из подполья»), но и из-за сокрытого в столичных могилах нравственного растления и разврата («Бобок»). Вера в воскресение Лазаря — и значит, в жизнь вечную — изначально сопряжена с Москвой.

И хоть бесчувственному телу
Равно повсюду истлевать,
Но ближе к милому пределу
Мне всё б хотелось почивать.

Достоевский тоже хотел бы почивать здесь — «до радостного утра». Но судьба распорядилась иначе.

Смерть М.А. Достоевского. Заметки на полях

Как было сказано, первичные медицинское документы в материалах дела отсутствуют. Однако наивно полагать, что российские уездные лекари, у иных из которых, если вспомнить классику, больные «выздоравливают как мухи», исполняют свой долг со скальпелем в одной руке и новейшим (1832 года) «Кратким изложением судебной медицины для академического и практиче- ского употребления» в другой. Увы, Россия — не правовое государство. В этом отношении уездная медицина не слишком отстает от столичной, по всем правилам науки истолковавшей смерть импе- раторов Петра III и Павла I как следствие геморроидальных колик и апоплексического удара соот- ветственно. Разумеется, диагностические резоны весьма различны. Однако принципиальная воз- можность фальсификации распространима на всю систему. Небезынтересно узнать обо всех случаях летального

исхода, зафиксированных в Каширском уез- де в 1834 г. (ЦИАМ. Ф. 2150. Оп. 1. Ед. хр. 83–91): медицинские заключения в большинстве случаев представлены штаб-лекарем Шенкнехтом — тем самым, кто официально осматривал труп Михаила Андреевича. Реестр смертельных заболеваний невелик. «Легочная чеходка» и «водяная грудная бо- лезнь» хотя и поражают местных жителей, но не особенно часто. Зато от «апоплексического удара» (инфаркт? инсульт?) умирают постоянно: дворовые люди Степан Васильев и Степан Кузмин, отставной солдат Иван Яковлев, крестьяне Иван Аверьянов, Варфоломей Андреев, крестьянская женка Аксинья Ефимова и др. «Апоплексический удар» — это, так сказать, универсальный диагноз тогдашней медици- ны. Имеют место и экстраординарные случаи. «От штаб-лекаря Шенкнехта по долгу присяги показа- но», что отставной солдат Никита Никифоров «по слабости и старости своей от бывшего тогда моро- за и вьюги замерз». Замерзла и крестьянская женка Авдотья Степанова. Каширский мещанин Семен Канатовин умер во время рытья камней «от внезапно прекращенных придавлением жизненных от- правлений всех органов». Разумеется, есть погибшие и «от излишняго употребления вина». Несколько удивляет, правда, что крестьянин Захар Архипов умер не только «от пьянства», но еще и от «самопроиз- вольных побой»: происшествие, чем-то напоминающее известный казус с унтер-офицерской вдовой. Сходным образом — «удавление самопроизвольное» — свел счеты с жизнью крестьянин Михаил Егоров. В селе Мокром (название, которое, как и Черемошня, всплывет в «Братьях Карамазовых»!) подкинули младенца. Крестьянская женка убилась, упав в погреб. Помещик Ненюков нечаянно застрелил сына из ружья. Дворовый человек Василий Тимофеев «красив купол колокольни, нечаянно упал с оной и убился до смерти»... Ни одно из этих известий, кажется, не вызывает подозрений у членов суда. Заметим, что за весь год в округе никого намеренно не убили, никто не погиб в драке, в худшем случае умерший оказывался жертвой «самопроизвольных побой». Трудно отрешиться от впечатления, что местное на- чальство старается оградить себя от излишних беспокойств. Добавим одну деталь: председатель уездного суда Челищев — родственник Хотяинцевых. «В судах черна неправдой черной...» — будет сказано современником о России. Это определение трудно оспорить. Дореформенное российское государство знает только письменное судопроиз- водство; принимаются во внимание формальные доказательства; гласный процесс отсутствует. Степень волокиты и мздоимства («Покрыты мздою очеса...») общеизвестна. (Так, министр юстиции Панин даст

в свое время взятку, чтобы ускорить решение по имущественным делам собственной доче- ри.) При этом репрессивность дореформенного суда ничтожна: от 12 до 20%. Более половины подсу- димых избегают наказания «с оставлением в подозрении», многие освобождаются от ответствен ности за отсутствием улик. Фальсификация — дело обычное, даже на очень высоком следственном уровне (для сравнения — процесс петрашевцев, см.: Пропавший заговор. С. 310–333 и др.). Суд в народном сознании есть нечто крайне обременительное для тех, кто попадает в сферу его внимания, нечто чуждое, несправедливое, грозящее всяческими бедами. Поэтому лучше избавиться от вещественных доказательств любыми доступными средствами. Недаром в пушкинском стихотво- рении при известии «Тятя! тятя! наши сети притащили мертвеца» тятя отнюдь не спешит к исправнику или судмедэксперту. Он поступает гораздо проще: Суд наедет, отвечай-ка; С ним я ввек не разберусь

Мужику какое дело? Озираясь, он спешит; Он потопленное тело В воду за ноги тащит... Инстинктивное недоверие к судейским — общая для «низовой» России черта, что вслед за Пушкиным спешит запечатлеть и Некрасов: Суд приехал... допросы... — тошнехонько! Догадались деньжонок собрать; Осмотрел его лекарь скорехонько И велел где-нибудь закопать. В случае со смертью М.А. Достоевского дело обстоит несколько иначе. Следствию уже дан ход — и, если здесь имеет место фальсификация, ее авторы отнюдь не заинтересованы, как полагает за- нимавшийся этим вопросом Г.С. Прохоров, завершить процесс поскорее. Напротив — чтобы уберечь себя от возможных подозрений, они вынуждены тщательно выполнять все формальные процедуры. Собственно, следствие так и поступает: если случится ревизия, можно будет предъявить грамотно составленное письменное производство. ...Что происходит, однако, в том правовом пространстве, где призван блюсти справедливость Каширский уездный суд? В его архивных документах порой возникают знакомые нам персонажи... В 1839–1840 гг. параллельно с процессом Достоевского уездный суд расследует дело о смерти ге- нерала Сумарокова и его супруги. Первоначально трагедия квалифицируется как результат несчастно- го случая — пожара в имении. Но родственники генерала объявляют подозрение в поджоге и убийстве. Следствие пытается выяснить, действительно ли сначала был убит Сумароков (по показаниям свидете- лей, ему раскроили череп), а затем для сокрытия следов подожжен дом. Производятся допросы крес — тьян, очные ставки и другие следственные действия (ЦИАМ. Ф. 2150. Оп. 1. Ед. хр. 109. Л. 5. Ед. хр. 110. Лл. 620–624; и др.). Характерно также «битие

господина своего» — дело об избиении барина тремя кре- стьянами (Ед. хр. 109. Лл. 486–487). Был ли суд заинтересован в том, чтобы множить число подобных криминальных случаев в Каширском уезде? В.Ф. Хотяинцев судится «из-за денег» с купчихой Баландиной; по той же причине затевается его тяжба с неким Померанцевым (Ед. хр. 109. Лл. 64 об. — 65, 148 об., 182–182 об., 318 об.). Судится Владимир Федорович и с обладателем говорящей фамилии Краденовым — как можно понять, речь идет о карточном долге. Тяжбы эти рассматриваются судом в июле-августе 1839 г. — именно тогда, когда благодаря доносу Лейбрехта дело о смерти М.А. Достоевского получает новый оборот. Штаб-ротмистр Лейбрехт также прекрасно знаком Каширскому уездному суду. Как выясняется из тех же архивных источников, он его постоянный клиент. 18 сентября 1839 г. (через шесть дней после очной ставки с Хотяинцевым!) суд разбирает иск Лейбрехта против помещика Грекова. Но этого мало. Крестьяне Лейбрехта пасли его стадо: голланд- ский (как будет утверждать хозяин) бык то ли сам забрел, то ли был загнан в яровой хлеб вышеупомя- нутого Грекова, крестьяне которого в обеспечение нанесенной потравы увели нарушившего границы быка в свою деревню и не спешили вернуть его законному владельцу. Суд, рассмотрев дело «О потра- ве будто бы скотом г-на Лейбрехта ярового хлеба г-на Грекова», постановил: бык породы отнюдь не голландской, а «колмогорской» (очевидно, сам предмет раздора был представлен в суд), и оценил его в 11 рублей ассигнациями (Ед. хр. 109. Л. 386 и др. Ед. хр. 110. Лл. 319, 472–473 об.). Из сказанного можно заключить, что неугомонный штаб-ротмистр — заметная фигура на местном юридическом горизонте. Лейбрехта можно было бы, пожалуй, почесть профессиональным сутяжни- ком. Но знаменательно, что, высказывая свои подозрения относительно причин смерти отставного надворного советника Достоевского, Лейбрехт выступает как честный правдоискатель: он не пресле- дует здесь никаких личных выгод. Характер, однако. Сам он вновь и вновь терпит в судебных баталиях поражение. Целый год, до 1840-го, тянется его дело против другой соседки-помещицы, г-жи Карр: опять же из-за дележа угодий; аналогичный про- цесс ведется с помещиком Масловым. В октябре 1839 г. слушается «Дело о неотдаче артиллерии под- поручице Екатерине Макаровой крестьянами сельца Дубакино г-на Лейбрехта взятой взаимообразно на посев земли ржи 23 четвертей и 4 3/4 четверика». С ответчика взыскивается 61 рубль ассигнаци- ями. Кстати, летом того же 1839-го казначейство в судебном порядке предъявляет Лейбрехту иск за долги. В следующем году рассматривается ряд типовых дел — о побеге крестьян Лейбрехта (Ед.

хр. 98. Лл. 94–94 об. Ед. хр. 109. Л. 121 об. Ед. хр. 109а. Лл. 86 об., 96 об., 558, 628 об., 650 об., 705 об. Ед. хр. 110. Лл. 69–69 об., 80 об. — 81, 164 об. и др.). Итак, штаб-ротмистр прекрасно известен Каширскому уезд- ному суду. Однако повальный обыск относительно заявителя «сей суд» назначает только тогда, когда Лейбрехт, по-видимому, со- вершенно «достает» его своими неуместными претензиями. В деле о смерти М.А. Достоевского есть три группы источников: судебные материалы, семейная вер- сия и устная (местная) традиция. Причем две последние в основном совпадают. Конечно, можно допу- стить, что сам донос Лейбрехта и последовавшее затем расследование явились толчком к возникно- вению мифа, — но этот миф должен на чем-то основываться. «Илиада» — тоже вымышленное, поэтиче- ское произведение, тем не менее Троянская война все-таки была. —

Вместо эпилога

Из приходо-расходной книги Волкова кладбища. 28 мая 1848

Виссарион Григорьев Белинский
За копку могилы 1 руб.
На храм 50 коп.
За место по 5 разряду 5 руб.
(*Лит. наследство. Т. 56. С. 198.*)

Оглавление

От автора 5

Глава 1. РОДОСЛОВНОЕ ДРЕВО 9
Имя собственное 9
«Епископ Стефан» и мужеубийца Марына 13
Семена раздора 18
Смутное время Речи Посполитой 25
На Волыни: православная ветвь 32
«Князь Курбский от царского гнева бежал...» 34
Отец или блудный сын? 37
Протопоп Фёдор и парох Иван 44
Ян Достоевский 45
Дед Андрей: попытка идентификации 47
Подданные императрицы 52
Медицинский студент 59
Буйственные поступки на фоне Бородина 67
«Всё наполнено мертвыми телами...» 68

ЖИЗНЬ В ДОКУМЕНТАХ 73
Имя собственное. — Собственное имя. — Генеалогическое наваждение: «епископ Стефан». — Пленник султана. — «Случайное семейство» в XVI в.: преступление и наказание. — Семена раздора. — Подсудимые и судьи: одна семья. — Смутное время Речи Посполитой. — 1648: год кометы. — Выборщики короля. — «Внимая ужасам войны...». — Баталии местного значения. — «Князь Курбский от царского гнева бежал...». — Выигранный процесс. — На Волыни: установление родства. — Православная ветвь. — XVIII век: пропавшие звенья. — Кем был Андрей Достоевский? (в поисках деда). — Среда обитания и её обитатели. — Голос крови. — Подданные императрицы. — Два Андрея: попытка идентификации. — Очерки бурсы. — Отец под знаком вопроса. — «Сколько лет от роду?» (первое дополнение к формулярному списку). — Медицинский студент (второе дополнение к формулярному списку). — Приношение на алтарь. — «По надобности во врачах...» (третье дополнение к формулярному списку). — Круг забот тылового врача (четвёртое дополнение к формулярному списку). — «Венчается раба Божия...»

Глава 2. БОЛЬНИЦА ДЛЯ БЕДНЫХ 146
Обстоятельства места 146
Первые радости 151
Московский писатель 158
«Волк бежит!» 159
Была ли девочка? 164
Отцы и дети 174
Развенчанная тень 184

ЖИЗНЬ В ДОКУМЕНТАХ 200
Свидетельство о рождении. — Первые радости. — Казённый дом. — Воспитание чувств. — Обстоятельства места: порфироносная вдова. — Обстоятельства места: отступление в 1812 год. — «Благодарим! Благодарим...». — Труды и дни. — Марьина роща. — «Если б исчезла земля...» (круг чтения). — Учёный дедушка. — «Моё первое личное оскорбление...». — Федина роща. — Индейцы средней полосы. — «Волк бежит!». — В свете пожара. — Pater familias. — Старосветские помещики. — Vox populi. — Выбранные места из семейной переписки. — Попытка ревности. — Отцы и дети. — Частный пансион. — Бегство в Венецию (круг чтения). — Осень 1836: «предположите, что Чаадаев...». — Осиротевшее семейство. — Ещё одна смерть. — Сцены на большой дороге

Глава 3. МИХАЙЛОВСКИЙ ЗАМОК 282
Alma mater 282
Хрупкая мужская дружба 288
Портрет второгодника 292
«Скоропостижно умре...» 296
Черемошня — метафора смерти 300
Суд да дело 303
На что способен народ 315
Дом с привидениями 318
Если рукописи не горят 324
«Какой дурак это чертил?» 336

ЖИЗНЬ В ДОКУМЕНТАХ 341
Лето 1837: приготовительная ступень. — «На открывшиеся вакансии...». — Без семьи. — Приватная жизнь казённого дома. — Карьера генерал-адъютанта. — Братская разлука. — Alma mater. — Особые приметы. — Чрезвычайные обстоятельства. — Хрупкие мужские дружбы. — Загадочный Иван Николаевич. — Судьба отдельных дарований при деспотизме. — «О подлость!». — Портрет второгодника. — Высочайший инженер. — «Кипит весёлый Петергоф...». — Пить или не пить: к вопросу о чае. — Опасности, подстерегающие вдовцов. — «...Бессмысленный и беспощадный». — «Скоропостижно умре...». — Семейная тайна. — Предположение сугубо медицинского свойства. — На что способен народ?. — Отзвуки катастрофы. — Архитектура, внушающая трепет. — Обстоятельства места: отступление в 1801 год. — Дом с привидениями. — Обсто-

ятельства места: под голубем белым. — Мистика как свойство организма. — «Строжайше запрещено-с...». — Бдения у амбразуры. — Если рукописи не горят.... — Господин офицер. — Расстройства всякого рода. — «Однако ножка Терпсихоры...». — Правило падающего пятака. — Тот, о ком не ведал Бальзак. — Почтовая дуэль: в преддверьи эпистолярного романа. — «Какой дурак это чертил?»

Глава 4. БЕЛАЯ НОЧЬ 444
«Это выше сна!» 444
Любимец публики 452
«И чуть чуть скоропостижно» 463
Страсти вокруг коймы 486
К истории болезни 496
Русский мат с изюминкой подоплёкой 501
Двойник-конкурент 514
Конец прекрасной эпохи 537

ЖИЗНЬ В ДОКУМЕНТАХ 545
Idée fixe. — «Это выше сна!». — «...Я хочу видеть этого человека». — «Что я ему?». — Русский человек на rendez-vous. — Прочие сведения, относящиеся к лету от Р. Х. 1845. — Первое отступление о цензоре А.В. Никитенко (Примечание к предыдущей главке). — Въезд с Невы. — Юмор, не оценённый почти никем. — Авансы и долги. — Любимец публики. — По прочтении — сжечь?. — Психологическая проза в авторском исполнении. — Любовь с первого взгляда. — Час роковой. — Хвалы и хулы (робкие опыты плюрализма). — Брак по любви (экскурс в дела семейные). — «...Ушёл от Гоголя»?. — Разные мнения, в том числе не подлежащие оглашению. — Москва слезам не верит. — Робкие опыты плюрализма (продолжение). — Новые приключения господина Голядкина. — «...Из гоголевской “Шинели”»?. — К вопросу о даровании. — «Приёмы эти схватить нетрудно...». — Позднейший комментарий. — Школа злословия. — Предательства, бывшие в моде. — «...И чуть-чуть скоропостижно...». — Три необязательных дополнения к предшествующей главке. — Свидетельства медицины. — Диагноз, требующий подтверждений. — «...Смешон и гадок» (к истории болезни). — На площади Сенатской. — Страсти вокруг каймы. — Краткий практикум по истории сплетни. — Факты по делу — из первых и третьих рук. — 1880 год: воскрешение легенды (новые страсти вокруг каймы). — Заботы нелитературного свойства. — Рождение журнала: двойник-конкурент. — Плата за страх и другие накладные расходы. — Жалобы по начальству (второе отступление о цензоре никитенко). — Формула перехода. — Аршинные буквы на зелёном поле. — «Отроившийся рой» (заявление о намерениях). — «...До бешенства дошёл». — Наши домашние дела. — Доносы как жанр (продолжение предыдущего). — Общественное мнение слева. — Жертвы искусства. — Преимущества конкуренции, давно очевидные всем. — Who is who (новый литературный расклад). — Эстетические неудовольствия, могущие завести далеко. — Его вторая зима. — «...Как в чаду». — Разночтения в показаниях одного лица. — Совращение совершеннолетних. — «...Позволь смиренно...». — Бумаги для служебного

пользования. — «...В белом венчике из роз...». — Русский мат с идеологической подоплёкой. — Шестое доказательство. — Счастливейший из людей. — Полифония, как и было указано. — Отказ от родства. — Конец прекрасной эпохи

Приложение. СТОЛИЦА И УСАДЬБА
(По неизвестным источникам) 706
Семейство Достоевских как социальный организм 706
«О находившейся в бегах...» 706
Исповедные ведомости как исторический источник 709
Зачем продали Василису? 714
Смиренное кладбище 719
Смерть М.А. Достоевского. Заметки на полях 724

Вместо эпилога 729